МИР ПРИКЛЮЧЕНИЙ

Джозеф Конрад

СЕРДЦЕ ТЬМЫ
ЛОРД ДЖИМ
НОСТРОМО



Сердце тьмы. Лорд Джим. Ностромо

Джозеф Конрад

Аннотация
Джозеф Конрад. Сердце тьмы. Лорд Джим. Ностромо
Сердце тьмы
I
II
III
Лорд Джим
Предисловие автора
Глава I
Глава II
Глава III
Глава IV
Глава V
Глава VI
Глава VII
Глава VIII
Глава IX
Глава X
Глава XI
Глава XII

Глава XIII
Глава XIV
Глава XV
Глава XVI
Глава XVII
Глава XVIII
Глава XIX
Глава XX
Глава XXI
Глава XXII
Глава XXIII
Глава XXIV
Глава XXV
Глава XXVI
Глава XXVII
Глава XXVIII
Глава XXIX
Глава XXX
Глава XXXI
Глава XXXII
Глава XXXIII
Глава XXXIV
Глава XXXV
Глава XXXVI
Глава XXXVII
Глава XXXVIII

Глава XXXIX
Глава XL
Глава XLI
Глава XLII
Глава XLIII
Глава XLIV
Глава XLV
Ностромо
От автора
Часть первая. Серебряные рудники
Глава I
Глава II
Глава III
Глава IV
Глава V
Глава VI
Глава VII
Глава VIII
Часть вторая. Изабеллы
Глава I
Глава II
Глава III
Глава IV
Глава V
Глава VI
Глава VII

Глава VIII
Часть третья. Маяк
Глава I
Глава II
Глава III
Глава IV
Глава V
Глава VI
Глава VII
Глава VIII
Глава IX
Глава X
Глава XI
Глава XII
Глава XIII
Иллюстрации Петра Пинкисевича к роману «Ностромо»

Аннотация

Проза Джозефа Конрада, одного из величайших англоязычных романистов XX века, сочетает в себе реализм, поэтичность и философское осмысление самых труднообъяснимых движений человеческой души. Его произведения, обладая всеми признаками и преимуществами приключенческого романа, переносят читателя в пространство вне времени, где мораль борется с соблазнами власти, где происходит столкновение культур и вершится битва человека с самим собой.

В настоящее издание вошли самые известные произведения Джозефа Конрада.

«Сердце тьмы» – безусловный шедевр, погружающий в неразгаданную бездну человеческой природы, обнажая скрытые в ней тени. Упорные поиски загадочного торговца слоновой костью, засевшего в глубине джунглей, ведут рассказчика в верховья реки Конго, и по мере продвижения в джунгли он сам и его окружение все больше теряют связь с реальностью, проникая во тьму, что таится в человеческом сердце.

«Лорд Джим» – классическая история греха и искупления поворачивается новыми гранями. Джим, юный и отважный английский моряк, презирает себя за решение, принятое в трудной ситуации. С того момента он стремится на восток, в дебри Азии, в надежде обрести искупление.

«Ностромо» – один из лучших романов Конрада. Напряженное, драматичное повествование, впечатляющее субтропическими красками и пропитанное бунтарским духом.

В оформлении издания использованы иллюстрации Петра Пинкисевича, а также американских и европейских художников.

Джозеф Конрад
Сердце тьмы. Лорд Джим. Ностромо

Joseph Conrad
HEART OF DARKNESS
LORD JIM
NOSTROMO

Иллюстрации Леона Мореля-Фатио, Артура Бриско, Джона Бакленда Райта, Петра Пинкисевича и др.

© Е. В. Короткова (наследник), перевод, 2025
© Издание на русском языке. ООО «Издательство АЗБУКА», 2025
Издательство Азбука®

Сердце тьмы



I

Яхта «Нелли» покачнулась на якоре — паруса ее были неподвижны — и застыла. Был прилив, ветер почти стих, а так как ей предстояло спуститься по реке, то ничего другого не оставалось, как бросить якорь и ждать отлива.

Перед нами раскрывалось устье Темзы, словно вход в бесконечный пролив. В этом месте море и небо сливались, и на ослепительной глади поднимающиеся с приливом вверх по реке баржи казались неподвижными; гроздья обожженных солнцем красноватых парусов, заостренных вверху, блестели своими полированными шпринтовами. Туман навис над низкими берегами, которые словно истаивали, сбегая к морю. Над Грейвсэндом легла тень, а дальше, вглубь, тени сгущались в унылый сумрак, застывший над самым большим и великим городом на земле.

Капитаном и владельцем яхты был директор акционерной компании. Мы четверо дружелюбно на него поглядывали, когда он, повернувшись к нам спиной, стоял на носу и смотрел в сторону моря. На всей реке никто так не походил на типичного моряка, как он. Он был похож на

лоцмана, который для моряков олицетворяет собою все, что достойно доверия. Трудно было поверить, что его профессия влекла его не вперед, к этому ослепительному устью, но назад — туда, где сгустился мрак.

Как я уже когда-то говорил, все мы были связаны узами, какие налагает море. Поддерживая нашу дружбу в течение долгих периодов разлуки, эти узы помогали нам относиться терпимо к рассказам и даже убеждениям каждого из нас. Адвокат — превосходный старик — пользовался, вследствие преклонного своего возраста и многочисленных добродетелей, единственной подушкой, имевшейся на палубе, и лежал на единственном нашем пледе. Бухгалтер уже извлек коробку с домино и забавлялся, возводя строения из костяных плиток. Марлоу сидел скрестив ноги и прислонившись спиной к бизань-мачте. У него были впалые щеки, желтый цвет лица, прямой торс и аскетический вид; сидя с опущенными руками и вывернутыми наружу ладонями, он походил на идола. Директор, убедившись, что якорь хорошо держит, вернулся на корму и присоединился к нам. Лениво обменялись мы несколькими словами. Затем молчание спустилось на борт яхты. Почему-то мы не стали

играть в домино. Мы были задумчивы и пребывали в благодушно-созерцательном настроении. День безмятежно догорал в ослепительном блеске. Мирно сверкала вода; небо, не запятнанное ни одним облачком, было залито благостным и чистым светом; даже туман над болотами Эссекса был похож на сияющую и тонкую ткань, которая, спускаясь с лесистых холмов, прозрачными складками драпировала низменные берега. Но на западе, вверх по течению реки, мрак сгущался с каждой минутой, как бы раздраженный приближением солнца.

И наконец, незаметно свершая свой путь, солнце коснулось горизонта и из пылающего, белого превратилось в тусклый красный шар, лишенный лучей и тепла, как будто этот шар должен был вот-вот угаснуть, пораженный насмерть прикосновением мрака, нависшего над толпами людей.

Сразу изменился вид реки, блеск начал угасать, а тишина стала еще глубже. Старая широкая река, не тронутая рябью, покоилась на склоне дня после многих веков верной службы людям, населявшим ее берега; она раскинулась невозмутимая и величественная, словно водный путь, ведущий к самым отдаленным уголкам земли.

Мы смотрели на могучий поток и видели его не в ярком сиянии короткого дня, который загорается и угасает навеки, но в торжественном свете немеркнущих воспоминаний. И действительно, человеку, который с благоговением и любовью, как принято говорить, «отдал себя морю», нетрудно воскресить в низовьях Темзы великий дух прошлого. Поток, вечно несущий свою службу, хранит воспоминания о людях и судах, которые поднимались вверх по течению, возвращаясь домой на отдых, или спускались к морю, навстречу битвам. Река служила всем людям, которыми гордится нация, — знала всех, начиная от сэра Фрэнсиса Дрейка и кончая сэром Джоном Франклином; то были рыцари, титулованные и нетитулованные, — великие рыцари — бродяги морей. По ней ходили все суда, чьи имена, словно драгоценные камни, сверкают в ночи веков, — все суда, начиная с «Золотой лани» с круглыми боками, которая набита была сокровищами и после визита королевы выпала из славной легенды, и кончая «Эребом» и «Ужасом», стремившимися к иным завоеваниям и так и не пришедшими назад. Река знала суда и людей; они выходили из Дэтфорда, из Гринвича, из Эрита — искатели приключений и колонисты, воен-

ные корабли и торговые капитаны, адмиралы, неведомые контрабандисты восточных морей и эмиссары, «генералы» Восточного индийского флота. Те, что искали золота, и те, что стремились к славе, — все они спускались по этой реке, держа меч и часто — факел, посланцы власти внутри страны, носители искры священного огня.

Солнце зашло, сумерки спустились на реку, и вдоль берега начали загораться огни. На тинистой отмели ярко светил маяк Чепмен, поднимающийся словно на трех лапах. Огни судов скользили по реке — великое перемещение огней, которые приближались и удалялись. А дальше, на западе, чудовищный город все еще был отмечен зловещей тенью на небе — днем отмечало его сумрачное облако, а ночью — багровый отблеск под сверкающими звездами.

— И здесь тоже был один из мрачных уголков земли, — сказал вдруг Марлоу.

Из нас он был единственным, кто все еще плавал по морям. Худшее, что можно было о нем сказать, это то, что он не являлся типичным представителем своей профессии. Он был моряком, но вместе с тем и бродягой, тогда как большинство моряков ведет, если можно так выразиться, оседлый образ жизни. По натуре своей они —

домоседы, и их дом — судно — всегда с ними, а также и родина их — море. Все суда похожи одно на другое, а море всегда одно и то же. На фоне окружающей обстановки, которая никогда не меняется, чужие берега, чужие лица, изменчивый лик жизни скользят мимо, завуалированные не ощущением тайны, но слегка презрительным неведением, ибо таинственным для моряка является только море — его владыка, — море, неисповедимое, как сама судьба. После рабочего дня случайная прогулка или пирушка на берегу открывает моряку тайну целого континента, и обычно моряк приходит к тому заключению, что эту тайну не стоило открывать. Рассказы моряков отличаются простотой, и смысл их как бы заключен в скорлупу ореха. Но Марлоу не был типичным представителем моряков (если исключить его любовь сочинять истории), и для него смысл эпизода заключался не внутри, как ядрышко ореха, но в тех условиях, какие вскрылись благодаря этому эпизоду: так благодаря призрачному лунному свету становятся иногда видимы туманные кольца.

Замечание его никому не показалось странным. Это было так похоже на Марлоу. Его выслушали в молчании. Никто не потрудился хотя бы провор-

чать что-нибудь в ответ. Наконец он заговорил очень медленно:

— Я думал о тех далеких временах, когда впервые появились здесь римляне, тысяча девятьсот лет назад… вчера… Свет, скажете вы, загорелся на этой реке во времена рыцарей? Да, но он был похож на пламя, разлившееся по равнине, на молнию в тучах. Мы живем при вспышке молнии — да не погаснет она, пока движется по орбите наша старая Земля! Но вчера здесь был мрак. Представьте себе настроение командира красивой… как они называются?.. ах да!.. триремы в Средиземном море, который внезапно получил приказ плыть на север. Он едет сушей, спешно пересекает земли галлов и принимает командование одним из тех судов, которые, если верить книгам, строились сотней легионеров в течение одного-двух месяцев… Какими ловкими парнями были, должно быть, эти люди!.. Представьте себе, что этот командир явился сюда, на край света… Море свинцовое, небо цвета дыма, судно неуклюжее, как концертино, а он поднимается вверх по реке, везет приказы, или товары, или… что хотите. Песчаные отмели, болота, леса, дикари… очень мало еды, пригодной для цивилизованного человека, и нет ничего, кроме воды из Темзы, что-

бы утолить жажду. Здесь нет фалернского вина, нельзя сойти на берег. Кое-где виднеется военный лагерь, затерявшийся в глуши как иголка в стоге сена. Холод, туман, бури, болезни, изгнание и смерть — смерть, притаившаяся в воздухе, в воде, в кустах. Должно быть, здесь люди умирали как мухи. И все-таки он это вынес. Вынес молодцом, не тратя времени на размышления, и только впоследствии хвастался, быть может, вспоминая все, что пришлось ему перенести. Да, то были люди достаточно мужественные, чтобы заглянуть в лицо мраку. Пожалуй, его поддерживала надежда выдвинуться, попасть во флот в Равенне, если найдутся в Риме добрые друзья и если пощадит его ужасный климат. И представьте себе молодого римлянина из хорошей семьи, облаченного в тогу. Он, знаете ли, слишком увлекался игрой в кости и, чтобы поправить свои дела, прибыл сюда в свите префекта, сборщика податей или купца. Он высадился среди болот, шел через леса и на какой-нибудь стоянке в глубине страны почувствовал, как глушь смыкается вокруг него, ощутил биение таинственной жизни в лесу, в джунглях, в сердцах дикарей. В эти тайны не могло быть посвящения. Он обречен жить в окружении, недоступном пониманию, что само по

себе отвратительно. И есть в этом какое-то очарование, которое дает о себе знать. Чарующая сила в отвратительном. Представьте себе его нарастающее сожаление, желание бежать, беспомощное омерзение, отказ от борьбы, ненависть…

Марлоу умолк.

— Заметьте… — заговорил он снова, поднимая руку, обращенную к нам ладонью, и походя в этой позе, со скрещенными ногами, на проповедующего Будду, одетого в европейский костюм и лишенного цветка лотоса. — Заметьте: никому из нас эти чувства не доступны. Нас спасает сознание целесообразности, верное служение целесообразности. Но этим парням не на что было опереться. Колонизаторами они не были. Боюсь, что административные их меры были направлены лишь на то, чтобы побольше выжать. Они были завоевателями, а для этого нужна только грубая сила, — хвастаться ею не приходится, ибо она является случайностью, возникшей как результат слабости других людей. Они захватывали все, что могли захватить, и делали это исключительно ради наживы. То был грабеж, насилие и избиение в широком масштабе, и люди шли на это вслепую, как и подобает тем, что хотят помериться силами с мраком. Завоевание

земли — большей частью оно сводится к тому, чтобы отнять землю у людей, которые имеют другой цвет кожи или носы более плоские, чем у нас, — цель не очень-то хорошая, если поближе к ней присмотреться. Искупает ее только идея, идея, на которую она опирается, — не сентиментальное притворство, но идея. И бескорыстная вера в идею — нечто такое, перед чем вы можете преклоняться и приносить жертвы.

Марлоу прервал свою речь. Огни скользили по реке — маленькие огоньки, зеленые, красные, белые; они преследовали друг друга, догоняли, сливались, потом снова разъединялись медленно или торопливо. В сгущающемся мраке движение на бессонной реке не прекращалось. Мы смотрели и терпеливо ждали — больше нечего было делать, пока не окончится прилив; но после долгого молчания, когда он нерешительно сказал: «Думаю, вы, друзья, помните, что однажды я сделался ненадолго моряком пресных вод», мы поняли, что до начала отлива нам предстоит прослушать одну из неубедительных историй Марлоу.

— Я не хочу надоедать вам подробностями, касающимися того, что случилось со мной лично, — начал он, проявляя в этом замечании

слабость многих рассказчиков, которые частенько не знают, чего хочет от них аудитория. — Но чтобы понять, какое впечатление это на меня произвело, вы должны знать, как я туда попал, что я там видел, как поднялся по реке к тому месту, где впервые встретил бедного парня. То был конечный пункт, куда можно было проехать на пароходе, и там была кульминационная точка моих испытаний; когда я ее достиг, свет озарил все вокруг меня и проник в мои мысли; происшествие было довольно мрачное… и печальное… ничем особенно не примечательное… и туманное. Но каким-то образом оно пролило луч света.

Если вы помните, я тогда только что вернулся в Лондон после долгого плавания в Индийском и Тихом океанах и в Китайском море. Восток я принял в хорошей дозе — провел там около шести лет. Вернувшись, я бродил без дела, мешая вам, друзья мои, работать и врываясь в ваши дома так, словно небо поручило мне призвать вас к цивилизации. Сначала мне это очень нравилось, но спустя некоторое время я устал отдыхать. Тогда я начал присматривать судно — труднейшая, скажу я вам, работа. Но ни одно судно даже смотреть на меня не хотело. И эта игра мне тоже надоела.

Когда я был мальчишкой, я страстно любил

географические карты. Часами я мог смотреть на Южную Америку, Африку или Австралию, упиваясь славой исследователя. В то время немало было белых пятен на Земле, и, когда какой-нибудь уголок на карте казался мне особенно привлекательным (впрочем, привлекательными были все глухие уголки), я указывал на него пальцем и говорил: «Вырасту и поеду туда». Помню, одним из таких мест был Северный полюс. Впрочем, я там не бывал и теперь не собираюсь туда ехать. Очарование исчезло. Другие уголки были разбросаны у экватора и во всех широтах обоих полушарий. Кое-где я побывал и… но не будем об этом говорить. Остался еще один уголок — самое большое и самое, если можно так выразиться, белое пятно, — куда я стремился.



Правда, теперь его уже нельзя было назвать неисследованным: за время моего отрочества его испещрили названия рек и озер. Он перестал быть неведомым пространством, окутанным тайной, — белым пятном, заставлявшим мальчика мечтать о славе. Он сделался убежищем тьмы. Но была там одна река, могучая, большая река, которую вы можете найти на карте, — она похожа на огромную змею, развернувшую свои кольца; голова ее опущена в море, тело извивается по широкой стране, а хвост теряется где-то в глубине страны. Стоя перед витриной, я смотрел на карту, и река очаровывала меня, как змея зачаровывает птицу — маленькую глупенькую птичку. Потом я вспомнил о существовании крупного коммерческого предприятия — фирмы, ведущей торговлю на этой реке. «Черт возьми! — подумал я. — Они не могли бы торговать, если б не было у них каких-нибудь судов, пароходов, которые ходят по этой реке! Почему бы мне не добиться командования одним из пароходов?» Я шел по Флит-стрит и не мог отделаться от этой мысли. Змея меня загипнотизировала.

Да будет вам известно, что эта торговая фирма находилась на континенте, но у меня есть множество родственников, проживающих на

континенте, ибо жизнь там, по их словам, дешева и менее отвратительна, чем принято думать.

Со стыдом признаюсь, что я начал им надоедать. Уже в этом была для меня новизна. Как вам известно, таким путем я не привык действовать. Я шел всегда своей дорогой, шел самостоятельно туда, куда хотел идти. Раньше я не подозревал, на что я способен, но, видите ли, теперь я чувствовал, что должен туда попасть во что бы то ни стало. Итак, я им надоедал. Мужчины говорили: «Дорогой мой!» — и ничего не делали. Тогда — поверите ли? — я обратился к женщинам. Я, Чарли Марлоу, заставил женщин добывать для меня место. О господи! Но я был одержим навязчивой идеей. У меня была тетка, славная энтузиастка. Она мне написала: «Это будет очаровательно. Я готова для тебя сделать все, что угодно. Блестящая идея. Я знакома с женой одного видного администратора, человека, пользующегося большим влиянием…» и т. д., и т. д. Она готова была перевернуть небо и землю, чтобы раздобыть для меня место шкипера на речном пароходе, раз таково мое желание.

Конечно, место я получил — и очень скоро. Оказывается, фирму известили о том, что один из капитанов убит в стычке с туземцами. Таким об-

разом, мне представился удобный случай, и тем сильнее захотелось мне туда поехать. Лишь много месяцев спустя, когда я сделал попытку разыскать останки убитого, мне сообщили, что ссора возникла из-за куриц. Да, из-за двух черных куриц! Датчанин Фрэслевен — так звали капитана — вообразил, что его обсчитали, и, сойдя на берег, начал дубасить палкой старшину деревушки. О, это меня нисколько не удивило, хотя, по слухам, Фрэслевен был самым кротким и смирным созданием. Несомненно, так оно и было; но он, знаете ли, уже провел два года в служении благородной идее и, должно быть, чувствовал потребность так или иначе поддержать свое достоинство. Поэтому он безжалостно колотил старого негра на глазах устрашенной толпы туземцев, пока какой-то парень — кажется, сын старшины, — доведенный до отчаяния воем старика, не попытался метнуть копье в белого человека. Конечно, оно вонзилось между лопатками. Тогда все население в ожидании всевозможных несчастий устремилось в лес, а на пароходе Фрэслевена тоже началась паника, и пароход отчалил; насколько мне известно, командование взял на себя механик. Впоследствии никто, видимо, не позаботился об останках Фрэслевена, пока я не явился и не занял его места.

Я не мог предать дело забвению, но, когда мне представился наконец случай повстречаться с моим предшественником, трава, проросшая между ребрами, была достаточно высока, чтобы скрыть скелет. Все кости остались на своем месте. После его падения никто не прикасался к сверхъестественному существу. И деревня была покинута; черные подгнившие хижины покосились за упавшим частоколом. Поистине, бедствие постигло деревню. Население исчезло. Охваченные ужасом мужчины, женщины и дети скрылись в зарослях и так и не вернулись. Мне неизвестно, какая судьба постигла кур. Однако я склонен думать, что они достались служителям прогресса. Как бы то ни было, но благодаря этому славному подвигу я получил место раньше, чем начал по-настоящему надеяться на получение его.

Я метался как сумасшедший, чтобы поспеть вовремя; не прошло и сорока восьми часов, как я уже переплывал канал, чтобы явиться к моим патронам и подписать договор. Через несколько часов я прибыл в город, который всегда напоминает мне гроб повапленный. Несомненно, это предубеждение. Я без труда разыскал контору фирмы. То было крупнейшее предприятие в

городе, и все, кого бы я ни встречал, одинаково отзывались о нем. Фирма собиралась эксплуатировать страну, лежащую за морем, и извлекать из нее сумасшедшие деньги.



Узкая и безлюдная улица, густая тень, высокие дома, бесчисленные окна с жалюзи, мертвое молчание, трава, проросшая между камнями, справа и слева величественные ворота, огромные

массивные двери, оставленные полуоткрытыми. Я пролез в одну из этих щелей, поднялся по лестнице, чисто выметенной, не застланной ковром и наводящей на мысль о бесплодной пустыне, и открыл первую же дверь. Две женщины — одна толстая, другая худая — сидели на стульях с соломенными сиденьями и что-то вязали из черной шерсти. Худая женщина встала и, не переставая вязать, двинулась с опущенными глазами прямо на меня; я уже хотел посторониться, уступая ей дорогу, словно она была сомнамбулой, но как раз в этот момент она остановилась и подняла глаза. Платье на ней было гладкое, как чехол зонтика; не говоря ни слова, она повернулась и повела меня в приемную. Я назвал свое имя и осмотрелся по сторонам. Посередине стоял сосновый стол, вдоль стен выстроились простые стулья, а в конце комнаты висела большая карта, расцвеченная всеми цветами радуги. Немало места было уделено красной краске — на нее во всякое время приятно смотреть, ибо знаешь, что в отведенных ей местах люди делают настоящее дело, — много было голубых пятен, кое-где виднелись зеленые и оранжевые, а пурпурная полоса на восточном берегу указывала, что здесь славные пионеры прогресса распивают славное мартовское пиво.

Но не в эти края собирался я ехать — мне предназначено было желтое пространство. В самом центре. И река была здесь — чарующая, смертоносная, как змея. Брр!..

Открылась дверь, показалась седовласая голова секретаря. Он посмотрел на меня сочувственно и костлявым указательным пальцем поманил в святилище. Там было мало света; посредине расположился тяжелый письменный стол. За этим монументом сидел кто-то бледный и толстый, одетый в сюртук. Великий человек собственной своей персоной! Поскольку я мог судить, ростом он был пять футов шесть дюймов, а в кулаке своем держал несколько миллионов. Кажется, мы обменялись рукопожатием, он что-то пробормотал и остался доволен моим французским языком. Bon voyage[1].

Секунд через сорок пять я снова очутился в приемной в обществе сострадательного секретаря, который с унылым и сочувственным видом дал мне подписать какую-то бумагу. Кажется, я, помимо прочих обязательств, дал обещание не разглашать коммерческих тайн. Ну что ж, я и не собираюсь это делать…

---

[1] Примечания: 1
Удачного путешествия *(фр.)*.

Я начал чувствовать себя неловко. Как вы знаете, я не привык к таким церемониям, а в воздухе было что-то зловещее. Казалось, меня приобщили к какому-то тайному и не вполне честному заговору, и я был рад выбраться отсюда. В первой комнате две женщины лихорадочно что-то вязали из черной шерсти. Приходили люди, и младшая из них сновала взад и вперед, показывая им дорогу. Старуха же сидела на своем стуле. Ее ноги в матерчатых туфлях упирались в ножную грелку, а на коленях у нее лежала кошка. На голову она надела что-то накрахмаленное, белое, на щеке виднелась бородавка, а очки в серебряной оправе сползли на кончик носа. Она посмотрела на меня поверх очков. Этот беглый, равнодушный, спокойный взгляд смутил меня. Вошли двое молодых людей с глуповатыми веселыми физиономиями, и она окинула их тем же бесстрастным и мудрым взглядом. Казалось, ей все известно и о них, и обо мне. Я смутился. В ней было что-то жуткое, роковое. Впоследствии я часто вспоминал этих двух женщин, которые охраняют врата тьмы и словно вяжут теплый саван из черной шерсти; одна все время провожает людей в неведомое, другая равнодушными старческими глазами всматривается в веселые

глуповатые лица. Ave, старая вязальщица черной шерсти! Morituri te salutant[2]. Немногие из тех, на кого она смотрела, увидели ее еще раз…

Оставалось еще нанести визит доктору. «Простая формальность», — успокоил меня секретарь, казалось деливший со мною мои горести. Вскоре какой-то молодой человек, в шляпе, надвинутой на левую бровь, — клерк, решил я, ибо должны были быть здесь и клерки, хотя дом казался безмолвным, как город мертвых, — спустился с верхнего этажа и повел меня дальше. Одет он был неопрятно и небрежно, рукава куртки были запятнаны чернилами, широкий, пышный галстук красовался под подбородком, который формой своей походил на носок старого сапога. Для визита к доктору было еще слишком рано, и потому я предложил ему пойти чего-нибудь выпить. Он сразу развеселился. Когда мы уселись перед рюмками вермута, он начал восхвалять дела фирмы, а я выразил свое удивление по поводу того, что он не собирается туда проехаться. Тотчас же он стал сдержанным и холодным.

— «Я не так глуп, как это кажется», сказал Платон своим ученикам, — произнес он сен-

[2] Примечания: 2
Идущие на смерть приветствуют тебя *(лат.)*.

тенциозно, допил с решительным видом свой вермут, и мы встали.

Старик-доктор пощупал мне пульс, думая, видимо, о чем-то другом.

— Так-так… прекрасно, — пробормотал он, а затем, вдруг оживившись, попросил разрешения измерить мой череп. Несколько удивленный, я дал свое согласие; тогда он извлек какой-то инструмент, напоминавший калиберный кронциркуль, и снял мерку спереди, сзади и со всех сторон, заботливо отмечая результаты измерений. Доктор был небритым маленьким человечком в поношенном сюртуке, похожем на длиннополый кафтан; на ногах у него были туфли, и он произвел на меня впечатление безобидного идиота.

— В интересах науки я всегда прошу разрешения измерить черепа тех, кто туда отправляется, — сказал он.

— И вы делаете то же, когда они возвращаются? — спросил я.

— О, мне больше не приходится с ними встречаться, — заметил он. — А кроме того, перемены происходят внутри.

Он улыбнулся с таким видом, словно мило пошутил.

— Итак, вы туда едете. Замечательно. И очень интересно.

Он бросил на меня испытующий взгляд и сделал еще какую-то отметку.

— Бывали ли случаи помешательства в вашей семье? — осведомился он деловито.

Я рассердился:

— Этот вопрос вы тоже задаете в интересах науки?

— С научной точки зрения, — сказал он, не обращая внимания на мое раздражение, — любопытно было бы наблюдать там, на месте, психическую перемену, происходящую в индивидууме, но…

— Вы психиатр? — перебил я.

— Каждый врач должен быть им — до известной степени, — невозмутимо ответил этот оригинал. — У меня есть одна теория, которую вы, господа, отправляющиеся в эти страны, должны мне помочь доказать. Моя страна пожнет плоды, владея такой прекрасной колонией, и я хочу внести свою долю. Богатство я предоставляю другим. Простите мне эти вопросы, но вы — первый англичанин, какого мне пришлось наблюдать…

Я поспешил его заверить, что отнюдь не являюсь типичным англичанином.

— А то бы я не стал с вами так разговаривать, — добавил я.

— То, что вы говорите, довольно глубокомысленно и, по всей вероятности, неверно, — сказал он со смехом. — Раздражения избегайте еще в большей степени, чем солнцепека. Прощайте. Как это вы, англичане, говорите? Goodbye. Ах да, goodbye. Прощайте. На тропиках прежде всего нужно сохранять спокойствие... — Он многозначительно поднял указательный палец. — Du calme, du calme[3]. Прощайте.

Теперь мне оставалось только попрощаться с моей превосходной теткой. Она торжествовала. Я выпил у нее чашку чая — то была последняя чашка приличного чая на многие-многие дни! В комнате, которая, действуя успокоительно, отвечала всем требованиям, какие вы предъявляете к гостиной леди, мы долго и мирно беседовали у камина. Во время этой конфиденциальной беседы выяснилось для меня, что я был рекомендован жене высокого сановника (и скольким еще лицам — одному богу известно!) как существо исключительно одаренное — счастливая находка для фирмы! — как один из тех людей, которых

---

[3] Примечания: 3
Спокойствие, спокойствие *(фр.)*.

вам не всякий день приходится встречать. А ведь я-то собирался командовать дешевеньким речным пароходом, украшенным грошовой трубой! Выяснилось также, что я буду одним из работников с прописной, видите ли, буквы. Что-то вроде посланника неба или апостола в меньшем масштабе. То было время, когда обо всей этой чепухе распространялись и устно, и в печати, а славная женщина, наслушавшись таких речей, потеряла голову. Она толковала о «миллионах несведущих людей и искоренении ужасных их обычаев», и кончилось тем, что я почувствовал смущение. Я рискнул намекнуть, что, в конце концов, фирма поставила себе целью собирать барыши.

— Вы забываете, милый Чарли, что по работе и заработок, — весело отозвалась она. Любопытно, до какой степени женщины далеки от реальной жизни. Они живут в мире, ими же созданном, и ничего похожего на этот мир никогда не было и быть не может. Он слишком великолепен, и, если бы они сделали его реальным, он бы рухнул еще до заката солнца. Один из тех злополучных фактов, с которыми мы, мужчины, миримся со дня творения, дал бы о себе знать и разрушил всю постройку.

Затем тетка меня поцеловала, попросила но-

сить фланелевое белье, писать почаще, дала еще кое-какие наставления, и я ушел. На улице я — не знаю почему — почувствовал себя шарлатаном. Странное дело: принимая какое-либо решение, я привык через двадцать четыре часа ехать в любую часть света, размышляя при этом не больше, чем размышляет человек, собирающийся перейти через улицу, но теперь я на секунду, не скажу — поколебался, но как бы боязливо приостановился перед этим самым обычным путешествием. Чтобы объяснить вам свое состояние, скажу, что секунду-другую я чувствовал себя так, словно ехал не вглубь континента, но собирался проникнуть к центру Земли.

Я отплыл на французском пароходе, который заходил во все жалкие порты, какие у них там имеются, с единственной, поскольку я мог судить, целью высадить в этих портах солдат и таможенных чиновников. Я смотрел на берега. Созерцание берегов, мимо которых проплывает судно, имеет что-то общее с размышлениями о тайне. Берег тянется перед вашими глазами, улыбающийся или нахмуренный, влекущий, величественный, или жалкий и скучный, или дикий, но всегда безмолвный и в то же время как бы нашептывающий: «Приди и разгадай!» Здесь берег был

расплывчатый, словно еще недоделанный, однообразный и угрюмый. Граница бескрайних зарослей — темно-зеленых, почти черных, обрамленных белой пеной прибоя — тянулась прямо, как по линейке, вдоль сверкающего синего моря, подернутого ползучим туманом. Яростно жгло солнце, земля, казалось, светилась и испускала пар. Кое-где за белой полосой прибоя виднелись серовато-белые пятна и развевающийся над ними флаг. То были старые поселки, основанные несколько веков назад, но по сравнению с девственным пространством в глубине континента были они с булавочную головку.

Мы продвигались медленно, останавливались, высаживали солдат, снова отправлялись в путь, высаживали таможенных чиновников, которые должны были взимать пошлину в цинковых сараях, затерянных в этой глуши. Снова высаживали мы солдат, должно быть для того, чтобы они охраняли таможенных чиновников. Я узнал, что несколько человек утонуло в волнах прибоя, но, казалось, никто не придавал этому значения. Мы просто выбрасывали людей на берег и шли дальше. Каждый день мы видели все тот же берег, словно стояли на одном месте, но позади осталось немало портов — торговые станции — с

такими названиями, как Большой Бассам или Маленький Попо; эти имена, казалось, взяты были из жалкого фарса, разыгрывавшегося на фоне мрачного занавеса.

Мое безделье как пассажира, одиночество мое среди всех этих людей, с которыми у меня не было точек соприкосновения, маслянистое и сонное море, однообразный темный берег — словно преграждали мне путь к реальности вещей, заслоняя ее тягостной и бессмысленной фантасмагорией. Доносившийся изредка шум прибоя доставлял подлинную радость, словно речь брата. Это было что-то естественное, имеющее причину и смысл. Иногда лодка, отчалившая от берега, давала на секунду возможность соприкоснуться с реальностью. Гребцами в ней были черные парни. Издали вы могли видеть, как сверкали белки их глаз. Они кричали, пели; пот струйками сбегал по телу; лица их напоминали гротескные маски; но у них были кости и мускулы, в них чувствовалась необузданная жизненная сила и напряженная энергия, и это было так же естественно и правдиво, как шум прибоя у берега. Чтобы объяснить свое присутствие, они не нуждались в оправдании. Их вид действовал успокоительно. Я чувствовал, что все еще нахожусь в мире

непреложных фактов, но это ощущение было мимолетно, — всегда что-нибудь его рассеивало.

Помню, однажды мы увидели военное судно, стоявшее на якоре у берега. Здесь не было ни одного шалаша, и тем не менее с судна обстреливали заросли. Видимо, в этих краях французы вели одну из своих войн. Флаг на мачте обвис, как тряпка; над низким корпусом торчали жерла длинных шестидюймовых орудий; маслянистые, грязные волны лениво поднимали и опускали судно, раскачивая его тонкие мачты. Вокруг не было ничего, кроме земли, неба и воды, однако загадочное судно обстреливало континент. Бум!.. грохнуло одно из шестидюймовых орудий, мелькнуло и исчезло маленькое пламя, рассеялся белый дымок, слабо просвистел маленький снаряд и… ничего не случилось. Ничего и не могло случиться. Что-то безумное было во всей этой процедуре, что-то похоронное и комедийное, и впечатление это не рассеялось, когда кто-то на борту серьезнейшим образом заверил меня, что где-то здесь, скрытый от наших глаз, находится лагерь туземцев. Их он назвал врагами!

Мы передали письма на это одинокое судно (я слышал, что люди на борту умирали от лихорадки — по три человека в день) и продолжали путь.

Заглянули еще в несколько портов с названиями, заимствованными из фарсов. Там, в душном, насыщенном песком воздухе, каким дышат в жарких катакомбах, шла веселая пляска коммерции и смерти вдоль бесформенных берегов, окаймленных гибельными волнами прибоя, — словно природа старалась преградить дорогу незваным гостям. То же происходило на реках и в их устьях — там, где берега превращались в грязь, где илистые воды заливали искривленные мангровые деревья, которые, казалось, корчились перед нами в бессильном отчаянии. Нигде не делали мы длительных остановок, и не было отчетливых впечатлений, но постепенно мною овладевало неясное и томительное удивление. Это походило на однообразное скитание по стране кошмаров.

Только через тридцать дней увидел я устье большой реки. Мы бросили якорь против здания правительственных учреждений. Но работа ждала меня не здесь, а дальше, на расстоянии двухсот миль отсюда. Вот почему при первой же возможности я отправился в местечко, расположенное на тридцать миль дальше, вверх по течению реки.

Ехал я на маленьком морском пароходе. Капитан его, швед, зная, что я моряк, пригласил меня

на мостик. Это был молодой человек с прилизанными волосами, худой, белокурый и мрачный; ходил он шаркая ногами. Когда мы отчалили от маленькой, жалкой пристани, он презрительно мотнул головой в сторону берега.

— Пожили здесь? — спросил он.

Я отвечал утвердительно.

— Недурное сборище эти чиновники, не правда ли? — продолжал он с горечью, старательно выговаривая английские слова. — Любопытно, какую работу берут на себя люди за несколько франков в месяц. Я задаю себе вопрос, каково им приходится, когда они попадают вглубь страны.

Я сказал ему, что в самом непродолжительном времени надеюсь это узнать.

— Вот как! — воскликнул он и прошелся по мостику, шаркая ногами и зорко посматривая вперед. — Не очень-то будьте уверены… Недавно я вез одного человека, который дорóгой повесился. Он тоже был швед.

— Повесился! Боже мой! Но почему? — вскричал я.

Капитан не сводил глаз с реки:

— Кто знает? Быть может, солнце его одолело… или эта страна.

Наконец река стала шире. Показались насы-

пи у берега, скалистый утес, дома на холме и другие строения с железными крышами, прилепившиеся к склонам холма или рассеянные среди рытвин. Над этой картиной разрушения стоял неумолчный шум, так как дальше, вверх по течению, были на реке пороги. Люди, большей частью чернокожие и нагие, копошились, словно муравьи. В реку врезалась дамба. Иногда ослепительный солнечный свет словно смывал всю эту картину.



— Вот где помещается ваша фирма, — сказал швед, указывая на три деревянных казарменного вида строения на склоне утеса. — Я отправлю туда ваши вещи. Четыре сундука? Отлично. До свидания.

Я наткнулся на котел, лежавший в траве, потом разыскал тропинку, которая вела на холм. Она извивалась, уступая место каменным глыбам, а также маленькой железнодорожной вагонетке, перевернутой колесами вверх. Одного колеса не было. Вагонетка казалась мертвой, похожей на скелет какого-то животного. Я нашел отдельные части машины и сваленные в кучу заржавленные рельсы. Слева группа деревьев отбрасывала тень, и там как будто двигались темные предметы. Я приостановился; тропинка была крутая. Справа затрубили в рог, и я увидел бегущих чернокожих. Раздался заглушенный гул, удар сотряс землю, облако дыма поднялось над утесом, и тем дело и кончилось. Вид скалы нимало не изменился. Они прокладывали железную дорогу. Утес нисколько им не мешал, но, кроме этих бесцельных взрывов, никакой работы не производилось.

За моей спиной послышалось тихое позвякиванье, заставившее меня оглянуться. Шестеро чернокожих гуськом поднимались по тропин-

ке. Они шли медленно, каждый нес на голове небольшую корзинку с землей, а тихий звон совпадал с ритмом их шагов. Черные тряпки были обмотаны вокруг их бедер, а короткий конец тряпки болтался сзади, словно хвостик. Я мог разглядеть все ребра и суставы, выдававшиеся, как узлы на веревке. У каждого был надет на шее железный ошейник, и все они были соединены цепью, звенья которой висели между ними и ритмично позвякивали. Новый взрыв и гул, донесшийся с утеса, напомнили мне военное судно, обстреливавшее берег. То был такой же зловещий шум, но при самой пылкой фантазии нельзя было назвать этих людей врагами. Их называли преступниками, и оскорбленный закон, подобно разрывающимся снарядам, явился к ним, словно необъяснимая тайна, с моря. Тяжело дышали эти худые груди, трепетали раздутые ноздри, глаза тупо смотрели вверх. Они прошли на расстоянии нескольких дюймов от меня, не глядя в мою сторону, с невозмутимым, мрачным равнодушием, свойственным несчастным дикарям. За этими первобытными созданиями уныло шествовал один из обращенных — продукт, созданный новыми силами. Он нес ружье, которое держал за середину ствола. На форменном его кителе не

хватало одной пуговицы. Заметив на тропинке белого человека, он торопливо вскинул ружье на плечо. То была мера предосторожности: издали все белые похожи друг на друга, и он не мог решить, кто я такой. Вскоре он успокоился, лукаво ухмыльнулся, показывая большие белые зубы, и бросил взгляд на вверенное ему стадо, словно обращая мое внимание на свою высокую миссию. В конце концов, я тоже участвовал в этом великом деле, требовавшем проведения столь благородных и справедливых мер.

Вместо того чтобы подняться на холм, я свернул налево и стал спускаться. Мне хотелось, чтобы скрылись из виду эти люди, которых вели на цепи. Как вам известно, меня нельзя назвать особенно мягкосердечным: мне случалось наносить удары и защищаться. Я отражал нападение, а иногда сам нападал — что является одним из способов защиты, — не особенно размышляя о ценности той жизни, на которую я посягал. Я видел демона насилия и демона алчности, но, клянусь небом, то были сильные, дюжие, красноглазые демоны, а распоряжались и командовали они людьми — людьми, говорю вам! Теперь же, стоя на склоне холма, я понял, что в этой стране, залитой ослепительными лучами солнца, мне

предстоит познакомиться с вялым, лицемерным, подслеповатым демоном хищничества и холодного безумия. Каким он мог быть коварным, я узнал лишь несколько месяцев спустя на расстоянии тысячи миль от этого холма. Секунду я стоял устрашенный, словно мне дано было предостережение. Наконец я стал спускаться с холма, направляясь к группе деревьев.

Я обошел огромную яму, вырытую неведомо для чего на склоне холма. Это была не каменоломня и не песочная яма, а просто дыра. Быть может, существование ее объяснялось филантропическим желанием придумать какое-нибудь занятие для преступников. Затем я чуть не упал в рытвину, узкую, словно щель. Туда свалены были дренажные трубы, привезенные для поселка. Не осталось ни одной трубы, которая не была бы разбита. Бессмысленное разрушение! Наконец я приблизился к деревьям, чтобы минутку отдохнуть в тени. Но не успел я войти в тень, как мне почудилось, что я вступил в мрачный круг ада. Пороги были близко, и неумолчный однообразный стремительный шум слышался в унылой роще, где ни один лист не шевелился; что-то таинственное было в этом шуме, который, казалось, вызван был головокружительным полетом Земли в пространстве.

Черные скорченные тела лежали и сидели между деревьями, прислоняясь к стволам, припадая к земле, полустертые в тусклом свете; позы их свидетельствовали о боли, безнадежности и отчаянии. Снова взорвался динамит на утесе, и земля дрогнула у меня под ногами. Работа шла своим чередом. Работа! А сюда шли умирать те, кто там работал.

Они умирали медленной смертью, это было ясно. Они не были врагами, не были преступниками, теперь в них не было ничего земного, — остались лишь черные тени болезни и голода, лежащие в зеленоватом сумраке. Их доставляли со всего побережья, соблюдая все оговоренные контрактом условия; в незнакомой обстановке, получая непривычную для них пищу, они заболевали, теряли работоспособность, и тогда им позволяли уползать прочь. Эти смертники были свободны, как воздух, и почти так же прозрачны. В тени деревьев я начал различать блеск их глаз. Потом, посмотрев вниз, я увидел около своей руки чье-то лицо. Черное тело растянулось во всю длину, опираясь одним плечом о ствол дерева; медленно поднялись веки, и я увидел огромные тусклые ввалившиеся глаза; какой-то огонек, слепой, бесцветный, вспыхнул в них и медлен-

но угас. Этот человек казался молодым, почти мальчиком, но вы знаете, как трудно определить их возраст. Я ничего иного не мог придумать, как предложить ему один из морских сухарей моего славного шведа, — сухари были у меня в кармане. Пальцы медленно его сжали; человек не сделал больше ни одного движения, не взглянул на меня. Шея его была повязана какой-то белой шерстинкой. Зачем? Где он ее достал? Был ли это отличительный его знак, украшение или амулет? Или ничего не было с ней связано? На черной шее она производила жуткое впечатление — эта белая нитка, привезенная из страны, лежащей за морями.

Неподалеку от этого дерева сидели, поджав ноги, еще два костлявых угловатых существа. Один из этих двух чернокожих, с остановившимся, невыносимо жутким взглядом, уткнулся подбородком в колено; сосед его, похожий на привидение, опустил голову на колени, как бы угнетенный великой усталостью. Вокруг лежали, скорчившись, другие чернокожие, словно на картине, изображающей избиение или чуму. Пока я стоял, пораженный ужасом, один из этих людей приподнялся на руках и на четвереньках пополз к реке, чтобы напиться. Он пил, зачер-

пывая воду рукой, потом уселся, скрестив ноги, на солнцепеке, и немного спустя курчавая его голова поникла.

Мне уже не хотелось мешкать в тени, и я поспешно направился к торговой станции. Приблизившись к строениям, я встретил белого человека, одетого столь элегантно, что в первый момент я его принял за привидение. Я увидел высокий крахмальный воротничок, белые манжеты, легкий пиджак из альпака, белоснежные брюки, светлый галстук и вычищенные ботинки. Шляпы на нем не было. Волосы, гладко зачесанные и напомаженные, разделялись посередине пробором. Своей большой белой рукой он держал зонтик на зеленой подкладке. Он был изумителен, а за ухом у него торчала ручка.

Я пожал руку этому чудесному призраку и узнал, что он был главным бухгалтером фирмы, а вся бухгалтерия велась на этой станции. По его словам, он вышел на минутку «подышать свежим воздухом». Это замечание показалось мне очень странным, ибо оно наводило на мысль об усидчивой работе за конторкой. Я бы не стал упоминать о бухгалтере, если б он не был первым, кто назвал мне имя человека, неразрывно связанного с воспоминаниями об этом времени. Кроме

того, я чувствовал уважение к парню. Да, я уважал его воротнички, его широкие манжеты, его аккуратную прическу. Правда, он был похож на парикмахерскую куклу, но, несмотря на деморализующее влияние страны, он заботился о своей внешности. В этом проявлялась сила характера. Его накрахмаленные воротнички и выглаженные манишки были своего рода достижением; впоследствии я не мог удержаться, чтобы не спросить, каким образом удалось ему этого добиться. Он чуть-чуть покраснел и скромно ответил:

— Я вымуштровал одну из туземных женщин на станции. Это было нелегко. Такая работа пришлась ей не по вкусу.

Таким образом, этот человек действительно сделал какое-то дело. А кроме того, он был предан своим книгам, которые содержались в образцовом порядке.

Зато на станции неразбериха была полная — вещи в беспорядке, беспорядок в домах, путаница в головах. То и дело приходили и уходили вереницы запыленных негров с плоскими ступнями. Фабричные товары, скверные бумажные ткани, бусы и латунная проволока доставлялись в царство тьмы в обмен на драгоценную слоновую кость.

На станции мне пришлось провести десять дней — вечность! Я жил в хижине во дворе, но, спасаясь от хаоса, частенько заглядывал в контору бухгалтера. Это было дощатое строение, а доски так плохо были прилажены, что, когда бухгалтер склонялся над своей высокой конторкой, на него, от затылка до каблуков, ложились узкие полоски солнечного света. Хотя большие ставни оставались закрытыми, в комнате было светло и жарко; враждебно жужжали крупные мухи, которые не жалили, но больно кололи. Обычно я усаживался на пол, а бухгалтер в своем безупречном костюме (и даже слегка надушенный) сидел на высоком табурете и писал без устали. Иногда он вставал, чтобы размять ноги. Когда однажды в комнату внесли на раскладной кровати больного (какого-то агента, занемогшего и доставленного сюда из глубины страны), бухгалтер выразил слабое неудовольствие.

— Стоны больного, — говорил он, — отвлекают мое внимание. В этом климате очень трудно сосредоточиться и не наделать ошибок.

Однажды он заметил, не поднимая головы:

— В глубине страны вы, несомненно, встретите мистера Куртца.

На мой вопрос, кто такой мистер Куртц, он

ответил, что это один из первоклассных агентов, а заметив мой разочарованный вид, медленно произнес, кладя ручку на стол:

— Это замечательная личность.

Я стал задавать вопросы и выяснил, что мистер Куртц заведует одной из очень важных торговых станций в самом сердце страны слоновой кости.

— Он присылает сюда слоновой кости больше, чем все остальные станции, вместе взятые.

Бухгалтер снова взялся за перо. Больной чувствовал себя так скверно, что даже не стонал. Мирно жужжали мухи.

Вдруг послышался все нарастающий гул голосов и топот. Только что пришел караван. За дощатой стеной громко тараторили хриплые голоса. Все носильщики говорили одновременно, а из этого гула вырывался жалобный голос главного агента, который — в двадцатый раз за этот день — плаксиво повторял, что он умывает руки… Бухгалтер медленно встал.

— Какой шум! — сказал он. Тихонько прошел он по комнате, чтобы взглянуть на больного, и, возвращаясь на свое место, сообщил мне: — Он не слышит.

— Как! Умер? — спросил я, вздрогнув.

— Нет еще, — ответил он с величайшим спо-

койствием и мотнул головой, давая понять, что шум во дворе ему мешает. — Когда приходится вести бухгалтерские книги, доходишь до того, что начинаешь ненавидеть этих дикарей — смертельно ненавидеть.

На секунду он задумался, потом продолжал:

— Когда увидите мистера Куртца, передайте ему от меня, что здесь, — тут он бросил взгляд на свою конторку, — все идет прекрасно. Я не хочу ему писать: давая письмо нашим курьерам, вы никогда не знаете, в чьи руки оно попадет… на этой Центральной станции. — Он посмотрел на меня своими кроткими выпуклыми глазами и снова заговорил: — О, он далеко пойдет. Он скоро будет шишкой среди администраторов. Эти господа — я имею в виду правление в Европе — намерены его продвинуть.

Он вернулся к своей работе. Шум снаружи затих. Собираясь уйти, я приостановился в дверях. В комнате, где слышалось неумолчное жужжание мух, агент, которого собирались отправить на родину, лежал в жару и без сознания; бухгалтер, склонившись над столом, вносил в свои точные отчеты точные записи, а на расстоянии пятидесяти футов от двери виднелись неподвижные деревья рощи смерти.

На следующий день я наконец покинул станцию с караваном — с отрядом в шестьдесят человек. Нам предстояло пройти пешком двести миль.

Не стоит распространяться об этом путешествии. Тропинки, тропинки повсюду; сеть тропинок, раскинувшаяся по пустынной стране; тропинки в высокой траве и в траве, опаленной солнцем; тропинки, пробивающиеся сквозь заросли, сбегающие в прохладные ущелья, поднимающиеся на каменистые холмы, раскаленные от жары. И безлюдье: ни одного человека, ни одной хижины. Население давно разбежалось. Ну что ж… если б толпа таинственных негров, носителей смертоносного оружия, вздумала странствовать по дороге между Дилем и Грейвсэндом, хватая за шиворот поселян и заставляя их тащить тяжелую ношу, я думаю, понадобилось бы немного времени, чтобы опустели все окрестные фермы и коттеджи. Но здесь и жилища тоже исчезли. Все-таки мы прошли через несколько покинутых деревень. Есть что-то трогательно-детское в развалинах стен из травы.

День проходил за днем; за моей спиной раздавался топот шестидесяти босоногих негров, и каждый тащил на себе шестидесятифунтовую

ношу. Лагерь, стряпня, сон; потом снова поход. Иногда нам попадался носильщик, умерший в дороге и лежавший в высокой траве, а рядом с ним валялась его палка и пустой сосуд из тыквы. Вокруг и над нами великое молчание. Часто в тихие ночи слышался далекий бой барабанов, то затихающий, то нарастающий, — звуки жуткие, манящие, призывные, дикие и, быть может, исполненные такого же глубокого значения, как звон колоколов в христианской стране.

Однажды нам повстречался белый человек в расстегнутом форменном кителе, расположившийся на тропинке со своей вооруженной свитой — тощими занзибарами, — парень очень гостеприимный и веселый, чтобы не сказать — пьяный. Он объявил, что следит за ремонтом дорог. Не могу сказать, чтобы я видел хоть какую-нибудь дорогу или какой-нибудь ремонт, но, пройдя три мили, я буквально наткнулся на тело пожилого негра, убитого пулей, попавшей ему в лоб; быть может, это и свидетельствовало о мерах, предпринятых для улучшения дорог. Со мной был спутник — белый; неплохой парень, но слишком жирный и обнаруживший досадную привычку падать в обморок всякий раз, когда мы поднимались по склону раскаленного холма

и несколько миль отделяли нас от воды и тени. Раздражает, знаете ли, держать на манер зонтика вашу собственную куртку над головой человека, пока он не придет в чувство. Я не мог удержаться, чтобы не спросить его, для чего он, собственно, сюда приехал.

— Денег заработать, конечно. А вы что думали? — сказал он презрительно. Потом он заболел лихорадкой, и пришлось его нести в гамаке, подвешенном к шесту. Так как весил он больше двухсот фунтов, то я все время воевал с носильщиками. Они топтались на одном месте, разбегались, удирали по ночам... Настоящий мятеж! Как-то вечером я обратился к ним с речью на английском языке, сопровождая ее жестами, за которыми следили шестьдесят пар глаз, а на следующее утро мы отправились в путь, причем чернокожие, тащившие гамак, шли впереди. Час спустя я нашел в кустах всю поклажу — гамак, одеяла, стонущего человека. Тяжелый шест содрал бедняге кожу с носа. Парню очень хотелось, чтобы я кого-нибудь убил, но нигде не видно было даже тени носильщиков. Я вспомнил слова старого доктора: «С научной точки зрения любопытно было бы наблюдать там, на месте, перемену, происходящую в индивидууме». Я почувствовал, что

во мне пробуждается научный интерес. Впрочем, все это к делу не относится.

На пятнадцатый день я снова увидел большую реку, и мы доковыляли до Центральной станции. Она расположена была у заводи, окруженной кустарником и лесом; станция была обнесена с трех сторон старой изгородью из тростника, а с одной стороны тянулась полоса вонючей грязи. Ворот не было — вместо них в изгороди зияла дыра; достаточно было одного взгляда, чтобы понять: здесь всем распоряжается чахлый демон лени. Белые люди с длинными палками в руках лениво бродили между строениями, подходили, чтобы взглянуть на меня, а затем скрывались из виду. Один из них, дюжий вспыльчивый парень с черными усами, узнав, кто я такой, сообщил мне, не жалея слов и прибегая к ненужным отступлениям, что пароход мой покоится на дне реки. Я был как громом поражен. Что, как, почему? О, все «в порядке». «Сам начальник» при этом присутствовал. Все в полном порядке.

— Все держали себя превосходно… превосходно! Вы должны, — продолжал он, волнуясь, — сейчас же повидаться с начальником. Он ждет!

Тогда я не понял подлинного значения этой катастрофы. Думаю, что теперь я понимаю… хотя

отнюдь не уверен. Когда я об этом размышляю, происшествие кажется мне слишком нелепым, чтобы быть естественным… А впрочем… но в тот момент я к этому отнесся просто как к досадной помехе. Пароход затонул. Два дня назад они, внезапно всполошившись, отправились на пароходе вверх по реке. Начальник торговой станции находился на борту, а кто-то вызвался исполнять обязанности шкипера. Не прошло и трех часов, как они наскочили на камни, сорвали дно, и пароход затонул около южного берега. Я задавал себе вопрос, что мне делать теперь, когда судно мое погибло. Выяснилось, что де́ла у меня будет выше головы, так как я должен был вывудить из реки свой пароход. За это я принялся на следующий же день. Затем, доставив обломки на станцию, я взялся за починку, и на все это ушло несколько месяцев.

Любопытной оказалась первая моя встреча с начальником станции. Хотя в то утро я прошел пешком двадцать миль, он не предложил мне сесть. У этого человека была самая обыкновенная физиономия, манеры, голос. Роста он был среднего, сложен пропорционально. Пожалуй, в глазах его весьма обычного цвета было что-то необычно холодное, а взгляд его падал на вас

острый и тяжелый, как топор. Но даже в такие минуты весь его вид, казалось, противоречил впечатлению, какое производил этот взгляд. Иногда губы его складывались как-то странно — было в этом что-то мимолетное, ускользающее: улыбка не улыбка, — я ее помню, но не могу объяснить. Она появлялась помимо его воли, через секунду после того, как он договаривал фразу, появлялась в конце его речи, словно печать, скрепляющая слова и делающая банальную фразу загадочной.

Он был самым обыкновенным торговцем и с ранних лет работал в этих краях. Его слушались, однако он не внушал ни страха, ни любви, ни даже уважения. В его присутствии люди ощущали неловкость. Вот именно! Не то чтобы недоверие, а просто неловкость. Вы не можете себе представить, какое значение имеет такая… такая способность вызывать ощущение неловкости. Он не умел организовывать, проявлять инициативу или хотя бы поддерживать порядок. Это видно было по тому, в каком плачевном состоянии находилась станция. У него не было ни ума, ни образования. Почему же в таком случае занимал он этот пост? Быть может, потому, что он никогда не болел. Он служил девять лет, получая отпуск через каждые три года. Могучее здоровье само

по себе имеет большое значение там, где не выдерживает самый крепкий человек. Отправляясь на родину в отпуск, он устраивал торжественное празднество: так веселится, сойдя на берег, матрос; впрочем, сходство было только поверхностное. Это можно было угадать по тем словам, какие он бросал в разговоре. Ничего нового он не создал; он только поддерживал рутину — и этим дело ограничивалось. Но все-таки он был великим человеком, так как нельзя было угадать, чем можно обуздать его. Этого секрета он так и не выдал. Быть может, он ровно ничего собой не представлял. Такое поведение заставляло призадуматься, ибо там не было ничего, что могло бы его сдерживать.

Однажды, когда различные тропические болезни свалили с ног почти всех агентов на станции, он заявил, что «людям, сюда приезжающим, не следовало бы иметь никаких внутренних органов». Эту фразу он скрепил своей улыбкой — словно приоткрыл на секунду дверь в царство тьмы, у которой стоял на страже. Вам чудилось, что вы что-то разглядели, — но печать уже снова была наложена. Когда ему надоели обеденные ссоры, постоянно возникавшие между белыми из-за того, кому сидеть за столом на председа-

тельском месте, он приказал сделать огромный круглый стол, для которого пришлось выстроить специальный дом. В этом доме устроили столовую. Первое место было там, где он сидел; остальные места в счет не шли. Ясно было, что в этом он твердо убежден. «Учтивый», «неучтивый» — эти определения к нему не подходили. Он был флегматичен. Он разрешал своему «бою» — откормленному молодому негру с побережья — третировать белых нахально и дерзко у него на глазах.

Увидев меня, он тотчас же стал говорить. Я слишком замешкался в пути. Он не мог ждать. Пришлось поехать без меня. Нужно было посетить станции в верховьях реки. Времени и так уже прошло немало, и он не знал, кто умер, кто жив, в каком состоянии находятся дела и т. д., и т. д. На мое объяснение он не обратил ни малейшего внимания и, играя палочкой сургуча, несколько раз повторил, что положение «очень серьезно, очень серьезно». Ходят слухи, что одной из важнейших станций угрожает опасность и что начальник ее — мистер Куртц — болен. Он выразил надежду, что слухи эти ложны. Мистер Куртц… Я был утомлен и нервничал. «Черт бы побрал Куртца!» — подумал я и перебил его,

заявив, что о мистере Куртце мне говорили на побережье.

— А, значит, там о нем говорят, — прошептал он себе под нос. Потом стал меня уверять, что мистер Куртц — лучший его агент, исключительный человек и ценный работник для фирмы; таким образом, мне должно быть понятно его беспокойство. И он еще раз повторил, что очень взволнован. Действительно, он, все время ерзая на стуле, воскликнул: «Ах, мистер Куртц!» — сломал палочку сургуча и, казалось, был потрясен происшествием с пароходом. Затем он пожелал узнать, сколько времени мне понадобится, чтобы…

Я снова его перебил. Я, видите ли, был голоден, он не предложил мне сесть, и теперь злоба меня душила.

— Как я могу сказать? — воскликнул я. — Я даже не видел затонувшего судна… несколько месяцев, должно быть.

Весь этот разговор казался мне таким бессмысленным.

— Несколько месяцев, — повторил он. — Ну что ж! Скажем, через три месяца можно будет отправиться в путь. Да, три месяца… этого достаточно.

Я вылетел из его хижины (он один занимал

обмазанную глиной хижину с верандой), бормоча себе под нос свое мнение о нем. Болтун и идиот! Впоследствии я отказался от этих слов, ибо мне пришлось констатировать, что он с изумительной точностью определил срок, потребовавшийся для проведения работ.

На следующий день я взялся за дело и повернулся, так сказать, спиной к станции. Только таким образом, казалось мне, смогу я сохранить спасительную связь с реальными фактами. Все-таки иной раз мне приходилось оглядываться, и тогда я видел эту станцию и этих людей, бесцельно бродивших по залитому солнцем двору. Иногда я задавал себе вопрос, что все это значит. Они разгуливали со своими нелепыми длинными палками, словно толпа изменивших вере пилигримов, которые поддались волшебным чарам и обречены оставаться за гниющей изгородью. Слова «слоновая кость» звенели в воздухе, звучали в шепоте и вздохах. Можно было подумать, что они обращаются к ней с молитвами. Над ними, словно запах разлагающегося трупа, витал аромат нелепого хищничества. Ей-богу, в этом не было ничего похожего на реальную жизнь! А немая глушь, подступившая к этому расчищенному клочку земли, казалась мне чем-то великим и непобеди-

мым, как зло или истина, терпеливо ожидающим конца этого фантастического вторжения.

Ах, эти месяцы!.. Но не буду на них останавливаться. Случались различные события. Как-то вечером соломенный сарай, где сложены были коленкоровые и ситцевые ткани, бусы и всякая всячина, внезапно загорелся, словно мстительное пламя вырвалось из земли, чтобы истребить весь этот хлам. Я спокойно курил трубку, сидя около моего разбитого парохода, и видел, как они, освещенные заревом, прыгали и воздевали руки к небу. Усатый толстяк спустился к реке, держа в руке жестяное ведро, и стал меня уверять, что все «ведут себя превосходно, превосходно». Зачерпнув воды, он помчался назад. Я заметил, что ведро его продырявлено.

Медленно побрел я на станцию. Спешить было незачем. Сарай вспыхнул, словно коробка спичек, и ничего нельзя было поделать. Пламя рванулось к небу, заставив всех отступить, осветило все вокруг и съежилось. Сарай превратился в кучу ярко тлеющих углей. Неподалеку били какого-то негра. По слухам, он был виновником пожара. Как бы то ни было, но он отчаянно выл. Я видел позднее, в течение нескольких дней: он сидел в тени, совсем больной, и старался прийти в себя;

потом он поднялся и ушел, и немые дебри снова приняли его в свое лоно.

Выбравшись из темноты к пожарищу, я очутился за спинами двух людей, которые вели беседу. Я услышал имя Куртца, затем слова: «Воспользоваться этим печальным случаем». Одним из собеседников оказался начальник станции. Я пожелал ему доброго вечера.

— Приходилось ли вам видеть что-либо подобное, а? Это невероятно, — сказал он и отошел.

Другой остался. Это был агент первого разряда, молодой, элегантный, сдержанный, с маленькой раздвоенной бородкой и крючковатым носом. С другими агентами он держал себя высокомерно, а те, со своей стороны, утверждали что начальник станции приставил его за ними шпионить. До этого дня я не обменялся с ним и несколькими словами. Сейчас у нас завязался разговор, и мы отошли от тлеющих развалин. Он предложил мне зайти в его комнату, которая находилась в главном строении. Когда он зажег спичку, я увидел, что этот молодой аристократ не только пользуется туалетными принадлежностями в серебряной оправе, но и имеет в своем распоряжении свечу — целую свечу. В ту пору все считали, что только начальник станции имеет право пользоваться

свечами. Глиняные стены были затянуты туземными циновками; копья, ассегаи, щиты, ножи были развешаны в виде трофеев.

Мне было известно, что этому человеку поручено делать кирпичи, но на станции вы бы не нашли ни кусочка кирпича, а он провел здесь больше года… в ожидании. Кажется, для выделки кирпичей ему чего-то не хватало — не знаю чего… быть может, соломы. Во всяком случае, этого материала нельзя было здесь достать, и вряд ли его собирались прислать из Европы; таким образом, я не мог себе уяснить, чего, собственно, он ждет. Может быть, особого акта творения? Как бы то ни было, но все они чего-то ждали — все эти шестнадцать или двадцать пилигримов; честное слово, это занятие им нравилось, если судить по тому, как они к нему относились, но, насколько мне было известно, они до сих пор не дождались ничего, кроме болезней. Время они убивали ссорами и самыми нелепыми интригами. В воздухе пахло заговорами, но из этого, конечно, ничего не вышло. Заговоры были так же нереальны, как и все остальное, — как филантропические стремления фирмы, как громкие их фразы, их правление и работа напоказ. Единственным реальным чувством было желание попасть на торговую

станцию, где можно раздобыть слоновую кость и, следовательно, получить проценты. Вот почему они интриговали, злословили и ненавидели друг друга, но никто не потрудился хотя бы пошевельнуть мизинцем. Есть, в конце концов, какая-то причина, по которой люди позволяют одному украсть лошадь, тогда как другой даже поглядеть не смеет на недоуздок. Лошадь украдена. Ну что ж! Вор пошел напрямик. Быть может, он умеет ездить верхом. Но иной так посмотрит на недоуздок, что самый добродушный человек не вытерпит и даст пинка.

Я понятия не имел, почему ему вздумалось быть столь общительным, но, пока мы болтали, мне вдруг пришло в голову, что парень чего-то добивается — хочет из меня что-то вытянуть. Он все время заговаривал о Европе, о людях, которых я, по его мнению, должен был там знать, ставил наводящие вопросы о городе-гробе и т. д. Маленькие глазки его блестели, как кусочки слюды, хотя он и старался держать себя надменно.

Сначала я недоумевал, потом мне стало любопытно, что именно хочет он от меня узнать. Я не представлял себе, чем мог я его так заинтересовать, ибо в действительности ничего интересного во мне не было: меня лихорадило, а голова забита

была мыслями об этом злополучном происшествии с пароходом. Забавно было видеть, как он сам себя сбивает с толку, принимая меня, очевидно, за бесстыдного плута. Наконец он потерял терпение и, чтобы скрыть свою досаду, зевнул. Я поднялся, и тут взгляд мой упал на маленький эскиз масляными красками на тонкой доске, изображающий закутанную женщину с завязанными глазами, которая держит в руке горящий факел. Фон был темный, почти черный. Женщина казалась величественной, и что-то зловещее было в ее лице, освещенном факелом.

Я приостановился, а он вежливо стоял подле меня, держа пустую бутылку из-под шампанского (медицинское снадобье) с воткнутой в нее свечкой. На мой вопрос он ответил, что картина писана мистером Куртцем на этой самой станции больше года тому назад, пока он ждал оказии, чтобы добраться до своего поста.

— Скажите мне, пожалуйста, — попросил я, — кто такой этот мистер Куртц?

— Начальник Внутренней станции, — коротко ответил он, глядя в сторону.

— Благодарю вас, — со смехом отозвался я. — А вы выделываете кирпичи на Центральной станции. Все это знают.

Минутку он помолчал, потом произнес:

— Куртц — диковинка. Он посланец милосердия, науки, прогресса и черт знает чего еще. Для ведения дела, — начал он вдруг декламировать, — доверенного нам Европой, нам нужен великий ум, умение сострадать, устремленность к единой цели.

— Кто это говорит? — спросил я.

— Очень многие, — отозвался он. — Иные даже пишут об этом. И вот он является сюда — исключительная личность, как вам должно быть известно.

— Почему я должен это знать? — с удивлением перебил я.

Он не обратил на меня внимания.

— Да. Сегодня он стоит во главе лучшей станции, на следующий год он будет помощником начальника Центральной станции, еще два года — и... Но полагаю, вам известно, кем он будет через два года. Вы принадлежите к этой новой банде — банде служителей добродетели. Люди, которые прислали его сюда, рекомендовали также и вас. О, не отрицайте. Я не слепой!

Теперь все было ясно. Влиятельные знакомые моей славной тетушки произвели неожиданное впечатление на этого молодого человека. Я чуть

не расхохотался.

— Значит, вы читаете секретную корреспонденцию фирмы? — спросил я.

Он не нашелся что ответить. Это было очень забавно. Я сурово сказал:

— Вам придется распрощаться с этой привилегией, когда мистер Куртц будет начальником всех станций.

Неожиданно он задул свечу, и мы вышли. Взошла луна. Вяло бродили черные тени, поливая водой тлеющие угли, после чего раздавалось шипение; облако пара поднималось в лунном свете; где-то стонал избитый негр.

— Как ревет эта скотина! — воскликнул неутомимый усатый парень, внезапно появляясь около нас. — Поделом ему! Преступление… наказание… готово! Безжалостно, безжалостно, но это единственный способ. Это положит конец всяким пожарам. Я только что говорил начальнику… — Тут он заметил моего спутника и сразу оробел. — Вы еще не спите? — пробормотал он с раболепной вежливостью. — Ну конечно! Это так естественно. Да! Опасность, волнение…

Он скрылся. Я пошел к реке, а тот последовал за мной. У самого моего уха раздался его злобный шепот:

— Сборище идиотов!

Видны были группы пилигримов, жестикулировавших, споривших. Некоторые все еще держали в руках свои посохи. Я думаю, они и спать ложились с ними. За изгородью виднелся лес, призрачный в лунном свете. Заглушая тихие шорохи и звуки, наполнявшие жалкий двор, молчание этой страны проникало в самое сердце, — тайна страны, ее величие и потрясающая реальность невидимой ее жизни. Где-то неподалеку слабо стонал избитый негр, а потом вздохнул так глубоко, что я поспешил отойти подальше. Я почувствовал, как чья-то рука скользнула под мою руку.

— Дорогой сэр, — сказал мой спутник, — я не хочу быть непонятым вами — вами, который увидит мистера Куртца гораздо раньше, чем буду иметь это удовольствие я. Мне бы не хотелось, чтобы он составил себе ложное представление о моем отношении.

Я дал выговориться этому мефистофелю из папье-маше, и мне чудилось, что, если б я попробовал проткнуть его пальцем, внутри у него ничего бы не оказалось, кроме жидкой грязи. Он, видите ли, рассчитывал сделаться в скором времени помощником теперешнего начальни-

ка, и я понимал, что приезд этого Куртца очень беспокоит их обоих. Говорил он торопливо, и я не пытался его остановить. Я стоял, прислонившись плечом к своему разбитому пароходу, который лежал на берегу, словно скелет какого-то огромного речного животного. Запах грязи — первобытной грязи! — щекотал мне ноздри; перед глазами моими вставал величественный и безмолвный первобытный лес; блестящие пятна легли на черную гладь залива. Луна набросила тонкое серебряное покрывало на густую траву, на грязный берег, на стену переплетенной листвы, поднимавшуюся выше, чем стены храма, на могучую реку, — я видел сквозь темный прорыв, как она безмолвно катит свои сверкающие воды. Во всем было величие, ожидание, немота, а этот человек бормотал что-то о себе. Видя это спокойствие на обращенном к нам лике необъятного пространства, я задавал себе вопрос: нужно ли видеть в этом призыв или угрозу? Кто мы, забравшиеся сюда? Сможем ли мы подчинить эту немую глушь, или она не подчинится? Я чувствовал величие этой глуши, немой и, быть может, лишенной слуха. Что таилось в ней? Я знал — оттуда мы получали немного слоновой кости, а также слыхал, что там обитает мистер

Куртц. О да, о нем мне прожужжали уши! Однако я его представлял себе не лучше, чем если бы мне сказали, что там живет ангел или черт. Я этому верил так же, как вы можете верить, что есть живые существа на Марсе. Я знал одного шотландца-парусника, который был глубоко убежден, что на Марсе есть люди. Если вы его спрашивали, какой вид они имеют или как они себя держат, он робел и бормотал, что они «ходят на четвереньках». Достаточно вам было улыбнуться, чтобы он — шестидесятилетний старик — вступил с вами в драку.

Я еще не зашел так далеко, чтобы драться из-за Куртца, но уже готов был ради него пойти на ложь. Вы знаете: ложь я ненавижу, не выношу ее не потому, что я честнее других людей, но просто потому, что она меня страшит. Во всякой лжи есть привкус смерти, запах гниения — как раз то, что я ненавижу в мире, о чем хотел бы позабыть. Ложь делает меня несчастным, вызывает тошноту, словно я съел что-то гнилое. Должно быть, такова уж моя природа. Но теперь я готов был допустить, чтобы этот молодой идиот остался при своем мнении по вопросу о том, каким влиянием пользуюсь я в Европе. В одну секунду я сделался таким же притворщиком, как и все эти

зачарованные пилигримы. Мне пришло в голову, что таким путем я могу помочь Куртцу, которого в то время я еще ни разу не видел. Для меня он был только именем. Человека, скрывавшегося за этим именем, я видел не лучше, чем видите вы. А видите ли вы его? Видите ли этот рассказ? Видите ли хоть что-нибудь? Мне кажется, что я пытаюсь рассказать вам сон — делаю тщетную попытку, ибо нельзя передать словами ощущение сна, эту смесь нелепицы, удивления, недоумения и нарастающего возмущения, когда вы чувствуете, что стали добычей невероятного, каковое и является самой сущностью сновидения…

Марлоу на секунду умолк.

— …Нет, это невозможно, невозможно передать, как чувствуешь жизнь в какой-либо определенный период, невозможно передать то, что есть истина, смысл и цель этой жизни. Мы живем и грезим в одиночестве…

Он снова задумался, потом добавил:

— Конечно, вы, друзья, можете видеть сейчас больше, чем видел тогда я. Вы видите меня, которого знаете…

Сумерки сгустились, и мы — слушатели — едва могли разглядеть друг друга. Марлоу, сидевший в

стороне, давно уже стал для нас невидимым, и мы слышали только его голос. Никто не произнес ни слова. Остальные, быть может, спали, но я бодрствовал. Я слушал, слушал, подстерегая фразу или слово, которое разъяснило бы мне смутное ощущение беспокойства, вызванное этим рассказом. И слова, казалось, не срывались с губ человека, а падали из тяжелого ночного воздуха, нависшего над рекой.

— …Да, я не мешал ему говорить, — снова начал Марлоу, — не мешал думать что угодно о влиятельных особах, стоявших за моей спиной. Я это сделал! А за моей спиной не было никого и ничего! Ничего, кроме этого несчастного, старого, искалеченного парохода, к которому я прислонился, пока он плавно говорил о «необходимости для каждого человека продвинуться в жизни». «И вы понимаете, сюда приезжают не затем, чтобы глазеть на луну». Мистер Куртц был «универсальным гением», но даже гению легче работать с «соответствующими инструментами — умными людьми». Он — мой собеседник — не выделывал кирпичей: не было материалов, как я сам прекрасно знаю; а если он выполнял обязанности секретаря, то «разве разумный человек станет ни с того ни с сего отказываться от знаков

доверия со стороны начальства?»

Понятно ли мне это? Понятно. Чего же мне еще нужно?.. Клянусь небом, мне нужны были заклепки! Заклепки. Чтобы продолжать работу… заткнуть дыру. В заклепках я нуждался. На побережье я видел ящики с заклепками, ящики открытые, разбитые. Во дворе той станции на холме вы на каждом шагу натыкались на брошенную заклепку. Заклепки докатились до рощи смерти. Вам стоило только наклониться, чтобы набить себе карманы заклепками, — а здесь, где они были так нужны, вы не могли найти ни одной заклепки. В нашем распоряжении были листы железа, но нечем было их закрепить. Каждую неделю чернокожий курьер, взвалив на спину мешок с письмами и взяв в руку палку, отправлялся с нашей станции к устью реки. И несколько раз в неделю с побережья приходил караван с товарами: с дрянным глянцевитым коленкором, на который противно было смотреть, со стеклянными бусами по пенни за кварту, с отвратительными пестрыми бумажными платками. Но ни одной заклепки. А ведь три носильщика могли принести все, что требовалось для того, чтобы спустить судно на воду.

Теперь мой собеседник стал фамильярным,

но, кажется, мое сдержанное молчание наконец его раздосадовало, ибо он счел нужным меня уведомить, что не боится ни Бога, ни черта, не говоря уже о людях. Я ему сказал, что нимало в этом не сомневаюсь, но что в данный момент мне нужны заклепки и того же пожелал бы и мистер Куртц, если бы об этом знал. Письма отправляют каждую неделю…

— Дорогой сэр, — воскликнул он, — я пишу то, что мне диктуют! Я потребовал заклепок. Умный человек найдет способ…

Он изменил свое обращение: стал очень холоден и вдруг перевел разговор на гиппопотама; поинтересовался, не мешает ли он мне, когда я сплю на борту (ибо я не покидал парохода ни днем ни ночью). У этого старого гиппопотама была скверная привычка вылезать ночью на берег и бродить вокруг станции. В таких случаях пилигримы выходили на него толпой и стреляли из всех ружей, какие им попадались под руку. Некоторые караулили ночи напролет. Но вся энергия была израсходована даром.

— У этого животного должен быть какой-то амулет, защищающий его, — пояснил он мне, — но здесь это можно сказать только о животных. В этой стране ни один человек — вы меня по-

нимаете? — ни один человек не имеет амулета, охраняющего его жизнь.

Он остановился, освещенный луной, тонкий горбатый нос был слегка искривлен, слюдяные глазки поблескивали, он вежливо пожелал мне спокойной ночи и удалился. Я видел, что он взволнован и заинтригован, и это сильно меня обнадежило. Было великим утешением, расставшись с этим парнем, повернуться лицом к моему влиятельному другу — разбитому, искалеченному, продырявленному горшку — пароходу. Я вскарабкался на борт. Судно задребезжало у меня под ногами, словно пустая жестянка из-под сухарей Хентли и Палмера, отброшенная ногой в канаву; впрочем, судно было далеко не так прочно и изящно, но я столько над ним потрудился, что не мог не привязаться к нему. Судно давало мне возможность проверить в какой-то мере себя, испытать мои силы. Нет, работы я не люблю. Я предпочитаю бездельничать и мечтать о том, сколько чудесного можно было бы сделать. Я не люблю работы — никто ее не любит, — но мне нравится, что она дает нам возможность найти себя, наше подлинное «я», скрытое от всех остальных, найти его для себя, не для других. Люди видят лишь внешнюю оболочку и никогда

не могут сказать, что за ней скрывается.

Я нисколько не удивился, увидав, что кто-то сидит на палубе, свесив ноги за борт. Я, видите ли, подружился с несколькими механиками, которые жили на станции. Остальные пилигримы, конечно, их презирали… Должно быть, потому, что их манеры оставляли желать лучшего. На корме сидел надсмотрщик — котельщик по профессии, — хороший работник. Это был тощий, костлявый, желтолицый человек с большими внимательными глазами. Вид у него был озабоченный, череп голый, как моя ладонь; но волосы, выпадая, казалось, прилипли к подбородку и прекрасно привились на новом месте, так как борода его доходила до пояса. Он был вдовцом с шестью маленькими детьми (чтобы приехать сюда, он их оставил на попечение сестры) и питал страсть к голубям. О них он говорил с восторгом, как знаток и энтузиаст. После работы он частенько приходил ко мне из своей хижины, чтобы потолковать о своих детях и своих голубях. В рабочие часы, когда ему приходилось ползать в грязи под килем парохода, он обвязывал свою бороду чем-то вроде белой салфетки. К салфетке приделаны были петли, надевавшиеся на уши. По вечерам он, присев на корточки, старательно стирал свою тряпку в

заливчике, а потом торжественно вешал ее на куст для просушки.

Я хлопнул его по спине и крикнул:

— У нас будут заклепки!

Он поднялся на ноги, восклицая:

— Да что вы! Заклепки! — словно не верил своим ушам. Потом понизил голос: — Вы… а?

Не знаю, почему мы вели себя как сумасшедшие. Я приложил палец к носу и таинственно кивнул головой.

— Здорово! — закричал он и, подняв одну ногу, щелкнул пальцами над головой. Я стал отплясывать жигу. Мы прыгали по железной палубе. Оглушительно задребезжало старое судно, а девственный лес на другом берегу отозвался грохочущим эхом, прокатившимся над спящей станцией. Должно быть, кое-кто из пилигримов проснулся в своей хижине. В дверях освещенной хижины начальника показалась чья-то темная фигура; вскоре она скрылась, а затем, через секунду, исчез и просвет в дверях. Мы остановились, и тишина, спугнутая топотом наших ног, снова хлынула к нам из леса. Высокая стена растительности, масса переплетенных ветвей, листьев, сучьев, стволов, неподвижная в лучах луны, походила на стремительную лавину немой жизни,

на вздыбившийся, увенчанный гребнем зеленый вал, готовый рухнуть в заливчик и смести с лица земли нас — жалких маленьких человечков. Но стена оставалась неподвижной. Издалека доносился заглушенный могучий храп и плеск, словно какой-то ихтиозавр принимал лунную ванну в великой реке.

— В конце концов, — рассудительно сказал котельщик, — почему бы нам не получить заклепок?

И в самом деле! Я не видел причины, почему мы могли бы их не получить.

— Они прибудут через три недели, — доверчиво сказал я.

Но они не прибыли. Вместо заклепок нас ожидало нашествие, испытание, кара. Отдельными группами стали являться посетители, и это продолжалось три недели. Впереди каждого отряда шел осел, который нес на своей спине белого в новом костюме и коричневых ботинках, раскланивавшегося на обе стороны с ошеломленными пилигримами. По пятам за ослом следовала толпа ворчливых, угрюмых негров с натруженными ногами. Палатки, походные стулья, цинковые ящики, белые коробки, темные тюки свалены были во дворе, и атмосфера тайны сгущалась над

бестолочью станции. Пять раз повторялись эти вторжения; казалось, что люди беспорядочно обратились в бегство, прихватив с собой товары из бесчисленных складов мануфактуры и провианта, чтобы здесь — в глуши — поровну разделить добычу. Это было невообразимое скопление вещей, сами по себе они были хороши, но безумие человеческое придавало им вид награбленного добра.

Достойная компания называла себя экспедицией для исследования Эльдорадо, и я думаю, что члены ее были связаны клятвой хранить тайну. Однако разговоры их напоминали непристойную болтовню пиратов, — разговоры циничные, хищные и жестокие, но отнюдь не мужественные или смелые. Никаких серьезных намерений или предусмотрительности не было ни у одного из этой банды, и они, казалось, даже не подозревали, что это необходимо для работы. Единственным их желанием было вырвать сокровище из недр страны, а моральными принципами они интересовались не больше, чем интересуется грабитель, взламывающий сейф. Кто оплачивал расходы этой почтенной экспедиции — я не знаю, но во главе банды стоял дядя нашего начальника.

Внешне он походил на мясника из бедного квар-

тала, и глаза у него были заспанные и хитрые. С надменным видом носил он на коротеньких ножках свой толстый живот и, пока его шайка отравляла воздух станции, не разговаривал ни с кем, кроме своего племянника. Можно было наблюдать, как эти двое целыми днями бродят вместе, погруженные в нескончаемую беседу.

Я перестал терзать себя мыслями о заклепках. Способность предаваться такому безумию более ограничена, чем вы себе представляете. Я послал все к черту и положился на волю судьбы. Времени для размышлений у меня было сколько угодно, и иногда я подумывал о Куртце. Я не особенно им интересовался, но все же мне любопытно было узнать, достигнет ли вершины этот человек, вооруженный какими-то моральными принципами, и как он тогда примется за дело.

II

Как-то вечером, лежа плашмя на палубе своего парохода, я услышал приближающиеся голоса: оказывается, дядя и племянник прогуливались по берегу. Я снова опустил голову на руку и чуть было не задремал, как вдруг кто-то сказал, словно под самым моим ухом:

— Я безобиден, как маленький ребенок, но не терплю, когда мною командуют. Начальник я или нет? Мне приказано было отправить его туда. Это невероятно…

Я понял, что эти двое остановились на берегу у носа парохода, чуть-чуть пониже моей головы. Я не пошевельнулся: мне хотелось спать.

— Действительно, это неприятно, — проворчал дядя.

— Он просил правление прислать его сюда, — сказал племянник, — имея в виду показать, что он может сделать. Я получил соответствующие инструкции. Подумайте только, каким влиянием пользуется этот человек! Не ужасно ли это?

Собеседник подтвердил, что действительно это ужасно. Затем последовало еще несколько странных замечаний:

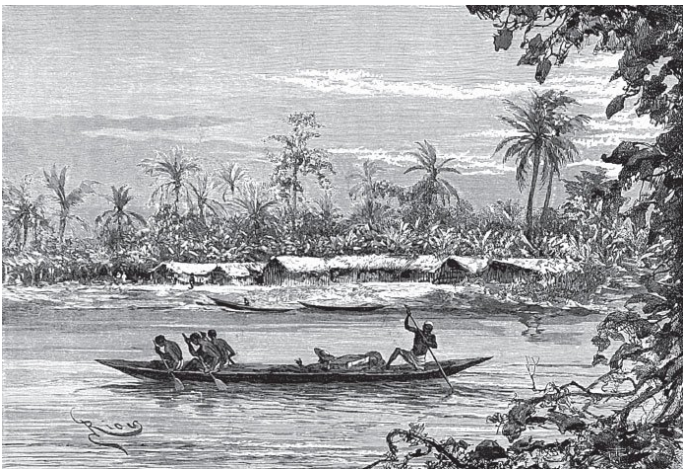
— Все может… один человек… правление… водит за нос… — Обрывки нелепых фраз, которые рассеяли мою дремоту. Я окончательно проснулся, когда дядя наконец произнес:

— Благодаря климату это затруднение может быть устранено. Он там один?

— Да, — отвечал начальник. — Он отправил ко мне своего помощника с запиской, составленной в таких выражениях: «Отошлите этого беднягу на родину и не трудитесь посылать мне таких субъектов. Я предпочитаю остаться один, чем работать с теми людьми, каких вы мне можете дать». Это было больше года назад. Можете вы себе представить такую наглость?

— А с тех пор он что-нибудь присылал? — проворчал дядя.

— Слоновую кость, — отрывисто бросил племянник. — Много слоновой кости… первосортной… чрезвычайно неприятно…



— А кроме слоновой кости? — прогудел дядя.

— Накладную, — ответил, словно из ружья выстрелил, племянник.

Последовало молчание. Речь шла о Куртце.

К тому времени сна у меня не было ни в одном глазу, но, лежа в удобной позе, я не имел намерения менять ее.

— Каким образом была доставлена сюда сло-

новая кость? — пробурчал дядя, видимо очень раздраженный.

Тот объяснил, что она прибыла с флотилией каноэ, которою командовал английский клерк, полукровка, состоявший при Куртце. Куртц, видимо, сам намеревался ехать, так как в то время на его станции не осталось ни товаров, ни провианта, но, сделав триста миль, вдруг решил вернуться назад и отправился в обратный путь один в маленьком челноке с четырьмя гребцами, предоставив полукровке отвезти слоновую кость.

Казалось, племянник и дядя были поражены этим поступком и понять не могли его мотивов. Что же касается меня, то я как будто впервые увидел Куртца — увидел отчетливо: челнок, четыре гребца-дикаря и одинокий белый человек, внезапно повернувшийся спиной к Центральной станции, к мыслям об отдыхе, быть может — к мечтам о родине, и обративший лицо к дикой глуши, к своей опустошенной и унылой станции. Я не знал его мотивов. Может быть, он был просто славным парнем, который бескорыстно заинтересован делом. Эти двое ни разу не назвали его по имени, они говорили «тот человек». Полукровку, который, поскольку я мог судить, проявил

величайшую осмотрительность и ловкость, исполнив это трудное поручение, они называли не иначе как «тот негодяй». «Негодяй» доложил, что «тот человек» был тяжело болен и не совсем еще оправился… Собеседники отошли на несколько шагов и стали ходить взад и вперед мимо судна. Я слышал обрывки фраз: «Военный пост… доктор… двести миль… совсем один теперь… неизбежное промедление… девять месяцев… никаких вестей… Странные слухи…»

Они снова приблизились как раз в тот момент, когда начальник говорил:

— Нет никого, насколько мне известно, если не считать этого зловредного парня — кажется, странствующего торговца, — отбирающего у туземцев слоновую кость.

О ком это они теперь говорили? Я решил, что речь идет о человеке, который находится в округе Куртца и не заслуживает одобрения начальника.

— Мы не избавимся от недостойной конкуренции до тех пор, пока одного из этих парней не повесят для острастки, — сказал начальник.

— Правильно, — проворчал дядя. — Пусть его повесят! Почему не повесить? В этой стране можно сделать все, что угодно. Я тебе говорю: здесь — ты понимаешь? — здесь никто тебе не опасен.

А почему? Потому что ты выносишь этот климат; ты их всех переживешь. Опасность в Европе; но перед отъездом я позаботился о том, чтобы…

Они отошли и заговорили шепотом; потом племянник повысил голос:

— Я не виноват, что произошла такая задержка. Я сделал все, что мог.

Толстяк вздохнул:

— Очень печально.

— Послушали б вы его нелепую и зловредную болтовню! — продолжал тот. — Он мне здорово надоел, пока был здесь. «Каждая станция должна быть как бы маяком на пути, который ведет к прогрессу; это не только центр торговли, но и центр гуманности, усовершенствования, просвещения». Представляете себе — какой осел! И он хочет быть начальником! Нет, это…

Тут он захлебнулся своим негодованием, а я чуть-чуть приподнял голову. Я и не подозревал, что они стоят так близко. Я бы мог плюнуть им на шляпы. Погрузившись в размышления, они уставились в землю. Начальник похлестывал себя прутиком по ноге; проницательный его родственник поднял голову и спросил:

— Ты ни разу не болел с тех пор, как приехал из отпуска?

Тот вздрогнул:

— Кто? Я? О, я словно заколдован. Но остальные! Боже мой! Все больны. И умирают так быстро, что я не успеваю отправлять их на родину… Просто невероятно!

— Гм… так… — пробормотал дядя. — Ах, мой мальчик, на это и уповай!

Я видел, как он вытянул свою короткую, похожую на плавник руку и широким жестом указал на лес, заводь, грязь, реку, словно предательски взывал к притаившейся смерти, скрытому злу, глубокой тьме в сердце земли, обращенной к нам своим светлым солнечным ликом. Это было так жутко, что я вскочил и посмотрел на опушку леса, как будто ждал ответа на этот мрачный призыв к упованию. Вы сами знаете, какие нелепые мысли приходят иногда в голову. Но перед этими двумя людьми вставала величественная тишина, исполненная зловещего терпения, как бы дожидающаяся конца фантасмагорического вторжения.

Они оба громко выругались — должно быть, от испуга, — затем, делая вид, что меня не замечают, направились к станции. Солнце стояло низко; они шли бок о бок и словно с трудом втаскивали на холм свои две чудовищные тени неравной

длины, которые медленно волочились за ними по высокой траве, не приминая ни одной былинки.

Через несколько дней экспедиция Эльдорадо углубилась в безмолвные заросли, которые сомкнулись над ней, как смыкается море над нырнувшим пловцом. Много времени спустя пришла весть, что все ослы издохли. Мне неизвестно, какая судьба постигла менее ценных животных. Несомненно, они, как и все мы, получили по заслугам. Справок я не наводил. В то время меня волновала надежда очень скоро увидеть Куртца. «Очень скоро» не нужно понимать буквально. Ровно через два месяца после того, как мы покинули бухту, пароход пристал к берегу ниже того места, где находилась станция Куртца.

Поднимаясь по этой реке, вы как будто возвращались к первым дням существования мира, когда растительность буйствовала на земле и властелинами были большие деревья. Пустынная река, великое молчание, непроницаемый лес. Воздух был теплый, густой, тяжелый, сонный. Не было радости в блеске солнечного света. Длинные полосы воды уходили в тьму затененных пространств. На серебристых песчаных отмелях гиппопотамы и аллигаторы грелись бок о бок на солнцепеке. Река, расширяясь, протекала

среди заросших лесом островов. Здесь вы могли заблудиться, как в пустыне, и в течение целого дня натыкаться на мели, пытаясь найти проток. Казалось вам, будто вы заколдованы и навеки отрезаны от всего, что знали когда-то… где-то… быть может — в другой жизни. Бывали моменты, когда все прошлое вставало перед вами: это случается, когда нет у вас ни одной свободной минуты; но прошлое воплощалось в тревожном сне, о котором вы с удивлением вспоминали среди ошеломляющей реальности этого странного мира растений, воды и молчания. И в тишине этой жизни не было ничего похожего на покой. То было молчание неумолимой силы, сосредоточенной на неисповедимом замысле. Что-то мстительное было в этом молчании. Впоследствии я к нему привык и перестал обращать на него внимание, — у меня не было времени. Мне приходилось разыскивать протоки, интуитивно угадывать местонахождение мелей, высматривать подводные камни. Я научился стискивать зубы, когда судно проходило на волосок от какой-нибудь отвратительной старой коряги, которая могла отправить на дно ветхое наше корыто со всеми пилигримами. Днем я должен был выискивать сухие деревья, чтобы срубить их ночью и

растопить на следующий день котлы. Когда человеку приходится уделять внимание вещам такого рода, мелочам, реальность — реальность, говорю вам — блекнет. Сокровенная истина остается скрытой — к счастью. Но все-таки я ее ощущал — безмолвную и таинственную, наблюдающую за моими обезьяньими фокусами так же точно, как наблюдает она за вами, друзья, когда вы кривляетесь — каждый на своем канате, — ради чего? Ради дешевого трюка…

— Старайтесь быть вежливым, Марлоу, — проворчал чей-то голос, и я понял, что во всяком случае еще один слушатель, кроме меня, не спит.

— Прошу прощения. Я позабыл, что наградой является сердечная боль. И в самом деле, что нам награда, если фокус удался? Вы прекрасно проделываете свои фокусы, да и я справился недурно, ибо мне удалось не потопить судна при первом моем плавании. Этому я и по сей день удивляюсь. Представьте себе человека, который с завязанными глазами должен провести повозку по скверной дороге. Могу вам сказать, что я дрожал и обливался потом. В конце концов, для моряка непростительный грех — сорвать дно с судна, плавающего под его командой. Может, никто об

этом не узнает, но вам этого не забыть. Удар в самое сердце. Вы о нем думаете, он вам снится, вы вспоминаете, просыпаясь ночью, много лет спустя, — и вас бросает то в жар, то в холод.

Я не утверждаю, что мой пароход все время плыл по воде. Не раз ему приходилось пробираться вброд, а двадцать каннибалов, барахтаясь в воде, подталкивали его. Дорогой мы завербовали этих парней в матросы. Славные ребята — каннибалы. С ними можно было работать, и о них я вспоминаю с благодарностью. В конце концов, они не поедали друг друга перед моим носом. Они прихватили с собой провизию — мясо гиппопотама, оно начало гнить, и противный запах, отравивший таинственные дебри, щекотал мне ноздри. Фу! Я и теперь еще чувствую этот аромат. На борту парохода находились начальник и три-четыре пилигрима с посохами. Иногда мы подходили к какой-нибудь станции, расположенной у самого берега, на границе с неведомым, и белые люди, выбегавшие из полуразвалившегося шалаша и жестикулировавшие радостно и удивленно, казались странными пленниками, которых удерживает здесь какое-то заклятие. Слова «слоновая кость» звенели в воздухе, а потом мы снова уходили в безмолвие, следовали за

извивами реки, между высокими стенами, которые эхом отзывались на мощные удары большого колеса у кормы. Деревья, деревья, миллионы деревьев, массивных, необъятных, стремящихся ввысь; а у подножия их, придерживаясь берега, пробиралось маленькое закопченное паровое суденышко, словно ленивый жук, ползущий по полу между величественными колоннами. Вы чувствовали себя очень маленьким, покинутым, но это чувство не угнетало. В конце концов, как бы ни были вы малы, но грязный жук полз вперед, — а этого вы и добивались. Куда, по мнению пилигримов, полз этот жук, я не знаю. Ручаюсь, что к какому-то месту, где они надеялись что-то получить. А для меня он полз к Куртцу, и только к Куртцу; но, когда паровые трубы дали течь, мы стали продвигаться очень медленно.

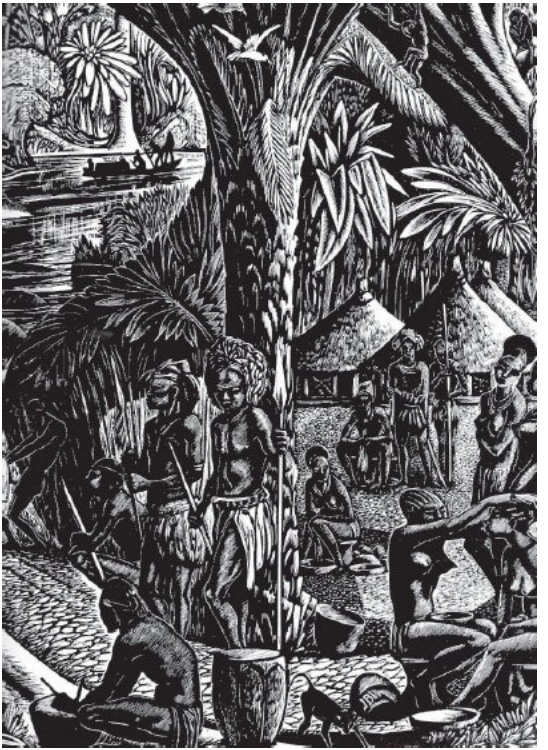
Лес расступался перед нами и смыкался за нашими спинами, словно деревья лениво вступали в воду, чтобы преградить нам путь назад. Все глубже и глубже проникали мы в сердце тьмы. Здесь было очень тихо. Иногда по ночам за стеной деревьев раздавался бой барабанов и катился над рекой. До рассвета слышались слабые отголоски, словно парившие в воздухе над нашими головами. Был ли то призыв к войне,

миру, молитве, — мы не могли угадать. Предвозвестниками рассвета спускались прохлада и тишина; дровосеки спали, догорали их костры; треск сучка заставлял нас вздрагивать. Мы были странниками на земле доисторических времен — на земле, которая имела вид неведомой планеты. Мы могли вообразить себя первыми людьми, завладевающими проклятым наследством, за которое нужно заплатить великими страданиями и непосильным трудом.



Но иногда за поворотом реки под тяжелой неподвижной листвой открывался вид на тростниковые стены и острые крыши из травы, слышались крики, топот, раскачивались черные тела,

сверкали белки глаз, хлопали в ладоши черные руки. Пароход медленно продвигался мимо этих безумствующих и загадочных черных людей. Доисторический человек проклинал нас, молился нам, нас приветствовал… кто мог сказать? Нам недоступно было понимание окружающего; мы скользили мимо, словно призраки, удивленные и втайне испуганные, как испугался бы нормальный человек взрыва энтузиазма в сумасшедшем доме. Мы не могли понять, ибо мы были слишком далеки и не умели вспомнить; мы блуждали во мраке первых веков — тех веков, которые прошли, не оставив ни следа, ни воспоминаний.



Земля казалась не похожей на землю. Мы привыкли смотреть на скованное цепями, побежденное чудовище, но здесь… здесь вы видели существо чудовищное и свободное. Оно не по-

ходило на землю, а люди… нет, люди остались людьми. Знаете, нет ничего хуже этого подозрения, что люди остаются людьми. Оно нарастало медленно, постепенно. Они выли, прыгали, корчили страшные гримасы; но в трепет приводила вас мысль о том, что они — такие же люди, как вы, мысль об отдаленном вашем родстве с этими дикими и страстными существами. Ужасно? Да, это было ужасно. Но если хватит у вас мужества, вы признаетесь, что жуткая откровенность этого воя пробуждает в вас слабый ответный отголосок, смутное ощущение скрытого его смысла — смысла, который может открыться вам, так далеко ушедшему от мрака первых веков. И в самом деле, разум человека на все способен, ибо он все в себя включает, как прошлое, так и будущее. В конце концов, что было в этом вое? Радость, страх, скорбь, преданность, доблесть, бешенство, — кто знает? — но истина была в нем, — истина, с которой сорвано покрывало веков.

Пусть глупец разевает рот и трепещет, но мужественный человек знает и может смотреть без трепета. И человеческого в нем должно быть, во всяком случае, не меньше, чем в этих людях на берегу. Их правду он примет, если есть у него своя правда и врожденная сила. Принципы?

Принципы не помогут. Это — оболочка, тряпки, которые слетят при первой же встряске. Нет, вам нужна разумная вера. В этом безумном вое звучит призыв. Ну что ж! Я его слышу, принимаю, но у меня тоже есть голос, и нельзя заставить меня умолкнуть. Конечно, глупец, наделенный робостью и утонченными чувствами, опасности не подвергается.

Кто там ворчит? Вы удивляетесь, почему я не сошел на берег и не принял участия в вое и пляске? Да, я этого не сделал. Утонченные чувства, скажете вы? К черту утонченные чувства! У меня не было времени. Я должен был возиться со свинцовыми белилами и полосами, оторванными от шерстяных одеял, накладывать повязки на эти протекающие трубы. Я должен был управлять судном, огибать коряги и во что бы то ни стало вести вперед наше старое корыто. Во всем этом достаточно было поверхностной реальности, чтобы спасти человека помудрее меня. А в промежутках мне приходилось следить за дикарем, исполнявшим обязанности кочегара. Это был усовершенствованный экземпляр: он умел растапливать котел. А находился он внизу, как раз подо мной. Смотреть на него было так же поучительно, как на разгуливающую на задних лапах

собаку в штанах и шляпе с пером. Понадобилось всего несколько месяцев, чтобы обучить этого славного парня. Он косил глаза на манометр и водомер, всеми силами стараясь проявить свою неустрашимость, а ведь бедняга все еще носил на шее ожерелье из зубов; курчавые волосы его были выбриты так, что череп был как бы расписан узорами, и на каждой щеке красовалось по три шрама. Ему бы следовало хлопать в ладоши и плясать на берегу, а вместо этого он работал — раб, покорившийся странному волшебству и набиравшийся спасительных знаний. Он был полезен, так как его обучили. А знал он вот что: если вода в этом прозрачном сосуде исчезнет, то злой дух, обитающий в котле, почувствует великую жажду, разгневается, и страшно будет его мщение. Итак, он потел, подбрасывал дрова и с опаской следил за сосудом; экспромтом изобретенный амулет из тряпок привязан был к его руке, и плоский кусок отполированной кости величиной с карманные часы украшал его нижнюю губу. Медленно проплывали мимо лесистые берега, шумный поселок оставался позади, а мы ползли по безмолвной бесконечной реке, ползли к Куртцу. Но часто попадались коряги, обманчива и мелководна была река, а в котле как

будто и в самом деле обитал угрюмый демон, и потому ни у кочегара, ни у меня не было времени предаваться размышлениям.

В пятидесяти милях ниже Внутренней станции мы увидели шалаш из камыша, меланхолический шест, на котором развевалось какое-то тряпье, некогда бывшее флагом, и аккуратно сложенную кучу дров. Для нас это было неожиданно. Мы пристали к берегу и на дровах нашли доску с полустертой надписью, сделанной карандашом. Расшифровав ее, мы прочли: «Дрова заготовлены для вас. Спешите. Подходите осторожно».

Далее следовала подпись, которую мы не могли разобрать, — во всяком случае, не «Куртц», какое-то более длинное слово. «Спешите». Куда? К верховьям реки? «Подходите осторожно». Мы не соблюдали осторожности. Но предостережение не могло относиться к тем местам, которые мы проехали. Что-то неладное было впереди. Но что? И велика ли опасность? Вот в чем вопрос. Мы сердито обсуждали нелепость такого лаконичного стиля. Заросли вокруг безмолвствовали и препятствовали нам заглянуть вдаль. Рваная занавеска из красной материи висела в дверях шалаша, уныло развеваясь перед нашими лицами. Жилище было покинуто, но, несомненно, здесь жил не

так давно белый человек. В шалаше стоял грубый стол — доска на двух столбиках, в темном углу валялась куча хлама, а у двери я поднял книгу; она была без переплета, листы, захватанные пальцами, размокли и запачкались, но были любовно прошиты заново белой ниткой, еще не успевшей загрязниться. Необычайная находка! Книга называлась «Исследование некоторых вопросов по навигации» и написана была неким Тоуэром, Тоусоном или кем-то в этом роде, капитаном флота его величества. Довольно скучное произведение с диаграммами и отталкивающими столбцами цифр, изданное шестьдесят лет назад.

С величайшей нежностью обращался я с этой любопытной древностью, боясь, как бы она не рассыпалась в моих руках. На страницах книги Тоусон или Тоуэр весьма серьезно исследовал вопрос о сопротивлении материалов для судовых цепей и талей. Не очень занимательная книга, но достаточно было одного взгляда, чтобы оценить устремленность к цели, добросовестное старание правильно приступить к делу; вот почему эти скромные страницы, написанные столько лет назад, представляли не только профессиональный интерес. Простодушный старый моряк, толкующий о цепях и талях, заставил меня позабыть

о зарослях и пилигримах и с восторгом почувствовать, что наконец-то попалось мне в руки нечто несомненно реальное. Такая книга была удивительна сама по себе, но еще поразительнее были заметки на полях, видимо относившиеся к тексту. Я не верил своим глазам: заметки были шифрованные! Да, эти знаки походили на шифр. Представьте себе человека, который притащил такую книгу в эту глушь, изучал ее, делал заметки и вдобавок прибегал к шифру! Из ряда вон выходящая тайна!

Мне помешал какой-то шум; подняв глаза, я увидел, что куча дров исчезла, а начальник и все пилигримы, стоя на берегу, хором ко мне взывают. Я сунул книгу в карман. Уверяю вас, оторваться от книги мне было так же трудно, как распрощаться с верным старым другом.

Я пустил в ход искалеченную машину.

— Должно быть, записку оставил этот проклятый торговец, этот пролаза! — воскликнул начальник Центральной станции, злобно оглядываясь на покинутый нами шалаш.

— Быть может, он — англичанин, — сказал я.

— Это его не спасет от беды, если он не поостережется, — мрачно пробормотал начальник.

С притворной наивностью я заметил, что в этом

мире ни один человек не может почитать себя застрахованным от беды.

Здесь, в верховьях, течение было быстрее; пароход, казалось, находился при последнем издыхании; лениво разбивало воду кормовое гребное колесо, а я, затаив дыхание, прислушивался, ибо, по правде сказать, ждал с минуты на минуту, что оно остановится. Я как будто следил за последними вспышками угасающей жизни. Но все-таки мы ползли вперед. Иногда я высматривал какое-нибудь дерево впереди, чтобы измерить скорость нашего продвижения навстречу Куртцу, но неизменно терял его из виду раньше, чем мы к нему подходили. Терпения не хватало так долго смотреть на один и тот же предмет. Начальник проявлял великолепное спокойствие. Я бесновался, кипятился и рассуждал сам с собой, стоит ли мне откровенно поговорить с Куртцем. Но раньше, чем я пришел к какому-либо выводу, меня осенила мысль, что и слова мои, и мое молчание, да и любой поступок не имеют, в сущности, никакого значения. Не все ли равно, что он знает и чего не знает? Не все ли равно, кто был начальником? Бывают иногда такие минуты просветления. Суть дела скрыта под поверхностью, недоступна мне, и мое

вмешательство ничего не изменит.

К вечеру второго дня мы, по нашим расчетам, находились в восьми милях от станции Куртца. Я хотел продолжать путь, но начальник принял серьезный вид и сообщил мне, что плавание в этих местах сопряжено с опасностью, и так как солнце стоит низко, то лучше нам остаться здесь до утра. Кроме того, если считаться с предостережением, то благоразумнее будет подойти к станции не в сумерках и не в темноте, но при дневном свете. Это было вполне разумно. Чтобы сделать восемь миль, нам требовалось около трех часов, а у поворота реки я мог разглядеть подозрительную рябь. Тем не менее эта отсрочка очень меня раздосадовала; безрассудная досада, ибо какое значение может иметь одна ночь после стольких месяцев?

Так как дров у нас было много, а начальник хотел соблюдать осторожность, то я бросил якорь посередине потока. Здесь река была прямая, узкая, с берегами высокими, как железнодорожные насыпи. Сумерки спустились к нам задолго до заката солнца. Быстро струилась вода, но на берегах все было неподвижно и безмолвно. Деревья, опутанные ползучими растениями, и кусты словно окаменели, и окаменела каждая веточка, каждый листик. Это был не сон, — такая неподвижность

казалась неестественной, подобной трансу. Не слышно было ни единого звука. Мы удивлялись и готовы были заподозрить себя в глухоте; затем внезапно спустилась ночь и наградила нас также и слепотой. Около трех часов утра в реке всполошилась какая-то большая рыба, и от громкого плеска я подскочил, словно услышал выстрел из пушки.

Когда взошло солнце, на реке лежал белый туман, очень теплый, липкий и еще более непроницаемый, чем мрак. Он не рассеивался, он стоял вокруг, как прочная стена. Часов в восемь или девять он поднялся, как поднимается штора. Мельком увидели мы вздымающиеся к небу деревья, непроходимые заросли, маленький пылающий шар, нависший над лесом… все было неподвижно… и потом снова спустилась белая штора плавно, как по смазанным желобам. Я приказал отпустить якорную цепь, которую мы начали поднимать. Не успело замолкнуть заглушенное звяканье, когда раздался крик — громкий крик, — исполненный безграничной тоски, и медленно пронесся в густом тумане. Потом стих. Тогда поднялись жалобные вопли, дикие, негармоничные. От неожиданности волосы зашевелились у меня под фуражкой. Не

знаю, какое впечатление это произвело на моих спутников; мне казалось, что туман разразился воплями, — так неожиданно раздался этот громкий и тоскливый вой, доносившийся как будто со всех сторон. Он достиг кульминационной точки, перейдя в невыносимо пронзительный визг, и оборвался внезапно, а мы застыли в нелепых позах и упорно прислушивались к молчанию, почти такому же жуткому, как эти крики.

— Боже мой! Что же это такое? — простонал под самым моим ухом один из пилигримов, маленький толстый человечек с песочными волосами и рыжими бакенбардами, облаченный в розовую пижаму, панталоны, заправленные в носки, и штиблеты на резинке. Остальные двое минуту сидели, разинув рты, затем бросились в маленькую каютку и сейчас же выскочили оттуда, испуганно озираясь по сторонам и держа наготове винчестеры. Мы могли разглядеть только пароход, очертания которого были стерты, словно он вот-вот должен был растаять, да туманную полосу воды, фута в два шириной, вокруг судна. Остального мира не было, ибо мы его не видели и не слышали. Его не было. Он исчез, растворился, и от него не осталось ни шепота, ни тени.

Я прошел на нос и приказал натянуть якорную

цепь так, чтобы в случае необходимости можно было сразу поднять якорь и тронуться в путь.

— Нападут ли они? — раздался чей-то испуганный голос.

— Нас перебьют в этом тумане! — прошептал другой.

Лица подергивались от волнения, руки слегка дрожали, глаза не мигали. Любопытно было сравнивать выражение лиц белых людей и наших чернокожих матросов, которые были такими же пришельцами в верховьях реки, как и мы, хотя дома их находились на расстоянии каких-нибудь восьмисот миль отсюда. Белые выглядели не только взволнованными, но и оскорбленными таким возмутительным воем, а чернокожие были заинтересованы, держались настороже, но лица их были спокойны, и один или двое усмехались, натягивая якорную цепь. Несколько человек обменялись отрывистыми фразами, казалось разрешившими вопрос ко всеобщему удовольствию. Их главарь, молодой широкоплечий негр с раздутыми ноздрями и волосами, искусно завитыми в маслянистые колечки, стоял возле меня, задрапированный в какую-то темно-синюю материю с бахромой.

— Вот оно что! — сказал я, чтобы завязать раз-

говор.

— Поймай их, — отозвался он, тараща налитые кровью глаза и поблескивая острыми зубами. — Поймай их. Отдай их нам.

— Вам? — переспросил я. — А что вы будете с ними делать?

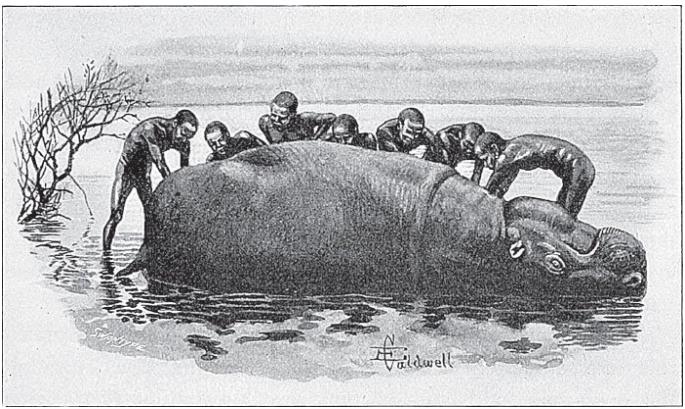
— Съедим их! — коротко ответил он и, облокотившись на поручни, принял величественную позу и стал задумчиво всматриваться в туман. Несомненно, я бы ужаснулся, если б не пришло мне в голову, что он и его приятели, должно быть, очень голодны и что в продолжение последнего месяца голод их все усиливался. Они были наняты на шесть месяцев (не думаю, чтобы хоть один из них имел о времени такое же ясное представление, какое имеем мы, озирая позади себя бесчисленные века; они все еще пребывали в начале времен и не могли руководствоваться унаследованным опытом). Разумеется, поскольку контракт был составлен в соответствии с каким-нибудь шутовским законом, придуманным в низовьях реки, то никому и в голову не приходило поразмыслить о том, как они будут жить. Правда, они принесли с собой гнилое мясо гиппопотама, но его не хватило бы надолго, даже если бы пилигримы не выкинули бóльшую его часть

за борт, вызвав возмущенный рев чернокожих матросов. Это походило на дерзкую расправу, но в действительности то была лишь мера самозащиты. Вы не можете вдыхать во сне или наяву во время еды запах гниющего гиппопотама, не рискуя расстаться при этом с жизнью.

Кроме того, чернокожие получали каждую неделю по три куска латунной проволоки — в каждом куске было около девяти дюймов; рассуждая теоретически, они должны были покупать в прибрежных деревнях провизию и расплачиваться этой ходячей монетой. Вы можете видеть, как теория оправдала себя на практике. Или деревень не было, или население встречало нас враждебно, или начальник, который так же, как и все мы, питался консервами и попадавшей иногда в наши руки старой козлятиной, не желал по непонятным мотивам останавливать пароход. Итак, мне неизвестно, какую пользу могли они извлечь из своего необычного жалованья, разве что они глотали эту проволоку или делали из нее крючки и удили рыбу. Но я должен сказать, что жалованье выплачивалось аккуратно, и это делало честь крупной и почтенной торговой фирме.

Что же касается провизии, то я видел у чернокожих какие-то странные, отнюдь не съедобные на

вид куски грязновато-лилового цвета, похожие на полусырое тесто; они заворачивали его в листья и иногда отщипывали по кусочку, но кусочки эти были такие маленькие, что о насыщении и речи быть не могло. Почему во имя всех гложущих демонов голода чернокожие не расправились с нами — их было тридцать, а нас пятеро — и не устроили себе хоть раз в жизни пиршества, я не понимаю и по сей день. Они были дюжими, здоровыми людьми, неспособными задумываться о последствиях, мужественными и сильными даже теперь, когда кожа их уже не лоснилась, а мускулы потеряли упругость. Я решил, что здесь мы имеем дело с каким-то сдерживающим началом — с одной из тех тайн человеческой природы, перед которой пасуют все догадки.



Я посмотрел на них с любопытством, но заинтересовало меня не то, что они в самом непродолжительном времени могли меня съесть. Впрочем, признаюсь, в ту минуту я как-то по-новому обратил внимание на болезненный вид пилигримов, втайне надеясь — да, надеясь! — что сам я выгляжу не таким… как бы это сказать?.. не таким неаппетитным. Это была вспышка нелепого тщеславия, вполне гармонировавшая с

тем дремотным состоянием, в каком я пребывал все эти дни. Пожалуй, меня немного лихорадило. Человек не может жить, вечно следя за своим пульсом. Меня часто лихорадило, или то были приступы других болезней: дикая глушь, перед тем как перейти в атаку — что и случилось впоследствии, — шутливо поглаживала меня своей лапой. Да, я смотрел на них с тем любопытством, с каким присматриваемся мы к людям; меня интересовали их импульсы, мотивы, способности, слабости, подвергнутые испытанию неумолимой физической потребностью. Обуздание! Разве могла быть речь об обуздании? Сдерживало ли их суеверие, отвращение, страх, терпение или какое-то примитивное понятие о чести? Но никакой страх не может противостоять голоду, никакое терпение не может с ним примириться, а отвращению не остается места, если мучит голод. Что же касается суеверий и так называемых принципов, то они отнюдь не надежнее соломинки, подхваченной вихрем.

Знаете ли вы муки голода, эту невыносимую пытку, знаете ли черные мысли и нарастающую ярость, какие приносит с собой голод? Я это знаю. Человеку нужны все его силы, чтобы достойно бороться с голодом. Легче вынести тяжелую утрату,

бесчестье, гибель собственной души, чем такое длительное голодание. Печально, но это так! И ведь у них не было никаких оснований опасаться угрызений совести. Выдержка! С таким же успехом я мог ждать выдержки от гиены, рыскающей среди трупов по полю битвы. Но факт был налицо — факт ослепляющий, как пена на море, как проблеск неисповедимой тайны, — факт более таинственный, чем странная, необъяснимая тоска в этом диком вое, который донесся к нам с берега реки, скрытого непроницаемой белой завесой тумана.

Два пилигрима шепотом спорили о том, на каком берегу раздался крик:

— На левом.

— Нет, нет! Что вы говорите? На правом, конечно на правом!

— Положение серьезное, — раздался за моей спиной голос начальника. — Я буду в отчаянии, если что-нибудь случится с мистером Куртцем раньше, чем мы прибудем на место.

Я посмотрел на него и не усомнился в его искренности. Он был одним из тех людей, которые хотят соблюдать приличия. В этом проявлялась его выдержка. Но когда он пробормотал что-то о том, чтобы немедленно тронуться в путь, я

даже не потрудился ему ответить. Я знал — и он знал, — что это невозможно. Если б мы подняли якорь, мы бы буквально заблудились в тумане. Мы бы не могли решить, куда идем — вверх или вниз по течению или же пересекаем реку, пока пароход не врезался бы в берег; да и тогда мы бы не знали, к какому берегу пристаем. Конечно, я не тронулся с места. Я не намерен был губить судно. Нельзя было придумать более странного места для кораблекрушения. Если бы пароход затонул не сразу, мы бы все равно погибли — так или иначе.

— Я предлагаю вам идти на риск, — сказал он, помолчав.

— Я отказываюсь рисковать, — коротко ответил я. Этого ответа он ждал, хотя мой тон мог его удивить.

— В таком случае я должен положиться на ваше суждение. Вы — капитан, — произнес он с подчеркнутой вежливостью.

Я повернулся к нему боком и стал всматриваться в туман. Сколько времени это еще протянется? Туман нимало меня не обнадежил. Приближение к Куртцу, добывающему слоновую кость в этих проклятых зарослях, было сопряжено с такими опасностями, словно мы ехали к зачарованной

принцессе, спящей в сказочном замке.

— Как вы думаете, нападут ли они? — конфиденциально спросил начальник.

По многим основаниям я считал, что они не нападут. Одним из этих оснований был густой туман. Если они отчалят от берега в своих каноэ, они заблудятся в тумане, как заблудились бы и мы, если б сдвинулись с места. Затем заросли по берегам реки казались мне непроницаемыми… хотя они имели глаза — глаза, которые нас видели. Прибрежные кусты, несомненно, были непроходимы, но сквозь джунгли, тянувшиеся за ними, по-видимому, можно было пробраться. Однако в течение того короткого промежутка времени, когда туман рассеялся, я убедился, что никаких каноэ поблизости не видно; во всяком случае, их не было около парохода. Главная же причина, по которой я считал нападение невозможным, заключалась в самом характере криков. То не был свирепый вой, предвещающий враждебное наступление. В этих диких пронзительных воплях мне слышалась безграничная скорбь. Казалось, вид парохода почему-то преисполнил дикарей безысходной тоской. Опасность, объяснял я, заключается в том, что по соседству от нас находятся люди, захваченные великой

страстью. Даже скорбь может в конце концов перейти в ярость, хотя обычно она переходит в апатию.

Если б вы видели, как таращили глаза пилигримы! У них не хватало духу высмеять или хотя бы обругать меня, но, думаю, они порешили, что я сошел с ума — от страха, быть может. Я им прочел целую лекцию. Друзья мои, что мне было делать? Держаться настороже? Ну что ж, я следил за туманом, как кошка следит за мышью; но теперь глаза нам были так же не нужны, как если бы мы оказались погребенными под горой ваты. И туман был похож на вату — удушливый, теплый. Кроме того, все, что я сказал, было абсолютно правильно, хотя и звучало нелепо. То, о чем впоследствии мы говорили как о нападении, было по существу лишь попыткой отразить наступление. Ничего враждебного в этой попытке не было; она была сделана людьми, доведенными до отчаяния, и носила характер оборонительный.

Это произошло в полутора милях от станции Куртца, через два часа после того, как рассеялся туман. Мы повернули по реке, когда я увидел на середине течения маленький островок — холмик, поросший ярко-зеленой травой. Когда мы подошли ближе, я разглядел, что от холмика тянется

длинная песчаная коса, или, вернее, цепь островков, бесцветных и едва поднимающихся над водой; все они были связаны подводной мелью, тянувшейся по середине потока; эта мель видна была под водой так же, как виден под кожей позвоночный столб человека. Теперь я мог идти направо или налево отмели. Я не знал, какой проход избрать. Глубина, казалось, была одинакова, и берега ничем не отличались; но так как меня предупредили, что станция находится на западном берегу, то я, естественно, повел судно в западный пролив.

Не успели мы войти в него, как я заметил, что он значительно уже, чем я предполагал. Слева тянулась длинная мель, а справа высокий крутой берег, заросший кустами. Над кустарником рядами вздымались деревья. Ветви нависли над рекой, и кое-где дерево протягивало с берега гигантский сук. День клонился к вечеру, пасмурным казался лес, и широкая полоса тени уже легла на воду. В этой тени мы очень медленно продвигались вперед. Я вел судно, придерживаясь берега; здесь было глубже, как показал шест для измерения глубины.

Один из моих голодных и терпеливых друзей-негров измерял глубину, стоя на носу как раз

подо мною. Этот пароход походил на палубное плоскодонное судно. На палубе находились два домика из тикового дерева с дверями и окнами. Котел помещался на носу, а машины — на корме. Над всей палубой тянулась легкая крыша на столбах. Труба проходила через эту крышу, а перед трубой возвышалось маленькое дощатое строение, служившее рулевой рубкой. Здесь помещался штурвал, кушетка, два складных стула, крохотный столик и заряженное мартини, прислоненное в углу. Дверь выходила на нос; справа и слева были широкие ставни, никогда не закрывавшиеся. Целые дни я проводил на самом конце крыши перед дверью. Ночью спал или пытался спать на кушетке. Атлетический негр из какого-то берегового племени, обученный бедным моим предшественником, исполнял обязанности рулевого. Он носил медные серьги и обертывал себе бедра куском голубой материи, спускавшимся до лодыжек. О себе он был самого высокого мнения. Я его считал самым ветреным дураком, какого мне когда-либо приходилось видеть. При вас он с самонадеянным видом управлял рулем, но стоило вам уйти, как он пугался и наш калека-пароход мог в одну минуту одержать над ним верх.

Я смотрел вниз, на шест для измерения глуби-

ны, с досадой отмечая, что река все мелеет, как вдруг мой негр, не потрудившись втащить шест, плашмя растягивается на палубе. Однако шеста он из рук не выпустил, и шест волочился по воде. В то же время кочегар, которого я тоже мог видеть с крыши, внезапно уселся перед своей топкой и втянул голову в плечи. Я удивился и бросил взгляд на реку, так как нам предстояло обогнуть корягу. Палочки, маленькие палочки летали в воздухе; их было много; они свистели перед самым моим носом, падали к моим ногам, ударялись о стенки рулевой рубки за моей спиной. А в это время на реке, на берегу в кустах было тихо — полная тишина. Я слышал только тяжелые удары колеса на корме да постукивание падающих палочек. Неуклюже обогнули мы корягу. Стрелы, клянусь богом, стрелы! Нас обстреливали! Я поспешно вошел в рубку, чтобы закрыть ставень со стороны берега. Этот дурак-рулевой, держа руки на штурвале, приплясывал и жевал губами, словно взнузданная лошадь. Черт бы его побрал! А мы тащились в десяти футах от берега.

Мне пришлось высунуться, чтобы закрыть тяжелый ставень, и я увидел в листве лицо на уровне с моим лицом и глаза, злобно на меня смотревшие в упор; и вдруг словно кто-то снял

пелену, застилавшую мне зрение, и я разглядел в полутьме среди переплетенных ветвей обнаженные торсы, руки, ноги, сверкающие глаза — в кустах кишели человеческие тела бронзового цвета. Ветки дрожали, раскачивались, трещали, стрелы вылетали из кустов. Я закрыл ставень.

— Держи прямо, — сказал я рулевому.

Не поворачивая головы, он смотрел вперед, но глаза его были вытаращены, он потихоньку притопывал, и на губах у него выступила пена.

— Стой смирно! — крикнул я в бешенстве. Но с таким же успехом я мог приказать дереву не раскачиваться под ветром. Я выскочил из рубки. Внизу люди бегали по железной палубе; слышались заглушенные восклицания; кто-то взвизгнул:

— Нельзя ли повернуть назад?

Впереди я заметил рябь на воде. Как! Еще одна коряга! Под моими ногами началась стрельба. Пилигримы пустили в ход свои винчестеры и попусту швыряли свинец в кусты. Поднялось облако дыма и медленно поползло вперед. Я выругался. Теперь я не мог разглядеть ни ряби, ни коряги. Я стоял, выглядывая из-за двери, а стрелы летели тучами. Быть может, эти стрелы были отравлены, но, казалось, они не убили бы и кошки. В

кустах поднялся вой. Наши дровосеки отвечали воинственным гиканьем. Ружейный выстрел раздался за моей спиной и оглушил меня. Я оглянулся через плечо; в рубке дым еще не рассеялся, когда я бросился к штурвалу. Оказывается, негр сорвался с места, открыл ставень и выстрелил из мартини. Тараща глаза, он стоял перед широким отверстием, а я кричал на него, выпрямляя уклонившийся в сторону пароход. Здесь негде было повернуть, даже если бы я и намеревался это сделать; где-то впереди, очень близко от нас, скрывалась в проклятом дыму коряга. Времени нельзя было терять, и я подвел пароход к самому берегу — туда, где, как я знал, было глубоко.

Медленно ползли мы мимо нависших кустов под сыпавшимися на нас листьями и сломанными ветками. Внизу обстрел прекратился. Я откинул голову, когда со свистом мелькнула стрела, влетевшая в одно окно рубки и вылетевшая в другое. Глядя из-за плеча этого сумасшедшего рулевого, который орал, потрясая разряженным ружьем, я различил неясные фигуры людей; они бежали, сгорбившись, скользили и прыгали. Что-то большое показалось перед ставнем, ружье полетело за борт, а человек отступил назад, глянул на меня через плечо странным глубоким

взглядом и упал к моим ногам. Головой он два раза ударился о штурвал, а конец какой-то длинной трости стукнул и опрокинул маленький складной стул. Похоже было на то, что негр, вырвав эту трость из рук человека на берегу, потерял равновесие и упал. Тонкий дымок рассеялся, коряга осталась позади, и, глядя вперед, я убедился, что через сотню ярдов можно будет отвести пароход подальше от берега.

Вдруг я почувствовал, что стою на чем-то очень теплом и мокром, и посмотрел вниз. Человек перевернулся на спину и смотрел прямо на меня; обеими руками он сжимал эту трость. Но то была не трость, а древко копья; брошенное в окно рубки, копье вонзилось ему в бок под ребрами до самого древка, и на боку зияла страшная рана; мои ботинки были полны крови, под штурвалом виднелась блестящая темно-красная лужа. Его глаза светились странным лучистым светом. Внизу снова началась ружейная стрельба. Он смотрел на меня с тревогой, сжимал копье, словно какую-то драгоценность, и как будто боялся, что я попытаюсь отнять ее у него.

Я должен был сделать над собой усилие, чтобы оторвать от него взгляд и следить за штурвалом. Одной рукой я нащупал над головой веревку

и торопливо дал два свистка один за другим. Мгновенно смолкли злобные и воинственные крики, и тогда из глубины лесов донесся протяжный вибрирующий стон, исполненный такого ужаса, тоски и отчаяния, что казалось, последняя надежда покидала землю. В кустах поднялась суматоха, град стрел прекратился, еще несколько выстрелов — и спустилось молчание. Я снова отчетливо услышал медленные удары колеса. В тот момент, когда я круто поворачивал руль направо, в дверях показался пилигрим в розовой пижаме, взволнованный и разгоряченный.

— Начальник послал меня… — начал он официальным тоном и вдруг запнулся. — Боже мой! — воскликнул он, заметив раненого.

Мы, двое белых, стояли над ним, а он смотрел на нас обоих своими лучистыми вопрошающими глазами. Уверяю вас, он как будто собирался задать нам какой-то вопрос на непонятном языке; но он умер, не произнеся ни слова, не дрогнув, не шелохнувшись. Только в самую последнюю минуту, словно в ответ на какой-то невидимый нам знак или шепот, который мы не могли услышать, он сдвинул брови и его черное мертвое лицо стало угрюмым, задумчивым и грозным. Лучистые вопрошающие глаза угасли, стали стеклянными.

— Умеете вы править рулем? — нетерпеливо спросил я агента. Он, видимо, сомневался, но я схватил его за руку, и он сразу понял, что никакие возражения не помогут. По правде сказать, я горел нетерпением переодеть ботинки и носки.

— Он умер, — прошептал расстроенный пилигрим.

— Несомненно, — сказал я, дергая как сумасшедший шнурки ботинок. — И полагаю, что и мистера Куртца уже нет в живых.

В тот момент меня преследовала эта мысль. Я был страшно разочарован, как будто мне открылось, что все это время я стремился к чему-то призрачному. Большего разочарования я бы не мог испытать, если бы прошел весь этот путь с единственной целью поговорить с мистером Куртцем. Поговорить с ним… Я швырнул ботинок за борт, и тут меня осенила мысль, что именно к этому-то я и стремился — к беседе с Куртцем. Я сделал страшное открытие: этого человека я никогда не представлял себе, так сказать, действующим, но только — разговаривающим. Я не говорил себе: «Теперь я никогда его не увижу» или «Теперь я не могу пожать ему руку», но: «Теперь я никогда его не услышу». Думая об этом человеке, я думал о его голосе. Конечно, с ним связаны были

известные поступки. Разве не твердили мне со всех сторон с восхищением и завистью, что он собрал, выменял, выманил или украл слоновой кости больше, чем все агенты, вместе взятые? Но не в этом была суть. Дело в том, что он был одаренным существом, и из всех его талантов подлинно реальной была его способность говорить — дар слова, дар ошеломляющий и просветляющий, самый возвышенный и самый презренный, пульсирующая струя света или обманчивый поток из сердца непроницаемой тьмы.

Второй ботинок полетел в эту проклятую реку. «Черт возьми! — подумал я. — Все кончено. Мы опоздали. Он исчез, и дар его исчез. Он убит копьем, стрелой или дубиной. В конце концов я так и не услышу, как говорил этот парень...» В моем отчаянии было что-то похожее на безграничную скорбь, какая слышалась в вое этих дикарей в кустах. Я почувствовал такое уныние и одиночество, словно у меня отняли веру или я не оправдал своего назначения в жизни...

Кто это там так глубоко вздыхает? Что вы говорите? Нелепо? Ну что ж! Пусть — нелепо. Боже мой! Неужели человек не может... Послушайте, дайте-ка мне табаку.

Спустилось глубокое молчание, потом вспых-

нула спичка и осветила худое измученное лицо Марлоу, изборожденное вертикальными складками; веки были опущены, вид у него был внимательный и сосредоточенный. Он энергично раскуривал трубку. Крохотное пламя колебалось, а лицо то приближалось, то отступало в ночь. Спичка потухла.

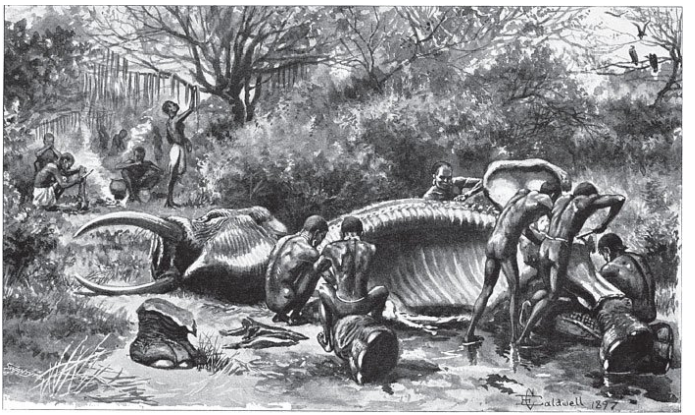
— Нелепо! — воскликнул он. — Что толку рассказывать!.. Здесь у каждого из вас имеется по два адреса, вы прочно ошвартованы, словно судно, стоящее на двух якорях; вы знаете, что за одним углом находится мясник, а за другим — полисмен; аппетит у вас превосходный и температура нормальная… Понимаете?.. Нормальная с начала до конца года. А вы говорите — нелепо!.. К черту нелепость! Друзья мои, чего ждать от человека, который так нервничает, что выбрасывает за борт пару новых ботинок? Теперь меня удивляет, как я тогда не пролил слез. Честное слово, я горжусь своей выдержкой. Меня больно задела мысль, что я лишился великой привилегии послушать этого одаренного Куртца. Конечно, я ошибался. Привилегия ждала меня. О да! Я услыхал больше, чем было нужно. И я был прав, думая о его голосе. Голос — вот самое существенное, что у него осталось. И я услышал его — этот голос — и другие

голоса; а воспоминание об этом времени витает вокруг меня, неосязаемое, как замирающий отголосок болтовни глупой, жестокой, непристойной, дикой или просто подлой и лишенной какого бы то ни было смысла. Голоса, голоса… и даже сама девушка…

Марлоу долго молчал.

— Призрак я заклял в конце концов ложью, — начал он внезапно. — Девушка! Как? Я упомянул о девушке? О, она в этом не участвует. Они — женщины, хочу я сказать, — стоят в стороне и должны стоять в стороне. Мы должны помочь им в их прекрасном мире, чтобы наш мир не сделался еще хуже. О да, ей суждено было остаться в стороне. Если б вы слышали, как мистер Куртц — этот вырытый из земли труп — говорил: «Моя нареченная». Тогда вы бы поняли, что ей нет места в его мире. Высокий лоб мистера Куртца! Говорят, волосы иногда продолжают расти после смерти, но этот… гм… субъект был поразительно лыс. Дикая глушь погладила его по голове, и — смотрите! — голова его уподобилась шару — шару из слоновой кости. Глушь его приласкала, и — о чудо! — он зачах. Она его приняла, полюбила, проникла в его вены, в его плоть, наложила свою

печать на его душу, проделала над ним какие-то дьявольские церемонии посвящения. Он был ее избалованным и изнеженным фаворитом. Слоновая кость? Ну еще бы! Груды слоновой кости. Старая хижина из глины была битком набита. Можно было подумать, что во всей стране не осталось ни одного бивня в земле и на земле. «Все больше ископаемые», — презрительно заметил начальник. Но с таким же успехом можно и меня считать ископаемым. Ископаемой они называли слоновую кость, вырытую из земли. Оказывается, эти негры иногда зарывают бивни в землю, но, видимо, им не удалось зарыть их достаточно глубоко, чтобы спасти одаренного мистера Куртца от его судьбы.



Мы погрузили бивни на пароход, и целая гора лежала на палубе. Таким образом, Куртц мог смотреть и наслаждаться, так как способность оценки не покидала его до последней минуты. Слыхали б вы, как он говорил: «Моя слоновая кость!» О, я его слышал! «Моя нареченная, моя слоновая кость, моя станция, моя река, мое…» Все принадлежало ему. Затаив дыхание, я ждал, что глушь разразится жутким раскатистым смехом,

от которого звезды содрогнутся на небе. Все принадлежало ему, но суть была не в этом. Важно было знать, кому принадлежал он, какие силы тьмы предъявляли на него свои права. От этих размышлений мурашки пробегали по спине. Невозможно — и опасно — было выводить заключение. Он занимал высокий пост среди демонов той страны — я говорю не иносказательно.

Вы не можете это понять. Да и как вам понять? Под вашими ногами прочная мостовая, вы окружены добрыми соседями, которые готовы вас развеселить или, деликатно проскользнув между мясником и полисменом, наброситься на вас, охваченные священным ужасом перед скандалом, виселицей и сумасшедшим домом. Как же можете вы себе представить, в какую тьму первобытных веков забредет свободный человек, вступивший на путь одиночества — полного одиночества, без полисмена, — на путь молчания, полного молчания, когда не слышно предостерегающего голоса доброго соседа, который нашептывает вам об общественном мнении? Все эти мелочи и составляют великую разницу. Когда их нет, вы должны опираться на самого себя, на свою собственную силу и способность соблюдать верность. Конечно, вы можете ока-

заться слишком глупым, чтобы сбиться с пути, слишком тупым, чтобы заметить обрушившиеся на вас силы тьмы. Я считаю, что никогда ни один глупец не продавал своей души черту: либо глупец оказался слишком глупым, либо в черте было слишком много чертовщины.

Или, быть может, вы относитесь к категории тех экзальтированных созданий, которые глухи и слепы ко всему, кроме небесных знамений и звуков. Тогда земля для вас — лишь случайное пристанище, и я не берусь сказать, выигрываете ли вы от этого или проигрываете. Но к большинству из нас все эти определения не подходят. Для нас земля — место, где мы живем, где мы должны мириться со всеми звуками, образами и запахами. Да, черт возьми, мы должны вдыхать запах гниющего гиппопотама и не поддаваться заразе. И тогда на сцену выступает наша выносливость, вера в нашу способность закопать это гниющее тело и наша преданность — преданность не себе, но непосильному темному делу. И это не очень-то легко.

Поймите, я не пытаюсь что-либо изменить или объяснить — я хочу понять, понять мистера Куртца или тень мистера Куртца. Этот посвященный в таинства призрак из Ниоткуда, перед

тем как окончательно исчезнуть, удостоил меня поразительными признаниями. Объясняется это тем, что он мог говорить со мной по-английски. Образование Куртц получил главным образом в Англии, и — как он сам соизволил сказать — эта страна достойна его привязанности. Его мать была наполовину англичанкой, отец — наполовину французом. Вся Европа участвовала в создании Куртца. Как я со временем узнал, «Международное общество по просвещению дикарей» поручило ему написать отчет, каковым можно было бы руководствоваться в дальнейшей работе. И он этот отчет написал. Я его видел, читал. Отчет красноречивый, но, сказал бы я, написанный на высоких нотах. Он нашел время исписать мелким почерком семнадцать страниц! Но должно быть, это было им написано до того, как… ну, скажем, нервы его расходились и побудили мистера Куртца председательствовать во время полунощной пляски, закончившейся невероятными церемониальными обрядами. Впоследствии я, к досаде своей, разузнал, что обряды эти совершались в честь его… вы понимаете? в честь самого мистера Куртца.

Но статья была прекрасная. Впрочем, теперь, когда сведения мои пополнились, вступление к

статье кажется мне зловещим. Куртц развивал ту мысль, что мы, белые, достигшие известной степени развития, «должны казаться им (дикарям) существами сверхъестественными. Мы к ним приходим могущественными, словно боги» — и так далее, и так далее. «Тренируя нашу волю, мы можем добиться власти неограниченной и благотворной…» Начиная с этого места он воспарил и прихватил меня с собой. Заключительные фразы были великолепны, но трудно поддавались запоминанию. У нас сохранилось впечатление о мире экзотическом, необъятном, управляемом могущественной благой силой. Я преисполнился энтузиазма. Такова неограниченная власть красноречия — пламенных, благородных слов.

Никакие практические указания не врывались в магический поток фраз, и только в конце последней страницы — видимо, спустя большой промежуток времени — была нацарапана нетвердой рукой заметка, которую можно рассматривать как изложение метода. Она очень проста, и, после трогательного призыва ко всем альтруистическим чувствам, она вас ослепляет и устрашает, как вспышка молнии в ясном небе: «Истребляйте всех скотов!» Любопытно то, что он, видимо, позабыл об этом многозначительном

постскриптуме, ибо позднее, придя, так сказать, в себя, настойчиво умолял меня хранить «памфлет» (так называл он свою статью), который должен был благоприятно отразиться на его карьере. Обо всем этом у меня имелись точные сведения, а в будущем мне пришлось позаботиться и о его добром имени. Я достаточно об этом позаботился — и потому, если бы захотел, имел полное право бросить этот памфлет в мусорную кучу прогресса — туда, где, фигурально выражаясь, покоятся все дохлые кошки цивилизации. Но, видите ли, у меня не было выбора. Мистера Куртца нельзя было забыть, так как он, во всяком случае, человек незаурядный. Он имел власть чаровать или устрашать первобытные души дикарей, которые в его честь совершали колдовскую пляску; он умел вселить злобные опасения в маленькие душонки пилигримов; он приобрел во всяком случае одного преданного друга, и он завоевал одну душу в мире, отнюдь не первобытную и не зараженную самоанализом.

Да, я не могу его забыть, хотя и не собираюсь утверждать, что он стоил того человека, которого мы потеряли, чтобы до него добраться. Мне не хватало моего погибшего рулевого; я остро ощущал его отсутствие даже в тот момент, когда тело

его еще лежало в рулевой рубке. Пожалуй, вам покажется странным это сожаление о дикаре, который имел не больше значения, чем песчинка в черной Сахаре. Но поймите, он что-то делал, он правил рулем. В течение многих дней он стоял за моей спиной — мой помощник, мое орудие. Это было своего рода товарищество. Он правил за меня — я следил за ним. Меня тревожили его недостатки, и вот протянулась между нами тонкая нить, которую я заметил лишь тогда, когда она внезапно оборвалась. А глубокий задушевный взгляд, какой он на меня бросил, когда ему нанесли удар… я помню по сей день как утверждение далекого родства.

Бедняга! Если б только он не трогал этого ставня! У него не было выдержки — как не было ее у Куртца… Дерево, раскачиваемое ветром… Надев сухие туфли, я вытащил его из рубки. Предварительно я вырвал у него из бока копье, причем, признаюсь, эту операцию я произвел с закрытыми глазами. Его пятки очутились за порогом; плечи его я прижимал к своей груди. Я обнял его сзади и тащил. О, каким он был тяжелым! Мне он казался тяжелее любого человека на земле. Затем, не теряя времени, я спустил его за борт. Течение его подхватило, словно он был пучок

травы; я видел, как тело два раза перевернулось и скрылось навеки.

Все пилигримы и начальник собрались на верхней палубе около рулевой рубки и трещали, словно стая взволнованных сорок; возмущенным шепотом отозвались они на мой бессердечный поступок. Зачем было им оставлять здесь это тело — я не могу догадаться. Быть может, они собирались его набальзамировать. Но с нижней палубы донесся до меня шепот — зловещий шепот. Мои друзья-дровосеки также были скандализованы, и не без причины, но, признаюсь, их расчеты казались мне недопустимыми. Я решил, что если моему покойному рулевому суждено быть съеденным, то пусть его съедят одни рыбы. При жизни он был посредственным рулевым, а после смерти мог сделаться первоклассным искусителем и, пожалуй, вызвать серьезное волнение. Кроме того, я хотел поскорее занять место у штурвала, так как парень в розовой пижаме оказался безнадежным идиотом.

Покончив с несложными похоронами, я поспешил его сменить. Мы шли тихим ходом, придерживаясь середины реки, и я прислушивался к разговорам, какие велись вокруг меня. Пилигримы потеряли надежду увидеть Куртца,

увидеть станцию. Куртц умер, станция сожжена. Рыжеволосый пилигрим радовался, что бедняга Куртц во всяком случае отомщен.

— Послушайте, ведь мы их здорово отделали, когда стреляли по кустам? А? Как вы думаете? Скажите?

Он буквально приплясывал — этот кровожадный рыжий человечек! А ведь он едва не упал в обморок, увидев раненого. Я не выдержал и сказал:

— Во всяком случае, дыму вы много напустили. Я видел по тому, как шелестели верхушки кустов, что все пули летели слишком высоко. — Нужно прицеливаться и держать ружье у плеча, а эти парни держали ружья у бедра и стреляли зажмурившись. Отступление, утверждал я — и не ошибался, — было вызвано пронзительным свистком парохода. Тут они позабыли о Куртце и негодующе запротестовали.

Начальник стоял у штурвала и конфиденциально шептал мне, что до наступления темноты мы должны спуститься по реке и убраться подальше от этих мест. Вдруг я увидел вдали просеку на берегу реки и контуры какого-то строения.

— Что это? — спросил я.

Изумленный, он захлопал в ладоши и крик-

нул:

— Станция!

Не прибавляя ходу, я тотчас же повернул к берегу.

В бинокль я увидел отдельные деревья на склоне холма, очищенного от кустарника. Длинное разваливающееся строение на вершине было почти скрыто высокой травой; издали видны были большие черные дыры, зиявшие в остроконечной крыше. Фоном служили заросли и лес. Я не заметил никакой изгороди, но, очевидно, раньше она здесь была, так как перед домом вытянулись в ряд шесть тонких столбов, грубо обструганных и украшенных круглыми шарами. Перекладин между ними не было. Конечно, лес обступал просеку. Берег был расчищен, и у самой воды я увидел белого человека в шляпе, похожей на колесо, который настойчиво махал нам рукой. Вглядываясь в опушку леса, я почти с уверенностью мог сказать, что там мелькали какие-то человеческие фигуры. Я осторожно провел пароход дальше, затем остановил машины; судно слегка отнесло течением назад. Человек на берегу начал кричать, предлагая нам пристать к берегу.

— На нас было нападение! — завопил начальник.

— Знаю, знаю. Все в порядке! — беззаботно заорал в ответ человек с берега. — Причаливайте. Все в порядке. Я очень рад.

Глядя на него, я стал припоминать что-то очень забавное, где-то мною виденное. Маневрируя, чтобы подойти к берегу, я задавал себе вопрос: «На кого похож этот парень?» И вдруг вспомнил: он был похож на арлекина. Его костюм — кажется, из небеленого холста — был сплошь покрыт заплатами, яркими заплатами — синими, красными и желтыми; заплаты красовались спереди, сзади, на локтях, на коленях; цветная полоса опоясывала куртку, алой материей был обшит низ брюк. Освещенный солнцем, он казался удивительно пестрым и в то же время очень опрятным, так как вы могли разглядеть, с какой аккуратностью нашиты все эти заплаты. Белокурый; безбородое мальчишеское лицо; ни одной резкой черты; маленькие голубые глазки; нос, с которого почти облупилась кожа; улыбки и гримасы, гонявшиеся друг за другом по открытому лицу, как гоняются солнечные блики и тени по равнине, обвеваемой ветром.

— Осторожнее, капитан! — крикнул он. — Здесь затонула прошлой ночью коряга.

Как? Еще одна коряга! Признаюсь, я непристой-

но выругался. К концу нашего восхитительного путешествия я едва не продырявил свое искалеченное судно. Арлекин, стоявший на берегу, повернул ко мне свой приплюснутый носик.

— Вы англичанин? — крикнул он, расплываясь в улыбке.

— А вы? — откликнулся я, стоя у штурвала.

Улыбка сбежала с его лица, и он покачал головой, как бы огорченный моим разочарованием; потом снова просиял.

— Ну ничего! — ободряюще крикнул он.

— Не опоздали мы? — спросил я.

— Он там, наверху, — ответил тот, мотнув головой в сторону холма и внезапно погружаясь в уныние. Его лицо напоминало осеннее небо — то пасмурное, то залитое солнечным светом.

Когда начальник в сопровождении вооруженных до зубов пилигримов сошел на берег и направился к дому, арлекин явился ко мне на борт.

— Послушайте, мне это не нравится, — сказал я, — туземцы бродят там в кустах.

Он торжественно меня уверил, что все обстоит благополучно, а затем добавил:

— Они — люди простые. Я рад, что вы приехали. Нелегко мне было с ними справиться.

— Но вы говорите, что все обстоит благополучно! — воскликнул я.

— О, у них не было злого умысла, — сказал он, а когда я вытаращил глаза, он поправился: — Да, в сущности, не было. — Потом быстро добавил: — Ах, боже мой, вашу рулевую рубку не мешает почистить!

Через секунду он уже советовал мне поддерживать пар в котле, чтобы в случае тревоги дать свисток.

— Один свисток произведет большее впечатление, чем все ваши ружья. Они — люди простые, — повторил он.

Он говорил так быстро, что совершенно меня ошеломил. Казалось, он хотел наверстать потерянное время, и так оно и было, — он сам со смехом на это намекнул.

— Разве вы не разговариваете с мистером Куртцем? — спросил я.

— С этим человеком не разговаривают — его слушают! — воскликнул он восторженно и строго. — Но теперь…

Он махнул рукой и мгновенно погрузился в самую бездну отчаяния. Через секунду он уже оттуда выкарабкался, завладел обеими моими руками и, не переставая их трясти, забормотал:

— Брат-моряк… честь… удовольствие… наслаждение… разрешите представиться… русский… сын архиерея… Тамбовской губернии… Что? Табак! Английский табак! Превосходный английский табак! Вот это по-братски. Курю ли? Где вы найдете моряка, который не курит?

Трубка его успокоила, и вскоре я узнал, что он убежал из школы, ушел в море на русском судне, снова убежал, одно время служил на английских судах и теперь примирился с архиереем. Этот пункт он подчеркнул.

— Но когда человек молод, он должен видеть мир, набираться новых впечатлений, идей, расширять свой кругозор…

— Здесь! — перебил я.

— Как можно знать заранее? Здесь я встретил мистера Куртца, — сказал он укоризненно и с юношеской торжественностью.

Я прикусил язык. Выяснилось, что он убедил представителя одной голландской фирмы на побережье снабдить его товарами и провиантом и потом отправился вглубь страны с легким сердцем и как младенец, не ведая того, что ждет его впереди. Около двух лет он странствовал по берегам этой реки, одинокий, отрезанный от всего и от всех.

— Я не так молод, как кажется. Мне двадцать пять лет, — сказал он. — Сначала старик Ван-Шьютен хотел послать меня к черту, — рассказывал он, от души забавляясь, — но я к нему пристал и говорил, говорил без конца, так что он наконец испугался, как бы я не заговорил зубы его любимой собаке. Тогда он мне дал дешевых товаров и несколько ружей и выразил надежду, что никогда больше не увидит моей физиономии. Славный старик-голландец этот Ван-Шьютен. Год назад я ему послал немного слоновой кости, так что он не сможет назвать меня вором, когда я вернусь. Надеюсь, он ее получил. А больше я ни о чем не беспокоюсь. Я заготовил для вас дров. Там было мое старое жилище. Вы видели?

Я передал ему книгу Тоусона. Казалось, он хотел меня поцеловать, но удержался.

— Единственная книга, которую я оставил. А я-то думал, что потерял ее, — сказал он, смотря на нее словно в экстазе. — Столько, знаете ли, происшествий случается с человеком, который путешествует в одиночестве! Иногда каноэ переворачиваются, а иногда приходится поскорей удирать, если туземцы рассердятся.

Он перелистывал книгу.

— Вы делали заметки на русском языке? —

спросил я. Он кивнул.

— Я думал, что это какой-то шифр, — сказал я.

Он рассмеялся, потом сразу сделался серьезным и проговорил:

— Вы не знаете, как мне было трудно справиться с туземцами.

— Они хотели вас убить? — спросил я.

— О нет! — воскликнул он и умолк.

— Почему они на нас напали? — продолжал я.

Он замялся, потом сконфуженно сказал:

— Они не хотят, чтобы он уехал.

— Не хотят? — с любопытством переспросил я.

Он кивнул таинственно и многозначительно.

— Говорю вам, этот человек расширил мой кругозор! — воскликнул он и широко раскинул руки, глядя на меня своими круглыми голубыми глазками.

III

Я смотрел на него с изумлением. Он стоял передо мной в своем пестром костюме, восторженный, фантастический, словно удрал из труппы мимов. Самое его существование казалось невероятным, необъяснимым, сбивающим с толку. Он был загадкой, не поддающейся разрешению. Непонятно, чем он жил, как удалось ему забраться так далеко, как ухитрился он остаться здесь и почему не погиб.

— Я отправился в путь, — сказал он, — забирался понемногу все дальше и дальше и наконец зашел так далеко, что не знаю, как я вернусь назад. Ну ничего! Времени много. Выживу. А вы увезите Куртца. И поскорей, поскорей, говорю вам.

Юношеская сила чувствовалась в этом человеке в пестрых лохмотьях, нищем, покинутом, одиноком в его бесплодных исканиях. В течение многих месяцев, в течение нескольких лет жизнь его висела на волоске, но он продолжал жить, безумный и, по-видимому, бессмертный, благодаря своей молодости и безрассудной смелости. Я почувствовал что-то похожее на восхищение

и зависть. Чары увлекали его вперед, спасали от гибели. От дикой глуши он не требовал ничего, кроме возможности дышать и пробиваться дальше. Ему нужно было жить и идти вперед, подвергая себя величайшему риску и лишениям. Если чистый, бескорыстный, непрактичный дух авантюризма управлял когда-либо каким-нибудь человеком, то, несомненно, этим человеком был мой заплатанный юнец. Я готов был позавидовать ему, горевшему этим скромным и ясным пламенем. Казалось, пламя поглотило всякую себялюбивую мысль, и, когда он говорил, вы забывали, что он сам, стоящий перед вами, прошел через все эти испытания. Однако я не завидовал его преданности Куртцу. О ней он не размышлял — он ее принял с каким-то страстным фатализмом. Должен сказать, мне эта преданность казалась значительно опаснее всего того, через что он уже прошел.

Встреча их была неизбежна, как встреча двух судов, вместе застигнутых штилем и наконец соприкоснувшихся бортами. Думаю, Куртц нуждался в слушателе, ибо случилось так, что, расположившись лагерем в лесу, они беседовали всю ночь, или — вернее — говорил один Куртц.

— Мы говорили обо всем, — с восторгом сооб-

щил мне молодой человек. — Я позабыл о сне. Ночь пролетела, как один час. Обо всем! Обо всем!.. И о любви.

— А, он говорил с вами о любви! — сказал я, от души забавляясь.

— Не о той любви, о какой вы думаете! — страстно воскликнул он. — О любви вообще. Он показал мне мир — мир!

Он воздел руки к небу. В тот момент мы находились на палубе, и старшина моих дровосеков, бродивший поблизости, посмотрел на него своими мрачными сверкающими глазами. Я огляделся по сторонам, и — уверяю вас — никогда еще не казались мне эта страна, эта река, заросли, ослепительный купол неба такими безнадежными и сумрачными, непроницаемыми для человеческой мысли и безжалостными к человеческой слабости.

— И с тех пор вы, конечно, всегда были с ним? — спросил я.

Я ошибался. Оказывается, они по многим причинам очень часто разлучались. Мой собеседник с гордостью сообщил, что ему удалось выходить Куртца, когда тот два раза был болен (казалось, свой поступок он считал каким-то рискованным подвигом), но обычно Куртц скитался один, заби-

раясь в самые дебри лесов.

— Очень часто я являлся на станцию и должен был несколько дней ждать его возвращения, — сказал он. — Ах, этого стоило ждать… иногда.

— Что же он делал? Исследовал страну? — спросил я.

— О да, конечно.

Выяснилось, что Куртц нашел много деревень, а также озеро, но собеседник мой не знал, где именно расположено это озеро: рискованно было задавать Куртцу слишком много вопросов; но обычно целью его экспедиций была добыча слоновой кости.

— Но ведь к тому времени у него не осталось товаров для обмена, — возразил я.

— На станции и сейчас еще есть много патронов, — ответил он, глядя в сторону.

— Иными словами, он совершал набеги, — сказал я.

Тот кивнул.

— Но не один же!

Он пробормотал что-то о деревнях близ озера.

— Куртц добился того, чтобы племя за ним следовало, не так ли? — подсказал я.

Он замялся, потом ответил:

— Они его боготворили.

Тон его показался мне таким странным, что я зорко на него посмотрел. Любопытно было, что ему страстно хотелось говорить о Куртце и в то же время что-то его удерживало. Этот человек заполнил его жизнь, занимал его мысли, подчинил все его эмоции.

Наконец он не выдержал:

— Чего вы хотите? Он пришел к ним и принес с собою гром и молнию… Ничего похожего на это они раньше не видели. И он был страшен. Он умеет быть страшным. Нельзя судить о мистере Куртце, как вы стали бы судить о заурядном человеке. Нет, нет! Чтобы вы яснее его себе представили, я могу сказать, что он и меня хотел однажды пристрелить… но я его не осуждаю.

— Вас пристрелить! — воскликнул я. — За что?

— Видите ли, у меня было немного слоновой кости, которую мне дал вождь одной деревушки неподалеку от моего жилища. Я, бывало, стрелял для них дичь. Куртц потребовал, чтобы я ее отдал ему, и слушать не хотел никаких возражений. Он заявил, что пристрелит меня, если я ему не отдам слоновой кости и не уберусь из этих краев. Он мог меня пристрелить, и ничто на земле не помешало бы ему убить того, кого ему вздумается. Это была правда. Я ему отдал слоновую кость. Не все

ли мне было равно? Но не уехал, нет. Я не мог его оставить. Конечно, мне приходилось быть очень осторожным, пока мы снова не подружились — на время. Тогда он заболел вторично. А потом я старался не попадаться ему на пути; но я не сердился. Бóльшую часть времени он проводил в этих деревнях у озера. Когда он спускался к реке, он иногда бывал ласков со мной, а иногда я должен был его остерегаться. Этот человек слишком много страдал. Все это он ненавидел, но почему-то не мог отсюда уйти. Когда представлялся удобный случай, я умолял его уехать, пока не поздно, я предлагал вернуться вместе с ним. Он соглашался, а потом оставался; снова охотился за слоновой костью; пропадал по целым неделям; забывал о себе среди этих людей. Вы понимаете — забывал о себе.

— Да ведь он сумасшедший! — воскликнул я.

Мой собеседник негодующе запротестовал. Мистер Куртц не мог быть сумасшедшим. Если бы я слышал, как он разговаривал всего два дня назад, я бы и заикнуться не посмел о чем-либо подобном…

Пока мы беседовали, я смотрел в бинокль на берег и лес, подступивший к дому справа, слева и сзади. Я был неспокоен, зная, что в зарослях

притаились люди, безмолвные, неподвижные — такие же безмолвные и неподвижные, как этот разрушенный дом на холме. Глядя на лик природы, я не находил подтверждения этой изумительной повести, которая не столько была рассказана, сколько внушена мне унылыми восклицаниями, пожиманием плеч, оборванными фразами, намеками, переходившими в глубокие вздохи. Лес казался неподвижным, как маска, тяжелым, как запертая тюремная дверь; он словно скрывал свою тайну — терпеливый, выжидающий, неприступно молчаливый.

Русский сообщил мне, что совсем недавно мистер Куртц вернулся к реке, ведя за собой всех воинов приозерного племени. В отсутствии он пробыл несколько месяцев — должно быть, собирал дань почитания — и явился неожиданно, видимо намереваясь вторгнуться в селения на другом берегу реки или ниже по течению. Очевидно, страсть к слоновой кости одержала верх над иными… как бы это сказать?.. менее материалистическими побуждениями. Но внезапно он почувствовал себя значительно хуже.

— Я услышал, что он лежит беспомощный… Вот я и пришел, воспользовался случаем, — сказал русский. — О, ему плохо, очень плохо.

Я направил бинокль на дом. Там не заметно было признаков жизни; виднелась разрушенная крыша, длинная стена из глины, поднимающаяся над травой, три маленьких четырехугольных дыры вместо окон; бинокль все это ко мне приблизил, и я, казалось, мог рукой прикоснуться к дому. Затем я резко повернулся, и один из уцелевших столбов изгороди попал в поле зрения. Вы помните, я вам говорил, что еще издали удивился этой попытке украсить столбы, тогда как дом имел такой запущенный вид. Теперь я всмотрелся и отпрянул, словно мне нанесли удар. Потом стал наводить бинокль на все столбы по очереди и окончательно убедился в своей ошибке. Эти круглые шары были не украшением, но символом, выразительным, загадочным и волнующим, пищей для размышления, а также — для коршунов, если бы таковые парили в небе; и, во всяком случае, они служили пищей для муравьев, не поленившихся подняться на столб. Еще большее впечатление производили бы эти головы на кольях, если бы лица их не были обращены к дому. Только первая голова, какую я разглядел, была повернута лицом в мою сторону. Возмущен я был не так сильно, как, быть может, думаете. Я отшатнулся потому, что был изумлен: я рассчи-

тывал увидеть деревянный шар. Спокойно навел я бинокль на первую замеченную мною голову. Черная, высохшая, с закрытыми веками, она как будто спала на верхушке столба; сморщенные сухие губы слегка раздвинулись, обнажая узкую белую полоску зубов; это лицо улыбалось, улыбалось вечной улыбкой какому-то нескончаемому и веселому сновидению.

Я не разоблачаю секретов торговой фирмы. Как сказал впоследствии начальник, метод мистера Куртца повредил работе в этих краях. Своего мнения по этому вопросу я не имею, но я хочу вам объяснить, что никакой выгоды нельзя было извлечь из этих голов, насаженных на колья. Они лишь свидетельствовали о том, что мистер Куртц, потворствовавший разнообразным своим страстям, нуждался в выдержке, что чего-то ему не хватало, какой-то мелочи в критический момент, несмотря на великолепное его красноречие. Знал ли он об этом своем недостатке, я не могу сказать. Думаю, что глаза его открылись в последнюю минуту. Но дикая глушь рано его отметила и жестоко ему отомстила за фанатическое вторжение. Думаю, она шепотом рассказала ему о нем самом то, чего он не знал, о чем не имел представления, пока не прислушался к

своему одиночеству, и этот шепот зачаровал его и гулким эхом отдавался в нем, ибо в глубине его была пустота… Я опустил бинокль, и голова, торчавшая так близко, что, казалось, с ней можно заговорить, сразу отскочила вдаль.

Поклонник мистера Куртца приуныл. Торопливо, невнятно начал он меня уверять, что не посмел снять со столбов эти, скажем, символы. Туземцев он не боялся; они не двинутся с места до тех пор, пока мистер Куртц не отдаст распоряжения: его влияние безгранично. Эти люди расположились лагерем вокруг станции, и вожди каждый день его навещали. Они пресмыкались…

— Я знать не желаю о тех церемониях, с какими приближались к мистеру Куртцу! — крикнул я. Любопытно, что такие детали отталкивали меня сильнее, чем эти головы, сушившиеся на кольях под окнами мистера Куртца. В конце концов, то было лишь варварское зрелище, тогда как я одним прыжком перенесся в темную страну ужасов, где успокоительно действовало на вас чистое, неприкрытое варварство, видимо имеющее право существовать под солнцем. Молодой человек посмотрел на меня с удивлением. Думаю, ему не пришло в голову, что мистер Куртц не был

моим идолом. Он позабыл о том, что я не слыхал великолепных монологов Куртца… О чем? О любви, справедливости, поведении в жизни. Уж если речь зашла о пресмыкании перед мистером Куртцем, то он пресмыкался не хуже любого из дикарей. По его словам, я понятия не имел о здешних условиях; эти головы были головами мятежников. Услышав мой смех, он был возмущен. Мятежники! Какое еще определение предстояло мне услыхать? Я слыхал о врагах, преступниках, работниках, а здесь были мятежники. Эти мятежные головы казались мне очень покорными на своих кольях.

— Вы не знаете, как эта жизнь испытывает терпение такого человека, как Куртц! — воскликнул последний ученик Куртца.

— А о себе что вы скажете? — осведомился я.

— Я! Я! Я — человек простой. У меня нет великих замыслов. Мне ничего ни от кого не нужно. Как можете вы сравнивать меня с?..

Он не в силах был выразить свои чувства, пал духом и простонал:

— Не понимаю… Я делал все, чтобы сохранить ему жизнь, и этого достаточно. В его делах я не участвовал. У меня нет никаких способностей. Здесь в течение нескольких месяцев не было ни

капли лекарства, ни куска пищи, какую можно дать больному. Его позорно покинули. Такого человека! С такими идеями! Позор! Позор! Я не спал последние десять дней…

Голос его замер, растворился в вечерней тишине. Пока мы разговаривали, длинные тени леса скользнули вниз по холму, протянулись ниже разрушенной хижины и символического ряда кольев. И дом и колья были окутаны сумерками, а мы внизу стояли освещенные солнцем, и полоса реки у просеки сверкала ослепительным блеском, но выше по течению и ниже у поворота спускались темные тени. Ни души не было на берегу. В кустах не слышно было шороха.

Вдруг из-за угла дома вышла группа людей, словно вынырнувших из-под земли. Они шли по пояс в траве и несли самодельные носилки. И внезапно вырвался пронзительный крик, который прорезал неподвижный воздух, словно острая стрела, направленная в самое сердце земли. Мгновенно, как по волшебству, поток людей — обнаженных людей с копьями, луками, мечами, людей, бросающих дикие взгляды, — хлынул на просеку темноликого и задумчивого леса. Затрепетали кусты, заволновалась трава — потом все застыло настороженно.

— Теперь, если он не скажет им нужного слова, все мы погибли, — пробормотал русский.

Группа людей с носилками, словно окаменев, остановилась на полпути к пароходу. Я видел, как худой человек на носилках сел и поднял руку, возвышаясь над плечами носильщиков.

— Будем надеяться, что человек, который так хорошо умеет говорить о любви вообще, найдет основание пощадить нас на этот раз, — сказал я. С горечью думал я о грозившей нам нелепой опасности, словно считал бесчестьем полагаться на милость этого жестокого призрака. Я не мог расслышать ни одного звука, но в бинокль я видел повелительно простертую худую руку, видел, как двигалась его нижняя челюсть, мрачно сверкали запавшие глаза и чудовищно раскачивалась костистая голова. Куртц… Куртц… кажется, по-немецки это значит — короткий? Ну что ж! В фамилии этого человека было столько же правды, сколько в его жизни и… смерти. Он был не меньше семи футов ростом. Его одеяло откинулось, и обнажилось тело, словно освобожденное от савана, страшное и жалкое. Я видел, как двигались все его ребра, как он размахивал костлявой рукой. Казалось, одушевленная статуя смерти, вырезанная из старой слоновой кости,

потрясала рукой, угрожая неподвижной толпе людей из темной сверкающей бронзы. Я видел, как он широко раскрыл рот… в этот момент он выглядел прожорливым и страшным, словно хотел проглотить воздух и всех людей, стоявших перед ним. До меня слабо доносился низкий голос. Должно быть, он кричал. Вдруг он откинулся назад. Дрогнули носилки, когда носильщики снова зашагали вперед, и почти в тот же момент я обратил внимание, что толпа дикарей незаметно исчезла, как будто лес, выбросивший внезапно этих людей, снова втянул их в себя, как легкие втягивают воздух.

Пилигримы, шедшие за носилками, несли его оружие: два карабина, винтовка, револьвер — громовые стрелы этого жалкого Юпитера. Начальник, шагавший у изголовья носилок, наклонился, шепча ему что-то на ухо. Они положили его в одной из маленьких кают, где едва могла поместиться койка да один-два складных стула. Мы принесли ему его запоздавшие письма; разорванные конверты и исписанные листки усеяли постель. Слабой рукой он их перебирал. Меня поразили его горящие глаза и усталое спокойное лицо. Не только болезнь его истощила. Казалось, боли он не чувствовал. Эта тень выглядела пре-

сыщенной и спокойной, словно в данный момент все страсти ее были удовлетворены.

Он перелистал одно из писем и, глядя прямо мне в лицо, сказал:

— Я рад.

Кто-то писал ему обо мне. Снова дали о себе знать эти особые рекомендации. Меня удивил его громкий голос; а ведь говорил он без всяких усилий — едва шевеля губами. Голос! Голос! Торжественный, глубокий, вибрирующий — тогда как при виде этого человека не верилось, что он сможет говорить хотя бы шепотом. Однако у него, как вы сейчас услышите, хватило сил — искусственно возбужденных, несомненно, — едва не покончить со всеми нами.

В дверях показался начальник. Я тотчас же вышел, а он задернул за мной занавеску. Русский, за которым с любопытством наблюдали пилигримы, пристально смотрел на берег. Я проследил за его взглядом.

Вдали виднелись темные силуэты людей, скользившие на мрачном фоне леса, а у реки две освещенные солнцем бронзовые фигуры в фантастических головных уборах из пятнистых звериных шкур стояли, опираясь на длинные копья, — воинственные и неподвижные фигуры,

похожие на статуи. По залитому солнечным светом берегу скользил справа налево чудовищный и великолепный призрак женщины.

Она шла размеренными шагами, закутанная в полосатую, обшитую бахромой одежду, гордо ступая по земле. Звенели и сверкали варварские украшения. Она высоко несла голову; прическа ее напоминала шлем. Медные набедренники закрывали ноги до колен; проволочные латные рукавицы поднимались до локтя; красные пятна горели на ее коричневых щеках; бесчисленные ожерелья из стеклянных бусин украшали шею. Странные амулеты — подарки шаманов — сверкали на ее одежде. Должно быть, немало слоновых бивней стоили ее украшения. Она была великолепной дикаркой с пламенными глазами; что-то зловещее и величественное было в ее спокойной поступи. И в тишине, внезапно спустившейся на скорбную страну, необъятная глушь, плодородная таинственная жизнь, казалось, смотрела на нее задумчиво, словно в ней видела воплощенной свою мрачную и страстную душу.

Она поравнялась с пароходом, остановилась и повернулась к нам лицом. Длинная ее тень протянулась к самой воде. Ее лицо, трагическое и жестокое, было отмечено печатью дикой скор-

би, немой муки и страха перед каким-то еще не оформившимся решением. Она стояла неподвижно, смотрела на нас и словно размышляла над неисповедимой тайной. Прошла минута. Она сделала шаг вперед. Послышалось тихое позвякивание, блеснул желтый металл, взметнулась обшитая бахромой одежда, и женщина остановилась, словно мужество ей изменило. Русский, стоявший подле меня, что-то проворчал. Пилигримы перешептывались за моей спиной. Она смотрела на нас, словно жизнь ее зависела от этого пристального, немигающего взгляда. Вдруг она всплеснула обнаженными руками и подняла их над головой, казалось обуреваемая безумным желанием коснуться неба… и в этот момент быстрые тени скользнули по земле, легли на реку и темным кольцом сомкнулись вокруг парохода. Нависло грозное молчание.

Медленно она повернулась, прошла вдоль берега и вступила в заросли.

— Вздумай она подняться на борт, я бы, кажется, попытался ее пристрелить, — нервничая, сказал человек с заплатами. — В течение последних двух недель я каждый день рисковал жизнью, не позволяя этой женщине войти в дом. Однажды она пробралась и подняла шум из-за этих

жалких лохмотьев, которые я достал из чулана, чтобы починить свой костюм. Вид у меня был непристойный. А она, должно быть, из-за этого взбесилась и, как фурия, целый час говорила что-то Куртцу, то и дело указывая на меня. Я не понимаю наречия этого племени. На мое счастье, Куртц в тот день чувствовал себя очень плохо, а не то быть беде. Не понимаю… Да, это превышает мое понимание. Но теперь все кончено.

В эту минуту я услышал глубокий голос Куртца за занавеской:

— Спасти меня! Спасти слоновую кость, хотите вы сказать. Не убеждайте меня. Спасти меня! Да ведь мне пришлось спасать вас. А теперь вы мне мешаете. Болен! Болен! Не так сильно болен, как вам хочется думать. Ничего! Я еще проведу свои планы. Я вернусь и покажу вам, что может быть сделано. Вы с вашими идеями мелких торгашей — вы мне мешаете. Я вернусь. Я…

На палубу вышел начальник. Он удостоил взять меня под руку и отвести в сторону.

— Плох, очень плох, — сказал он и счел нужным вздохнуть, однако не старался сохранить скорбный вид. — Мы для него сделали все, что могли, не так ли? Но что толку скрывать? Фирме мистер Куртц принес больше вреда, чем поль-

зы. Он не понимал, что время для энергичных выступлений еще не пришло. Осмотрительность, осмотрительность — вот мой принцип! Мы должны действовать осторожно. Теперь этот округ временно для нас закрыт. Печально! Это повредит торговле. Я не отрицаю, что на станции имеются колоссальные запасы слоновой кости — главным образом, ископаемой. Мы должны ее спасти во что бы то ни стало… Но посмотрите, какое создалось опасное положение. А почему? Потому что метод его нерационален.

— Вы это называете «нерациональным методом»? — спросил я, глядя на берег.

— Конечно! — воскликнул он с жаром. — А вы?..

— Никакого метода не было, — пробормотал я, помолчав.

— Совершенно верно, — обрадовался он. — Я это предвидел. Он проявил полную неспособность соображать. Мой долг — сообщить об этом куда следует.

— О, — сказал я, — этот парень… как его зовут?.. кирпичник составит для вас отчет, достойный того, чтобы его прочитали.

Начальник был, видимо, сбит с толку. Мне же казалось, что никогда еще я не дышал таким

отравленным воздухом, и мысленно я обратился к Куртцу, ища успокоения… да, успокоения.

— И тем не менее я считаю, что мистер Куртц — замечательный человек, — сказал я внушительно.

Он вздрогнул, посмотрел на меня холодным тяжелым взглядом и сказал очень спокойно:

— Был замечательным человеком, — и повернулся ко мне спиной.

Час немилости пробил: я был отнесен в одну рубрику с Куртцем как сторонник методов, для которых время еще не пришло; я не знал о рациональных методах! Но все-таки я мог хотя бы делать выбор из кошмаров.

Собственно говоря, в поисках успокоения я обратился к дикой глуши, а не к мистеру Куртцу, который — против этого я не мог протестовать — был все равно что похоронен. И мне почудилось, будто я тоже погребен в могиле, полной необъяснимых тайн. Я чувствовал невыносимую тяжесть, навалившуюся мне на грудь, вдыхал запах сырой земли, ощущал власть гниения и тьму непроницаемой ночи… Русский тронул меня за плечо. Я слышал, как он бормотал:

— Брат-моряк… не мог утаить… сведения, которые повредят репутации мистера Куртца…

Я ждал. Видимо, для него мистер Куртц еще не лежал в могиле. Я подозревал, что он считает мистера Куртца одним из бессмертных.

— Ну что ж! — сказал я наконец. — Говорите начистоту. Выходит, что я — друг мистера Куртца… до известной степени.

Весьма официально он мне сообщил, что, не занимайся я одной с ним «профессией», он сохранил бы все в тайне, не заботясь о последствиях. Он подозревал, что к нему недоброжелательно относятся эти белые, которые…

— Вы правы, — перебил я, припоминая подслушанный мною разговор. — Начальник считает, что вас следовало бы повесить.

Он встревожился, и это меня сначала позабавило.

— Лучше мне потихоньку убраться с дороги, — сказал он задумчиво. — Для Куртца я больше ничего не могу сделать, а они всегда сумеют найти предлог. Что может их остановить? Военный пост находится на расстоянии трехсот миль отсюда.

— Да, — отозвался я, — пожалуй, лучше вам уйти, если есть у вас друзья среди этих дикарей.

— Друзей много. Они — люди простые, а мне, вы знаете, ничего не нужно…

Он стоял, покусывая губы, потом добавил:

— Я не хочу, чтобы какая-нибудь беда случилась с этими белыми. Конечно, я думал о репутации мистера Куртца, но вы — брат-моряк, и…

— Ладно, — сказал я, помолчав. — Я позабочусь о репутации мистера Куртца.

Тогда я не знал, сколько правды было в моих словах.

Понизив голос, русский сообщил мне, что это Куртц отдал распоряжение напасть на пароход.

— Иногда ему невыносимо было думать, что его увезут… а потом снова… Но я таких вещей не понимаю. Я человек простой. Он думал, что это вас испугает — вы решите, что он умер, и повернете назад. Я не мог его уговорить. О, я натерпелся за этот последний месяц!

— Ладно, — сказал я, — теперь все в порядке.

— Д-а-а, — протянул он, видимо не совсем успокоенный.

— Благодарю вас, — сказал я. — Я буду держаться настороже.

— Но вы будете молчать? — с тревогой спросил он. — Подумайте, как пострадает его репутация, если кто-нибудь…

Торжественно я обещал ему хранить тайну.

— Тут неподалеку меня ждет каноэ с тремя

чернокожими. Я уезжаю. Не можете ли вы дать мне несколько патронов для мартини?

Я исполнил его просьбу. Подмигнув мне, он взял пригоршню моего табаку:

— Братья-моряки… славный английский табак.

В дверях рубки он приостановился:

— Послушайте, нет ли у вас лишней пары ботинок? Смотрите! — Он поднял ногу. Подошвы были привязаны веревками к босой ноге, как сандалии. Я разыскал старые ботинки. Он посмотрел на них с восторгом и сунул под левую руку. Один из карманов его куртки (ярко-красный) был набит патронами, из другого (темно-синего) торчала книжка Тоусона. Казалось, он считал себя превосходно экипированным для новой встречи с дикой глушью.

— Ах! Другого такого человека я никогда не встречу! Если бы вы слышали, как он декламировал стихи! Стихи собственного своего сочинения! — Он закатил глаза, упиваясь своими воспоминаниями. — О, он расширил мой кругозор.

— Прощайте, — сказал я.

Он пожал мне руку и скрылся во мраке. Иногда я задаю себе вопрос, действительно ли я его видел, можно ли встретить на земле такой феномен!..

Когда я проснулся вскоре после полуночи, мне вспомнилось его предостережение, его намеки на грозившую нам опасность, и теперь, в звездной ночи, эта опасность показалась мне настолько реальной, что я решил встать и посмотреть, все ли спокойно. На холме пылал большой костер, отбрасывая трепещущие отблески на осевший угол станционного здания. Один из агентов с вооруженным отрядом наших чернокожих охранял слоновую кость; но в глубине леса, между черными, похожими на колонны стволами деревьев мелькали, то опускаясь, то поднимаясь над землей, красные огоньки, точно определявшие местоположение лагеря, где бодрствовали встревоженные приверженцы мистера Куртца. Слышался монотонный бой барабана, и воздух наполнен был замирающими вибрациями и заглушенным стуком. Протяжный гул, в который сливались голоса многих людей, поющих какое-то жуткое заклятие, вырывался из-за черной стены лесов, как вырывается жужжание пчел из улья; это пение странно, словно наркоз, подействовало на мой мозг, еще окутанный дремотой. Кажется, я снова задремал, прислонившись к поручням, пока не разбудили меня резкие, оглушительные крики — взрыв непонятного безумия,

который привел меня в недоумение. Крики сразу оборвались, и опять послышалось тихое гудение, действовавшее успокоительно, как молчание. Я заглянул в каюту. Там горел свет, но мистера Куртца в каюте не было.

Думаю, я поднял бы крик, если б сразу поверил своим глазам. Но сначала я не поверил — это показалось мне невероятным. Дело в том, что меня охватил безграничный страх, какой-то абстрактный ужас, не связанный с мыслями о физической опасности. Эта эмоция вызвана была душевным потрясением, словно я неожиданно наткнулся на что-то чудовищное, необъяснимое и отвратительное. Такое состояние длилось не больше секунды, а затем сменилось мыслью о грозившей нам смертельной опасности, о возможности нападения и резни. Эта мысль действовала умиротворяюще, и я ее приветствовал. Она настолько меня успокоила, что я решил не поднимать тревоги.

В трех шагах от меня спал, сидя на стуле, агент, закутанный в застегнутый доверху ульстер. Крики его не разбудили, он тихонько похрапывал. Я не нарушил его сна и прыгнул на берег. Я не предал мистера Куртца… Казалось, было предопределено, что я никогда его не предам и

останусь верным избранному мною кошмару. Я горел желанием встретиться наедине с этой тенью. И по сей день я не знаю, почему мне так не хотелось разделить с кем-нибудь предстоявшее мне мрачное испытание.

Едва ступив на берег, я увидел след — широкий след в траве. Помню, с каким торжеством я сказал себе: «Он не может идти… ползет на четвереньках… я его поймал». Трава была мокрая от росы. Сжимая кулаки, я шел быстро. Кажется, я хотел налететь на него и прибить. Не знаю. Мне приходили в голову нелепые мысли. Вспомнилась старуха с кошкой и с вязаньем, — персонаж совсем неподходящий для участия во всем этом деле. Мелькнули пилигримы, они опрыскивали воздух свинцом из винчестеров, держа ружье у бедра. Я думал, что никогда не смогу вернуться на пароход, буду жить в этих лесах, одинокий и безоружный, до самой старости. Вы знаете, какие глупые мысли приходят иногда в голову. Помню, я смешал бой барабана с биением моего сердца и остался доволен своим ровным пульсом.

Но все время я шел по следу; потом остановился и прислушался. Ночь была ясная; в темно-синем пространстве, залитом звездным светом, сверкала роса и неподвижно застыли черные тени.

Мне почудилось, что кто-то движется впереди. В ту ночь я воспринимал все особенно остро. Я свернул в сторону и описал широкий полукруг (кажется, я бежал, посмеиваясь про себя), чтобы опередить этот движущийся предмет, если только он мне не почудился. Словно участвуя в мальчишеской игре, я старался перехитрить Куртца.

Я налетел на него, и, не услышь он моих шагов, я бы на него упал, но он вовремя успел встать. Он поднялся, нетвердо держась на ногах, — длинный, бледный, неясный, как туман, поднимающийся над землей, и молча стоял передо мной, слегка покачиваясь, а за моей спиной мерцали огни между деревьями, и доносился из леса гул голосов. Я ловко перерезал ему путь, но, когда мы очутились лицом к лицу, я как будто опомнился и осознал опасность во всем ее неприкрашенном виде. Она еще отнюдь не миновала. Что, если б он начал кричать? Хотя он едва мог стоять, но для крика у него хватило бы силы.

— Уходите, спрячьтесь! — сказал он своим низким голосом.

Это было страшно. Я оглянулся. Тридцать ярдов отделяли нас от ближайшего костра. Я видел, как поднялась черная фигура, широко раздвинула

длинные черные ноги, простерла черные руки над костром. На голове ее были какие-то рога — кажется, рога антилопы. Несомненно, то был колдун, шаман, очень походивший на черта.

— Знаете ли вы, что вы делаете? — прошептал я.

— Знаю, — ответил он, повышая голос, чтобы произнести это одно слово. Оно прозвучало заглушенно и в то же время громко — словно окрик, вырвавшийся из рупора.

«Если он поднимет шум, мы погибли», — подумал я. Сейчас не время было пускать в ход кулаки, не говоря уже о том, что мне, естественно, не хотелось бить эту тень — это скитающееся и измученное существо.

— Вы погибнете, — сказал я, — окончательно погибнете.

Иногда бывают, знаете ли, такие проблески вдохновения. Я сказал как раз то, что нужно было сказать, хотя он мог считать себя погибшим и теперь — в тот момент, когда заложена была основа нашей близости, не оборвавшейся до самого конца и даже… после.

— У меня были грандиозные планы, — пробормотал он нерешительно.

— Да, — сказал я, — но, если вы вздумаете кри-

чать, я вам размозжу голову… — Поблизости не видно было ни палки, ни камня… — Я вас задушу, — поправился я.

— Я стоял у порога великих дел, — взмолился он с такой тоской, что кровь застыла у меня в жилах. — А теперь из-за негодяя и дурака…

— Ваш успех в Европе во всяком случае обеспечен, — твердо сказал я. Мне, видите ли, не хотелось его душить, да и вряд ли это принесло бы хоть какую-нибудь пользу. Я старался разрушить чары — тяжелые немые чары глуши, которая, казалось, влекла его безжалостно к себе, пробуждая забытые и зверские инстинкты и воспоминания об удовлетворенных и чудовищных страстях. Я был убежден, что только это и побудило его притащиться к опушке леса, к зарослям, к отблеску костров, к бою барабанов, к тягучему пению заклятий; только это и увлекло его преступную душу за пределы дозволенных стремлений. И видите ли, ужас положения заключался не в возможности получить удар по голове — хотя я живо чувствовал и эту опасность, — но в том, что я имел дело с человеком, который ничего не признавал. Подобно неграм, я должен был взывать к нему самому, к этому восторженному и бесконечно павшему существу. Не было ничего

выше или ниже его — и я это знал. Он оторвался от земли. Будь он проклят! Он остался один, и я, смотря на него, не знал, стою ли я на земле или парю в воздухе.

Я вам рассказал, о чем мы с ним говорили, повторил фразы, какими мы обменялись… но что толку? То были банальные, повседневные слова, знакомые неясные звуки, какие можно услышать в любой день. Но не в этом дело. Мне они напоминали отзвук жутких слов, какие слышишь во сне, отзвук фраз, преследующих во время кошмара. Душа! Если приходилось кому-нибудь вести борьбу душой, то таким человеком был я. И ведь я имел дело не с сумасшедшим. Верьте мне или не верьте, но ум у него был ясный, хотя все его помыслы упорно сосредоточивались на нем самом. Да, ум его был ясен, и это был единственный мой шанс, не считая, конечно, возможности его убить, но такой исход не принес бы мне пользы, так как неизбежно должен был вызвать шум. А душа его была одержима безумием. Заброшенная в дикую глушь, она заглянула в себя и — клянусь небом! — обезумела. Мне пришлось — должно быть, в наказание за мои грехи — подвергнуться испытанию и самому заглянуть в его душу. Никакие красноречивые доводы не могли бы до такой

степени потрясти веру в человека, как эта последняя его вспышка откровенности. Он тоже боролся с собой. Я это видел, слышал. Я видел непостижимую тайну души, которая не знает ни удержу, ни веры, ни страха и, однако, борется вслепую сама с собой. Я сохранил присутствие духа; но, когда мне удалось уложить его на кушетку, я вытер пот со лба, а ноги мои дрожали, словно я, спускаясь с того холма, тащил на своей спине груз в полтонны весом. А ведь я только его поддерживал, когда он своей костлявой рукой обнимал меня за шею. Он был немногим тяжелее ребенка.

Когда на следующий день, в полдень, мы снялись с якоря, толпа людей — все время я остро ощущал ее присутствие за стеной деревьев — снова вышла из леса и рассыпалась по просеке; склон холма был покрыт обнаженными трепещущими бронзовыми телами. Я провел пароход вверх по течению, затем повернул его; две тысячи глаз следили за плескавшимся и стучавшим яростным демоном реки, который разбивал воду чудовищным своим хвостом и выдыхал в небо черный дым. Перед толпой у самой реки три человека, с головы до ног облепленные красной глиной, беспокойно шагали взад и вперед. Когда судно снова поравнялось с просекой, они повернулись

лицом к реке, топая, кивая рогатыми головами; раскачивались их красные тела; они потрясали вслед яростному демону реки пучком черных перьев, облезшей шкурой с хвостом и каким-то предметом, походившим на высохшую тыкву; они выкрикивали какие-то удивительные слова, ничего общего не имеющие со звуками человеческой речи, а толпа глухим рокотом отвечала на эти заклятья, как бы участвуя в сатанинской литании.

Мы перенесли Куртца в рулевую рубку: там было больше воздуха. Лежа на кушетке, он смотрел в отверстие, заменявшее окно. Вдруг толпа заволновалась, и женщина с прической, напоминавшей шлем, со смуглыми щеками, подбежала к самой воде. Она простерла руки, выкрикнула какие-то слова, и вся масса дикарей хором быстро и членораздельно повторила ее фразу.

— Вы это понимаете? — спросил я.

Он смотрел мимо меня горящими тоскливыми глазами; взгляд его был сосредоточенный и злобный. Он ничего не ответил, но я видел, как улыбка, странная улыбка появилась на бесцветных губах; потом губы его судорожно искривились.

— Понимаю ли я? — проговорил он медленно,

задыхаясь, словно какая-то сверхъестественная сила вырвала у него эти слова.

Я дернул веревку свистка; сделал я это потому, что видел, как пилигримы, решив позабавиться, вышли на палубу с ружьями. Когда раздался пронзительный свисток, ужас охватил эту сгрудившуюся толпу.

— Не надо! Не надо! Вы их спугнете! — досадливо крикнул кто-то на палубе. Снова я несколько раз дернул веревку. Люди бросились, ползли, припадая к земле, стараясь ускользнуть от страшных звуков. Три обмазанных красной глиной парня, словно подстреленные, упали ничком. И только величественная дикарка не шевельнулась и трагически простерла к мрачной и сверкающей реке свои обнаженные руки.

Тогда толпа идиотов на палубе начала забавляться, и я ничего не мог разглядеть сквозь завесу дыма.

Темный поток, вырываясь из сердца тьмы, уносил нас к морю; теперь мы шли в два раза быстрее, чем раньше; а жизнь Куртца так же быстро угасала, отливая от его сердца, чтобы влиться в море неумолимого времени. Начальник был настроен благодушно; теперь ему не о чем было беспокоиться, и обоих нас он окидывал взглядом

понимающим и удовлетворенным: «дело» обошлось прекрасно, и лучшего исхода нельзя было пожелать. Я понимал, что близится время, когда я останусь единственным сторонником «нерационального метода». Пилигримы посматривали на меня неблагосклонно. Я был, так сказать, отнесен в одну рубрику с мертвецом. Странно, что я принял это нежданное товарищество, этот кошмар, навязанный мне в стране мрака, куда вторглись подлые и жадные призраки.

Куртц разглагольствовал. Ах, этот голос! Этот голос! До последней минуты он сохранил свою силу. Он пережил способность Куртца скрывать в великолепных складках красноречия темное и бесплодное его сердце. Куртц боролся. О, как он боролся! Его усталый мозг был словно одержим туманными видениями — призраками богатства и славы, раболепно склоняющимися перед его неугасимым даром расточать благородные и высокопарные фразы. Моя нареченная, моя станция, моя карьера, мои идеи — вот что служило предлогом для проявления возвышенных чувств. Тень подлинного Куртца появлялась у ложа мистификатора, которому суждено было быть погребенным в первобытной земле. Но дьявольская любовь и ужасная ненависть к тайнам,

какие он открыл, боролись за обладание этой душой, пресыщенной примитивными эмоциями, жаждущей лживой славы, фальшивых отличий и всех видимостей успеха и власти.

Иногда он бывал возмутительно ребячлив. Он желал, чтобы короли встречали его на станциях, — его, возвращающегося из какой-то призрачной страны, где он намеревался совершить великие дела.

— Нужно только им показать, что вы действительно способны принести пользу, и тогда вас ждет полное признание, — говорил он. — Конечно, не следует забывать о мотивах… мотивы должны быть честные.

За поворотами, всегда похожими один на другой, открывался все тот же вид на однообразную реку; пароход проплывал мимо вековых деревьев, которые терпеливо смотрели вслед этому грязному осколку другого мира, предвестнику перемен, побед, торговли, избиений и всяких благ. Я смотрел вперед и вел судно.

— Закройте ставень, — неожиданно сказал однажды Куртц. — Я не могу этого видеть.

Я исполнил его просьбу. Последовало молчание.

— О, но я еще вырву у тебя сердце! — крикнул

он невидимой глуши.

Произошла поломка, — я этого ждал, — и нам пришлось пристать к острову и заняться ремонтом. Эта задержка гибельно повлияла на уверенность Куртца. Как-то утром он мне вручил связку бумаг и фотографическую карточку; пакет был перевязан шнурком от ботинка.

— Спрячьте, — сказал он. — Этот зловредный дурак, — (он имел в виду начальника), — способен рыться в моих сундуках, когда я не смотрю.

После полудня я заглянул к нему. Он лежал на спине с закрытыми глазами, и я хотел уйти, но он забормотал:

— Жить честно, умереть, умереть…

Я прислушался. Больше он не сказал ни слова. Произносил ли он речь во сне, или то был отрывок фразы для какой-нибудь газетной статьи? Он когда-то работал в газетах и думал снова заняться этим делом, «чтобы распространять мои идеи. Это — долг».

Его окутывал непроницаемый мрак. Я на него смотрел, как смотрят на человека, лежащего на дне пропасти, куда никогда не проникает луч солнца. Но я не мог ему уделять много времени, так как помогал механику разбирать на части протекающие цилиндры, выпрямлять согнутый

шатун, производить ремонт. Я жил окруженный гайками, опилками, ржавчиной, болтами, ключами для отвертывания гаек, молотками — предметами мне ненавистными, ибо я не умел с ними ладить. Я следил за маленькой кузницей, по счастью оказавшейся на борту, я устало рылся в куче обломков, пока приступ лихорадки не заставлял меня лечь.

Как-то вечером, войдя со свечой в рубку, я испугался, услышав его дрожащий голос:

— Я лежу здесь, в темноте, и жду смерти.

Свет был на расстоянии фута от его глаз. Я с трудом прошептал:

— О, вздор! — и тревожно склонился над ним.

Я не представлял себе, чтобы могло так сильно измениться лицо человека, и — надеюсь — никогда больше этого не увижу. О, жалости я не чувствовал! Я был зачарован, словно передо мной разорвали пелену. Лицо, цвета слоновой кости, дышало мрачной гордостью; безграничная властность, безумный ужас, напряженное и безнадежное отчаяние — этим было отмечено его лицо. Вспоминал ли он в эту последнюю минуту просветления всю свою жизнь, свои желания, искушения и поражение? Он прошептал, словно обращаясь к какому-то видению… он попытался

крикнуть, но этот крик прозвучал как вздох:

— Ужас! Ужас!

Я задул свечу и вышел из рубки. Пилигримы обедали в кают-компании, и я занял свое место за столом против начальника. Тот поднял глаза и посмотрел на меня вопросительно, но я игнорировал этот взгляд. Он невозмутимо откинулся на спинку стула, улыбаясь странной своей улыбкой, словно запечатывавшей подлую его душонку. Мошки кружились роем вокруг лампы, ползали по скатерти, по нашим рукам и лицам. Вдруг слуга начальника просунул в каюту свою черную голову и сказал с уничтожающим презрением:

— Мистер Куртц… умер.

Все пилигримы выбежали, чтобы посмотреть на него. Я один остался за столом и продолжал обедать. Думаю, меня сочли бесчувственной скотиной. Однако ел я немного. Здесь горела лампа, было, знаете ли, светло… а там, снаружи, нависла тьма. Больше я не подходил к замечательному человеку, который произнес приговор над похождениями своей души на земле. Голос угас. Что было у него, кроме голоса? Но мне известно, что на следующий день пилигримы что-то похоронили в грязной яме.

А потом они едва не похоронили меня.

Однако я, как видите, не последовал в ту пору за Куртцем. Да, я остался, чтобы пережить кошмар до конца и еще раз проявить свою верность Куртцу. Судьба. Моя судьба! Забавная штука жизнь, таинственная, с безжалостной логикой преследующая ничтожные цели. Самое большее, что может получить от нее человек, — это познание себя самого, которое приходит слишком поздно и приносит вечные сожаления.

Я боролся со смертью. Это самая скучная борьба, какую только можно себе представить. Она происходит в серой пустоте, когда нет опоры под ногами, нет ничего вокруг, нет зрителей, нет блеска и славы; нет страстного желания одержать победу, нет великого страха перед поражением; вы боретесь в нездоровой атмосфере умеренного скептицизма, вы не уверены в своей правоте и еще меньше верите в правоту своего противника. Если такова высшая мудрость, то жизнь — загадка более серьезная, чем принято думать. Я был на волосок от последней возможности произнести над собой приговор, и со стыдом я обнаружил, что, быть может, мне нечего будет сказать. Вот почему я утверждаю, что Куртц был замечательным человеком. Ему было что сказать. Он это сказал. С тех пор как я сам поглядел за грань, мне понятен

стал взгляд его глаз, не видевших пламени свечи, но созерцавших вселенную и достаточно зорких, чтобы разглядеть все сердца, что бьются во тьме. Он подвел итог и вынес приговор: «Ужас!» Он был замечательным человеком. В конце концов, в этом слове была какая-то вера, прямота, убежденность; в шепоте слышалась вибрирующая нотка возмущения, странное слияние ненависти и желания, — это слово отражало странный лик правды. И лучше всего запомнил я не те минуты мои, которые казались мне последними, — не серое бесформенное пространство, заполненное физической болью и равнодушным презрением к эфемерности всего, даже самой боли. Нет! Его последние минуты я, казалось, пережил и запомнил. Правда, он сделал последний шаг, он шагнул за грань, тогда как мне разрешено было отступить. Быть может, в этом-то и заключается разница; быть может, вся мудрость, вся правда, вся искренность сжаты в этом одном неуловимом моменте, когда мы переступаем порог смерти. Быть может! Мне хочется думать, что, подведя итог, я не брошу слова равнодушного презрения. Уж лучше его крик — гораздо лучше. В нем было утверждение, моральная победа, оплаченная бесчисленными поражениями, гнусными ужаса-

ми и гнусным удовлетворением. Но это победа! Вот почему я остался верным Куртцу до конца — и даже после его смерти, когда много времени спустя я снова услышал — не его голос, но эхо его великолепного красноречия, отраженного душой такой же прозрачной и чистой, как кристалл.

Нет, меня они не похоронили, но был период, о котором я вспоминаю смутно, с содроганием, словно о пребывании в каком-то непостижимом мире, где нет ни надежд, ни желаний. Снова попал я в город, похожий на гроб поваплённый, и с досадой смотрел на людей, которые суетились, чтобы выманить друг у друга денег, сожрать свою дрянную пищу, влить в себя скверное пиво, а ночью видеть бессмысленные и нелепые сны. Эти люди вторгались в мои мысли. Их знание жизни казалось мне досадным притворством, ибо я был уверен, что они не могут знать тех фактов, какие известны мне. Их осанка — осанка заурядных людей, уверенных в полной безопасности и занимающихся своим делом, — оскорбляла меня, как наглое чванство глупца перед лицом опасности, недоступной его пониманию. У меня не было особого желания их просвещать, но я с трудом удерживался, чтобы не расхохотаться при виде их глупо-самоуверенных лиц.

Пожалуй, в то время я был не совсем здоров. Я бродил по улицам — мне нужно было уладить кое-какие дела — и горько усмехался, встречая почтенных людей. Допускаю, что я вел себя непозволительно, но в те дни моя температура редко бывала нормальной. Все усилия славной моей тетушки «восстановить мои силы» не достигали своей цели. Не силы мои нуждались в восстановлении, но мозг жаждал успокоения. Я хранил пачку бумаг, врученных мне Куртцем, и не знал, что с ними делать. Его мать недавно умерла; мне сказали, что ухаживала за ней его «нареченная». Однажды заглянул ко мне гладко выбритый человек, державший себя официально и носивший очки в золотой оправе. Сначала окольным путем, а затем с вкрадчивой настойчивостью он стал расспрашивать о том, что ему угодно было называть «документами». Я не удивился, ибо успел дважды поссориться из-за этого с начальником. Я отказался дать ему хотя бы один листок; так же я держал себя и с этим человеком в очках. Наконец он стал мрачно угрожать и с жаром доказывать, что фирма имеет право требовать все, касающееся ее «территории». По его словам, «мистер Куртц должен был обладать обширными и своеобразными сведениями о неисследованных областях,

ибо этот выдающийся и одаренный человек попал в исключительную обстановку, а потому...»

Я уверил его, что мистер Куртц — какими бы сведениями он ни обладал — проблем коммерческих или административных не касался. Тогда он заговорил об интересе научном: «Потеря будет велика, если...» и т. д., и т. д. Я ему предложил статью «Искоренение обычаев дикарей», оторвав предварительно постскриптум. Он жадно ее схватил, но потом презрительно фыркнул.

— Это не то, на что мы имели право надеяться, — заметил он.

— Не надейтесь, — сказал я. — У меня остаются только его частные письма.

Он удалился, пригрозив судебным преследованием, и больше я его не видел. Но два дня спустя явился еще один субъект, назвавший себя кузеном Куртца: ему хотелось узнать о последних минутах дорогого родственника. Затем он дал мне понять, что Куртц был великим музыкантом. «Он мог бы иметь колоссальный успех», — сказал мой посетитель, бывший, кажется, органистом. Его жидкие седые волосы спускались на засаленный воротник пиджака. У меня не было оснований сомневаться в его словах. И по сей день я не могу сказать, какова была профессия мистера Куртца

— если была у него таковая — и какой из его талантов можно назвать величайшим. Я его считал художником, который писал в газетах, или журналистом, умевшим рисовать, но даже кузен его (который нюхал табак в продолжение нашей беседы) не мог мне сказать, кем он, собственно, был, Куртц был универсальным гением… Я согласился со стариком, который шумно высморкался в большой бумажный платок и, взволнованный, удалился, унося с собой какие-то не имеющие значения семейные письма.

Наконец, посетил меня журналист, горевший желанием узнать о судьбе своего «дорогого коллеги». Этот посетитель сообщил, что Куртцу следовало бы избрать политическую карьеру. У журналиста были косматые прямые брови, торчавшие, как щетина, коротко остриженные волосы и монокль на широкой ленте. Разговорившись, он заявил, что Куртц, по его мнению, писать не умел, но «как этот человек говорил! Он мог наэлектризовать толпу. У него была вера — понимаете? — вера. Он мог себя убедить в чем угодно… в чем угодно. Из него вышел бы блестящий лидер какой-нибудь крайней партии».

— Какой партии? — спросил я.

— Любой! — ответил тот. — Он… он был… экс-

тремист. Не так ли?

Я согласился. Он полюбопытствовал, не известно ли мне, что побудило его поехать туда.

— Известно, — сказал я и вручил ему знаменитую статью для опубликования, если он найдет ее пригодной.

Он торопливо ее просмотрел, бормоча себе что-то под нос, затем произнес:

— Пригодится, — и ушел со своей добычей.

Итак, я остался со связкой писем и портретом девушки. Она была красива… Я хочу сказать, что выражение ее лица казалось мне прекрасным. Я знаю, что даже солнечный свет может лгать, но никакое освещение и никакие позы не могли придать ее лицу такое выражение, внушавшее полное доверие. Казалось, она умела слушать с открытой душой, не питая никаких подозрений, не думая о себе. Я решил лично вернуть ей ее карточку и письма. Любопытство? Да, и, быть может, еще какое-то чувство. Все, что принадлежало Куртцу, от меня ускользало: его душа, его тело, его станция, его планы, его слоновая кость, его карьера. Осталось только воспоминание о нем и его «нареченная»; я хотел и это отдать прошлому, хотел уступить все, что у меня от него осталось, забвению — последнему слову общей нашей

судьбы. Я не защищаюсь: тогда я неясно себе представлял, чего именно я хочу. Быть может, то был порыв бессознательной верности… или завершение одной из тех иронических неизбежностей, которые таятся в человеческом бытии. Не знаю. Не могу сказать. Но я отправился к ней.

Я думал, что воспоминание о нем, подобно воспоминаниям о других умерших, которые накапливаются в жизни каждого человека, — отпечаток в нашем мозгу уходящих от нас теней. Но перед высокой и массивной дверью, между высокими домами, на улице, такой же тихой и нарядной, как аллея кладбища, мне предстало видение: я увидел его на носилках; он прожорливо открывал рот, словно хотел проглотить всю землю и всех людей. Он жил, жил так, как и раньше, — ненасытный призрак, стремившийся к блестящей видимости и страшной реальности; призрак более темный, чем тени ночи, и благородно задрапированный в складки великолепного красноречия. Видение, казалось, вошло в дом вместе со мной: носилки, призраки носильщиков, дикая толпа послушных почитателей, мрак лесов, блеск реки, бой барабана, ровный и приглушенный, как биение сердца — сердца тьмы-победительницы. То был момент

триумфа для дикой глуши, мстительный ее набег, которому, казалось мне, я один должен был противостоять, чтобы спасти другую душу. И воспоминание о том, что я от него слышал там, под сенью терпеливых лесов, когда за моей спиной двигались рогатые тени и пылали костры, — это воспоминание снова всплыло, я вновь услышал отрывистые фразы, зловещие и страшные в своей простоте. Я вспомнил гнусные его мольбы и гнусные угрозы, гигантский размах нечистых его страстей, низость, муку, бурное отчаяние его души. А потом я услышал, как он однажды сказал сдержанно и вяло:

— Вся эта слоновая кость, в сущности, принадлежит мне. Фирма за нее не платила. Я сам ее собрал, рискуя жизнью. Все-таки я боюсь, как бы они не предъявили права на нее... Гм... Положение затруднительное. Как вы думаете, что мне делать? Бороться, а? Я хочу только справедливости... — Он хотел только справедливости.

Во втором этаже я позвонил у двери из красного дерева, а пока я ждал, он, казалось, смотрел на меня с блестящей филенки, смотрел своим глубоким взглядом, обнимающим, осуждающим, проклинающим вселенную. Я снова слышал шепот: «Ужас! Ужас!»

Спускались сумерки. Мне пришлось подождать в высокой гостиной, где три узких окна поднимались от пола к потолку, словно светящиеся и задрапированные колонны. Блестели изогнутые и позолоченные ножки и спинки мебели. Холодным и монументальным казался высокий белый мраморный камин. В углу стоял большой рояль; отблески пробегали по темной его поверхности, словно по мрачному полированному саркофагу. Высокая дверь открылась и снова закрылась. Я встал.

В сумеречном свете она шла ко мне вся в черном, с бледным лицом. Она была в трауре. Больше года прошло с тех пор, как он умер, больше года с тех пор, как она получила известие. Казалось, она будет помнить и оплакивать вечно. Она взяла обе мои руки в свои и прошептала:

— Я слышала, что вы приехали.

Я заметил, что она не очень молода, — во всяком случае, уже не молоденькая девушка. Она созрела для верности, страдания и веры. В комнате, казалось, потемнело, словно грустный свет пасмурного вечера сосредоточился на ее лице. Эти белокурые волосы, это бледное лицо и чистый лоб были как бы окружены пепельным ореолом. Темные глаза смотрели на меня. Взгляд

был невинный, глубокий, доверчивый и внушающий доверие. Она держала свою скорбную голову так, словно гордилась этой скорбью, словно хотела сказать: я, я одна умею грустить по нем так, как он того заслуживает. Но когда мы пожимали друг другу руки, на лице ее отразилось такое безнадежное отчаяние, что я понял: она была из тех, кого не назовешь игрушкой времени. Для нее он умер только вчера. И — клянусь небом! — это впечатление было настолько сильным, что и для меня он тоже, казалось, умер только вчера… Нет, сейчас, сию минуту. Я увидел его и ее вместе — его смерть и ее скорбь… Я видел ее скорбь в самый момент его смерти. Понятно ли вам? Я видел их обоих и слышал их обоих. Она сказала прерывающимся голосом:

— Я выжила… — А мой напряженный слух уловил последний его шепот вечного проклятия, слившийся с ее печальным возгласом. С испугом я спросил себя, что я здесь делаю, словно мне приоткрылась жестокая и нелепая тайна, которую человеку не подобает знать. Она предложила мне сесть. Я осторожно положил пакет на маленький столик, а она опустила на него руку.

— Вы его знали хорошо, — прошептала она, помолчав.

— В тех краях близость возникает быстро, — сказал я. — Я его знал так, как только может один человек знать другого.

— И вы им восхищались, — проговорила она. — Узнав его, нельзя им не восхищаться, не правда ли?

— Он был замечательным человеком, — сказал я нетвердым голосом. Видя ее напряженный, умоляющий взгляд, как будто следивший, не сорвутся ли с моих губ еще какие-нибудь слова, я продолжал: — Нельзя было не…

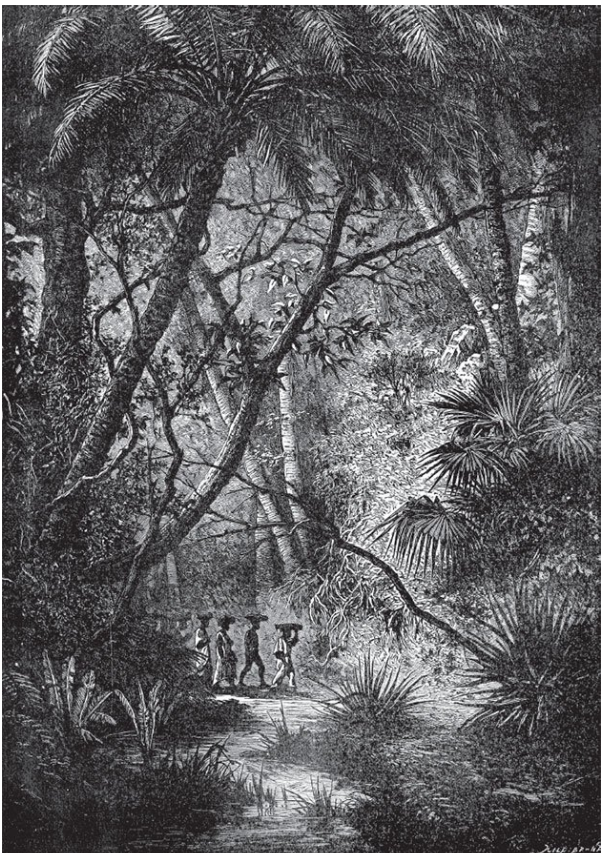
— …любить его, — закончила она с жаром, а я в ужасе онемел. — О, как это верно! Но подумайте, ведь никто его не знал так хорошо, как знала я! Он мне все доверял. Я его знала лучше, чем кто бы то ни было!

— Вы его знали лучше, чем кто бы то ни было, — повторил я. Быть может, она была права. Но с каждым произнесенным словом в комнате становилось все темнее, и только лоб ее, чистый и белый, казалось, был озарен неугасимым светом веры и любви.

— Вы были его другом, — продолжала она. — Его другом! — повторила она громче. — Да, конечно, раз он дал вам это и прислал вас ко мне. Я чувствую, что могу говорить с вами… и… о! я должна

говорить. Я хочу, чтобы вы — человек, слышавший последние его слова, — знали, что я была достойна его… Это не гордость… Да! Я горжусь сознанием, что поняла его лучше, чем кто бы то ни было на земле. Он сам мне это сказал. А с тех пор, как умерла его мать, у меня не было никого… никого… кто бы…

Я слушал. Тьма сгущалась. Я даже не уверен был в том, какую связку бумаг он мне дал. Подозреваю, что он хотел мне доверить другие документы, которые начальник после его смерти просматривал при свете лампы. А девушка говорила, облегчая свою скорбь, уверенная в моей симпатии; она говорила так, как пьют жаждущие. Я узнал, что ее родные не одобряли ее помолвки с Куртцем. Он был недостаточно богат или что-то в этом роде. И право же, я не знаю, не был ли он всю свою жизнь нищим. Он дал мне основание предполагать, что недостаток средств загнал его в те края.



— …Разве тот, кто его слышал, мог не стать его другом? — говорила она. — Он привлекал к себе людей, обращаясь к тому, что есть в них хорошего. — Она пристально смотрела на меня. — Это дар великого человека…

Тихому ее голосу, казалось, аккомпанировали те, иные звуки, исполненные тайны, отчаяния и скорби, какие довелось мне слышать: журчание реки, шелест деревьев, раскачиваемых ветром, рокот толпы, слабый отзвук непонятных слов, шепот человека, говорящего из-за порога вечной тьмы.

— Но вы его слышали! Вы знаете! — воскликнула она.

— Да, знаю, — сказал я чуть ли не с отчаянием в сердце, но склоняя голову перед ее верой, перед великой и спасительной иллюзией, светившей неземным светом во тьме, в торжествующей тьме, от которой я не мог ее защитить, от которой я не мог защитить даже себя самого.

— Какая утрата для меня… для нас! — великодушно поправилась она и шепотом добавила: — Для мира.

В угасающем свете я видел, как блестели ее глаза, полные слез, — слез, которым не суждено было пролиться.

— Я была очень счастлива и очень горда, — продолжала она. — Слишком счастлива. Это продолжалось недолго. А теперь я несчастна… на всю жизнь.

Она встала; ее белокурые волосы, отсвечивая золотом, казалось, ловили последние проблески света. Я тоже встал.

— И от всего этого, — продолжала она с тоской, — от всех его обещаний, его величия, его доброй души и благородного сердца не осталось ничего… ничего, кроме воспоминания. Вы и я…

— Мы всегда будем его помнить, — поторопился я сказать.

— Нет! — воскликнула она. — Немыслимо, чтобы все это погибло, чтобы от жизни его, принесенной в жертву, не осталось ничего, кроме скорби. Вы знаете, какие грандиозные у него были планы. Я тоже о них знала. Быть может, я не могла понять, но о них знали и другие люди. Что-то должно остаться. Его слова, во всяком случае, не умрут.

— Его слова останутся, — сказал я.

— И его пример, — прошептала она словно про себя. — Люди смотрели на него снизу вверх… доброта его светилась в каждом поступке. Его пример…

— Правильно, — сказал я, — и его пример. Да, его пример. Об этом я позабыл.

— Но я помню. Я не могу, не могу поверить… Не могу поверить, что никогда больше его не увижу… что никто его больше не увидит никогда, никогда, никогда…

Она простерла руки, словно вслед отступающему человеку; бледные руки с переплетенными пальцами виднелись на фоне угасающей узкой полосы окна. Никогда его не увидит! В ту минуту я его видел достаточно ясно. До конца жизни я буду видеть этот красноречивый призрак, а также и ее — трагическую тень, походившую в этой позе на другую, тоже трагическую женщину, которая была увешана бессильными амулетами и простирала обнаженные смуглые руки к сверкающему адскому потоку, к потоку тьмы. Вдруг она сказала очень тихо:

— Он умер так же, как и жил.

Тупая злоба шевельнулась во мне.

— Его конец был во всех отношениях достоин его жизни, — сказал я.

— А меня с ним не было, — прошептала она.

Злоба уступила место бесконечной жалости.

— Все, что можно было сделать… — пробормотал я.

— Да, но я в него верила больше, чем кто бы то ни было на земле… больше, чем его родная мать, больше, чем… он сам. Я была ему нужна! Я! Я бы сберегла каждое его слово, каждый вздох, каждый жест, каждый его взгляд.

Я почувствовал, как холодная рука сжала мне сердце.

— Не надо! — сказал я сдавленным голосом.

— Простите меня. Я так долго тосковала молча… молча… Вы были с ним… до конца? Я думаю о его одиночестве. Подле него не было никого, кто бы мог его понять так, как поняла бы я. Быть может, никто не слышал…

— Я был с ним до конца, — сказал я дрожащим голосом. — Я слышал его последние слова… — И в испуге я умолк.

— Повторите, — прошептала она надрывающим сердце голосом. — Мне нужно… мне нужно что-нибудь… что-нибудь… чтобы с этим жить.

Я чуть было не крикнул: «Да разве вы не слышите?» Сумерки вокруг нас повторяли это слово настойчивым шепотом, — шепотом угрожающим, как первое дыхание надвигающегося шквала: «Ужас! Ужас!»

— Последнее слово… чтобы жить с ним, — настаивала она. — Поймите, я его любила, любила,

любила!

Я взял себя в руки и медленно проговорил:

— Последнее слово, какое он произнес, было ваше имя.

Я услышал тихий вздох, а потом сердце мое замерло, перестало биться, когда раздался ликующий и страшный крик, крик великого торжества и бесконечной боли.

— Я это знала… была уверена!..

Она знала. Она была уверена. Я слышал, как она плакала. Она закрыла лицо руками. Казалось мне, что дом рухнет раньше, чем я успею выбежать, казалось, что небеса обрушатся на мою голову. Но ничего не случилось. Небеса из-за таких пустяков не рушатся. Интересно, обрушились бы они, если бы я был справедлив и отдал должное Куртцу? Разве не говорил он, что требует только справедливости? Но я не мог. Не мог ей сказать. Тогда стало бы слишком темно… слишком темно…

Марлоу умолк. Неясный и молчаливый, он сидел в стороне в позе Будды, погруженного в созерцание. Никто не шелохнулся.

— Мы прозевали начало отлива, — неожиданно сказал директор.

Я поднял голову. Черная гряда облаков пересекала устье, и спокойный поток, ведущий словно к концу земли, струился мрачный под облачным небом — казалось, он уводил в сердце необъятной тьмы.

1902

Лорд Джим

Да, моя уверенность укрепляется с того момента, когда другая душа ее разделит.

Новалис



Предисловие автора

Когда этот роман впервые вышел отдельной книгой, стали поговаривать о том, что я переступил границу мною задуманного. Некоторые критики утверждали, будто произведение, начатое как новелла, ускользнуло из-под контроля автора. Один или двое считали это очевидным и как будто этим забавлялись. Они заявляли: повествовательная форма имеет свои законы. Они утверждали, что ни один человек не может говорить так долго, а остальные не могут так долго слушать. Это, говорили они, маловероятно.

Поразмыслив в течение приблизительно шестнадцати лет, я не так уже в этом уверен. Известно, что люди — как под тропиками, так и в умеренном климате — просиживали полночи, «рассказывая друг другу сказки». Здесь мы имеем лишь одну сказку, но рассказчик говорил с перерывами, дававшими некоторое облегчение; что же касается выносливости слушателей, то следует принять постулат: история была интересна. Это необходимая предпосылка. Если бы я не верил в то, что она интересна, — я бы никогда не начал ее писать. Что же касается физической

выносливости, все мы знаем — иные речи в парламенте произносились в течение шести, а не трех часов, тогда как ту часть книги, в какой дан рассказ Марлоу, можно прочесть вслух меньше чем за три часа. Кроме того, хотя я выключил все незначительные детали, мы можем предположить, что в тот вечер подавались прохладительные напитки — стакан минеральной воды или что-нибудь в этом роде, — помогавшие рассказчику продолжать повествование.

Сознаюсь, я задумал написать рассказ, посвященный эпизоду с паломническим судном, — и только. Такова была концепция. Написав несколько страниц, я остался чем-то недоволен и отложил на время исписанные листы. Я не вынимал их из ящика до тех пор, пока покойный мистер Уильям Блеквуд не намекнул, что я должен снова что-нибудь дать в его журнал.

Тогда только я понял, что, отталкиваясь от эпизода с паломническим судном, можно развернуть широкую повесть. Понял я также, что этот эпизод может придать «чувству бытия» колорит простой и яркий. Но все эти настроения и побуждения были в то время довольно туманны и не кажутся мне яснее теперь, по истечении стольких лет.

Те немногие страницы, какие я отложил в сто-

рону, до известной степени повлияли на выбор темы. Но весь эпизод я умышленно переделал заново. Принимаясь за работу, я знал — книга выйдет длинная, хотя и не предвидел, что она растянется на тринадцать номеров журнала.

Иногда мне задавали вопрос, не люблю ли я эту книгу больше всех остальных, мной написанных. Я — великий враг фаворитизма и в общественной жизни и в частной, и даже в тех случаях, когда речь заходит об отношении автора к своим произведениям. Принципиально я не хочу иметь фаворитов; однако не буду утверждать, будто чувствую неудовольствие и досаду, зная, что иные оказывают предпочтение моему «Лорду Джиму». Не буду даже говорить, что «я отказываюсь понять»... Нет! Но однажды случилось так, что я был удивлен и сбит с толку.

Один из моих друзей вернулся из Италии, где беседовал с дамой, которой эта книга не нравилась. Об этом я пожалел, конечно, но удивило меня основание такой неприязни. «Вы знаете, — сказала она, — все это так болезненно».

Приговор заставил меня провести час в тревожных размышлениях. Наконец я пришел к тому заключению, что эта дама ни в коем случае не была итальянкой, хотя я допускаю, что тема до известной степени чужда нормально восприимчивым женщинам. Я сомневаюсь даже в том, была ли она жительницей континента. Во всяком случае, ни один человек, в чьих жилах течет романская кровь, не усмотрел бы ничего болезненного в той остроте, с какой человек реагирует на потерю чести. Подобная реакция либо ошибочна, либо правильна; быть может, ее осудят как искусственную, и, возможно, мой Джим — тип, встречающийся нечасто. Но я могу заверить своих читателей, что он не является плодом холодного извращенного мышления. И он — не дитя Северных Туманов. Солнечным утром, в повседневной обстановке одного из рейдов на Восток видел я, как он прошел мимо — умоляющий, выразительный, в тени облака, безмолвный. Таким он и должен быть. И мне подобало со всем сочувствием, на какое я был способен, найти нужные слова, чтобы о нем рассказать. Он был *одним из нас.*

Джозеф Конрад
Июнь 1917

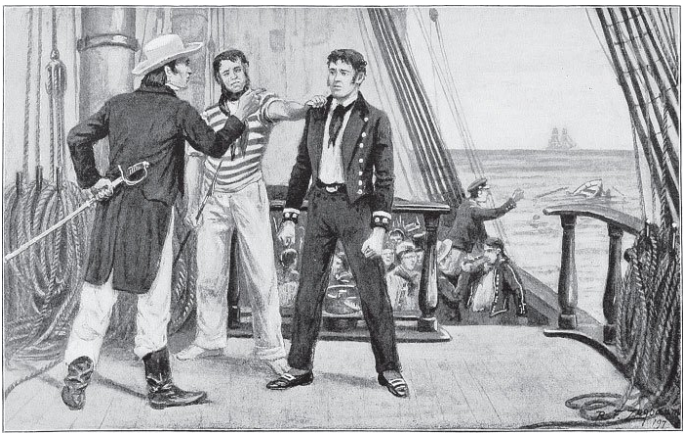
Глава I

Ростом он был шесть футов, — пожалуй, на один-два дюйма меньше, сложения крепкого, и он шел прямо на вас, слегка сгорбившись, опустив голову и пристально глядя исподлобья, что наводило на мысль о быке, бросающемся в атаку. Голос у него был низкий, громкий, а держался он так, словно упрямо настаивал на признании своих прав, хотя ничего враждебного в этом не было; казалось, это требование признания вызвано необходимостью и, видимо, относится в равной мере и к нему самому, и ко всем остальным. Он всегда был одет безукоризненно, с ног до головы — в белом, и пользовался большой популярностью в различных восточных портах, где зарабатывал себе на жизнь, служа морским клерком у судовых поставщиков.

Морскому клерку не нужно сдавать никаких экзаменов, но предполагается, что он должен отличаться сноровкой и проявляет ее на практике. Его работа заключается в том, чтобы под парусом, на паровом катере или на веслах обгонять других морских клерков, первым подплыть к судну, готовому бросить якорь, и радушно

приветствовать капитана, вручая ему проспект судового поставщика; когда же капитан сходит на берег, морской клерк должен уверенно, но не назойливо направить его к большой, похожей на пещеру, лавке, где можно найти большой выбор напитков и съестных припасов, необходимых на судне. Там имеется решительно все, чтобы сделать судно красивым и пригодным к плаванию, начиная с крюков для цепи и кончая листовым золотом для украшения кормы, и поставщик встречает там, словно родного брата, любого капитана, которого никогда раньше не видел. Там вы найдете и прохладную гостиную с креслами, бутылками, сигарами, письменными принадлежностями и экземпляром портовых правил, и радушный прием, который растворяет соль, за три месяца плавания накопившуюся в сердце моряка. Знакомство, таким образом завязанное, поддерживается благодаря ежедневным визитам морского клерка до тех пор, пока судно остается в порту. К капитану клерк относится как верный друг и внимательный сын, проявляет терпение Иова и беззаветную преданность женщины и держит себя как веселый и добрый малый. Позже посылается счет. Прекрасное и гуманное занятие! Вот почему хорошие морские клерки встреча-

ются редко. Если морской клерк, наделенный сноровкой, вдобавок еще и знаком с морем, хозяин платит ему большие деньги и дает кое-какие поблажки. Джим всегда получал хорошее жалованье и пользовался такими поблажками, какие завоевали бы верность врага. Тем не менее с черной неблагодарностью он внезапно бросал работу и уезжал. Объяснения, какие он давал своим хозяевам, были явно несостоятельны. «Проклятый болван!» — говорили хозяева, как только он поворачивался к ним спиной. Таково было их мнение об его утонченной чувствительности.



Белые, жившие на побережье, и капитаны судов знали его просто как Джима — и только. Была у него, конечно, и фамилия, но он был заинтересован в том, чтобы ее не называли. Его инкогнито, дырявое как решето, имело целью скрывать не личность, но факт. Когда же факт пробивался сквозь инкогнито, Джим внезапно покидал порт, где в тот момент находился, и отправлялся в другой порт — обычно дальше на

восток. Он держался морских портов, ибо был моряком в изгнании — моряком, оторванным от моря, и отличался той сноровкой, какая хороша лишь для работы морского клерка. Он отступал в строгом боевом порядке в ту сторону, где восходит солнце, а факт следовал за ним, прорываясь случайно, но неизбежно. И вот — по мере того как шли годы — о Джиме узнавали в Бомбее, Калькутте, Рангуне, Пенанге, Батавии, — и в каждом из этих портов его знали просто как Джима, морского клерка. Впоследствии, когда острая реакция на то, что невыносимо, окончательно оторвала его от морских портов и белых людей и увлекла в девственные леса, малайцы лесного поселка, где он пожелал скрыть свой прискорбный дар, прибавили словечко к односложному его инкогнито. Они называли его Тюан Джим, иначе говоря — Лорд Джим.

Он вышел из пасторской семьи. Из этого приюта благочестия и мира выходят многие капитаны торговых судов. Отец Джима обладал тем ограниченным знанием непознаваемого, какое необходимо для праведной жизни обитателей коттеджей и не нарушает спокойствия духа тех, кому непогрешимое провидение разрешает жить в богатых особняках. Маленькая церковь на

холме виднелась, словно мшистая серая скала, сквозь рваную завесу листвы. Здесь стояла она столетия, но деревья вокруг помнят, должно быть, как был положен первый камень. Внизу — у подножия холма — мягкими тонами отсвечивал красный фасад пасторского дома, окруженного лужайками, клумбами и соснами; позади дома находился фруктовый сад, налево — мощеный скотный двор, а к кирпичной стене лепилась покатая стеклянная крыша оранжереи. Здесь семья жила в течение нескольких поколений; но Джим был одним из пяти сыновей, и когда, начитавшись легкой беллетристики, он обнаружил свое призвание моряка, его немедленно отправили на «учебное судно для офицеров торгового флота».

Там он познакомился с тригонометрией и научился лазить по брам-реям. Все его любили. По навигации он занимал третье место и был гребцом на первом катере. Здоровый, не подверженный головокружениям, он проворно и ловко взбирался на верхушки мачт. Его пост был на фор-марсе, и с презрением человека, которому суждено жить среди опасностей, частенько смотрел он оттуда вниз на мирное скопление крыш, перерезанное надвое темными волнами потока; разбросанные по окраинам фабричные трубы

вздымались перпендикулярно грязному небу — трубы тонкие, как карандаш, и, как вулкан, изрыгающие дым. Он видел, как отчаливали большие корабли, вечно двигались широкие паромы и плавали лодки там, внизу, под ним, — а вдали мерцали туманный блеск моря и надежда на волнующую жизнь в мире приключений.

На нижней палубе, под гул двухсот голосов, он забывался и заранее мысленно переживал жизнь на море, о которой знал из беллетристических книг. Он видел себя: то он спасает людей с тонущих судов, то в ураган срубает мачты, или с веревкой плывет по волнам прибоя, или, потерпев крушение, одиноко бродит, босой и полуголый, по не покрытым водой рифам, в поисках ракушек, которые отсрочили бы голодную смерть. Он сражался с дикарями под тропиками, усмирял мятеж, вспыхнувший во время бури, и на маленькой лодке, затерянной в океане, поддерживал мужество в отчаявшихся людях — всегда преданный своему долгу и непоколебимый, как герой из книжки.

— Что-то неладно. Все сюда!

Он вскочил на ноги. Мальчики взбегали по трапам. Сверху доносились крики, топот. Выбравшись из люка, он застыл на месте, ошелом-

ленный.

Были сумерки зимнего дня. С полудня ветер стал свежеть, приостановив движение на реке, и теперь дул с силой урагана; его прерывистый гул походил на залпы огромных орудий, бьющих через океан. Дождь был косой, ниспадала хлещущая сплошная завеса; изредка перед глазами Джима вставали грозно надвигающиеся волны, маленькое суденышко металось у берега; неподвижные строения вырисовывались в плавучем тумане; тяжело раскачивались широкие паромы на якоре, поднимались и опускались огромные пристани, задушенные брызгами. Следующий порыв ветра, казалось, все это начисто смел. Воздух словно состоял из одних брызг. Было в этом шторме какое-то злобное упорство, яростная настойчивость в визге ветра, в диком смятении земли и неба, — ярость, как будто направленная против него, и в страхе он затаил дыхание. Он стоял неподвижно. А ему казалось, что его подхватил вихрь.

Его толкали. «Спустить катер!» Мальчики пробежали мимо него. Каботажное судно, шедшее к пристани, врезалось в стоявшую на якоре шхуну, и один из инструкторов учебного судна был свидетелем этого происшествия. Мальчики

облепили поручни, сгрудились у шлюпбалок. «Авария! Как раз перед нами. Мистер Симонс видел». Его отпихнули к бизань-мачте, и он ухватился за снасти. Старое ошвартованное учебное судно дрожало всем корпусом, опуская нос под ударами ветра, а снасти низким басом тянули песню о днях его юности на море. «Спускайте!» Джим видел, как шлюпка быстро опустилась за борт, и бросился к поручням. Раздался плеск. «Отдать концы!» Он перегнулся через поручни. Вода у борта кипела и пенилась. В темноте виден был катер, весь во власти ветра и волн, которые на секунду прижали его борт о борт к судну. Слабо донесся чей-то голос с катера: «Гребите сильней, ребята, если хотите кого-нибудь спасти! Гребите сильней!» И вдруг катер, подбросив высоко нос, — весла были подняты, — перескочил через волну и разорвал чары, наложенные на него волнами и ветром.

Джим почувствовал, как кто-то схватил его за плечо:

— Опоздал, мальчуган!

Капитан учебного судна опустил руку на плечо мальчика, как будто собиравшегося прыгнуть за борт, и Джим, мучительно сознавая свое поражение, поднял на него глаза. Капитан сочувственно

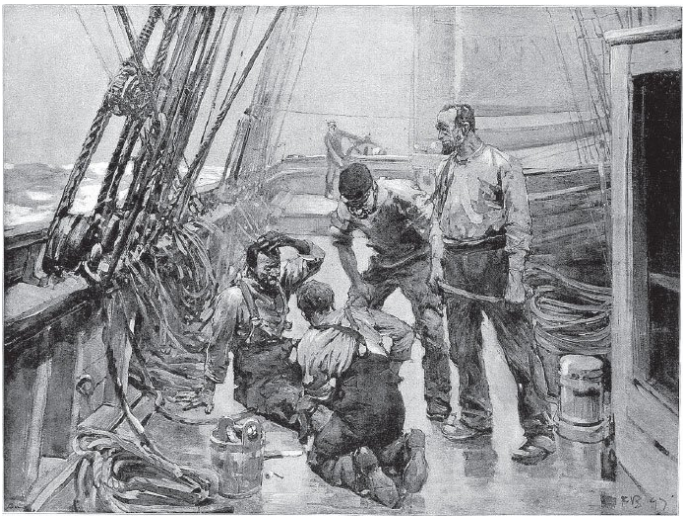
улыбнулся.

— В следующий раз тебе повезет. Это тебя научит быть расторопным.

Громкими радостными криками приветствовали катер. Наполовину залитый водой, он вернулся, танцуя на волнах, а на дне его копошились в воде два измученных человека. Грозный шум ветра и волн казался Джиму не стоящим внимания — тем сильнее сожалел он о том, что испугался их бессильной угрозы. Теперь он знал, как нужно к ней относиться, и думал, что шторм ему нипочем. Он сумеет встретить и более серьезную опасность. Лучше, чем кто бы то ни было другой. От страха не осталось и следа. Тем не менее в тот вечер он мрачно держался в стороне, а носовой гребец катера — мальчик с девичьим лицом и большими серыми глазами — был героем нижней палубы. Его обступили, с любопытством расспрашивали. Он рассказывал:

— Я увидел его голову на волнах и опустил багор в воду. Крючок зацепился за его штаны, а я чуть не упал за борт; я думал, что упаду, но тут старик Симонс выпустил румпель и схватил меня за ноги — лодка едва не опрокинулась. Старик Симонс — молодчина. Невелика беда, что он на нас ворчит. Он все время ругался, пока держал меня

за ногу, но этим он только хотел дать мне понять, чтобы я не выпускал багор. Старик Симонс ужасно вспыльчивый, правда? Нет, я поймал не того маленького белокурого, а другого — большого, с бородой. Когда мы его вытащили, он простонал: «Ох, моя нога! моя нога!» — и закатил глаза. Подумайте только: такой здоровый парень — и падает в обморок, как девчонка. Разве мы с вами потеряли бы сознание из-за какой-то царапины багром? Я бы не потерял! Крюк вошел ему в ногу вот настолько. — Он показал багор, принесенный для этой цели вниз, и вызвал сенсацию. — Нет, глупости! В теле крюк, конечно, не удержался бы, но штаны не подвели. Кровь так и хлестала.



Джим решил, что это было суетное тщеславие, достойное сожаления. Буря пробудила героизм столь же фальшивый, как фальшива была и самая угроза шквала. Он сердился на дикое смятение земли и неба, заставшее его врасплох и постыдно задушившее благородную готовность встретить

опасность. Отчасти он был рад, что не попал на катер, ибо достиг большего, оставаясь на борту. Знания его стали шире, чем у тех, кто участвовал в деле. Если все утратят мужество, он один — в этом был он уверен — сумеет встретить фальшивую угрозу ветра и волн. Он знал, чего она стоит. Ему — беспристрастному зрителю — она казалась достойной презрения. Он сам не ощущал ни малейшего волнения, и потрясающее событие закончилось тем, что, отделившись незаметно от шумной толпы мальчиков, Джим ликовал, вновь убедившись в своей жажде приключений и многогранном своем мужестве.

Глава II

После двух лет учения он ушел в плавание, и жизнь на море, которую он так ярко себе представлял, оказалась странно лишенной приключений. Он сделал много рейсов. Познал магию монотонного существования между небом и землей; ему приходилось выносить порицания людей, взыскательность моря и прозаически суровый повседневный труд ради куска хлеба, — единственной наградой за него является безграничная любовь к своему делу. Эта награда ускользнула от Джима. Однако вернуться он не мог, ибо нет ничего более заманчивого, разочаровывающего и порабощающего, чем жизнь на море. Кроме того, у него были виды на будущее. Он был благовоспитан, уравновешен, послушен и в совершенстве знал свои обязанности; вскоре, совсем еще молодым, он был назначен старшим помощником на прекрасное судно, не успев столкнуться с теми испытаниями моря, какие обнаруживают, чего стоит человек, из какого материала он скроен и каков его нрав; эти испытания вскрывают силу сопротивляемости и истинные мотивы его стремлений не только другим, но и ему самому.

Лишь однажды за все это время он снова мельком увидел подлинную ярость моря. А ярость эта проявляется не так часто, как принято думать. Есть много оттенков в опасности приключений и бурь, и только изредка лик событий затягивается мрачной пеленой зловещего умысла: вскрывается неуловимое нечто, и в мозг и в сердце человека закрадывается уверенность в том, что это сплетение событий или бешенство стихий надвигается с целью недоброй, с силой, не поддающейся контролю, с жестокостью необузданной, замышляющей вырвать у человека надежду и возбудить в нем страх, мучительную усталость и стремление к покою… раздавить, уничтожить, стереть все, что он видел, знал, любил, ненавидел, — и насущно необходимое и ненужное — солнечный свет, воспоминания, будущее, — надвигается с жестокостью, замышляющей смести весь мир, просто и безжалостно отняв у человека жизнь.

На Джима упал брус, и он вышел из строя в самом начале той недели, о которой шотландец-капитан впоследствии говорил: «Дружище! Я считаю чудом, что судно выдержало!» Много дней Джим пролежал на спине, оглушенный, разбитый, измученный, потерявший надежду, словно обретался в бездне непокоя. Его не интересовало,

каков будет конец, и в минуты просветления он переоценивал свое равнодушие. Опасность, когда ее не видишь, отличается несовершенством и расплывчатостью человеческой мысли. Страх становится слабее, ничем не подстрекаемое воображение — враг людей, отец всех ужасов — тонет в тупой усталости. Джим видел только свою каюту, приведенную в беспорядок качкой. Он лежал, словно замурованный; перед ним была картина опустошения в миниатюре, и втайне он радовался, что ему не нужно идти на палубу. Но изредка непобедимая тревога схватывала в тиски его тело, заставляя задыхаться и корчиться под одеялами, и тогда тупая животная жажда жить, сопутствующая физической агонии, вызывала в нем отчаянное желание спастись во что бы то ни стало. Потом буря миновала, и Джим больше о ней не вспоминал.

Однако он все еще хромал, а когда судно прибыло в один восточный порт, Джиму пришлось лечь в госпиталь. Он поправлялся медленно, и судно ушло без него.

Кроме Джима, в палате для белых было всего лишь два больных: баталер с канонерки, который сломал себе ногу, свалившись в люк, и железнодорожный поставщик из соседней провинции,

пораженный какой-то таинственной тропической болезнью. Доктора он считал ослом и втайне злоупотреблял патентованным лекарством, которое приносил ему контрабандой его неутомимый и преданный слуга тамил. Больные рассказывали друг другу случаи из своей жизни, играли в карты или в пижамах валялись по целым дням в кресле, зевали и не обменивались ни единым словом. Госпиталь стоял на холме, и легкий ветерок, врываясь в окна, всегда раскрытые настежь, приносил в комнату с голыми стенами мягкий аромат неба, томный запах земли, чарующее дыхание восточных морей. Эти запахи словно говорили о вечном отдыхе, о нескончаемых грезах. Каждый день Джим глядел на изгороди садов, крыши домов, кроны пальм, окаймляющих берег, и дальше — туда, на рейд — путь на Восток, — на рейд, усеянный гирляндами островков, залитый праздничным солнечным светом, на корабли, маленькие, словно игрушечные, на суету сверкающего рейда, — эта суета напоминала шумный языческий праздник, — а вечно ясное восточное небо и улыбающееся мирное море тянулось вдаль и вширь до самого горизонта.

Как только Джим стал ходить без палки, он спустился в город разузнать о возможности вернуть-

ся на родину. В то время благоприятного случая не представлялось, и, выжидая, он, естественно, сошелся в порту с людьми своей профессии. Они были двух сортов. Одни — их было очень мало, и в порту их видели редко — жили жизнью таинственной; то были люди с неугасимой энергией, темпераментом пиратов и глазами мечтателей. Казалось, они блуждали в лабиринте безумных планов, надежд, опасностей, предприятий, в стороне от цивилизации, в неведомых уголках моря; в их фантастическом существовании смерть была единственным событием, казавшимся разумно законченным. Большинство же состояло из людей, которые, попав сюда, подобно самому Джиму, случайно, вошли в командный состав местных судов. Теперь они с ужасом смотрели на службу в родном флоте, где дисциплина была строже, долг — священен, а суда обречены на штормы. Они настроились на вечный покой восточного неба и моря. Полюбили короткие рейсы, удобные кресла на палубе, многочисленную туземную команду и преимущество быть белым. Они содрогались при мысли о тяжелой работе и, полагаясь на случай, жили беззаботно, получая то отставку, то новое назначение, служа китайцам, арабам, полукровкам… они готовы были служить

самому дьяволу, если бы тот предоставил им эту возможность. Неустанно говорили они о случайных удачах: как такой-то получил командование судном, плававшим у берегов Китая, — легкая работа; как одному досталось прекрасное место где-то в Японии, а другой преуспевает в сиамском флоте; на всем, что бы они ни говорили, — на всех их поступках, взглядах, манерах, — было пятно — знак гниения — решимость пройти свой путь в спокойствии и безопасности.

Джиму эта толпа разглагольствующих моряков казалась сначала менее реальной, чем тени. Но под конец он начал находить очарование в этих людях, якобы преуспевающих, на чью долю выпадало так мало опасностей и труда. И презрение мало-помалу вытеснялось иным чувством. Внезапно отказавшись от мысли вернуться на родину, он поступил штурманом на «Патну».



«Патна» была местным пароходом, таким же старым, как холмы, тощим, как борзая, и изъеденным ржавчиной хуже, чем никуда не годный чан для воды. Владельцем ее был китаец, фрах-

товщиком — араб, а капитаном — ренегат, немец из Нового Южного Уэльса, который на людях неустанно проклинал свою родину, но — видимо, подражая успешной политике Бисмарка, — тиранил всех тех, кого не боялся, и разгуливал с видом свирепым и железно-непоколебимым, да в придачу имел рыжие усы и багровый нос. После того как «Патну» окрасили снаружи и побелили внутри, около восьмисот паломников были пригнаны на борт судна, разводившего пары у деревянной пристани.

По трем сходням тремя потоками поднимались они на борт, подстрекаемые верой и надеждой на рай, поднимались, топая и шаркая босыми ногами, не обмениваясь ни одним словом, не озираясь назад; отойдя от поручней, растеклись по всей палубе, двинулись на нос и на корму, спустились в зияющие люки, заполнили все уголки судна, как вода, наполняющая цистерну, как вода, проникающая в выбоины и трещины, как вода, бесшумно поднимающаяся к краям сосуда. Восемьсот мужчин и женщин — каждый со своими надеждами, верой, привязанностями, воспоминаниями — пришли сюда с севера и юга и с далекого востока. Они пробирались по тропинкам в джунглях, спускались по течению

рек, плыли в прау вдоль отмелей, перебирались в маленьких каноэ с острова на остров, терпели тяжелые лишения, видели незнакомые места, испытали неведомый доселе страх, влекомые единым желанием. Они пришли из одиноких хижин в лесной глуши, из многолюдных поселков, из приморских деревень. Словно по зову, покинули они свои леса, свои просеки, своих защитников-вождей, свои богатства и свою нищету, друзей юности и могилы отцов. Пришли, покрытые пылью и потом, в грязи, в лохмотьях, — сильные мужчины во главе своих семей; тощие старики, идущие вперед, не надеясь на возвращение; юноши с бесстрашными глазами, с любопытством озирающиеся по сторонам; пугливые девочки со спутанными длинными волосами; робкие женщины, закутанные в покрывала и прижимающие к груди младенцев, обернутых в концы грязных головных покрывал, — спящих младенцев, бессознательных паломников взыскательной веры.

— Посмотрите-ка на этот скот, — сказал немец-шкипер новому своему штурману.

Араб — вождь этих благочестивых странников — явился последним. На борт он поднялся медленно, — красивый, серьезный, в белом одеянии и большом тюрбане. За ним следовала вереница

слуг, тащивших его пожитки. «Патна» отчалила от пристани.

Она проскользнула между двумя островками и наискось пересекла стоянку парусных судов, прорезала полукруглую тень холма, потом близко подошла к гряде покрытых пеной рифов. Араб, стоя на корме, вслух читал молитву плавающих и путешествующих. Он призывал милость всевышнего на это путешествие, молил благословить труд людей и тайные их стремления. В сумерках пароход разбил спокойные воды пролива, а далеко за кормой паломнического судна маяк, поставленный неверными на предательской мели, казалось, подмигивал пламенным глазом, словно насмехаясь над благочестивым паломничеством.

«Патна» вышла из пролива, пересекла залив и продолжала путь по проходу «Один градус». Она шла к Красному морю под ясным небом, под небом палящим и безоблачным, окутанным в солнечное сияние, которое убивает все мысли, давит на сердце, иссушает всякую энергию и силу. А под зловещим сверканием неба море, синее и глубокое, оставалось неподвижным, даже рябь не морщила его поверхности, — море клейкое, стоячее, мертвое. «Патна» с легким шипением

прошла по этой лучезарной и гладкой равнине, развернула по небу черную ленту дыма, оставляя за собой на воде белую ленту пены, которая тотчас же исчезла, словно призрачный след, начертанный на безжизненном море призрачным кораблем.

Каждое утро солнце, словно приноравливаясь на путях своих к продвижению паломников, поднималось, молчаливо извергая свет всегда на одном и том же расстоянии от кормы судна, нагоняло его в полдень, изливая сгущенный огонь своих лучей на благочестивые стремления путников, стремилось дальше, на запад, и таинственно погружалось в море — каждый вечер на одном и том же расстоянии от носа «Патны». Пять белых на борту жили на середине судна, изолированные от человеческого груза. Тент белой крышей протянулся над палубой с носа до кормы, и только слабое жужжание — тихий шепот грустных голосов — обнаруживало присутствие толпы людей на ослепительной глади океана. Так проходили дни, безмолвные, горячие, тяжелые, исчезая один за другим в прошлом, словно падая в пропасть, вечно зияющую в кильватере судна; а «Патна», одинокая под облачком дыма, упорно шла вперед, черная и дымящаяся в лучезарном

пространстве, как будто опаленная пламенем, безжалостно хлеставшим ее с неба.

Ночи спускались на нее как благословение.

Глава III

Чудесная тишина объяла мир, и звезды, казалось, посылали на землю вместе с ясными своими лучами заверение в вечной безопасности. Молодой месяц, изогнутый, сияющий низко на западе, походил на тонкую стружку, оторвавшуюся от золотого слитка, а Аравийское море, ровное и казавшееся холодным словно ледяная гладь, простиралось до темного горизонта. Винт вертелся безостановочно, как будто удары его являлись частью схемы какой-то надежной вселенной; а по обе стороны «Патны» две глубокие складки воды, неподвижные и мрачные, протянулись на мерцающей глади; между этими прямыми расходящимися гребнями виднелось несколько белых завитков пены, вскипающей с тихим шипением, легкая рябь, зыбь и маленькие волны, которые, оставшись позади, за кормой, еще секунду шевелили поверхность моря, потом с мягким плеском успокаивались, умиротворенные тишиной воды и неба, а черное пятно — движущееся судно — по-прежнему оставалось в самом центре тишины.

Джим, стоявший на мостике, был проникнут великой уверенностью в безграничной без-

опасности и спокойствии, запечатленных на безмолвном лике природы, как любовь запечатлевается на кротком и неясном лице матери. Под тентом, отдавшись мудрости белых людей и их мужеству, доверяя могуществу их неверия и железной скорлупе их огненного корабля, паломники взыскательной веры спали на циновках, на одеялах, на голых досках, на всех палубах, во всех темных углах — спали, завернутые в окрашенные ткани, закутанные в грязные лохмотья, а головы их покоились на маленьких узелках, и лица были прикрыты согнутыми руками; спали мужчины, женщины, дети, старые вместе с молодыми, дряхлые вместе с сильными — все равные перед лицом сна, брата смерти.

Струя воздуха, навеваемая с носа благодаря быстрому ходу судна, прорезала темное пространство между высокими бульварками, проносилась над рядами распростертых тел; тускло горели круглые лампы, подвешенные к перекладинам, и в мутных кругах света, отбрасываемого вниз и слегка трепещущего в ответ на непрекращающуюся вибрацию судна, виднелись задранный вверх подбородок, сомкнутые веки, темная рука с серебряными кольцами, худая нога под рваным одеялом, голова, откинутая назад, голая ступня,

шея, обнаженная и вытянутая, словно подставленная под нож. Люди зажиточные устроили для своих семей уголки, огородившись тяжелыми ящиками и пыльными циновками; бедные лежали бок о бок, а все свое имущество, завязанное в узел, засунули себе под голову; одинокие старики спали, подогнув колени, на ковриках, расстилаемых для молитвы, раздвинув локти, прикрывая руками уши; какой-то мужчина, втянув голову в плечи и уткнувшись лбом в колени, грустно дремал подле растрепанного мальчика, который спал на спине, повелительно вытянув руку; одна женщина, прикрытая с головы до ног, словно покойница, белой простыней, держала в каждой руке по голому ребенку; имущество араба, сложенное на корме, громоздилось тяжелой глыбой с ломаными очертаниями, а лампа, спускавшаяся сверху, тускло освещала груду наваленных вещей: виднелись пузатые медные горшки, подножка стула, клинки копий, прямые ножны старого меча, прислоненные к куче подушек, нос жестяного кофейника. Патентованный лаг на поручнях кормы ритмически выбивал раздельные звенящие удары, отмечая каждую милю, пройденную паломниками. Время от времени над телами спящих всплывал слабый и терпеливый

вздох — испарения тревожного сна; из недр судна внезапно вырывался короткий металлический стук, слышно было, как жестко скребла лопата, с шумом захлопывалась дверца печи, словно люди, священнодействующие над чем-то таинственным там, внизу, были исполнены ярости и гнева; а стройный, высокий корпус парохода мерно продвигался вперед, неподвижно застыли голые мачты, а нос упорно разрезал великий покой вод, спящих под недоступным и ясным небом.

Джим ходил взад и вперед, и в необъятном молчании шаги его раздавались громко, словно настороженные звезды отзывались на них эхом. Глаза его, блуждая вдоль линии горизонта, как будто жадно вглядывались в недосягаемое и не видели тени надвигающегося события. Единственной тенью на море была тень от черного дыма, тяжело выбрасывающего из трубы широкий флаг, конец которого растворялся в воздухе. Два малайца, молчаливые и неподвижные, стоя по обе стороны штурвала, управляли рулем; медный обод колеса поблескивал в овальном пятне света, отбрасываемого лампой в нактоузе. Время от времени рука с черными пальцами, то отпуская, то снова сжимая вращающиеся спицы, показывалась на светлом пятне; звенья рулевых

цепей тяжело скрежетали в пазах вала. Джим посматривал на компас, окидывал взглядом недосягаемый горизонт, потягивался так, что суставы трещали, лениво изгибался всем телом, охваченный сознанием собственного благополучия; нерушимое спокойствие словно придало ему мужества, и он чувствовал — ему все равно, что бы ни случилось с ним до конца его дней. Изредка он лениво взглядывал на карту, прикрепленную четырьмя кнопками к низкому трехногому столу, стоявшему позади штурвала. При свете фонаря, подвешенного к пиллерсу, лист бумаги, отображающий глубины моря, слегка отсвечивал; дно, изображенное на нем, было такое же гладкое, как мерцающая поверхность вод. На карте лежали линейка для проведения параллелей и циркуль; положение судна в полдень было отмечено черным крестиком, а твердая прямая линия, проведенная карандашом до Перима, обозначала курс судна — тропу душ к святому месту, к обетованному спасению, к вечной жизни; карандаш, касаясь острием берега Сомали, лежал круглый и неподвижный, словно голая мачта, всплывшая в заводи защищенного дока.

«Как ровно идет судно», — с удивлением подумал Джим, с какою-то благодарностью вос-

принимая великий покой моря и неба. В такие минуты мысли его вращались в кругу доблестных подвигов, он любил эти мечты и успех своих воображаемых достижений. То было лучшее в жизни, тайная ее истина, скрытая ее реальность. В этих мечтах была великолепная мужественность, очарование неуловимого, они проходили перед ним героической процессией, они увлекали его душу и опьяняли ее божественным напитком — безграничной верой в самое себя. Не было ничего, чему бы он не смог противостоять. Эта мысль так ему понравилась, что он улыбнулся, беспечно глядя вперед; оглянувшись, он увидел белую полосу кильватера, проведенную по морю килем судна, — полосу такую же прямую, как черная линия, проведенная карандашом на карте.

Ведра с золой ударялись о вентиляторы кочегарки, и этот металлический стук напомнил ему, что близится конец его вахты. Он вздохнул с удовольствием, но в то же время пожалел, что приходится расставаться с этим невозмутимым спокойствием, поощряющим свободные дерзания его мыслей. Ему немножко хотелось спать, он ощущал приятную усталость во всем теле, словно вся кровь его превратилась в теплое молоко. Шкипер бесшумно поднялся на мостик; он был в

пижаме, и широко распахнутая куртка открывала голую грудь. Он еще не совсем проснулся; лицо у него было красное, левый глаз полузакрыт, правый, мутный, тупо вытаращен; свесив свою большую голову над картой, он сонно чесал себе бок. Было что-то непристойное в этом голом теле. Грудь его, мягкая и сильная, лоснилась, словно он вспотел во сне и из пор выступил жир. Он сделал какое-то профессиональное замечание голосом хриплым и безжизненным, напоминающим скрежет пилы, врезающейся в доску; складка его двойного подбородка свисала, как мешок, подвязанный к челюсти; Джим вздрогнул и ответил очень почтительно; но отвратительная мясистая фигура, словно увиденная впервые в минуту просветления, навсегда запечатлелась в его памяти как воплощение всего порочного и подлого, что таится в мире, нами любимом: оно таится в наших сердцах, которым мы вверяем наше спасение; в людях, нас окружающих; в картинах, какие раскрываются перед нашими глазами; в звуках, касающихся нашего слуха; в воздухе, наполняющем наши легкие.

Тонкая золотая стружка месяца, медленно опускаясь, погрузилась в потемневшую воду, и вечность словно придвинулась к земле, ярче

замерцали звезды, интенсивнее стал блеск полупрозрачного купола, нависшего над плоским диском темного моря. Судно скользило так ровно, что не ощущалось никакого движения вперед, как будто «Патна» была планетой, несущейся сквозь темные пространства эфира, за роем солнц, в устрашающей и спокойной пустыне, ожидающей дыхания новых творений.

— Мало сказать, жарко — там, внизу, — раздался чей-то голос.

Джим, не оборачиваясь, улыбнулся. Шкипер, невозмутимый, стоял, повернувшись к нему широкой спиной; в обычае ренегата было не замечать сначала вашего присутствия, а затем, пожирая вас глазами, разразиться, с пеной у рта, потоком брани, вырывающимся словно из водосточной трубы. Сейчас он только угрюмо что-то проворчал; второй механик поднялся на мостик и, вытирая влажные ладони грязной тряпкой, нимало не смущаясь, продолжал жаловаться. Морякам хорошо здесь, наверху, и хотел бы он знать, какой от них толк? Бедные механики должны вести судно, и они прекрасно справились бы и со всем остальным; ей-богу, они…

— Замолчите! — флегматично проворчал немец.

— Ну конечно! Замолчать! А как что неладно, вы сейчас же бежите к нам, верно? — продолжал тот. Он уже наполовину изжарился там, внизу. Во всяком случае, теперь ему все равно, как бы он ни нагрешил: за последние три дня он получил прекрасное представление о том местечке, куда отправляются после смерти дрянные людишки… ей-богу, получил… и вдобавок оглох от адского шума там, внизу. Проклятая гнилая развалина грохочет и тарахтит, словно старая лебедка, даже еще громче; и какого черта ему рисковать своею жизнью дни и ночи среди всей этой рухляди, будто на кладбище для кораблей, он понятия не имеет! Должно быть, он от рождения такой легкомысленный. Он…

— Где вы напились? — осведомился немец; он был взбешен, но стоял совершенно неподвижно, освещенный лампой нактоуза, похожий на грубую статую человека, вырезанную из глыбы жира. Джим по-прежнему улыбался, глядя на отступающий горизонт; исполненный благородных стремлений, он упивался сознанием своего превосходства.

— Напился! — презрительно повторил механик; обеими руками он держался за поручни — темная фигура с подгибающимися коленями. —

Да уж не вы меня напоили, капитан. Слишком вы скаредны, ей-богу. Скорее уморите парня, чем предложите ему капельку шнапса. Вот что у вас, немцев, называется экономией. На пенни ума, на фунт глупости.

Он расчувствовался. Около десяти часов старший механик дал ему одну рюмочку… — всего-навсего одну, ей-богу! добрый старикашка; но теперь старого мошенника не стащишь с койки — пятитонным краном не поднять его. — Э нет! Во всяком случае, не сегодня! Он спит сладким сном, словно младенец, а под подушкой у него бутылка с первоклассным бренди. — С уст командира «Патны» сорвалась хриплая ругань, и слово «schwein»[4] запорхало, как капризное перышко, подхваченное ветерком. Он и старший механик были знакомы много лет — вместе служили веселому, хитрому старику-китайцу, носившему очки в роговой оправе и вплетавшему красные шелковые тесемочки в свою почтенную седую косу. В родном порту «Патны» жители побережья придерживались того мнения, что эти двое — шкипер и механик — по части наглых хищений друг другу не уступают. Внешне

---

[4] Примечания: 4
Свинья *(нем.)*.

они гармонировали плохо: один — с мутными глазами, злобный и мясистый; другой — тощий, с головой длинной и костлявой, словно голова старой клячи, с ввалившимися глазами и остекленевшим взором. Старшего механика прибило к берегу где-то на Востоке — в Кантоне, Шанхае или, быть может, в Иокогаме; он и сам, должно быть, не помнил, где именно произошло крушение и чем оно было вызвано. Двадцать лет назад его, из сострадания к его молодости, спокойно выпихнули с судна, а могло быть и куда хуже для него, так что, вспоминая об этом эпизоде, он не испытывал и тени сожаления. В то время в восточных морях стало развиваться пароходство, а так как людей его профессии поначалу было мало, то он «сделал карьеру». Всем приезжим он неуклонно сообщал грустным шепотом, что он «здешний старожил». Когда он двигался, казалось — скелет болтается в его платье. Походка у него была раскачивающаяся, и так, раскачиваясь, бродил он вокруг застекленного люка машинного отделения, курил без всякой любви к куренью, набивал табаком медную чашечку, приделанную к четырехфутовому мундштуку из вишневого дерева, и держался с глупо-торжественным видом мыслителя, развивающего философскую систему

из туманных проблесков истины. Обычно он скупился и оберегал свой личный запас спирта, но в эту ночь отказался от своих принципов, а потому второй механик — у юнца из Уэппинга голова была слабая — от неожиданного угощения крепким напитком стал очень весел, дерзок и болтлив.

Немец из Нового Южного Уэльса бесновался и пыхтел, как выхлопная труба, а Джим, забавляясь этим зрелищем, с нетерпением ждал, когда можно будет спуститься вниз: последние десять минут вахты раздражали, как дающее осечку ружье. Этим людям не было места в мире героических приключений, хотя они, в сущности, были неплохими парнями. Даже сам шкипер… Но тут Джим почувствовал отвращение при виде этой пыхтящей массы жира, испускающей булькающее бормотание — темный поток грязных ругательств; однако приятная усталость мешала ему почувствовать активную неприязнь к кому бы то ни было. Ему не было дела до этих людей; он работал с ними плечо к плечу, но коснуться его они не могли; он дышал с ними одним воздухом, но он был иным человеком… Набросится ли шкипер на механика?.. Жизнь была легка, а он был слишком в себе уверен — слишком уверен, чтобы… Черта, отделявшая его размышления от

дремоты, стала тоньше паутинки.

Второй механик незаметно переходил к рассуждениям о своих финансах и своем мужестве.

— Кто пьян? Я? Э нет, капитан! Дело не в этом. Пора бы вам знать, что наш старший не слишком щедр и даже воробья допьяна не напоит, ей-богу! На меня алкоголь никогда не действовал; не выдумано еще такое зелье, от которого бы я опьянел. Я готов пить с вами на пари — вы пейте виски, а я жидкий огонь, и, ей-богу, я останусь свежим, как огурчик. Если б я думал, что пьян, я бы прыгнул за борт… покончил бы с собой, ей-богу! Покончил бы! Сию же минуту! А с мостика я не уйду. Где вы прикажете мне подышать свежим воздухом в такую ночь, как сегодня? Там, внизу, на палубе, со всяким сбродом? И не подумаю! Чего мне вас бояться?

Немец воздел тяжелые кулаки к небу и безмолвно потряс ими.

— Я не знаю, что такое страх, — продолжал механик с неподдельным энтузиазмом. — Я не боюсь чертовой работы на этом гнилом судне. Счастье для вас, что существуют на свете такие люди, которые не дрожат за свою жизнь… иначе — что бы вы без нас делали — вы и эта старая посудина с обшивкой из оберточной бумаги…

ей-богу, из оберточной бумаги! Вам хорошо, вы из нее вытягиваете монету, — а мне что прикажете делать? Сколько я получаю? Жалкие сто пятьдесят долларов в месяц! Почтительно спрашиваю вас — почтительно, заметьте, — кто не откажется от такой гнусной работы? И дело это опасное! Но я — один из тех бесстрашных парней…

Он выпустил поручни и стал размахивать руками, словно желая нагляднее продемонстрировать свое мужество; его тонкий голос пронзительно взлетал над морем; он приподнялся на цыпочки, чтобы ярче подчеркнуть фразу, и вдруг упал ничком, как будто его сзади подбили палкой. Падая, он крикнул: «Проклятие!» За этим воплем последовало минутное молчание. Джим и шкипер оба пошатнулись, но удержались на ногах и, выпрямившись, с изумлением поглядели на невозмутимую гладь моря. Потом взглянули вверх, на звезды.

Что случилось? По-прежнему раздавалось заглушенное биение машин. Быть может, земля приостановилась на пути своем? Они ничего не понимали; и внезапно спокойное море, безоблачное небо показались жутко ненадежными в своей неподвижности, словно застыли у края гибели. Механик поднялся, выпрямившись во весь

рост, и снова съежился в неясный комок. Комок заговорил заглушенным, обиженным голосом:

— Что это такое?

Тихий шум, будто бесконечно далекие раскаты грома, слабый звук, — едва ли не вибрация воздуха, — и судно задрожало в ответ, как будто гром грохотал глубоко под водой. Два малайца у штурвала, блеснув глазами, поглядели на белых людей, но темные руки по-прежнему сжимали спицы. Острый корпус судна, стремясь вперед, казалось, постепенно — от носа до кормы — приподнялся на несколько дюймов, словно стал складным, потом снова опустился и по-прежнему неуклонно делал свое дело, разрезая гладкую поверхность моря. Он перестал дрожать, и сразу стихли слабые раскаты грома, как будто судно оставило за собой узкую полосу вибрирующей воды и гудящего воздуха.

Глава IV

Месяц спустя, когда Джим в ответ на прямые вопросы пытался честно рассказать о происшедшем, он заметил, говоря о судне:

— Оно прошло через что-то так же легко, как переползает змея через палку.

Сравнение было хорошее. Допрос клонился к освещению фактической стороны дела, разбиравшегося в полицейском суде одного восточного порта. С пылающими щеками Джим стоял на возвышении для свидетелей в прохладной высокой комнате; большие пунки[5] тихонько вращались вверху над его головой, а снизу смотрели на него глаза, в его сторону повернуты были лица — темные, белые, красные, — лица внимательные, застывшие, словно все эти люди, сидевшие на узких, рядами поставленных скамьях, были порабощены чарами его голоса. А голос его звучал громко, и Джиму он казался страшным — то был единственный звук, слышимый во всей вселенной, ибо отчетливые вопросы, исторгавшие у

---

[5] Примечания: 5

Пунки — большие матерчатые веера, вделанные в раму и приводимые в действие веревкой.

него ответ, как будто складывались в его груди, — тревожные, болезненные, острые и безмолвные, как грозные вопросы совести. Снаружи пылало солнце, а здесь вызывал дрожь ветер, нагнетаемый большими пунками, бросало в жар от стыда, кололи острые, внимательные глаза. Лицо председателя суда, гладко выбритое, бесстрастное, казалось мертвенно-бледным рядом с красными лицами двух морских асессоров[6]. Свет из широкого окна под потолком падал сверху на головы и плечи этих трех человек, и они отчетливо выделялись в полумраке большой комнаты, где аудитория словно состояла из теней с остановившимися расширенными глазами. Им нужны были факты. Факты! Они требовали от него фактов, как будто факты могут объяснить все!

— Придя к заключению, что вы натолкнулись на что-то — скажем, на обломок судна, наполовину погруженный в воду, — ваш капитан приказал вам идти на нос разузнать, не получены ли какие-нибудь повреждения. Считали ли вы это вероятным, принимая во внимание силу удара? — спросил асессор, сидевший слева.

У него была жидкая бородка в форме подковы

---

[6] Примечания: 6

Асессор — помощник судьи, соответствует нашим заседателям.

и выдающиеся вперед скулы; опираясь локтями о стол, он сжимал свои грубые руки и глядел на Джима задумчивыми голубыми глазами. Второй асессор, грузный мужчина с презрительной физиономией, сидел, откинувшись на спинку стула, и, вытянув левую руку, тихонько барабанил пальцами по блокноту. Посредине председатель в широком кресле склонил слегка голову на плечо и скрестил на груди руки; рядом с его чернильницей стояла стеклянная вазочка с цветами.

— Нет, не считал, — сказал Джим. — Мне велено было никого не звать и не шуметь, чтобы избежать паники. Эту предосторожность я нашел разумной. Я взял один из фонарей, висевших под тентом, и отправился на нос. Открыв люк в носовое отделение переднего трюма, я услыхал плеск. Тогда я спустил фонарь, насколько позволяла веревка, и увидел, что носовое отделение наполовину залито водой. Тут я понял, что где-то ниже ватерлинии образовалась большая пробоина. — Он приостановился.

— Так… — сказал грузный асессор, с мечтательной улыбкой глядя на блокнот; он все время барабанил пальцами, бесшумно прикасаясь к бумаге.

— В тот момент я не думал об опасности. Долж-

но быть, я был немного взволнован: все это произошло так спокойно и так неожиданно. Я знал, что на судне нет другой переборки, кроме предохранительной, отделяющей носовую часть от переднего трюма. Я пошел назад доложить капитану. У трапа я столкнулся со вторым механиком; он как будто был оглушен и сообщил мне, что, кажется, сломал себе левую руку. Спускаясь вниз, он поскользнулся на верхней ступеньке и упал в то время, как я был на носу. Он воскликнул: «Боже мой! Эта гнилая переборка через минуту рухнет, и проклятая посудина вместе с нами пойдет ко дну, словно глыба свинца».

Он оттолкнул меня правой рукой и, опередив, взбежал по трапу, крича на бегу. Я следовал за ним и видел, как капитан на него набросился и повалил на спину. Бить его он не стал, а наклонился к нему и стал сердито, но очень тихо что-то ему говорить. Думаю, капитан его спрашивал, почему он, черт возьми, не пойдет и не остановит машины, вместо того чтобы поднимать шум. Я слышал, как он сказал: «Вставайте! Бегите живей!» — и выругался. Механик спустился с мостика и обогнул застекленный люк, направляясь к трапу машинного отделения на левом борту. На бегу он стонал…

Джим говорил медленно; воспоминания возникали удивительно отчетливо; для сведения этих людей, требующих фактов, он мог бы, как эхо, воспроизвести даже стоны механика. Когда улеглось вспыхнувшее было возмущение, он пришел к тому выводу, что лишь дотошная точность рассказа может объяснить подлинный ужас, скрывавшийся за жутким ликом событий. Факты, которые так сильно хотелось узнать этим людям, были видимы, осязаемы, ощутимы, занимали свое место во времени и пространстве — для их существования требовались двадцать семь минут и пароход водоизмещением в тысячу четыреста тонн; они составляли нечто целое, с определенными чертами, оттенками, сложным аспектом, который улавливала зрительная память, но, помимо этого, было и что-то иное, невидимое, — дух, ведущий к гибели, — словно злобная душа в отвратительном теле. И это ему хотелось установить. Это происшествие не входило в рубрику обычных дел, всякая мелочь имела огромное значение, и, к счастью, он помнил все. Он хотел говорить во имя истины, — быть может, только ради себя самого; речь его текла спокойно, а мысль металась в тесном кругу фактов, обступивших его, чтобы отрезать от всех остальных

людей; он походил на животное, которое, очутившись за изгородью из высоких кольев, бегает по кругу, обезумев в ночи, ищет незагороженное местечко, какую-нибудь щель, дыру, куда можно пролезть и спастись. Эта напряженная работа мысли заставляла его по временам запинаться…

— Капитан по-прежнему ходил взад и вперед по мостику; на вид он был спокоен, но несколько раз споткнулся, а когда я с ним заговорил, он налетел на меня, словно был совершенно слеп. Ничего определенного он мне не ответил. Он что-то бормотал про себя, я разобрал несколько слов — «проклятый пар!» и «дьявольский пар!» — что-то о паре. Я подумал…

Джим уклонился в сторону; вопрос, возвращающий к сути дела, оборвал его речь, словно судорога боли, и его охватили безграничное уныние и усталость. Он приближался к этому… приближался… и теперь, грубо оборванный, должен был отвечать — да или нет. Он ответил правдиво и кратко: «Да». Красивый, высокий, с юношескими мрачными глазами, он стоял, выпрямившись на возвышении, а душа его корчилась от боли. Ему пришлось ответить еще на один вопрос, по существу на вопрос ненужный, и снова он ждал. Во рту у него пересохло, словно

он наглотался пыли, затем он ощутил горько-соленый вкус, как после глотка морской воды. Он вытер влажный лоб, провел языком по пересохшим губам, почувствовал, как дрожь пробежала у него по спине. Грузный асессор опустил веки; рассеянный и грустный, он беззвучно барабанил по блокноту; глаза второго асессора, переплетавшего загорелые пальцы, казалось, излучали доброту; председатель слегка наклонился вперед; бледное лицо его приблизилось к цветам, потом, облокотившись о ручку кресла, он подпер голову рукой. Ветер пунки обвевал темнолицых туземцев, закутанных в широкие одеяния, распаренных европейцев, сидевших рядом на скамьях, держа на коленях круглые пробковые шлемы, — костюмы из тика облегали их тела плотно, как кожа. Вдоль стен скользили босоногие туземцы-полицейские, затянутые в длинные белые мундиры; в красных поясах и красных тюрбанах, они бегали взад и вперед, бесшумные, как призраки, и проворные, как гончие.

Глаза Джима, блуждая в паузах между ответами, остановились на белом человеке, сидевшем в стороне, лицо у него было усталое и задумчивое, но спокойные глаза смотрели прямо, живые и ясные. Джим ответил на следующий вопрос и

почувствовал искушение крикнуть: «Что толку в этом? Что толку?» Он тихонько топнул ногой, закусил губу и посмотрел в сторону повернутых к нему голов. Он встретил взгляд белого человека. Глаза последнего не походили на остановившиеся, словно завороженные глаза остальных. В этом взгляде была разумная воля. Джим между двумя вопросами забылся до того, что нашел время думать. «Этот парень, — мелькнула у него мысль, — глядит на меня так, словно видит кого-то или что-то за моим плечом». Где-то он видел этого человека — быть может, на улице. Но был уверен, что никогда с ним не говорил. В течение многих дней он не говорил ни с кем — лишь с самим собой вел молчаливый, бессвязный и нескончаемый разговор, словно узник в камере или путник, заблудившийся в пустыне. Сейчас он отвечал на вопросы, которые значения не имели, хотя и преследовали определенную цель, и размышлял о том, будет ли он еще когда-нибудь в своей жизни говорить. Звук его собственных правдивых слов подтверждал его убеждение, что дар речи больше ему не нужен. Тот человек как будто понимал его безнадежное затруднение. Джим взглянул на него, потом решительно отвернулся, словно навеки распрощавшись с ним.

А впоследствии, в далеких уголках земли, Марлоу не раз с охотой вспоминал о Джиме, вспоминал подробно и вслух.

Это случалось после обеда, на веранде, задрапированной неподвижной листвой и увенчанной цветами, в глубоких сумерках, испещренных огненными точками сигар. На тростниковых стульях ютились молчаливые слушатели. Изредка маленький красный огонек поднимался и, разгораясь, освещал пальцы вялой руки, часть невозмутимо-спокойного лица, или вспыхивал красноватым отблеском в задумчивых глазах, озаряя кусочек гладкого лба. И, едва произнеся первое слово, Марлоу удобно вытягивался в кресле и сидел совершенно неподвижно, словно окрыленный дух его возвращался в пропасть времени и прошлое говорило его устами.

Глава V

— О да! Я был на судебном следствии, — говорил он, — и по сей день не перестаю удивляться, зачем я пошел. Я готов поверить, что каждый из нас имеет своего ангела-хранителя, но в таком случае и вы должны согласиться со мной — к каждому из нас приставлен черт. Я требую, чтобы вы это признали, ибо не хочу быть исключением, а я знаю, что он у меня есть — я имею в виду черта. Конечно, я его не видел, но косвенные улики у меня имеются. Он при мне состоит, а так как по природе своей он зол, то и втягивает меня в подобные истории. Какие истории, спрашиваете вы? Ну, скажем, — следствие, история с желтой собакой... Вы считаете невероятным, чтобы шелудивой туземной собаке разрешили подвертываться людям под ноги на веранде того дома, в котором находится суд? Вот какими путями — извилистыми, неожиданными, поистине дьявольскими — заставляет он меня наталкиваться на людей с уязвимыми и неуязвимыми местечками, со скрытыми пятнами проказы. Клянусь богом, при виде меня языки развязываются и начинаются признания: словно мне самому не в

чем себе признаться, словно у меня — да поможет мне Бог! — не найдется таких признаний, над которыми я могу терзаться до конца дней моих. Хотел бы я знать, чем я заслужил такую милость. Довожу до вашего сведения, что у меня забот не меньше, чем у всякого другого, а воспоминаний столько же, сколько у рядового паломника в этой долине. Как видите, я не особенно пригоден для выслушивания признаний. Так в чем же дело? Не могу сказать… быть может, это нужно лишь для того, чтобы провести время после обеда. Чарли, дорогой мой, ваш обед был чересчур хорош, и в результате этим господам спокойный роббер кажется утомительным и шумным занятием. Они развалились в ваших удобных креслах и думают: «К черту всякое усилие! Пусть Марлоу рассказывает».

Рассказывать! Да будет так. И довольно легко говорить о мистере Джиме после хорошего обеда, находясь на высоте двухсот футов над уровнем моря, имея под рукой ящик с приличными сигарами, в тихий прохладный вечер, при звездном свете. Это может заставить даже лучших из нас позабыть о том, что здесь мы находимся лишь на испытании и должны пробивать себе дорогу под перекрестным огнем, следя за каждой драгоцен-

ной минутой, за каждым непоправимым шагом, веря, что в конце концов нам все-таки удастся выпутаться прилично. Однако подлинной уверенности в этом нет, и чертовски мало помощи могут нам оказать те, с кем мы сталкиваемся! Конечно, повсюду встречаются люди, для которых вся жизнь похожа на послеобеденный час с сигарой — легкий, приятный, пустой, — быть может, оживленный какой-нибудь небылицей о борьбе; о ней забываешь раньше, чем рассказан конец… если только конец у нее имеется.

Впервые я встретился с ним взглядом на этом судебном следствии. Вам следует знать, что все, в какой-либо мере связанные с морем, находились там, в суде, ибо уже очень давно вокруг этого дела поднялся шум — с того самого дня, как пришла таинственная телеграмма из Адена, заставившая всех нас раскудахтаться. Я говорю *таинственная*, так как до известной степени она была таковой, хотя и преподносила всего лишь голый факт — такой голый и безобразный, каким могут быть только факты. Все побережье ни о чем ином не говорило. Прежде всего, одеваясь утром в своей каюте, я услыхал через переборку, как мой парс Дубаш, получив разрешение выпить чашку чая в буфетной, лопотал со стюардом о «Патне». Не

успел я сойти на берег, как уже встретил знакомых, и вот что я прежде всего услышал:

— Слыхали вы когда о чем-нибудь более поразительном?

…В зависимости от натуры, они цинично улыбались, принимали грустный вид или разражались ругательствами. Люди совершенно незнакомые фамильярно заговаривали для того только, чтобы выложить свои соображения по этому вопросу; бродяга являлся на набережную в надежде, что его угостят рюмочкой за разговором об этом деле; те же речи вы слышали и в Управлении порта, и от каждого судового маклера, от вашего агента, от белых, от туземцев, от полукровок, даже от полуголых лодочников, на корточках сидящих на каменных ступенях мола. Да, небом клянусь! Иные негодовали, многие шутили, и все без конца обсуждали вопрос, что могло с ними случиться. Так продолжалось недели две, если не больше, и все стали склоняться к тому мнению, что все таинственное в этом деле обернется трагической стороной. И тут, в одно прекрасное утро, стоя в тени у ступеней Управления порта, я заметил четверых человек, шедших мне навстречу по набережной. Я подивился, откуда взялась такая странная компания, и вдруг — если можно так

выразиться — заорал мысленно: «Да ведь это они!»

Да, действительно, это были они — трое рослых мужчин, а один такой толстый, каким человеку быть не подобает; после сытного завтрака они только что высадились с идущего за границу парохода Северной линии, который вошел в гавань час спустя после восхода солнца. Ошибки быть не могло; с первого же взгляда я узнал веселого шкипера «Патны» — самого толстого человека на тропиках, поясом обвивающих нашу добрую старушку-землю. Кроме того, месяцев девять назад я повстречался с ним в Самаранге. Пароход его грузился на рейде, а он ругал тиранические учреждения германской империи и по целым дням накачивался пивом в задней комнате при лавке Де Джонга; наконец Де Джонг, который, и глазом не моргнув, сдирал гульден за бутылку, отозвал меня в сторону и, сморщив свое маленькое личико, туго обтянутое кожей, конфиденциально объявил:

— Торговля — торговлей, капитан, но от этого человека меня тошнит. Тьфу!

Стоя в тени, я смотрел на него. Он слегка опередил своих спутников, и солнечный свет, ударяя прямо в него, особенно резко подчеркивал его

толщину. Он напомнил мне дрессированного слоненка, разгуливающего на задних ногах. Костюм его был экстравагантно красочный: запачканная пижама с ярко-зелеными и густо-оранжевыми полосами, рваные соломенные туфли на босу ногу и чей-то очень грязный и выброшенный за ненадобностью пробковый шлем; шлем был ему на два номера меньше, чем следовало, и удерживался на большой его голове с помощью манильской веревки. Вы понимаете, что такому человеку не посчастливится, если дело дойдет до переодевания в чужое платье. Отлично. Итак, он стремительно несся вперед, не глядя ни направо, ни налево, прошел в трех шагах от меня и, в неведении своем, штурмом взял лестницу, ведущую в Управление порта, чтобы сделать свой доклад или донесение — называйте как хотите.

Видимо, он прежде всего обратился к главному инспектору по найму судовых команд. Арчи Рутвел только что явился в Управление и, как он впоследствии рассказывал, готов был начать свой трудовой день с нагоняя главному своему клерку. Кое-кто из вас должен знать этого клерка — услужливого маленького португальца-полукровку с жалкой тощей шеей, вечно старающегося выудить у шкиперов что-нибудь

по части съестного — кусок солонины, мешок сухарей, картофеля или что другое. Помню, один раз я подарил ему живую овцу, оставшуюся от судовых моих запасов; не то чтобы я ждал от него услуги — как вам известно, он ничего не мог сделать, — но меня растрогала его детская вера в священное право на побочные доходы. По силе своей это чувство было едва ли не прекрасно. Черта расовая — дух рас, пожалуй, — да и климат… Однако это к делу не относится. Во всяком случае, я знаю, где мне искать истинного друга.

Итак, Рутвел говорит, что читал ему суровую лекцию — полагаю, на тему о морали должностных лиц, — когда услышал за своей спиной какие-то заглушенные шаги и, повернув голову, увидел что-то круглое и огромное, похожее на сахарную голову, завернутую в полосатую фланель и возвышающуюся посередине просторной канцелярии. Рутвел был до такой степени ошеломлен, что очень долго не мог сообразить — живое ли перед ним существо, и дивился, для чего и каким образом этот предмет очутился перед его письменным столом. За аркой, в передней, толпились слуги, приводившие в движение пунку, метельщики, туземцы-полицейские, боцман и команда парового катера гавани — все они вы-

тягивали шеи и готовы были лезть друг другу на спину. Сущее столпотворение! Тем временем толстяк ухитрился сорвать с головы шлем и с легким поклоном приблизился к Рутвелу, на которого это зрелище так подействовало, что он слушал и долго не мог понять, чего хочет это привидение. Оно вещало голосом хриплым и замогильным, но держалось неустрашимо, и мало-помалу Арчи стал понимать, что дело о «Патне» вступает в новую фазу. Как только он сообразил, кто перед ним стоит, ему сделалось не по себе: Арчи такой чувствительный, его легко сбить с толку, — но он взял себя в руки и крикнул:

— Довольно! Я не могу вас выслушать. Вы должны идти к моему помощнику. Я не могу... Капитана Эллиота — вот кого вам нужно. Сюда, сюда!

Он вскочил, обежал вокруг длинной конторки и стал подталкивать толстяка; тот, удивленный, сначала повиновался, и только у двери кабинета какой-то животный инстинкт заставил его упереться и зафыркать, словно испуганного быка:

— Послушайте! В чем дело? Пустите меня! Послушайте!

Арчи без стука распахнул дверь.

— Капитан «Патны», сэр! — крикнул он. — Вхо-

дите, капитан.

Он видел, как старик, что-то писавший, так резко поднял голову, что пенсне его упало; Арчи захлопнул дверь и бросился к своему столу, где его ждали бумаги, принесенные на подпись. Но, по его словам, шум, поднявшийся за дверью, был столь ужасен, что он не мог прийти в себя и вспомнить, как пишется его собственное имя. Арчи — самый чувствительный инспектор по найму судовых команд в обоих полушариях. Он утверждает, что чувствовал себя так, словно впихнул человека в логовище голодного льва. Несомненно, шум поднялся страшный. Крики я слышал внизу и не сомневаюсь, что они были слышны на другом конце эспланады, у эстрады для оркестра. Старый папаша Эллиот имел богатый запас слов, умел кричать — и не думал о том, на кого кричит. Он стал бы кричать и на самого вице-короля. Частенько он мне говаривал:

— Более высокий пост я занять не могу. Пенсия мне обеспечена. Кое-что я отложил, и, если им не нравится мое понятие о долге, я охотно уеду на родину. Я — старик, и всю свою жизнь я говорил все, что было у меня на уме. Теперь я хочу только одного: чтобы дочери мои вышли замуж, пока я жив.

Он был слегка помешан на этом пункте. Три его дочери были очень хорошенькие, хотя удивительно походили на него. Иногда, проснувшись утром, он приходил к безнадежным выводам относительно их замужества, и вся канцелярия, по глазам угадав его мрачные мысли, трепетала, ибо, по словам служащих, в такие дни он непременно требовал себе кого-нибудь на завтрак. Однако в то утро он не съел ренегата, но — если разрешите мне продолжить метафору — разжевал его основательно и… выплюнул.

Через несколько минут я увидел, как чудовищный толстяк торопливо спустился по лестнице и остановился на ступенях подъезда — остановился подле меня, погруженный в глубокие размышления; его толстые пурпурные щеки дрожали. Он кусал большой палец, вскоре заметил меня и искоса бросил раздраженный взгляд. Остальные трое, высадившиеся вместе с ним на берег, ждали поодаль. У одного из них — желтолицего, вульгарного человечка — рука была на перевязи, другой — долговязый, в синем фланелевом пиджаке, с седыми свисающими вниз усами, сухой, как щепка, и худой, как палка, озирался по сторонам с видом самодовольно-глупым. Третий — стройный, широкоплечий юноша — засунул руки в карманы

и повернулся спиной к двум другим, которые серьезно о чем-то разговаривали. Он смотрел на пустынную эспланаду. Ветхая запыленная гхарри с деревянными жалюзи остановилась как раз против этой группы; извозчик, положив правую ногу на колено, критически разглядывал на ней пальцы. Молодой человек, не двигаясь, даже не поворачивая головы, смотрел прямо перед собой на озаренную солнцем эспланаду. Так я впервые увидел Джима. Он выглядел таким равнодушным и неприступным, какими бывают только юноши. Стройный, чистенький, он твердо стоял на ногах — один из самых многообещающих мальчиков, каких мне когда-либо приходилось видеть; и, глядя на него, зная все, что знал он, и еще кое-что ему неизвестное, я почувствовал злобу, словно он притворялся, чтобы этим притворством чего-то от меня добиться. Он не имел права выглядеть таким чистым и честным! Мысленно я сказал себе: что же, если и такие мальчики могут сбиться с пути, тогда… от обиды я готов был швырнуть свою шляпу и растоптать ее, как поступил однажды на моих глазах шкипер итальянского барка, когда его болван помощник запутался с якорями, собираясь швартоваться на рейде, где стояло много судов. Я спрашивал себя, видя его таким спокой-

ным: глуп он, что ли? или груб до бесчувствия? Казалось, он вот-вот начнет насвистывать. И заметьте — меня нимало не занимало поведение двух других. Они как-то соответствовали рассказу, который сделался достоянием всех и должен был лечь в основу официального следствия.

— Этот старый негодяй там, наверху, назвал меня подлецом, — сказал капитан «Патны». Не могу сказать, узнал ли он меня — думаю, что да; во всяком случае, взгляды наши встретились. Он сверкал глазами — я улыбался; «подлец» был самым мягким эпитетом, какой, вылетев в открытое окно, коснулся моего слуха.

— Неужели? — сказал я, почему-то не сумев удержать язык за зубами. Он кивнул, снова укусил себя за палец и вполголоса выругался; потом, подняв голову, посмотрел на меня с угрюмым бесстыдством и воскликнул:

— Ба! Тихий океан велик, мой друг. Вы, проклятые англичане, поступайте как вам угодно. Я знаю, где есть место такому человеку, как я; меня хорошо знают в Апиа, в Гонолулу, в…

Он приумолк, размышляя; а я без труда мог себе представить, какие люди знают его в тех местах. Скрывать не стану — я сам был знаком с этой породой. Бывает время, когда человек должен

поступать так, словно жизнь равно приятна во всякой компании. Я это пережил и теперь не намерен с гримасой вспоминать об этой необходимости. Многие из той дурной компании — за неимением ли моральных… моральных… как бы это сказать?.. моральных устоев или по иным, не менее веским причинам — вдвое поучительнее и в двадцать раз занимательнее, чем те обычные респектабельные коммерческие воры, которых вы, господа, сажаете за свой стол, хотя подлинной необходимости так поступать у вас нет: вами руководят привычка, трусость, добродушие и сотня других скрытых и мелких побуждений.

— Вы, англичане, все — негодяи, — продолжал патриот-австралиец из Фленсборга или Штеттина. Право, сейчас я не припомню, какой приличный маленький порт у берегов Балтики осквернил себя, сделавшись гнездом этой редкой птицы. — Чего вы кричите? А? Скажите мне? Ничуть вы не лучше других народов, а этот старый плут черт знает как на меня разорался.

Вся его туша тряслась, а ноги походили на две колонны, он трясся с головы до пят.

— Вот так вы, англичане, всегда поступаете! Поднимаете шум из-за всякого пустяка потому только, что я не родился в вашей проклятой

стране. Забирайте мое свидетельство! Берите его! Не нужно мне свидетельства. Такой человек, как я, не нуждается в вашем проклятом свидетельстве. Плевать мне на него!

Он плюнул.

— Я приму американское подданство! — крикнул он с пеной у рта, беснуясь и шаркая ногами, словно пытался высвободить свои лодыжки из каких-то невидимых и таинственных тисков, которые не позволяли ему сойти с места.

Он так разгорячился, что макушка его круглой головы буквально дымилась. Не какие-либо таинственные силы мешали мне уйти — меня удерживало любопытство, самое понятное из всех чувств. Я хотел знать, как примет новость тот молодой человек, который, засунув руки в карманы и повернувшись спиной к тротуару, глядел поверх зеленых клумб эспланады на желтый портал отеля «Малабар», — глядел с видом человека, собравшегося на прогулку, как только его друг к нему присоединится. Вот какой он имел вид, и это было отвратительно. Я ждал, я думал, что он будет ошеломлен, потрясен, уничтожен, будет корчиться, как насаженный на булавку жук… И в то же время я почти боялся это увидеть… Не знаю, понятно ли вам, что я хочу сказать.

Нет ничего ужаснее, как следить за человеком, уличенным не в преступлении, но в слабости более чем преступной. Сила духа, самая обычная, препятствует вам совершать уголовные преступления; но от слабости неведомой, а быть может, лишь подозреваемой — так в иных уголках земли вы на каждом шагу подозреваете присутствие ядовитой змеи, — от слабости скрытой, за которой следишь или не следишь, вооружаешься против нее или мужественно ее презираешь, подавляешь ее или не ведаешь о ней чуть ли не в течение доброй половины жизни, — от этой слабости ни у кого из нас нет защиты. Нас втягивают в западню, и мы совершаем поступки, за которые нас ругают, поступки, за которые нас вешают, и, однако, дух может выжить — пережить осуждение и, клянусь небом, пережить петлю! А бывают поступки — иной раз они кажутся совсем незначительными, — которые кое-кого из нас губят окончательно.

Я следил за этим юношей; мне нравилась его внешность; таких, как он, я знал; устои у него были хорошие, он был одним из нас. Он как бы являлся представителем всех сродных ему людей — мужчин и женщин, о которых не скажешь, что они умны или занимательны, но вся жизнь

их основана на честной вере и инстинктивном мужестве. Я имею в виду не военное, гражданское или какое-либо особое мужество; я говорю о врожденной способности смело смотреть в лицо искушению — о готовности отнюдь не рассудочной и не искусственной — о силе сопротивляемости, неизящной, если хотите, но ценной, — о безумном и блаженном упорстве перед ужасами в самом себе и наступающими извне, перед властью природы и соблазнительным развратом людей... Такое упорство зиждется на вере, которой не сокрушат ни факты, ни дурной пример, ни натиск идей. К черту идеи! Это — бродяги, которые стучатся в заднюю дверь вашей души, и каждая идея уносит с собой частичку вас самих, крупицу той веры в немногие простые истины, какой вы должны держаться, если хотите жить пристойно и умереть легко!

Все это прямого отношения к Джиму не имеет; но внешность его была так типична для тех добрых глуповатых малых, бок о бок с которыми чувствуешь себя приятно, — людей, не волнуемых причудами ума и, скажем, развращенностью нервов. Такому парню вы по одному его виду доверили бы палубу — говорю образно и как профессионал. Я бы доверил, а кому это знать, как

не мне! Разве я в свое время не обучал юношей уловкам моря, — уловкам, весь секрет которых можно выразить в одной короткой фразе, и, однако, каждый день нужно заново внедрять его в молодые головы, пока он не сделается составной частью всякой мысли наяву — пока не будут им окрашены все их юношеские сновидения! Море было великодушно ко мне, но когда я вспоминаю всех этих мальчиков, прошедших через мои руки, — иные теперь уже взрослые, иные утонули, но все они были добрыми моряками, — тогда мне кажется, что и я не остался в долгу у моря. Вернись я завтра на родину — ручаюсь, что и двух дней не пройдет, как какой-нибудь загорелый молодой штурман поймает меня в воротах дока и свежий, низкий голос прозвучит над моей головой:

— Помните меня, сэр? Как? Да ведь я — такой-то. Был юнцом на таком-то судне. То было первое мое плавание.

И я вспомню ошеломленного юнца, ростом не выше спинки этого стула; мать и, быть может, старшая сестра стоят на пристани, стоят тихие, но слишком удрученные, чтобы помахать платком вслед судну, плавно скользящему к выходу из дока, или же отец средних лет раненько пришел проводить своего мальчика, остается здесь все

утро, так как его, по-видимому, заинтересовало устройство брашпиля, мешкает слишком долго и в самую последнюю минуту сходит на берег, когда уже нет времени попрощаться. Боцман с кормы кричит мне протяжно:

— Подождите секунду, мистер помощник. Тут один джентльмен хочет сойти на берег... Пожалуйте, сэр. Чуть было не отправились в Талькагуано. Пора уходить; потихоньку... Отлично. Эй, отдавайте канаты!

Буксирные пароходы, дымя, словно адские трубы, завладевают судном и сбивают в пену старую реку; джентльмен на берегу смахивает с колен пыль; сострадательный стюард швырнул ему его зонтик. Все в порядке. Он принес свою маленькую жертву морю и теперь может отправляться домой, притворяясь, что нимало об этом не думает. А не пройдет и суток, как маленькая добровольная жертва будет жестоко страдать от морской болезни. Со временем, когда мальчик выучит все маленькие тайны и познает один великий секрет мастерства, он сумеет жить или умереть — в зависимости от того, что повелит ему море; а человек, который принял участие в этой безумной игре, — в игре, где всегда выигрывает море, — почувствует удовольствие, когда

тяжелая молодая рука хлопнет его по спине и беззаботный голос юного моряка скажет:

— Помните меня, сэр? Я такой-то. Был юнцом…

Уверяю вас, приятно это испытать. Вы чувствуете, что хоть однажды в жизни правильно подошли к работе. Да, меня хлопали по спине, и я морщился, ибо рука была тяжелая, и целый день у меня было легко на душе, и спать я ложился, чувствуя себя менее одиноким благодаря этому дружескому удару по спине. Помню ли я юнца такого-то! Говорю вам, мне полагается распознавать людей по виду. Раз взглянув на того юношу, я доверил бы ему палубу и заснул бы сладким сном. А оказывается, это было бы не безопасно. Жутко становилось от этой мысли. Он так же внушал доверие, как новенький соверен; однако в его металле была какая-то адская лигатура. Сколько же? Совсем чуть-чуть, крохотная капелька чего-то редкого и проклятого — крохотная капелька! Однако, когда он стоял там с видом «на все наплевать!» — вы начинали думать, уж не вылит ли он весь из меди.

Я не мог этому поверить. Говорю вам, я хотел видеть, как он будет корчиться, — ведь есть же профессиональная честь! Двое других — не идущие в счет парни — заметили своего капитана и

начали медленно к нему приближаться. Они переговаривались на ходу, а я их не замечал, словно они были невидимы невооруженному глазу. Они усмехались — быть может, обменивались шутками. Я убедился, что у одного из них сломана рука, другой — долговязый субъект с седыми усами — был старший механик, личность во многих отношениях замечательная. Для меня они были ничто. Они приблизились. Шкипер тупо уставился в землю; казалось, от какой-то страшной болезни, таинственного действия неведомого яда он распух, принял неестественные размеры. Он поднял голову, увидел этих двоих, остановившихся перед ним, и, презрительно скривив свое раздутое лицо, открыл рот — должно быть, чтобы с ними заговорить. Но тут какая-то мысль пришла ему в голову. Толстые лиловатые губы беззвучно сжались, решительно зашагал он, переваливаясь, к гхарри и начал дергать дверную ручку с таким зверским нетерпением, что, казалось, все сооружение вместе с пони повалится набок. Извозчик, оторванный от исследования своей ступни, проявил все признаки крайнего ужаса и, уцепившись обеими руками за козлы, обернулся и стал смотреть, как огромная туша влезала в его повозку. Маленькая гхарри с шумом

раскачивалась и тряслась, а розовая складка на опущенной шее, огромные напрягшиеся ляжки, широченная полосатая спина, оранжевая и зеленая, и мучительные усилия этой пестрой отвратительной туши производили впечатление чего-то нереального, смешного и жуткого, как те гротескные и яркие видения, которые пугают и дурманят во время лихорадки. Он исчез. Я ждал, что крыша расколется надвое, маленький ящик на колесах лопнет, словно коробка хлопка, но он только осел, зазвенели приплюснутые пружины, и внезапно опустились жалюзи. Показались плечи шкипера, протиснутые в маленькое отверстие, голова его пролезла наружу, огромная, раскачивающаяся, словно шар на привязи, — потная, злобная, фыркающая. Он замахнулся на возницу толстым кулаком, красным, как кусок сырого мяса. Он заревел на него, приказывая ехать, трогаться в путь. Куда? В Тихий океан?

Извозчик ударил хлыстом; пони захрапел, поднялся было на дыбы, затем галопом понесся вперед. Куда? В Апиа? В Гонолулу? Шкипер мог располагать шестью тысячами миль тропического пояса, а точного адреса я не слыхал. Храпящий пони в одно мгновение унес его в «вечность», и больше я его не видал. Этого мало: я не встречал

никого, кто бы видел его с тех пор, как он исчез из поля моего зрения, сидя в ветхой маленькой гхарри, которая завернула за угол, подняв белое облако пыли. Он уехал, исчез, испарился; и нелепым казалось то, что он словно прихватил с собой и гхарри, ибо ни разу не встречал я с тех пор гнедого пони с разорванным ухом и томного извозчика тамила, разглядывающего свою больную ступню. Тихий океан и в самом деле велик; но нашел ли шкипер арену для развития своих талантов, или нет, — факт остается фактом: он унесся в пространство, словно ведьма на помеле. Маленький человечек, с рукой на перевязи, бросился было за экипажем, блея на бегу:

— Капитан! Послушайте, капитан! Послушайте! — но, пробежав несколько шагов, остановился, понурил голову и медленно побрел назад. Когда задребезжали колеса, молодой человек круто повернулся. Больше никаких движений и жестов он не делал и снова застыл на месте, глядя вслед исчезнувшей гхарри.

Все это произошло значительно быстрее, чем я рассказываю, так как я пытаюсь медлительными фразами передать вам мгновенные зрительные впечатления. Через секунду на сцене появился клерк-полукровка, посланный Арчи присмотреть

за бедными моряками с потерпевшей крушение «Патны». Преисполненный рвения, он выбежал с непокрытой головой, озираясь направо и налево, горя желанием исполнить свою мысль. Она была обречена на неудачу, поскольку дело касалось главной заинтересованной особы; однако он суетливо приблизился к оставшимся и почти тотчас же впутался в словопрение с парнем, у которого рука была на перевязи; оказывается, этот субъект горел желанием затеять ссору. Он заявил, что не намерен выслушивать приказания, — э нет черт возьми! Его не запугаешь враками, какие преподносит этот дерзкий писака-полукровка. Он не потерпит грубости от «подобной личности», даже если тот и не врет. Твердое его решение — лечь в постель.

— Если бы вы не были проклятым португальцем, — услышал я его рев, — вы бы поняли, что госпиталь — единственное подходящее для меня место.

Он поднес здоровый кулак к носу своего собеседника; начала собираться толпа; клерк растерялся, но, делая все возможное, чтобы поддержать свое достоинство, пытался объяснить свои намерения. Я ушел, не дожидаясь конца.

Случилось так, что в то время в госпитале ле-

жал один из моих матросов; зайдя проведать его, за день до начала следствия, я увидел в палате для белых того самого маленького человечка; он метался, бредил, и рука его была в лубке. К величайшему моему изумлению, долговязый субъект с обвислыми усами также пробрался в госпиталь. Помню, я обратил внимание, как он улизнул во время ссоры — ушел, не то волоча ноги, не то подпрыгивая и стараясь не казаться испуганным. Видимо, он не был новичком в порту и в своем отчаянии направил стопы прямехонько в бильярдную и распивочную Мариани, находившуюся неподалеку от базара. Этот не поддающийся описанию бродяга Мариани был знаком с долговязым субъектом и где-то в другом порту имел случай потворствовать его порочным наклонностям; теперь он встретил его раболепно и, снабдив запасом бутылок, запер в верхней комнате своего гнусного вертепа. По-видимому, долговязый субъект опасался преследования и желал спрятаться. Много времени спустя Мариани, явившись как-то на борт моего судна, чтобы получить со стюарда деньги за сигары, сообщил мне, что для этого человека готов был сделать и большее, ни о чем не расспрашивая, в благодарность за какую-то гнусную услугу, давным-давно

оказанную ему долговязым субъектом, — по крайней мере так я его понял. Он дважды ударил себя кулаком в смуглую грудь, выкатил огромные черные глаза — в них блеснули слезы — и воскликнул:

— Антонио никогда не забудет. Антонио никогда не забудет!

Что это была за грязная услуга, я так в точности и не узнал. Как бы то ни было, но он предоставил ему возможность обретаться под замком в комнате, где стояли стол, стул, на полу лежал матрац, в углу куча обвалившейся штукатурки; долговязый субъект, отдавшийся безрассудному страху, мог поддерживать свой дух теми напитками, какими располагал Мариани. Так продолжалось до тех пор, пока к вечеру третьего дня субъект, испустив несколько отчаянных воплей, не почувствовал необходимости обратиться в бегство от легиона сороконожек. Он взломал дверь, одним прыжком слетел с шаткой маленькой лестницы, упал прямо на живот Мариани, затем вскочил и, как кролик, метнулся на улицу. Рано поутру полиция подобрала его на куче мусора. Сначала ему взбрело в голову, что его тащат на виселицу, и он геройски сражался за свою жизнь; когда же я присел к его кровати, он лежал очень спокойно

и в таком состоянии пребывал уже два дня. Его худое бронзовое лицо с белыми усами выглядело красивым и спокойным на фоне подушки; оно походило на лицо истомленного воина с детской душой, если бы не странная тревога, светившаяся в его как будто стеклянных блестящих глазах, словно чудовище, молчаливо притаившееся за застекленной рамой. Он был так удивительно спокоен, что у меня родилась нелепая надежда услышать от него какое-нибудь объяснение этого нашумевшего дела.

Не могу сказать, почему мне так хотелось разбираться в позорных деталях происшествия, которое в конце концов касалось меня лишь как члена известной корпорации; членов ее связывают лишь бесславный труд да кое-какие нормы поведения. Называйте это, если хотите, нездоровым любопытством; как бы то ни было, я, несомненно, хотел что-то разузнать. Быть может, подсознательно я надеялся найти какую-то тайную искупающую причину, благодетельное объяснение, хотя бы тень смягчающих обстоятельств. Теперь я понимаю, что надежда моя была несбыточна, ибо я надеялся одолеть самого стойкого призрака, созданного человеком, — гнетущее сомнение, обволакивающее, как туман,

скрытое и гложущее, словно червь, более жуткое, чем неизбежность смерти, — сомнение в верховной власти твердо установленных норм. С ним тяжело бывает сталкиваться; оно-то и порождает панику или толкает на маленькие подлости; в нем кроется погибель. Верил ли я в чудо? И почему я так страстно его желал? Быть может, ради самого себя я искал хотя бы тени оправдания для этого молодого человека, которого никогда раньше не видал, но одна его внешность придавала особую окраску моим мыслям, — теперь, когда я знал о его слабости, и эта слабость казалась мне таинственной и ужасной, словно свидетельствовала о судьбе-разрушительнице, подстерегающей всех нас, — тех, кто в молодости был похож на него.

Боюсь, что таков был тайный мотив моего выслеживания. Да, несомненно, я ждал чуда. Единственное, что кажется мне теперь, по прошествии многих лет, чудесным, это безграничная моя глупость. Я действительно ждал от этого пришибленного и подозрительного инвалида какого-то заклятия против духа сомнений. И должно быть, я был на грани отчаяния, если, не теряя времени, после нескольких дружелюбных фраз, на которые тот отвечал с вялой готов-

ностью, как и подобает всякому порядочному больному, я произнес слово «Патна», облачив его в деликатный вопрос, — словно опутав шелком. Деликатным я был умышленно: я не хотел его испугать. До него мне не было дела; к нему я не чувствовал ни злобы, ни жалости: его переживания не имели ни малейшего значения, его искупление меня не касалось. Он построил свою жизнь на мелких подлостях и больше уже не мог внушать ни отвращения, ни жалости. Он повторил вопросительно: «Патна»? — затем, казалось, напряг память и сказал:

— Правильно. Я здесь старожил. Я видел, как она пошла ко дну.

Услыхав такую нелепую ложь, я готов был дать исход своему негодованию, но тут он спокойно добавил:

— Она кишела пресмыкающимися.

Я призадумался. Что он хотел этим сказать? В стеклянных его глазах, устрашающе серьезно смотревших в мои глаза, казалось, застыл ужас.

— Они подняли меня с койки в среднюю вахту посмотреть, как она тонет, — продолжал он задумчивым тоном.

Голос его вдруг устрашающе окреп. Я раскаивался в своей глупости. Не видно было в палате

белоснежного чепца сиделки; передо мной тянулся длинный ряд незанятых железных кроватей; лишь на одной из них сидел тощий и смуглый человек с белой повязкой на лбу — жертва несчастного случая, происшедшего где-то на рейде. Вдруг мой занятный больной протянул руку, тонкую, как щупальце, и вцепился в мое плечо.

— Я один мог разглядеть. Все знают, какой у меня зоркий глаз. Вот, должно быть, зачем они меня позвали. Никто из них не видал, как она тонула, но они видели, как она скрылась под водой, а тогда все заорали… вот так…

Дикий вопль заставил меня содрогнуться.

— Ох, да заткните ему глотку! — раздраженно завизжала жертва несчастного случая.

— Должно быть, вы мне не верите, — продолжал тот с безграничным высокомерием. — Говорю вам, по эту сторону Персидского залива не найдется ни одного человека с таким зрением, как у меня. Посмотрите под кровать.

Конечно, я тотчас же наклонился. Хотел бы я знать, кто бы этого не сделал!

— Что вы там видите? — спросил он.

— Ничего, — сказал я, ужасно пристыженный.

Он смотрел на меня уничтожающим, презрительным взглядом.

— Вот именно, — сказал он. — А если бы поглядел я — я бы увидел. Говорю вам, ни у кого нет таких глаз, как у меня.

Снова он вцепился в мое плечо и притянул меня к себе, желая сделать какое-то конфиденциальное сообщение.

— Миллионы розовых жаб. Ни у кого нет таких глаз, как у меня. Это хуже, чем смотреть на тонущее судно. Миллионы розовых жаб. Я могу смотреть на тонущие суда и целый день курить трубку. Почему мне не отдают моей трубки? Я бы курил и следил за этими жабами. Судно кишело ими. Знаете ли, за ними нужно следить.

Он шутливо подмигнул. Пот капал у меня со лба; тиковая тужурка прилипла к мокрой спине; вечерний ветерок стремительно проносился над рядом незанятых кроватей, жесткие складки занавесей шевелились, стуча кольцами о медные прутья, одеяла на кроватях развевались, бесшумно приподнимаясь над полом, а я продрог до мозга костей. Мягкий ветерок тропиков играл в пустынной палате, как зимний ветер, разгуливающий по старой риге на моей родине.

— Не давайте ему орать, мистер! — крикнула издали жертва несчастного случая; этот отчаянный сердитый крик пронесся по палате, словно

трепетный зов в туннеле. Цепкая рука тянула меня за плечо; он многозначительно подмигнул.

— Знаете ли, судно так и кишело ими, и нам пришлось убраться потихоньку, — быстро залепетал он. — Все розовые. Розовые — и огромные, как мастифы. На лбу один глаз, а вокруг пасти отвратительные когти. Уф! Уф!

Он задергался, словно через него пропустили гальванический ток, под одеялом обрисовались худые ноги; потом он выпустил мое плечо и стал ловить что-то в воздухе; тело его трепетало, как ненатянутая струна арфы. И вдруг ужас, таившийся в стеклянных глазах, прорвался наружу. Его лицо — спокойное, благородное лицо старого вояки — исказилось на моих глазах: оно сделалось отвратительно хитрым, настороженным, безумно испуганным. Он сдержал вопль.

— Ш-ш… Что они там сейчас делают? — спросил он, украдкой указывая на пол и из предосторожности понижая голос. Я понял значение этого жеста, и мне стала противна моя собственная проницательность.

— Они все спят, — ответил я, приглядываясь к нему. Правильно. Этого-то он и ждал; именно эти слова и могли его успокоить.

Он перевел дыхание.

— Ш-ш… Тише, тише. Я здесь старожил. Знаю этих тварей. Надо размозжить голову первой, которая пошевелится. Слишком их много, и судно не продержится дольше десяти минут.

Он снова заохал.

— Живей! — закричал он вдруг, и крик его перешел в протяжный вопль. — Они все проснулись… их миллионы! Ползут по мне! Подождите! Подождите! Я их буду давить, как мух! Да подождите же меня! На помощь! На по-о-омощь!

Несмолкающий вой завершил мое поражение. Я видел, как жертва несчастного случая в отчаянии воздела обе руки к забинтованной голове; фельдшер в халате, доходившем ему до подбородка, появился в дальнем конце палаты — маленькая фигурка, словно видимая в телескоп. Я признал себя побежденным и, не теряя времени, выскочил в одну из застекленных дверей на галерею. Вой преследовал меня, словно мщение. Я очутился на пустынной площадке, и вдруг все вокруг затихло; я спустился по блестящим, не покрытым ковровой дорожкой ступеням в тишине, давшей мне возможность собраться с мыслями. Внизу я встретил одного из врачей госпиталя; он шел по двору и остановил меня.

— Зашли проведать своего матроса, капитан?

Думаю, мы можем завтра его выписать, хотя эти молодцы понятия не имеют о том, что следует беречь здоровье. Знаете ли, к нам попал старший механик с того паломнического судна. Любопытный случай. Один из худших видов delirium tremens. Три дня он пил запоем в трактире этого грека или итальянца. Результаты налицо. Говорят, в день он выпивал по четыре бутылки бренди. Изумительно, если это только правда. Можно подумать, что внутренности его выстланы листовым железом. Ну, голова-то, конечно, не выдержала, но любопытнее всего то, что в бреду его замечается некая система. Я пытаюсь выяснить. Необычное явление — нить логики при delirium tremens. По традиции ему следовало бы видеть змей, но он их не видит. В наше время добрые старые традиции не в почете. Его преследуют видения… э… лягушечьи… Ха-ха-ха! Нет, серьезно, я еще не встречал такого интересного субъекта среди запойных пьяниц. Видите ли, после такого возлияния ему полагается умереть. О, это здоровенный парень. А ведь двадцать четыре года прожил под тропиками. Право же, вам следует взглянуть на него. И вид у этого старого пьянчужки благородный. Самый замечательный человек, какого я когда-либо встречал… конечно, с меди-

цинской точки зрения. Хотите посмотреть?

Я слушал его, проявляя из вежливости надлежащий интерес, но потом с сожалением прошептал, что у меня нет времени, и поспешил пожать ему руку.

— Послушайте, — крикнул он мне вслед, — он не может явиться на суд. Как вы думаете, его показание было бы существенно важно?

— Нисколько, — отозвался я, подходя к воротам.

Глава VI

Власти придерживались, видимо, того же мнения. Судебного следствия не отложили. Оно состоялось в назначенный день, чтобы удовлетворить правосудие, и собрало большую аудиторию, ибо привлекло всеобщее внимание. Не было никаких сомнений относительно фактов, — одного существенного факта, хочу я сказать. Каким образом «Патна» получила повреждения, установить было невозможно; суд не рассчитывал это установить, и во всем зале не было ни одного человека, которого бы интересовал этот вопрос. Однако, как я уже сказал, все моряки порта были налицо, так же как и представители деловых кругов, связанных с морем. Знали они о том или нет, но сюда их привлек интерес чисто психологический; они ждали какого-то важного разоблачения, которое вскрыло бы силу, могущество, ужас человеческих эмоций. Естественно, такого разоблачения быть не могло. Допрос единственного человека, способного и желающего отвечать, тщетно вертелся вокруг хорошо известного факта, а вопросы были столь же поучительны, как постукивание молотком по железному ящику с целью узнать, что

лежит внутри. Однако официальное следствие и не могло быть иным. Оно поставило себе целью добиться ответа не на основной вопрос «почему?», а на несущественный «как?».

Молодой человек мог бы им ответить, но, хотя именно это и интересовало всю аудиторию, вопросы по необходимости отвлекали от того, что для меня, например, являлось той единственной правдой, какую стоило узнать. Не можете же вы ждать, чтобы должностные лица исследовали душевное состояние человека, задаваясь вопросами: не виновата ли во всем только его печень? Их дело было разбираться в последствиях, и, по правде сказать, чиновник магистратуры и два морских асессора непригодны для чего-либо иного. Я не говорю, что эти парни были глупы. Председатель был очень терпелив. Один из асессоров был шкипер парусного судна — человек с рыжеватой бородкой и благочестиво настроенный. Другим асессором был Брайерли. Великий Брайерли! Кое-кто из вас слыхал, должно быть, о великом Брайерли — капитане всем известного судна, принадлежащего пароходству «Голубая звезда». Он-то и был асессором.

Казалось, он чрезвычайно тяготился оказанной ему честью. За всю свою жизнь он не сделал

ни одной ошибки, не знал несчастных случаев и неудач, в его карьере не бывало заминок. Он был как будто одним из тех счастливчиков, которым неведомы колебания и еще того менее — неуверенность в себе. В тридцать два года он командовал одним из лучших судов Восточного торгового флота; мало того — он считал свое судно исключительным. Второго такого судна не было во всем мире; думаю, если спросить его напрямик, он признался бы, что и такого командира нигде не сыщешь. Выбор пал на достойного. Остальные люди, не командовавшие стальным пароходом «Осса», который всегда делал шестнадцать узлов, были довольно-таки жалкими созданиями. Он спасал тонущих людей на море, спасал суда, потерпевшие аварию, имел золотой хронометр, поднесенный ему по подписке, бинокль с подобающей надписью, который был получен им за вышеупомянутые заслуги от какого-то иностранного правительства. Он хорошо знал цену своим заслугам и своим наградам. Пожалуй, он мне нравился, хотя я знаю, что иные — к тому же люди скромные и дружелюбные — попросту его не выносили. Я нимало не сомневаюсь, что на меня он смотрел свысока, — будто был владыкой Востока и Запада; в его присутствии вы

чувствовали бы себя существом низшим! Однако я на него по-настоящему не обижался. Видите ли, он презирал меня не за какие-либо мои личные качества, не за то, что я собой представлял. Я был величиной, в счет не идущей, ибо не удостоился быть единственным человеком на земле, — я не был Монтегю Брайерли, капитаном «Оссы», владельцем золотого хронометра, поднесенного по подписке, и бинокля в серебряной оправе, свидетельствующих об искусстве в мореплавании и неукротимой отваге; я не обладал острым сознанием своих достоинств и своих наград, не говоря уже о том, что у меня не было такой черной охотничьей собаки, как у Брайерли, а эта собака была исключительной, и ни один пес не относился к человеку с такой любовью и преданностью, как он. Несомненно, когда все это ставится вам на вид, вы испытываете некоторое раздражение. Однако так же фатально, как и мне, не повезло еще миллиарду двумстам миллионам человек, и, поразмыслив, я пришел к заключению, что могу примириться с его добродушной и презрительной жалостью, ибо что-то в этом человеке влекло меня к нему. Это влечение я так и не уяснил себе, но бывали минуты, когда я ему завидовал. Уколы жизни задевали его самодовольную душу не глуб-

же, чем царапает булавка гладкую поверхность скалы. Этому можно было позавидовать. Когда он сидел подле непритязательного бледного судьи, его самодовольство казалось мне и всему миру твердым, как гранит. Вскоре после этого он покончил с собой.

Неудивительно, что он тяготился делом Джима, и, в то время как я едва ли не со страхом размышлял о безграничном его презрении к молодому человеку, он, вероятно, молчаливо расследовал свое собственное дело. Должно быть, приговор был обвинительный, а тайну показаний он унес с собой, бросившись в море. Если я понимаю что-нибудь в людях, дело это было крайней важности — один из тех пустяков, что пробуждают мысль; мысль вторгается в жизнь, и человек, не имея привычки к такому обществу, считает невозможным жить. У меня есть данные, я знаю, что тут дело было не в деньгах, не в пьянстве и не в женщине. Он прыгнул за борт через неделю после окончания следствия и меньше чем через три дня после того, как ушел в плавание, — словно там, в определенном месте, он увидел внезапно в волнах врата иного мира, распахнувшиеся, чтобы его принять. Однако это не было внезапным импульсом. Его седовласый помощник, первоклассный

моряк — славный старик, но по отношению к своему командиру самый грубый штурман, какого я когда-либо видел, — со слезами на глазах рассказывал эту историю. По словам помощника, когда он утром вышел на палубу, Брайерли находился в штурманской рубке и что-то писал.


R.F. Zogbaum
1903

— Было без десяти минут четыре, — так рассказывал помощник, — и среднюю вахту, конечно, еще не сменили. На мостике я заговорил со вторым помощником, а капитан услышал мой голос и позвал меня. Сказать вам правду, капитан Марлоу, мне здорово не хотелось идти, — со стыдом признаюсь, я терпеть не мог капитана Брайерли. Никогда мы не можем распознать человека. Его назначили, обойдя очень многих, не говоря уже обо мне, а к тому же он чертовски умел вас унизить: «с добрым утром» он говорил так, что вы чувствовали свое ничтожество. Я никогда не разговаривал с ним, сэр, иначе как по долгу службы, да и то мог только принудить себя быть вежливым.

(Он польстил себе. Я частенько удивлялся, как может Брайерли терпеть такое обращение.)

— У меня жена и дети, — продолжал он. — Десять лет я служил Компании и, по глупости своей, все ждал командования. Вот он и говорит мне: «Пожалуйте сюда, мистер Джонс», — этаким высокомерным тоном: «Пожалуйте сюда, мистер Джонс». Я вошел.

«Отметим положение судна», — говорит он, наклоняясь над картой, а в руке у него циркуль. По правилам помощник должен это сделать

по окончании своей вахты. Однако я ничего не сказал и смотрел, как он отмечал крохотным крестиком положение судна и писал дату и час. Вот и сейчас вижу, как он выводит аккуратные цифры; семнадцать, восемь, четыре до полудня. А год был написан красными чернилами наверху карты. Больше года капитан Брайерли никогда не пользовался одной и той же картой. Та карта теперь у меня. Написав, он встал, поглядел на карту, улыбнулся, потом посмотрел на меня и говорит: «Тридцать две мили держитесь этого курса, и все будет в порядке, а потом можете повернуть на двадцать градусов к югу».

В тот рейс мы проходили к северу от Гектор-Бэнк. Я сказал: «Да, сэр!» — и подивился, чего он так хлопочет: ведь все равно я должен был вызвать его перед тем, как изменить курс. Тут пробило восемь склянок; мы вышли на мостик, и второй помощник, прежде чем уйти, доложил, по обыкновению: «Семьдесят один по лагу».

Капитан Брайерли взглянул на компас, потом поглядел вокруг. Небо было темное и чистое, а звезды сверкали ярко, как в морозную ночь в высоких широтах. Вдруг он говорит со вздохом: «Я пойду на корму и сам поставлю для вас лаг на нуль, чтобы не вышло ошибки. Еще тридцать

две мили держитесь этого курса, и тогда вы будете в безопасности. Ну, скажем, поправка к лагу — процентов шесть. Значит, еще тридцать миль этим курсом, а затем возьмете лево руля сразу на двадцать градусов. Не стоит идти лишних две мили. Не так ли?»

Никогда я не слыхал, чтобы он так много говорил, — и бесцельно, как мне казалось. Я ничего не ответил. Он спустился по трапу, а собака, которая — куда бы он ни шел — днем и ночью следовала за ним по пятам, тоже побежала вниз. Я слышал, как стучали его каблуки по палубе; потом он остановился и заговорил с собакой: «Назад, Ровер! На мостик, дружище! Ступай, ступай!»

Потом крикнул мне из темноты: «Пожалуйста, заприте собаку в рубке, мистер Джонс».

В последний раз я слышал его голос, капитан Марлоу. То были последние слова, какие он произнес в присутствии живого существа, сэр.

Тут голос старика дрогнул.

— Видите ли, он боялся, как бы бедный пес не прыгнул вслед за ним, — продолжал он, заикаясь. — Да, капитан Марлоу, он установил для меня лаг; он — поверите ли? — даже смазал его капелькой масла: лейка для масла стояла вблизи, — там, где он ее оставил. В половине шестого

помощник боцмана пошел со шлангом на корму мыть палубу; вдруг он бросает работу и бежит на мостик. «Не пройдете ли вы, — говорит, — на корму, мистер Джонс? Странную я тут нашел штуку. Мне бы не хотелось к ней притрагиваться».

То был золотой хронометр капитана Брайерли, старательно подвешенный за цепочку к поручням.

Как только я его увидел, что-то меня словно ударило, сэр. Ноги мои подкосились. И я понял, я точно своими глазами видел, как он прыгнул за борт; я бы мог даже сказать, где он остался. Лаг показывал восемнадцать и три четверти мили; у грот-мачты не хватало четырех железных кофель-нагелей. Должно быть, он рассовал их по карманам, чтобы легче пойти ко дну. Но, боже мой, что значат четыре железных кофель-нагеля для такого сильного человека, как капитан Брайерли? Быть может, его самоуверенность поколебалась чуточку в самый последний момент. Думаю, то был единственный раз в его жизни, когда он проявил слабость. Но я готов за него поручиться: раз прыгнув за борт, он уже не пытался плыть; а упади он за борт случайно, у него хватило бы мужества целый день продержаться на воде. Да, сэр. Второго такого не найти — я слыхал

однажды, как он сам это сказал. Во время средней вахты он написал два письма — одно Компании, другое мне. Он мне давал всякие инструкции относительно плавания — а ведь я уже служил во флоте, когда он еще на свет не родился, — и разные советы, как мне держать себя в Шанхае, чтобы получить командование «Оссой». Капитан Марлоу, он мне писал, словно отец своему любимому сыну, а ведь я был на двадцать пять лет старше его и отведал соленой воды, когда он еще не носил штанишек. В своем письме судовладельцам — оно было не запечатано, чтобы я мог прочесть, — он говорил, что всегда исполнял свой долг — вплоть до этого момента, — и даже теперь не обманывает их доверия, так как оставляет судно самому компетентному моряку, какого только можно найти. Это меня он имел в виду, сэр, — меня! Дальше он писал, что, если этот последний шаг не лишит его их доверия, они примут во внимание мою верную службу и его горячую рекомендацию, когда будут искать ему заместителя. И много еще в таком роде, сэр. Я не верил своим глазам. У меня в голове помутилось, — продолжал старик в страшном волнении и вытер уголок глаза концом большого пальца, широкого, как шпатель.

— Можно было подумать, сэр, что он прыгнул за борт единственно для того, чтобы дать бедному человеку возможность продвинуться. И так он это стремительно проделал, что я целую неделю не мог опомниться… к тому же еще я считал, что моя карьера обеспечена. Но не тут-то было! Капитан «Палиона» был переведен на «Оссу» — явился на борт в Шанхае. Маленький франтик, сэр, в сером клетчатом костюме, и пробор посередине головы.

«Э… я… э… я ваш новый капитан, мистер… мистер… э… Джонс».

Капитан Марлоу, он словно выкупался в духах — так и несло от него. Должно быть, он подметил мой взгляд и потому-то и начал заикаться. Он забормотал о том, что я, естественно, должен быть разочарован… но тем не менее мне следует знать: его старший помощник назначен командиром «Палиона»… он лично тут ни при чем… Компания лучше нас знает… ему очень жаль…

«Не обращайте внимания на старого Джонса, сэр, — говорю я, — он к этому привык, черт бы побрал его душу».

Я сразу понял, что оскорбил его нежный слух; а когда мы в первый раз уселись вместе завтракать, он начал препротивно критиковать то да

другое на судне. Голос у него был, как у Панча и Джуди[7]. Я стиснул зубы, уставился в свою тарелку и терпел, пока хватало сил. Наконец не выдержал и что-то сказал; так он вскочил на цыпочки, взъерошил все свои красивые перышки, словно бойцовый петушок.

«Вы скоро узнаете, что имеете дело не с таким человеком, как покойный капитан Брайерли». — «Это мне уже известно», — говорю я очень мрачно и делаю вид, будто занят своей котлетой.

«Вы — старый грубиян, мистер… э… Джонс, и Компания вас и считает таким!» — взвизгнул он.

А слуги стоят кругом и слушают, растянув рот до ушей.

«Может, я и крепкий орешек, — отвечаю, — а все-таки мне невтерпеж видеть, что вы сидите в кресле капитана Брайерли». И кладу нож и вилку. «Вам самому хотелось бы сидеть в этом кресле — вот где собака зарыта!» — огрызнулся он.

Я вышел из кают-компании, собрал пожитки и, раньше чем явились портовые грузчики, очутился со всем своим скарбом на набережной. Да-с. Выброшен на берег… после десяти лет службы…

---

[7] Примечания: 7

Панч и *Джуди* — герои народного кукольного театра Англии.

а за шесть тысяч миль отсюда бедная жена и четверо детей только и держатся моим половинным жалованьем. Да, сэр! Но я не мог терпеть, чтобы оскорбляли капитана Брайерли, и готов был идти на все. Он мне оставил бинокль — вот он; и поручил мне свою собаку — вот она. Эй, Ровер! Бедняга! Ровер, где капитан?

Собака тоскливо посмотрела на нас своими желтыми глазами, уныло тявкнула и забилась под стол.

Разговор происходил года через два после этого на борту старой развалины «Файр-Куин», которой командовал Джонс. Командование он получил благодаря забавному случаю — после Матерсона, сумасшедшего Матерсона, как его обычно называли; того самого, что, бывало, болтался в Хайфоне до оккупации.

Старик снова загнусавил:

— Да, сэр, здесь-то, во всяком случае, будут помнить капитана Брайерли. Я подробно написал его отцу и ни слова не получил в ответ — ни «благодарю вас», ни «убирайтесь к черту» — ничего! Может быть, они вовсе не хотели о нем слышать.

Вид этого старого Джонса с водянистыми глазами, вытирающего лысую голову красным бумажным платком, тоскливое тявканье собаки,

грязная, засиженная мухами каюта — ковчег воспоминаний об умершем — все это набрасывало вуаль невыразимо жалкого пафоса на памятную фигуру Брайерли: посмертное мщение судьбы за эту веру в его собственное великолепие — веру, которая почти обманула жизнь со всеми ее неизбежными ужасами. Почти! А может быть — и совсем. Кто знает, с какой лестной для него точки зрения рассматривал он собственное свое самоубийство?

— Капитан Марлоу, как вы думаете, почему он покончил с собой? — спросил Джонс, сжимая ладони. — Почему? Это превосходит мое понимание. Почему?

Он хлопнул себя по низкому морщинистому лбу.

— Если бы он был беден, стар, увяз в долгах… неудачник… или сошел с ума… Но он был не из тех, что сходят с ума; э нет, можете мне поверить! Чего помощник не знает о своем шкипере, того и знать не стоит. Молодой, здоровый, обеспеченный, никаких забот… Вот я сижу здесь иногда и думаю, думаю, пока в голове у меня не загудит. Ведь была же какая-то причина.

— Можете не сомневаться, капитан Джонс, — сказал я, — причина была не из тех, что могут

потревожить нас с вами.

И тут словно свет озарил затемненный рассудок бедного Джонса: напоследок старик произнес слова, поражающие своей глубиной. Он высморкался и скорбно закивал головой:

— Да, да! Ни вы, ни я, сэр, никогда не были о себе такого высокого мнения.

Конечно, воспоминания о последнем моем разговоре с Брайерли окрашены тем, что я знаю о его самоубийстве, происшедшем так скоро после этого разговора. В последний раз я говорил с ним в то время, когда шло судебное следствие. После первого заседания мы вместе вышли на улицу. Он был раздражен, что я отметил с удивлением: снисходя до беседы, он всегда бывал совершенно хладнокровен и относился к своему собеседнику с какой-то веселой терпимостью, словно самый факт его существования считал забавной шуткой.

— Они заставили меня принять участие в разборе дела, — начал он, а затем стал жаловаться на неудобство ходить каждый день в суд. — Одному богу известно, сколько времени это протянется. Дня три, я думаю.

Я слушал его молча. По моему мнению, это был лучший способ держаться в стороне.

— Что толку? Это — глупейшее дело, какое только можно себе представить, — продолжал он с жаром.

Я заметил, что другого выхода не было. Он перебил меня с каким-то сдержанным бешенством:

— Все время я чувствую себя дураком.

Я поднял на него глаза. Это было уже слишком — для Брайерли, говорящего о самом себе. Он остановился, ухватил меня за лацкан пиджака и тихонько его дернул.

— Зачем мы терзаем этого молодого человека? — спросил он.

Этот вопрос был так созвучен с похоронным звоном моих мыслей, что я отвечал тотчас же, мысленно представив себе улизнувшего ренегата:

— Пусть меня повесят, если я знаю, но он сам идет на это.

Я был изумлен, когда он ответил мне в тон и произнес фразу, которая до известной степени могла показаться загадочной.

— Ну да. Разве он не понимает, что его негодяй-шкипер улизнул? Чего же он ждет? Его ничто не спасет. С ним кончено.

Несколько шагов мы прошли молча.

— Зачем жрать всю эту грязь? — воскликнул

он, употребляя энергичное восточное выражение — пожалуй, единственное проявление энергии к востоку от пятидесятого меридиана.

Я подивился ходу его мыслей, но теперь считаю это вполне естественным: бедняга Брайерли думал, должно быть, о самом себе. Я заметил ему, что, как известно, шкипер «Патны» устлал свое гнездышко пухом и мог всюду раздобыть денег, чтобы удрать. С Джимом дело обстояло иначе: власти временно поместили его в Доме моряка, и, по всей вероятности, у него в кармане не было ни единого пенни. Нужно иметь некоторую сумму денег, чтобы удрать.

— Нужно ли? Не всегда, — сказал он с горьким смехом. Я сделал еще какое-то замечание, а он ответил: — Ну так пускай он зароется на двадцать футов в землю и там и остается! Клянусь небом, я бы это сделал!

Почему-то его тон задел меня, и я сказал:

— Есть своего рода мужество в том, чтобы выдержать это до конца, как делает он, а ведь ему хорошо известно, что никто не потрудится его преследовать, если он удерет.

— К черту мужество! — проворчал Брайерли. — Такое мужество не поможет человеку держаться прямого пути, и я его в грош не ставлю. Вам сле-

довало бы сказать, что это своего рода трусость, дряблость. Вот что я вам предлагаю: я дам двести рупий, если вы приложите еще сотню и уговорите парня убраться завтра поутру. Он производит впечатление порядочного человека — он поймет. Должен понять! Слишком отвратительна эта огласка: можно сгореть со стыда, когда серанги, ласкары, рулевые дают показания. Омерзительно! Неужели вы, Марлоу, не чувствуете, как это омерзительно? Вы, моряк? Если он скроется, все это сразу прекратится.

Брайерли произнес эти слова с необычным жаром и уже полез за бумажником. Я остановил его и холодно сказал, что, на мой взгляд, трусость этих четверых не имеет такого большого значения.

— А еще называете себя моряком! — гневно воскликнул он.

Я сказал, что действительно называю себя моряком и — смею надеяться — не ошибаюсь. Он выслушал и сделал рукой жест, который словно лишал меня моей индивидуальности, смешивал с толпой.

— Хуже всего то, — объявил он, — что у вас, ребята, нет чувства собственного достоинства. Вы мало думаете о том, что должны собой пред-

ставлять.

Все это время мы медленно шли вперед и теперь остановились против Управления порта, неподалеку от того места, где необъятный капитан «Патны» исчез, как крохотное перышко, подхваченное ураганом. Я улыбнулся. Брайерли продолжал:

— Это позор. Конечно, в нашу среду попадают всякие, среди нас бывают и отъявленные негодяи. Но должны же мы, черт возьми, сохранять профессиональное достоинство, если не хотим превратиться в бродячих лудильщиков! Нам доверяют. Понимаете — доверяют! По правде сказать, мне нет дела до всех этих азиатов-паломников, но порядочный человек не поступил бы так, даже если бы судно было нагружено тюками лохмотьев. Только притязание на такого рода порядочность связывает нас друг с другом, а больше ничто… Подобные поступки подрывают доверие. Человек может прожить всю свою жизнь на море и не встретиться с опасностью, которая требует величайшей выдержки. Но если опасность встретишь… Да!.. Если бы я… — Он оборвал фразу и заговорил другим тоном: — Я вам дам двести рупий, Марлоу, а вы поговорите с этим парнем. Черт бы его побрал! Хотел бы я,

чтобы он никогда сюда не являлся. Дело в том, что мои родные, кажется, знают его семью. Его отец — приходский священник. Помню, я встретил его в прошлом году, когда жил у своего двоюродного брата в Эссексе. Если не ошибаюсь, старик был без ума от своего сына-моряка. Ужасно! Я не могу сделать это сам, но вы…

Таким образом, благодаря Джиму я на секунду увидел подлинное лицо Брайерли за несколько дней до того, как он доверил морю и себя самого, и свою личину. Конечно, я уклонился от вмешательства. Тон, каким были сказаны эти последние слова «но вы…» (у бедняги Брайерли это сорвалось бессознательно), казалось, намекал на то, что я достоин не большего внимания, чем какая-нибудь букашка, а в результате я с негодованием отнесся к его предложению и окончательно убедился в том, что судебное следствие является суровым наказанием для Джима, и, подвергаясь ему — в сущности добровольно, — он как бы искупает до известной степени свое отвратительное преступление. Раньше я не был в этом так уверен. Брайерли ушел рассерженный. В то время его настроение казалось мне более загадочным, чем кажется теперь.

На следующий день, поздно явившись в суд, я

сидел один. Конечно, я не забыл об этом разговоре с Брайерли, а теперь они оба сидели передо мной. Поведение одного казалось угрюмо наглым, физиономия другого выражала презрительную скуку; однако первое могло быть не менее ошибочным, чем второе, а я знал, что физиономия Брайерли *лжет*: Брайерли не скучал — он был раздражен; следовательно, и Джим, быть может, вовсе не был наглым. Это согласовалось с моей теорией. Я считал, что он потерял всякую надежду. Вот тогда-то я и встретился с ним глазами. Взгляд, какой он мне бросил, мог уничтожить всякое желание с ним заговорить. Принимая любую гипотезу — то ли он нагл, то ли в отчаянии, — я чувствовал, что ничем не могу ему помочь. То был второй день разбора дела. Вскоре после того, как мы обменялись взглядами, допрос был снова отложен на следующий день. Белые начали пробираться к выходу. Джиму еще раньше велели сойти с возвышения, и он мог выйти одним из первых. Я видел его широкие плечи и голову на светлом фоне открытой двери. Пока я медленно шел к выходу, разговаривая с кем-то — какой-то незнакомый человек случайно ко мне обратился, — я мог видеть его из зала суда; облокотившись на балюстраду веранды, он стоял

спиной к потоку людей, спускающемуся по ступеням. Слышались тихие голоса и шарканье ног.

Теперь должно было разбираться дело об избиении какого-то ростовщика. Обвиняемый — почтенный крестьянин с прямой белой бородой — сидел на циновке как раз за дверью; вокруг него сидели на корточках или стояли его сыновья, дочери, зятья, жены, — думаю, добрая половина деревни собралась здесь. Стройная темнокожая женщина с полуобнаженной спиной, голым черным плечом и с тонким золотым кольцом, продетым в нос, вдруг заговорила пронзительным, крикливым голосом. Человек, шедший со мной, невольно поднял на нас глаза. Мы уже вышли и очутились как раз за могучей спиной Джима.

Не знаю, эти ли крестьяне привели с собой желтую собаку. Как бы то ни было, но собака была налицо и, как всякая туземная собака, украдкой шныряла между ногами проходящих; мой спутник споткнулся об нее. Она, не взвизгнув, отскочила в сторону, а незнакомец, слегка повысив голос, сказал с тихим смехом:

— Посмотрите на эту трусливую тварь!

Поток людей разъединил нас. Меня на секунду приперли к стене, а незнакомец спустился по

ступеням и исчез. Я видел, как Джим круто повернулся. Он шагнул вперед и преградил мне дорогу. Мы были одни; он посмотрел на меня с видом упрямым и решительным. Я чувствовал себя так, словно меня остановили в дремучем лесу. Веранда к тому времени опустела; шум затих в зале суда; там, в доме, спустилось великое молчание, и только откуда-то издалека донесся жалобный восточный голос. Собака, не успевшая проскользнуть в дверь, уселась и начала ловить блох.

— Вы заговорили со мной? — тихо спросил Джим, наклоняясь вперед, но не ко мне, а словно наступая на меня. — Не знаю, понятно ли вам, что я хочу сказать?

Я тотчас же ответил:

— Нет.

Что-то в звуке этого спокойного голоса подсказало мне, что следует быть настороже. Я следил за ним. Это очень походило на встречу в лесу, только нельзя было предугадать исход, раз он не мог потребовать ни моих денег, ни моей жизни — ничего, что бы я попросту отдал или стал защищать с чистой совестью.

— Вы говорите — нет, — сказал он, очень мрачный, — но я слышал.

— Какое-то недоразумение, — возразил я, ни-

чего не понимая, но не сводя глаз с его лица. Я следил, как оно потемнело, словно небо перед грозой: тени незаметно набегали на него и таинственно сгущались в тишине перед назревающей вспышкой.

— Насколько мне известно, я не открывал рта в вашем присутствии, — заявил я, что соответствовало действительности. Нелепая стычка начинала меня злить. Теперь я понимаю, что в тот момент мне грозила расправа — настоящая кулачная расправа. Думаю, я смутно чувствовал эту возможность. Не то чтобы он по-настоящему мне угрожал. Наоборот — он был страшно пассивен, но он нахмурился и хотя не производил впечатления человека исключительной силы, но, казалось, свободно мог прошибить стену. Однако я подметил и благоприятный симптом: Джим как будто глубоко задумался и стал колебаться; я это принял как дань моему неподдельно искреннему тону и манерам. Мы стояли друг против друга. В зале суда разбиралось дело о нападении и избиении. Я уловил слова: «Буйвол… палка… в великом страхе…»

— Почему вы все утро на меня смотрели? — сказал наконец Джим. Он поднял глаза, потом снова уставился в пол.

— Вы думали, что все будут сидеть с опущенными глазами, щадя ваши чувства? — отрезал я, не желая принимать покорно его нелепые выпады. Он снова поднял глаза и на этот раз прямо посмотрел мне в лицо.

— Нет. Так оно и должно быть, — произнес он, словно взвешивая истину этого положения. — Так оно и должно быть. На это я иду. Но только, — тут он заговорил быстрее, — я никому не позволю оскорблять меня за стенами суда. С вами был какой-то человек. Вы говорили с ним… о да, я знаю, все это прекрасно. Вы говорили с ним, но так, чтобы я слышал…

Я заверил его, что он жестоко заблуждается. Я понятия не имел, как это могло произойти.

— Вы думали, что я побоюсь ответить на оскорбление, — сказал он с легкой горечью. Я был настолько заинтересован, что подмечал малейшие оттенки и выражения, но по-прежнему ничего не понимал. Однако что-то в этих словах — или, быть может, интонация этой фразы — побудило меня отнестись к нему снисходительно. Неожиданная стычка перестала меня раздражать. Он заблуждался, произошло какое-то недоразумение, и я предчувствовал, что по характеру своему оно было отвратительно и при-

скорбно. Мне не терпелось поскорей и возможно приличнее закончить эту сцену, как не терпится человеку оборвать непрошеное и омерзительное признание. Забавнее всего было то, что, предаваясь всем этим соображениям высшего порядка, я тем не менее ощущал некий трепет при мысли о возможной — весьма возможной — постыдной драке, для которой не подыщешь объяснений и которая сделает меня смешным. Я не стремился к тому, чтобы прославиться на три дня, как человек, получивший синяк под глазом или что-либо в этом роде от штурмана с «Патны». Он же, по всем вероятиям, не задумывался над своими поступками и, во всяком случае, был бы оправдан в своих собственных глазах. Несмотря на его спокойствие и, я бы сказал, оцепенение, каждый, не будучи волшебником, заметил бы, что он чрезвычайно чем-то рассержен. Не отрицаю, мне очень хотелось умиротворить его во что бы то ни стало, если бы я только знал, как за это взяться. Но, как вы легко можете себе представить, я не знал. То был мрак, без единого проблеска света. Молча стояли мы друг перед другом. Секунд пятнадцать он выжидал, затем шагнул вперед, а я приготовился отразить удар, хотя, кажется, ни один мускул у меня не дрогнул.

— Будь вы вдвое больше и вшестеро сильнее, — заговорил он очень тихо, — я бы вам сказал, что́ я о вас думаю. Вы…

— Стойте! — воскликнул я.

Это заставило его на секунду замолкнуть.

— Раньше чем сказать, что вы обо мне думаете, — быстро продолжал я, — будьте любезны сообщить мне, что я такое сказал или сделал.

Последовала пауза. Он смотрел на меня с негодованием, а я мучительно напрягал память, но мне мешал восточный голос из зала суда, бесстрастно и многословно возражавший против обвинения во лжи. Потом мы заговорили почти одновременно.

— Я вам докажу, что вы ошибаетесь на мой счет, — сказал он тоном, предвещающим развязку.

— Понятия не имею, — серьезно заявил я в тот же момент.

Он старался меня уничтожить презрительным взглядом.

— Теперь, когда вы видите, что я не боюсь, вы пытаетесь увернуться, — сказал он. — Ну, кто из нас трусливая тварь?

Тут только я понял.

Он всматривался в мое лицо, словно выискивая

местечко, куда бы опустить кулак.

— Я никому не позволю… — забормотал он угрожающе.

Да, действительно, это было страшное недоразумение; он выдал себя с головой. Не могу вам передать, как я был потрясен. Должно быть, мне не удалось скрыть свои чувства, так как выражение его лица слегка изменилось.

— Боже мой! — пролепетал я. — Не думаете же вы, что я…

— Но я уверен, что не ослышался, — настаивал он и, впервые с начала этой горестной сцены, повысил голос. Потом с оттенком презрения добавил: — Значит, это были не вы? Отлично; я разыщу того, другого.

— Не глупите, — в отчаянии крикнул я, — это было совсем не то.

— Я слышал, — повторил он с непоколебимым и мрачным упорством.

Быть может, найдутся люди, которым покажется смешным такое упрямство. Но я не смеялся. О нет! Никогда не встречал я человека, который бы выдал себя так безжалостно, поддавшись вполне естественному побуждению. Одно-единственное слово лишило его сдержанности — той сдержанности, которая для пристойности нашего

внутреннего «я» более необходима, чем одежда для нашего тела.

— Не глупите, — повторил я.

— Но вы не отрицаете, что тот, другой, это сказал? — произнес он внятно и не мигая глядел мне в лицо.

— Нет, не отрицаю, — сказал я, выдерживая его взгляд.

Наконец он опустил глаза и посмотрел туда, куда я указывал ему пальцем. Сначала он как будто не понял, потом остолбенел, наконец на лице его отразилось изумление и испуг, словно собака была чудовищем, а он впервые увидел собаку.

— Ни у кого и в мыслях не было оскорблять вас, — сказал я.

Он смотрел на жалкое животное, сидевшее неподвижно, как изваяние; насторожив уши, собака повернула острую мордочку к двери и вдруг, как автомат, щелкнула зубами, целясь на пролетавшую муху.

Я посмотрел на него. Румянец на его загорелых, покрытых пушком щеках внезапно потемнел и залил лоб до самых корней вьющихся волос. Уши покраснели, и даже ясные голубые глаза стали гораздо темнее от прилива крови к голове. Губы слегка оттопырились и задрожали, словно

он вот-вот разразится слезами. Я понял, что он не в силах выговорить ни единого слова, подавленный своим унижением. И разочарованием — кто знает? Возможно, он хотел этой потасовки, которую намеревался мне навязать для своей реабилитации, для успокоения? Кто знает, какого облегчения он ждал от этой драки? Он был так наивен, что мог ждать чего угодно; но в данном случае он выдал себя с головой совершенно напрасно. Он был искренен с самим собой — не говоря уже обо мне — в безумной надежде добиться таким путем какого-то явного опровержения, а насмешливая судьба ему не благоприятствовала. Он издал нечленораздельный звук, как человек, полуоглушенный ударом по голове. Жалко было смотреть на него.

Я нагнал его далеко за воротами. Мне даже пришлось пуститься рысцой, но когда я, запыхавшись, поравнялся с ним и заговорил о бегстве, он сказал: «Никогда!» — и тотчас же занял оборонительную позицию. Я объяснил, что отнюдь не хотел сказать, будто он бежит от меня.

— Ни от кого… ни от кого на свете, — заявил он упрямо.

Я удержался и не сказал ему об одном-единственном исключении из этого правила — ис-

ключении, приемлемом для самых храбрых из нас. Думалось, что он и сам скоро это поймет. Он терпеливо смотрел на меня, пока я придумывал, что бы ему сказать, но в тот момент мне ничего не приходило на ум, и он снова зашагал вперед. Я не отставал и, не желая отпускать его, торопливо заговорил о том, что мне бы не хотелось оставлять его под ложным впечатлением моего… моего… Я запнулся. Глупость этой фразы испугала меня, пока я пытался ее закончить, но могущество фраз ничего общего не имеет с их смыслом или с логикой их конструкций. Мой идиотский лепет, видимо, ему понравился. Он оборвал его, сказав с вежливым спокойствием, свидетельствовавшим о безграничном самообладании или же удивительной эластичности настроения:

— Всецело моя ошибка…

Я подивился этому выражению: казалось, он намекал на какой-то пустячный случай. Неужели он не понял его позорного значения?

— Вы должны простить меня, — продолжал он и хмуро добавил: — Все эти люди, таращившие на меня глаза там, в суде, казались такими дураками, что… что могло быть и так, как я предположил.

Эта фраза изумила меня. Он предстал в новом свете. Я посмотрел на него с любопытством и

встретил его взгляд, непроницаемый и нимало не смущенный.

— С подобными выходками я не могу примириться, — сказал он очень просто, — и не хочу. В суде иное дело; там мне приходится это выносить — и я выношу.

Не могу сказать, чтобы я его понимал. То, что он мне показывал, походило на проблески света в прорывах густого тумана, через которые видишь яркие и ускользающие детали, не дающие полного представления о данной местности. Они питают любопытство человека, не удовлетворяя его; ориентироваться по ним нельзя. В общем он сбивал с толку. Вот к какому выводу я пришел, когда мы расстались поздно вечером. Я остановился на несколько дней в отеле «Малабар», и он принял мое настойчивое приглашение пообедать вместе.

Глава VII

В тот день отправлявшееся за границу почтовое судно прибыло в порт, и в большой столовой отеля добрая половина столиков была занята людьми с кругосветными билетами, ценой в сто фунтов, в карманах. Были тут супружеские пары, видимо уже привыкшие к семейной жизни и наскучившие друг другу за время путешествия, были и люди, путешествующие компанией, были и одинокие субъекты, торжественно обедающие или шумно пирующие, но все эти люди думали, разговаривали, шутили или хмурились точь-в-точь так, как привыкли это делать у себя дома; и к новым впечатлениям они были не более восприимчивы, чем их багаж наверху. Отныне они вместе со своим багажом будут отмечены ярлыком, как побывавшие в таких-то и таких-то странах. Они будут дрожать над этим своим отличием и сохранять приклеенные к чемоданам ярлыки, как документальное доказательство, как единственный неизгладимый след поездки с образовательной целью. Темнолицые слуги бесшумно скользили по натертому полу; изредка раздавался девичий смех, наивный и пустой,

как сама девушка, или, когда затихал стук посуды, доносились слова, произнесенные в нос остряком, который расписывал ухмыляющимся сотрапезникам последний забавный скандал на борту судна. Две кочующие старые девы в сногсшибательных туалетах кисло просматривали меню и перешептывались, шевеля поблекшими губами; эксцентричные, с деревянными лицами, они походили на роскошно одетые вороньи пугала. Несколько глотков вина приоткрыли сердце Джима и развязали ему язык. Аппетит у него был хороший, это я заметил. Казалось, он похоронил где-то эпизод, положивший начало нашему знакомству, словно это было нечто такое, о чем никогда больше не будет речи. Все время я видел перед собой эти голубые мальчишеские глаза, прямо на меня смотревшие, это молодое лицо, могучие плечи, открытый бронзовый лоб с белой полоской у корней вьющихся белокурых волос; его вид пробуждал во мне симпатию — это открытое лицо, бесхитростная улыбка, юношеская серьезность. Он был порядочным человеком, — одним из нас. Он говорил рассудительно, с какой-то сдержанной откровенностью и с тем спокойствием, какого можно достигнуть мужественным самообладанием или бесстыдством,

бесчувственностью, безграничной наивностью или страшным самообманом. Кто знает? Судя по нашему тону, могло показаться, что мы рассуждаем о ком-то постороннем, о футбольном матче, о прошлогоднем снеге. Моя мысль тонула в море догадок, но тут разговор пошел по новому руслу, и мне удалось, не оскорбляя Джима, заметить, что следствие, несомненно, было для него мучительным. Он схватил меня за руку — моя рука лежала на скатерти, подле тарелки, — и впился в меня глазами. Я испугался.

— Должно быть, это ужасно неприятно, — пробормотал я, смущенный таким безмолвным проявлением чувств.

— Это — адская пытка! — воскликнул он заглушенным голосом.

Это движение и эти слова заставили двух франтоватых путешественников, сидевших за соседним столиком, тревожно оторваться от их замороженного пудинга. Я встал, и мы вышли на галерею, где нас ждали кофе и сигары.

На маленьких восьмиугольных столиках горели свечи под стеклянными колпаками; вокруг стояли удобные плетеные стулья; столики отделялись друг от друга какими-то растениями с жесткими листьями; между колонн, на которые

падал красноватый отблеск света из высоких окон, ночь, мерцающая и мрачная, спустилась великолепным занавесом. Огни судов мигали вдали, словно заходящие звезды, а холмы по ту сторону рейда походили на округлые черные массы застывших грозовых туч.

— Я не мог удрать, — начал Джим. — Шкипер удрал — так ему и полагалось сделать. А я не мог и не хотел… Все они выпутались так или иначе, но для меня это не годилось.

Я слушал с напряженным вниманием, не смея шелохнуться; я хотел знать — но и по сей день не знаю, я могу только догадываться. Он был доверчив и в то же время сдержан, словно убеждение в какой-то внутренней правоте мешало истине сорваться с уст. Прежде всего он заявил таким тоном, как будто признавался в своем бессилии перескочить через двадцатифутовую стену, что никогда не сможет вернуться домой; это заявление вызвало в моей памяти слова Брайерли: «Если не ошибаюсь, этот старик-пастор в Эссексе без ума от своего сына-моряка».

Не могу вам сказать, знал ли Джим о том, что был любимцем отца, но тон, каким он отзывался «о своем папе», был рассчитан на то, чтобы я представил себе старого деревенского пастора самым

прекрасным человеком из всех, кто когда-либо, с сотворения мира, был обременен заботами о большой семье. Это хотя и не было сказано, но подразумевалось, не оставляя места сомнениям, а искренность Джима была очаровательна, подчеркивая, что вся история затрагивает и тех, кто живет там — очень далеко.

— Теперь он уже знает обо всем из газет там, на родине, — сказал Джим. — Я никогда не смогу встретиться с бедным стариком.

Я не смел поднять глаза, пока он не добавил:

— Я никогда не смогу объяснить. Он бы не понял.

Тогда я посмотрел на него. Он задумчиво курил, потом, немного погодя, встрепенулся и снова заговорил. Он выразил желание, чтобы я не смешивал его с сообщниками в… ну, скажем… в преступлении. Он не из их компании; он совсем из другого теста. Я не отрицал. Мне отнюдь не хотелось во имя бесплодной истины лишать его хотя бы малой частицы спасительной милости, выпавшей ему на долю. Я не знал, насколько он в это верит. Не знал, какую он ведет игру — если он вообще вел какую-нибудь игру; подозреваю, что и он этого не знал: я убежден, что ни один человек не может до конца понять собственные

свои уловки, к каким прибегает, чтобы спастись от грозной тени самопознания. Я не произнес ни слова, пока он рассуждал о том, что ему делать, когда закончится «это дурацкое следствие».

Видимо, он разделял презрительное мнение Брайерли об этой процедуре, предписанной законом. Он не знал, куда деваться, и сообщил об этом, скорее размышляя вслух, чем разговаривая со мной. Свидетельство отберут, карьера кончена, нет денег, чтобы уехать, никакого места не предвидится. На родине, пожалуй, можно было бы что-нибудь получить, — иными словами, следовало обратиться к родным за помощью, а этого он не хотел. Ему ничего не оставалось, как поступить простым матросом; пожалуй, ему удалось бы получить место рулевого старшины на каком-нибудь пароходе. Он может быть рулевым.

— Думаете — могли бы? — безжалостно спросил я.

Он вскочил и, подойдя к каменной балюстраде, посмотрел в ночь. Через секунду вернулся и остановился передо мной; его юношеское лицо было еще омрачено болью, порожденной эмоцией, которую он задушил. Он прекрасно понимал, что я не сомневаюсь в его способности стоять у штурвала. Слегка дрожащим голосом он спросил

меня — почему я это сказал? Я был «так добр» к нему. Я даже не посмеялся над ним, когда… тут он запнулся… «когда произошло это недоразумение… и я свалял такого дурака».

Я перебил его и с жаром заявил, что мне это недоразумение отнюдь не показалось смешным. Он сел и, задумчиво потягивая кофе, выпил маленькую чашечку до дна.

— Но я ни на секунду не допускаю мысли, что эта кличка мне подходит, — отчетливо сказал он.

— Да? — спросил я.

— Да, — подтвердил он спокойно и решительно. — А вы знаете, что сделали бы вы? Знаете? И ведь вы не считаете себя… — тут он что-то проглотил, — …не считаете себя трус… трусливой тварью?

И тут он — клянусь честью — вопросительно посмотрел на меня. Очевидно, то был вопрос — вопрос bona fide[8]. Однако ответа он не ждал. Раньше чем я успел опомниться, он снова заговорил, глядя прямо перед собой, словно читая письмена, начертанные на лике ночи.

— Все дело в том, чтобы быть готовым. А я не

---

[8] Примечания: 8
Вполне искренно *(лат.)*.

был готов… тогда. Я не хочу оправдываться, но мне хотелось бы объяснить… чтобы кто-нибудь понял… кто-нибудь… хоть один человек! Вы! Почему бы не вы!

Это было торжественно и чуточку смешно: так бывает всегда, когда человек мучительно пытается спасти свое представление о том, каков должен быть его моральный облик. Это представление условно — одно из правил игры, не больше, — и, однако, оно имеет великое значение, ибо притязает на неограниченную власть над природными инстинктами и жестоко карает падение.

Он начал свой рассказ довольно спокойно. На борту парохода компании «Дейл лайн», который подобрал этих четверых, плывших в шлюпке под мягкими лучами заходящего солнца, на них с первого же дня стали смотреть косо. Толстый шкипер рассказал какую-то историю, остальные молчали, и поначалу его версия была принята. Не станете же вы подвергать перекрестному допросу людей, потерпевших крушение, которых вам посчастливилось спасти если не от мучительной смерти, то, во всяком случае, от жестоких мучений. Потом, когда уже было время подумать, капитану и помощникам «Эвонделя», должно быть, пришло в голову, что в этой истории есть

что-то неладное; но свои сомнения они, конечно, оставили при себе. Они подобрали капитана, штурмана и двух механиков с затонувшего парохода «Патна», и этого с них было достаточно. Я не спросил Джима, как он себя чувствовал в течение тех десяти дней, какие провел на борту «Эвонделя». Судя по тому, как он рассказывал, я свободно мог заключить, что он был ошеломлен сделанным открытием — открытием, лично его касавшимся, — и, несомненно, пытался его объяснить единственному человеку, который способен был оценить все потрясающее величие этого открытия. Вы должны понять, что он отнюдь не старался умалить его значение. В этом я уверен; и тут-то и коренится то, что отличало Джима от остальных. Что же касается эмоций, какие он испытал, когда сошел на берег и услыхал о непредвиденном завершении истории, в которой сыграл такую жалкую роль, — то о них он мне ничего не сказал, и это трудно себе представить.

Почувствовал ли он, что почва уходит у него из-под ног? Хотелось бы знать… Но несомненно, ему скоро удалось найти себе новую опору. Он прожил на берегу целых две недели в Доме моряка; в то время там жили еще шесть или семь человек, и от них я кое-что слыхал о нем. Их мне-

ние сводилось к тому, что, не говоря о прочих его недостатках, он был угрюмой скотиной. Целые дни он проводил на веранде, лежа на шезлонге и покидая свое убежище только в часы еды или поздно вечером, когда отправлялся бродить по набережной, в полном одиночестве, оторванный ото всех, нерешительный и молчаливый, словно бездомный призрак.

— Кажется, я за все это время ни единой живой душе не сказал и двух слов, — заметил он, и мне стало его очень жаль; тотчас же он добавил: — Один из тех парней непременно выпалил бы что-нибудь такое, с чем я бы не мог примириться, а ссоры я не хотел. Да! Тогда не хотел. Я был слишком… слишком… Мне было не до ссор.

— Значит, та переборка в трюме все-таки выдержала, — бодро сказал я.

— Да, — прошептал он, — выдержала. И однако, я могу вам поклясться, что чувствовал, как она выпячивается под моей рукой.

— Удивительно, какой сильный напор может иногда выдержать старое железо, — сказал я.

Откинувшись на спинку стула, вытянув ноги и свесив руки, он несколько раз кивнул головой. Трудно представить себе более грустное зрелище. Вдруг он поднял голову, выпрямился, хлопнул

себя по бедру.

— Ах, какой случай упущен! Боже мой! Какой случай упущен! — воскликнул он, и это последнее слово «упущен» прозвучало словно крик, исторгнутый болью.

Он снова замолчал и уставился в пространство, жадно призывая этот упущенный случай отличиться; на секунду ноздри его раздулись, словно он втягивал пьянящий аромат этой неиспользованной возможности. Если вы думаете, что я был удивлен или шокирован, вы очень ко мне несправедливы. Ах, это был парень, наделенный фантазией! Его взгляд уходил в ночь, и по его глазам я видел, что он стремительно рвется вперед, туда — в фантастическое царство безрассудного героизма. Ему некогда было сожалеть о том, что он потерял, — слишком он был озабочен тем, что ему не удалось получить. Он был очень далеко от меня, сидевшего на расстоянии трех футов. С каждой секундой он все глубже уходил в мир несбыточных романтических достижений. Наконец он проник в самое его сердце! Странное блаженство осветило его лицо, глаза сверкнули при свете свечи, горевшей между нами; он улыбнулся! Он проник в самое сердце — в самое сердце. То была улыбка экстаза — мы с вами,

друзья мои, никогда не будем так улыбаться. Я вернул его на землю словами:

— Если б вы не покинули судна… Вы это хотели сказать?

Он повернулся ко мне, и взгляд его был растерянный, полный муки, лицо недоуменное, испуганное, страдальческое, словно он упал со звезды. Ни вы, ни я ни на кого не будем так глядеть. Он сильно вздрогнул, как будто холодный палец коснулся его сердца. Потом вздохнул.

Я не был в милостивом настроении. Он провоцировал меня своими противоречивыми признаниями.

— Печально, что вы не знали раньше! — сказал я с недобрым намерением. Но вероломная стрела упала, не причинив вреда, — упала к его ногам, не достигнув цели, а он не подумал о том, чтобы ее поднять. Быть может, даже и не видал ее. Развалившись на стуле, он сказал:

— Черт возьми! Говорю вам, она выпячивалась. Я проводил фонарем вдоль паза, там, внизу, когда кусок ржавчины, величиной с мою ладонь, упал с переборки. — Он провел рукой по лбу. — Переборка дрожала и шаталась, словно что-то живое, когда я смотрел на нее.

— И тут вы почувствовали себя скверно, — за-

метил я вскользь.

— Неужели вы полагаете, — сказал он, — что я думал о себе, когда за моей спиной спали крепким сном сто шестьдесят человек — на носу, в межпалубном помещении? А на корме их было еще больше… и на палубе… спали, ни о чем не подозревая… людей было втрое больше, чем могло уместиться на шлюпках, даже если б и было время спустить их. Я ждал, что железная переборка на моих глазах прорвется и поток воды зальет их, спящих… Что было мне делать, что?

Я легко могу представить себе, как он стоял во мраке, а свет круглого фонаря падал на часть переборки, которая выдерживала тяжесть всего океана, и слышалось дыхание спящих людей. Я видел, как он смотрел на железную стену, испуганный падающими кусками ржавчины, придавленный знамением неминуемой смерти. Это было, как я понял, тогда, когда его вторично послал на нос шкипер, желавший, вероятно, удалить его с мостика. Джим сказал мне, что первым его побуждением было крикнуть и, разбудив всех этих людей, сразу повергнуть их в ужас, но сознание своей беспомощности так его ошеломило, что он не в силах был издать ни единого звука. Вот что, должно быть, подразумевается под словами:

«язык прилип к гортани».

«Во рту все пересохло», — так описал Джим это состояние. Молча выбрался он на палубу через люк номер первый. Виндзейль[9], свалившийся вниз, случайно задел его по лицу, и от легкого прикосновения парусины он едва не слетел с трапа.

Джим признался, что ноги у него подкашивались, когда он вышел на фордек и поглядел на спящую толпу. К тому времени остановили машины и стали выпускать пар. От этого глухого рокота ночь вибрировала, словно басовая струна. Судно отвечало дрожью.

Кое-где голова приподнималась с циновки, смутно вырисовывалась фигура сидящего человека, он сонно прислушивался, потом снова ложился среди нагроможденных ящиков, паровых воротов, вентиляторов. Джим знал: все эти люди были недостаточно осведомлены, чтобы понять значение странного шума. Железное судно, люди с белыми лицами, все предметы, все звуки — все на борту казалось этой невежественной и благочестивой толпе одинаково странным и столь же надежным, как и непонятным. Ему

---

[9] Примечания: 9

Виндзейль — парусиновый рукав, через который очищается воздух внутри судна.

пришло в голову, что это обстоятельство можно назвать счастливым. Такая мысль была поистине ужасна.

Не забудьте: он верил — как верил бы всякий на его месте, — что судно должно затонуть с минуты на минуту; выпятившаяся, изъеденная ржавчиной переборка, которая противостояла напору океана, должна была рухнуть — внезапно, как минированная дамба, — и впустить поток воды. Он стоял неподвижно, глядя на эти распростертые тела, — обреченный человек, знающий свою судьбу и созерцающий молчаливое сборище мертвецов. Они были мертвы! Ничто не могло их спасти. В шлюпках едва ли разместилась бы половина, но и для этого не было времени. Не было времени! Бессмысленным казалось разжать губы, пошевельнуть рукой или ногой. Раньше, чем он успеет выкрикнуть три слова или сделать три шага, он уже будет барахтаться в море, которое покроется пеной от отчаянных усилий тонущих людей, огласится воплями о помощи. Помощи быть не могло. Он прекрасно представлял себе, что именно произойдет; он пережил это, неподвижно стоя с фонарем в руке возле люка, — пережил все, вплоть до самой последней мучительной детали. Думаю, он переживал это

вторично, когда рассказывал мне то, о чем не мог говорить в суде.

— Я видел ясно — так же, как вижу сейчас вас, — что делать мне нечего. Жизнь как будто ушла от меня. Я мог бы стоять на месте и ждать. Я не думал, что у меня оставалось еще много секунд…

Вдруг пар перестал выходить. Шум, по словам Джима, тревожил, но эта внезапная тишина показалась невыносимо гнетущей.

— Я думал, что задохнусь раньше, чем утону, — сказал он. Потом добавил, что не думал о своем спасении. В его мозгу всплывала, исчезала и снова всплывала только одна отчетливая мысль: восемьсот человек и семь шлюпок… восемьсот человек и семь шлюпок.

— Словно чей-то голос нашептывал мне, — взволнованно проговорил он, — восемьсот человек и семь шлюпок… и нет времени! Вы только подумайте!

Он наклонился ко мне через маленький столик, а я попытался избежать его взгляда.

— Вы думаете, я боялся смерти? — спросил он голосом очень напряженным и тихим. Он ударил ладонью по столу, и от этого удара запрыгали кофейные чашки. — Я готов поклясться, что не боялся — нет… Клянусь богом, нет! — Он выпря-

мился и скрестил на груди руки; подбородок его опустился на грудь.

Через высокие окна слабо доносился до нас стук посуды. Раздались громкие голоса, и на галерею вышли несколько человек в прекраснейшем настроении. Они обменивались шутками, вспоминая катание на ослах в Каире. Бледный, боязливый, мягко ступавший на длинных ногах юноша разговаривал с краснолицым чванным путешественником, который высмеивал его покупки, сделанные на базаре.

— Нет, вы в самом деле думаете, что я был так испуган? — осведомился Джим очень серьезно и решительно.

Компания, отойдя дальше, размещалась за столиками; вспыхивали спички, на секунду освещая невыразительные лица и тусклый блеск белых манишек; жужжание разговаривающих людей, разгоряченных после обеда, казалось мне нелепым и бесконечно далеким.

— Несколько человек из команды спали на люке номер первый, в двух шагах от меня, — снова заговорил Джим.

Заметьте, что на этом судне на вахте стояли калаши, команда спала всю ночь, и будили только тех, кто сменял дозорных. Джим почувствовал ис-

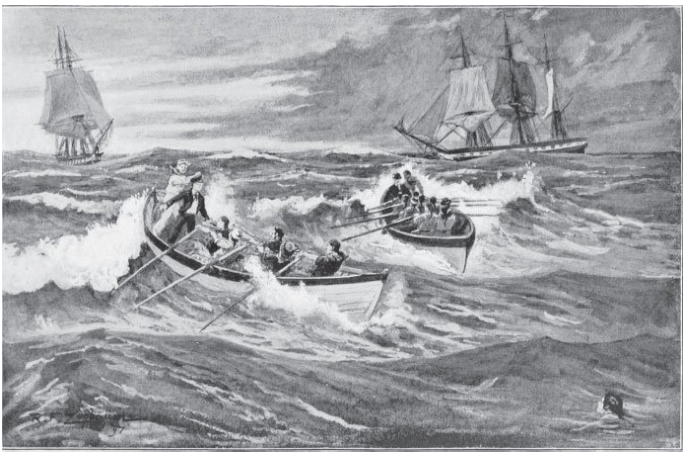
кушение схватить за плечо ближайшего матроса и растолкать его, но не сделал этого. Что-то удержало его руку. Он не боялся, — о нет! — просто он не мог — вот и все. Быть может, он не боялся смерти, но, говорю вам, его пугала паника. Его проклятая фантазия рисовала ужасное зрелище — панику, стремительное бегство, раздирающие вопли, перевернутые шлюпки, — все самые страшные картины катастрофы на море, о каких он когда-либо слышал. Примириться со смертью он мог, но подозреваю, что он хотел умереть, не видя кошмарных сцен, — умереть спокойно, как бы в трансе. Известная готовность умереть наблюдается довольно часто, но редко встретите вы человека, облеченного в стальную непроницаемую броню решимости, который будет вести безнадежную борьбу до последней минуты: тяга к покою усиливается по мере того, как тает надежда, и побеждает наконец даже желание жить. Кто из нас не наблюдал такого явления? Быть может, вы сами испытали нечто подобное этому чувству — крайнюю усталость, сознание тщеты всяких усилий, страстную жажду покоя. Это хорошо известно тем, кто борется с безрассудными силами: потерпевшим кораблекрушение и плывущим в шлюпках, путешественникам,

заблудившимся в пустыне, людям, сражающимся с силами природы или тупым зверством толпы.

Глава VIII

Сколько времени стоял он неподвижно у люка, ожидая с секунды на секунду, что судно опустится под его ногами и поток воды ударит ему в спину и унесет, как щепку, — я не знаю. Не очень долго — быть может, две минуты. Двое — он не мог их разглядеть — стали переговариваться сонными голосами, где-то послышалось шарканье ног. А над этими слабыми звуками нависла та страшная тишина, какая предшествует катастрофе, — тягостное затишье перед ударом. Тут ему пришло в голову, что, пожалуй, он успеет взбежать наверх и перерезать все талрепы, чтобы шлюпки не затонули, когда судно пойдет ко дну.

На «Патне» был длинный мостик, и все шлюпки находились наверху — четыре с одной стороны и три с другой, — самые маленькие на левом борту, против штурвала. Джим говорил с беспокойством, боясь, что я ему не поверю: больше всего он заботился о том, чтобы в нужный момент шлюпки были наготове. Свой долг он знал и в этом смысле, полагаю, был хорошим штурманом.



— Я всегда считал, что нужно быть готовым к худшему, — пояснил он, тревожно вглядываясь в мое лицо.

Я кивком одобрил этот здравый принцип и отвернулся, чтобы не встречаться взглядом с человеком, в котором чудилось мне что-то ненадежное.

Он бросился бегом, колени у него подгибались.

Ему приходилось переступать через чьи-то ноги, обходить чьи-то головы. Вдруг кто-то схватил его снизу за куртку, подле него раздался измученный голос. Свет фонаря, который он держал в правой руке, упал на темное лицо, обращенное к нему, глаза молили так же, как и голос. Джим достаточно усвоил язык, чтобы понять слово «вода», это слово было сказано несколько раз тоном настойчивым, умоляющим — почти с отчаянием. Он рванулся, чтобы высвободиться, и почувствовал, как рука обхватила его ногу.

— Бедняга цеплялся за меня, словно утопающий, — выразительно сказал Джим. — Вода, вода! О какой воде он говорил? Что ему было известно? Стараясь говорить спокойно, я приказал ему отпустить меня. Он меня задерживал, время не ждало, люди кругом начинали шевелиться. Мне нужно было время — время, чтобы перерезать канаты шлюпок. Теперь он завладел моей рукой, и я чувствовал, что он вот-вот заорет. У меня мелькнула мысль, что этого будет достаточно, чтобы вызвать панику, и я размахнулся свободной рукой и ударил его фонарем по лицу. Стекло зазвенело, свет погас, но удар заставил его выпустить меня, и я пустился бежать — я хотел добраться до шлюпок… я хотел добраться до шлюпок. Он прыгнул

на меня сзади. Я повернулся к нему. Нельзя было заткнуть ему глотку; он пытался кричать. Я чуть не задушил его раньше, чем понял, чего он хочет. Он просил воды — воды напиться; видите ли, они были на строгом рационе, а с ним был мальчик, которого я несколько раз видел. Ребенок был болен — хотел пить. Отец, заметив меня, когда я проходил мимо, попросил воды: вот и все. Мы находились под мостиком, в темноте. Он все цеплялся за мои руки, невозможно было от него отделаться. Я бросился в каюту, схватил свою бутылку с водой и сунул ему в руки. Он исчез. Тут только я понял, как мне самому хочется пить.

Он оперся на локоть и прикрыл глаза рукой.

Я почувствовал, как мурашки забегали у меня по спине; что-то странное было во всем этом. Пальцы его руки, прикрывавшей глаза, чуть-чуть дрожали. Он прервал короткое молчание.

— Такое случается лишь раз в жизни и… ну ладно! Когда я добрался до мостика, негодяи спускали одну из шлюпок с блоков. Шлюпку! Когда я взбегал по трапу, кто-то тяжело ударил меня по плечу, едва не задев голову. Это меня не остановило, и старший механик — к тому времени они подняли его с койки — снова замахнулся упоркой для ног со шлюпки. Почему-то я был

так настроен, что ничему не удивлялся. Все это казалось вполне естественным — и ужасным… ужасным. Я увернулся от несчастного маньяка и поднял его над палубой, словно он был малым ребенком, а он зашептал, пока я держал его на руках: «Не надо! Не надо! Я вас принял за одного из этих чернокожих…»

Я отшвырнул его, он покатился по мостику и сбил с ног того маленького парнишку — второго механика. Шкипер, возившийся у шлюпки, оглянулся и направился ко мне, опустив голову и ворча, словно дикий зверь. Я не шевельнулся и стоял, как каменный. Я стоял так же неподвижно, как эта стена.

Он легонько ударил суставом пальца по стене у своего стула.

— Было так, словно все это я уже видел, слышал, пережил раз двадцать. Я их не боялся. Я оттянул назад кулак, а он остановился, бормоча: «А, это вы! Помогите нам. Живее!»

Вот все, что он сказал. Живее! Словно можно было успеть!

«Вы хотите что-то сделать?» — спросил я.

«Да. Убраться отсюда», — огрызнулся он через плечо.

Кажется, тогда я не понял, что именно он имел

в виду. К тому времени те двое поднялись на ноги и вместе бросились к шлюпке. Они топтались, пыхтели, толкали, проклинали шлюпку, судно, друг друга, проклинали меня. Вполголоса. Я не шевелился, молчал. Я смотрел, как накреняется судно. Оно лежало совершенно неподвижно, словно на блоках, в сухом доке, — но держалось оно вот так.

Он поднял руку ладонью вниз и согнул пальцы.

— Вот так, — повторил он. — Я ясно видел перед собой линию горизонта, над верхушкой форштевня; я видел воду там, вдали, черную, и сверкающую, и неподвижную, словно в заводи; таким неподвижным море никогда еще не бывало, и я не мог это вынести. Видали ли вы когда-нибудь судно, плывущее с опущенным носом? Судно, которое держится на воде лишь благодаря листу старого железа, слишком ржавого, чтобы можно было его подпереть? Видали? О да — подпереть! Я об этом подумал — я подумал решительно обо всем: но можете вы подпереть за пять минут переборку… или хотя бы за пятьдесят минут? Где мне было достать людей, которые согласились бы спуститься туда, вниз? А дерево, дерево! Хватило бы у вас мужества ударить хоть

раз молотком, если бы вы видели эту переборку? Не говорите, что вы бы это сделали, — вы ее не видели; никто бы не сделал. Черт возьми! Чтобы сделать такую штуку, вы должны верить, что есть хоть один шанс на тысячу, хотя бы призрачный; а вы не могли бы поверить. Никто бы не поверил. Вы думаете, я трус, потому что стоял там, ничего не делая, но что сделали бы вы? Что? Вы не можете сказать, никто не может. Нужно иметь время, чтобы оглядеться. Что, по-вашему, я должен был делать? Что толку было пугать до смерти всех этих людей, которых я один не мог спасти — которых ничто не могло спасти? Слушайте! Это так же верно, как то, что я сижу здесь перед вами…

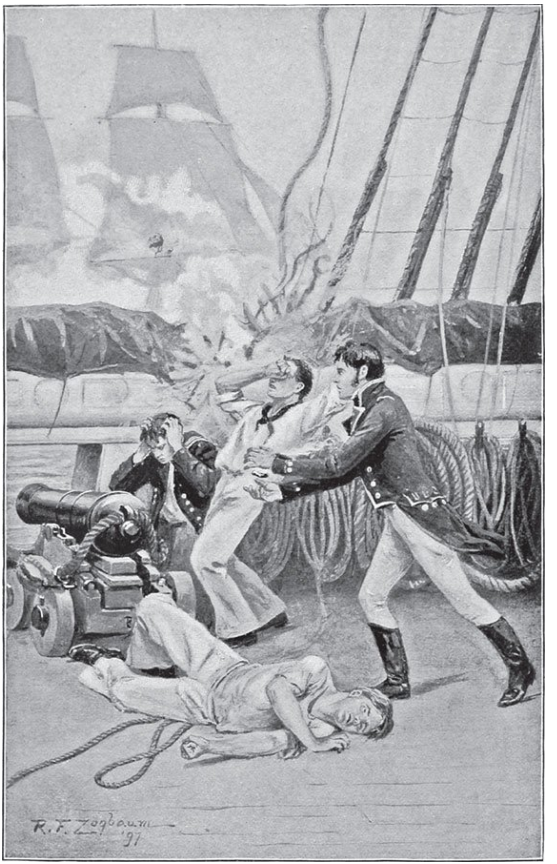
После каждого слова он быстро переводил дыхание и взглядывал на меня, словно в тревоге своей не переставал наблюдать за моими впечатлениями. Не ко мне он обращался — он лишь разговаривал в моем присутствии, вел диспут с невидимым лицом, враждебным и неразлучным спутником его жизни — совладельцем его души. То было следствие, которое не судьям вести! То был тонкий и важный спор об истинной сущности жизни, и присутствие судьи было излишне. Джим нуждался в союзнике, помощнике, соучастнике. Я почувствовал, какому риску

себя подвергаю: он мог меня обойти, ослепить, обмануть, запугать, быть может, чтобы я сказал решающее слово в диспуте, где никакое решение невозможно, если хочешь быть честным по отношению ко всем призракам — как почтенным, имеющим свои права, так и постыдным, предъявляющим свои требования. Я не могу объяснить вам, не видавшим его и лишь слушающим его слова от третьего лица, — не могу объяснить смятение своих чувств. Казалось, меня вынуждали понять непостижимое, и я не знаю, с чем сравнить неловкость такого ощущения. Меня заставляли видеть условность всякой правды и искренность всякой лжи. Он апеллировал сразу к двум лицам — к лицу, которое всегда обращено к дневному свету, и к тому лицу, какое у всех нас — подобно другому полушарию луны — обращено к вечной тьме и лишь изредка видит пугающий пепельный свет. Он заставлял меня колебаться. Я признаюсь в этом, каюсь. Случай был незначительный, если хотите: погибший юноша, один из миллиона, — но ведь он был одним из нас; инцидент, лишенный всякого значения, подобно наводнению в муравейнике, и тем не менее тайна его поведения приковала меня, словно он был представителем своей породы, словно темная

истина была настолько важной, что могла повлиять на представление человечества о самом себе.

Марлоу приостановился, чтобы разжечь потухающую сигару, и, казалось, позабыл о своем рассказе; потом неожиданно заговорил снова.

— Конечно, моя вина! Действительно, не мое дело было интересоваться. Это моя слабость. А его слабость была иного порядка. Моя же заключается в том, что я не вижу случайного, внешнего, — не признаю различия между мешком тряпичника и тонким бельем первого встречного. Первый встречный! Вот именно! Я видел стольких людей! — с грустью сказал он. — С иными я… ну, скажем, соприкасался — все равно как с этим парнем, — и всякий раз я видел перед собой лишь человеческое существо. У меня проклятое демократическое зрение; быть может, оно лучше, чем полная слепота, но никакой выгоды от этого нет — могу вас уверить. Люди хотят, чтобы принимали во внимание их тонкое белье. Но я никогда не мог с восторгом относиться к таким вещам. О, это — ошибка; это — ошибка! А потом, в тихий вечер, когда компания слишком разленилась, чтобы играть в вист, приходит время и для рассказа…


R. F. Zogbaum
'91

Марлоу снова умолк, быть может ожидая ободряющего замечания, но все молчали, только хозяин, как бы с неохотой выполняя долг, прошептал:

— Вы так утонченны, Марлоу.

— Кто? Я? — тихо сказал Марлоу. — О нет! Но он — Джим — был утончен; и как бы я ни старался получше рассказать эту историю, я все равно пропускаю множество оттенков — они так тонки, так трудно передать их бесцветными словами. А он осложнял дело еще и тем, что был так прост, бедняга!.. Ей-богу, он был удивительным парнем. Он говорил мне: ничто бы его не испугало, «это так же верно, как и то, что он сидит передо мной». И ведь он в это верил! Говорю вам, это было чудовищно наивно… и… ошеломляло! Я наблюдал за ним исподтишка, словно заподозрил его в намерении меня взбесить. Он был уверен, что, по чести, — заметьте, «по чести»! — ничто не могло его испугать. Еще с тех пор, как он был «вот таким» — «совсем мальчишкой», — он готовился ко всяким трудностям, с какими можно встретиться на суше и на море. Он с гордостью признавался в своей предусмотрительности. Он измышлял все возможные опасности и способы обороны, ожидая худшего, готовясь ко всему. Должно быть,

он всегда пребывал в состоянии экзальтации. Можете вы это себе представить? Ряд приключений, столько славы, такое победное шествие! И каждый день своей жизни венчал он глубоким сознанием собственной своей проницательности. Он забылся; глаза его сияли; и с каждым его словом мое сердце, опаленное его нелепостью, все сильнее сжималось. Мне было не до смеха, а чтобы не улыбнуться, я сидел с каменным лицом. Он стал проявлять все признаки раздражения.

— Всегда случается неожиданное, — сказал я примирительным тоном. Моя тупость вызвала у него презрительное восклицание: «Ха!» Полагаю, он хотел этим сказать, что неожиданное не могло его затронуть; одно непостижимое могло одержать верх над его подготовленностью. Он был застигнут врасплох и шепотом проклинал море и небо, судно и людей. «Все его предали!» Им овладела та высокомерная покорность, которая мешала ему пошевельнуть мизинцем, в то время как остальные трое, отчетливо уяснившие себе требования данной минуты, в отчаянии толкались и потели над шлюпкой. Что-то у них там не ладилось. Очевидно, второпях они как-то ухитрились защемить болт переднего блока шлюпки и, поняв, чем грозит им оплошность, окончательно

лишились рассудка. Должно быть, славное это было зрелище: бешеные усилия этих негодяев, которые копошились на неподвижном судне, застывшем в молчании спящего мира, боролись за освобождение шлюпки, ползали на четвереньках, вскакивали в отчаянии, толкали, ядовито огрызались друг на друга — на грани убийства, на грани слез, готовы были вцепиться друг другу в горло, а удерживал их только страх смерти, которая молча стояла за ними, словно непоколебимый и хладнокровный надсмотрщик. О да! Зрелище было недурное. Он видел это все, мог говорить об этом с презрением и горечью; мельчайшие детали он воспринял каким-то шестым чувством, ибо клялся мне, что стоял в стороне и не смотрел ни на них, ни на шлюпку, — не бросил ни единого взгляда. И я ему верю. Думаю, он был слишком поглощен созерцанием грозно накренившегося судна, угрозой, возникшей в момент полной безопасности, — был зачарован мечом, висящим на волоске над его головой фантазера.

Весь мир застыл перед его глазами, и он легко мог себе представить, как взметнется вверх темная линия горизонта, поднимется внезапно широкая равнина моря — быстрый, спокойный подъем, зверский бросок, зияющая бездна, борьба

без надежды, звездный свет, навеки смыкающийся над головой, как свод склепа, — как восстает против этого юность! — и… конец во тьме. Он мог это себе представить! Клянусь, всякий бы мог! И не забудьте — он был законченным художником в этой области, одаренным способностью быстро вызывать видения, предшествующие событиям. И картина, какую он вызвал, превратила его в холодный камень; но в мозгу его мысли кружились в дикой пляске, пляске хромых, слепых, немых мыслей — вихрь страшных калек. Говорю вам, он исповедовался мне, словно я наделен был властью отпускать и вязать. Он забирался вглубь души, надеясь получить от меня отпущение, которое не принесло бы ему никакой пользы. То был один из тех случаев, когда самый святой обман не даст облегчения, ни один человек не может помочь и даже творец покидает грешника на произвол судьбы.

Он стоял на штирборте мостика, отойдя подальше от того места, где шла борьба за шлюпку. А борьбу вели с безумным возбуждением и втихомолку, словно заговорщики. Два малайца попрежнему сжимали спицы штурвала. Вы только представьте себе действующих лиц в этом, слава богу, необычном эпизоде на море, — представьте

себе этих четверых, обезумевших от яростных и тайных усилий, и тех троих, неподвижных зрителей; они стояли на мостике, над тентом, скрывающим глубокое неведение нескольких сотен усталых человеческих существ с их грезами и надеждами, задержанных невидимой рукой на грани гибели. Ибо я не сомневаюсь, что так оно и было: принимая во внимание состояние судна, нельзя себе представить большей опасности. Те негодяи у шлюпки недаром обезумели от страха. Откровенно говоря, будь я там, я бы не дал и фальшивого фартинга за то, что судно продержится до конца следующей секунды. И все-таки оно держалось на воде! Эти спящие паломники обречены были завершить свое паломничество и изведать горечь какого-то иного конца. Казалось, всемогущий, в чье милосердие они верили, нуждался в их смиренном свидетельстве на земле и, глянув вниз, повелел океану: «Не тронь их!» Это спасение я счел бы загадочным и необъяснимым явлением, если б не знал, как крепко может быть старое железо, — не менее крепко, чем дух иных людей, с какими нам иногда приходится встречаться, — людей, исхудавших, как тени, и несущих на своих плечах груз жизни. Не менее удивительно, на мой взгляд, и поведение двух рулевых в течение

этих двадцати минут. Их привезли из Адена вместе с прочими туземцами дать показания на суде. Один из них, страшно застенчивый, с желтой веселой физиономией, был очень молод, а выглядел еще моложе. Помню, как Брайерли спросил его через переводчика, о чем он в то время думал, а переводчик, обменявшись с ним несколькими словами, внушительно заявил:

— Он говорит, что ни о чем не думал.

У другого были терпеливые мигающие глаза, а его косматую седую голову украшал красиво обернутый синий бумажный платок, полинявший от стирки; лицо у него было худое, с запавшими щеками; его коричневая кожа от сети морщин казалась еще темнее. Он объяснял, что подозревал о какой-то беде, постигшей судно, но никакого приказания не получал; он не помнит, чтобы ему отдавали какое-нибудь приказание; зачем же ему было бросать штурвал? Отвечая на следующие вопросы, он передернул тощими плечами и заявил: тогда ему и в голову не приходило, что белые собираются покинуть судно, боясь смерти. Он и теперь этому не верит. Могли быть какие-нибудь тайные причины. Он глубокомысленно замотал своей старой головой. Ага! Тайные причины. Он был человек с большим опытом и желал, чтобы

этот белый тюан знал — тут он повернулся в сторону Брайерли, который не поднял головы, — знал, что он приобрел большие знания на службе у белых людей; много лет он служил на море. И вдруг, дрожа от возбуждения, он излил на нас — зачарованных слушателей — поток странно звучащих имен; то были имена давно умерших шкиперов, названия забытых местных судов — звуки знакомые и искаженные, словно рука немого времени стирала их в течение нескольких веков. Наконец его прервали. Спустилось молчание — молчание, длившееся по крайней мере минуту и мягко перешедшее в тихий шепот. Этот эпизод явился сенсацией второго дня следствия, затронув всю аудиторию, затронув всех, кроме Джима, который угрюмо сидел с краю на первой скамье и даже не поднял головы, чтобы взглянуть на этого необыкновенного и пагубного свидетеля, казалось овладевшего какой-то таинственной теорией защиты.

Итак, эти два матроса остались у штурвала судна, остановившегося на своем пути; здесь и настигла бы их смерть, если бы так было им суждено. Белые не подарили их ни единым взглядом — быть может, забыли об их существовании. Во всяком случае, Джим о них не вспомнил. Он

ничего не мог сделать теперь, когда был один. И делать было нечего; оставалось лишь затонуть вместе с судном. Не стоило поднимать из-за этого суматохи. Не так ли? Он ждал, выпрямившись, молчаливый; его поддерживала вера в героическую рассудительность. Старший механик осторожно перебежал мостик и дернул Джима за рукав.

— Помогите же! Ради бога, идите помогите!

Затем на цыпочках побежал к шлюпке, но тотчас же вернулся и снова уцепился за его рукав, умоляя и в то же время ругаясь.

— Кажется, он готов был целовать мне руки, — злобно сказал Джим, — а через секунду он зашептал с пеной у рта: «Будь у меня время, я бы с удовольствием проломил вам череп».

Я оттолкнул его. Вдруг он обхватил меня за шею. Черт бы его побрал! Я его ударил. Ударил, не глядя. Тогда он, всхлипывая, взмолился: «Не хочешь, что ли, себя самого спасти, проклятый ты трус!»

Трус! Он меня назвал проклятым трусом! Ха-ха-ха! Он меня назвал… ха-ха-ха!..

Джим откинулся на спинку стула и весь трясся от смеха. Никогда я не слыхал такого горького смеха. Он упал, словно зловещий туман, на все

эти веселые разговоры об ослах, пирамидах, базарах... Затихли голоса людей, беседовавших на длинной, тускло освещенной галерее, бледные пятна лиц одновременно повернулись в нашу сторону, наступило такое глубокое молчание, что звон чайной ложки, упавшей на мозаичный пол веранды, прозвучал тонким серебристым воплем.

— Нельзя так смеяться при всех этих людях, — упрекнул его я. — Это, знаете ли, не годится.

Он как будто меня не слышал, но потом поднял глаза и, пристально глядя мимо меня, словно всматриваясь в страшное видение, пробормотал небрежно:

— О, они подумают, что я пьян.

Затем он принял такой вид, как будто никогда больше не произнесет ни слова. Но не тут-то было! Он уже не мог остановиться, как не мог оборвать жизнь одним напряжением воли.

Глава IX

— Я говорил мысленно: «Тони же, проклятое! Ступай ко дну!»

Этими словами он продолжил свой рассказ. Он хотел, чтобы все было кончено. Он остался совершенно один и, проклиная, взывал в то же время к судну, — насколько я могу судить, он наслаждался привилегией быть свидетелем жалкой комедии. Те все еще возились у болта. Шкипер отдал приказание:

— Подлезьте и постарайтесь поднять.

Остальные, естественно, противились. Вы понимаете, лежать, распластавшись под килем шлюпки, — положение не из приятных, если судно в эту минуту внезапно пойдет ко дну.

— Почему вы не лезете? Ведь вы самый сильный! — захныкал маленький механик.

— Проклятие! Я слишком толст, — в отчаянии буркнул шкипер.

Зрелище было такое забавное, что ангелы могли заплакать. Секунду они стояли растерянные, и вдруг старший механик снова обратился к Джиму:

— Помогите же, старина! С ума вы, что ли,

сошли? Ведь это же единственный шанс на спасение! Помогите! Посмотрите, посмотрите туда!

И наконец Джим посмотрел в сторону кормы, куда с настойчивостью маньяка показывал механик. Он увидел грозную черную тучу, уже поглотившую одну треть неба. Вы знаете, как налетают такие шквалы в это время года. Сначала вы видите, как темнеет горизонт, — и только; потом поднимается облако, плотное, как стена. Прямой край облака, обрамленный слабыми беловатыми отблесками, надвигается с юго-запада, поглощая звезды — одно созвездие за другим; тень его плывет над водой, и море и небо обволакиваются мраком. И все тихо. Ни грома, ни ветра, ни звука, ни вспышки молнии. Затем во мраке вселенной встает сине-багровая арка; проходят одна-две волны — кажется, будто мрак вздымается валами, — и вдруг налетают ветер и дождь, ударяют с такой силой, словно прорвались через что-то твердое. Такая туча и надвинулась, пока они не смотрели на небо. Они только что ее заметили и сделали совершенно правильный вывод: если при полном затишье у судна есть кое-какие шансы продержаться еще несколько минут на воде, то малейшее волнение тотчас же приведет к концу. Первая встреча с волной, предшеству-

ющей шквалу, будет и последней; судно нырнет и будет опускаться все ниже, ниже, до самого дна. Вот чем объяснялись эти новые судороги страха, новые корчи, в которых выражали они свое крайнее отвращение к смерти.

— Было черным-черно, — продолжал Джим с угрюмым упорством. — Туча подползла к нам сзади. Проклятая! Должно быть, где-то еще копошилась во мне надежда. Не знаю. Но теперь с этим было покончено. Меня бесило, что я так попался. Я злился, словно меня поймали в западню. Да так оно и было! И ночь, помню, была жаркая. Ни малейшего ветерка.

Он помнил это так хорошо, что, сидя передо мной на стуле, казалось, задыхался и обливался потом. Несомненно, он был взбешен; то был новый удар для него, но этот удар напомнил ему о том важном деле, ради которого он бросился на мостик, чтобы тотчас же о нем позабыть. Он намеревался перерезать канаты, привязывавшие шлюпки к судну. Он выхватил нож и принялся за работу так, словно ничего не видел, ничего не слышал, никого не замечал. Они сочли его безнадежно помешанным, но не осмелились шумно выражать протест против этой бесполезной траты времени. Покончив с этим делом, он вернулся

на то самое место, где стоял раньше. Старший механик тотчас же за него ухватился и зашептал с такой злобой, словно хотел укусить его за ухо:

— Безмозглый идиот! Вы думаете, вам удастся спастись, когда вся эта орава очутится в воде? Да они вам голову прошибут и не подпустят к шлюпкам.

Он ломал руки, а Джим словно и не замечал его. Шкипер нервно топтался на одном месте и бормотал:

— Молоток! Молоток! Mein Gott![10] Принесите же молоток!

Маленький механик хныкал, как ребенок, но, хотя рука у него и была сломана, он оказался разумнее своих товарищей и, собравшись с духом, бросился в машинное отделение. По справедливости следует признать, что это было дело нешуточное. Джим сказал мне, что у механика вид был отчаянный, как у человека, загнанного в тупик; он тихонько завыл и ринулся вперед. Вернулся он тотчас же с молотком в руке и, не мешкая, бросился к болту. Остальные немедленно отступились от Джима и побежали ему помогать. Джим слышал, как постукивал молоток, слышал

---

[10] Примечания: 10
Боже мой! *(нем.)*

звук падающего болта. Шлюпка была готова к спуску. Только тогда посмотрел он в ту сторону — только тогда. Но он не двинулся с места — не двинулся с места. Он хотел втолковать мне, что он не двинулся с места, что ничего общего не было между ним и теми людьми… теми людьми с молотком. Ничего общего! Более чем вероятно, что он считал себя отделенным от них пространством, которое нельзя перейти, — препятствием непреодолимым, пропастью бездонной. Он стоял от них так далеко, как только было возможно, — на другом конце мостика.

Его ноги были прикованы к этому месту, а глаза — к этой группе людей, наклонявшихся и странно, словно в тумане, раскачивавшихся, объятых единым страхом. Ручной фонарь, подвешенный к пиллерсу над маленьким столиком на мостике, — на «Патне» не было рубки посредине, — освещал напрягавшиеся в усилии плечи, то сгибавшиеся, то разгибавшиеся спины. Они налегали на нос шлюпки; они выталкивали ее в ночь и больше уже не оглядывались в его сторону. Они отказались от него, словно он действительно был слишком далеко, безнадежно далеко от них, и не стоило бросать ему призыв, взгляд или знак. Им некогда было взирать на его пассивный

героизм, почувствовать укор, таившийся в его сдержанности. Шлюпка была тяжелая; они налегали на нос, не тратя сил на подбадривания; но ужас, развеявший их самообладание, как ветер раскидывает солому, превращал их отчаянные усилия в фарс, а их самих уподоблял кувыркающимся клоунам в цирке. Они толкали руками, головой, налегали всем телом, напрягали все свои силы, и едва им удалось столкнуть нос со шлюпбалки, как все они, как один человек, стали карабкаться в шлюпку. В результате она резко качнулась, оттолкнув их назад, беспомощных, натыкающихся друг на друга. Секунду они стояли ошеломленные, злобным шепотом обмениваясь всеми ругательствами, какие только приходили им на ум; затем снова принялись за дело. И так повторялось три раза. Джим описывал мне это угрюмо и задумчиво. Он не упустил ни единой детали комичного зрелища.

— Я проклинал их. Ненавидел. Я должен был смотреть на все это, — сказал он каким-то безразличным тоном, мрачно и пристально вглядываясь в меня. — Подвергался ли кто такому постыдному испытанию!

Он сжал голову руками, как человек, доведенный до безумия каким-то невероятным

оскорблением. Было кое-что, чего он не мог объяснить суду — и даже мне; но я был бы недостоин принимать его признания, если бы не сумел понять паузы между словами. В этом натиске на его стойкость была насмешка — злобная, порочная, мстительная; был элемент шутовской в его испытании — унизительные комичные гримасы перед лицом надвигающейся смерти или бесчестия.

Он излагал факты, которых я не забыл, но по прошествии стольких лет я не могу вспомнить подлинные его слова — помню только, что он удивительно хорошо сумел окрасить мрачной своей ненавистью перечень голых фактов. Дважды, сказал он мне, он закрывал глаза, уверенный, что конец наступает, и дважды приходилось ему снова их открывать. Каждый раз он замечал, что тьма все сгущается. Тень немого облака упала с зенита на судно и словно задушила все звуки, выдававшие присутствие живых существ. Он уже не слышал больше голосов под тентом. По его словам, всякий раз, когда он закрывал глаза, вспышка мысли ярко освещала эту груду тел, распростертых у грани смерти. Открывая глаза, он смутно видел борьбу четверых, бешено сражавшихся с упрямой шлюпкой.

— Время от времени они падали навзничь,

вскакивали, ругаясь, и вдруг снова кидались все вместе к шлюпке… Можно было хохотать до упаду, — добавил он, не поднимая глаз. Потом взглянул на меня с грустной улыбкой. — Меня ждет веселенькая жизнь! Ведь я еще много раз до самой смерти буду видеть это забавное зрелище.

Он снова опустил глаза.

— Видеть и слышать… видеть и слышать, — повторил он дважды, с большими паузами, глядя в пространство.

Он снова встрепенулся.

— Я решил не открывать глаза, — сказал он, — и не мог. Не мог, и пусть все это знают — мне все равно! Пусть это испытают те, что вздумают осуждать меня. Пусть они найдут иной, лучший выход! Вторично глаза мои раскрылись — да и рот тоже. Я почувствовал, что судно движется. Оно чуть накренилось и поднялось тихонько — медленно, ужасно медленно! Этого не было в течение многих дней. Облако пронеслось над головой, и первый вал, казалось, пробежал по свинцовому морю. В этом движении не было жизни. Однако у меня в мозгу что-то перевернулось. Что бы вы сделали? Вы уверены в себе, не так ли? Что бы вы сделали, если бы почувствовали сейчас — сию минуту, — что этот дом чуть-чуть движется, пол

качается под вашим стулом? Вы бы прыгнули. Клянусь небом, вы бы прыгнули с того места, где сидите, и очутились вон в тех кустах внизу.

Он вытянул руку в темноту за каменной балюстрадой. Я не пошевельнулся. Он смотрел на меня очень пристально, очень сурово. Двух мнений быть не могло: сейчас меня запугивали, и мне следовало сидеть неподвижно, безмолвно, чтобы не сделать рокового признания, как поступил бы я, а это признание имело бы отношение и к случаю с Джимом. Я не намерен был подвергать себя такому риску. Не забудьте — он сидел передо мной, и, право же, он слишком походил на нас, чтобы не быть опасным. Но, если хотите знать, я быстрым взглядом измерил пространство, отделявшее меня от пятна сгущенного мрака на лужайке перед верандой. Он преувеличил. Я не допрыгнул бы на несколько футов… только в этом я и был уверен.

Настал, как он думал, последний момент, но Джим не шевелился. Его ноги по-прежнему были словно пригвождены к палубе, но мысли кружились в голове. И в тот же момент он увидел, как один из тех, что толкались у шлюпки, внезапно попятился, взмахнул руками, словно ловя воздух, споткнулся и упал. Собственно, он не упал, а

тихонько опустился, принял сидячее положение и сгорбился, прислонившись спиной к светлому люку машинного отделения.

— То был кочегар. Тощий, бледный парень с растрепанными усами. Исполнял обязанности третьего механика, — пояснил Джим.

— Умер, — сказал я. Об этом шла речь на суде.

— Так говорят, — произнес Джим с мрачным равнодушием. — Конечно, я этого не знал. Слабое сердце. Он уже несколько дней жаловался, что ему не по себе. Волнение. Чрезмерное напряжение. Черт его знает что. Ха-ха-ха! Нетрудно было заметить, что ему тоже не хотелось умирать. Забавно, правда? Пусть меня пристрелят, если он не был одурачен и не навлек на себя смерти. Одурачен, вот именно! Клянусь небом, одурачен так же, как и я… Ах! Если б только он послал их к черту, когда они подняли его с койки, потому что судно тонуло. Если бы он засунул руки в карманы и обругал этих людей!

Он встал, потряс кулаком, взглянул на меня и снова сел.

— Упустил случай, да? — прошептал я.

— Почему вы не смеетесь? — сказал он. — Шутка, задуманная в преисподней. Слабое сердце!.. Иногда мне хочется, чтобы у меня было слабое

сердце.

Это меня рассердило.

— Вам хочется? — воскликнул я с глубокой иронией.

— Да! Неужели вы не можете это понять? — крикнул он.

— Не знаю, зачем вам желать больше того, что у вас есть, — сердито сказал я.

Он посмотрел на меня, ничего не понимая. Эта стрела тоже пролетела мимо мишени, а он был не из тех, что задумываются над зря потраченными стрелами. Честное слово, он решительно ничего не подозревал, с ним нужно было себя вести по-иному. Я был рад, что моя стрела пролетела мимо, — рад был, что он даже не слыхал, как я отпустил тетиву.

Конечно, в то время он не мог знать, что кочегар умер. Следующая минута — последняя, которую он провел на борту, — была заполнена событиями и ощущениями, налетавшими на него, как волны на скалу. Я умышленно пользуюсь этим сравнением, ибо, веря его рассказу, склонен думать, что он все время сохранял странную иллюзию пассивности, словно сам он не действовал, а лишь отдавался на волю тех адских сил, которые его избрали жертвой своей шутки. Первое, что он

услышал, был скрежещущий звук тяжелых шлюпбалок, которые наконец повернулись, — этот скрежет словно проник в его тело с палубы через подошвы ног и поднялся по спинному хребту к мозгу. Шквал был близок, и вторая, более высокая волна угрожающе подняла покорный кузов судна, а мозг и сердце Джима пронзили панические вопли: «Спускайте! Ради бога, спускайте! Судно тонет!»

Вслед за этим канаты побежали по блокам, а под тентом раздались испуганные голоса.

— Они подняли такой крик, что могли разбудить мертвого, — сказал Джим.

Затем, когда шлюпка с плеском буквально упала наконец на воду, послышался глухой стук падающих в нее тел и нестройные крики:

— Отцепляйте! Отцепляйте! Оттолкнитесь! Шквал надвигается…

Он услыхал высоко над своей головой слабое бормотание ветра; внизу, у его ног, прозвучал болезненный крик. Чей-то голос у борта стал проклинать гак у блока. На носу и корме судна раздалось жужжание, словно в потревоженном улье. Джим рассказывал очень спокойно — спокойны были его поза, лицо, голос, и так же спокойно он произнес без малейшего предупре-

ждения:

— Я споткнулся об его ноги…

Вот как я впервые услышал о том, что он сдвинулся с места. Невольно я что-то проворчал от удивления. Наконец он сорвался с места, но о том, когда это произошло и что вывело его из оцепенения, он знал не больше, чем знает вырванное с корнем дерево о ветре, повергшем его на землю. Все это его ошеломило — звуки, тьма, ноги мертвого человека. Клянусь богом! Вся эта дьявольская история была навязана ему, но он не хотел согласиться с тем, что принял ее сознательно. Удивительно, как заразительно действовало на вас его заблуждение. Я слушал так, словно мне рассказывали о манипуляциях черной магии над трупом.

— Он перевернулся на бок, очень тихо, и это последнее, что я видел на борту, — продолжал Джим. — Мне не было дела до того, что с ним происходит. Похоже было — он поднимается. Конечно, я думал, что он встает. И ждал — он пробежит мимо меня к поручням и прыгнет в шлюпку вслед за остальными. Я слышал, как они возились там, внизу, и чей-то голос словно из глубины шахты крикнул: «Джордж!» Затем все трое принялись вопить. Я отчетливо различал

три голоса: один блеял, другой визжал, третий выл… Ух!..

Он слегка вздрогнул, и я заметил, что он медленно приподнимается, как будто чья-то сильная рука поднимала его за волосы со стула. Медленно он встал, и, когда выпрямился во весь рост, рука словно его отпустила, и он пошатнулся. Жутко спокойным было его лицо, движения и даже голос, когда он сказал:

— Они кричали.

И невольно я насторожился, как будто пытался уловить этот призрачный крик под фальшивым покровом молчания.

— Восемьсот человек находились на борту этого судна, — сказал он, пригвождая меня к спинке стула страшным, невидящим своим взглядом. — Восемьсот живых людей, а они звали одного мертвого, хотели его спасти: «Прыгай, Джордж! Прыгай! Да прыгай же!»

Я стоял, положив руку на шлюпбалку. Я был очень спокоен. Тьма спустилась непроглядная. Не видно было ни неба, ни моря. Я слышал, как шлюпка ударялась о борт, и больше ни одного звука не доносилось оттуда, снизу, но на судне подо мной стоял гул голосов.

«Mein Gott! Шквал! Шквал! Отталкивайте

шлюпку!»

Когда раздался шум дождя и налетел первый порыв ветра, они подняли вой: «Прыгай, Джордж! Мы тебя поймаем! Прыгай!»

Судно начало медленно опускаться на волне; водопадом обрушился ливень; фуражка слетела у меня с головы; дыхание сперлось. Я услышал издалека, словно стоял на высокой башне, еще один дикий вопль: «Джо-о-ордж! Прыгай!»

Судно опускалось, опускалось под моими ногами, носом вниз…

Он задумчиво поднял руку и стал проводить пальцами по лицу, как будто снимая паутину; потом с полсекунды смотрел на свою ладонь и наконец отрывисто сказал:

— Я прыгнул… — Он запнулся. Отвел взгляд. — Кажется, прыгнул, — добавил он.

Его светлые голубые глаза смотрели на меня жалобно; глядя на него, стоящего передо мной, ошеломленного, как будто обиженного, — я испытывал странное ощущение: то была мудрая покорность и снисходительная, но глубокая жалость старика, беспомощного перед ребяческим горем.

— Похоже на то, — пробормотал я.

— Я не знал этого, пока не поднял глаз, — то-

ропливо объяснил он.

Что ж, и это было возможно. Приходилось его слушать, как слушают маленького мальчика, попавшего в беду. Он не знал. Каким-то образом это произошло. И вторично произойти не могло. Он прыгнул на кого-то и упал поперек скамьи. Ему казалось, что все ребра у него с левой стороны поломаны; потом он перевернулся на спину и увидел смутно вырисовывающееся над ним судно, с которого он только что дезертировал. Красный огонь пылал в пелене дождя, словно костер на гребне холма, окутанного туманом.

— Судно казалось высоким, выше стены. Оно вздымалось, словно утес, над шлюпкой… Я хотел умереть, — воскликнул он. — Возврата не было. Казалось, я прыгнул в колодезь — в бездонную пропасть…

Глава X

Он переплел пальцы и расцепил их. Да, то была правда: он действительно прыгнул в бездонную пропасть. Он упал с высоты, на которую больше уже не мог подняться. К тому времени шлюпка пронеслась вперед мимо борта. Было слишком темно, чтобы они могли разглядеть друг друга; кроме того, их слепил и захлестывал дождь. Он сказал мне, что их словно увлекал поток в черной пещере. Они повернулись спиной к шквалу; шкипер, видимо, опустил весло за корму, чтобы вести шлюпку перед шквалом, и в течение двух-трех минут казалось, что настал конец мира — потоп и непроглядная тьма. Море шипело, «словно двадцать тысяч котлов». Это его сравнение, не мое. Думаю, после первого порыва ветер стих; Джим сам заявил на следствии, что большого волнения в ту ночь не было. Он съежился на носу шлюпки и украдкой бросил взгляд назад. Он увидел желтый огонек на верхушке мачты, мутный, как последняя угасающая звезда.

— Я ужаснулся, что огонь все еще там, — сказал он.

Это его подлинные слова. Его привела в ужас

мысль, что судно еще не затонуло. Несомненно, он хотел, чтобы отвратительная катастрофа произошла возможно скорее. Люди в шлюпке молчали. В темноте казалось, что она летит вперед, но, конечно, ход ее не мог быть скорым. Ливень пронесся дальше, и страшное, волнующее шипение моря замерло вдали вместе с ливнем. Слышен был лишь тихий плеск у бортов шлюпки. Кто-то громко стучал зубами. Рука коснулась спины Джима. Слабый голос сказал: «Вы тут?»

Другой дрожащий голос выкрикнул: «Оно затонуло!»

Они все вскочили на ноги и поглядели назад. Огня они не увидели. Все было черно. Мелкий холодный дождь хлестал их по лицу. Шлюпка слегка накренялась. Кто-то стучал зубами и дважды пытался сдержать дрожь, чтобы заговорить; наконец ему удалось сказать: «К-как раз в-вовремя… Брр!»

Джим узнал голос старшего механика, угрюмо сказавшего: «Я видел, как оно затонуло. Случайно я оглянулся».

Ветер почти стих.

В темноте они прислушивались, повернувшись к корме, словно надеялись услышать крики. Сначала Джим был благодарен, что ночь сокрыла

от него страшную сцену, а потом знать об этом и ничего не видеть и не слышать показалось ему величайшим несчастьем.

— Странно, не правда ли? — прошептал он, прерывая свой несвязный рассказ.

Мне это не казалось странным. Должно быть, он подсознательно был убежден в том, что реальность не могла быть такой потрясающей, ужасной и мстительной, как страшная картина, созданная его воображением. Думаю, в этот момент сердце его вместило все страдание, а душа познала страх, ужас и отчаяние восьмисот человек, застигнутых в ночи внезапной и жестокой смертью. Иначе — как объяснить его слова:

— Мне казалось, что я должен выпрыгнуть из этой проклятой шлюпки и плыть назад… полмили… еще дальше… плыть к тому самому месту…

Как объяснить такой импульс? Понимаете ли вы его значение? Зачем возвращаться к тому месту? Почему не утопиться тут же, у борта шлюпки, — если он думал топиться? Зачем возвращаться туда? Он хотел увидеть… словно должен был усыпить свое воображение мыслью о том, что все кончено, и лишь после этого искать успокоения в смерти. Не верю, чтобы кто-нибудь из вас мог предложить другое объяснение. То бы-

ло одно из тех странных, волнующих проблесков в тумане. То было необычайное разоблачение. Он сказал об этом так, как будто это была самая естественная вещь на свете. Он подавил этот импульс и тогда обратил внимание на тишину вокруг. Об этом он мне рассказал. Молчание моря и неба, необъятное, сомкнулось как смерть вокруг этих спасенных трепещущих жизней.

— Можно было услышать падение булавки, — сказал он; губы его странно подергивались, как у человека, который, рассказывая о каком-нибудь очень трогательном событии, старается овладеть собой. Молчание! Одному богу известно, как он это молчание воспринял в сердце своем.

— Я не думал, чтобы где-нибудь на земле могло быть так тихо, — произнес он. — Нельзя было отличить моря от неба; не на что было смотреть, нечего было слушать. Ни проблеска, ни тени, ни звука. Можно было подумать, что каждый клочок земли пошел ко дну и утонули все, кроме меня и этих негодяев в шлюпке.

Он склонился над столом и положил руку рядом с кофейными чашками, ликерными рюмками, окурками сигар.

— Кажется, я этому верил. Все погибло и… все было кончено… — он глубоко вздохнул, — для

меня.

Марлоу внезапно выпрямился и энергичным жестом отбросил свою сигару. Она прочертила красный след, словно игрушечная ракета, прорезавшая завесу ползучих растений. Никто не шевельнулся.

— Ну что же вы об этом думаете? — воскликнул Марлоу, внезапно оживляясь. — Разве он не был честен с самим собой? Его спасенная жизнь была кончена, ибо почва ушла у него из-под ног, не на что было ему смотреть и нечего слушать. Уничтожение — да! А ведь это было только облачное небо, спокойное море, неподвижный воздух. Только ночь, только молчание.

Так продолжалось несколько минут; потом они почувствовали — внезапно и единодушно — потребность болтать о своем спасении.

«Я с самого начала знал, что оно затонет!»

«Еще минута, и мы…»

«Еле-еле успели, ей-богу!»

Джим ничего не сказал. Затихший было ветер начал снова усиливаться, и ропот моря вторил этой болтовне, последовавшей как реакция после минуты немого ужаса. Оно затонуло! Оно затонуло! Сомнений быть не могло. Ничем нельзя

было помочь. Снова и снова они повторяли эти слова, как будто не могли остановиться. Они и не сомневались, что оно должно было затонуть. Огни исчезли. Ошибиться невозможно. Огни исчезли. Этого следовало ждать… Судно должно было затонуть… Джим заметил, что они говорили так, словно оставили позади только судно, без людей. Они решили, что затонуло оно быстро. Казалось, это доставило им какое-то удовольствие. Они уверяли друг друга, что на это потребовалось немного времени — «пошло ко дну, как лист железа». Старший механик заявил, что огонь на верхушке мачты упал «словно брошенная горящая спичка». Тут второй механик истерически захохотал: «Я р-рад. Я р-рад».

— Зубы его стучали, как трещотка, — сказал Джим, — и вдруг он захныкал. Он плакал и всхлипывал, как ребенок, захлебываясь и приговаривая: «О боже мой! О боже мой!» Он замолкал на секунду и вдруг снова начинал: «О моя бедная рука! О моя бедная рука!» Я чувствовал, что готов его прибить. Двое сидели на корме. Я едва мог различить их фигуры. Голоса доносились ко мне — бормотание, ворчанье. Тяжело было это выносить. Мне было холодно. И я ничего не мог поделать. Мне казалось, что, если я пошевель-

нусь, мне придется отправиться за борт и…

Его рука что-то нащупывала, коснулась ликерной рюмки; он быстро ее отдернул, словно притронулся к раскаленному углю. Я слегка подвинул бутылку и спросил:

— Не хотите ли еще?

Он сердито посмотрел на меня.

— Вы думаете, я не смогу это рассказать, не взвинчивая себя? — спросил он.

Компания кругосветных путешественников отправилась спать. Мы были одни; только в тени виднелась неясная белая фигура; заметив, что на нее смотрят, она скользнула вперед, приостановилась, затем безмолвно скрылась. Час был поздний, но я не торопил своего гостя.

Сидя, растерянный, в шлюпке, он услышал, как его спутники начали вдруг кого-то ругать.

«Чего ты не прыгал, сумасшедший?» — сказал чей-то ворчливый голос.

Старший механик слез с кормы и стал пробираться к носу, словно подхлестываемый злобным намерением разделаться «с величайшим идиотом на свете». Шкипер, сидевший на веслах, хриплым голосом выкрикивал обидные эпитеты. Джим поднял голову и услышал имя Джордж; в то же время в темноте чья-то рука ударила его

в грудь.

«Что ты можешь сказать в свое оправдание, дурак?» — осведомился кто-то в порыве справедливого негодования.

— Они напустились на меня, — сказал Джим, — они ругали меня… называя Джорджем.

Он взглянул на меня, попробовал улыбнуться, отвел глаза и продолжал:

— Этот маленький второй механик наклонился к самому моему носу: «Как, да ведь это проклятый штурман!»

«Что!» — заревел шкипер с другого конца шлюпки.

«Не может быть!» — взвизгнул старший механик. И тоже наклонился, чтобы заглянуть мне в лицо.

Ветер внезапно стих. Снова полил дождь, и мягкий таинственный шум, каким море отвечает на ливень, поднялся со всех сторон в ночи.

— Сначала они были слишком ошеломлены, чтобы тратить много слов, — стойко рассказывал Джим, — а что мне было им сказать? — Он запнулся, потом с усилием продолжал: — Они называли меня скверными именами…

Голос его, пониженный до шепота, вдруг зазвучал громко, окрепнув от презрения, словно речь

шла о каких-то неслыханных мерзостях.

— Все равно, как бы они меня ни называли, — угрюмо сказал он. — Ненависть звучала в их голосах. Недурное дело! Они не могли простить мне, что я очутился в шлюпке. Эта мысль была им ненавистна. Они обезумели… — Он как-то странно рассмеялся… — Но это удержало меня от… Смотрите! Я сидел, скрестив руки, на носу, на планшире…

Он ловко уселся на край стола и скрестил руки…

— Вот так — понимаете? Достаточно было чуть-чуть откинуться назад, и я бы отправился… вслед за остальными. Чуть-чуть откинуться…

Он нахмурился и, коснувшись средним пальцем лба, многозначительно сказал:

— Эта мысль все время была у меня в голове. Все время… А дождь, холодный, как растаявший снег, — нет, еще холоднее — падал на мой тонкий бумажный костюм… Никогда мне не будет так холодно. И небо было черное, совсем черное. Ни единой звезды, ни проблеска света — ничего за пределами этой проклятой шлюпки и этих двоих, которые тявкали на меня, словно дворняжки на вора, загнанного на дерево. «Тяв! Тяв! Что ты тут делаешь? Хорош, нечего сказать! Здесь не место

для такой особы, как ты! Что, ты уже не такой очумелый? Влез в шлюпку? Да? Тяв! Тяв!» Эти двое старались перекричать друг друга. Шкипер лаял с кормы; за завесой дождя его нельзя было разглядеть; он выкрикивал ругательства на своем грязном жаргоне. «Тяв! Тяв! Гау, гау, гау! Тяв, тяв!» Приятно было их слушать. Уверяю вас, это меня возбуждало. Это спасло мне жизнь. А они все орали, словно хотели криком свалить меня за борт… «Как это ты набрался храбрости прыгнуть? Ты здесь не нужен. Если б я знал, кто здесь сидит, я б тебя швырнул за борт, проклятый хорек! Что ты сделал с механиком? Как это ты решился прыгнуть, трус? И почему бы нам троим не швырнуть тебя за борт?..»

Они задохнулись от крика. Ливень прекратился. И снова тишина. Ни звука не слышно было вокруг шлюпки. Они хотели отправить меня за борт! Ну что ж, их желание исполнилось бы, если б только они сидели молча. Швырнуть за борт! Пошли бы они на это? «Попробуйте, — сказал я. — За два пенса я бы швырнул!»

«Не стоит пачкаться!» — взвизгнули они оба.

Было так темно, что я мог различить их, только когда они шевелились. А право, жаль, что они не попытались!

Я невольно воскликнул:

— Какое необычайное положение!

— Недурно, а? — сказал он, словно в оцепенении. — Они, кажется, думали, что я почему-то прикончил того кочегара. Зачем мне было это делать? И как я мог знать? Ведь попал же я каким-то образом в шлюпку. В шлюпку… я.

Мускулы вокруг его рта сократились, и гримаса прорезала маску, скрывавшую его лицо, — сильная, мимолетная судорога, словно вспышка молнии, освещающая на секунду тайные извивы облака.

— Я прыгнул. Несомненно, я сидел с ними в шлюпке, — не так ли? Не ужасно ли: что-то побудило человека сделать такую вещь, а потом на него ложится ответственность! Что я знал об их Джордже, из-за которого они подняли вой? Помню, я видел, как он лежал, скорчившись на палубе.

«Убийца и трус!» — выкрикивал старший механик. Казалось, только эти два слова и приходили ему на память. Мне было все равно, но этот крик начал меня раздражать.

«Замолчи», — сказал я.

Тут он собрался с силами и отчаянно завопил: «Ты его убил! Ты его убил!»

«Нет, — крикнул я, — но тебя я сейчас убью!»

Я вскочил, он с грохотом упал назад через скамью. Я не знаю, как это произошло. Было слишком темно. Должно быть, он хотел попятиться. Я стоял неподвижно, повернувшись лицом к корме, а маленький второй механик захныкал: «Ведь ты же не ударишь человека со сломанной рукой… а еще называешь себя джентльменом».

Я услышал тяжелые шаги и хриплое ворчанье. Вторая скотина шла на меня, ударяя веслом по корме. Я видел, как он надвигается, огромный-огромный, — такими нам представляются люди в тумане или во сне.

«Иди!» — крикнул я. Я швырнул бы его за борт, как узел с тряпьем. Он остановился, пробормотал что-то и повернул назад. Быть может, он услышал вой ветра. Я ничего не слыхал. То был последний рывок шквала. Шкипер вернулся на свое место. Мне было жаль. Я не прочь был попытаться…

Он разжал и снова сжал кулак: руки его злобно дрожали.

— Тише, тише, — прошептал я.

— А? Что? Я не волнуюсь, — возразил он, страшно разобиженный, и, судорожно двинув локтем, опрокинул бутылку коньяка. Я рванулся вперед, отодвигая стул. Он выскочил из-за стола, словно

мина взорвалась за его спиной, и метнулся в сторону; я увидал испуганные глаза и побледневшее лицо. Потом на лице его отразилась досада.

— Ужасно неприятно! Какой я неловкий, — пробормотал он, очень расстроенный. Нас окутал острый запах пролитого алкоголя, и удушливая атмосфера питейного дома ворвалась в прохладный чистый мрак ночи. В зале ресторана потушили огни; наша свеча одиноко мерцала в длинной галерее, и колонны почернели от подножия до капителей. На фоне ярких звезд угол дома, где помещается Управление порта, вырисовывался отчетливо по ту сторону эспланады, словно мрачное здание придвинулось ближе, чтобы видеть и слышать.

Он принял равнодушный вид.

— Пожалуй, сейчас я не так спокоен, как тогда. Я был готов ко всему. Какое это имело значение?..

— Недурно вы провели время в этой шлюпке, — заметил я.

— Я был готов, — повторил он. — После того как исчезли огни судна, могло произойти все, что угодно, — все, и мир об этом не узнал бы. Я это чувствовал и был доволен. И тьма была как раз кстати. Словно нас быстро замуровали в большом склепе. Безразлично было все, что бы ни происхо-

дило на земле. Некому высказывать свое мнение. Ни до чего нет дела…

В третий раз за время нашего разговора он хрипло засмеялся, но никого не было поблизости, чтобы заподозрить его в опьянении.

— Ни страха, ни закона, ни звуков, ни посторонних глаз… даже мы сами ничего не могли видеть… во всяком случае, до восхода солнца.

Меня поразила правда, скрытая в этих словах. Что-то странное есть в маленькой шлюпке, затерянной на поверхности моря. Над жизнью, ускользнувшей из-под сени смерти, словно нависает тень безумия. Когда ваше судно вам изменяет, кажется, что изменил весь мир — мир, который вас создал, обуздывал, о вас заботился. Словно души людей плывут над пропастью и — соприкасаясь с необъятным — вольны совершить поступок героический, нелепый или отвратительный. Конечно, если речь идет о вере, мысли, любви, ненависти, убеждениях или о видимом аспекте вещей материальных, крушение постигает всех людей, но в данном случае было что-то гнусное, и одиночество создалось полное, — в силу возмутительных обстоятельств эти люди были отрезаны от мира, от всех остальных людей, чей идеал поведения никогда не подвергался

испытанию враждебной и страшной шуткой.

Они были взбешены, считая его трусливым пройдохой; он сосредоточил на них всю свою ненависть; он хотел бы отомстить им за то отвратительное искушение, какое встало по их вине на его пути. Шлюпка, затерянная в море… Дело не дошло до драки — вот еще одно проявление той шутовской низости, какой была окрашена эта катастрофа на море. Одни угрозы, одно притворство, фальшь от начала до конца, словно созданная чудовищным презрением тех темных сил, что торжествовали бы всегда, если бы не разбивались постоянно о стойкость людей.

Я спросил, подождав немного:

— Что же случилось?

Ненужный вопрос. Я слишком много знал, чтобы надеяться на единый возвышающий жест, на милость затаенного безумия и ужаса.

— Ничего, — сказал он. — Я думал, что это всерьез, а они хотели только пошуметь. Ничего не случилось.

И восходящее солнце застало его на том самом месте, куда он прыгнул, — на носу шлюпки. Какая настойчивая готовность ко всему! И всю ночь он держал в руке румпель. Они уронили руль за борт, когда пытались укрепить его, а румпель, должно

быть, упал на нос, когда они метались в шлюпке, пытаясь делать все сразу, чтобы поскорей оттолкнуться от борта судна. Это был длинный и тяжелый деревянный брусок, и, очевидно, Джим в течение шести часов сжимал его в руках. Это ли не готовность! Вы представляете себе, как он, молчаливый, простоял полночи на ногах, повернувшись лицом навстречу хлещущему дождю, впиваясь глазами в темные фигуры, следя за малейшим движением, напрягая слух, чтобы уловить тихий шепот, изредка раздававшийся на корме? Стойкость мужества или напряжение, вызванное страхом? Как вы думаете? И выносливость его нельзя отрицать. Около шести часов он простоял в оборонительной позе, настороженный, неподвижный; а шлюпка медленно плыла вперед или останавливалась, повинуясь капризам ветра; море, успокоенное, заснуло наконец; облака проносились над головой. Небо, сначала необъятное, тусклое и черное, превратилось в мрачный, сияющий свод, засверкало блеском созвездий, потускнело на востоке, побледнело в зените, и темные фигуры, заслонявшие низко стоящие звезды за кормой, приобрели очертания, стали рельефными, вырисовались плечи, головы, лица. Угрюмо они смотрели на Джима; волосы

их были растрепаны, одежда изодрана; мигая красными веками, они встречали белый рассвет.

— У них был такой вид, словно они неделю валялись пьяные по канавам, — выразительно описывал Джим; потом он пробормотал что-то о восходе солнца, предвещавшем тихий день. Вам известна эта привычка моряка по всякому поводу упоминать о погоде. Этих нескольких отрывочных слов было достаточно, чтобы я увидел, как нижний край солнечного диска отделяется от линии горизонта, широкая рябь пробегает по всей видимой поверхности моря, словно воды содрогаются, рождая светящийся шар, а последнее дуновение ветра, как вздох облегчения, замирает в воздухе.

— Они сидели на корме, плечо к плечу, — шкипер посредине, — и таращили на меня глаза, словно три грязные совы, — заговорил он с ненавистью, растворившейся в этих простых словах, как капля яда растворяется в стакане воды; но мысль моя не могла оторваться от этого восхода солнца. Я видел под прозрачным куполом неба этих четырех человек, окруженных пустыней моря, видел одинокое солнце, равнодушное к этим живым точкам; оно поднималось по чистому своду неба, словно хотело с высоты взглянуть на

свое великолепие, отраженное в неподвижных водах океана.

— Они окликнули меня с кормы, — сказал Джим, — как будто мы были друзья-приятели. Я их услышал. Они меня просили образумиться и бросить эту «проклятую деревяшку». Зачем мне так себя держать? Никакого вреда они мне не причинили, не так ли? Никакого вреда… Никакого вреда!

Лицо его покраснело, словно он не мог выдохнуть воздух, наполнявший его легкие.

— Никакого вреда! — вскричал он. — Я вам предоставляю судить. Вы можете понять. Не так ли? Вы это понимаете, да? Никакого вреда! О боже! Да разве можно было причинить еще больше вреда? Да, я прекрасно знаю — я прыгнул в лодку. Конечно. Я прыгнул! Я вам это сказал. Но слушайте, разве хоть кто-нибудь мог перед ними устоять? Это было делом их рук, все равно как если бы они зацепили меня багром и стащили за борт. Неужели вы этого не понимаете? Послушайте, вы должны понять. Отвечайте же прямо!

Растерянно он впился в мои глаза, спрашивал, просил, требовал, умолял. Я не в силах был удержаться и прошептал:

— Вы подверглись тяжелому испытанию.

— Слишком тяжелому… Это было несправедливо, — быстро подхватил он. — У меня не было ни единого шанса… с такой бандой. А теперь они держали себя дружелюбно, — о, чертовски дружелюбно! Друзья, товарищи с одного судна. Все в одной шлюпке. Приходится примириться. Никакого зла они мне не желали. Им нет никакого дела до Джорджа. Джордж в последнюю минуту побежал за чем-то к своей койке и попался. Парень был отъявленный дурак. Очень жаль, конечно…

Они смотрели на меня; губы их шевелились; они кивали мне с другого конца шлюпки — все трое; они кивали мне. А почему бы и нет? Разве я не прыгнул? Я ничего не сказал. Нет слов для того, что я хотел сказать. Если бы я разжал тогда губы, я бы попросту завыл, как зверь. Я спрашивал себя — когда же я наконец проснусь. Они громко звали меня на корму выслушать спокойно, что скажет шкипер. Нас, конечно, должны подобрать до вечера; мы были на главном пути следования судов из Канала; на северо-западе уже виднелся дымок.

Я был ужасно потрясен, когда увидел это бледное-бледное облачко, эту низко протянувшуюся полосу коричневого дыма там, где сливаются море и небо. Я крикнул им, что и со своего места

могу слушать. Шкипер стал ругаться голосом хриплым, как у вороны. Он не намерен кричать во все горло ради моего удобства.

«Боишься, что тебя услышат на берегу?» — спросил я.

Он сверкнул глазами, словно хотел меня растерзать. Старший механик посоветовал ему не спорить со мной. Он сказал, что в голове у меня еще не все в порядке. Тогда шкипер встал на корме, точно толстая колонна из мяса, и начал говорить… говорить…

Джим задумался.

— Ну? — сказал я.

— Что мне было до того, какую историю они придумают? — смело воскликнул он. — Они могли выдумать все, что им было угодно. Это касалось только их. Я-то знал правду. Никакая их выдумка, которой поверили бы другие, ничего не могла изменить для меня. Я не мешал шкиперу разглагольствовать. Он говорил без конца. Вдруг я почувствовал, что ноги у меня подкашиваются. Я был болен, устал — устал смертельно. Я бросил румпель, повернулся к ним спиной и сел на переднюю скамью. Хватит с меня. Они окликнули меня, чтобы узнать, понял ли я. Спрашивали — разве не правдива вся эта история? Честное

слово, с их точки зрения, она была правдива. Я не повернул головы. Я слышал, как они переговаривались:

«Глупый осел не желает отвечать».

«О, он прекрасно понял».

«Оставьте его в покое; он придет в себя».

«Что он может сделать?»

Что я мог сделать! Разве мы не сидели в одной шлюпке? Я старался ничего не слушать. Дымок на севере исчез. Был мертвый штиль. Они напились воды из бочонка; я тоже пил. Потом они стали возиться с парусом, натягивая его над планширом. Спросили, не возьму ли я пока на себя вахту. Они подлезли под навес, скрылись с моих глаз — к счастью! Я был утомлен, измучен вконец, как будто не спал со дня своего рождения. Солнце так сверкало, что я не мог смотреть на воду. Время от времени кто-нибудь из них вылезал, выпрямлялся во весь рост, чтобы осмотреться по сторонам, и снова прятался. Из-под паруса доносился храп. Кто-то мог спать. Во всяком случае, один из них. Я не мог. Везде был свет, свет, и шлюпка словно проваливалась сквозь этот свет. Иногда я с изумлением замечал, что сижу на скамье…

Джим стал ходить размеренными шагами взад и вперед перед моим стулом; он задумчиво

опустил голову, засунул левую руку в карман, а правую изредка поднимал, словно отстраняя кого-то невидимого со своего пути.

— Должно быть, вы думаете, что я сходил с ума, — заговорил он, изменив тон. — Неудивительно — если вы вспомните, что я потерял фуражку. На своем пути с востока на запад солнце все выше поднималось над моей непокрытой головой, но, вероятно, в тот день ничто не могло причинить мне вреда. Солнце не могло свести меня с ума… — Правой рукой он словно отстранил мысль о безумии. — И не могло меня убить… — Снова рука его отстранила тень. — *Этот* выход у меня оставался.

— В самом деле? — сказал я, страшно удивленный этим оборотом; я взглянул на него с таким чувством, какое, несомненно, испытал бы, если бы увидел совсем новое лицо, когда он, повернувшись на каблуках, посмотрел на меня.

— Я не заболел воспалением мозга и не упал мертвым, — продолжал он. — Меня не тревожило солнце, палившее мне голову. Я размышлял так же хладнокровно, как если бы сидел в тени. Эта жирная скотина — шкипер — высунул из-под паруса свою огромную стриженую голову и уставился на меня рыбьими глазами.

«Donnerwetter![11] Ты умрешь», — проворчал он и, как черепаха, полез назад. Я его видел. Слышал. Он не помешал мне. Как раз в эту минуту я думал о том, что не умру.

Мимоходом он бросил на меня внимательный взгляд, пытаясь угадать мои мысли.

— Вы хотите сказать, что размышляли о том, умереть вам или нет? — спросил я, стараясь говорить бесстрастно. Он кивнул, продолжая шагать.

— Да, до этого дошло, пока я сидел там один, — сказал он.

Он сделал еще несколько шагов, а потом повернулся, словно дойдя до конца воображаемой клетки; теперь обе его руки были глубоко засунуты в карманы. Он остановился как вкопанный перед моим стулом и посмотрел на меня сверху вниз.

— Вы этому не верите? — осведомился он с напряженным любопытством.

Я не мог не заявить торжественно о своей готовности верить всему, что бы он ни счел нужным мне сообщить.

---

[11] Примечания: 11
Черт возьми! *(нем.)*

Глава XI

Он выслушал меня, склонив голову к плечу, а я еще раз увидел проблеск света сквозь туман, в котором он двигался и существовал. Тускло горевшая свеча трещала под стеклянным колпаком, то был единственный источник света, позволивший мне видеть Джима. За его спиной были темная ночь и яркие звезды; их блеск уводил взоры в еще более сгущенную темноту, однако какая-то таинственная вспышка, казалось, осветила для меня его мальчишескую голову, словно в этот момент юность его на секунду вспыхнула и угасла.

— Вы ужасно добры, что так меня слушаете, — сказал он. — Мне легче. Вы не знаете, что это для меня значит. Вы не знаете…

Казалось, ему не хватало слов. Я увидел его отчетливо на секунду. Он был одним из тех юношей, каких вам приятно видеть подле себя; таким вам хочется воображать самого себя в юности; одна его внешность пробуждает к жизни те иллюзии, которые вы считали забытыми, угасшими, холодными, но близость чужого пламени их оживляет — они трепещут где-то глубоко-глубоко, дают свет… тепло… Да, тогда я увидел его на секунду…

и это было не в последний раз…

— Вы не знаете, что это значит для человека в моем положении, когда тебе верят, когда ты можешь говорить начистоту с тем, кто старше тебя. Так тяжело… так ужасно несправедливо… и так трудно понять.

Туман снова сгустился вокруг него. Я не знаю, каким старым я ему представлялся — и каким мудрым. А в ту минуту я себя чувствовал вдвое старше и таким бесполезно мудрым. Конечно, только у тех, кто связан с морем, кто уже пустился в плавание, чтобы потонуть или выплыть, сердца так широко раскрываются навстречу юности, стоящей на грани, — юности, что взирает блестящими глазами на сверкающую гладь, которая является лишь отражением ее взгляда, полного огня. Какая великолепная неизвестность заложена в ожиданиях, которые каждого из нас влекли к морю, какая чудесная жажда приключений, и эти приключения — наша неотъемлемая и единственная награда. То, что мы получаем… ну, об этом мы не будем говорить, — но может ли хоть один из нас сдержать улыбку? Лишь на море иллюзия так далека от реальности, лишь здесь вначале все — иллюзия, и нигде разочарование не наступает так быстро, а подчинение не

бывает более полным. Но все ли мы начинали, желая только одного, кончали, зная только об одном, и проносили сквозь ряд тусклых, отвратительных дней воспоминание о тех же чарах? Не чудо, что мы чувствуем связующие узы, когда тяжелый удар настигает одного из нас; и, помимо содружества на море, нас объединяет иное, более широкое чувство — чувство, которое привязывает взрослого человека к ребенку. Он сидел передо мной, веря, что возраст и мудрость могут найти лекарство против мучительной истины; он дал мне заглянуть в свою душу — в душу юноши, попавшего в беду, в дьявольскую переделку, услыхав о которой седобородые старики будут торжественно покачивать головами, скрывая улыбку. А он размышлял о смерти! Об этом приходилось ему размышлять, ибо он думал, что спас свою жизнь, когда все чары ее потонули в ту ночь вместе с судном. Что может быть более естественно? Трагично и забавно было вслух взывать к состраданию, — и чем я был лучше всех остальных, чтобы отказать ему в жалости?.. Пока я глядел на него, клубы тумана затянули просвет, и раздался его голос:

— Я был, знаете ли, так растерян. Такого положения никто не мог бы ожидать. Это не похоже

было, например, на сражение.

— Не похоже, — согласился я.

Он как-то изменился, словно внезапно возмужал.

— Не было уверенности, — прошептал он.

— А, вы не были уверены, — сказал я. Слабый вздох, пролетевший между нами, как птица в ночи, умиротворил меня.

— Да, не был, — мужественно признался он. — Это как-то походило на ту проклятую историю, какую они выдумали: не ложь — и в то же время не правда. Это было что-то… Настоящую ложь сразу узнаешь. А в том деле ложь от правды отделяло что-то более тонкое, чем лист бумаги.

— А вам нужно было больше? — спросил я; но, кажется, я говорил так тихо, что он не уловил моих слов. Он выставил свой аргумент с таким видом, словно жизнь была сетью тропинок, разделенных пропастями. Голос его звучал рассудительно.

— Допустим, что я не… Я хочу сказать: допустим, я бы остался на борту судна. Отлично. Долго бы я там продержался? Скажем, минуту — полминуты. Послушайте, тогда очевидным казалось, что через тридцать секунд я буду за бортом; и вы думаете, я бы не завладел первым, что попалось

бы мне под руку, — веслом, спасательным бакеном, решеткой, — чем угодно. Вы бы так не поступили?

— Чтобы спастись, — вставил я.

— И я хотел бы спастись! — воскликнул он. — А этого желания не было, когда я… — Он содрогнулся, словно готовясь проглотить какое-то тошнотворное лекарство. — …прыгнул, — произнес он с судорожным усилием, а я пошевельнулся на стуле, как будто его напряжение передалось и мне.

— Вы мне не верите? — вскричал он. — Клянусь!.. Черт возьми! Вы меня сюда позвали, чтобы я говорил, и… Вы должны! Вы сказали, что поверите.

— Конечно верю, — возразил я деловым тоном, сразу его успокоившим.

— Простите, — сказал он. — Конечно, я бы не говорил об этом с вами, если бы вы не были порядочным человеком. Я должен был знать… Я… я тоже порядочный человек…

— Да, да, — поспешно проговорил я. Он посмотрел на меня внимательно из-под полуопущенных век, потом медленно отвел взгляд.

— Теперь вы понимаете, почему я в конце концов не… не покончил с собой. Тогда у меня

и в мыслях не было, что я стану бояться своего поступка. Ведь если бы я и остался на судне, я приложил бы все силы, чтобы спастись. Бывало, люди держались на воде несколько часов — в открытом море, — и их подбирали целыми и невредимыми. Я мог продержаться дольше, чем многие другие. Сердце у меня здоровое.

Он вынул из кармана правую руку и ударил себя кулаком в грудь: удар прозвучал как заглушенный выстрел в ночи.

— Да, — сказал я. Он задумался, слегка расставив ноги и опустив голову.

— Один волосок, — пробормотал он. — Один волосок отделял одно от другого. И в то время…

— В полночь нелегко разглядеть волосок, — вставил я, боюсь, раздраженно. Вы понимаете, что я подразумеваю под солидарностью людей одной профессии? Я был против него озлоблен, словно он обманул меня — меня! — отнял у меня прекрасный случай укрепить иллюзию моей юности, лишил общую нашу жизнь последних ее чар. — И поэтому вы покинули судно — немедленно.

— Прыгнул, — резко поправил он меня. — Прыгнул, заметьте! — повторил он, придавая этому какое-то непонятное мне, особое значение. — Да!

Быть может, тогда я не видел. Но в этой шлюпке времени у меня было достаточно, а света сколько угодно. И думать я мог. Никто бы не узнал, конечно, но от этого мне было не легче. Вы и этому должны поверить. Я не хотел этого разговора… Нет… Да… Не стану лгать… я хотел его; единственное, чего я хотел! Да. Вы думаете, что вы или кто-нибудь другой мог бы заставить меня говорить, если бы я… Я не боюсь слов. И думать я не боялся. Я смотрел правде в глаза. Я не собирался бежать. Сначала… ночью, если бы не эти люди, я, может быть… Нет, клянусь богом! Это удовольствие я не намерен был им доставить. И так они много навредили. Они сочинили целую историю и, пожалуй, в нее верили. Но я знал правду и должен был жить с нею… один… наедине с самим собой. Я не намеревался подчиниться такой проклятой несправедливости. В конце концов что это доказывало? Я был чертовски подавлен. Жизнь мне надоела, сказать вам по правде; но что толку было спасаться… таким образом? Не так следовало поступить. Я думаю… я думаю, что это не был бы конец…

Он ходил взад и вперед, но, произнеся это последнее слово, остановился передо мной.

— А как думаете вы? — спросил он пылко. По-

следовала пауза, и вдруг я почувствовал такую глубокую и безнадежную усталость, словно его голос пробудил меня от сна и вернул из странствий по бесконечной пустыне, необъятность которой истерзала мою душу и истомила тело.

— Не был бы конец, — упрямо пробормотал он, немного погодя. — Нет! Нужно было пережить это… наедине с собой… ждать другого случая… Найти…

Глава XII

Вокруг было тихо; ухо не улавливало никаких звуков. Туман его чувств проплывал между нами, как бы потревоженный его борьбой, и в прорывах этой нематериальной завесы я отчетливо видел перед собой его, взывающего ко мне, — видел, словно символическую фигуру на картине. Прохладный ночной воздух, казалось, давил мое тело, тяжелый, как мраморная плита.

— Понимаю, — прошептал я, чтобы доказать себе, что могу стряхнуть овладевшую мною немоту.

— «Эвондель» подобрал нас как раз перед заходом солнца, — угрюмо заметил он. — Шел прямо на нас. Нам оставалось только сидеть и ждать.

После долгой паузы он произнес:

— Они рассказали свою историю.

И снова спустилось гнетущее молчание.

— Тут только я понял, на что я решил пойти, — добавил он.

— Вы ничего не сказали, — прошептал я.

— Что мог я сказать? — спросил он так же тихо. — Легкий толчок. Остановили судно. Удостоверились, что оно повреждено. Приняли меры,

чтобы спустить шлюпки, не вызывая паники. Когда была спущена первая шлюпка, налетел шквал, и судно пошло ко дну… Как свинец… Что могло быть еще яснее… — он опустил голову, — и еще ужаснее.

Губы его задрожали; он смотрел мне прямо в глаза.

— Я прыгнул — не так ли? — спросил он уныло. — Вот что я должен был пережить. Та история не имела значения.

На секунду он сжал руки, поглядел направо и налево во мрак.

— Это было так, словно обманывали мертвых, — пробормотал он, заикаясь.

— А мертвых не было, — сказал я.

Тут он ушел от меня — только так я могу это описать. Я увидел, что он подошел вплотную к балюстраде. Несколько минут он стоял там, словно наслаждаясь чистотой и спокойствием ночи. От цветущего кустарника в саду поднимался в сыром воздухе сильный аромат. Он подошел ко мне быстрыми шагами.

— И это тоже не имело значения, — сказал он с непоколебимым упорством.

— Быть может, — согласился я, чувствуя, что мне его не понять. В конце концов — что я знал?

— Умерли они или нет, но мне не было оправдания, — сказал он. — Я должен был жить, не так ли?

— Да, пожалуй, если стать на вашу точку зрения, — промямлил я.

— Я был рад, конечно, — небрежно бросил он, словно думая о чем-то другом.

— Огласка, — произнес он медленно и поднял голову. — Знаете, какая была моя первая мысль, когда я услышал?.. Я почувствовал облегчение. Облегчение при мысли, что эти крики… Я вам говорил, что слышал крики? Нет? Ну, так я их слышал. Крики о помощи… они неслись вместе с моросящим дождем. Воображение, должно быть. И однако, я едва могу… Как глупо… Остальные не слыхали. Я их спрашивал после. Они все сказали — нет. Нет? А я их слышал даже тогда! Мне следовало бы знать… но я не думал — я только слушал. Очень слабые крики… день за днем. Потом этот маленький полукровка подошел ко мне и заговорил: «„Патна“… французская канонерка… привели на буксире в Аден… Расследование… Управление порта… Дом моряка… позаботились о помещении для вас…» Я шел с ним и наслаждался тишиной. Значит, никаких криков не было. Воображение. Я должен был ему верить. Больше

я уже ничего не слышал. Интересно — долго бы я это выдержал? Ведь становилось все хуже… я хочу сказать — громче.

Он задумался.

— Значит, я ничего не слышал! Ну что ж, пусть будет так. Но огни! Огни исчезли! Мы их не видели. Их не было. Если б они были, я поплыл бы назад, вернулся бы и стал кричать… молить, чтобы они взяли меня на борт… У меня был бы шанс… Вы сомневаетесь? Откуда вы знаете, что я чувствовал… Какое право имеете сомневаться?.. Я и без огней едва этого не сделал… понимаете?

Голос его упал.

— Не было ни проблеска света, ни проблеска, — грустно продолжал он. — Разве вы не понимаете, что, если бы огонь был, вы бы меня здесь не видели? Вы меня видите — и сомневаетесь.

Я отрицательно покачал головой. Эти огни, скрывшиеся из виду, когда шлюпка отплыла не больше чем на четверть мили от судна, вызвали немало разговоров. Джим утверждал, что ничего не было видно, когда прекратился ливень, и остальные говорили то же капитану «Эвонделя». Конечно, все покачивали головой и улыбались. Один старый шкипер, сидевший подле меня в суде, защекотал мне ухо своей белой бородой и

прошептал:

— Конечно, они лгут.

А в действительности не лгал никто — даже старший механик, утверждавший, что огонь на верхушке мачты упал, словно брошенная спичка. Во всяком случае, то была ложь несознательная. Человек с больной печенью, торопливо оглянувшись через плечо, легко мог увидеть уголком глаза падающую искру. Никакого света они не видели, хотя находились неподалеку от судна, и могли объяснить это явление лишь тем, что судно затонуло. Это было очевидно и действовало успокоительно. Предвиденная катастрофа, так быстро завершившаяся, оправдывала их спешку. Не чудо, что они не искали другого объяснения.

Однако истина была очень проста, и, как только Брайерли намекнул о ней, суд перестал заниматься этим вопросом. Если вы помните, судно было остановлено и лежало на воде, повернувшись носом в ту сторону, куда держало курс; корма его была высоко поднята, а нос опущен, так как вода заполнила переднее отделение трюма. Когда шквал ударил в корму, судно вследствие неправильного положения на воде повернулось носом к ветру так круто, словно его держал якорь. В результате все огни были в одну секунду засло-

нены от шлюпки, находившейся с подветренной стороны. Очень возможно, что, не исчезни эти огни, они подействовали бы как немой призыв… их мерцание, затерянное в темноте нависшего облака, обладало бы таинственной силой человеческого взгляда, который может пробудить чувство раскаяния и жалости. Огни взывали бы: «Я еще здесь… здесь…» А большего не может сказать взгляд самого несчастного человеческого существа. Но судно от них отвернулось, словно презирая их судьбу; оно покатилось под ветер, чтобы упрямо глядеть в лицо новой опасности — открытого моря; этой опасности оно странно избежало для того, чтобы закончить свои дни на кладбище судов, как будто ему суждено было умереть под ударами молотков. Каков был конец, предназначенный паломникам, я не знаю, но мне известно, что ближайшее будущее привело к ним около девяти часов утра французскую канонерку, возвращавшуюся на родину от острова Рэунаон[12]. Отчет ее командира стал общественным достоянием. Канонерка немного свернула с пути, чтобы выяснить, что случилось с пароходом, который, погрузив нос, застыл на неподвижной

---

[12] Примечания: 12

Рэунаон — остров к востоку от Африки, французская колония.

туманной поверхности моря. На гафеле развевался перевернутый флаг — серанг догадался выбросить на рассвете сигнал бедствия, — но коки как ни в чем не бывало готовили обед на носу. Палубы были запружены, словно загон для овец; люди сидели на поручнях, плотной стеной стояли на мостике: сотни глаз впивались в канонерку, и ни звука не было слышно, словно на устах всех этих людей лежала печать молчания.

Француз-капитан окликнул судно, не добился вразумительного ответа и, удостоверившись с помощью бинокля, что люди на палубе не похожи на зачумленных, решил послать шлюпку. Два помощника поднялись на борт, выслушали серанга, попытались расспросить араба и ничего не могли понять; но, конечно, характер катастрофы был очевиден. Они были очень удивлены, обнаружив мертвого белого человека, мирно лежавшего на мостике.

— Fort intrigués par ce cadavre[13], — как сообщил мне много лет спустя один пожилой французский лейтенант; я встретился с ним случайно в Сиднее в каком-то кафе, и он прекрасно помнил дело «Патны». Замечу мимоходом, что это дело

---

[13] Примечания: 13
Были очень заинтригованы этим трупом *(фр.)*.

удивительно умело противостоять забывчивости людей и все стирающему времени: казалось, оно было наделено какой-то жуткой жизненной силой, жило в памяти людей, и слова о нем срывались с языка. Я имел сомнительное удовольствие сталкиваться с воспоминанием об этом деле часто, — годы спустя, за тысячи миль от места происшествия, оно всплывало неожиданно в беседе, обнаруживалось в самых отдаленных намеках. Вот и сегодня вечером между нами речь зашла о нем. А ведь я здесь единственный моряк. Только у меня живы эти воспоминания. И все же это дело всплыло сегодня. Но если двое людей, друг с другом не знакомых, но знающих о «Патне», встретятся случайно в каком-нибудь уголке земного шара, между ними непременно завяжется разговор об этой катастрофе. Раньше я никогда не встречался с этим французом, а через час распрощался с ним навсегда; казалось, он был не особенно разговорчив — спокойный грузный парень в измятом кителе, сонно сидевший над бокалом с какой-то темной жидкостью. Погоны его слегка потускнели, гладко выбритые щеки были желты; он имел вид человека, который нюхает табак. Не знаю, занимался ли он этим, но такая привычка была бы ему к лицу. Началось с

того, что он мне протянул через мраморный столик номер «Хом ньюс», в котором я не нуждался. Я сказал — мерси. Мы обменялись несколькими невинными замечаниями, совершенно незаметно завязался разговор, и вдруг француз сообщил мне, как они были «заинтригованы этим трупом». Выяснилось, что он был одним из офицеров, поднявшихся на борт.

В кафе, где мы сидели, можно было получить самые разнообразные иностранные напитки, имевшиеся в запасе для заглядывающих сюда морских офицеров, француз потянул из бокала темную жидкость, похожую на лекарство, — по всем вероятиям, это был самый невинный cassis à l'eau[14], — и, глядя в стакан, слегка покачал головой.

[14] Примечания: 14
Черносмородинная наливка, разбавленная водой *(фр.)*.



— Impossible de comprendre… vous concevez[15], — сказал он как-то небрежно и в то же время задумчиво.

Я легко мог себе представить, как трудно было им понять. На канонерке никто не знал английского языка настолько, чтобы разобраться в истории, рассказанной серангом. Вокруг двух

[15] Примечания: 15
Непостижимо… Вы понимаете *(фр.)*.

офицеров поднялся шум.

— Нас обступили. Толпа стояла вокруг этого мертвеца (autour de ce mort), — рассказывал он. — Приходилось заниматься самым неотложным. Эти люди начинали волноваться... Parbleu![16] Такая толпа...

Своему командиру он посоветовал не прикасаться к переборке — слишком ненадежной она казалась. Быстро (en toute hâte) закрепили они два кабельтова и взяли «Патну» на буксир — вперед кормой к тому же. Принимая во внимание обстоятельства, это было не так глупо, ибо руль слишком поднимался над водой, чтобы можно было его использовать для управления, а этот маневр уменьшал давление на переборку, которая требовала, как выразился он, крайне осторожного обращения (éxigeait les plus grands ménagements). Я невольно подумал о том, что мой новый знакомый имел, должно быть, решающий голос в совещании о том, как поступить с «Патной». Хотя и не очень расторопный, он производил впечатление человека, на которого можно положиться; к тому же он был настоящим моряком. Но сейчас, сидя передо мной со сложенными на

---

[16] Примечания: 16
Черт возьми! *(фр.)*

животе толстыми руками, он походил на одного из этих деревенских священников, которые спокойно нюхают табак и внимают повествованию крестьян о грехах, страданиях и раскаянии, а простодушное выражение лица скрывает, словно завеса, тайну боли и отчаяния. Ему бы следовало носить потертую черную сутану, застегнутую до самого подбородка, а не мундир с погонами и бронзовыми пуговицами. Его широкая грудь мерно поднималась и опускалась, пока он рассказывал мне, что то была чертовская работа, и я как моряк (en votre qualité de marin) легко могу это себе представить. Закончив фразу, он слегка наклонился всем корпусом в мою сторону и, выпятив бритые губы, с присвистом выдохнул воздух.

— К счастью, — продолжал он, — море было гладкое, как этот стол, и ветра было не больше, чем здесь...

Тут я заметил, что здесь действительно невыносимо душно и очень жарко. Лицо мое пылало, словно я был еще молод и умел смущаться и краснеть.

— Naturellement они направились в ближайший английский порт, где и сняли с себя ответ-

ственность, Dieu merci![17]

Он раздул свои плоские щеки.

— Заметьте (notez bien), все время, пока мы буксировали, два матроса стояли с топорами у тросов, чтобы перерубить их в случае, если судно…

Он опустил тяжелые веки, поясняя смысл этих слов.

— Что вы хотите? Делаешь то, что можешь (on fait ce qu'on peut). — И на секунду он ухитрился выразить покорность на своем массивном неподвижном лице.

— Два матроса… тридцать часов они там стояли. Два! — Он приподнял правую руку и вытянул два пальца.

То был первый жест, сделанный им в моем присутствии. Это дало мне возможность заметить зарубцевавшийся шрам на руке — несомненно, след ружейной пули; а затем — словно зрение мое благодаря этому открытию обострилось — я увидел рубец старой раны, начинавшийся чуть-чуть ниже виска и прятавшийся под короткими седыми волосами на голове, — царапина, нанесенная копьем или саблей. Снова он сложил руки

---

[17] Примечания: 17
Разумеется… Слава богу! *(фр.)*

на животе.

— Я пробыл на борту этой, этой… память мне изменяет (s'en va. Ah! Patt-nà! C'est bien ça. Patt-nà. Merci.) Забавно, как все забывается. Я пробыл на борту этого судна тридцать часов…

— Вы! — воскликнул я.

По-прежнему глядя на свои руки, он слегка выпятил губы, но на этот раз не присвистнул.

— Сочли нужным, — сказал он, бесстрастно поднимая брови, — чтобы один из офицеров остался на борту и наблюдал (pour ouvrir l'œil…), — он вяло вздохнул, — и сообщался посредством сигналов с буксирующим судном, — понимаете? Таково было и мое мнение. Мы приготовили свои шлюпки к спуску, и я на том судне также принял меры… Enfin! Сделали все возможное. Положение было затруднительное. Тридцать часов. Они мне дали чего-то поесть. Что же касается вина, то хоть шаром покати — нигде ни капли.

Каким-то удивительным образом, нимало не изменяя своей инертной позы и благодушного выражения лица, он ухитрился изобразить свое глубокое возмущение.

— Я, знаете ли, когда дело доходит до еды и нельзя получить стакан вина… я ни к черту не годен.

Я испугался, как бы он не распространился на эту тему, ибо, хотя он не пошевельнулся и глазом не моргнул, видно было, что это воспоминание сильно его раздражило. Но он, казалось, тотчас же позабыл об этом. Они сдали судно «властям порта», как он выразился. Его поразило то спокойствие, с каким судно было принято.

— Можно подумать, что такие забавные находки (drôle de trouvaille) им доставляли каждый день. Удивительный вы народ, — заметил он, прислоняясь спиной к стене; вид у него был такой, словно он не более, чем куль муки, способен проявлять свои эмоции.

В то время в гавани случайно находились военное судно и индийский пароход, и он не скрыл своего восхищения тем, с какой быстротой шлюпки этих двух судов освободили «Патну» от ее пассажиров. Вид у него был тупо-равнодушный, и тем не менее он был наделен той таинственной, почти чудесной способностью добиваться эффекта, пользуясь неуловимыми средствами, — способностью, которая является последним словом искусства.

— Двадцать пять минут… по часам… двадцать пять, не больше…

Он разжал и снова переплел пальцы, не снимая

рук с живота, и этот жест был гораздо внушительнее, чем если бы он изумленно воздел руки к небу.

— Всех этих людей (tout ce monde) высадили на берег… и пожитки свои они забрали… никого не осталось на борту, кроме отряда морской пехоты (marins de l'Etat) и этого занятного трупа (cet intéressant cadavre). За двадцать пять минут все было сделано…

Опустив глаза и склонив голову набок, он словно смаковал такую расторопность. Без лишних слов он дал понять, что его одобрение чрезвычайно ценно, а затем снова застыл в прежней позе и сообщил мне, что, следуя инструкции возможно скорее явиться в Тулон, они покинули порт через два часа…

— …И таким образом (de sorte que) многие детали этого эпизода моей жизни (dans cet épisode de ma vie) остались невыясненными.

Глава XIII

Произнеся эти слова и не меняя позы, он, если можно так выразиться, пассивно перешел в стадию молчания. Я составил ему компанию; и вдруг снова раздался его сдержанный хриплый голос, словно пробил час, когда ему полагалось нарушить молчание. Он сказал:

— Mon Dieu! Как время-то идет!

Ничто не могло быть банальнее этого замечания, но для меня оно совпало с моментом прозрения. Удивительно, как мы проходим сквозь жизнь с полузакрытыми глазами, притупленным слухом, дремлющими мыслями. Пожалуй, так оно и должно быть; и, пожалуй, именно это отупение делает жизнь для огромного большинства людей такой сносной и такой желанной. Однако лишь очень немногие из нас не ведали тех редких минут пробуждения, когда мы внезапно видим, слышим, понимаем многое — все, — пока снова не погрузимся в приятную дремоту. Я поднял глаза, когда он заговорил, и увидел его так, как не видел раньше. Увидел его подбородок, покоящийся на груди, складки неуклюжего мундира, руки, сложенные на животе, неподвижную

позу, так странно и красноречиво говорившую о том, что его здесь попросту оставили и забыли. Время действительно проходило: оно нагнало его и ушло вперед. Оно его оставило безнадежно позади с несколькими жалкими дарами — седыми волосами, усталым загорелым лицом, двумя шрамами и парой потускневших погон. Это был один из тех стойких, надежных людей, которых хоронят без барабанов и труб, а жизнь их — словно фундамент монументальных памятников, знаменующих великие достижения.

— Сейчас я служу третьим помощником на «Victorieuse» (то было флагманское судно французской тихоокеанской эскадры), — представился он, отодвигаясь на несколько дюймов от стены.

Я слегка поклонился через стол и сообщил ему, что командую торговым судном, которое в настоящее время стоит на якоре в заливе Рашкеттер. Он его заметил — хорошенькое судно. Свое мнение он выразил бесстрастно и очень вежливо. Мне даже показалось, что он кивнул головой, повторяя свой комплимент:

— А, да! Маленькое судно, окрашенное в черный цвет… очень хорошенькое… очень хорошенькое (très coquet).

Немного погодя он повернулся всем корпусом

к стеклянной двери направо от нас.

— Скучный город (triste ville), — заметил он, глядя на улицу.

Был ослепительный день, бесновался южный ветер, и мы видели, как прохожие — мужчины и женщины — боролись с ним на тротуарах; залитые солнцем фасады домов по ту сторону улицы закутались в облака пыли.

— Я сошел на берег, — сказал он, — чтобы немножко размять ноги, но…

Он не закончил фразы и погрузился в оцепенение.

— Пожалуйста, скажите мне, — начал он, словно пробудившись, — какова была подкладка этого дела — по существу (au juste)? Любопытно. Этот мертвец, например…

— Там были и живые, — заметил я, — это гораздо любопытнее.

— Несомненно, несомненно, — чуть слышно согласился он, а затем, как будто поразмыслив, прошептал: — Очевидно.

Я охотно сообщил ему то, что лично меня сильнее всего интересовало в этом деле. Казалось, он имел право знать: разве не пробыл он тридцать часов на борту «Патны», не являлся, так сказать, преемником, не сделал «все для него возмож-

ное». Он слушал меня, больше чем когда-либо походя на священника; глаза его были опущены, и, быть может, благодаря этому казалось, что он погружен в благочестивые размышления. Раза два он приподнял брови, не поднимая век, когда другой на его месте воскликнул бы: «Ах, черт!» Один раз он спокойно произнес: «Ah, bah!» — а когда я замолчал, он решительно выпятил губы и печально свистнул.

У всякого другого это могло сойти за признак скуки или равнодушия; но он каким-то таинственным образом ухитрялся, несмотря на свою неподвижность, выглядеть глубоко заинтересованным и преисполненным ценных мыслей, как яйцо полно питательных веществ. Он ограничился двумя словами «очень интересно», произнесенными вежливо и почти шепотом. Не успел я справиться со своим разочарованием, как он добавил, словно разговаривая сам с собой: «Вот оно что. Так вот оно что».

Казалось, подбородок его еще ниже опустился на грудь, а тело огрузло на стуле. Я готов был его спросить, что он этим хотел сказать, когда все его тело слегка заколебалось как бы перед словоизвержением: так легкая рябь пробегает по стоячей воде раньше, чем почувствуешь дуно-

вение ветра.

— Итак, этот бедный молодой человек удрал вместе с остальными, — сказал он с величавым спокойствием.

Не знаю, что вызвало у меня улыбку; то был единственный раз, когда я улыбнулся, вспоминая дело Джима. Почему-то эта простая фраза, подчеркивающая совершившийся факт, забавно звучала по-французски… «S'est enfui avec les autres», — сказал лейтенант. И вдруг я начал восхищаться проницательностью этого человека: он сразу уловил суть дела, обратил внимание только на то, что меня затрагивало. Я как будто выслушивал мнение профессионала об этом деле. С невозмутимым спокойствием эксперта он овладел фактами, всякие сбивающие с толку вопросы казались ему детской игрой.

— Ах, молодость, молодость! — снисходительно сказал он. — В конце концов, от этого не умирают.

— От чего не умирают? — быстро спросил я.

— От страха, — пояснил он и принялся за свой напиток.

Я заметил, что три пальца на его руке не сгибались и могли двигаться только вместе; поэтому, поднимая бокал, он неуклюже захватывал его

рукой.

— Человек всегда боится. Что бы там ни говорили, но… — Он неловко поставил бокал. — Страх, страх, знаете ли, всегда таится здесь…

Он коснулся пальцем груди около бронзовой пуговицы; в это самое место ударил себя Джим, когда уверял, что сердце у него здоровое. Должно быть, он заметил, что я с ним не согласен, и настойчиво повторил:

— Да! Да! Можно говорить что угодно; все это прекрасно, но в конце концов приходится признать, что ты не умнее своего соседа — и храбрости у тебя не больше. Храбрость! Всюду ее видишь. Я таскался (roulé ma bosse), — сказал он, с невозмутимой серьезностью употребляя вульгаризм, — по всему свету. Я видал храбрых людей… и знаменитых… Allez!..

Он небрежно отпил из бокала…

— Понимаете, на службе приходится быть храбрым. Ремесло этого требует (le métier veux ça). Не так ли? — рассудительно заметил он. — Eh bien! Любой человек — я говорю, любой, если только он честен, bien entendu, — признается, что у самого лучшего из нас бывают такие минутки, когда отступаешь (vous lachez tout). И с этим знанием вам приходится жить, понимаете? При известном

стечении обстоятельств страх неизбежно явится. Отвратительный страх (un trac épouvantable)! И даже тот, кто в эту истину не верит, все же испытывает страх — страх перед самим собой. Это так. Поверьте мне. Да, да… В мои годы знаешь, о чем говоришь… que diable!..

Все это он выложил так невозмутимо, словно абстрактная мудрость вещала его устами; теперь это впечатление еще усилилось благодаря тому, что, переплетя руки, он стал медленно вертеть большими пальцами.

— Это очевидно. Parbleu! — продолжал он. — Ибо, как бы решительно вы ни были настроены, простой головной боли или расстройства желудка (un dérangement d'estomac) достаточно, чтобы… Возьмем хотя бы меня… Я прошел через испытания. Eh bien! Я — тот самый, кого вы перед собой видите, — я однажды…

Он осушил свой бокал и снова стал вертеть большими пальцами.

— Нет, нет, от этого не умирают, — произнес он наконец, и, поняв, что он не намерен рассказывать о событии из своей личной жизни, я был сильно разочарован. Тем сильнее было мое разочарование, что неудобно было его расспрашивать. Я сидел молча, и он тоже, словно это

доставляло ему величайшее удовольствие. Даже пальцы его неподвижно застыли. Вдруг губы начали шевелиться.

— Так оно и есть, — благодушно заговорил он, — человек рожден трусом (l'homme est né poltron). В этом загвоздка, parbleu! Иначе жилось бы слишком легко. Но привычка… привычка, необходимость, видите ли, сознание, что на тебя смотрят… voilà. Это помогает справиться с трусостью. А затем пример других, которые не лучше тебя и, однако, держатся бодро…

Он умолк.

— Вы согласитесь, что у молодого человека не было ни одной из этих побудительных причин… в тот момент, во всяком случае, — заметил я.

Он снисходительно поднял брови.

— Я не возражаю, не возражаю. Быть может, у этого молодого человека были прекрасные наклонности, прекрасные наклонности, — повторил он, тихонько посапывая.

— Я рад, что вы подходите так снисходительно, — сказал я. — Он сам лелеял большие надежды и…

Шарканье ног под столом прервало меня. Он поднял тяжелые веки — поднял медленно и както задумчиво, — иначе не скажешь, — и тогда-то

я понял, что он собой представляет. Я увидел два узких серых кружка, словно два крохотных стальных колечка вокруг черных зрачков. Этот острый взгляд грузного человека производил такое же впечатление, как боевая секира с лезвием бритвы.

— Простите, — церемонно сказал он.

Он поднял правую руку и слегка наклонился вперед.

— Разрешите мне… Я допускаю, что человек может преуспевать, хорошо зная, что храбрость его не явится сама собой (ne vient pas tout seul). Из-за этого волноваться не приходится. Еще одна истина, которая жизни не портит… Но честь, честь, monsieur!.. Честь… вот что реально! А чего стоит жизнь, если… — Он грузно и порывисто поднялся на ноги, словно испуганный бык, вылезающий из травы… — если честь потеряна?.. Ah, çà! par exemple — я не могу высказать свое мнение. Я не могу высказать свое мнение, monsieur, потому что об этом я ничего не знаю.

Я тоже встал; и, стараясь принять самые учтивые позы, мы молча стояли друг против друга, словно две фарфоровые собачки на каминной доске. Черт бы побрал этого парня! Он попал в самую точку. Проклятие бессмысленности,

какое подстерегает все человеческие беседы, спустилось и на нашу беседу и превратило ее в пустословие.

— Отлично, — сказал я, смущенно улыбаясь, — но не сводится ли все дело к тому, чтобы не быть пойманным?

Казалось, возражение было у него наготове, но он передумал и сказал:

— Monsieur, для меня это слишком тонко… превосходит мое понимание… Я об этом не думаю.

Он тяжело склонился над своей фуражкой, которую держал за козырек большим и указательным пальцами раненой руки. Я тоже поклонился. Мы поклонились одновременно; мы церемонно расшаркались друг перед другом, а лакей смотрел на нас критически, словно уплатил за представление.

— Serviteur![18] — сказал француз.

Снова мы расшаркались.

— Monsieur…

— Monsieur…

Стеклянная дверь захлопнулась за его широкой спиной. Я видел, как подхватил его южный ветер и погнал вперед; он схватился рукой за голову

---

[18] Примечания: 18
Ваш покорный слуга! *(фр.)*

и сгорбился, а полы мундира шлепали его по ляжкам.

Оставшись один, я снова сел, обескураженный… обескураженный делом Джима. Если вас удивляет, что спустя три года с лишним я продолжал этим интересоваться, то да будет вам известно, что Джима я видел совсем недавно. Я только что вернулся из Самаранга, где взял груз в Сидней: в высшей степени скучное дело, которое вы, Чарли, назовете одной из моих разумных сделок, — а в Самаранге я видел Джима. В то время он, по моей рекомендации, работал у Де Джонга. Служил морским клерком. «Мой представитель на море», — как называл его Де Джонг. Образ жизни, лишенный всякого очарования; пожалуй, с ним может сравниться только работа страхового агента. Маленький Боб Стэнтон — Чарли его знает — прошел через это испытание. Тот самый Стэнтон, который впоследствии утонул, пытаясь спасти горничную при аварии «Сефоры». Быть может, вы помните — в туманное утро произошло столкновение судов у испанского берега. Всех пассажиров своевременно усадили в шлюпки, и они уже отчалили от судна, когда Боб снова подплыл и вскарабкался на борт, чтобы забрать эту девушку. Непонятно, почему ее оста-

вили; во всяком случае, она помешалась — не хотела покинуть судно, в отчаянии цеплялась за поручни. Со шлюпок ясно видели завязавшуюся борьбу; но бедняга Боб был самым маленьким старшим помощником во всем торговом флоте, а мне говорили, что девушка была ростом пять футов десять дюймов и сильна, как лошадь. Так шла борьба: он тянет ее, она — его; девушка все время визжала, а Боб орал, приказывая матросам своей шлюпки держаться подальше от судна. Один из матросов рассказывал мне, скрывая улыбку, вызванную этим воспоминанием:

— Похоже было на то, сэр, как капризный малыш сражается со своей мамашей.

Тот же парень сообщил следующее:

— Наконец мы увидели, что мистер Стэнтон оставил девушку в покое, стоит подле и смотрит на нее. Как мы решили после, он, видно, думал, что волна вскоре оторвет ее от поручней и даст ему возможность ее спасти. Мы не смели приблизиться к борту, а немного погодя старое судно сразу пошло ко дну: накренилось на правый борт и — хлоп! Ужасно быстро его затянуло. Так никто и не всплыл на поверхность — ни живой, ни мертвый.

Недолгая береговая жизнь бедного Боба, ка-

жется, была вызвана каким-то осложнением в любовных делах. Он надеялся, что навсегда покончил с морем и овладел всеми благами земли, но потом все свелось к сбору страховых взносов. Какой-то родственник в Ливерпуле устроил его на это место.

Частенько он рассказывал нам о своих испытаниях. Мы хохотали до слез, а он, довольный эффектом, расхаживал на цыпочках, маленький и бородатый, как гном, и говорил:

— Хорошо вам, ребята, смеяться, но через неделю от такой работы моя бессмертная душа съежилась, как сухая горошина.

Не знаю, как приспособилась к новым условиям жизни душа Джима — слишком я был занят тем, чтобы раздобыть ему работу, которая давала возможность существовать, — но я уверен в одном: его жажда приключений не была удовлетворена, и он испытывал жестокие муки. Это новое занятие не давало его фантазии никакой пищи. Грустно было на него смотреть, но следует отдать ему должное — свое дело он исполнял упорно и невозмутимо. Это жалкое усердие казалось мне карой за фантастический его героизм — искуплением его стремления к славе, которая была ему не по силам. Слишком нравилось ему вооб-

ражать себя великолепной скаковой лошадью, а теперь он обречен был трудиться без славы, как осел уличного торговца. Он справлялся с этим прекрасно: замкнулся в себе, опустил голову, ни разу не пожаловался. Все было бы хорошо, если бы не бурные вспышки, происходившие всякий раз, когда всплывало на поверхность злосчастное дело «Патны». К сожалению, этот скандал восточных морей не забывался. Вот почему я все время чувствовал, что еще не покончил с Джимом.

Когда ушел французский лейтенант, я погрузился в размышления о Джиме; однако эти воспоминания не были вызваны последней нашей встречей в прохладной и мрачной конторе Де Джонга, где не так давно мы наспех обменялись рукопожатием, нет, я видел его таким, как несколько лет назад, когда мы были с ним вдвоем в длинной галерее отеля «Малабар»; тускло мерцала догоравшая свеча, а за его спиной стояла прохладная, темная ночь. Меч правосудия его родины навис над его головой. Завтра — или сегодня, ибо полночь давно миновала, — председатель с мраморным лицом покончит с делом о нападении и избиении, определит размер штрафов и сроки тюремного заключения, а затем поднимет страшное оружие и ударит по его скло-

ненной шее. Наша беседа в ночи напоминала последнее бдение с осужденным человеком. И он был виновен. Я повторял себе, что он виновен, — виновный и погибший человек. Тем не менее мне хотелось избавить его от пустой детали формального наказания. Не стану объяснять причины — не думаю, что я бы смог это сделать. Но если к этому времени вы не сумели понять причину, значит рассказ мой был очень туманен или вы слишком сонливы, чтобы вникнуть в смысл моих слов. Я не защищаю своих моральных устоев. Ничего морального не было в том импульсе, какой побудил меня открыть ему во всей примитивной простоте план бегства, задуманный Брайерли. И рупии имелись наготове — в моем кармане, и были к его услугам. О, заем, конечно заем! И если понадобится рекомендательное письмо к одному человеку (в Рангуне), который может предоставить ему работу по специальности… о, я с величайшим удовольствием! В моей комнате, во втором этаже есть перо, чернила, бумага… И пока я это говорил, мне не терпелось начать письмо: день, месяц, год, 2 ч. 30 м. пополуночи… пользуясь правами старой дружбы, прошу вас предоставить какую-нибудь работу мистеру Джеймсу такому-то, в котором

я... и так далее. Я даже готов был писать о нем в таком тоне. Если он и не завоевал моих симпатий, то он сделал больше, — он проник к самым истокам этого чувства, затронул тайные пружины моего эгоизма. Я ничего от вас не скрываю, ибо, вздумай я скрытничать, мой поступок показался бы возмутительно непонятным. А затем завтра же вы позабудете о моей откровенности, так же как забыли о других уроках прошлого. В этих переговорах, выражаясь грубо и точно, я был безупречно честным человеком; но мои тонкие безнравственные намерения разбились о моральное простодушие преступника. Несомненно, он тоже был эгоистичен, но его эгоизм был более высокой марки и преследовал более возвышенную цель. Я понял: что бы я ни говорил, он хочет вынести всю процедуру возмездия, и я не стал тратить много слов, так как почувствовал, что в этом споре его молодость грозно восстанет против меня: он верил, когда я перестал даже сомневаться. Было что-то прекрасное в безумии его неясной, едва брезжившей надежды.

— Бежать! Это немыслимо, — сказал он, покачав головой.

— Я делаю вам предложение и не прошу и не жду никакой благодарности, — проговорил я. —

Вы уплатите деньги, когда вам будет удобно, и…

— Вы ужасно добры, — пробормотал он, не поднимая глаз.

Я внимательно к нему приглядывался: будущее должно было ему казаться страшным и туманным; но он не колебался, как будто и в самом деле с сердцем у него все обстояло благополучно. Я рассердился — не в первый раз за эту ночь.

— Мне кажется, — сказал я, — вся эта злосчастная история в достаточной мере неприятна для такого человека, как вы…

— Да, да… — прошептал он, уставившись в пол.

В этом было что-то душераздирающее. Он был освещен снизу, и я видел пушок на его щеке, горячую кровь, окрашивающую гладкую кожу лица. Хотите — верьте, хотите — не верьте, но это было душераздирающе. Я почувствовал озлобление.

— Да, — сказал я, — и разрешите мне признаться, что я отказываюсь понимать, какую выгоду надеетесь вы получить от этого барахтанья в навозе.

— Выгоду! — прошептал он.

— Черт бы меня побрал, если я понимаю! — воскликнул я, взбешенный.

— Я пытался вам объяснить, в чем тут дело, — медленно заговорил он, словно размышляя о

чем-то, на что нет ответа. — Но в конце концов — это моя забота.

Я открыл рот, чтобы возразить, и вдруг обнаружил, что лишился всей своей самоуверенности; как будто и он тоже от меня отказался, он забормотал, как бы размышляя вслух:

— Удрали… удрали в госпиталь… ни один из них не пошел на это… Они!..

Он сделал презрительный жест.

— Но мне приходится это выдержать, и я не должен отступать, или… Я не отступлю.

Он замолчал. Вид у него был такой, словно его преследуют призраки. На лице его отражались эмоции — презрение, отчаяние, решимость — отражались поочередно, как отражаются в магическом зеркале скользящие неземные образы. Он жил, окруженный обманчивыми призраками, суровыми тенями.

— О, вздор, дорогой мой! — начал я.

Он сделал нетерпеливое движение.

— Вы как будто не понимаете, — сказал он резко, потом посмотрел на меня в упор: — Я мог прыгнуть, но я не убегу.

— Я не хотел вас обидеть, — сказал я и глупо добавил: — Случалось, что люди получше вас считали нужным бежать.

Он густо покраснел, а я в смущении чуть не подавился собственным своим языком.

— Быть может, так, — сказал он наконец. — Я недостаточно хорош; я не могу это себе позволить. Я обречен бороться до конца, сейчас я веду борьбу.

Я встал со стула и почувствовал, что все тело у меня онемело. Молчание приводило в замешательство, и, желая положить ему конец, я ничего лучшего не придумал, как заметить небрежным тоном:

— Я и не подозревал, что так поздно…

— Ну что ж, хватит с вас, — сказал он отрывисто; сказать по правде, он озирался, разыскивая шляпу, — и с меня хватит.

Да, он отказался от этого предложения, единственного в своем роде. Он отстранил руку помощи; теперь он готов был уйти, а за балюстрадой ночь — неподвижная, как будто подстерегающая его, словно он был намеченной добычей. Я услышал его голос:

— А, вот она!

Он нашел свою шляпу. Несколько секунд мы молчали.

— Что вы будете делать после… после?.. — спросил я очень тихо.

— Вероятно, отправлюсь ко всем чертям, — угрюмо пробормотал он.

Рассудок ко мне вернулся, и я счел нужным не принимать его ответа всерьез.

— Пожалуйста, помните, — сказал я, — что мне бы очень хотелось еще раз увидеть вас до вашего отъезда.

— Не знаю, что может вам помешать. Эта проклятая история не сделает меня невидимым, — сказал он с горечью, — на это рассчитывать не приходится.

А потом, в момент расставания он начал бормотать, заикаться, нерешительно жестикулировать, явно колебаться. Да будет это прощено ему… Мне! Он вбил себе в голову, что я, пожалуй, не захочу пожать ему руку. Это было так ужасно, что я не находил слов. Кажется, я вдруг закричал на него, как кричат человеку, который на ваших глазах собирается шагнуть со скалы в пропасть. Помню наши повышенные голоса, жалкую улыбку на его лице, до боли крепкое рукопожатие, нервный смех. Свеча с шипением погасла; наконец закончилось наше свидание; снизу, из темноты донесся стон.

Джим ушел. Ночь поглотила его фигуру. Он был ужасный путаник. Ужасный! Я слышал, как песок

скрипел под его ногами. Он бежал. Действительно бежал, хотя ему некуда было идти. И ему не было еще двадцати четырех лет.

Глава XIV

Я спал мало, быстро покончил с завтраком и после недолгих колебаний отказался от утреннего посещения своего судна. Поступок предосудительный, ибо мой старший помощник — во всех отношениях человек прекрасный — был жертвой своего воображения и, не получая вовремя письма от жены, сходил с ума от ревности и злобы, забывал о работе, ссорился с матросами и плакал в своей каюте или приходил в такое бешенство, что мог довести команду до мятежа. Такое поведение всегда казалось мне необъяснимым: они были женаты тринадцать лет; один раз я мельком ее видел и, по чести, не мог представить себе человека, который впал бы в грех ради столь непривлекательной особы. Не знаю, правильно ли я поступал, скрывая свои соображения от бедняги Селвина: парень устроил себе ад на земле, это отражалось и на мне — и я страдал, но какая-то, несомненно ложная, деликатность сковывала мне язык. Супружеские узы моряков являются интересной темой, и я бы мог привести вам примеры… Однако сейчас не время и не место, и мы заняты Джимом, который был холост.

Если его чувствительная совесть или гордость, если все экстравагантные призраки и суровые тени — роковые спутники его юности — не позволяли ему бежать от плахи, то меня, которому, конечно, нельзя приписать таких спутников, непреодолимо влекло пойти и посмотреть, как покатится его голова.

Я отправился в суд. Я не ждал сильных впечатлений или ценных сведений, не думал, что буду заинтересован или испуган, хотя, пока жив человек, страх является дисциплиной спасительной, — но не ждал я и такого угнетенного состояния. Горечь его возмездия словно пропитала затхлый воздух в суде. Подлинный смысл преступления заключается в нарушении той веры, какой живет общество и человечество, и с этой точки зрения он не был низким предателем — казнь не была публичной. Не было ни высокого эшафота, ни алого сукна (имеется ли алое сукно на Тауэр-Хилл? Следовало бы его иметь!), ни пораженной ужасом толпы, которая возмущена его преступлением и тронута до слез его судьбой. Наказание не носило характера мрачного возмездия. Я шел в суд и видел яркий солнечный свет, блеск слишком яркий, чтобы он мог действовать успокоительно, на улицах смешение красок,

словно в испорченном калейдоскопе: желтой, зеленой, синей, ослепительно-белой; коричневое обнаженное плечо; повозка с красным навесом, запряженная волом; отряд туземной пехоты, марширующий по улице, — темные головы, пыльные зашнурованные ботинки; туземный полисмен в темном узком мундире, подпоясанный лакированным поясом; он посмотрел на меня своими восточными скорбными глазами, словно его переселяющаяся душа бесконечно страдала от непредвиденного… как это называется?.. *аватар* — воплощения. В тени одинокого дерева во дворе суда деревенские жители, призванные по делу о нападении, сидели живописной группой, напоминая хромолитографию лагеря в книге о путешествии по Востоку. Не хватало только неизбежных клубов дыма на переднем плане да вьючных животных, пасущихся поодаль. Сзади, нависая над деревом, поднималась желтая стена, отражая солнечный свет. В зале суда было темно и как будто более просторно. Высоко в тусклом свете под потолком вертелись пунки. Кое-где между рядами незанятых скамей виднелась задрапированная фигура человека, неподвижного, словно погруженного в благочестивые размышления, казавшегося карликом в этих голых стенах. Истец

— тот, кого избили, — тучный, шоколадного цвета, с бритой головой и обнаженным жирным плечом, с ярко-желтым значком касты над переносицей, сидел напыщенный и неподвижный; только ноздри его раздувались да глаза сверкали в полумраке. Брайерли тяжело опустился на стул; вид у него был изнуренный, как будто он провел ночь, бегая на корде. Благочестивый шкипер парусного судна, казалось, был возбужден и смущенно ерзал, словно сдерживая желание встать и пламенно призвать нас к молитве и раскаянию. Лицо председателя, бледное, — волосы были аккуратно зачесаны, — походило на лицо тяжелобольного, которого умыли, причесали и усадили на постели, подперев подушками. Он отодвинул вазу с цветами — пурпуровый букет, а над ним несколько длинных стеблей с розовыми цветками, — и, взяв обеими руками лист голубой бумаги, пробежал его глазами, оперся локтями о край стола и стал читать вслух ровным голосом, внятно и равнодушно.

Клянусь богом! Несмотря на мои глупые размышления об эшафоте и падающих головах, уверяю вас, это было несравненно хуже, чем гильотинирование. Нависло тяжелое предчувствие конца без надежды на отдых и покой, какого

ждешь за взмахом топора. В этой процедуре была холодная мстительность смертного приговора и жестокость изгнания. Вот как смотрел я на нее в то утро, и даже теперь я нахожу достаточные основания для такой обостренной реакции на эту процедуру. Можете себе представить, как остро воспринимал я ее в то время. Быть может, потому-то я и не мог примириться с неизбежным концом. Об этом деле я никогда не забывал, всегда жадно о нем размышляя, словно оценка его еще не была дана — оценка отдельных людей и всего человечества! Этого француза, например. Приговор его страны был вынесен в бесстрастной и строго определенной фразе, какую могла бы произнести машина, если бы умела говорить. Лицо председателя было наполовину скрыто бумагой; виднелся его лоб, белый, как алебастр.

Перед судом стояло несколько вопросов. Прежде всего — было ли судно во всех отношениях пригодно к плаванию? На это суд ответил: нет. Помню следующий вопрос: управляли ли судном надлежащим образом до момента катастрофы? На это они ответили: да, — одному богу известно почему, — а затем заявили, что нет данных точно установить причину аварии. Должно быть, оно наткнулось на плавучее разбитое судно. Помню,

примерно в то время пропал без вести норвежский барк с грузом строевого леса; в шквал такого рода судно легко могло опрокинуться и в течение многих месяцев плавать вверх килем, — нечто вроде морского вампира, во мраке подстерегающего суда. Такие скитающиеся трупы часто встречаются в северных водах Атлантического океана, где вас преследуют все чудища моря — туманы, ледяные горы, мертвые суда, одержимые злобными намерениями, и длительные, зловещие бури, которые цепляются за судно, как вампир, пока не иссякнут сила, мужество, даже надежда и человек не почувствует себя опустошенным. Но там, в тех морях такое происшествие — редкость, и казалось, всю эту историю специально подстроило злостное провидение; дело это производило впечатление совершенно бессмысленной чертовщины, разве что провидение задалось целью убить кочегара и навлечь на Джима беду похуже смерти.

Эти мысли отвлекли мое внимание, и сначала я лишь смутно слышал голос председателя, но затем звуки стали складываться в отчетливые слова…

«…Пренебрегли своим долгом», — читал он. Следующей фразы я не разобрал. «…Покинули в

минуту опасности доверенных им людей и имущество…» — продолжал он и замолк. Глаза под белым лбом бросили мрачный взгляд поверх листа бумаги. Я поспешно стал разыскивать Джима, словно ждал, что он исчезнет. Нет, он сидел на своем месте неподвижный. Он сидел, розовый, белокурый и очень внимательный.

«Поэтому…» — выразительно начал голос. Джим, приоткрыв рот, ловил слова человека, сидевшего за столом. Эти слова врывались в тишину, нарушаемую лишь вертящимися пунками, а я, следя за тем, какое они производят на него впечатление, улавливал только отрывочные фразы приговора.

«Суд… Густав такой-то, шкипер… немец по происхождению… Джеймс такой-то… штурман… свидетельства аннулированы».

Наступило молчание. Председатель положил бумагу, оперся о ручку кресла и спокойно стал разговаривать с Брайерли. Публика двинулась к выходу, я тоже направился к дверям. Выйдя за дверь, я остановился, и, когда Джим проходил мимо меня, я поймал его за рукав и удержал. Взгляд, какой он бросил, расстроил меня, словно на мне лежала ответственность за его состояние: он посмотрел на меня так, будто я был воплоще-

нием зла.

— Все кончено, — запинаясь, выговорил я.

— Да, — сказал он хрипло. — И теперь пусть ни один человек…

Он рванулся и высвободил руку. Я смотрел ему вслед. Улица была длинная, и я долго видел вдали его спину. Он шел медленно, широко расставляя ноги, словно ему трудно было идти по прямой линии. Перед тем как я потерял его из виду, мне показалось, что он пошатнулся.

— Человек за бортом! — раздался низкий голос за моей спиной. Оглянувшись, я увидел Честера из Западной Австралии, с которым был немного знаком. Он также смотрел вслед Джиму. Это был человек с необъятно широкой грудью, грубым, гладко выбритым лицом цвета красного дерева и двумя жесткими пучками серых, толстых, как проволока, волос на верхней губе. Он скупал жемчуг, приводил к берегу потерпевшие крушение суда, торговал, занимался, кажется, даже китобойным промыслом; по его словам, он испробовал все профессии, какие возможны на море, и не занимался только пиратством. Тихий океан на севере и на юге служил ему полем для охоты, но теперь он покинул свои владения в поисках дешевого парохода. Не так давно он, по его

словам, открыл где-то остров с гуано, но доступ к нему был труден, а якорная стоянка, если таковая имелась, была отнюдь не безопасна.

— Дело богатое, не хуже золотой жилы! — восклицал он. — Как раз среди рифов Уолпол, а если и правда, что якорь можно бросить лишь на глубине сорока сажень, — то что за беда? Бывают там и ураганы. Но дело — первый сорт. Не хуже золотой жилы. Лучше! Однако ни один из этих дураков не хочет за него взяться. Я не могу найти ни шкипера, ни судовладельца, которые согласились бы отправиться туда. Вот я и решил сам развозить свой товар.

Для этого ему нужен был пароход, и я знаю, что в то время он с энтузиазмом торговался с одной парской[19] фирмой, продававшей старую, оснащенную как бриг, развалину в девяносто лошадиных сил. Мы несколько раз встречались и разговаривали. Он многозначительно посмотрел вслед Джиму.

— Принимает близко к сердцу? — презрительно спросил он.

— Очень близко, — сказал я.

— Значит, он никуда не годится, — высказал

---

[19] Примечания: 19

Парсы — индийцы, исповедующие религию древних персов — зороастризм.

свое мнение Честер. — Стоит ли волноваться из-за такого пустяка? Разве это мужчина! Вы должны брать вещи такими, как они есть; если этого не делаете, лучше сразу сдавайтесь. Все равно вы никогда ничего путного в этом мире не добьетесь. Посмотрите на меня. Я взял себе за правило ничего не принимать близко к сердцу.

— Да, — сказал я, — вы видите вещи такими, как они есть.

— Хотел бы я встретить сейчас моего компаньона, — пробормотал он. — Знаете моего компаньона? Старый Робинсон. Да, тот самый Робинсон. Как, вы не знаете? Известный Робинсон. Человек, который провез контрабандой больше опиума и в свое время захватил больше котиков, чем кто бы то ни было из нынешних парней. Говорят, он абордировал шхуны, охотившиеся за котиками у берегов Аляски, когда туман был такой густой, что только Господь Бог мог отличить одного человека от другого. Страшный Робинсон. Вот он кто такой. Он — мой компаньон в этом деле с гуано. Такой блестящий случай впервые выпал ему в жизни.

Он зашептал мне на ухо:

— Каннибал? Да, так его прозвали много лет назад. Помните эту историю? Кораблекрушение

у западного берега острова Стьюарта. Семь человек добрались до берега; кажется, они между собой не поладили. Иные люди бывают слишком привередливы… не видят лучшей стороны дела, не умеют брать вещи такими, как они есть… как они есть, приятель! А каковы результаты? Ясно. Неприятности, а может быть, и удар по голове; и это им на пользу. От таких людей больше проку, когда они мертвые. Рассказывают, что шлюпка с судна «Росомаха» нашла его стоящим на коленях среди водорослей; он был в чем мать родила и распевал какой-то псалом, а в то время падал снежок. Когда шлюпка подошла к берегу, он вскочил и убежал. Целый час гонялись они за ним по валунам, наконец один из матросов швырнул камень, который, по счастью, попал ему в голову за ухом, и парень упал без чувств. Один ли он был на острове? Конечно. Но это такое же темное дело, как и история со шхунами, занимавшимися охотой на котиков. Никому не известно, кто здесь прав, кто виноват. На катере расспросами не занимались. Они завернули его в брезент и поскорей отплыли, так как надвигалась ночь, погода была угрожающая, а судно через каждые пять минут давало сигналы из орудий. Три недели спустя он был здоровехонек. Шум, поднятый

по поводу этого дела, нимало его не расстроил; он только сжал губы и предоставил людям орать вволю. Достаточно скверно было потерять судно и все имущество, чтобы еще обращать внимание на ругательства, какими его осыпали. Вот это подходящий для меня человек.

Он поднял руку, подавая знак кому-то шедшему по улице.

— У него есть кое-какие средства; вот почему мне пришлось принять его в дело. Пришлось! Грешно было бы прозевать такую находку, а у меня в кармане было пусто. Меня это больно задело, но я беру вещи такими, как они есть, и, полагаю, если мне уже приходится с кем-то делиться, то подайте мне Робинсона. Я оставил его завтракать в отеле, а сам отправился в суд, так как мне пришло кое-что на ум… А, доброе утро, капитан Робинсон… Мой друг, капитан Робинсон.

Тощий патриарх — в белом тиковом костюме и в индийском, с зеленым ободком, шлеме на трясущейся от старости голове — рысцой, но волоча ноги, перебежал через улицу, подошел к нам и остановился, держась обеими руками за ручку зонтика. Белая борода, в которой запутались янтарные нити, спускалась до пояса. С недоуменным видом он, моргая, смотрел на меня

из-под морщинистых век.

— Как поживаете? Как поживаете? — любезно пискнул он и пошатнулся.

— Глуховат немного, — бросил мне Честер.

— Неужели вы тащили его за шесть тысяч миль, чтобы заполучить дешевый пароход? — спросил я.

— Я бы готов был два раза объехать с ним вокруг света! — энергично воскликнул Честер. — Пароход поставит нас на ноги, приятель. Разве моя вина в том, что все шкиперы и судовладельцы на этих островах Австралазии оказались круглыми дураками? Как-то раз я три часа говорил с одним человеком в Окленде.

«Пошлите судно, — сказал я, — пошлите судно. Я отдам вам даром половину первого груза, только чтобы начало было положено».

А он говорит: «Я бы этого не сделал, даже если бы не было на свете другого местечка, куда можно послать судно».

Форменный осел, конечно. Скалы, течения, нет якорной стоянки, приходится лежать в дрейфе у крутого утеса… ни одно страховое общество не пойдет на такой риск… за три года не удастся погрузиться. Осел! Я готов был на колени перед ним упасть.

«Но посмотрите же на дело, как оно есть, — сказал я. — К черту скалы и ураганы! Разве не видите, что это за дело? Ведь там гуано! Говорю вам, в Куинсленде владельцы сахарных плантаций будут за него драться — драться на набережной...»

Но что поделаешь с таким дураком?

«Это, говорит, одна из ваших шуточек. Честер...»

Шуточка! Я чуть не заплакал. Вот спросите капитана Робинсона... Был еще один судовладелец в Уэллингтоне — жирный парень в белом жилете. Тот думал, кажется, что я хочу его надуть.

«Не знаю, какого дурака вы ищете, — сказал он, — но сейчас я слишком занят. До свиданья».

Мне хотелось схватить его обеими руками и вышвырнуть в окно его собственной конторы. Но я этого не сделал. Я был кроток, как священник.

«Подумайте об этом, — сказал я, — подумайте. Я зайду завтра».

Он проворчал, что его целый день не будет дома. На лестнице я готов был от досады биться головой об стенку. Вот капитан Робинсон может подтвердить. Ужасно было думать, что такое прекрасное гуано валяется зря, ведь оно могло бы черт знает как поднять цены на сахарный тростник. Ведь это был бы расцвет Куинсленда! А

в Брисбене, куда я отправился, чтобы сделать последнюю попытку, меня назвали сумасшедшим. Идиоты! Я нашел только одного разумного человека — извозчика, который меня возил по городу. Думаю, он когда-то знал лучшие времена. Эй! Капитан Робинсон! Помните, я вам рассказывал об извозчике в Брисбене? Парень удивительно умел вникать в суть дела. В одну секунду все понял. Истинное удовольствие было с ним разговаривать. Как-то вечером, после чертовского дня, проведенного с судовладельцами, я почувствовал себя так скверно, что сказал: «Я должен напиться. Идем! Я должен напиться, иначе я сойду с ума».

«Я с вами, — говорит он, — вперед!»

Не знаю, что бы я без него делал. Эй! Капитан Робинсон!

Он ткнул в бок своего компаньона.

— Хи-хи-хи! — засмеялся старец, тупо глядя вдоль улицы; потом недоверчиво посмотрел на меня своими печальными тусклыми глазами. — Хи-хи-хи!..

Он тяжело оперся о зонтик и уставился в землю. Я думаю, нечего вам говорить, что я несколько раз пытался уйти, но Честер всякую попытку обрекал на неудачу, попросту хватая меня за китель.

— Одну минуту. У меня есть кое-что на уме.

— Что еще там у вас на уме? — крикнул я наконец, не выдержав. — Если вы думаете, что я войду с вами в компанию…

— Нет, нет, приятель! Слишком поздно, даже если бы вы захотели. У нас есть пароход.

— У вас есть призрак парохода, — сказал я.

— Для начала и он будет хорош… Мы не занимаемся высокопарными бреднями. Этого у нас нет; что скажете, капитан Робинсон?

— Нет! Нет! Нет! — не поднимая глаз, прокаркал старик, и голова его старчески затряслась с какой-то свирепой решимостью.

— Кажется, вы знаете этого молодого человека, — сказал Честер, кивая в ту сторону, где давно уже скрылся из виду Джим. — Мне говорили, что вчера вечером он обедал с вами в «Малабаре».

Я отвечал, что это правда. Тогда он заявил, что и сам любит пожить на широкую ногу, со вкусом, но в настоящее время вынужден беречь каждое пенни…

— Деньги нужны для дела! Не так ли, капитан Робинсон? — сказал он, выпрямляясь и поглаживая свои щетинистые усы. А знаменитый Робинсон, покашливая, вцепился в ручку зонтика и, казалось, готов был рассыпаться в кучу старых костей.

— Видите ли, все деньги у старика, — конфиденциально шепнул Честер. — Я все просадил, стараясь организовать это проклятое дело. Но подождите, подождите. Скоро настанут хорошие времена…

Он как будто удивился, заметив, что я проявляю признаки нетерпения, и воскликнул:

— Ах, черт возьми! Я вам рассказываю о величайшем предприятии, какое когда-либо замышлялось, а вы…

— У меня деловое свидание с одним человеком, — кротко пояснил я.

— Ну так что ж? — спросил он с неподдельным изумлением. — Пусть подождет.

— Я и заставляю его ждать, — заметил я. — Вы лучше скажите, что вам от меня нужно.

— Купить двадцать таких отелей, — бормотал про себя Честер, — со всеми жильцами… двадцать и еще столько же…

Неожиданно он поднял голову:

— Мне нужен этот молодой человек.

— Не понимаю, — сказал я.

— Он никуда не годится, верно? — резко спросил Честер.

— Мне это неизвестно, — возразил я.

— Как… да ведь вы сами говорили, что он

принимает это близко к сердцу, — пояснил Честер. — По моему мнению, парень, который… Во всяком случае, толку от него мало, но, видите ли, я как раз ищу сейчас человека, и у меня есть предложение, которое ему подойдет. Я ему дам работу на моем острове.

Он внушительно кивнул головой.

— Я собираюсь отправить туда сорок кули… хотя бы мне пришлось их украсть. Должен же кто-нибудь возиться с гуано! О, я решил устроить все как следует: деревянный сарай, крыши из рифленого железа… Я знаю одного человека в Хобарте, который согласится ждать шесть месяцев уплаты за материал. Я это сделаю, клянусь честью. А затем — снабжение водой. Нужно будет порыскать и поискать кого-нибудь, кто бы дал мне с полдюжины старых железных резервуаров. Собирать дождевую воду, а?.. Я готов дать ему место. Назначу его старшим надсмотрщиком над кули. Хорошая мысль, не правда ли? Что вы на это скажете?

— Да ведь на Уолполе по нескольку лет не бывает дождя, — сказал я, слишком изумленный, чтобы смеяться.

Он закусил губу и, казалось, был раздосадован.

— О, это вздор, я что-нибудь там для них при-

думаю… или буду доставлять воду. К черту! Не в этом дело.

Я молчал. Перед моими глазами неожиданно встало видение: Джим на залитом солнцем скалистом острове стоит по колена в гуано; пронзительные крики морских птиц; раскаленный добела шар солнца над головой; пустынное небо и пустынный океан, трепещущие, опаленные до самого горизонта.

— Я бы злейшему своему врагу не посоветовал… — начал я.

— Что с вами такое? — вскричал Честер. — Я думаю назначить ему хорошее жалованье… конечно, когда дело наладится. А работа пустячная — попросту ничего не делать. Будет расхаживать с двумя шестизарядными револьверами у пояса… Имея при себе два револьвера, он может не бояться сорока кули: ведь он будет единственным вооруженным человеком. Дело значительно лучше, чем кажется. Я хочу, чтобы вы помогли мне его уговорить.

— Нет! — крикнул я.

Старый Робинсон уныло поднял на секунду свои тусклые глаза. Честер посмотрел на меня с бесконечным презрением.

— Значит, вы бы не стали ему советовать? —

медленно проговорил он.

— Конечно нет, — ответил я с негодованием, словно он просил моей помощи, чтобы убить кого-то. — Кроме того, я уверен, что он бы не согласился. Он очень подавлен, но, насколько мне известно, — в своем уме.

— Ведь он действительно ни на что не годен, — вслух размышлял Честер. — Мне бы он как раз подошел. Если бы вы только принимали вещи такими, какие они есть, вы бы поняли, что это самое подходящее для него дело. Помимо этого… Как! Да ведь это единственный в своем роде случай!

Вдруг он рассердился:

— Мне нужен человек. Слышите!..

Он топнул ногой; на лице его появилась неприятная усмешка.

— Во всяком случае, я могу поручиться, что остров не затонет… а парень, кажется, на этот счет чувствителен.

— До свидания, — коротко сказал я.

Он посмотрел на меня так, словно я был круглым дураком.

— Пора нам в путь, капитан Робинсон! — заорал он вдруг в самое ухо старику. — Эти парсы нас ждут, чтобы заключить сделку.

Он решительно взял своего компаньона под

руку, повернул его кругом, а затем неожиданно оглянулся на меня через плечо.

— Я хотел ему оказать услугу, — заявил он таким тоном, что я вскипел.

— Не благодарю вас — от его имени, — отозвался я.

— О, вы чертовски язвительны! — огрызнулся он. — Но вы такой же, как и все. Витаете в облаках. Посмотрим, что вы для него сделаете.

— Не знаю, есть ли у меня охота вообще что-нибудь для него делать.

— Не знаете? — захлебнулся он со злости. Седые усы его свирепо ощетинились, а подле него знаменитый Робинсон, опираясь на зонт, стоял, повернувшись ко мне спиной, терпеливый и неподвижный, словно заезженная извозчичья кляча.

— Я не нашел острова с гуано, — сказал я.

— Убежден, что вы бы его и не увидели, даже если бы вас подвели к нему за руку, — быстро парировал тот. — Здесь нужно сначала увидеть вещь, а потом ее использовать. Проникнуть в самую суть — вот что!

— И заставить других увидеть, — подсказал я, бросив взгляд на согбенную спину Робинсона.

Честер набросился на меня:

— Не беспокойтесь, у него глаза хорошие. Он — не щенок.

— О господи, конечно! — сказал я.

— Идемте, капитан Робинсон! — заорал он, с грубоватой почтительностью заглядывая старику под шляпу.

Страшный Робинсон покорно подпрыгнул. Их ждал призрак парохода и богатство на том прекрасном острове! То была любопытная пара аргонавтов. Честер шагал не спеша, с видом победителя, широкоплечий, представительный, а Робинсон, долговязый, худой, согбенный, уцепился за его руку и отчаянно торопился, волоча тощие ноги.

Глава XV

Я не отправился тотчас на поиски Джима потому только, что мне действительно было назначено свидание, которым я не мог пренебрегать. Затем злая судьба подстроила так, что в конторе моего агента я наткнулся на одного парня, только что вернувшегося с Мадагаскара и задумавшего какое-то удивительное предприятие. Оно имело отношение к скоту, патронам и принцу Равонало, но стержнем всего являлась тупость какого-то адмирала, — кажется, адмирала Пьера. Все вертелось вокруг этого, и парень не мог найти слова достаточно убедительные, чтобы выразить свою уверенность в успехе. У него были круглые глаза, выпученные и блестевшие, как у рыбы, и шишки на лбу; волосы, длинные, без пробора, были зачесаны назад. С торжествующим видом он повторял свою излюбленную фразу:

— Минимум риска и максимум прибыли — вот мой девиз. А, что?

Он довел меня до головной боли, испортил мне завтрак, но вытянул из меня все, что ему было нужно. Отделавшись от него, я немедленно отправился к морю.

На набережной я увидел Джима; он стоял, перегнувшись через парапет. Три лодочника-туземца, споривше из-за пяти анна, страшно шумели у него под боком. Он не слышал, как я подошел, но круто повернулся, словно легкое прикосновение моего пальца вывело его из оцепенения.

— Я смотрел… — пробормотал он.

Не помню, что я ему сказал, — во всяком случае, мне не пришлось потратить много слов, чтобы уговорить его идти со мной в отель.

Он последовал за мной, податливый как маленький ребенок, послушно, отнюдь не протестуя, словно ждал, что я приду и уведу его. Мне бы не следовало так удивляться его сговорчивости. На всем земном шаре, который одним кажется таким большим, а другие считают его меньше горчичного семени, не было места, где бы он мог… как это сказать?.. где бы он мог уединиться. Вот именно! Уединиться — остаться со своим одиночеством. Он шел подле меня очень спокойный, поглядывая по сторонам, а один раз повернул голову, чтобы посмотреть на кочегара в короткой куртке и желтоватых штанах; черное лицо кочегара лоснилось и блестело, как кусок антрацита. Я сомневаюсь, однако, видел ли он что-нибудь и замечал ли мое присутствие, ибо если бы я не

поворачивал его налево и не подталкивал направо, он, кажется, шел бы прямо вперед в любом направлении, пока не встала бы перед ним стена или какая-нибудь иная преграда. Я привел его в свою комнату и немедленно сел писать письма. Это был единственный уголок во всем мире (если не считать рифа Уолпол, но этого местечка не было под рукой), где Джим мог остаться наедине со своими мыслями, огражденный от остальной вселенной. Проклятая история — как он выразился — не сделала его невидимым, но я вел себя так, словно для меня он был невидим. Усевшись на стул, я тотчас же склонился над письменным столом, как средневековый писец, и сидел напряженно-неподвижный; только рука моя, сжимавшая перо, скользила по бумаге. Не могу сказать, что я был испуган; но я действительно притаился, словно в комнате находилось какое-то опасное существо, которое при первом моем движении готово на меня прыгнуть. Мебели в комнате было немного — вы знаете обстановку таких спален: что-то вроде кровати на четырех столбиках под сеткой от москитов, два-три стула, стол, за которым я писал; пол не был покрыт ковром. Стеклянная дверь выходила на верхнюю веранду; Джим стоял, повернувшись к ней лицом,

и в одиночестве переживал тяжелые минуты.

Спустились сумерки; я зажег свечу, по возможности избегая лишних движений и делая это с такой осторожностью, словно то была запретная процедура. Несомненно, ему было тяжело; скверно было и мне — скверно до такой степени, что, признаюсь, я мысленно посылал его к черту или хотя бы на риф Уолпол. Раза два мне приходило в голову, что в конце концов Честер, быть может, лучше всех сумел бы подойти к человеку, потерпевшему такое крушение. Этот странный идеалист, тотчас же и не задумываясь, нашел для него практическое применение. Могло показаться, что он и в самом деле умеет видеть подлинное существо вещей, которые человеку, не наделенному таким воображением, представляются таинственными или совершенно безнадежными.

Я писал и писал; я написал всем, с кем поддерживал переписку, а затем стал писать людям, которые не имели ни малейшего основания ждать от меня многословного письма, посвященного пустякам. Изредка я украдкой на него поглядывал. Он стоял, как будто пригвожденный к полу, но судорожная дрожь пробегала у него по спине, а плечи тяжело поднимались. Он бо-

ролся — но, казалось, почти все его усилия были направлены на то, чтобы ловить ртом воздух. Сгущенные тени, отбрасываемые в одну сторону прямым пламенем свечи, словно наделены были сумрачным сознанием; неподвижная мебель показалась мне настороженной. Не переставая усердно писать, я начал фантазировать; когда же на секунду перо мое приостанавливалось и в комнате воцарялась полная тишина, меня томило то смятение мыслей, какое вызывает сильный и грозный шум — например, шторм. Кое-кто из вас поймет, быть может, что я имею в виду то смутное беспокойство, отчаяние и раздражение, тот нарастающий страх, в котором неприятно признаваться; но человек, справляющийся с такими чувствами, может похвастаться своею выносливостью. Я не вижу заслуги в том, что выдерживал напряжение эмоций Джима; я мог найти выход в писании писем; в случае необходимости я мог писать незнакомым людям.

Вдруг, доставая новый лист бумаги, я услышал слабый звук — первый, коснувшийся моего слуха в сумрачной тишине комнаты. Я застыл с опущенной головой. Те, кому приходилось бодрствовать у постели больного, слыхали такие слабые звуки в тишине ночи — звуки, исторгну-

тые у истерзанного тела и истомленной души. Он толкнул стеклянную дверь с такой силой, что стекла зазвенели; он вышел на веранду, а я затаил дыхание, напрягая слух и не зная, чего, собственно, я жду. Он действительно принимал слишком близко к сердцу пустую формальность, которая строгому критику Честеру казалась недостойной внимания человека, умеющего брать вещи как они есть. Пустая формальность: кусок пергамента! Так, так! Что же касается недосягаемого гуано, то тут совсем другое дело. Из-за этого и разумный человек может терзаться.

Слабый гул голосов, смешанный со звоном серебра и посуды, поднимался снизу из столовой; тусклый свет моей свечи падал в открытую дверь на его спину. Дальше был мрак, он стоял на грани необъятной тьмы, словно одинокая фигура на берегу хмурого и безнадежного океана. Правда, был еще риф Уолпол — пятнышко в темной пустоте, соломинка для утопающего. Мое сочувствие к нему выразилось в такой мысли: не хотелось бы, чтобы его родные видели его в этот момент. Мне самому было нелегко. Дрожь, вызванная вздохами, уже не пробегала больше по его спине; он стоял прямой, как стрела, неподвижный, слабо освещенный свечой; всем существом я проник

в смысл этой неподвижности, и мне стало так тяжело, что на секунду я от всего сердца пожелал одного: чтобы мне пришлось заплатить за его похороны. Даже правосудие с ним покончило. Похоронить его — такая легкая услуга! Это соответствовало бы житейской мудрости, которая заключается в том, чтобы устранять все напоминания о нашем безумии, нашей слабости и смертности — все, что ослабляет нашу силу, — воспоминания о наших неудачах, призрак ночного страха, тела наших умерших друзей. Быть может, он слишком близко принимал это к сердцу. А в таком случае предложение Честера… Тут я взял новый лист бумаги и решительно стал писать. Я один стоял между ним и темным океаном. Я чувствовал, что несу на себе ответственность. Если я заговорю — не прыгнет ли этот неподвижный, страдающий юноша во мрак… чтобы ухватиться за соломинку? Мне стало ясно, как трудно иной раз бывает заговорить. Есть какая-то жуткая сила в сказанном слове… А почему бы и нет, черт возьми! Настойчиво я задавал себе этот вопрос, продолжая писать. Вдруг на белом листе бумаги, у самого кончика пера, отчетливо начали вырисовываться две фигуры — Честера и его дряхлого компаньона; ясно видел я их поход-

ку и жесты, словно они появились под стеклом какого-то оптического инструмента.

Некоторое время я за ними следил. Нет! Слишком они были призрачны и нелепы, чтобы играть роль в чьей-то судьбе. А слово уводит далеко — очень далеко, несет разрушение, пронизывая время, как пуля пронизывает пространство. Я ничего не сказал, а он, повернувшись спиной к свету, стоял неподвижный и молчаливый, словно все невидимые враги человека связали его и зажали ему рот.

Глава XVI

Близилось время, когда мне предстояло увидеть его окруженным любовью, доверием, восхищением; легенда складывалась вокруг его имени, наделяя его силой и доблестью, словно он был рожден героем. Это правда, уверяю вас; это так же верно, как и то, что я сижу здесь, бесцельно рассказывая вам о нем. А он отличался той способностью сразу улавливать лик своих желаний и своих грез, без которой земля не знала бы ни любовников, ни искателей приключений. Он завоевал почет и аркадское счастье — не говорю невинность — в лесах, и ему это давало столько же, сколько дает другому человеку почет и аркадское счастье города. Блаженство, блаженство… как бы это сказать?.. Блаженство пьют из золотой чаши под всеми широтами: аромат его с вами — только с вами, — и вы можете им опьяняться, как вам будет угодно. Он был из тех, кто пьет большими глотками, — об этом вы можете судить по предыдущему. Когда я его увидел, он был если и не опьянен, то, во всяком случае, разгорячен чудесным эликсиром. Не сразу он ему достался. Был, как вы знаете, период испытания среди

проклятых судовых поставщиков: в этот период он страдал, а я беспокоился… беспокоился о своем подопечном… если можно так выразиться. Не знаю, окончательно ли я успокоился теперь, после того как созерцал его во всем блеске. Так видел я его в последний раз — при ярком свете, властвующего над окружающей его жизнью и в то же время в полной гармонии с ней — с жизнью лесов и с жизнью людей. Признаюсь, это произвело на меня впечатление, но должен сказать, что в конце концов впечатление не было длительным. Его защищало уединение: он был один, в близком общении с природой, которая при таких условиях не изменяет своим возлюбленным. Но в памяти я не могу закрепить его образ во дни его безопасности. Всегда я буду вспоминать его таким, каким видел в открытую дверь моей комнаты, когда он, быть может, слишком близко принимал к сердцу пустые последствия своей неудачи. Я рад, конечно, что мои страдания привели к кое-каким хорошим и даже блестящим результатам, но иногда мне кажется — лучше было бы для моего спокойствия духа, если бы я не встал между ним и чертовски великодушным предложением Честера. Интересно, что создала бы его буйная фантазия из этого островка Уолпол

— безнадежно заброшенной крошки земли на лоне вод. Но вряд ли я бы что-нибудь о нем услышал, ибо должен вам сказать, что Честер, заглянув в какой-то австралийский порт для починки своей оснащенной как бриг развалины, отплыл затем в Тихий океан с командой в двадцать два человека, и единственной вестью, имевшей, быть может, отношение к его таинственной судьбе, была весть об урагане, пронесшемся месяц спустя над Уолполскими отмелями. И с тех пор никто не слыхал об аргонавтах — ни звука не донеслось из пустыни. Finis![20] Тихий океан — самый скрытный из всех горячих, вспыльчивых океанов; холодный Антарктический океан тоже умеет хранить тайну, но его скрытность подобна молчанию могилы.

Такая скрытность рождает предчувствие желанного конца, который все мы более или менее искренно готовы допустить — ибо что, как не это, позволяет примириться с мыслью о смерти? Конец! Finis! Властное слово, которое изгоняет из дома живых грозную тень судьбы. Вот чего мне не хватает — несмотря на то, что я его видел собственными своими глазами и слышал его

---

[20] Примечания: 20
Конец! *(лат.)*

серьезное уверение, — не хватает, когда я оглядываюсь на успех Джима. Пока длится жизнь, не иссякает надежда; но живет и страх. Я не хочу этим сказать, что сожалею о своем поступке; не стану утверждать, будто не сплю по ночам. Но невольно преследует мысль, что он слишком близко принимал к сердцу свое унижение, тогда как значение имела только его вина. Он был мне не совсем понятен. И возникает подозрение, что он и сам себя не понимал. Приходилось считаться с его утонченной восприимчивостью, его утонченными чувствами — с чем-то вроде возвышенного и идеализированного эгоизма. Он был — если вы мне разрешите так выразиться — очень утонченным, очень утонченным и очень несчастным. Натура чуть-чуть погрубее не знала бы такого надрыва; она заключила бы с собой сделку, и этой сделке сопутствовал бы вздох, ворчанье или даже хохот; натура еще более грубая осталась бы неуязвимо тупой и никого бы не интересовала.

Но он был слишком интересен или слишком несчастен — его нельзя было послать к черту или хотя бы к Честеру. Я это почувствовал, пока сидел, склонившись над бумагой, а он в моей комнате вел жесткую молчаливую борьбу и за-

дыхался, ловя воздух; я это чувствовал, когда он стремительно выбежал на веранду, словно хотел броситься вниз — и не бросился; и это чувство крепло во мне, пока он оставался там, слабо освещенный на фоне ночи, как будто стоял на берегу сумрачного и безнадежного моря.

Неожиданно раздался тяжелый грохот, и я поднял голову. Шум, казалось, унесся вдаль, и вдруг пронизывающий и ослепительный свет упал на слепой лик ночи. Сверкающие вспышки блестели непостижимо долго. Раскаты грома все усиливались, а я смотрел на черную фигуру Джима, твердо стоящего над морем света. После самой яркой вспышки с оглушительным треском спустилась тьма, и мои ослепленные глаза больше его не видели, словно он рассыпался на атомы. Пронесся шумный вздох; чьи-то злобные руки как будто ломали кустарник, потрясали верхушки деревьев, захлопывали двери, разбивали окна во всем доме.

Джим вошел в комнату и закрыл за собой дверь. Я склонился над столом: мысль о том, что он сейчас скажет, пробудила во мне беспокойство, близкое к страху.

— Можно мне закурить? — спросил он.

Не поднимая головы, я подвинул коробку с

сигаретами.

— Мне… мне нужно курить, — пробормотал он.

Я вдруг очень оживился.

— Сию минуту я кончаю, — любезно бросил я ему.

Он прошелся по комнате.

— Гроза пронеслась, — услышал я его голос. С моря, словно сигнал бедствия, донесся отдаленный удар грома.

— Рано начинаются в этом году муссоны, — произнес он где-то за моей спиной. Этот спокойный тон меня ободрил, и, адресовав последний конверт, я поспешил обернуться. Он стоял посреди комнаты и жадно курил; хотя он и слышал, что я пошевельнулся, но сначала не поворачивался ко мне лицом.

— Ну что ж! Я выпутался недурно, — сказал он, круто повернувшись. — Кое-что уплачено, немного. Интересно, что теперь будет.

На его лице незаметно было никаких признаков волнения, но оно слегка потемнело и как будто опухло, словно он сдерживал дыхание. Я молча смотрел на него, а он принужденно улыбнулся и продолжал:

— Все-таки я вам очень благодарен… Когда

находишься в угнетенном состоянии… ваша комната… здесь очень удобно…

В саду журчал и бушевал дождь; шум в водосточной трубе под окном (должно быть, она была продырявлена) казался пародией на бурное горе со всхлипыванием и слезливыми жалобами, прерывавшимися неожиданной спазмой.

— …Какое-нибудь убежище, — пробормотал он и умолк.

Вспышка слабой молнии ворвалась в черные рамы окон и угасла бесшумно. Я размышлял о том, как мне к нему подступиться — не хотелось снова встретить отпор, — как вдруг он тихонько засмеялся.

— Теперь я не лучше бродяги… — кончик сигареты тлел между его пальцами. — …нет ни одного, ни одного… — медленно заговорил он, — и однако…

Он замолчал; дождь полил еще сильнее.

— Когда-нибудь придет же случай вернуть все. Должен прийти! — прошептал он внятно, уставившись на мои ботинки.

Я даже не знал, что именно он так сильно хотел вернуть, чего ему так не хватало. Быть может, не было слов, чтобы это выразить. Кусок шагреневой кожи, по мнению Честера… Он вопросительно

взглянул на меня.

— Быть может… Если долго проживете, — с бессмысленной злобой пробормотал я сквозь зубы. — Не слишком на это рассчитывайте.

— Клянусь небом! Мне кажется, ничто уже меня не коснется, — сказал он с мрачной уверенностью. — Раз уже это дело не могло меня пристукнуть, нечего бояться, что не хватит времени выкарабкаться и…

Он посмотрел наверх.

Тут мне пришло в голову, что из таких, как он, вербуется великая армия покинутых и заблудших, — армия, которая марширует, опускаясь все ниже и ниже, заполняя все сточные канавы на земле. Как только он выйдет из моей комнаты, покинет это «убежище», он займет свое место в рядах ее и начнет спуск в бездонную пропасть. У меня, во всяком случае, никаких иллюзий не было. Но в то же время я — я, который секунду назад был так уверен во власти слов, боялся теперь заговорить, подобно тому, как человек, стоящий на льду, боится пошевельнуться из страха упасть. Лишь пытаясь помочь другому человеку, замечаем мы, как непонятны, расплывчаты и туманны эти существа, которые делят с нами сияние звезд и тепло солнца. Кажется, будто одиночество яв-

ляется суровым и непреложным условием бытия; оболочка из мяса и крови, на которую устремлены наши взоры, тает, когда мы простираем к ней руку, и остается лишь капризный, безутешный и ускользающий призрак; нам он невидим, и ничья рука не может его коснуться. Страх потерять его и заставлял меня молчать, ибо во мне с неодолимой силой родилось убеждение, что я никогда не прощу себе, если дам ему ускользнуть во тьму.

— Так… Благодарю вас еще раз. Вы были необычайно… гм… право же, у меня нет слов выразить… И я не знаю, чем объяснить такое отношение… Боюсь, что я еще недостаточно вам благодарен, вся эта история так зверски меня придавила… И в глубине души… вы, вы сами… — Он запнулся.

— Возможно, — вставил я. Он нахмурился.

— Во всяком случае, человек несет ответственность. — Он следил за мной, как ястреб.

— И это правда, — сказал я.

— Ну что ж! Я выдержал до конца и теперь никому не позволю ставить мне на вид… безнаказанно… — Он сжал кулак.

— Вы сами будете это делать, — сказал я с улыбкой — совсем не веселой, — но он посмотрел на меня угрожающе.

— Это мое дело, — сказал он. Выражение непре-

клонной решимости появилось на его лице и мгновенно исчезло. Через секунду он снова был похож на славного мальчика, попавшего в беду. Он швырнул сигарету.

— Прощайте, — сказал он торопливо, словно человек, замешкавшийся, когда его ждет срочная работа; потом секунду он стоял не шевелясь.

Дождь лил тяжелыми потоками, и в этом непрерывном шуме чудилось какое-то неудержимое бешенство; возникали воспоминания о смытых мостах, о вырванных с корнем деревьях, обвалах в горах. Ни один человек не мог противиться этому стремительному потоку, казалось ворвавшемуся в тусклую тишину, где мы кое-как приютились, словно на островке. Продырявленная труба противно шипела, захлебывалась, плевалась, плескалась, как будто передразнивая пловца, борющегося за жизнь.

— Дождь идет, — возразил я, — и я…

— Дождь или солнце… — начал он резко, потом оборвал фразу и подошел к окну. — Настоящий потоп, — пробормотал он немного погодя, прижавшись лбом к стеклу. — И темно.

— Да, очень темно, — сказал я.

Он повернулся на каблуках, пересек комнату и открыл дверь, выходящую в коридор, раньше,

чем я успел вскочить со стула.

— Подождите! — крикнул я. — Я хочу, чтобы вы…

— Я не могу обедать с вами сегодня, — бросил он мне, уже перешагнув через порог.

— Я и не собирался вас приглашать! — заорал я.

Тут он сделал шаг назад, но недоверчиво застыл на пороге. Не теряя времени, я серьезно попросил его не глупить, войти и закрыть дверь.

Глава XVII

Наконец он вошел, но, кажется, причиной тому был дождь; в тот момент он лил с невероятной силой и постепенно стал затихать, пока мы разговаривали. Джим был очень спокоен, сдержан, как молчаливый от природы человек, одержимый какой-то идеей. Я же говорил о материальной стороне его положения, преследуя одну-единственную цель: спасти его от падения, гибели и отчаяния, подстерегающих одинокого, бездомного человека. Я просил его принять мою помощь, я приводил разумные доводы; и всякий раз, взглядывая на это задумчивое лицо, такое серьезное и юное, я с тревогой чувствовал, что не только ему не помогаю, но скорее мешаю какому-то таинственному, необъяснимому порыву его израненной души.

Помню, я говорил раздраженно:

— Вероятно, вы намереваетесь и есть, и пить, и спать под крышей, как все люди. Вы заявляете, что не притронетесь к деньгам, какие вам следуют…

Он сделал жест, выражающий чуть ли не ужас. (Ему как штурману «Патны» причиталось жало-

ванье за три недели и пять дней.)

— Ну, во всяком случае, сумма слишком ничтожна, но что вы будете делать завтра? Куда вы пойдете? Должны же вы как-то жить…

— Не в этом дело, — вырвалось у него чуть слышно. Я не обратил внимания на его слова и продолжал сражаться с тем, что считал преувеличенной щепетильностью.

— Рассуждая здраво, — заключил я, — вы должны принять мою помощь.

— Вы не можете помочь, — сказал он очень просто и мягко, крепко цепляясь за какую-то идею; я ее не видел, я различал только ее мерцание, как мерцает в темноте пруд, и не надеялся к ней приблизиться настолько, чтобы в нее проникнуть. Я окинул взглядом его хорошо сложенную фигуру.

— Во всяком случае, — сказал я, — я могу помочь вам — такому, каким я вас вижу. На большее я и не претендую.

Не глядя на меня, он скептически покачал головой. Я разгорячился.

— Но я могу, — настаивал я. — Я могу сделать даже больше. И делаю. Я доверяю вам…

— Деньги… — начал он.

— Честное слово, вы заслуживаете, чтобы я послал вас к черту! — вскричал я, умышленно

преувеличивая свое негодование.

Он вздрогнул, улыбнулся, а я продолжал вести наступление.

— Речь идет вовсе не о деньгах. Вы слишком поверхностны, — сказал я, думая в то же время: «Клюет! А может быть, он и в самом деле поверхностный человек». — Взгляните на это письмо. Я хочу, чтобы вы его взяли. Я пишу человеку, к которому никогда еще не обращался с просьбой, пишу о вас в таких выражениях, к каким прибегают, говоря о близком друге. Я всецело отвечаю за вас. Вот что я делаю. И право же, если вы только поразмыслите немного о том, что это значит…

Он поднял голову. Дождь прошел; только водосточная труба продолжала проливать слезы, нелепо булькая под окном. В комнате было очень тихо; тени сгустились в углах, подальше от свечи, которая горела ровным пламенем, похожим на клинок кинжала. Вдруг мне показалось, что мягкий свет залил его лицо, словно отблеск загоравшейся зари.

— Боже мой! — воскликнул он. — Как это благородно!

Если бы он вдруг показал мне в насмешку язык, я бы не мог почувствовать большее унижение. Я подумал: «Поделом! Нечего приставать…»

Глаза его ярко блеснули, но я заметил, что насмешки в них не было. Вдруг он стал порывисто двигаться, словно одна из тех плоских деревянных фигур, которые приводишь в движение, дергая за шнурок. Руки его поднялись и снова упали. Он показался мне совершенно другим человеком.

— А я ничего не замечал! — воскликнул он; потом вдруг закусил губы и нахмурился. — Каким я был ослом… — произнес он очень медленно, благоговейным тоном; потом приглушенным голосом воскликнул: — Вы — молодчина!

Он схватил мою руку, словно в первый раз ее увидел, и сейчас же выпустил.

— Как! Да ведь это то, чего я… вы… я… — забормотал он и вдруг по-старому, упрямо, я бы сказал — по-ослиному, произнес: — Я был бы теперь скотиной, если бы… — Тут голос его оборвался.

— Хорошо, хорошо, — сказал я, испуганный этим проявлением чувств, вскрывавшим странное возбуждение. Случайно я дернул за шнурок, не совсем понимая устройство игрушки.

— Теперь я должен идти, — сказал он. — Боже, как вы мне помогли! Не могу сидеть спокойно… То самое… — Он посмотрел на меня с недоуменным восхищением. — То самое…

Конечно, это было «то самое». Десять шансов против одного, что я его спас от голода — того голода, какому почти неизбежно сопутствует пьянство. Вот и все. На этот счет у меня не было иллюзий, но, глядя на него, я задумался над тем, какого, собственно, человека принял он в сердце свое за эти последние три минуты. Я дал ему возможность прилично продолжать серьезное дело жизни, получать пищу и кров, какими обычно пользуются люди, а его израненная душа, как птица с поломанным крылом, могла забиться в какую-нибудь щель, чтобы там спокойно умереть от истощения. Вот что я для него сделал — и в самом деле очень мало, и вдруг, если судить по тому, как он принял мои слова, это малое разрослось при тусклом свете свечи в огромную, расплывчатую, быть может опасную, тень.

— Вы не сердитесь, что я ничего путного не могу сказать! — воскликнул он. — Нет слов, чтобы говорить об этом. Еще вчера вечером вы мне так помогли… Тем, что меня слушали. Честное слово, мне несколько раз казалось, что голова моя лопнет…

Он метался — буквально метался — по комнате, засунул руки в карманы, снова их вытащил, надел на голову фуражку. Я и не подозревал, что он

может быть таким легкомысленно оживленным. Я думал о сухом листе, подхваченном ветром; какое-то таинственное предчувствие, тяжелое неопределенное сомнение приковывало меня к стулу. Вдруг он застыл на месте, словно пораженный каким-то открытием.

— Вы подарили мне свое доверие, — объявил он серьезно.

— Ох, ради бога, дорогой мой, не нужно, — взмолился я, как будто он меня обидел.

— Хорошо. Я буду молчать. Но ведь вы не можете запретить мне думать… Ничего… я еще покажу…

Он быстро направился к двери, остановился, опустил голову и вернулся, шагая решительно.

— Я всегда думал о том, что если бы человек мог начать сначала… А теперь вы… до известной степени… да… сначала…

Я махнул ему рукой, и он вышел, не оглядываясь; звук его шагов замирал постепенно за дверью — решительная поступь человека, идущего при ярком дневном свете.

Что же касается меня, то, оставшись один у стола с одной-единственной свечой, я почему-то не почувствовал себя просветленным. Я был уже не настолько молод, чтобы за каждым поворотом

видеть сияние, какое маячит нам в добре и в зле. Я улыбнулся при мысли о том, что в конце концов из нас двоих сияние видел он. И мне стало грустно. Начать сначала, сказал он? Да разве начальное слово наших судеб не было высечено нестираемыми письменами на скале?..

Глава XVIII

Шесть месяцев спустя мой друг — владелец рисовой фабрики, циничный пожилой холостяк, пользовавшийся репутацией сумасброда, — написал мне письмо и, решив на основании моей теплой рекомендации, что я не прочь услышать что-либо о Джиме, распространился об его достоинствах. Он оказался скромным и дельным.

> «Не находя в своем сердце ничего, кроме покорной терпимости к представителям моей породы, я жил до настоящего времени один в доме, который даже в этом жарком климате может показаться слишком большим для одного человека. Не так давно я ему предложил жить со мной. Кажется, промаха я не сделал».

Читая это письмо, я подумал, что в отношении к Джиму мой друг проявил не только терпимость — нет, это было началом подлинной привязанности. Конечно, он приводил своеобразные доводы. Прежде всего Джим в этом климате не утратил своей свежести. Будь он девушкой, писал мой

друг, можно было бы сказать, что он цветет, цветет скромно, как фиалка, а не как эти вульгарно-крикливые тропические цветы. Джим прожил в доме полтора месяца и ни разу еще не попытался хлопнуть его по спине, назвать «стариной» или дать понять ему, что он — дряхлое ископаемое. Не отличался Джим и несносной болтливостью, свойственной молодым людям. Характер хороший, говорить ему не о чем, отнюдь не умен, к счастью, — писал мой друг. Но видимо, Джим был все же достаточно умен, чтобы спокойно ценить его остроумие и в то же время забавлять его своей наивностью.

> «Молоко на губах у него еще не обсохло, и теперь, когда у меня появилась блестящая идея дать ему комнату в доме и обедать вместе, я себя чувствую не таким дряхлым. На днях ему пришло в голову встать и пройти по комнате с единственной целью открыть мне дверь: и я почувствовал себя ближе к человечеству, чем был все эти годы. Забавно, не правда ли? Конечно, я догадываюсь – есть тут какой-то ужасный маленький грешок, и вам о нем известно, но если

он действительно ужасен, мне кажется, можно постараться его простить. Я лично заявляю, что не могу заподозрить его в проступке более серьезном, чем набег на фруктовый сад. Неужели дело обстоит более серьезно? Быть может, вам следовало бы мне сказать; но мы оба давно ударились в святость, и вы, пожалуй, позабыли о том, что и мы в свое время грешили. Может случиться, что когда-нибудь я вас об этом спрошу, и тогда, надеюсь, вы мне скажете. Мне не хочется его расспрашивать, пока я не имею понятия о том, что это такое. Кроме того, сейчас еще слишком рано. Пусть он еще несколько раз откроет для меня дверь...»

Вот что писал мой друг. Я был очень доволен — подающим надежды Джимом, тоном письма, собственной своей проницательностью. Видимо, я знал, что делал: я разгадал его натуру и так далее... А что, если из этого выйдет что-нибудь неожиданное и чудесное? В тот вечер, отдыхая в шезлонге под тентом, на юте моего судна, стоявшего в гавани Гонконга, я заложил для Джима первый камень воздушного замка. Я сделал рейс

на север, а когда вернулся, меня ждало еще одно письмо от моего друга. Этот конверт я вскрыл прежде всего.

> «Насколько мне известно, столовые ложки не пропали, – так начиналось письмо. – Впрочем, я не поинтересовался об этом осведомиться. Он уехал, оставив на обеденном столе официальную записочку с извинениями, – записочку или очень глупую, или бессердечную. Быть может, и то и другое, – а мне нет никакого дела. Разрешите вам сообщить на случай, если у вас имеются в запасе еще какие-нибудь таинственные молодые люди, что я свою лавочку закрыл окончательно и навсегда. Это последнее сумасбродство, в каком я повинен. Не подумайте, что меня это задело, но на теннисных площадках очень о нем сожалеют, и я, в своих же интересах, придумал правдоподобное объяснение и сообщил в клубе…»

Я отбросил листок в сторону и стал разбирать кучу писем на своем столе, пока не наткнулся на почерк Джима. Можете вы этому поверить? Один шанс из сотни. Но всегда подвертывается этот со-

тый шанс. Вынырнул в более или менее жалком состоянии маленький второй механик с «Патны» и получил временную работу на рисовой фабрике — ему поручили смотреть за машинами.

> «Я не мог вынести фамильярность этой скотины, – писал Джим из морского порта, отстоящего на семьсот миль к югу от того места, где он мог кататься как сыр в масле. – Сейчас я поступил к Эгштрему и Блэку – судовым поставщикам: временно служу у них – ну, скажем, курьером, если называть вещи их именами. Я сослался на вас – это была моя рекомендация: вас они, конечно, знают, и, если вы можете написать словечко в мою пользу, место останется за мной».

Я был придавлен развалинами своего замка, но, конечно, исполнил его просьбу и написал. В конце года мне пришлось отправиться в те края, и там я имел случай с ним повидаться.

Он все еще служил у Эгштрема и Блэка, и мы встретились в комнате, которую они называли «наша приемная». Комната сообщалась с лавкой. Джим только что вернулся с судна и, увидев меня, опустил голову, готовясь к стычке.

— Что вы имеете сказать в свое оправдание? — начал я, как только мы обменялись рукопожатием.

— То, что я вам писал, — ничего больше, — упрямо сказал он.

— Парень начал болтать? — спросил я.

Он взглянул на меня, смущенно улыбаясь:

— О нет! Он не болтал. Он держал себя так, словно нас связывает какая-то тайна. Напускал на себя чертовски таинственный вид всякий раз, как я приходил на фабрику; подмигивал мне почтительно, как будто хотел сказать: «Мы-то с вами знаем». Гнусно подлизывался, фамильярничал…

Он бросился на стул и уставился на свои ноги.

— Как-то раз мы остались вдвоем, и парень осмелился сказать: «Ну, мистер Джеймс, — меня называли там мистером Джеймсом, словно я был сын хозяина. — Ну, мистер Джеймс, вот мы опять вместе. Здесь лучше, чем на старом судне, правда?»

Не возмутительно ли это? Я посмотрел на него, а он сделал глубокомысленную мину.

Не беспокойтесь, сэр, говорит. Я сразу могу узнать джентльмена и понимаю, как должен себя чувствовать джентльмен. Надеюсь все же, что вы оставите за мной это место. Мне тоже

туго пришлось из-за скандала с этой проклятой старой «Патной».

Это было ужасно. Не знаю, что бы я сказал или сделал, если бы в это время не услышал голоса мистера Дэнвера, звавшего меня из коридора. Был час завтрака. Мы вместе с мистером Дэнвером прошли через двор и сад к бенгало. Он начал, по своему обыкновению, ласково подтрунивать надо мной… Кажется, он ко мне привязался…

Джим минутку помолчал.

— Да, я знаю — он ко мне привязался. Вот почему мне было так тяжело. И такой чудесный человек! В то утро он взял меня под руку… Он тоже был со мной фамильярен.

Джим отрывисто рассмеялся и опустил голову.

— Когда я вспомнил, как эта гнусная скотина со мной разговаривала, — начал он вдруг дрожащим голосом, — мне невыносимо было думать о себе… Вы понимаете?

Я кивнул головой.

— Ведь он относился ко мне скорее как отец! — воскликнул он, и голос его оборвался. — Мне пришлось бы ему сказать. Я не мог это так оставить, не правда ли?

— Ну и что же? — прошептал я немного погодя.

— Я предпочел уйти, — медленно сказал он, —

это дело нужно похоронить.

Из лавки доносился сварливый, напряженный голос Блэка, ругавшего Эгштрема. Много лет они вместе вели дело, и каждый день, с того момента как раскрывались двери и до последней минуты перед закрытием, Блэк, маленький человечек с прилизанными черными волосами и грустными глазами-бусинками, бранился неустанно, въедливо, с каким-то плаксивым бешенством. Эта вечная ругань была явлением самым обычным в их конторе; даже посетители очень скоро переставали обращать на нее внимание и лишь изредка бормотали: «Вот надоело!» — или вскакивали и закрывали дверь приемной. Эгштрем, угловатый, грузный скандинавец, суетливый, с огромными светлыми бакенбардами, отдавал распоряжения, проверял фактуры, счета или писал письма за высокой конторкой в лавке и, не обращая внимания на крики, держал себя так, будто был абсолютно глух. Лишь время от времени он досадливо произносил: — Ш-ш!.. — но это «ш-ш» ни малейшего впечатления не производило, да он его и не ждал.

— Здесь ко мне очень прилично относятся, — сказал Джим. — Блэк — прохвост, но Эгштрем — славный парень.

Он поспешно встал и подошел размеренными шагами к окну, где стоял штатив с подзорной трубой, обращенной к рейду.

— Вон судно входит в порт: его застиг штиль, и оно все утро простояло за рейдом, — сказал он терпеливо. — Я должен отправиться на борт.

Мы молча пожали друг другу руку, и он пошел к двери.

— Джим! — крикнул я.

Он оглянулся, стоя у порога.

— Вы… вы, быть может, отказались от счастья.

Он снова подошел ко мне.

— Такой чудесный старик, — сказал он. — Но как я мог? Как я мог? — Губы его дрогнули. — Здесь это не имеет значения.

— О, вы… вы… — начал я; мне пришлось подыскивать подходящее слово, а когда я убедился, что такого слова нет, он уже ушел. Из лавки донесся низкий ласковый голос Эгштрема, весело говорившего:

— Это «Сара Грэнджер», Джимми. Постарайтесь первым попасть на борт.

Тотчас же ввязался Блэк и завизжал, как разъяренный какаду:

— Скажите капитану, что у нас лежат его письма. Это его заманит сюда. Слышите, мистер… как

вас там?

Джим поспешил ответить Эгштрему, и в тоне его было что-то мальчишеское:

— Ладно. Я устрою гонку.

Кажется, в этом тягостном деле он нашел хорошую сторону: можно было устраивать гонки.

В тот рейс я больше его не видел, но в следующий раз — мое судно было зафрахтовано на шесть месяцев — я опять направился в контору. В десяти шагах от двери я услышал брань Блэка, а когда я вошел, он бросил на меня грустный взгляд. Эгштрем, расплываясь в улыбке, направился ко мне, протягивая свою большую костлявую руку.

— Рад вас видеть, капитан… Ш-ш… Так и думал, что вы скоро сюда заглянете. Что вы сказали, сэр? Ш-ш… Ах, Джим! Он от нас ушел. Пойдемте в приемную…

Когда захлопнулась дверь, напряженный голос Блэка стал доноситься слабо, как голос человека, отчаянно ругающегося в пустыне.

— И поставил нас в пренеприятное положение. Должен сказать — скверно с нами обошелся…

— Куда он уехал? Вам известно? — спросил я.

— Нет. И никакого смысла не было спрашивать, — сказал Эгштрем. Он стоял передо мной — любезный, неуклюже опустив руки; на помя-

том синем саржевом жилете протянулась тонкая серебряная часовая цепочка. — Такой человек не едет в определенное место.

Я был слишком озабочен новостью, чтобы спрашивать объяснения этой фразы. Эгштрем продолжал:

— Он от нас ушел… позвольте-ка, ушел в тот самый день, когда прибыл пароход с паломниками, возвращавшийся из Красного моря; две лопасти винта у него были сломаны. Это случилось три недели назад.

— Не было ли каких разговоров о происшествии с «Патной»? — спросил я, ожидая худшего.

Он вздрогнул и посмотрел на меня, словно я был волшебником.

— Да… были. Откуда вы знаете? Кое-кто говорил об этом. Здесь собрались два-три капитана, управляющий технической конторой Ванло в порту, еще двое или трое и я. Джим тоже был здесь — стоял с сэндвичем и стаканом пива в руке; когда мы заняты — вы понимаете, капитан, — нет времени завтракать по-настоящему. Он стоял вот у этого стола и ел сэндвичи, а мы все столпились у подзорной трубы и смотрели, как этот пароход входит в гавань; тут управляющий от Ванло начал говорить о капитане «Патны»;

когда-то он делал для него какой-то ремонт; затем он нам рассказал, какая это была старая развалина и сколько денег он из нее выжимал. К слову он упомянул о последнем ее плавании, и тут мы все вступили в разговор. Один говорил одно, другой — другое… ничего особенного — то, что сказали бы и вы и всякий человек. Немного посмеялись. Капитан О'Брайн с «Сары Грэнджер», — он сидел вот в этом кресле и прислушивался к разговору, — вдруг как стукнет палкой по полу да как заорет: «Негодяи!»

Мы все так и подпрыгнули. Управляющий от Ванло подмигивает нам и спрашивает: «В чем дело, капитан О'Брайн?»

«В чем дело! В чем дело! — Тут старик раскричался. — Над чем смеетесь? Это дело не шуточное. Позор для всего рода человеческого — вот что это такое! Я бы застыдился, если бы меня увидели в одной комнате с кем-нибудь из этих парней. Да, сэр!»

Он встретил мой взгляд, и из вежливости я вынужден был сказать: «Негодяи! Ну конечно, капитан О'Брайн, мне бы самому не хотелось видеть их здесь, так что в этой комнате вы находитесь в полной безопасности. Не хотите ли выпить чего-нибудь прохладительного?»

«К черту ваше прохладительное, Эгштрем! — кричит он, сверкая глазами. — Если я захочу пить, я и сам потребую. Нужно отсюда уходить. Воздух здесь сейчас скверный».

Тут все не выдержали — расхохотались и один за другим последовали за стариком. И вот, сэр, этот проклятый Джим кладет сэндвич, который он держал в руке, обходит стол и направляется ко мне; его стакан с пивом стоит нетронутый.

«Я ухожу», — говорит, и больше ни слова.

«Еще нет и половины второго, — говорю я, — можете урвать минутку и покурить».

Я думал, он говорит, что пора ему отправляться на работу. Когда же я понял, что он задумал, тут у меня руки так и опустились. Знаете ли, не всякий день повстречаешь такого человека; парусной лодкой управлял как черт; готов был в любую погоду выходить в море навстречу судам. Не раз, бывало, какой-нибудь капитан зайдет сюда и первым делом говорит: «Где вы это раздобыли такого морского агента, Эгштрем? Сумасшедший сорвиголова! На рассвете я еле-еле нащупывал дорогу, как вдруг, смотрю, летит из тумана прямо мне под ноги лодка, полузалитая водой. Брызги перелетают через мачту, два перепуганных туземца сидят на дне шлюпки, а какой-то черт у

румпеля орет: „Эй! Эй! Судно! Алло! Капитан! Эй! Эй! Агент Эгштрема и Блэка первым говорит с вами! Эй! Эй! Эгштрем и Блэк. Алло! Эй!“ Расталкивает туземцев, кричит во все горло, позади рифы, налетает шквал, а он орет мне, чтобы я ставил паруса, он введет меня в гавань. Не человек, а черт. Никогда в жизни не видал, чтобы так обращались с шлюпкой. И ведь не пьян, а? А когда поднимется на борт, вижу, такой тихий, вежливый парень… и краснеет, как девушка…»

Говорю вам, капитан Марлоу, когда Джим выходил в море навстречу незнакомому судну, никто не мог с нами соперничать. Остальным поставщикам только и оставалось, что удерживать старых покупателей, и…

Эгштрем, видимо, был сильно расстроен.

— Да, сэр. Похоже было на то, что он готов отправиться в море за сто миль в старой калоше, чтобы заполучить судно для фирмы. Если бы фирма принадлежала ему и нужно было ее еще на ноги поставить, он и то не мог бы сделать большего… А теперь вдруг… совсем неожиданно. Вот я и подумал: «Ого! Хочет прибавки жалованья… вот в чем тут дело».

«Ладно, — говорю я, — незачем поднимать шум, Джимми. Скажите — сколько вы хотите. Всякое

разумное требование будет удовлетворено».

Он поглядел на меня так, словно старался проглотить что-то застрявшее у него в горле.

«Я не могу оставаться у вас».

«Что за дурацкая шутка?» — спрашиваю я.

Он покачал головой, а я по глазам его увидел, что он как будто уже ушел. Тут я на него накинулся и стал ругать.

«От кого это вы бежите? — спрашиваю. — Кто вам пришелся не по вкусу? Что вас задело? Да у вас ума меньше, чем у крысы, — крыса и та не побежит с хорошего судна. Где вы думаете получить лучшее место, такой-сякой?»

Уверяю вас, я его здорово отделал.

«Эта фирма не потонет», — говорю. А он вдруг как подскочит.

«Прощайте, — говорит и кивает мне головой, словно какой-нибудь лорд, — вы неплохой парень, Эгштрем. Даю вам слово: если бы вы знали причину, вы бы не стали меня задерживать».

«Это, — говорю, — дурацкая ложь. Я знаю, чего хочу».

Он так меня взбесил, что я даже расхохотался.

«Неужели не можете подождать хоть минутку, чтобы выпить этот стакан пива, чудак-человек?»

Не знаю, что это на него нашло; он как будто

дверь едва мог найти; уверяю вас, капитан, забавное было зрелище. Я сам выпил его пиво.

«Ну уж коли вы так спешите, пью за ваше здоровье из вашего же стакана, — сказал я ему. — Только попомните мои слова: если будете продолжать эту игру, вы скоро убедитесь, что земля для вас слишком мала, — вот и все».

Он бросил на меня мрачный взгляд и выбежал из комнаты, а лицо у него было такое, что хоть ребят пугай.

Эгштрем с горечью фыркнул и расчесал узловатыми пальцами белокурые бакенбарды.

— С тех пор так и не могу найти порядочного человека. Одни неприятности. А разрешите спросить, капитан, как это вы на него наткнулись?

— Он был штурманом на «Патне» в то плавание, — сказал я, чувствуя, что обязан дать какое-то объяснение.

С минуту Эгштрем сидел неподвижно, запустив пальцы в бакенбарду, а потом разразился:

— А кому какое до этого дело, черт возьми?

— Полагаю, что никому… — начал я.

— И чего он, черт возьми, добивается, проделывая такие штуки?

Вдруг он засунул в рот левую бакенбарду и, пораженный какою-то мыслью, воскликнул:

— Черт! А ведь я ему сказал, что земля окажется слишком мала для него.

Глава XIX

Я вам рассказал эти два эпизода, желая продемонстрировать, что он с собой проделывал на новом этапе своей жизни. Таких эпизодов было много, — больше, чем можно пересчитать по пальцам.

Все они были равно окрашены той высокомерной нелепостью, какая делает их глубоко трогательными. Бросать свой хлеб насущный, чтобы руки были свободны для борьбы с призраком, — это может быть актом прозаического героизма. Люди поступали так и раньше (хотя мы, пожившие на своем веку, знаем прекрасно, что не истерзанная душа, но голодное тело делает человека отщепенцем), а те, что были сыты и намеревались быть сытыми всю жизнь, аплодировали такому похвальному безумию. Он действительно был несчастен, ибо никакое безрассудство не могло его увести от нависшей тени. Всегда его храбрость оставалась под сомнением. Да, по-видимому, нельзя уничтожить призрак факта. Вы можете ему противостоять или избегать его, а мне приходилось встречать людей, которые подмигивали знакомым теням.

Видимо, Джим был не из тех, что подмигивают; но я так никогда и не мог решить, какова его линия поведения — бежит ли он от своего призрака или ему противостоит. Я изощрял свою проницательность и в результате обнаружил лишь то, что различие меж тем и другим слишком неясно; как бывает и со всеми нашими поступками — определенного решения быть не могло. Здесь, пожалуй, было и бегство, и своеобразная манера вести борьбу. Людям заурядным он вскоре стал известен как непоседа, ибо то была самая забавная сторона его поведения; спустя некоторое время о нем знали все, он, несомненно, пользовался известностью в круге своих скитаний, — а диаметр этого круга равнялся приблизительно трем тысячам миль, — так знает вся округа какого-нибудь сумасброда. Например, в Бангкоке, где он нашел место у братьев Юкер, фрахтовщиков и торговцев тиковым деревом, жалко было смотреть, как он разгуливает при свете дня, лелея свою тайну, которая была известна всем, вплоть до бревен на реке. Шомберг, содержатель отеля, где жил Джим, волосатый эльзасец с мужественной осанкой и складочное место всех скандальных сплетен, сообщал, бывало, опершись обоими локтями о стол, приукрашенную версию истории Джима

какому-нибудь посетителю, который жаждал новостей наравне с более дорогими напитками.

— И заметьте, он чудеснейший парень, какого только можно встретить, — великодушно заканчивал эльзасец свой рассказ, — выдающийся человек.

В пользу случайных посетителей заведения Шомберга говорит тот факт, что Джим ухитрился прожить в Бангкоке целых шесть месяцев. Я заметил, что люди, совершенно его не знавшие, привязывались к нему, как привязываешься к милому ребенку. Он всегда был сдержан, но, казалось, самая его внешность, его волосы, глаза, улыбка завоевывали ему друзей, где бы он ни появлялся. И конечно, он был не дурак. Я слышал, как Зигмунд Юкер (уроженец Швейцарии) — кроткое создание, измученное жестокой диспепсией и так сильно хромавшее, что голова его склонялась градусов на сорок пять в сторону при каждом его шаге, — заявил одобрительно, что для такого молодого человека он отличается большими способностями.

— Почему не послать его вглубь страны? — с тревогой намекнул я: братья Юкер владели концессиями и тиковыми лесами внутри страны. — Если, как вы говорите, у него есть способности,

он справится с работой. И физически он к этому приспособлен. Здоровье у него превосходное.

— Ах! Великое дело в этой стране уберечься от диспепсии! — завистливо вздохнул бедный Юкер и украдкой поглядел на свой больной живот. Когда я уходил от него, он задумчиво барабанил пальцами по столу и бормотал:

— Это идея! Это идея!

К несчастью, в тот самый вечер в отеле произошел неприятный инцидент.

Не могу сказать, чтобы я сильно порицал Джима, но инцидент поистине был прискорбный. Это была жалкая трактирная ссора; противником Джима был косоглазый датчанин — один из тех парней, что пишут на визитных карточках под своей незаконно присвоенной фамилией: «Старший лейтенант Королевского Сиамского Флота». Парень, конечно, не умел играть на бильярде, но, кажется, не любил быть битым. Выпил он достаточно, чтобы разозлиться после шестой партии, и сделал какое-то презрительное замечание по адресу Джима. Большая часть присутствовавших этих слов не слыхала, а у тех, кто слышал, воспоминания как будто улетучились под влиянием страшных событий, не замедливших последовать. Счастье для датчанина, что он

умел плавать, ибо дверь выходила на веранду, а внизу протекал Менам — река очень широкая и черная. Лодка с китайцами, отправлявшимися, вероятно, в какую-то воровскую экспедицию, выудила офицера короля сиамского, а Джим около полуночи явился без шляпы на борт моего судна.

— Все в комнате как будто знали, — сказал он, еще не успев отдышаться после поединка.

Принципиально он, пожалуй, сожалел о происшедшем, но заявил, что в данном случае «выбора не было». А привел его в ужас тот факт, что всем и каждому известна его тайна, словно он разгуливал, таская все время за спиной свое бремя. Понятно, что после этого он не мог остаться в Бангкоке. Его единогласно осуждали за зверское насилие, столь неподобающее человеку в его щекотливом положении; одни утверждали, что он был в то время вдрызг пьян; другие ставили ему на вид отсутствие такта. Даже Шомберг был сильно раздражен.

— Он очень славный молодой человек, — говорил мне хозяин отеля, — но и лейтенант — молодчина парень. Он, знаете ли, каждый день обедает за моим табльдотом. И кий сломан. Этого я не могу допустить. Сегодня утром я первым делом пошел к лейтенанту извиняться и, кажется,

уломал его. Но вы подумайте только, капитан, вдруг каждый начнет выкидывать такие штуки! Ведь парень мог утонуть. А я не могу сбегать в соседнюю лавку и купить новый кий. Мне приходится выписывать их из Европы. Нет, нет! Такой характер ни к черту не годится!..

Шомберг был сильно раздосадован.

То был самый печальный инцидент за время его… его изгнания. Никто не мог об этом сожалеть больше, чем сожалел я. И хотя кое-кто и говорил о Джиме: «О да, я его знаю! Он рыскал в этих краях», — но до сих пор ему удавалось избегать неприятных инцидентов. Однако это последнее происшествие не на шутку меня встревожило, ибо, если чрезмерная чувствительность будет доводить его до трактирных драк, он потеряет свою репутацию безобидного, хотя и несносного безумца, и прослывет заурядным бродягой. Несмотря на все мое доверие к нему, я невольно думал, что в таких случаях от слова до дела один шаг. Полагаю, вы поймете, что к тому времени я уже не мог умыть руки. Я увез его из Бангкока на своем судне, и переезд был томителен для нас обоих. Грустно было смотреть, как он замкнулся в себе. Моряк, даже на положении простого пассажира, интересуется судном, критически и с удовольствием

всматривается в окружающую его обстановку, так же как смотрит, например, художник на картину товарища. В прямом и переносном смысле слова, моряк всегда «на палубе», но мой Джим большей частью скрывался внизу, словно ехал на судне зайцем. Он на меня действовал так, что я избегал говорить на профессиональные темы, которые, естественно, возникают между двумя моряками во время плавания. По целым дням мы не обменивались ни единым словом; в его присутствии я с большой неохотой отдавал распоряжения моим помощникам. Часто, оставаясь вдвоем на палубе или в кают-компании, мы не знали, куда девать глаза.

Я поместил его, как вам известно, у Де Джонга, радуясь, что хоть как-нибудь его устроил; однако я был убежден в том, что положение его становится невыносимым. Он потерял ту гибкость, какая помогла ему занимать после каждого поражения независимую позицию. Однажды, сойдя с корабля, я увидел его на набережной; воды рейда и моря на горизонте сливались воедино; суда, стоявшие на якоре за рейдом, казалось, неподвижно парили в небе. Он ждал свою шлюпку, которую нагружали у наших ног свертками мелких товаров для какого-то судна, готового к отплытию.

Обменявшись приветствиями, мы молча стояли друг подле друга.

— Боже! — воскликнул он вдруг. — Это убийственная работа.

Он улыбнулся мне; должен сказать, что обычно ему всегда удавалось улыбнуться. Я ничего не ответил. Я знал прекрасно, что он намекает не на свои обязанности; у Де Джонга работой его не обременяли. Тем не менее, как только он замолчал, я окончательно убедился, что эта работа убийственная. Я даже не взглянул на него.

— Не хотите ли покинуть эти края? — спросил я. — Переехать в Калифорнию или на Западный Берег? Я попытаюсь что-нибудь сделать.

Он перебил меня с легким презрением:

— Какая разница?..

Я сразу почувствовал, что он прав.

Разницы не было бы никакой, — он искал не облегчения; кажется, я смутно понимал: то, чего он искал, то, чего он ждал, не так-то легко поддавалось определению; пожалуй, он ждал какого-то благоприятного случая. Я дал ему немало таких случаев, но они сводились лишь к возможности зарабатывать себе на пропитание. А что же еще можно было сделать? Положение казалось мне безнадежным, и вспомнились слова бедняги

Брайерли: «Пусть он зароется на двадцать футов в землю и там остается». Лучше это, думал я, чем ожидание невозможного на земле. Однако даже и в этом нельзя было быть уверенным. Не успела его шлюпка отплыть от набережной, как я уже принял решение пойти и посоветоваться вечером с Штейном.

Этот Штейн был богатый и пользующийся уважением торговец. Его «фирма» (ибо то была фирма «Штейн и К°», включавшая также и компаньона, который, по словам Штейна, «ведал делами на Молуккских островах») вела торговлю с островами; немало торговых станций, собиравших местные продукты, было основано в самых отдаленных местечках. Его богатство и респектабельность не являлись, в сущности, причиной, которая побуждала меня искать у него совета. Я хотел поделиться с ним своими затруднениями, ибо он был достоин доверия больше, чем кто-либо из тех, кого я знал. Мягкой, простодушной, какой-то неиссякаемой и умной добротой светилось его лицо, — лицо длинное, лишенное растительности, изборожденное глубокими морщинами и бледное, как у человека, который всегда вел сидячий образ жизни; чего на самом деле не было. Его жидкие волосы были зачесаны

назад, открывая массивный высокий лоб. Казалось, в двадцать лет он должен был выглядеть почти так же, как выглядел теперь в шестьдесят. То было лицо ученого; только брови, почти совсем седые, густые и косматые, да твердый проницательный взгляд не гармонировали — если можно так выразиться — с его ученым видом. Он был высокого роста, но казался развинченным; привычка слегка горбиться и наивная улыбка придавали ему такой вид, словно он всегда готов благосклонно вас выслушать; руки у него были длинные, с большими бледными кистями; жесты скупые, обдуманные, словно он на что-то указывал, разъяснял. Я останавливаюсь на нем так долго потому, что этот прямой и снисходительный человек с наружностью ученого отличался неустрашимым духом и физической храбростью. Такая храбрость совершенно бессознательна, и ее можно было бы назвать безрассудством, если бы она не была свойственна человеку, подобно естественной функции организма — хорошему пищеварению, например.

Говорят иногда, что человек держит жизнь в своих руках. Такая поговорка к нему неприменима; в течение раннего периода жизни на Востоке он играл в мяч со своей судьбой.

Все это было в прошлом, но я знал историю его жизни и происхождение его богатства. Он был также и натуралистом, пользовавшимся некоторой известностью, — или, вернее, ученым-коллекционером. Его специальностью была энтомология. Его коллекция жуков, отвратительных маленьких чудовищ, которые казались злобными даже теперь — мертвые и неподвижные, — и коллекция бабочек, красивых, простерших безжизненные крылья под стеклянной крышкой ящиков, завоевали себе широкую известность. Имя этого торговца, искателя приключений и советника одного малайского султана (его он называл не иначе как «мой бедный Мохаммед Бонзо»), стало известно ученым Европы благодаря нескольким бушелям собранных им насекомых, но европейские ученые понятия не имели о его жизни и характере, да это их и не интересовало. Я же, зная его, считал, что с ним больше, чем с кем бы то ни было другим, можно поговорить о затруднениях Джима, равно как и моих собственных.

Глава XX

Поздно вечером я вошел в его кабинет, миновав предварительно огромную, но пустую и очень тускло освещенную столовую. В доме было тихо. Мне показывал дорогу пожилой и мрачный слуга-яванец в белой куртке и желтом саронге. Распахнув дверь, он воскликнул негромко: «О господин!» — и, отступив в сторону, скрылся таинственно, словно был призраком, лишь на секунду воплотившимся именно для этой услуги. Штейн, сидевший на стуле, повернулся, а очки как будто сами поднялись на лоб. Он приветствовал меня, по своему обыкновению, спокойно и весело. Лишь один угол большой комнаты — угол, где стоял его письменный стол, — был ярко освещен лампой под абажуром, все остальное пространство растворялось в бесформенном мраке, напоминая пещеру. Узкие полки с одноцветными темными ящиками одинаковой формы тянулись вдоль стен, не от пола до потолка, но темным поясом фута четыре в ширину. Катакомбы жуков. Деревянные таблички висели наверху, отделенные неправильными промежутками. Свет падал на одну из них, и слово Coleoptera, написанное

золотыми буквами, мерцало таинственно в полумраке. Стеклянные ящики с коллекцией бабочек выстроились тремя длинными рядами на маленьких столиках с тонкими ножками. Один из таких ящиков стоял на письменном столе, который был усеян продолговатыми листками бумаги, исписанными мелким почерком.

— Вот за каким делом вы меня застаете, — сказал он.

Рука его коснулась стеклянного ящика, где в своем одиноком великолепии бабочка распростерла темные бронзовые крылья примерно семи дюймов в длину; крылья были прорезаны белыми жилками и окаймлены роскошным бордюром из желтых пятнышек.

— Только один такой экземпляр имеется у вас в Лондоне, а больше нет нигде. Моему маленькому родному городу я завещаю эту коллекцию. Частицу меня самого. Лучшую.

Он наклонился и напряженно всматривался, опустив голову над ящиком. Я стоял за его спиной.

— Чудесный экземпляр, — прошептал он и как будто позабыл о моем присутствии.

История его любопытна. Он родился в Баварии и двадцатидвухлетним юношей принял актив-

ное участие в революционном движении 1848 года. Сильно скомпрометированный, он бежал и сначала нашел приют у одного бедного республиканца, часовых дел мастера в Триесте. Оттуда он пробрался в Триполи с запасом дешевых часов для уличной продажи. Начало не блестящее, но Штейну посчастливилось; там он наткнулся на путешественника-голландца, пользовавшегося, кажется, известностью (фамилию его я позабыл). Это и был тот самый натуралист, который пригласил его в качестве своего помощника и увез на Восток. Больше четырех лет они вместе и порознь путешествовали по Архипелагу, собирая насекомых и птиц. Затем натуралист вернулся на родину, а Штейн, не имевший родины, куда бы можно было вернуться, остался с одним старым торговцем, которого встретил во время своих путешествий в глубь острова Целебес, — если допустить, что Целебес имеет какую-то глубь. Этот старый шотландец — единственный белый, которому разрешили проживать в то время в этой стране, — был привилегированным другом главного правителя государства Уаджо; в ту пору этим правителем была женщина.

Я часто слышал рассказ Штейна о том, как старик, половина тела которого была слегка па-

рализована, представлял его ко двору, а вскоре после этого новый удар прикончил старика. То был грузный человек с патриархальной белой бородой и внушительной осанкой. Он вошел в зал совета, где собрались все раджи, пангераны и старшины, а королева — жирная морщинистая женщина (по словам Штейна, очень бойкая на язык) — возлежала на высоком ложе под балдахином. Старик, опираясь на палку, волочил ногу. Схватив Штейна за руку, он подвел его к самому ложу.

— Смотри, королева, и вы, раджи, это — мой сын! — возвестил он громогласно. — Я торговал с вашими отцами, а когда я умру, он будет торговать с вами и сыновьями вашими.

Благодаря этой простой формальности Штейн унаследовал привилегированное положение шотландца, а также его запас товаров и дом-крепость на берегу единственной судоходной реки в стране. Вскоре после этого старая королева, столь бойкая на язык, умерла, и страна заволновалась, так как появились многочисленные претенденты на престол. Штейн присоединился к партии младшего сына — того самого, которого он тридцать лет спустя называл не иначе как «мой бедный Мохаммед Бонзо». Они совершили

бесчисленные подвиги; оба были искателями приключений; в течение месяца они с горсточкой приверженцев выдерживали осаду в доме шотландца против целой армии. Кажется, туземцы и по сей день толкуют об этой войне.

Тем временем Штейн, кажется, не упускал случая захватить бабочку или жука всякий раз, как они ему попадались под руку. После восьми лет войны, переговоров, ненадежных перемирий, внезапных восстаний и предательств, когда мир, казалось, окончательно установился, его «бедный Мохаммед Бонзо» был убит у ворот своей собственной королевской резиденции — его убили в тот самый момент, когда он в прекрасном настроении слезал с коня, вернувшись после удачной охоты на оленя. Это событие сделало положение Штейна крайне ненадежным; быть может, он бы все-таки остался, если бы спустя некоторое время не умерла сестра Мохаммеда — «моя дорогая жена-принцесса», как торжественно говаривал он. От нее у него была дочь — мать и ребенок умерли в три дня от какой-то злокачественной лихорадки. Он покинул страну, где ему невыносимо было оставаться после такой тяжелой потери. Так закончился первый, авантюристический период его существования.

Последующая жизнь была настолько иной, что, если бы не подлинная скорбь, никогда его не покидавшая, этот странный период скорее походил бы на сон.

У него было немного денег; он начал жизнь заново и с течением времени сколотил значительное состояние. Сначала он много путешествовал по островам, но вот подкралась старость, в последнее время он редко покидал свой поместительный дом, находившийся в трех милях от города. К дому примыкал большой сад, вокруг находились конюшни, конторы и бамбуковые коттеджи для слуг и подчиненных, каковых у него было немало. Каждое утро он ездил в своем кабриолете в город, в контору, где клерками у него были белые и китайцы. Ему принадлежала маленькая флотилия шхун и туземных судов; в широком масштабе он вел торговлю всем, чем богаты были острова. Мизантропом он не был, но жил уединенно со своими книгами и коллекциями, классифицируя экземпляры, переписываясь с европейскими энтомологами, составляя описательный каталог своих сокровищ.

Такова история человека, к которому я, не питая никакой определенной надежды, пришел посоветоваться о деле Джима. Даже услышать то,

что он может сказать, казалось мне облегчением. Я был очень встревожен, но отнесся с уважением к этой напряженной, почти страстной сосредоточенности, с какой он смотрел на бабочку: казалось, в бронзовом мерцании этих легких крыльев, в белых линиях, в ярких пятнах он мог увидеть что-то иное — образ чего-то хрупкого и презирающего разрушение так же, как эти нежные и безжизненные ткани, великолепные и не запятнанные смертью.

— Чудесный экземпляр! — повторил он, поднимая на меня глаза. — Посмотрите! Красота… но это ничто… обратите внимание на точность, гармонию. Эта бабочка такая хрупкая! И такая сильная! И гармоничная! Такова Природа — равновесие колоссальных сил. И каждая звезда так гармонична… и каждая былинка… и могучий космос в совершенном своем равновесии производит вот эту бабочку. Это чудо, этот шедевр Природы — великого художника.

— Никогда не слыхал таких речей от энтомолога, — весело заметил я. — Шедевр! Что же вы скажете о человеке?

— Человек — удивительное создание, но он отнюдь не шедевр, — ответил он, глядя на стеклянный ящик. — Быть может, художник был

немного помешан. А? Как вы думаете? Иногда мне кажется, что человек явился туда, где он не нужен, где нет для него места; иначе — зачем бы ему требовать себе всю землю? Зачем ему метаться повсюду, шуметь, толковать о звездах, тревожить былинки?..

— Ловить бабочек, — вставил я.

Он улыбнулся, откинулся на спинку стула и вытянул ноги.

— Садитесь, — сказал он. — Я сам поймал этот редкий экземпляр в одно чудесное утро. И я испытал большое волнение. Вы не знаете, что значит для коллекционера заполучить такой редкий экземпляр. Вы не можете знать.

Я улыбнулся, удобно устроившись в качалке. Казалось, он глядел куда-то вдаль, сквозь стену, в которую уставился. Он рассказывал, как явился к нему ночью вестник от «бедного Мохаммеда», который призывал его в свою «резиденцию», отстоявшую на девять-десять миль от его дома; дорога туда шла по вьючной верховой тропе, прорезавшей возделанную равнину и лесные участки. Рано поутру он выехал из своего укрепленного дома, расцеловав предварительно маленькую Эмму и передав бразды правления «жене-принцессе». Он рассказал, как она прово-

дила его до ворот; она шла, положив руку на шею его лошади; на ней была белая куртка, золотые шпильки в волосах, а через левое плечо спускался коричневый кожаный ремень с револьвером.

— Она говорила, как говорят все женщины, — сказал он, — просила меня быть осторожным и вернуться домой до темноты, жаловалась, что приходится мне ехать одному. Шла война, и в стране было неспокойно: мои люди закрывали окна дома щитами, защищавшими от пуль, и заряжали ружья, а она просила меня за нее не бояться, — она сумеет защитить дом до моего возвращения. Я засмеялся от радости. Мне приятно было видеть ее такой смелой, молодой и сильной. Я тоже был тогда молод. У ворот она взяла мою руку, пожала ее и отошла назад. Я остановил лошадь и ждал, пока не задвинули засовы у ворот. В то время по соседству бродил со своей бандой великий мой враг — человек знатного рода и большой негодяй к тому же. Я проехал легким галопом четыре или пять миль; ночью шел дождь, но теперь туман рассеялся, и лик земли был ясен; она раскинулась передо мной улыбающаяся, свежая и невинная, словно маленький ребенок. Вдруг раздался залп — мне показалось, что прозвучало по меньшей мере

двадцать выстрелов. Я услышал свист пуль, и шляпа моя съехала на затылок. То была, видите ли, маленькая хитрость. Они заставили моего бедного Мохаммеда послать за мной, а затем устроили засаду. В одну секунду я это понял и подумал: «Нужно и мне пойти на хитрость». Мой пони захрапел, подпрыгнул и остановился, а я медленно сполз вперед, уткнувшись головой в его гриву. Пони пошел шагом, а я одним глазом увидел слабое облачко дыма над бамбуковой зарослью слева. «Ага, друзья мои, — подумал я, — почему вы поторопились стрелять? Ваше дело еще не выгорело. О нет!» Правой рукой я потихоньку вытащил револьвер. В конце концов этих негодяев было только семеро. Они вышли из травы и, подоткнув свои саронги, побежали, размахивая над головой копьями. На бегу они кричали, что надо поймать лошадь, так как я мертв. Я дал им подойти совсем близко, а затем выстрелил три раза — все три пули попали в цель. Еще раз я выстрелил, целясь в спину человека, но промахнулся; он был уже слишком далеко. Тогда я выпрямился в седле, — я был один, ясный лик земли улыбался мне; тут валялись трое нападавших. Один лежал, свернувшись в клубок; другой растянулся на спине, опустив руку на глаза, слов-

но заслоняясь от солнца; третий очень медленно согнул ногу, а потом судорожно ее вытянул. Сидя на лошади, я следил за ним пристально, но больше он не шевелился — bleibt ganz ruhig — застыл неподвижно. И пока я всматривался в его лицо, стараясь подметить признаки жизни, легкая тень скользнула по его лбу. То была тень этой бабочки. Посмотрите на форму крыльев! Эти бабочки летают высоко и с силой рассекают воздух. Я поднял глаза и увидел, как она упорхнула прочь. Я подумал — возможно ли? А потом она скрылась из виду. Я слез с седла и очень медленно пошел вперед, ведя за собой лошадь и сжимая в руке револьвер. Я бросал взгляды направо, налево, вверх, вниз, всюду. Наконец я ее увидел — она сидела на кучке грязи футах в десяти от меня. Сердце у меня быстро забилось. Я отпустил лошадь и, держа в одной руке револьвер, другой рукой сорвал с головы мягкую войлочную шляпу. Сделал один шаг. Остановился. Еще шаг. Хлоп! Поймал! Поднявшись на ноги, я дрожал от волнения, как лист, а когда я расправил эти великолепные крылья и увидел, какой редкий и безукоризненный экземпляр мне достался, голова у меня закружилась и ноги подкосились, так что я вынужден был опуститься на землю. Собирая коллекцию для

профессора, я страстно желал заполучить такой экземпляр. Я предпринимал далекие путешествия и подвергался тяжким лишениям; я грезил об этой бабочке во сне, и вдруг теперь я держал ее в своей руке — она была моя. Говоря словами поэта (он произносил «боэт»):

So halt' ich's endlich denn in meinen Händen,
Und nenn'es in gewissem Sinne mein[21].

На последнем слове он сделал ударение, внезапно понизил голос и медленно отвел взгляд от моего лица. Молча и деловито он начал набивать трубку с длинным мундштуком, потом, опустив большой палец в отверстие чашечки, посмотрел на меня многозначительно.

— Да, дорогой мой друг. В тот день мне нечего было желать: я разбил замысел своего злейшего врага; я был молод, силен; имел друга и любовь женщины; имел ребенка. Сердце мое было полно, — и даже то, о чем я грезил во сне, лежало на моей ладони!

Он чиркнул спичкой, вспыхнул яркий огонек. Судорога пробежала по его спокойному задум-

---

[21] Примечания: 21
Итак, я наконец держал ее в руках, / И мог назвать моей *(нем.).*

чивому лицу.

— Друг, жена, ребенок, — медленно проговорил он, глядя на маленькое пламя, потом дунул: спичка погасла. Он вздохнул и снова повернулся к стеклянному ящику. Хрупкие прекрасные крылья слабо затрепетали, словно его дыхание на секунду вернуло к жизни то, о чем он так грезил.

— Работа, — заговорил он вдруг своим мягким веселым тоном и указал на разбросанные листки, — работа подвигается хорошо. Я описывал этот редкий экземпляр… Ну а какие у вас новости?

— Сказать вам правду, Штейн, — начал я с усилием, меня самого удивившим, — я пришел, чтобы описать вам один экземпляр…

— Бабочку? — быстро спросил он, недоверчиво улыбаясь.

— Нет, экземпляр отнюдь не столь совершенный, — ответил я, чувствуя, как угнетают меня сомнения. — Человека.

— Ach so![22] — прошептал он, и его улыбающееся лицо стало серьезным. Поглядев на меня секунду, он медленно сказал: — Ну что ж, я тоже человек.

---

[22] Примечания: 22
Ах так! *(нем.)*

Вы видите, каков он был, он умел так великодушно ободрить, что совестливый человек начинал колебаться на грани признания. Но если я и колебался, то это продолжалось недолго.

Он сидел, положив ногу на ногу, и слушал. Иногда голова его исчезала в огромном облаке дыма, и из этого дыма вырывалось сочувственное ворчанье. Когда я кончил, он вытянул ноги, положил трубку и наклонился ко мне, опираясь локтями о ручку кресла и переплетая пальцы.

— Я прекрасно понимаю. Он — романтик.

Он поставил диагноз, и сначала я был поражен этим простым определением. Действительно, наш разговор так походил на медицинскую консультацию — Штейн, со своим ученым видом, сидящий в кресле перед столом, я, озабоченный, в другом кресле напротив, — что естественным казался вопрос:

— Какие же меры принять?

Он поднял длинный указательный палец.

— Есть только одно средство. Только одно лекарство может исцелить нас: чтобы мы перестали быть собой!

Палец резко щелкнул по столу. Болезнь, которой он дал такое простое определение, вдруг показалась мне еще проще и совсем безнадеж-

ной. Последовало молчание.

— Да, — сказал я, — собственно говоря, вопрос не в том, как излечиться, но как жить.

Он одобрительно и как будто печально кивнул головой.

— Ja! Ja! Пользуясь словами вашего великого поэта, «вот в чем вопрос…».

Сочувственно покачивая головой, он продолжал:

— Как жить? Да, как жить?

Он встал, опираясь о стол кончиками пальцев.

— Мы так по-разному хотим жить, — заговорил он снова. — Эта великолепная бабочка находит кучу грязи и преспокойно на ней сидит; но человек не будет сидеть спокойно на своей куче грязи. Он хочет жить то так, то этак…

Штейн поднял руку, потом опустил ее.

— Хочет быть святым и хочет быть дьяволом. А закрывая глаза, он всякий раз видит себя; и он самому себе представляется замечательным парнем, каким он на самом деле быть не может… видит себя в мечтах…

Штейн опустил стеклянную крышку: резко щелкнул автоматический замок. Взяв ящик обеими руками, он, словно священнодействуя, понес его на прежнее место; из яркого круга,

освещенного лампой, он вступил в пояс более слабого света — и наконец в бесформенную мглу. Создавалось странное впечатление — словно эти несколько шагов вывели его из реального мира. Его высокая фигура, как бы лишенная субстанции, наклоняясь, двигаясь бесшумно, парила над невидимыми предметами, и, казалось, он выполняет там какие-то таинственные, нематериальные обязанности, а голос, доносившийся оттуда, не был теперь резок, но звучал мощно и серьезно, смягченный расстоянием:

— А так как вы не всегда можете держать глаза закрытыми, то наступает реальное несчастье… сердечная тоска… мировая скорбь. Говорю вам, друг мой, тяжело убедиться в том, что не можешь осуществить свою мечту, ибо у тебя не хватает сил или ума… Ja!.. А ведь ты такой замечательный парень! Wie? Was? Gott im Himmel![23] Может ли это быть?.. Ха-ха-ха!

Тень, бродившая среди могил бабочек, громко расхохоталась.

— Да! Это забавная и страшная штука. Человек, рождаясь, отдается мечте, словно падает в море. Если он пытается выкарабкаться из воды, как

---

[23] Примечания: 23
Как? Что? Боже праведный! *(нем.)*

делают неопытные люди, он тонет, nicht war?..[24] Нет, говорю вам! Единственный способ — покориться разрушительной стихии и, делая в воде движения руками и ногами, заставить море, глубокое море поддерживать вас на поверхности. Итак, если вы меня спрашиваете — как быть?..

Голос его вдруг зазвучал очень громко, словно там, в полумраке, он услышал вдохновляющий шепот мудрости:

— Я вам скажу! Здесь тоже есть один лишь путь.

Быстро зашлепав туфлями, он вступил в пояс слабого света и внезапно очутился в ярком круге, освещенном лампой. Его вытянутая рука была направлена в упор в мою грудь, словно пистолет; глубоко запавшие глаза, казалось, пронизывали меня насквозь, но с подергивающихся губ не сорвалось ни одного слова, и экзальтация суровой убежденности, охватившая его во мраке, исчезла. Рука, тянувшаяся к моей груди, упала, и, приблизившись на шаг, он мягко положил ее на мое плечо. Есть вещи, грустно сказал он, которых, пожалуй, не выскажешь, но он так долго жил один, что иногда об этом забывает… забывает.

---

[24] Примечания: 24
Не правда ли? *(нем.)*

Свет уничтожил ту уверенность, какая вдохновляла его в полумраке. Он сел и, опершись обоими локтями о стол, потер себе лоб.

— Однако это правда… правда… Погрузиться в разрушительную стихию…

Он говорил заглушенным голосом, не глядя на меня, прижимая ладони к лицу.

— Вот путь. Следовать за своей мечтой… идти за ней… и так всегда… ewig… usque ad finem…[25]

Его убежденный шепот как будто раскрыл передо мной широкое туманное пространство, словно сумеречную равнину на рассвете… или, пожалуй, перед наступлением ночи. Не было мужества решить; но то был чарующий и обманчивый свет, неосязаемым тусклым покровом поэзии окутывающий западни… могилы. Жизнь его началась с восторженной жертвы во имя великих идей; он странствовал много, по разным дорогам, по странным тропам; и какую бы цель он ни преследовал — шаг его был тверд, и потому не возникало ни стыда, ни раскаяния. В этом он был прав. Несомненно, то был путь. И, несмотря на это, великая равнина, по которой люди странствуют среди западней и могил, оставалась

---

[25] Примечания: 25
Вечно *(нем.)*; до самого конца *(лат.)*.

унылой под неосязаемым поэтическим покровом сумеречного света; затененная в центре, она была обведена ярким поясом, словно пропастью с языками пламени. Наконец я прервал молчание и заявил, что ни один человек не может быть более романтичен, чем он.

Он медленно покачал головой и посмотрел на меня терпеливым, вопрошающим взглядом.

— Стыдно, — сказал он. — Вот мы сидим и болтаем, словно два мальчика, вместо того чтобы поразмыслить и найти какое-то практическое средство… лекарство против зла… великого зла, — повторил он с ласковой и снисходительной улыбкой.

Тем не менее наша беседа не порождала практических выводов. Мы избегали произносить имя Джима, словно Джим был заблудшим духом, страдающей и безыменной тенью.

— Ну, — сказал Штейн, вставая, — сегодня вы переночуете здесь, а утром мы придумаем что-нибудь практическое… практическое.

Он зажег канделябр и направился к дверям. Мы миновали пустынные темные комнаты; нас сопровождали отблески свечей, которые нес Штейн. Отблески скользили по натертому полу, проносились по полированной поверхности

стола, загорались на мебели или вспыхивали и гасли в далеких зеркалах; на секунду появлялись две человеческие фигуры и два огненных языка, крадущиеся бесшумно в глубинах кристальной пустоты. Он шел медленно, на шаг впереди меня, сгорбленный, учтивый, глубокое и настороженное спокойствие было разлито на его лице; длинные белокурые жидкие пряди, прорезанные белыми нитями, спускались на его слегка согнутую шею.

— Он — романтик, — повторил Штейн. — И это очень плохо, очень плохо… И очень хорошо, — добавил он.

— Но романтик ли он? — усомнился я.

— Geviss![26] — сказал он и, не глядя на меня, остановился с поднятым канделябром. — Несомненно! Что заставляет его так мучительно познавать себя? Что делает его существование реальным для вас и для меня?

В тот момент трудно было поверить в существование Джима, начавшееся в доме деревенского священника, заслоненное толпами людей, словно облаками пыли, заглушенное громкими требованиями жизни и смерти в материаль-

---

[26] Примечания: 26
Конечно! *(нем.)*

ном мире, — но его непреходящую реальность я воспринял с непреодолимой силой! Я увидел ее отчетливо, словно пробираясь по высоким молчаливым комнатам среди скользящих отблесков света, внезапно озаряющих две фигуры, которые крадутся с колеблющимися язычками пламени в бездонной и прозрачной глубине, мы ближе подошли к абсолютной Истине; а Истина, подобно самой Красоте, плавает, ускользающая, неясная, полузатонувшая в молчаливых неподвижных водах тайны.

— Быть может, и так, — согласился я с легким смехом, и неожиданно громкое эхо тотчас же заставило меня понизить голос, — но я уверен, что вы — романтик.

Опустив голову и высоко держа канделябр, он снова пошел вперед.

— Что ж… я тоже существую, — сказал он.

Он шел впереди. Я следил за его движениями, но видел я не главу фирмы, не желанного гостя на вечерних приемах, не корреспондента ученых обществ, не хозяина, принимающего заезжих натуралистов, — я видел реальную его судьбу, и по этой тропе он умел идти твердыми шагами; его жизнь началась в скромной обстановке, он познал великодушие, энтузиазм, дружбу, любовь

— все восторженные элементы романтизма. У двери моей комнаты он повернулся ко мне.

— Да, — сказал я, словно продолжая начатый спор, — и, между прочим, вы безумно мечтали об одной бабочке; но когда в одно прекрасное утро мечта встала на вашем пути, вы не упустили блестящей возможности. Не правда ли? Тогда как он…

Штейн поднял руку.

— А знаете ли вы, сколько блестящих возможностей я упустил? Сколько утратил грез, возникавших на моем пути?

Он с сожалением покачал головой.

— Кажется мне, что иные мечты могли быть прекрасны, если бы я их осуществил. Знаете ли вы, сколько их было? Быть может, я и сам не знаю.

— Были ли его мечты прекрасны или нет, — сказал я, — во всяком случае, он знает ту одну, которую упустил.

— Каждый человек знает об одной или двух пропущенных возможностях, — отозвался Штейн, — и в этом беда… великая беда.

На пороге он пожал мне руку и, высоко держа канделябр, заглянул в мою комнату.

— Спите спокойно. А завтра мы должны при-

думать какой-нибудь практический выход… практический…

Хотя его комната находилась дальше моей, но я видел, как он пошел назад. Он возвращался к своим бабочкам.

Глава XXI

— Думаю, никто из вас не слыхал о Патюзане? — заговорил Марлоу после долгой паузы, в течение которой он старательно раскуривал свою сигару. — Это не имеет значения; много есть небесных тел, сверкающих ночью над нашими головами, и о них человечество никогда не слыхало, ибо они находятся вне сферы его деятельности. До них нет дела никому, кроме астрономов, которым платят за то, чтобы они говорили о составе, весе и стезе небесных тел, об их уклонениях с пути, об аберрации света — своего рода научные сплетни. Так же обстоит дело и с Патюзаном. О нем упоминали в правительственных кругах Батавии, а название его известно немногим, очень немногим в коммерческом мире. Однако никто там не был, а я подозреваю, что никто и не хотел туда ехать; так же точно, мне кажется, всякий астроном серьезно воспротивился бы переселению на далекое небесное тело, где, лишенный земных выгод, он, ошеломленный, созерцал бы незнакомое небо. Однако и небесные тела, и астрономы никакого отношения к Патюзану не имеют. Отправился туда Джим. Я хочу только пояснить

вам: устрой ему Штейн переселение на звезду пятой величины — перемена не могла быть более разительной. Он оставил позади свои земные ошибки и ту репутацию, какую приобрел, и попал в совершенно иные условия, открывавшие простор его творческой фантазии. Совершенно иные и поистине замечательные! И проявил себя в них тоже замечательно.

Штейн знал о Патюзане больше, чем кто бы то ни было другой. Больше, думаю, чем было известно в правительственных кругах. Не сомневаюсь, что он там побывал или в дни охоты за бабочками, или позднее, когда, оставаясь неисправимым, пытался приправить щепоткой романтизма жирные блюда своей коммерческой кухни. Очень мало было уголков Архипелага, где бы он не побывал на рассвете их бытия, раньше чем свет — и электричество — был доставлен туда во имя более высокой морали… и… и более крупных барышей. Наутро после нашей беседы о Джиме он упомянул за завтраком о Патюзане, когда я процитировал слова бедного Брайерли: «Пусть он зароется на двадцать футов в землю и там остается».

Заинтересованный, он посмотрел на меня внимательно, словно я был редким насекомым.

— Что ж, и это можно сделать, — заметил он, прихлебывая кофе.

— Похоронить его как-нибудь, — пояснил я. — Конечно, занятие не из приятных, но это — лучшее, что можно придумать для него — такого, как он есть.

— Да, он молод, — отозвался Штейн.

— Самое юное человеческое существо, — подтвердил я.

— Schön![27] У нас есть Патюзан, — продолжал он тем же тоном. — …А женщина теперь умерла, — добавил он загадочно.

Конечно, я не знаю этой истории, я могу лишь догадываться, что некогда Патюзан был уже использован как могила для какого-то греха, провинности или несчастья. Нельзя заподозрить Штейна. Единственная женщина, когда-либо для него существовавшая, была малайская девушка, которую он называл «моя жена-принцесса» или, реже, в минуты откровенности, — «мать моей Эммы». Кто была та женщина, о которой он упомянул в связи с Патюзаном, я не могу сказать; но по его намекам я понял, что она была красива и образованна — наполовину голландка, наполо-

---

[27] Примечания: 27
Прекрасно! *(нем.)*

вину малайка — с историей трагической, а быть может, только печальной; самым прискорбным фактом в этой истории был, несомненно, ее брак с малаккским португальцем, клерком какой-то коммерческой фирмы в голландских колониях. От Штейна я узнал, что этот человек был во многих отношениях личностью неприятной, пожалуй даже отталкивающей. Единственно ради жены Штейн назначил его заведующим торговой станцией «Штейн и К°» в Патюзане; но, с коммерческой точки зрения, назначение было неудачно — во всяком случае, для фирмы, — и теперь, когда женщина умерла, Штейн не прочь был отправить туда другого агента. Португалец — его звали Корнелиус — считал себя особой достойной, но обиженной, заслуживающей с его способностями лучшего положения. Этого человека должен был сменить Джим.

— Но вряд ли португалец оттуда уедет, — заметил Штейн. — Меня это не касается. Только ради женщины я… Но кажется, осталась дочь, и, если он не захочет уехать, я разрешу ему жить в старом доме.

Патюзан — отдаленный округ самостоятельного туземного государства, и главный поселок носит то же название. Удалившись на сорок

миль от моря, вы замечаете с того пункта на реке, где видны первые дома, вершины двух круглых холмов, вздымающиеся над лесами; они почти примыкают одна к другой, и кажется, что их разделяет глубокая щель — словно гора раскололась от мощного удара. В действительности долина между холмами является лишь узким ущельем: со стороны поселка виден один конический холм, расщепленный надвое, и эти две половины слегка отклонились друг от друга. На третий день после полнолуния луна, показавшаяся как раз перед домом Джима (когда я его навестил, он занимал очень красивый дом, построенный в туземном стиле), поднялась из-за этих холмов; под ее лучами две массивные глыбы казались сгущенно-черными и рельефными, а затем почти совершенный диск, ярко сверкающий, поднялся между стенами пропасти и всплыл над вершинами, словно с тихим торжеством ускользнул от зияющей могилы.

— Удивительная картина, — сказал Джим, стоявший подле меня. — Стоит посмотреть — не правда ли?

В этом вопросе прозвучала нотка гордости, которая заставила меня улыбнуться, словно он принимал участие в устройстве этого исклю-

чительного зрелища. Он столько дел уладил в Патюзане! А эти дела, казалось, так же недоступны были его контролю, как движение месяца и звезд.

Это было непостижимо. Вот отличительная черта той жизни, куда Штейн и я неумышленно его втолкнули, преследуя одну лишь цель — убрать его с дороги, — с его же собственной дороги, заметьте. Такова была наша основная мысль, хотя, признаюсь, был еще один мотив, который слегка на меня повлиял. Я собирался съездить на родину и — быть может, сильнее, чем сам о том подозревал, — желал устроить Джима до своего отъезда. Я ехал на родину, а ведь он пришел ко мне оттуда со своей бедой, со своими призрачными требованиями, словно человек, задыхающийся в тумане под тяжестью ноши. Не могу сказать, чтобы я когда-нибудь видел его ясно, даже теперь, после того как взглянул на него в последний раз; но мне казалось, что чем меньше я понимаю, тем крепче я связан с ним во имя того сомнения, какое неотделимо от нашего знания. Я знал немногим больше и о себе самом. А затем, повторяю, я ехал на родину, — на родину такую далекую, что все ее домашние очаги казались как бы единым родным очагом, у

которого самый смиренный из нас имеет право отдохнуть.

Нас тысячи странствующих по лицу земли, прославленных и никому неведомых, мы добываем за морями нашу славу, деньги или только корку хлеба, но мне кажется, что каждый из нас, возвращаясь на родину, как бы дает отчет. Мы возвращаемся на родину, чтобы встретить там людей, которые выше нас, — наших родственников, наших друзей, — тех, кому мы повинуемся, и тех, кого любим. Но даже люди, у которых нет никого, люди самые свободные, одинокие, безответственные и не связанные узами, — те, у кого нет на родине ни дорогого лица, ни знакомого голоса, — даже они встретят некоего духа, обитающего в стране, под ее небом, в воздухе, в долинах и на холмах, в полях, в воде и в листве деревьев, — немого друга, судью и вдохновителя. Говорите что хотите, но, чтобы почувствовать радость, вдохнуть мир, познать истину, нужно вернуться с чистой совестью. Все это может вам показаться пустой сентиментальностью, и, действительно, лишь немногие из нас наделены волей или способностью сознательно вглядываться вглубь знакомых эмоций. Там, на родине, девушки, которых мы любим, мужчины, выше

нас стоящие, нежность, дружба, удачи, радости! Но… вы должны взять награду чистыми руками, иначе в ваших руках она превратится в сухие листья и тернии.

Думаю, одинокие, не имеющие своего очага и привязанностей, те, что возвращаются не в дом свой, а в свою страну, к ее бесплотному, вечному и незыблемому духу, — они лучше всех понимают ее суровую спасительную силу, милость ее извечного права на нашу верность, наше повиновение. Да, немногие из нас понимают, но все мы это чувствуем, я говорю «все», не делая никаких исключений, ибо те, что не чувствуют, — в счет не идут. Каждая былинка имеет свое место на земле, из которой она черпает жизнь и силы, и человек корнями прикреплен к той стране, из которой черпает свою веру вместе с жизнью.

Я не знаю, много ли понимал Джим, но знаю, что он чувствовал, чувствовал смутно, но глубоко, требование этой истины или этой иллюзии — называйте как хотите, разница так невелика и так несущественна. Домой он никогда не вернулся бы. Никогда. Будь он способен на бурное проявление эмоций, он содрогнулся бы при этой мысли и вас заставил бы содрогнуться. Но он был не из этой породы, хотя, по-своему, умел

быть красноречивым. При мысли о возвращении домой он замыкался в себе, сидел неподвижно, в оцепенении, понурив голову и выпятив губы; его честные голубые глаза мрачно сверкали из-под насупленных бровей, словно перед ним вставало что-то невыносимое. Воображение работало под этим крепким черепом, обрамленным густыми волнистыми волосами.

Что же касается меня, то я лишен воображения (в противном случае я бы с большей уверенностью говорил сегодня о Джиме). И я не утверждаю, будто рисовал себе духа страны, который поднимается над белыми утесами Дувра и вопрошает меня, вернувшегося, так сказать, с неполоманными костями, что я сделал со своим юным братом. Такое заблуждение было для меня немыслимо. Я знал прекрасно, что Джим — один из тех, о ком никаких вопросов задавать не будут: я видывал лучших людей, которые уходили, исчезали, скрывались из виду, не вызвав ни проблеска любопытства или сожаления. Дух страны, как и подобает властелину великих начинаний, не заботится о бесчисленных жизнях. Горе отставшим! Мы существуем лишь до тех пор, пока держимся вместе. Он же отстал, оторвался, но сознавал это так мучительно, что казался трогательным: так

напряженная жизнь человека делает его смерть более трогательной, чем смерть дерева. Я случайно оказался под рукой и случайно растрогался. Вот все, что можно об этом сказать. Я был озабочен, как он выкарабкается. Мне было бы больно, начни он, например, пить. Земля так мала, что я боялся, как бы в один прекрасный день не подстерег меня грязный бродяга с мутными глазами и опухшим лицом, в парусиновых ботинках без подметок и с лохмотьями, болтающимися на локтях; и этот бродяга, на правах старого знакомого, попросит у меня пять долларов. Вам известна отвратительная развязность этих пугал, приходящих к вам из благопристойного прошлого, их хриплый, беспечный голос, бесстыдный взгляд… такие встречи тяжелы для человека, который верит в людскую солидарность.

Сказать вам по правде, это была единственная опасность, какую я предвидел для него и для себя, но в то же время я не доверял своему слабому воображению. Могло случиться и кое-что похуже, что я не в силах был предугадать. Он не давал мне забыть о том, каким он наделен воображением, а вы — люди с воображением — можете зайти далеко в любом направлении, словно вам отпущен более длинный канат на беспокойной якорной

стоянке жизни. Такие люди заходят далеко. Они также начинают пить. Быть может, своими опасениями я преуменьшал его достоинства. Откуда мне было знать? Даже Штейн мог сказать о нем только то, что он романтик. Я же знал, что он один из нас. И зачем ему было быть романтиком?

Я останавливаюсь так долго на своих эмоциях и недоуменных размышлениях, ибо очень мало остается сказать о нем. Он существовал для меня, и в конце концов только через меня он существует для вас. Я вывел его за руку; я выставил его напоказ перед вами. Были ли мои заурядные опасения неоправданны? Не могу сказать — не могу сказать даже сейчас. Быть может, вы рассудите лучше, — пословица говорит, что зрителям игра виднее. Во всяком случае, они были излишни. Он не сбился с пути — о нет! Наоборот, он неуклонно продвигался вперед, и на него можно было положиться, — это показывает, что у него были и выдержка, и запал.

Я должен быть в восторге, ибо в этой победе я принимал участие, но я не испытываю того удовольствия, какого следовало бы ждать. Я спрашиваю себя, вырвался ли он действительно из того тумана, в котором блуждал, — фигура занятная, если и не очень крупная, с расплывчатыми

очертаниями — отставший воин, безутешно тоскующий по своему скромному месту в строю. А кроме того, последнее слово еще не сказано — и, быть может, никогда не будет сказано. Разве наша жизнь не слишком коротка для той полной цельной фразы, какая в нашем лепете является, конечно, единственной и постоянной целью? Я перестал ждать этих последних слов, которые — будь они произнесены — потрясли бы небо и землю. Никогда не остается времени сказать наше последнее слово — последнее слово нашей любви, нашего желания, веры, раскаяния, покорности, мятежа. Не должны быть потрясены небо и земля. Во всяком случае — не нами, знающими о них столько истин.

Немного слов мне остается сказать о Джиме. Я утверждаю, что он достиг величия; но в рассказе — вернее, в глазах слушателей — его достижение покажется не весьма большим. Откровенно говоря, не своим словам я не доверяю, а вашей способности воспринимать. Я бы мог быть красноречивым, если бы не боялся, что вы заморили голодом свою фантазию, чтобы питать тело. Я не хочу вас обидеть; почтенное дело — не иметь иллюзий… безопасное… выгодное и… скучное. Однако было же время, когда и в вас жизнь била

через край, когда и вы знали тот чарующий свет, какой вспыхивает в суете каждого дня, такой же удивительный, как блеск искр, выбитых из холодного камня, — и такой же, увы, недолговечный!

Глава XXII

Завоевание любви, почестей, доверия людей, гордость и власть, дарованные завоеванием, — вот тема для героического рассказа; но на нас производит впечатление внешняя сторона такого успеха, а поскольку речь идет об успехах Джима, то никакой внешней стороны не было. Тридцать миль леса скрыли его завоевание от взоров равнодушного мира, а шум белого прибоя вдоль побережья заглушил голос славы. Поток цивилизации, как бы разветвляясь на суше в ста милях к северу от Патюзана, посылает одну ветвь на восток, а другую — на юго-восток, покидая Патюзан, его равнины и ущелья, старые деревья и древнее человечество, — Патюзан заброшенный и изолированный, словно незначительный островок между двумя рукавами могучей, разрушительной реки.

Вы часто встречаете название этой страны в описаниях путешествий далекого прошлого. Торговцы семнадцатого века отправлялись туда за перцем, ибо страсть к перцу, подобно любовному пламени, горела в сердцах голландских и английских авантюристов времен Иакова I. Куда только

не отправлялись они за перцем! Ради мешка перца они готовы были перерезать друг другу горло и продать дьяволу душу, о которой обычно так заботились; странное упорство этого желания заставляло их презирать смерть, явленную в тысяче образов: неведомые моря, незнакомые и отвратительные болезни, раны, плен, голод, чума и отчаяние. Желание делало этих людей великими! Клянусь небом, оно их делало героичными и в то же время трогательными в их безумном торге с неумолимой смертью, налагающей пошлину на молодых и старых. Немыслимым кажется, что одна лишь жадность могла вызвать у людей такое упорство в преследовании цели, такую слепую настойчивость в усилиях и жертвах. И действительно, те, что ставили на карту свою жизнь, рисковали всем ради скудной награды. Они оставляли свои кости на далеких берегах для того, чтобы богатства стекались к живым на родине. Нам, менее искушенным их преемникам, они представляются не торговыми агентами, но орудиями судьбы; они уходили в неизвестное, повинуясь внутреннему голосу, импульсу, трепетавшему в их крови, и мечте о будущем. Они вызывали изумление; и нужно признать — они были готовы к встрече с чудесным. Они снис-

ходительно отмечали его в своих страданиях, в лике моря, в обычаях чуждых народов, в славе блестящих вождей.

В Патюзане они нашли много перца, и на них произвели впечатление величие и мудрость султана; но почему-то, спустя столетие, торговля с этой страной понемногу замирает. Быть может, уже не стало больше перца. Как бы то ни было, но теперь никому не было до нее дела; слава угасла, султан — юный идиот с двумя большими пальцами на левой руке и мизерными средствами, высосанными из жалкого населения и украденными у него многочисленными дядьями.

Эти сведения я, конечно, получил от Штейна. Он назвал мне имена людей и дал краткое описание жизни и характера каждого. Он переполнен был данными о туземном государстве, словно официальный отчет, — с той разницей, что его сведения были гораздо занимательнее. Кому и знать, как не ему. Он торговал со многими округами, а в иных — как, например, в Патюзане — одна только его фирма получила от голландского правительства специальное разрешение основать торговую станцию. Правительство доверяло его благоразумию, и предполагалось, что весь риск он берет на себя. Люди, которых он нанимал, тоже

это понимали, но, видимо, он платил им столько, что рисковать стоило.

Утром, за завтраком, он говорил со мной вполне откровенно. Поскольку ему было известно (по его словам, последние новости были получены тринадцать месяцев назад), жизнь и собственность в Патюзане подвергались постоянной опасности — то были нормальные условия. Там была междоусобица, и во главе одной из партий стоял раджа Алланг, самый злобный из дядьев султана, правитель реки, занимавшийся вымогательством и кражей и угнетавший местных жителей малайцев, которым грозило полное истребление: совершенно беззащитные, они не имели даже возможности эмигрировать — ибо, как заметил Штейн, куда им было идти и как они могли уйти? Несомненно, у них не было даже желания уйти. Мир, обнесенный высокими непроходимыми горами, находился в руках высокорожденного, а этого раджу они знали: он происходил из их королевской династии.

Позже я имел удовольствие встретиться с этим господином. То был маленький, грязный, дряхлый старик с недобрыми глазами и безвольным ртом, через каждые два часа глотавший шарик опиума; презирая правила приличия, он ходил

с непокрытой головой, и растрепанные жирные космы спускались на его сморщенное угрюмое лицо. Во время аудиенции он взбирался на что-то напоминающее узкие подмостки, возведенные в зале, похожем на старый сарай с прогнившим бамбуковым полом, сквозь щели которого вы могли созерцать на глубине двенадцати футов кучи мусора и всевозможных отбросов, сваленные под домом. Вот где он принимал нас, когда, в сопровождении Джима, я явился к нему с официальным визитом.

В комнате находилось человек сорок, и, быть может, втрое больше толпилось внизу во дворе. За нашими спинами люди все время входили и уходили, толкались и перешептывались. Несколько юношей, таращивших глаза издали, были в пестрых шелках; остальные — рабы и смиренные подданные — были полуобнажены, в рваных саронгах, перепачканные золой и грязью.

Я никогда не видел Джима таким серьезным, сдержанным, непроницаемым, внушительным. Среди темнолицых людей его стройная фигура в белом костюме и блестящие светлые кудри, казалось, притягивали солнечные лучи, просачивавшиеся в щели закрытых ставней этого

мрачного зала со стенами из циновок и с тростниковой крышей. Он производил впечатление существа совершенно иной породы. Если бы они не видели, как он приплыл в каноэ, они могли бы подумать, что он спустился к ним с облаков. Однако он прибыл в старом челноке и всю дорогу просидел неподвижно, с плотно сжатыми коленями, опасаясь перевернуть свой челн: сидел на жестяном ящике, который я ему дал, а на коленях держал револьвер морского образца, полученный от меня при прощании. Этот револьвер, по воле провидения, или благодаря какой-то сумасбродной идее, или в силу подсознательной проницательности, он решил оставить незаряженным. Вот так-то поднялся Джим по реке Патюзан. Нельзя себе представить прибытия более прозаического и более опасного, более необычного и случайного, и прибыл он совершенно один. Странно, что все его поступки носили какой-то фатальный характер бегства, импульсивного бессознательного дезертирства — прыжка в неизвестное.

Именно случайность всего этого и производит на меня особенно сильное впечатление. Ни Штейн, ни я не имели ясного представления о том, что находится по другую сторону, когда мы,

выражаясь метафорически, схватили его и перебросили без всяких церемоний через стену. В тот момент я желал только завершить его исчезновение. Характерно, что Штейн руководствовался сентиментальным мотивом. Ему казалось, что он уплачивает (добром, я полагаю) старый долг, о котором никогда не забывал. Действительно, всю свою жизнь он особенно дружелюбно относился к людям, приехавшим с Британских островов. Правда, его покойный благодетель был шотландец и даже именовался Александр Мак-Нейл, а родная деревня Джима лежала значительно южнее реки Твид; но на расстоянии шести или семи тысяч миль Великобритания если и не уменьшается, то укорачивается в перспективе даже для своих чад, и такие детали теряют всякое значение. Намерения Штейна были столь великодушны, что я самым серьезнейшим образом попросил его временно их скрывать. Я чувствовал, что никакие соображения о личной выгоде не должны влиять на Джима; не следовало даже подвергать его риску такого влияния. Нам приходилось иметь дело с иного рода реальностью. Он нуждался в убежище, и убежище, купленное ценою опасности, следовало ему предоставить — и только.

Во всем остальном я был с ним совершенно откровенен и — как мне в то время казалось — даже преувеличил опасность предприятия. В действительности же я ее недооценил: его первый день в Патюзане едва не стал последним, — и оказался бы последним, не будь Джим так безрассуден или так суров к себе и снизойди он до того, чтобы зарядить револьвер. Когда я излагал ему наш план, помню, как его упрямая и тоскливая покорность постепенно уступала место удивлению, любопытству, восторгу и мальчишескому оживлению. О таком случае он мечтал. Он не мог понять, чем он заслужил мое… Пусть его повесят, если он понимает, чему обязан… А Штейн, этот Штейн, торговец, который… но, конечно, меня он — Джим — должен благодарить… Я его оборвал. Он говорил бессвязно, а его благодарность причиняла мне невыразимую боль. Я ему сказал, что если он кому-нибудь обязан, то этот кто-то — старый шотландец, о котором он никогда не слыхал, этот шотландец умер много лет назад, и после него осталось только воспоминание о его громовом голосе и грубоватой честности. Следовательно, благодарить ему некого. Штейн оказывает молодому человеку помощь, какую сам получил в молодости, а я всего-навсего назвал его имя. Тут

Джим покраснел и, вертя в руке какой-то клочок бумаги, робко заметил, что я всегда ему доверял.

Я с этим согласился и, помолчав, высказал пожелание, чтобы ему удалось последовать моему примеру.

— Вы думаете, я себе не доверяю? — с замешательством спросил он, а затем пробормотал о том, что раньше ему нужно себя показать. Лицо его просветлело, и громким голосом он заявил, что у меня не будет случая раскаиваться в том доверии, какое… какое…

— Не заблуждайтесь, — перебил я. — Не в вашей власти заставить меня в чем-либо раскаиваться.

Сожалений у меня быть не могло; а если бы они и были, то это мое личное дело; с другой стороны, я бы желал ему внушить, что этот замысел — этот эксперимент — дело его рук: он и только он будет нести ответственность.

— Как! Да ведь это как раз то самое, чего я… — забормотал он.

Я попросил его не глупить, а у него вид был недоумевающий. Он стоял на пути к тому, чтобы сделать жизнь для себя невыносимой…

— Вы так думаете? — спросил он взволнованно, а через секунду доверчиво прибавил: — Но ведь я пробивался вперед. Разве нет?

Невозможно было на него сердиться. Я невольно улыбнулся и сказал ему, что в былые времена люди, которые пробивались таким путем, становились отшельниками в пустыне.

— К черту отшельников! — воскликнул он с увлечением. Конечно, против пустыни он не возражал.

— Рад это слышать, — сказал я. Ведь именно в пустыню он и отправлялся. Я рискнул посулить, что там жизнь не покажется ему скучной.

— Да, да, — подтвердил он рассудительно.

Он выразил желание, неумолимо продолжал я, уйти и закрыть за собой дверь.

— Разве? — перебил он угрюмо, и мрачное настроение, казалось, окутало его с головы до ног, как тень проходящего облака. В конце концов, он умел быть удивительно выразительным. Удивительно! — Разве? — повторил он с горечью. — Вы не можете сказать, что я поднимал из-за этого шум. И я мог терпеть… только, черт возьми, вы показываете мне дверь…

— Отлично. Ступайте туда, — сказал я. Я мог дать ему торжественное обещание, что дверь за ним закроется плотно. О его судьбе, какой бы она ни была, знать не будут, ибо эта страна, несмотря на переживаемый ею период гниения, считалась

недостаточно созревшей для вмешательства в ее дела. Раз попав туда, он словно никогда и не существовал для внешнего мира. Ему придется стоять на собственных ногах, и вдобавок он должен сначала найти опору для ног.

— Никогда не существовал — вот именно! — прошептал он, впиваясь в мое лицо; глаза его сверкали.

Если он понял все условия, заключил я, ему следует нанять первую попавшуюся гхарри и ехать к Штейну, чтобы получить последние инструкции. Он вылетел из комнаты раньше, чем я успел закончить фразу.

Глава XXIII

Он вернулся лишь на следующее утро. Его оставили обедать и предложили переночевать. Никогда он не встречал такого замечательного человека, как мистер Штейн. В его кармане лежало письмо к Корнелиусу («тому парнишке, который получает отставку», — пояснил он и на секунду задумался). С восторгом показал он серебряное кольцо — такие кольца носят туземцы, — стертое от времени и сохранившее слабые следы резьбы.

То была его рекомендация к старику Дорамину — одному из самых влиятельных людей в Патюзане, важной особе; Дорамин был другом мистера Штейна в стране, где тот нашел столько приключений. Мистер Штейн назвал его «боевым товарищем». Хорошо звучит — боевой товарищ! Не так ли? И не правда ли — мистер Штейн удивительно хорошо говорит по-английски? Сказал, что выучил английский на Целебесе. Ужасно забавно, правда? Он говорит с акцентом — гнусавит, — заметил ли я? Этот парень Дорамин дал ему кольцо. Расставаясь в последний раз, они обменялись подарками. Что-то вроде обета

вечной дружбы. Джиму это понравилось — а мне нравится? Им пришлось наутек бежать из страны, когда этот Мохаммед... Мохаммед... как его звали?.. был убит. Мне, конечно, известна эта история? Гнусное предательство, не правда ли?

В таком духе он говорил без умолку, позабыв о еде, держа в руке нож и вилку, — он застал меня за завтраком; щеки его слегка раскраснелись, а глаза потемнели, что являлось у него признаком возбуждения. Кольцо было чем-то вроде верительной грамоты («об этом читаешь в книжках», — одобрительно вставил он), и Дорамин сделает для него все, что может. Мистер Штейн однажды спас этому парню жизнь; чисто случайно, как сказал мистер Штейн, но он — Джим — остается при особом мнении. Мистер Штейн — человек, который ищет таких случаев. Не важно! Случайно или умышленно, но ему — Джиму — это сослужит хорошую службу. Он надеется от всей души, что славный старикашка еще не отправился к праотцам. Мистер Штейн не знает. Больше года он не имел никаких сведений. Они без конца дерутся между собой, а доступ по реке закрыт. Это чертовски неудобно, но не беда! Он — Джим — найдет щелку и пролезет.

Он произвел на меня впечатление, пожалуй,

даже испугал своей возбужденной болтовней. Он был разговорчив, как мальчишка накануне долгих каникул, открывающих простор всевозможным шалостям, а такое настроение у взрослого человека и при таких обстоятельствах казалось чем-то ненормальным, чуточку сумасшедшим и небезопасным. Я уже готов был взмолиться, прося его отнестись к делу посерьезнее, как вдруг он положил нож и вилку (он начал есть… или, вернее, бессознательно глотать пищу) и стал шарить около своей тарелки. Кольцо! Кольцо! Где, черт возьми… Ах вот оно… Он зажал его в кулак и ощупал один за другим все свои карманы. Как бы не потерять эту штуку… Он серьезно размышлял, глядя на сжатый кулак. Не повесить ли кольцо на шею… И тотчас же он этим занялся: извлек кусок веревки, которая походила на шнурок от башмака. Так! Теперь будет крепок. Черт знает, что получилось бы, если бы… Тут он как будто в первый раз заметил выражение лица моего и немного притих. Должно быть, я не понимаю, сказал он с наивной серьезностью, какое значение он придает этому подарку. Для него кольцо было залогом дружбы — хорошее дело иметь друга. Об этом ему кое-что известно. Он выразительно кивнул мне головой, а когда я жестом отклонил эти

слова, он подпер лицо рукой и некоторое время молчал, задумчиво перебирая хлебные крошки на скатерти.

— Захлопнуть дверь — хорошо сказано! — воскликнул он и, вскочив, зашагал по комнате; поворот его головы, плечи, быстрые неровные шаги напомнили мне тот вечер, когда он так же шагал, исповедуясь, объясняя, — называйте как хотите, — жил передо мной, в тени набежавшего на него облачка, и с бессознательной проницательностью извлекая утешение из самого источника горя. Это было то же самое настроение и — вместе с тем — иное: так ветреный товарищ сегодня ведет вас по верному пути, а назавтра безнадежно собьется с дороги, хотя глаза у него все те же, все та же поступь, все те же побуждения… Походка его была уверенной, блуждающие потемневшие глаза словно искали чего-то в комнате. Казалось, одна его нога ступает тяжелее, чем другая, — быть может, виноваты были башмаки: вот почему походка была как будто неровной. Одну руку он глубоко засунул в карман, другой жестикулировал, размахивая над головой.

— Захлопнуть дверь! — вскричал он. — Я этого ждал. Я еще покажу… Я… Я готов ко всему… О таком случае я мечтал… Боже мой, выбраться

отсюда! Наконец-то удача!.. Вот увидите!.. Я…

Он бесстрашно вскинул голову, и, признаюсь, в первый и последний раз за все время нашего знакомства я неожиданно почувствовал к нему неприязнь. К чему это парение в облаках? Он шагал по комнате, нелепо размахивая рукой и то и дело нащупывая кольцо на груди. Какой смысл ликовать, если человек назначен торговым агентом в страну, где вообще нет никакой торговли? Зачем бросать вызов вселенной? Не с таким настроением следовало подходить к новому делу; такое настроение, сказал я, не подобает ему… да и всякому другому.

Он остановился передо мной. Я действительно так думаю? — спросил он, отнюдь не утихомирившись, и в его улыбке мне вдруг почудилось что-то дерзкое. Но ведь я на двадцать лет старше его. Молодость дерзка: это ее право, ее потребность; она должна утвердить себя, а всякое самоутверждение в этом мире сомнений является вызовом и дерзостью.

Он отошел в дальний угол, а затем вернулся, чтобы — выражаясь образно — меня растерзать. Я, мол, говорил так потому, что даже я, который был так добр к нему, — даже я помнил… помнил о том, что с ним случилось. Что же тут говорить

об остальных… о мире? Что удивительного, если он хочет уйти… убраться отсюда навсегда? А я толкую о подобающем настроении!

— Дело не в том, что помню я или помнит мир, — крикнул я. — Это вы — вы помните!

Он не сдавался и с жаром продолжал:

— Забыть все… всех, всех… — Понизив голос, он добавил: — Но вас?

— Да, и меня тоже, если это вам поможет, — так же тихо сказал я.

После этого мы еще несколько минут сидели безмолвные и вялые, словно опустошенные. Потом он сдержанно сообщил мне, что мистер Штейн советовал ему подождать месяц, чтобы выяснить — сможет ли он там остаться, раньше чем начинать постройку нового дома; таким образом он избегнет «бесполезных трат». Мистер Штейн иногда употреблял такие забавные выражения… «Бесполезные траты» — это очень хорошо… Остаться? — Ну конечно! Он останется. Только бы попасть туда — и конец делу. Он ручался, что останется. Никогда не уйдет. Ему нетрудно там остаться.

— Не будьте безрассудны, — сказал я, встревоженный его угрожающим тоном. — Если вы проживете долго, вам захочется вернуться.

— Вернуться — куда? — рассеянно спросил он, уставившись на циферблат стенных часов.

Помолчав, я спросил:

— Значит, никогда?

— Никогда, — повторил он задумчиво, не глядя на меня; потом вдруг встрепенулся: — О боги! Два часа, а в четыре я отплываю!

Это была правда. Бригантина Штейна уходила в тот день на запад, Джим должен был ехать на ней, а никаких распоряжений отсрочить отплытие дано не было. Думаю, Штейн позабыл. Джим стремительно побежал укладывать вещи, а я отправился на борт своего судна, куда он обещал заглянуть, когда отплывет на бригантину, стоявшую на внешнем рейде. Он явился запыхавшись, с маленьким кожаным чемоданом в руке. Это не годилось, и я ему предложил свой старый жестяной сундук; считалось, что он не пропускает воды или, во всяком случае, сырости. Вещи Джим переложил очень просто: вытряхнул содержимое чемодана, как вытряхивают мешок пшеницы. Я заметил три книги: две маленькие, в темных переплетах, и толстый зеленый с золотом том — полное собрание сочинений Шекспира, цена два с половиной шиллинга.

— Вы это читаете? — спросил я.

— Прекрасно поднимает настроение, — быстро сказал он.

Меня поразила такая оценка, но некогда было начинать разговор о Шекспире. На столе лежали тяжелый револьвер и две маленькие коробки с патронами.

— Пожалуйста, возьмите это, — сказал я. — Быть может, он поможет остаться там.

Не успел я выговорить эти слова, как уже понял, какой зловещий смысл можно им придать.

— Поможет вам добраться туда, — с раскаянием поправился я.

Однако он не размышлял о темном значении слов; с жаром поблагодарив меня, он выбежал из каюты, бросив через плечо:

— Прощайте!

Я услышал его голос за бортом судна: он торопил своих гребцов; выглянув в иллюминатор на корме, я видел, как шлюпка обогнула подзор. Он сидел на носу и, крича и жестикулируя, подгонял гребцов; в руке он держал револьвер, словно целясь в их головы; в моей памяти навсегда останутся перепуганные лица четырех яванцев: с бешеной силой налегли они на весла, и видение исчезло из поля моего зрения. Тогда я повернулся, и первое, что я увидел, были две коробки с патро-

нами, лежавшие на столе. Он позабыл их взять.

Я приказал немедленно приготовить мне гичку; но гребцы Джима, убежденные, что жизнь их висит на волоске, пока в шлюпке сидит этот помешанный, неслись с невероятной быстротой; я не успел покрыть и половины расстояния между двумя судами, как Джим уже перелезал через поручни, и его ящик поднимали наверх. Бригантина была готова к отплытию, грот поставлен, и брашпиль застучал, когда я ступил на палубу; капитан — юркий, маленький полукровка, лет сорока, в синем фланелевом костюме, с круглым лицом цвета лимонной корки, с живыми глазами и редкими черными усиками, свисающими на толстые темные губы, — улыбаясь, пошел мне навстречу. Несмотря на его самодовольный и веселый вид, он оказался человеком, измученным заботами. Когда Джим на минутку спустился вниз, он сказал в ответ на какое-то мое замечание:

— О да! Патюзан.

Он доставит джентльмена до устья реки, но подниматься по реке «ни за что не станет». Его бойкие английские фразы, казалось, почерпнуты были из словаря, составленного сумасшедшим. Пожелай мистер Штейн, чтобы он поднялся,

он бы «почтительнейше» (вероятно, он хотел сказать «вежливо», а впрочем, черт его знает!) привел возражения, «имея в виду безопасность имущества». В случае отказа он бы «отставил себя». Год назад он побывал там в последний раз, и хотя мистер Корнелиус «многими приношениями добивался милости» раджи Алланга и «коренного населения» на условиях, которые для торговли были «как полынь во рту», однако судно, спускаясь по реке, подверглось обстрелу со стороны «безответственного населения», скрывавшегося в лесу; а матросы, спасая свою шкуру, попрятались в укромные местечки, и бригантина едва не наскочила на мель, где ей «грозила гибель, не поддающаяся описанию».

Злоба, проснувшаяся при этом воспоминании, и гордость, с какой он прислушивался к своей плавной речи, поочередно отражались на его широком простоватом лице. Он и хмурился, и улыбался, и с удовольствием следил, какое впечатление производит на меня его фразеология. Темные морщины быстро избороздили гладь моря, и бригантина с поднятым марселем и поставленной поперек грот-реей, казалось, недоуменно застыла в морской ряби.

Затем он, скрежеща зубами, сообщил мне, что

раджа был «смешной гиеной» (не знаю, почему ему пришла в голову гиена), а кто-то другой оказался «хитрее крокодила». Искоса следя за командой, работавшей на носу, он дал волю своему красноречию и сравнил Патюзан с «клеткой зверей, взбесившихся от долгого нераскаяния». (Вероятно, он хотел сказать — безнаказанности.)

Он не намеревался, вскричал он, «умышленно подвергать себя ограблению». Протяжные крики людей, бравших якорь на кат, смолкли, и он понизил голос.

— Хватит с меня Патюзана! — энергично заключил он.

Как я впоследствии слышал, он однажды был настолько неосторожен, что его привязали за шею к столбу, стоявшему посредине грязной ямы перед домом раджи. В таком неприятном положении он провел большую часть дня и всю ночь, но есть основания предполагать, что над ним хотели просто подшутить. Кажется, он призадумался над этим жутким воспоминанием, а потом ворчливо обратился к матросу, который шел к штурвалу. Снова повернувшись ко мне, он заговорил рассудительно и бесстрастно. Он отвезет джентльмена к устью реки у Бату-Кринг — «город Патюзан, — заметил он, — находится на расстоянии тридцати

миль, внутри страны». По его мнению, продолжал он вялым убежденным тоном, сменившим прежнюю болтливость, джентльмен в данный момент уже «подобен трупу».

— Что? Что вы говорите? — переспросил я.

Он принял грозный вид и в совершенстве изобразил, как наносят удар ножом в спину.

— Все равно что покойник, — пояснил он с невыносимым самодовольством, радуясь своей проницательности. За его спиной я увидел Джима, который молча мне улыбался и поднял руку, удерживая готовое сорваться с моих губ восклицание.

Затем, пока полукровка с важностью выкрикивал приказания, пока поворачивались с треском реи и поднималась тяжелая цепь, Джим и я, оставшись одни с подветренной стороны грота, пожали друг другу руку и торопливо обменялись последними словами. В сердце моем уже не было того тупого недовольства, какое не оставляло меня наряду с интересом к его судьбе. Нелепая болтовня полукровки придала больше реальности опасностям на его пути, чем заботливые предостережения Штейна. На этот раз что-то формальное, всегда окрашивавшее наши беседы, исчезло; кажется, я назвал его «дорогим мальчи-

ком», а он, выражая свою благодарность, назвал меня «старина», словно риск, на который он шел, уравнивал наш возраст и чувства. Была секунда подлинной и глубокой близости — неожиданной и мимолетной, как проблеск какой-то вечной, спасительной правды. Он старался меня успокоить, словно из нас двоих он был более зрелым.

— Хорошо, хорошо, — торопливо и с чувством говорил он. — Я обещаю быть осторожным. Да, рисковать я не буду. Никакого риска. Конечно нет. Я хочу пробиться. Не беспокойтесь. Я чувствую себя так, словно ничто не может меня коснуться. Как! Да ведь есть в этом слове «Иди!» большая удача. Я не стану портить такой прекрасный случай…

Прекрасный случай! Что ж, случай был прекрасен, но ведь случаи создаются людьми, — а как я мог знать? Он сам сказал: даже я… даже я помнил, что его… несчастье говорит против него. Это была правда. И лучше всего для него уйти.

Моя гичка попала в кильватер бригантины, и я отчетливо его видел: он стоял на корме в лучах клонившегося к западу солнца, высоко поднимая над головой фуражку. Донесся неясный крик:

— Вы… еще… обо мне… услышите!

«Обо мне» или «от меня» — хорошенько не

знаю. Кажется, он сказал — «обо мне». Меня слепил блеск моря у его ног, и я плохо мог его разглядеть. Всегда я обречен его видеть неясно, но уверяю вас, ни один человек не мог быть менее «подобен трупу», как выразилась эта каркающая ворона. Я разглядел лицо маленького полукровки, по форме и цвету похожее на спелую тыкву; оно высовывалось из-под локтя Джима. Он тоже поднял руку, словно готовился нанести удар. Absit omen![28]

[28] Примечания: 28
Да не будет это предзнаменованием! *(лат.)*

Глава XXIV

Берег Патюзана — я увидел его года два спустя — прямой и мрачный и обращен к туманному океану. Красные тропы, похожие на водопады ржавчины, тянутся под темно-зеленой листвой кустарника и ползучих растений, одевающих низкие утесы. Болотистые равнины сливаются с устьями рек, а за необъятными лесами встают зазубренные голубые вершины. Недалеко от берега цепь островов — темных осыпающихся глыб — резко вырисовывается в вечной дымке, пронизанной солнечным светом, словно остатки стены, пробитой волнами.

У Бату-Кринг — одного из рукавов устья — находится рыбачья деревушка. Река, так долго остававшаяся недоступной, была в ту пору открыта для плавания, и маленькая шхуна Штейна, на которой я прибыл, за тридцать шесть часов поднялась вверх по течению, не подвергаясь обстрелу со стороны «безответственного населения». Такие обстрелы уже отошли в область далекого прошлого, если верить старшине рыбачьей деревушки, который в качестве лоцмана явился на борт шхуны. Он разговаривал со мной

— вторым белым человеком, какого видел за всю свою жизнь, — доверчиво и преимущественно о первом виденном им белом. Он называл его Тюан Джим, и тон его произвел на меня впечатление странным сочетанием фамильярности и благоговения. Они — жители этой деревушки — находились под особым покровительством белого господина: это свидетельствует о том, что Джим не помнил зла. Он предупреждал, что я о нем услышу, и слова его оправдались. Да, я о нем услышал. Возникла уже легенда, будто прилив начался на два часа раньше, чтобы помочь ему подняться вверх по течению реки. Болтливый старик сам управлял каноэ и подивился такому феноменальному явлению. Вдобавок вся слава досталась его семье. Гребли его сын и зять; но они были неопытными юнцами и не заметили быстрого хода каноэ, пока старик не обратил их внимания на этот изумительный факт.

Прибытие Джима в эту рыбачью деревушку было благословением; но для них, как и для многих из нас, благословению предшествовал ужас. Столько поколений сменилось с тех пор, как последний белый человек посетил реку, что даже традиции были позабыты. Появление этого существа, словно с неба на них свалившегося и

неумолимо потребовавшего, чтобы отвезли его в Патюзан, вызвало тревогу; его настойчивость пугала; щедрость казалась более чем подозрительной. То было неслыханное требование, не имевшее прецедента в прошлом. Что скажет на это раджа? Как он с ними расправится? Большая часть ночи прошла в совещании, но непосредственный риск навлечь на себя гнев этого странного человека был столь велик, что наконец они приготовили жалкий челнок. Женщины горестно завопили, когда они отчалили. Бесстрашная старая колдунья прокляла незнакомца.

Он сидел, как я вам уже сказал, на своем жестяном ящике, держа на коленях незаряженный револьвер. Он сидел настороженный — такое напряжение сильнее всего утомляет — и так прибыл в страну, где ему суждено было прославиться своими подвигами от голубых вершин до белой ленты прибоя у берега. За первым поворотом реки он потерял из виду море с его неутомимыми волнами, которые вечно вздымаются, падают и исчезают, чтобы снова подняться, — вечный символ борющегося человечества. Перед собой он увидел неподвижные леса, ушедшие корнями глубоко в землю, стремящиеся навстречу солнечному свету, вечные, как сама жизнь, в

темном могуществе своих традиций. А счастье его, окутанное покрывалом, сидело подле, словно восточная невеста, которая ждет, чтобы рука господина сорвала с нее вуаль. Он тоже был наследником темной и могущественной традиции!

Однако он мне сказал, что никогда еще не чувствовал себя таким подавленным и усталым, как в этом каноэ. Он не смел шевелиться и только потихоньку протягивал руку за скорлупой кокосового ореха, плававшей у его ног, и с величайшей осторожностью вычерпывал воду. Тут он понял, какое твердое сиденье представляет крышка жестяного ящика. У него было богатырское здоровье, но несколько раз в продолжение этого путешествия он испытывал головокружение, а в промежутках тупо размышлял о том, каков-то будет волдырь на его спине от солнечного ожога. Для развлечения он стал смотреть вперед, на какой-то грязный предмет, лежавший у края воды, и старался угадать — бревно это или аллигатор. Но вскоре бросил это развлечение.

Ничего забавного не было: предмет всегда оказывался аллигатором. Один из них бросился в реку и едва не перевернул каноэ. Через минуту он забыл и этот случай. Затем после долгого пути он радостно приветствовал стайку обезьян,

спустившихся к самому берегу и провожавших лодку возмутительными воплями. Вот каким путем шел он к величию — подлинному величию, какого когда-либо достигал человек. Он страстно ждал захода солнца, а тем временем три гребца готовились привести в исполнение задуманный план — выдать его радже.

— Должно быть, я одурел от усталости или задремал, — сказал он. Неожиданно он заметил, что каноэ подходит к берегу. Тут он обнаружил, что леса остались позади, вдали виднеются первые дома, а налево — частокол; его гребцы выпрыгнули на низкий берег и пустились наутек. Инстинктивно он бросился за ними. Сначала он подумал, что они неизвестно почему дезертировали, но потом услышал возбужденные крики, распахнулись ворота, и толпа двинулась ему навстречу. В то же время лодка с вооруженными людьми появилась на реке и, поравнявшись с его пустым каноэ, отрезала ему таким образом путь к отступлению.

— Я был, знаете ли, слишком изумлен, чтобы оставаться хладнокровным, и, будь этот револьвер заряжен, я бы кого-нибудь пристрелил — быть может, двоих или троих, — и тогда мне пришел бы конец. Но револьвер был не заряжен…

— Что ж, может, надо было и пристрелить.

— Не мог же я сражаться со всем населением: я не хотел идти к ним так, словно боялся за свою жизнь, — сказал он, и в глазах его вспыхнуло мрачное упорство.

Я промолчал о том, что им-то неизвестно было, заряжен револьвер или нет.

— Как бы то ни было, но револьвер был не заряжен, — повторил он добродушно. — Я остановился и спросил их, в чем дело. Они как будто онемели. Я видел, как несколько человек уносили мой ящик. Этот длинноногий старый негодяй Кассим — завтра я вам его покажу — выбежал вперед и забормотал, что раджа желает меня видеть. Я сказал: «Ладно». Я тоже хотел видеть раджу; я попросту вошел в ворота и... и вот я здесь.

Он засмеялся и вдруг с неожиданным возбуждением спросил:

— А знаете, что лучше всего? Я вам скажу. Сознание, что в проигрыше остался бы Патюзан, если бы меня отсюда выгнали!

Так говорил он со мной перед своим домом в тот вечер, о котором я упомянул, когда мы следили, как луна поднималась над пропастью между холмами, словно призрак из могилы; лунное сияние спускалось, холодное и бледное, как мертвый

солнечный свет. Есть что-то жуткое в свете луны; в нем вся бесстрастность невоплощенной души и какая-то непостижимая тайна. По отношению к нашему солнечному свету, который — что бы вы ни говорили — есть все, чем мы живем, лунный свет — то же, что эхо по отношению к звуку: печальна нота или насмешлива — эхо остается обманчивым и неясным. Лунный свет лишает все материальные формы — среди которых, в конце концов, мы живем — их субстанции и дает зловещую реальность одним лишь теням. А тени вокруг нас были очень реальны, но Джим, стоявший подле меня, казался очень сильным, словно ничто — даже оккультная сила лунного света — не могло лишить его реальности в моих глазах. Быть может, и в самом деле ничто не могло его теперь коснуться, раз он выдержал натиск темных сил. Все было безмолвно, все было неподвижно; даже на реке лунные лучи спали, словно на глади пруда. В это время прилив был на высшем уровне — это был момент полной неподвижности, подчеркивающий изолированность этого затерянного уголка земли. Дома, толпившиеся вдоль широкой сияющей полосы, не тронутой рябью или отблесками, — подступали к воде, словно ряд теснящихся, расплывчатых, серых, серебристых

глыб, сливающихся с черными тенями; они походили на призрачное стадо бесформенных тварей, пробивающихся вперед, чтобы испить воды из призрачного и безжизненного потока. Кое-где за бамбуковыми стенами поблескивал красный огонек, теплый, словно живая искра, наводящий на мысль о человеческих привязанностях, о пристанище и отдыхе.

Он признался мне, что часто наблюдает, как гаснут один за другим эти крохотные теплые огоньки; ему нравится следить, как отходят ко сну люди, уверенные в безопасности завтрашнего дня.

— Спокойно здесь, правда? — спросил он. Он не отличался красноречием, но глубоко значительны были следующие его слова: — Посмотрите на эти дома. Нет ни одного дома, где бы мне не доверяли. Я вам говорил, что пробьюсь. Спросите любого мужчину, женщину, ребенка… — Он приостановился. — Ну что ж, во всяком случае, я на что-то годен.

Я поспешил заметить, что, в конце концов, он должен был прийти к такому заключению. Я был в этом уверен, добавил я. Он покачал головой.

— Были уверены? — Он слегка пожал мне руку повыше локтя. — Что ж… значит, вы были

правы!

Окрыленность, гордость, чуть ли не благоговение слышались в этом тихом восклицании.

— И подумать только, что это для меня значит! — Снова он сжал мне руку. — А вы меня спрашивали — думаю ли я уехать. Боже! Мне уехать! Особенно теперь, после того, что вы мне сказали о мистере Штейне… Уехать! Как! Да ведь этого-то я и боялся. Это было бы… тяжелее смерти. Нет, клянусь честью! Не смейтесь. Я должен чувствовать — каждый раз, когда открываю глаза, — что мне доверяют… что никто не имеет права… вы понимаете? Уехать! Куда? Зачем? Чего мне добиваться?

Я сообщил ему — в сущности, это и было целью моего визита — о намерении Штейна подарить ему дом и запас товаров на таких условиях, что сделка будет вполне законной и имеющей силу. Сначала он стал фыркать и брыкаться.

— К черту вашу деликатность! — крикнул я. — Это вовсе не Штейн. Вам дают то, чего вы сами добились. И во всяком случае, приберегите ваши замечания для Мак-Нейла… когда встретите его на том свете. Надеюсь, это случится не скоро.

Ему пришлось принять мои доводы, ибо все его завоевания — доверие, слава, дружба, лю-

бовь — сделали его не только господином, но и пленником. Глазами собственника смотрел он на тихую вечернюю реку, дома, на вечную жизнь лесов, на жизнь древних племен, на тайны страны, на гордость своего сердца; в действительности же это они им владели, сделали его своею собственностью вплоть до самых сокровенных его мыслей, вплоть до биения крови и последнего его вздоха.

Было чем гордиться! Я тоже гордился — гордился им, хотя и не был так уверен в баснословных выгодах сделки. Это было удивительно. Не о бесстрашии его я думал. Странно, как мало значения я ему придавал, словно оно являлось чем-то слишком условным, чтобы стать самым главным. Нет, больше поразили меня другие таланты, которые он проявил. Он доказал свое умение стать господином положения, он доказал свою интеллектуальную остроту в его оценке. А изумительная его готовность! И все это проявилось у него внезапно, как острое чутье у породистой ищейки. Он не был красноречив, но его молчание было исполнено достоинства, и великой серьезностью дышали его нескладные речи. Он все еще умел по-старому краснеть. Но иногда сорвавшееся слово или фраза показывали, как

глубоко, как торжественно относится он к тому делу, какое дало ему уверенность в оправдании. Вот почему, казалось, любил он эту страну и этих людей — любил с каким-то неукротимым эгоизмом, со снисходительной нежностью.

Глава XXV

— Вот где меня держали в плену три дня, — шепнул он мне в день нашего посещения раджи, когда мы медленно пробирались сквозь благоговейно шумливую толпу подданных, собравшихся во дворе Тунку Алланга. — Грязное местечко, не правда ли? А есть мне давали, только когда я поднимал шум, да и то я получал всего-навсего мисочку риса да жареную рыбку, чуть побольше корюшки... черт бы их побрал! Ну и голоден же я был, когда бродил в этом вонючем загоне, а эти парни шныряли около меня! Я отдал ваш револьвер по первому же требованию. Рад был от него отделаться. Глупый у меня был вид, пока я разгуливал, держа в руке незаряженный револьвер.

Тут нас провели к радже, и в присутствии человека, у которого он побывал в плену, Джим стал невозмутимо серьезен и любезен. О, он держал себя великолепно! Мне хочется смеяться, когда я об этом вспоминаю. И однако, Джим показался мне внушительным. Старый негодяй Тунку Алланг не мог скрыть свой страх (он отнюдь не был героем, хотя и любил рассказывать о своей буйной молодости), но в то же время относился

к бывшему пленнику с серьезным доверием. Заметьте! Ему доверяли даже там, где должны были сильнее всего ненавидеть. Джим — насколько я мог следить за разговором — воспользовался случаем, чтобы прочесть нотацию. Несколько бедных поселян были задержаны и ограблены по дороге к дому Дорамина, куда они несли камедь или воск, которые хотели обменять на рис.

— Это Дорамин — вор! — крикнул раджа. Словно бешенство вселилось в это дряхлое, хрупкое тело. Он извивался на своей циновке, жестикулировал, подергивал ногами, потряхивал своей спутанной гривой — свирепое воплощение ярости. Люди вокруг нас таращили глаза и трепетали. Джим заговорил. Довольно долго он, решительный и хладнокровный, развивал ту мысль, что не следует мешать человеку честно добывать еду себе и своим детям. Раджа сидел на помосте, словно портной на столе, ладони он опустил на колени, низко склонил голову и пристально, сквозь космы седых волос, падавших ему на глаза, смотрел на Джима. Когда Джим замолчал, наступила глубокая тишина. Казалось, никто не дышал; не слышно было ни звука. Наконец старый раджа слабо вздохнул, поднял голову и быстро сказал:

— Ты слышишь, мой народ! Чтобы этого больше не было!

Приказ был принят к сведению в глубоком молчании. Довольно грузный человек, видимо пользовавшийся доверием раджи, с неглупыми глазами, скуластым, широким и очень темным лицом, веселый и услужливый (позже я узнал, что он был палачом), поднес нам две чашки кофе на медном подносе, который взял из рук слуги.

— Вам не нужно пить, — быстро пробормотал Джим.

Сначала я не понял смысла этих слов и только поглядел на него. Он сделал большой глоток и сидел невозмутимый, держа в левой руке блюдце. Тут меня охватило сильное раздражение.

— Зачем, черт возьми, — прошептал я, любезно ему улыбаясь, — вы меня подвергаете такому нелепому риску?

Конечно, выхода не было, и я выпил кофе, а Джим ничего мне не ответил, и вскоре после этого мы ушли. Пока мы в сопровождении неглупого и веселого палача шли по двору к нашей лодке, Джим сказал, что он очень сожалеет. Конечно, риска было мало. Лично он не боялся яда. Почти никакого риска. Он уверял меня, что его считают в значительно большей степени полез-

ным, чем опасным, а потому…

— Но раджа ужасно боится вас. Всякий может это заметить, — доказывал я, признаюсь, довольно брюзгливо, и все время я с беспокойством ожидал начала страшных колик. Я был очень возмущен.

— Если я хочу принести здесь пользу и сохранить свое положение, — сказал он, садясь рядом со мной в лодку, — я должен идти на риск: я это делаю по крайней мере раз в месяц. Многие верят, что я пойду на это ради них. Боится меня! Вот именно. По всем вероятиям, он боится меня, потому что я не боюсь его кофе.

Затем Джим показал мне местечко в северном конце частокола, где заостренные концы нескольких кольев были сломаны.

— Здесь я перепрыгнул через частокол на третий день моего пребывания в Патюзане. Они до сих пор еще не вбили новых кольев. Недурной прыжок, а?

Секунду спустя мы миновали устье грязной речонки.

— А здесь я сделал второй прыжок. Я бежал и с разбегу прыгнул, но не допрыгнул. Думал — тут мне и конец. Потерял башмаки, выкарабкиваясь из грязи. И все время думал о том, как будет

скверно, если меня заколют этим проклятым длинным копьем, пока я здесь барахтаюсь. Помню, как меня мутило, когда я корчился в тине. Тошнило по-настоящему, словно я проглотил кусок какой-то гнили.

Вот как обстояло дело, — а счастье его бежало подле него, прыгало через частокол, барахталось в грязи… и все еще было закутано в покрывало. Вы понимаете — только потому, что он так неожиданно появился, его не закололи тотчас же копьями, не бросили в реку. Он был в их руках, но они словно завладели оборотнем, привидением, знамением. Что означало его появление? Как следовало с ним поступить? Не слишком ли поздно идти на примирение? Не лучше ли убить его без лишних проволочек? Но что за этим последует? Старый негодяй Алланг чуть с ума не сошел от страха и колебаний, какое решение принять. Несколько раз совещание прерывалось, и советники опрометью кидались к дверям и выскакивали на веранду. Говорят, один даже прыгнул вниз, на землю с высоты пятнадцати футов и сломал себе ногу. У царственного правителя Патюзана были странные причуды: в горячий спор он всякий раз вводил хвастливые рапсодии, понемногу приходил в возбуждение и, наконец,

размахивая копьем, срывался со своего помоста. Но, за исключением таких перерывов, прения о судьбе Джима продолжались день и ночь.

Тем временем он бродил по двору. Иные его избегали, другие таращили глаза, но все за ним следили, и, собственно говоря, он находился во власти первого встречного оборванца, вооруженного топором. Джим завладел маленьким полуразвалившимся сараем, чтобы там спать; испарения, поднимавшиеся над грязью и гнилью, отравляли ему жизнь, но, видимо, аппетита он не потерял, ибо, по его словам, все время был голоден. Время от времени какой-нибудь «суетливый осел», присланный из залы совещания, подбегал к нему и медовым голосом предлагал изумительные вопросы:

— Собираются ли голландцы завладеть страной? Не хочет ли белый человек отправиться обратно вниз по реке? С какой целью прибыл он в такую жалкую страну? Раджа желает знать, может ли белый человек починить часы?

Они действительно притащили ему никелированный будильник американской работы, и от нестерпимой скуки он им занялся, пытаясь починить. Видимо, возясь в своем сарае над этим будильником, он внезапно понял, какая серьез-

ная опасность ему угрожает. Он бросил часы, «словно горячую картофелину», и быстро вышел, не имея ни малейшего представления о том, что он сделает или, вернее, что он в силах сделать. Он знал только, что положение невыносимо.

Он бесцельно бродил за каким-то ветхим строением, напоминавшим маленький амбар на сваях, и тут взгляд его остановился на поломанных кольях частокола; тогда, по его словам, он сразу, ни о чем не размышляя и нимало не волнуясь, занялся своим спасением, словно выполнял план, созревавший в течение месяца. С беззаботным видом он отошел подальше, чтобы хорошенько разбежаться, а когда огляделся, то увидел подле себя какого-то туземного сановника в сопровождении двух копьеносцев, собиравшегося обратиться к нему с вопросом. Он ускользнул «из-под самого его носа» и, «словно птица», перемахнул через частокол на другую сторону; от тяжелого падения все кости затрещали, и ему показалось, что череп его раскололся. Тотчас же он вскочил на ноги. В то время он решительно ни о чем не думал; по его словам, он помнил только, что поднялся громкий вой. Первые дома Патюзана находились на расстоянии четырехсот ярдов; он увидел речонку и инстинктивно побежал быстрее. Ноги его как

будто не касались земли. Добежав до последнего сухого местечка, он прыгнул, почувствовал, как взлетел на воздух, а затем, без всякого толчка, опустился прямо на ноги, на очень мягкую и вязкую грязевую отмель. Тут только, попытавшись высвободить ноги и убедившись, что не может это сделать, он, по собственному его выражению, «пришел в себя». Тогда он стал думать о «проклятых длинных копьях».

В действительности, принимая во внимание, что люди, находившиеся за частоколом, должны были добежать до ворот, спуститься к причалу, сесть в лодки и обогнуть мыс, он опередил их на значительно большее расстояние, чем предполагал. Кроме того, был отлив, в речонке не было воды, хотя и сухой ее не назовешь, и Джим временно находился в безопасности и мог опасаться лишь дальнобойного ружья. Твердая земля была в шести футах от него.

— А все-таки я думал, что мне придется тут умереть, — сказал он.

Он отчаянно извивался, цеплялся руками и добился лишь того, что отвратительный, лоснящийся, холодный ил облепил ему грудь, втянул его до самого подбородка. Ему казалось, что он хоронит себя заживо, и тогда он, обезумев, стал

колотить грязь кулаками. Она падала ему на голову, на лицо, в глаза, в рот. Он говорил мне, что вспомнил внезапно двор раджи, как вспоминаешь место, где ты был счастлив много лет назад. Ему страстно хотелось снова быть там и сидеть за починкой часов. За починкой часов — вот именно! Он делал отчаянные усилия, от которых глаза его, казалось, вот-вот выскочат из орбит; он переставал видеть и, задыхаясь, всхлипывая, напрягал все силы, чтобы выкарабкаться из грязи, очистить от нее свое тело. Наконец он почувствовал, что ползет по берегу. Затем, словно счастливая догадка, мелькнула мысль, что сейчас он заснет. Он настаивает на том, что действительно заснул; минуту он спал или секунду — он не знает, но отчетливо помнит, как, судорожно вздрогнув, проснулся. С минуту он лежал неподвижно, а потом встал, грязный с головы до ног, и подумал о том, что он — один, совсем один; сотни миль отделяют его от тех людей, среди которых он жил, и не от кого ждать ему, словно загнанному животному, помощи, сочувствия, жалости. Первые дома находились не дальше двадцати ярдов от него; отчаянный вопль испуганной женщины, пытавшейся унести ребенка, заставил его снова побежать со всех ног. Он мчал-

ся в носках, облепленный грязью, потеряв всякое подобие человеческое. Он миновал большую часть поселка. Женщины, как более проворные, разбегались направо и налево; мужчины, менее подвижные, роняли то, что было у них в руках, и, пораженные ужасом, застывали с отвисшей челюстью. Он походил на какое-то страшное чудовище. Он помнит, как маленькие дети пытались убежать, падали на животик и колотили ногами. Проскочив между двумя домами, он стал карабкаться по склону, в отчаянии перелез через баррикаду из поваленных деревьев (в то время в Патюзане ни одна неделя не проходила без сражения), пробился сквозь изгородь в маисовое поле, где перепуганный мальчик швырнул в него палку, выскочил на тропинку и с разбегу налетел на кучку изумленных людей. У него едва хватило сил выговорить:

— Дорамин! Дорамин!

Он помнит, как его волокли, поддерживая, на вершину холма и на широком дворе, обсаженном пальмами и фруктовыми деревьями, подвели к стулу, на котором восседал грузный человек, а вокруг стояла возбужденная, взбудораженная толпа. Джим стал шарить руками, нащупывая под своей грязной одеждой кольцо, и вдруг очутился

на спине, недоумевая, кто его повалил. Видите ли — они просто перестали его поддерживать, а он не мог устоять на ногах. У подножия холма раздалось несколько выстрелов, — стреляли наобум, и над поселком поднялся глухой изумленный вой. Но Джим был в безопасности. Люди Дорамина баррикадировали ворота и лили воду ему в глотку: старая жена Дорамина, суетливая, исполненная сострадания, пронзительным голосом отдавала распоряжения своим девушкам.

— Старуха, — сказал он мягко, — так хлопотала, словно я был родным ее сыном. Они положили меня на огромное ложе — ее парадное ложе, — а она то входила, то выходила, утирала глаза и похлопывала меня по спине. Должно быть, у меня был жалкий вид. Не знаю, сколько времени я пролежал, как бревно.

По-видимому, он сильно привязался к старой жене Дорамина. И она полюбила его, как мать. У нее было круглое коричневое мягкое лицо, все в мелких морщинах, толстые ярко-красные губы (она усердно жевала бетель) и прищуренные, мигающие, добродушные глаза. Постоянно она находилась в движении, суетилась, отдавала приказания толпе молодых женщин со светло-коричневыми лицами и большими серьезными

глазами, — своим дочерям, служанкам, рабыням. Вы знаете, как обстоит дело в таких домах: обычно разницу невозможно уловить. Она была очень худощава и даже в своей широкой одежде, скрепленной спереди драгоценными застежками, производила впечатление тощей. Она надевала на босу ногу желтые соломенные туфли китайской выделки. Я сам видел, как она носилась по дому, а ее удивительно густые, длинные седые волосы рассыпались по спине. Она изрекала простые, мудрые слова, происходила из благородной семьи и была эксцентрична и властна. После полудня она садилась в очень большое кресло против своего супруга и пристально глядела в широкое отверстие в стене, откуда открывался вид на поселок и реку.

Усаживаясь, она неизменно поджимала под себя ноги, но старый Дорамин сидел прямо, внушительный, словно гора посреди равнины. Он был всего лишь из рода торговцев, или *накхода*, но удивительно, каким почетом он пользовался и с каким достоинством себя держал. Он был вторым по силе вождем в Патюзане. Переселенцы с Целебеса (около шестидесяти семей, которые вместе со своими приверженцами могли выставить до двухсот человек, «владеющих копьем»)

много лет назад избрали его своим предводителем. Люди этого племени смышлены, предприимчивы, мстительны, но более мужественны, чем остальные малайцы, и не примиряются с гнетом. Они образовали партию, враждебную радже.

Конечно, споры шли из-за торговли. То была основная причина враждебных стычек и внезапных восстаний, наполнявших ту или иную часть поселка дымом, пламенем, громом выстрелов и воплями. Сжигали деревни, людей тащили во двор раджи, чтобы там их убить или подвергнуть пытке в наказание за то, что они торговали с кем-нибудь другим, кроме раджи. Лишь за день или за два до прибытия Джима несколько старейшин той самой рыбачьей деревушки, которую впоследствии Джим принял под особое свое покровительство, были сброшены с утесов, ибо на них пало подозрение в том, что они собирали съедобные птичьи гнезда для какого-то торговца с Целебеса.

Раджа Алланг считал своим правом быть единственным торговцем в стране, и карой за нарушение монополии была смерть; но его представление о торговле соответствовало самым простейшим формам грабежа. Его жестокость и жадность ограничивались лишь его трусостью;

он боялся людей с Целебеса, но — до прибытия Джима — страх был недостаточно силен, чтобы его утихомирить. Он наносил им удары через своих подданных и вдохновенно верил в свое право.

Положение осложнялось еще и тем, что заезжий чужестранец, араб-полукровка, кажется из чисто религиозных побуждений, поднял восстание среди племен, обитавших в глубине страны (Джим называл их «люди лесов»), и укрепился в лагере на вершине одного из холмов-близнецов. Он навис над городом Патюзаном, словно ястреб над птичником, но опустошал внутренние районы. Целые деревни, покинутые, гнили на почерневших сваях у берегов чистых потоков, роняя в воду пучки травы со стен и листья с крыш; казалось, они умирали естественной смертью, словно были какими-то растениями, подгнившими у самого корня.

Две партии в Патюзане не были уверены, какую из них этот партизан предпочитает ограбить. Раджа пытался интриговать. Некоторые поселенцы буги, которым надоела постоянная опасность, не прочь были его призвать. Те, что были помоложе, горячились, советовали «вызвать шерифа Али с его дикарями и изгнать из страны раджу Алланга». Дорамин с трудом их удерживал. Он старел,

и, хотя влияние его не уменьшалось, справиться с создавшимся положением он не мог. Так обстояло дело, когда Джим, перепрыгнув через частокол раджи, предстал перед вождем буги, предъявил кольцо и был принят, так сказать, в самое сердце общины.

Глава XXVI

Дорамин был одним из самых замечательных людей своей расы, какого я когда-либо видел. Для малайца он был неимоверно толст, но не казался жирным; он был внушителен, монументален. Это неподвижное тело, облеченное в богатые материи, цветные шелка, золотые вышивки; эта огромная голова, обернутая красным с золотом платком; плоское, большое, широкое лицо, изборожденное морщинами; две полукруглые глубокие складки, начинающиеся у широких раздутых ноздрей и окаймляющие рот с толстыми губами; бычья шея; высокий морщинистый лоб над пристальными гордыми глазами — все вместе производило такое впечатление, что — раз увидев этого человека — нельзя было его забыть. Его неподвижность (опустившись на стул, он редко шевелился) казалась исполненной достоинства. Никогда не слыхали, чтобы он повысил голос. Он говорил хриплым властным шепотом, слегка заглушенным, словно доносившимся издалека. Когда он шел, два невысоких коренастых молодца, обнаженные до пояса, в белых саронгах и черных остроконечных шапках, сдвинутых

на затылок, поддерживали его под локти; они опускали его на стул и стояли за его спиной, пока он не выражал желания подняться; медленно, словно с трудом, он поворачивал голову направо и налево, и тогда они его подхватывали под мышки и помогали встать. Несмотря на это, он нимало не походил на калеку, — наоборот, во всех его медленных движениях проявлялась какая-то могучая, спокойная сила. Считалось, что по вопросам общественным он советовался со своей женой, но, поскольку мне известно, никто не слыхал, чтобы они когда-нибудь обменялись хотя бы одним словом. Они молчали, когда торжественно восседали друг против друга перед широким отверстием. Внизу, в лучах заходящего солнца, они могли видеть широко раскинувшуюся страну лесов — темное спящее зеленое море, простирающееся до фиолетовой и пурпурной цепи гор, — сверкающие извивы реки, похожей на огромную серебряную букву S, коричневую ленту домов вдоль обоих берегов, вздымающиеся над ближними верхушками деревьев два холма-близнеца.

Они были удивительно непохожи друг на друга: она — легкая, хрупкая, худощавая, живая, словно маленькая колдунья, матерински сует-

ливая даже в минуты отдыха; он — огромный и грузный, словно фигура человека, грубо высеченная из камня, великодушный и жестокий в своей неподвижности. Сын этих двух стариков был замечательный юноша.

Он родился у них под старость. Быть может, в действительности он был старше, чем казался. В двадцать четыре — двадцать пять лет человек не так уж молод, если в восемнадцать он стал отцом семейства. Входя в большую, высокую комнату, стены и пол которой были обиты тонкими циновками, а потолок затянут белым холстом, — в комнату, где восседали его родители, окруженные почтительной свитой, — он направлялся прямо к Дорамину, чтобы поцеловать величественно протянутую руку, а потом занимал свое место возле кресла матери. Я думаю, можно сказать, что они его боготворили, но ни разу не заметил я, чтобы они подарили его взглядом. Правда, то были официальные приемы. Обычно комната бывала битком набита. У меня не хватает слов описать торжественную процедуру приветствий и прощаний, глубокое уважение, выражавшееся в жестах, в лицах, в тихом шепоте.

— Стоит на это посмотреть, — уверял меня Джим, когда мы переправлялись обратно через

реку. — Они — словно люди из книжки, не правда ли? — торжествующе сказал он. — А Даин Уорис, их сын, — лучший друг, какой у меня когда-либо был, не говоря о вас. Мистер Штейн назвал бы его хорошим «боевым товарищем». Мне повезло. Ей-богу, мне повезло, когда я, выбившись из сил, наткнулся на них.

Он задумался, опустив голову, потом встрепенулся и добавил:

— Конечно, и я не прозевал своего счастья, но… — Он приостановился и прошептал: — Казалось, оно ко мне пришло. Я сразу понял, что должен делать…

Несомненно, счастье пришло к нему, и пришло через войну, что вполне естественно, ибо власть, доставшаяся ему, была властью творить мир. Только потому, что это в их силах, она может быть оправдана. Не думайте, что он сразу увидел свой путь. Когда он появился в Патюзане, община буги находилась в самом критическом положении.

— Все они боялись, — сказал он мне, — и каждый боялся за себя; а я прекрасно понимал, что им следует немедленно что-то предпринять, если они не хотят погибнуть один за другим от руки раджи или этого бродяги-шерифа.

Но мало было только понять. Когда он овладел

своей идеей, ему пришлось внедрять ее в умы упорствующих людей, пробивая заграждения, воздвигнутые страхом и эгоизмом. Наконец он ее внедрил. Но и этого было мало. Он должен был измыслить средства. Он их измыслил — выработал дерзкий план; но дело его лишь наполовину было сделано. Свою веру он должен был вдохнуть в людей, которые, по каким-то скрытым и нелепым основаниям, колебались; ему пришлось примирить глупых завистников, доводами сломить бессмысленное недоверие. Если бы не авторитет Дорамина и пламенный энтузиазм его сына, Джим потерпел бы неудачу. Даин Уорис, юноша замечательный, первый в него поверил; между ними завязалась дружба — та странная, глубокая, редкая дружба между цветным и белым, когда расовое различие как будто теснее сближает двух людей благодаря таинственному ферменту симпатии. О Даине Уорисе его народ с гордостью говорил, что он умеет честно сражаться. Это была правда; он отличался именно такой храбростью — я бы сказал, храбростью бесхитростной, и склад ума у него был европейский. Вам приходится иногда встречать таких людей, и вы удивляетесь, неожиданно подметив знакомый ход мысли, ясный ум, настойчивое стремление к цели, про-

блеск альтруизма.

Маленького роста, но сложенный на редкость пропорционально, Даин Уорис держал себя гордо, вежливо и свободно, а темперамент у него был очень горячий. Его смуглое лицо с большими черными глазами было выразительно, а в минуты отдыха задумчиво. Он был молчалив; твердый взгляд, ироническая улыбка, учтивые сдержанные манеры, казалось, свидетельствовали о большом уме и силе. Такие люди открывают пришельцам с Запада, часто не проникающим за поверхность вещей, скрытые возможности тех рас и стран, над которыми нависла тайна неисчислимых веков.

Он не только доверял Джиму, он его понимал, — в это я твердо верю. Я заговорил о нем, ибо он меня пленил. Его, если можно так сказать, язвительное спокойствие и разумное сочувствие стремлениям Джима произвели на меня впечатление. Мне казалось, что я созерцаю самые истоки дружбы. Если Джим верховодил, то Даин Уорис захватил в плен своего главаря. Действительно, Джим-главарь был во всех отношениях пленником. Страна, народ, дружба, любовь были ревностными его стражами. Каждый день прибавлял новое звено к цепи этой странной свободы. В этом я убеждался

по мере того, как узнавал его историю.

История! Разве я о ней не слышал? Я слушал его рассказы и на стоянках, и во время путешествия (Джим заставил меня обойти всю страну в поисках невидимой дичи). Бóльшую часть этой истории рассказал он мне на одной из двух вершин-близнецов, куда мне пришлось взбираться последние сто футов на четвереньках. Наш кортеж — от деревни до деревни нас сопровождали добровольные спутники — расположился тем временем на ровной площадке, на полдороге до вершины холма, и в неподвижном вечернем воздухе поднимался снизу запах лесного костра и нежно щекотал наши ноздри, словно какой-то изысканный аромат. Поднимались и голоса, удивительно отчетливые и бесплотно ясные. Джим сел на ствол срубленного дерева и, вытащив свою трубку, закурил. Вокруг нас пробивались новая молодая трава и кусты; под колючим валежником виднелись следы производившихся здесь земляных работ.

— Все началось отсюда, — сказал Джим после долгого молчания.

На расстоянии двухсот ярдов от нас, на другом холме, отделенном мрачной пропастью, я увидел проглядывавшие кое-где высокие почерневшие

колья — остатки неприступного лагеря шерифа Али.

И все же лагерь был взят. Такова была идея Джима. Он втащил на вершину этого холма старую артиллерию Дорамина: две ржавые железные семифунтовые пушки и много маленьких медных пушек. Но медные пушки знаменуют собою не только богатство: если дерзко забить им в жерло ядро, они могут послать его на небольшое расстояние. Трудность заключалась в том, как поднять их наверх.

Джим показал мне, где он укрепил канаты, объяснил, как он устроил грубый ворот из выдолбленного бревна, вращавшегося на заостренном колу, наметил трубкой линию, где шли земляные работы. Особенно труден был подъем на высоту последних ста футов. Вся ответственность лежала на нем: в случае неудачи он поплатился бы головой. Он заставил военный отряд работать всю ночь. Вдоль всего склона пылали огромные костры, «но здесь, наверху, — пояснил Джим, — людям приходилось бегать в темноте». С вершины люди, двигавшиеся по склону холма, казались суетливыми муравьями. В ту ночь Джим то и дело спускался вниз и снова карабкался наверх, как белка, распоряжаясь, ободряя, следя за работой

вдоль всей линии. Старый Дорамин приказал внести себя вместе с креслом на холм. Они спустили его на ровную площадку на склоне, и здесь он сидел, освещенный большим костром.

— Удивительный старик, настоящий старый вождь, — сказал Джим. — Глазки у него маленькие, острые; на коленях он держал пару огромных кремневых пистолетов. Великолепное оружие — из эбенового дерева, в серебряной оправе, с чудесными замками, а по калибру они похожи на старые мушкетоны. Кажется, подарок Штейна… в обмен за то кольцо. Раньше они принадлежали старому Мак-Нейлу. Одному богу известно, где старик их раздобыл. Там Дорамин сидел совершенно неподвижно; сухой валежник ярко пылал за его спиной; люди бегали вокруг, кричали, тянули канат — а он сидел торжественно, — самый внушительный важный старик, какого только можно себе представить. Немного было бы у него шансов спастись, если бы шериф Али послал на нас свое проклятое войско и растоптал моих ребят. А? Как бы то ни было, но он поднялся сюда, чтобы умереть, если дело обернется скверно. Да, вот что он сделал! Я содрогался, когда видел его здесь, неподвижного, как скала. Но должно быть, шериф считал нас сумасшедшими и не потрудил-

ся пойти и посмотреть, что мы тут делаем. Никто не верил, что можно это сделать. Я думаю, даже те парни, которые, обливаясь потом, тянули канат, тоже не верили! Честное слово, я не думаю, чтобы они верили…

Он стоял выпрямившись, сжимая в руке тлеющую трубку; на губах его блуждала улыбка, мальчишеские глаза сверкали. Я сидел на пне, у его ног, а внизу раскинулась страна — великие леса, мрачные под лучами солнца, волнующиеся, как море, поблескивали изгибы рек, кое-где виднелись серые пятнышки деревень и просеки, словно островки света среди темных волн листвы. Угрюмый мрак лежал над этим широким и однообразным пейзажем; свет падал на него, как в пропасть. Земля поглощала солнечные лучи; а вдали, у берега, пустынный океан, гладкий и полированный, за слабой дымкой, казалось, вздымался к небу стеной из стали.

А я был с ним, высоко, в солнечном свете, на вершине его исторического холма. Джим возвышался над лесом, над вековым мраком, над древним человечеством. Он стоял, словно статуя, воздвигнутая на пьедестале; его непреклонная юность олицетворяла мощь и, быть может, добродетели рас, которые никогда не стареют, которые

возникли из мрака. Не знаю, справедливо ли было по отношению к нему вспоминать инцидент, который дал новое направление его жизни, но в тот самый момент я вспомнил его отчетливо. То была тень на свету.

Глава XXVII

Легенда уже наделила его сверхъестественной силой. Да, — так гласила она, — были хитро натянуты веревки и воздвигнуто странное сооружение, которое приводилось в движение усилиями многих людей, и каждая пушка медленно поднималась, раздвигая кусты, словно дикая свинья, пробивающая себе путь сквозь заросли, но... и тут мудрейшие покачивали головами. Несомненно, во всем этом было что-то таинственное: ибо что такое сила веревок и рук человеческих? Мятежная душа заключена в вещах, и нужно ее преодолеть могущественными чарами и заклинаниями. Так рассуждал старый Сура, пользующийся уважением житель Патюзана, с которым я как-то вечером вел тихую беседу. Однако Сура был также профессиональным колдуном, которого призывали туземцы, жившие на расстоянии многих миль, чтобы он присутствовал при посеве и сборе риса и укрощал строптивую душу вещей. Это занятие он, казалось, считал очень трудным, и, быть может, души вещей более строптивы, чем души человеческие. Что же касается простолюдинов из близлежа-

щих деревень — они верили и говорили, словно то была самая естественная вещь на свете, что Джим на своей спине втащил пушки на холм — по две зараз.

Это заставляло Джима гневно топать ногами и раздраженно восклицать со смешком:

— Что поделаешь с таким дурачьем? Они готовы просидеть полночи, болтая всякий вздор; и чем нелепее выдумка, тем больше она им как будто нравится.

В этом раздражении вы можете подметить тонкое влияние окружавшей его обстановки. То был один из признаков его пленения. Он опровергал легенду с такой забавной серьезностью, что под конец я сказал:

— Дорогой мой, ведь вы же не допускаете, что я этому верю?

Он посмотрел на меня с удивлением.

— Ну конечно, не допускаю, — сказал он и разразился гомерическим хохотом. — Как бы то ни было, а пушки очутились там, и залп был сделан на восходе солнца. Эх, если б вы видели, как полетели щепки! — воскликнул он.

Даин Уорис, сидевший подле него и слушавший со спокойной улыбкой, опустил глаза и пошевельнул ногой.

Видимо, когда пушки были подняты, успех вселил в людей Джима такую уверенность, что он рискнул оставить батарею на попечение двух пожилых буги, видавших на своем веку сражения, а сам присоединился к Даину Уорису и штурмовому отряду, скрывавшимся в ущелье. Перед рассветом они поползли наверх и, сделав две трети пути, залегли в сырой траве, ожидая восхода солнца, служившего условным сигналом. Он рассказал мне, с какой нетерпеливой тревогой следил за быстро надвигающимся рассветом; как, разгоряченный работой и восхождением, он чувствовал, что стынет от холодной росы; как он боялся, что начнет дрожать и трястись, как лист, раньше чем пробьет час наступления.

— То были самые долгие тридцать минут во всей моей жизни, — объявил он.

Постепенно на фоне неба стал вырисовываться над ним частокол. Люди, рассыпавшиеся по склону, прятались за темными камнями и мокрыми от росы кустами. Даин Уорис лежал, распластавшись на земле, подле него.

— Мы переглянулись, — сказал Джим, ласково опуская руку на плечо своего друга. — Он как ни в чем не бывало весело улыбнулся мне, а я не смел разжать губы, боясь, как бы меня не охватила

дрожь. Честное слово, это правда! Я обливался потом, когда мы карабкались по холму, так что вы можете себе представить…

Он сказал, — и я ему верю, — что никаких опасений за исход кампании у него не было. Он беспокоился только, удастся ли ему сдержать дрожь. Исход его не тревожил. Он должен был добраться до вершины этого холма и остаться там, что бы ни случилось. Отступления для него быть не могло. Эти люди слепо ему доверились. Ему! Одному его слову…

Помню, как он приумолк и посмотрел на меня.

Насколько ему известно, сказал он, у них еще не было случая пожалеть об этом. Не было. И он от всей души надеется, что такого случая никогда не будет. А пока что — ему не везет! Они привыкли со всякими затруднениями идти к нему. Мне бы и в голову не пришло… Как, да ведь только на днях какой-то старый дуралей, которого он никогда в глаза не видел, пришел из деревни, находящейся за много миль отсюда, спросить, разводиться ли ему с женой. Факт! Честное слово! Вот как обстоят дела… Он бы этому не поверил. А я бы поверил? Старик уселся на веранде, поджав под себя ноги, жует бетель, вздыхает и плюется; просидел больше часу, мрачный, как гробовщик,

пока он, Джим, бился над этой проклятой задачей. Это совсем не так забавно, как кажется. Что было ему сказать? Хорошая жена? Да. Жена хорошая, хотя старая; и пошел рассказывать бесконечную историю о каких-то медных горшках. Жили вместе пятнадцать лет… двадцать лет… не может сказать точно. Долго, очень долго. Жена хорошая. Бил ее помаленьку — не сильно, — немного поколачивал, когда она была молода. Должен был бить, чтобы поддержать свой престиж. Вдруг на старости лет она идет и отдает три медных горшка жене сына своей сестры и начинает каждый день ругать его во всю глотку. Враги его скалят зубы; лицо у него совсем почернело. Горшков нет как нет. Ужасно это на него подействовало. Невозможно разобраться в такой истории. Отослал его домой и обещал прийти и уладить дело. Вам хорошо смеяться, но возня была препротивная. Целый день пришлось пробираться через лес, а следующий день ушел на улещивание дураков, чтобы добраться до сути дела. Дело могло дойти до кровопролития. Каждый идиот стал на сторону той или другой семьи, и половина деревни готова была вступить в рукопашный бой с другой половиной.

— Честное слово, я не шучу!.. И это вместо того,

чтобы заниматься своими посевами.

Он раздобыл ему, конечно, эти проклятые горшки и всех утихомирил. Это было совсем не трудно. Мог положить конец смертельной вражде — стоило только пошевельнуть мизинцем. Беда в том, что трудно добраться до правды. И по сей день он не уверен, со всеми ли поступил справедливо. Это его беспокоило. А разговоры! Нельзя было разобрать, где начало, где конец. Легче взять штурмом двадцатифутовый частокол. Куда легче! Детская забава по сравнению с этим делом. И времени меньше уйдет. Ну да! В общем, конечно, забавное зрелище — старик ему в деды годится. Но если посмотреть с другой точки зрения, то дело не шуточное. Его слово решает все — с тех пор как разбит шериф Али. Ужасная ответственность, повторил он. Нет, право же, — шутки в сторону, — если бы речь шла не о трех медных горшках, а о трех жизнях, было бы то же самое.

Так иллюстрировал Джим моральный эффект своей военной победы. Эффект был поистине велик. Он привел его от войны к миру, и через смерть — в сокровенную жизнь народа; но мрак страны, раскинувшейся под сияющим солнцем, по-прежнему казался непроницаемым, окутанным вековым покоем. Его свежий молодой голос

— удивительно, как мало сказывались на нем годы, — легко плыл в воздухе и несся над неизменным ликом лесов, так же как грохот больших пушек в то холодное росистое утро, когда Джим заботился лишь о том, чтобы сдержать дрожь.

Когда первые косые лучи солнца ударили в неподвижные верхушки деревьев, вершина одного холма огласилась тяжелыми залпами и окуталась белыми облаками дыма, а на другом холме раздались удивленные возгласы, боевой клич, вопли гнева, изумления, ужаса. Джим и Даин Уорис первыми добежали до кольев. Легенда гласит, что Джим одним пальцем повалил ворота. Он, конечно, с беспокойством отрицал этот подвиг.

Весь частокол, настойчиво объяснял он, представлял собою жалкое укрепление: шериф Али полагался главным образом на неприступную позицию. Кроме того, заграждение было во многих местах уже пробито и держалось только чудом. Джим налег на него, как дурак, плечом и, перекувырнувшись через голову, упал во дворе. Если бы не Даин Уорис, рябой татуированный дикарь пригвоздил бы его копьем к бревну, как Штейн пришпиливает своих жуков. Третий человек, ворвавшийся во двор, был, кажется, Тамб Итам,

слуга Джима.

Этот малаец с севера, чужестранец, случайно забрел в Патюзан и был насильно задержан раджей Аллангом и назначен гребцом одной из принадлежащих государству лодок. Оттуда он удрал при первом удобном случае и, найдя ненадежный приют и очень мало еды у поселенцев буги, стал служить Джиму. Лицо у него было очень темное и плоское, глаза выпуклые и налитые желчью. Что-то неукротимое, чуть ли не фанатическое было в его преданности «белому господину». Он не разлучался с Джимом, словно мрачная его тень. Во время официальных приемов он следовал за ним по пятам, держа руки на рукоятке *криса* и угрюмыми свирепыми взглядами не подпуская народ. Джим сделал его своим управителем, и весь Патюзан его уважал и ухаживал за ним, как за особой очень влиятельной. При взятии крепости он отличился, сражаясь с методической яростью. По словам Джима, штурмовой отряд налетел так быстро, что, несмотря на панику, овладевшую гарнизоном, «в течение пяти минут шел во дворе жаркий бой врукопашную, пока какой-то болван не поджег навесы из листьев и сена, и все мы должны были убраться».

Враг, видимо, был разбит наголову. Дорамин,

неподвижно сидевший в кресле на склоне холма, под дымом пушек, медленно расплывавшимся над его большой головой, встретил эту весть глухим ворчаньем. Узнав, что сын его невредим и преследует неприятеля, он, не говоря ни слова, попытался встать; слуги поспешили к нему на помощь: почтительно поддерживаемый под руки, он с величайшим достоинством удалился в тенистое местечко, где улегся спать, с головы до ног закрытый куском белого полотна.

Патюзан был охвачен страшным возбуждением. Джим говорил мне, что с холма, поворачиваясь спиной к тлеющему частоколу, черной золе и полуобгоревшим трупам, он видел, как время от времени на открытые площадки между домами по обоим берегам реки, суетясь, выбегали люди и через секунду снова скрывались. Снизу слабо доносился оглушительный грохот гонгов и барабанов. Бесчисленные флаги развевались, словно маленькие белые, красные и желтые птицы, над коричневыми коньками крыш.

— Должно быть, вы были в восторге, — прошептал я, заражаясь его волнением.

— Это было… это было грандиозно! Грандиозно! — громко воскликнул он, широко раскинув руки.

Этот неожиданный жест меня испугал, словно я увидел, как он открывает тайны своего сердца сиянию солнца, хмурым лесам, стальному морю. Внизу город отдыхал на извилистых берегах словно задремавшей реки.

— Грандиозно! — повторил он в третий раз, обращаясь шепотом к самому себе.

Грандиозно! Действительно, это было грандиозно — успех, увенчавший его слова, завоеванная земля, по которой он ступал, слепое доверие людей, вера в самого себя, вырванная из огня, его подвиг. Все это, как я вас предупреждал, умаляется в рассказе. Я не могу передать вам словами впечатление полного его одиночества. Знаю, конечно, что там он был один, оторванный от себе подобных, но скрытые в нем силы заставили его так близко соприкоснуться с окружающей жизнью, что это одиночество казалось лишь следствием его могущества. И одиночеством подчеркивалось его величие. Не было никого, с кем бы его сравнить, словно он — один из тех исключительных людей, о которых можно судить лишь по величию их славы; а слава его, не забудьте, гремела на много миль вокруг. Вам пришлось бы грести, продвигать лодку баграми или проделать долгий, трудный путь, проби-

ваясь сквозь джунгли, чтобы уйти от ее голоса. Этот голос не был трубным гласом той порочной богини, которую все мы знаем, — не был дерзким и бесстыдным. Он был окрашен тишиной и мраком страны без прошлого, где слово его было единственной правдой каждого преходящего дня. В нем было что-то от того молчания, какое сопровождало вас в неизведанную глубь страны; он непрерывно звучал подле вас, всепроникающий и настойчивый, — срывался с уст шепчущих людей, исполненный удивления и тайны.

Глава XXVIII

Потерпев поражение, шериф Али бежал, нигде не задерживаясь, из страны, а когда жалкие, загнанные жители начали выползать из джунглей и возвращаться в свои полусгнившие дома, Джим, пользуясь советами Даина Уориса, назначил старшин. Так он стал фактически правителем страны.

Что касается старого Тунку Алланга, то вначале страх его был безграничен. Говорят, что, узнав об успешном штурме холма, он бросился ничком на бамбуковый пол в своей парадной зале и пролежал неподвижно всю ночь и целый день, испуская заглушенные стоны, столь жуткие, что ни один человек не осмеливался подойти к его распростертому телу ближе, чем на длину копья. Он уже видел себя позорно изгнанным из Патюзана; видел, как скитается, всеми покинутый, оборванный, без опиума, без женщин и приверженцев, — легкая добыча для первого встречного. За шерифом Али придет и его черед, а кто может противостоять атаке, которою руководит такой дьявол? И в самом деле он был обязан жизнью и тем авторитетом, какой у него оста-

вался во время моего посещения, исключительно представлению Джима о справедливости. Буги горели желанием расплатиться за старые обиды, а бесстрастный старый Дорамин лелеял надежду увидеть своего сына правителем Патюзана. Во время одного из наших свиданий он умышленно намекнул мне на эту свою тайную тщеславную мечту. Удивительно, с каким достоинством и осторожностью он коснулся этого вопроса.

Сначала он заявил, что в дни молодости он полагался на свою силу, но теперь состарился и устал… Глядя на его внушительную фигуру и надменные маленькие глазки, бросавшие по сторонам зоркие, испытующие взгляды, вы невольно сравнивали его с хитрым старым слоном: медленно вздымалась и опускалась широкая грудь — мощно и ровно, словно дышало спокойное море. Он утверждал, что безгранично доверяет мудрости Тюана Джима. Если бы он только мог добиться обещания! Одного слова было бы достаточно!.. Его молчание, тихий рокот его голоса напоминал последние усилия затихающей грозы.



Я попробовал уклониться. Это было трудно, так как не могло быть сомнений в том, что власть в руках Джима; казалось, в этом новом его окружении не было ничего, что бы он не мог удержать или отдать. Но повторяю, это было ничто по сравнению с той мыслью, какая пришла мне в голову, пока я внимательно слушал: я подумал, что Джим очень близко подошел к тому, чтобы обуздать наконец свою судьбу.

Дорамин был обеспокоен будущим страны, и меня поразил оборот, какой он придал разговору. Страна остается там, где положено ей быть, но белые люди, — сказал он, — приходят к нам и немного погодя уходят. Они уходят. Те, кого они оставляют, не знают, когда им ждать их возвращения. Они уезжают в свою родную страну, к своему народу, и так поступит и этот молодой человек...

Не знаю, что побудило меня энергично воскликнуть: «Нет, нет!» Я понял свою неосторожность, когда Дорамин обратил ко мне свое лицо, изборожденное глубокими морщинами и неподвижное, словно огромная коричневая маска, и задумчиво сказал, что для него это добрая весть, а затем он пожелал узнать — почему?

Его маленькая добродушная, похожая на кол-

дунью, жена сидела по другую сторону от меня, поджав под себя ноги; голова ее была закрыта. Она глядела в огромное отверстие в стене. Я видел только прядь седых волос, выдавшуюся скулу и острый подбородок; она что-то жевала. Не отрывая глаз от леса, раскинувшегося до самых холмов, она спросила меня жалостливым голосом, — почему он, такой молодой, покинул свой дом, ушел так далеко, пройдя через столько опасностей? Разве нет у него семьи, нет близких в его родной стране? Нет старой матери, которая всегда будет вспоминать его лицо?

К этому я был совершенно не подготовлен. Я пробормотал что-то невнятное и покачал головой. Впоследствии я понял, что имел довольно жалкий вид, когда старался выпутаться из затруднительного положения. С той минуты, однако, старый накхода стал молчалив. Боюсь, он был не очень доволен, и, видимо, я дал ему пищу для размышлений. Странно, что вечером того же дня (то был последний мой день в Патюзане) я еще раз столкнулся с тем же вопросом: неизбежное в судьбе Джима «почему?», на которое нет ответа.

Так я подхожу к истории его любви. Должно быть, вы думаете, что эту историю легко можете сами себе представить. Мы столько слыхали

таких историй, и многие из нас вовсе не называют их историями любви. Большей частью мы считаем их делом случая — вспышкой страсти или, быть может, только увлечением молодости, которое в конце концов обречено на забвение, даже если оно и прошло сквозь подлинную нежность и сожаление. Такая точка зрения обычно правильна, и, быть может, так обстоит дело и в данном случае… Впрочем, не знаю. Рассказать эту историю отнюдь не так легко, как может казаться, — если подходишь с обычной точки зрения. По-видимому, она похожа на все истории такого рода; однако я вижу на заднем плане меланхолическую фигуру женщины — призрак жестокой мудрости, — женщины, похороненной в одинокой могиле; она смотрит серьезно, беспомощно; на устах ее лежит печать. Могила, на которую я набрел во время утренней прогулки, представляла собой довольно бесформенный коричневый холмик, обложенный кусками белого коралла и обнесенный изгородью из расщепленных деревцев, с которых не снята кора. Гирлянда из листьев и цветов обвивала сверху тонкие столбики, и цветы были свежие.

Таким образом, является ли призрак плодом моей фантазии или нет, — но я, во всяком случае,

могу указать на тот знаменательный факт, что могила не была забыта. Если же я добавлю, что Джим собственноручно сделал примитивную изгородь, вам тотчас же станет ясен своеобразный характер этой истории. В том, как он принимал воспоминания и привязанности другого человеческого существа, была свойственная ему серьезность. У него была совесть — и совесть романтическая.

В течение всей своей жизни жена ничтожного Корнелиуса не имела иного собеседника, поверенного и друга, кроме своей дочери. Каким образом бедная женщина вышла замуж за этого ужасного португальца с Малакки после разлуки с отцом своей девочки и чем вызвана была эта разлука — смертью ли, которая бывает подчас милосердна, или жестоким стечением обстоятельств, — все это остается для меня тайной. Из того немногого, о чем обмолвился в моем присутствии Штейн, знавший столько историй, я делаю вывод, что она была женщиной отнюдь не заурядной. Отец ее был белый и занимал ответственный пост; это был один из тех блестяще одаренных людей, которые недостаточно тупы, чтобы лелеять свой успех, и чья карьера так часто обрывается в тени облака. Полагаю, что и ей тоже

не хватало этой спасительной тупости, — и ее карьера закончилась в Патюзане.

Общая наша судьба (ибо где найдете вы человека — я имею в виду настоящего, мыслящего человека, — который смутно не вспоминал бы о том, как был покинут в момент обладания кем-то или чем-то более ценным, чем жизнь?) — общая наша судьба с сугубой жестокостью преследует женщин. Она не карает, как господин, но подвергает длительной пытке, словно утоляя тайную, непримиримую злобу. Можно подумать, что, предназначенная править на земле, она старается выместить злобу на тех, кто готов вырваться из пут земной осторожности; ибо только женщины умеют иногда вложить в свою любовь тот еле ощутимый элемент сверхчеловеческого, внушающий нам страх, то дуновение неземного. С недоумением спрашиваю я себя: каким кажется им мир, имеет ли он ту же форму и субстанцию, какую знаем мы? Одним ли с нами воздухом они дышат? Иногда я себе рисую мир безрассудный и возвышенный, где трепещут их отважные души, — мир, озаренный сиянием всех опасностей и отречений. Однако я подозреваю, что в мире очень мало женщин, хотя, конечно, мне известно о множестве людей, которые равно делятся на

два пола.

Но я уверен: мать была такой же настоящей женщиной, какою казалась дочь. Я невольно представляю себе обеих: сначала молодую женщину и ребенка, потом старуху и молодую девушку, — жуткое сходство и стремительный ход времени, барьер лесов, уединение и сутолока вокруг этих двух одиноких жизней, и каждое слово, каким они обмениваются, проникнуто грустью. Были, должно быть, признания; полагаю, они касались не столько фактов, сколько сокровенных чувств — сожаления, страха; были, несомненно, и предостережения — предостережения, не вполне понятные младшей, пока не умерла старшая… и не появился Джим. Тогда, я уверен, она поняла многое — не все — и главным образом страх. Джим называл ее именем, которое означает драгоценность, драгоценный камень, — Джюэл. Хорошенькое имя, не правда ли? Но он способен был на все. Ему было по плечу его счастье и, должно быть, по плечу было и его несчастье. Он называл ее Джюэл и произносил это так, как сказал бы «Джен», любовно, спокойно, по-домашнему. Впервые я услышал это имя через десять минут после того, как подошел к его дому; сначала он потряс мне руку так, что едва ли не

оторвал, потом взбежал по ступеням и радостно, по-мальчишески волнуясь, закричал у дверей под тяжелым навесом:

— Джюэл! Джюэл! Скорей! Друг приехал…

…И вдруг повернулся ко мне в полумраке веранды и, вглядываясь в мое лицо, с жаром забормотал:

— Вы понимаете… это… это очень серьезно… совсем не забава!.. И рассказать вам не могу, как я ей обязан… Понимаете… я… все равно как если бы…

Его торопливый тревожный шепот оборвался, когда в доме мелькнула белая фигура, раздалось тихое восклицание, и детское, но энергичное маленькое личико с тонкими чертами и глубокими внимательными глазами выглянуло из мрака, словно птица из гнезда.

Конечно, меня поразило это имя, но лишь позднее я с ним связал удивительную сплетню, какую слышал во время своего путешествия в маленьком приморском местечке на двести тридцать миль к югу от реки Патюзан. Шхуна Штейна, на которой я плыл, зашла туда, чтобы забрать какие-то продукты, и, сойдя на берег, я, к великому своему изумлению, убедился, что отвратительное местечко может похвастаться третьесортным

заместителем помощника резидента — крупным жирным полукровкой, вечно подмигивающим, с вывороченными, лоснящимися губами. Я застал его развалившимся на тростниковом стуле; костюм его был мерзко расстегнут, на макушке потной головы лежал какой-то большой зеленый лист; такой же лист он держал в руке и лениво им обмахивался…

…Едете в Патюзан? О да! Торговая компания Штейна. Об этом ему было известно. Штейн имел разрешение. Это его не касается. Потом он небрежно заметил, что теперь там не так уж плохо, и, растягивая слова, продолжал:

— Я слышал, туда пролез какой-то белый бродяга… А? Что вы сказали? Ваш друг? Так!.. Значит, правду говорили, что там появился один из этих проклятых… Что он такое задумал? И нашел же, плут, дорогу! А я хорошенько не знал. Патюзан… они там перерезают друг другу глотку… Не наше дело…

Он оборвал свою речь и застонал:

— Фу! Всемогущее небо! Ну и жара! Ну и жара! Так… Значит, в конце концов есть доля правды в этой истории, и…

Тут он закрыл один мутный глаз — веко его все время дрожало, — а другой злобно скосил

на меня.

— Слушайте, — сказал он таинственно, — если… вы понимаете?.. Если парень действительно раздобыл что-нибудь сто́ящее — не какое-нибудь там зеленое стеклышко — понимаете? — я правительственный чиновник, и вы, конечно, скажете этому бездельнику… А? Что? Ваш друг?..

Он по-прежнему сидел, развалившись в кресле.

— Да, вы говорили; вот именно! Я рад, что вам намекнул. Полагаю, вы тоже не прочь поживиться? Не перебивайте! Вы только ему скажите, что я об этом слышал, но своему правительству рапорта не подавал. Еще не подавал. Понятно? Зачем подавать рапорт? А? Скажите ему, чтобы ехал ко мне, если они его выпустят оттуда живым. Пусть остерегается. А? Я обещаю никаких вопросов не задавать. Потихоньку, понимаете? Вы… вы тоже чем-нибудь поживитесь. Комиссионные за хлопоты. Не перебивайте. Я — правительственный чиновник и никакого рапорта не подаю. Это сделка. Поняли? Я знаю хороших людей, которые охотно купят сто́ящую вещь; я могу ему дать такие деньги, каких этот негодяй и не видывал. Я эту породу знаю.

Он раскрыл оба глаза и в упор посмотрел на

меня, а я стоял перед ним, совершенно сбитый с толку, и недоумевал — с ума он сошел или пьян. Он потел, пыхтел, слабо стонал и почесывался с таким отвратительным спокойствием, что я не мог вынести этого зрелища и ушел, не добившись толку.

На следующий день, разговорившись с подданными маленького туземного раджи этого местечка, я выяснил, что сюда дошел слух о каком-то таинственном белом человеке в Патюзане, который завладел удивительным драгоценным камнем — огромным изумрудом, не поддающимся даже оценке. Видимо, изумруд больше всяких других драгоценных камней действует на восточное воображение. Мне рассказали, что белый человек получил его отчасти благодаря своей удивительной силе, а отчасти благодаря хитрости, — получил от правителя одной далекой страны, откуда он немедленно бежал и в великом отчаянии явился в Патюзан, где запугал народ неукротимой своей жестокостью, которую ничто, казалось, не могло сломить.

Большинство моих собеседников придерживалось того мнения, что камень, должно быть, приносит несчастье, подобно знаменитому камню султана Суккаданы, навлекшему в древние

времена войны и неслыханные бедствия на страну. Быть может, это был тот самый камень, — но в точности никто не знал. На самом деле история о баснословно большом изумруде начала распространяться с того времени, как появились на Архипелаге первые белые люди; и вера в него так упорна, что не дальше как сорок лет назад голландцы производили официальное расследование. Такая драгоценность, объяснил мне один старик, который сообщил детали удивительного мифа о Джиме, — он занимал должность писца при жалком маленьком радже, — такая драгоценность, сказал он, поднимая на меня свои подслеповатые глазки (из почтения ко мне он сидел на полу каюты), лучше всего сохраняется, если ее прячет на себе женщина. Но не всякая женщина для этого пригодна. Она должна быть молода — тут он глубоко вздохнул — и нечувствительна к соблазнам любви. Он скептически покачал головой. И однако, такая женщина, кажется, и в самом деле существует. Ему говорили о рослой девушке, к которой белый человек относится с великим почтением и заботливостью и которая никогда не выходит одна из дома. Рассказывают, что белый человек проводит с ней почти целый день. Они открыто прогуливаются вместе,

он просовывает ее руку под свою и прижимает к себе — вот так, самым необычным образом. Он допускал, что это враки, ибо действительно такое поведение очень странно; но, с другой стороны, нет никаких сомнений в том, что у нее на груди спрятан драгоценный камень белого человека.

Глава XXIX

Таково было объяснение вечерних супружеских прогулок Джима. Я часто принимал в них участие, всякий раз с неудовольствием вспоминая Корнелиуса, который считал себя оскорбленным в своем законном отцовстве и сновал поблизости, вечно кривя рот, словно готов был заскрежетать зубами. Но замечаете ли вы, как на расстоянии трехсот миль от телеграфных проводов и морских почтовых путей вянет и умирает грубая утилитарная ложь нашей цивилизации, сменяясь чистым проявлением фантазии, которая отличается бесполезностью, нередко очарованием, а иногда глубоко скрытой истиной произведений искусства? Романтика наметила Джима своей добычей — вот единственно правдивый штрих в этой истории, которая во всех остальных отношениях является выдумкой. Он не прятал своей драгоценности. В сущности, он чрезвычайно гордился ею.

Теперь я понимаю, что, в общем, очень мало ее видел. Лучше всего помню я ровную оливковую бледность ее лица и иссиня-черный блеск пышных волос, выбивавшихся из-под маленькой

малиновой шапочки, которую она носила на затылке. Голова у нее была безукоризненной формы, движения свободны и уверенны; краснея, она заливалась густым румянцем. Когда Джим и я разговаривали, она приходила и уходила, бросая на нас быстрые взгляды, — грациозная, чарующая, явно настороженная. В ней любопытно сочетались робость и отвага. Прелестная улыбка быстро сменялась выражением молчаливого, сдержанного беспокойства, словно обращалась в бегство при воспоминании о какой-то постоянной опасности. Иногда она присаживалась к нам, подпирала маленькой рукой нежную щеку и слушала нашу беседу; ее большие светлые глаза впивались в наши губы, как будто каждое произнесенное слово было облечено в видимую форму. Мать научила ее читать и писать; у Джима она выучилась английскому языку и говорила очень забавно, переняв его мальчишеские интонации и проглатывая концы слов.

Ее нежность трепетала над ним, словно крылья птицы. Она всецело жила созерцанием Джима и внешне стала на него походить, чем-то напоминала его своими движениями, манерой протягивать руку, поворачивать голову, бросать взгляды. Ее настороженная любовь была такой

напряженной, что казалась почти осязаемой; словно, пребывая в окружающем пространстве, любовь эта окутывала его своеобразным ароматом, пронизывала солнечный свет трепетной, заглушенной и страстной мелодией.

Должно быть, вы думаете, что и я романтик, но это неверно. Я трезво передаю вам то впечатление, какое произвели на меня юность и странный, тревожный роман, который довелось мне увидеть на моем пути. Я с интересом следил за его… ну, скажем — за его счастьем. Он был любим ревниво; но почему она ревновала и чем вызвана была эта ревность — я не могу сказать. Страна, народ, леса были ее сообщниками, сторожили его бдительно и согласно, и в этом были тайна и непобедимая сила. Не к кому было, так сказать, апеллировать; он сам своей властью держал себя в плену. А она хотя и готова была положить к его ногам свою голову, но неумолимо стерегла свое завоевание, словно его трудно было удержать.

Даже Тамб Итам, следовавший с откинутой назад головой по пятам за своим господином, свирепый и, словно янычар, вооруженный крисом, топором и копьем (не говоря уж о ружье Джима), — даже Тамб Итам напускал на себя вид

неумолимого стража, точно угрюмый преданный тюремщик, готовый отдать жизнь за своего пленника. Когда мы поздно засиживались по вечерам, его молчаливая неясная фигура, неслышно ступая, ходила под верандой, или, подняв голову, я неожиданно замечал его, неподвижно стоящего навытяжку, в тени. Как правило, он вскоре исчезал бесшумно, но, когда мы вставали, появлялся снова, как бы выскакивал из-под земли, готовый выслушать приказания, какие пожелает отдать Джим.

Девушка, кажется, тоже никогда не ложилась спать раньше, чем мы расходились на ночь. Не раз видел я из окна своей комнаты, как она и Джим тихонько выходили на веранду и стояли, облокотившись на грубую балюстраду, — две белые фигуры, стоявшие бок о бок; его рука обвивала ее талию, ее голова покоилась на его плече. Их легкий шепот доносился до меня, вкрадчивый, нежный, спокойно-грустный в тишине ночи, словно один человек беседовал сам с собой на два голоса.

Позже, ворочаясь на постели под сеткой от москитов, я слышал легкий скрип, тихое дыхание, кто-то осторожно откашливался, — и я догадывался, что Тамб Итам все еще бродит вокруг. Хотя

он имел дом, «взял себе жену» и не так давно имел счастье стать отцом, но, кажется, каждую ночь он спал на веранде, — во всяком случае, пока я там гостил. Очень трудно было заставить этого верного и угрюмого слугу говорить. Даже Джим мог добиться от него лишь отрывистых, коротких фраз. Казалось, он давал вам понять, что разговор не его дело. Самую длинную фразу, какую он произнес добровольно, я услыхал от него однажды утром, когда, вытянув руку, он указал на Корнелиуса и сказал:

— Вот идет Назарянин[29].

Не думаю, чтобы он обращался ко мне, хотя я стоял подле него; казалось, его целью было привлечь негодующее внимание вселенной. За этим последовало упоминание о собаках, о запахе жареного, что я счел удивительно уместным.

Двор — большой четырехугольник — был раскален палящими лучами солнца, и, купаясь в необычайно ярком свете, Корнелиус пробирался через открытое пространство с таким видом, будто подкрадывался тайком. В нем было что-то омерзительное. Его медленная походка напоминала движения отвратительного жука, у которого

[29] Примечания: 29

Так магометане и иудеи называли христиан (Христос считается родом из Назарета).

с мучительным трудом передвигаются одни ноги, а тело скользит, как бы застывшее. Полагаю, он направлялся прямо к тому месту, куда хотел попасть, но одно его плечо было выставлено вперед, и казалось, что он пробирается бочком. Я часто видел, как он медленно кружил у сараев, словно шел по чьему-то следу, или шмыгал перед верандой, украдкой поглядывая наверх, и не спеша скрывался за углом какой-нибудь хижины.

То, что он мог свободно здесь разгуливать, доказывало нелепую беспечность Джима или же бесконечное его презрение, ибо Корнелиус сыграл, выражаясь мягко, очень сомнительную роль в одном эпизоде, который мог окончиться для Джима фатально. В действительности же этот эпизод способствовал его славе. Но славе его способствовало все. В этом была ирония его судьбы: он, который однажды был слишком осторожен, теперь жил словно заколдованной жизнью.

Следует вам знать, что он очень скоро покинул резиденцию Дорамина — слишком рано, если принять во внимание грозившую ему опасность, и, конечно, задолго до войны. Его подстрекало чувство долга; он говорил, что должен блюсти интересы Штейна. Не так ли? С этой целью он пренебрег всякой осторожностью, переправился

через реку и поселился в доме Корнелиуса. Как этот последний ухитрился пережить смутное время, я не знаю. Должно быть, он как агент Штейна находился до известной степени под защитой Дорамина.

Так или иначе, но ему удалось выпутаться из всех опасных передряг, и я не сомневаюсь, что поведение его, какую бы линию он ни вынужден был избрать, было отмечено подлостью, словно наложившей печать на этого человека.

Вот его характерная черта: он был подл и в глубине души, и внешне; ведь бывают же иные люди и внешне отмечены печатью великодушия, благородства или доброты. То была сущность его натуры, которая окрашивала все его поступки, страсти и эмоции; он бесновался подло, улыбался подло и подло грустил; и любезность его и негодование были подлы. Я уверен, что любовь его была самым подлым чувством, — но можно ли себе представить отвратительное насекомое влюбленным? И отвратительная внешность его была подлой — безобразный человек по сравнению с ним показался бы благородным. Ему нет места ни на переднем, ни на заднем плане этой истории, — он просто шныряет на задворках ее, загадочный и нечистый, отравляя аромат ее

юности и наивности.

Его положение было, во всяком случае, жалкое, но весьма возможно, что он извлекал из него и выгоду. Джим рассказал мне, что сначала был им принят любезно и дружелюбно до приторности.

— Парень был как будто вне себя от радости, — с отвращением сказал Джим. — Каждое утро он прибегал ко мне, чтобы пожать мне обе руки, черт бы его подрал! Но я никогда не мог заранее сказать, получу ли завтрак. Если удавалось за два дня три раза поесть, я считал, что мне повезло, а он каждую неделю заставлял меня подписывать чек на десять долларов. По его словам, мистер Штейн не желал, чтобы он кормил меня даром. А он, можно сказать, почти не кормил меня. Приписывал это неурядицам в стране и делал вид, что рвет на себе волосы, по двадцать раз на день выпрашивая у меня прощение; наконец я взмолился и попросил его не беспокоиться. Тошно было смотреть на него. Половина крыши над его домом провалилась, грязь, отовсюду торчат клочья сухой травы, рваные циновки хлопают по стенам. Он изо всех сил пытался доказать, что мистер Штейн в долгу у него за последние три года, но все его книги были изорваны, а иные потерялись. Он попробовал намекнуть, что это

— вина его покойной жены. Каков негодяй! Наконец я ему запретил упоминать о покойной жене. Это доводило Джюэл до слез. Я не мог выяснить, куда девались все товары; на складе ничего не было, кроме крыс, а те веселились вовсю среди обрывков оберточной бумаги и старого холста. Меня все уверяли, что он зарыл где-то много денег, но от него я, конечно, ничего не мог добиться. Жалкое существование я влачил в этом проклятом доме. Я старался исполнить свой долг по отношению к Штейну, но мне приходилось думать и о других вещах. Когда я убежал к Дорамину, старый Тунку Алланг струсил и вернул все мои вещи. Это было сделано окольным путем и очень таинственно через одного китайца, который держит здесь лавочку; но как только я ушел от буги и поселился с Корнелиусом, все открыто заговорили о том, что раджа принял решение в скором времени меня убить. Приятно, не правда ли? А я не знал, что может ему помешать, если он действительно принял такое решение. Хуже всего было вот что: я невольно чувствовал, что никакой пользы Штейну не приношу, да и для себя толку не вижу. О, настроение было ужасное все эти шесть недель!

Глава XXX

По его словам, он не знал, что помогло ему выдержать, — но, конечно мы можем догадываться. Он глубоко сочувствовал беззащитной девушке, находившейся во власти этого «низкого, трусливого негодяя». Видимо, Корнелиус обращался с ней ужасно, воздерживаясь только от побоев, — для этого, полагаю, ему не хватало храбрости. Он настаивал на том, чтобы она называла его отцом…

— И с уважением… с уважением… — визжал он, потрясая перед ее носом маленьким желтым кулачком. — Я человек, пользующийся уважением, а ты кто такая? Говори, кто ты такая? Думаешь, я собираюсь воспитывать чужого ребенка и не видеть к себе уважения? Должна радоваться, что я тебе позволяю называть меня отцом. Ну, говори: «Да, отец»… Не хочешь?.. Подожди же!..

Тут он начинал осыпать ругательствами покойницу, пока девушка не убегала, схватившись за голову. Он преследовал ее, бегая вокруг дома и между сараями, загонял ее в какой-нибудь угол, а она падала на колени, затыкая себе уши; тогда он останавливался на некотором расстоянии и

в течение получаса сквернословил.

— Твоя мать была чертовка, хитрая чертовка, — и ты тоже чертовка! — взвизгивал он наконец и, захватив пригоршню земли или грязи (грязи вокруг дома было в изобилии), швырял ей в голову.

Но иногда она, исполненная презрения, выдерживала до конца и стояла перед ним молча, с мрачным искаженным лицом, и лишь изредка произносила одно-два слова, от которых тот подпрыгивал и корчился как ужаленный. Джим говорил мне, что эти сцены были ужасны. В самом деле, странная картина для лесной глуши. Если подумать, безвыходность этого тяжелого положения покажется устрашающей.

Почтенный Корнелиус (Инчи Нелиус, как называли его с многозначительной гримасой малайцы) был глубоко разочарованным человеком. Не знаю, каких выгод он ждал от своей женитьбы, но, видимо, свобода воровать, расточать и присваивать себе в течение многих лет и любым способом товары торговой фирмы Штейна (Штейн неутомимо пополнял склады, пока ему удавалось уговорить своих шкиперов доставлять туда запасы) казалась ему недостаточной наградой за то, что он пожертвовал своим честным именем. Джим с величайшим удовольствием

избил бы Корнелиуса до полусмерти; с другой стороны, эти сцены были столь тягостны и отвратительны, что ему хотелось уйти подальше, чтобы ничего не слышать и пощадить чувства девушки. Когда Корнелиус затихал, она, дрожащая, безмолвная, с окаменевшим скорбным лицом, прижимала руки к груди, а Джим подходил и с жалким видом бормотал:

— Ну, послушайте… право же… что толку… вы бы попытались немножко поесть…

Или проявлял свое сочувствие как-нибудь иначе. Корнелиус выползал из двери, шнырял по веранде, немой как рыба, украдкой бросая злобные, недоверчивые взгляды.

— Я могу положить этому конец, — сказал ей однажды Джим. — Скажите только слово.

А знаете, что она ему ответила? Она сказала — Джим сообщил мне об этом очень внушительно, — что у нее хватило бы храбрости убить его собственноручно, не будь она уверена в том, что он сам глубоко несчастен.

— Подумайте только! Бедную девушку, почти ребенка, довели до того, что она говорит такие слова! — в ужасе воскликнул он.

Невозможным казалось спасти ее не только от этого гнусного негодяя, но даже от нее самой.

Не то чтобы он так сильно ее жалел, утверждал Джим; это было сильнее жалости, словно что-то грузом лежало на его совести, пока она вела такую жизнь. Покинуть дом казалось ему низким дезертирством. Он понял наконец, что ждать ему нечего — он не добьется ни счетов, ни денег, ни какой бы то ни было правды, — но продолжал жить в доме и довел Корнелиуса если не до безумия, то чуть ли не до вспышки храбрости.

Между тем он чувствовал, как со всех сторон надвигается на него неведомая опасность. Дорамин дважды посылал к нему верного слугу, серьезно предупреждая, что ничего не может для него сделать, если он не переправится снова через реку и не поселится, как раньше, среди буги. Стали приходить люди, люди самые разнообразные, — часто во мраке ночи, — чтобы открыть ему заговоры на его жизнь. Решено его отравить. Он будет заколот в бане. Сделаны приготовления к тому, чтобы пристрелить его с лодки на реке. Каждый из этих доносчиков называл себя верным его другом. Этого было достаточно, — говорил мне Джим, — чтобы навеки лишить человека покоя. Кое-что было не только возможно, но и весьма вероятно, однако лживые предостережения пробудили в нем только такое чувство, будто

все окружающие со всех сторон строят во мраке козни. Ничто не могло воздействовать сильнее на самую здоровую нервную систему.

Наконец как-то ночью сам Корнелиус, с видом встревоженным и таинственным, развернул торжественным, заискивающим тоном маленький план: за сто долларов или даже за восемьдесят — скажем, за восемьдесят — он, Корнелиус, раздобудет надежного человека, который доставит Джима в целости и сохранности к устью реки. Ничего больше не остается делать — если Джим хоть сколько-нибудь ценит свою жизнь. Что такое восемьдесят долларов? Пустяк! Ничтожная сумма! Тогда как он, Корнелиус, вынужденный остаться, несомненно рискует жизнью, чтобы доказать свою преданность молодому другу мистера Штейна. Трудно было вынести, сказал мне Джим, его отвратительное кривлянье: он рвал на себе волосы, бил себя в грудь, раскачивался из стороны в сторону, прижимая руки к животу и делая вид, будто плачет.

— Да падет ваша кровь на вашу голову, — взвизгнул он наконец и выбежал из комнаты.

Любопытно знать, до какой степени Корнелиус был искренен. Джим признался мне, что ни на секунду не мог заснуть после того, как ушел этот

парень. Он лежал на тонкой циновке, покрывавшей бамбуковый пол, пытаясь разглядеть стропила и лениво прислушиваясь к шорохам в дырявой тростниковой крыше. Звезда мигнула сквозь дыру. В его мозгу был какой-то вихрь — одна мысль сменяла другую; и тем не менее в ту самую ночь созрел его план, как одержать верх над шерифом Али. Мысль об этом не оставляла его в те свободные минуты, какие он мог урвать, будучи занят безнадежным расследованием дел Штейна, но в ту ночь он вдруг ясно представил себе все. Он видел даже пушки, поднятые на вершину холма. Он лежал, разгоряченный и взволнованный; о сне нечего было и думать. Вскочив, он босиком вышел на веранду. И там, бесшумно шагая, наткнулся на девушку, неподвижно стоявшую у стены, словно на страже. В том состоянии, в каком он тогда находился, его нисколько не удивило, что она бодрствует; не удивил и вопрос, заданный тревожным шепотом, — где мог быть Корнелиус?

Он ответил просто, что не знает. Она тихонько простонала и заглянула в кампонг. Все было тихо. Он был до такой степени поглощен своим новым замыслом, что не мог удержаться и тут же рассказал ей обо всем. Она выслушала, тихонько

захлопала в ладоши и шепотом выразила свое восхищение, но, видимо, все время была настороже. Кажется, он привык обращаться к ней как к своей поверенной, а она, со своей стороны, несомненно давала ему полезные указания относительно положения дел в Патюзане. Он не раз уверял меня, что ее советы всегда ему помогали. Как бы то ни было, но он приступил к детальному разъяснению своего плана, как вдруг она стиснула ему руку и скрылась. Откуда-то появился Корнелиус и, заметив Джима, пошатнулся, словно в него выстрелили, а потом неподвижно застыл в полумраке. Наконец он осторожно шагнул вперед, как недоверчивый кот.

— Тут проходили рыбаки с рыбой, — сказал он дрожащим голосом. — Продавали, знаете ли, рыбу…

Было, должно быть, два часа ночи — самое подходящее время, чтобы торговать рыбой!

Джим, однако, пропустил это замечание мимо ушей и ни на секунду не задумался. Другие мысли его занимали, а кроме того, он ничего не видел и не слышал. Он удовольствовался тем, что рассеянно сказал: «О!» — выпил воды из стоявшего там кувшина и покинул Корнелиуса, который был охвачен необъяснимым волнением: парень

обеими руками обхватил подточенные червями перила веранды, словно ноги у него подкашивались. Джим снова вошел в дом, лег на свою циновку и стал думать. Вскоре он услышал крадущиеся шаги. Потом все стихло. Чей-то дрожащий голос шепотом спросил через стену:

— Вы спите?

— Нет! Что такое? — бодро отозвался он; слышно было, как кто-то отскочил, словно в испуге, и снова стало тихо. Джим, очень раздраженный, стремительно выскочил из комнаты, а Корнелиус, слабо взвизгнув, побежал вдоль веранды и у ступеней уцепился за сломанные перила. Сбитый с толку Джим издали его окликнул, чтобы узнать, что ему, черт подери, нужно.

— Вы поразмыслили о том, что я вам говорил? — спросил Корнелиус, с трудом выговаривая слова, как человек, охваченный лихорадочным ознобом.

— Нет! — гневно крикнул Джим. — Я об этом не думал и думать не собираюсь. Я буду жить здесь, в Патюзане.

— В-вы з-з-здесь у-м-м-м-рете, — ответил Корнелиус, все еще дрожа и каким-то угасающим голосом.

Вся эта сцена была до того нелепа и возмути-

тельна, что Джим не знал — смеяться ему или злиться.

— Не раньше, чем вас похоронят, можете быть уверены! — крикнул он раздраженно, но готовый вот-вот расхохотаться. Возбужденный своими мыслями, он продолжал кричать: — Ничто не может меня коснуться. Делайте что хотите.

Почему-то темная фигура Корнелиуса там, вдали, показалась ему ненавистным воплощением всех затруднений и неприятностей, встретившихся на его пути. Он перестал сдерживаться — нервы его уже много дней были натянуты — и осыпал Корнелиуса ласкательными именами: негодяй, лжец, жалкий мошенник, — словом, держал себя необычно. Джим признает, что преступил все границы, был вне себя, бросал вызов всему Патюзану — пусть попробуют его запугать. Он заявил, что все они еще попляшут под его дудку, и продолжал в таком же тоне, с угрозами и похвальбой. В высшей степени напыщенно и смешно, сказал он. Уши его покраснели при одном воспоминании. Он словно с цепи сорвался… Девушка, сидевшая с нами, быстро кивнула мне головой, чуточку нахмурилась и с детской серьезностью сказала:

— Я его слышала.

Он засмеялся и покраснел. Остановило его, наконец, молчание, глубокое страшное молчание неясной фигуры там, вдали, которая, скорчившись, повисла на перилах и застыла в жуткой неподвижности. Джим опомнился и вдруг замолчал, дивясь самому себе. С минуту он прислушивался. Ни шороха, ни звука.

— Словно парень умер, пока я так орал, — сказал он.

Сильно пристыженный, он, не говоря ни слова, поспешил войти в дом и снова бросился на циновку. Эта вспышка, кажется, пошла ему на пользу: остаток ночи он спал, как младенец. Много недель он так крепко не спал.

— Но я не спала, — вставила девушка, подперев рукой щеку. — Я сторожила.

Ее большие глаза вспыхнули, и она впилась взглядом в мое лицо.

Глава XXXI

Можете себе представить, с каким интересом я слушал. Все эти детали имели отношение к тому, что произошло через двадцать четыре часа. Утром Корнелиус не заикался о событиях прошедшей ночи.

— Вероятно, вы вернетесь в мое убогое жилище, — угрюмо пробормотал он, появляясь в тот самый момент, когда Джим садился в каноэ, чтобы ехать в кампонг Дорамина.

Не глядя на него, Джим кивнул головой.

— Вас это, несомненно, забавляет, — кислым тоном проворчал тот.

Джим провел день у старого накходы, проповедуя о необходимости перейти к действию старшинам общины буги, которых призвали на совещание. Он с удовольствием вспоминал, как красноречиво и убедительно говорил.

— В тот же день мне, конечно, удалось вдохнуть в них мужество, — сказал он.

Во время последнего своего набега шериф Али опустошил предместья поселка, и несколько женщин, живших в самом поселке, были уведены в крепость. Накануне видели на базарной

площади разведчиков шерифа Али; они высокомерно разгуливали в своих белых плащах и похвалялись дружеским расположением раджи к их господину. Один из них стоял в тени дерева и, опираясь на длинный ствол ружья, призывал народ к молитве и покаянию, советуя убить всех чужеземцев, из которых одни, по его словам, были неверные, а другие еще того хуже — дети сатаны в облике мусульман. Было получено донесение, что кое-кто из приверженцев раджи, находившихся среди слушателей, громко выражал свое одобрение. Простой народ был охвачен ужасом. Джим, чрезвычайно довольный успехом этого дня, снова переправился через реку перед заходом солнца.

Ему удалось убедить буги перейти к наступлению, и он отвечал головой за успех, а потому находился в приподнятом настроении и попытался даже быть вежливым с Корнелиусом. Но Корнелиус в ответ на такую любезность стал необузданно весел, и Джим, по его словам, едва мог вынести этот пискливый фальшивый смех, гримасы и подмигивание; время от времени Корнелиус хватался за подбородок и низко пригибался к столу, глядя безумными глазами. Девушка не появлялась, и Джим рано ушел спать. Когда

он поднялся, чтобы пожелать спокойной ночи, Корнелиус вскочил, опрокинул стул и присел на пол, словно хотел что-то поднять. Его «спокойной ночи» хрипло донеслось из-под стола. Джим с изумлением смотрел на него, когда он поднялся с отвисшей челюстью и глупо вытаращенными, испуганными глазами. Он цеплялся за край стола.

— Что с вами такое? Вы нездоровы? — спросил Джим.

— Да, да, да! Страшные колики в животе, — отозвался тот, и, по мнению Джима, это была сущая правда. Если так, то, принимая во внимание задуманный им план, нужно отдать должное Корнелиусу — совесть его еще не окончательно притупилась и давала о себе знать столь омерзительно.

Как бы то ни было, но дремота Джима была нарушена сновидением: словно трубный глас с неба взывал к нему: «Проснись! Проснись!» — так громко, что, несмотря на отчаянное его сопротивление, он и в самом деле проснулся. Его ослепил блеск красного потрескивающего пламени, взвившегося в воздух. Завитки густого черного дыма вились вокруг головы какого-то призрака, какого-то неземного существа в белом одеянии, с суровым, напряженным, взволнованным лицом.

Через секунду он узнал девушку. В поднятой руке она держала смоляной факел и настойчиво, монотонно повторяла:

— Вставай! Вставай! Вставай!

Он вскочил на ноги, и она тотчас же сунула ему в руку револьвер — его собственный револьвер, на этот раз заряженный, который все время висел на гвозде. Моргая от света, он схватил его молча, ничего не соображая. Он не понимал, что должен для нее сделать.

Она спросила быстро и очень тихо:

— Можешь ты с этим револьвером справиться с четверыми?

Он со смехом рассказывал этот эпизод, вспоминая свою учтивую готовность. Кажется, он говорил очень красноречиво:

— Конечно… разумеется… конечно… к вашим услугам.

Он еще не совсем проснулся и, очутившись в таком необычайном положении, был очень предупредителен и проявил преданную готовность ей служить. Она вышла из комнаты, а он последовал за ней. В коридоре они потревожили старую каргу, которая исполняла в доме обязанности стряпухи, хотя, по дряхлости своей, едва понимала человеческую речь.

Она поднялась и потащилась за ними, бормоча что-то беззубым ртом. На веранде Джим задел локтем гамак из парусины, принадлежащий Корнелиусу. Гамак был пуст.

Станция в Патюзане, как и все станции торговой фирмы Штейна, первоначально состояла из четырех строений. Два из них представляли собой две кучи палок, сломанного бамбука, гнилого тростника, над которыми печально склонились четыре угловых деревянных столба; но главный склад, находившийся против дома агента, был еще цел. То была длинная хижина, сложенная из грязи и глины; в одном конце — широкая дверь из крепких досок, еще не сорванная с петель, а в одной из боковых стен — четырехугольное отверстие, нечто вроде окна, с тремя деревянными брусьями. Перед тем как спуститься с веранды, девушка оглянулась через плечо и быстро сказала:

— На тебя хотели напасть, когда ты спал.

Джим говорит, что был разочарован. Старая история! Ему надоели эти покушения на его жизнь. Хватит с него тревог. Он сыт по горло. По его словам, он рассердился на девушку за то, что она его обманула. Он последовал за ней уверенный, что это она нуждается в его помощи, и теперь, раздосадованный, готов был повернуть назад.

— Знаете ли, — глубокомысленно заметил он, — я, кажется, был немножко не в себе все эти последние недели.

— О нет, ошибаетесь, — не мог не возразить я.

Но она быстро пошла вперед, и он спустился за ней во двор. Забор давным-давно развалился; по утрам соседские буйволы, громко фыркая, спокойно здесь прогуливались; джунгли уже подступали к дому. Джим и девушка остановились в буйно разросшейся траве. За светлым кругом, в котором они стояли, тьма казалась сгущенно-черной, и только над их головами ярко сверкали звезды. Джим говорил мне, что ночь была чудная, прохладная и легкий ветерок дул с реки. Видимо, он обратил внимание на ласковую красоту ночи. Не забудьте, что сейчас я вам рассказываю любовную историю. Ночь любви, казалось, окутывала их тихой лаской. Пламя факела развевалось, как флаг, и сначала ничего не было слышно, кроме тихого потрескивания.

— Они ждут в сарае, — прошептала девушка, — ждут сигнала.

— Кто должен дать сигнал? — спросил он.

Она встряхнула факел, который разгорелся ярче, выбросив фонтан искр.

— Но ты спал так тревожно, — продолжала она

шепотом. — А я оберегала твой сон.

— Ты! — воскликнул он, вытягивая шею и всматриваясь в темноту.

— Ты думаешь, я сторожила только эту одну ночь! — сказала она с каким-то грустным негодованием.

Он говорит, что этими словами она словно нанесла ему удар. Он глубоко вздохнул. Почему-то назвал себя мысленно ужасной скотиной и почувствовал раскаяние; он был растроган, счастлив, горд. Разрешите еще раз вам напомнить: это любовная история; об этом вы можете судить по нелепости — не отталкивающей, но экзальтированной нелепости всего происходящего и этого разговора при свете факела, словно они пришли сюда специально для того, чтобы объясниться в присутствии притаившихся убийц. Если бы, как заметил Джим, у лазутчиков шерифа Али была хоть капля мужества, они использовали бы этот момент для нападения. Сердце у него колотилось не от страха, но вдруг ему послышался шорох в траве, и он быстро вышел из круга света. Что-то темное, неясное скользнуло в сторону. Он громко крикнул:

— Корнелиус! Корнелиус!

Последовало глубокое молчание: казалось, в

двадцати футах уже не слышно было его голоса. Снова девушка подошла к нему.

— Беги! — сказала она.

Старуха приблизилась к ним; ее сгорбленная фигура, подпрыгивая, ковыляла у края светлого круга; они услышали ее бормотание и тихий протяжный вздох.

— Беги! — взволнованно повторила девушка. — Они испугались… этот свет… голоса… Теперь они знают, что ты бодрствуешь… что ты большой, сильный, бесстрашный…

— Если это так… — начал он, но она его перебила:

— Да, в эту ночь! Но что будет завтра ночью? И послезавтра? И в долгие-долгие будущие ночи? Смогу ли я всегда сторожить?

Голос ее оборвался, и это подействовало на него так, что он лишился дара речи.

Он говорил мне, что никогда не чувствовал себя таким маленьким, таким бессильным; а храбрость… что толку в ней? — подумал он. Он был так беспомощен, что даже бегство казалось бесцельным, и, хотя она с лихорадочной настойчивостью шептала: «Беги к Дорамину! Беги к Дорамину!» — он понял, что спасение от этого одиночества, удесятерявшего все опасности, он

может найти только у нее.

— Я думал, — сказал он мне, — что уйди я от нее — и всему настанет конец.

Но так как они не могли вечно стоять посреди двора, он решил пойти и заглянуть в сарай. Он не подумал протестовать, когда она пошла за ним, словно они были неразрывно связаны.

— Я бесстрашный, да? — бормотал он сквозь зубы. Она удержала его за руку.

— Подожди, пока не услышишь моего голоса, — сказала она и, с факелом в руке, легко забежала за угол. Он остался один во мраке, повернувшись лицом к двери: ни шороха, ни дыхания не доносилось оттуда. Старая карга застонала где-то за его спиной. Он услышал пронзительный, почти визгливый крик девушки:

— Теперь толкай дверь!

Он с силой толкнул, и дверь с треском распахнулась; к величайшему своему изумлению, он увидел, что низкий, похожий на подземную темницу сарай освещен мертвенным колеблющимся светом. Клубы дыма опускались на пустой деревянный ящик, стоявший посреди сарая; какие-то тряпки и солома словно пытались взлететь, но только слабо шелестели на сквозняке. Она просунула факел между брусьями окна. Он увидел

ее обнаженную округлую руку, вытянутую и неподвижную, державшую факел крепко, как в кронштейне. В дальнем углу громоздилась почти до потолка куча старых циновок, больше ничего не было.

Джим объяснил мне, что был горько разочарован. Его стойкость столько раз подвергалась ненужным испытаниям; в течение нескольких недель ему так часто намекали на близкую опасность, что теперь он ждал облегчения от встречи с чем-то реальным, осязаемым.

— Видите ли, это разрядило бы атмосферу хоть на два часа, — сказал он мне. — Много дней я жил с камнем на сердце.

Теперь он думал, что наконец увидит что-то реальное, и — ничего! Никаких признаков присутствия человека. Он поднял револьвер, когда дверь распахнулась, но теперь рука его опустилась.

— Стреляй! Защищайся! — крикнула снаружи девушка надорванным голосом. Она, стоя в темноте и просунув руку до самого плеча в маленькое отверстие, не видела, что делается в сарае, и теперь не смела вытащить факел и обежать кругом.

— Здесь нет никого! — презрительно заорал

Джим и хотел злобно захохотать, но не успел; в тот самый момент, когда он собрался уйти, он поймал на себе взгляд чьих-то глаз в куче циновок. Он увидел, как сверкнули белки.

— Выходи! — крикнул он с бешенством, все еще неуверенный, и темная голова — голова без туловища — высунулась из кучи — странная голова, смотревшая на него пристальным, грозным взглядом. Через секунду гора циновок зашевелилась, и оттуда с тихим ворчаньем выскочил человек и бросился на Джима. За его спиной как будто подпрыгнули, разлетелись циновки: правая рука его, согнутая в локте, была поднята, и над головой виднелся тусклый клинок криса, зажатого в кулаке. Повязка, туго стягивавшая бедра, казалась ослепительно-белой на фоне бронзовой кожи: обнаженное тело блестело, словно было влажным.

Джим все это заметил. Он говорил мне, что испытывал чувство невыразимого облегчения, мстительного восторга. Он умышленно медлил стрелять. Медлил одну десятую долю секунды, — пока тот успел сделать три шага, — бесконечно долго. Он медлил, чтобы иметь удовольствие сказать себе: «Вот мертвый человек!» Он был абсолютно уверен в себе. Он дал ему подойти,

ибо это не имело значения. Мертвый человек! Он увидел раздувшиеся ноздри, широко раскрытые глаза, напряженно-страстное, неподвижное лицо — и выстрелил.

Выстрел в этом закрытом помещении был оглушительный. Он отступил на шаг. Видел, как человек вскинул голову, вытянул руки и уронил крис. Позднее он убедился в том, что выстрелил ему в рот, и пуля вышла, пробив затылочную кость. Человек, стремительно бежавший, продолжал двигаться вперед; лицо его внезапно исказилось; как слепой, он что-то нащупывал руками и вдруг тяжело рухнул, ударившись лбом как раз у босых ног Джима.

Джим говорит, что заметил мельчайшие детали. Он почувствовал успокоение; не было ни злобы, ни недовольства, словно смерть этого человека искупила все. Сарай наполнился черным дымом факела, горевшего кроваво-красным, немигающим пламенем. Джим решительно вошел, перешагнув через труп, и направил револьвер на другую обнаженную фигуру, смутно вырисовывавшуюся в дальнем углу. Когда он приготовился нажать спуск, человек с силой отшвырнул короткое, тяжелое копье и покорно присел на корточки, прислонившись спиной к

стене, сжав руки между колен.

— Хочешь жить? — сказал Джим.

Тот не отвечал.

— Сколько вас тут? — снова спросил Джим.

— Еще двое, Тюан, — очень тихо сказал человек, глядя большими зачарованными глазами в дуло револьвера.

И действительно, еще двое выползли из-под циновок и показали свои руки в знак того, что были не вооружены.

Глава XXXII

Джим занял выгодную позицию и заставил всех троих сразу выйти из сарая; все это время маленькая рука, ни разу не дрогнув, держала факел вертикально. Трое повиновались, двигаясь безмолвно, как автоматы. Он выстроил их в ряд и скомандовал:

— Возьмитесь за руки!

Они исполнили приказание.

— Тот, кто выдернет свою руку или повернет голову, умрет на месте, — сказал он. — Марш!

Напряженные, они дружно шагнули вперед; он следовал за ними, а подле него шла девушка в длинном белом одеянии и несла факел; ее черные волосы спускались до пояса. Прямая и гибкая, она словно скользила, не касаясь земли; слышались лишь шелковистый шорох и шелест высокой травы.

— Стой! — крикнул Джим.

Берег реки был крутой, снизу понесло холодком; свет падал на темную воду у берега, пенившуюся, но не тронутую рябью. Направо и налево тянулись ряды домов под резко очерченными крышами.

— Передайте мой привет шерифу Али, пока я сам не пришел к нему, — сказал Джим.

Ни одна из голов не шевельнулась.

— Прыгай! — загремел он.

Три всплеска слились в один, взлетел сноп брызг, черные головы закачались на поверхности воды и исчезли; слышался громкий плеск и фырканье, постепенно замиравшие; люди усердно ныряли, страшась прощального выстрела. Джим повернулся к девушке — безмолвному и внимательному свидетелю. Сердце его вдруг словно расширилось в груди, и что-то сдавило ему горло. Вот почему он, должно быть, молчал так долго, а она, ответив на его взгляд, взмахнула рукой и бросила в реку горящий факел. Резкая огненная полоса, прорезав ночь, угасла с сердитым шипением, и тихий, нежный звездный свет мирно спустился на них.

Он не поведал мне, что́ он сказал, когда наконец вернулся к нему голос. Вряд ли он был очень красноречив. Все замерло, ночь окутала их своим дыханием — одна из тех ночей, какие словно созданы для того, чтобы служить приютом нежности; бывают моменты, когда душа как будто освобождается от темной своей оболочки, делается восхитительно чуткой и молчание

становится красноречивее слов. Про девушку он рассказал мне:

— Она разнервничалась немножко. Возбуждение, знаете ли… реакция. Должно быть, она страшно устала… и все такое. И… и… черт возьми… понимаете ли, она ко мне привязалась… Я тоже… не знал, конечно… мне и в голову не приходило.

Тут он вскочил и стал взволнованно шагать взад и вперед.

— Я… я горячо люблю ее. Сильнее, чем могу выразить словами. Конечно, этого не расскажешь. Вы по-иному относитесь к своим поступкам, когда начинаете понимать, когда каждый день вам дают понять, что ваша жизнь нужна — абсолютно необходима — другому человеку. Мне это дано почувствовать. Удивительно! Но подумайте только, какова была ее жизнь! Ужасно, не правда ли? И я нашел ее здесь — словно вышел на прогулку и неожиданно наткнулся на человека, который тонет в темном, глухом месте. О боже! Мешкать было нельзя. Она доверила себя мне… Я думаю, что могу не обмануть доверия.

Должен сказать, что девушка незадолго до этого оставила нас вдвоем. Он ударил себя в грудь:

— Да! Я это чувствую, но я верю, что достоин

принять свое счастье.

У него был дар находить особый смысл во всем, что с ним случалось. Так смотрел он на свою любовь; она была идиллична, немного торжественна, а также правдива, ибо он верил с непоколебимой серьезностью юноши. В другой раз он сказал мне:

— Я живу здесь всего два года, и теперь, честное слово, я не представляю себе, как бы я мог жить в другом месте. Одна мысль о внешнем мире пугает меня, потому что, видите ли, — продолжал он, опустив глаза и кончиком ботинка разбивая кусок засохшей грязи (мы прогуливались по берегу реки), — я не забыл, почему я сюда пришел. Еще не забыл!

Я старался на него не смотреть, но мне послышался короткий вздох; некоторое время мы шли молча.

— По совести сказать, — заговорил он снова, — если только можно забыть такое… то я думаю, что имею право выбросить это из головы. Спросите любого человека здесь… — Голос его изменился. — Не странно ли, — продолжал он мягким, почти умоляющим тоном, — не странно ли, что все эти люди, которые готовы для меня на все, никогда не смогут понять? Никогда! Если вы мне

не верите, я не могу их вызвать свидетелями. Почему-то тяжело об этом думать. Я глуп, не правда ли? Чего мне еще желать? Если вы их спросите, кто храбр, честен, справедлив, кому готовы они доверить свою жизнь, — они назовут Тюана Джима. И однако, они никогда не смогут узнать истинную правду…

Вот что он мне сказал в тот последний день, какой я с ним провел. Я не пропустил ни одного его слова; я чувствовал, что, хотя он и хочет еще что-то сказать, все-таки не удастся ему осветить сущность дела. Солнце, своим сгущенным сиянием умалявшее землю, превращая ее в беспокойный комок пыли, опустилось за лесом, и рассеянный свет опалового неба, казалось, окутывал мир, лишенный теней и блеска, иллюзией спокойного и задумчивого величия. Слушая его, я — не знаю почему — отчетливо замечал, как постепенно темнеет река, воздух, неумолимо надвигается ночь, безмолвно опускаясь на все видимые предметы, стирая очертания, все глубже погребая мир, словно засыпая его неосязаемой черной пылью.

— Боже! — неожиданно воскликнул он. — В иные дни человек бывает слишком нелепым; но я знаю, что могу сказать вам все. Я говорил о том,

что покончил с этим… с этим проклятым делом, оставшимся позади… Стал забывать… Честное слово, я не знаю! Я могу говорить об этом спокойно. В конце концов что оно доказало? Ничего. Вероятно, вы думаете иначе.

Я шепотом запротестовал.

— Не важно! — сказал он. — Я удовлетворен… почти. Мне нужно только заглянуть в лицо первого встречного, чтобы вернуть себе уверенность. Нельзя заставить их понять, что во мне происходит. Ну так что ж! Послушайте! То, что я совершил, — не так уже дурно.

— Не так дурно, — повторил я.

— И все-таки вы бы не хотели видеть меня на борту своего собственного судна, а?

— Черт бы вас побрал! — крикнул я. — Перестаньте!

— Ага! Видите! — воскликнул он с добродушно торжествующим видом. — А попробуйте-ка сказать об этом кому-нибудь из здешних! Они сочтут вас дураком, лжецом или еще того хуже. Вот почему я могу это выносить. Кое-что я для них сделал, но вот что сделали для меня они!

— Дорогой мой, для них вы навсегда останетесь неразгаданной тайной, — сказал я.

Последовало молчание.

— Тайна! — повторил он, не поднимая глаз. — Ну что ж, я должен остаться здесь навсегда.

После захода солнца тьма как будто налетала на нас с каждым дуновением ветерка. Посреди обнесенной изгородью тропы я увидел неподвижный, тощий, настороженный и словно одноногий силуэт Тамб Итама, а по другую сторону окутанной сумерками площадки что-то белое двигалось за столбами, поддерживающими крышу. Когда Джим в сопровождении Тамб Итама отправился на вечерний обход, я один пошел к дому, но внезапно дорогу мне преградила девушка, которая, несомненно, ждала этого случая.

Трудно объяснить вам, что именно хотела она у меня выпытать. Видимо, это было что-то простое — чрезвычайно простое и невыполнимое, — как, например, точное описание формы облака. Она хотела получить от меня уверение, подтверждение, обещание, объяснение, не знаю, как назвать, — нет для этого слов.

Под выступом крыши было темно, и я видел только расплывчатые линии ее платья, бледный овал маленького лица, белые блестящие зубы, а когда она ко мне повернулась, я видел большие темные орбиты глаз, где, казалось, что-то двигалось — такое движение чудится вам, когда вы

смотрите в бесконечно глубокий колодец. Что такое там движется? — спрашиваете вы себя. Слепое ли чудовище или только затерянные отблески вселенной?

Мне пришло в голову — не смейтесь, — что, отнюдь не походя на сфинкса, она в своем детском неведении была более таинственна, чем сфинкс, предлагающий путникам ребяческие загадки. Ее увезли в Патюзан раньше, чем она прозрела. Здесь она выросла; она ничего не видела; она ничего не знала; она не имела понятия ни о чем. Я задаю себе вопрос, была ли она уверена в том, что где-то еще что-нибудь существует. Какое могла она составить представление о внешнем мире — для меня непостижимо: из обитателей его она знала только женщину, которую предали, и зловещего паяца. И оттуда к ней пришел ее возлюбленный, наделенный неотразимыми чарами… Но что сталось бы с ней, если бы он вернулся в те непостижимые края, которые как будто всегда призывают обратно тех, кто им принадлежит? Об этом мать со слезами предупреждала ее, умирая…

Она крепко схватила меня за руку, а как только я остановился, быстро отдернула руку. Она была смелой и застенчивой. Она ничего не боялась,

но ее удерживали глубокая неуверенность и отчужденность — отважный человек, ощупью пробирающийся во мраке. Я принадлежал к тому Неведомому, которое в любой момент могло призвать Джима, как свою собственность. Я был посвящен, так сказать, в тайную природу этого Неведомого и в его намерения, был поверенным грозной тайны, был облечен, может быть, властью! Кажется, она предполагала, что я одним словом могу вырвать Джима из ее объятий; я глубоко убежден, что она томилась предчувствиями во время моих долгих бесед с Джимом; она пережила подлинную и невыносимую пытку, которая привела бы ее к замыслу убить меня, если бы ее неистовая душа могла овладеть страшной ситуацией, ею же созданной. Таково мое впечатление, и больше мне нечего вам сказать: положение постепенно для меня выяснилось, и я был ошеломлен и удивлен. Она заставила меня ей верить, но нет у меня слов, чтобы передать впечатление, какое произвел на меня этот быстрый отчаянный шепот, мягкие страстные интонации, неожиданная пауза и умоляющий жест простертых вперед белых рук. Руки упали; призрачная фигура покачнулась, как стройное деревцо на ветру; бледный овал лица поник. Невозможно было разглядеть

ее черты, бездонны были мрачные глаза. Два широких рукава поднялись в темноте словно раскрывающиеся крылья; она стояла молча, сжав голову руками.

Глава XXXIII

Я был глубоко растроган: ее молодость, неведение, ее красота, напоминающая скромное очарование и нежную силу полевого цветка, ее трогательные мольбы, ее беспомощность подействовали на меня почти так же сильно, как действовал на нее этот безрассудный и вполне естественный страх. Она боялась неизвестного, как боимся его мы все, а ее неведение еще раздвигало его границы. Я являлся представителем Неведомого — этим Неведомым был я сам, вы, весь мир, который не заботился о Джиме и нимало в нем не нуждался. Я готов был поручиться за равнодушие этой плодоносной земли, если бы не вспомнил о том, что Джим тоже принадлежит к этому таинственному неведомому, породившему ее страхи, а представителем Джима я, во всяком случае, не был. Это заставило меня поколебаться. Безнадежно грустный шепот сорвал печать с моих уст. Я начал протестовать и заявил, что приехал сюда, отнюдь не намереваясь увезти Джима.

Зачем же я тогда приехал? Она слегка пошевельнулась и снова застыла неподвижно, словно

мраморная статуя в ночи. Я постарался коротко объяснить: дружба, дела; если и есть у меня какое-нибудь желание, то, пожалуй, я хочу, чтобы он остался…

— Они всегда покидают нас, — прошептала она. Скорбная мудрость из могилы, которую она благоговейно украшала цветами, казалось, повеяла на нас в слабом вздохе…

Ничто, сказал я, не может оторвать от нее Джима. Таково теперь мое глубокое убеждение; в этом я был убежден тогда; это был единственно возможный вывод из фактов. И убеждение мое не могло стать крепче, когда она прошептала, словно думая вслух:

— Он мне поклялся в этом.

— Вы его просили? — осведомился я.

Она подошла ближе.

— Нет, никогда!

Она только просила его уйти. Это было в ту ночь на берегу реки, после того как он убил человека, — она бросила факел в воду, потому что он так смотрел на нее. Слишком много было света, а опасность тогда миновала… на время… ненадолго. Он сказал, что не покинет ее у Корнелиуса. Она настаивала. Она хотела, чтобы он ее оставил. Он ответил, что не может — не в силах этого сделать.

Он дрожал, когда это говорил. Она чувствовала, как он дрожит…

Не требуется воображения, чтобы увидеть эту сцену — чуть ли не услышать их шепот. Она боялась и за него. Думаю, тогда она видела в нем лишь жертву, обреченную опасностям, в которых она разбиралась лучше, чем он. Хотя он завоевал ее сердце и мысли и завладел ее привязанностью одним своим присутствием, но она недооценивала его шансы на успех. Ясно, что в то время всякий склонен был недооценивать его шансы. Точнее: у него как будто никаких шансов не было. Я знаю, что такова была точка зрения Корнелиуса. В этом он мне признался, пытаясь затушевать мрачную роль, какую играл в заговоре шерифа Али, задумавшего покончить с неверным. Ясно теперь, что даже сам шериф Али питал лишь презрение к белому человеку. Кажется, Джима хотели убить главным образом из религиозных соображений: простой акт благочестия (и с этой точки зрения достойный всяческого уважения); другой цели у них не было. Такое мнение разделял и Корнелиус.

— Уважаемый сэр, — униженно говорил он мне в тот единственный раз, когда ему удалось завязать со мной разговор. — Уважаемый сэр,

как я мог знать? Кто он был такой? Как он мог добиться, чтобы народ поверил ему? О чем думал мистер Штейн, когда посылал такого мальчишку похваляться к своему старому слуге? Я готов был спасти его за восемьдесят долларов. Всего лишь восемьдесят долларов! Почему этот дурак не уехал? Разве я должен был лезть на нож ради чужого человека?

Он пресмыкался передо мной, униженно наклоняясь и простирая руки к моим коленям, словно хотел обнять мои ноги.

Что такое восемьдесят долларов? Ничтожная сумма. И эти деньги просил у него беззащитный старик, которому исковеркала жизнь покойная чертовка.

Тут он заплакал. Но я забегаю вперед. В тот вечер я встретился с Корнелиусом лишь после того, как закончилась моя беседа с девушкой.

Она не думала о себе, когда умоляла Джима оставить ее и даже покинуть страну. Мысли ее были заняты грозившей ему опасностью, даже если она и хотела спасти себя — бессознательно, быть может; но не забудьте полученного ею предостережения, вспомните, что уроком ей могла служить каждая секунда недавно оборвавшейся жизни, на которой сосредоточены были

все ее воспоминания. Она упала к его ногам, так она мне сказала, там, у реки, при мягком звездном свете, чуть освещавшем массы молчаливых теней, пустые пространства и слабо трепетавшем на глади реки, которая казалась широкой, как море. Он ее поднял. Он ее поднял, и она перестала бороться. Конечно, перестала. Сильные руки, нежный голос, надежное плечо, на которое она могла опустить свою бедную головку. Все это так нужно было измученному сердцу, смятенному уму — порыв юности, требование минуты. Что вы хотите! Всякому это понятно — всякому, кто хоть что-нибудь может понять. Итак, она была довольна, что ее подняли и удержали.

— Вы знаете… это очень серьезно… совсем не забава… — как торопливо шепнул Джим с озабоченным видом на пороге своего дома.

Я не знаю, что сказать насчет забавы, но ничего легкомысленного в их романе не было; они сошлись под сенью катастрофы, как рыцарь и девушка, встретившиеся, чтобы обменяться обетами среди развалин, где бродят призраки… Звездный свет падал на них, свет такой слабый и далекий, что не мог претворить тени в образы и показать другой берег реки. В ту ночь я смотрел на реку с того самого места; она струилась, немая

и черная, как Стикс. На следующий день я уехал, но мне не забыть, от чего хотела она себя спасти, когда умоляла его оставить ее, пока не поздно. Она сама сказала мне об этом, спокойная, — она была слишком поглощена собственной страстью, чтобы волноваться, — и голос ее звучал бесстрастно, и неподвижна была ее белая фигура во мраке. Она сказала мне:

— Я не хотела умереть в слезах.

Я подумал, что ослышался.

— Вы не хотели умереть в слезах? — повторил я вслед за ней.

— Как моя мать, — с готовностью пояснила она.

Очертания ее белой фигуры не шелохнулись.

— Моя мать горько плакала перед смертью, — добавила она.

Непостижимая тишина, казалось, поднялась незаметно над землей, окутала нас, стирая знакомые вехи эмоций. Как будто потеряв опору среди разлившихся в ночи вод, я внезапно почувствовал ужас, — ужас перед неведомой глубиной. Она стала объяснять: в последние минуты, когда она была одна с матерью, ей пришлось отойти от ложа и прислониться спиной к двери, чтобы не вошел Корнелиус. Он хотел войти и обоими

кулаками барабанил в дверь, изредка хрипло выкрикивая:

— Впусти меня! Впусти меня! Впусти меня!

В дальнем углу, на циновках, умирающая женщина уже не в силах была говорить и не в силах поднять руку; запрокинув голову, она слабо шевельнула пальцами, словно приказывая: «Нет! Нет!» — а послушная дочь, с силой налегая плечом на дверь, смотрела на нее.

— Слезы текли из ее глаз, а потом она умерла, — невозмутимо, монотонно закончила девушка, и этот голос сильнее всяких слов, сильнее, чем ее неподвижная белая фигура, потряс меня ужасом непоправимого бедствия. Она отняла у меня мою концепцию жизни, изгнала из того убежища, какое каждый из нас создает себе, чтобы скрываться там в минуты опасности, как прячется черепаха под своим щитом. На секунду мир представился мне огромным и унылым хаосом, тогда как в действительности, благодаря нашим постоянным усилиям, мир — веселенькое местечко, полное маленьких удобств, какие только может придумать человек. Но все же — это продолжалось только один момент — я тотчас же вернулся в свою скорлупу. Приходится, знаете ли, это делать… Но все свои слова я словно растерял в том

хаосе темных мыслей, какой созерцал в продолжение одной-двух секунд. Однако и слова скоро вернулись, ибо они служат той же спасительной концепции порядка, который является нашим прибежищем. Слова уже были в моем распоряжении, когда она тихо прошептала:

— Он поклялся, что не покинет меня, когда мы стояли там одни! Он поклялся мне!..

— Может ли быть, что вы — вы! — не верите ему? — укоризненно спросил я, искренно возмущенный. Почему не могла она верить? Зачем цепляться за неуверенность и страх, словно они были стражами ее любви? Чудовищно! Ей бы следовало создать себе неприступное мирное убежище из этой честной привязанности. У нее не было знания, не было, быть может, умения. Быстро надвинулась ночь; там, где мы стояли, стало темно, и она, неподвижная, растаяла во мраке, словно неосязаемый призрак. И вдруг я снова услышал ее спокойный шепот:

— Другие тоже клялись.

Это прозвучало как задумчивый вывод из размышлений, исполненных грусти, ужаса. Она прибавила, пожалуй, еще тише:

— Мой отец клялся.

Она приостановилась, чтобы перевести ды-

хание.

— И ее отец…

Так вот что она знала! Я поспешил сказать:

— Да, но он не таков.

Это она, казалось, не намерена была оспаривать; но немного погодя странный спокойный шепот, мечтательно блуждая в воздухе, коснулся моего слуха.

— Почему он не такой? Лучше ли он?..

— Честное слово, — перебил я, — я думаю, что он лучше.

Мы оба таинственно понизили голос. У хижин, где жили рабочие Джима (то были по большей части освобожденные рабы из крепости шерифа), кто-то затянул пронзительную, протяжную песню. За рекой большой костер — вероятно, у Дорамина, — казался пылающим шаром, одиноким в ночи.

— Он честнее? — прошептала она.

— Да, — сказал я.

— Честнее всех других? — повторила она, растягивая слова.

— Здесь никто, — сказал я, — не подумал бы усомниться в его словах… Никто не осмелился бы, кроме вас.

Кажется, она пошевельнулась.

— Он храбрее, — продолжала она изменившимся голосом.

— Страх никогда не оторвет его от вас, — сказал я, начиная нервничать.

Песня оборвалась на высокой ноте; где-то вдали раздались голоса. И голос Джима. Меня поразило ее молчание.

— Что он вам сказал? Он вам что-то сказал? — спросил я.

Ответа не было.

— Что такое он вам сказал? — настаивал я.

— Вы думаете, я могу на это ответить? Откуда мне знать? Как мне понять? — воскликнула она наконец. Послышался шорох. Мне показалось, что она заломила руки. — Есть что-то, чего он не может забыть.

— Тем лучше для вас, — угрюмо сказал я.

— Что это такое? Что это такое? — с настойчивой мольбой спросила она. — Он говорит, что испугался. Как я могу этому поверить. Разве я сумасшедшая, чтобы этому верить? Вы все что-то вспоминаете. Все вы к этому возвращаетесь. Что это такое? Скажите мне! Что это? Живое оно? Мертвое? Я его ненавижу. Оно жестоко. Есть у него лицо и голос? Может он это увидеть… услышать? Хотя бы во сне, когда он не видит меня…

И тогда он встанет и уйдет… Ах, я никогда его не прощу. Моя мать простила, но я — никогда! Будет ли это знак… зов?

То было удивительное открытие. Она не доверяла даже его снам и, казалось, думала, что я могу объяснить ей причину! Так бедный смертный, соблазненный чарами призрака, пытается вырвать у другого привидения потрясающую тайну того призыва, который послан миром иным душе, лишенной телесной оболочки, заблудившейся среди страстей этой земли. Опора как будто уходила у меня из-под ног. И все это было так просто; но если духи, вызванные нашими страхами и нашим непокоем, когда-либо ручались за постоянство друг друга пред нами, растерявшимися кудесниками, то я — я, один из нас, живущих во плоти, — содрогнулся, охваченный безнадежным холодом перед такой задачей. Знак, зов! Как красноречиво было ее неведение. Всего несколько слов! Как она их познала, как сумела их выговорить — я не могу себе представить.

Женщины вдохновляются напряжением данной минуты, которое нам кажется ужасным, нелепым или бесполезным. Убедиться, что у нее есть голос, — этого одного достаточно было, чтобы прийти в ужас. Если бы упавший камень

возопил от боли, это чудо не могло бы показаться более значительным и трогательным. Эти звуки, блуждающие в ночи, вскрыли мне трагизм этих двух застигнутых мраком жизней. Невозможно было заставить ее понять. Я молча бесновался, чувствуя свое бессилие. А Джим… бедняга! Кому он мог быть нужен? Кто вспомнил бы его? Он добился того, чего хотел. К тому времени позабыли, должно быть, о том, что он существует. Они подчинили себе судьбу. И у обоих она была трагична.

Неподвижная, она явно ждала, а я должен был замолвить слово за брата своего из страны забывчивых теней. Меня глубоко взволновали моя ответственность и ее скорбь. Я готов был отдать все, чтобы успокоить ее хрупкую душу, терзавшуюся в своем безысходном неведении, как птица, бьющаяся о проволоку жестокой клетки. Нет ничего легче, чем сказать: «Не бойся!» И нет ничего труднее! Хотел бы я знать, как можно убить страх. Как прострелите вы сердце призрака, отрубите ему призрачную голову, схватите его за призрачное горло? На такой подвиг вы идете во сне и радуетесь своему спасению, когда просыпаетесь, обливаясь потом, дрожа всем телом. Такая пуля еще не отлита; клинок не выкован; человек не

рожден; даже крылатые слова истины падают к вашим ногам, как куски свинца. Для встречи с таким противником вам нужна зачарованная и отравленная стрела, пропитанная ложью столь тонкой, что не найти ее на земле. Подвиг для мира грез, друзья мои!

Я начал заклинания с сердцем тяжелым, исполненным гнева. Внезапно раздался суровый повышенный голос Джима: он распекал за нерадивость какого-то безмолвного грешника на берегу реки.

Нет никого, сказал я внятным шепотом, нет никого в том неведомом мире, который, по ее мнению, стремится отнять у нее счастье, нет никого — ни живого, ни мертвого, ни лица, ни голоса, ни власти — ничего, что могло бы вырвать у нее Джима. Я остановился и перевел дыхание, а она прошептала:

— Он мне это говорил.

— Он говорил вам правду, — сказал я.

— Ничего, — прошептала она и, неожиданно повернувшись ко мне, спросила еле слышным страстным шепотом:

— Зачем вы пришли к нам оттуда? Он говорит о вас слишком часто. Вы заставляете меня бояться. Вам… вам он нужен?

Какая-то скрытая жестокость проникла в наш торопливый шепот.

— Я никогда больше не приеду, — с горечью сказал я. — И он мне не нужен. Никому он не нужен.

— Никому, — повторила она недоверчивым тоном.

— Никому, — подтвердил я, отдаваясь какому-то странному возбуждению. — Вы считаете его сильным, мудрым, храбрым, великим… почему же не верить, что он честен? Завтра я уеду — и всему конец. Вас никогда не потревожит голос оттуда. Видите ли, этот мир слишком велик, чтобы почувствовать его отсутствие. Понимаете? Слишком велик! Вы держите его сердце в своих руках. Вы должны это чувствовать. Должны это знать.

— Да, это я знаю, — прошептала она спокойно и твердо, а я подумал, что так может шептать статуя.

Я почувствовал, что ничего не сделал. А что, собственно, хотел я сделать? Теперь я не уверен. В то время мною овладел необъяснимый пыл, словно мне предстояла великая и важная задача: влияние момента на умственное и душевное мое состояние. В жизни каждого из нас бывали такие моменты, такие влияния, приходящие извне,

непреодолимые, непонятные — словно вызванные таинственными столкновениями планет. Она владела, как я ей сказал, его сердцем. У нее было и сердце его, и он сам — если бы только она могла этому поверить. Мне следовало бы ей сказать, что в мире нет никого, кто бы нуждался в его сердце, в его душе, его руке. Это общая наша судьба, и, однако, ужасно говорить так о ком бы то ни было. Она слушала безмолвно, и в ее неподвижности был теперь протест, непобедимое недоверие.

Зачем ей беспокоиться о мире, лежащем за этими лесами? — спросил я. От этого множества людей, населяющих неведомые пространства, не придет — уверял я ее — до конца его жизни ни зова, ни знака. Никогда! Я увлекся. Никогда! Никогда! С удивлением вспоминаю, как настойчиво и страстно я говорил. У меня создалось впечатление, будто я схватил наконец призрак за горло. В самом деле, реальность казалась только сном, сном странным и со всеми подробностями. Зачем ей бояться? Она знала, что он сильный, честный, мудрый, храбрый. Все это так. Несомненно. И больше того. Он велик, непобедим… и мир в нем не нуждается, — мир забыл его, он даже никогда его не признает.

Я умолк; глубокое молчание нависло над Патюзаном, и слабый сухой звук весла, ударяющегося о борт каноэ где-то на середине реки, казалось, делал тишину безграничной.

— Почему? — прошептала она.

Мною овладело бешенство, какое испытываешь во время жестокой борьбы. Призрак пытался ускользнуть из моих рук.

— Почему? — повторила она громче. — Скажите мне!

Ошеломленный, я молчал, а она топнула ногой, как избалованный ребенок.

— Почему? Говорите!

— Вы хотите знать? — спросил я с яростью.

— Да! — крикнула она.

— Потому что он недостаточно хорош! — жестоко сказал я.

Последовала пауза; я заметил, как метнулось вверх пламя костра на другом берегу, увеличился круг света, словно удивленно расширенный глаз, а потом пламя внезапно съежилось в красную точку. Я понял, как близко она стояла, когда ее пальцы сжали мою руку. Не повышая голоса, с язвительным презрением, горечью, отчаянием она сказала:

— Он мне говорил то же самое… Вы лжете!

Эти последние два слова она выкрикнула на туземном наречии.

— Выслушайте меня! — взмолился я; она затаила дыхание, оттолкнула мою руку.

— Ни одного человека нельзя назвать достаточно хорошим, — начал я очень серьезно. С испугом я заметил, как трудно, захлебываясь, она дышала. Я понурил голову. Что толку? Шаги приближались; я ускользнул, не прибавив больше ни слова.

Глава XXXIV

Марлоу вытянул ноги, быстро встал и слегка пошатнулся, словно его опустили здесь после стремительного полета в пространстве. Он прислонился спиной к балюстраде и смотрел на расставленные в беспорядке плетеные шезлонги. Его движение как будто вывело из оцепенения распростертые на них тела. Один или двое выпрямились, словно встревоженные; кое-где еще тлели сигары; Марлоу смотрел на них глазами человека, вернувшегося из бесконечно далекой страны грез. Кто-то откашлялся; небрежный голос поощрительно бросил:

— Ну и что же?

— Ничего, — сказал Марлоу, слегка вздрогнув. — Он ей сказал — вот и все. Она ему не поверила — и только. Что же касается меня, то я не знаю — подобает ли, прилично ли мне радоваться или печалиться. Лично я не могу сказать, чему я верил… я не знаю и по сей день и, должно быть, никогда не буду знать. Но чему верил он сам, бедняга! Истина одержит верх… Знаете ли — Magna est veritas et… Да, когда ей представится благоприятный случай. Несомненно есть закон…

и какой-то закон регулирует ваше счастье, когда бросают кости. Это не справедливость, слуга людей, но случай, фортуна — союзница терпеливого времени, она держит верные и точные весы. Мы оба сказали одно и то же. Говорили ли мы оба правду… или один из нас сказал… или ни тот, ни другой?..

Марлоу приостановился, скрестил на груди руки и заговорил другим тоном…

— Она сказала, что мы лжем. Бедняжка! Ну что же, предоставим дело случаю: его союзник — время, которое нельзя торопить, а его враг — смерть, которая не станет ждать. Я отступил — признаюсь, малодушно. Я попытался низвергнуть страх — и, конечно, был сам повергнут. Мне удалось только усилить ее тоску намеком на какой-то таинственный заговор, необъяснимую и непонятную конспирацию, имеющую целью вечно держать ее в неведении. И это произошло легко, естественно, неизбежно. Словно мне показали деяние неумолимой судьбы, которой мы служим жертвами — и орудием. Страшно было думать, что девушка стоит там неподвижная; шаги Джима прозвучали грозно, когда он в своих тяжелых зашнурованных ботинках прошел мимо, не заметив меня.

— Как? Нет света? — с удивлением сказал он громким голосом. — Что вы тут делаете в темноте, вы двое?

Через секунду он, должно быть, заметил ее.

— Алло, девчурка! — весело крикнул он.

— Алло, мой мальчик! — тотчас же откликнулась она, удивительно владея собой.

Так они обычно здоровались друг с другом, и гордый вызов, звучавший в ее высоком, но приятном голосе, был очень забавен, мил и ребячлив. Джима это восхищало. В последний раз я слушал, как они обменивались этим знакомым приветствием, и сердце у меня похолодело. Высокий нежный голос, забавно вызывающий; но замер он, казалось, слишком быстро, и шутливое приветствие прозвучало как стон. Это было ужасно.

— Где же Марлоу? — спросил Джим, и, немного погодя, я услышал: — Спустился к реке, да? Странно, что я его не встретил… Вы тут, Марлоу?

Я не ответил. Я не хотел идти в дом… Не сейчас, во всяком случае. Попросту я не мог. Когда он звал меня, я пробирался к калитке, выходившей на недавно расчищенный участок. Нет, я еще не мог их видеть. Понурив голову, я быстро шел по протоптанной дорожке. Здесь был некрутой подъем; несколько больших деревьев были сруб-

лены, кустарник срезан, трава выжжена. Джим решил устроить тут кофейную плантацию. Высокий холм, вздымая свою двойную вершину — черную как уголь, в светло-желтом сиянии восходящей луны, — словно бросал свою тень на землю, приготовленную для этого эксперимента. Джим задумал столько экспериментов; я восхищался его энергией, его предприимчивостью и ловкостью. Но сейчас ничто не казалось мне менее реальным, чем его планы, его энергия и его энтузиазм.

Подняв глаза, я увидел, как луна блеснула сквозь кусты на дне ущелья. Словно гладкий диск, упав с неба на землю, скатился на дно этой пропасти и теперь отскакивал от земли, выпутываясь из переплетенных ветвей; голый искривленный сук какого-то дерева, растущего на склоне, черной трещиной прорезал лик луны. Луна как будто из глубин пещеры посылала вдаль свои лучи, и в этом печальном свете пни срубленных деревьев казались очень темными; тяжелые тени падали к моим ногам, моя собственная тень двигалась по тропе, перерезанной тенью одинокой могилы, вечно увитой гирляндами цветов. В затененном лунном свете цветы принимали формы, неведомые нашей памяти, и неопределенную окраску,

словно это были особенные цветы, сорванные не руками человека, и росли они не в этом мире и предназначены были только для мертвых. Их сильный аромат плавал в теплом воздухе, делая его густым и тяжелым, как дым фимиама. Куски белого коралла светились вокруг темного холмика, как четки из побелевших черепов, и было так тихо, что, когда я остановился, смолкли как будто все звуки и весь мир застыл.

Была великая тишина, словно вся земля стала могилой, и сначала я стоял неподвижно, размышляя главным образом о живых, которые погребены в заброшенных уголках, вдали от человечества, и все же обречены делить трагические или нелепые его несчастия. А может быть, и принимать участие в благородной его борьбе? Кто знает! Человеческое сердце может вместить весь мир. У него хватит храбрости нести ношу, — но где найти мужество сбросить ее?

Должно быть, я пришел в сентиментальное настроение; знаю одно: я стоял там так долго, что мною овладело чувство полного одиночества: все, что я недавно видел, слышал, — даже сама человеческая речь, — казалось, ушло из мира и продолжало жить только в моей памяти, словно я был последним человеком на земле.

Это была странная и меланхолическая иллюзия, возникшая полусознательно, как возникают все наши иллюзии, которые кажутся лишь видениями далекой, недостижимой истины, смутно различаемой. То был действительно один из заброшенных, забытых, неведомых уголков земли, и я заглянул в темную его глубину. Я чувствовал: завтра, когда я навсегда его покину, он перестанет существовать, чтобы жить только в моей памяти, пока я сам не уйду в страну забвения. Это чувство сохранилось у меня по сей день; быть может, оно-то и побудило меня рассказать вам эту историю, попытаться передать вам живую ее реальность, ее истину, на миг открывшуюся в иллюзии.

Корнелиус ворвался в ночь. Он вылез, словно червь, из высокой травы, разросшейся в низине. Думаю, его дом гнил где-то поблизости, хотя я никогда его не видел, так как не ходил в ту сторону. Корнелиус бежал мне навстречу по тропе; его ноги, обутые в грязные белые башмаки, мелькали по темной земле; он остановился и начал хныкать и извиваться; на нем был высокий цилиндр. Его маленькая высохшая фигурка была облечена в совершенно поглотивший его костюм из черного сукна. Этот костюм он надевал по праздникам и в дни церемоний, и я вспомнил, что то было

четвертое воскресенье, проведенное мной в Патюзане. Во время моего пребывания там я смутно подозревал, что он желает со мной побеседовать наедине — только бы удалось остаться нам с глазу на глаз. С выжидающим видом он бродил поблизости, но робость мешала ему подойти, а кроме того, я, естественно, не желал иметь дело с таким нечистоплотным созданием. И все-таки он добился бы своего, если бы не стремился улизнуть всякий раз, как на него посмотришь. Он бежал от сурового взгляда Джима, бежал от меня, хотя я и старался смотреть на него равнодушно; даже угрюмый, надменный взгляд Тамб Итама обращал его в бегство. Он всегда был готов улизнуть; всякий раз, как на него взглядывали, он уходил, склонив голову на плечо, или недоверчиво ворча, или безмолвно, с видом человека, удрученного горем; но никакая личина не могла скрыть природную его низость, — так же точно, как одежда не может скрыть чудовищное уродство тела.

Не знаю, объясняется ли это унынием, охватившим меня после поражения, какое я понес меньше часа тому назад в борьбе с призраком страха, но только, нимало не сопротивляясь, я дал Корнелиусу завладеть мной. Я был обречен выслушивать признания и решать вопросы, на

которые нет ответа.

Это было тягостно; но презрение, безрассудное презрение, какое вызвал во мне вид этого человека, облегчало это испытание. Корнелиус, конечно, в счет не шел. Да и все было не важно, раз я решил, что Джим — единственный, кто меня интересовал, — подчинил себе наконец свою судьбу. Он мне сказал, что удовлетворен… почти. Это больше, чем осмеливаются сказать многие из нас. Я, имеющий право считать себя достаточно хорошим, не смею. И никто из вас, я думаю, не смеет?..

Марлоу приостановился, словно ждал ответа. Все молчали.

— Ладно, — снова заговорил он. — Пусть никто не знает, раз истину может вырвать у нас только какая-нибудь жестокая, страшная катастрофа. Но он — один из нас, и он мог сказать, что удовлетворен… почти. Вы только подумайте! Почти удовлетворен! Можно чуть ли не позавидовать его катастрофе. Почти удовлетворен. После этого ничто не имело значения. Не важно было, кто его подозревал, кто ему доверял, кто любил, кто ненавидел… в особенности если его ненавидел Корнелиус.

Однако в конце концов и в этом было своего рода признание. Вы судите о человеке не только по его друзьям, но и по врагам, а этого врага Джима ни один порядочный человек не постыдился бы назвать своим врагом, не придавая ему, впрочем, особого значения. Так смотрел на него Джим, и эту точку зрения я разделял; но Джим пренебрегал им по другим, общим основаниям.

— Дорогой мой Марлоу, — сказал он, — я чувствую, что, если иду прямым путем, ничто не может меня коснуться. Да, я так думаю. Теперь, когда вы пробыли здесь достаточно долго, чтобы осмотреться, скажите откровенно — вы не думаете, что я нахожусь в полной безопасности? Все зависит от меня, и, честное слово, я здорово в себе уверен. Худшее, что Корнелиус мог бы сделать, это убить меня, я полагаю. Но я ни на секунду не допускаю этой мысли. Видите ли, он не в силах — разве что я сам вручу ему для этой цели заряженное ружье, а затем повернусь к нему спиной. Вот что он за человек. А допустим, он это сделает — сможет сделать. Ну так что ж! Я пришел сюда не для того, чтобы спасти свою жизнь, — не так ли? Я сюда пришел, чтобы отгородиться стеной, и здесь я намерен остаться…

— Пока не будете вполне удовлетворены, —

вставил я.

Мы сидели тогда под навесом на корме его лодки. Двадцать весел поднимались одновременно, по десять с каждой стороны, и дружно ударяли по воде, а за нами Тамб Итам наклонялся то направо, то налево и пристально глядел вперед, стараясь держать лодку посередине течения. Джим опустил голову, и последняя наша беседа, казалось, угасла. Он провожал меня до устья реки. Шхуна ушла накануне, спустившись по реке вместе с отливом, а я задержался еще на одну ночь. И теперь он меня провожал.

Джим чуточку на меня рассердился за то, что я вообще упомянул о Корнелиусе. Говоря по правде, я сказал немного. Парень был слишком ничтожен, чтобы стать опасным, хотя ненависти в нем было столько, сколько он мог вместить. Через каждые два слова он величал меня «уважаемый сэр» и хныкал у меня под ухом, когда шел за мной от могилы своей «покойной жены» до ворот резиденции Джима. Он называл себя самым несчастным человеком, жертвой, раздавленным червем; умолял, чтобы я на него посмотрел. Для этого я не желал поворачивать голову, но уголком глаза мог видеть его раболепную тень, скользившую позади моей тени, а луна, справа от нас,

казалось, невозмутимо созерцала это зрелище. Он пытался объяснить, как я вам уже говорил, свое участие в событиях памятной ночи. Перед ним стоял вопрос — что выгоднее? Как он мог знать, кто одержит верх?

— Я бы его спас, уважаемый сэр, я бы его спас за восемьдесят долларов, — уверял он притворным голосом, держась на шаг позади меня.

— Он сам себя спас, — сказал я, — и вас он простил.

Мне послышалось какое-то хихиканье, и я повернулся к нему; тотчас же он как будто приготовился пуститься наутек.

— Над чем вы смеетесь? — спросил я, останавливаясь.

— Не заблуждайтесь, уважаемый сэр! — взвизгнул он, видимо теряя всякий контроль над своими чувствами. — Он себя спас! Он ничего не знает, уважаемый сэр, — решительно ничего! Кто он такой? Что ему здесь нужно, этому вору? Что ему нужно? Он пускает всем пыль в глаза. И вам, уважаемый сэр! Но мне он не может пустить пыль в глаза. Он — большой дурак, уважаемый сэр!

Я презрительно засмеялся, повернулся на каблуках и пошел дальше. Он подбежал ко мне и настойчиво зашептал:

— Он здесь все равно что малое дитя… все равно что малое дитя… малое дитя.

Конечно, я не обратил на него внимания, и, видя, что мешкать нельзя, — мы уже приближались к бамбуковой изгороди, блестевшей над черной землей расчищенного участка, — он приступил к делу. Начал он с гнусного хныканья. Великие его несчастья повлияли на его рассудок. Он надеялся, что по доброте своей я забуду все, сказанное им, так как это вызвано было исключительно его волнением. Он никакого значения этому не придавал; но уважаемый сэр не знает, каково быть разоренным, разбитым, растоптанным. После этого вступления он приступил к вопросу, близко его касающемуся, но лепетал так бессвязно и трусливо, что я долго не мог понять, куда он гнет. Он хотел, чтобы я замолвил за него словечко Джиму. Как будто речь шла о каких-то деньгах. Я разобрал слова, повторявшиеся несколько раз: «Скромное обеспечение… приличный подарок». Казалось, он требовал уплаты за что-то и даже с жаром прибавил, что жизнь немного стоит, если у человека отнимают последнее. Конечно, я не проронил ни слова, однако уши затыкать не стал. Суть дела — постепенно оно выяснялось — заключалась в том, что он, по его мнению, имел право

на известную сумму в обмен за девушку. Он ее воспитал. Чужой ребенок. Много трудов и хлопот… Теперь он старик… приличный подарок… Если бы уважаемый сэр замолвил словечко…

Я остановился и с любопытством посмотрел на него, а он, опасаясь, должно быть, как бы я не счел его вымогателем, поспешил пойти на уступки. Он заявил, что, получив «подобающую сумму» немедленно, он берет на себя заботу о девушке «безвозмездно, когда джентльмену вздумается вернуться на родину». Его маленькое желтое лицо, все сморщенное, словно его измяли, выражало беспокойную алчность. Голос звучал вкрадчиво:

— Больше никаких затруднений… Опекун… сумма денег…

Я стоял и дивился. Такого рода занятие было, видимо, его призванием. Я обнаружил вдруг, что в его приниженной позе была своего рода уверенность, словно он всегда действовал наверняка. Должно быть, он решил, что я бесстрастно обдумываю его предложение, и сладеньким голоском вкрадчиво заговорил:

— Всякий джентльмен вносит маленькое обеспечение, когда приходит время вернуться на родину.

Я захлопнул калитку.

— В данном случае, мистер Корнелиус, — сказал я, — это время никогда не придет.

Ему понадобилось несколько секунд, чтобы это переварить.

— Как! — чуть не взвизгнул он.

— Да, — продолжал я, стоя по другую сторону калитки, — разве он вам этого не говорил? Он никогда не вернется на родину.

— Ох, это уже слишком! — вскричал он.

Больше он меня не называл «уважаемым сэром». С минуту он стоял неподвижно, а потом заговорил очень тихо и без малейшего смирения:

— Никогда не уедет… а! Он… он пришел сюда черт знает откуда… пришел черт знает зачем… чтобы топтать меня, пока я не умру… топтать… — Он тихонько топнул обеими ногами. — Вот так… и никто не знает зачем… пока я не умру…

Голос его совсем угас; он закашлялся, близко подошел к изгороди, сказал конфиденциально, жалобным тоном, что не позволит себя топтать.

— Терпение… терпение! — пробормотал он, ударяя себя в грудь.

Я уже перестал над ним смеяться, но неожиданно он сам разразился диким, надтреснутым смехом.

— Ха-ха-ха! Мы увидим! Увидим! Что? Украсть у меня? Все украсть! Все! Все!

Голова его опустилась на плечо, руки повисли. Можно было подумать, что он страстно любил девушку и жестокое похищение сломило его, разбило ему сердце. Вдруг он поднял голову и выкрикнул грязное слово:

— Похожа на свою мать… похожа на свою лживую мать! Точь-в-точь. И лицом на нее похожа. И лицом. Чертовка!

Он прижал лоб к изгороди и в такой позе выкрикивал слабым голосом угрозы и гнусные ругательства на португальском языке, переходившие в жалобы и стоны; плечи его поднимались и опускались, словно у него началась рвота. Зрелище было уродливое и отвратительное, и я поспешил отойти. Он что-то крикнул мне вслед — думаю, какое-нибудь ругательство по адресу Джима, — но не очень громко, так как мы находились слишком близко от дома. Я отчетливо расслышал только слова:

— Все равно что малое дитя… малое дитя…

Глава XXXV

Но на следующее утро за первым поворотом реки, заслонившим дома Патюзана, все это исчезло с поля моего зрения, исчезло со всеми своими красками, очертаниями и смыслом — как картина, созданная художником на холсте, к которой вы после долгого созерцания поворачиваетесь наконец спиной. Но впечатление остается в памяти, недвижное, неувядающее, застывшее в оцепеневшем свете. Тщеславие, страхи, ненависть, надежды — они хранятся в моей памяти такими, как я их видел, — напряженные и словно навеки оцепеневшие. Я повернулся спиной к картине и возвращался в мир, где развертываются события, меняются люди, мерцает свет, жизнь течет светлым потоком, по грязи или по камням — не важно. Я не собирался нырять туда; мне предстояло достаточно хлопот, чтобы удержать голову на поверхности. Что же касается того, что я оставил позади, я не мог себе представить никаких перемен. Огромный и величественный Дорамин и маленькая добродушная его жена, взирающие на раскинувшуюся перед ними страну и втайне лелеющие свои честолюбивые родительские

мечты; Тунку Алланг, сморщенный и недоумевающий; Даин Уорис, умный и храбрый, с его твердым взглядом, иронической любезностью и верой в Джима; девушка, поглощенная своей пугливой, подозрительной любовью; Тамб Итам, угрюмый и преданный; Корнелиус, при лунном свете прижимающийся лбом к изгороди, — в них я уверен. Они существуют как бы по мановению волшебного жезла. Но тот, вокруг которого все они группируются, — он один поистине живет, и в нем я не уверен. Никакой жезл волшебника не может сделать его неподвижным. Он — один из нас.

Джим, как я вам говорил, сопровождал меня в начале моего путешествия обратно в мир, от которого он отрекся. Иногда казалось, что наш путь врезается в самое сердце нетронутой глуши. Пустынные пространства сверкали под высоко стоящим солнцем; между высокими стенами леса жара дремала на лоне вод, и лодка, быстро увлекаемая течением, разбивала воздух, который опускался, густой и теплый, под сень листвы.

Тень близкой разлуки уже разделила нас, и мы говорили с усилием, словно посылая тихие слова через широкую и все увеличивающуюся пропасть. Лодка летела вперед; сидя бок о бок,

мы изнемогали от перегретого стоячего воздуха; запах грязи, болота, первобытный запах плодородной земли как будто колол наши лица; и вдруг, за поворотом, точно чья-то могучая рука подняла тяжелый занавес, распахнула великие врата. Даже свет, казалось, затрепетал, небо над нашими головами расширилось, далекий шепот коснулся нашего слуха; свежесть окутала нас, свежий воздух наполнил наши легкие, ускорил бег нашей крови, наших мыслей, наших сожалений. Далеко впереди леса растаяли у синего края моря.

Я глубоко дышал, я упивался простором открытого горизонта, воздухом, в котором дрожали отголоски жизни, энергии неумолимого моря. Это небо и это море были для меня открыты. Девушка была права — то был знак, зов, на который я отзывался всеми фибрами своего существа. Я позволил своим глазам блуждать в пространстве, как человек, освобожденный от уз, который распрямляет сведенные члены, бегает, скачет, отвечая на вдохновляющий зов свободы.

— Какая красота! — воскликнул я и тогда только посмотрел на грешника, сидевшего подле меня.

Голова его была опущена на грудь. Он сказал:

«Да», — не поднимая глаз, словно боялся, что на чистом небе начертан упрек его романтической совести.

Помню мельчайшие детали этого дня. Мы причалили к белому берегу. Позади поднимался низкий утес, поросший на вершине лесом, задрапированный до самого подножия ползучими растениями. Перед нами морская гладь — тихая и напряженно-синяя — тянулась, слегка поднимаясь, до самого горизонта, словно очерченного линией на уровне наших глаз. Сверкающая рябь легко неслась по темной поверхности, быстрая, как перья, гонимые ветерком. Цепь островов, массивных, бугристых, лежала перед широким устьем на полосе бледной, зеркальной воды, в точности отражающей контуры берега. Высоко в бесцветном солнечном сиянии одинокая птица, вся черная, парила, поднимаясь и опускаясь, все над одним и тем же местом и слабо взмахивала крыльями. Ветхие, закопченные, легкие шалаши из циновок возвышались на погнувшихся высоких черных сваях над собственным своим перевернутым отражением. Крохотное черное каноэ отчалило от них; в нем сидели два крохотных черных человечка, изо всех сил ударявших веслами по бледной воде; и каноэ как будто

скользило с трудом по поверхности зеркала.

Эта кучка жалких шалашей была рыбачьей деревушкой, находившейся под особым покровительством белого Лорда, а в каноэ сидели старшина и его зять. Они высадились и зашагали навстречу нам по белому песку, худые, темно-коричневые, словно прокопченные в дыму, с серыми пятнами на обнаженных плечах и груди. Головы их были обернуты в грязные, но старательно сложенные платки.

Старик тотчас же стал многословно излагать жалобу, размахивая тощей рукой и доверчиво поднимая на Джима свои старые подслеповатые глаза. Народ раджи не оставляет их в покое; вышли недоразумения из-за черепашьих яиц, которые жители здешней деревушки собирали на островках, — и, опираясь на весло, он указал коричневой костлявой рукой на море. Джим слушал, не поднимая глаз, и наконец мягко приказал ему подождать. Он выслушает его немного позже. Они послушно отошли в сторону и присели на корточки, положив перед собой на песок весла; терпеливо следили они за нашими движениями. Широко раскинулось необъятное море; тихий берег тянулся на север и на юг, за пределы моего кругозора, и мы четверо казались карликами на

полоске блестящего песка.

— Беда в том, — угрюмо заметил Джим, — что в течение многих поколений рыбаки этой деревушки считались как бы рабами раджи… Старый плут никак не может понять, что…

Он приостановился.

— Что вы все это изменили, — подсказал я.

— Да. Я все это изменил, — пробормотал он мрачно.

— Вы использовали представившийся вам благоприятный случай, — продолжал я.

— Использовал? — отозвался он. — Пожалуй. Думаю, что так. Да. Я снова обрел уверенность в себе… доброе имя… и все же иногда мне хочется… Нет! Я буду держаться за то, что у меня есть. На большее надеяться нечего.

Он махнул рукой в сторону моря.

— Не там, во всяком случае.

Он топнул ногой по песку.

— Вот моя граница, ибо на меньшее я не согласен.

Мы продолжали шагать по берегу.

— Да, я все это изменил, — сказал он, искоса взглянув на двух терпеливых рыбаков. — Но вы только попробуйте себе представить, что бы случилось, если бы я ушел. Можете вы понять!

Сущий ад! Нет! Завтра я пойду к этому старому дураку Тунку Аллангу и рискну отведать его кофе. Подниму шум из-за этих проклятых черепашьих яиц. Нет, я не могу сказать — довольно. Я должен идти — идти, преследуя свою цель, чувствуя, что ничто не может меня коснуться. Я должен цепляться за их веру в меня, чтобы чувствовать себя в безопасности и… и…

Он нащупывал нужное слово — казалось, искал его на глади моря.

— …и сохранить связь с теми…

Он вдруг понизил голос до шепота.

— …с теми, кого я, быть может, никогда больше не увижу. С вами, например.

Я был глубоко пристыжен его словами.

— Умоляю вас, — сказал я, — не возводите меня на пьедестал, дорогой мой; подумайте-ка о себе.

Я чувствовал благодарность, любовь к этому изгнаннику, который выделил меня, сохранил мне место в рядах толпы. В конце концов, мало чем я мог похвалиться. Я отвернул от него разгоревшееся лицо; под низким солнцем, потемневшим и малиновым, пылающим, как уголь, выхваченный из костра, раскинулось необъятное море, замершее в ожидании, когда его коснется огненный шар. Дважды он пытался заговорить,

но умолкал; наконец, словно найдя формулу, спокойно сказал:

— Я останусь верным. Останусь верным, — повторил он, не глядя на меня. Глаза его блуждали по глади моря, которое из синего стало мрачно пурпурным в огнях заката. Да, он был романтик, романтик… Я вспомнил слова Штейна: «…погрузиться в разрушительную стихию… Следовать за своей мечтой, идти за ней… и так всегда — usque ad finem…»

Он был романтик, и он заслуживал доверия. Кто знает, какие образы, видения, лица, какое прощение мерещилось ему в зареве заката!.. Маленькая шлюпка, отчалив от шхуны, медленно приближалась к песчаному берегу, чтобы забрать меня; мерно опускались и поднимались весла.

— А потом есть Джюэл, — сказал он, нарушая великое молчание земли, неба и моря, которое так глубоко завладело даже мыслями моими, что его голос заставил меня вздрогнуть. — Есть Джюэл.

— Да, — прошептал я.

— Мне не нужно вам говорить, что она для меня, — продолжал он. — Вы видели. Со временем она поймет…

— Надеюсь, — перебил я.

— Она тоже мне доверяет, — проговорил он, а затем уже другим тоном сказал: — Интересно, когда мы теперь увидимся.

— Никогда, если вы отсюда не уедете, — ответил я, избегая его взгляда. Он как будто не удивился; секунду он стоял неподвижно.

— Значит, прощайте, — сказал он, помолчав. — Быть может, так лучше.

Мы пожали друг другу руки, и я направился к шлюпке, которая ждала, уткнувшись носом в берег. Шхуна, с гротом и кливером, поставленными по ветру, подпрыгивала на пурпурном море; в розовый цвет окрасились ее паруса.

— Вы скоро поедете опять на родину? — спросил Джим, когда я перешагнул через планшир.

— Через год, если буду жив, — сказал я.

Нижняя часть форштевня заскрипела по песку, шлюпка скользнула вперед, сверкнули и погрузились в воду мокрые весла. Джим у края воды повысил голос.

— Скажите им… — начал он.

Я зна́ком приказал гребцам остановиться и ждал, недоумевая: кому сказать? Солнце наполовину погрузилось в воду; я видел красные отблески в его глазах, когда он молча смотрел на меня.

— Нет… ничего, — сказал он и слегка махнул рукой, отсылая шлюпку. Я больше не смотрел на берег, пока не поднялся на борт шхуны.

К тому времени солнце зашло. Сумерки сгустились на востоке, и берег, почерневший, протянулся темной стеной, казавшейся твердыней ночи. Западный горизонт горел золотыми и малиновыми огнями, и в этом зареве большое облако застыло, темное и неподвижное, отбрасывая аспидно-черную тень на воду. Я увидел Джима, который с берега следил, как отходит шхуна.

Два полуобнаженных рыбака приблизились, как только я уехал. Несомненно, они жаловались на свою маленькую жалкую жизнь белому Лорду, и, несомненно, он слушал, принимая эту жалобу близко к сердцу, ибо разве не была она частицей его удачи — полной удачи, которой он, по его уверению, достоин и которую мог принять? Тем тоже, я думаю, повезло, и я уверен, что у них хватило настойчивости использовать свою удачу. Их темные тела слились с черным фоном и исчезли гораздо раньше, чем я потерял из виду их защитника. Он был белый с головы до ног и упорно не скрывался из виду; твердыня ночи вздымалась за его спиной, море раскинулось у его ног, счастье его стояло подле — все еще под покрывалом. Что

вы скажете? Было ли оно все еще под покрывалом? Я не знаю. Для меня эта белая фигура на тихом берегу казалась стоящей в сердце великой тайны. Сумерки быстро спускались на него с неба, полоска песка уже исчезла у его ног, он сам выглядел не больше ребенка, потом стал только пятнышком, — крохотным белым пятнышком, словно притягивающим весь свет, какой остался в потемневшем небе… И внезапно я потерял его из виду.



Глава XXXVI

Этими словами Марлоу закончил свой рассказ, и слушатели тотчас же начали расходиться, провожаемые его рассеянным, задумчивым взглядом. Люди спускались с веранды парами или поодиночке, не теряя времени, не высказывая никаких замечаний, словно последний образ в этой незаконченной повести, самая незаконченность ее и тон рассказчика сделали обсуждение излишними и комментарии невозможными. Каждый как бы уносил с собой свое впечатление, уносил, как тайну; но только одному человеку из всех слушавших суждено было узнать последнее слово этой истории. Оно пришло к нему на родину больше двух лет спустя, пришло в толстом пакете, адресованном прямым и острым почерком Марлоу.

Тот, кому посчастливилось, вскрыл пакет, заглянул в него; затем, положив на стол, подошел к окну. Комната его находилась в верхнем этаже высокого здания, и он мог глядеть вдаль сквозь светлые стекла, словно из фонаря маяка. Скаты крыш блестели; темные зазубренные гребни сменялись один другим без конца, как мрачные

невспененные волны, а из глубин города доносился смутный и несмолкающий рокот. Шпили церквей, многочисленных, беспорядочно разбросанных, вздымались, как маяки в лабиринте отмелей, не разделенных каналами; шел дождь; спускались сумерки зимнего вечера; бой больших башенных часов прокатился мощно и сурово и оборвался резким вибрирующим звуком. Человек опустил тяжелые занавеси.

Свет лампы под абажуром спал, как стоячий пруд; ковер заглушал шаги; дни его скитаний миновали. Нет больше беспредельных, как надежда, горизонтов, нет больше сумеречного света в торжественных, как храм, лесах, нет горячих поисков вечно неоткрытой страны за холмом, по ту сторону потока, за волнами… Час пробил! Кончено! Кончено!.. Но вскрытый пакет на столе под лампой вернул звуки, видения, аромат прошлого — калейдоскоп блекнущих лиц, гул тихих голосов, замирающих на берегах дальних морей в страстном и неумолимом сиянии солнца. Он вздохнул и сел к столу.

Сначала он увидел три отдельные рукописи: толстую пачку листов, мелко исписанных и сколотых вместе; квадратный сероватый лист бумаги, на котором было написано несколько слов

незнакомым ему почерком, и пояснительное письмо от Марлоу. Из этого последнего письма выпало другое, пожелтевшее от времени и потертое на сгибах. Он поднял его и, отложив в сторону, обратился к посланию Марлоу. Быстро пробежал первые строчки, потом, сделав над собой усилие, стал читать спокойно — как человек, медленными шагами настороженно приближающийся к мелькнувшей вдали неоткрытой стране.

«…Не думаю, чтобы вы забыли, — читал он. — Вы один проявили интерес к нему — интерес, переживший мой рассказ, хотя я помню хорошо, вы не хотели согласиться с тем, что он подчинил себе судьбу. Вы предсказывали катастрофу: скуку и отвращение к обретенной славе, к возложенным на себя обязанностям, к любви, вызванной жалостью и молодостью. Вы сказали, что хорошо знаете „такого рода вещи“ — призрачное удовлетворение, какое они дают, неизбежное разочарование. Вы сказали также — напоминаю вам, — что „отдать свою жизнь им (под «ими» подразумевалось все человечество с кожей коричневой, желтой или черной) — все равно что продать душу зверю“. Вы допускали, что „такого рода вещи“ выносимы и длятся лишь в том случае, если основаны на твердой вере в истину

наших расовых идей, во имя которых установлены порядок и мораль этического прогресса. „Нам нужна эта опора, — сказали вы. — Нам нужна вера в необходимость и справедливость этих идей, чтобы с достоинством и сознательно принести в жертву свою жизнь. Без этого жертва является лишь забвением, а путь к жертве не легче, чем путь к гибели“. Иными словами, вы утверждали, что мы должны сражаться в рядах, иначе жизнь наша в счет не идет. Возможно! Кому и знать, как не вам, — говорю это без всякого лукавства, — вам, который заглянул один в заброшенные уголки и сумел выбраться оттуда, не опалив своих крыльев. Но суть та, что Джиму не было дела до всего человечества, он имел дело лишь с самим собой, и вопрос заключается в том, что не пришел ли он наконец к вере более могущественной, чем законы порядка и прогресса.

Я ничего не утверждаю. Быть может, свое мнение выскажете вы — после того, как прочтете. В конце концов есть много правды в простом выражении „в тени облака“. Невозможно разглядеть Джима отчетливо — в особенности потому, что глазами других приходится нам смотреть на него в последний раз. Я, нимало не колеблясь, сообщаю вам все, что мне известно о том послед-

нем эпизоде, который, как он обычно говорил, „приключился с ним“. Недоумеваешь, был ли это благоприятный случай, то последнее испытание, какого он, казалось, всегда ждал, чтобы затем послать весть о себе непогрешимому миру. Вы помните, когда я расставался с ним в последний раз, он спросил, скоро ли я поеду на родину, и вдруг крикнул мне вслед:

— Скажите им…

Я ждал — признаюсь, заинтересованный и обнадеженный — и услышал только:

— Нет. Ничего!

Итак, это было все — и больше ничего не будет, — не будет вести, кроме той, какую каждый из нас может перевести с языка фактов, часто гораздо более загадочных, чем самая сложная расстановка слов. Правда, он сделал еще одну попытку высказаться, но и она была обречена на неудачу, как вы сами убедитесь, если взглянете на сероватый листок, вложенный в этот пакет. Он попытался писать — видите этот банальный почерк? И заголовок: „Форт Патюзан“? Полагаю, он выполнил свое намерение превратить дом в защищенное убежище. Это был великолепный план: глубокая канава, земляной вал, обнесенный частоколом, а по углам пушки на

платформах, защищающие каждую из сторон четырехугольника. Дорамин согласился дать ему пушки; итак, все сторонники его партии знали, что есть надежное место, на которое может рассчитывать верный партизан в случае внезапной опасности. Все это говорит о разумной предусмотрительности, о его вере в будущее. Те, кого он называл „мой народ“, — освобожденные пленники шерифа, — должны были поселиться в Патюзане, образовав отдельный округ; предполагалось, что хижины их и участки раскинутся у стен крепости. А в крепости он будет полным хозяином. „Форт Патюзан“. Нет числа, как видите. Какое значение имеют число и день? И невозможно угадать, к кому он обращался, когда взялся за перо, — к Штейну… ко мне… ко всему миру… или то был лишь бесцельный испуганный крик одинокого человека, столкнувшегося со своей судьбой. „Случилась ужасная вещь“, — написал он перед тем, как в первый раз бросить перо; посмотрите на чернильное пятно, напоминающее наконечник стрелы, под этими словами. Немного погодя он снова попытался писать и нацарапал тяжелой, словно свинцом налитой рукой следующую фразу: „Я должен теперь немедленно…“ Тут снова брызнули чернила, и он отказался от даль-

нейших попыток. Больше нет ничего. Он увидел широкую пропасть, которую нельзя покрыть ни взглядом, ни голосом. Я могу это понять. Он был ошеломлен необъяснимым, ошеломлен своей собственной личностью — даром той судьбы, которую он всеми силами пытался себе подчинить.

Я посылаю вам еще одно старое письмо — очень старое письмо. Оно заботливо хранилось в его шкатулке. Письмо от его отца; по дате можно судить о том, что оно было получено за несколько дней до того, как он поступил на „Патну“. Должно быть, это было последнее письмо с родины. Он хранил его все эти годы. Славный старик любил своего сына-моряка. Я мельком просмотрел письмо. Оно дышит любовью. Он говорит своему „дорогому Джеймсу“, что последнее длинное письмо от него было очень „честное и занимательное“. Он не хотел бы, чтобы Джим „судил людей сурово и необдуманно“. Четыре страницы письма заполнены мягкими нравоучениями и семейными новостями. Том „получил назначение“. У мужа Кэрри были „денежные затруднения“. Старик писал все в том же духе, доверяя провидению и установленному порядку вселенной, но живо реагируя на маленькие опасности и маленькие милости. Едва ли не видишь его, седо-

власого и невозмутимого, в его мирном убежище, в старом и уютном кабинете, украшенном книгами, где он в течение сорока лет, снова и снова, добросовестно возвращался к своим меленьким мыслям о вере и добродетели, о линии поведения благопристойной смерти, где он написал столько проповедей и где сейчас беседует со своим мальчиком, странствующим в другом конце света. Но какое значение имеет расстояние? Добродетель — одна во всем мире, и есть только одна вера и одна благопристойная смерть.

Его дорогой Джеймс, выражает он надежду, „никогда не забудет, что тот, кто однажды поддастся искушению, рискует развратиться и навеки погибнуть. Поэтому, каковы бы ни были твои мотивы, никогда не следует делать того, что считаешь нечестным“. Далее он сообщает о любимой собаке; а пони, „на котором вы, мальчики, катались“, ослеп от старости, и пришлось его пристрелить. Старик призывает благословение Божие; мать и сестры шлют свою любовь…

Да, в самом деле, немного сказано в этом пожелтевшем, затрепанном письме, спустя столько лет выпавшем из его рук. Это письмо осталось без ответа, — но кто знает, о чем он говорил с мирными бесцветными образами мужчин и жен-

щин, населяющими спокойный уголок земли, где, как в могиле, нет ни опасности, ни распрей, а воздух пропитан высокой нравственностью. Удивительно, что он пришел оттуда, — он, с которым „столько приключалось вещей“. С ними никогда ничего не приключалось; их никогда не застигнут врасплох, и не придется им померяться с судьбой. Все они здесь — встают передо мной, вызванные кроткой болтовней отца, — все эти братья и сестры — *его* по плоти и крови — смотрят на меня ясными наивными глазами, и я словно вижу Джима: он вернулся наконец — не крохотное белое пятнышко в самом сердце великой тайны, но стоя во весь рост среди безмятежных образов, с видом суровым и романтическим, всегда безмолвный, мрачный — в тени облака.

Рассказ о последних событиях вы найдете на этих нескольких страницах, вложенных в пакет. Вы должны согласиться, что их романтичность превосходит самые безумные мечты его отрочества, и, однако, на мой взгляд, есть в них какая-то глубокая и устрашающая логика, словно одно лишь наше воображение может раскрыть перед нами власть ошеломляющей судьбы. Неосторожные наши мысли падают на наши головы; кто играет с мечом — от меча погибнет. Это изуми-

тельное приключение, — а изумительнее всего то, что оно правдиво, — является как бы неизбежным следствием. Нечто в таком роде должно было произойти. Вы повторяете это себе, не переставая удивляться, каким образом такое приключение в наш век могло случиться. Но оно случилось, и логичность его оспаривать не приходится.

Я излагаю здесь события так, словно был сам свидетелем. Сведения мои были отрывочны, но я склеил отдельные куски — а их было достаточно, чтобы получилась ясная картина. Интересно, как бы он сам это рассказал! Он столько поведал мне, что иной раз кажется, будто он вот-вот войдет и по-своему расскажет эту историю своим беззаботным, но выразительным голосом, по обыкновению быстро и недоуменно, чуточку досадливо, чуточку обиженно, изредка вставляя слово или фразу, которые дают возможность заглянуть в самое его сердце, нимало, однако, не помогая ориентироваться. Трудно поверить, что он никогда больше не придет. Я никогда больше не услышу его голоса, не увижу его молодого, розового с загаром лица, с белой полоской на лбу, и юных глаз, которые темнели от возбуждения и казались глубокими, бездонно-синими».

Глава XXXVII

«Все это начинается с замечательного подвига человека по фамилии Браун, который ловко украл испанскую шхуну в маленьком заливе близ Замбоанга. Пока я не наткнулся на этого парня, сведения мои были неполны, но самым неожиданным образом я нашел его за несколько часов до того, как он испустил свой высокомерный дух. К счастью, он хотел и в силах был говорить между приступами астмы, и его исхудавшее тело корчилось от злобной радости при одном воспоминании о Джиме. Его приводила в восторг мысль, что он „расплатился в конце концов с этим гордецом“. Он упивался своим поступком. Я должен был, если хотел узнать подробности, выносить блеск его ввалившихся жестоких глаз, окруженных морщинками. Итак, я это выносил, размышляя о том, сколь родственны некоторые виды зла безумию, рожденному великим эгоизмом, подстрекаемому сопротивлением, раздирающему душу и дающему телу обманчивую силу. Здесь раскрывается также и удивительная хитрость Корнелиуса, который, руководствуясь своей низкой и напряженной ненавистью, сыг-

рал роль искусного вдохновителя, направившего мщение по верному пути.

— Я сразу мог сказать, как только на него посмотрел, что это за болван, — задыхаясь, говорил умирающий Браун. — И это мужчина! Жалкий обманщик! Словно он не мог прямо сказать: „Руки прочь от моей добычи!“ Вот как поступил бы мужчина! Черт бы побрал его душу! Я был в его руках, но у него не хватило перцу меня прикончить. Даже не подумал. Он отпустил меня, словно я не достоин пинка.

Браун отчаянно ловил ртом воздух.

— …Плут. Отпустил меня… Вот я и покончил с ним…

Он снова задохнулся.

— …Кажется, эта штука меня убьет, но теперь я умру спокойно. Вы… вы слышите… не знаю вашего имени… Я бы дал вам пять фунтов, если б они у меня были, за такие новости, — или мое имя не Браун… — Он отвратительно усмехнулся. — Джентльмен Браун.

Все это он говорил, задыхаясь, тараща на меня свои желтые глаза; лицо у него было длинное, изможденное, коричневое; он размахивал левой рукой, спутанная борода с проседью спускалась чуть ли не до колен; ноги были закрыты грязным

рваным одеялом. Я разыскал его в Бангкоке благодаря этому хлопотуну Шомбергу, содержателю отеля, который конфиденциально указал мне, где его искать. Видно, какой-то бродяга-пропойца, — белый человек, живший с сиамской женщиной среди туземцев, — счел великой честью дать приют умирающему знаменитому джентльмену Брауну. Пока он со мной разговаривал в жалкой лачуге, сражаясь за каждую минуту жизни, сиамская женщина с большими голыми ногами и грубоватым лицом сидела в темном углу и тупо жевала бетель. Изредка она вставала, чтобы прогнать от двери кур. Вся хижина сотрясалась, когда она двигалась. Некрасивый желтый ребенок, голый, с большим животом, похожий на маленького языческого божка, стоял в ногах кровати и, засунув палец в рот, спокойно созерцал умирающего.

Он говорил лихорадочно; но иногда невидимая рука словно схватывала его за горло, и он смотрел на меня безмолвно, с тревогой и недоверием. Казалось, он боялся, что мне надоест ждать и я уйду, а его рассказ останется незаконченным и восторга своего он так и не выразит. Он умер, кажется, в ту же ночь, но я узнал от него все, что нужно.

Но пока хватит о Брауне.

За восемь месяцев до этого, приехав в Самаранг, я, по обыкновению, пошел навестить Штейна. На веранде, выходящей в сад, меня робко приветствовал малаец, и я вспомнил, что видел его в Патюзане, в доме Джима, среди прочих буги, которые обычно приходили по вечерам, без конца вспоминали свои ночные подвиги и обсуждали государственные дела. Джим однажды указал мне на него как на пользующегося уважением торговца, владеющего маленьким мореходным туземным судном, который „отличился при взятии крепости“. Увидав его, я не особенно удивился, так как всякий торговец Патюзана, добирающийся до Самаранга, естественно, находил дорогу к дому Штейна. Я ответил на его приветствие и вошел в дом. У двери в кабинет Штейна я наткнулся на другого малайца и узнал в нем Тамб Итама.

Я тотчас же спросил его, что он здесь делает. Мне пришло в голову, не приехал ли Джим в гости, и, признаюсь, эта мысль очень меня обрадовала и взволновала. Тамб Итам посмотрел на меня так, будто не знал, что сказать.

— Тюан Джим в кабинете? — нетерпеливо спросил я.

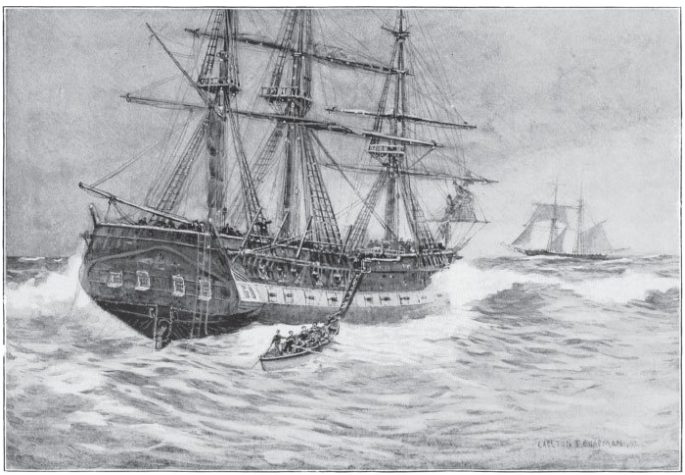
— Нет, — пробормотал он, понурив голову, и

вдруг два раза очень серьезно проговорил: — Он не хотел сражаться. Он не хотел сражаться.

Так как он, казалось, не в силах был сказать еще что-нибудь, я отстранил его и вошел.

Штейн, высокий и сутулый, стоял один посреди комнаты, между рядами ящиков с бабочками.

— Ах, это вы, мой друг! — сказал он, грустно взглянув на меня сквозь очки.



Темное пальто из альпага, незастегнутое, спускалось до колен. На голове его была панама; глубокие морщины бороздили бледные щеки.

— Что случилось? — нервно спросил я. — Тамб Итам здесь…

— Пойдите повидайтесь с девушкой. Повидайтесь с девушкой. Она здесь, — сказал он, засуетившись.

Я попытался его удержать, но с мягким упорством он не обращал ни малейшего внимания на мои нетерпеливые вопросы.

— Она здесь, она здесь, — повторял он в смущении. — Они приехали два дня назад. Такой старик, как я, чужой человек — sehen sie[30] — мало что может сделать… Проходите сюда… Молодые сердца не умеют прощать…

Я видел, что он глубоко огорчен.

— …Сила жизни в них, жестокая сила жизни… — бормотал он, показывая мне дорогу; я следовал за ним, унылый и раздосадованный, теряясь в догадках. У дверей гостиной он остановил меня.

— Он очень любил ее? — сказал он полувопросительно, а я только кивнул, чувствуя такое

---

[30] Примечания: 30
Видите ли *(нем.)*.

горькое разочарование, что не решался заговорить.

— Как ужасно, — пролепетал он. — Она не может меня понять. Я — только незнакомый ей старик. Быть может, вы… Вас она знает. Поговорите с ней. Мы не можем оставить это так. Скажите ей, чтобы она его простила. Это ужасно.

— Несомненно, — сказал я, раздраженный тем, что должен бродить в потемках, — но вы-то ему простили?

Он как-то странно посмотрел на меня.

— Сейчас услышите, — ответил он и, раскрыв дверь, буквально втолкнул меня в комнату.

Вы знаете большой дом Штейна и две огромные приемные — нежилые и непригодные для жилья, чистые, уединенные, полные блестящих вещей, на которых, казалось, никогда не останавливался взгляд человека? В самые жаркие дни там прохладно, и вы входите туда, словно в подземную пещеру. Я прошел через первую приемную, а во второй увидел девушку, сидевшую за большим столом из красного дерева, голову она опустила на стол, а лицо закрыла руками. Навощенный пол, будто полоса льда, тускло ее отражал. Тростниковые жалюзи были спущены, и сумеречный свет в комнате казался зеленоватым от листвы

деревьев снаружи; сильный ветер налетал порывами, колебля длинные драпри у окон и дверей. Ее белая фигура была словно вылеплена из снега, свисающие подвески большой люстры позвякивали над ее головой, как блестящие льдинки. Она подняла голову и следила за моим приближением. Меня знобило, словно эти большие комнаты были холодным приютом отчаяния.

Она сразу меня узнала; как только я подошел к ней, она спокойно сказала:

— Он меня оставил. Вы всегда нас оставляете — во имя своих целей.

Лицо ее осунулось; казалось, вся сила жизни сосредоточилась в каком-то недоступном уголке ее сердца.

— Умереть с ним было бы легко, — продолжала она и сделала усталый жест, словно отстраняя непонятное. — Он не захотел! Как будто спустилась на него слепота… а ведь это я с ним говорила, я перед ним стояла, на меня он все время смотрел! Ах, вы жестоки, вероломны, нет у вас чести, нет сострадания! Что делает вас такими злыми? Или, быть может, вы все безумны?

Я взял ее руку, не ответившую на пожатие; а когда я ее выпустил, рука беспомощно повисла. Это равнодушие, более жуткое, чем слезы, крики

и упреки, казалось, бросало вызов времени и утешению. Вы чувствовали: что бы вы ни сказали, ваши слова не коснутся немой и тихой скорби.

Штейн сказал: „Вы услышите“ — и я услышал. С изумлением, с ужасом прислушивался я к ее монотонному, усталому голосу. Она не могла схватить подлинный смысл того, что говорила, ее злоба исполнила меня жалости к ней… и к нему. Я стоял, словно пригвожденный к полу, когда она замолчала. Опираясь на руку, она смотрела прямо перед собой тяжелым взглядом; врывался ветер, подвески люстры по-прежнему звенели в зеленоватом полумраке. Она шептала как будто самой себе:

— А ведь он смотрел на меня! Он мог видеть мое лицо, слышать мой голос, слышать мою скорбь! Когда я, бывало, сидела у его ног, прижавшись щекой к его колену, а его рука лежала на моей голове — жестокость и безумие уже были в нем, дожидаясь дня. День настал! Солнце еще не зашло, а он уже мог меня не видеть, — стал слеп, и глух, и безжалостен, как все вы. Он не дождется моих слез. Никогда, никогда! Ни одной слезинки я не хочу. Он ушел от меня, словно для него я была хуже, чем смерть. Он бежал, словно его гнало какое-то проклятие, услышанное во сне…

Ее остановившиеся глаза, казалось, искали образ человека, которого сила мечты вырвала из ее объятий. Она не ответила на мой молчаливый поклон. Я рад был уйти.

В тот же день я еще раз ее увидел. Расставшись с ней, я пошел разыскивать Штейна, которого в доме не оказалось; преследуемый унылыми мыслями, я вышел в сад — знаменитые сады Штейна, где вы можете найти любое растение и дерево тропических низин. Я пошел по течению ручья и долго сидел на скамье в тени, близ красивого пруда, где какие-то водяные птицы с подрезанными крыльями шумно ныряли и плескались. Ветви деревьев казуарина за моей спиной слегка покачивались, напоминая мне шум сосен на родине.

Этот грустный и тревожный звук был подходящим аккомпанементом к моим размышлениям. Она сказала, что его увела от нее мечта, — и нечего было ей ответить: казалось, нет прощения такой провинности. И однако, разве само человечество не повинуется слепо мечте о своем величии и могуществе, — мечте, которая гонит его на темные тропы великой жестокости и великой преданности? А что есть в конце концов погоня за истиной?

Когда я встал, чтобы идти назад к дому, я заме-

тил в просвете между деревьями темное пальто Штейна и очень скоро за поворотом тропинки наткнулся на него, гуляющего с девушкой. Ее маленькая ручка легко покоилась на его руке. На нем была широкополая панама; он склонился над девушкой, седовласый, с отеческим видом, с сочувственным и рыцарским почтением. Я отошел в сторону, но они остановились передо мной. Он смотрел в землю; девушка, стройная и легкая, глядела куда-то мимо меня черными, ясными, остановившимися глазами.

— Schrecklich, — прошептал он. — Ужасно! Ужасно! Что тут можно поделать?

Казалось, он взывал ко мне, но еще сильнее взывали ко мне ее молодость, долгие дни, ждавшие ее впереди; и вдруг, сознавая, что ничего сказать нельзя, я ради нее произнес речь в защиту его.

— Вы должны его простить, — закончил я, и мой голос показался мне придушенным, затерянным в безответном глухом пространстве.

— Все мы нуждаемся в прощении, — добавил я через секунду.

— Что я сделала? — спросила она почти беззвучно.

— Вы всегда ему не доверяли, — сказал я.

— Он был такой же, как и другие, — медленно

проговорила она.

— Нет, не такой, — возразил я; но она продолжала ровным бесчувственным голосом:

— Он был лжив.

И вдруг вмешался Штейн:

— Нет, нет, нет! Бедное мое дитя…

Он погладил ее руку, пассивно лежавшую на его рукаве.

— Нет, нет! Не лжив! Честен! Честен! Честен!

Он старался заглянуть в ее окаменевшее лицо.

— Вы не понимаете… Ах, почему вы не понимаете?.. Ужасно! — сказал он мне. — Когда-нибудь она поймет.

— Вы ей объясните? — спросил я, в упор на него глядя. Они пошли дальше.

Я следил за ними. Подол ее платья волочился по тропинке, черные волосы были распущены. Она шла прямая и легкая подле высокого, медленно шагавшего старика; длинное бесформенное пальто Штейна прямыми складками спускалось с его сутулых плеч к ногам. Они скрылись из виду за той рощей (быть может, вы помните), где растут шестнадцать разновидностей бамбука, в которых разбираются знатоки. А я был зачарован безукоризненным изяществом и красотой этой певучей рощи, увенчанной остроконечными листьями

и перистыми кронами; меня приводили в восторг эта легкость и мощь, напоминающие голос безмятежной торжествующей жизни. Помню, я долго смотрел на нее и медлил уйти, как человек, прислушивающийся к успокоительному шепоту. Небо было жемчужно-серое. То был один из тех пасмурных дней, таких редких на тропиках, когда надвигаются воспоминания об иных берегах, иных лицах.

В тот же день я вернулся в город, захватив с собой Тамб Итама и другого малайца, на мореходном судне которого они в недоумении и страхе бежали от мрачной катастрофы. Потрясение как будто коренным образом их изменило. Ее страсть оно обратило в камень, а угрюмого, молчаливого Тамб Итама сделало чуть ли не болтливым. Угрюмость его сменилась недоуменным смирением, словно он видел, как в минуту опасности могущественный амулет оказался бессильным. Торговец буги, робкий, нерешительный, очень толково изложил то немногое, что знал. Оба были, видимо, подавлены чувством глубокого удивления перед неисповедимой тайной».

Этими словами и подписью Марлоу кончалось письмо. Тот, кому посчастливилось прочесть письмо, прибавил света в лампе и, одинокий над

волнистыми крышами города, словно смотритель маяка над морем, обратился к страницам рассказа.

Глава XXXVIII

«Начало, как я вам уже сказал, было положено человеком по фамилии Браун, — гласила первая строка повествования Марлоу. — Вы избороздили Тихий океан и должны были о нем слышать. Он был показательным типом негодяя на австралийском побережье — не потому, что часто там являлся, но потому, что всегда фигурировал в рассказах о мошенничествах — в рассказах, какими угощают приехавших с родины, а самой безобидной истории из тех, которые о нем рассказывали от мыса Йорк до бухты Эден, более чем достаточно, чтобы повесить его, если изложить историю в надлежащем месте. Рассказчики никогда не забывали довести до вашего сведения, что есть данные предполагать, будто он сын баронета. Как бы то ни было, но факт тот, что он дезертировал с английского судна в первые дни золотой лихорадки, а через несколько лет о нем заговорили как о чудовище, терроризирующем ту или иную группу островов Полинезии.

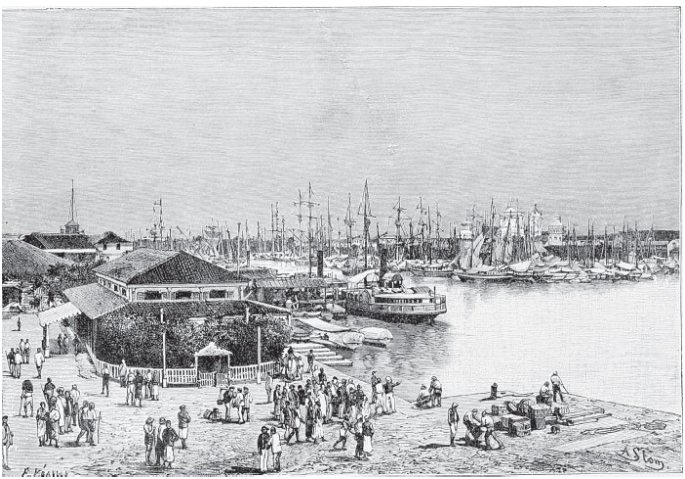
Он насильно вербовал туземцев, грабил какого-нибудь одинокого белого торговца, снимая с него все, вплоть до пижамы, а ограбив, предлагал

бедняге драться на дуэли на дробовиках — что было бы, пожалуй, неплохо, если бы жертва не оказывалась к тому времени полумертвой от страха. Браун был пиратом наших дней, довольно жалким, как и его более знаменитые прототипы; но от современных ему братьев по профессии (таких, как Задира Гайес, или Медоточивый Пиз, или этот надушенный, расфранченный негодяй, известный под кличкой Грязный Дик) он отличался дерзостью своих деяний и яростным презрением к человечеству вообще и к своим жертвам в частности. Остальные были всегонавсего вульгарными и жадными скотами, но Брауном, казалось, руководили какие-то сложные побуждения. Он грабил человека словно для того, чтобы продемонстрировать свое низкое о нем мнение, и готов был пристрелить или изувечить какого-нибудь тихого, безобидного чужестранца, проявляя при этом такую свирепость и мстительность, как будто хотел застращать самого отчаянного головореза. В дни расцвета своей славы он был владельцем вооруженного барка со смешанным экипажем из канаков и беглых моряков с китобойных судов и хвастался — не знаю, имел ли он на то основания, — будто его втихомолку финансирует самая респектабельная

фирма торговцев копрой. Позднее он, как рассказывают, удрал с женой миссионера, молоденькой женщиной из Клепхэма, которая под влиянием минуты вышла замуж за кроткого парня, а затем, очутившись в Меланезии, почему-то сбилась с пути.

То была темная история. Она была больна в то время, как он ее увез, и умерла на борту его судна; говорят — и это самая удивительная часть истории, — что над ее телом он рыдал и предавался мрачной, неудержимой скорби. Вскоре после этого счастье ему изменило. Он потерял свое судно, разбившееся о скалы неподалеку от Малаиты, и на время исчез, словно пошел ко дну вместе со своим барком. Затем он выплыл в Нука-Хиве, где купил старую французскую шхуну, раньше принадлежавшую правительству. Не могу сказать, какую цель он преследовал, делая эту покупку, но ясно, что с появлением верховных комиссаров, консулов, военных судов и международного контроля Южные моря стали слишком беспокойным местом для джентльменов его пошиба. Очевидно, он должен был перенести свои операции дальше на запад, ибо год спустя он играет невероятно дерзкую, но не особенно выигрышную роль в полусерьезном, полукоми-

ческом деле в Манильском заливе, где главными действующими лицами являются казнокрад-губернатор и скрывающийся от суда казначей. Затем он, видимо, вертится на своей гнилой шхуне среди Филиппинских островов, сражаясь с вероломной фортуной, и наконец, совершая предназначенный ему путь, вступает в историю Джима, — слепой сообщник темных сил.



Далее рассказывают, что, когда испанский патрульный катер захватил его, он пытался всего лишь доставить ружья инсургентам. Если так, то я не могу понять, что он делал у южного берега Минданас. Мне лично кажется, что он шантажировал туземцев прибрежных деревень. Как бы то ни было, но катер, поместив стражу на борт шхуны, заставил его плыть по направлению к Замбоангу. По дороге оба судна должны были по какой-то причине заглянуть в одно из этих новых испанских поселений, из которых так и не вышло никакого толку. Там имелся не только правительственный чиновник на берегу, но и хорошая, прочная каботажная шхуна, лежавшая на якоре в маленьком заливе; и это судно, во всех отношениях превосходящее его собственную шхуну, Браун решил украсть.

Ему не везло — как он сам мне признался. Мир, к которому он в течение двадцати лет относился с дерзким и злобным презрением, не доставил ему никаких материальных благ, за исключением небольшого мешка с серебряными долларами, спрятанного в его каюте так, что „сам черт не мог бы пронюхать“. И больше ничего — решительно ничего! Жизнь ему надоела, а смерти он не страшился. Но этот человек, который готов

был с горьким и безрассудным зубоскальством рискнуть жизнью ради пустяка, смертельно боялся тюрьмы. При мысли о тюремном заключении его охватывал тот безумный ужас, когда человек, обливаясь холодным потом, дрожит и кровь его словно обращается в воду, — такой ужас испытывают суеверные люди, представляя себя в объятиях призрака. Вот почему правительственный чиновник, который явился на борт для предварительного расследования, усердно занимался этим делом целый день и сошел на берег лишь в сумерках, закутанный в плащ и крайне озабоченный тем, чтобы не звенели в мешке жалкие сбережения Брауна. Затем, верный своему слову, он отослал (кажется, вечером следующего дня) правительственный катер, дав ему какое-то неотложное поручение. Командир, не имея возможности оставить на задержанном судне своих матросов, удовольствовался тем, что перед отплытием убрал до последнего лоскута все паруса со шхуны Брауна и подвел свои две шлюпки к берегу, находившемуся на расстоянии двух миль.

Но в команде Брауна был один туземец с Соломоновых островов, захваченный в юности и преданный Брауну; этот туземец был самым отча-

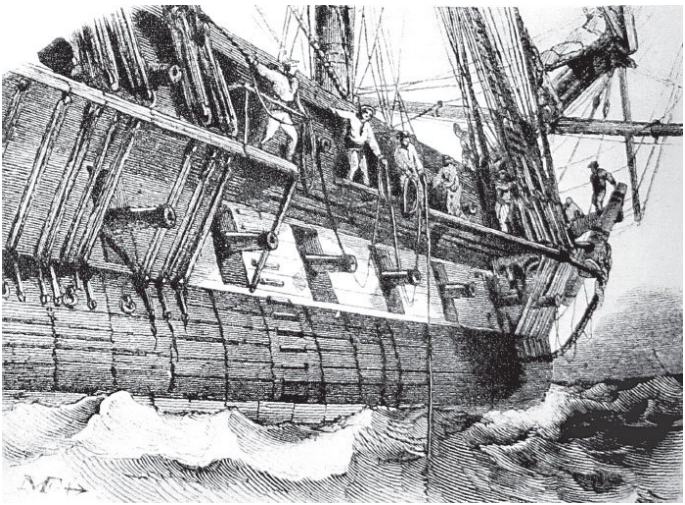
янным во всей банде. Он проплыл около пятисот ярдов до каботажного судна, держа конец перлиня, который удалось смастерить, использовав весь бегучий такелаж шхуны. Волнения не было, и в заливе было темно, „как в брюхе у коровы“, по выражению Брауна. Островитянин пробрался на борт шхуны, держа в зубах конец каната. Команда каботажного судна — все до единого тагалы — была на берегу, пируя в туземной деревне. Двое вахтенных, оставшихся на борту, внезапно проснулись и увидели черта: он сверкал глазами и, быстрый как молния, прыгал по палубе. Парализованные страхом, они упали на колени, крестясь и бормоча молитвы. Длинным ножом, найденным в камбузе, островитянин, не прерывая их молитв, заколол сначала одного, потом другого; тем же ножом он терпеливо стал перерезать канат из кокосовых волокон, наконец канат с плеском упал в воду. Тогда он негромко крикнул, и шайка Брауна, таращившая тем временем глаза и напрягавшая слух в темноте, начала потихоньку тянуть за свой конец перлиня. Меньше чем через пять минут скрипнул рангоут; легкий толчок — и обе шхуны очутились рядом.

Не теряя ни секунды, команда Брауна перебралась на борт каботажного судна, захватив с собой

ружья и большой запас амуниции. Их было шестнадцать человек — два беглых матроса, тощий дезертир с американского военного судна, два простоватых белокурых скандинава, мулат, учтивый китаец, исполнявший обязанности кока, — и всякий сброд, шныряющий, по Южным морям. Ничто их не тревожило; Браун подчинил их своей воле; он, Браун, не боявшийся виселицы, бежал теперь от призрака испанской тюрьмы. Он не дал им времени перенести достаточное количество провизии. Погода была тихая, воздух пропитан росой. Они ослабили снасти и поставили паруса; с берега дул сильный бриз, и сырые паруса даже не трепетали. Их старая шхуна, казалось, тихонько отделилась от украденного судна и вместе с черной массой берега безмолвно ускользнула в ночь.

Они отплыли. Браун подробно рассказал мне об их плавании через проливы Макассара. Это унылая и страшная история. У них было мало пищи и воды, они остановили несколько туземных судов и с каждого кое-что получили. С похищенным судном Браун, конечно, не смел заглянуть ни в один порт. У него не было денег, чтобы хоть что-нибудь купить, не было документов, не было правдоподобного объяснения, которое еще раз

помогло бы ему выпутаться. Арабский барк под голландским флагом, застигнутый врасплох ночью у Поуло-Лаут, где он стоял на якоре, уступил немного грязного риса, связку бананов и бочонок воды; в течение трех дней погода была туманная, и шквал с северо-востока гнал шхуну через Яванское море. Желтые мутные волны окатывали голодающую банду. Они видели почтовые пароходы, совершавшие свои обычные рейсы, они проходили мимо судов с заржавленными железными боками, лежавших на якоре в мелководье, ожидая перемены погоды или прилива. Английская канонерка, белая и нарядная, с двумя стройными мачтами, пересекла им однажды путь; в другой раз голландский корвет, с тяжелыми мачтами, появился за кормой, медленно пробираясь в тумане.



Незамеченные или не удостоившиеся внимания, они ускользнули — усталая банда тощих изгнанников, обезумевших от голода и преследуемых страхом. Браун думал пробраться к Мадагаскару, где надеялся — и не без основания — продать шхуну в Таматаве, не нарываясь на вопросы, или, быть может, получить на нее фаль-

шивые документы. Но раньше чем пускаться в долгое плавание через Индийский океан, нужно было раздобыть пищу и воду.

Возможно, что он слыхал о Патюзане, или же случайно увидел это слово, написанное маленькими буквами на карте; должно быть, он разыскал название большой деревни в верховьях реки в туземном государстве — деревни совершенно беззащитной, лежащей далеко от морских путей и подводных кабелей. Такие вещи он, преследуя свои выгоды, проделывал и раньше, но теперь это было абсолютно необходимо, вопрос жизни и смерти — или, вернее, свободы. Свободы! Он был убежден, что раздобудет провизию — мясо, рис, сладкий картофель. Отощавшая банда предвкушала пир. Быть может, удастся нагрузить шхуну местными продуктами и — кто знает? — раздобыть звонкой монеты! Можно нажать на кое-кого из вождей и деревенских старшин. Он говорил мне, что скорее готов был поджаривать им пятки, чем получить отказ. Я ему верю. Его люди тоже ему верили. Они не ликовали громко, ибо были молчаливой бандой, но как стая волков быстро приготовились к делу.

Погода ему благоприятствовала. Несколько дней штиля привели бы к страшным сценам на

борту шхуны, но благодаря береговым и морским бризам Браун меньше чем через неделю миновал пролив Сунда и бросил якорь у устья Бату-Кринг, на расстоянии пистолетного выстрела от рыбачьей деревушки.

Четырнадцать человек уселись в баркас (баркас был большой, так как им пользовались для перевозки груза) и отправились вверх по течению реки, а двое остались охранять шхуну, причем пищи у них было достаточно, чтобы не умереть с голоду в течение десяти дней. Прилив и ветер помогли им, и однажды после полудня большая белая шлюпка под рваным парусом, подгоняемая морским бризом, подошла к Патюзану; четырнадцать отъявленных негодяев жадно смотрели вперед, держа пальцы на спуске дешевых ружей. Браун рассчитывал, что его прибытие вызовет ужас и изумление. Они подплыли как раз в то время, когда кончился прилив. За частоколом раджи незаметно было никаких признаков жизни; первые дома по обоим берегам реки казались покинутыми. Выше виднелись несколько каноэ, шедшие полным ходом. Браун был удивлен, увидев такой большой поселок. Царило глубокое молчание. Ветер стих; команда вытащила два весла и повела шлюпку к верховьям, предполагая

высадиться в центре города, раньше чем жителям придет в голову оказать сопротивление.

Но по-видимому, старшина рыбачьей деревушки у реки Бату-Кринг ухитрился своевременно послать предостережение. Когда шлюпка поравнялась с мечетью (построенной Дорамином; здание с коньками и разными украшениями из коралла), на площади толпился народ. Поднялся крик, и вверх по реке понесся звон гонгов. Где-то наверху выстрелили из двух маленьких медных шестифунтовых пушек, и ядро упало в воду, подняв сноп брызг, засверкавших в лучах солнца. Орущая толпа перед мечетью начала стрелять залпами; пули летели перпендикулярно течению реки. Баркас обстреливали с обоих берегов, и люди Брауна отвечали беглым огнем наобум. Весла были подняты.

На этой реке отлив при половодье наступает очень быстро, и шлюпка, находившаяся посреди реки, почти скрытая в дыму, пошла задним ходом. На обоих берегах дым сгустился и ровной полосой тянулся ниже крыш, словно длинное облако, перерезающее склон горы. Воинственные крики, вибрирующий звон гонгов, глухая дробь барабанов, яростные вопли, треск выстрелов сливались в оглушительный шум; Браун был

ошеломлен, но твердой рукой держался за румпель; им овладели бешенство и ненависть к этим людям, которые осмелились защищаться. Двое из его команды были ранены, и он увидел, что отступление отрезано несколькими лодками, отчалившими от частокола Тунку Алланга и остановившимися ниже на реке. Он насчитал шесть лодок, переполненных людьми.

Окруженный со всех сторон, он заметил вход в узкую речонку — ту самую, куда прыгнул Джим во время отлива. Сейчас вода стояла высоко. Введя туда шлюпку, он и его люди высадились и расположились на маленьком холме, на расстоянии девятисот ярдов от укрепления; теперь они возвышались над крепостью. Склоны холма были голые, но на вершине росло несколько деревьев. Они их срубили для бруствера и до наступления темноты укрепились на этой позиции: тем временем лодки раджи, соблюдая странным образом нейтралитет, оставались на реке. После захода солнца запылали костры из валежника на берегу реки и между двойным рядом домов на суше, освещая черный рельеф крыш, группы стройных пальм, густые рощи фруктовых деревьев. Браун приказал поджечь траву вокруг своего лагеря; низкое кольцо из огненных язычков под медлен-

но поднимающимся дымом быстро сбежало вниз по склонам холма; кое-где с громким злобным треском загорались сухие кусты. Ружейным огнем удалось зажечь траву, но огонь угас у опушки леса и вдоль болотистого берега речонки. Полоска джунглей в сыром овраге между холмом и частоколом раджи приостановила с этой стороны огонь; с громким треском лопались стволы бамбука.

Небо было темное, бархатистое, усеянное звездами. Над почерневшей землей поднимались короткие ползучие завитки дыма; потом налетел ветер и развеял дым. Браун думал, что атака начнется, как только прилив даст возможность войти в речонку военным каноэ, отрезавшим ему отступление. Во всяком случае, он был уверен, что попытаются увести его баркас, который лежал у подножия холма, — темная, высокая масса на слабо отсвечивающей, мокрой грязевой гряде. Но лодки на реке ничего не предпринимали. За частоколом и домами раджи Браун видел на воде их огни. Казалось, они стояли на якоре поперек реки. Виднелись и другие плавучие огни, перебирающиеся от одного берега к другому. Огни мерцали и на длинных стенах домов, тянувшихся вверх по берегу до поворота реки, и дальше тоже

светились одинокие огоньки. Пламя больших костров, зажженных повсюду, освещало строения, крыши, черные сваи. Это было огромное поселение. Четырнадцать отчаянных авантюристов, лежавших плашмя за срубленными деревьями, подняли головы и поглядели вниз, на этот город, тянувшийся, казалось, на много миль к верховьям реки и кишевший тысячами разъяренных людей. Они не разговаривали друг с другом. Время от времени они слышали громкий крик или издалека доносился отдельный выстрел. Но вокруг их позиции было тихо, темно. Казалось, о них забыли — как будто возбуждение, заставившее бодрствовать всех жителей, никакого отношения к ним не имело, словно они были уже мертвы».

Глава XXXIX

«Все события этой ночи имеют огромное значение, ибо создавшееся благодаря им положение оставалось неизменным до возвращения Джима. Джим отправился вглубь страны, где пробыл уже больше недели, и первыми военными действиями руководил Даин Уорис. Храбрый и сообразительный юноша (который умел сражаться, как сражаются белые люди) хотел немедленно покончить с этим делом, но не мог сладить со своим народом. У него не было престижа Джима и репутации человека непобедимого. Он не был видимым, осязаемым воплощением непреложной справедливости и неизменной победы. Он пользовался любовью, доверием, восхищением, — и все же он был одним из *них*, тогда как Джим был из иной страны. Кроме того, белый человек — олицетворение силы — был неуязвим, тогда как Даина Уориса могли убить.

Таковы были скрытые помыслы, руководившие старшинами города, которые решили собраться в форте Джима, чтобы обсудить происшествия, словно надеялись обрести мудрость и храбрость в жилище отсутствующего белого. Шайке Брауна

так повезло или она так хорошо стреляла, что с полдюжины защищавшихся были ранены. За ранеными, лежавшими на веранде, ухаживали их жены. Как только поднялась тревога, женщины и дети из нижней части города были отправлены в форт. Там распоряжалась Джюэл, расторопная и воодушевленная, встречая безусловное повиновение со стороны „народа Джима“ — народа, который, покинув свой маленький поселок у стен форта, вошел в крепость, чтобы образовать гарнизон. Беженцы толпились вокруг Джюэл — и все время до самой катастрофы она была настроена воинственно и мужественно.

Даин Уорис, узнав об опасности, немедленно отправился к Джюэл, ибо, да будет вам известно, Джим был единственным человеком в Патюзане, владевшим запасами пороха. Штейн, с которым он поддерживал тесную связь письмами, получил от голландского правительства специальное разрешение доставить в Патюзан пятьсот бочонков пороха. Пороховым погребом служила маленькая хижина из неотесанных бревен, и в отсутствие Джима ключ находился у девушки. На совете, состоявшемся в одиннадцать часов вечера в столовой Джима, она поддержала Уориса, который советовал немедленно перейти в

наступление. Мне рассказывали, что она встала во главе длинного стола, возле свободного кресла, где обычно сидел Джим, и произнесла воинственную, страстную речь, вызвавшую одобрительный шепот у собравшихся старшин.

Старого Дорамина, который больше года не показывался за пределами своего частокола, с большим трудом перенесли в форт. Конечно, он был здесь первым лицом. Совет был настроен отнюдь не миролюбиво, и слово старика было бы решающим; но мое мнение таково, что он, хорошо зная необузданную храбрость своего сына, не смел произнести это слово. Более осторожные слова одержали верх. Некий Хаджи Саман распространился на ту тему, что „эти неистовые и жестокие люди, во всяком случае, обрекли себя на смерть. Они утвердятся на своем холме и умрут с голоду, или попытаются пробраться к баркасу и будут застрелены из засады на другом берегу речонки, или же они прорвутся и убегут в лес, где и погибнут поодиночке“.

Он доказывал, что хитростью можно уничтожить этих зловредных пришельцев, не подвергая себя опасностям боя. Его слова произвели сильное впечатление, в особенности на жителей Патюзана. Их смутило то обстоятельство, что в

решающий момент лодки раджи бездействовали. Представителем раджи на совете был хитроумный Кассим. Он говорил очень мало, слушал, улыбаясь, дружелюбный и непроницаемый. Во время заседания чуть ли не через каждые пять минут являлись лазутчики, докладывавшие о поведении пришельцев. Ходили преувеличенные, несуразные слухи: у устья реки стоит большое судно с пушками; на нем много людей, черных и белых, кровожадных на вид. Они прибудут на многочисленных шлюпках и уничтожат всех жителей. Предчувствие близкой, непонятной опасности овладело народом. Один раз началась паника во дворе, среди женщин: визг, беготня, заплакали дети. Хаджи Саман вышел, чтобы их успокоить. Потом часовой форта выстрелил во что-то, двигавшееся по реке, и чуть не убил одного из жителей, перевозившего в каноэ своих женщин, домашний скарб и двенадцать кур. Это вызвало еще большее смятение.

Между тем совещание в доме Джима продолжалось в присутствии девушки. Дорамин сидел с суровым лицом, грузный, глядел по очереди на говоривших и дышал медленно, словно бык. Он не говорил до последней минуты, когда Кассим заявил, что лодки раджи будут отозваны,

ибо нужны люди, чтобы защищать палисад его господина. Даин Уорис в присутствии отца не высказывал своего мнения, хотя девушка от имени Джима умоляла его говорить. Она предлагала ему людей Джима — так сильно хотелось ей немедленно прогнать пришельцев. Бросив взгляд на Дорамина, сын только покачал головой.

Наконец совещание закончилось. Было решено поместить в ближайшем к речонке доме вооруженных людей, чтобы иметь возможность обстреливать баркас неприятеля. Баркас не уводить открыто; грабители на холме попробуют им воспользоваться, и тогда удастся большинство их пристрелить. Чтобы отрезать отступление тем, кому посчастливится бежать, и доступ новым пришельцам, Дорамин приказал Даину Уорису взять вооруженный отряд буги, спуститься вниз по реке и на расстоянии десяти миль от Патюзана раскинуть лагерь на берегу и преградить реку при помощи каноэ.

Я ни на секунду не допускаю мысли, что Дорамин боялся прибытия новых сил. Я считаю, что он руководствовался исключительно желанием не подвергать сына опасности. Чтобы не допустить вторжения в город, решено было на рассвете приняться за постройку укрепления в конце ули-

цы на левом берегу. Старый накхода объявил о своем намерении распоряжаться там лично. Под наблюдением девушки немедленно приступили к раздаче пороха, пуль и пистонов. Несколько человек были посланы в разные стороны за Джимом, точное местопребывание которого было неизвестно. Они отправились в путь на рассвете, но еще раньше Кассим ухитрился начать переговоры с осажденным Брауном.

Этот искусный дипломат и поверенный раджи, покинув форт, чтобы вернуться к своему господину, взял к себе в лодку Корнелиуса, который молча шнырял в толпе, запрудившей двор. У Кассима был свой собственный план, и Корнелиус был ему нужен как переводчик. И вот под утро Браун, размышлявший об отчаянном своем положении, услышал голос, доносившийся из болотистого, поросшего кустарником оврага, — голос дружелюбный, дрожащий, напряженный, просивший по-английски позволения взобраться на холм, чтобы передать очень важное поручение, при условии, если ему будет гарантирована полная безопасность.

Браун был вне себя от радости: если с ним разговаривают, значит он не загнанный зверь. Этот дружеский голос сразу рассеял страшное

напряжение и настороженность, когда он, словно слепой, не знал, с какой стороны ждать смертельного удара. Он сделал вид, будто не желает никаких переговоров. Голос объявил, что с Брауном говорит „белый человек. Бедный разорившийся старик, который живет здесь много лет“. Туман, сырой и холодный, стлался по склонам холма. После недолгих переговоров Браун крикнул:

— Ну, лезьте сюда, но помните — один!

В действительности же, как сказал он мне, корчась от бешенства при воспоминании о своем бессилии, — это никакого значения не имело. На расстоянии нескольких шагов они ничего не могли разглядеть, и никакое предательство не могло ухудшить их положение. Мало-помалу начала вырисовываться фигура Корнелиуса; он был в своем будничном костюме — в рваной грязной рубахе и штанах, босой, в пробковом шлеме с поломанными полями. Поднимаясь к укрепленной позиции, он нерешительно останавливался и прислушивался.

— Идите! Вы в безопасности, — крикнул Браун, а люди его таращили глаза. Все их надежды внезапно сосредоточились на этом потрепанном жалком человеке, который в глубоком молчании неуклюже перелез через ствол поваленного дере-

ва и, дрожа, с кислой недоверчивой физиономией разглядывал кучку бородатых, встревоженных, измученных бессонницей головорезов.

Получасовая конфиденциальная беседа с Корнелиусом раскрыла Брауну глаза на положение дел в Патюзане. Он тотчас же насторожился. Открывались перспективы — великие перспективы; но раньше, чем обсуждать предложения Корнелиуса, он потребовал, чтобы на холм были доставлены в виде гарантии съестные припасы. Корнелиус удалился, медленно спустившись по склону, обращенному ко дворцу раджи, а немного погодя несколько слуг Тунку Алланга явились со скудными порциями риса, красного стручкового перца и сушеной рыбы. Это было несравненно лучше, чем ничего. Позднее вернулся Корнелиус в сопровождении Кассима, обутого в сандалии и до лодыжек закутанного в темно-синее одеяние. Вид у Кассима был добродушный и доверчивый. Он осторожно пожал Брауну руку, и все трое уселись в сторонке и начали переговоры. Люди Брауна, ободрившись, похлопывали друг друга по спине и, многозначительно поглядывая на своего капитана, занялись приготовлениями к стряпне.

Кассим очень не любил Дорамина и его буги, но еще сильнее ненавидел он новый порядок вещей.

Ему пришло в голову, что эти белые вместе с приверженцами раджи могут атаковать и разбить буги до возвращения Джима. Тогда, рассуждал он, все жители поселка отступятся от Джима, и господству белого человека, защищавшего бедный народ, придет конец. Затем можно будет разделаться с новыми союзниками. Друзья им не нужны. Кассим в совершенстве умел разбираться в людях, навидался белых людей на своем веку и понимал, что эти пришельцы были изгнанниками, не имеющими родины.

Браун сохранял вид суровый и непроницаемый. Когда он услышал голос Корнелиуса, просившего разрешения приблизиться, у него появилась только надежда на возможность удрать. Меньше чем через полчаса другие мысли зародились в его голове. Побуждаемый крайней необходимостью, он явился сюда, чтобы украсть съестных припасов, а быть может, и несколько тонн каучука или камеди, горсточку долларов, — и вот он попал в сети смертельной опасности. Теперь, выслушав предложения Кассима, он стал подумывать о том, чтобы украсть всю страну. Какой-то проклятый парень, видимо, уже сделал что-то в этом роде — и совсем один. Но вряд ли он добился полного успеха. Быть может, они возьмутся за дело вдвоем

— выжмут из страны все, что она может дать, а затем скроются.

Пока шли переговоры с Кассимом, Браун узнал, что ходят слухи, будто он оставил у устья реки большой корабль с многочисленной командой. Кассим настойчиво просил его, не откладывая, провести корабль со всеми пушками и людьми к верховьям реки и предоставить его к услугам раджи. Браун сделал вид, будто соглашается; во время переговоров обе стороны держались недоверчиво. Трижды в течение утра вежливый и энергичный Кассим спускался вниз посоветоваться с раджой и снова деловито поднимался на холм. Договариваясь с ним, Браун со злобной радостью думал о своей жалкой шхуне с кучей грязи вместо товаров в трюме, фигурировавшей как вооруженное судно, и представлял себе китайца и хромого поселенца из Левуки, олицетворявших весь ее многочисленный экипаж.

После полудня он получил новый запас провианта и обещание внести деньги; его людей снабдили циновками для шалашей. Они улеглись на землю и захрапели, защищенные от палящего солнца, но Браун у всех на виду сидел на одном из срубленных деревьев и упивался видом города и реки. Здесь было много добычи. Корнелиус, рас-

положившийся в лагере как у себя дома, бормотал у него под ухом, объясняя местоположение, давая советы, изображая по-своему характер Джима и комментируя события последних трех лет. Браун равнодушно глядел по сторонам, но внимательно прислушивался к каждому слову и никак не мог себе уяснить, что за человек этот Джим.

— Как его имя? Джим! Джим! Этого мало.

— Здесь его называют Тюан Джим, — презрительно сказал Корнелиус. — Все равно что Лорд Джим.

— Кто он такой? Откуда он взялся? — осведомился Браун. — Что это за человек? Он англичанин?

— Да, да, он англичанин. Я тоже англичанин. Из Малакки. Он — дурак. Вам нужно только убить его, и тогда вы будете здесь правителем. Ему принадлежит все, — объяснял Корнелиус.

— Похоже на то, что скоро ему придется кое с кем поделиться, — вполголоса произнес Браун.

— Нет! Надо его убить при первом же удобном случае, а тогда вы можете делать все, что вам угодно, — с жаром настаивал Корнелиус. — Я прожил здесь много лет и сейчас даю вам дружеский совет.

В таких разговорах и в созерцании Патюзана, который он наметил своей добычей, Браун про-

вел большую часть дня, пока отдыхали его люди. В тот же день каноэ Даина Уориса одно за другим проскользнули вдоль противоположного берега и направились вниз по течению, чтобы отрезать ему путь к морю. Об этом Браун не знал, а Кассим, поднявшись на холм за час до захода солнца, позаботился о том, чтобы он оставался в неведении. Кассим хотел, чтобы судно белого человека поднялось вверх по течению реки, и боялся, что такая новость устрашит Брауна. Он настойчиво уговаривал Брауна отдать „приказ“ и предлагал для этой цели верного посланца, который, ввиду столь секретного поручения (таково было его объяснение), сушей доберется до устья реки и доставит „приказ“ на борт судна. Поразмыслив, Браун счел целесообразным вырвать листок из своей записной книжки, на котором написал очень просто:

„Нам везет. Крупное дело. Задержите этого человека“.

Глуповатый юноша, выбранный для этой цели Кассимом, исполнил возложенное на него поручение и в награду был брошен вниз головой в пустой трюм шхуны; бывший поселенец из Левуки и китаец поспешили закрыть люки. Какова была его дальнейшая судьба, Браун мне

не сказал».

Глава XL

«Браун намеревался выиграть время, водя за нос дипломата Кассима. Он невольно думал, что хорошее дельце можно обделать, работая только совместно с „тем белым“. Он не мог себе представить, чтобы такой парень (несомненно, чертовски смышленый, раз ему удалось подчинить всех туземцев) отказался от помощи, которая уничтожила бы необходимость в медленных, осторожных и рискованных плутнях — единственно возможной линии поведения для человека, действующего в одиночку. Он — Браун — предложит ему свою помощь. Ни один человек не станет колебаться. Все дело в том, чтобы друг друга понять. Конечно, они поделят добычу. Мысль о том, что у него под рукой есть форт, — настоящий форт с артиллерией (это он узнал от Корнелиуса), — приводила его в волнение. Только бы туда попасть, а тогда… Он предложит самые умеренные требования. Но и не слишком скромные. Парень был, видимо, не дурак. Они будут работать как братья, пока… пока не придет время для ссоры и выстрела, который покончит все счеты. С мрачным нетерпением ожидая

поживы, он хотел немедленно переговорить с этим человеком. Страна, казалось, была уже в его руках — он мог растерзать ее, выжать все соки и отшвырнуть. Тем временем следовало дурачить Кассима — во-первых, для того, чтобы получать провизию, а во-вторых, чтобы обеспечить себе, на худой конец, поддержку. Но главное — получать каждый день провиант. Кроме того, он не прочь был начать сражение, поддерживая раджу, и проучить народ, встретивший его выстрелами. Жажда битвы овладела им.

Жаль, что я не могу передать вам эту часть истории (которую я слышал от Брауна) его же собственными словами. В прерывистых, страстных речах этого человека, открывшего мне свои мысли, когда рука смерти сдавила ему горло, сквозила ничем не прикрытая жестокость, страшная мстительная злоба к своему прошлому и слепая вера в правоту своей воли, восставшей против всего человечества. Подобное чувство руководит главарем шайки головорезов, когда он с гордостью называет себя „бичом Божиим“. Несомненно, заложенная в нем безрассудная жестокость разгоралась от неудач, ошибок, недавних лишений и того отчаянного положения, в каком он очутился; но замечательнее всего то, что, размышляя о

предательском союзе, порешив мысленно судьбу белого человека и бесцеремонно сговариваясь с Кассимом, он в действительности желал — едва ли не вопреки самому себе — разрушить этот город джунглей, который гнал его прочь, разрушить и усеять его трупами, окутать пламенем.

Прислушиваясь к его злобному прерывающемуся голосу, я представлял себе, как он смотрел с холма на город, мечтая об убийстве и грабеже. Участок, прилегавший к речонке, казался покинутым, но в действительности в каждом доме скрывались вооруженные, насторожившиеся люди. Вдруг за полосой пустыря, кое-где поросшего низким густым кустарником, усеянного кучами мусора и выбоинами, перерезанного тропинками, показался человек, казавшийся очень маленьким; он направлялся к концу улицы, шагая между темными безжизненными строениями с закрытыми ставнями. Быть может, один из жителей, бежавших на другой берег реки, возвращался за каким-нибудь предметом домашнего обихода. Видимо, он считал себя в полной безопасности на таком расстоянии от холма, отделенного речонкой. За маленьким наспех возведенным частоколом в конце улицы находились его друзья. Он шел не торопясь.

Браун его заметил и тотчас же подозвал к себе янки-дезертира, который был, так сказать, его помощником. Тощий, развинченный парень с тупым лицом выступил вперед, лениво волоча свое ружье. Когда он понял, что от него требуется, злобная горделивая улыбка обнажила его зубы, провела две глубокие складки на желтых, словно обтянутых пергаментом щеках. Он гордился своей репутацией меткого стрелка. Опустившись на одно колено, он прицелился сквозь несрезанные ветви поваленного дерева, выстрелил и тотчас же встал, чтоб посмотреть. Человек за рекой повернул голову на звук выстрела, сделал еще шаг, приостановился и вдруг упал на четвереньки. В молчании, последовавшем за громким выстрелом, меткий стрелок, не сводя глаз со своей жертвы, высказал догадку, что „здоровье этого парня не будет больше тревожить его друзей“.

Руки и ноги упавшего человека судорожно двигались, словно он пытался бежать на четвереньках. На пустыре поднялся многоголосый вопль отчаяния и изумления. Человек ткнулся ничком в песок и больше не шевелился.

— Это им объяснило, на что мы способны, — сказал мне Браун. — В них вселился страх перед внезапной смертью. Этого-то мы и хотели. Их

было двести против одного, а теперь они могли кое о чем поразмыслить ночью. Ни один из них не имел представления о том, что ружье может бить на такое расстояние. Этот парнишка от раджи скатился с холма, а глаза у него чуть на лоб не вылезли.

Говоря это, он дрожащей рукой пытался стереть пену, выступившую на посиневших губах.

— Двести против одного, двести против одного! Нужно было вселить в них ужас… ужас, говорю вам!

У него самого глаза чуть не вылезли из орбит. Он откинулся назад, ловя воздух костлявыми пальцами, потом снова сел, сгорбленный и волосатый, искоса поглядывая на меня, как человек-зверь из народных сказок; в мучительной агонии он раскрывал рот и не сразу заговорил после этого припадка. Такое зрелище не забывается.

Чтобы привлечь огонь противника и определить, где устроена в кустах вдоль речонки засада, Браун приказал туземцу Соломоновых островов спуститься к лодке и принести весло: так вы послали бы собаку за палкой, брошенной в воду. Этот маневр оказался неудачным: ни одного выстрела не было сделано, и парень вернулся назад.

— Там нет никого, — высказал свое мнение один из шайки.

— Это неестественно, — заметил янки.

Кассим к тому времени ушел, находясь под впечатлением всего происшедшего, довольный, но озабоченный. Продолжая свою предательскую политику, он отправил посла к Даину Уорису, советуя ему готовиться к прибытию судна белых людей, которое, по полученным сведениям, должно вскоре подняться по реке. Он преуменьшил размеры воображаемого корабля и требовал, чтобы Даин Уорис его задержал. Эта двойная игра соответствовала намерению Кассима помешать объединению воинов буги и втянуть их в бой, чтобы ослабить их силы. С другой стороны, он в тот же день уведомил вождей буги, собравшихся в городе, о том, что уговаривает пришельцев удалиться; в форт он обращался с настойчивыми требованиями выдать порох для людей раджи. Много времени прошло с тех пор, как Тунку Алланг имел порох для двух десятков старых мушкетов, покрывавшихся ржавчиной в аудиенц-зале.

Открытые переговоры между холмом и дворцом привели людей в смущение. Стали толковать о том, что пора пристать к той или иной партии.

Скоро начнется кровопролитие, и многих ждут великие беды. В тот вечер социальная машина упорядоченной, мирной жизни, когда каждый был уверен в завтрашнем дне, — здание, возведенное руками Джима, — казалось, вот-вот должна была рухнуть и превратиться в развалины, обагренные кровью. Беднейшие жители бежали в джунгли или к верховьям реки. Немало людей состоятельных сочли необходимым засвидетельствовать свое почтение радже. Юноши, состоявшие при радже, грубо издевались над ними. Тунку Алланг, чуть не рехнувшийся от страха и колебаний, или угрюмо молчал, или осыпал их бранью за то, что они явились к нему с пустыми руками; они ушли, страшно испуганные. Только старый Дорамин объединял своих соплеменников и неумолимо придерживался своей тактики. Восседая в высоком кресле за импровизированным частоколом, он низким, заглушенным голосом отдавал приказания, невозмутимый, словно глухой, среди всех тревожных толков.

Спустились сумерки, скрыв труп убитого, который лежал, раскинув руки, как будто пригвожденный к земле; ночь нависла над Патюзаном, заливая землю сверканием бесчисленных миров. Снова в незащищенной части города запылали

вдоль единственной улицы огромные костры; отблески света падали на прямые линии крыш, на кусок стены из переплетенных ветвей; кое-где освещена была целая хижина на черных столбах. И весь этот ряд домов в отсветах мигающего пламени, казалось, предательски уползал к верховьям реки, во мрак, сгустившийся в сердце страны. Великое молчание, в котором плясало пламя костров, простерлось до темного подножия холма; но на другом берегу реки, где пылал перед фортом только один костер, раздавался все усиливающийся шум, словно топот толпы, гул многих голосов или грохот бесконечно далекого водопада.

Как признался мне Браун, он сидел, повернувшись спиной к своим людям, и созерцал это зрелище — и вдруг, несмотря на всю его ненависть и несокрушимую веру в себя, его охватило такое чувство, будто он наконец налетел и ударился головой о каменную стену. Если бы его баркас был на воде, Браун, кажется, попытался бы улизнуть, рискнул бы подвергнуться преследованию на реке или умереть голодной смертью на море. Очень сомнительно, удалось ли бы ему скрыться. Как бы то ни было, но этой попытки он не сделал. На секунду у него мелькнула мысль во-

рваться в город, но он прекрасно понимал, что в конце концов попадет на освещенную улицу, где всех его людей, как собак, пристрелят из домов. Врагов было двести против одного, думал он, а его люди, примостившиеся возле двух куч тлеющей золы, жевали последние бананы и поджаривали последние остатки ямса, полученного благодаря дипломатии Кассима. Возле них сидел и дремал Корнелиус.

Вдруг один из белых вспомнил, что в баркасе остался табак, и решил пойти за ним; его подбодряло, что туземец Соломоновых островов вернулся из этого путешествия невредимым. Остальные стряхнули с себя уныние. Браун, к которому обратились за разрешением, презрительно бросил:

— Ступай, черт с тобой!

Он считал, что нет никакой опасности спуститься в темноте к речонке. Парень перешагнул через ствол дерева и скрылся. Через секунду они услышали, как он влез в баркас, а затем снова выкарабкался на песок.

— Достал! — крикнул он.

За этим последовал выстрел у самого подножия холма.

— Меня ранили! — заорал парень. — Слышите,

меня ранили!

И тотчас же на холме стали палить из ружей. Словно маленький вулкан, холм выбрасывал в ночь огонь и дым, а когда Браун и янки проклятиями и тумаками положили конец вызванной паникой стрельбе, с речонки донесся глубокий, протяжный стон; за ним последовала раздирающая сердце жалоба, от которой, словно от яда, кровь стыла в жилах. Затем где-то за речонкой сильный голос отчетливо произнес непонятные слова.

— Пусть никто не стреляет! — крикнул Браун. — Что это значит?

— Слышите, вы, на холме? Слышите? Слышите? — трижды воззвал голос.

Корнелиус перевел и заторопил с ответом.

— Говорите! — закричал Браун. — Мы слушаем!

Тогда человек, где-то у края пустыря, звучным голосом глашатая высокопарно объявил, что между племенем буги, живущим в Патюзане, и белыми людьми на холме и их союзниками не может быть ни разговоров, ни доверия, ни сочувствия, ни мира. Зашелестели кусты; раздался выстрел, сделанный наобум.

— Проклятие! — пробормотал янки, с досадой

ударяя о землю прикладом ружья.

Корнелиус перевел. Раненый, лежавший у подножия, выкрикнул два раза: „Перенесите меня на холм! Поднимите меня“ — и стал жалобно стонать. Пока он спускался по темному склону, а затем возился на дне баркаса, он не подвергался опасности. Найдя табак, он, видимо, обрадовался, забыл обо всем и, вскочив на борт белого баркаса, лежавшего высоко на сухом берегу, выставил себя напоказ; речонка в этом месте имела не больше семи ярдов в ширину, и случилось так, что в этот момент на другом берегу притаился в кустах человек.

Это был буги из Тондано, совсем недавно приехавший в Патюзан, родственник человека, застреленного в тот день. Удачный выстрел из дальнобойного ружья и в самом деле устрашил жителей поселка. Человек, считавший себя в безопасности, был убит на глазах у своих друзей, с улыбкой на губах упал на землю, и такая жестокость пробудила в них горькую злобу. Родственник убитого Си Лапа находился в то время с Дорамином за частоколом на расстоянии нескольких саженей, не больше. Вы, знакомый с этим народом, должны согласиться, что парень проявил необычайное мужество, вызвавшись

отнести — один, в темноте — весть пришельцам на холме. Ползком пробравшись через открытый пустырь, он свернул налево и очутился как раз против лодки. Он вздрогнул, услыхав крик человека, отправившегося за табаком. Присев, он вскинул ружье на плечо и, когда тот выпрямился, спустил курок и всадил бедняге три разрывные пули в живот. Затем, припав к земле, он прикинулся мертвым, а град свинцовых пуль со свистом прорезал кусты по правую руку от него; после этого он, согнувшись вдвое и все время держась под прикрытием, произнес свою речь. Выкрикнув последнее слово, он отскочил в сторону, снова припал на секунду к земле и, целый и невредимый, вернулся к домам, завоевав в ту ночь такую славу, что и при детях его она не угаснет.

А на холме жалкая банда следила, как угасали две маленькие кучки золы. Понурив головы, сжав губы, с опущенными глазами, люди сидели на земле, прислушиваясь к стонам товарища внизу. Он был сильный человек и мучился перед смертью; громкие болезненные его стоны постепенно замирали. Иногда он вскрикивал, а потом, после паузы, снова начинал бормотать в бреду длинные и непонятные жалобы. Ни на секунду он не умолкал.

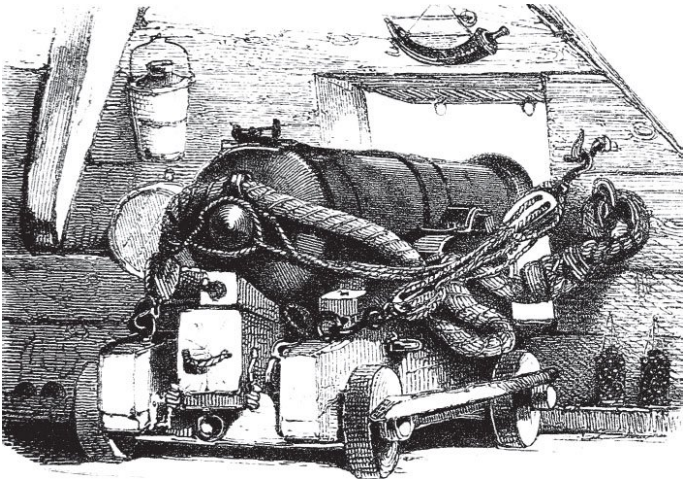
— Что толку? — невозмутимо заметил Браун, увидев, что янки, бормоча проклятия, собирается спуститься с холма.

— Ну ладно, — согласился дезертир, неохотно возвращаясь. — Раненому не поможешь. Но его крики заставят остальных призадуматься, капитан.

— Воды! — крикнул раненый удивительно громко и отчетливо, потом снова застонал.

— Да, воды. Вода скоро положит этому конец, — пробормотал тот про себя. — Много будет воды. Прилив начался.

Наконец и вода поднялась в речонке, смолкли жалобы и стоны, и близок был рассвет, когда Браун, — подперев ладонью подбородок, он смотрел на Патюзан, словно на неприступную гору, — услышал короткий выстрел из медной шестифунтовой пушки где-то далеко в поселке.



— Что это такое? — спросил он Корнелиуса, вертевшегося подле него.

Корнелиус прислушался. Заглушенный шум пронесся над поселком вниз по реке. Раздался бой большого барабана, другие отвечали ему вибрирующим гудением. Крохотные огоньки замелькали в темной половине поселка, а там, где

горели костры, поднялся низкий и протяжный гул голосов.

— Он вернулся, — сказал Корнелиус.

— Как? Уже? Вы уверены? — спросил Браун.

— Да, да! Уверен. Прислушайтесь к этому гулу.

— Почему они подняли такой шум? — осведомился Браун.

— От радости! — фыркнул Корнелиус. — Он здесь — важная особа, а все-таки знает он не больше, чем ребенок, вот они и шумят, чтобы доставить ему удовольствие, так как ничего иного придумать не могут.

— Послушайте, — сказал Браун, — как к нему пробраться?

— Он сам к вам придет, — объявил Корнелиус.

— Что вы хотите сказать? Придет сюда, словно выйдет на прогулку?

Корнелиус энергично закивал в темноте.

— Да. Он придет прямо сюда и будет с вами говорить. Он попросту дурак. Увидите, какой он дурак.

Браун не верил.

— Увидите, увидите, — повторял Корнелиус. — Он не боится — ничего не боится. Он придет и прикажет вам оставить его народ в покое. Все должны оставить в покое его народ. Он — словно

малое дитя. Он к вам придет.

Увы, он хорошо знал Джима — этого „подлого хорька“, как называл его Браун.

— Да, конечно, — продолжал он с жаром, — а потом, капитан, вы прикажите тому высокому парню с ружьем пристрелить его. Вы только убейте его, а тогда все будут так испуганы, что вы можете делать с ними все, что вам угодно… получите все, что вам нужно… уйдете, когда вздумается… Ха-ха-ха! Славно…

Он чуть не прыгал от нетерпения, а Браун, оглянувшись на него через плечо, видел в безжалостных лучах рассвета своих людей, промокших от росы: они сидели между кучками холодной золы и мусора, угрюмые, подавленные, в лохмотьях».

Глава XLI

«До последней минуты, пока не разлился дневной свет, ярко пылали на западном берегу костры; а потом Браун увидел среди красочных фигур, неподвижно стоявших между передними домами, человека в европейском костюме и шлеме; он был весь в белом.

— Вот он; смотрите, смотрите! — возбужденно крикнул Корнелиус.

Все люди Брауна вскочили и, столпившись за его спиной, таращили тусклые глаза. Группа темнолицых людей в ярких костюмах и человек в белом, стоявший посредине, глядели на холм. Браун видел, как поднимались обнаженные руки, чтобы заслонить глаза от солнца, видел, как туземцы на что-то указывали. Что было ему делать? Он осмотрелся по сторонам: всюду вставали перед ним леса, стеной окружившие арену неравного боя. Еще раз взглянул он на своих людей. Презрение, усталость, жажда жизни, желание еще раз попытать счастье, поискать другой могилы теснились в его груди. По очертаниям фигуры ему показалось, что белый человек, опиравшийся на мощь всей страны, рассматривал

его позицию в бинокль. Браун вскочил на бревно и поднял руки ладонями наружу. Красочная группа сомкнулась вокруг белого человека, и он не сразу от нее отделился; наконец он один медленно пошел вперед. Браун стоял на бревне до тех пор, пока Джим, то появляясь, то скрываясь за колючими кустами, не подошел почти к самой речонке; тогда Браун спрыгнул с бревна и стал спускаться ему навстречу.

Думаю, они встретились с ним неподалеку от того места, а может быть, как раз там, где Джим сделал второй отчаянный прыжок — прыжок, после которого он вошел в жизнь Патюзана, завоевав доверие и любовь народа. Разделенные рекой, они, раньше чем заговорить, пристально всматривались, стараясь понять друг друга. Должно быть, их антагонизм сказывался в тех взглядах, какими они обменивались. Я знаю, что Браун сразу возненавидел Джима. Какие бы надежды он ни питал, они тотчас же развеялись. Не такого человека думал он увидеть. За это он его возненавидел; в своей клетчатой фланелевой рубахе с засученными рукавами, седобородый, с осунувшимся загорелым лицом, он мысленно проклинал молодость и уверенность Джима, его ясные глаза и невозмутимый вид. Этот парень

здорово его опередил! Он не походил на человека, который нуждается в помощи. На его стороне были все преимущества — власть, безопасность, могущество; на его стороне была сокрушающая сила! Он не был голоден, не приходил в отчаяние и, видимо, ничуть не боялся. Даже в аккуратном костюме Джима, начиная с его белого шлема и кончая парусиновыми гетрами и белыми ботинками, было что-то раздражавшее Брауна, ибо эту самую аккуратность он презирал и осмеивал чуть ли не с первых же дней своей жизни.

— Кто вы такой? — спросил наконец Джим обычным своим голосом.

— Моя фамилия Браун, — громко ответил тот. — Капитан Браун. А ваша?

Джим, помолчав, продолжал спокойно, словно ничего не слышал:

— Что привело вас сюда?

— Хотите знать? — с горечью отозвался Браун. — Ответить нетрудно: голод. А вас?

— Тут парень вздрогнул, — сообщил Браун, передавая мне начало странного разговора между этими двумя людьми, разделенными только тинистым руслом речонки, но стоящими на противоположных полюсах миросозерцания, свойственного человечеству. — Парень вздрог-

нул и густо покраснел. Должно быть, считал себя слишком важной особой, чтобы отвечать на вопросы. Я ему сказал, что если он смотрит на меня, как на мертвого, с которым можно не стесняться, то и его дела обстоят ничуть не лучше. Один из моих парней, там на холме, все время держит его под прицелом и ждет только моего сигнала. Возмущаться этим нечего. Ведь он пришел сюда по доброй воле.

„Условимся, — сказал я, — что мы оба мертвые, а потому будем говорить как равные. Все мы равны перед смертью“.

— Я признал, что попался, словно крыса, в ловушку, но нас сюда загнали, и даже загнанная крыса может кусаться. Он сейчас же поймал меня на слове: „Нет, не может, если не подходить к ловушке, пока крыса не издохнет“.

— Я сказал ему, что такая игра хороша для здешних его друзей, но ему не подобает обходиться так даже с крысой. Да, я хотел с ним переговорить. Не жизнь у него вымаливать, — нет! Мои товарищи… ну что ж, они такие же люди, как и он. Мы хотим только, чтобы он пришел, во имя всех чертей, и так или иначе порешил дело.

— Проклятие! — сказал я, а он стоял неподвижно, как столб. — Не станете же вы приходить

сюда каждый день и смотреть в бинокль, кто из нас еще держится на ногах. Послушайте — или ведите сюда своих людей, или дайте нам отсюда выбраться и умереть с голоду в открытом море. Ведь и вы когда-то были белым, несмотря на все ваши разглагольствования о том, что это ваш народ и вы один из них. Не так ли? А что вы, черт возьми, за это получаете? Что вы тут нашли такого драгоценного? А? Вы, может быть, не хотите, чтобы мы спустились с холма? Вас двести против одного. Вы не хотите, чтобы мы сошлись на открытом месте. А я вам обещаю — мы вас заставим попрыгать, раньше чем вы с нами покончите. Вы тут толкуете о том, что нечестно нападать на безобидный народ. Какое мне дело до того, что они — народ безобидный, когда я зря подыхаю с голоду? Но я не трус! Не будьте же и вы трусом. Ведите их сюда, или, тысяча чертей, мы еще перебьем добрую половину этих безобидных людей и они отправятся на тот свет вместе с нами!

Он был ужасен, когда передавал мне этот разговор: измученный скелет на жалкой кровати в ветхой хижине; он сидел скрючившись и изредка на меня поглядывал с видом злобно-торжествующим.

— Вот что я ему сказал… Я знал, что нужно гово-

рить, — снова начал он слабым голосом, но потом воодушевился, подогреваемый гневом. — Мы не намерены были бежать в леса и бродить там, словно живые скелеты, падая один за другим… Добыча для муравьев, которые принялись бы за нас, не дожидаясь конца. О нет!

„Вы не заслуживаете лучшей участи“, — сказал он.

— А вы чего заслуживаете? — крикнул я ему через речонку. — Вы только и делаете, что толкуете о своей ответственности, о невинных людях, о проклятом своем долге. Знаете ли вы обо мне больше, чем я знаю о вас? Я пришел сюда за жратвой. Слышите, за жратвой, чтобы набить брюхо! А вы зачем сюда пришли? Что вам было нужно, когда вы сюда пришли? Нам от вас ничего не нужно: дайте нам только сражение или возможность вернуться туда, откуда мы пришли…

„Я сразился бы с вами сейчас“, — сказал он, покручивая свои усики.

— А я бы дал вам меня пристрелить — и с удовольствием, — отвечал я. — Не все ли мне равно, где умирать? Мне чертовски не везет. Надоело! Но это было бы слишком легко. Со мной товарищи, а я, ей-богу, не из таковских, чтобы выпутаться самому, а их оставить в проклятой ловушке.

С минуту он размышлял, а потом пожелал узнать, что такое я сделал („там“, — сказал он, кивнув головой в сторону реки), чтобы так отощать.

— Разве мы встретились для того, чтобы рассказывать друг другу свою историю? — спросил я. — Может быть, вы начнете. Нет? Ну что ж, признаться, я никакого желания не имею слушать. Оставьте ее при себе. Я знаю, что она ничуть не лучше моей. Я жил — то же делали и вы, хотя и рассуждаете так, словно вы один из тех, у кого есть крылья, и вы можете не ступать по грязной земле. Да, земля грязная. Никаких крыльев у меня нет. Я здесь потому, что один раз в жизни я испугался. Хотите знать чего? Тюрьмы! Вот что меня пугает, и вы можете принять это к сведению, если хотите. Я не спрашиваю, что испугало вас и загнало в эту проклятую дыру, где вы как будто недурно поживились. Такова ваша судьба, а мне суждено клянчить, чтобы меня пристрелили или вытолкали отсюда, предоставив умирать с голоду, где мне вздумается…

Его расслабленное тело трепетало, он был охвачен такой страстной, такой торжествующей злобой, что сама смерть, подстерегавшая его в этой хижине, как будто отступила. Призрак его

безумного себялюбия поднимался над лохмотьями и нищетой, словно над ужасами могилы. Невозможно угадать, много ли он лгал тогда Джиму, лгал теперь мне, лгал себе самому. Тщеславие мрачно подшучивает над нашей памятью, и необходимо притворство, чтобы оживить подлинную страсть. Стоя под личиной нищего у врат иного мира, он давал этому миру пощечину, оплевывал его, сокрушая безграничным своим гневом и возмущением, таившимися во всех его злодеяниях. Он одолел всех — мужчин, женщин, дикарей, торговцев, бродяг, миссионеров, — одолел и Джима. Я не завидовал этому триумфу in articulo mortis[31], не завидовал этой почти посмертной иллюзии, будто он растоптал всю землю. Пока он хвастался, отвратительно корчась от боли, я невольно вспоминал забавные толки, какие ходили о нем во времена его расцвета, когда в течение года судно Джентльмена Брауна по многу дней кружило у островка, окаймленного зеленью, где на белом берегу виднелась черная точка — дом миссии; сходя на берег, Джентльмен Браун старался очаровать романтичную женщину, которая не могла ужиться в Меланезии, а ее мужу казалось, что тот

[31] Примечания: 31
В момент смерти *(лат.).*

подает надежды обратиться на путь истинный. Рассказывали, что бедняга миссионер выражал намерение склонить „капитана Брауна к лучшей жизни“.

„Спасти его во славу Божию, — как выразился один косоглазый бродяга, — чтобы показать там, на небе, что за птица такая — торговый шкипер Тихого океана“.

И этот же Браун убежал с умирающей женщиной и проливал слезы над ее телом.

— Вел себя, словно ребенок, — не уставал повторять его штурман. — И пусть меня заколотят до смерти хилые канаки, если я понимаю, в чем тут загвоздка. Знаете ли, джентльмены, когда он доставил ее на борт, ей было так плохо, что она его уже не узнавала: лежит на спине в его каюте и таращит глаза на бимс; а глаза у нее страшно блестели. Потом умерла. Должно быть, от скверной лихорадки…

Я вспомнил все эти рассказы, когда он, вытирая посиневшей рукой спутанную бороду, говорил мне, корчась на своем зловонном ложе, как он кружил, нащупывал и нащупал уязвимое местечко у этого проклятого чистюли и недотроги. Он соглашался, что Джима нельзя было запугать, но ему открывался прямой путь в душу Джима

— в душу, „которая не стоила и двух пенсов“, — открывалась возможность „вытряхнуть ее и вывернуть наизнанку».

Глава XLII

«Думаю, он мог только глядеть на этот путь. Кажется, то, что он увидел, сбивало его с толку, ибо он не раз прерывал свой рассказ восклицаниями:

— Он едва не ускользнул от меня. Я не мог его раскусить. Кто он был такой?

И, дико поглядев на меня, снова начинал рассказывать, торжествующий и насмешливый. Теперь этот разговор двух людей, разделенных речонкой, кажется мне самой странной дуэлью, на которую хладнокровно взирала судьба, зная об ее исходе. Нет, он не вывернул наизнанку душу Джима, но я уверен, что духу, непостижимому для Брауна, суждено было вкусить всю горечь такого состязания. Лазутчики того мира, от какого он отказался, преследовали его в изгнании, — белые люди из „внешнего мира“, где он не считал себя достойным жить. Все это его настигло — угроза, потрясение, опасность, грозившая его работе. Думаю, именно это грустное чувство — не то злобное, не то покорное, окрашивающее те немногие слова, какие произносил Джим, сбило с толку Брауна, мешая ему разгадать этого человека.

Иные великие люди обязаны своим могуществом умению обнаруживать в тех, кого они избрали своим орудием, именно те качества, какие могут способствовать их целям; и Браун, словно он и в самом деле был велик, обладал дьявольским даром выискивать самое уязвимое местечко у своих жертв.

Он признался мне, что Джим был не из тех, кого можно умилостивить раболепством, и соответственно этому он постарался прикинуться человеком, который, не впадая в уныние, переносит неудачи, хулу и катастрофу. Ввозить контрабандой ружья — преступление небольшое! — заявил он Джиму. Что же касается прибытия в Патюзан, то кто посмеет сказать, что он приехал сюда не за милостыней? Проклятое население открыло по нем стрельбу с обоих берегов, не потрудившись ни о чем осведомиться. На этом пункте он дерзко настаивал, тогда как в действительности энергичное выступление Даина Уориса предотвратило величайшие бедствия, ибо Браун заявил мне, что, увидев такое большое селение, он тотчас же решил начать стрельбу в обе стороны, как только высадится на берег, — убивать каждое живое существо, какое попадется ему на глаза, чтобы таким путем устрашить жителей.

Неравенство сил было столь велико, что это был единственный способ добиться цели, — как доказывал он мне между приступами кашля. Но Джиму он этого не сказал. Что же касается голода и лишений, какие они перенесли, то это было очень реально, — достаточно было взглянуть на его шайку.

Он пронзительно свистнул, и все его люди выстроились в ряд на бревнах, так что Джим мог их видеть. А убийство человека… ну что ж — его убили… но разве это не война, война кровавая, из-за угла? А дело было обделано чисто: пуля попала ему в грудь, не то что тот бедняга, который лежит сейчас в речонке. Шесть часов они слушали, как он умирал с пулями в животе. Как бы то ни было — жизнь за жизнь…

Все это было сказано с видом усталым и вызывающим, словно человек, вечно пришпориваемый неудачами, перестал заботиться о том, куда бежит. Он спросил Джима с какой-то безрассудной откровенностью, неужели он, Джим, говоря откровенно, не понимает, что если дошло до того, чтобы „спасти свою жизнь в такой дыре, то уже все равно, сколько еще погибнет — трое, тридцать, триста человек“. Казалось, будто какой-то злой дух нашептывал ему эти слова!

— Я таки заставил его нахмуриться, — похвастался Браун. — Скоро он перестал разыгрывать из себя праведника. Стоит — и нечего ему сказать… мрачный как туча… и смотрит — не на меня, в землю.

Он спросил Джима, неужели тот за всю свою жизнь не совершил ни одного предосудительного поступка. Или потому-то он и относится так сурово к человеку, который готов использовать любое средство, чтобы выбраться из ловушки… и далее в том же духе. В грубых его словах слышалось напоминание о родственной их крови, об одинаковых испытаниях, — отвратительный намек на общую вину, на тайное воспоминание, которое связывало их души и сердца.

Наконец Браун растянулся на земле и искоса стал следить за Джимом. Джим, стоя на другом берегу речонки, размышлял и хлыстиком стегал себя по ноге. Ближайшие дома казались немыми, словно чума уничтожила в них всякое дыхание жизни; но много невидимых глаз смотрели оттуда на двух белых, разделенных речонкой, белой лодкой на мели и телом третьего человека, наполовину ушедшим в грязь. По реке снова двигались каноэ, ибо Патюзан вернул свою веру в устойчивость земных учреждений с момента

возвращения белого Лорда. Правый берег, постройки, ошвартованные плоты, даже крыши купален были усеяны людьми, а те, что находились слишком далеко, чтобы слышать и видеть, напрягали зрение, стараясь разглядеть холмик за крепостью раджи. Над широким неправильным кругом, обнесенным лесами и в двух местах прорезанным сверкающей полосой реки, нависла тишина.

— Обещаете вы покинуть побережье? — спросил Джим.

Браун поднял и опустил руку, отрекаясь от всего — принимая неизбежное.

— И сдать оружие? — продолжал Джим.

Браун сел и гневно посмотрел на него.

— Сдать оружие! Нет, пока вы не возьмете его из наших окоченевших рук. Вы думаете, я рехнулся от страха? О нет! Это оружие и лохмотья на мне — вот все, что у меня есть… не считая еще нескольких пушек на борту; я хочу все это продать на Мадагаскаре… если только мне удастся туда добраться, выпрашивая милостыню у каждого встречного судна.

Джим ничего на это не сказал. Наконец, отбросив хлыст, который держал в руке, он произнес, как бы разговаривая сам с собой:

— Не знаю, в моей ли это власти…

— Не знаете! И хотите, чтобы я немедленно сдал вам оружие! Недурно! — вскричал Браун. — Допустим, что вам они скажут так, а со мной разделаются этак.

Он явно успокоился.

— Думаю, власть-то у вас есть, — иначе какой толк от этого разговора? — продолжал он. — Зачем вы сюда пришли? Время провести?

— Отлично, — сказал Джим, внезапно, после долгого молчания, поднимая голову. — Вы получите возможность уйти или сразиться.

Он повернулся на каблуках и ушел.

Браун тотчас же вскочил, но не уходил до тех пор, пока Джим не исчез за первыми домами. Больше он его никогда не видел. Поднимаясь на холм, он встретил Корнелиуса, который, втянув голову в плечи, спускался по склону. Он остановился перед Брауном.

— Почему вы его не убили? — спросил он кислым, недовольным тоном.

— Потому что я могу сделать кое-что получше, — сказал Браун с улыбкой.

— Никогда, никогда! — энергично возразил Корнелиус. — Я здесь прожил много лет.

Браун с любопытством взглянул на него. Много-

ликая была жизнь этого поселка, который восстал на него; многое он так и не мог себе уяснить. Корнелиус с удрученным видом проскользнул мимо, направляясь к реке. Он покидал своих новых друзей; с мрачным упорством он принимал неблагоприятный ход событий, и его маленькая желтая физиономия, казалось, сморщилась еще больше. Спускаясь с холма, он искоса поглядывал по сторонам, а навязчивая идея его не покидала.

Далее события развиваются быстро, без заминки, вырываясь из сердец человеческих, словно ручей из темных недр, а Джима мы видим таким, каким его видел Тамб Итам. Глаза девушки также за ним следили, но ее жизнь была слишком тесно переплетена с его жизнью: зоркости мешали ее страсть, изумление, гнев, и прежде всего — страх и любовь, не знающая прощения. Что же касается верного слуги, не понимающего, как и все остальные, своего господина, то здесь приходится считаться только с его преданностью, преданностью столь сильной, что даже изумление уступает место какому-то грустному приятию таинственной неудачи. Он видит только одну фигуру и во всей этой сутолоке не забывает о своей обязанности охранять, повиноваться, заботиться.

Его господин вернулся после беседы с белым

человеком и медленно направился к частоколу на улицу. Все радовались его возвращению, так как каждый боялся не только того, что его убьют, но и того, что произойдет вслед за этим. Джим вошел в один из домов, куда удалился старый Дорамин, и долго оставался наедине с вождем племени буги. Несомненно, он обсуждал с ним дальнейшие шаги, но никто не присутствовал при этом разговоре. Только Тамб Итам, постаравшийся стать поближе к двери, слышал, как его господин сказал:

— Да. Я извещу народ, что такова моя воля; но с тобой, о Дорамин, я говорил раньше, чем со всеми остальными, и говорил наедине, ибо ты знаешь мое сердце так же хорошо, как знаю я самое великое желание твоего сердца. И ты знаешь, что я думаю только о благе народа.

Затем его господин, откинув занавес в дверях, вышел, и он — Тамб Итам — мельком увидел старого Дорамина, сидящего в кресле; руки его лежали на коленях, глаза были опущены. После этого он последовал за своим господином в форт, куда были созваны на совещание все старейшины буги и представители Патюзана. Сам Тамб Итам рассчитывал, что будет бой.

— Нужно было только взять еще один холм! — с

сожалением воскликнул он.

Однако в городе многие надеялись, что жадные пришельцы вынуждены будут уйти при виде стольких смельчаков, готовящихся к бою. Было бы хорошо, если бы они ушли. Так как о прибытии Джима население известили еще до рассвета пушечным выстрелом в форте и барабанным боем, то страх, нависший над Патюзаном, рассеялся, как разбивается волна о скалу, оставив кипящую пену возбуждения, любопытства и бесконечных толков. В целях обороны половина жителей была выселена из домов; они расположились на улице, на левом берегу реки, толпясь вокруг форта и с минуты на минуту ожидая, что их покинутые жилища на другом берегу будут объяты пламенем. Все хотели поскорей покончить с этим делом. Благодаря заботам Джюэл беженцам приносили пищу. Никто не знал, как поступит их белый человек. Кто-то сказал, что сейчас положение хуже, чем было во время войны с шерифом Али. Тогда многие оставались равнодушными, теперь у каждого есть что терять. За каноэ, скользившими вверх и вниз по реке между двумя частями города, следили с интересом.

Две военные лодки буги лежали на якоре посредине течения, чтобы защищать реку; нить

дыма поднималась над носом каждой лодки. Люди варили рис на обед, когда Джим после беседы с Брауном и Дорамином переправился через реку и вошел в ворота своего форта. Народ столпился вокруг него, так что он едва мог пробраться к дому. Они не видели его раньше, так как, вернувшись ночью, он только обменялся несколькими словами с девушкой, которая для этого спустилась к пристани, а затем тотчас же отправился на другой берег, чтобы присоединиться к вождям и воинам. Народ кричал ему вслед приветствия. Какая-то старуха вызвала смех: грубо пробившись вперед, она ворчливо приказала ему следить за тем, чтобы ее два сына, находившиеся с Дорамином, не пострадали от рук разбойников. Стоявшие поблизости пытались ее оттащить, но она вырывалась и кричала:

— Пустите меня! Что это такое, о мусульмане? Этот смех непристоен. Разве они не жестокие, кровожадные разбойники, живущие убийством?

— Оставьте ее в покое, — сказал Джим; а когда все стихло, медленно произнес: — Все будут целы и невредимы.

Он вошел в дом раньше, чем замерли вздох и громкий шепот одобрения.

Несомненно, он твердо решил открыть Брау-

ну свободный путь к морю. Его судьба, восстав, распоряжалась им. Впервые приходилось ему утверждать свою волю вопреки открытой оппозиции.

— Много было разговоров, и сначала мой господин молчал, — сказал Тамб Итам. — Спустилась тьма, и тогда я зажег свечи на длинном столе. Старшины сидели по обе стороны, а леди стояла по правую руку моего господина.

Когда он начал говорить, непривычные трудности как будто только укрепили его решение. Белые люди ждут теперь на холме его ответа. Их вождь говорил с ним на языке его родного народа, выяснив много таких вопросов, какие трудно объяснить на каком бы то ни было другом языке. Они — заблудшие люди; страдание ослепило их, и они перестали видеть разницу между добром и злом. Правда, что несколько жизней уже потеряно, но зачем терять еще? Он объявил своим слушателям, представителям народа, что их благополучие — его благополучие, их потери — его потери, их скорбь — его скорбь. Он оглядел серьезные, внимательные лица и попросил припомнить, как они бок о бок сражались и работали. Они знают его храбрость… Тут шепот прервал его… Знают, что он никогда их не обманывал.

Много лет они прожили вместе. Он любит страну и народ великой любовью. Он готов жизнью заплатить, если их постигнет беда, когда они разрешат бородатым белым людям удалиться. Это злые люди, но и судьба их была злая. Разве он давал им когда-нибудь дурной совет? Разве его слова приносили страдания народу? — спросил он. Он верит, что лучше всего отпустить этих белых и их спутников, не отнимая у них жизни. Дар невеликий.

— Я — тот, кого вы испытали и признали честным, — прошу их отпустить.

Он повернулся к Дорамину. Старый накхода не пошевельнулся.

— Тогда, — сказал Джим, — позови Даина Уориса, твоего сына, моего друга, ибо в этом деле я не буду вождем».

Глава XLIII

«Тамб Итам, стоявший за его стулом, был словно громом поражен. Это заявление вызвало сенсацию.

— Дайте им уйти — вот мой совет, а я никогда вас не обманывал, — настаивал Джим.

Наступило молчание. С темного двора доносился заглушенный шепот, шарканье ног. Дорамин поднял свою тяжелую голову и сказал, что нельзя читать в сердцах, как нельзя коснуться рукой неба, но… он согласился. Остальные поочередно высказали свое мнение: „Так лучше…“, „Пусть они уйдут…“ и так далее. Но многие — их было большинство — сказали просто, что они „верят Тюану Джиму“.

В этой простой форме подчинения его воле сосредоточено все — их вера, его честность и изъявление этой верности, которая делала его даже в собственных его глазах равным тем непогрешимым людям, что никогда не выходили из строя. Слова Штейна: „Романтик! Романтик!“ — казалось, звенели над пространствами, которые никогда уже не вернут его миру, равнодушному к его падению и его добродетелям, — не отдадут и

этой страстной и цепкой привязанности, которая отказывает ему в слезах, ошеломленная великим горем и вечной разлукой. С этого момента он больше не кажется мне таким, каким я его видел в последний раз, — белым пятнышком, сосредоточившим в себе весь тусклый свет, разлитый по мрачному берегу и потемневшему морю. Нет, я вижу его более великим и более достойным жалости в его одиночестве и пребывающим даже для нее — девушки, глубже всех его любившей, — жестокой и неразрешимой загадкой.

Ясно, что он поверил Брауну; не было причины сомневаться в его словах, правдивость которых словно подтверждалась грубой откровенностью, какой-то мужественной искренностью в признании последствий его поступков. Но Джим не знал безграничного эгоизма этого человека, который — словно натолкнувшийся на препятствие деспот — приходил в негодование и мстительное бешенство, когда противились его воле. Хотя Джим и поверил Брауну, но, видимо, он беспокоился, как бы не было недоразумения, которое могло привести к стычке и кровопролитию. Вот почему, как только ушли малайские вожди, он попросил Джюэл принести ему поесть, так как он собирается уйти из форта, чтобы принять на

себя командование в городе. Когда она стала возражать, ссылаясь на его усталость, он сказал, что может случиться несчастье, а этого он никогда себе не простит.

— Я отвечаю за жизнь каждого человека в стране, — сказал он.

Сначала он был мрачен. Она сама ему прислуживала, принимая тарелки и блюда (из сервиза, подаренного Штейном) из рук Тамб Итама. Немного погодя он развеселился; сказал ей, что еще на одну ночь ей придется взять на себя командование фортом.

— Нам нельзя спать, старушка, — заявил он, — пока наш народ в опасности.

Позже он шутя заметил, что она была мужественнее их всех.

— Если бы ты и Даин Уорис сделали то, что задумали, — ни один из этих бродяг не остался бы в живых.

— Они очень плохие? — спросила она, наклоняясь над его стулом.

— Человек часто поступает плохо, хотя он немногим хуже других людей, — секунду поколебавшись, ответил он.

Тамб Итам последовал за своим господином к пристани перед фортом. Ночь была ясная, но

безлунная; на середине реки было темно, а вода у берегов отражала свет многих костров, „как в ночи Рамадана“[32] — сказал Тамб Итам. Военные лодки тихо плыли по темной полосе или неподвижно лежали на якоре в журчащей воде. В ту ночь Тамб Итаму пришлось долго грести в каноэ и следовать по пятам за своим господином; они ходили вверх и вниз по улице, где пылали костры, удалялись вглубь, к предместьям поселка, где маленькие отряды стояли на страже в полях. Тюан Джим отдавал приказания, и ему повиновались. Наконец они подошли к частоколу раджи, где расположился на эту ночь отряд из людей Джима. Старый раджа рано поутру бежал со своими женщинами в маленький домик, принадлежавший ему и расположенный неподалеку от лесной деревушки на берегу притока. Кассим остался и с видом энергичным и внимательным присутствовал на совете, чтобы дать отчет в дипломатии минувшего дня. Он был очень недоволен, но, по обыкновению, улыбался, спокойный и настороженный, и прикинулся в высшей степени обрадованным, когда Джим сурово заявил ему, что на эту ночь введет своих

[32] Примечания: 32

Рамадан — девятый месяц магометанского календаря — месяц поста.

людей за частокол раджи. Когда закончилось совещание, слышали, как он подходил то к одному, то к другому вождю и громко, с благодарностью говорил о том, что во время отсутствия раджи имущество его будет охраняться.

Около десяти часов Джим ввел своих людей. Частокол возвышался над устьем речонки, и Джим предполагал остаться здесь до тех пор, пока не спустится к низовьям Браун. Развели маленький костер на низком, поросшем травой мысе за стеной из кольев, и Тамб Итам принес складной стул для своего господина. Джим посоветовал ему лечь спать. Тамб Итам притащил циновку и улегся поблизости, но заснуть не мог, хотя знал, что еще до рассвета ему предстоит отправиться в путь с важным поручением. Его господин, опустив голову и заложив руки за спину, шагал взад и вперед перед костром. Лицо его было печально. Когда Джим приближался к Тамб Итаму, тот прикидывался спящим, чтобы его господин не знал, что за ним наблюдают. Наконец Джим остановился, посмотрел на него и мягко сказал:

— Пора.

Тамб Итам тотчас же поднялся и стал готовиться в путь. Он должен был спуститься вниз по реке, на час опередив лодку Брауна, и объявить Даину

Уорису, что белых следует пропустить, не причиняя им вреда. Никому другому Джим не доверил бы этого поручения. Перед уходом Тамб Итам попросил какой-нибудь предмет, подтверждающий, что он — Тамб Итам — послан Джимом. Собственно, это была простая формальность, так как всем было известно, какое положение он занимает при Джиме.

— Тюан, я несу важное послание — твои собственные слова, — сказал он.

Его господин сунул руку сначала в один карман, потом в другой и наконец снял с указательного пальца серебряное кольцо Штейна, которое обычно носил, и передал Тамб Итаму. Когда Тамб Итам отправился в путь, в лагере Брауна было темно, и только огонек мерцал сквозь ветви одного из деревьев, срубленных белыми.

Вечером Браун получил от Джима сложенный листок бумаги, на котором было написано:

„Путь свободен. Отправляйтесь, как только ваша лодка поднимется на волнах утреннего прилива. Пусть ваши люди будут осторожны. В кустах по обеим сторонам речонки и за частоколом при устье спрятаны вооруженные люди. У вас не было бы ни одного шанса на успех, но я не думаю, чтобы вы хотели кровопролития“.

Браун прочел записку, разорвал ее на мелкие кусочки и, повернувшись к Корнелиусу, который принес послание, насмешливо сказал:

— Прощайте, мой друг!

В тот день Корнелиус побывал в форте и шнырял близ дома Джима. Джим вручил ему записку, так как тот говорил по-английски, был известен Брауну и не подвергался риску попасть под выстрел одного из его людей, что легко могло случиться с кем-нибудь из малайцев, в темноте приближающихся к холму.

Вручив послание, Корнелиус не уходил. Браун сидел у маленького костра; все остальные лежали.

— Я мог бы вам сказать кое-что приятное, — угрюмо пробормотал Корнелиус.

Браун не обратил на него внимания.

— Вы его не убили, — продолжал тот, — а что вы за это получаете? Вы могли бы забрать все деньги у раджи и ограбить дома буги, а теперь у вас нет ничего.

— Проваливайте-ка отсюда! — проворчал Браун, даже не взглянув на него.

Но Корнелиус уселся рядом с ним и стал ему что-то нашептывать, изредка притрагиваясь к его локтю. То, что он сказал, заставило Брауна с

проклятием выпрямиться: Корнелиус сообщил ему о вооруженном отряде Даина Уориса в низовьях реки. Сначала Браун решил, что его предали, но, поразмыслив, убедился, что о предательстве не может быть и речи. Он ничего не сказал, и немного погодя Корнелиус равнодушным тоном заметил, что есть другой обходный путь, хорошо ему известный.

— Полезное сведение, — сказал Браун, настораживаясь; и Корнелиус заговорил о том, что происходит в городе, повторил речи, произнесенные на совете, ровным голосом жужжа в ухо Брауна, словно не желая будить спящих.

— Он думает, что обезвредил меня, — не так ли? — очень тихо пробормотал Браун.

— Да. Он дурак. Дитя малое. Он явился сюда и ограбил меня, — жужжал Корнелиус, — и заставил весь народ ему верить; но если что-нибудь случится и они перестанут ему верить, что тогда от него останется? Этот буги Даин, что ждет вас в низовьях реки, капитан, — тот самый человек, который загнал вас на холм, когда вы только что сюда прибыли.

Браун небрежно бросил, что недурно было бы избежать этой встречи; и с тем же независимым видом Корнелиус заявил, что знает обходный

путь — пролив достаточно широкий, по которому лодка Брауна может пройти, минуя лагерь Уориса.

— Вам придется не шуметь, — сказал он, словно что-то вспомнив, — так как в одном месте мы будем проходить как раз позади его лагеря. Очень близко. Они расположились на берегу и втащили свою лодку.

— Не бойтесь, мы умеем скользить неслышно, как мыши, — сказал Браун.

Корнелиус потребовал, чтобы его каноэ взяли на буксир в том случае, если он будет указывать дорогу Брауну.

— Я должен поскорей вернуться назад, — пояснил он.

За два часа до рассвета караульные известили находившихся за частоколом, что белые разбойники спускаются к своему судну. Тотчас же встрепенулись все вооруженные люди в Патюзане, хотя на берегах реки по-прежнему было тихо, и, если бы не дымное пламя костров, город казался бы спящим, как в мирное время. Тяжелый туман низко навис над водой, и в призрачном сером свете ничего не было видно. Когда баркас Брауна выплыл из речонки в широкую реку, Джим стоял на низком мысе перед частоколом

раджи — на том самом месте, куда он ступил по приезде в Патюзан. В сером свете показалась движущаяся тень — одинокая, очень большая и, однако, трудноразличимая. Доносился тихий шепот. Браун, сидевший у руля, слышал, как Джим спокойно сказал:

— Путь свободен. Вы лучше доверьтесь течению, пока не рассеялся туман. Но скоро он рассеется.

— Да, скоро будет светло, — отозвался Браун. Тридцать или сорок человек, стоявшие с мушкетами перед частоколом, затаили дыхание. Буги, владелец пироги, тот самый, кого я видел на веранде Штейна, находился среди них и впоследствии рассказывал мне, что баркас, поравнявшись с низким мысом, вдруг словно вырос и навис, как гора.

— Если вы считаете, что имеет смысл переждать день в море, — крикнул Джим, — я постараюсь чего-нибудь вам прислать — теленка, ямса… что придется.

Тень продолжала двигаться вперед.

— Да. Пришлите! — донесся из тумана заглушенный голос.

Никто из внимательных слушателей не понял смысла этих слов, а потом Браун и его люди уплы-

ли, скрылись бесшумно, словно призраки.

Так Браун, невидимый в тумане, уезжает из Патюзана, сидя бок о бок с Корнелиусом на корме баркаса.

— Может быть, вы получите теленка, — произнес Корнелиус. — О да! Теленка. И ямса. Вы это получите, раз он сказал. Он всегда говорит правду. Он украл все, что у меня было. Полагаю, вам теленок нравится больше, чем награбленное добро.

— Я бы вам советовал держать язык за зубами, а не то как бы кто не швырнул вас за борт в этот проклятый туман, — сказал Браун.

Баркас, казалось, лежал неподвижно; ничего не было видно — даже воды у бортов; только водяная пыль, стекаясь в капли, струилась по бородам и лицам. Было жутко, сказал мне Браун. Каждый чувствовал себя так, словно он один плывет в лодке, преследуемый едва уловимыми вздохами бормочущих призраков.

— Вышвырнете меня, да? Но я-то знаю, где я нахожусь, — угрюмо буркнул Корнелиус. — Я здесь много лет прожил.

— И все-таки ничего не можете разглядеть в таком тумане, — сказал Браун, откидываясь назад и держа руку на румпеле, ставшем бесполезным.

— Нет, могу! — огрызнулся Корнелиус.

— Очень приятно, — произнес Браун. — Значит, приходится верить, что вы вслепую можете найти проток, о котором говорили?

Корнелиус отвечал утвердительно.

— Вы слишком устали, чтобы грести? — спросил он, помолчав.

— Нет, черт возьми! — заорал вдруг Браун. — Беритесь за весла!

Раздался громкий стук в тумане, немного погодя сменившийся ровным поскрипыванием невидимых весел в невидимых уключинах. За исключением этого, ничто не изменилось, и, если бы не поблескивали мокрые лопасти весел, могло, по словам Брауна, показаться, будто они летят на воздушном шаре, окутанные облаком. После этого Корнелиус не разжимал губ и только ворчливо приказал кому-то вычерпать воду из его каноэ, которое шло на буксире за баркасом. Постепенно туман стал белеть, и впереди просветлело. Налево Браун увидел сгущенный мрак, словно поглядел вслед отступающей ночи. Вдруг большой сук, покрытый листьями, навис над его головой, и концы ветвей, с которых стекали капли, изогнулись вдоль бортов. Корнелиус, не говоря ни слова, взялся за румпель».

Глава XLIV

«Думаю, что больше они не разговаривали. Баркас вошел в узкий боковой проток, и они продвигались вперед, упираясь лопастями весел в осыпающиеся берега; было темно, словно огромные черные крылья распростерлись над туманом, заполнившим все пространство до вершин деревьев. Ветви над головой роняли тяжелые капли сквозь туман. Корнелиус что-то пробормотал, и Браун приказал своим людям зарядить ружья.

— Я даю вам возможность свести с ними счеты прежде, чем мы отсюда уйдем, слышите вы, жалкие калеки! — обратился он к своей шайке. — Смотрите же, подлецы, не упустите случая.

В ответ раздалось тихое ворчанье. Корнелиус суетился, беспокоясь о целости своего каноэ.

Тем временем Тамб Итам прибыл к месту назначения. Туман немного задержал его, но он греб упорно, придерживаясь южного берега. Мало-помалу пробился дневной свет. Берега реки казались темными расплывчатыми полосами, на которых можно было различить неясные очертания каких-то колонн и теней, отброшенных переплетенными вверху ветвями. На воде еще

лежал густой туман, но караульные смотрели зорко; когда Тамб Итам приблизился к лагерю, из белого пара вынырнули две человеческие фигуры и его громко окликнули голоса. Он ответил им, и вскоре к нему подплыло каноэ, и он обменялся новостями с гребцами. Все шло хорошо. Беда миновала. Тогда люди в каноэ отпустили его челнок, за борт которого они держались, и тотчас же скрылись из виду. Он продолжал путь, пока не донеслись до него спокойные голоса: в рассеивающемся тумане он увидел огни маленьких костров на песчаной полосе, за которой вставали высокие тонкие стволы деревьев и кусты. Здесь также был сторожевой пост, и Тамб Итама снова окликнули. Он выкрикнул свое имя, еще два раза ударил веслом, и его каноэ врезалось в берег. Это был большой лагерь. Люди отдельными группами сидели на корточках и заглушенным шепотом вели утренние разговоры. Тонкие нити дыма вились в белом тумане. Маленькие шалаши на небольших возвышениях были построены для вождей. Мушкеты были составлены пирамидами, а длинные копья, воткнутые в песок, торчали близ костров.

Тамб Итам, приняв внушительную осанку, потребовал, чтобы его провели к Даину Уорису.

Друг его белого господина лежал на невысоком ложе из бамбука; навес был сделан из палок, покрытых циновками. Даин Уорис не спал; яркий костер пылал перед его шалашом, походившим на грубо сделанный ковчег. Единственный сын накходы Дорамина ласково ответил на его приветствие. Тамб Итам начал с того, что вручил ему кольцо, подтверждавшее слова посланца. Даин Уорис, опираясь на локоть, повелел ему говорить и сообщить все новости.

Начав с освященной обычаем формулы: „Вести добрые!“ — Тамб Итам передал подлинные слова Джима. Белым людям, уезжавшим с согласия всех вождей, следовало предоставить свободный путь вниз по реке. В ответ на вопросы Тамб Итам рассказал обо всем, что произошло на последнем совещании. Даин Уорис внимательно выслушал до конца, играя с кольцом, которое он затем надел на указательный палец правой руки. Когда Тамб Итам умолк, Даин Уорис отпустил его поесть и отдохнуть. Немедленно был отдан приказ о возвращении в Патюзан после полудня. Затем Даин Уорис снова улегся и лежал с открытыми глазами, а его слуги готовили ему пищу у костра; тут же сидел Тамб Итам и разговаривал с людьми, которые горели желанием узнать последние новости

из города. Солнце понемногу поглощало туман. Караульные зорко следили за рекой, где с минуты на минуту должен был появиться баркас белых.

Вот тогда-то Браун и отомстил миру, который после двадцати лет презрительного и безрассудного хулиганства отказывал ему в успехе рядового грабителя. То был акт жестокий и хладнокровный, и это утешало его на смертном ложе, словно воспоминание о дерзком вызове. Потихоньку высадил он своих людей на другом конце острова и повел их к лагерю буги. После короткой и бесшумной потасовки Корнелиус, пытавшийся улизнуть в момент высадки, покорился и стал указывать дорогу, направляясь туда, где кустарник был реже. Браун, заложив ему руки за спину, зажал в свой большой кулак его костлявые кисти и пинками подгонял вперед. Корнелиус оставался нем как рыба, жалкий, но верный своей цели, смутно перед ним маячившей. У опушки леса люди Брауна рассеялись, спрятавшись за деревья, и стали ждать. Весь лагерь из конца в конец раскинулся перед ними, и никто не смотрел в их сторону. Никому и в голову не приходило, что белые могут узнать об узком протоке за островом. Решив, что момент настал, Браун заорал: „Пли!“ — и четырнадцать выстрелов слились в один.

По словам Тамб Итама, удивление было так велико, что, за исключением тех, которые упали мертвыми или ранеными, долгое время никто не шевелился после первого залпа. Потом один из них воскликнул, и тогда у всех вырвался вопль изумления и ужаса. В панике заметались они взад и вперед вдоль берега, словно стадо, боящееся воды. Кто-то прыгнул в реку, но большинство бросилось в воду только тогда, когда был сделан последний залп. Три раза люди Брауна стреляли в толпу, а Браун — один стоявший на виду — ругался и орал:

— Целься ниже! Целься ниже!

Тамб Итам рассказывает: при первом же залпе он понял, что случилось. Хотя его и не ранило, он все же упал и лежал как мертвый, но с открытыми глазами. При звуке первых выстрелов Даин Уорис, лежавший на своем ложе, вскочил и выбежал на открытый берег — как раз вовремя, чтобы получить пулю в лоб при втором залпе.

Тамб Итам видел, как он широко раскинул руки и упал. Тогда только, говорит он, великий страх охватил его, не раньше. Белые ушли так же, как и пришли, — невидимые.

Так свел Браун счеты со злым роком. Заметьте — даже в этом страшном взрыве ярости сквозит

уверенность в своем превосходстве, словно человек настаивает на своем праве — на чем-то абстрактном, — облекая его оболочкой своих обыденных желаний. Это была не бойня, грубая и вероломная, это было воздаяние, расплата, — проявление какого-то неведомого и ужасного свойства нашей природы, которое, боюсь, таится в нас не так глубоко, как хотелось бы думать.

Затем белые уходят со сцены, невидимые Тамб Итаму, и словно исчезают с глаз человеческих; и шхуна пропадает так же, как пропадает украденное добро. Но ходят слухи, что месяц спустя белый баркас был подобран грузовым пароходом в Индийском океане. Два сморщенных желтых едва бормочущих скелета с остекленевшими глазами, находившиеся на нем, признавали власть третьего, который заявил, что его имя Браун: его-де шхуна, шедшая на юг и груженная яванским сахаром, дала течь и затонула. Из команды в шесть человек спаслись он и его спутники. Эти двое умерли на борту парохода, который их подобрал, Браун дожил до встречи со мной, и я могу засвидетельствовать, что свою роль он сыграл до конца.

Видимо, покидая остров, они не подумали о том, чтобы оставить Корнелиусу его каноэ. Са-

мого Корнелиуса Браун отпустил перед началом стрельбы, дав ему на прощание пинка. Тамб Итам, восстав из мертвых, увидел, как Корнелиус бегает по берегу, между трупами и угасающими кострами. Он тихонько подвывал. Вдруг он бросился к воде и, напрягая все силы, попытался столкнуть в воду одну из лодок буги.

— Потом, до тех пор пока он меня не увидел, — рассказывал Тамб Итам, — он стоял, глядя на тяжелое каноэ и почесывая голову.

— Ну а что сталось с ним? — спросил я.

Тамб Итам, пристально глядя на меня, сделал выразительный жест правой рукой.

— Дважды я ударил, тюан, — сказал он. — Увидев, что я приближаюсь, он бросился на землю и стал громко кричать и брыкаться. Он визжал, словно испуганная курица, пока не подошла к нему смерть; тогда он успокоился и лежал, глядя на меня, а жизнь угасала в его глазах.

Покончив с этим, Тамб Итам мешкать не стал. Он понимал, как важно первым прибыть в форт с этой страшной вестью. Конечно, многие из отряда Даина Уориса остались в живых; но одни, охваченные паникой, переплыли на другой берег, другие скрылись в зарослях. Дело в том, что они не знали в точности, кто нанес удар… не явились

ли еще новые белые грабители, не захватили ли они уже всю страну? Они считали себя жертвами великого предательства, обреченными на гибель. Говорят, иные вернулись лишь три дня спустя. Однако некоторые тотчас же постарались вернуться в Патюзан, и одно из каноэ, сторожив-ших в то утро на реке, в момент атаки находилось в виду лагеря. Правда, сначала люди попрыгали за борт и поплыли к противоположному берегу, но потом они вернулись к своей лодке и, перепуган-ные, пустились вверх по течению. Этих людей Тамб Итам опередил на час».

Глава XLV

«Когда Тамб Итам, бешено работая веслом, приблизился к городу, женщины, столпившиеся на площадках перед домами, поджидали возвращения маленькой флотилии Даина Уориса. Город имел праздничный вид; там и сям мужчины, все еще с копьями или ружьями в руках, прохаживались или группами стояли на берегу. Китайские лавки открылись рано, но базарная площадь была пуста, и караульный, все еще стоявший у форта, разглядел Тамб Итама и криком известил остальных. Ворота были раскрыты настежь. Тамб Итам выпрыгнул на берег и стремглав побежал во двор. Первой он встретил девушку, выходившую из дому.

Тамб Итам, задыхающийся, с дрожащими губами и безумными глазами, стоял перед ней, словно оцепенелый, и не мог выговорить ни слова. Наконец он быстро сказал:

— Они убили Даина Уориса и еще многих!

Она сжала руки, первые ее слова были:

— Закрой ворота!

Многие из находившихся в крепости разошлись по своим домам, но Тамб Итам привел в дви-

жение тех, кто держал караул внутри. Девушка стояла посреди двора, а вокруг метались люди.

— Дорамин! — с отчаянием вскричала она, когда Тамб Итам пробегал мимо. Снова с ней поравнявшись, он крикнул ей, словно отвечая на ее немой вопрос:

— Да. Но весь порох у нас.

Она схватила его за руку и, указывая на дом, шепнула дрожа:

— Вызови его.

Тамб Итам взбежал по ступеням. Его господин спал.

— Это я, Тамб Итам! — крикнул он у двери. — Принес весть, которая ждать не может.

Он увидел, как Джим повернулся на подушке и открыл глаза. Тогда он выпалил сразу:

— Тюан, это день несчастья, проклятый день!

Его господин приподнялся на локте, так же точно, как сделал это Даин Уорис. И тогда Тамб Итам, стараясь рассказывать по порядку и называя Даина Уориса „Панглима“, заговорил:

— И тогда Панглима призвал старшину своих гребцов и сказал: „Дай Тамб Итаму поесть“…

Как вдруг его господин спустил ноги на пол и повернулся к нему; лицо его было так искажено, что у того слова застряли в горле.

— Говори! — крикнул Джим. — Он умер?

— Да будет долгой твоя жизнь! — воскликнул Тамб Итам. — Это было жестокое предательство. Он выбежал, услышав первые выстрелы, и упал…

Его господин подошел к окну и кулаком ударил в ставню. Комната залилась светом; и тогда твердым голосом, но говоря очень быстро, он стал отдавать распоряжения, приказывал немедленно послать в погоню флотилию лодок, приказывал пойти к такому-то и такому-то человеку, разослать вестников; не переставая говорить, он сел на кровать и наклонился, чтобы зашнуровать ботинки; потом вдруг поднял голову.

— Что же ты стоишь? — спросил он; лицо у него было багровое. — Не теряй времени.

Тамб Итам не шевельнулся.

— Прости мне, Тюан, но… но… — запинаясь, начал он.

— Что? — крикнул его господин; вид у него был грозный; он наклонился вперед, обеими руками цепляясь за край кровати.

— Небезопасно твоему слуге выходить к народу, — сказал Тамб Итам, секунду помешкав.

Тогда Джим понял. Он покинул один мир из-за какого-то инстинктивного прыжка, теперь

другой мир — созданный его руками — рушится над его головой. Небезопасно его слуге выходить к его народу! Думаю, именно в этот момент он решил встретить катастрофу так, как, по его мнению, только и можно было ее встретить; но мне известно лишь, что он, не говоря ни слова, вышел из своей комнаты и сел перед длинным столом, во главе которого привык улаживать дела своего народа, ежедневно возвещая истину, оживотворявшую, несомненно, его сердце. Никто не сможет вторично отнять у него покой.

Он сидел, словно каменное изваяние. Тамб Итам почтительно заговорил о приготовлениях к обороне. Девушка, которую он любил, вошла и обратилась к нему, но он сделал знак рукой, и ее устрашил этот немой призыв к молчанию. Она вышла на веранду и села на пороге, словно своим телом охраняя его от опасности извне.

Какие мысли проносились в его голове, какие воспоминания? Кто может ответить? Все погибло, и он — тот, кто однажды уклонился от своего долга, — вновь потерял доверие людей. Думаю, тогда-то он и попробовал написать — кому-нибудь — и отказался от этой попытки. Одиночество смыкалось над ним. Люди доверили ему свои жизни — и, однако, никогда нельзя было, как он

говорил, заставить их понять его. Те, что были снаружи, не слышали ни единого звука. Позже, под вечер, он подошел к двери и позвал Тамб Итама.

— Ну что? — спросил он.

— Много льется слез. И велик гнев, — сказал Тамб Итам.

Джим поднял на него глаза.

— Ты знаешь, — прошептал он.

— Да, Тюан, — ответил Тамб Итам. — Твой слуга знает, и ворота заперты. Мы должны будем сражаться.

— Сражаться! За что? — спросил он.

— За наши жизни.

— У меня нет жизни, — сказал он.

Тамб Итам слышал, как вскрикнула девушка у двери.

— Кто знает? — отозвался Тамб Итам. — Храбрость и хитрость помогут нам, быть может, бежать. Велик страх в сердцах людей.

Он вышел, размышляя о лодках и открытом море, и оставил Джима наедине с девушкой.

У меня не хватает мужества записать здесь то, что она мне открыла об этом часе, который провела с ним в борьбе за свое счастье. Была ли у него какая-нибудь надежда — на что он надеялся, чего

ждал — сказать невозможно. Он был неумолим, и в нарастающем своем упорстве дух его, казалось, поднимался над развалинами его жизни. Она кричала ему: „Сражайся!“ Она не могла понять. За что ему было сражаться? Он собирался по-иному доказать свою власть и подчинить роковую судьбу. Он вышел во двор, а за ним вышла, шатаясь, она, с распущенными волосами, искаженным лицом, задыхающаяся, и прислонилась к двери.

— Откройте ворота! — приказал он.

Потом, повернувшись к тем из своих людей, что находились во дворе, он отпустил их по домам.

— Надолго ли, Тюан? — робко спросил один из них.

— На всю жизнь, — сказал он мрачно.

Тишина спустилась на город после взрыва воплей и стенаний, пролетевших над рекой, как порыв ветра из обители скорби. Но шепотом передавались слухи, вселяя в сердца ужас и страшные сомнения. Грабители возвращаются на большом корабле, с ними много людей, и никому во всей стране не удастся спастись. То смятение, какое бывает при катастрофе, овладело людьми, и они шепотом делились своими подозрениями, поглядывая друг на друга, словно увидели зловещее предзнаменование.

Солнце клонилось к лесам, когда тело Даина Уориса было принесено в кампонг Дорамина. Четыре человека внесли его, завернутого в белое полотно, которое старая мать выслала к воротам, навстречу своему возвращающемуся сыну. Они опустили его к ногам Дорамина, и старик долго сидел неподвижно, положив руки на колени и глядя вниз. Кроны пальм тихонько раскачивались, и листья фруктовых деревьев шелестели над его головой. Когда старый накхода поднял наконец глаза, весь его народ во всеоружии стоял во дворе. Он медленно обвел взглядом толпу, словно разыскивая кого-то. Снова подбородок его опустился на грудь. Шепот людей сливался с шелестом листьев.

Малаец, который привез Тамб Итама и девушку в Самаранг, также находился здесь. Он — Дорамин — был „не так разгневан, как многие другие“, — сказал он мне, но поражен великим ужасом и изумлением „перед судьбой человеческой, которая висит над головами людей, словно облако, заряженное громом“.

Он рассказал мне, что, по знаку Дорамина, сняли покрывало с тела Даина Уориса, и все увидели того, кого они так часто называли другом белого Лорда; он не изменился, веки его были

слегка приподняты, словно он пробуждался от сна. Дорамин наклонился вперед, как человек, разыскивающий что-то упавшее на землю. Глаза его осматривали тело с ног до головы, быть может отыскивая рану. Рана была маленькая, на лбу; и ни слова не было сказано, когда один из присутствовавших нагнулся и снял серебряное кольцо с окоченевшего пальца. В молчании подал он его Дорамину. Унылый и испуганный шепот пробежал по толпе, увидевшей этот знакомый амулет. Старый накхода впился в него расширенными глазами, и вдруг из груди его вырвался отчаянный вопль — рев боли и бешенства, такой же могучий, как рев раненого быка; и величие его гнева и скорби, понятных без слов, вселило великий страх в сердца людей. После этого спустилась великая тишина, и четыре человека отнесли тело в сторону. Они положили его под деревом, и тотчас же все женщины, домочадцы Дорамина, начали протяжно стонать; они выражали свою скорбь пронзительными криками. Солнце садилось, и в промежутках между стенаниями слышались лишь высокие певучие голоса двух стариков, читавших нараспев молитвы из Корана.

Примерно в это время Джим стоял, прислонившись к пушечному лафету, и, повернувшись

спиной к дому, глядел на реку, а девушка в дверях, задыхающаяся словно после бега, смотрела на него через двор. Тамб Итам стоял неподалеку от своего господина и терпеливо ждал того, что должно произойти. Вдруг Джим, казалось погруженный в тихие размышления, повернулся к нему и сказал:

— Пора это кончать.

— Тюан? — произнес Тамб Итам, быстро шагнув вперед.

Он не знал, что имеет в виду его господин, но, как только Джим пошевельнулся, девушка вздрогнула и спустилась вниз, во двор. Кажется, больше никого из обитателей дома не было видно. Она слегка споткнулась и с полдороги окликнула Джима, который снова как будто погрузился в мирное созерцание реки. Он повернулся, прислонившись спиной к пушке.

— Будешь ты сражаться? — крикнула она.

— Из-за чего сражаться? — медленно произнес он. — Ничто не потеряно.

С этими словами он шагнул ей навстречу.

— Хочешь ты бежать? — крикнула она снова.

— Бежать некуда… — сказал он, останавливаясь, и она тоже остановилась, впиваясь в него глазами.

— И ты пойдешь? — медленно проговорила она.

Он опустил голову.

— А! — воскликнула она, не спуская с него глаз. — Ты безумен или лжив. Помнишь ли ту ночь, когда я умоляла тебя оставить меня, а ты сказал, что не в силах? Что это невозможно? Невозможно! Помнишь, ты сказал, что никогда меня не покинешь? Почему? Ведь я не требовала никаких обещаний. Ты сам обещал — вспомни!

— Довольно, бедняжка, — сказал он. — Не стоит того, чтобы меня удерживать…

Тамб Итам сказал, что, пока они говорили, она хохотала громко и бессмысленно. Его господин схватился за голову. Он был в обычном своем костюме, но без шлема. Вдруг она перестала смеяться.

— В последний раз… Будешь ты защищаться? — с угрозой крикнула она.

— Ничто не может меня коснуться, — сказал он с последним проблеском великолепного эгоизма.

Тамб Итам видел, как она наклонилась вперед, простерла руки и побежала к нему. Она бросилась ему на грудь и обвила его шею.

— Ах, я буду держать тебя — вот так! — кричала она. — Ты мой!

Она рыдала на его плече. Небо над Патюзаном было кроваво-красное, необъятное, струящееся, словно открытая рана. Огромное малиновое солнце приютилось среди вершин деревьев, и лес внизу казался черным, зловещим.

Тамб Итам сказал мне, что в тот вечер небо было грозным и страшным. Охотно этому верю, ибо знаю, что в тот самый день циклон пронесся на расстоянии шестидесяти миль от побережья, хотя в Патюзане дул только ленивый ветерок.

Вдруг Тамб Итам увидел, как Джим схватил ее за руки, пытаясь разорвать объятие. Она повисла на его руках, голова ее запрокинулась, волосы касались земли.

— Иди сюда! — позвал его Джим, и Тамб Итам помог опустить ее на землю. Трудно было разжать ее пальцы. Джим, наклонившись над ней, пристально посмотрел на ее лицо и вдруг бегом пустился к пристани. Тамб Итам последовал за ним, но, оглянувшись, увидел, как она с трудом поднялась на ноги. Она пробежала несколько шагов, потом тяжело упала на колени.

— Тюан! Тюан! — крикнул Тамб Итам. — Оглянись!

Но Джим уже стоял в каноэ и держал весло. Он не оглянулся. Тамб Итам успел вскарабкаться

вслед за ним, и каноэ отделилось от берега. Девушка, сжав руки, стояла на коленях в воротах, выходящих к реке. Некоторое время она оставалась в этой умоляющей позе, потом вскочила.

— Ты лжец! — пронзительно крикнула она вслед Джиму.

— Прости меня! — крикнул он.

А она отозвалась:

— Никогда! Никогда!

Тамб Итам взял весло из рук Джима, ибо не подобало ему сидеть без дела, когда господин его гребет. Когда они добрались до противоположного берега, Джим запретил ему идти дальше, но Тамб Итам следовал за ним на расстоянии и поднялся по склону в кампонг Дорамина.

Начинало темнеть. Кое-где мелькали факелы. Те, кого они встречали, казались испуганными и торопливо расступались перед Джимом. Сверху доносились стенания женщин. Во дворе толпились вооруженные буги со своими приверженцами и жители Патюзана.

Я не знаю, что означало это сборище. Были ли то приготовления к войне, к мщению или к отражению грозившего нашествия? Много дней прошло, прежде чем народ перестал в трепете ждать возвращения белых людей с длинными

бородами и в лохмотьях. Отношение этих белых людей к *их* белому человеку они так и не могли понять. Даже для этих простых умов бедный Джим остается в тени облака.

Дорамин, огромный, одинокий и безутешный, сидел в своем кресле перед вооруженной толпой, на коленях его лежала пара кремневых пистолетов. Когда появился Джим, кто-то вскрикнул, и все головы повернулись в его сторону; затем толпа расступилась направо и налево, и Джим прошел вперед, между рядами не смотревших на него людей. Шепот следовал за ним; люди шептали:

— Он принес все это зло… Он — злой колдун…

Он слышал их — быть может!

Когда он вошел в круг света, отбрасываемого факелами, стенания женщин внезапно смолкли. Дорамин не поднял головы, и некоторое время Джим молча стоял перед ним. Потом он посмотрел налево и размеренными шагами двинулся в ту сторону. Мать Даина Уориса сидела на корточках возле тела у головы сына; седые растрепанные волосы закрывали ее лицо. Джим медленно подошел, взглянул, приподняв покров, на своего мертвого друга; потом, не говоря ни слова, опустил покрывало. Медленно вернулся

он назад.

— Он пришел! Он пришел! — пробегал в толпе шепот, навстречу которому он двигался.

— Он взял ответственность на себя, и порукой была его голова, — раздался чей-то громкий голос.

Он услышал и повернулся к толпе:

— Да. Моя голова.

Кое-кто отступил назад. Джим ждал, стоя перед Дорамином, потом мягко сказал:

— Я пришел в скорби.

Он снова замолчал.

— Я пришел, — повторил он. — Я готов и безоружен…

Грузный старик, опустив, словно бык под ярмом, свою массивную голову, попытался подняться, хватаясь за кремневые пистолеты, лежавшие у него на коленях. Из горла его вырывались булькающие хриплые нечеловеческие звуки; два прислужника поддерживали его сзади. Народ заметил, что кольцо, которое он уронил на колени, упало и покатилось к ногам белого человека. Бедный Джим глянул вниз, на талисман, открывший ему врата славы, любви и успеха в этих лесах, окаймленных белой пеной, на этих берегах, которые под лучами заходящего солнца

похожи на твердыню ночи. Дорамин, поддерживаемый с обеих сторон, покачивался, шатался, стараясь удержаться на ногах; в его маленьких глазках застыли безумная боль и бешенство; они злобно сверкали, и это заметили все присутствующие. Джим, неподвижный, с непокрытой головой, стоял в светлом круге факелов и смотрел ему прямо в лицо. И тогда он, тяжело обвив левой рукой шею склоненного юноши, решительно поднял правую руку и выстрелил в грудь другу своего сына.

Толпа, отступившая за спиной Джима, как только Дорамин поднял руку, после выстрела ринулась вперед. Говорят, что белый человек бросил направо и налево, на все эти лица гордый, непреклонный взгляд. Потом, подняв руку к губам, упал ничком — мертвый.

Это конец. Он уходит в тени облака, загадочный, забытый, непрощенный, такой романтический. В самых безумных отроческих своих мечтах не мог он представить себе соблазнительное видение такого изумительного успеха. Ибо очень возможно, что в тот краткий миг, когда он бросил последний гордый и непреклонный взгляд, он увидел лик счастья, которое, подобно восточной невесте, приблизилось к нему под покрывалом.

Но мы можем видеть его, видеть, как он — неведомый завоеватель славы — вырывается из объятий ревнивой любви, повинуясь знаку, зову своего возвышенного эгоизма. Он уходит от живой женщины, чтобы отпраздновать жестокое свое обручение с призрачным идеалом. Интересно, вполне ли он удовлетворен теперь? Нам следовало бы знать. Он — один из нас, — и разве не поручился я однажды, как вызванный к жизни призрак, за его вечное постоянство? Разве я уж так ошибся? Теперь его нет, и бывают дни, когда я с ошеломляющей силой ощущаю реальность его бытия; и, однако, клянусь честью, бывают и такие минуты, когда он уходит от меня, словно невоплощенный дух, блуждающий среди страстей этой земли, готовый покорно откликнуться на призыв своего собственного мира теней.

Кто знает? Он ушел, так до конца и не разгаданный, а бедная девушка, безмолвная и безвольная, живет в доме Штейна. Штейн очень постарел за последнее время. Он сам это чувствует и часто говорит, что „готовится оставить все это… оставить все это…“ — и грустно указывает рукой на своих бабочек».

Ностромо

Посвящается Джону Голсуорси

В тяжелых тучах небо: грянет буря.

Шекспир, Король Джон VI, 2, 108. Перевод Н. Рыковой



От автора

Из всех больших романов, которые я написал после того, как был опубликован сборник рассказов «Тайфун», ни один не создавался с таким напряженным усилием мысли, как «Ностромо».

Это вовсе не значит, что я ощутил, будто в моем мировоззрении возникли перемены и мои творческие задачи представились мне в ином свете. Возможно, перемен вообще не намечалось, не считая той единственной, загадочной, никак не связанной с теориями искусства: сам процесс вдохновения, чудилось мне, стал другим; но перемена эта произошла бессознательно, мой разум не был к ней причастен. И лишь одно меня до некоторой степени тревожило: как только я закончил последний рассказ, у меня почему-то возникло ощущение, будто писать больше совершенно не о чем.

Это странное ощущение, гнетущее и пугающее, длилось недолго; а затем, как не раз бывало, когда я задумывал роман или повесть, передо мною возник первый проблеск замысла в виде случайно всплывшего в памяти эпизода, полностью пока еще лишенного ценных для писателя

подробностей.

Дело в том, что в 1875 или 76 году, будучи очень молодым и находясь в Вест-Индии, а точнее в Мексиканском заливе, ибо мое знакомство с сушей, куда я заглядывал редко и ненадолго, было весьма поверхностным, я услышал историю о человеке, которого подозревали в том, что он где-то на побережье Тьерра-Фирме, воспользовавшись вспыхнувшим в стране мятежом, украл груженный серебром баркас.

Малый этот был, по-видимому, не промах. Но я не знал подробностей, к тому же не испытывал интереса к преступлениям, совершенным из низменных побуждений, и история эта, конечно, вскоре вылетела у меня из головы. Я вспомнил ее лишь спустя двадцать шесть или двадцать семь лет, когда вдруг наткнулся на нее, читая потрепанную книжку, которую случайно увидел на книжном развале подле лавки букиниста. Это было жизнеописание американского матроса, написанное им самим с помощью какого-то журналиста. Во время своих странствий этот матрос несколько месяцев проплавал на борту шхуны, шкипером и владельцем которой был тот самый вор, чью историю я слышал в ранней юности. Сомнений в этом у меня не было ни малейших,

поскольку едва ли две столь необычные и сходные авантюры могли совершиться в одних и тех же краях, да притом еще под покровом событий, вызванных какой-то из южноамериканских революций.

Этому субъекту и впрямь удалось украсть груженный серебром баркас, причем, кажется, исключительно потому, что ему безоговорочно доверяли хозяева, люди, как видно, на редкость непроницательные. Матрос изобразил его в своем жизнеописании как отъявленного негодяя, заурядного проходимца, мерзкое, угрюмое существо, отличающееся тупой жестокостью и отталкивающей наружностью и никоим образом не заслуживающее щедрой награды, которой одарила его судьба. Любопытно, что он открыто похвалялся своим «подвигом».

Он говорил: «Все считают, что я на этой шхуне зарабатываю чертову гибель денег. Не деньги это, а пустяки. О них и говорить не стоит. Зато время от времени я потихоньку ухожу на берег и приношу серебряный слиток. Богатеть-то я должен медленно… вот в чем суть».

И еще один любопытный штришок выплыл из рассказов об этом человеке. Однажды наш матрос поссорился со шкипером и пригрозил ему: «А

что мне помешает рассказать на берегу всю эту историю насчет краденого серебра?»

Его слова нисколько не встревожили мерзавца. Наоборот, он просто расхохотался. «Дурень ты, если ты вздумаешь болтать обо мне что-нибудь подобное на берегу, ты получишь нож в спину. Здесь, в порту, каждый мужчина, женщина, ребенок — друг мне. И как ты докажешь, что этот баркас не затонул? Я ведь тебе не показывал, где спрятано серебро. Стало быть, ты ничего не знаешь. А вдруг я все наврал? Что тогда?»

Кончилось тем, что матрос, возмущенный наглым бесстыдством нераскаявшегося преступника, покинул шхуну. В его воспоминаниях весь эпизод занимает около трех страниц. Пустяк, казалось бы, но, пока я просматривал эти страницы, неожиданное подтверждение нескольких слов, случайно услышанных мною в ранней юности, пробудило память о тех далеких временах, когда все было так свежо, так поразительно, так романтично, так интересно: чужие берега, мелькавшие под огромными южными звездами, тени гор в потоке солнечных лучей, бурные страсти, разгоравшиеся в сумерках, полузабытые слухи, поблекшие лица…

Как знать, как знать, может быть, и осталось

еще что-нибудь в этом мире, о чем стоило бы написать. Впрочем, сама история не вдохновляла меня поначалу. Мошенник похитил огромное богатство, ценный груз. Так утверждают… может быть, справедливо, а может быть, и нет; во всяком случае, это утверждение само по себе ценности не представляет. Меня не тянуло изобретать во всех подробностях обстоятельства грабежа, мое литературное призвание было совсем иного рода. И лишь когда в моем сознании мелькнула мысль, что похититель вовсе не обязан быть прожженным жуликом, что он, возможно, даже человек незаурядный, способный совершать решительные поступки, а может быть, и жертва внезапных перемен, наступивших в ходе революции, лишь тогда передо мной, как в полумраке, возникла какая-то страна, которой впоследствии предстояло сделаться провинцией Сулако, высокие сумрачные хребты Сьерры и подернутая дымкой равнина — безмолвные свидетели событий, порожденных страстями людей, слепых в своем стремлении к добру и злу.

Именно так начало вырисовываться из небытия происхождение «Ностромо»… романа «Ностромо». Полагаю, с этого момента вопрос был решен. Но и тогда я еще колебался, будто ин-

стинкт самосохранения удерживал меня от того, чтобы пуститься в дальний трудный путь по стране, где в изобилии плелись интриги, вспыхивали революции и мятежи. Тем не менее я должен был это сделать.

Я просидел за работой почти полностью 1903 и 1904 годы; неоднократно прерывал ее, охваченный боязнью затеряться в необозримых просторах, расстилавшихся передо мной все шире, по мере того как я все больше узнавал об этой стране. К тому же часто, когда, как мне казалось, запутанные политические обстоятельства республики заводили меня в тупик, я, фигурально выражаясь, укладывал свой чемодан, удирал для перемены обстановки из Сулако и писал несколько страниц романа «Зеркало морей». Однако в основном, как я уже сказал, мое пребывание в Латинской Америке, славящейся своим гостеприимством, продолжалось около двух лет. По возвращении я нашел (выражаясь в стиле капитана Гулливера), что мое семейство благоденствует, супруга моя весьма довольна, что всем неурядицам пришел конец, а наш сынок порядком подрос за время моего отсутствия.

Главным источником истории Костагуаны послужил, разумеется, труд, который создал мой

досточтимый друг, покойный дон Хосе Авельянос, посол при дворах Англии, Испании и пр. и пр., автор беспристрастной и красноречивой «Истории пятидесяти лет бесправия». Этот труд опубликован не был — читатель поймет почему, — таким образом получилось, что я единственный человек на свете, знакомый с его содержанием. Долгие, долгие часы глубокого раздумья посвятил я его изучению, и, надеюсь, в моей точности никто не усомнится.

Желая быть справедливым по отношению к себе и рассеять недоверие будущих читателей, прошу позволения подчеркнуть, что приводимые в романе немногочисленные ссылки исторического характера сделаны отнюдь не для того, чтобы выставить напоказ знания, которыми располагаю только я. Нет, причина в том, что каждая из этих ссылок имеет непосредственное отношение к повествованию: она либо проливает свет на истинную суть текущих событий, либо связана с судьбою тех людей, о которых я здесь рассказываю.

Что же касается обстоятельств их жизни, я старался обрисовать всех — аристократию и простонародье, мужчин и женщин, латиноамериканца и англосакса, бандита и политического

деятеля со всем возможным беспристрастием, какое допускали пыл и смятение моих собственных противоречивых чувств. К тому же и роман рассказывает о противоречиях между его героями. Пусть уж сам читатель разберется, в какой мере заслуживают внимания их поступки и тайные стремления сердец, вынесенные на его суд неумолимым временем. Для меня же время, о котором я пишу, это время верной дружбы и незабвенного гостеприимства. И полный благодарности, я должен здесь упомянуть миссис Гулд, «Первую леди Сулако», которую мы можем со спокойной душой вверить тайной преданности доктора Монигэма, а также Чарлза Гулда, идеалиста, создателя материальных благ, которого надлежит предоставить рудникам Сан-Томе, с ними он связан навечно.

Что касается Ностромо, второго из двух моих героев, порабощенных рудниками и в то же время так непохожих друг на друга из-за различия национальных черт и принадлежности к разным общественным кругам, я чувствую себя обязанным кое-что добавить.

Я не колеблясь сделал главного героя итальянцем. Во-первых, это вполне правдоподобно: Западная провинция в то время была наводнена итальянцами, в чем может убедиться любой,

кто продолжит чтение этой книги; а во-вторых, никто, кроме него, не смог бы так подружиться с Джорджо Виолой, гарибальдийцем, идеалистом, каких рождали гуманистические революции тех времен. Мне же самому был нужен человек из народа, свободный, сколь возможно, от классовых условностей и устоявшегося образа мыслей. Не считайте это выпадом против условностей. Мною руководили не моральные, а творческие побуждения. Будь он англичанином, он непременно попытался бы принять участие в местной политической игре. Однако Ностромо не старается занять ведущее положение. Он не хочет возвыситься над массами. Ему достаточно чувствовать себя силой… внутри народа.

Главным же образом Ностромо стал таким, каков он есть, потому, что возник в моем воображении еще в те времена, когда я совсем молодым впервые столкнулся с матросами, плавающими по Средиземному морю. Читатели, знакомые с другими страницами, вышедшими из-под моего пера, без труда поймут меня и согласятся, что Доминик, хозяин «Тремолино», мог бы превратиться при сходных обстоятельствах в Ностромо. Во всяком случае, Доминик прекрасно понял бы причины его поступка… хотя, возможно, не одоб-

рил бы их. Мы с ним ввязались в одно довольно нелепое приключение, но дело не в его нелепости. Важно, что даже в ранней юности я сумел вселить в этого человека верность с привкусом горечи и преданность с оттенком иронии. Многое из того, что говорит Ностромо, я сперва услышал произнесенное голосом Доминика. Положив руку на румпель и окидывая горизонт бесстрашным взглядом из-под капюшона, который затенял его лицо, словно монашеский клобук, Доминик любую свою речь, продиктованную мудростью ожесточения, начинал привычной фразой, произносимой с желчной интонацией: «Vous autres gentilshommes!»[33]; она и поныне звучит в моих ушах. Как Ностромо! «Вы, hombres finos!»[34] Совсем как Ностромо! Но корсиканец Доминик в известной мере сохранил сословную гордость потомка старинного рода, а Ностромо был свободен от нее, ибо он происходил из еще более древнего рода. Груз бесчисленных поколений влачил он за собой, но не имел родословной, которой мог бы кичиться… так же, как народ.

---

[33] Примечания: 33

«Вы, благородные господа!» *(фр.) (Здесь и далее примечания переводчика.)*

[34] Примечания: 34

«Благородные господа!» *(исп.)*

В унаследованной им от народа прочной связи с землей, в щедрости и беспечности, в той легкости, с которой он расточал дарованные ему природой таланты, в тщеславии мужества, в смутном ощущении своего величия, в глубокой безрассудной преданности чему-то, что вселяло в него и отчаянность и отчаяние, во всех этих свойствах — он истинный Сын Народа, воплощение его независливой силы, стремящейся не возглавлять, а управлять изнутри. Много лет спустя, когда знаменитый капитан Фиданца, прочно связанный с этой страной, сопровождаемый почтительными взглядами, шел мимо новых домов Сулако по многочисленным своим делам — навестить вдову каргадора[35], побывать в «ложе» местной свободолюбивой партии, где выслушивал, сам не говоря ни слова, анархические речи собравшихся, — негласный вдохновитель недавно зародившегося революционного движения, безупречный и преуспевающий «товарищ Фиданца», постоянно помнящий о своем тайном падении и терзаемый им, в самом главном по-прежнему оставался человеком из народа. И в смешанном чувстве любви к жизни и пре-

[35] Примечания: 35
Грузчик *(исп.)*.

зрения к ней, в страшной убежденности, что его предали, что он умирает преданный, а сам не знает толком, кем или чем, он и в этом Сын Народа, свято почитаемый «великий человек», но со своею собственной историей.

И еще одно лицо всплывает в памяти, когда я думаю о той мятежной поре, это лицо Антонии Авельянос, «прекрасной Антонии». Не берусь утверждать, что она воплотила собой тип юной уроженки Латинской Америки. В моих глазах — воплотила. Всегда чуть в тени, хотя рядом с отцом (моим досточтимым другом), надеюсь, она поможет придать вразумительность тому, что я хотел бы рассказать здесь. Из всех, кто наблюдал вместе со мной рождение Западной республики, лишь Антония мне постоянно напоминала: жизнь не кончается, она все время движется вперед. Антония, Аристократка, и Ностромо, Человек из Народа, — мастеровые, построившие новую эру, истинные создатели нового государства; он совершил свой мужественный, легендарный подвиг, она же просто оставалась сама собой, и в этом сила подлинной женщины, единственного существа, способного зажечь пламя искренней страсти даже в сердце ветреника Декуда.



Единственный, кто мог бы побудить меня вновь посетить Сулако (мне отвратительно думать о нем после того, как там произошли такие

перемены), — это Антония. И причина — зачем таиться? — заключается в том, что прототипом этой девушки явилась моя первая любовь. С каким трепетом мы, стайка долговязых школяров, приятели ее братьев, взирали на нее, недавнюю школьницу, почитая знаменосцем великого дела — главного дела всей нашей жизни, хотя лишь она одна умела с неугасимой надеждой хранить ему верность! Вероятно, она была более пылкой и не такой безмятежно спокойной, как Антония, но в то же время безупречной пуританкой патриотизма, без малейшего намека на суетность в мыслях.

Не я один был влюблен в нее; но именно мне чаще остальных приходилось выслушивать ее язвительные замечания по поводу моего легкомыслия, — совсем как бедняге Декуду, — ни на кого так часто не обрушивался град ее суровых неопровержимых обвинений. Она догадывалась о моих чувствах лишь смутно… впрочем, это не важно. В тот день, когда я, робкий, но дерзостный грешник, пришел к ней попрощаться навсегда, она пожала мне руку — и у меня заколотилось сердце, я увидел на ее щеке слезинку, — и у меня перехватило дыхание. Она смягчилась наконец, будто заметила внезапно (мы ведь были еще

совсем детьми!), что я и в самом деле уезжаю навсегда, что я очень далеко уезжаю… до самого Сулако, неведомого, скрытого от наших глаз непроницаемым туманом Гольфо-Пласидо[36].

Вот почему мне хочется порою бросить еще хоть один взгляд на «прекрасную Антонию» (а может быть, на ту, другую?), когда она тихо появляется в полумраке большого собора, читает краткую молитву у гробницы первого и последнего кардинала-архиепископа Сулако, стоит, охваченная благоговейной печалью, перед надгробным памятником дону Хосе Авельяносу и, бросив долгий, нежный, любящий взгляд на маленькую овальную мемориальную доску Мартину Декуду, тихо выходит на сверкающую солнцем площадь, стройная, с седой головой; последнее напоминание о прошлом, незамечаемое людьми, которые с нетерпением ожидают наступления новых эпох, прихода иных революций.

---

[36] Примечания: 36
Тихий залив *(исп.).*

Впрочем, это совсем уж пустые мечты; ибо я отлично понимаю, что с той минуты, когда жизнь покинула тело отважного капатаса[37] и Сына Народа, освободившегося наконец от тягот любви и богатства, мне больше нечего делать в Сулако.

Дж. К.

Октябрь 1917

---

[37] Примечания: 37

Десятник, старшóй *(исп.).*

Часть первая
Серебряные рудники
Глава I

В эпоху испанского владычества и в течение долгих лет после его окончания город Сулако — о древности его происхождения свидетельствует пышная краса расположенных в нем апельсиновых садов — в коммерческом отношении представлял собой обычный порт, ведущий довольно оживленную торговлю товарами местного происхождения: индиго и воловьими шкурами. Громоздким глубоководным галеонам завоевателей, способным плыть только при сильном ветре и останавливающимся там, где продолжают двигаться современные остроносые суда, для которых достаточно даже легкого ветерка, не удавалось добраться до Сулако, ибо в огромном заливе, раскинувшемся перед портом, постоянно царило безветрие. Существуют гавани, куда трудно проникнуть из-за коварно скрытых под водою рифов и бушующих у берега бурь. Порт Сулако ограждала от соблазнов заокеанской торговли нерушимая тишь залива Гольфо-Пла-

сидо, глубокие воды которого были окольцованы полукружием высоких гор в траурных завесах облаков, — нечто вроде исполинского храма, лишенного крыши и смыкающегося с океаном.

Этот единственный огромный изгиб на ровном, как стрела, побережье республики Костагуана завершается с одной стороны отрогом гряды прибрежных гор, образующим небольшой мыс под названием Пунта-Мала[38]. С середины залива мыс не виден вообще; но крутой склон горы, от которой он отходит, различить все же можно, хотя и с трудом — он легкой тенью выделяется на небосклоне.

С противоположной стороны залива на ослепительной синеве горизонта маячит нечто напоминающее голубоватое туманное пятно. То полуостров Асуэра — причудливый хаос острых скал и каменистых уступов, прорезанных глубокими ущельями. Он глубоко вдается в море, словно грубо очерченная каменная голова, соединенная с лесистым побережьем тонким перешейком — песчаной полосой, покрытой зарослями колючего кустарника. Совершенно безводный, ибо каждый ливень немедля стекает

---

[38] Примечания: 38
Скверный мыс *(исп.).*

по каменистым склонам в море, — ведь не зря говорят: на полуострове Асуэра так мало земли, что там трудно вырасти даже травинке, — словно какое-то заклятие полностью оголило его.

Бедняки, движимые неосознанным стремлением связать воедино такие понятия, как богатство и зло, утверждают, будто Асуэра бесплодна из-за спрятанных на ней сокровищ. Простой народ, живущий в этой части побережья, пеоны[39] из ближних деревень, вакеро[40] с прибрежных равнин, мирные индейцы, приходящие издалека на рынок, чтобы продать там за три пенса связку сахарного тростника или большую корзину маиса, — все они знают о грудах золота, которые скрыты в глубине ущелий, рассекающих каменистые уступы Асуэры. В старые времена, гласит молва, немало искателей кладов встретили там свою гибель. Существует и более недавний рассказ о двух бродягах-матросах, — возможно, они были «американо» и уж во всяком случае гринго[41], — столковавшихся с каким-то парнем,

---

[39] Примечания: 39
Батрак, поденщик, чернорабочий *(исп.)*.

[40] Примечания: 40
Пастух *(исп.)*.

[41] Примечания: 41
Иностранец (*исп.*; употребляется в Латинской Америке).

бездельником и игроком, рассказ о том, как эти трое украли где-то осла, нагрузили на него вязанку хвороста, бурдюк с водой и запас провизии на несколько дней. Снарядившись таким образом, с револьверами у пояса, они пустились в путь по перешейку, и заросли колючего кустарника затрещали под ударами их мачете.

На следующий вечер в небе над остроконечным хребтом Асуэры впервые, как гласит молва, показались полупрозрачные клубы дыма, спиралью подымающиеся ввысь (несомненно от костра, который развели наши искатели кладов). Команда каботажного судна, задержанного штилем в трех милях от побережья, таращилась на них до темноты. Чернокожий рыбак, живущий в уединенной хижине на берегу расположенной неподалеку маленькой бухты, тоже заметил, как повалил дым, и счел его предвестником какого-то сверхъестественного явления. Он позвал жену, когда солнце уже почти коснулось горизонта. С недоверием, завистью и ужасом наблюдали они за чудесным знамением.

Нечестивые авантюристы после этого не подавали признаков жизни. Ни матросов, ни индейца, ни украденного осла больше никто и никогда не встречал. Что касается проводника — жителя

Сулако, — жена его уплатила за несколько заупокойных месс, да и четвероногому безгрешному созданию была, возможно, ниспослана смерть; зато оба гринго, полагают люди, до сих пор скитаются в каменных ущельях — неумирающие призраки, жертвы фатального успеха. Их души не могут расстаться с телами, стоящими в карауле над найденным кладом. Они богаты ныне, но алчут и жаждут — любопытная теория о призраках гринго, готовых вечно мучиться без воды и пищи, об еретиках, упорствующих в своей ереси, от которой добрый христианин давно отрекся бы и получил отпущение.

Таковы легендарные обитатели Асуэры, охраняющие ее зачарованные богатства; и тень на небосводе с одной стороны, а с другой — голубоватое круглое пятно тумана, проступающее на ослепительной синеве горизонта, отмечают две крайние точки дуги, опоясывающей залив, именуемый Гольфо-Пласидо, поскольку воды его ни разу еще не были потревожены сильным порывом ветра.

Едва лишь корабли, направляющиеся из Европы в Сулако, пересекут воображаемую линию между Пунта-Мала и Асуэрой, тотчас же могучие океанские ветры перестают надувать их паруса.

Здесь корабли эти становятся жертвой своенравных бризов, которые гоняют их порой туда-сюда часов по тридцать подряд. Раскинувшаяся перед глазами моряков гладь залива почти круглый год опоясана со стороны берега неподвижной и плотной стеной облаков. Редко выпадает солнечное утро, и тогда на смену облакам приходит другая тень. Лучи солнца прорываются из-за высокой зубчатой ограды Кордильер, ее темные вершины четко проступают в небесной синеве, крутые склоны высятся над величественным пьедесталом леса, заросли которого подходят к самой кромке воды. Среди темных вершин гордо вздымается белая глава Игуэроты. Гладкий снежный купол, словно черными точечками, испещрен нагромождениями огромных камней.

Позже, когда полуденное солнце изгоняет из залива отбрасываемую горами тень, начинают выползать облака, таившиеся до тех пор в долинах у подножья. Унылыми лохмотьями окутывают они голые утесы, торчащие над лесистой частью гор, укрывают вершины, набегают туманными полосами на снега Игуэроты. И вот уже не видно Кордильер, они словно распались на серые и черные туманные глыбы, которые медленно перемещаются к морю и растворяются

в прозрачном воздухе вдоль всей гряды под напором ослепительного полуденного зноя. Тающий мало-помалу облачный вал всегда стремится к середине залива, но редко ее достигает. Его съедает солнце, говорят моряки. Разве что иногда ненароком темная предгрозовая туча оторвется от облачной глыбы, стремительно промчится по заливу в открытое море за Асуэрой и там взорвется, с треском, с пламенем, словно некий зловещий пиратский корабль, вздувшись над горизонтом, заполонив все море.

Ночью облачная пелена слегка поднимается кверху и окутывает весь залив непроницаемой тьмой, в которой вдруг — то здесь, то там — раздается гул стремительного ливня, а потом столь же внезапно умолкает. Об этих облачных ночах над заливом есть даже поговорки — их придумывали моряки на всем западном побережье огромного континента. Небо, земля и море исчезают разом, когда Пласидо — говорят они — ложится спать, накрывшись своим черным пончо. Несколько звездочек под хмурым челом облачной громады мерцают тусклым светом, словно они робко выглядывают из темной пещеры. Когда корабль пробирается сквозь нагромождения облаков, под ногами не видно палубы, а над го-

ловой полощутся незримые паруса. Око самого Всевышнего, — добавляют моряки с угрюмым богохульством, — и то не разберет, каким делом заняты здесь человеческие руки; так что можно без опаски кликнуть дьявола себе на помощь, но и он не сумеет осуществить свои козни в такой кромешной тьме.

Весь берег вокруг залива обрывистый, крутой; там, где кончается полоса грозовых облаков, как раз напротив гавани Сулако, греются на жарком солнце три необитаемых островка, носящие название «Изабеллы».

Есть Большая Изабелла; есть круглый островок Малая Изабелла, и самый маленький из трех — Эрмоса[42].

Эрмоса возвышается над водой всего на один фут, от одного ее краешка до того, что напротив, не более семи шагов, и представляет она собой просто плоскую верхушку серого камня, от которой валит пар после дождя, словно она посыпана горячим пеплом, и на которую ни один смертный до захода солнца не рискнет ступить босой ногой. На Малой Изабелле стоит старая косматая пальма, сущая ведьма среди пальм — ствол толстый,

---

[42] Примечания: 42
Прекрасная *(исп.).*

кривой, весь в шипах, а над жестким песком шуршит жидкая сухая листва. На Большой Изабелле течет чистый родник, он берет начало в заросшей кустами лощине. Остров напоминает плоский изумрудно-зеленый клинок, на целую милю прорезавший гладь залива, а на острове, тесно прижавшись друг к другу, стоят два высоких дерева, и кроны их отбрасывают густую тень к подножью стройных и гладких стволов. Лощина тянется во всю длину острова и густо заросла кустарником, особенно с одной стороны — высокой, крутой и обрывистой, другая же, пологая, постепенно переходит в узкую полоску пляжа.

Если стоять на этом пляже, то прямо перед тобой на две мили расстилается бухта, так четко врезавшаяся в плавную линию побережья, словно ее вырубили топором, и заканчивается она гаванью Сулако. Бухта продолговатая, похожа на озеро. С одной ее стороны короткие лесистые отроги и долины Кордильер подступают под прямым углом к самому берегу; с другой — широкая панорама прибрежной равнины Кампо[43] простирается так беспредельно, что под пляшущим над ней маревом незаметно переходит в нечто

[43] Примечания: 43
Поле, открытое ровное место *(исп.).*

таинственное и туманное. Сам город Сулако — высокие стены, большой купол собора, ослепительно-белые сторожевые башни, там и сям виднеющиеся сквозь листву громадной апельсиновой рощи, — расположен между горами и равниной на некотором расстоянии от гавани и с моря не виден.

Глава II

Единственной приметой коммерческой деятельности, происходящей в порту, которую возможно рассмотреть, стоя на берегу Большой Изабеллы, является широкий и квадратный край деревянного пирса, воздвигнутого Океанской пароходной навигационной компанией (в просторечье ОПН) над мелкой частью залива вскоре после того, как было принято решение сделать Сулако одним из портов захода в республике Костагуана. На обширном побережье республики есть несколько гаваней, но, за исключением Каиты — очень важный порт, — это либо непригодные для пользования узкие, окруженные скалами заливы, как, например, находящаяся в шестидесяти милях к югу Эсмеральда, либо же просто рейды, ничем не защищенные от морско-

го ветра и капризов прибоя.

Возможно, те же атмосферные условия, которые в былые времена отгоняли от залива торговые корабли, побудили компанию ОПН вторгнуться в эту святая святых, оберегавшую мирное существование Сулако. Резвые бризы, слегка бороздящие исполинское полукружие залива, начинающееся от каменной головы Асуэры, не оказывают никакого противодействия силе пара, используемой превосходным флотом ОПН. Год за годом черные корпуса ее кораблей приближаются к берегу и удаляются от берега, входят в гавань и выходят из гавани, минуя Асуэру, минуя Изабеллы, минуя Пунта-Мала, не покоряясь ничему, кроме жесткой тирании расписания. Их имена, все взятые из мифологии, вошли в бытовой обиход на этом побережье, где никогда не правили боги Олимпа. «Юнона» знаменита здесь только комфортабельными каютами в средней части судна, «Сатурн» — радушным нравом капитана и роскошным салоном, сверкающим позолотой и белой краской, в то время как «Ганимед» предназначен главным образом для перевозки скота, почему его избегают отправляющиеся в каботажное плавание пассажиры. И даже самый невежественный индеец из самой захолустной

прибрежной деревушки знаком с «Цербером» — этот черный пароходик не блещет ни изяществом линий, ни удобством кают, но зато никогда не пройдет мимо населенного пункта, даже если это всего лишь несколько хижин, и упорно пробирается вдоль лесистых берегов, шныряет среди устрашающих рифов, коль скоро его миссия — скупать продукцию, пусть даже это натуральный каучук весом всего в три фунта в обертке из сухой травы.

И поскольку на судах этой компании, пожалуй, ни разу не было случая, чтобы затерялся даже крохотный сверток, не доехал до места телок или утонул пассажир, репутация ОПН считается в высшей степени надежной. Местные жители заявляют, что, вверив компании свои жизни и имущество, они чувствуют себя на воде гораздо спокойней, чем в собственных домах на суше.

Представитель ОПН в Сулако, он же главный управляющий всей костагуанской секцией, очень гордился доброй славой компании. Свои чувства он выражал фразой, буквально не сходившей с его уст: «Мы никогда не допускаем ошибок». По отношению к служащим компании это звучало суровым призывом: «Мы не имеем права допускать ошибки. Я ошибок тут не потерплю, а что там

Смит у себя вытворяет, мне до этого нет дела».

Смит, которого он ни разу в жизни не видел, тоже служил в этой компании и тоже старшим управляющим… в полутора тысячах миль от Сулако. «Слушать я не желаю о вашем Смите».

Затем, внезапно успокоившись, он с нарочитой небрежностью прекращал разговор: «Смит об этом континенте знает не больше, чем грудной младенец».

«Наш достойнейший сеньор Митчелл» — в деловых и официальных кругах Сулако; «Джо Кипяток» — для шкиперов, служащих на кораблях компании, капитан Джозеф Митчелл очень гордился своими фундаментальными познаниями о жителях, событиях и нравах этой страны (cosas de Costaguana)[44]. Среди последних он считал предельно неблагоприятными для нормальной деятельности компании частые смены правительства — результат мятежей, облеченных в форму военных переворотов.

Политическая обстановка в республике была в то время довольно бурной. Удалившиеся в изгнание приверженцы потерпевшей поражение партии каким-то чудом вновь появились

---

[44] Примечания: 44
Костагуанские события *(исп.).*

на побережье, доставленные пароходом, половина трюма которого была загружена легким огнестрельным оружием и боеприпасами. Это обстоятельство повергло капитана Митчелла в глубочайшее изумление, — он помнил, в какой глубокой нищете пребывали изгнанники после того, как обратились в бегство. По его словам, «похоже было, что у них не хватит даже денег на билет, чтобы уехать в другую страну». А он знал, что говорит, ибо в критический момент был призван спасти жизнь диктатора и нескольких чиновников, занимавших в Сулако при свергнутом режиме высокие посты: лидера партии, начальника таможни и шефа полиции. Бедный сеньор Рибьера (так звали диктатора), проиграв битву при Сокорро, отмахал по горным тропам восемьдесят миль в надежде опередить роковые вести, чего ему, конечно, не удалось осуществить, так как он ехал на хромом муле. Мало того, животное скончалось прямо под седлом, едва добравшись до Аламеды[45], где в промежутках между революциями по вечерам иногда играл военный оркестр. «Сэр, — с напыщенной серьезностью продолжал свое повествование

[45] Примечания: 45
Проспект; здесь: бульвар *(исп.).*

капитан Митчелл, — несвоевременная кончина этого мула привлекла внимание к злосчастному всаднику. Его опознали несколько дезертиров из армии диктатора, которые оказались в толпе негодяев, уже начавших бить окна в здании ратуши».

Ранним утром этого дня местные власти Сулако обратились с просьбой об убежище и обрели его в конторе компании ОПН — массивном здании, стоящем возле самого края пристани, — бросив город на милость мятежной толпы; и поскольку диктатор снискал жгучую ненависть населения, когда, пытаясь сохранить власть, был вынужден ввести весьма суровые законы о воинской повинности, его едва не разорвали на куски. По счастливому стечению обстоятельств оказавшийся рядом Ностромо — бесценный малый, — прихватив с собой нескольких итальянских рабочих, приехавших на прокладку Национальной центральной железной дороги, вырвал беднягу из рук толпы… во всяком случае, на время. А немного погодя капитан Митчелл на собственной гичке доставил беглецов на один из принадлежавших компании пароходов — им оказалась «Минерва», — к счастью, именно в этот момент входивший в порт.

Он сумел опустить на улицу всех этих джентль-

менов на веревке из дыры в задней стене конторы ОПН, а тем временем хлынувшая из города толпа растеклась по берегу и с воплями бесновалась у входа в здание. Капитану Митчеллу также пришлось со всей поспешностью прогнать через пирс своих подопечных; отчаянный рывок, когда на карту поставлена жизнь… и опять Ностромо, незаменимый малый (каких и одного на тысячу не встретишь), возглавив на сей раз отряд работающих на грузовых баркасах матросов, отстоял пирс от напора толпы, таким образом дав беглецам возможность добежать до гички, которая их дожидалась у конца пирса и на корме которой развевался флаг компании. В воздухе засвистели камни, пули, замелькали палки, бросали и ножи. Капитан Митчелл охотно демонстрировал длинный шрам, который пересекал его висок и левое ухо, след, оставленный насаженной на палку бритвой, — оружие, как он пояснял, весьма любимое «самым гнусным черномазым отребьем, проживающим в этих краях».

Капитан Митчелл, осанистый, пожилой человек, носил короткие бачки, высокие воротнички с заостренными концами, питал слабость к белым жилетам и под маской высокомерной сдержанности скрывал весьма общительный характер.

— Эти джентльмены, — повествовал он, выпучив глаза, — мчались, как кролики, сэр. Я сам бежал, как кролик. Некоторые виды смерти… э-э… неприемлемы для… э-э… для респектабельного человека. Они избили бы меня до смерти, сэр. Обезумевшая толпа, сэр, в подробности не вникает. Но Провидение послало нам защиту в лице моего «капатаса каргадоров», как называют его в городе, человека, которого я оценил по заслугам еще в ту пору, когда он служил просто боцманом на итальянском судне, на большом корабле из Генуи, одном из тех немногих европейских кораблей, что прибывали изредка в Сулако с различным грузом до постройки Национальной центральной. Он покинул свой корабль, так как подружился здесь с одной семьей, своими соотечественниками, весьма почтенным семейством, сэр, но полагаю также, движимый желанием занять более высокое общественное положение. Сэр, скажу вам не чинясь, я неплохо разбираюсь в людях. Я назначил его старши́м на наших грузовых баркасах и смотрителем порта. Не более того. Но не будь этого человека, сеньор Рибьера погиб бы. Этот Ностромо, сэр, человек редкостных достоинств, стал грозой всех наших городских воров. В это время в городе от них буквально не

было проходу, он кишел, кишмя кишел всевозможными ladrones[46] и matreros[47], ворами и убийцами, сбежавшимися к нам со всей провинции. Они нахлынули в Сулако еще за неделю до событий. Почуяли, что конец близок, сэр. В этой толпе убийц пятьдесят процентов составляли профессиональные бандиты из Кампо, но среди них не нашлось бы и одного, кто не слыхал о Ностромо. Что до нашего городского жулья, сэр, им достаточно было только увидеть его черные усы и белые зубы. Тут же душа в пятки уходила, сэр. Вот что значит сильная личность.

Утверждая, что Ностромо, и только Ностромо спас жизнь «этих джентльменов», он не грешил против истины. Но и сам капитан Митчелл покинул их, только когда увидел, как они, совершенно пав духом, перепуганные, запыхавшиеся, кипящие бессильной злобой, но в полной безопасности сидят на бархатных диванчиках в салоне первого класса «Минервы». До последнего мгновения капитан Митчелл, обращаясь к бывшему диктатору, именовал его «Ваше превосходительство».

---

[46] Примечания: 46
Воры, грабители *(исп.).*

[47] Примечания: 47
Разбойники *(исп.).*

— Я не мог поступить иначе, сэр. Человек этот был жалок, просто жалок: мертвенно-бледный, даже синий, весь в царапинах и синяках.

На сей раз «Минерва» так и не стала на якорь. По приказу капитана Митчелла она немедленно покинула порт. Груз, конечно, так и остался в трюме, а пассажиры, направлявшиеся в Сулако, разумеется, не пожелали покинуть пароход. Они слышали звуки выстрелов и ясно видели, что сражение происходит у самого берега. Потерпев фиаско у пирса, толпа все свои силы устремила в новом направлении, набросившись на здание таможни, унылое сооружение со множеством окон, имеющее такой вид, словно его не достроили до конца, и находящееся в двух сотнях ярдов от конторы ОПН. Кроме этих двух зданий, других в порту не имелось.

Приказав шкиперу «Минервы» высадить «этих джентльменов» в первом же порту за пределами Костагуаны, капитан Митчелл вернулся в гичке на берег посмотреть, что можно сделать, чтобы по возможности уберечь имущество компании. Как имущество компании, так и имущество железной дороги защищали европейцы, а именно сам капитан Митчелл и инженеры, занятые на постройке железной дороги; их поддерживали рабочие, ита-

льянцы и баски, отважно сплотившиеся вокруг англичан. Местные жители — портовые грузчики — также отлично себя показали, выполняя распоряжения своего капатаса. Завсегдатаи местных винных погребков, отпетые субъекты, в чьих жилах текла кровь весьма многих народностей, но преимущественно чернокожих, восторженно приветствовали благоприятную возможность свести счеты с другими посетителями тех же погребков, с которыми они находились в состоянии постоянной междоусобной борьбы. И не один из них во время стычки вдруг с ужасом обнаруживал прямо у себя перед лицом револьвер Ностромо... Их капатас — не чета всякому, говорили его люди, он любого видит насквозь и не унижается до брани, наоборот, гораздо больший страх внушает его невозмутимость. И подумать только! Возглавив их в тот день, он снизошел до того, что шутил — то с одним, то с другим.

Это настолько вдохновило их, что, говоря по правде, весь ущерб, который нанесли разбушевавшиеся бандиты, заключался в том, что они подожгли один — всего один! — штабель железнодорожных шпал, каковые, будучи пропитаны креозотом, горели очень хорошо. Главные атаки — на сортировочные станции, на контору ОПН

и прежде всего на таможню, где в кладовой хранились в сейфах несметные сокровища в виде серебряных слитков, — были отбиты полностью. Даже принадлежавшая старику Джорджо маленькая гостиница на полпути между городом и портом избегла потока и разорения не чудом, а по той причине, что сперва толпа о ней попросту забыла, воспламененная мыслью о сейфах, а потом уж останавливаться было недосуг. Слишком крепко жал на них Ностромо со своими каргадорес.

Глава III

Вот здесь, пожалуй, можно сказать, что он просто защищал свое. Едва Ностромо поселился на суше, его принял в свою семью как родного хозяин гостиницы, его земляк. Старый Джорджо Виола, генуэзец с седой косматой гривой и львиным лицом, часто называемый «гарибальдиец» (точно так же магометан именуют в честь их пророка), как раз и был, употребляя выражение капитана Митчелла, главой того весьма почтенного семейства, следуя дружескому совету которого Ностромо покинул корабль и решился попытать счастья в Сулако.

Презрение к толпе — черта не столь уж редкая у суровых республиканцев — послужило причиной того, что старик не обратил поначалу внимания на шум и крики. Он провел день как обычно: слонялся в комнатных туфлях по дому, пожимал плечами, что-то сердито и презрительно бурчал себе под нос по поводу лишенной политической основы природы мятежа. И внезапно был застигнут врасплох, когда толпа стала приближаться и окружила гостиницу со всех сторон. Бежать поздно, да к тому же куда бежать по огромной открытой равнине вместе с дорогой синьорой Терезой и двумя маленькими дочками? Тогда, забаррикадировав окна и двери, старик с угрюмым, непреклонным видом сел посредине полутемной столовой, держа в руках ружье. Жена уселась рядом с ним на другом стуле, шепотком благочестиво взывая ко всем святым.

Старый республиканец не веровал ни в святых, ни в молитвы и не придерживался, как он выражался, «церковной религии». Свобода и Гарибальди были его божествами; но он с терпимостью относился к женским «предрассудкам», хранил высокомерное молчание и в споры не вступал.

Обе его дочери — четырнадцатилетняя старшая

и младшая двенадцати лет, — сидя прямо на посыпанном песком полу, с двух сторон прижались к матери, уткнувшись в ее подол головенками, обе напуганные, но каждая по-своему: черноволосая Линда негодовала и сердилась, младшая же, белокурая Гизелла, растерялась, присмирела. Хозяйка, обнимавшая дочерей, отняла на время руки, перекрестилась, потом заломила их. Она простонала чуть громче:

— О, Джан Батиста, почему ты нас покинул? О! Почему же ты не с нами в этот час?

Она обращалась не к самому святому, а к Нострому, названному в его честь. И Джорджо, неподвижно сидевший около нее, не выдержал и отозвался на ее полные отчаяния возгласы.

— Утихомирься, женщина. Есть ли смысл в твоих словах? Он выполняет свой долг, — пробормотал он, на что синьора Тереза с живостью возразила, задыхаясь от негодования:

— А! Слышать этого я не желаю! Какой там долг? А перед женщиной, которая ему мать заменила, нет долга? Я на колени нынче утром стала перед ним: не уходи, Джан Батиста… останься с нами, Батистино… ты взгляни только на этих невинных детей!

Миссис Виола тоже была итальянкой, урожен-

кой Специи; будучи значительно моложе мужа, она уже достигла тем не менее средних лет. Из-за неблагоприятного для нее климата Сулако ее красивое лицо приобрело желтоватый оттенок. Говорила она звучным контральто. Когда, скрестив на груди руки и подпирая ими свой могучий бюст, она отчитывала приземистых толстоногих девушек-китаянок, которые стирали белье, ощипывали кур, толкли зерно в деревянных ступках среди глинобитных домиков и сараев на заднем дворе, ей порой случалось испустить столь негодующий, дрожащий, прямо-таки замогильный возглас, что дворовая собака, гремя цепью, опрометью бросалась в конуру. Луис, мулат цвета корицы, с темными толстыми губами под кудрявой порослью усов, подметавший кафе метлой из пальмовых листьев, невольно прерывал свое занятие, и по спине его пробегали мурашки. Он надолго застывал в неподвижности, зажмурив миндалевидные с поволокой глаза.

Таков был штат Каса-Виола[48], но все эти люди сбежали еще рано утром при первых звуках мятежа, предпочитая спрятаться где-нибудь на равнине, ибо не надеялись, что останутся в

---

[48] Примечания: 48

Каса — дом *(исп.).*

безопасности в доме; предпочтение, за которое их никоим образом нельзя было осуждать, поскольку в городе упорно ходили слухи — вполне возможно, и несправедливые, — что у гарибальдийца водятся деньги и он прячет их под глиняным полом на кухне. Пес, раздражительная, лохматая животина, то яростно лаял, то жалобно скулил возле черного хода, залезал в конуру и снова из нее выскакивал в зависимости от того, злость или страх двигали им в эту минуту.

Вокруг осажденного дома внезапно вспыхивали громкие вопли и замирали вдали, подобно бурному порыву ветра на равнине; резкие хлопки выстрелов становились все громче и заглушали крик. Иногда вдруг почему-то наступала тишина, и тогда удивительно милым, веселым покоем веяло от ярких нитей солнечного света, которые проникали в комнату сквозь щелки в ставнях и тянулись через всю столовую по сдвинутым со своих мест столам и стульям. Эту пустоватую с белеными стенами комнату старый Джорджо выбрал в качестве убежища. В ней было всего одно окно, и единственная дверь выходила на песчаный проселок, окаймленный зарослями алоэ, соединявший город и порт, и поэтому мимо гостиницы нет-нет да проезжали тяжеловесные

громоздкие скрипучие телеги, неторопливо влекомые упряжкой волов в сопровождении верхового погонщика.

Когда наступала тишина, Джорджо взводил курок. Зловещий звук этот исторгал тихий стон из уст застывшей рядом с Джорджо женщины. Внезапно у самого дома раздались угрожающие крики, а потом столь же внезапно перешли в приглушенное ворчанье. Кто-то бежал мимо гостиницы: на миг сквозь дверь прорвалось его тяжелое дыхание; они услышали, как вдоль стены топали чьи-то ноги, как кто-то хрипло бормотал себе под нос; потом задел плечом жалюзи, и исчезли яркие нити солнечного света, лежавшие от стены до стены. Синьора Тереза, обнимавшая дочек, которые стояли рядом с ней на коленях, судорожно прижала их к себе.

Толпа подонков, оттесненная от таможни, разбилась на несколько групп и отступала к городу по равнине. Иногда издали слышался приглушенный треск залпов и сразу вслед за ними — негромкие крики. В перерывах между залпами порою прозвучит одинокий выстрел, гостиница — невысокое, длинное белое здание с закрытыми ставнями — оказалась как бы в самом центре всей этой шумной, грозной суеты, которая

окружила притихший дом. Но вот какая-то обратившаяся в бегство шайка спряталась на время под прикрытием стены, и в темной комнате, так мирно и славно пестревшей нитями солнечного света, вдруг украдкой запылали огоньки зловещих звуков. Семья Виола явственно их слышала, словно сновавшие по комнате невидимые духи вполголоса переговаривались: мол, неплохо бы поджечь дом этого иностранца.

Выдержать это было тяжко. Старый Виола медленно встал, держа в руке ружье и сам не зная, как быть: ведь помешать им невозможно. А голоса уже раздавались под задней стеной. Синьора Тереза обезумела от ужаса.

— О, предатель! Предатель! — Почти беззвучно шептала она. — Нас сожгут тут, а я еще становилась перед ним на колени. Нет, он, видите ли, должен ублажать своих англичан, ни на шаг от них не отойдет.

Она, по-видимому, считала, что Ностромо одним своим присутствием ограждал дом от любой опасности. Иными словами, и донья Тереза свято верила в капатаса каргадоров, как верили в него, прославленного и неуязвимого, и в порту, и на железной дороге, и англичане, и коренные жители Сулако. Зато, разговаривая с ним, она, даже

рискуя вызвать недовольство мужа, неизменно делала вид, будто ей просто смешна эта вера, потешалась над ней, порой добродушно, чаще же с непонятной озлобленностью. Но ведь женщины в своих суждениях не отличаются последовательностью, невозмутимо говорил в подобных случаях ее супруг. А вот сейчас, держа ружье на изготовку и не спуская с забаррикадированной двери глаз, он наклонился к жене и еле слышно шепнул ей на ухо, что Ностромо все равно не удалось бы им помочь. Как могут двое находящихся в доме мужчин воспрепятствовать двадцати, а то и более находящимся вне дома и решившим его поджечь? Джан Батиста думает о них все время, он уверен.

— Он о нас думает! Он! — гневно вскричала синьора Виола. Она ударила себя ладонями в грудь. — Уж я-то его знаю. Ни о ком он не думает, кроме себя.

Тут несколько выстрелов грянуло совсем рядом, и синьора Тереза зажмурилась, запрокинув голову. Старый Джорджо стиснул зубы и яростно сверкнул глазами. Несколько пуль попало в стену дома, все в одно место — возле самого угла; со стуком упали на землю куски штукатурки; кто-то крикнул: «Идут!», миг напряженной тишины, и

у стены торопливо затопали ноги.

И только тогда наконец старый Джорджо спокойно выпрямился; презрительное облегчение промелькнуло в улыбке старого воина с львиным лицом. Это не борцы за справедливость, просто воры. Даже защищать свою жизнь от таких несколько унизительно для человека, входившего в «тысячу бессмертных»[49] Гарибальди во время освобождения Сицилии. Он с глубоким презрением относился к мятежу негодяев и мелких жуликов, даже не знавших значения слова «свобода».

Он опустил ружье и, обернувшись, бросил взгляд на портрет Гарибальди — цветную литографию в черной рамке, — яркий солнечный луч пересекал ее сверху донизу. Привыкшие к полутьме глаза Джорджо сразу увидели и смуглое лицо, и красную рубашку, и широкие плечи, и черное пятно над загорелым лбом — шляпа берсальера[50] с загнутым над тульей петушиным пером. Бессмертный герой! Он-то понимал,

---

[49] Примечания: 49

Революционный отряд во главе с Гарибальди, участвовавший в 1859–1860 гг. в освобождении юга Италии от Бурбонов.

[50] Примечания: 50

Солдат горных частей итальянской армии, специально натренированных в меткой стрельбе и форсированных маршах.

что такое «свобода»: людям даруется не только жизнь, но заодно и бессмертие.

Его фанатичная преданность этому человеку не уменьшилась с годами. Как только миновала опасность, быть может, самая страшная из всех, что грозили его семье за долгие годы их странствий, он прежде всего повернулся к портрету своего старого вождя и только после этого положил руку на плечо жены.

Девочки все так же неподвижно стояли на коленях. Синьора Тереза приоткрыла глаза, словно просыпаясь после тяжелого, глубокого сна без сновидений. И не успел он, как всегда нескорый на язык, вымолвить слово утешения, она вскочила, прижимая к себе детей, и, чуть не задохнувшись от волнения, хрипло закричала.

В тот же миг раздался оглушительный грохот: кто-то сильно ударил по ставне с внешней стороны. Всхрапнула лошадь, зацокали копыта на узкой утоптанной дороге перед домом; кто-то опять стукнул по ставне носком сапога, и опять звякнула шпора, а возбужденный голос кричал: «Эгей! Эгей! Есть там кто?»

Глава IV

Все утро Ностромо, даже находясь в самой гуще схватки у таможни, где страсти разыгрались сильнее всего, то и дело поглядывал на Каса-Виола. «Если оттуда повалит дым, — думал он, — значит они погибли». Поэтому, едва разогнав тех, кто пытался прорваться к таможне, он с небольшой группой рабочих-итальянцев ринулся вдогонку за бандитами, бежавшими к гостинице, поскольку проселок, у которого она стояла, был кратчайшим путем из порта в город. Негодяи, за которыми он гнался, казалось, решили обороняться, притаившись за углом гостиницы; их обратил в бегство залп — соратники Ностромо выстрелили одновременно из-за колючих зарослей алоэ. В просвете среди зарослей, где должна была пройти ведущая в гавань колея железной дороги, появился Ностромо верхом на серебристо-серой кобыле. Он с криком выстрелил вслед беглецам и галопом подскакал к окну столовой. Он догадывался, что старый Джорджо выберет в качестве убежища именно эту часть дома.

До них донесся его голос, задыхающийся, торопливый:

— Hola! Vecchio! O, vecchio![51] Как там у вас, все в порядке?

— Ты слышишь?.. — негромко обратился старик Виола к жене.

Но синьора Тереза молчала. Ностромо засмеялся:

— Сдается мне, хозяйка осталась в живых!

— Уж ты-то сделал все, чтобы я померла со страху, — крикнула в ответ синьора Тереза. Она хотела еще что-то добавить, но голос изменил ей.

Линда вскинула на мать укоризненный взгляд, но старый Джорджо тут же извинился за жену:

— Она немного расстроена, вот в чем дело.

Ностромо снова захохотал:

— Зато меня она не расстроит.

Тут синьора Тереза вновь обрела голос:

— А я что говорю? У тебя нет сердца… да и совести у тебя нет, Джан Батиста…

Они услышали, как он повернул лошадь. Его спутники намеревались продолжать погоню и возбужденно тараторили между собой на испанском и итальянском, подстрекая друг друга. Он

---

[51] Примечания: 51
Эй, старик! Старик! *(ит.)*

выехал вперед с криком: «Avanti!»[52]

— Не так-то долго он у нас пробыл. Еще бы, мы не иностранцы, от нас награды не дождешься, — усмехнувшись, произнесла синьора Тереза. — Avanti! Как же! Ему только этого и нужно. Быть первым где угодно… как угодно… всегда быть первым у своих англичан. А они показывают его друг дружке: «Вот наш Ностромо!» — Она недобро рассмеялась. — Ну и имечко! Да что оно значит? Ностромо! Дали человеку кличку, ведь у них даже и слова-то такого нет.

Старый Джорджо тем временем спокойно и неторопливо отворил дверь; в комнату хлынул поток света и озарил синьору Терезу с тесно прижавшимися к ней дочерьми; она была живописна — красивая женщина, охваченная порывом материнской любви. А сзади ослепительно-белая стена и литография, кричащие краски которой поблекли, залитые ярким светом солнца.

Старый Виола, стоя у дверей, поднял вверх руки, словно адресуя все мысли, сумбурно проносящиеся у него в мозгу, портрету вождя на стене. Даже стряпая для «signori inglesi»[53] — инжене-

---

[52] Примечания: 52
«Вперед!» *(ит.)*

[53] Примечания: 53
Господ англичан *(ит.)*.

ров (он был отменный повар, хотя работать ему приходилось в полутемной кухне), он ощущал на себе взгляд великого человека, того, под чьим командованием когда-то участвовал в славной битве, где чуть не рухнула навеки тирания, если бы не проклятые пьемонтцы, привыкшие к владычеству королей и попов. Если во время ответственнейшей операции с нарезанным луком вдруг загоралась сковородка и старый Джорджо с бранью выскакивал из кухни, задыхаясь от кашля в едком облаке дыма, имя Кавура[54] — подлого интригана, продавшегося тиранам и королям, — упоминалось вперемежку с проклятиями, извергаемыми на головы китаянок-подручных, кулинарии вообще и омерзительной страны, где он вынужден жить, так как любит всей душой задавленную предателем свободу.

В таких случаях синьора Тереза, красивая, чернобровая, вся в черном, возникала из других дверей, приближалась к мужу, осанистая и встревоженная, склонив голову, раскинув руки и проникновенно восклицая:

— Джорджо! Необузданных ты страстей че-

[54] Примечания: 54

Кавур Камилло Бенсо (1810–1861) — граф, государственный деятель эпохи воссоединения Италии, идеолог и лидер обуржуазившегося дворянства и умеренно либеральной монархической буржуазии.

ловек! Милость господня! На таком солнце! Он доведет себя до болезни!

Оказавшиеся у ее ног куры бросались врассыпную; а если в это время в город приезжали по делам инженеры с железной дороги, из окна бильярдной выглядывало лицо, явно принадлежащее молодому англичанину, а иногда и два таких лица; зато в другой части гостиницы, в столовой, мулат Луис прилагал все старания, чтобы остаться незамеченным. Молодые индианки, чья одежда состояла из сорочки и короткой юбки, а густые волосы напоминали струящуюся черную гриву, тупо таращились на хозяйку из-под квадратных челок, закрывавших весь лоб до бровей; но вот кипящий жир переставал скворчать, вредоносные пары, пронизанные светом солнца, устремлялись кверху, оставляя за собой только запах пережаренного лука, резкий и настолько стойкий, что он надолго застревал в горячем сонном воздухе у гостиницы; а вокруг неоглядные просторы прерий, протянувшиеся на запад так далеко, что казалось, огромная равнина между грядами гор, в пределы которой попадал и Сулако, и все побережье до бухты Эсмеральда[55],

[55] Примечания: 55
Изумрудная *(исп.).*

занимает полмира.

После внушительной паузы синьора Тереза укоризненно произносила:

— Ох, Джорджо, Джорджо! Забудь про Кавура да подумай лучше о себе, мы здесь такие одинокие, в чужой стране с двумя детишками, а все потому, что ты не можешь жить там, где правит король.

И, глядя на мужа, она иногда торопливо хваталась рукою за бок, ее тонкие губы сжимались в этот миг, и хмурились прямые черные брови — то ли боль, боль гнева, то ли гневная мысль тенью пробегала по красивым правильным чертам.

Это была боль; усилием воли она подавляла ее приступ. Впервые боль кольнула ее через несколько лет после того, как, покинув Италию, они эмигрировали в Америку и устроились наконец в Сулако, а сперва долго-долго кочевали из города в город, в надежде открыть где-нибудь лавку; попробовали также как-то в Мальдонадо заняться рыболовством, ибо Джорджо, подобно великому Гарибальди, был в свое время моряком.

Иногда синьоре Терезе казалось, она не в силах вынести эту боль. Ведь сколько лет она ее донимает, и уже как бы неотделима от местного ландшафта: равнины и сверкающего залива,

обрамленного лесистыми отрогами гор; даже солнце светит тускло, тяжко, эта тяжесть — тоже боль, — совсем не так оно светило в годы ее девичества, когда на берегу залива Специя немолодой уже Джорджо ухаживал за ней с угрюмой страстностью поздней любви.

— Джорджо, немедленно иди в дом, — приказывала она. — Можно подумать, у тебя нет даже капли жалости ко мне… а ведь у нас гостят четверо signori inglesi.

— Va bene, va bene[56], — бормотал Джорджо.

И послушно шел в дом. Signori inglesi и в самом деле скоро потребуют второй завтрак. Он был одним из бессмертных и непобедимых борцов за свободу, под натиском которых тирания развеялась, как мякина при первом дуновении урагана, un uragano terrible[57]. Но тогда у него еще не было ни жены, ни детей; и тираны еще не подняли вновь голову, и предатели еще не подвергли заточению Гарибальди, его героя и вождя.

В Каса-Виола со стороны фасада было три входных двери, и на пороге одной из них всегда сидел старик-гарибальдиец, сложив руки, скрестив

---

[56] Примечания: 56
Ладно, ладно *(ит.).*

[57] Примечания: 57
Ужасный ураган *(ит.).*

ноги, опираясь о косяк львиной головой с пышной копной седых волос, и разглядывал лесистые склоны предгорий и снежный купол Игуэроты. Дом отбрасывал длинную черную тень — прямоугольник, который слегка расширялся там, где проходила пыльная, разбитая воловьими копытами дорога. Из просветов в живой изгороди олеандров выбегали рядышком две сверкающие ленты ведущей в гавань железнодорожной ветки, временно проложенной по равнине, и, удаляясь, описывали дугу на пожухлой выжженной траве ярдах в шестидесяти от гостиницы. Вечерами порожние платформы товарных поездов огибали темно-зеленую рощу и, оставляя за собой белые, слегка волнистые струйки дыма, плывущие над равниной в сторону Каса-Виола, с грохотом уносились в расположенные близ порта депо. Машинисты-итальянцы приветственно махали хозяину гостиницы рукой, тормозные же рабочие-негры невозмутимо сидели у тормозов и глядели прямо перед собой — лишь ветер трепал широкие поля их шляп. В ответ Джорджо слегка кивал головой, руки же оставались неподвижно сложенными на груди.

В день мятежа он не сидел, сложив на груди руки. Рука его сжимала приклад лежавшего

на пороге ружья; и он ни разу не взглянул на белый купол Игуэроты, холодная чистота которого представлялась такой далекой от жаркой и знойной земли. Его глаза с любопытством оглядывали Кампо. То здесь, то там медленно оседали высокие столбы пыли. На безоблачном небе ослепительно сверкало солнце. Какие-то люди, сбившись кучками, бежали по равнине; иные вдруг останавливались; и не смолкал треск выстрелов, звучавших вразнобой, — в горячем неподвижном воздухе он смягчался и походил на журчание ручья. Во всю мочь мчались одинокие фигурки пеших беглецов. Налетали друг на друга верховые и, завертевшись волчком в короткой стычке, уносились в разные стороны во весь опор. Джорджо видел: вот на полном скаку внезапно упали и лошадь и всадник, исчезли, будто в пропасть провалились, и все перипетии боя на словно чудом ожившей равнине напоминали жуткую игру, которую вели между собой пешие и конные карлики, вопившие во всю мочь своих крохотных глоток у подножья горы, которая казалась исполинским символом тишины. Джорджо никогда еще не видел, чтобы на этом участке Кампо так бушевала, так кипела жизнь; он не мог единым взглядом охватить поле битвы;

заслонил рукой глаза, но внезапно вздрогнул: где-то совсем рядом земля загудела под ударами множества копыт.

Целый табун лошадей повалил изгородь и вырвался на волю из загона, принадлежавшего железнодорожной компании. Они помчались, словно смерч, и перемахнули через колею сплошным, разношерстным, бурливым потоком вороных, гнедых и серых спин, всхрапывая, взвизгивая, брыкаясь, вытянув шеи, выпучив глаза, раздувая ноздри, и длинные хвосты их развевались на бегу. Как только они очутились на дороге, густая туча пыли поднялась от их копыт, и уже в пятнадцати шагах от себя Джорджо видел лишь что-то коричневое, смутно мелькали шеи, крупы, тряслась земля.

Он закашлялся, отвернулся и покачал головой.

— Сегодня, еще до наступления темноты, будет новая забава — ловля диких лошадей, — пробормотал он.

В квадрате солнечного света, который падал в дверь, стояла на коленях синьора Тереза, склонив голову и сжимая ладонями гладко зачесанные, густые, черные, как вороново крыло, волосы, слегка тронутые сединой. Черная кружевная шаль, которой она обычно прикрывала лицо, сва-

лилась на пол. Девочки уже поднялись с колен, крепко держась за руки, обе в коротеньких юбках, с растрепанными головенками. Младшая торопливо заслонила глаза рукой, будто испугавшись яркого света. Линда обняла сестренку за плечи и бесстрашно смотрела прямо в раскрытую дверь. Старик Виола поглядел на дочерей.

В потоке солнечного света казались глубже все морщины на его лице, что придавало ему неподвижность статуи, невзирая на живое, энергическое выражение. Невозможно было догадаться, о чем он думает. Взгляд темных глаз скрывали густые кустистые брови.

— Ну! Мать молится, а вы-то что?

Линда насупилась, выпятив красные губки, — пожалуй, слишком красные; у нее были чудные глаза, карие, с золотистой искоркой, умные и выразительные и такие блестящие, что казалось, от них падает отблеск на худенькое, лишенное красок лицо. В темных волосах проглядывали бронзовые пряди, а из-за длинных угольно-черных ресниц лицо казалось еще бледнее.

— Мама опять поставит в церкви много, много свечей. Когда Нострómo где-нибудь сражается, она всегда их ставит. Я отнесу несколько свечек к алтарю Мадонны в соборе.

Линда произнесла все это быстро и с уверенностью, голосок ее звучал убедительно и оживленно. Потом, слегка тряхнув сестренку за плечо, добавила:

— Ей тоже придется отнести одну свечку!

— Почему «придется»? — поинтересовался Джорджо. — Разве ей не хочется поставить свечу?

— Она трусишка, — пояснила Линда и фыркнула. — Когда она с нами идет, все сразу замечают, что у нее светлые волосы. Кричат ей вслед: «Взгляните-ка на рыжую! На рыженькую поглядите!» Мы идем по улице, а они кричат. Она трусишка.

— Ну а ты? Ты не трусишка — так, что ли? — медленно произнося слова, спросил отец.

Она мотнула головой, откинув волосы со лба:

— Мне вслед никто ничего не кричит.

Старый Джорджо задумчиво и внимательно смотрел на девочек. Одна всего на два года старше другой. Поздние дети, они родились, когда прошло уже несколько лет после смерти сына. Если бы их сын не умер, он был бы сейчас примерно ровесником Джана Батисты… того самого, кого англичане называют Ностромо; но что касается дочерей, угрюмый нрав, преклонный возраст и власть воспоминаний помешали Виоле обращать

на них особое внимание. Он любил их, но дочери всегда принадлежат больше матери, чем отцу, к тому же почти весь пыл своего сердца он растратил на то, что боготворил свободу и служил ей.

Еще подростком он сбежал с торгового судна, шедшего с грузом в Ла-Плату, и в Монтевидео завербовался в уругвайскую эскадру, которой в те времена командовал Гарибальди. Позже в рядах итальянского легиона этой республики, восставшей против деспотического вмешательства Розаса[58], он на огромных равнинах и берегах громадных рек участвовал в сражениях столь жарких, каких, возможно, еще не знала мировая история. Люди, окружавшие его, витийствовали о свободе, страдали за свободу, умирали за свободу, самозабвенно и восторженно, а взгляд их был все время обращен в сторону угнетенной Италии. Так и его энтузиазм был взращен в кровавых битвах, в грохоте сражений, среди людей, посвятивших себя благородному делу, среди речей, преисполненных пафоса и пыла. Он сам выбрал себе вождя — воинствующего апостола Независимости — и никогда не покидал его, был с ним и в Америке, и

[58] Примечания: 58

Розас Хуан Мануэль (1793–1877) — диктатор аргентинской конфедерации. В начале 1850-х гг. активно вмешивался в политические дела Уругвая.

в Италии, вплоть до рокового дня, когда у подножия Аспромонте произошло событие, открывшее миру коварство королей, императоров и попов: его герой был ранен и взят в плен — чудовищная катастрофа, заставившая Джорджо усомниться в своей способности понять пути божественного промысла.

Что не мешало ему веровать, однако. Просто нужно набраться терпения, говорил он. Он не любил попов и не вошел бы в церковь ни за какие блага, но он веровал в Бога. Ведь все воззвания против тиранов были обращены к народу во имя Бога и Свободы. «Бог — для мужчин, религия — для женщин», — бормотал он порой. В Сицилии англичанин, попавший в Палермо после того, как оттуда были выведены королевские войска, подарил ему Библию на итальянском языке — издание Библейского общества Британии и заморских стран, большую книгу в темном кожаном переплете. В годы застоя, политического бездействия, когда революционеры не выступали с воззваниями, Джорджо зарабатывал себе на жизнь всем, что под руку подвернется, — служил матросом, грузчиком в генуэзском порту, нанялся однажды батраком на ферму в горах близ Специи — и в свободное от работы время неизменно изу-

чал толстый том в темной обложке. Он брал его в бой. Сейчас Библия стала единственной книгой, которую он читал, и, чтобы не лишать себя этой возможности (из-за мелкого шрифта), он согласился принять в подарок очки в серебряной оправе от сеньоры Эмилии Гулд, супруги англичанина, который управлял в горах, в трех лье от города, серебряными рудниками. Сеньора Эмилия была единственной англичанкой в Сулако.

Джорджо Виола очень уважал англичан. Это почтение, возникшее впервые в уругвайских битвах, не покидало его уже сорок лет. Он видел, и не раз, как англичане проливали свою кровь ради свободы в странах Америки, и особенно запомнил первого, с кем познакомился, — его звали Сэмюель; во время славной осады Монтевидео он командовал негритянской ротой в войсках Гарибальди и геройски погиб вместе со своими неграми при переправе через Бойану. Сам Джорджо получил тогда чин поручика и готовил еду для генерала. Позже, в Италии, в чине лейтенанта он разъезжал повсюду со штабом и по-прежнему стряпал для генерала. Он стряпал для него в продолжение всей ломбардской кампании; во время похода на Рим он добывал быков и коров на американский манер при помощи лассо; был

ранен, защищая Римскую республику; оказался в числе четырех беглецов, которые вместе с Гарибальди вынесли из леса бесчувственное тело его жены и спрятали ее на какой-то ферме, где она и умерла, измученная тяготами этого кошмарного отступления. Он пережил все это и по-прежнему оставался при генерале в Палермо, когда на город обрушились из замка ядра неаполитанцев. Он стряпал для него на поле боя при Вольтурно, сражения, продлившегося целый день. И всюду он встречал англичан в первых рядах армии свободы. Он испытывал почтение к этой нации, ибо они любили Гарибальди. Говорили, даже их графини и принцессы целовали руки генерала, когда он приезжал в Лондон. Джорджо охотно этому поверил: англичане — благородная нация, человек же этот был святой. Достаточно хоть раз взглянуть ему в лицо, чтобы прочесть на нем божественную силу веры и безграничное сочувствие ко всем, кто беден, кто угнетен, кто страдает.

Дух самопожертвования, бесхитростная преданность грандиозной идее человеколюбия, определявшие мироощущение в ту революционную эпоху, наложили отпечаток на Джорджо, и он с суровым пренебрежением относился к

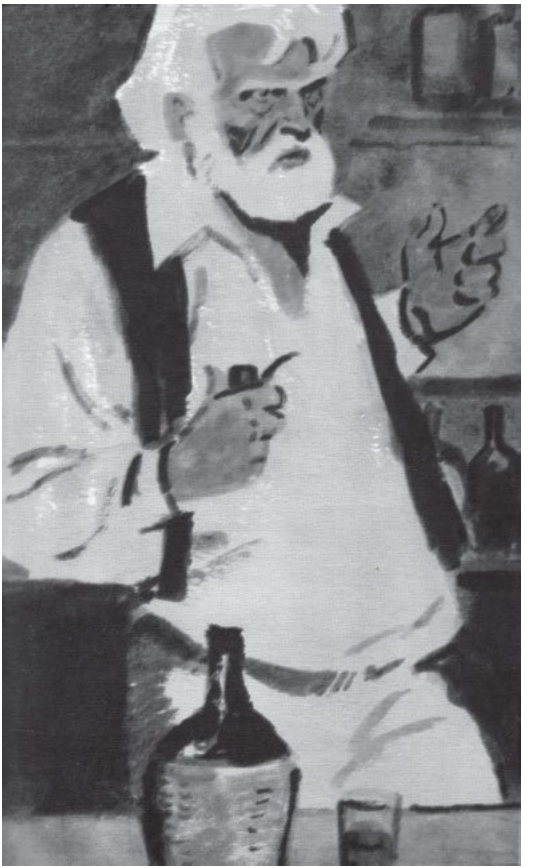
любым попыткам достичь личной выгоды. Этот человек, которого чернь Сулако подозревала в том, что он хранит где-то на кухне кубышку, всю жизнь презирал деньги. Кумиры его юности прожили жизнь в бедности и умерли бедняками. У него вошло в привычку никогда не думать о завтрашнем дне. Привычку эту породила отчасти суровая жизнь воина, полная волнений и неожиданных поворотов судьбы. Но важнее принципы. Равнодушие к житейским благам не было беспечностью кондотьера, скорее неким пуританством образа жизни, взращенным, подобно религиозному пуританству, суровым вдохновением души.

Эта суровая преданность делу омрачила закат его жизни. Омрачила, ибо дело казалось проигранным. Слишком много королей и императоров благоденствовали еще в этом мире, предназначенном Господом Богом для народа. И Джорджо искренне горевал. Он всегда охотно оказывал помощь землякам и пользовался глубочайшим уважением эмигрантов из Италии везде, где ему приходилось жить («в моем изгнании», — говаривал Джорджо), но он не мог скрыть от себя, что земляков нисколько не волнуют бедствия угнетенных наций. Они с интересом слушали его рассказы о войне, но, казалось, недоумевали,

а что же приобрел он, совершая все эти ратные подвиги? Похоже, ничего. «Да мы и не хотели ничего, мы жертвовали собой из любви к человечеству», — яростно выкрикивал он порой, и громовые раскаты его голоса, сверкающие глаза, развевающаяся седая грива, загорелая мускулистая рука, протянутая вверх, словно он небеса призывал в свидетели, производили впечатление на слушателей. Когда старик внезапно замолкал, напоследок тряхнув головой и махнув рукой: стоит ли, мол, с вами говорить, они подталкивали друг друга локтем. В старом Джорджо была сила чувств, присущая только ему страстная убежденность, — словом, то, что они называли «terribilita»[59]; «старый лев», так они его величали. Какой-нибудь пустячный случай, ненароком брошенное слово, и Джорджо начинал говорить на берегу в Мальдонадо перед итальянцами-рыбаками, с земляками-покупателями в лавочке, которую держал уже позже (в Вальпараисо); или вдруг вечерами в столовой, в той части Каса-Виола (другая предназначалась для английских инженеров), где собиралась его избранная клиентура: паровозные машинисты и

[59] Примечания: 59
Нечто внушающее ужас *(ит.).*

десятники из железнодорожных мастерских.



Обратив к нему красивые, загорелые, худые лица с глянцевитыми черными кудрями и сверкающими глазами, широкоплечие, бородатые, а кое-кто с тоненькой золотой серьгой в ухе, эти аристократы железной дороги внимали Джорджо, позабыв о домино и картах. Два-три светловолосых баска терпеливо выжидали, положив на стол руки и разглядывая их. Никто из уроженцев Костагуаны не осмеливался вторгнуться сюда. Здесь была цитадель итальянцев. Даже ночной патруль конной полиции проезжал мимо гостиницы неслышным шагом, и полицейские лишь пригибались на ходу, стараясь увидеть в окошке окруженные табачным дымом головы; а раскаты голоса старого Джорджо доносились смутно и, казалось, уплывали, растекаясь по равнине у них за спиной.

Лишь изредка помощник полицмейстера, широколицый, коричневый, низкорослый джентльмен с изрядной примесью индейской крови, заглядывал в гостиницу. Оставив за дверями сопровождающего его верхового, он входил с самоуверенной хитрой усмешкой и, не говоря ни слова, приближался к длинному столу на деревянных козлах. Молча указывал на одну из стоящих на полке бутылок; Джорджо угрюмо

совал в рот трубку и обслуживал его самолично. Стояла тишина, лишь еле слышно позвякивали шпоры. Опорожнив стакан, помощник полицмейстера обводил всю комнату внимательным неторопливым взглядом, а затем удалялся, вновь садился на лошадь, и патрульные медленно продолжали свой путь в сторону Сулако.

Глава V

Только таким образом местные власти осмеливались показать свою силу многолюдной колонии мускулистых иностранцев, которые копали землю, взрывали скалы, водили поезда для развития «прогрессивного и патриотического предпринимательства». Именно так за полтора года до описываемых нами событий его превосходительство сеньор дон Винсенте Рибьера, диктатор Костагуаны, назвал Национальную центральную железную дорогу в пышной речи, произнесенной по случаю первого удара киркой на строительстве.

Для этого он и прибыл в Сулако, и в его честь компания ОПН устроила парадный обед, имевший место на борту «Юноны» в час пополудни, как только закончились торжества на берегу.

Капитан Митчелл самолично стоял у штурвала баркаса, каковой, сверху донизу украшенный флагами и доставленный на буксире паровым баркасом с «Юноны», в свою очередь доставил с пристани на корабль его превосходительство. Были приглашены все уважаемые обитатели Сулако: два иностранных коммерсанта, а также находившиеся в городе представители старинных испанских семейств, владельцы крупных поместий, расположенных на равнине, степенные, учтивые, простодушные кабальеро безупречного происхождения, с маленькими руками и ногами, консервативные, гостеприимные, доброжелательные. Западная провинция была их твердыней; их партия «бланко»[60] ныне восторжествовала; страну возглавил их президент-диктатор, истый, неподдельный «бланко», который сидел, любезно улыбаясь, между представителями двух дружественных иноземных держав. Упомянутые представители прибыли вместе с доном Винсенте из Санта-Марты, дабы своим присутствием санкционировать предприятие, в которое был вложен капитал их стран.

Единственной дамой в этом избранном обще-

---

[60] Примечания: 60
Белые *(исп.)*.

стве была миссис Гулд, супруга управляющего серебряными рудниками Сан-Томе. Все остальные дамы, живущие в Сулако, были еще недостаточно прогрессивны, чтобы в такой мере принимать участие в общественной жизни. Они украсили собою грандиозный бал, имевший место накануне вечером в ратуше, но на утренние торжества пришла лишь миссис Гулд, единственное светлое пятно на фоне черных фраков, сгрудившихся за спиной президента-диктатора на покрытом алыми полотнищами помосте, воздвигнутом в тени раскидистого дерева на берегу, — там, где происходила церемония первого удара киркой. Она поехала также и на баркасе, битком набитом всяческими знаменитостями, причем стояла на почетном месте, рядом с капитаном Митчеллом, который управлял баркасом, и праздничные флаги развевались у нее над головой, а потом на мрачноватом сборище в длинном изысканном салоне «Юноны» ее нарядное платье вновь являло собой единственное светлое пятно и радовало глаз.

Лицо директора железнодорожной компании (лондонский гость), красивое и бледное, окруженное серебристым ореолом седых волос и подстриженных бакенбардов, маячило над

плечом миссис Гулд, полное внимания, улыбающееся и утомленное. Путешествие из Лондона в Санта-Марту на почтовых пароходах и в вагоне специального поезда, курсирующего по прибрежной линии Санта-Марты (покуда единственная железнодорожная колея), было терпимым… даже приятным… вполне терпимым. Зато путь в Сулако через горы оказался истинным мученьем — они тряслись в каком-то допотопном дилижансе по непроходимым дорогам по самой кромке ужасающих, бездонных пропастей.

— Нас дважды опрокинули в течение дня, и оба раза — на краю весьма глубоких ущелий, — вполголоса рассказывал он миссис Гулд. — А когда мы наконец приехали сюда, право, не знаю, что мы стали бы делать, если бы не ваше гостеприимство. Этот Сулако — такая глушь, просто дыра… а ведь портовый город все же! Поразительно!

— И тем не менее мы им гордимся. Он представляет собой историческую ценность. В давние времена здесь со всем клиром пребывал глава костагуанской церкви — ее дважды возглавляли члены вице-королевской семьи.

— Я потрясен. Но я отнюдь не собирался умалять значение вашего города. Я вижу, вы большая патриотка.

— Город прелестен. Взгляните хотя бы, как он расположен. Вы, верно, не знаете: среди европейцев я одна из самых старых здешних обитательниц.

— Что имеется в виду под старостью, любопытно узнать, — пробормотал он, посмеиваясь. (Живая мимика очень молодила тонкое личико миссис Гулд.) — Мы не сможем вам вернуть главу костагуанской церкви со всем клиром; зато у вас появится больше пароходов, железная дорога, телеграфный кабель — то есть будущее в огромном мире, а это несравненно важней, чем глава церкви и его сподвижники. Вам предстоит общение с кем-то более существенным, нежели два члена вице-королевской семьи. Но все же до сих пор я и не представлял себе, что город, расположенный на побережье, может быть в такой степени отрезан от мира. Ну, находись он за тысячу миль от моря… нет, поразительно! У вас тут хоть что-нибудь случилось за последнюю сотню лет?

Он говорил не торопясь, шутливо, а она едва заметно улыбалась в ответ. Подхватив иронический тон своего собеседника, миссис Гулд призналась: в Сулако и в самом деле никогда и ничего не происходит. Даже революции — при ней их было две — почтительно оберегают неру-

шимое спокойствие города. Они вспыхивают в более населенных южных провинциях республики и на огромной равнине Санта-Марты, представляющей собой нечто вроде поля битвы для враждующих партий, где победителю достается столица и выход ко второму океану. Там другие люди, им не чужды новые веяния эпохи. А к ним в Сулако доносятся лишь отголоски всех этих событий, ну и, разумеется, при этом каждый раз все официальные посты в городе занимают другие чиновники, перевалившие через горный хребет, — воздвигнутый природой вал, тот самый, преодолев который прибыл в старом дилижансе и их уважаемый гость, рисковавший сломать себе шею или ноги и руки.

Директор железнодорожной компании несколько дней пользовался гостеприимством миссис Гулд и был ей искренне за это признателен. Только уехав из Санта-Марты, он полностью ощутил, что оборвались все его связи с европейской жизнью, до тех пор маячившей все же на фоне экзотического антуража. В столице он был гостем, послом, он вел там оживленные переговоры с членами правительства дона Винсенте — образованными людьми, людьми, имевшими представление о том, как ведут дела в цивилизо-

ванном обществе.

Сейчас его более всего интересовало приобретение земель для железной дороги. В долине Санта-Марты, где уже существовала железнодорожная колея, люди были сговорчивы — оставалось лишь условиться о ценах. Была создана комиссия, дабы установить твердую стоимость земельных участков, и все решилось просто, благодаря разумному влиянию членов комиссии. А вот в Сулако, в Западной провинции, для развития которой и предназначалась железная дорога, сразу возникли трудности. Защищенный естественными преградами в течение веков, оберегаемый от вторжения современного предпринимательства глубокими ущельями горной гряды; мелкой гаванью, соединенной с заливом, где царили вечные штили и непроницаемой завесой клубились облака; девственной невежественностью владельцев изобильных западных земель — все эти представители старинной испанской аристократии, разные дон Амбросиос такой и дон Фернандос сякой, которые, кажется, и в самом деле с недоверием и недовольством относились к тому, что через их владения пройдет железная дорога.

Работающим в разных уголках провинции

изыскательским группам порой грозили применением насилия. В других случаях землевладельцы назначали цены, поистине оскорбительные для компании. Но директор железнодорожной компании гордился своим умением преодолевать любую трудность. И раз уж здесь, в Сулако, он наткнулся на неприязненные настроения, в основе которых лежит слепой консерватизм, то он не станет для начала ссылаться на свои права, он попросту попробует создать иные настроения. Правительство обязано выполнить обязательства, указанные в контракте с компанией, и сделает это любой ценой вплоть до применения военной силы. Но директору компании менее всего хотелось, чтобы методичное осуществление его планов было поддержано вмешательством вооруженных сил. Его планы были столь многообразны и обширны, да к тому же столь заманчивы, что грех было не попытаться их осуществить; вот ему и пришло в голову прихватить президента-диктатора в парадное турне, изобилующее церемониями и речами и завершающееся великим действом — первым ударом киркой на океанском побережье. В конце концов, ведь этот дон Винсенте создан ими. Он олицетворяет собой триумф прогрессивных сил

страны.

Таковы факты, и если факты хоть что-то значат, рассуждал сэр Джон, то влияние такого человека немаловажно, и, взяв дело в свои руки, он умиротворит строптивых, а большего не требуется. Организовать турне удалось благодаря помощи очень умелого адвоката, который был известен в Санта-Марте как представитель Гулда, управляющего серебряными рудниками, крупнейшим предприятием не только в Сулако, но и во всей стране. Рудники и в самом деле были сказочно богаты. Так называемый представитель, человек, несомненно, и образованный и одаренный, казалось, пользовался, не занимая официального поста, огромным влиянием в самых высших правительственных сферах. Он заверил сэра Джона, что президент-диктатор примет участие в путешествии. Правда, он вынужден был с сожалением добавить, что генерал Монтеро настоял на том, чтобы тоже присоединиться к турне.

Генерал Монтеро, который, когда борьба еще только разгоралась, был безвестным армейским офицером и служил на восточной границе, в глуши, присоединился к партии Рибьеры именно в тот миг, когда в силу особого стечения обстоятельств эта несущественная сама по себе

поддержка оказалась очень важной. Превратности войны обернулись для него редкостной удачей, а победа при Рио-Секо — после длившейся с утра до вечера жестокой битвы — завершила его успех. В результате он стал генералом, военным министром и главой вооруженных сил партии «бланко», хотя его происхождение отнюдь не блистало аристократизмом. О нем прямо говорили, что он и его брат — сироты, воспитанные от щедрот знаменитого путешественника, в услужении у которого умер их отец. Другая версия гласила, что их отец просто жег в лесах древесный уголь и этим зарабатывал на жизнь, а мать их — крещеная индианка.

Тем не менее пресса Костагуаны имела обыкновение величать лесной переход Монтеро, направившего свой гарнизон, едва в стране начались волнения, на соединение с основными силами партии «бланко», «самым героическим воинским подвигом наших времен». Примерно в это же время прибыл из Европы его брат: судя по всему, он служил там секретарем консульства. На родине, однако, он тотчас сколотил небольшую шайку из каких-то бандитов, обнаружив некоторые таланты по части ведения партизанской войны, за что впоследствии был награжден зва-

нием военного коменданта столицы.

Итак, диктатора сопровождал военный министр. Правление компании ОПН, работающее ради блага республики в тесном содружестве со строителями железной дороги, по случаю столь важного мероприятия повелело капитану Митчеллу предоставить в распоряжение высоких гостей почтовый пароход «Юнона». Дон Винсенте двинулся от Санта-Марты на юг, сел на корабль в Каите, главном порту Костагуаны, и прибыл в Сулако морем. Но директор железнодорожной компании отважно пересек горы в ветхом дилижансе, главным образом ради того, чтобы встретиться со старшим инженером, руководившим изыскательскими работами, который завершал сейчас заключительный объезд участков.

Равнодушный, как все деловые люди, к природе, враждебность которой он привык преодолевать при помощи денег, он был тем не менее поражен ландшафтом, открывшимся ему в лагере, разбитом изыскателями в горах на самом высоком пункте, до которого должна была дойти железная дорога. Он приехал поздно вечером и не успел увидеть умирающий отблеск солнца на засыпанном снегом склоне Игуэроты. Нагромождения

черного базальта подобно огромным колоннам открытого портика обрамляли уходившую на запад снежную полосу. Воздух здесь, в вышине, был так прозрачен, что все казалось близким, погруженным в незыблемую тишь, напоминавшую невесомую жидкость; стоя на пороге хижины, сложенной из неотесанных камней, и прислушиваясь, не подъезжает ли дилижанс, главный инженер созерцал, как сменяют друг друга краски на горном склоне, и думал, что это зрелище, подобно вдохновенной игре музыканта, сочетает в себе тончайшие переливы оттенков и грандиозную мощь.

Сэр Джон прибыл слишком поздно и не услышал ни громовых раскатов мелодии, ни еле уловимых полутонов, которые разыгрывал заход солнца среди пиков Сьерры. Бурная симфония красок отзвучала, сменившись тишиною поздних сумерек, когда сэр Джон, одеревеневший после путешествия в дилижансе, спустился с передней ступеньки и обменялся рукопожатием с инженером.

Его угостили обедом в каменной хижине, похожей на квадратный валун, в которой не было ни окон, ни дверей, а лишь пробиты два отверстия; от разложенного у порога яркого костра (хворост

привезли из ближайшей долины, взвалив охапку на спину мула) в хижину проникали пляшущие огненные блики; а две свечки в оловянных подсвечниках, зажженные, как пояснили сэру Джону, в его честь, поставили на неуклюжий походный стол, за которым сэр Джон сидел справа от главного инженера. Он умел быть подкупающе любезным; и молодые инженеры, для которых обследование участков будущей железной дороги было не просто работой, а знаменательными первыми шагами на житейском пути, притихшие сидели за тем же столом, и их обветренные лица сияли от удовольствия: такой великий человек столь приветливо беседует с ними.

Позже, уже ночью, сэр Джон и главный инженер долго прогуливались, погруженные в беседу, и разговор их затянулся. Они давно знали друг друга. Это было уже не первое предприятие, в котором их таланты, столь же различные по своей сути, как вода и огонь, сливались в общем усилии. Взаимодействие этих двух личностей, чьи взгляды на мир были совершенно непохожи, порождало силу, служившую этому миру… силу нематериальную, но приводившую в движение могучие машины, мускулы людей и к тому же пробуждавшую в сердцах безграничную пре-

данность делу. Из молодых людей, сидевших за столом, для которых обследование участков было подобно изыскательским работам на собственном их жизненном пути, не один простится с жизнью прежде, чем будет построена дорога. Но дорогу необходимо построить — его незыблемая убежденность в этом была сродни фанатичной вере. Правда, не совсем. Прогуливаясь в тишине уснувшего лагеря по плато, залитому лунным светом, благодаря игре которого горный перевал представлялся их взгляду чем-то вроде огромной арены, окруженной стенами базальтовых скал, двое мужчин в широких теплых пальто внезапно остановились, и голос главного инженера отчетливо произнес:

— Ведь не можем же мы двигать горы!

Сэр Джон, запрокинув голову, чтобы взглянуть туда, куда указывал рукой его собеседник, не мог с ним не согласиться. Белая глава Игуэроты высилась над темью земли и скал, сверкая в лунном свете, как ледяная глыба. Вокруг все было тихо, потом в загоне для вьючных животных, сложенном в форме круга из грубых камней, мул топнул копытом и дважды тяжело вздохнул.

Произнесенная главным инженером фраза была ответом на предложение директора ком-

пании принять во внимание капризы здешних землевладельцев и, быть может, в самом деле перенести железную дорогу на другое место. Главный инженер полагал, что из двух возникших перед ними препятствий человеческое упорство преодолеть легче, тем более что им готов помочь своим огромным влиянием Чарлз Гулд. Прокладывать же в недрах Игуэроты туннель — дело чрезвычайно трудоемкое.

— Да, верно! Гулд. Что он собой представляет?

В Санта-Марте сэр Джон много слышал о Чарлзе Гулде и хотел узнать о нем еще больше. Главный инженер уверил его, что управляющий серебряными рудниками пользуется огромным уважением всех местных донов. К тому же его дом один из лучших в Сулако, и гостеприимство Гулдов — выше всяких похвал.

— Они принимали меня так, словно мы старинные знакомые, — рассказывал сэр Джон. — Его молодая супруга — сама доброта. Я прожил у них месяц. Он помог мне организовать изыскательские партии. Поскольку он фактически является владельцем рудников Сан-Томе, у него совершенно особое положение в городе. К его словам несомненно прислушиваются местные власти, и он может без труда обвести вокруг пальца лю-

бого идальго в нашей провинции. Следуйте его советам, и вы преодолеете все преграды, — Гулд ведь хочет, чтобы здесь прошла железная дорога. Разумеется, в беседе с ним следует соблюдать некоторую осторожность. Он англичанин и, кажется, очень богат, фирма «Холройд» ведет с ним дела, так что сами понимаете…

Он умолк, заметив, как у небольшого костра, горевшего возле загона, внезапно выросла, поднявшись с земли, фигура человека, закутанного в пончо. В красноватом отсвете тлеющих углей на земле виднелось темное пятно — седло, служившее ему подушкой.

— Я повидаюсь с Холройдом, когда буду возвращаться на родину через Соединенные Штаты, — сказал сэр Джон. — Насколько мне известно, Холройд тоже сторонник железной дороги.

Человека, спавшего возле костра, наверно, потревожили прозвучавшие так близко голоса, — он встал и чиркнул спичкой, закуривая. Пламя осветило загорелое лицо с усами и внимательные, в упор взглянувшие на собеседников глаза; затем, завернувшись поудобней в пончо, он снова растянулся на земле, положив голову на седло.

— Это распорядитель нашего лагеря, — сказал главный инженер. — Сейчас я должен отослать

его назад в Сулако, поскольку наши изыскательские работы переносятся в долину Санта-Марты. Бесценный малый, мне ссудил его на время капитан Митчелл из ОПН. Весьма любезно с его стороны. Чарлз Гулд посоветовал мне не задумываясь воспользоваться любезностью Митчелла. Этот малый на редкость умело управляется со здешними пеонами и погонщиками мулов. За все время у нас не было даже пустячного недоразумения. Он прихватит с собой несколько землекопов-пеонов и будет сопровождать ваш дилижанс до самого Сулако. Дорога скверная, а с таким провожатым вы можете не опасаться, что свалитесь в пропасть. Он обещал мне, что на протяжении всего пути будет так о вас заботиться, словно вы его родной отец.

Этот распорядитель лагеря был не кто иной, как тот самый моряк-итальянец, которого все европейцы в Сулако, копируя дурное произношение капитана Митчелла, именовали Ностромо. И впрямь, неразговорчивый и бдительный, он блистательно справлялся со своими обязанностями на опасных участках дороги, о чем впоследствии сэр Джон поведал миссис Гулд.

Глава VI

К этому времени Нострómо прожил в Костагуане уже достаточно долго, чтобы капитан Митчелл мог в самой высокой мере оценить все значение своего открытия. И в самом деле, грех было не гордиться таким подручным, как Нострómо. Капитан Митчелл всячески превозносил свою способность найти и выбрать нужного человека, но эгоистом не был — с горделивым простодушием так настойчиво всем предлагал «ссудить своего капатаса каргадоров», что это превратилось в манию, а Нострómо в результате рано или поздно предстояло перезнакомиться со всеми европейцами, живущими в Сулако, выступая в роли всеобщего фактотума — человека, способного творить чудеса в своей сфере деятельности.

«Он предан мне душой и телом!» — твердил капитан Митчелл; и хотя едва ли кто-нибудь смог бы объяснить, что послужило причиной такой преданности, тем не менее, наблюдая их взаимоотношения, никто не усомнился бы в справедливости этого заявления, разве что какой-нибудь желчный чудак, вроде доктора Монигэма, к примеру, чей отрывистый невеселый

смешок в какой-то мере отражал безграничное недоверие доктора к человечеству. Правда, доктор Монигэм смеялся чрезвычайно редко и вообще не отличался многословием. В хорошем настроении он хранил угрюмое молчание. В дурном — наводил страх на собеседников высокомерными и резкими замечаниями. Только миссис Гулд удавалось хоть как-то смягчить его непоколебимую убежденность в том, что все люди порочны и корыстолюбивы; но даже ей он сказал однажды… тоном, просто нежным, если вспомнить его обычную манеру говорить: «Право же, крайне неразумно требовать от человека, чтобы он придерживался более высокого мнения о других, нежели о себе».

И миссис Гулд поспешно переменила тему. О докторе ходили странные слухи. Рассказывали, что еще давно, во времена Гусмана Бенто, он участвовал в заговоре, но заговорщиков кто-то предал, и, как выражались местные жители, заговор был потоплен в крови. Доктор был совсем седой, с чисто выбритым морщинистым лицом кирпичного цвета; фланелевая рубаха в крупную клетку и далеко не новая панама служили явным вызовом условностям, принятым в Сулако. Впрочем, доктор всегда одевался безупречно чисто

— в противном случае его приняли бы за одного из тех несчастных, которые, словно бельмо на глазу, нарушают респектабельность европейской колонии во всех заокеанских странах и порочат своих земляков. Юные обитательницы Сулако, чьи прелестные лица украшали балконы на улице Конституции, завидев, как проходит мимо доктор, прихрамывая и понурив голову, в небрежно надетом поверх клетчатой рубахи коротком полосатом пиджаке, говорили друг дружке: «А вот и сеньор доктор отправился в гости к донье Эмилии. Посмотри-ка, он надел свой сюртучок». Суждение совершенно справедливое, хотя очаровательным наблюдательницам не дано было постичь его и оценить в полной мере. Да они и не считали нужным задумываться о побуждениях доктора.

Он был старый, некрасивый, ученый… и немного loco — сумасшедший, а может быть, к тому же и колдун, как подозревали в народе. Короткий сюртучок и в самом деле являлся следствием облагораживающего воздействия миссис Гулд. Злоязычный циник доктор только таким образом и мог проявить свое глубокое уважение к женщине, которую в этих краях называли «английской сеньорой». Он со всей серьезностью

отдавал ей дань уважения: для человека его привычек изменить что-то в своей одежде отнюдь не пустяк. Миссис Гулд это отлично понимала. Ей самой и в голову не пришло бы вынуждать его так явно демонстрировать свое почтение к ней.

В ее старинном испанском особняке (одном из великолепнейших образчиков архитектуры Сулако) любой гость был окружен теплом и уютом, благодаря незаметным стараниям миссис Гулд. Она исполняла обязанности хозяйки с простотою и очарованием, ибо отлично понимала, что в нашей жизни несущественно, а что действительно ценно. В высочайшей степени обладала она даром общения с людьми — палитрой тончайших оттенков самоотверженности и убежденностью, что всем людям дано друг друга понимать. Чарлз Гулд (вот уже три поколения Гулдов, поселившихся в Костагуане, неизменно ездили в Англию получить образование и обзавестись женой) полагал, как все мужчины, что полюбил свою избранницу за здравомыслие, но если б это было так, то не совсем понятно, например, чего ради все, начиная от зеленых юнцов и кончая их вполне зрелым шефом, так часто вспоминают среди остроконечных пиков Сьерры гостеприимный особняк миссис Гулд. Сама она, конечно, если

бы кто-нибудь ей рассказал, с каким удивительным постоянством ее вспоминают на подступах к снежной вершине, возвышающейся над Сулако, стала бы уверять с тихим смехом и изумленно раскрыв серые глаза, что ровно ничего для этого не делает. Впрочем, вскоре, добросовестно задумавшись, она нашла бы объяснение: «Ну, понятно, бедных мальчиков, наверно, удивило, что им тут рады. А еще, я думаю, им сиротливо. Я думаю, тут всем немного сиротливо».



Она всегда сочувствовала тем, кому было сиротливо.

Родившийся в Костагуане, так же как его отец, высокий и поджарый, с огненно-рыжими усами, безупречно выбритым подбородком, с ясными синими глазами и волосами цвета спелой пшеницы, с худощавым, свежим, румяным лицом, Чарлз Гулд выглядел типичным пришельцем

из-за океана. Его дед сражался в этих краях за независимость под водительством Боливара[61] в прославленном английском легионе, бойцов которого после битвы при Карабобо великий Боливар назвал освободителями своей родины. В эпоху Федерации один из дядюшек Чарлза Гулда был избран президентом именно этой самой провинции Сулако (тогда ее именовали штатом), а впоследствии по приказу генерала унионистов Гусмана Бенто его расстреляли, поставив к церковной стене. Того самого Гусмана Бенто, который позже, став пожизненным президентом, прославился как жестокий и безжалостный тиран, причем слава его достигла апогея в народной легенде о кровожадном призраке, чье тело похитил сам дьявол из кирпичного мавзолея в нефе храма Успения, что в Санта-Марте. Во всяком случае, священники именно так объяснили его исчезновение босоногой толпе, в смертельном ужасе устремившейся поглазеть на пролом в стене безобразного кирпичного сооружения, построенного в форме прямоугольника перед большим алтарем.

Недоброй памяти Гусман Бенто, помимо дя-

[61] Примечания: 61

Боливар Симон (1783–1830) — руководитель борьбы за независимость испанских колоний в Южной Америке.

дюшки Чарлза Гулда, приговорил к расстрелу еще множество людей; но человека, чей родственник принял мученическую смерть, сражаясь за аристократию, «олигархи» Сулако (так их именовали во времена Гусмана Бенто; сейчас они назывались «бланко» и уже не стремились создать федерацию), одним словом, представители семейств чисто испанского происхождения, считали Чарлза Гулда своим. Имея такого родственника, дон Карлос Гулд почитался подлинным костагуанцем; но его внешность была столь специфичной, что простой народ, не мудрствуя лукаво, называл его «инглес» — англичанин.

Он больше походил на англичанина, чем какой-нибудь заезжий турист — еретическая разновидность паломника, впрочем, совершенно неведомая в Сулако. Он больше походил на англичанина, чем любой из последней партии новоиспеченных инженеров-путейцев, чем любой персонаж, изображенный на картинках серии «охотничьи сцены» в очередном номере «Панча»[62], попадавшем в гостиную его жены месяца через два после выхода в свет. Странно было слышать, как свободно он говорит по-ис-

[62] Примечания: 62

Английский иллюстрированный еженедельный юмористический журнал, выходит с 1841 г.

пански (по-кастильски, как выражались здешние жители) или на индейском местном диалекте. Но до того уж стойко сохранялись наследственные черты всех этих костагуанских Гулдов: освободителей, путешественников, владельцев кофейных плантаций, коммерсантов, революционеров, что Чарлз — единственный представитель третьего поколения, живущего в стране, где создалась своя неповторимая манера верховой езды, — даже в седле выглядел типичным англичанином. Мы говорим это без иронии, присущей льянеро — жителям пампы, — считающим, что лишь они одни на всем свете знают, как положено сидеть на лошади. Чарлз Гулд, выражаясь вполне уместным здесь высоким стилем, ездил верхом, как кентавр. Он не считал верховую езду спортом — он считал ее естественной способностью, присущей каждому, точно так же как уменье ходить свойственно всем здоровым и нормальным людям; тем не менее, когда он несся галопом к своим рудникам — сам в типично английской одежде, лошадь — в сбруе, выписанной из-за океана, — выглядел он так, словно сию минуту прискакал сюда быстрой и легкой pasotrote[63], с какого-нибудь

[63] Примечания: 63
Рысью *(исп.).*

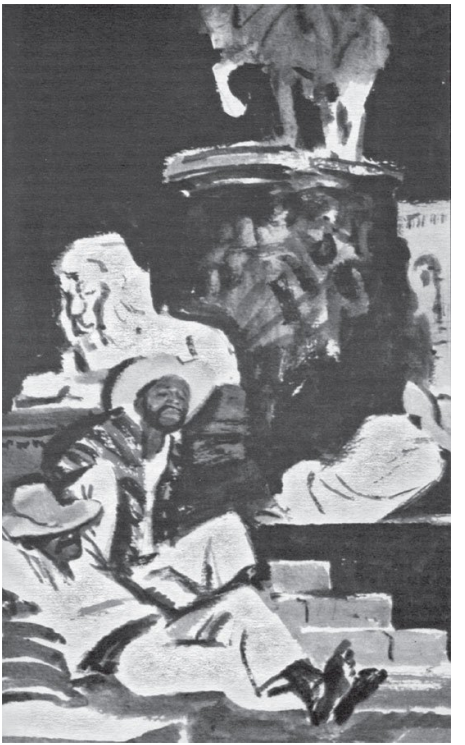
там зеленого газона, расположенного на другом краю земли.

Ездил он вдоль старой испанской дороги — Camino Real[64], как называли ее здесь, — единственный след, оставленный столь ненавистной старику Джорджо Виоле королевской властью, исчезнувшей безвозвратно, так что даже огромная конная статуя Карла VI, белевшая у въезда на Аламеду на фоне зеленой листвы, была известна местным крестьянам и городским нищим, спавшим на ступеньках, окружавших пьедестал, просто как «Каменная лошадь». Другой Карлос, чья лошадь, торопливо цокая копытами, сворачивала влево по разбитой мостовой, дон Карлос Гулд в своем типично английском наряде так же дурно сочетался с окрестностью, но был гораздо уместнее здесь, чем царственный всадник, возвышавшийся на пьедестале над спящими léperos[65] и поднявший каменную руку к каменным полям шляпы с плюмажем.

---

[64] Примечания: 64
Королевская дорога *(исп.)*.

[65] Примечания: 65
Плут, хитрец *(исп.)*; здесь: бродяга.



Глядя на забрызганного многочисленными ливнями каменного короля, который, кажется, приветствовал кого-то довольно неопределенным жестом, трудно было себе представить, что же творится у него на сердце после бесчисленных переворотов, лишивших его даже имени; впрочем, и второй всадник, которого здесь все отлично знали и который в добром здравии скакал верхом на темно-серой светлоглазой лошадке, тоже не стремился поведать первому встречному тайны своего сердца, прикрытого френчем английского покроя. Он никогда не терял душевного равновесия и невозмутимости, словно на всю жизнь запасся ими на старой родине, в Европе, где каждый «соблюдает правила» как в личной, так и в общественной жизни. Он с одинаковым спокойствием воспринимал и необъяснимую привычку местных дам обсыпать лицо перламутровой пудрой до тех пор, пока оно не станет похожим на гипсовую маску с чудесными живыми глазами; и склонность горожан к самым невероятным сплетням; и постоянные политические перевороты; постоянное «спасение родины», представлявшееся его жене жестоким мальчишеством, игрой в убийства и насилия, с ужасающей серьезностью осуществляемой по-

рочными детьми.

В начале своего пребывания в Костагуане маленькая леди то и дело возмущенно сжимала руки — не в ее силах было воспринять общественную жизнь страны в достаточной мере серьезно, чтобы оправдать то и дело совершаемые здесь жестокости. Все эти страсти представлялись ей комедией и наивным притворством; гораздо более искренним чувством она считала отвращение и ужас, которые ей все это внушало. Чарлз весьма спокойно подкручивал усы и наотрез отказывался обсуждать с женой эту тему. Правда, однажды он ласково заметил ей:

— Ты, кажется, забыла, дорогая, что я здесь родился.

Услыхав эти слова, она замолкла, потрясенная. А может быть, и впрямь все дело только в том, родился ли ты в этой стране. Леди Эмилия привыкла доверяться мужу; его авторитет в ее глазах был непререкаем во всем, абсолютно во всем. Он с первой встречи поразил ее воображение полным отсутствием сентиментальности, неизменным спокойствием духа, которые она в мыслях своих возвела в статус глубочайшей житейской мудрости. Дон Хосе Авельянос, их сосед, живший в доме напротив, государственный деятель, поэт,

образованнейший человек, некогда представлявший свою родину при нескольких европейских дворах (и подвергшийся неслыханным унижениям как государственный преступник при тиране Гусмане Бенто), неоднократно заявлял в гостиной доньи Эмилии, что Карлос сочетает все достоинства подлинного английского характера с патриотизмом истого констагуанца.

Миссис Гулд, подняв глаза на худое, красное, обветренное лицо мужа, заметила, что он и бровью не ведет при упоминании о его костагуанском патриотизме. Возможно, потому, что чувствовал себя утомленным, сию минуту возвратившись с рудников; мистер Гулд был слишком англичанин для того, чтобы пережидать, когда спадет жара. Во внутреннем дворике Басилио в ливрее из белого холста, подпоясанной красным шарфом, присев на минутку на корточки, отстегивал тяжелые тупые шпоры; затем сеньор управляющий поднимался вверх по лестнице на балкон. На балюстраде между пилястрами арок рядами выстроились горшки с цветами, заслоняя галерею от расположенного внизу дворика, смена света и тени на поверхности которого отмечает неспешное течение домашней жизни, благодаря чему мы можем с полным основанием сказать,

что в этих двориках сосредоточена вся жизнь южноамериканского дома.

Сеньор Авельянос имел обыкновение пересекать внутренний дворик в особняке Гулдов в пять часов почти каждый день. Это время, время чаепития, дон Хосе избрал потому, что ритуал, заведенный в доме доньи Эмилии, напоминал ему о той поре, когда он жил в Лондоне в качестве чрезвычайного посланника и полномочного министра. Чай он не любил; раскачиваясь в кресле-качалке американского образца, скрестив маленькие ноги в ослепительно начищенных ботинках и поставив их на подножку кресла, он без умолку говорил, плел словесную нить с безмятежным искусством, удивительным для человека его возраста, а чашку чая подолгу держал в руках. Его коротко остриженные волосы были совершенно седыми; глаза — черными, как уголь.

Увидев Чарлза Гулда, входящего в гостиную, он поначалу приветствовал его просто кивком; и, лишь доведя до конца очередной период, говорил:

— Карлос, друг мой, вы ехали сюда от Сан-Томе в самую жару. Всегда деятельны — истый англичанин. Что? Не так?

Потом залпом выпивал чай. Процедура эта все-

гда сопровождалась неким содроганием и против воли исторгала из уст дона Хосе тихое «бр-р-р», после чего он торопливо, но, увы, слишком поздно восклицал: «Великолепно!»

Затем, передав чашку своему молодому другу, который, улыбаясь, протягивал к ней руку, дон Хосе продолжал велеречиво восхвалять патриотическую сущность рудников Сан-Томе, преследуя, казалось, одну-единственную цель — с удовольствием поболтать и при этом, слегка согнувшись, раскачивался в качалке производства Соединенных Штатов. Высоко над его головой белел потолок самой большой гостиной в Каса-Гулд; так высоко, что вся обстановка казалась игрушечной: массивные испанские кресла с прямыми спинками и кожаными сиденьями и мягкая на низеньких ножках европейская мебель — всевозможные кушетки, оттоманки, козетки, похожие на карликов, чудовищно раздувшихся после того, как поглотили непомерное количество конского волоса и стальных пружин. На миниатюрных столиках стояли безделушки, в стены над мраморными консолями вделаны зеркала, и на выложенном красной плиткой полу лежали два широких квадратных ковра, на каждом из которых находились несколько

кресел и большой диван; еще несколько ковриков поменьше были разбросаны по комнате; три огромных окна, от потолка до пола, выходили на галерею, их обрамляли прямые складки темных драпри. Здесь, в пространстве, заключенном между четырьмя высокими стенами, окрашенными в нежно-лимонный цвет, все еще веяло величием старины; и миссис Гулд с изящной головкой в блестящих светлых локонах, восседающая в облаке муслина и кружев перед хрупким, тонконогим, красного дерева столом, напоминала фею, на миг слетевшую сюда, к фарфоровым и серебряным сосудам, наполненным волшебным приворотным зельем.

Миссис Гулд хорошо знала историю рудников Сан-Томе. В давние времена их добыча, извлекаемая главным образом ударами плетей, по весу равнялась грузу костей, которые сложили здесь подгоняемые бичами невольники. В Сан-Томе погибли целые племена индейцев; а затем разработки забросили, ибо примитивный метод, на них применяемый, не долго приносил доход — шахта пресытилась трупами, которые швыряли ей в утробу. О рудниках забыли. И вспомнили опять только после Войны за Независимость. Английская компания, добившаяся права воз-

обновить работы, наткнулась на такую богатую жилу, что ни вымогательства сменяющих друг друга правительств, ни набеги офицеров, которые являлись сюда вербовать солдат из числа живущих на жалованье шахтеров, не смогли сломить упорство шахтовладельцев. Но позже, когда после кончины знаменитого Гусмана Бенто в стране наступили длительные беспорядки, местные шахтеры, подстрекаемые к мятежу прибывшими из столицы эмиссарами, восстали против англичан и перебили их всех до единого. Декрет о национализации рудников, который тотчас вслед за этим напечатала издаваемая в столице «Диарио офисиал», начинался так:

«Справедливо возмущенные жестоким угнетением народа иноземцами, движимыми гнусным стремлением к наживе, а отнюдь не любовью к стране, в которую они явились нищими в надежде нажить богатство, шахтеры рудников Сан-Томе и т. д…» — и заканчивался заявлением:

«Глава нашего правительства решил во всем своем величии проявить милосердие и заботу о людях. Рудники, которые как достояние нации, согласно всем законам — международным, человеческим и божеским, — снова оказались в руках правительства, будут закрыты отныне и до тех

пор, покуда меч, поднятый ради священного дела защиты принципов свободы, не завершит свою миссию, состоящую в том, чтобы сделать нашу любимую родину счастливой».

И после этого долгие годы никто не слыхивал о рудниках Сан-Томе. Трудно представить себе сейчас, каких, собственно, выгод ожидало для себя правительство, захватив рудники. Костагуану не без труда заставили выплатить нищенскую компенсацию семьям пострадавших акционеров, после чего дипломатические переговоры на эту тему прекратились. Но впоследствии уже другое правительство вспомнило о пропадающем втуне богатстве. Обычное костагуанское правительство — четвертое по счету за шесть лет, — но обладающее здравомыслием. Втайне убежденное, что собственными силами оно не добьется от рудников ни малейшей пользы, правительство это отчетливо представляло себе все выгоды, которые принесет ему восстановление разработок, имеющее лишь одну теневую сторону — плачевную необходимость извлекать из земли металл. Отец Чарлза Гулда, в течение долгих лет один из богатейших коммерсантов Костагуаны, к тому времени лишился значительной части своего состояния, против воли вынужденный ссужать

каждое новое правительство деньгами.

Человек спокойный и рассудительный, он ни разу не потребовал возмещения убытков; и, когда ему внезапно предложили пожизненную и безраздельную концессию на рудники Сан-Томе, он встревожился сверх всяких пределов. К сожалению, он досконально знал нравы и обычаи костагуанских властей. А в настоящем случае намерения правительства, хотя и были тщательно продуманы втайне, тотчас бросались в глаза по прочтении документа, под которым мистера Гулда так настойчиво просили поставить подпись. В третьем, самом важном пункте соглашения в качестве особого условия оговаривалось, что владелец концессии должен сразу выплатить правительству отчисления за право разработки в течение пяти лет.

Многочисленные доводы и мольбы, которыми мистер Гулд-старший пытался отвести от себя страшную милость, оказались тщетными. Он ничего не смыслил в разработке рудников; у него не было возможности вывезти добываемую продукцию на европейский рынок; шахта, как действующее предприятие, давно перестала существовать. Надшахтные постройки сожжены, оборудование изломано, шахтеры ушли отсюда

много лет тому назад; даже ведущая к рудникам дорога густо заросла тропическим лесом и скрылась столь бесследно, словно ее море поглотило; а главная штольня обвалилась примерно в сотне ярдов от входа в шахту. Это уже не был заброшенный рудник; просто созданная природой неприступная, каменистая щель, неподалеку от которой под буйными зарослями стелющихся по траве колючих растений можно было обнаружить то несколько обугленных досок, то груду битого кирпича, то какие-то бесформенные ржавые железки. Мистер Гулд-старший отнюдь не хотел быть пожизненным владельцем этих унылых мест; стоило ему представить их себе в ночной тиши, его охватывало возмущение, неизменно кончавшееся бессонницей.

Но случилось так, что министром финансов в то время оказался человек, чью просьбу о небольшом денежном вспомоществовании мистер Гулд имел неосторожность отклонить, обосновывая свой отказ тем обстоятельством, что проситель — известный жулик и шулер, подозреваемый к тому же в том, что ограбил зажиточного ранчеро[66] и нанес ему телесные повреждения в глухой

---

[66] Примечания: 66
Владелец ранчо, фермы *(исп.)*.

сельской местности, где сам в ту пору исполнял обязанности судьи. Сейчас, достигнув высокого положения, этот славный деятель объявил о своем намерении отплатить добром за зло сеньору Гулду, человеку небогатому. Вновь и вновь он подтверждал свое решение во всех гостиных Санта-Марты голосом тихим и неумолимым, и взгляд его при этом сверкал так злобно, что близкие друзья мистера Гулда от души советовали ему не пытаться прибегнуть к подкупу, который обеспечил бы ему спокойную жизнь. Это бесполезно. Мало того, это даже небезопасно. Того же мнения придерживалась дородная громкоголосая дама французского происхождения, отец которой, как утверждала она, был офицером в высоких чинах (officier supérieur de l'armée), и занимавшая квартиру, расположенную в стенах переданного ныне для светских целей бывшего монастыря, находящегося непосредственно рядом с домом министра финансов. Эта цветущая особа, когда к ней должным образом и с соответствующим презентом обратились за помощью от имени мистера Гулда, уныло покачала головой. Она была добросердечной женщиной, а ее неверие в успех — искренним. Она не считала себя вправе брать деньги за услугу, которой не могла оказать. Друг

мистера Гулда, взявший на себя выполнение этой щекотливой миссии, впоследствии говаривал, что из всех лиц, близко или отдаленно связанных с правительством, которых он когда-либо встречал, только эта дама была честным человеком.

— Пустой номер, — сказала она сипловато с несколько вульгарной интонацией, свойственной ей так же, как и обороты речи, более приличествующие дитяти неизвестных родителей, нежели осиротевшей генеральской дочери. — Нет, куда там. Пустой номер. Pas moyen, mon garçon. C'est dommage, tout de même. Ah! Zut! Je ne vole pas mon monde. Je ne suis pas ministre — moi! Vous pouvez emporter votre petit sac![67]

Покусывая пунцовую губку, она омрачилась на миг, удрученная суровым деспотизмом правил, ограничивающих ее влияние в высоких сферах. Затем внушительно и с легким раздражением заключила:

— Allez et dites bien à votre bonhomme — entendezvous? — qu'il faut avaler la pilule[68].

---

[67] Примечания: 67

Ничего не выйдет, мой мальчик. Жаль, конечно. Но поймите сами: не могу же я грабить своих. Я все-таки не министр! Уберите свой кошелечек! *(фр.)*

[68] Примечания: 68

Ступайте и скажите вашему приятелю: ничего не поделаешь, эту пилюлю придется проглотить *(фр.)*.

После такого предупреждения оставалось только подписать и уплатить. Мистер Гулд покорно проглотил пилюлю, изготовленную, казалось, из каких-то ядовитых веществ, которые сразу же подействовали на его рассудок.

Рудники стали его навязчивой идеей и, поскольку он прочел немало приключенческих книг, приобрели в его сознании облик зловредного морского старикашки из арабской сказки, который влез к нему на спину, как к Синдбаду-мореходу, и крепко вцепился в плечи. Кроме того, ему начали мерещиться вампиры. Мистер Гулд преувеличивал разорительность своего нового положения, ибо воспринял его сердцем, а не умом. В действительности его положение осталось в точности таким, как прежде. Но человек по натуре своей удручающе консервативен, и мистера Гулда сильнее всего обескуражило то, что его вынуждают раскошелиться каким-то совершенно новым и диковинным способом.

Кровожадные банды, затеявшие после смерти Гусмана Бенто низкопробную игру, которую они именовали «правительственными переворотами», грабили не его одного. Он знал по опыту, что ни одна из разбойничьих шаек, завладевших президентским дворцом, не упустит даже

малого и, если дело идет о наживе, не постоит за таким пустяком, как подыскать подходящий предлог. Первый попавшийся новоиспеченный полковник, ведущий за собой толпу босоногих оборванцев, мог с предельной убедительностью предъявить любому штатскому свои права на получение десяти тысяч долларов; а это значило, что он рассчитывает содрать с него не менее тысячи отступного. Все это мистер Гулд отлично знал и, вооружившись терпением, дожидался лучших времен. Но он не мог смириться с тем, что его грабят под вывеской законности и опустошают его кошелек, делая вид, будто вступают с ним в деловой контакт. Мистер Гулд-отец был благоразумен, проницателен, честен, но обладал одним недостатком: придавал слишком много значения форме. Эта слабость свойственна тем, кто подвержен предрассудкам. То, что мошенничеству злонамеренно придали видимость законной сделки, потрясло его до глубины души и подорвало дотоле крепкое здоровье. «Это убьет меня в конце концов», — повторял он по многу раз в день. И в самом деле, у него начались приступы лихорадки, боли в печени, но сильнее всего его изводила полная неспособность думать о чем-либо, кроме рудников. Министр финан-

сов и не представлял себе, сколь изощренной оказалась его месть. Даже в письмах к четырнадцатилетнему Чарлзу, обучавшемуся в то время в Англии, мистер Гулд не сообщал практически ни о чем, кроме рудников.

Он жаловался на гонения, на несправедливость, на беззакония, жертвой которых стал; он исписывал целые страницы, рассказывая, к каким фатальным последствиям его приведет владение этими рудниками, от которых ждал всяческих бед, и с ужасом предрекал, что проклятие это будет тяготеть над семьей до скончания веков. Ибо концессия была закреплена за ним и его наследниками навечно. Он заклинал сына не возвращаться в Костагуану и не предъявлять претензий на причитающееся ему здесь наследство, осквернённое гнусной концессией; не иметь с ней ни малейших дел, даже близко к ней не подходить, забыть о существовании Америки и посвятить себя коммерческой деятельности в Европе. Каждое письмо заканчивалось горькими упреками, которые мистер Гулд-старший обрушивал на самого себя за то, что прожил так долго в этом вертепе, полном интриганов, разбойников и воров.

Непрестанно твердить подростку четырнадца-

ти лет, что его будущее загублено, ибо он является владельцем серебряных рудников, занятие не очень перспективное, — своей непосредственной цели оно, во всяком случае, не достигает; зато вы смело можете рассчитывать, что ваши предупреждения вызовут интерес и внимание именно к тому, против чего вы предупреждаете. С течением времени мальчик, который поначалу был просто ошеломлен бесконечными гневными жалобами, но в общем жалел старика, стал задумываться над содержанием отцовских писем в свободное от игры и учения уроков время. А примерно через год составил вполне отчетливое убеждение, что в провинции Сулако республики Костагуана, где много лет назад солдаты застрелили бедного дядюшку Гарри, есть какие-то серебряные рудники. Дальше: с рудниками этими связано нечто, именуемое «мерзопакостная концессия Гулда», запечатленное на листе бумаги, который его отец страстно желал «изорвать на мелкие клочки и швырнуть в лицо» президентам, судьям и министрам этого государства. Желание оставалось неизменным, хотя имена этих людей, как заметил Чарлз, редко повторялись от письма к письму в течение года. Желание Гулда-отца (поскольку относилось оно к чему-то мерзопакостному)

представлялось мальчику вполне естественным, он одного не знал: чем именно мерзопакостна вся эта история.

Позже, повзрослев и поумнев, он сумел оградить чисто деловую сторону от вторжений морского старикашки, вампиров и упырей, придававших отцовским письмам отзвук страшной сказки из «Тысячи и одной ночи». И в конце концов рудники стали для юноши так же существенны и важны, как для старика, присылавшего из-за океана скорбные и гневные письма. Вот уже несколько раз пришлось уплатить громадные штрафы за нерадивое отношение к разработкам, — сообщал мистер Гулд-старший, — а кроме того, в счет будущих доходов на него налагают поборы, утверждая, что владелец такой выгодной концессии не может отказать правительству в денежной помощи. Последние остатки его состояния уплывают из рук, а взамен ему подсовывают не стоящие ни гроша расписки, — писал он в ярости, — и в то же время на него указывают пальцем как на человека, сумевшего извлечь огромную прибыль, воспользовавшись тяжким положением страны. И юноша, живущий в Европе, испытывал все больший интерес к обстоятельствам, способным вызвать такую бурю

страстей и слов.

Каждый день он думал теперь о рудниках; но он думал о них без горечи. Отцу не повезло, бедняге, да и вообще вся эта история в довольно странном свете представляет общественную и политическую жизнь Костагуаны. Он, разумеется, сочувствовал отцу, но он не кипятился, он старался все понять и взвесить. Ведь его чувств никто не оскорбил, и нелегко поддерживать в себе годами пылкое негодование, разделяя физические либо нравственные муки другого человека, даже если это твой родной отец. К двадцати годам рудники Сан-Томе приворожили к себе и Гулда-младшего. Но это было увлечение совсем иного рода, более подобающее молодости, магическую формулу которой составляют не отчаяние и гнев, а надежда, стремление действовать и уверенность в собственных силах.

В двадцать лет, получив позволение жить как ему вздумается (если не считать сурового запрета возвращаться в Костагуану), Чарлз продолжил обучение во Франции и в Бельгии и поставил себе целью приобрести знания, необходимые для горного инженера. Впрочем, научный аспект его трудов смутно вырисовывался в сознании Чарлза. Шахты пробуждали в нем скорее ин-

терес драматического свойства. Он изучал их индивидуальные особенности, как изучают всевозможные свойства людей. Он посещал их с таким же любопытством, с каким едут в гости к выдающейся особе. Он побывал на шахтах в Германии, в Испании, в Корнуолле. Особенное впечатление производили на него заброшенные разработки. Глядя на их запустение, он ощущал живое участие, словно перед ним предстало человеческое горе, истоки которого ему неизвестны и, возможно, непросты и глубоки. Может быть, они не стоят ничего, а быть может — не поняты. Будущая жена Чарлза стала первым и, вероятно, единственным человеком, уловившим затаенное чувство, лежащее в основе глубокого понимания и почти безмолвного тяготения молодого Гулда к миру материального. И сразу же ее восхищение им, прежде медлившее с полураспущенными крыльями, словно птица, которая неспособна взлететь с ровной поверхности, обрело вершину и воспарило к небесам.

Они познакомились в Италии, где будущая миссис Гулд гостила у пожилой, бледной и увядшей тетушки, которая за много лет до того вышла замуж за обнищавшего итальянского маркиза. Сейчас она оплакивала этого человека — он жиз-

ни не щадил, сражаясь за независимость и единство родины, и его пылкое благородство не имело предела, ибо он принадлежал к младшему поколению павших в той борьбе, обломком которой оказался старик Джорджо Виола, болтавшийся теперь в житейском море, словно рея, упавшая в воду после морского боя. Маркиза напоминала монахиню — всегда в черном с белой лентой на лбу, разговаривала шепотом, жила незаметно и тихо в уголке второго этажа старинного полуразрушенного палаццо, на первом этаже которого в пустых залах с расписными потолками хранился урожай, нашла приют домашняя птица и даже коровы, а также все семейство арендатора.

Наша юная пара впервые встретилась в Лукке. После этого Чарлз Гулд не посещал больше шахт; впрочем, они съездили однажды в карете посмотреть каменоломню, где добывали мрамор и все сходство с шахтой исчерпывалось тем, что там тоже извлекали из земли в необработанном виде нечто драгоценное. Чарлз Гулд не излагал своей избраннице подробно, что тревожит его душу. Он просто жил и думал у нее на глазах. Это и есть настоящая искренность. Особенно часто повторял он фразу: «Мне иногда кажется, что бедному папе в искаженном виде представлялась эта история

с рудниками Сан-Томе». И они долго и серьезно обсуждали его мнение, словно могли каким-то образом повлиять на сознание человека, который находился в другом полушарии; в действительности же они обсуждали это потому, что для любви нет посторонних тем — она жива и горяча, о чем бы ни беседовали между собой влюбленные. Именно по этой, вполне естественной причине будущая миссис Гулд всегда с радостью вступала в разговоры о рудниках Сан-Томе. Чарлз опасался, что мистер Гулд-старший растрачивает силы и губит здоровье в бесплодных попытках избавиться от концессии. «Мне кажется, действовать надо совсем не так», — рассуждал он вслух, словно разговаривая сам с собой. А когда его слушательница выразила искреннее удивление, что умный, деятельный человек посвящает всю свою энергию интригам, он, сердцем чувствуя ее недоумение, ласково разъяснил: «Не забывайте, он ведь там родился».

Немедленно обдумав его ответ, она возразила, неожиданно, но, следует признать, вполне логично, ибо и в самом деле…

— Ну а вы? Вы ведь тоже там родились.

Ее возражение его не смутило.

— Это совсем другое дело. Я не живу там уже

десять лет. Отец никогда не уезжал так надолго; а история эта тянется уже больше тридцати лет.

Она была первой, с кем он заговорил, получив известие о смерти отца.

— Они его все же убили! — сказал он.

Он пришел прямо из города пешком, чтобы сообщить ей эту весть, шагал под полуденным солнцем по белой и пыльной дороге, и вот они стоят друг перед другом в большом зале дряхлого палаццо, в величественной комнате с голыми стенами, на которых там и сям темнеют длинные клочья камчатных обоев, почерневшие от времени и сырости. Всю меблировку комнаты составляли позолоченное кресло со сломанной спинкой и восьмиугольная подставка, на которой возвышалась тяжелая мраморная ваза, украшенная вырезанными из камня масками и цветочными гирляндами и треснувшая сверху донизу. Чарлз был весь в пыли — белая пыль дороги осела на его ботинках, на плечах, на кепи с двумя козырьками. По лицу его катился пот, правая рука сжимала тяжелую дубовую палку.

Ее лицо под розами широкополой соломенной шляпки стало смертельно бледным, а обтянутые перчатками руки беспокойно вертели светленький зонтик, — Чарлз застал ее как раз в тот миг,

когда она собиралась выйти, чтобы встретить его у подножья холма, там, где три тополя стоят у курчавой стены виноградника.

— Они все же убили его! — повторил он. — Отец мог прожить еще много лет. В нашей семье умирают в глубокой старости.

Потрясенная, она молчала; он рассматривал пронизывающим неподвижным взглядом треснувшую мраморную вазу, словно решил запечатлеть ее навеки в памяти. И только когда он внезапно повернулся к ней и у него вырвалось: «Я пришел к вам… я прямо к вам пришел…», а договорить так и не смог, она всем сердцем ощутила, как горестна была кончина одинокого, измученного старика в далекой Костагуане. Он схватил ее руку, поднес к губам, и тут она выронила зонтик, погладила его по щеке, прошептала: «Бедный мальчик» — и стала утирать слезы, полускрытые опущенными полями шляпы, удивительно маленькая в простом белом платье, совсем как ребенок, который плачет, растерявшись, подавленный обветшалым великолепием пышного зала, а он стоял перед ней и снова в полной неподвижности глядел на мраморную вазу.

Затем они долго гуляли вдвоем, не говоря ни слова, пока он не воскликнул:

— Да. За это дело совсем не так надо бы взяться!

И тут они остановились. Всюду лежали длинные тени — на холмах, на дорогах, на огороженных оливковых рощах; тени тополей, раскидистых каштанов, амбаров и сараев, каменных стен; а воздух был пронизан звоном колокола, высоким, тревожным, и, казалось, это колотится пульс закатного зарева. Ее губы слегка приоткрылись, словно она удивлялась, почему он не смотрит на нее с тем выражением, к которому она привыкла. Он всегда глядел на нее с несомненным одобрением и вниманием. А в разговорах с нею представал самым почтительным и нежным из диктаторов, чем безмерно радовал ее. Ведь это утверждало ее власть, не нанося ущерба его достоинству.

Эта хрупкая девушка с маленькими ногами и руками, маленьким личиком, особенно привлекательным в пышном обрамлении локонов; эта девушка, которой стоило лишь приоткрыть рот, — он был немного великоват, пожалуй, — и, казалось, само дыхание ее благоухает великодушием и чистотой, обладала мудрым сердцем зрелой женщины. Самым важным, самым лестным для нее была возможность гордиться своим избранником. Но сейчас он просто не смотрел на

нее, ни разу не взглянул; и взор его был напряженным и странным — иным и не может быть взгляд мужчины, который таращится в пустоту, когда мог бы смотреть на очаровательное девичье личико.



— Ну что ж. И в самом деле мерзопакостно. Измучили его, сломали… бедный старик. И почему он не позволил мне к нему приехать? Но теперь-то я знаю, как за это взяться.

После того как он с уверенностью произнес эти слова, он наконец-то взглянул на нее, и тотчас же его охватило мучительное беспокойство, неуверенность, страх.

Сейчас он хочет знать только одно, сказал он: любит ли она его настолько… хватит ли у нее мужества уехать с ним так далеко? Он предлагал ей эти вопросы, и голос его дрожал от волнения — ведь отказываться от своих решений он не привык.

Она любила его. И мужества у нее хватит. И тотчас будущая хозяйка дома, открытого для всех европейцев в Сулако, почувствовала: земля ушла у нее из-под ног в буквальном смысле этого слова. Исчезла полностью, даже колокол перестал звонить. Когда ноги ее вновь коснулись земли, звон колокола по-прежнему доносился из долины; она поправила волосы, прерывисто дыша, и окинула быстрым взглядом каменистую тропинку. Слава богу, на тропинке ни души. Чарлз тем временем, ступив в сухую пыльную канаву, поднимал открытый зонтик, откатившийся от них с

дробным стуком, напоминавшим треск барабана. Он вручил зонтик Эмилии, сдержанный, слегка удрученный.

Затем они направились к дому, и, когда она погладила его по плечу, он наконец заговорил, и первыми его словами было:

— Очень удачно, что мы сможем поселиться в прибрежном городе. Я вам уже рассказывал о нем. Он называется Сулако. Я так рад, что у бедняги-отца в этом городе был дом. Большой особняк, отец купил его давным-давно — ему хотелось, чтобы в главном городе так называемой Западной провинции был и навсегда остался Каса-Гулд. В детстве я там прожил с мамой целый год, а отец мой ездил в это время по делам в Соединенные Штаты. Теперь вы станете новой хозяйкой Каса-Гулд.

И позже в обитаемом уголке палаццо, высящегося над виноградниками, каменоломнями, соснами и оливами Лукки, он продолжал:

— Имя Гулдов пользуется огромным почетом в Сулако. Мой дядюшка Гарри одно время возглавлял правительство и вошел в круг самых уважаемых людей страны. Под этим кругом я подразумеваю семьи обедневших креолов, весьма далекие от мира политических интриг.

Дядя Гарри не был авантюристом. Среди костагуанских Гулдов вообще нет авантюристов. Он являлся гражданином этой страны, любил ее, но образ мыслей сохранил чисто английский. Он воспользовался политическим девизом того времени. Ратовал за федерацию. Но политическим деятелем не был. Просто он любил свободу, если она основана на разуме и опыте, ненавидел угнетение и потому стремился установить в стране общественный порядок. На жизнь он смотрел трезво. Делал то, что считал правильным, точно так же как я сейчас убежден, что должен заняться этими рудниками.

Он разговаривал с ней так потому, что его память до краев заполняла страна его детства, сердце — эта девушка, а мысли — концессия на рудники Сан-Томе. Чарлз добавил, что ему придется на несколько дней ее покинуть и разыскать одного американца из Сан-Франциско — он пока еще где-то в Европе. С полгода тому назад они познакомились в старинном, богатом историческими памятниками немецком городке, расположенном в рудничном районе. Американец приехал в Европу с семьей, но выглядел ужасно одиноким, а его жена и дочки по целым дням делали наброски старинных порталов и

башенок на углах средневековых домов.

Чарлз Гулд и американец вели долгие и оживленные беседы о шахтах. Оказалось, американца интересует рудничное дело, а кроме того, он знал кое-что о Костагуане и слышал о Гулдах. Они даже подружились, в тех пределах, какие допускала разница в годах. Чарлзу непременно хотелось разыскать сейчас этого предпринимателя, обладающего острым деловым умом и в то же время дружелюбного. Состояние его отца, — как он еще недавно полагал, значительное, — судя по всему, расплавилось в адском тигле мятежей и путчей. За исключением десяти тысяч фунтов, лежащих в одном из английских банков, от него, пожалуй, не осталось ничего, кроме дома в Сулако, довольно неопределенных прав на вырубку леса в глухом, отдаленном районе и концессии на рудники Сан-Томе, подтолкнувшей его несчастного отца к самому краю могилы.

Он объяснил все это Эмилии. Они проговорили допоздна. Чарлз никогда еще не видел ее такой обворожительной. Все пылкое стремление юности к жизни новой, неведомой, к дальним странам, к будущему, сулившему испытания, борьбу, — заманчивая надежда исправить зло и победить, — все это привело ее в необычайное

волнение, и ее отклик любимому, чей призыв пробудил в ней это чувство, был еще более открытым и чарующе нежным.

Он попрощался с ней, спустился с холма, и, как только остался один, возбуждение улеглось. Смерть вносит непоправимые перемены в течение наших повседневных мыслей, отзывающихся смутным, но мучительным беспокойством души. Чарлзу горько было сознавать, что никогда больше, как бы ни напрягал он волю, он не сможет думать об отце так, как думал о нем, когда тот был жив. Нет, он не в силах теперь мысленно оживить его. И, осознав все это, чувствуя, что и сам он в чем-то изменился, он ощутил горестное и гневное стремление действовать. К этому толкал его инстинкт. Безошибочный инстинкт. Действие успокаивает. Оно враг размышлений и друг лестных иллюзий. Только действие обещает надежду одержать победу над судьбой. Единственным полем деятельности для Чарлза, несомненно, были рудники.

Человеку иногда необходимо понять, каким образом он сможет нарушить волю умершего. Он твердо решил исходить, нарушая ее, из самого существенного: действовать во искупление. Рудники послужили причиной несчастья: из-за

них нелепо погибла, разрушилась личность; они должны, начав работать, принести успех, успех разумный, успех созидания. Это его долг перед покойным отцом. Таковы были, собственно говоря, эмоции Чарлза Гулда. Мысли же его были заняты тем, как раздобыть большую сумму денег в Сан-Франциско или где-нибудь еще; и пока он размышлял об этом, ему вдруг как-то само собой пришло в голову, что совет усопших — плохой руководитель. Ведь никто из них не знает заранее, какие грандиозные перемены может произвести смерть любого человека в мире живых.

О самой последней фазе в истории рудников миссис Гулд знала уже из собственного опыта. Ведь основная суть этой истории была историей ее семейной жизни. Наследственная мантия Гулдов из Сулако окутала ее хрупкую фигурку с ног до головы; но странное это одеяние не повлияло на миссис Гулд и не уменьшило ее природной живости, в которой отражалась не бойкость нрава, а пытливый острый ум. Из чего отнюдь не следует, что миссис Гулд была женщиной с мужским складом ума. Женщины с мужским складом ума не способны, к слову сказать, на что-либо особо серьезное; такие женщины — отклонение от установленного природой вида, они занятны,

но толку от них никакого.

Зато донья Эмилия, обладавшая женским складом ума, покорила Сулако без всяких усилий, ум служил ей для того, чтобы со всею полнотою могла проявиться ее бескорыстная отзывчивая натура. Она была прекрасной собеседницей, хотя не отличалась разговорчивостью. Мудрость сердца не многоречива, ибо заключается не в том, чтобы выдвигать и опровергать теории — ей это столь же чуждо, как защищать предрассудки. Мудрость сердца заключена не в словах, а в чистоте, терпимости, сострадании. Истинная нежность женщины, точно так же как истинная мужественность мужчины, на каждом шагу проявляет себя пленительным благородством поступков. Все живущие в Сулако дамы обожали миссис Гулд. «Я для них по-прежнему какой-то монстр», — весело сказала миссис Гулд джентльмену из Сан-Франциско, который с двумя компаньонами посетил Сулако примерно через год после того, как она вышла замуж, и гостил у Гулдов.

Эти три джентльмена были ее первыми гостями, приехавшими из-за границы, а явились они ознакомиться с рудниками Сан-Томе. Она весьма мила и остроумна, решили они, что до Чарлза Гулда, он не только отчетливо знает, чего хочет,

но также очень энергично стремится к цели. Эти его черты вызвали у гостей из Сан-Франциско еще большее расположение к его жене. Миссис Гулд говорила о рудниках с несомненным воодушевлением, смягченным легким привкусом иронии, и гости, совершенно очарованные ее беседой, не могли сдержать улыбки, снисходительной улыбки серьезных деловых людей, в которой содержалась в то же время немалая доля почтения. Возможно, если бы они узнали, что так пылко желать успеха миссис Гулд заставляют прежде всего идеалистические цели, то подивились бы ее душевным устремлениям, так же как местные дамы удивлялись ее неустанному стремлению действовать. И она бы стала в их глазах — употребляя ее собственное выражение — «каким-то монстром». Но супруги Гулд прежде всего были очень сдержанной парой, и гости отбыли, не подозревая о существовании у них каких-либо иных планов, кроме самого заурядного: возобновить на рудниках работы и получать доход. Миссис Гулд дала гостям свою карету, запряженную белыми мулами, и джентльмены из Соединенных Штатов отправились в гавань, где их поджидала «Церера», дабы доставить на олимп плутократов. Капитан Митчелл воспользовался минутой про-

щанья и, понизив голос, доверительно сообщил миссис Гулд: «Началась новая эпоха».

Миссис Гулд любила внутренний дворик своего испанского дома. Сидящая в нише мадонна в голубых одеждах, которая держала на руках младенца с нимбом вокруг головы, безмолвно глядела на широкие каменные ступени. Ранним утром со дна мощеного квадратного колодца, каким казался сверху внутренний двор, доносились приглушенные голоса, стук копыт лошадей и мулов, которых попарно водили на водопой. Узкие, похожие на лезвие ножа бамбуковые листья падали в маленький квадратный водоем, а на окружавшем его низком парапете сидел дородный закутанный в плащ кучер и лениво придерживал поводья рукой. Взад-вперед сновали босоногие слуги, возникая из темных низеньких дверных проемов первого этажа; две прачки с корзинами стираного белья; пекарь, несущий поднос с хлебом, испеченным на день; высоко подняв руку над черной, словно вороново крыло, головой, Леонарда — ее «камериста»[69] — несла охапку накрахмаленных нижних юбок, ослепительно-белых под лучами утреннего солн-

[69] Примечания: 69
Горничная *(исп.).*

ца. Затем, ковыляя, входил старик-привратник, мел каменные плиты, и вот уж дом готов к началу нового дня. Все комнаты верхнего этажа на трех сторонах четырехугольника — смежные, и все они выходят на галерею с перилами кованого железа в ярком обрамлении цветов, и отсюда, сверху, миссис Гулд, словно владетельница средневекового замка, любит наблюдать, как кто-то входит в дом, кто-то из него выходит, и из сводчатой подворотни каждый раз слышится гулкий шум шагов, что придает значительность этим несущественным событиям.

Глядя вслед карете, увозившей трех гостей из Штатов, она улыбнулась. Три руки одновременно потянулись к трем шляпам. Четвертый пассажир, капитан Митчелл, уже что-то напыщенно повествовал. Миссис Гулд немного задержалась на галерее. Медленно прошлась, то здесь, то там наклоняясь к душистым венчикам цветов, словно ей хотелось, чтобы течение ее мыслей совпало с неслышной поступью шагов, доносившихся из длинного прямого коридора.



Индейский гамак из Ароа с бахромой из ярких перьев предусмотрительно подвесили именно

в том уголке галереи, куда раньше всего добирались солнечные лучи: ведь в Сулако по утрам прохладно. Грозди ночных фиалок пламенели перед раскрытыми дверями всех гостиных. Большой зеленый попугай, словно изумруд сверкающий в клетке, которая казалась золотой, отчаянно вопил «Viva Costaguana!»[70] — затем дважды сладкозвучно позвал, подражая голосу миссис Гулд: «Леонарда! Леонарда!» — после чего внезапно погрузился в безмолвие и неподвижность. Миссис Гулд дошла до конца галереи и заглянула в комнату мужа.

Чарлз, поставив ногу на низкий деревянный табурет, пристегивал шпоры. Он торопился на рудники. Миссис Гулд, не заходя в комнату, обвела ее взглядом. Один из двух книжных шкафов, высокий и широкий, был полон книг; зато второй — без полок, обитый изнутри красным сукном — представлял собой настоящую выставку огнестрельного оружия: карабины, револьверы, два дробовика и даже две пары двухствольных пистолетов. Между всем этим оружием и как бы отгороженная от него на лоскуте алого бархата висела старинная кавалерийская сабля, неко-

---

[70] Примечания: 70
«Да здравствует Костагуана!» *(исп.)*

гда принадлежавшая дону Энрике Гулду, герою Западной провинции, подарок дона Хосе Авельяноса, наследственного друга их семьи.

Если не считать этих двух шкафов, белые оштукатуренные стены комнаты были абсолютно пусты, их украшал лишь акварельный набросок рудников Сан-Томе, сделанный доньей Эмилией собственноручно. Посредине комнаты на выложенном красной плиткой полу стояли два длинных стола, заваленные чертежами и бумагами, несколько стульев и ящик со стеклянной крышкой, в котором находились образчики руды из Сан-Томе. Миссис Гулд, оглядев все эти вещи, полюбопытствовала, почему беседа с богатыми и предприимчивыми господами, обсуждающими виды на будущее, рудничные работы и обеспечение их безопасности, вызывает в ней неловкость и сердит ее, в то время как с мужем она может часами разговаривать о рудниках с неослабевающим удовольствием и интересом.

И спросила, выразительно опустив веки:

— Как ты думаешь, почему это, Чарли?

Затем, удивленная молчанием мужа, подняла на него широко открытые, прелестные, словно голубые цветы, глаза. Он к этому времени уже пристегнул шпоры, обеими руками подкрутил

усы, придав им горизонтальное положение, и внимательно обозрел ее с высоты своего роста, явно одобряя ее внешность. Миссис Гулд было приятно чувствовать на себе этот взгляд.

— Они люди с весом, — сказал он.

— Я знаю. Но ты слышал когда-нибудь их разговоры? Такое впечатление, будто они ровно ничего не поняли из того, что тут увидели.

— Они видели тут рудники. И поняли кое-что не без пользы для себя, — возразил Чарлз, вступаясь за гостей; но тут его супруга назвала имя самого весомого из них. Он обладал немалым весом как в финансовых, так и в промышленных сферах. Имя его знали миллионы людей. Человек, обладающий таким весом, ни за что бы не уехал так далеко от центра своей деятельности, если бы туманные угрозы врачей не вынудили его отправиться в столь длительное путешествие.

— Религиозные чувства мистера Холройда, — не унималась миссис Гулд, — очень оскорбила пестрота одежд на статуях святых в нашем соборе — обожествление, сказал он, золота и мишуры. Но мне показалось, что его собственный бог в его глазах нечто вроде влиятельного компаньона, получающего свою долю прибылей в виде пожертвований на церковь. Он сказал, что каждый

год жертвует на разные церкви, Чарли.

— На множество церквей, — подтвердил мистер Гулд, восхищаясь ее оживленным выразительным личиком. — Он раздает пожертвования по всей стране. Он прославился щедростью даров на церковные нужды.

— Но он вовсе этим не кичится, — добавила миссис Гулд, стремясь быть беспристрастной. — По-моему, он в самом деле хороший человек, но до чего же глуп! Какой-нибудь несчастный индеец, который в благодарность за исцеление дарит своему божку серебряную руку или ногу, ведет себя ничуть не менее разумно, но более человечно.

— Мистер Холройд возглавляет бесчисленное множество предприятий, добывающих серебро и железо, — возразил Чарлз Гулд.

— О, еще бы! Религия серебра и железа. Очень учтивый господин, хотя, увидев в первый раз у нас под лестницей Мадонну, представляющую собой раскрашенную деревяшку, он принял чрезвычайно суровый вид; но ни слова не сказал мне. Чарли, милый, я слышала, как они разговаривают между собой, эти дельцы. Неужели они действительно хотят ради своих несметных прибылей осушить все водоемы и вырубить все

леса во всех странах мира?

— Если человек работает, у него должна быть какая-то цель, — уклончиво отозвался Чарлз Гулд.

Миссис Гулд, нахмурившись, оглядела его с головы до ног. В бриджах для верховой езды, в кожаных гетрах (атрибут одежды, неведомый до этих пор в Костагуане), в серой фланелевой куртке, с громадными огненно-рыжими усами, он был похож на кавалерийского офицера, который вышел в отставку и занялся сельским хозяйством. Как раз всем этим он и нравился миссис Гулд. «До чего же он похудел, бедный мой мальчик! — подумала она. — Много работает, не жалеет себя». В то же время нельзя было отрицать, что его тонкое, обветренное лицо, живой и проницательный взгляд производят приятное впечатление, да и весь он, длинноногий, сухощавый, несомненно имеет вид человека достойного и воспитанного. И миссис Гулд смягчилась.

— Мне было просто интересно, каковы твои чувства, — ласково и негромко проговорила она.

Вот уже несколько дней Чарлз Гулд так усиленно старался не сказать ничего необдуманного, что ему было недосуг уделять внимание тому, каковы его чувства. Но они были любящей четой,

и ответ возник с легкостью.

— Все мои чувства отданы тебе, дорогая, — не задумываясь отозвался он; и так много правды было в этой лаконичной и даже не вполне вразумительной фразе, что, когда он произносил ее, его душу всколыхнула огромная нежность и благодарность жене.

Миссис Гулд, однако, вовсе не сочла его ответ невразумительным. Она немного покраснела; а тем временем Чарлз заговорил уже другим тоном:

— Существуют факты, против них не возразишь. Ценность рудников — как таковых — несомненна. Рудники нас сделают очень богатыми людьми. Для того чтобы заниматься их разработками, нужны чисто технические познания, которыми я обладаю… а во всем мире ими обладают еще тысяч десять человек. Но сохранить рудники в целости, добиться, чтобы разработки продолжались и приносили прибыль людям, — посторонним, относительно посторонним, — которые вложили в предприятие деньги, — эта задача полностью возложена на меня. Ко мне с доверием отнесся человек, обладающий большим богатством и положением в обществе. Тебе кажется, что иначе и быть не могло, да? Право же,

не знаю. Я не знаю, почему я внушил ему такое доверие; но это факт. И благодаря этому факту все делается возможным, потому что в противном случае я и помыслить бы не мог о том, чтобы не выполнить волю отца. И мне не удалось бы передать кому-нибудь концессию, как передает свои решающие права в предприятии спекулянт — за наличные и акции, которые, вероятно, когда-нибудь его обогатят, и уж во всяком случае определенную сумму он положит в карман сразу. Нет. Даже если бы это было осуществимо — что сомнительно, — я бы так не поступил. Отец этого не понимал, бедняга. Он думал, я запутаюсь, как он, буду просто ждать счастливой случайности и сгублю здесь свою жизнь. Он поэтому и запретил мне сюда возвращаться, а мы вполне сознательно нарушили его запрет.

Они прогуливались взад-вперед по галерее. Ее голова доставала как раз до его плеча. Он держал ее за талию. Тихо позвякивали шпоры.

— Он меня не видел десять лет. Не знал меня. Ради моей пользы он со мной расстался и не позволял мне сюда приезжать. Он постоянно твердил в письмах, что уедет из Костагуаны, бросит все и убежит. Но он был слишком ценной добычей. Если бы кто-нибудь заподозрил, что он готовит

побег, его тут же засадили бы за решетку.

Он шел медленно, негромко звеня шпорами. Шел, наклонившись к жене. Большой попугай, нагнув голову, круглым немигающим глазом глядел им вслед.

— Одинокий он был человек. Едва мне исполнилось десять, он стал делиться со мной всеми своими бедами, как со взрослым. Когда я жил в Европе, он писал мне каждый месяц. По десять, двенадцать страниц каждый месяц десять лет подряд. И при этом не знал, какой я! Только подумай — мы не встречались целых десять лет; за эти годы я из ребенка стал мужчиной. Он и не мог меня узнать. Как ты полагаешь, ведь не мог?

Миссис Гулд отрицательно покачала головой; именно этого ответа и ожидал ее муж, приведя столь неопровержимые доводы. Но в действительности она покачала головой, ибо считала, что никто не может узнать ее Чарлза, узнать его по-настоящему, никто, кроме нее. Это же ясно. Она это чувствует. И доводы тут совсем не нужны. А бедняга мистер Гулд-отец, умерший слишком рано для того, чтобы узнать об их помолвке, был в ее представлении какой-то призрачной фигурой, так что сомнительно, а мог ли он вообще хоть что-то знать.

— Нет, не знал. Я уверен, рудники не следовало продавать! Никогда! После всего, что он здесь вынес, я ни за что не стал бы ими заниматься только ради денег, — продолжал Чарлз; и она прижалась головкой к его плечу, безмолвно одобряя его слова.

Они задумались о жизни, окончившейся так плачевно именно тогда, когда его и ее жизни соединила счастливая полная лучезарных надежд любовь, для людей, способных на глубокое чувство, представляющаяся торжеством добра над всем злом, какое только есть на земле. В их жизненные планы неожиданно вошла смутная идея исправить это зло. Она была настолько смутной, что не нуждалась в поддержке аргументами, но это делало ее только более настоятельной. Возникла она в тот миг, когда для женского стремления к самозабвенной преданности и мужской тяги действовать самым могучим стимулом является пылкая мечта. Даже наложенный покойником запрет, казалось, еще настойчивее требовал, чтобы они добились своего. Они как бы обязаны были доказать, что правы, с надеждой взирая на жизнь, и противопоставить свою решимость пессимизму тех, кто не выдержал борьбы и впал в отчаяние. Если у них и возникала мысль о

богатстве, то лишь потому, что была связана с их главной мечтой.

Миссис Гулд, осиротевшая в раннем детстве и оставшаяся без средств, воспитанная в атмосфере интеллектуальных интересов, даже и не помышляла о богатстве. Она так мало знала о жизни богатых людей, что у нее не возникало желания к ней приобщиться. Но она не ведала и тяжкой нужды. Даже бедность ее тетушки маркизы утонченному уму не представлялась невыносимой: эта бедность согласовалась с огромным горем старой маркизы; от нее веяло аскетизмом жертвы, возложенной на алтарь благородных идеалов. Так получилось, что меркантилизм даже в самых умеренных дозах отсутствовал в характере миссис Гулд. Покойник, о котором она думала с нежностью (ведь он был отцом Чарли) и с некоторой досадой (уж очень слабодушным оказался он), разумеется, глубоко заблуждался. Рудники, одни лишь запретные рудники способны послужить основой, на которой они построят себе благосостояние, ничем не запятнав его единственно достойной, немеркантильной стороны!

Что до Чарлза, он вынужден был считать материальный аспект чуть ли не самым главным; но он был для него средством, а не целью. Если

рудники не будут приносить большой доход, ими не стоит заниматься. Когда он говорил о рудниках, ему приходилось настойчиво подчеркивать именно эту сторону дела. Здесь был рычаг, способный сдвинуть с места людей с капиталом. Чарлз верил в свои рудники. Он знал все, что только можно о них знать. Его вера была заразительна, хотя особым красноречием он не блистал; но дельцы часто склонны к надеждам и пылки, как влюбленные. Они гораздо чаще подпадают под обаяние человеческой личности, чем кажется со стороны; а Чарлз в своей непоколебимой уверенности был на редкость убедителен. Кроме того, среди людей, к которым он обращался, каждому было известно, что рудничное дело в Костагуане, если взяться за него как следует, без сомнения превратится в игру, стоящую свеч и более того. Деловые люди знали это отлично. Опасность, связанная с рудниками, заключалась совсем в другом. Но те, кто слушал голос Чарлза Гулда, в котором звучали спокойствие и твердая решимость, не считали нужным опасаться. Деловые люди совершают иногда поступки весьма рискованные, чуть ли не безумные с точки зрения обыкновенных здравомыслящих людей; принимают решения, явно необдуманные, просто под

влиянием симпатии и антипатии.

— Прекрасно, — сказал господин, обладающий весом, которому Чарлз Гулд, проезжая через Сан-Франциско, ясно и четко изложил свою точку зрения. — Допустим, кто-нибудь займется добычей серебра в Сулако. Тогда участниками дела станут: торговый дом «Холройд», с которым все в порядке; затем мистер Чарлз Гулд, гражданин Костагуаны, с которым тоже все в порядке, и, наконец, правительство этой республики. Пока что все очень похоже на начало разработок в соляных копях Атакамы — там тоже дело финансировал торговый дом, имелся джентльмен по фамилии Эдвардс и… правительство, вернее, два правительства — правительства двух южноамериканских стран. А что из этого вышло, вам известно. Война вышла; разорительная долгая война, вот что из этого вышло, мистер Гулд. Мы, правда, обладаем преимуществом: имеем дело всего лишь с одним южноамериканским правительством, которое уже нацелилось урвать побольше, когда мы восстановим разработки. Несомненное преимущество; но южноамериканские правительства бывают более, а бывают менее скверными, нам же предстоит иметь дело с правительством Костагуаны.

Так рассуждал господин, обладающий весом, миллионер, чьи щедрые пожертвования на церковь по размаху вполне соответствовали величию его родины… тот самый человек, в беседах с которым врачи смутно намекали на нечто очень страшное. Он был крупный, неторопливый; просторный отделанный шелком сюртук выглядел внушительно и в то же время элегантно на его громоздкой фигуре. Волосы у него были с проседью, брови еще черные, крупные черты лица, а профиль напоминал профиль Цезаря на древнеримской монете. Но по происхождению он был и немцем, и шотландцем, и англичанином с небольшой примесью датской и французской крови, благодаря чему обладал темпераментом пуританина и ненасытным воображением завоевателя. Своего гостя он принимал в высшей степени непринужденно и просто, потому что гость этот привез очень теплую рекомендацию из Европы, а также потому, что всегда испытывал безотчетную симпатию к пылким и решительным людям, где бы их ни встречал, и независимо от того, на что направлены их решимость и пыл.

— Костагуанское правительство непременно потребует свою долю… помяните мое слово, мистер Гулд. Ну а что же представляет собой

Костагуана? Бездонная утроба, поглощающая десятипроцентные ссуды и другие столь же дурацкие вложения капитала. Вот уже долгие годы европейский капитал валом валит в эту прорву. Европейский, но, кстати, не наш. Мои земляки осведомлены достаточно хорошо и не выходят из дому, когда хлещет ливень. Мы можем посидеть и обождать. Конечно, рано или поздно и мы вступим в дело. Без этого не обойдется. Но мы не спешим. Даже Времени приходится немного умерять свой шаг и не торопить величайшую державу в божьем мире. Наше слово — решающее во всем: в промышленности, в коммерции, в юриспруденции, в журналистике, искусстве, политике и религии, от мыса Горн до пролива Смита, да и за его пределами, если что-нибудь заслуживающее внимания вдруг обнаружится на Северном полюсе. А потом у нас останется время на то, чтобы прибрать к рукам отдаленные острова и континенты. Мы будем заправлять делами всего мира и позволения спрашивать не собираемся. Мир не в силах тут ничего изменить… да и мы, пожалуй, тоже.

Таким образом, свою веру в судьбу он облек в выражения, соответствующие его интеллекту, неискушенному в изложении общих идей.

Интеллект его сформировали факты; и у Чарлза Гулда, воображение которого было поглощено одним-единственным великим фактом, имя которому — серебряные рудники, не появилось возражений против такой теории. Если его и покоробило на миг, то только потому, что внезапно представшая перед ним панорама столь исполинских возможностей свела почти на нет то главное, что его волновало. И он сам, и его планы, и все богатства недр Западной провинции, казалось, в мгновение ока бесследно утратили свою значительность. Препротивное ощущение; но Чарлз был не глуп. Он уже почувствовал, что производит приятное впечатление; и это лестное для него обстоятельство помогло ему изобразить на лице слабое подобие улыбки, принятой его громоздким собеседником за улыбку, выражающую скромное согласие и восхищение.



Он тоже слегка улыбнулся в ответ; и сразу же Чарлз с той живостью ума, которая приходит к людям, защищающим свою заветную мечту, понял, что кажущаяся незначительность цели поможет ему достичь успеха. И он, и рудники получат поддержку, поскольку дело это несущественное и его исход безразличен для человека, полагающего, будто ему суждена такая необыч-

ная судьба. И догадка эта не показалась Чарлзу унизительной, ведь его цель осталась столь же важной в его глазах. И оттого, что кто-то ставит перед собой исполинские цели, его желание восстановить рудники Сан-Томе не сделается меньше. Его стремления справедливы, место действия — известно, а срок их осуществления недалек, и импозантный его собеседник на миг показался ему просто мечтателем, чьи фантазии ничего не стоят.

Великий человек, дородный и благожелательный, задумчиво смотрел на него; после недолгого молчания он заметил, что нынешняя Костагуана кишмя кишит концессиями; любой дурачок, стоит ему захотеть, в мгновение ока получает концессию.

— Наши консулы не смеют рта раскрыть, — продолжал он, и в глазах его мелькнула добродушная презрительная насмешка. Но уже через мгновение он заговорил серьезно. — Добросовестным, честным людям, которые не льстятся на взятки и не участвуют в тамошних интригах, заговорах и распрях, очень быстро возвращают дипломатические паспорта. Вы меня поняли, мистер Гулд? Персона нон грата. Вот почему наше правительство ничего не знает толком о Коста-

гуане. С другой стороны, Европу не следовало бы подпускать близко к этому континенту, а для существенного вмешательства с нашей стороны, смею сказать, еще не пришла пора. Но мы… мы ведь не правительство этой страны и не дурачки в то же время. Для нас главное — решить, сумеет ли второй партнер, то есть вы, дать отпор третьему и неизвестному партнеру, то есть одной из высокопоставленных и могучих разбойничьих шаек, возглавляющей сейчас правительство Костагуаны. Как вы полагаете, мистер Гулд, а?

Он наклонился, и его пристальный взгляд встретился с решительным взглядом Чарлза, который, вспомнив большую шкатулку, полную отцовских писем, вложил в свой ответ всю горечь и презрение, скопившиеся за долгие годы.

— Если вас интересует, знаю ли я этих людей, их политику, методы, к которым они прибегают, я со всей решимостью могу ответить утвердительно. Эти познания приобретались мною с детства. Едва ли я способен совершить ошибку от избытка оптимизма.

— Едва ли, э? Прекрасно. Вам потребуется такт, а кроме того, умение держать их на расстоянии. Их к тому же можно запугать, намекнув, что у вас сильные сторонники. Только не перегните палку.

Поддержку-то мы вам окажем, но при условии, что все будет в порядке. Начнутся неприятности — мы тотчас выйдем из игры. Я решил произвести эксперимент. Конечно, не без риска, но на риск мы согласны; ну а уж если вы не сумеете наладить дело и все пойдет вкривь и вкось, убытки нас, конечно, не разорят, зато в дальнейшем действуйте без нас. С этими рудниками нет спешки; сейчас работы, как вы знаете, приостановлены. Надеюсь, вам понятно, что мы ни в коем случае не намерены тратить деньги впустую.

Так говорил великий человек, сидя в своей собственной конторе в большом городе, где другие люди (также обладающие немалым весом в глазах суетной толпы) с живостью следили за каждым мановением его руки. А через год с небольшим, неожиданно появившись в Сулако, он еще раз, не подыскивая слов, с такой же прямотою подчеркнул, что не намерен идти на уступки, поскольку человеку, обладающему его богатством и влиянием, это дозволено. Но пожалуй, на сей раз он высказался доверительнее и спокойней, так как, изучив, какие работы были произведены на рудниках, а главное, как и в какой последовательности их производили, он убедился, что Чарлз Гулд вполне способен

наладить дело так, чтобы оно не пошло вкривь и вкось.

«Этот парень, — подумал он, — станет тут со временем большим человеком».

Мысль эта его порадовала, ибо до сих пор единственное, что он мог сообщить в кругу своих приятелей о молодом человеке, было следующее:

— Мой шурин познакомился с ним в захолустном старинном немецком городке, рядом с которым есть шахты, и прислал его ко мне с письмом. Он из костагуанских Гулдов — они все чистокровные англичане, но родились в этой стране. Его дядюшка занимался политикой, был последним президентом провинции Сулако и расстрелян после боя, где его противники одержали верх. Отец был крупным дельцом в Санта-Марте и старался не вмешиваться в политику, но умер в бедности, его разорили их бесчисленные революции. Сами видите, что представляет собой эта пресловутая Костагуана.

Разумеется, даже близкие друзья не осмеливались расспрашивать столь великого человека, какими соображениями он руководствовался. Что касается посторонних, им предоставлялось лишь почтительно размышлять о скрытых причинах его поступков. Он был таким великим

человеком, что щедрая благотворительность для «сохранения истинных форм христианства» (принявшая незамысловатую форму пожертвований на строительство храмов, что немного забавляло миссис Гулд) рассматривалась его согражданами как проявление благочестия и смиренности духа. В близких же к нему кругах финансового мира к деловым связям мистера Холройда с рудниками Сан-Томе отнеслись, конечно, вполне уважительно, но в то же время эти связи стали предметом сдержанных шуток.

В огромном здании фирмы Холройд (гигантском нагромождении железа, стекла и каменных глыб со сверкающей над крышей паутиной телеграфных проводов) начальники основных отделов фирмы обменивались веселыми взглядами, означавшими, что их никто не посвящал в загадку Сан-Томе. Костагуанская корреспонденция (она никогда не бывала обильной — всего один увесистый конверт) невскрытой попадала в кабинет великого человека, и никаких связанных с ней распоряжений оттуда не исходило. В конторе сообщалось шепотом, что мистер Холройд отвечает на эти письма сам — причем даже не диктует, а пишет ответ пером и чернилами и, надо полагать, копии с них переписывает в свою

личную тетрадь, недоступную взорам непосвященных.

Некоторые высокомерные молодые люди, незначительные винтики в подсобных механизмах одиннадцатиэтажной мастерской по производству крупных предприятий, откровенно высказывали свое личное мнение, что их великий руководитель наконец-то допустил какую-то глупость и стыдится в ней признаться; другие, немолодые и тоже незначительные, но полные романтического преклонения перед делом, поглотившим их лучшие годы, намекали с видом осведомленных людей, что поступок этот далеко не так прост; что связи фирмы «Холройд» с республикой Костагуана рано или поздно приведут к полному захвату этой республики названной фирмой.

В действительности же это была просто причуда. Великому человеку интересно было посетить рудники Сан-Томе; настолько интересно, что он употребил на свою причуду полный отпуск, а такого большого отпуска он не позволял себе уж бог знает сколько лет. Крупной его затею никак нельзя было назвать; это даже не управление железной дорогой или промышленным предприятием. Он управлял человеком! Успех

порадовал бы его чрезвычайно — как приятно вкусить прелесть новизны; а с другой стороны, именно необычность обстоятельств поможет ему немедленно прикрыть дело при первых же признаках неудачи. От человека избавиться легко. Жаль, газеты раструбили на весь свет о его поездке в Костагуану. И хотя он остался доволен Гулдом, но поддержку ему обещал в еще более суровых выражениях, чем прежде. Даже во время их последнего разговора, за полчаса до того, как он выехал со шляпой в руке из внутреннего дворика в карете, влекомой белыми мулами миссис Гулд, он сказал в кабинете Чарлза:

— Продолжайте действовать по собственному усмотрению, а я вам буду помогать, пока вы не сорветесь. Но можете не сомневаться, если начнутся неполадки, мы с вами нянчиться не станем.

На что Чарлз Гулд ответил кратко:

— Оборудование можно выслать сразу же.

Великому человеку понравилась его невозмутимость. А объяснялась она тем, что Чарлзу были по душе эти жесткие условия. На рудниках Сан-Томе нельзя иначе, это представление о них запечатлелось в его памяти с детства; отвечает же за все он один. Дело нешуточное, и он тоже

относился к нему со всей серьезностью.

— Разумеется, — говорил он жене, обсуждая свой последний разговор с только что отбывшим гостем; они медленно ходили взад и вперед по галерее, а попугай раздраженно косился на них. — Разумеется, такому человеку, как он, ничего не стоит взяться за любое дело или отступиться от него в любой миг. Он не станет огорчаться от неудач. Возможно, он в чем-то потерпит неудачу, а может быть, он завтра умрет, но великая корпорация серебра и железа не погибнет и в один прекрасный день завладеет Костагуаной, а заодно и всем миром.

Они стояли возле клетки. Попугай, уловив звук знакомого слова, входящего в его лексикон, почувствовал необходимость вмешаться в беседу. Попугаи ведь как люди.

— Viva Costaguana! — воинственно выкрикнул он и тотчас же, взъерошив перья, чванливо нахохлился за сверкающими прутьями клетки.

— Ты в самом деле веришь в это, Чарлз? — спросила миссис Гулд. — По-моему, это просто омерзительный меркантилизм и…

— Милая, меня это нисколько не тревожит, — рассудительно прервал ее муж. — Я смотрю на жизнь трезво и извлекаю пользу из того, что

вижу. Не все ли мне равно, говорит ли его устами сама судьба или это всего лишь эффектные фразы? В Америках, и в Северной и в Южной, произносится множество эффектных фраз. Вероятно, самый воздух Нового Света благоприятствует искусству декламации. Разве ты забыла, как наш милейший Авельянос может часами разглагольствовать…

— Ах, но это же совсем другое дело, — чуть ли не с возмущением возразила миссис Гулд. — Крайне неудачное сравнение. Дон Хосе милейший человек, и говорит он превосходно, и верит всей душой в великое будущее рудников Сан-Томе. Как ты можешь сравнивать их, Чарли? — воскликнула она с упреком. — Он так пострадал… но по-прежнему полон надежд.

То обстоятельство, что мужчины отлично разбираются в делах, — в чем миссис Гулд ничуть не сомневалась, — представлялось ей удивительным: ведь сплошь и рядом, рассуждая о вопросах, где двух мнений быть не может, они обнаруживали редкостную бестолковость.

Чарлз с напряженным спокойствием, которое сразу же снискало ему горячее сочувствие жены, заверил ее, что он отнюдь их не сравнивает. Он и сам американец, если на то пошло, и, возможно,

способен понять и тот и другой вид декламации… «Если только есть нужда их понимать», — мрачно добавил он. Но он дышал воздухом Англии дольше, чем кто-либо из его родственников на протяжении трех поколений, и искренне просит его извинить. Бедняга-отец его тоже умел выражать свои мысли эффектно. Помнит ли она отрывок из его последнего письма, где отец высказывает убеждение, что «Господь разгневался на эти страны, иначе он позволил бы хоть лучу надежды проникнуть сквозь устрашающую тьму интриг, кровопролитий и преступлений, окутавшую Королеву Континентов».

Миссис Гулд помнила.

— Ты читал мне это, Чарли, — проговорила она тихо. — Поразительные слова. Я подумала: с какой же глубиною твой отец ощущал неизмеримую печаль этой мысли!

— Кому понравится, когда его грабят! Разумеется, он возмущался, — сказал Чарлз. — Но тем не менее нарисовал вполне правдивую картину. Что требуется в здешних краях — это законность, твердая вера, порядок, надежность. Декламировать может каждый, я же предпочитаю связать свою веру с материальными интересами. Пусть только эти материальные интересы обретут точ-

ку опоры, и тогда непременно появятся условия, без которых все наши старания ни к чему не приведут. Вот почему накопление денег оправданно здесь, где царят разор и беззаконие. Оно оправданно потому, что обеспечит спокойную жизнь не только нам, но и угнетенному народу. А потом придет черед справедливости уже в высоком смысле слова. Вот каков он — луч надежды. — Он на миг прижал ее к себе. — И кто знает, не станут ли тогда рудники Сан-Томе тем лучом надежды в устрашающей тьме, который бедный мой отец отчаялся когда-либо увидеть?

Она подняла на него восхищенный взгляд. Право же, он умница: сумел облечь ее туманные мечтания в такую четкую великолепную форму.

— Чарли, — сказала она, — милый, милый мой упрямец.



Внезапно он вернулся в комнаты, оставив миссис Гулд на галерее, и надел шляпу, мягкое серое сомбреро, атрибут местной одежды, как неожиданно оказалось, очень подходивший к его английскому костюму. Потом возвратился, держа под мышкой хлыст, застегивая лайковые перчатки; он был полон решимости, и это отражалось на его лице. Жена ждала его на верхней площадке, а он, прежде чем поцеловать ее на прощанье, сказал, заканчивая их разговор:

— Нам одно должно быть совершенно ясно — путь назад закрыт. Где еще мы сможем начать жизнь заново? Что бы с нами ни случилось, наше место тут.

Он наклонился к ее запрокинутому лицу, полный нежности и отчасти угрызений совести. Он так отменно разбирался в своем деле потому, что не строил никаких иллюзий. Концессии Гулда придется сражаться за свою жизнь любым оружием, какое отыщется в этой трясине, где растленность нравов так привычна, что ее почти не замечают. Он был готов воспользоваться этим, может быть, и не вполне благовидным оружием. У него на миг возникло ощущение, что серебряные рудники, убившие его отца, заманили его дальше, чем он собирался пойти; и тут он по-

чувствовал, ибо логика чувств причудлива, что жизнь его имеет цену, только если он достигнет успеха. Путь назад закрыт.

Глава VII

Миссис Гулд, и умная, и отзывчивая, конечно, разделяла его чувства. Его стремления вносили в жизнь азарт, а она любила азарт, будучи истинной женщиной. В то же время она немного побаивалась; и когда, покачиваясь в качалке, дон Хосе Авельянос неосторожно говорил: «Даже если вы потерпите неудачу, любезнейший мой Карлос, даже если какое-нибудь прискорбное событие сведет ваши усилия на нет — от чего храни нас Бог! — вы славно послужили отечеству, и труд ваш не пропадет», — миссис Гулд бросала пытливый взгляд на мужа, который помешивал ложечкой чай с таким невозмутимым видом, будто не слышал ни единого слова. У дона Хосе вовсе не было дурных предчувствий. Наоборот, он пылко восхищался тактом любезнейшего Карлоса и его мужеством. Его английская незыблемость, как уверял дон Хосе, была надежнейшей гарантией успеха; и, повернувшись к миссис Гулд, он добавлял: «Что до вас, Эмилия, душа

моя, — преклонный возраст и старинная дружба делали простительной такую фамильярность обращения, — вы столь истинная патриотка, будто вы здесь родились».

В этой фразе было больше правды, чем в нее вкладывал учтивый дон Хосе. Миссис Гулд, сопровождая мужа, который в поисках рабочих разъезжал по всей провинции, лучше знала страну, чем местные уроженки. В привычной амазонке, с лицом, напудренным так густо, что оно напоминало гипсовый слепок, а в знойные дневные часы еще и в маленькой шелковой полумаске, она сидела на стройном легконогом пони в центре небольшой кавалькады. Впереди ехали два всадника, живописные в своих огромных шляпах, со шпорами на босых пятках, в белых вышитых кальсонеро[71], кожаных куртках, полосатых пончо, и висящие у них через плечо карабины покачивались в такт шагам лошадей. В арьергарде двигалась упряжка вьючных мулов, за которой наблюдал тощий темнолицый погонщик, восседавший почти у самого хвоста на своем длинноухом копытном, вытянув вперед ноги и так сильно сдвинув на затылок шляпу, что

[71] Примечания: 71
Брюки, штаны *(исп.).*

ее широкие поля образовали вокруг его головы нечто вроде нимба.

Старый костагуанский офицер, отставной майор незнатного происхождения, однако находящийся под покровительством знати благодаря приверженности к партии «бланко», был рекомендован доном Хосе как интендант и руководитель экспедиции. В дороге он неизменно держался по левую руку от миссис Гулд, седые кончики его висячих усов спускались ниже подбородка, а добрые глаза внимательно оглядывали окрестность, чтобы он мог указать своей спутнице достопримечательности ландшафта, назвать встречающиеся им по пути маленькие деревушки, усадьбы, гасиенды[72], которые, словно приземистые крепости с гладкими стенами, возвышались над пригорками, разнообразящими там и сям ровную поверхность равнины Сулако. Перед их взором тянулись зеленые всходы полей, прерия, леса, поблескивали реки и озера — равнина, как огромный парк, простиралась от синей дымки далеких гор до бесконечного волнующегося горизонта, там, где небо сливалось с травой и большие белые облака словно медленно

[72] Примечания: 72
Имения *(исп.).*

погружались во мрак своих собственных теней.

На волах, запряженных в деревянные плуги, пахали крестьяне, такие маленькие на необозримых просторах равнины, что казалось, они хотят взять приступом саму бесконечность. Вдали гарцевали верховые вакеро, и огромные стада, обратив в одну сторону рогатые головы, паслись, прочертив волнистой линией широкие пастбища. В тени раскидистого дерева у дороги приютилась крытая соломой хижина; тянулись вереницы нагруженных тяжелой поклажей индейцев; они снимали шляпы и молчаливо обращали грустный взгляд на кавалькаду, поднимающую за собой столб пыли над Королевской дорогой, которую построили когда-то собственными руками их порабощенные предки и которая сейчас крошится под копытами лошадей. И с каждым новым днем, казалось, миссис Гулд все лучше понимала душу этой страны, потрясенная неведомой ей до начала путешествия глубинной частью этого края, незатронутой европейским лоском, слегка коснувшимся прибрежных городов, пораженная видом громадных просторов прерий и гор и этими людьми, страдающими и безмолвными, которые в трогательном терпеливом бездействии ожидали грядущего.

Ей открылся ландшафт этого края и его радушие, неизменно проявляемое с неким дремотным достоинством в больших домах с длинными стенами без окон и массивными воротами, выходившими на открытую всем ветрам прерию. Ее усаживали во главе стола, где хозяева и служащие располагались, следуя простому и патриархальному порядку. Когда наступал вечер и в небе светила луна, дамы негромко беседовали, сидя во внутреннем дворике под апельсиновыми деревьями, и миссис Гулд очаровывали их нежные голоса и нечто таинственное в мирном укладе их жизни. А по утрам мужчины в украшенных лентами сомбреро и вышитых костюмах для верховой езды, ловко сидя на лошадях, сбруя которых была обильно выложена серебром, провожали отъезжающих гостей и торжественно прощались *с* ними у пограничных столбов своих поместий, предоставляя воле божией.

Не было дома, где бы она не слышала рассказов о политическом произволе; друзья, родственники разорены, брошены в тюрьмы, погибли в битвах бессмысленных гражданских войн, подвергнуты жестоким казням во исполнение бесчеловечных проскрипций, так что создавалось впечатление, будто бы управление этой страной заключается

в междоусобице разбойничьих шаек, в которых собрались алчные и безумные, выпущенные из ада на землю демоны в воинских мундирах, с саблями в руках и с высокопарными речами на устах. И кто бы ни заговорил, миссис Гулд ощущала, как истосковались эти люди по миру, как их страшит кошмарная пародия на правительство, лишившая своих граждан законов, безопасности и правосудия.

Она легко перенесла два месяца странствий; в ней было уменье не поддаваться усталости — свойство, которое мы временами с изумлением обнаруживаем в хрупкой с виду женщине, — свидетельство замечательной стойкости духа. Дон Пепе — старик-майор — после многократных попыток оградить от тягот путешествия представительницу слабого пола в конце концов пожаловал ей титул «Не ведающая усталости сеньора». Миссис Гулд и в самом деле становилась истинной костагуанкой. Узнав еще в Южной Европе, что представляет собою крестьянство, она понимала великую силу народа. В безмолвствующих вьючных животных с грустными глазами она умела разглядеть человека. Видела их на дороге, согнувшихся под тяжестью груза, видела, как усердно трудятся в поле одинокие фигурки в

больших соломенных шляпах и трепыхающейся на ветру белой одежде. Она запоминала деревни потому, что ей врезалась в память кучка индианок у источника или молодая девушка-индианка с печальным и чувственным профилем, поднимающая глиняный сосуд с холодной водой у дверей темной хижины с деревянным крылечком, сплошь уставленным высокими коричневыми кувшинами. Прочные деревянные колеса тележки, которая остановилась на пыльной дороге, наверняка были сработаны топором; угольщики, поставив каждый свою корзину с древесным углем на низкой глиняной стене прямо у себя над головой, спали рядком, растянувшись в узенькой полоске тени.

Крупная каменная кладка мостов и церквей, которые оставили после себя завоеватели, была свидетельством их пренебрежения к труду человека и вечным памятником подневольного труда исчезнувших народов. Ушли в прошлое власть короля и власть церкви, и дон Пепе, завидев на пригорке руины какой-нибудь каменной громады, возвышающиеся над низенькими глиняными стенами деревни, прерывал рассказ о своих воинских подвигах и восклицал:

— Несчастная Костагуана! Прежде все достава-

лось священникам, а народу — ничего; нынче все достается политическим воротилам в Санта-Марте, неграм и ворам.

Чарлз беседовал с алькальдами, с прокурорами, с самыми уважаемыми людьми в городах и с кабальеро в поместьях. Коменданты районных гарнизонов снабжали его охраной, ибо он мог предъявить письменное разрешение, выданное политическим лидером Сулако, носящим это звание в данный момент. Сколько золотых двадцатидолларовых монет пришлось ему выложить за этот документ, осталось тайной, известной лишь самому Чарлзу, великому человеку из Соединенных Штатов (тому самому, который снисходил до собственноручной переписки с Сулако) и еще одному великому человеку, уже совсем другого толка, с темно-оливковым цветом лица и бегающими глазками, который обитал в то время в ратуше Сулако и чванился своей культурой и европейскими манерами, в коих ощущался более всего французский стиль, ибо он прожил несколько лет в Европе… в изгнании, как он говорил.

Впрочем, многим было хорошо известно, что накануне того, как отправиться в изгнание, этот сеньор неосторожно проиграл в карты всю налич-

ную казну таможни одного небольшого порта, где влиятельный друг раздобыл для него место младшего сборщика. Эта ошибка молодости наряду с другими превратностями судьбы вынудила его в течение некоторого времени прослужить официантом в одном из мадридских кафе, дабы изыскать себе средства к существованию. Но таланты его, вероятно, были велики, ибо помогли ему в конце концов столь блистательно вернуться на путь политической карьеры. Чарлз Гулд, с невозмутимым хладнокровием излагая ему суть дела, именовал его «ваше превосходительство».

Сулакское «превосходительство» вело беседу с усталым и покровительственным видом, сидя у открытого окна и так сильно наклонив назад кресло, как делают только в Костагуане. Случилось, что именно в это время военный оркестр на площади оглушительно сотрясал воздух, исполняя отрывки из различных опер, и «его превосходительство» дважды властно поднял руку, прерывая разговор, дабы прослушать любимый пассаж.

— Дивно, восхитительно, — шептал он; Чарлз тем временем, стоя рядом, ожидал с непроницаемым и терпеливым видом. — Лючия, Лючия ди

Ламмермур![73] Я страстно люблю музыку. Она приводит меня в состояние восторга. О! Божественно… о!.. Моцарт. Sí![74] Божественно… Так о чем вы говорили?

Конечно, до его превосходительства уже дошли слухи о намерениях Чарлза Гулда. Кроме того, он получил официальное предписание из Санта-Марты. Его превосходительство напустил на себя важность просто для того, чтобы скрыть одолевавшее его любопытство и произвести впечатление на посетителя. Но после того как он запер в ящике большого письменного стола некий ценный вклад, он стал весьма любезен и возвратился на прежнее место быстрым и молодцеватым шагом.

— Если вы намерены построить возле рудников поселки, где будут жить переселенцы, вам для этого надлежит получить указ министра внутренних дел, — сказал он деловито.

— Я уже отправил просьбу с подробным изложением фактов, — спокойно ответил Чарлз Гулд, — а сейчас твердо рассчитываю на поддерж-

---

[73] Примечания: 73

Героиня оперы итальянского композитора Гаэтано Доницетти (1797–1848).

[74] Примечания: 74

Да! *(исп.)*

ку вашего превосходительства.

Его превосходительство был человеком настроения. Как только он получил деньги, его простая душа преисполнилась редкостной доброжелательностью. Неожиданно он глубоко вздохнул:

— Ах, дон Карлос! Больше всего здесь, в провинции, нам нужны передовые люди вроде вас. Спячка, спячка овладела нашими аристократами! Полное отсутствие инициативы! Ни малейшей предприимчивости! Я человек, глубоко изучивший Европу, как вы понимаете…

Прижав руку к бурно вздымающейся груди, он порывисто вскочил с кресла и, почти не переводя дыхания, целых десять минут осыпал пылкими излияниями Чарлза, который выслушал их, храня учтивое молчание; и когда, внезапно замолчав, его превосходительство рухнул в кресло, это выглядело так, словно он только что пытался взять приступом крепость. Чтобы сохранить достоинство, он поспешил отпустить неразговорчивого посетителя, важно склонив голову и проронив с угрюмой и усталой снисходительностью:

— Вы можете рассчитывать на мое доброжелательство, естественное в просвещенном человеке, если будете вести себя как честный гражданин, заслуживающий такой поддержки.

Затем взял бумажный веер и принялся махать им с напыщенным видом, а Чарлз Гулд поклонился и вышел. Тогда глава провинции отбросил веер и долго разглядывал захлопнувшуюся дверь, изумленный и озадаченный. Наконец пожал плечами, как бы убеждая себя, что полон презрения. Тупой, равнодушный. Не интеллектуален. Волосы рыжие. Типичный англичанин. Ничтожная личность.

Его лицо потемнело. Почему все же этот Гулд так невозмутимо и холодно держится? Он был первым в длинной череде политических деятелей, присылаемых из столицы править Западной провинцией, которым представлялась оскорбительной независимая манера Чарлза Гулда во время деловых переговоров.

Чарлз исходил из того, что если уж необходимость делать вид, будто ты внимательно выслушиваешь всякую галиматью, представляет собой часть цены, которую он должен уплатить, чтобы его оставили в покое, то самому плести такую же галиматью никоим образом в его обязанности не входит. Здесь он твердо проводил черту. Провинциальным диктаторам, привыкшим, что перед ними трепещут мирные представители всех классов общества, эта «английская» сдержанность

рыжеволосого инженера внушала беспокойство, принимавшее самые разные формы: от стремления подольститься к нему до стремления его уничтожить. Мало-помалу все они узнали, что, какая бы партия ни главенствовала, человек этот сохраняет весьма прочные связи с высшими представителями власти, пребывающими в столице.

Так обстояли дела, и именно этим объяснялось, что Чарлз Гулд был отнюдь не так богат, как полагал главный инженер новой железной дороги. Следуя советам дона Хосе Авельяноса, а тот был хорошим советчиком (хотя мучительные испытания, выпавшие на его долю в годы правления Гусмана Бенто вселили в него робость), Чарлз отказался от своей доли в прибылях; тем не менее представители иностранной колонии, сплетничая о местных делах, наделили его (внешне шутливым, а по сути вполне серьезным) титулом: «король Сулако».

На одного из адвокатов костагуанской коллегии, человека, чье доброе имя и выдающиеся способности были известны в обществе, члена знатной семьи Морага, владеющей обширными угодьями в долине Сулако, указывали с оттенком таинственности и почтительности

иностранцам как на агента рудников Сан-Томе — «политического агента, знаете ли». Он был высок, осмотрителен и носил черные бакенбарды. Было известно, что он вхож ко всем министрам, а многочисленные генералы считают честью отобедать у него дома. Он с легкостью попадал на прием к президентам. Вел оживленную переписку с дядюшкой с материнской стороны, доном Хосе Авельяносом; однако свои письма — за исключением тех, где он выражал приличествующие почтительному племяннику чувства, — он редко доверял почтовому ведомству Костагуаны. Ибо это ведомство вскрывает все конверты, совершенно не чинясь и без разбора, с наглым ребяческим бесстыдством, свойственным некоторым испано-американским правительствам.

Следует отметить, что примерно в то же время, когда возобновилась работа на рудниках Сан-Томе, уже упоминавшийся нами погонщик мулов, первоначально нанятый Чарлзом для предварительных поездок в Кампо, присовокупил свой маленький караван копытных к веренице возов и телег, вяло струившейся по перевалам, соединявшим нагорье Санта-Марты с долиной Сулако. Дорога эта так трудна и опасна, что лишь самые неотложные обстоятельства могут вынудить

воспользоваться ею, а нужды внутренней торговли, судя по всему, не требуют дополнительных транспортных средств; впрочем, поездки нашего погонщика не выглядели бессмысленными. Каждый раз, когда он отправлялся в путь, он вез несколько тюков с товаром. Очень смуглый и флегматичный, в штанах из козьей шкуры мехом наружу, он сидел на своем прытком муле возле самого его хвоста, прикрыв глаза широкими полями шляпы, с выражением блаженной безучастности на длинном лице, заунывно мурлыкал себе под нос любовную песенку, потом вдруг, не меняя выражения лица, пронзительно гикал на малочисленную тропилью[75], которая трусила впереди. За спиною у него болталась мандолина; а в одном из деревянных вьючных седел была искусно выдолблена выемка, в которую можно было украдкой засунуть плотно скатанный клочок бумаги, потом вновь заткнуть выемку деревянной пробкой и прибить гвоздиком холщовую обивку седла. Находясь в Сулако, он имел обыкновение покуривать и дремать весь день напролет с видом человека, не обремененного заботами, сидя на каменной скамье,

[75] Примечания: 75
Табун, косяк лошадей *(исп.).*

расположенной у входа в Каса-Гулд и прямо напротив окон дома Авельяноса. Много-много лет тому назад его мать была старшей прачкой в этом доме, и никто лучше ее не умел мыть и крахмалить тонкое белье. Он и сам родился на гасиенде, принадлежащей этой семье. Его звали Бонифацио, и дон Хосе, переходя около пяти часов через дорогу, чтобы навестить донью Эмилию, неизменно отвечал на его скромное приветствие движением руки или кивком. Привратники обоих домов беседовали с ним неторопливо и доверительно. Вечера он посвящал азартным играм или захаживал в гости, веселый и щедрый, к продажным девицам, проживающим в глухих закоулках на окраине города. Впрочем, и он также был человеком осмотрительным.

Глава VIII

Те из нас, кто любопытства ради побывал в Сулако в годы, предшествующие открытию железной дороги, конечно, помнят, как упорядочилась жизнь этой глухой провинции под влиянием рудников Сан-Томе. Внешний вид города тогда еще оставался прежним, он изменился позже, и сейчас, как говорят, над улицей Конституции

пролегает канатная дорога, и мощеные дороги уходят вглубь страны, к Ринкону и другим селениям, где иностранные коммерсанты и местные богачи построили себе виллы на современный лад; пристань — новая; рядом с гаванью разместилась огромная товарная станция железной дороги, тут же тянется длинный ряд пакгаузов, а в порту теперь возникла проблема труда, и рабочие устраивают стачки.

В прежние времена о проблемах труда никто не слыхивал. Работавшие в порту каргадоры образовывали состоявшее из различных подонков общества мятежное братство, во главе с заступником из их же среды. Бастовали они регулярно (в дни корриды), и с этой проблемой труда даже Ностромо в пору наивысшей своей славы ничего не мог толком поделать; зато наутро после каждой сиесты, когда торговки-индианки располагались на площади и раскрывали зонты из рогожи, а над городом на темном еще небе светились бледным светом снега Игуэроты, подобно призраку, внезапно возникал всадник на серебристо-серой кобыле, и это неизменно приводило к полному урегулированию проблемы труда.



Лошадь мерным шагом двигалась по узким улочкам окраин и пересекала поросшие бурьяном пустыри между остатками крепостного вала

и черными, без единого огонька скоплениями хижин, похожих скорее на хлев или собачью конуру. Всадник рукояткой тяжелого револьвера дубасил по дверям низеньких харчевен и гнусных развалюх, прислонившихся к тому, что сохранилось от полуразрушенной благородной стены, некогда ограждавшей город, по деревянным стенкам строений, столь хлипких, что в промежутках между грохотом ударов слышался храп людей, которые спали внутри. Не слезая с седла, он угрожающе выкрикивал имена обитателей этих лачуг, сперва один раз, а затем — второй. Ему отвечали сонными голосами — ворчливо, виновато, злобно, шутливо, жалобно, — он молча сидел в темноте, а затем из дверей вылезала темная фигура и откашливалась в предрассветной тиши. Иногда из окна доносился негромкий женский голос: «Он сию минутку выйдет, сеньор», и всадник молча ждал, сидя на неподвижной лошади. Но изредка, если ему приходилось спешиваться, то через некоторое время из дверей хибары или харчевни после сопровождаемой сдавленными проклятиями ожесточенной потасовки вылетал, раскинув руки, каргадор и плюхался на землю у ног серебристо-серой кобылы, которая лишь поводила маленькими остроконечными ушами.

Лошадь привыкла к таким делам, а каргадор, поднявшись, шагал, слегка пошатываясь и бормоча себе под нос ругательства, спеша как можно скорей оказаться подальше от револьвера Ностромо.

Когда всходило солнце, встревоженный капитан Митчелл в ночном одеянии выходил на деревянную галерею, протянувшуюся вокруг здания ОПН, которое одиноко возвышалось на берегу, и видел снующие по заливу баркасы, суетящихся у грузовых кранов людей, возможно, даже слышал, как неоценимый Ностромо, уже спешившись, в клетчатой рубахе, подпоясанной красным шарфом, какие носят моряки Средиземноморья, зычным голосом отдавал приказы с дальнего края пирса. И впрямь — один на тысячу!

Развитие цивилизации, которое сопровождается целым рядом материальных перемен, стирающих индивидуальность старых городов и внедряющих некий стереотип современности, еще не затронуло город; но сквозь обветшалую древность Сулако, так явно напоминающую о себе в домах, украшенных лепниной, в зарешеченных окнах, высоких желто-белых стенах заброшенных монастырей, перед которыми

протянулись мрачные ряды темно-зеленых кипарисов, уже начало проглядывать — очень современное по своей сути — существование рудников Сан-Томе. Оно изменило и внешний вид толпы, собиравшейся по праздничным дням на площади перед открытым порталом собора, — в ней все чаще мелькали белые пончо, обшитые зеленой каймой, которые носили по праздникам шахтеры Сан-Томе. Они надевали также белые шляпы, украшенные зеленой тесьмой и шнуром; все эти товары были хорошего качества и продавались очень недорого в магазине, открытом администрацией.

Миролюбивых cholo[76], носящих эти непривычные для Костагуаны цвета, почему-то очень редко избивали до полусмерти, обвиняя в неуважении к городской полиции; так же редко им грозила опасность, что где-нибудь на дороге их внезапно изловят, накинув лассо, занимающиеся набором солдат уланы — оригинальный способ вербовки добровольцев, почитаемый в республике почти законным. Было известно, что таким образом вербовали целые деревни; впрочем, как говорил дон Пепе, безнадежно пожимая пле-

---

[76] Примечания: 76
Индеец, говорящий по-испански, или метис *(исп.)*.

чами и объясняя этот казус миссис Гулд: «Что поделаешь! Бедняги! Pobrecitos! Pobrecitos![77] Но государству нужны солдаты».

Так рассуждал с полным знанием дела дон Пепе, старый воин, с висячими усами, худым, коричневым, словно орех, лицом и резко очерченной тяжелой челюстью, какие бывают, кстати, у пастухов, которые верхом на лошадях присматривают за стадами на обширных равнинах Юга. «Если у вас есть желание послушать старого офицера, служившего Паэсу, сеньоры» — так начинал он обычно каждую речь в клубе «Амарилья» — в клубе аристократов Сулако, — куда был принят в награду за услуги, некогда оказанные им давно почившему делу Федерации.

Клуб, ведущий начало от первых дней провозглашения независимости Костагуаны, мог назвать в числе своих основателей многих борцов за свободу. Его несчетное количество раз закрывали по произволу различных правительств, членов клуба подвергали опале, а однажды, когда грозный и неукротимый начальник гарнизона повелел им всем до единого собраться на банкет, была устроена грандиозная бойня, и никто не

---

[77] Примечания: 77
Бедняги! Бедняги! *(исп.)*

остался в живых (позже самые отпетые негодяи, осквернявшие своим присутствием город, ободрали их, как липку, а голые тела выбросили из окон на площадь); тем не менее в то время, о котором идет речь, клуб «Амарилья» снова процветал. Приезжих гостеприимно встречали прохладные большие комнаты, расположенные со стороны фасада и представлявшие собой исторический интерес, так как некогда служили резиденцией высокопоставленного деятеля святой инквизиции. Два крыла, дверь каждого из них была заколочена гвоздями, а за дверью постепенно осыпалась штукатурка да и сами стены; на немощеном внутреннем дворе зеленела молодая роща апельсиновых деревьев, листва которых скрывала от прохожих, что задняя часть здания превратилась в руины.

Свернув в ворота с улицы, вы словно попадали в уединенный сад, а в саду натыкались на ступеньки полуразрушенной лестницы, которую охраняла замшелая статуя некоего святого епископа в митре и с жезлом; он стоял, скрестив на груди красивые каменные руки, и кротко сносил поношение, учиненное каким-то нечестивцем, проломившим ему нос. Сверху выглядывали слуги — шоколадного цвета лица, обрамленные

копной черных волос; слышался стук биллиардных шаров, а поднявшись по лестнице, вы в первой же зале могли увидеть сидящего как изваяние где-нибудь неподалеку от окна, в кресле с прямой спинкой дона Пепе, который читал старую столичную газету, держа ее на расстоянии вытянутой руки и шевеля от напряжения усами. Его вороная лошадь, жестокосердое, но выносливое тупоумное существо, дремала, стоя на мостовой под необъятным седлом и почти касаясь носом тротуара.

Дона Пепе, когда он не «отлучался в горы», как называли его поездки жители Сулако, можно было встретить также в гостиной Каса-Гулд. Он сидел, со скромным достоинством поставив ноги очень прямо и слегка отодвинувшись от чайного стола. В его глубоко посаженных глазах поблескивала добродушная смешинка, и время от времени он вставлял в разговор иронические и забавные реплики. Здравомыслие и ироническая проницательность соединялись в нем с подлинной человечностью, а сочетание этих черт нередко присуще простым старым воинам, чья храбрость была многократно испытана в превратностях опасной службы. Разумеется, он ничего не смыслил в горном деле, однако должность у него была

особого рода. На его попечении находились все, кто проживал на территории рудников, границы которой были обозначены краем ущелья — с одной стороны, а с другой — тем поворотом, где начинающийся от подножья горы проселок уходит в прерию, сразу же за ручьем, через который переброшен деревянный мостик, выкрашенный в зеленый цвет — цвет надежды, а заодно и цвет рудников Сан-Томе.

В Сулако говорили, что во время «отлучек в горы» дон Пепе пробирается по обрывистым тропам, опоясанный огромной саблей и облаченный в потертый мундир с потускневшими майорскими погонами. Шахтеры, почти все индейцы с большими дикими глазами, называли его «таита» (отец), ибо в Костагуане было принято, что все босые обращаются таким образом к носящим башмаки; и не кто иной, как Басилио, камердинер мистера Гулда и дворецкий Касы, в один прекрасный день счел нужным с полным чистосердечием торжественно доложить: «Дон сеньор губернадор[78] прибыли».

Дон Хосе Авельянос, находившийся в то время в гостиной, был сверх всякой меры восхищен

---

[78] Примечания: 78
Правитель, наместник *(исп.)*.

уместностью этого титула и, как только сухощавая фигура старика-майора появилась в дверях, не без ехидства приветствовал его таким образом. Дон Пепе лишь улыбнулся в свои длинные усы, словно хотел сказать: «Легко отделался — могли бы придумать кличку и похуже».

Так сеньором губернадором он и остался впредь и, с легким юмором рассказывая о служебных обязанностях, которые он выполнял во вверенных ему владениях, посмеиваясь, говорил миссис Гулд:

— Стоит лишь камню удариться о камень, сеньора, губернадор услышит этот стук.

И многозначительно постукивал по уху указательным пальцем. Даже когда количество одних только шахтеров, не считая их жен и детей, перевалило за шесть сотен, он, казалось, знал каждого из них в лицо, всех этих бесчисленных Хосе, Мануэлей, Игнасио из находящихся в его ведении деревень — Примеро, Сегундо, Терсеро[79] (так именовались три рудничных поселка). Он различал не только их плоские безрадостные лица, абсолютно одинаковые на взгляд миссис Гулд, словно многовековые страдания

---

[79] Примечания: 79
Первый, Второй, Третий *(исп.)*.

и покорность создали общий передающийся из поколения в поколение тип, нет, он, кажется, даже различал их по бесчисленным оттенкам красновато-коричневых, черновато-коричневых, медно-коричневых спин, когда перед началом новой смены отработавшие и идущие на работу, в одних подштанниках и кожаных шапочках, смешивались в общий поток и двигались, покачивая шахтерскими лампочками, которые несли в обнаженных руках, держа кайло на плече и громко шаркая сандалиями перед входом в шахту. Наступала передышка.

Шахтеры-индейцы замирали, облокотившись на стоявшие длинным рядом пустые лотки для промывки руды; другие сидели на корточках и курили длинные сигары; по большим наклонным деревянным стокам не грохотали куски руды; слышался лишь непрестанный яростный рев воды в открытых желобах, ее негодующее ворчанье и шумные всплески, возникавшие от вращения турбинных колес, да внизу на плато тяжелое уханье толчейного песта, дробящего в мелкий порошок драгоценную руду. Старшие, каждый с медной бляхой на голой груди, выстраивали в ряд свои артели; а потом гора поглощала половину этой безмолвной толпы, вторая же половина

растекалась по извилистым тропкам, которые вели на самое дно ущелья. Оно было глубоким; и узенькая полоса растительности, которая петляла среди сверкающих каменных глыб, словно гибкий зеленый шнурок, расширялась где-то глубоко внизу тремя узлами раскидистых деревьев и крытых пальмовыми листьями лачуг, а узелки эти именовались: Примеро, Сегундо, Терсеро, и в них обитали шахтеры концессии Гулда.

Слух о том, что у подножья Игуэроты появилось такое место, где можно получить работу и обеспечить своих близких, разнесся среди пастбищ на равнине; неуклонно и настойчиво, словно талая вода, он проник во все закоулки и щели самых отдаленных голубых хребтов Сьерры, и, прослышав об этом, целые семьи тронулись в путь. Впереди отец в остроконечной соломенной шляпе, следом мать со старшими детьми и тщедушный ослик; кроме главы семьи, все с узлами, да, пожалуй, еще старшая дочь, краса и гордость семейства, босоногая, стройная и тонкая, как тростинка, с угольно-черными косами и так же, как отец, без поклажи, если не считать поклажей маленькую гитару и сандалии из мягкой кожи, связанные вместе и переброшенные через плечо. Завидев таких путников, растянувшихся цепочкой где-

нибудь у перекрестка проселочных дорог между пастбищами или сидящих на обочине большого тракта, те, кто путешествовал верхом, говорили:

— Поглядите-ка, и эти тоже идут на рудники Сан-Томе. Всё идут, идут, и завтра мы таких же встретим.

И, пришпоривая в наступающих сумерках лошадей, толковали о величайшей новости в провинции, открытии рудников Сан-Томе. Разрабатывать их будет богатый англичанин, а может, и не англичанин, quién sabe![80] Словом, какой-то иностранец, денег — куча. Да, кстати, разработки уже начались. Погонщики, которые отвозили в Сулако черных быков для следующей корриды, сообщили, что, стоя на крылечке постоялого двора в Ринконе, небольшом селении, откуда до города рукой подать — всего одна лига, — они видели, что в горах уже зажглись огни и мерцают между деревьями. Видели они и всадницу, она сидит на лошади боком, в каком-то особом седле, и на голове у нее мужская шляпа. Кроме того, она бродит по горным тропам пешком. Женщина-инженер, вот, кажется, кто она такая.

---

[80] Примечания: 80
Кто знает! *(исп.)*



— Что за глупости! Это невозможно, сеньор!

— Sí! Sí! Una americana del Norte[81].

— Ах вот как! Ну, вашей милости лучше знать. Una americana, на них это похоже.

Посмеивались, удивленно и пренебрежительно, а сами не спускали настороженных глаз с теней на дороге, ибо, если путешествуешь поздно вечером по равнине, того и гляди повстречаешь разбойников.

В пределах вверенных ему владений дон Пепе знал не только шахтеров-мужчин, но, казалось, был способен определить, из чьей семьи любые встретившиеся ему женщина, девушка или подросток, — для этого ему только требовалось смерить их внимательным, пытливым взглядом. Лишь мелюзга порою ставила его в тупик. Частенько сиживали они бок о бок с падре, задумчиво уставившись на деревенскую улицу, где мирно резвились коричневые ребятишки, прикидывали, чей вон тот или этот, вполголоса обменивались своими соображениями, а иногда вдвоем наперебой задавали всевозможные вопросы, дабы установить родословную мальца, который безмятежно брел по дороге, совершен-

---

[81] Примечания: 81

Да! Да! Американка с Севера *(исп.)*.

но голый и очень серьезный, держа сигару в младенческих губах и украсив себя четками, похищенными, очевидно, именно украшения ради у матери и болтавшимися на его раздутом животе.

Духовный и светский наставники рудничной паствы были добрыми друзьями. С доктором Монигэмом, медицинским пастырем, который взял на себя эту миссию по просьбе Эмилии Гулд и жил в помещении больницы, они не были так коротки. Да и как с ним быть накоротке, с сеньором доктором, таким таинственным и жутким, кривоплечим, со свисающей на грудь головой, сардонической улыбкой и хмурым взглядом исподлобья. Зато оба других пастыря всегда работали в тесном содружестве.

Отец Роман, сухопарый, маленький, морщинистый, подвижный, с большими круглыми глазами и острым подбородком, большой любитель нюхать табак, тоже был старым служакой; великое множество простых душ исповедовал он на полях битвы своей республики, опускался рядом с умирающими на колени в высокой траве на горном склоне или в густом лесу, и, пока он выслушивал их последние признания, его ноздри вдыхали пороховой дым, а в ушах гремела

ружейная пальба и свистели пули. Так велик ли грех, если двое друзей с наступлением сумерек вытаскивали засаленную колоду карт и играли одну партию, прежде чем дон Пепе отправлялся перед сном проверить, все ли караульные — сторожевой отряд он создал самолично — находятся на своих постах?

Готовясь исполнить эту обязанность, дон Пепе и в самом деле опоясывался старым мечом на веранде несомненно американского белого каркасного домика, который отец Роман именовал пресвитерией. Рядом стояло похожее на большой сарай длинное, приземистое, темное здание под островерхой крышей, с деревянным крестом на коньке — церковь, куда ходили шахтеры. Отец Роман каждодневно служил здесь мессу перед мрачным запрестольным образом, запечатленным на серой могильной плите, поставленной торчком и упирающейся в пол одним углом, на которой изображалось воскресение из мертвых, — длиннорукая и длинноногая багрово-синяя фигура воспаряла ввысь, окруженная овалом мертвенно-бледного цвета, а на угольно-черном переднем плане — поверженный смуглый легионер в шлеме. «Эта картина, дети

мои, muy linda y maravillosa[82], — говорил отец Роман своей пастве, — созерцать которую вы можете благодаря щедрости супруги нашего сеньора администрадо́ра, нарисована в Европе, стране святых и чудес, размерами своими намного превосходящей Костагуану». И с наслаждением брал понюшку табаку. Но когда однажды любознательный прихожанин пожелал узнать, в какой стороне расположена эта Европа и как туда добираться, морем или сушей, отец Роман, желая скрыть свое замешательство, ответил сухо и сурово: «Находится она несомненно весьма далеко. Но невежественным грешникам, вроде вас, тут живущих, следовало бы лучше всерьез задуматься о вечной каре, а не расспрашивать о разных странах и народностях, коль скоро земля так огромна, что вам ничего этого все равно не постичь».

После того как раздавались прощальные: «Доброй ночи, падре», «Доброй ночи, дон Пепе», сеньор губернадо́р отправлялся в путь, придерживая саблю на боку, склонившись вперед всем телом, делая длинные, шаркающие шаги в темноте. Шутливость, приличествующая невинной

---

[82] Примечания: 82
Весьма красивая и даже прекрасная *(исп.).*

партии в карты, в течение которой игроки могут выкурить несколько сигар или, заварив щепотку парагвайского чая, услаждать себя этим напитком, сразу сменялась суровой деловитостью офицера, направляющегося проверить аванпосты расположенной лагерем армии. Стоило дону Пепе дунуть в свисток, который висел у него на шее, со всех сторон немедля слышались ответные свистки, а также лай собак, затихавший очень не скоро возле самого края ущелья; и в наступившей тишине появлялись и бесшумно двигались ему навстречу двое караульных, охранявших мост.

Длинный каркасный дом у дороги, он же лавка, к этому времени уже заперт и даже забаррикадирован; в другом каркасном белом доме, напротив первого, еще более длинном и опоясанном верандой, — больнице — светятся два окна: комнаты доктора Монигэма. Даже легкие листья перечников не шевелятся, так неподвижна, бездыханна тьма, согретая излучениями раскаленных камней. Дон Пепе останавливается на минутку, перед ним, как изваяния, стоят двое часовых, и тут внезапно высоко-высоко на отвесном склоне горы, усыпанном искорками факелов, которые словно капли просочились сверху из двух больших сверкающих огненных пятен, начинает работать

грохот[83]. Лавина шума все стремительней катится вниз, набирая мощь и скорость, проносится по стенам ущелья и уползает в долину с урчаньем, подобным раскатам грома. Один житель Ринкона уверял, что в тихие ночи, внимательно прислушавшись, можно различить этот шум, даже стоя на пороге дома, и ему кажется, будто в горах бушует буря.

Чарлзу чудилось, что этот шум достигает самых дальних пределов провинции. Когда он вечером ездил верхом на рудники, шум доносился до его ушей, едва он добирался до опушки небольшого леса, начинавшегося около Ринкона. Да, без сомнения, это ворчит гора, выбрасывая в толчею поток драгоценной руды; и сердце его начинало биться с особой силой — ни с чем не сравнимая радость слышать, как громовые раскаты взрывов оповещают все окрест о том, что его дерзкое желание исполнилось. В своем воображении он давно уже услышал этот звук. Он услышал именно его в тот самый вечер, когда они с женой, пробравшись сквозь лесную чащу, остановили лошадей возле ручья и впервые заглянули в дикие джунгли ущелья. Из кустов то там, то сям

---

[83] Примечания: 83
Большое решето для просеивания измельченной руды.

выглядывали верхушки пальм. Выше тоненькая, отвесно падавшая струйка ручья прорыла в квадратном, словно блокгауз, уступе горы углубление и, вытекая из него, сверкала, ослепительная и прозрачная, извиваясь среди пышных темно-зеленых зарослей древовидных папоротников. Тут верхом на лошади подъехал сопровождавший их дон Пепе и, указывая рукой на ущелье, с иронической торжественностью произнес: «Вот где сущий рай для змей, сеньора».

Услышав это, они тотчас повернули лошадей и переночевали в Ринконе. Алькальд Морено — тощий старик, имевший чин сержанта во времена Гусмана Бенто, — вместе с тремя хорошенькими дочками почтительно удалился из дома, предоставляя помещение иноземной сеньоре и их милостям кабальеро. Чарлза Гулда, который показался ему крупным государственным чиновником, окутанным покровом некой тайны, он попросил лишь об одном: напомнить высшему правительству, al Gobierno supremo, о пенсии (равнявшейся примерно доллару в месяц), каковая, как он полагал, ему причиталась. Она была обещана ему, говорил он, молодцевато распрямляя свой согбенный стан, «много лет тому назад за отвагу, проявленную в битвах с дикими

индио[84], когда я был еще молодым, сеньор».

Отвесно падающей струйки больше нет. С ее исчезновением зачахли древовидные папоротники и уныло стоят вокруг высохшего пруда, а углубление в уступе горы — теперь просто большая впадина, до половины заполненная мусором с открытых выработок. Ручей, запруженный выше по склону, сворачивает в сторону, и вода устремляется по открытым желобам, сделанным из выдолбленных древесных стволов и поставленным на высокие козлы, а оттуда падает на лопасти колес, приводящих в движение толчейные песты, которые находятся на нижней площадке, самом большом уступе горы Сан-Томе. Память о нависшей над каменистым ущельем дивной папоротниковой оранжерее, орошаемой прозрачной струей воды, сохранилась лишь в акварельном наброске, сделанном миссис Гулд; она написала его наскоро, пристроившись однажды на полянке в тени навеса, представлявшего собой просто соломенную крышу, положенную поверх трех врытых в землю кольев.

Миссис Гулд видела все это с самого начала: как расчищали территорию для рудника, как строили

---

[84] Примечания: 84
Индеец *(исп.)*.

дорогу, как прокладывали новые тропы по каменистым склонам Сан-Томе. Она жила там целыми неделями и в ту пору так редко наведывалась в Сулако, что, когда коляска Гулдов появлялась на Аламеде, среди горожан начиналось бурное волнение. Из тяжеловесных семейных экипажей, которые в это мгновение торжественно выезжали из тенистых боковых улочек, влача свой драгоценный груз — дородных сеньор и черноглазых сеньорит, ей оживленно махали белые ручки, радостно приветствуя ее. Донья Эмилия «вернулась из отлучки в горы».

Впрочем, ненадолго. Через день-другой донья Эмилия вновь «отлучалась в горы», и откормленным мулам, возившим ее коляску, вновь предстоял долгий отдых. В ее присутствии на нижней террасе воздвигли первый каркасный дом, где находились контора и апартаменты дона Пепе; охваченная восторгом, она слушала, как содержимое первой вагонетки с рудой прогрохотало по еще единственному тогда желобу; безмолвно стояла она рядом с мужем и похолодела от волнения, когда начала действовать первая партия из пятнадцати толчейных пестов. А когда впервые началась плавка и отблески огня осветили окружающий мрак, она не уходила в дом, пока

еще пустой каркасный дом, где только для нее поставили некое жесткое ложе, пока не увидела первый ноздреватый комок серебра, извлеченный из темных глубин предприятия Гулда и готовый вступить на полный превратностей путь по белу свету; ее не ведающие корысти руки дрожали от волнения, прикоснувшись к еще теплому серебряному слитку, взятому прямо из изложницы; в ее воображении этот кусок металла обладал высокими и сложными свойствами, влекущими за собой серьезные последствия, словно он не просто был выплавлен из руды, а олицетворял собою, скажем, истинное выражение чувства или возникновение нового принципа.

Дон Пепе, также весьма заинтригованный, выглядывал из-за ее плеча, и на лице у него от напряжения появились продольные морщины, что придавало ему сходство с кожаной маской, выражавшей демоническое благодушие.

— Я полагаю, ребята Эрнандеса были бы не прочь завладеть этой безделушкой, так похожей на кусок олова, — шутливо заметил он.

Разбойник Эрнандес некогда был безобидным мелким ранчеро, но во время одной из гражданских войн его вырвали из родного гнезда и заставили служить в армии. Там он вел себя

как образцовый солдат, а в один прекрасный день воспользовался удобным случаем, убил полковника и убежал. Он обосновался с бандой других дезертиров, которые выбрали его главарем, где-то за безводными непроходимыми дебрями Болсон-де-Тоноро. Гасиенды откупались от него крупным рогатым скотом и лошадьми; о совершаемых им дерзких набегах рассказывали чудеса. Иногда, гоня перед собою упряжку мулов, он без спутников въезжал в селения и маленькие города, расположенные на Кампо, а затем с двумя револьверами за поясом заходил в какую-нибудь лавку или на склад, брал там все, что хотел, и беспрепятственно уезжал восвояси, ибо его подвиги и отвага внушали ужас местным жителям. Обычно он не трогал бедных поселян; богачей останавливал на дороге и грабил; если же в руки ему попадался чиновник, беднягу неминуемо ждала жестокая порка.

Армейские офицеры чувствовали себя уязвленными, если в их присутствии упоминалось его имя. Разбойники из его шайки на краденых лошадях нагло уходили прямо из-под носа посланных за ними в погоню отрядов регулярной кавалерии и развлекались, хитроумно заманив их в засаду в какой-нибудь овраг неподалеку от

своего вертепа. Снаряжали специальные отряды, чтобы их изловить; голова Эрнандеса была оценена; шли на хитрость и пытались вступить с ним в переговоры, но это никак не отражалось на его деятельности.

И наконец, следуя истинно костагуанской манере, судебный исполнитель Тоноро, побуждаемый тщеславной надеждой взять верх над знаменитым Эрнандесом, предложил ему значительную сумму денег и обещал дать возможность покинуть страну, если тот выдаст свою шайку. Однако Эрнандес несомненно был вылеплен не из того теста, из какого лепят политических деятелей и организаторов военных переворотов в Костагуане. Этот хитроумный, хотя и ординарный замысел (из тех, что творят чудеса при подавлении местных революций) был разрушен главарем вульгарной разбойничьей шайки. У судебного исполнителя поначалу все пошло как по маслу, но уж очень скверно кончилось для эскадрона улан, расположившихся по указанию судебного исполнителя в овраге, куда Эрнандес обещал привести своих обманутых приверженцев. Они и в самом деле прибыли в назначенный час, но ползком пробрались сквозь кустарник и оповестили о своем прибытии дружным залпом из

пистолетов и ружей, опустошившим множество седел. Кавалеристы, оставшиеся в живых, спасаясь бегством, во весь опор помчались в сторону Тоноро. Ходят слухи, что командир эскадрона, благодаря хорошей лошади сильно опередивший остальных, пришел в такую ярость, что за бесчестье, нанесенное национальным войскам, ударил плашмя саблей судебного исполнителя в присутствии его жены и дочерей. Высший чиновник города Тоноро свалился в обмороке на пол, а начальник гарнизона в порыве бурных чувств пинал недвижное тело своего штатского коллеги и исцарапал шпорами его шею и лицо.

Подробности этого эпизода, столь характерного для правителей этой страны, вся история которой зиждется на угнетении, нелепой и бессмысленной политике, предательстве и зверской жестокости, превосходно были известны миссис Гулд. То, что люди разумные, утонченные, честные слушают все это как нечто само собой разумеющееся, не единым словом не выражая негодования, являлось в ее глазах одним из признаков падения нравов и возмущало так глубоко, что она приходила в отчаяние. Продолжая разглядывать серебряный слиток, миссис Гулд покачала головой в ответ на шутку дона Пепе:

— Если бы не беззаконная тирания вашего правительства, дон Пепе, многие отщепенцы, которыми верховодит сейчас Эрнандес, зарабатывали бы себе на жизнь честным трудом и жили бы мирно и счастливо.

— Сеньора, — с жаром вскричал дон Пепе, — вы правы! Мне кажется, сам Господь наделил вас умением проникать в сердца этих людей. Вы видели их за работой, донья Эмилия, — они кротки, как агнцы, терпеливы, как их собственные ослы, храбры, как львы. Я вел их под обстрел, под дула пистолетов — я, стоящий сейчас перед вами, сеньора, — во времена Паэса, являвшего собой воплощение благородства, а по смелости, насколько мне известно, равного разве что дядюшке дона Карлоса, вашего супруга. Стоит ли удивляться, что на равнине есть разбойники, если в Санта-Марте нами правят одни лишь воры, мошенники и лютые змии. Тем не менее бандит есть бандит, и, чтобы переправить серебро в Сулако, нам понадобится для его охраны дюжина добрых метких винчестеров.

Поездка миссис Гулд вместе с конвоем, сопровождавшим в Сулако первую партию серебра, явилась завершающим звеном в цепочке, которую она именовала «моя жизнь на биваках»,

после чего она безвыездно жила в своем городском доме, как подобает и даже необходимо супруге главы такого значительного предприятия, как рудники Сан-Томе. Ибо рудники Сан-Томе в полном смысле этого слова превратились в государственный институт, осуществляющий насущную для провинции необходимость в порядке и устойчивости.

Казалось, из ущелья в горе Сан-Томе хлынуло и растеклось по земле успокоительное ощущение надежности. Местные власти усвоили, что рудники Сан-Томе это благо, ради сохранения которого не следует вмешиваться в установленные там порядки. Таково было первое завоевание Чарлза Гулда в его борьбе за торжество здравого смысла и справедливость. И в самом деле, рудники, где работа шла организованно и слаженно, где шахтеры цепко держались за обретенную наконец обеспеченность, где имелся свой арсенал, где дон Пепе возглавлял вооруженный отряд караульных (в котором, как говорили, нашли себе пристанище много отщепенцев, дезертиров и даже разбойников из шайки Эрнандеса), — рудники эти превратились в нечто вроде государства в государстве. Одна высокопоставленная столичная персона, когда зашел разговор о позиции

властей Сулако во время политического кризиса, вскричала с ироническим смешком:

— Вы считаете их государственными чиновниками? Этих людей? Да ни в коем случае! Это рудничные чиновники… чиновники концессии, вот это кто.

Столичная персона, входившая в ту пору в состав правительства и обладавшая лицом лимонно-желтого цвета, а также весьма короткими и кудрявыми, а верней — курчавыми, как овечья шерсть, волосами, была настолько раздосадована, что потрясла желтым кулачком под носом собеседника и взвизгнула:

— Да! Все они! Молчать! Все! Вот кто они такие! Политический диктатор, и начальник полиции, и начальник таможни, и генерал — словом, все, все, все они чиновники Гулда.

Затем он еще некоторое время что-то бормотал, невнятно, но достаточно отважно, затем пыл его угас, и он скептически пожал плечами. Стоит ли спорить, если уж сам господин министр принимает их милости, покуда длится быстротечная пора его власти? Но тем не менее неофициальному агенту Сан-Томе, вносившему свою лепту в доброе дело, случалось порой тревожиться, что нашло отражение в его письмах дону Хосе Авельяносу,

дядюшке агента с материнской стороны.

— Ни один из лютых змиев Санта-Марты даже ногой не ступит на земли Костагуаны, расположенные по эту сторону моста Сан-Томе, — неоднократно заверял дон Пепе миссис Гулд. — Разве что в качестве почетного гостя… ведь наш сеньор администрадор тонкий политик. — Однако, заходя в кабинет Чарлза, старик-майор с угрюмой бодростью произносил: — Все мы рискуем головой в этой игре.

— Imperium in imperio[85], Эмилия, душа моя, — негромко бормотал дон Хосе Авельянос с видом глубочайшего душевного спокойствия, к которому, казалось, примешивалось телесное недомогание. Впрочем, может быть, это было заметно только посвященным.

Что до посвященных, они нигде не чувствовали себя уютней, чем в гостиной Каса-Гулд, куда по временам заглядывал на минутку хозяин, — сеньор администрадор — загадочно молчаливый, сделавшийся теперь старше, жестче, так что даже морщинки обозначились глубже на его румяном, загорелом, типично английском лице; худые ноги кавалериста торопливо переступали через

---

[85] Примечания: 85
Государство в государстве *(лат.).*

порог, ибо дон Карлос либо только что вернулся «из отлучки в горы», либо, позвякивая шпорами и зажав под мышкой хлыст, намеревался туда отлучиться. В своем кресле сидел и дон Пепе, держась браво, но не развязно, бродяга, который в ожесточенных смертельных стычках со своими ближними каким-то образом приобрел иронич-ность старого воина, знание света и манеры, в точности соответствующие его положению в обществе; Авельянос, изысканный и непринуж-денный, истинный дипломат всегда и во всем, так что даже, давая совет, он деликатно прикрывал за кажущимся многословием и осмотритель-ность свою, и мудрость, автор исторического труда о Костагуане «Пятьдесят лет бесправия», который, как он считал, в настоящее время было бы неблагоразумно (даже окажись это возмож-ным) «представить на суд читателей»; а кроме этих троих — донья Эмилия, изящная, хрупкая, похожая на фею, перед сверкающим сервизом; и каждым, кто находится в гостиной, владеет од-на мысль, их сплотило одно тревожное чувство, перед каждым одна и та же неизменная цель: любой ценою отстоять могущество концессии.

Здесь же нередко бывал и капитан Митчелл. Опрятный, старомодный в своем белом жилете,

слегка напыщенный старый холостяк, он сидел, устроившись подле высокого окна, несколько в стороне от остальной компании, а компания, сплоченная единой заботой, также держалась несколько в стороне от него, чего он не замечал; пребывая в глубоком неведении, он полагал, что находится в самой гуще событий. Этот славный малый, которого, по его выражению, «списали на берег», после того как он провел тридцать лет среди бурных морей, был поражен значительностью дел, происходивших на суше и не имеющих отношения к мореходству. Чуть ли не каждое событие, выходящее за пределы заурядной повседневности, «открывало новую эпоху», по мнению капитана Митчелла, или же являлось «историческим», и лишь иногда, понурив голову с седыми коротко остриженными волосами и аккуратными бакенбардами, обрамлявшими красноватое, довольно приятное лицо, он сокрушенно, хотя и не без присущей ему напыщенности, бормотал:

— Ах это! Это была ошибка, сэр.

Прием первой партии серебра, доставленного из Сан-Томе, и отправка его в Сан-Франциско на одном из почтовых пароходов, принадлежащих компании ОПН, разумеется, «открывала новую эпоху» в представлении капитана Митчелла.

Слитки, уложенные в тюки из дубленой воловьей кожи, небольшие по размеру, так что их легко могли нести, взявшись за плетеные ручки, два человека, были доставлены к подножью горы служившими на рудниках часовыми, которые попарно осторожно прошли полмили по крутым извилистым горным тропам. Затем коробки погрузили в двухколесные повозки, напоминавшие объемистые сундуки с расположенной сзади дверцей, которые стояли наготове, охраняемые вооруженными часовыми, и в каждую из них было впряжено два мула цугом.

Дон Пепе запер все двери на замок, свистнул, и повозки двинулись по тряской дороге; позвякивали карабины и шпоры, щелкали бичи, а на пограничном мосту («преддверие страны воров и лютых змиев», именовал его дон Пепе) внезапно началась суматоха: в бледном сумраке рассвета маячили шляпы на головах закутанных в плащи фигур; покачивались, прикасаясь к бедрам, опущенные вниз дула винчестеров; из-под складок пончо высовывались, держа уздечку, тонкие коричневые руки. Конвой обогнул небольшой лесок, проехал мимо глиняных хижин и низеньких изгородей селенья Ринкон, а затем, свернув с проселка на большую дорогу, ускорил шаг, — по-

гонщики нахлестывали мулов, всадники пустили лошадей галопом, дон Карлос же, скакавший впереди, оглядываясь, видел, как мелькают в туче пыли длинные уши мулов, трепещут на повозках зелено-белые флажки, как машут руки, поднятые над сомбреро, как сверкают белки глаз; а в конце этой грохочущей и пыльной вереницы можно было еле-еле разглядеть дона Пепе, который с непроницаемым лицом, не меняя позы, словно врос в седло и ритмически покачивался на вороной с серебряной искрой лошади с короткой шеей и похожей на молоток головой.

Люди, спавшие в придорожных хижинах на мелких ранчо, услышав этот шум, догадались, что он знаменует: рудники Сан-Томе шлют свой вызов обветшалой крепостной стене большого города, находящегося по другую сторону Кампо. Они подходили к порогу поглядеть, как несутся по рытвинам и каменистым ухабам повозки, с грохотом, лязгом, щелканьем бичей, как с отчаянной стремительностью и рассчитанной точностью рвущейся в бой артиллерийской батареи мчится вся эта процессия под водительством всадника, чью одинокую фигуру, виднеющуюся далеко впереди, все узнают с первого взгляда — сеньор администрадор, англичанин с головы до ног.

Заслышав шум, в огороженных выгонах у дороги начинали метаться нестреноженные лошади; быки и коровы с негромким мычаньем поднимались в высокой, по грудь им, траве; бредущий с нагруженным осликом крестьянин-индеец, робко оглянувшись, руками подталкивал свою животинку вплотную к стене, чтобы не стояла на дороге у конвоя, который сопровождает груз серебра от Сан-Томе к морскому побережью; несколько продрогших оборванцев, нашедших себе приют под статуей каменной лошади на Аламеде, тихо буркнут «Caramba!»[86], глядя, как он мчится во всю прыть и, описав широкую дугу, врывается на пустынную улицу Конституции; ибо среди погонщиков мулов, работающих на рудниках Сан-Томе, считалось обязательным для соблюдения традиции проехать через спящий город из конца в конец с такой скоростью, словно за ними гонится сам дьявол.

Первые лучи солнца заиграли на нежных лепестках примул, на голубых и розовых фасадах домов, все двери которых были еще закрыты, а из-за железных решеток на окнах не выглядывало ни единого лица. Яркое солнце освещало и длин-

---

[86] Примечания: 86
«Черт возьми!» *(исп.)*

ный ряд галерей, вытянувшихся вдоль улицы, но только на одной из них виднелась белая фигурка — жена сеньора администрадора, наспех уложив узлом свои густые белокурые волосы и накинув отделанный кружевами муслиновый халатик, облокотилась на перила, чтобы поглядеть, как конвой проедет мимо дома в порт. Ее муж всего лишь один раз бросил быстрый взгляд вверх, и она ему улыбнулась, затем с приличествующим случаю гамом под галереей прокатил весь караван, а потом дон Пепе на полном скаку чопорно и почтительно ей поклонился, и миссис Гулд дружески помахала в ответ.

С годами вереница запертых на замок повозок делалась все длиннее, все многочисленнее становился конвой. Каждые три месяца все более обильный поток сокровищ проносился по улицам Сулако в сторону порта, где в большом сейфе-кладовой компании ОПН дожидался отправления на север. Поток увеличивался, росла и его ценность: Чарлз Гулд, радостный и возбужденный, однажды сообщил жене, что ничего подобного той жиле, которую разрабатывает их концессия, нет и никогда не было в мире. Каждый раз, когда повозки с серебром проезжали под галереями Каса-Гулд, им обоим казалось, что одержана еще

одна победа в битве за мирное существование Сулако.

Несомненно, успешному началу работы способствовало то, что оно совпало с относительно мирным периодом в истории Костагуаны; да и нравы смягчились по сравнению с эпохой гражданских войн, породивших железную тиранию недоброй памяти Гусмана Бенто. В столкновениях враждующих партий в конце его правления (которое в течение целых пятнадцати лет спасало страну от междоусобиц) еще оставалось много нелепого и бессмысленно-жестокого, зато сильно поубавилось былой кровожадности и страшного своею слепой нетерпимостью политического фанатизма. Междоусобная борьба превратилась в низменную, подловатую, гнусную свару, справиться с которой стало несравненно легче уже хотя бы потому, что никто не скрывал своих корыстных побуждений. Было ясно: идет бесстыдная драка за добычу, количество которой все уменьшается; да и неудивительно, поскольку в стране глупейшим образом уничтожили все предприятия.

Так вышло, что провинция Сулако, служившая когда-то полем кровопролитных схваток между партиями, превратилась в нечто весьма заманчи-

вое для людей, делающих политическую карьеру. Великие мира сего (в масштабах Санта-Марты) придерживали должности в бывшем Западном штате для тех, кто им всех ближе и дороже: для племянников, братьев, мужей самых любимых сестер, для близких друзей и верных соратников… либо могущественных сторонников, коих они, возможно, сами побаивались. Благословенная провинция, где перед людьми открывались большие возможности и где щедро платили жалованье; ибо на рудниках Сан-Томе существовала своя собственная неофициальная платежная ведомость, и Чарлз Гулд с сеньором Авельяносом, предварительно обсудив все пункты, доводили ее до сведения великого бизнесмена из Соединенных Штатов, который каждый месяц уделял примерно двадцать минут исключительно делам Сулако.

В то же время под влиянием рудников Сан-Томе всякого рода материальные интересы начали приобретать в этой части республики вполне реальный статут. Если в политических кругах столицы, например, было принято считать, что должность сборщика налогов в Сулако открывает путь в Министерство финансов, и точно так же дело обстоит с любым из государственных постов,

то в деловых сферах республики на Западную провинцию взирали как на землю обетованную, где успех обеспечен, в особенности если удалось установить добрые отношения с администрацией рудников. «Чарлз Гулд… отличный малый! Заручиться его поддержкой совершенно необходимо, а иначе нельзя и шагу ступить. Постарайтесь, чтобы вас представил ему Морага — вы, конечно, слышали о нем — доверенный агент „короля Сулако“».

Стоит ли удивляться, что сэр Джон, прибывший из Европы, дабы расчистить путь для своей железной дороги, буквально на каждом перекрестке в Костагуане слышал имя Чарлза Гулда, а иногда и его прозвище. Доверенный агент администрации Сан-Томе в Санта-Марте (на сэра Джона он произвел впечатление благовоспитанного и образованного джентльмена) оказал столь существенную помощь в организации торжественной поездки президента, что сэр Джон невольно призадумался, не скрывается ли доля истины в слухах о неограниченном, почти мистическом могуществе концессии Гулда. Слухи эти заключались в том, что администрация рудников якобы финансировала — во всяком случае частично — последнюю революцию, поставив-

шую на пять лет у власти дона Винсенте Рибьеру, человека высокой культуры и безупречной репутации, которому лучшие люди страны доверили произвести столь необходимые для Костагуаны преобразования. Люди серьезные, разумные верили, судя по всему, что преобразования эти и в самом деле будут произведены, надеялись на благотворные перемены, полагали, что в общественной жизни страны восторжествует законность, честность, порядок.

Что ж, тем лучше, решил сэр Джон. Он привык действовать с размахом; его компания предоставила Западной провинции заем и помышляла постепенно превратить ее в свою колонию, по мере того как будет строиться Национальная центральная железная дорога. Добросовестность, порядок, честность, мир были необходимы, чтобы осуществить эти грандиозные свершения в области материальных интересов. Сэр Джон был рад любому единомышленнику, в особенности же такому, который действительно мог ему помочь. «Король Сулако» не обманул его ожиданий. Как и предсказывал главный инженер, все трудности были преодолены после вмешательства Чарлза Гулда. Сэра Джона очень торжественно приветствовали в Сулако как второго по значи-

тельности гостя после президента-диктатора; чем, пожалуй, можно объяснить дурное настроение генерала Монтеро во время ланча, данного на борту «Юноны» перед самым ее отплытием из Сулако с президентом-диктатором и сопровождающими его почтенными иноземными гостями.

Его превосходительство («надежда всех честных людей», как назвал его дон Хосе в публичной речи, произнесенной от имени Генеральной ассамблеи провинции Сулако) сидел во главе длинного стола; капитан Митчелл, чье лицо побагровело, а взгляд стал совершенно неподвижным в связи с торжественностью «исторического момента», как представитель местного отделения компании ОПН занимал противоположный конец стола, в окружении хозяев этой неофициальной церемонии — капитана «Юноны» и нескольких портовых чиновников. Эти жизнерадостные, смуглолицые, низкорослые господа искоса бросали оживленные взгляды на бутылки с шампанским, которые с треском уже начали откупоривать за спинами гостей пароходные стюарды. Янтарно-желтое вино, пенясь, до краев наполнило бокалы.

Чарлз Гулд сидел рядом с иностранным послом, который монотонным и негромким голосом вре-

мя от времени принимался беседовать с ним об охоте. Рядом с чужеземным гостем, чью упитанную бледную физиономию украшали монокль и желтые висячие усы, сеньор администрадор казался в два раза более загорелым и румяным, чем был на самом деле, и, невзирая на молчаливость, гораздо более энергичным и живым. Соседом сеньора Авельяноса оказался еще один иноземный дипломат, темноволосый человек, державшийся спокойно, вежливо, уверенно, но, пожалуй, несколько настороженно. О формальностях никто не думал, и генерал Монтеро единственный из всех присутствующих был в парадном мундире, так густо расшитом золотом, что казалось, его широкую грудь защищают золотые латы. Сэр Джон в самом начале ланча перебрался со своего почетного места поближе к миссис Гулд.

Великий финансист в самых пылких выражениях благодарил свою соседку за гостеприимство и выражал признательность ее супругу, обладавшему «поистине поразительным влиянием в этой части страны», как вдруг она его прервала, прошептав: «тс-с». Президент намеревался обратиться к собравшимся.

Его превосходительство уже встал. Он сказал всего несколько слов, несомненно глубоко

прочувствованных и адресованных, вероятно, главным образом Авельяносу — его старому другу — о необходимости беспрестанно прилагать усилия к тому, чтобы обеспечить благосостояние их родины, вступающей, как он надеется, после только что окончившейся борьбы в период мира и процветания.

Миссис Гулд, слушая его мелодичный, немного грустный голос, глядя на круглое, смуглое лицо в очках, на фигуру его превосходительства, отличавшегося малым ростом и чуть ли не болезненной тучностью, думала, что этот человек, деликатный, меланхолического склада и притом почти калека, отказавшийся от покоя и уединения и по призыву своих единомышленников вступивший на опасный, полный превратностей путь, как никто иной, имеет право говорить о самопожертвовании. Тем не менее ее угнетала тревога. Он внушал скорее жалость, чем надежду, этот первый штатский — за всю историю страны — глава правительства Костагуаны, призывающий с бокалом в руке к миру, честности, уважению к закону, политической добропорядочности как внутри страны, так и в международных связях — гарантиям национальной чести.

Он сел. Раздался почтительный гул голосов,

и, покуда собравшиеся за столом обменивались одобрительными замечаниями по поводу произнесенной президентом речи, генерал Монтеро поднял тяжелые набрякшие веки и с тупым беспокойством вглядывался в лица, окружавшие его. Вылезший из глухой провинции военный герой хотя и радовался в глубине души переменам, которые принес ему внезапный взлет (он еще ни разу в жизни не бывал на борту корабля, да и море видел редко и только издали), но чутье ему подсказывало, что угрюмый, грубый, неотесанный вояка обладает неким преимуществом перед окружающими его утонченными аристократами партии «бланко». Так почему ж никто не смотрит на него, сердито думал он. Он кое-как умел читать газеты и знал, что не кто иной, как он, совершил «величайший воинский подвиг современности».

— Мужу хотелось, чтобы провели железную дорогу, — сказала миссис Гулд сэру Джону, когда за столом опять возобновились прерванные разговоры. — Ведь все это приметы тех самых перемен, которых мы так жаждем для нашей страны; она и так ждала их слишком долго и, видит бог, измучена этим тяжелым ожиданием. Но признаюсь, когда позавчера во время своей ежедневной прогулки я вдруг увидела, как из ле-

са выехал молодой индеец, держа в руке красный флажок поисковой партии вашей компании, мне стало неприятно. Я знаю, перемены неизбежны, все полностью должно измениться. Тем не менее даже здесь, у нас, есть уголки, простые и в то же время живописные, которые хотелось бы сохранить.

Сэр Джон слушал, улыбаясь. Но тут вдруг наступил его черед призвать миссис Гулд к молчанию.

— Генерал Монтеро хочет что-то сказать, — прошептал он и тут же с комическим ужасом добавил: — Боже милостивый! Я всерьез опасаюсь, как бы он не вздумал предложить тост за мое здоровье.

Генерал Монтеро тем временем встал, звякнув ножнами, сверкнув вышитой золотом грудью; над краем стола появился массивный эфес его сабли. В пышном мундире, с бычьей шеей, крючковатым носом, приплюснутый кончик которого находился прямо над иссиня-черными крашеными усами, генерал производил впечатление зловещего переодетого вакеро. У него был низкий голос, в котором звучало нечто странное, скрипучее, металлическое. Запинаясь, он пробормотал начальные, довольно бессодержательные фразы; потом внезапно поднял голову и голосом, столь

же внезапно окрепшим, резко выпалил:

— Честь этой страны в руках армии. Можете быть спокойны, я ее не уроню. — Он запнулся, беспокойно озираясь, затем увидел сэра Джона и вперил в его лицо сонливый мрачный взгляд; тут на память ему пришла, очевидно, сумма только что полученного займа. Он поднял бокал. — Пью за здоровье человека, который нам дает полтора миллиона фунтов.

Он залпом выпил шампанское и грузно опустился на стул, обводя растерянным и в то же время задиристым взглядом лица всех сидящих за столом, где после удачного тоста генерала воцарилось глубокое и, казалось, испуганное молчание. Сэр Джон не шелохнулся.

— Я думаю, мне можно не вставать, — шепнул он миссис Гулд. — Такие тосты не нуждаются в ответе.

Но тут на помощь пришел дон Хосе Авельянос и произнес краткую речь, в которой прямо сказал о благосклонном отношении Англии к Костагуане, «благосклонном отношении, — подчеркнул он, — о коем я имею возможность судить со знанием дела, поскольку в свое время был аккредитован

при Сент-Джеймсском дворце»[87].

И только тут сэр Джон счел необходимым произнести ответную речь, весьма изящно прозвучавшую на скверном французском и прерываемую аплодисментами и восклицаниями «Слушайте! Слушайте!» в тех местах, где капитану Митчеллу удавалось понять какое-нибудь слово. Завершив свой спич, железнодорожный магнат сразу обратился к миссис Гулд.

— Вы были так добры, что собирались меня о чем-то попросить, — галантно напомнил он ей. — О чем? Любая ваша просьба будет воспринята как милость, которую вы оказали мне.

Она поблагодарила его милой улыбкой. Гости вставали из-за стола.

— Пойдемте на палубу, — предложила она. — Оттуда я думаю показать вам объект моей просьбы.

Огромный национальный флаг Костагуаны, по диагонали разделенный на две части, красную и желтую, с двумя зелеными пальмами посредине, лениво развевался на грот-мачте «Юноны». На берегу в честь президента жгли фейерверки, рас-

---

[87] Примечания: 87

До короля Георга I (1660–1727) Сент-Джеймский дворец был резиденцией английских королей, поэтому и впоследствии английский двор часто называли Сент-Джеймсским.

сыпавшиеся с таинственным треском тысячами искр и опоясывающие половину гавани. То и дело со свистом взлетали невидимые глазу ракеты и взрывались высоко вверху, оставляя в синем небе крохотное облачко дыма. Между гаванью и городскими воротами стояли толпы людей и размахивали пестрыми флажками на длинных палках. Издали долетали звуки бравурной музыки военных оркестров и приветственные клики. На краю пристани несколько оборванных негров время от времени палили из маленькой железной пушки и снова ее заряжали. Тонкая, неподвижная пелена пыли заволакивала солнце.

Дон Винсенте Рибьера, опираясь на руку сеньора Авельяноса, сделал несколько шагов по палубе в тени навеса; его окружили широким кольцом, и он приветливо поворачивал голову, одаряя то одного, то другого безрадостной улыбкой темных губ и слепым блеском очков. Неофициальная церемония, устроенная на борту «Юноны» с тем, чтобы дать возможность президенту-диктатору встретиться в интимной обстановке с некоторыми из своих наиболее выдающихся приверженцев в Сулако, близилась к концу. Генерал Монтеро неподвижно восседал за стеклом светового люка, на сей раз прикрыв свою

плешивую голову шляпой с плюмажем, поставив саблю между ног и положив на ее эфес большие в перчатках с крагами руки. Белый плюмаж, широкое красное, как медь, лицо, иссиня-черные усы под крючковатым носом, обилие золотого шитья на рукавах и груди, сверкающие сапоги с громадными шпорами, раздувающиеся ноздри, тупой и властный взгляд — в облике славного победителя при Рио-Секо было нечто зловещее и в то же время неправдоподобное — злая карикатура, доведенная до абсурда, нелепый мрачный маскарад, свирепость и жестокость на уровне гротеска, — некий идол, олицетворяющий собой воинственность ацтеков и наряженный в европейскую военную форму, выжидал, когда ему воскурят фимиам. Дипломатичный дон Хосе счел необходимым подойти к этой фантастической загадке природы, а миссис Гулд, как зачарованная смотревшая на генерала, наконец-то отвела взгляд.

Чарлз, подошедший попрощаться с сэром Джоном, услышал, как тот говорил, склонившись над рукой его жены: «Ну конечно. Разумеется же, миссис Гулд, коль скоро речь идет о вашем протеже! Ровно никаких трудов. Считайте, что все уже сделано».

Сидя в шлюпке, которая отвезла его вместе с четой Гулд на берег, дон Хосе Авельянос не проронил ни слова. И даже в карете он еще долго молчал. Мулы неторопливо затрусили по дороге, удаляясь от пристани, и со всех сторон к коляске потянулись руки нищих, которые в честь торжественного дня все до единого покинули церковные порталы. Чарлз Гулд с заднего сиденья кареты окидывал взглядом равнину. Она была усеяна сооружениями из зеленых веток, камыша, всяких досок, деревянных планок и кусков парусины, прикрывавших дыры в этих наскоро построенных палатках, где шла оживленная торговля сахарным тростником, сластями, фруктами, сигарами. Опустившись на корточки перед кучками горящего древесного угля и подстелив под себя циновки, индианки стряпали, в глиняных, черных от копоти котелках кипятили воду, а затем заваривали в сделанных из тыквы бутылях парагвайский чай мате́ и ласковыми вкрадчивыми голосами предлагали этот напиток и свою стряпню приезжим из деревни.

Была огорожена площадка для скачек, на которой состязались между собой пастухи; а слева от дороги, там, где сгрудилась толпа вокруг огромного наспех воздвигнутого здания, похожего на

деревянный шатер бродячего цирка с конической крытой пальмовыми листьями крышей, слышалось пронзительное пение танцоров, и сквозь хор голосов пробивалась звучная мелодия арфы, резкий звон гитары и мрачный дробный грохот индейского бубна.

После долгого молчания Чарлз Гулд сказал:

— Теперь весь этот участок принадлежит железнодорожной компании. Больше здесь уже не будет народных гуляний.

Миссис Гулд стало немного грустно. Но поскольку разговор коснулся этой темы, она упомянула о только что полученном от сэра Джона обещании не трогать домик, где живет Джорджо Виола. Она, право, никогда не могла понять, для чего понадобилось инженерам из поисковой партии разрушать этот дом. Ведь стоит он в стороне от того места, где будет проходить ведущая в гавань ветка.

Она велела остановить лошадей возле гостиницы, чтобы сразу же успокоить старика-генуэзца, который с непокрытой головой вышел из дому и стоял у ступенек кареты. Миссис Гулд, разумеется, говорила с ним по-итальянски, и Джорджо Виола со спокойным достоинством поблагодарил ее. Старик-гарибальдиец был признателен ей

от всего сердца, ведь, если бы не помощь этой женщины, его жена и дети лишились бы крова.

Он уже стар и бродяжничать больше не в силах.

— Я навсегда смогу остаться тут, синьора? — спросил он.

— Вы можете здесь жить так долго, как захотите.

— Bene[88]. Тогда нашему прибежищу нужно придумать название. Прежде это не имело смысла.

Он хмуро улыбнулся, и от уголков его глаз разбежались морщинки.

— Завтра же я возьму кисть и напишу название своей гостиницы.

— Как же она будет называться, Джорджо?

— «Объединенная Италия», — сказал старик-гарибальдиец и отвернулся на миг. — Скорее в честь погибших, — добавил он, — чем в честь страны, которую у нас, солдат свободы, хитростью выкрали проклятые пьемонтцы, приверженцы королей и попов.

Миссис Гулд слабо улыбнулась и, наклонившись к нему, стала расспрашивать о жене и

---

[88] Примечания: 88
Хорошо *(ит.).*

детях. Он отправил их нынче в город. Хозяйка чувствует себя лучше; синьора очень добра, что справляется о его семье.

По дороге проходили люди, по двое, по трое и целыми группами — мужчины, женщины и семенившие за ними ребятишки. Всадник на серебристо-серой кобыле тихо остановился в тени дома; он снял шляпу, приветствуя сидящих в карете, а те в ответ заулыбались ему и дружелюбно закивали головами. Старик Виола, чрезвычайно довольный только что услышанными новостями, на минуту прервал разговор и торопливо сообщил вновь прибывшему, что благодаря доброте английской синьоры дом не будет разрушен, и он сможет жить тут хоть всю жизнь. Всадник выслушал его внимательно, но ничего не сказал.

Когда карета тронулась в путь, он опять снял шляпу, серое сомбреро, украшенное серебряным шнуром с кистями. Яркие краски мексиканского серапе[89], переброшенного через луку седла, огромные серебряные пуговицы на вышитой кожаной куртке, два ряда мелких серебряных пуговок вдоль боковых швов на штанах, белоснежная рубашка, шелковый пояс с вышитыми

---

[89] Примечания: 89
Плащ, накидка *(исп.).*

концами, серебряные бляшки на седле и на уздечке свидетельствовали об изысканном вкусе знаменитого капатаса каргадоров, итальянского матроса, одетого с таким великолепием, с каким даже в самый торжественный день не наряжались жившие на равнине богатые молодые ранчеро.

— Для меня это великое дело, — бормотал старик Джорджо, все еще поглощенный мыслями о доме, ибо он устал от перемен. — Синьора замолвила за меня словечко у этого англичанина.

— Старика-англичанина, у которого хватает денег, чтобы купить железную дорогу? Он отплывает через час, — беспечно произнес Ностромо. — Что ж, buon viaggio[90]. Я доставил в сохранности его дряхлые кости от перевала Энтрада в равнину, а потом сюда, в Сулако, с таким тщанием, словно это мой родной отец.

Старый Джорджо только рассеянно качнул головой. Потом Ностромо указал на карету, приближавшуюся уже к заросшим мохом воротам в старой городской стене, так буйно увитой ползучими растениями, что она напоминала сплошные заросли джунглей.

---

[90] Примечания: 90
Счастливого пути *(ит.).*

— А еще я в одиночку просидел всю ночь с револьвером на товарном складе компании и охранял там груду серебра, принадлежащую вон тому англичанину, опять же с таким тщанием, будто это мое собственное серебро.

Виола по-прежнему был погружен в свои мысли. «Для меня это великое дело», — повторил он, обращаясь, очевидно, к самому себе.

— Правильно, — согласился блистательный капатас. — Знаешь что, старик, зайди-ка на минутку в дом и принеси мне сигару, только в моей комнате не надо их искать. Там нет ни единой.

Виола вошел в гостиницу и тут же возвратился, все еще погруженный в раздумье; он протянул ему сигару с отсутствующим видом, бормоча себе под нос: «Растут дети… девочки к тому же! Девочки!» Он вздохнул и умолк.

— Как, всего одна? — удивился Ностромо и с веселым любопытством взглянул на старика, который еще так и не очнулся. — Впрочем, не важно, — с надменной небрежностью добавил он. — Одной сигары вполне достаточно, покуда не потребуется вторая.

Он закурил и выронил спичку. Джорджо Виола взглянул на него и внезапно сказал:

— Мой сын был бы сейчас точно таким же бра-

вым парнем, если бы остался в живых.

— Что? Твой сын? Ну да, ты прав, старик. Если он был похож на меня, человек из него получился бы.

Он повернул лошадь и медленно поехал между палатками, время от времени останавливаясь, чтобы дети и взрослые, приехавшие из дальней части Кампо, могли полюбоваться на него. Матросы, работавшие на грузовых баркасах компании, махали ему издали рукой; и знаменитый капатас каргадоров, сопровождаемый восхищенными и завистливыми взглядами и подобострастными приветствиями, не спеша продвигался в толпе, направляясь к огромному, похожему на цирк сооружению.

А толпа становилась все гуще; громче бренчали гитары; остальные всадники словно застыли на своих местах, покуривали, и сигарный дым плыл над толпой; у дверей строения с конической крышей образовалась невообразимая толкучка, а изнутри доносилось шарканье и топот ног в такт музыке, пронзительной и дребезжащей, со скачущим ритмом, и эти звуки покрывал глухой и басовитый рокот бубна. Оглушительный и властный гул барабана, который доводил до неистовства местных крестьян и будоражил

даже европейцев, казалось, неодолимо влек к себе Ностромо, и, пока тот пробирался к шатру, какой-то человек в изорванном выцветшем пончо шел у его стремени, не обращая внимания на сыпавшиеся на него то справа, то слева толчки, и упрашивал «его милость» дать ему какую-нибудь работу в порту. Плачущим голосом он предлагал ежедневно отдавать «сеньору капатасу» половину своего заработка, если тот позволит ему примкнуть к лихому братству каргадоров; с него и половины вполне хватит, уверял он. Однако верный помощник капитана Митчелла — «неоценимый в нашем деле, совершенно неподкупный человек» — окинул оборванца критическим взглядом и лишь молча покачал головой.

Проситель отстал; а немного времени спустя и самому Ностромо пришлось остановиться. Из дверей сооружения с конической крышей толпой повалили танцоры, мужчины, женщины, потные, на ослабевших ногах, с дрожащими руками, и, выпучив глаза, разинув рты, прислонились, чтобы отдышаться, к стене балагана, за которой все так же в бешеном темпе звенели арфы и гитары и неумолчно рокотал барабан. Из балагана слышатся хлопки, хлопают сотни рук; слышится пронзительное пение, потом внезапно

утихает, переходит в негромкий и слитный хор голосов, звучит припев любовной песенки и замирает наконец. Из толпы вылетает брошенный меткой рукою красный цветок и задевает щеку капатаса.

Точным движением Ностромо успел его подхватить, но обернулся не сразу. Когда же наконец он соизволил оглянуться, толпа расступилась, чтобы пропустить смуглую красотку, с маленьким золотым гребнем в высоко подобранных волосах, которая шла ему навстречу по внезапно образовавшемуся живому коридору. На ней была белоснежная блузка, открывавшая округлые руки и шею; синяя шерстяная юбка с пышными складками впереди, слегка присборенная на боках и туго обтягивающая сзади, подчеркивала манящую задорность походки. Она подошла к нему и положила на холку лошади руку, бросив снизу вверх на всадника робкий и кокетливый взгляд.

— Любимый, — прошептала она нежно, — почему ты делаешь вид, будто не замечаешь меня, когда я прохожу?

Он помолчал, а потом ясным голосом хладнокровно ответил:

— Потому что я тебя разлюбил.

Рука на лошадиной холке дрогнула. Девушка опустила голову, чтобы не встречаться взглядом с людьми, которые стояли широким кругом, в центре коего находились расточительный, великодушный, грозный и непостоянный капатас и его подружка.

Ностромо глянул вниз и увидел, что по ее щекам струятся слезы.

— Стало быть, пришла пора, возлюбленный мой? — прошептала она. — Ты сказал мне правду?

— Нет, — отозвался Ностромо и с беспечным видом отвернулся. — Я солгал. Я люблю тебя так же крепко, как прежде.

— В самом деле? — игриво переспросила она, хотя на щеках ее еще не просохли слезинки.

— В самом деле.

— Истинная правда?

— Ну конечно, правда; только не заставляй меня клясться перед Мадонной, что стоит у тебя в комнате, — сказал Ностромо со смешком и заметил, что все стоявшие вокруг заулыбались.

Она надула губки, — ей это очень шло, — но вид у нее был несколько встревоженный.

— Нет, об этом я просить тебя не стану. Я и так вижу любовь в твоих глазах. — Она положила

ему на колено руку. — Отчего ты так дрожишь? От любви? — Ее голос пробивался сквозь несмолкаемый глухой грохот бубна. — Но уж если ты так сильно влюблен, подари своей Паките золоченые четки, и она повесит их на шею Мадонны, что стоит у нее в комнате.

— Нет, — сказал Ностромо, глядя сверху вниз в ее просящие глаза.

— Нет? Ну а какой же подарок сделает мне в день праздника ваша милость, — сердито спросила она, — чтобы мне не было стыдно перед всеми этими людьми?

— Неужели тебе будет стыдно, если твой возлюбленный хотя бы один раз ничего тебе не подарит?

— И в самом деле! Вашей милости — вот кому будет стыдно, моему нищему любовнику, — язвительно отрезала она.

Ее резкий ответ вызвал смех. Острый язычок, такая не даст спуску! Те, кто оказался свидетелем этой сцены, подзывали приятелей, отыскивая их взглядом. Круг зевак становился теснее.

Девушка повернулась, сделала шаг, другой, увидела, что все смотрят на нее с насмешливым любопытством, и тут же кинулась назад, поднялась на цыпочки, ухватилась за стремя и

обратила на Ностромо сверкающий, гневный взгляд. Он наклонился к ней, сидя в седле.

— Хуан, — прошипела она. — Я так бы и вонзила кинжал тебе в сердце.

Грозный капатас, с блистательной беспечностью не скрывающий от посторонних глаз своих любовных интриг, обнял разгневанную красотку за шею и поцелуем заставил ее умолкнуть. Толпа загудела.

— Нож! — громким голосом распорядился он, крепко прижимая к себе Пакиту.

В кольце, которое сомкнулось вокруг них, сверкнуло двенадцать лезвий. Нарядно одетый молодой человек ринулся вперед, сунул нож в руку Ностромо и столь же молниеносно вновь скрылся в толпе, чрезвычайно довольный собою. Ностромо не удостоил его даже взглядом.

— Нет, Пакита. Тебе не удастся сделать меня посмешищем, — сказал он. — Подарок ты получишь, а чтобы каждый знал, кто нынче твой любовник, можешь срезать с моей куртки все серебряные пуговицы.

Столь остроумное решение вопроса вызвало в толпе громкий смех и аплодисменты, а тем временем смуглянка орудовала отточенным, словно бритва, ножом, всадник же с невозмутимым

видом позвякивал серебряными пуговицами, которых все больше скапливалось у него в руке. Когда Ностромо опустил девушку на землю, пересыпав ей в руки серебро, оно еле умещалось в ее сложенных ладонях. Пакита что-то с жаром прошептала ему, затем, надменно глядя прямо перед собой, пошла прочь от него и смешалась с толпою.

Кольцо зевак распалось, и великолепный капатас каргадоров, незаменимый человек, надежный и испытанный Ностромо, в поисках счастья случайно высадившийся на побережье Костагуаны итальянский матрос, неторопливо направился к гавани. Именно в этот миг «Юнона» отплывала и поворачивалась к берегу кормой; а когда Ностромо снова остановил лошадь, он увидел знамя на импровизированном флагштоке, который специально на этот случай соорудили в давно уже разоруженном стареньком форте у входа в гавань. Из гарнизона Сулако спешно доставили сюда половину батареи полевых пушек, дабы устроить прощальный салют в честь президента-диктатора и военного министра.

Когда почтовый пароход «Юнона» выбирался из залива, запоздалый пушечный залп возвестил об окончании первого неофициального визита

дона Винсенте Рибьеры в Сулако, для капитана же Митчелла он возвестил окончание очередного «исторического события». А когда спустя полтора года «надежде всех честных людей» пришлось проделать этот путь вторично, он тоже был проделан неофициально, и свергнутому президенту, спасавшемуся бегством по узким горным тропам на хромом муле, лишь благодаря Ностромо удалось избегнуть бесславной гибели от рук разъяренной толпы. Это было событием совсем иного рода, и капитан Митчелл рассказывал о нем так:

— Сама история… история, сэр! И этот мой подручный — вы его знаете, — Ностромо, оказался в самой гуще исторических событий. Он в полном смысле слова повлиял на ход истории, сэр.

Впрочем, этому событию, в котором так достойно проявил себя Ностромо, суждено было тотчас повлечь за собой другое событие, каковое капитан Митчелл никоим образом не мог назвать «историческим», равно как не мог назвать его и «ошибкой». В словаре капитана Митчелла для этого события были припасены другие слова.

— Сэр, — говаривал он впоследствии, — это была не ошибка. Перст судьбы. Роковая случайность, и не более того, сэр. А бедняга мой подручный снова оказался в самой гуще… ну,

прямо-таки в самой гуще, сэр! Вот уж воистину перст судьбы... и сдается мне, он с тех пор так и не смог оправиться.

Часть вторая
Изабеллы
Глава I

Невзирая на течение борьбы, в которой добрые и дурные вести попеременно сменяли друг друга и о которой дон Хосе сказал: «Честь нации висит на волоске», концессия Гулда «Imperium in Imperio» не прекращала своей деятельности; Игуэрота все так же продолжала извергать сокровища своих недр на деревянные желоба, которые доставляли драгоценную руду к неутомимым толчейным пестам; на окутанном тьмою Кампо еженощно мерцали отсветы огней Сан-Томе; и каждые три месяца конвой сопровождал к порту груз серебра с такой регулярностью, словно ни война, ни ее последствия не в силах вторгнуться в пределы Западной провинции, огражденной высокими горами. Все сражения происходили по другую сторону этой могучей стены, над острыми вершинами которой возвышался белый купол Игуэроты, и строители железной дороги еще не пробили в этой стене туннель — было проложено лишь начало путей, они шли по ровному месту от

Сулако до Айви-Вэлли, там, где начинался подъем на перевал. И телеграф не пересек еще горы; его столбы — хрупкие маяки равнины — добрались только до лесистого подножья горы, и густые заросли прорезала прямая, словно проспект, колея. Провода обрывались внезапно в строительном лагере у белого соснового стола, на котором помещался аппарат Морзе, в сбитой из тонких досок продолговатой времянке, покрытой крышей из гофрированного железа и стоявшей в тени гигантских кедров, — штаб-квартира инженера, ведущего укладку пути.

Оживление царило и в гавани: в порт прибывало оборудование для железной дороги, на побережье передвигались войска. Пароходы компании ОПН не стояли без дела. Костагуана не располагала собственным флотом, и, не считая нескольких таможенных катеров, ей принадлежало лишь два старых торговых паровых судна, ныне используемых как транспортные.

Капитан Митчелл, которого все сильнее затягивало «в самую гущу исторических событий», вырывался временами на часок в гостиную Каса-Гулд, где, почему-то не ощущая, что именно здесь-то и происходит самое важное, с восторгом заявлял, как он рад наконец-то передохнуть в

тиши от постоянных тревог и волнений. Если бы не его бесценный Ностромо, он, право же, просто не знал бы, как быть. Он никак не ожидал, — чистосердечно признавался он миссис Гулд, — что распроклятая костагуанская политика взвалит на него столько хлопот.

Когда над правительством Рибьеры нависла опасность, дон Хосе Авельянос обнаружил талант организатора и красноречие, отголоски которого докатились до Европы. Ибо, предоставив правительству Рибьеры новый заем, Европа стала интересоваться Костагуаной. В зале Генеральной ассамблеи провинции, расположенном в помещении муниципалитета Сулако, где на стенах висели портреты освободителей, а старый флаг Кортеса[91] хранился в застекленном ящике, подвешенном над креслом председателя, прозвучали все его речи: самая первая, заключавшая в себе пылкое заявление: милитаризм — наш враг; знаменитая — о чести, висящей на волоске, произнесенная по случаю голосования: необходимо ли сформировать второй сулакский полк для защиты нового правительства; а когда во всех провинциях вновь вывесили запрещен-

[91] Примечания: 91

Кортес Эрнан (1485–1547) — знаменитый испанский конкистадор, завоеватель Мексики.

ные во времена Гусмана Бенто флаги, дон Хосе продемонстрировал еще один образчик великолепного ораторского искусства и приветствовал эти старые символы Войны за Независимость, возродившиеся ныне во имя новых идеалов. Идея федерализма отжила свой век. Сам дон Хосе не желает возвращения к прежним политическим доктринам. Они были обречены на гибель. Их более нет. Но доктрина справедливости бессмертна. Пусть второй сулакский полк, которому он вручает старинный флаг провинции, проявит свою доблесть в борьбе за порядок, мир, прогресс; пусть он способствует возникновению чувства национального достоинства, без которого, заявил он энергически, «мы покроем себя позором и станем притчей во языцех среди всех остальных держав мира».

Дон Хосе Авельянос любил свою родину. Охраняя ее интересы, он не жалел собственных денег, когда служил дипломатом, и его слушателям было хорошо известно, как его арестовали при Гусмане Бенто и каким издевательствам он подвергался в заключении. Удивительно, что он не сделался жертвой одной из жестоких казней, нередких во времена этого скорого на расправу тирана, ибо Гусман правил страной с тупой жестокостью фа-

натика. Власть Верховного Правительства в его затуманенном сознании превратилась в объект самозабвенного поклонения, словно какое-то гневное божество. Сам он был символом этого божества, а его противники, федералисты — заклятыми грешниками, к которым он испытывал ненависть, отвращение и ужас, как рьяный инквизитор к еретикам. Несколько лет таскал он по всей стране в арьергарде Армии Умиротворения шайку арестантов, «отъявленных негодяев», горько сетовавших на судьбу за то, что их никак не соберутся казнить. Постепенно их становилось все меньше, а оставшиеся продолжали свой путь, полуголые, тощие, как скелеты, закованные в кандалы, заросшие грязью, обовшивевшие, с открытыми ранами, все люди знатные, образованные, богатые, ныне научившиеся драться друг с другом за кусочек гнилого мяса, который им швыряли солдаты, и жалостно клянчить у повара-негра глоток мутной воды.

Среди них звенел цепями и дон Хосе Авельянос, казалось, не умиравший только с целью доказать, как долго может продержаться последняя искорка жизни в человеческом теле, измученном голодом, болью, надругательством и жестокими пытками.

Иногда группа офицеров собиралась в сложенном из ветвей шалаше, туда же вызывали кого-нибудь из пленных и проводили допрос, во время которого применяли примитивные методы пытки, и, опасаясь расплаты за свою жестокость, предпочитали не оставлять свидетелей. Тогда случалось, один или два счастливца брели неверною походкою вглубь леса в сопровождении солдат, которые, выстроившись шеренгой, их там расстреливали. И каждый раз армейский капеллан — субъект небритый и немытый, опоясанный саблей, с вышитым белыми нитками на левой стороне лейтенантского мундира маленьким крестом — следовал за ними, держа в углу рта сигарету, а в руке — табурет, дабы выслушать исповедь приговоренных и отпустить им грехи; ибо Гражданин Спаситель Нации (как именовали в официальных речах Гусмана Бенто) не был противником разумного милосердия. Слышался нестройный залп, порою вслед за ним еще один выстрел — это приканчивали раненого; над зелеными кустами поднималось и уплывало вдаль голубоватое облачко дыма; Армия Умиротворения шла дальше по саваннам, через леса, пересекала реки, вторгалась в деревни, опустошала усадьбы ненавистных аристократов,

завладевала расположенными на равнине городами, исполняя свою патриотическую миссию и оставляя позади объединенное государство, где скверна федерализма еще долго не сможет пробиться сквозь дым сожженных домов и запах пролитой крови.

Дон Хосе Авельянос сумел остаться в живых.

Возможно, высокомерно подмахивая приказ о его освобождении, Гражданин Спаситель Нации решил, что этот закосневший в предрассудках аристократ слишком сломлен телом и душою и слишком беден, а потому уже не может быть опасным. А возможно, это был просто каприз. Гусман Бенто, обычно преисполненный разного рода фантастических страхов и мрачных опасений, был подвержен временами неожиданным и необоснованным приступам самонадеянности, и ему мнилось тогда, будто он вознесся на самую вершину власти, где ему уже не могут повредить происки заговорщиков — простых смертных.

В этих случаях он неожиданно приказывал отслужить благодарственную мессу, исполнявшуюся с большой помпой в главном соборе Санта-Марты дрожащим и раболепным архиепископом, ставленником Спасителя Нации. Он слушал мессу, сидя в позолоченном кресле перед

высоким алтарем[92], а вокруг стояли штатские и военные члены его правительства. Храм был битком набит представителями неофициальных кругов столицы, ибо любое заметное в обществе лицо подвергло бы себя опасности, не примкнув к этим проявлениям благочестия, вдруг осенившего президента.

Воздав таким образом дань той единственной силе, которую он соглашался признать более могущественной, чем его собственная власть, он, словно издеваясь, вдруг принимался щедро изливать милосердие на своих политических противников. Пожалуй, теперь он только так и мог наслаждаться сознанием своей власти: наблюдать, как выползают на свет из темных, шумных тюремных камер его сломленные в борьбе соперники. Их беспомощность служила пищей для его ненасытного тщеславия, а в крайнем случае их можно было снова арестовать. Полагалось, чтобы все женщины, принадлежавшие к семьям освобожденных, сразу же являлись к нему на специальную аудиенцию, дабы засвидетельствовать благодарность. Воплощение этого странного

---

[92] Примечания: 92

Высокий алтарь — в католической церкви — главный из имеющихся в храме алтарей, часто украшен балдахином и снабжен ступенями.

божества — El Gobiemo Supremo[93] — принимало посетительниц стоя, в треугольной шляпе на голове, и негромким, но угрожающим голосом призывало их проявить свою признательность, воспитав детей в духе преданности самому демократичному из правительств, «созданному мною для счастья нашей страны». В ту пору, когда он был пастухом, ему выбили в драке передние зубы, поэтому великий человек говорил шепеляво и невнятно. Он неустанно трудится ради блага Костагуаны, окруженный враждой и крамолой. Пора бы им угомониться, не то он разучится прощать!

Дону Хосе Авельяносу было даровано это прощение.

Его здоровье и имущественные дела находились в столь плачевном состоянии, что вполне могли доставить истинное удовольствие создателю демократических основ государства. Дон Хосе уехал в Сулако. У его жены было в этой провинции именье, и ее нежная забота и уход вернули узника к жизни. Когда она умерла, их дочь, единственное дитя, была уже достаточно взрослой, чтобы посвятить себя «бедному папе».

---

[93] Примечания: 93
Верховное Правительство *(исп.).*

Мисс Авельянос родилась в Европе и одно время обучалась в Англии; это была высокая серьезная девушка со спокойными сдержанными манерами, высоким белым лбом, густыми темно-каштановыми волосами и чудесными голубыми глазами.

Ее достоинства и сила характера приводили в трепет местных сеньорит. Говорили, она до невозможности ученая и серьезная. А что касается гордости, так ведь известно: все Корбеланы гордецы, а ее мать из Корбеланов. Преданность горячо любимой дочери играла в жизни дона Хосе огромную роль. Он принимал ее бездумно и слепо, как все люди, которые, хотя и созданы по образу и подобию божьему, скорей похожи на каменных идолов, бесчувственно взирающих на воскуряемый перед ними дым жертвоприношений. Он был сломлен, он был разорен, но человек, одержимый страстью, не может стать полным банкротом в жизни. Дон Хосе Авельянос страстно желал своей стране мира, процветания и (как сказано в конце предисловия к книге «Пятьдесят лет бесправия») «почетного места в содружестве цивилизованных наций». Последняя фраза свидетельствовала о том, что в нем жив не только патриот, но и министр, глубоко уязвленный той

непорядочностью, которую его правительство проявило по отношению к иноземным держателям акций.



Когда окончилась тирания Гусмана Бенто, в стране разгорелась грызня между различными кликами, каждая из которых думала только о том, чтобы урвать себе побольше, и вот тут-то, пожалуй, его желание наконец удалось осуществить. Он был уже слишком стар, чтобы стать участником событий в Санта-Марте. Но непосредственные участники событий то и дело обращались к нему за советом. Сам он полагал, что принесет больше пользы, находясь вдали от столицы, в Сулако. Его имя, его связи, положение, которое он занимал когда-то, его опыт снискали дону Хосе уважение его класса. Когда же стало известно, что этот человек, живущий в пристойной бедности в городской резиденции Корбеланов (дом напротив Каса-Гулд), располагает возможностью оказать весьма существенную поддержку их делу, его влияние возросло еще больше.

Он написал призыв в форме открытого письма, и вопрос о кандидатуре президента решился в пользу дона Винсенте Рибьеры. Еще один неофициальный документ государственной важности, написанный доном Хосе (на сей раз в виде обращения от имени провинции), принудил дона Винсенте Рибьеру, весьма щепетильного приверженца конституции, принять на себя очень

широкие полномочия, которыми облекли его сроком на пять лет результаты конгресса в Санта-Марте, где за него голосовало подавляющее большинство. Письмо представляло собою наказ обеспечить благосостояние народа на основе прочного мира в стране, а также восстановить национальный кредит, удовлетворив все справедливые притязания иноземных держав.

Результаты голосования достигли Сулако в дневное время, после того как почтовая служба проделала свой обычный кружной путь через порт Каиту и дальше вдоль берега пароходом. Дон Хосе, ожидавший вестей в гостиной Гулдов, встал с качалки и уронил шляпу, которую держал на коленях. Он ерошил обеими руками свои короткие серебристые волосы и от радости лишился дара речи.

— Эмилия, душа моя, — вскричал он наконец, — позвольте мне обнять вас!

Окажись здесь капитан Митчелл, он несомненно счел бы уместным возвестить начало новой эры; но если дон Хосе и подумал о чем-нибудь подобном, красноречие его на сей раз подвело. У вдохновителя нового возрождения партии «бланко» подогнулись колени. Миссис Гулд торопливо подошла к нему и, с улыбкой подставив щеку доб-

рому старому другу, незаметно подставила ему также и плечо, в чем он безусловно нуждался.

Дон Хосе тут же собрался с силами, но не мог произнести ничего связного, а только бормотал: «Милые вы мои патриоты! Милые вы мои патриоты!..» — и глядел то на Чарлза, то на миссис Гулд. В его сознании мелькнула мысль о новом историческом труде, где он запечатлел бы для будущих поколений ревностные усилия тех, кто посвятил себя возрождению горячо любимой родины. Высокий строй души позволил автору книги «Пятьдесят лет бесправия» даже о Гусмане Бенто написать с беспристрастием истинного историка: «И все же наши потомки не с одним лишь чувством омерзения должны вспоминать об этом обагренном кровью сограждан чудовище. Он, пожалуй, любил свою родину. Он обеспечил ей двадцать лет мирной жизни и, обладая неограниченной властью над судьбами и имуществом каждого, умер в бедности. Возможно, главный его порок — невежество, а не жестокость».

Человек, способный так написать о свирепом тиране (отрывок взят из книги «Пятьдесят лет бесправия») сейчас, в преддверии успеха был охвачен безграничной нежностью к двум молодым своим сподвижникам, приехавшим из-за

океана.

Точно так же, как когда-то много лет назад, спокойно, подчиняясь скорее практической необходимости, чем абстрактной политической доктрине, Генри Гулд вынул саблю из ножен, так и сейчас, когда настали совсем другие времена, Чарлз Гулд сделал главную ставку на серебро Сан-Томе. «Костагуанскому англичанину» в третьем поколении было столь же чуждо политическое интриганство, как его дядюшке бунтарские замашки. Инстинктивное прямодушие, свойственное и тому и другому, побудило их к действию. Оба воспользовались наиболее подходящим в данных обстоятельствах оружием.

Позиция Чарлза Гулда — главенствующая позиция сейчас, когда республика старалась вернуться к мирной жизни и возобновить кредит, — была очень ясна. Для начала надо приспособиться к обстоятельствам, иными словами, к коррупции, столь наивно откровенной, что она даже не внушала отвращения, а требовала лишь достаточно отваги, чтобы не спасовать перед этой слепой силой, разрушающей все, к чему она прикоснется. Он считал ниже своего достоинства даже гневаться на нее. Просто использовал ее с холодным бесстрашным презрением, и ледяная учтивость

его манер скорее подчеркивала, нежели скрывала это презрение, что делало ситуацию гораздо менее позорной. Не склонный обольщаться иллюзиями, он, возможно, в глубине души страдал, но никогда не обсуждал с женой этическую сторону вопроса. Он знал, что, хотя чары несколько развеялись, Эмилия достаточно умна, чтобы понять: дело, которому они себя посвятили, не погибнет, и порукой тому не только линия поведения, избранная ее мужем, но главным образом его натура. Рудники процветали, и в его руках оказалась огромная сила. Постоянная зависимость от клики алчных невежд вызывала у него досаду. Для миссис Гулд эта зависимость была унизительна. И уж несомненно опасна.

В ходе конфиденциальной переписки между Чарлзом Гулдом, «королем Сулако», и живущим в Калифорнии серебряным и стальным «королем» возникла мысль, что любое движение, возглавляемое образованными и честными людьми, непременно нужно будет поддержать, но самим оставаться в тени. «Можете сказать Вашему другу Авельяносу, что я так считаю», — выбрав нужный момент, написал мистер Холройд, сидя в своей штаб-квартире, расположенной в помещении одиннадцатиэтажной фабрики великих предпри-

ятий. И вскоре после этого, благодаря кредиту, открытому Третьим Южным банком (через дом от фирмы Холройда), партия «рибьеристов» в Костагуане приняла вполне практическую форму под наблюдением управляющего рудниками Сан-Томе. И дон Хосе, наследственный друг семьи Гулд, смог тогда сказать: «Возможно, милый Карлос, мои надежды осуществятся».

Глава II

После того как к длинной череде гражданских войн добавилась еще одна, исход которой решила победа, одержанная Монтеро при Рио-Секо, «люди чести», как именовал их дон Хосе, впервые за полвека смогли вздохнуть свободно. «Пятилетний наказ» стал основой возрождения республики, о котором дон Хосе Авельянос так горячо мечтал и на которое так пылко надеялся, что эти чувства стали для него чем-то вроде эликсира вечной молодости.

А когда над этими мечтами и надеждами внезапно — но не вполне неожиданно — нависла угроза со стороны «этой скотины Монтеро», его охватило такое жгучее негодование, что оно даже несколько взбодрило его. Еще во время визита

президента-диктатора в Сулако из Санта-Марты пришло тревожное сообщение от Мораги относительно военного министра. Тогда между доном Винсенте и его главным советчиком и идеологом партии произошел серьезный разговор относительно генерала Монтеро и его братца. Но дон Винсенте, получивший в Кордовском университете степень доктора философии, с преувеличенным уважением относился к военным дарованиям, таинственная суть которых, казалось, совершенно не зависела от интеллекта и подавляла его своей загадочностью. Победитель при Рио-Секо был героем, популярным в народе, и память о его подвигах была еще так свежа, что президент-диктатор не решался открыто проявить по отношению к нему неблагодарность. Правительство уже начинало осуществлять грандиозные планы, имевшие целью возрождение Костагуаны: новый заем, строительство железной дороги, заселение неосвоенных земель. Восстанавливать сейчас против себя общественное мнение столицы было крайне нежелательно. Дон Хосе согласился с этими доводами и постарался выбросить из головы воспоминания о грозном призраке в шитом золотом мундире, сапогах и при сабле, решив, что в нынешней ситуации все

эти атрибуты несущественны.

Прошло менее полугода после визита президента-диктатора, и на Сулако обрушилось известие о военном мятеже, затеянном, дабы защитить национальную честь. Военный министр, производивший смотр артиллерийского полка, обратился к офицерам с воззванием, в котором объявил, что честь нации продана иностранцам. Президент пошел на поводу у иностранных держав, потребовавших уплаты давно просроченных долгов, и этим показал, что неспособен управлять государством. Позже из письма, полученного от Мораги, выяснилось, что инициатива и даже самый текст «возмутительной» речи исходили от второго Монтеро, экс-партизана и коменданта столицы. Доктор Монигэм, за которым послали на рудники, проскакал три лиги в темноте и, приняв самые решительные меры, спас дона Хосе от разлития желчи.

Оправившись от потрясения, дон Хосе не стал предаваться унынию. Поначалу и в самом деле приходили хорошие известия. В течение ночи на улицах столицы шел бой, затем мятеж был подавлен. К несчастью, обоим Монтеро удалось бежать на юг, в их родную провинцию Энтре-Монтес. Столица провинции, Никойа, бурно

приветствовала победителя при Рио-Секо, героя, возглавившего знаменитый лесной переход. Войска местного гарнизона в полном составе перешли на его сторону. Братья формировали армию, собирали вокруг себя недовольных, рассылали агентов, а те дурачили народ, лицемерно взывая к патриотическим чувствам, и сулили легкую добычу потерявшим человеческий облик бродягам и бандитам. У монтеристов даже появилась своя пресса, которая туманно намекала на тайные обещания помощи, полученные от «нашей великой сестры, Северной республики», стремившейся помешать гнусным происка европейцев; в каждом выпуске газетка поносила «это ничтожество Рибьеру», замышлявшего, связав свою родину по рукам и ногам, бросить ее в жертву торгашам-иноземцам.

Сулако, мирный, патриархальный, соседствующий с плодородной равниной и серебряными рудниками, жил в счастливом уединении, и бряцание оружия лишь изредка долетало до него. Тем не менее, располагая деньгами и людьми, он неминуемо должен был стать передним краем обороны; но даже слухи добирались до него кружным путем — порой случалось, что они проникали из-за границы, ведь город был отрезан

от остальной части республики не только естественными преградами, но и превратностями войны. Прежде почту доставляли из Каиты, но сейчас этот порт был осажден монтеристами. Мало-помалу перестали существовать наземные средства связи — через горный перевал, — и под конец ни один погонщик мулов не решался пуститься в столь опасный путь; некоторое время курьером служил Бонифацио, но однажды даже он не вернулся из Санта-Марты — возможно, побоялся выехать, а возможно, был схвачен одним из вражеских отрядов, постоянно совершавших набеги на территорию между столицей и Кордильерами. Впрочем, каким-то таинственным образом в провинцию проникали печатные воззвания монтеристов, а также их агенты, грозившие смертью всем деревенским и городским дворянам. Очень скоро, в самом начале мятежа, разбойник Эрнандес предложил (через посредничество старика-священника из глухой деревушки в джунглях) передать двух таких агентов официальным властям в Тоноро. Он сообщал, что эти агенты явились к нему от имени генерала Монтеро и обещали полное прощение и чин полковника, если он со своей шайкой примкнет к армии мятежников. На предложение

Эрнандеса отклика не последовало. Его просто присоединили, как доказательство честных намерений главаря шайки, к челобитной, с которой он обращался к Генеральной ассамблее Сулако, смиренно испрашивая разрешения войти вместе со всеми своими сотоварищами в войска ополчения, формировавшегося в Сулако для защиты Пятилетнего наказа о возрождении страны. Челобитная Эрнандеса, как и любой другой документ, спустя некоторое время оказалась в руках у дона Хосе. Он показал миссис Гулд эти несколько страничек грубой, серой от грязи бумаги, изъятых, возможно, в какой-нибудь сельской лавчонке и исписанных неразборчивым безграмотным почерком старого падре, которого извлекли из его хижины, притулившейся к глинобитной стене деревенской церквушки, и сделали секретарем знаменитого и грозного сальтеадора[94].

При свете лампы они склонились вдвоем в гостиной Гулдов над документом, заключающим в себе яростный и в то же время робкий крик души человека, которого тупая, злобная, слепая сила превратила из честного крестьянина в бандита. В постскриптуме священник сообщал,

---

[94] Примечания: 94
Грабитель *(исп.).*

что, хотя его на десять дней лишили свободы, обращались с ним гуманно и уважительно, как и подобает обходиться с духовным лицом. Далее выяснилось, что он исповедовал главаря шайки и большинство ее членов и может засвидетельствовать искренность их добрых намерений. Он наложил на них тяжкие епитимии, разумеется, в виде покаянных молитв и постов; но он твердо убежден, что им трудно будет надолго обрести в душах своих мир с Господом Богом, покуда они не обретут мира с людьми.

Эрнандес, кажется, никогда еще не бывал в столь безопасном положении, как сейчас, когда смиренно испрашивал позволения присоединиться к ополченцам и тем заслужить прощение для себя и своей шайки. Дело в том, что он мог теперь удаляться на большое расстояние от неосвоенных земель, где обычно скрывался, ибо в провинции совсем не осталось регулярных частей. Гарнизон Сулако отбыл воевать на юг под звуки духового оркестра, исполнявшего «Марш Боливара» на капитанском мостике одного из пароходов компании ОПН. Стоявшие на берегу громоздкие семейные экипажи раскачивались на высоких рессорах, чему причиной был энтузиазм сеньор и сеньорит, вскочивших на ноги,

чтобы помахать кружевными платочками вслед до отказа груженным военной силой баркасам, которые отплывали от пристани один за другим.

Погрузкой распоряжался Ностромо, а верховный контроль осуществлял капитан Митчелл, раскрасневшийся от солнца, в ослепительно-белом жилете, всем своим видом олицетворяющий доброжелательность и заботу защитника материальных благ цивилизации. Командующий войсками генерал Барриос при прощании уверил дона Хосе, что через три недели Монтеро будет посажен в деревянную клетку, и три пары волов повезут ее по городам республики.

— И тогда, сеньора, — продолжал он, обнажив свою курчавую седую голову перед сидевшей в коляске миссис Гулд, — и тогда, сеньора, мы перекуем свои мечи на орала и разбогатеем. Даже я, как только мы покончим с этим пустяковым недоразумением, намерен основать в своем именье на равнине какое-нибудь предприятие и мирно и спокойно наживать капитал. Вы ведь знаете, сеньора, вся Костагуана знает, — да что я говорю! — знает весь континент, что Пабло Барриос получил сполна свою долю воинской славы.

Чарлз Гулд не присутствовал на этих волнующих патриотические души проводах. В его

обязанности не входило следить за погрузкой солдат. Ни обязанности, ни намерения, ни склонности не побуждали его к этому. Его обязанности, намерения, склонности побуждали его прилагать все силы к тому, чтобы не иссякал поток сокровищ, хлынувший из затянувшегося было, а затем стараниями Гулда — одного лишь Гулда — вновь раскрывшегося рубца в склоне горы. По мере того как ширились рудники, он готовил себе помощников из местных обитателей. Штейгеры, техники, клерки и в первую очередь дон Пепе, губернадор рудничного люда. Тяжесть всех остальных трудов, связанных с «Imperium in Imperio» — знаменитой концессией Гулда, одна лишь тень которой сокрушила жизнь его отца, — полностью легла на плечи Чарлза.

Миссис Гулд не принимала участия в управлении рудниками. Ее представителями в повседневной жизни концессии Гулда были два наместника, священник и доктор, но Эмилия жаждала впечатлений и с волнением откликалась на события, происходившие вокруг нее, невольно очищая и возвышая их силою женского воображения. В день отбытия гарнизона она привезла в порт обоих Авельяносов, отца и дочь.

Дон Хосе взвалил на себя в эту мятежную пору

целый ряд обязанностей, в частности, он стал председателем Комитета патриотов, вооружившего бóльшую часть находившихся в Сулако войск усовершенствованной моделью винтовки. Совсем недавно одна из крупных европейских держав сняла эту модель с вооружения, заменив ее чем-то еще более смертоносным. Какую часть рыночной стоимости этого списанного оружия составили доброхотные даяния богатейших в стране семейств и какую часть ожидаемых за границею сумм удалось достать дону Хосе, осталось тайной, лишь одному ему известной; однако ricos[95], как называл их народ, раскошелились под воздействием его прославленного красноречия. Некоторые дамы в порыве патриотизма вручили свои драгоценности человеку, который был душою и вдохновителем партии.

Временами казалось, что и вдохновение его, и душа ослабели за долгие годы непоколебимой веры. Сидя в коляске рядом с миссис Гулд, высокий, неподвижный, с красивым, старым, чисто выбритым лицом, словно вылепленным из желтого воска и не окрашенным даже тенью румянца, уставившись в одну точку взглядом темных

---

[95] Примечания: 95
Богачи *(исп.).*

глаз, затененных полями фетровой шляпы, он производил впечатление почти неодушевленного существа. Антония, прекрасная Антония, как именовали мисс Авельянос в Сулако, сидела напротив миссис Гулд и отца; четко очерченные, созревшие формы, овал серьезного лица, полные красные губы делали ее более взрослой на вид, чем миссис Гулд, с живым подвижным личиком, тоненькую и прямую, как струнка, под слегка покачивающимся тентом коляски.

Антония постоянно опекала отца; ее дочерняя преданность была всем известна и смягчала неблагоприятное впечатление от высокомерного пренебрежения правилами, обязательными для благовоспитанной барышни испано-американского происхождения. Да и была ли она барышней в привычном смысле слова? Говорили, дон Хосе часто диктует ей документы государственной важности, и ей дозволено читать все имеющиеся в его библиотеке книги. Принимая в отцовском доме гостей, — неловкость ситуации устранялась благодаря присутствию престарелой дамы (родственницы Корбеланов), неподвижно восседавшей в кресле и совершенно глухой, — Антония, не смущаясь, отстаивала свое мнение в споре с двумя, а то и тремя собеседниками. Разу-

меется, такая девушка не стала бы поглядывать сквозь переплет окна на возлюбленного, укрывшегося в портике дома напротив и закутанного в плащ, — а в Костагуане только так и принято ухаживать. Все были убеждены, что ученая и гордая Антония с ее заграничным воспитанием и заграничными идеями никогда не выйдет замуж, разве что за иностранца из Европы или Северной Америки, а это вполне вероятно сейчас, когда весь мир, казалось, был готов нагрянуть в Сулако.

Глава III

Когда генерал Барриос умолк, Антония небрежным жестом подняла открытый веер, будто хотела заслонить от солнца голову, на которую была наброшена только легкая кружевная шаль. Взгляд блестящих синих глаз из-под густых черных ресниц, на мгновенье задержавшись на отце, обратился в сторону молодого человека лет тридцати, не более, среднего роста, довольно плотного, в светлом пальто. Опираясь на гибкую тонкую трость, он издали смотрел на них; впрочем, увидев, что замечен, тут же тихо подошел и облокотился на дверцу коляски.

Низко вырезанный воротничок рубашки, гал-

стук, повязанный широким узлом, весь стиль одежды, начиная от круглой шляпы и кончая лакированными ботинками, воплощали французскую элегантность; что же касается наружности, он являл собой ярко выраженный тип белокурого креола. Пушистые усы и короткая курчавая золотистая бородка не скрывали румяных, свежих, слегка выпяченных и казавшихся надутыми губ. Кожу круглого и полного лица отличала та здоровая, теплая белизна, что присуща лишь креолам и не поддается лучам родного солнца. Правда, уроженец Костагуаны Мартин Декуд редко подвергался воздействию костагуанского солнца. Его родители уже много лет жили в Париже, где сам он изучал юриспруденцию, слегка баловался литературой и, впадая по временам в восторженное состояние, мечтал стать поэтом, как и другой иноземец испанского происхождения Жозе Мария Эредиа[96].

[96] Примечания: 96

Эредиа Жозе Мария де (1842–1905) — французский поэт, участник группы «Парнас».



В оставшееся время он скуки ради сочинял статьи о положении дел в Европе и печатал их в «Семинарио», самой уважаемой газете в Санта-Марте, где они выходили под рубрикой «Наш специальный корреспондент сообщает», хотя фамилия автора абсолютно ни для кого не являлась секретом. В Костагуане, где ревностно обсуждали любую мелочь, касающуюся живущих в Европе компатриотов, все знали, что статьи в «Семинарио» пишет «Декуд-сын», талантливый молодой человек, несомненно вращающийся в высших сферах общества. В действительности

же это был бездельник бульвардье[97], который познакомился кое с кем из знаменитых репортеров, захаживал в редакции некоторых газет и считался своим человеком на увеселительных сборищах журналистов. Эта жизнь — ее удручающую пустоту маскировало лишь уменье постоянно пускать пыль в глаза, подобно тому, как блестки, украшающие шутовской наряд, скрашивают дурацкие выходки клоуна, — выработала в нем склонность к космополитизму на французский лад, — французский лишь по видимости, но отнюдь не по сути, — а говоря точнее, поверхностность и безразличие, рядящееся в тогу интеллектуального превосходства. О дальней своей родине он говорил французским приятелям примерно так: «Вообразите себе атмосферу оперы-буфф, где все комические партии: государственных деятелей, разбойников и так далее, а также и всевозможные сценические эпизоды: похищения, интриги, убийства из-за угла исполняются вполне серьезно. Это смешно невероятно, кровь течет рекой, а актеры воображают, будто воздействуют на судьбы вселенной. Разумеется, правительство вообще, любое, везде, вызывает у

[97] Примечания: 97
Завсегдатай парижских бульваров *(фр.).*

всех неглупых людей отношение сугубо ироническое; однако мы, латиноамериканцы, право же, всех превзошли. Нормальный человек, по-моему, неспособен участвовать в этом кошмарном фарсе. Тем не менее бедняги рибьеристы, о которых теперь стали так много говорить, и в самом деле предпринимают какие-то комические шаги, чтобы сделать страну пригодной для житья, и даже платят некоторые государственные долги. Я вам советую, друзья мои, позаботиться о ваших акционерах и написать сеньору Рибьере. Уверяю вас, если то, что мне пишут, правда, удобный момент для них наконец-то наступил».

И он с пылом принимался объяснять, чего добивается дон Винсенте Рибьера, унылый человечек, угнетенный сознанием своих же собственных благородных целей и значительностью одержанных им побед, что представляет собой Монтеро (un grotesque vaniteux et fé roce)[98], а также каким образом сложная финансовая комбинация, включающая в себя строительство железных дорог и заселение обширных пространств земли, сможет послужить основой для нового займа.

И приятели-французы говорили потом, что,

---

[98] Примечания: 98
Свирепое и тщеславное чудище *(фр.)*.

по-видимому, малыш Декуд недурно разбирается в этом вопросе. Один влиятельный парижский журнал попросил у него статью о положении в Костагуане. Он сочинил эту статью, где серьезность стиля уживалась с легковесностью воззрений. Потом он спрашивал близких друзей:

— Читали вы мой опус о возрождении Костагуаны — ловко я его сварганил, а?

Он воображал себя парижанином с головы до ног. Парижанином он вовсе не был, зато ему грозила опасность остаться на всю жизнь дилетантом какого-то неопределенного толка. Он до того привык иронизировать над всем, что ему это даже мешало распознавать искренние порывы своей же собственной души. Когда его внезапно избрали доверенным агентом комитета по делам стрелкового оружия в Сулако, он был повергнут в глубочайшее изумление «фантастической причудой», которая, конечно, могла возникнуть только у его «милейших земляков».



— Словно кирпич мне на голову свалился. Я… я — доверенный агент! В жизни ничего подобного не слышал! Да что я смыслю в этих винтовках? C'est funambulesque![99] — возмущенно жаловался он любимой сестре; члены семьи Декуд, кроме стариков, отца и матери, изъяснялись между собой только по-французски. — А ты бы видела конфиденциальное объяснительное письмо! На восьми страницах… не меньше!

Под письмом этим, написанным рукой Анто-

---

[99] Примечания: 99
Странно *(фр.)*; здесь: бред какой-то.

нии, стояла подпись дона Хосе, который призывал вступить на почву общественной деятельности «молодого одаренного костагуанца» и со всей искренностью изливал душу своему талантливому крестнику, человеку, располагающему достатком и досугом, имеющему обширные связи и заслуживающему всяческого доверия благодаря происхождению и воспитанию.

— Иными словами, — цинично пояснил Мартин сестре, — я не способен присвоить денежные фонды комитета или выложить государственную тайну нашему здешнему Chargé d'Affaires[100].

Вся эта затея осуществлялась за спиной военного министра Монтеро, которому остальные члены правительства не доверяли, но не имели возможности быстро от него избавиться. Монтеро ничего не должен был знать до тех пор, покуда новые винтовки не окажутся в руках солдат Барриоса. В секрет был посвящен лишь президент, чье положение являлось очень сложным.

— Занятно! — откликнулась на этот рассказ сестра и конфидентка Мартина, на что брат с сарказмом истинного парижанина вскричал:

— Неимоверно! Ты только вообрази себе: глава

---

[100] Примечания: 100
Поверенный в делах *(фр.)*.

правительства с помощью частных лиц ведет подкоп под своего же собственного незаменимого военного министра. Нет, мы неподражаемы! — и расхохотался от души.

Позже он удивил сестру, очень ревностно и умело выполнив свою миссию, которую обстоятельства сделали щекотливой, а отсутствие у него специальных знаний — нелегкой. Сестра ни разу в жизни не видела, чтобы Мартин о чем-нибудь так хлопотал.

— Это забавно, — пояснил он лаконично. — Меня осаждает множество жуликов, пытающихся мне всучить всяческую огнестрельную рухлядь; они устраивают в мою честь изысканные завтраки; я стараюсь поддержать в них надежду; все это чрезвычайно увлекательно. А тем временем совсем в другом месте делается настоящее дело.

Выполнив возложенное на него поручение, он внезапно объявил, что намерен лично проследить, как драгоценный груз прибудет в Сулако. Такой бурлеск, полагал он, заслуживает, чтобы его уж доиграли до конца. Не очень связно поясняя причину столь внезапного своего отъезда, он пощипывал золотистую бородку, но проницательная юная девица сначала широко открыла от изумления глаза, а затем взглянула на него,

прищурившись, и медленно произнесла:

— Я думаю, ты хочешь увидеть Антонию.

— Какую Антонию? — раздраженно и высокомерно осведомился костагуанский бульвардье. Резко повернувшись, он направился к двери, а сестра шутливо крикнула ему вдогонку:

— Ту самую Антонию, которую ты видел, когда у нее на спине болтались две косички.

Он видел ее восемь лет назад, незадолго до того, как Авельяносы навсегда покинули Европу, и запомнил тоненькую шестнадцатилетнюю девушку, отличающуюся той непримиримой строгостью, какая бывает лишь в юности, и настолько независимым складом ума, что она осмелилась неуважительно отозваться о его позиции умудренного жизнью скептика. Однажды, потеряв, по-видимому, терпение, она запальчиво объявила ему, что жизнь его бесцельна, а принципы — легковесны. Ему было тогда двадцать лет — единственный сын, избалованный обожающими его родителями. Ее нападки так его ошеломили, что ему не удалось сохранить тон иронического превосходства со школьницей, ничтожной пигалицей. Но впечатление, оставленное этим разговором, было настолько велико, что с тех пор все подруги сестер вызывали в его

памяти Антонию Авельянос — некоторые смутно напоминали ее, другие были очень уж на нее не похожи. Рок, воистину рок, подсмеивался он над собой. Ну и, конечно, в тех известиях, которые семья Декуд регулярно получала из Костагуаны, то и дело мелькала фамилия их друзей, Авельяносов, — арест бывшего министра и надругательства, которым он подвергся в заключении, невзгоды и опасности, выпавшие на долю его семьи, отъезд в Сулако, разорение, смерть жены.

Монтеристы начали мятеж прежде, чем Мартин Декуд доехал до Костагуаны. Он пробирался туда кружным путем, пароходом прямого следования, затем на судне «Западной береговой службы» компании ОПН. Драгоценный груз прибыл как раз вовремя, чтобы охвативший всех ужас сменился решимостью и надеждой. Публично Мартина Декуда бурно приветствовали familias principales[101]. С глазу на глаз дон Хосе, все еще потрясенный, ослабевший, обнял его и прослезился.

— Ты приехал сам! Иного и нельзя было ожидать от Декуда. Наши худшие опасения, увы, подтвердились, — бормотал он, жалобно, с лю-

---

[101] Примечания: 101
Самые знатные семейства *(исп.).*

бовью. И снова обнял крестника. Действительно, для тех, кто обладал разумом и совестью, пришла пора объединиться, ибо делу их грозила опасность.

И тут Мартин Декуд, приемное дитя Европы, окунулся в совершенно новую для него атмосферу. Он беспрепятственно позволил себя обнять и почтительно слушал хозяина дома. Он был невольно тронут страстью и печалью, неведомыми в более утонченных сферах европейской политики. А когда в большом пустынном полутемном зале появилась стройная высокая Антония, легкой походкою приблизилась к нему, протянула руку (будучи эмансипированной девицей) и негромко произнесла: «Я рада видеть вас здесь, дон Мартин», он почувствовал, что невозможно сказать им обоим о своем намерении вернуться в следующем месяце в Европу. Тем временем дон Хосе продолжал осыпать его похвалами. Он с полным основанием может занять любую должность, не говоря уже о том доверии, которым пользуется здесь в кругу общественности, да к тому же какой пример для местной молодежи способен подать блистательный защитник возрождения Костагуаны, неоценимый истолкователь политического кре-

до партии перед лицом всего мира. Каждый ведь читал его великолепную статью в знаменитом парижском журнале. Мир оповещен, а приезд автора статьи в Костагуану именно сейчас приобретает грандиозное общественное значение. Декуд был раздосадован и в то же время смущен. Он собирался возвратиться в Париж через Соединенные Штаты, побывать в Калифорнии, посетить Йеллоустон, увидеть Чикаго, Ниагару, заглянуть в Канаду, возможно, ненадолго задержаться в Нью-Йорке и подольше — в Ньюпорте, он захватил с собой рекомендательные письма. Но рукопожатие Антонии было таким чистосердечным, в голосе так неожиданно прозвучало столько одобрения и теплоты, что он низко поклонился и просто сказал:

— Я чрезвычайно признателен вам за столь теплую встречу; однако нужно ли благодарить человека за то, что он вернулся к себе на родину? Я уверен, донья Антония так не считает.

— Разумеется, сеньор, — ответила она спокойно и открыто, как привыкла говорить всегда. — Но если человек этот возвращается, как вернулись вы, тот, кто живет здесь, может порадоваться… и за него, и за себя.

Мартин Декуд ничего не сказал о своих преж-

них планах. Он не только не проронил о них ни слова ни единой душе, но лишь полмесяца спустя в гостиной Каса-Гулд (где, разумеется, сразу же стал желанным гостем) наклонился, сидя на стуле, к хозяйке с галантной фамильярностью воспитанного человека и спросил, не замечает ли она, что он сделался сегодня другим, — иными словами, не появилась ли в нем некая возвышенная серьезность. В ответ миссис Гулд посмотрела на него молча, пытливо, слегка расширив глаза, в которых искрилась слабая тень улыбки; она часто обращала на собеседника взгляд, полный нежного внимания, ненавязчиво самозабвенного стремления понять как можно лучше его мысль, и мужчины находили этот взгляд обворожительным.

— Ведь отныне, — невозмутимо продолжал Декуд, — он не будет понапрасну обременять землю. В этот миг, — говорил он, — миссис Гулд глядит на редактора местной газеты.

Миссис Гулд покосилась на Антонию, которая сидела, выпрямившись, в углу старинной испанской софы с высокой спинкой, помахивала большим черным веером, и ее скрещенные ножки выглядывали из-под черной юбки. Глаза Декуда тоже задержались на грациозной фигуре

девушки, и, понизив голос, он сказал, что мисс Авельянос хорошо известно, что у него нежданно появилось призвание к профессии, которой до сих пор в Костагуане занимались только полуграмотные негры и вконец обнищавшие стряпчие. Затем учтиво, но с некоторым вызовом встретив взгляд хозяйки дома, обращенный уже на него и полный доброжелательства, он шепотом сказал: «Pro patria!»[102]

Дело в том, что он внезапно уступил настояниям дона Хосе взять на себя руководство газетой, которая будет «выражать чаяния нашей провинции». Дон Хосе давно уже лелеял эту мысль. Необходимое для типографии оборудование (недорогое, конечно) и большой запас бумаги были получены из Америки некоторое время назад; оставалось лишь подыскать нужного человека. Найти такового не мог даже сеньор Морага в Санта-Марте, а дело не терпело отлагательств; нужно было противопоставить что-то потоку небылиц, которые распространяла пресса монтеристов, — гнусная клевета, демагогические обращения к народу, призывающие его подняться с ножами в руках и немедленно покончить с этими «бланко»,

---

[102] Примечания: 102
«За родину!» *(лат.)*

средневековым отребьем, зловещими мумиями, бессильными паралитиками, вступившими в сговор с иностранцами, дабы отдать им все земли и поработить народ.

Сеньора Авельяноса страшила шумиха «негритянского либерализма». Единственным спасением ему представлялась газета. И когда в Декуде они наконец обрели нужного им человека, сразу же на Пласе[103] между окнами одного из домов над арками нижнего этажа появились нарисованные кистью большие черные буквы. Дом этот стоял рядом с огромным магазином Ансани, где продавались башмаки, шелка, скобяной товар, кисея, деревянные игрушки, крошечные серебряные руки, ноги, головы, сердца (для жертвоприношений), четки, шампанское, дамские шляпки, патентованные лекарства и даже несколько пыльных книг в бумажных обложках, главным образом на французском языке. Большие черные буквы группировались в слова: «Редакция газеты „НАШЕ БУДУЩЕЕ“». Редакция трижды в неделю выпускала двойной листок, плод талантов и усилий Мартина; и желтолицый толстячок Ансани в широком черном костюме

[103] Примечания: 103
Площадь *(исп.)*; здесь: название главной площади города.

и ковровых домашних туфлях, то исчезающий, то появляющийся из многочисленных дверей своего заведения, приветствовал кособоким, низким поклоном редактора местной газеты, осуществляющего в соседнем доме свое недавно обретенное призвание.

Глава IV

Возможно, именно обязанности редактора побудили его, Мартина, присутствовать при выступлении войск. Послезавтрашнее «Наше будущее», несомненно, расскажет об этом событии, но сейчас его издатель стоял, прислонившись к коляске, и, казалось, ровным счетом ничего не видел.

Когда толпа любопытных начинала слишком нажимать, пехотинцы, построенные в три шеренги поперек пирса, грозно брали штыки на изготовку; испуганная оглушительным бряцанием оружия толпа разом откатывалась, и головы людей оказывались под самым носом крупных белых мулов. Хотя на пристани собралось множество народу, шум был слабый, приглушенный; в воздухе стояла бурая туча пыли, то там, то сям среди пеших зрителей мелькали всадники, вер-

ней, виднелась верхняя часть их туловищ, и все головы были повернуты в одну сторону. Почти каждый всадник посадил сзади себя приятеля, который, чтобы не упасть, обеими руками вцепился ему в плечи; поля их шляп, соприкасаясь, образовывали диск, над коим виднелись две остроконечные тульи, а снизу выглядывали два лица. По временам какой-нибудь малый хрипло выкрикивал что-то, обращаясь к приятелю, стоявшему в строю, или пронзительный женский голос вдруг восклицал: «Adiós!» — добавляя к восклицанию имя своего милого.

Генерал Барриос в поношенном голубом форменном фраке и белых галифе, которые суживались над голенищами красных сапог странного фасона, с непокрытой головой стоял возле коляски, слегка ссутулившись и опираясь на тонкую трость. Да! Да! Воинской славы на его долю пришлось более чем достаточно, твердил он, обращаясь к миссис Гулд и в то же время стараясь сохранить бравую осанку. Над верхней губой генерала топорщились жидкие иссиня-черные усы, у него был крупный крючковатый нос, худая длинная челюсть и черная шелковая повязка на одном глазу. Другой глаз, маленький и глубоко посаженный, приветливо поглядывал

по сторонам. Несколько европейцев (все как один — мужчины), конечно же, пробрались поближе к коляске Гулдов и стояли с отрешенным выражением лиц — все они полагали, что прежде, чем окруженный грозным воинством и штабом генерал устремился в порт, он выпил в клубе «Амарилья» слишком много пунша, шведского пунша (его бутылками ввозил Ансани). Но миссис Гулд спокойно наклонилась к нему и выразила убеждение, что в скором будущем генерала ожидает новая слава.



— Сеньора! — возразил он с большим чувством. — Подумайте, бога ради, о чем вы говорите! Какая еще может быть слава для такого, как я, с лысиной и крашеными усами?

Пабло Игнасио Барриос, сын деревенского алькальда, дивизионный генерал, главнокомандующий Западным военным округом, редко бывал в высшем свете Сулако. Он предпочитал нецеремонную мужскую компанию, где мог рассказать, как охотился на ягуара, похвастать умением набрасывать лассо, с которым совершал такие чудеса, какие «женатому ни за что не проделать», как говорится среди жителей равнины; он описывал поистине фантастические ночные охотничьи облавы, стычки с дикими быками, сражения с крокодилами, приключения в бескрайних лесах и переправы через полноводные реки. И не одно лишь желание похвастать так оживляло память генерала, но и искренняя любовь к той полной опасностей жизни, которую он вел в дни молодости, до того, как навсегда покинул крытую тростником родительскую хижину в лесной чаще. Он добрался до самой Мексики и воевал там против французов бок о бок с Хуа-

ресом[104] (как он утверждал), и таким образом стал единственным военным в Костагуане, имевшим дело с европейскими войсками на поле боя. Это обстоятельство окружило его имя блеском лучезарной славы, которую лишь впоследствии затмила восходящая звезда Монтеро.

Барриос всю жизнь был заядлым картежником. Он рассказывал о себе, не таясь, знаменитую историю, как во время одной кампании (он командовал тогда бригадой) в ночь перед битвой проиграл в монте[105] всех своих лошадей, пистолеты, мундир и даже эполеты. Наконец он отправил в сопровождении охраны саблю (наградную саблю с золотым эфесом) в городишко, расположенный в тылу занятой его бригадой позиции с тем, чтобы немедленно заложить ее за пятьсот песет у заспанного перепуганного лавочника. На рассвете, проиграв и эти деньги, он спокойно встал и произнес: «Ну а теперь ринемся в смертный бой». Так он узнал, что генерал способен вести в сражение войска, вооруженный

[104] Примечания: 104

Хуарес Бенито Пабло (1806–1872) — национальный герой Мексики, президент в 1861–1872 гг., глава правительства в 1858–1861 гг. Во время Мексиканской экспедиции 1861–1867 гг. возглавлял борьбу против интервентов.

[105] Примечания: 105

Азартная карточная игра в странах Латинской Америки.

только тросточкой. «Это вошло у меня с тех пор в привычку», — пояснял он.

Он всегда был по уши в долгах; даже в периоды процветания, выпадавшие порою среди превратностей судьбы костагуанского генерала, в те дни, когда он занимал высокие посты, его шитые золотом мундиры почти всегда были в закладе у какого-нибудь торговца. Неприятности, связанные с заимодавцами, так измучили его под конец, что он решился пренебречь пышностью амуниции и усвоил эксцентричную манеру носить старые ветхие мундиры, что сделалось его второй натурой. Однако политическая партия, на чью сторону становился Барриос, могла не опасаться, что он ее предаст. Истинный солдат по натуре, он считал недопустимым для себя вступать в гнусную торговлю, где покупаются и продаются победы. Член иностранного дипломатического корпуса в Санта-Марте высказал о нем однажды такое суждение: «Барриос — человек редкостной честности и в какой-то степени даже не лишен воинских дарований, mais il manque de tenue»[106]. После победы рибьеристов он стал командующим считавшегося очень доходным Западного

[106] Примечания: 106
Но не умеет вести себя в обществе *(фр.)*.

военного округа. Произошло это главным образом стараниями его кредиторов (лавочников из Санта-Марты, очень тонких политиков), которые развили бурную деятельность, публично и приватно осаждали сеньора Моргу, влиятельного агента администрации рудников Сан-Томе, и осыпали его душераздирающими жалобами, утверждая, что, если генералу не достанется этот пост, «все мы будем разорены». Благодаря счастливой для генерала случайности, в обширной переписке мистера Гулда-старшего с сыном благожелательно упоминалось его имя, что тоже ему несколько помогло; но, разумеется, главную роль сыграла его репутация безупречно честного человека. Никто не сомневался в личной храбрости «убийцы тигров», как именовал его простой народ. Говорили, правда, что ему не везет на поле боя… впрочем, судя по всему, в Костагуане наступала мирная эпоха.

Солдаты любили его за доброту, которая расцвела нежданно, словно прекрасный и редкий цветок, в рассаднике кровавых гнусных путчей; и когда во время военных парадов он медленно ехал по улицам, благодушно, хотя и презрительно поглядывая на толпу своим единственным глазом, простонародье бурно его приветствовало.

В особенности женщины этого сословия, которые, кажется, были положительно очарованы длинным крючковатым носом, острым подбородком, толстой нижней губой, черной шелковой повязкой на глазу, лихо пересекающей генеральский лоб. Высокое положение в обществе всегда обеспечивало ему внимательных слушателей в лице кабальеро, которым он рассказывал о своих охотничьих подвигах, безыскусственно, обстоятельно и наслаждаясь от души. Общество дам его тяготило, ибо налагало некоторые ограничения, не компенсируя их никакими преимуществами, во всяком случае, он таковых не видел. За все время, что он находился на своем высоком посту, он, пожалуй, не более трех раз беседовал с миссис Гулд; но он заметил, что она часто ездит верхом вместе с сеньором администрадором, и заявил во всеуслышание, что в ее левой руке, которой она держит поводья, больше толку, чем во всех дамских головках Сулако. Ему захотелось как можно более учтиво попрощаться с женщиной, которая не вихляется в седле, да к тому же замужем за человеком, чье знакомство весьма существенно для тех, кто всегда нуждается в деньгах. Его внимательность простерлась до таких пределов, что он приказал стоявшему рядом с ним адъютанту

(низкорослому коренастому капитану с татарской физиономией) поставить перед коляской капрала с шеренгой солдат, чтобы в случае, если толпа отхлынет назад, она «не обеспокоила мулов сеньоры». Затем, повернувшись к небольшой группе европейцев, которые стояли очень близко от них и наблюдали за выступлением войск, он повысил голос и успокоительно произнес:

— Сеньоры, не надо впадать в уныние. Без опасений продолжайте себе строить ваши железные дороги, ваши телеграфы. Ваши, — Констагуана достаточно богата и заплатит за все, — а иначе вас бы здесь не было. Ха, ха! Право, не стоит волноваться из-за маленькой шалости моего друга Монтеро. Очень скоро вы увидите его крашеные усы сквозь решетку крепкой деревянной клетки. Да, сеньоры! Ничего не бойтесь, развивайте нашу страну, трудитесь, трудитесь!

Английские инженеры выслушали этот призыв, не проронив ни единого слова, и генерал, покровительственно помахав им рукой, снова обратился к миссис Гулд:

— Вот что нам необходимо, как говорит дон Хосе. Предприимчивость! Нам нужно трудиться! Стать богатыми! Посадить Монтеро в клетку — моя задача; и когда мы справимся с этим пу-

стяковым делом, тогда осуществится мечта дона Хосе, и мы станем богаты, все до единого, в точности как англичане, ибо только деньги спасут нашу страну, и…

Однако тут с пристани прибежал молодой офицер в новеньком с иголочки мундире и прервал изложение идей сеньора Авельяноса. Генерал досадливо от него отмахнулся; но офицер с почтительным видом продолжал настаивать на своем. Лошади уже в трюме, шлюпка спущена с корабля и дожидается генерала; тогда Барриос, яростно сверкнув одиноким глазом, приготовился удалиться. Дон Хосе встал, намереваясь выдавить из себя приличествующую случаю фразу. Муки надежд и опасений тяжко сказались на нем, и он собирал последние крохи своего ораторского дарования, дабы о них смогла узнать даже далекая Европа. Антония крепко сжала ярко-красные губы и опустила голову, закрыв веером лицо; а молодой Декуд, хотя и чувствовал на себе взгляд девушки, упорно смотрел в сторону, облокотившись о дверцу с высокомерным и рассеянным выражением.

Самый вид этих людей и обстоятельства, в которых они оказались, совершенно невозможные на родине миссис Гулд, где ничего подобного

никогда не бывало, да и люди держат себя иначе, повергали ее в такое отчаяние, что она прилагала героические усилия, стараясь скрыть его, и была не в силах рассказать об этом отчаянии даже мужу. Его молчаливая сдержанность стала ей теперь понятней. Душевную близость они ощущали не наедине, а на глазах у всех — быстро обмениваясь взглядами при любом неожиданном повороте событий. Она училась у него бескомпромиссному молчанию — ведь если вся мерзость, нелепость, дикость, необходимая для достижения их целей, считается нормальной в этой стране, единственное, что можно сделать, — это молчать. Величавая Антония, конечно, выглядела более зрелой и безмятежно спокойной; зато она не умела прятать за оживленным и приветливым выражением лица внезапные уколы душевной боли.

Миссис Гулд одарила прощальной улыбкой Барриоса, кивнула инженерам-англичанам (которые все разом приподняли над головами шляпы), сказав им: «Надеюсь вскоре видеть вас у себя», затем взволнованно обратилась к Декуду: «Садитесь же, дон Мартин», и услыхала, как, открывая дверцу кареты, он по-французски тихо

пробормотал: «Le sort en est jeté»[107]. Эти слова ее рассердили. Уж кто-кто, а он должен бы знать, что карты розданы давным-давно, и игра идет нешуточная. Приветствуя отбывающего генерала, на пристани завопила толпа, раздались возгласы отдающих команду офицеров и барабанный бой. Миссис Гулд вдруг почувствовала какую-то слабость и, устремив неподвижный взгляд на спокойное лицо Антонии, подумала с тревогой, что же будет с Чарли, если это нелепое существо потерпит поражение. «A la casa, Ignacio!»[108] — крикнула она в неподвижную широкую спину кучера, который неторопливо подобрал вожжи, бормоча себе под нос: «Sí, la casa. Sí, sí, niña»[109].

Коляска бесшумно покатила по мягкой дороге, и длинные тени уже вытянулись на пыльной равнине, по которой там и сям были разбросаны темные кусты, груды вскопанной земли, низкие деревянные домики под металлической крышей, принадлежащие железнодорожной компании. Редкая череда телеграфных столбов шагала прочь

---

[107] Примечания: 107
«Жребий брошен» *(фр.).*

[108] Примечания: 108
«Домой, Игнасио!» *(исп.).*

[109] Примечания: 109
«Да, да, домой. Да, девочка моя» *(исп.).*

от города, унося с собой тонкий, почти невидимый провод, словно поджидающий в сторонке прогресс вытянул слабенькое, дрожащее щупальце, чтобы, едва наступит мир, тут же вторгнуться в страну и опутать петлею ее усталое сердце.

Из окна столовой гостиницы «Объединенная Италия» выглядывали загорелые, украшенные бакенбардами лица строителей железной дороги. В другом конце гостиницы, там, где жили Signori Inglesi, на пороге стоял только старый Джорджо с дочками и, увидев коляску, обнажил свою лохматую голову, белую, как снега Игуэроты. Миссис Гулд велела кучеру остановиться. Она почти всегда здесь останавливалась, чтобы побеседовать со своим протеже; а сегодня от волнения, от жары, от пыли ей к тому же захотелось пить. Она попросила стакан воды. Джорджо велел девочкам принести из дома воду и подошел к карете; улыбка освещала его морщинистое лицо. Не так уж часто выпадал ему случай повидать свою благодетельницу, которая была к тому же англичанкой, что, на его взгляд, также заслуживало похвалы. Он извинился за отсутствие жены. У нее скверный день сегодня; подавленное состояние — он похлопал себя по широкой груди. Не встает весь день с кресла.

Забившийся в угол кареты Декуд хмуро разглядывал старого революционера и вдруг резко, почти бесцеремонно, спросил:

— Что вы думаете обо всем этом, гарибальдиец?

Старый Джорджо с любопытством посмотрел на него и вежливо ответил, что войска отлично промаршировали мимо его дома. Одноглазый Барриос и его офицеры за такое короткое время совершили с новобранцами просто чудеса. Эти индио, которых лишь на днях изловили, двигались чрезвычайно быстро, да при этом еще отбивали шаг, словно берсальеры; видно, что их хорошо кормят, и мундиры на них в полном порядке. «Мундиры!» — повторил он с чуть заметной снисходительной улыбкой. Проницательный взгляд стал на миг задумчивым, суровым. Совсем не так было в его времена, когда солдаты, сражавшиеся в джунглях Бразилии и на равнинах Уругвая, голодали, ели полусырую конину без соли, были одеты в жалкие лохмотья, а единственным оружием им служили привязанные к палке ножи. «И все же мы обычно побеждали угнетателей», — с гордостью закончил он.

Оживление его покинуло. Он обескураженно махнул рукой; добавил, правда, что попросил

одного сержанта показать ему новую винтовку. В его времена такого оружия не было; и уж если Барриос не сможет…

— Сможет, сможет, — нетерпеливо перебил дон Хосе. — Мы в полной безопасности. Достойнейший сеньор Виола — человек с большим житейским опытом. Смертоносное оружие — не так ли? Вы отлично выполнили свою миссию, дон Мартин.

Декуд, откинувшись на спинку сиденья, задумчиво разглядывал старика Виолу.

— Гм… Так, так. С большим житейским опытом. Ну а сами, в глубине души, на чьей вы стороне?

Миссис Гулд наклонилась к подошедшим девочкам. Линда очень осторожно, чтобы, не дай бог, не разлить, принесла стакан воды на подносе; Гизелла уже успела нарвать букет цветов и протягивала его миссис Гулд.

— На стороне народа, — сурово ответил старый Виола.

— Мы все на стороне народа… в конечном итоге.

— Да, — гневно буркнул старик. — А народ тем временем за вас воюет. Слепцы! Esclavos[110].

---

[110] Примечания: 110
Рабы *(исп.)*.

В это время из комнаты, отведенной для Signori Inglesi, вышел Скарф, молодой инженер-путеец. Он приехал на дрезине с дальнего конца колеи и едва успел умыться и переодеться. Он был славный юноша, и миссис Гулд приветливо с ним поздоровалась.

— Какой сюрприз, я так счастлив встретить вас, миссис Гулд. Только что прибыл. Мне, как всегда, не повезло. Конечно, ничего не успел повидать. Представление уже окончилось, и говорят к тому же, вчера вечером дон Хусте Лопес устроил бал и танцевали там до упаду. Это правда?

— Молодые патриции, — вдруг вмешался Декуд на своем очень хорошем английском, — и в самом деле танцевали, прежде чем отправились сражаться во главе с великим Помпеем.

Скарф ошеломленно посмотрел на него.

— Вы, кажется, незнакомы, — вмешалась миссис Гулд, — мистер Декуд — мистер Скарф.

— Полно. Мы ведь не идем походом на Фарсал[111], — торопливо возразил дон Хосе, также переходя на английский. — Не нужно так шутить, Мартин.

Антония глубоко вздохнула. Молодой инженер

---

[111] Примечания: 111

Город в Греции. В 48 г. до н. э. войска Юлия Цезаря около Фарсала разгромили войска Гнея Помпея.

совсем растерялся. «С великим кем?» — пролепетал он упавшим голосом.

— К счастью, Монтеро не Цезарь, — продолжал Декуд. — И даже два Монтеро, сложенных вместе, не составят пристойной пародии на Цезаря. — Он скрестил на груди руки, глядя на сеньора Авельяноса, снова погрузившегося в неподвижность. — Один лишь вы, дон Хосе, настоящий древний римлянин — vir Romanus[112], красноречивый и непоколебимый.

Услыхав фамилию Монтеро, Скарф поспешил излить обуревавшие его несложные чувства. Громко, с юношеским задором он выразил надежду, что этому Монтеро зададут хорошую взбучку, после чего о нем уже больше никто никогда не услышит. Просто немыслимо себе представить, что будет с железной дорогой, если мятежники придут к власти. Ее, может быть, вообще перестанут строить. Уже не первая железная дорога в Костагуане, от которой останутся только рожки да ножки. «Это, знаете ли, одна из их так называемых национальных проблем», — продолжал он, морща нос, словно почуял какой-то подозрительный запах в сложной смеси своих

---

[112] Примечания: 112
Римлянин *(лат.)*.

фундаментальных познаний о положении дел в Южной Америке. «И конечно, — говорил он с оживлением, — в его возрасте просто неслыханная удача получить такое роскошное место… вы представляете!» Он так рванул вперед, что остальным ребятам теперь до старости его не догнать. «А поэтому долой Монтеро. Честь имею, миссис Гулд».

Простодушная улыбка медленно сползла с его лица, когда он увидел помрачневшие лица своих слушателей, сидящих в коляске; один лишь «старикан» дон Хосе сидел, как восковая статуя, к нему в профиль, устремив в пространство неподвижный взгляд, и, казалось, ни слова не слышал. Скарф не очень хорошо знал Авельяносов. Они не давали балов, и Антония никогда не сидела возле окошка нижнего этажа, в отличие от других юных леди, которые часто там появлялись в обществе какой-нибудь пожилой дамы, чтобы поболтать с кабальеро, верхом разъезжавшим по улице. То, что все эти креолы так на него уставились, несущественно; но миссис Гулд, с ней-то что произошло? Она сказала: «Поезжайте, Игнасио», — и медленно наклонила голову, прощаясь с ним. Скарф услышал, как фыркнул этот круглолицый офранцузившийся субъект. Он покраснел

до самых бровей и перевел взгляд на Джорджо Виолу, который вместе с девочками отступил на несколько шагов, держа шляпу в руке.

— Мне нужна лошадь, немедленно, — довольно резко сказал он старику.

— Sí, señor. Лошадей сколько угодно, — пробормотал гарибальдиец, рассеянно поглаживая загорелыми руками две детские головки, одну черноволосую, отливающую бронзой, и вторую белокурую, с медными прядями. Толпа зрителей возвращалась с пристани, и огромное облако пыли плыло над дорогой. Верховые, ехавшие впереди, заметили стоявших у гостиницы людей. «Ступайте домой, к матери, — сказал Виола. — Вот так растут себе, а я все старею, и нет ни единой души…»

Он посмотрел на молодого инженера и умолк, словно внезапно проснулся; затем скрестил на груди руки и занял свою обычную позицию, прислонившись к косяку и обратив неподвижный взгляд на белеющий вдали склон Игуэроты.

Мартин Декуд зашевелился на сиденье, словно ему захотелось переменить позу, и, наклонившись к Антонии, прошептал: «Вы, наверное, меня возненавидели». Затем вслух принялся поздравлять дона Хосе с тем, что все инженеры —

убежденные рибьеристы. То, что в успехе их дела заинтересованы иностранцы, вселяет большие надежды. «Сейчас вы слышали одного из них. Он отлично осведомлен и полон доброжелательства. Приятно думать, что благополучие Костагуаны принесет кое-какую пользу всему миру».

— Он очень молод, — негромко отозвалась миссис Гулд.

— Но какая житейская мудрость, — тут же возразил Декуд. — Впрочем, в нашем случае устами этого младенца глаголет истина. Вы правы, дон Хосе. Природные сокровища Костагуаны не лишены интереса для прогрессивной Европы, представленной этим милым юношей, точно так же как триста лет назад богатство наших предков не давало покоя всей Европе, ее отважным флибустьерам. Мы, испанцы, обреченная нация, наши усилия всегда тщетны: Дон Кихот и Санчо Панса, дух рыцарства и материализма, высокопарные высказывания и низменная мораль, отчаянная борьба за идеалы и победное шествие коррупции. Мы так сражались за независимость, что весь континент содрогнулся, и добились в результате пародии на демократию, стали беспомощными жертвами негодяев и головорезов, наши учреждения — посмешище, наши законы — жалкий фарс,

Гусман Бенто — наш хозяин! Мало того, мы пали так низко, что, даже когда такой человек, как вы, пробудил наконец нашу совесть, тупоголовый дикарь Монтеро — боже милостивый! Какой-то Монтеро! — превратился для нас в смертельную угрозу, а невежественный, хвастливый индио, Барриос, стал нашим защитником.

Дон Хосе, оставив без внимания основную суть филиппики Декуда, будто ни слова не слыхал из нее, вступился за Барриоса. Этот человек вполне способен выполнить ту часть задания, которая ему отведена в общем плане кампании. Высадившись в Каите, он ударит с фланга по войскам мятежников, наступающих с юга на столицу, защищаемую еще одной армией, в рядах которой находится президент. Дон Хосе, объясняя все это, оживленно наклонился вперед, а дочь глядела неподвижным взглядом на отца, который так внезапно оживился и разговорился. Декуд безмолвствовал, словно горячность дона Хосе лишила его дара речи. Городские колокола отзвонили к вечерне, когда карета проезжала под старинными воротами, ведущими с пристани в город и похожими на некий причудливый монумент, сооруженный из камней и листьев. Колеса гулко загрохотали под аркой ворот, но внезапно

некий странный пронзительный визг заглушил их стук, и Декуд, сидевший сзади, обернувшись, увидел, как бредущие по дороге люди все разом повернули головы в сомбреро и ребосо[113], чтобы взглянуть на локомотив, который промчался за домом Джорджо Виолы и скрылся, оставив лишь хвост белого пара, а тот растаял, будто растворившись в долгом, истерическом вопле, похожем на воинственный клич. И казалось, все это лишь померещилось им: призрак паровоза, мелькнувший в арке ворот, и всколыхнувшаяся толпа зрителей, идущих с пристани, где им показали военный спектакль, и бесшумно движущихся теперь по пыльной дороге. А ведь это был вполне материальный паровоз, возвращавшийся на товарную станцию. Пустые вагоны легко катили по одинокой колее; не грохотали колеса, не вздрагивала земля. Проезжая мимо Каса-Виола, машинист поднял руку в знак приветствия и ловко сбавил скорость, въезжая на обнесенную частоколом товарную станцию; а когда умолк душераздирающий скрип тормозов, что-то глухо, тяжело забухало, и, смешавшись с лязгом цепей, шум этот отозвался под сводом ворот беспорядоч-

[113] Примечания: 113
Мантилья, кружевное покрывало, накидка *(исп.)*.

ной сумятицей звуков, напоминающей удары и кандальный звон.

Глава V

Коляска Гулдов первой вернулась из гавани в опустевший город. На старинной мостовой, покрытой узорно выложенными плитами, попадались выбоины и щели, и осанистый Игнасио, памятуя о рессорах сработанного в Париже экипажа, поехал шагом, благодаря чему сидевший в уголке Декуд получил полную возможность разглядеть не торопясь внутреннюю сторону ворот. Невысокие боковые башенки поддерживали огромное нагромождение камней, из верхней части которого торчали пучки травы, а укрепленный над аркой высеченный из серого камня геральдический щит с гербом стерся до такой степени, что на нем впору было изображать новую эмблему, знаменующую победно грядущий прогресс.

Грохот на железнодорожной колее усилил раздражение Декуда. Он что-то пробормотал про себя, потом заговорил, отрывисто, сердито, а женщины слушали и молчали. Они даже не глядели на него; дон Хосе, сидевший рядом с миссис Гулд,

слегка покачивался при каждом толчке, и лицо его, затененное полями серой шляпы, как всегда, казалось восковым, полупрозрачным.

— Эти звуки представляют в новом освещении старую-престарую истину.

Декуд говорил по-французски, возможно, из-за сидевшего на козлах Игнасио; широкую спину старого кучера плотно обтягивала короткая шитая золотом ливрея, а его большие мясистые уши, под коротко стриженными волосами, буквально стояли торчком.

— Да, шум за городской стеной стал новым, а принцип остался прежним.

Декуд брюзгливо помолчал и начал снова, исподлобья взглянув на Антонию.

— Вообразите себе, как наши предки в шлемах, латах выстраиваются за воротами, а с приплывших в гавань кораблей уже высадилась орава искателей приключений. Грабеж, конечно. И в то же время деловое предприятие. Ведь каждую из этих экспедиций снаряжали дельцы, солидные, почтенные жители Англии. Историческое событие, как любит говорить наш обаятельный мореплаватель Митчелл.

— Митчелл отлично организовал погрузку войск! — перебил его дон Хосе.

— Организовал погрузку!.. Да ее, собственно, организовал этот генуэзец-матрос! Вернемся все же к шумам; в старинные времена за воротами ревели трубы. Боевые трубы! Именно трубы, не сомневаюсь. Я где-то читал, что Дрейк, самый великий из всей этой братии, любил обедать в одиночестве у себя в каюте, а трубачи играли для него. В ту пору город наш был очень богат. Его захватили пираты. Сейчас вся наша страна превратилась в сокровищницу, и эта компания ломится в нее, а мы заняты тем, что режем друг другу глотки. Единственное, что пока еще нас спасает, — это их соперничество друг с другом. Но в один прекрасный день они придут к соглашению, и, когда мы наконец кончим междоусобицы, станем благопристойны и респектабельны, у нас уже ничего не останется. Так бывало всегда. Мы замечательный народ, но уж, видно, нам на роду написано, чтобы нас всегда… — он не сказал слова «грабили», а после паузы проговорил: — Эксплуатировали.

Миссис Гулд сказала:

— О… вы несправедливы!

А Антония тут же вмешалась:

— Не отвечайте ему, Эмилия. Это он нападает на меня.

— Надеюсь, вы не думаете, что мои слова направлены против дона Карлоса! — откликнулся Декуд.

Затем коляска остановилась перед дверями Каса-Гулд. Молодой человек помог дамам выйти. Дамы вошли в дом: дон Хосе с Декудом следовали за ними, а последним подагрической походкой ковылял старичок-привратник с несколькими небольшими свертками.

Дон Хосе взял под руку редактора местной газеты.

— Вы должны выпустить большую убедительную статью о выступлении в Каиту непобедимой армии Барриоса! Страна нуждается в моральной поддержке. Кроме того, следует подобрать подходящие выдержки из статьи и переслать их телеграфом в Европу и Соединенные Штаты, чтобы не сеять панику за границей.

Декуд пробормотал: «Да, да, конечно, нужно успокоить наших друзей-спекулянтов». Длинная открытая галерея была уже в тени, вдоль балюстрады выстроились растения в вазонах, на длинных стеблях неподвижно красовались цветы, и все стеклянные двери гостиных были распахнуты настежь. В дальнем конце галереи тихо прозвучало и замерло звяканье шпор.

Басилио, отступив к стене, тихим голосом сообщил проходившим мимо дамам: «Сеньор администрадор только что вернулся из поездки в горы». В большой зале под высоким белым потолком стояла старинная испанская и современная французская мебель, а полукружие низких кресел и поблескивающий между ними серебром и фарфором чайный столик создавали впечатление, будто сюда заглянул также и будуар со всей сопутствующей ему интимной женской утонченностью.

Дон Хосе сидел в кресле-качалке, положив на колени шляпу, а Декуд разгуливал взад и вперед по гостиной, пробирался между столами, заваленными всяческими безделушками, и временами почти исчезал, проходя за высокими спинками кожаных диванов. Ему все вспоминалось гневное лицо Антонии; непременно нужно с нею помириться. Не для того он остался в Сулако, чтобы ссориться с Антонией.

Мартин Декуд был недоволен собой. Ему, человеку, приобщившемуся к европейской культуре, претило все, что он видел и слышал тут. Он составил себе мнение о здешних делах, еще находясь за океаном, однако на парижских бульварах к костагуанским революциям относишься иначе.

Оказалось, здесь, на месте, невозможно воскликнуть «Что за фарс!» — и выбросить из головы всю эту трагикомедию.

Став непосредственным свидетелем событий, он почувствовал, что они его задевают, а искренняя вера Антонии в правоту их дела придавала особую остроту этому ощущению сопричастности. Его коробила примитивность местной политической борьбы. Он и не знал, насколько он чувствителен.

«Вероятно, я в большей степени костагуанец, чем предполагал», — подумал он.

Высокомерие служило защитной маской, которой прикрывался этот скептик, чья деятельность становилась все более оживленной из-за влюбленности в Антонию. Он успокаивал себя тем, что он не патриот, а просто влюбленный.

Дамы сняли шляпки и вошли в гостиную; миссис Гулд опустилась в низкое кресло у чайного столика. Антония заняла свое обычное место — в углу кожаной кушетки, стройная, грациозная, с веером в руках. Декуд, разгуливавший из угла в угол, повернулся и, подойдя к кушетке, облокотился о ее спинку.

Стоя позади Антонии, он долго говорил ей что-то на ухо с полуулыбкой и как бы извиняясь за

свою фамильярность. Она слегка придерживала веер, лежавший у нее на коленях. На Мартина она не поднимала глаз. Говорил он быстро, все более настойчивым и ласковым тоном. Наконец он позволил себе рассмеяться:

— Нет, право же. Извините меня. Но иногда ведь нужно быть серьезным. — Он умолк. Она слегка обернулась; взгляд голубых глаз медленно скользнул в его сторону, затем так же медленно — вверх, ласковый и вопросительный.

— Ведь не считаете же вы, что я серьезен, когда в каждом номере «Нашего будущего» именую Монтеро gran bestia?[114] Это несерьезное занятие. Да и вообще все занятия несерьезны, даже те, за неудачу в которых мы расплачиваемся, получив пулю в сердце.

Ее пальцы сжали веер.

— Видите ли, какие-то резоны, верней, какой-то смысл должен все же проникать в работу нашей мысли; некий проблеск истины. То есть истины не пустой, не связанной с политикой или газетами. Я ненароком сказал то, что думаю. Вы тут же рассердились! Если вы окажете мне милость немного подумать, вы увидите, что я рассуждаю

---

[114] Примечания: 114
Скотина *(исп.).*

как патриот.

Ее алые губы впервые раскрылись, и ответила она мягко:

— Да, но вам совсем не важна цель. Каждый должен делать то, к чему он расположен. И мне кажется, что совершенно безразличных в нашем деле нет, исключая разве что вас, дон Мартин.

— Боже упаси! Мне очень жаль, если я заставил так о себе думать, — произнес он небрежно и помолчал, ожидая ответа.

Она стала медленно обмахиваться веером. Он подождал и с нежностью шепнул:

— Антония!

Она улыбнулась и на английский манер протянула руку склонившемуся перед ней в поклоне Чарлзу, а Декуд, опершись локтями о спинку кушетки, буркнул: «Bonjour».

Сеньор администрадор рудников Сан-Томе на миг наклонился к жене. Они обменялись несколькими словами, из которых удалось расслышать только фразу «огромный энтузиазм», произнесенную миссис Гулд.

— Все несерьезны, — понизив голос, произнес Декуд. — И даже он.

— Чистая клевета, — возразила Антония, но не очень сердито.

— А вы его попросите подбросить свои рудники в тигель великого общего дела, — шепотом посоветовал Декуд.

Тут заговорил дон Хосе, бодро потирая руки. Войска имели такой бравый вид, а на плечах у этих храбрецов было такое множество новеньких винтовок, что все это, казалось, вселило в него восторженное ощущение уверенности.

Чарлз, очень высокий, худой, слушал, стоя перед креслом дона Авельяноса, но на лице его ничего нельзя было прочесть, кроме благожелательного и почтительного внимания.

Тем временем Антония встала и, пройдя через комнату, посмотрела в одно из трех продолговатых окон, выходящих на улицу. Декуд последовал за ней. Окно было раскрыто, и он прислонился к его косяку. Длинные прямые складки занавеси из тяжелой ткани, ниспадающей с широкого медного карниза, частично скрывали его от глаз тех, кто находился в комнате. Скрестив на груди руки, он не отрываясь глядел на Антонию, которая стояла к нему в профиль.

Постепенно мостовую заполнили люди, идущие из гавани; слышались шарканье ног и негромкие голоса. Время от времени неспешно проезжала карета по щербатой мостовой улицы Конституту-

ции. В Сулако мало у кого имелся свой экипаж; даже в самые людные часы все их можно было пересчитать, окинув одним взглядом Аламеду. На высоких рессорах покачивались громоздкие фамильные ковчеги, и в каждом множество хорошеньких напудренных лиц с оживленными черными глазками. Дон Хусте Лопес, президент Генеральной ассамблеи Западной провинции, проехал первым с тремя очаровательными дочерьми, в черном сюртуке с крахмальным белым галстуком, очень чинный, словно руководил дебатами на заседании ассамблеи. Хотя все они посмотрели вверх, Антония не помахала им рукой, а сидевшие в карете сделали вид, что не заметили эту молодую пару — костагуанцев с европейскими манерами, чьи чудачества обсуждались в самых знатных домах Сулако с окнами, огражденными ажурной решеткой.

Затем мимо прокатила вдовствующая сеньора Гавиласо де Вальдес, красивая и важная, в огромном экипаже, в котором она обычно приезжала в Сулако из загородного имения, сопровождаемая вооруженным эскортом всадников в кожаных костюмах и сомбреро, с карабинами у луки седла. Сеньора де Вальдес происходила из очень знатной семьи, была горда, богата и добросердечна.

Ее второй сын, офицер, только что отбыл с Барриосом. Старший, угрюмый шалопай, гремел на все Сулако шумными кутежами и вел в клубе крупную игру. Переднее сиденье занимали два младших сына с желтыми кокардами рибьеристов. Сеньора де Вальдес тоже сделала вид, будто не замечает, как сеньор Декуд беседует с Антонией на глазах у посторонних, бросая вызов общепринятым обычаям. А ведь он, насколько известно, даже не ее жених! Впрочем, будь он таковым, их поведение все равно непристойно. Но старая дама, предмет почтения и восхищения лучших семейств провинции, была бы еще больше скандализована, если бы могла услышать фразы, которыми они обменивались.

— Значит, вы полагаете, я действую без цели? В этом мире у меня одна лишь цель.

Антония еле заметно отрицательно качнула головой, все так же не спуская взгляда с находившегося напротив дома Авельяносов, серого, обветшалого, с железными решетками на окнах, как в тюрьме.

— И ее так несложно осуществить, — продолжал он, — эту цель, которая, возможно, без моего ведома, всегда жила в моей душе… с того самого дня, когда вы так безжалостно обошлись со мной

в Париже, если помните.

Ему показалось, что уголок ее губ — тот, который был ему виден, — тронула едва заметная улыбка.

— Знаете, вы были просто ужасающая особа, нечто вроде Шарлотты Корде[115] в школьном платьице; воинствующая патриотка. Я полагаю, вы могли бы вонзить кинжал в Гусмана Бенто?

— Вы мне оказываете слишком много чести, — прервала она.

— Во всяком случае, — ответил он с горькой иронией и напускной беспечностью, — вы послали бы меня с кинжалом без малейших угрызений совести.

— О, par exemple![116] — произнесла она негромко, уязвленная его словами.

— Разумеется, — подтвердил он. — По чьей воле, как не по вашей, я пишу в местной газете совершенно убийственный вздор? Убийственный для меня! Мое уважение к себе уже убито. К тому же вы понимаете, — продолжал он совсем уже легкомысленным тоном, — что Монтеро, если

---

[115] Примечания: 115

Корде Шарлотта (1768–1793) — французская дворянка, жирондистка. Проникла в дом к Ж.-П. Марату и заколола его кинжалом.

[116] Примечания: 116

Вот как! *(фр.)*

одержит победу, разделается со мной тем единственным способом, каким такой зверь может разделаться с образованным человеком, павшим столь низко, что трижды в неделю именует его превосходительство скотиной. Интеллектуальная экзекуция над моим интеллектом уже произведена; а в перспективе маячит еще одна, причитающаяся журналисту моего ранга.

— Если он одержит победу… — задумчиво проговорила Антония.

— Вам, кажется, приятно наблюдать, как моя жизнь висит на ниточке, — ослепительно улыбаясь, продолжал Декуд. — А второй Монтеро, партизан, нареченный в воззваниях «верный и преданный брат мой»… я и о нем писал, что при Рохасе он помогал гостям снимать пальто и прислуживал за столом в нашей миссии в Париже, а в промежутках шпионил за политическими иммигрантами. Эту святую истину он смоет кровью. Моей кровью! Что это у вас такой сердитый вид? Это просто эпизод в биографии одного из наших великих людей. Как вы думаете, что он со мной сделает? В переулке, выходящем на площадь, есть монастырская стена, прямо напротив дверей «Корриды». Вы ее знаете? Там,

где написано «Entrada de la Sombra»[117]. Надпись, пожалуй, подходящая. Так вот, именно возле этой стены дядюшка нашего хозяина отдал богу свою англо-южноамериканскую душу. А мог спастись бегством, имейте в виду. Тот, кто сражается с оружием в руках, имеет возможность спастись бегством. Если бы вас тревожила моя судьба, вы бы отправили меня вместе с Барриосом. На плече у меня висела бы одна из тех винтовок, на которые так уповает дон Хосе, и, вооруженный таким образом, я с гордостью шагал бы в одном строю с нищими пеонами и индейцами, не знающими ничего ни о нашей политике, ни о наших резонах. Самая слабая надежда для солдата самой слабой армии в мире более основательна, чем упования, которыми я по вашей милости довольствуюсь в Сулако. Участвуя в войне, можно отступить, а что остается тому, кто подстрекает жалких невежественных дурней убивать и умирать?

Он говорил все тем же легкомысленным тоном, а она стояла неподвижно, словно не замечая его присутствия, сложив руки и придерживая пальцами веер. Он помолчал немного, подождал.

— Придется становиться к стенке, — произнес

---

[117] Примечания: 117
«Вход во тьму» *(исп.)*.

он с шутливой безнадежностью.

Но и эти его слова не заставили ее взглянуть на него. Она не повернула головы, и ее глаза все так же пристально разглядывали дом Авельяносов, теряющий достоинство дом, признаки обветшания которого — начавшие крошиться пилястры, сломанные карнизы — постепенно исчезали в сумерках. Она стояла совершенно неподвижно, и шевелились только ее губы:

— Мартин, я сейчас запла́чу.

Он молчал, ошеломленный, холодея от счастья, и глаза его выражали изумление, недоверчивость, а на губах застыла ироническая улыбка. Не важно, что вам говорят, а важно, кто это сказал, ибо нет уже ничего нового, что могли бы сказать друг другу мужчина и женщина; а он не ждал подобных слов от Антонии, чего-чего, но такого не ждал. Они пикировались неоднократно, но впервые она была с ним столь откровенна. Не успела она повернуться к нему, неторопливо, с величавой, строгой грацией, как он умоляюще заговорил:

— Моя сестра ждет не дождется, когда она наконец сможет обнять вас. Отец будет счастлив. О матери я просто не говорю. Наши матери были как родные сестры. Мы можем немедленно

уехать — на той неделе на юг отходит почтовый пароход. Уедем сразу же! Ваш Морага болван. Монтеро нужно было подкупить. В этой стране только так и делают. Такова традиция… такова политика. Почитайте «Пятьдесят лет бесправия».

— Оставьте бедного папу в покое, дон Мартин. Он искренне верит…

— Я с величайшей нежностью отношусь к вашему отцу, — торопливо перебил он. — Но я люблю вас, Антония! А Морага удивительно бездарно вел дела. Да и отец ваш, похоже, плоховато распорядился. Монтеро следовало подкупить. Подозреваю, он всего-навсего хотел урвать свою долю от знаменитого займа для развития нации. Почему эти олухи из Санта-Марты не сделали его послом где-нибудь в Европе или не отдали ему что-нибудь на откуп? Он взял бы жалованье на пять лет вперед и прожигал бы жизнь в Париже, тупой и свирепый индеец!

— Этот человек, — рассудительно и спокойно отозвалась она на яростную вспышку собеседника, — буквально отравлен тщеславием. Мы получаем сведения не только от Мораги, у нас есть и другие осведомители. А его брат тоже плетет интриги.

— Да, конечно! — воскликнул он. — Ну разу-

меется, вам все известно. Вы же читаете всю корреспонденцию, вашей рукой написаны все документы… все государственные документы, идея которых возникла тут, в этой гостиной, вдохновленная слепым почтением к теории политической непорочности. Ведь у вас всегда перед глазами Чарлз Гулд. Король Сулако! И он, и его шахта свидетельствуют, чего можно достичь. Вы полагаете, он преуспел потому, что всегда неуклонно следовал по стезе добродетели? А все эти строители… как честно они трудятся! Ну разумеется, они трудятся честно. Но как быть, если нельзя честно трудиться, не удовлетворив все притязания бандитов? Он что, не мог растолковать сэру Джону Как-Там-Его-Кличут, что от Монтеро нужно откупиться, и от Монтеро, и от негров-либералов, уцепившихся за его расшитый золотом рукав? Откупиться, дать ему столько золота, сколько этот дурень весит… вот сколько весит, столько золота ему и отвалить, и сапоги его туда же прибавить, и саблю, и шпоры, и шляпу набекрень — словом, все.

Антония покачала головой. «Это было невозможно», — еле слышно прошептала она.

— Он потребовал все? Да?

Теперь она наконец повернулась к нему и стоя-

ла в глубокой нише окна, очень близко и все так же неподвижно. Ее губы торопливо шевелились. Декуд, прислонившись к стене, слушал, скрестив на груди руки и опустив глаза. Он впитывал в себя все интонации ее ровного голоса, улавливал волнение в его горловых звуках, ему казалось, что ее полные здравого смысла слова плывут по воздуху, подхваченные волнами рожденного в сердце чувства. И у него были стремления — он стремился вырвать ее из затхлого мира всех этих реформ и воззваний. Их усилия напрасны, напрасны; но она околдовала его, и он слушал, очарованный ею, а иногда неопровержимая убедительность какой-нибудь фразы вдруг рассеивала чары, и он невольно ощущал уже не силу ее обаяния, а острый интерес. Некоторые женщины, размышлял он, подходят к самому преддверию гениальности. Им не нужно ни знать, ни думать, ни понимать. Страсть заменяет им все это, и он готов был поверить, что сделанное ею какое-нибудь глубокое замечание, оценка характера какой-либо личности или суждение о каком-то событии находятся на грани чуда. В Антонии, в повзрослевшей Антонии, проглядывала поразительная пылкость той непримиримой школьницы, которую он знал когда-то. Она полностью овладела его вниманием:

порой он неохотно соглашался с нею; по временам вполне серьезно ей возражал. Мало-помалу они начали спорить; занавесь почти скрывала их от сидевших в зале.

За окном темнело. Из глубокого провала между домами, тускло освещенного слабым светом фонарей, веяло тишиной, вечерней тишиной Сулако, города, где очень мало карет, где не подковывают лошадей, а жители носят мягкие сандалии. Из окон Каса-Гулд на дом Авельяносов падали яркие прямоугольники света. Временами снизу доносилось шарканье подошв; по стене, то вспыхивая, то исчезая, пробегал отсвет сигареты; и ночной воздух, словно охлажденный снегами Игуэроты, освежал их лица.

— Мы, западный люд, — сказал он, употребляя выражение, которым именовали себя исконные жители этой провинции, — мы привыкли жить отдельно, сами по себе. Пока мы сможем удерживать в своих руках Каиту, до нас никто не доберется. Какие бы волнения ни сотрясали страну, ничьим войскам еще ни разу не удалось пробраться к нам через горы. Мятеж в центральных провинциях сразу же отрезал нас от мира. И до чего же все стало сложно! Сообщение о том, как продвигаются войска Барриоса, будет

передано по телеграфу в Соединенные Штаты, и только после этого оно достигнет Санта-Марты, переданное телеграфом же, с другого побережья. Земля наша плодородна, ее недра богаты, в жилах нашей знати течет древняя, благородная кровь, а народ наш на редкость трудолюбив. Нам следовало бы образовать самостоятельное государство. Федерализм на ранней стадии был приемлем для нас. Затем произошло слияние, которому так противился дон Энрике Гулд. Слияние, а следом за ним тирания, и после этого вся остальная Костагуана повисла у нас на шее, как ярмо. А ведь у нас достаточно земли для того, чтобы мы жили независимо. Взгляните на эти горы! Сама природа нам кричит: «Отделяйтесь!»

Она взглянула на него возмущенно. Наступило молчание.

— Да, да, знаю, это противоречит теории, изложенной в «Истории пятидесяти лет бесправия». Я просто-напросто пытаюсь логично рассуждать. Но почему-то все мои попытки вы встречаете враждебно. Вас так сильно напугали мои вполне резонные доводы?

Антония покачала головой. Нет, они ее не напугали, но предложенная им идея подрывала самые основы ее убеждений. Ее патриотизм был

шире. Мысль о вероятности отделения никогда не возникала у нее.

— А возможно, именно благодаря разъединению вам удастся сохранить хотя бы некоторые из ваших же убеждений, — пророчески сказал Декуд.

Она молчала. Она казалась утомленной. Они стояли рядом, облокотившись о подоконник, мирно, дружелюбно, ибо устали толковать о политике и им просто хотелось молча ощущать близость друг друга, глубокую тишину, подобную паузе в симфонии страсти. В дальнем конце улицы, у самой площади, на мостовой красными пятнышками мерцали угли в жаровнях, на которых рыночные торговки стряпали себе ужин. Свет фонаря внезапно осветил безмолвную фигуру человека, яркое пончо, обшитое каймой, широкое, прямое на плечах и сужающееся ниже колен. Со стороны гавани ехал всадник, его лошадь шла неторопливо, и подле каждого фонарного столба мерцала серебристо-серым сиянием ее шкура, а над светлым корпусом животного маячил темный силуэт всадника.

— Вот он едет, знаменитый капатас каргадоров, — негромко сказал Декуд, — во всем своем величии и с сознанием честно выполненного

долга. Он великий человек у нас в Сулако, второй после дона Карлоса Гулда. Но он славный малый, мы с ним подружились, и, надеюсь, вы ничего не имеете против.

— В самом деле! — сказала Антония. — Каким это образом вы с ним подружились?

— Журналисту положено прощупывать пульс жизни простого народа, а этот человек — один из вождей нашего народа. Журналисту положено знать знаменитостей, а этот человек знаменит на свой лад.

— Да, в самом деле, — задумчиво произнесла Антония. — Всем известно, этот итальянец очень влиятелен.

Всадник проехал под балконом, и в слабом свете фонаря блеснули на мгновенье подковы, сверкнуло массивное стремя, длинные серебряные шпоры; но зато уж совершенно невозможно было разглядеть мелькнувшую в желтоватом отблеске света темную закутанную фигуру с прикрытым полями сомбреро лицом.

Декуд и Антония по-прежнему стояли рядом, опершись о подоконник, касаясь друг друга локтями, опустив головы и вглядываясь в темноту. А за спиной у них сверкала ярко освещенная гостиная. На редкость неприличный tête-à-tête; во всей

республике от границы до границы такое могла позволить себе только Антония — поразительное создание, несчастная девушка, у которой не было матери и даже компаньонки, а лишь беспечный отец, чьи заботы свелись к тому, что он дал ей образование.

Даже сам Декуд, казалось, понимал, что большего он желать уже не может до тех пор, пока… пока революция эта не придет к концу, и он сможет увезти Антонию в Европу, где нет нескончаемой гражданской войны, удивительную бессмысленность которой, пожалуй, еще труднее переносить, чем ее мерзостность. Вслед за первым Монтеро, конечно, найдется второй, население страны всех рас и оттенков кожи не имеет представления о законности, повсюду дикость и неистребимый деспотизм. Как сказал в порыве горечи великий Боливар: «Америка неуправляема. Тот, кто борется за ее независимость, подобен человеку, пытающемуся вспахать море». Ему все это безразлично, смело заявил Декуд; он не раз говорил Антонии, что, хотя ей удалось превратить его в журналиста партии «бланко», патриотом он не стал. Прежде всего это слово лишено смысла для цивилизованного человека, которому претит узость идейных убеждений; а во-вторых,

оно безнадежно опорочено в этой несчастной стране, где никогда не утихают мятежи; здесь оно превратилось в девиз дикости и темноты, стало личиной, прикрывающей беззакония, алчность, преступления и просто разбой.

Он сам удивлялся, что говорит с таким жаром. Ему не нужно было понижать голос, голос его и так звучал негромко — еле слышный шепот в безмолвии темных домов, в которых окна, как и положено в Сулако, давно закрыты ставнями. Только окна в большой гостиной Каса-Гулд вызывающе излучали ослепительный свет — четыре яркие полосы, словно некий призыв, врывались в безмолвный мрак улицы. После короткой паузы в нише окна снова зазвучали негромкие голоса.

— Но мы ведь стараемся все изменить, — возражала Антония. — Именно этого мы и хотим. Это наша заветная цель. Наше великое дело. А слово, к которому вы с таким презрением относитесь, обозначает также жертвенность, мужество, постоянство, страдания. Мой отец, который…

— Пытается вспахать море, — перебил, опустив взгляд, Декуд.

Внизу послышались торопливые тяжелые шаги.

— Ваш дядюшка входит в дом, — сказал Де-

куд. — Он отслужил сегодня утром на площади мессу для отбывающих в Каиту войск. Для него соорудили нечто вроде алтаря из барабанов. Вынесли из храма все иконы. На лестнице, на самой верхней ступеньке, построили в шеренгу всех деревянных святых. Этакий блистательный эскорт, сопровождающий генерал-епископа. Я наблюдал за этим торжеством из окон «Нашего будущего». Он изумителен, ваш дядюшка, последний из Корбеланов. Как ослепительно было его одеяние с большим крестом из темно-красного бархата на спине. И все время, пока продолжалась месса, наш спаситель и надежда наша Барриос пил пунш, сидя у открытого окна в клубе «Амарилья». Esprit fort[118] — милейший наш Барриос. Я все время ждал, что отец Корбелан тут же, на месте, обрушит анафему на голову с черной повязкой на глазу, видневшуюся в окне по ту сторону площади. Ничего подобного. Наконец войска отправились на пристань. Немного погодя появился окруженный офицерами Барриос в мундире, на котором были расстегнуты все пуговицы, и, остановившись у обочины тротуара, принялся разглагольствовать. Внезапно в дверях

[118] Примечания: 118
Вольнодумец *(фр.).*

собора возник ваш дядюшка, уже не в ослепительном облачении, а в черной рясе, и выглядел он устрашающе, словно дух мщения. Он бросил взгляд на офицеров, тут же грозно направился к ним, взял генерала под руку и отвел его в сторону. Крепко держа его за локоть, он прогуливался с ним в тени в течение четверти часа. Все это время он возбужденно что-то говорил, размахивая длинной черной рукой. Забавная получилась сцена. Офицеры окаменели. Поразительный человек ваш дядюшка, прославленный миссионер. К неверующим он относится гораздо лучше, чем к еретикам, а к язычникам гораздо лучше, чем к неверующим. Ко мне он так милостив, что иногда именует меня язычником.

Антония слушала, опершись на перила, потихоньку открывая и закрывая веер; а Декуд говорил взволнованно и нервно, словно боялся, что она уйдет при первой же паузе. Оттого что они стояли, уединившись, и между ними возникла какая-то близость, и руки их слегка соприкасались, у него сладко замирало сердце, и в ироническом течении его речи временами сквозила нежность.

— Меня радует всякий признак расположения любого из ваших родственников, Антония. К

тому же, возможно, он меня понимает. Но и он для меня не загадка, наш падре Корбелан. Все представления о политической чести, справедливости и порядочности для него сосредоточены в одном — возврате конфискованного церковного имущества. Ничто иное не смогло бы извлечь из джунглей Костагуаны этого усердного сеятеля на ниве обращения диких индейцев в христианство и сделать его рибьеристом! Ничто, кроме этой безумной надежды. Он и сам станет писать воззвания против любого правительства, если найдет сторонников. Что думает по этому поводу дон Карлос Гулд? Впрочем, пожалуй, никто не знает, что он думает, ибо он непроницаем, как все англичане. Может быть, он думает только о рудниках; о своей «Imperium in Imperio». Что до миссис Гулд, то она думает о школах, о больницах, о матерях с младенцами, о больных стариках и старухах в трех рудничных поселках. Если вы обернетесь, то увидите, как она с пристрастием расспрашивает этого хмурого лекаря в клетчатой рубашке — как бишь его? Монигэма — или выпытывает что-то у дона Пепе, или слушает отца Романа. Они все сегодня здесь — министры ее правительства. Ну что же, она женщина здравомыслящая, а дон Карлос, я полагаю, здраво-

мыслящий человек. Несокрушимое английское здравомыслие основано отчасти на том, что не нужно слишком много думать; достаточно сосредоточиться на предметах, которые могут немедленно принести практическую пользу. Эти люди не похожи на нас. У нас нет политических мотивов; только политические страсти… иногда. Что такое убеждения? Замыслы, направленные на достижение наших личных целей, практических или эмоциональных. Зря никто не станет патриотом. Это слово отлично нам служит. Но я человек трезвого ума, а потому не должен был употреблять его при вас, Антония! У меня нет патриотических иллюзий. Одни лишь иллюзии влюбленного.

Он помолчал и произнес еле слышно: «Впрочем, они могут очень далеко завести».

Сзади, за их спинами, нарастал гул голосов, это вздымался прилив политических страстей, который каждые двадцать четыре часа заполнял гостиную Гулдов. Гости приходили по одному, по двое, по трое: высшие чиновники провинции, железнодорожные инженеры, загорелые, в твидовых костюмах, и их шеф, с седеющей головой, улыбался снисходительно и добродушно, глядя на оживленные молодые лица. Скарф, большой

любитель фанданго, уже улизнул выяснить, не устроили ли где-нибудь на окраине танцевальный вечер. Дон Хусте Лопес отвез домой дочек и сейчас торжественно входил в гостиную в черном отутюженном сюртуке, застегнутом на все пуговицы, причем они были закрыты его окладистой каштановой бородой. Несколько членов законодательной ассамблеи тотчас сгрудились вокруг президента, дабы обсудить военные известия и последнее воззвание бунтовщика Монтеро, призывающего во имя «справедливо возмущенной демократии» законодательные ассамблеи всех провинций отложить на время заседания, покуда меч его не установит в стране мир и народ сможет изъявлять свою волю. Практически это призыв к гражданской войне: он неслыханно обнаглел, злодей, безумец.

Особенно негодовали депутаты ассамблеи, столпившиеся за спиною Хосе Авельяноса. Дон Хосе, возвысив голос, кричал им из-за спинки кресла: «Сулако уже ответил им сегодня армией, которая ударит с фланга. Если все остальные провинции проявят хотя бы половину патриотизма, который мы, западный люд…»

Крики одобрения заглушили дребезжащий дискант человека, олицетворяющего жизнь и душу

партии. Да, да! Верно! Удивительно верно! Сулако, как всегда, впереди! Громкоголосая кичливость, порожденная надеждой, которую события дня заронили в сердца этих кабальеро, полных тревоги за свои стада, свои земли, безопасность своих семей. Все поставлено на карту… Нет! Монтеро не победит ни в коем случае. Этот злодей, этот бессовестный индеец! Пошумели, покричали, причем каждый посматривал в ту сторону, где стоял дон Хусте, с видом беспристрастным и торжественным, словно председательствовал на заседании ассамблеи. Декуд обернулся на шум и, прислонившись к подоконнику, гаркнул во всю силу своих легких: «Gran bestia!»

Шум в гостиной сразу утих. Все взгляды обратились в сторону оконной ниши, благожелательно и выжидающе, но Декуд уже вновь повернулся к гостиной спиной и, опершись на подоконник, смотрел на безмолвную улицу.

— Кульминация моей редакторской деятельности; неопровержимый аргумент, — сказал он Антонии. — Я изобрел этот термин, последнее слово в великом споре. И все же я не патриот. Я не в большей степени патриот, чем капатас наших каргадоров, этот генуэзец, так искусно заправляющий делами в порту, — провозвестник

материальных атрибутов нашего прогресса. Капитан Митчелл ведь неоднократно сознавался, что до того, как появился этот человек, он никогда не мог сказать, сколько времени потребуется для разгрузки судна. Бедный прогресс! Вы видели сейчас, как после праведных трудов этот человек проехал на своей знаменитой серой кобыле, направляясь в какую-нибудь бальную залу с земляным полом, где он будет кружить головы девицам. Счастливец! Работая, он использует свои способности; досуг состоит в том, что он выслушивает похвалы, в которых его превозносят до небес. И ему все это нравится. Ну, можно ли быть более счастливым? Тебя боятся и тобой восхищаются…

— Это предел ваших мечтаний, дон Мартин? — перебила Антония.

— Я говорил о людях такого рода, — сухо ответил Декуд. — Герои всегда и везде внушали страх и восхищение. Чего еще можно желать?

Декуд уже не раз замечал, как его саркастические суждения разлетались в прах, наткнувшись на серьезность Антонии. В нем шевельнулось раздражение, ему почудилось, что и она подвержена той ничем не объяснимой женской бестолковости, которая у заурядных людей так часто мешает

ясности отношений. Но он тут же подавил досаду. Он никак не мог считать Антонию заурядной, хотя достаточно скептически относился к себе, чтобы вынести своей особе любой приговор. В его голосе прозвучала глубокая нежность, когда он возразил ей, что мечтает лишь о блаженстве столь возвышенного свойства, что оно едва ли достижимо на земле.

Она вспыхнула невидимым в темноте румянцем, таким жарким, что его не мог охладить долетавший с гор ветер, — возможно, там внезапно растаял снег. Жаркий шепот Декуда вряд ли был причиной таяния снегов в горах, но, уж конечно, растопил лед ее сердца. Она быстро повернулась, словно ей захотелось немедленно унести произнесенное шепотом признание в ярко освещенную гостиную.

А в гостиной бушевали политические страсти, шквал надежды поднял там целую бурю, и волны бились о четыре стены, поднимаясь выше уровня прилива. В центре оживленной дискуссии по-прежнему находилась окладистая борода дона Хусте. Все говорили в полном упоении. Даже в модуляции голосов окружавших Чарлза европейцев, — датчанин, два француза, очень сдержанный толстый немец с опущенными глазами,

представители тех самых материальных интересов, которые обрели в Сулако точку опоры под благодетельной защитой рудников Сан-Томе, — кроме привычной учтивости, проникала нотка радостного возбуждения и благодушия. Чарлз Гулд, вокруг которого они толпились, являл собой несомненный символ той предельной устойчивости, какую возможно достичь на зыбкой почве, сотрясаемой революциями. Один из двух французов, черноволосый, маленький, волосатый, со сверкающими живыми глазками, размахивал крохотными загорелыми ручками с тонкими запястьями. По поручению синдиката европейских предпринимателей он побывал в удаленной от моря части провинции. Его проникновенное «Monsieur l'Administrateur», повторяемое каждую минуту, пронзало глухой рокот других голосов. Он рассказывал о том, что обнаружил во время поездки. Он был в экстазе. Чарлз Гулд вежливо смотрел на него сверху вниз.

Наступил момент, когда миссис Гулд обычно незаметно удалялась в собственную маленькую гостиную, смежную с «большой». Ожидая Антонию, она встала и, грациозная, слегка усталая, внимательно слушала главного инженера железной дороги, который медленно и без единого

жеста рассказывал ей что-то по всей видимости смешное, поскольку глаза у нее весело блестели. Антония, прежде чем отойти от окна, чтобы присоединиться к миссис Гулд, на мгновенье повернула голову к Декуду.

— Почему вы допускаете, что человек может считать свою мечту недостижимой? — быстро проговорила она.

— Осуществления своей мечты я буду добиваться до конца, Антония, — ответил он сквозь зубы, поклонившись очень низко и несколько отчужденно.

Главный инженер все еще продолжал свою забавную историю. Железнодорожное строительство в Южной Америке отличалось специфическими особенностями, которые представлялись ему невероятно комичными, и он отлично рассказывал о дикарских предрассудках и дикарской хитрости, с которыми ему приходилось здесь сталкиваться. Он последовал за дамами, выходившими из гостиной, и миссис Гулд очень внимательно его слушала. Никто не обратил внимания, как все они вышли сквозь стеклянную дверь на галерею. Лишь высокий священник, который молча и торжественно, сцепив за спиной руки, разгуливал по гостиной, на мгновенье

приостановился и посмотрел им вслед. Отец Корбелан, которого Декуд увидел из окна, когда тот входил в Каса-Гулд, за все время пребывания в гостиной не обратился ни к кому ни с единым словом. Длинная узкая сутана подчеркивала его высокий рост; могучий торс при ходьбе наклонялся вперед; а прямая черная полоска сросшихся бровей, резкие очертания костлявого лица, белая отметина шрама на выбритой до синевы щеке (память, оставленная упорствующими в языческих заблуждениях индейцами, на которых его преподобие обрушил свой проповеднический пыл) придавали облику служителя божьего нереспектабельный вид — он смахивал на капеллана разбойничьей шайки.

Отец Корбелан разжал руки и погрозил Мартину узловатым пальцем.

В гостиную вошла Антония. Декуд сделал шаг в ее сторону. Но остался у самого окна. Он стоял, касаясь занавеси спиной, и лицо его выражало притворную серьезность, как у взрослых, участвующих в детской игре. Он невозмутимо поглядел на грозящий ему перст священника.

— Сегодня на площади я наблюдал, как ваше преподобие произнесли специальную проповедь с целью обратить генерала Барриоса в христи-

анскую веру, — сказал он, стоя совершенно неподвижно.

— Несусветная чушь! — прогремел низкий голос отца Корбелана, и все головы повернулись к нему. — Он пьяница. Сеньоры, бог вашего генерала — бутылка!

При первых же звуках этого властного презрительного голоса наступило неловкое молчание, словно все собравшиеся внезапно утратили уверенность в себе. Впрочем, никто не стал оспаривать мнение отца Корбелана.

Было известно, что отец Корбелан прибыл в Сулако из мест глухих и диких, дабы отстаивать священные права церкви с тем же фанатическим бесстрашием, с которым он нес слово божие кровожадным язычникам, лишенным чувства сострадания и не имеющим ничего святого, ровным счетом ничего. О его подвигах миссионера в дебрях, где не ступала нога христианина, рассказывали легенды. Он обращал в истинную веру целые племена и, находясь среди индейцев, сам жил как дикарь. Говорили, что падре по целым дням разъезжал верхом с индейцами, полуголый, со щитом, обтянутым воловьей кожей, и, — как знать, — весьма вероятно, с копьем в руке. Что он странствовал, облаченный в звериные шкуры, в

поисках прозелитов где-то у самой кромки горных снегов. Было известно также, что сам падре Корбелан никогда не рассказывал о своих подвигах. Зато он ни от кого не скрывал, что считает политических деятелей из Санта-Марты более жестокосердными и погрязшими в скверне, чем те язычники, которых он обращал в христианство. Неуемное рвение, с которым он добивался мирских благ для церкви, наносило ущерб делу рибьеристов. Все знали, что он отказался стать епископом ликвидированной епархии Западной провинции, покуда церкви не возвратят отобранное у нее. Политический лидер Сулако (тот самый сановник, которого капитан Митчелл спас впоследствии от разъяренной толпы) с циничным простодушием намекал, что их превосходительства министры послали падре через горы в Сулако, выбрав самое скверное время года в надежде, что его до смерти заморозят ледяные порывы высокогорных вихрей. Ежегодно таким образом погибало несколько погонщиков мулов, людей выносливых и закаленных. Но не тут-то было. Их превосходительства, возможно, не представляли себе, каким твердым орешком окажется падре Корбелан. Тем временем среди простонародья прошел слух, что все рибьеристские реформы

имеют одну только цель — отобрать у людей всю землю. Часть этой земли отдадут иностранцам, строящим железную дорогу; а львиную долю захватят попы.

Вот к чему привело чрезмерное рвение викария. Даже в краткое напутствие (услышанное только первыми рядами), с которым он обратился к войскам на площади, он ухитрился вставить свою идею фикс о поруганной церкви, ожидающей, когда раскаявшееся государство возместит нанесенный ей ущерб. Политический лидер был вне себя. Но не такое простое дело засадить зятя дона Хосе в тюрьму.

Политический лидер, человек добродушный и любимый народом, вышел к вечеру из ратуши и направился в Каса-Гулд без сопровождающих лиц, учтиво и с достоинством отвечая на приветствия и знатных, и незнатных, без различья. Он подошел прямо к Чарлзу и придушенным свистящим шепотом сообщил, что с удовольствием выслал бы викария из Сулако на какой-нибудь безлюдный остров, ту или иную Изабеллу например. «Предпочтительно на ту, где нет воды, а, дон Карлос?» — добавил он, полушутя-полусерьезно.

Неуемный священник, который строптиво отверг предложенный ему в качестве резиденции

дворец епископа и предпочел подвесить свой видавший виды походный гамак в ограбленном до нитки доминиканском монастыре, где оставались лишь голые стены да пауки, внезапно вздумал добиваться полного прощения для разбойника Эрнандеса! Мало того, он, кажется, вступил в переговоры с ним, самым отпетым преступником в стране. Полиции, разумеется, известно, каким образом он осуществляет свой план. Падре связался с этим отчаянным итальянцем, капатасом каргадоров, единственным человеком, способным выполнить такое поручение, и отправил с ним письмо. Отец Корбелан обучался в Риме и говорил по-итальянски. Известно, что ночью капатас побывал в старом доминиканском монастыре. Старуха, которая прислуживала викарию, слышала, как эти двое, разговаривая по-итальянски, произносили имя Эрнандеса; и не далее как в прошлую субботу днем капатас выехал из городских ворот верхом и ускакал из города. Его не видели два дня. Полицейские могли бы, конечно, погнаться за итальянцем, если бы им не внушали страх каргадоры, люди буйные, с которыми лучше не связываться. Не так-то просто сейчас поддерживать порядок в Сулако. В город стекаются всякого

рода подозрительные личности, которых влекут деньги в карманах рабочих, строящих железную дорогу. Речи отца Корбелана посеяли смуту в народе. И политический лидер Сулако пояснил Чарлзу, что, если сейчас, когда из провинции выведены все войска, в городе начнется мятеж, власти будут бессильны.

Высказав все это, он угрюмо отошел и, закурив длинную тонкую сигару, сел в кресло неподалеку от дона Хосе, с которым, наклонившись в его сторону, время от времени обменивался несколькими фразами. Он сделал вид, что не заметил появления священника, и каждый раз, когда у него за спиной раздавались раскаты голоса отца Корбелана, лишь досадливо пожимал плечами.

Некоторое время отец Корбелан оставался неподвижным, стоя в позе, очень характерной для него, и выглядел зловещим мстителем. Огромное впечатление производила эта черная фигура человека, казалось, сжигаемого фанатизмом. Но вот падре посмотрел на Декуда, его взгляд сразу стал мягче, и, медленно вытянув вперед длинную черную руку, он сказал негромким низким голосом:

— Ну а уж ты… ты настоящий язычник.

Он приблизился к нему на шаг, указывая пальцем в грудь Декуду. Тот стоял очень спокойно,

почти касаясь стены затылком. Затем, упрямо вздернув подбородок, улыбнулся.

— Отлично, — согласился он с несколько утомленной небрежностью человека, привыкшего к такого рода пикировке. — А может быть, вы пока еще не обнаружили, какому божеству я поклоняюсь? С Барриосом было проще, со мной — сложней.

Выслушав эти слова, священник хотел безнадежно махнуть рукой, но воздержался.

— Ты ни в Бога, ни в черта не веришь, — ответил он.

Декуд и бровью не повел.

— Но я не поклоняюсь и бутылке, — добавил он. — Точно так же не поклоняются ей и другие доверенные лица вашего преподобия. Я имею в виду капатаса наших каргадоров. Он тоже не пьет. Вы очень точно определили мою натуру, и это делает честь вашей проницательности. Но почему вы назвали меня язычником?

— И в самом деле, — отрезал священник. — Ты в десять раз хуже. Даже чудо не сможет тебя обратить.

— Я не верю в чудеса, — негромко произнес Декуд.

Отец Корбелан недоуменно пожал широкими

плечами.

— Нечто вроде француза… безбожник… материалист… — Он медленно ронял каждое слово, будто взвешивая результаты тщательного анализа. — Перестал быть сыном своей страны и не сделался сыном какой-то другой, — задумчиво продолжал он.

— Иными словами, ничего человеческого, — шепотом заметил Декуд, по-прежнему упираясь в стену затылком и устремив взгляд в потолок.

— Жертва нашего вероломного века, — заключил отец Корбелан низким, приглушенным голосом.

— Тем не менее приносит некоторую пользу как журналист. — Декуд переменил наконец позу и заговорил более оживленно. — Изволили ваше преподобие прочесть первый номер «Нашего будущего»? Он, право же, ничем не отличается от остальных. В статьях на политические темы Монтеро по-прежнему именуется gran bestia, а его братец-партизан назван помесью лакея со шпионом. Впечатление огромное. В заметках о местных делах газета призывает правительство провинции включить в состав национальных войск шайку разбойника Эрнандеса, вне всякого сомнения находящегося под покровительством

католической церкви или во всяком случае викария. Весьма здравая мысль.

Священник кивнул и круто повернулся, скрипнув каблуками тупоносых башмаков со стальными пряжками. Он снова сцепил за спиной руки и принялся тяжелыми шагами расхаживать по комнате. Поворачивался он каждый раз так порывисто, что полы его сутаны слегка разлетались, словно от ветра.

Гостиная мало-помалу пустела. Когда политический лидер встал, собираясь уйти, бóльшая часть тех, кто еще оставался в комнате, в знак уважения внезапно поднялась с мест, а дон Хосе Авельянос перестал раскачиваться в своем кресле. Но политический лидер провинции, милейший человек, сделал умоляющий жест, помахал рукой Чарлзу Гулду и скромно удалился.

В комнате стало гораздо тише, и в негромком жужжанье голосов повторяющееся визгливое восклицанье «Monsieur l'Administrateur», издаваемое субтильным волосатым французом, казалось, приобрело чуть ли не сверхъестественную пронзительность. Лазутчик синдиката капиталистов по-прежнему пребывал в восторженном состоянии.

— Запасы меди стоимостью в десять миллио-

нов долларов, вы представляете себе, monsieur l'Administrateur, и к ним буквально нужно только руку протянуть. Протянешь руку — десять миллионов твои! К тому же строится железная дорога, да, да, железная дорога! У нас в синдикате прочтут мой отчет и просто глазам не поверят. Все это слишком хорошо.

Он впал в экстаз, он визжал от восторга, а все стоявшие и сидевшие вокруг глубокомысленно кивали головами, и Чарлз Гулд с непроницаемым спокойствием взирал на него.

Только священник продолжал шагать по комнате, и полы его сутаны развевались каждый раз, когда он поворачивался. Декуд насмешливо бросил ему: «Эти господа толкуют о своих богах».

Тот внезапно остановился, пристально взглянул на редактора местной газеты, слегка пожал плечами и опять, словно неутомимый пилигрим, возобновил свой путь.

Европейцы один за другим покидали гостиную, распадалось кольцо людей, толпившихся вокруг Чарлза Гулда, и вот наконец управляющий Великими Серебряными Рудниками стал виден с головы до ног, высокий и худой, оставленный отливом шумной толпы убывавших гостей, а еще немного погодя на квадратной отмели ковра, где

пестрели яркие цветы и узоры, стали отчетливо видны его коричневые ботинки. Отец Корбелан приблизился к качалке дона Хосе Авельяноса.

— Пойдем, братец, — проговорил он с грубоватым добродушием и невольной нетерпеливостью человека, дождавшегося окончания утомительной и бесполезной церемонии. — Домой! Домой! Здесь только болтовней занимались. А мы сейчас поразмышляем и помолимся Богу, дабы он направил нас по верному пути.

Он возвел к потолку свои черные глаза. Когда рядом с ним стоял тщедушный дипломат — жизнь и душа партии, — падре казался монументальным, и взор его сверкал жгучим фанатизмом. Однако голос партии, вернее, ее рупор, Декуд-сын, уехавший из Парижа и сделавшийся журналистом ради прекрасных глаз Антонии, отлично знал, что все это не так, что он всего лишь упрямый священник, одержимый одною идеей и нелюбимый народом, ибо мужчинам он внушает ненависть, а женщинам — страх.

Мартин Декуд, дилетант в искусстве жизни, полагал, будто он черпает поистине художественное наслаждение, наблюдая причудливые крайности, к которым может привести искренняя и самоотверженная убежденность. «Это как

сумасшествие. Иначе не может и быть — человек разрушает себя», — часто думал Декуд. Ему казалось, что любое убеждение, стоит ему претвориться в действие, становится формой безумия, которое, как известно, боги насылают на тех, кого хотят погубить. Тем не менее, наблюдая именно эту форму безумия, он испытывал наслаждение знатока, погрузившегося в созерцание шедевра в области особо любимого им вида искусства. Они неплохо ладили между собой, журналист и священник, пожалуй, оба понимали, что доведенная до совершенства убежденность, точно так же как глубочайший скептицизм, может очень далеко увести по боковым дорогам политических акций, и эта мысль внушала им почтение.

Большая волосатая рука священника коснулась руки дона Хосе, и тот послушно встал. Декуд вышел вслед за ними. Теперь в огромной пустой комнате, наполненной голубоватым туманом табачного дыма, остался только один гость, толстощекий, с набрякшими веками и свисающими вниз усами торговец кожей из Эсмеральды, который прибыл в Сулако по суше, перебравшись с несколькими пеонами через прибрежный горный хребет. Он был полон впечатлений после только что совершенной поездки, предприня-

той главным образом для того, чтобы повидать сеньора администрадора рудников Сан-Томе и попросить о помощи, необходимой ему в делах, связанных с экспортом его товара. Торговец надеялся сильно увеличить экспорт кожи сейчас, когда в стране наконец-то устанавливается порядок.

А порядок устанавливается, он повторил это несколько раз, с умоляющей плаксивой интонацией, искажавшей звучность испанского языка, на котором он к тому же тараторил с такой торопливостью, что язык этот звучал как жалкий нищенский жаргон. Сейчас у них в республике простой человек может вести свое небольшое торговое дело и даже подумывать о его расширении… без опасений. Не так ли? Казалось, он умолял Чарлза Гулда подтвердить его соображения хоть единым словом, просто буркнуть что-нибудь в знак согласия, ну хотя бы кивнуть головой.

Но не добился ни того, ни другого, ни третьего. Он забеспокоился сильнее и внезапно умолкал, тревожно озираясь, но окончательно замолчать не смог и принялся поэтому рассказывать о своих переживаниях во время опасного путешествия в горах. Дерзкий разбойник Эрнандес покинул

дебри, где всегда скрывался, пересек Кампо и, по слухам, прячется теперь в ущельях прибрежного хребта. Вчера, когда до Сулако оставалось всего несколько часов пути, торговец кожей и его слуги заметили на дороге трех подозрительных мужчин, которые переговаривались о чем-то, не слезая с лошадей. Двое сразу умчались и скрылись в неглубокой ложбине слева. «Мы остановились, — продолжал купец из Эсмеральды, — и я попробовал укрыться за низкорослым кустарником. Но ни один из моих слуг не пожелал поехать вперед и выяснить, что все это означает, а третий всадник, казалось, ожидал, когда же мы к нему приблизимся. Я понял, что скрываться бесполезно. Они уже заметили нас. Мы медленно выехали на дорогу. Нас била дрожь. Он не остановил нас — всадник на серой кобыле, в шляпе, надвинутой на самые глаза, — и ни единым словом не приветствовал, когда мы проезжали мимо; но немного погодя мы услышали, что он скачет за нами вдогонку. Мы все разом повернулись, но он не оробел. Он подскакал к нам, тронул носком сапога мою ногу, попросил сигару и засмеялся так, что я похолодел. На первый взгляд он не был вооружен, но, когда доставал спички, я увидел у него на поясе огромный револьвер. Я затрепетал.

У этого человека, дон Карлос, были черные, устрашающего вида усы, и, поскольку он не предложил продолжить путь, мы не смели тронуться с места. Наконец он выпустил через ноздри дым от моей сигары и сказал: «Сеньор, пожалуй, будет лучше, если я поеду сзади вашего отряда. Вы теперь уже совсем недалеко от Сулако. Езжайте с богом». Что нам оставалось делать? Мы двинулись в путь. Ведь не спорить же с ним. А вдруг это сам Эрнандес; правда, мой слуга, который неоднократно ездил в Сулако морем, утверждает, что отлично помнит этого человека и что это капатас каргадоров пароходной компании. Позже, вечером того же дня, я увидел его на перекрестке возле Пласы; сидя верхом, он разговаривал с какой-то черноволосой смуглянкой, а та держалась рукой за гриву его серой кобылы».

— Уверяю вас, сеньор Гирш, — негромко произнес Чарлз Гулд, — что в данном случае вы не подвергались ни малейшему риску.

— Очень может быть, сеньор, но я до сих пор дрожу. Устрашающий субъект… на вид, по крайней мере. И вообще, что это значит? Служащий пароходной компании разговаривает с бандитами; я не преувеличиваю, сеньор; те, другие всадники, были бандиты… в уединенном месте,

да и сам он вел себя как настоящий разбойник! Сигара — пустяки, но что ему мешало потребовать мой кошелек?

— Да нет же, сеньор Гирш, — по-прежнему вполголоса заметил Чарлз, с несколько отсутствующим видом отводя глаза от запрокинутого круглого лица, украшенного крючковатым носом и обращенного к нему с выражением чуть ли не детской мольбы. — Если вам повстречался капатас каргадоров — а это несомненно он, ведь так? — вы находились в полной безопасности.

— Благодарю вас. Вы очень добры. Крайне устрашающего вида человек, дон Карлос, уверяю вас. Он с такой фамильярностью попросил у меня сигару. А если б у меня не оказалось сигары, что тогда? Я до сих пор содрогаюсь. И о каких это делах мог он разговаривать с разбойниками в таком пустынном месте?

Но Чарлз Гулд теперь, не скрывая, думал о чем-то другом и ни жестом, ни единым звуком ему не ответил. Символическое воплощение концессии Гулда при всей своей непроницаемости обладало множеством расположенных на поверхности оттенков. Немота тяжелый недуг; но у короля Сулако имелось в запасе достаточно слов, и это его наделяло загадочной весомостью

безмолвной силы. Его молчание, подкрепленное неиспользованным даром речи, так же отчетливо, как произнесенные вслух слова, выражало согласие, сомнение, возражение… Иногда даже просто ответ. Некоторые разновидности его молчания, говорившие: «подумаем»; другие, ясно означавшие: «добро»; лаконичное «понятно», сопровождавшееся кивком головы, после того как он в течение получаса терпеливо выслушивал собеседника, были равносильны словесному контракту, и им слепо верили, ибо за всеми этими разновидностями стояли великие рудники Сан-Томе, авангард и передний край материальных интересов, являвшие собой такую силу, что во всей Западной провинции от края и до края не было человека, чьи стремления могли бы ей противостоять, а вернее, чьи стремления она не смогла бы купить, уплатив в десять раз больше, чем запрошено.

Однако горбоносому человечку из Эсмеральды, обуянному мечтой вывезти за границу кожи, молчание Чарлза Гулда не сулило ничего хорошего. Как видно, время для того, чтобы расширить дело скромного торговца, было выбрано неудачно. И он мысленно тут же на месте проклял всю эту страну и ее обитателей, как рибьеристов,

так и монтеристов; и едва не разрыдался в приступе слепого гнева при мысли о том, какое множество воловьих шкур пропадет понапрасну на дремотных просторах Кампо, где одинокие пальмы вздымаются, как корабли на море, и горизонт неизменно представляет собой четко очерченный замкнутый круг, а небольшие рощицы украшенных пышной листвою деревьев неподвижны, будто острова, и о них разбиваются волны травы. Там валяются и гниют шкуры, которые можно было бы небезвыгодно продать… гниют потому, что их бросили люди, призванные выполнять более срочные дела, ибо в стране бушуют политические страсти. И нелепость всего этого глубоко возмутила практическую меркантильную душу сеньора Гирша в то время, как сам он почтительно и в то же время обескураженно прощался с мощью и величием рудников Сан-Томе, представленных в лице Чарлза Гулда. Бедняга не удержался и пробормотал несколько горестных фраз, которые вырвались из самых глубин его изболевшегося сердца:

— Все это, дон Карлос, ужасная, ужасная нелепость. В Гамбурге цены на кожу непрестанно растут… растут. Разумеется, правительство Рибьеры покончит со всем этим… когда твердо

станет на ноги. А пока…

Он вздохнул.

— Да, пока… — отозвался Чарлз Гулд с непроницаемым видом.

Гость пожал плечами. Однако сеньору Гиршу еще не время было уходить. Оставалось одно небольшое дельце, о котором ему очень хотелось бы упомянуть, если дозволено. Суть в том, что в Гамбурге у него есть добрые друзья (он невнятно пробормотал название фирмы), которым было бы весьма желательно заключить контракт на поставку динамита, сообщил он. Им желательно заключить сделку с рудниками Сан-Томе, а затем, спустя немного времени, возможно, и с другими рудниками, которые без сомнения… Человечек из Эсмеральды уже собирался пуститься в подробности, но Чарлз перебил его. Похоже было, что и терпение сеньора администрадора наконец исчерпалось.

— Сеньор Гирш, — сказал он. — На рудниках у меня столько динамита, что стоит сбросить его в равнину с горы, — он слегка повысил голос, — и половина города взлетела бы на воздух, если бы у меня возникло такое желание.

Чарлз улыбнулся в округлившиеся от страха глаза торговца кожами, который торопливо бор-

мотал: «Ну, конечно, конечно». Вот теперь ему пора уходить. Невозможно вести переговоры о поставках взрывчатых веществ с управляющим, который так фундаментально запасся динамитом и завел такую странную манеру разговаривать с людьми. Он истерзался страхами во время путешествия верхом, он подвергал себя опасности оказаться в руках свирепого разбойника Эрнандеса, и ни малейшего толку. Ничего не вышло с кожами, с динамитом тоже… даже плечи предприимчивого израильтянина выражали тоску. У дверей он низко поклонился главному инженеру железной дороги. Но, спустившись по лестнице во внутренний дворик, вдруг остановился, пораженный недоумением, и, задумавшись, прижал к губам толстые коротенькие пальцы.

— Зачем ему такая прорва динамита? — прошептал он. — И почему он так говорил со мной?

Главный инженер, заглянувший в дверь опустевшей гостиной, когда отхлынул прилив официальных гостей и мимо инженера прокатилась последняя кругленькая капля — сеньор Гирш, дружески кивнул хозяину дома, который неподвижно высился, словно крупных размеров бакен среди отмелей стульев, кресел, столов.

— Доброй ночи, я уезжаю. Там, внизу, у меня

велосипед. Теперь железная дорога будет знать, к кому всегда можно обратиться за динамитом, если нам его не хватит. С земляными работами мы на некоторое время покончили. Вскоре надо будет приступать к взрывам.

— Не вздумайте обращаться ко мне, — сказал Чарлз Гулд с невозмутимым спокойствием. — Я даже унции динамита никому не дам. Даже унции. Не дал бы и родному брату, если бы у меня был брат и служил главным инженером на железной дороге, сулящей прибыли всему миру.

— А какова причина? — безмятежно осведомился главный инженер. — Плохой характер?

— Нет, — флегматично ответил Чарлз. — Политика.

— Я сказал бы, радикальная, — заметил главный инженер, по-прежнему стоя на пороге.

— Вы это так называете? — отозвался Чарлз из недр гостиной.

— Я имею в виду, что такой курс направлен на самую основу, то есть корни, — с веселой улыбкой пояснил инженер.

— Пожалуй, да, — неторопливо согласился Чарлз. — Концессия Гулда так глубоко пустила корни в этой стране, в этой провинции, в этом горном ущелье, что ее только динамитом и выбьешь. Я

выбрал этот курс. Это моя последняя карта.

Главный инженер присвистнул.

— Интересная игра, — сказал он с некоторой неуверенностью. — И вы уже сообщили Холройду, каким козырем запаслись?

— Это козырь лишь в том случае, если он будет использован в карточной партии; если к концу игры мне больше нечем будет бить. А до этого можно называть его, э-э…

— Оружием? — подсказал инженер.

— Нет. Его можно называть аргументом, — мягко поправил Чарлз. — Именно в этом качестве я и представил его мистеру Холройду.

— И что он ответил? — с нескрываемым любопытством спросил инженер.

— Он, — проговорил Чарлз Гулд, сделав небольшую паузу, — он сказал нечто вроде того, что держаться будем насмерть, а надежды возложим на Бога. У меня возникло впечатление, что он немного испугался. Но, — продолжил управляющий рудниками Сан-Томе, — он ведь, знаете ли, далеко отсюда, а в этой стране, как вам известно, есть пословица: до Бога высоко.

Тут инженер расхохотался, и раскаты его смеха были слышны даже с нижних ступенек лестницы, где Мадонна с младенцем смотрела из

неглубокой ниши на его подрагивающие от хохота широкие плечи.

Глава VI

В Каса-Гулд воцарилась глубокая тишина. Хозяин дома, пройдя по коридору, открыл дверь в свой кабинет и увидел жену, сидевшую в глубоком кресле, — в этом кресле он любил обычно покурить, — которая с задумчивым видом разглядывала свои туфельки. Она не подняла на него глаз, даже когда он вошел.

— Устала? — спросил Чарлз.

— Да, немного, — ответила она. И, по-прежнему не поднимая глаз, звенящим голосом добавила: — Какое-то жуткое чувство нереальности от всего этого.

Чарлз, остановившись перед длинным заваленным бумагами столом, где лежали также охотничий хлыст и шпоры, сочувственно посмотрел на жену:

— Ты измучилась сегодня днем на пристани — ужасная жара и пыль к тому же, — проговорил он тихим, мягким голосом. — Да еще вода блестит под солнцем и слепит глаза.

— Глаза можно закрыть, чтобы их не слепил

блеск воды, — сказала миссис Гулд. — Но, Чарли, милый, как ни закрывай глаза, нельзя не видеть наше положение; это ужасно…

Она подняла взгляд и посмотрела ему в лицо, которое уже не выражало сострадания и вообще никаких чувств.

— Почему ты ничего не говоришь? — Ее голос прозвучал почти как стон.

— Я полагал, что с самого начала ты полностью поняла меня, — медленно выговаривая слова, ответил Чарлз. — Я полагал, все, что надо сказать, давно сказано. А теперь больше не о чем говорить. Нужно было действовать. Мы действовали и продолжаем действовать. У нас нет пути назад. Я думаю, что уже в самые первые дни путь назад был нам отрезан. Мало того, мы не имеем даже права остановиться на полпути.

— О, если бы заранее знать, как далеко ты собираешься зайти, — ответила она почти шутливо, хотя сердце замирало у нее в груди.

— До самого конца, конечно, пусть даже очень далеко. — Ответ был произнесен так решительно, что миссис Гулд должна была опять приложить немалые усилия, чтобы скрыть испуг.

Она встала с милой улыбкой, и ее маленькая фигурка показалась еще меньше из-за тяжелой

прически и нарядного платья с длинным шлейфом.

— Но всегда к успеху, — сказала она, и в ее голосе послышалось что-то похожее на просьбу.

Чарлз окинул ее взглядом голубых, внимательных, суровых глаз и без колебания ответил:

— Выбора просто нет.

Он произнес это очень уверенно. А что касается слов, то сказал он все, что позволяла ему совесть.

Улыбка слишком долго, пожалуй, задержалась на ее губах. Она сказала еле слышно:

— Я пойду к себе; у меня немного разболелась голова. В самом деле, и жара, и пыль… ты, наверно, уедешь на рудники до рассвета?

— В полночь, — ответил Чарлз. — Завтра мы привезем серебро. А потом возьму три свободных дня и проведу их с тобой в городе.

— Ах, ты едешь встречать конвой. В пять часов я выйду на галерею, чтобы видеть, как ты будешь проезжать. Так до встречи!

Чарлз быстрыми шагами обошел вокруг стола и, схватив ее руки, склонился над ними и прижал их к губам. Прежде чем он выпрямился, она освободила одну руку и, будто ребенка, нежно погладила его по щеке.

— Попробуй отдохнуть часок-другой, — сказала

она тихо, покосившись на висевший в дальнем конце комнаты гамак. Ее длинный трен чуть слышно скользнул по красным плиткам пола. На пороге она обернулась.

Две большие лампы в круглых матовых абажурах освещали мягким светом стены, на которых отчетливо виднелись застекленная полка с оружием, бронзовый эфес кавалерийской сабли Генри Гулда на фоне бархатного коврика и акварельный эскиз ущелья Сан-Томе. И, взглянув на эскиз в черной деревянной рамке, миссис Гулд со вздохом сказала:

— Лучше б нам не трогать его, Чарли.

— Нет, — ответил Чарлз угрюмо. — Не трогать его мы не могли.

— Может быть, — задумчиво произнесла миссис Гулд. Ее губы дрогнули, но она улыбнулась с милой, трогательной напускной отвагой. — Уж очень много змей мы растревожили в нашей «райской обители», верно, Чарли?

— А… я помню, — ответил Чарлз, — это дон Пепе говорил, что ущелье Сан-Томе настоящий рай для змей. Мы несомненно потревожили множество змей. Но ты же знаешь, милая, сейчас там все иначе, чем когда ты писала этот этюд. — Он указал на акварель, которая одиноко висела на

огромной пустой стене. — Змеи там больше не живут. Мы привели туда людей и уже не вправе бросить их на произвол судьбы: поищите, мол, себе еще какое-нибудь место, где вы начнете новую жизнь.

Тут он посмотрел жене в глаза твердым, даже жестким взглядом, и миссис Гулд, собрав все свое мужество, бесстрашно встретила этот взгляд, а затем вышла, тихо притворив за собой дверь.

После белой, ярко освещенной комнаты полутемная галерея, вдоль перил которой тянулась сплошная стена растений — переплетенные стебли, листья, — казалась мирной и таинственной лесной прогалиной. В полосках света, падавших из распахнутых дверей гостиных, ожили и засверкали, как под жаркими лучами солнца, белые, красные, лиловые цветы; и фигура миссис Гулд, проходившей мимо этих открытых дверей, обрисовывалась так же четко, как люди в бликах солнца, пестреющих там и сям на сумрачных лесных полянах. Остановившись у дверей большой гостиной, она прижала ко лбу руку, и в свете ламп блеснули драгоценные камни в кольцах.

— Кто тут? — испуганно спросила она. — Это вы, Басилио?

Она заглянула в гостиную и увидела Мартина

Декуда, который бродил среди столов и стульев с таким видом, будто что-то искал.

— Антония оставила здесь веер, — сказал Декуд каким-то странным, растерянным тоном. — Я вернулся за ним.

Но он прекратил поиски, прежде чем успел договорить, и стремительно подошел к миссис Гулд, которая смотрела на него растерянно и удивленно.

— Сеньора, — заговорил он, понизив голос.

— Что, дон Мартин? — спросила она. И, почувствовав, что вопрос прозвучал чересчур возбужденно, пояснила со смешком: — Я ужасно нервничаю сегодня.

— Непосредственная опасность пока нам не грозит, — сказал Декуд, уже не пытаясь скрыть, что он и сам взволнован. — Ради бога, не пугайтесь. Я уверяю вас, пугаться нет причин.

Миссис Гулд, устремив на него взгляд широко открытых бесхитростных глаз и даже заставив себя улыбнуться, ухватилась за косяк, чтобы не пошатнуться.

— Вы, наверное, не представляете себе, какое ощущение тревоги вызываете, так неожиданно появившись…

— Я вызываю ощущение тревоги! — перебил он

с неподдельным удивлением и досадой. — Клянусь, я сам нисколько не тревожусь. Потерялся веер; он, конечно, найдется. Но мне кажется, в гостиной его нет. Я уже все тут осмотрел. Не понимаю, как могла Антония... Ну, что слышно? Вы нашли его, приятель?

— Нет, сеньор, — раздался за спиною миссис Гулд тихий голос Басилио, дворецкого Каса-Гулд. — Я думаю, сеньорита потеряла его не в этом доме.

— Еще раз поглядите, нет ли его во внутреннем дворике. Ступайте, друг мой; поищите на лестнице, возле двери; пол осмотрите, каждую плиту; словом, ищите, пока я к вам не спущусь... Этот малый, — добавил он по-английски, обращаясь к миссис Гулд, — имеет скверную привычку подкрадываться незаметно, благо ходит босиком. Как только я пришел, я тотчас же отправил его искать этот веер, чтобы объяснить, почему я возвратился так внезапно и поспешно.

Он замолчал, и миссис Гулд с искренней теплотой сказала:

— Мы всегда вам рады. — Она немного помолчала. — Однако мне не терпится узнать причину вашего возвращения.

Тут Декуд сделал вид, что нисколько не встре-

вожен, напротив.

— Терпеть не могу, когда за мной шпионят. Да, вы спрашиваете о причине? Как же, как же, причина есть: пропал не только любимый веер Антонии, исчезло еще кое-что. Когда, проводив дона Хосе и Антонию, я возвращался домой, мне повстречался капатас каргадоров на своей знаменитой кобыле и заговорил со мной.

— Что-то случилось в семье Виолы? — спросила миссис Гулд.

— Виолы? Вы имеете в виду старика-гарибальдийца, который держит гостиницу, где живут инженеры? Нет, у них все в порядке. Капатас мне ничего о них не говорил, зато сказал, что видел на площади телеграфиста, который шел без шляпы и разыскивал меня. Получены известия из центральной части страны, миссис Гулд. Отголоски известий, вернее сказать.

— Хорошие известия? — тихо спросила миссис Гулд.

— Бесценные, на мой взгляд. Но если требуется более точное определение, я бы их назвал дурными. Заключаются они в том, что под Санта-Мартой в течение двух дней происходила битва и рибьеристы потерпели поражение. Случилось это, вероятно, несколько дней назад… возможно,

неделю. Слух только что достиг Каиты, и тамошний телеграфист немедля передал это известие своему коллеге в Сулако. Выходит, мы с тем же успехом могли бы и не снаряжать генерала Барриоса.

— Что же нам делать? — прошептала миссис Гулд.

— Теперь уже ничего. Он отбыл, и воинство тоже. Доберется до Каиты денька через два, там и узнает новости. Что он будет делать дальше, трудно сказать. Отстаивать Каиту? А может быть, сдастся на милость Монтеро? Или распустит армию — это вероятнее всего — и уплывет на одном из пароходов компании ОПН на север либо на юг — в Вальпараисо либо в Сан-Франциско, совершенно не важно куда. У нашего Барриоса огромный опыт по части репатриаций и изгнаний за пределы республики, знаменующих поворотные пункты в политической игре.



Декуд пристально посмотрел в глаза миссис Гулд, которая ответила ему таким же взглядом, и добавил, с любопытством ожидая, каков будет отклик:

— И все же, если бы Барриос с двумя тысячами этих усовершенствованных винтовок оказался сейчас здесь, мы смогли бы кое-что сделать.

— Нет, Монтеро непобедим, непобедим! — безнадежно прошептала миссис Гулд.

— Может, это утка? В смутные времена появляются целые выводки подобных птичек. И даже если правда? Так и быть, допустим самое скверное, допустим, что это правда.

— Если так, то все погибло, — сказала она со спокойствием отчаяния. — Все потеряно!

Неожиданно, словно прозрев, она поняла, что за личиной напускной беспечности Декуд скрывает жгучее беспокойство. Да, она могла прочесть это теперь в его глазах, смотревших с вызовом и в то же время настороженно, в дерзком и презрительном изгибе губ. И внезапно у него вырвалась фраза, французская фраза, словно этот костагуанский бульвардье был способен выражать свои мысли лишь на этом языке:

— Non, madame. Rien n'est perdu[119].

Услыхав эти слова, миссис Гулд очнулась от оцепенения и с живостью спросила:

— Что вы намерены делать?

Он ответил ей сразу же, но сквозь сдерживаемое волнение уже снова пробивалась присущая ему ирония.

— А каких поступков вы можете ожидать от истого костагуанца? Новой революции, конечно. Клянусь честью, миссис Гулд, я настоящий hijo del país[120], сын своей родины, что бы там ни говорил обо мне падре Корбелан. И не такой уж я скептик, чтобы не верить в свои собственные идеи, и в свои собственные стремления, и в те средства, которыми я намерен их осуществить.

— Да, — с сомнением произнесла миссис Гулд.

— По-моему, я вас не убедил, — снова по-французски продолжал Декуд. — Тогда скажем так: в свои страсти.

Миссис Гулд невозмутимо выслушала и этот новый довод. Она прекрасно поняла, о чем идет речь, и Декуду вовсе незачем было торопливым шепотом ее уверять:

---

[119] Примечания: 119
Нет, мадам. Ничто не потеряно *(фр.).*

[120] Примечания: 120
Сын отечества *(исп.).*

— Ради Антонии я пойду на что угодно. Я что угодно смогу вынести ради нее. Я готов подвергнуться любой опасности.

Казалось, он черпает все новую и новую отвагу, высказывая свои мысли вслух:

— Вы не поверите, если я стану утверждать, что любовь к родине побуждает меня…

Она безнадежно махнула рукой, словно говоря, что этого побуждения теперь уже ни от кого не ожидает.

— Революция в Сулако, — продолжал Декуд, приглушенно и в то же время с жаром. — Великое дело мы осуществим именно там, где оно начиналось, там, где оно родилось, миссис Гулд.

Нахмурившись, в раздумье прикусив губу, она отступила от двери.

— Вы расскажете это вашему мужу? — встревоженно остановил ее Декуд.

— Но ведь вам понадобится его помощь?

— Несомненно, — подтвердил он не задумываясь. — Разве можно миновать рудники Сан-Томе? Но я бы предпочел, чтобы пока мистер Гулд ничего не знал о моих… надеждах.

Увидев, что она озадачена, Декуд приблизился к миссис Гулд и доверительно пояснил:

— Поймите, он такой идеалист.

Миссис Гулд вспыхнула, и глаза ее потемнели.

— Чарли идеалист! — изумленно проговорила она. — Как вам такое пришло в голову?

— И впрямь, — согласился Декуд. — Когда буквально на глазах у нас возникли рудники, а это величайшее событие в масштабах всей Южной Америки, слово «идеалист» звучит, конечно, странно. Но возьмем те же рудники, ведь он до такой степени возвел их в идеал… — Он мгновенье помолчал. — Миссис Гулд, вы знаете, до какой степени возведены вашим супругом в идеал существование, значение, важность рудников Сан-Томе? Известно это вам?

Без сомнения, он говорил с полным знанием дела. И его слова произвели желаемое действие. Миссис Гулд, готовая вспылить, вдруг смирилась с тихим вздохом, похожим на стон.

— Что вам известно? — спросила она еле слышно.

— Мне ничего не известно, — твердо ответил Декуд. — Но он англичанин, не так ли?

— Что из этого следует?

— Только то, что он не может действовать и существовать, не идеализируя самое простое чувство, желание, поступок. Он не поверит даже себе, пока не ощутит, что его побуждения достойны

волшебной сказки. Боюсь, земля недостаточно хороша для него. Вы простите мою откровенность? Кроме того, пусть вы меня и не простите, такова правда жизни, которая больно бьет по… как это именуется у вас? — по англосаксонской чувствительности, а я в настоящий момент не склонен рассматривать всерьез отношение вашего мужа к житейским делам и — да будет мне позволено это сказать — даже ваше.

Миссис Гулд не выглядела оскорбленной, ничуть:

— Я думаю, Антония вас полностью понимает?

— Понимает? Да, она понимает меня. Но не уверен, что одобряет. Впрочем, это безразлично. Как видите, я настолько честен, что признаюсь вам в этом, миссис Гулд.

— Вы, конечно, предлагаете отделиться, — сказала она.

— Конечно, отделиться, — подтвердил Декуд. — Да. Полностью отсечь всю Западную провинцию от взбунтовавшейся страны. Но что гораздо важнее, у меня есть намерение, мое единственное серьезное намерение, не быть отделенным от Антонии.

— И больше ничего? — спросила миссис Гулд.

— Абсолютно. Я не обманываю себя относи-

тельно моих побуждений. Антония не оставит ради меня Сулако, зато Сулако способен оставить республику на произвол судьбы. Что может быть яснее? Я люблю, чтобы ситуация была обрисована ясно. Я не могу расстаться с Антонией, а потому единая и неделимая республика Костагуана должна расстаться с одной из своих провинций. К счастью, с политической точки зрения это тоже разумно. Самая богатая, самая плодородная часть страны не будет ввергнута в анархию. Мне самому все это крайне безразлично; однако я не могу отрицать, что приход Монтеро к власти означает для меня смертный приговор. Я еще не видел ни одного воззвания, в которых он сулит прощение всем своим противникам, перечисляя их, где в списке значилась бы и моя фамилия; она всегда отсутствует, наряду с несколькими, весьма немногими. Братцы меня ненавидят, вы отлично это знаете, миссис Гулд; а тут внезапно возникает слух, будто они выиграли битву. Вы скажете, что, если слух подтвердится, я вполне успею убежать.

Миссис Гулд упавшим голосом произнесла, что ему не следует так клеветать на себя, и он умолк на мгновение, устремив на нее полный мрачной решимости взгляд.

— Я сбежал бы, миссис Гулд. Непременно сбе-

жал бы, если бы это способствовало исполнению моего единственного в настоящее время желания. У меня хватает мужества в этом признаться, хватило бы и выполнить это. Но женщины, даже наши женщины, идеалистки. Не я, а Антония не захочет бежать. Новейший вид тщеславия.

— Вы называете это тщеславием? — с возмущением сказала миссис Гулд.

— Назовите гордостью, если угодно, и отец Корбелан разъяснит вам, что гордыня — смертный грех. Но я не горд. Я просто очень сильно влюблен и поэтому не убегу. В то же время я намерен остаться в живых. Любовь ведь для живых, а не для мертвых. А посему необходимо, чтобы Сулако не признал Монтеро своим властителем.

— И вы полагаете, мой муж окажет вам поддержку?

— Думаю, окажет, ибо, как только найдется апеллирующий к его чувствам повод, он, подобно всем идеалистам, не сможет бездействовать. Но я не стану с ним говорить. Голые факты не смогут повлиять на его чувства. Пусть уж убеждает себя на свой лад, и, откровенно говоря, я, вероятно, и не смог бы сейчас с должным почтением обсуждать с ним его сентиментальные соображения и, пожалуй, ваши тоже, миссис Гулд.

Миссис Гулд несомненно решила ни в коем случае не обижаться. С рассеянной улыбкой она думала об известиях, сообщенных Декудом. Антония, насколько можно судить по ее полупризнаниям, отлично понимает, что представляет собой этот молодой человек. Его план несомненно сулит спасение, хотя пока это скорее просто идея, а не план. И даже если идея эта неверна, вреда она принести не может. Да к тому же, вполне вероятно, дурные слухи не подтвердятся.

— Вы уже знаете, как нужно действовать? — спросила она.

— Очень просто. Барриос отбыл, и прекрасно; он будет удерживать в своих руках Каиту, а Каита — это дверь, через которую можно морем проникнуть в Сулако. Переправить через горы крупные силы им не удастся. С теми отрядами, которые они пошлют, справится даже шайка Эрнандеса. А мы тем временем организуем ополчение. И тогда тот же Эрнандес пригодится. Он наносил поражение регулярным войскам, будучи разбойником; без сомнения, он сумеет это осуществить, если мы сделаем его полковником или даже генералом. Вы однажды утверждали, что этот злосчастный бандит являет собою животрепещущий пример того, как жестокость, несправедливость, невеже-

ство и самовластие не только отнимают у людей имущество, но и губят их души. Ну а если этот человек станет вдруг причиной гибели тех зол, которые толкнули честного ранчеро на преступную стезю, в этом есть поэзия возмездия, не так ли? Отличная идея, вы со мной согласны?

Декуд легко перешел на английский, на котором говорил очень правильно и чисто.

— Вспомните также о ваших больницах, школах, дряхлых старцах и болящих матерях, обо всех тех людях, которых вы с мужем ввергли в каменистое ущелье Сан-Томе. Вы не чувствуете, что ответственны перед ними? Не кажется ли вам, что будет лучше, если мы сделаем еще одно усилие, вовсе не такое безнадежное, как это представляется на первый взгляд, чем…

Декуд закончил свою мысль резким движением руки, означающим: «Чем если всех нас уничтожат», и миссис Гулд в ужасе отвернулась.

— Почему вы не скажете все это моему мужу? — спросила она, не глядя на Декуда, который с интересом наблюдал, какое впечатление производят его речи.

— О, но ведь дон Карлос такой англичанин, — начал он.

Миссис Гулд остановила его:

— Перестаньте, дон Мартин. Он такой же костагуанец… Нет! Он в гораздо большей степени костагуанец, чем вы сами.

— Сентиментален, очень сентиментален, — нежно и вкрадчиво проворковал Декуд. — Сентиментален на тот особый, ни с чем не сравнимый манер, который свойственен лишь вашему народу. Я наблюдаю короля Сулако с тех пор, как ввязался в это идиотское дело, на которое меня, возможно, толкнула злодейка-судьба — ведь следствием ее происков всегда являются наши безотчетные поступки. Но я не жалуюсь, я не сентиментален, я не умею облекать свои личные желания в сверкающую драгоценностями шелковую мантию. Жизнь для меня не нравоучительный роман, в основе которого лежит милая сказочка. Нет, я практик, миссис Гулд. Я не стыжусь своих побуждений. Но простите, я отвлекся. Просто я хотел сказать, что занимаюсь некоторыми наблюдениями. Не стану вам рассказывать, что я обнаружил.

— Не надо. В этом нет необходимости, — вновь отвернувшись, прошептала миссис Гулд.

— Именно так. За исключением одного несущественного обстоятельства: ваш муж меня не любит. Сущий пустяк, но при сложившемся

положении он обретает какую-то комическую значительность. Это комично и в то же время очень важно, ибо ясно: для выполнения моего плана нужны деньги… а иметь дело приходится с двумя сентиментальными господами.

— Я не уверена, что понимаю вас, дон Мартин, — сдержанно сказала миссис Гулд. — Но если допустить, что я вас поняла, кто второй?

— Великий Холройд из Сан-Франциско, конечно, — с беспечным видом шепнул Декуд. — Я думаю, вы прекрасно меня понимаете. Женщины, конечно, идеалистки, но они так проницательны.

Миссис Гулд не стала выяснять, продиктовано ли это замечание желанием съязвить или, наоборот, польстить, и пропустила его мимо ушей. Зато имя Холройда пробудило в ней новую тревогу.

— Завтра вечером в порт доставят груз серебра; его добывали целых полгода, дон Мартин, — в смятении воскликнула она.

— Ну и пусть себе доставляют, — прошептал ей прямо в ухо Декуд, в отличие от миссис Гулд почти спокойный.

— Да, но если пойдут слухи и к тому же окажется, что они справедливы, в городе могут начаться беспорядки, — возразила миссис Гулд.

Декуд допускал, что это возможно. Он отлично знал, что представляют собой дети Кампо: злобные, вороватые, мстительные и кровожадные, они отнюдь не обладают теми великими достоинствами, которыми, кажется, наделены их братья из прерий. Но не надо забывать, что существует тот второй сентиментальный господин, почему-то склонный придавать конкретным фактам несколько странный идеалистический смысл. Поток серебра должен не иссякая струиться на север, с тем чтобы вернуться в виде финансовой поддержки великого торгового дома Холройда. Находясь в горах на руднике, в сейфе-кладовой для хранения ценностей, серебряные слитки менее пригодны для его целей, чем, скажем, свинцовые, из которых, к примеру, можно лить пули. Так пусть же серебро доставят в порт, где оно будет дожидаться погрузки.

Ближайший пароход, который отплывает на север, захватит этот груз, хотя бы для того, чтобы спасти рудники Сан-Томе, производящие так много ценностей. К тому же очень может быть, что слухи не подтвердятся, поспешил он ее успокоить.

— А кроме того, сеньора, — добавил он в заключение. — Мы довольно долго можем держать эти

вести в секрете. Я разговаривал с телеграфистом, стоя посредине Пласы, и поэтому убежден, что нас никто не подслушал. Мимо нас не пролетела даже птица. А затем позвольте мне сказать вам еще одну вещь. Я подружился с этим человеком, которого называют Ностромо, с капатасом. Не далее как сегодня вечером у нас состоялась беседа: он куда-то ехал на своей знаменитой кобыле, а я шел рядом. Он обещал, что, если вспыхнет мятеж по какой бы то ни было причине, даже по причине, очень тесно связанной с политикой (вы поняли — по какой), его каргадоры, влиятельная часть нашего городского населения, — вы не можете не согласиться — поддержат европейцев.

— Он вам это обещал? — с живостью переспросила миссис Гулд. — А что его заставило давать такие обещания?

— Право, не знаю, — признался Декуд, несколько озадаченный. — Он действительно мне это обещал, но ответить на ваш вопрос я затрудняюсь. Разговаривал он с обычной своей беззаботностью, которую, не будь он простым матросом, я назвал бы аффектированной.

Декуд внезапно замолчал и, пораженный неожиданной мыслью, посмотрел на миссис Гулд:

— Скорей всего, я полагаю, он намерен извлечь из этого какую-то выгоду. Не забывайте, ради того огромного влияния, которым он пользуется среди простонародья, ему приходится и подвергать себя опасности, и тратить бездну денег. Престиж — штука серьезная, и за него надо платить. Мы познакомились во время танцев в гостинице, которую держит один мексиканец неподалеку от города, за крепостной стеной, и Ностромо сказал мне, что приехал сюда нажить состояние. Возможно, престиж кажется ему своего рода капиталовложением.

— А может быть, престиж ценен для него сам по себе, — возразила миссис Гулд, досадуя на злоязычие своего собеседника. — Виола, гарибальдиец, у которого Ностромо живет уже несколько лет, называет его Безупречным.

— Ах да, он один из ваших протеже, приятель старика-трактирщика. Что ж, превосходно. Капитан Митчелл тоже превозносит его до небес. Я только и слышу всевозможные рассказы о его силе, его храбрости, его преданности, и рассказам этим нет конца. Нет конца достоинствам. Гм, Безупречный! Вот уж и впрямь почетный титул для десятника портовых грузчиков. Безупречный! Красиво, но туманно. Впрочем, надеюсь, здраво-

мыслия он тоже не лишен. И я беседовал с ним, исходя из этого утешительного для практических людей предположения.

— А я предпочитаю думать, что у него нет корыстных целей, и поэтому на него можно положиться, — сказала миссис Гулд, и если она позволяла себе изредка нечто похожее на резкость, то это нечто прозвучало сейчас в ее ответе.

— Ну, в таком случае серебро еще в большей безопасности, сеньора. Пусть его доставят сюда. Пусть его сюда доставят, а затем оно уплывет на Север и вернется к нам в виде кредита.

Миссис Гулд посмотрела в сторону двери, ведущей в кабинет ее мужа. Декуд, который наблюдал за ней так внимательно, словно вся его судьба зависела от нее, разглядел в полутьме галереи, как она чуть заметно кивнула. Он с улыбкою поклонился, сунул руку во внутренний карман пальто и вынул веер из светлых перьев, прикрепленных к раскрашенным листьям сандалового дерева.

— Я его взял с собой, — весело пояснил он, — чтобы был предлог на всякий случай. — Он снова поклонился. — Доброй ночи, сеньора.

Миссис Гулд двинулась по галерее, удаляясь от комнаты мужа. Мысль об участи рудников Сан-

Томе преследовала ее, угнетала, страшила. Это началось уже давно. Сперва была просто идея. Она с тревогой наблюдала, как идея превращается в фетиш, а теперь уже фетиш превратился в чудовищную сокрушительную силу. Казалось, вдохновение, которое объединяло их когда-то, покинуло теперь ее душу и превратилось в стену из серебряных кирпичей, воздвигнутую между ней и мужем безмолвными духами зла. Он оторван от жены и окружен непроницаемой стеной из драгоценного металла, а жена осталась за пределами этой стены со своей школой, больницей, дряхлыми старцами и болящими матерями, жалкими останками вдохновенных мечтаний их юности. «Бедные, бедные!» — вздохнула она.

Снизу донесся громкий голос Мартина Декуда:

— Я нашел веер доньи Антонии. Поглядите, Басилио, вот он!

Глава VII

Система взглядов, которую Декуд именовал разумным материализмом, заключалась, в частности, и в том, что он не верил в возможность дружбы между женщиной и мужчиной.

Единственное исключение, которое он допус-

кал, только подтверждало, говорил он, общее правило. Дружба между братом и сестрой, если разуметь под дружбой стремление откровенно рассказывать о своих мыслях и чувствах, как рассказывают о них любому приятелю; искренность, бесцельная и в то же время необходимая, — потребность поделиться самым сокровенным в надежде вызвать глубочайшее сочувствие другого существа.

Его любимая сестра, красивый, несколько своенравный, наделенный решительным характером ангел, чьим велением покорялись папа и мама Декуд в квартире, занимающей второй этаж очень элегантного парижского особняка, была той конфиденткой, которой Мартин Декуд сообщал о своих мыслях, поступках, надеждах, сомнениях и даже неудачах…

> «Приготовь наш маленький кружок в Париже к известию о рождении еще одной южноамериканской республики. Одной больше, одной меньше, не все ли равно? Они возникают, словно ядовитые цветы на клумбе бесчестности и порока; но семя, из которого проросла эта, зародилось в мыслях твоего брата, чего, я думаю,

достаточно, чтобы заслужить одобрение любящей сестры. Я пишу тебе сейчас при свете одинокой свечи в гостинице, которую держит итальянец по фамилии Виола, протеже миссис Гулд. В доме – а дом этот, насколько мне известно, был выстроен лет триста назад фермером из бывших конкистадоров, промышлявшим ловлей жемчуга, – сейчас царит глубокая тишина. Такая же тишина и на равнине между городом и портом; но только там не так темно, как в доме, потому что пикеты итальянских рабочих, охраняющих железную дорогу, разожгли костры вдоль всей линии.

Вчера здесь не было так тихо. В городе вспыхнул ужасный мятеж, бунт местного населения, который удалось подавить только сегодня к концу дня. Целью мятежников, без сомнения, был грабеж, но и этой цели они не достигли, как ты, наверное, уже знаешь из каблограммы, посланной через Сан-Франциско и Нью-Йорк вчера вечером, когда кабель еще действовал. Вероятно, ты уже прочитала, что энергичные действия служащих

на железной дороге европейцев спасли город от разрушения, и можешь этому поверить. Каблограмму составлял я сам. У нас здесь нет корреспондента агентства Рейтер. Кроме того, я стрелял по бунтовщикам из окон клуба в компании с несколькими другими молодыми людьми из хороших семейств. Нашей задачей было очистить улицу Конституции, дабы обеспечить «исход» женщин и детей, которые нашли себе приют на двух грузовых баржах, стоящих сейчас в гавани. Это было вчера. Из той же каблограммы ты узнала, что президент Рибьера, пропавший без вести после битвы под Санта-Мартой, появился, благодаря поразительному стечению обстоятельств, здесь, в Сулако, на хромом муле в самой гуще уличных сражений. Оказалось, он бежал, спасаясь от Монтеро, в сопровождении некоего Бонифацио, погонщика мулов, перебрался через горы и угодил прямо в руки разъяренной толпы.

Капатас каргадоров, итальянский моряк, о котором я тебе писал уже прежде, спас его от позорной смерти. У этого

человека удивительный талант всегда оказываться именно там, где можно совершить нечто живописное.

В четыре часа утра мы с ним находились в редакции „Нашего будущего“, куда он явился в такое раннее время специально, чтобы предупредить меня, что в городе начинаются волнения, а также сообщить, что он и его каргадоры будут поддерживать законность и порядок. Когда стало совсем светло, мы с ним вдвоем увидели многолюдную толпу пеших и конных, которая явилась на площадь и швыряла камни в окна ратуши. Ностромо (он известен здесь под этой кличкой) показал мне своих каргадоров, мелькающих в толпе.

В Сулако солнце всходит поздно, ибо должно сперва взобраться на горы. В его ярком свете, сменившем рассветную мглу, Ностромо увидел на противоположной стороне громадной площади, у того места, где стоит собор, какого-то всадника, вокруг которого бесновалась орава проходимцев гнуснейшего вида. Он тотчас же сказал: „Этот человек не здешний.

Почему они привязались к нему?“ Тут он достал серебряный свисток, которым пользуется обычно на пристани (этот человек, по-моему, считает ниже своего достоинства притрагиваться к металлу менее ценному, чем серебро), и дважды в него дунул, очевидно, подавая условный сигнал каргадорам. Затем он выбежал из помещения редакции, а они его окружили. Выбежал и я, но слишком поздно, чтобы поспеть за ними и помочь спасти жизнь незнакомца, теперь уже пешего, потому что его хромой мул свалился на землю.

Усмотрев в моем лице ненавистного аристократа, толпа сразу набросилась на меня, но, к счастью, мне удалось пробраться в клуб, где дон Хаиме Бергес (ты, вероятно, помнишь, как он был у нас в Париже года три назад) сунул мне охотничье ружье. На раскрытых ломберных столах лежали кучки патронов. Мне запомнились два или три опрокинутых стула, бутылки, катившиеся по полу среди рассыпанных карточных колод, которые упали, когда кабальеро бросились

к окнам, прекратив игру, и стали стрелять по толпе. Бóльшая часть молодых дворян провела эту ночь в клубе, ожидая, что в городе начнутся беспорядки. Свечи в обоих канделябрах сгорели до самого донышка. В тот момент, когда я входил в зал, кто-то угодил в окно железной гайкой, по-видимому похищенной из железнодорожных мастерских, и разбил большое зеркало, вделанное в стену.

Я заметил также одного из здешних лакеев, связанного по рукам и по ногам шнурами от занавеси и брошенного в угол. Смутно припоминаю, как дон Хаиме мне пояснил, что во время ужина этот малый подсыпал в еду отраву и был застигнут за этим занятием. Зато не смутно, а вполне отчетливо помню, как пронзительно, не умолкая ни на миг, он вопил, умоляя нас сжалиться, но на его крики не обращали внимания… настолько, что никто даже не позаботился заткнуть ему кляпом рот. Он выл так омерзительно, что я уже подумывал, не сделать ли мне это самому. Но на такие пустяки не оставалось времени. Я занял место у окна и

принялся стрелять.

Только днем, гораздо позже, мне стало известно, кто был тот несчастный, которого Ностромо с помощью своих каргадоров, а также нескольких итальянцев-рабочих спас от пьяных негодяев. Поразительный человек – когда нужно сделать нечто впечатляющее, он всегда тут как тут. Именно так я ему и сказал, когда мы встретились после того, как в городе была восстановлена некая видимость порядка, и ответ его меня удивил. Он угрюмо сказал: „А много ли я получаю за это, сеньор?“ Тут мне пришло в голову, что, вероятно, он тщеславен и тщеславие его насыщают преклонение простонародья и доверие вышестоящих».



Декуд, не подымая от письма головы, остановился, чтобы закурить, затем выпустил клуб дыма и снова взялся за карандаш.

«Разговор этот происходил вчера на Пласе, и Ностромо сидел на ступеньках собора, опираясь на колени руками, в которых держал уздечку своей знаменитой серебристо-серой кобылы. Он со

своим отрядом каргадоров отлично действовал в течение всего дня. Вид у него был усталый. Не знаю, какой вид был у меня. Я полагаю, очень грязный, но в то же время, думаю, вполне довольный. Как только беглый президент был переправлен на борт парохода „Минерва“, успех повернулся к бунтовщикам спиной. Их вытеснили из порта и из респектабельной части города снова на окраину, в их родимые трущобы. Мне еще следует для полной ясности добавить, что мятеж (первоначальной целью коего являлся захват серебра, привезенного из Сан-Томе и хранившегося в подвалах таможни, а также присущее этим бездельникам желание поживиться за счет „богачей“) приобрел впоследствии политическую окраску, поскольку два депутата Генеральной ассамблеи провинции, сеньоры Гамачо и Фуэнтес, оба из Болсона, возглавили бунт… правда, позже, уже днем, когда толпа, потеряв надежду на поживу, сгрудилась на узких улочках окраин и

принялась орать: „Viva ia libertad![121] Долой феодализм!“ (Интересно, как они себе представляют феодализм?) „Долой вандалов и паралитиков!“ Надеюсь, сеньоры Гамачо и Фуэнтес знают, что делают. Это предусмотрительные господа. На заседаниях Ассамблеи они именовали себя „умеренными“ и с лицемерно скорбным видом всегда выступали против решительных шагов. При первых же известиях о победе Монтеро они мало-помалу утратили свойственную им меланхоличность и принялись осыпать беднягу дона Хусте Лопеса, президента Ассамблеи, наглыми выпадами, которые так ошеломили старика, что в ответ он лишь поглаживал бороду да звонил в колокольчик. Затем, когда крах рибьеристов уже не вызывал ни малейших сомнений, они внезапно превратились в убежденных „либералов“, причем все делали вместе, как сиамские близнецы, и в конце концов даже возглавили бунт во имя принципов генерала Монтеро.

---

[121] Примечания: 121
Да здравствует свобода! *(исп.)*

Свою последнюю акцию они совершили вчера в восемь часов вечера – организовали комитет монтеристов, заседающий, насколько мне известно, на постоялом дворе, который держит некий мексиканец, бывший матадор и к тому же великий политик; имени его я не запомнил. С постоялого двора получено послание, адресованное нам, вандалам и паралитикам из клуба „Амарилья“ (у нас тоже есть свой комитет), в котором нас призывают заключить на время перемирие, дабы, заявляют эти наглецы, благородное дело свободы не было запятнано гнусными эксцессами консерваторов. Каковы! Пока мы с Ностромо сидели на ступеньках собора, в клубе составляли достойную отповедь, для чего все собрались в зале, большой комнате, на полу которой темнели пятна крови и в изобилии валялись стреляные гильзы, осколки стекла, подсвечники, обломки стульев. Впрочем, все это чушь. Реальной властью в городе располагают только инженеры с железной дороги, поместившие своих людей в сборные дома, которые компания при-

обрела, чтобы использовать в качестве станционных построек, и Ностромо, чьи каргадоры спали в этот час под сводчатыми галереями торгового дома Ансани.

Переломанная мебель, почти вся позолоченная, была выброшена из ратуши на площадь, где ее свалили грудой и зажгли костер, пламя которого вздымалось так высоко, что языки его доставали до статуи Карла IV. На ступеньках пьедестала лежал труп с широко раскинутыми руками и прикрытым сомбреро лицом – возможно, оказанная каким-либо приятелем последняя услуга. Отблески огня плясали на листве ближайших к площади деревьев, посаженных вдоль Аламеды, и освещали угловые дома переулка, вход в который был загорожен кучей сваленных вперемешку повозок и воловьих туш. На одной из этих туш сидела какая-то темная личность, закутанная с головой, и курила сигарету. Перемирие, как видишь. Кроме нас двоих и этого бродяжки, единственным живым существом на всей площади был каргадор, который ходил взад и вперед перед фасадом заведения

Ансани с длинным ножом, охраняя сон своих друзей. И во всем городе светились, кроме костра, лишь окна клуба на углу улицы Конституции».

Дописав до этого слова, дон Мартин Декуд, южноамериканский денди с парижских бульваров, встал и прошелся по усыпанному песком полу обеденного зала, находившегося в одном из двух крыльев гостиницы «Объединенная Италия», принадлежавшей Джорджо Виоле, старому сподвижнику Гарибальди. Ярко раскрашенная литография Верного Сына Свободы показалась тусклой при свете одинокой свечи человеку, не знавшему верности, если не считать той верности, с какой он следовал велению собственных чувств. Он посмотрел в окно и обнаружил, что дом окружен непроницаемой тьмой, сквозь которую нельзя разглядеть ни гор, ни улиц, ни даже тех строений, что стояли возле гавани совсем близко, и ни единого звука не слышно, словно глубокое безмолвие Гольфо-Пласидо объяло и воды, и землю, сделав ее не только слепой, но и немой.

Немного погодя Декуд почувствовал, как под ногами у него подрагивает пол, и услышал вдали

лязганье железа. Где-то далеко, в глубинах мрака, возник яркий белый свет, он с грохотом близился и разрастался. Подвижной состав, который обычно стоял на запасных путях в Ринконе, сейчас для безопасности перегоняли на товарную станцию. Мелькнул фонарь локомотива, а следом некое таинственное колыханье тьмы — это поезд с глухим ревом пронесся вихрем у самой гостиницы, и весь дом задрожал. И снова ничего не разглядеть, только на краю последней платформы обнаженный до пояса негр в белых штанах безостановочно размахивал горящим факелом. Декуд стоял не шевелясь.

На спинке стула, с которого он только что встал, висело его элегантное парижское пальто на шелковой жемчужно-серой подкладке. Но когда он повернулся, чтобы снова подойти к столу, свеча осветила его лицо, грязное и исцарапанное. Розовые губы запеклись от жары, почернели от порохового дыма. И холеная бородка потускнела от ржавчины и пыли. Воротничок и манжеты измялись; синий шелковый галстук болтался, как тряпка; на лбу темнело жирное пятно. Он не раздевался и ни разу не приблизился к воде — если не считать того, что изредка, торопливо и жадно, отхлебывал глоток — около сорока часов.

Мучительная одержимость отчаянной борьбы завладела им полностью, запечатлела на нем свои приметы, и глаза его блестели сухим, бессонным блеском. Он хрипло пробормотал: «Интересно, найдется здесь хлеб?» — обвел комнату рассеянным взглядом, затем опустился на стул и снова взялся за карандаш. Только сейчас он вспомнил, что не ел уже много часов.

Потом мелькнула мысль, что никто на свете не поймет его так хорошо, как сестра. Когда речь идет о жизни и смерти, даже в сердце скептика возникает желание как можно точней описать свои чувства и таким образом дать объяснение поступкам, ибо иначе их никто уже не сможет понять к тому времени, когда уйдут участники драмы, уйдут туда, где никакие расследования не помогут докопаться до истины, которую уносит с собой смерть. Поэтому Декуд не стал искать еду и не воспользовался случаем поспать хоть часок, а, торопливо заполняя страницы большого блокнота, писал письмо сестре.

Связь между ними стала такой тесной, что он не мог от нее утаить ни усталости душевной, ни физического утомления, ни иных телесных ощущений, донимавших его. Он снова взялся за письмо так, словно говорил с ней. Он написал:

«Я очень хочу есть» — и в этот миг ему почти казалось, что сестра сидит рядом с ним.

«У меня такое ощущение, будто я в пустыне. Возможно, потому, что в окружающем меня хаосе, где то и дело рушатся чьи-то стремления, намерения, надежды, я единственный человек, имеющий определенную идею. Все инженеры ушли отсюда два дня назад и охраняют собственность Национальной центральной железной дороги, величайшего предприятия нашей Костагуаны, доходы от которого положат себе в карман англичане, французы, американцы, немцы и бог знает кто еще. В гостинице зловещая тишина. Над средней частью дома надстроено нечто вроде второго этажа, где вместо окон узкие отверстия, наподобие бойниц, из которых, вероятно, отстреливались от индейцев в те времена, когда неизменно присущее нашему родимому континенту варварство еще не облачалось в черные фраки политиканов, а вопило и носилось полуголое с луком и стрелами в руках. Сейчас, по-моему,

в этой верхней пристройке умирает хозяйка дома, и рядом с ней ни души, один старик-муж. Туда наверх ведет узкая лесенка, из тех, встав на которую можно в одиночку защищаться от целой толпы, и я только что слышал сквозь стену, как старикан ходил за чем-то в кухню. Шорох тихий, словно мышь скребется в норке. Все слуги вчера разбежались и не вернулись до сих пор, а может быть, и вообще не вернутся. Так что в доме, кроме хозяев, остались лишь две девочки, их дочки. Отец велел им спуститься вниз, и они прокрались в обеденный зал, возможно, потому, что здесь сижу я. Дети забились в угол и жмутся друг к дружке; я их заметил совсем недавно и почувствовал себя еще более одиноким».

Декуд обернулся в их сторону и спросил:

— Здесь у вас есть хлеб?

Хлеба не было — черная головенка Линды закачалась над светлой головкой младшей сестры, которая сидела, прижавшись к плечу старшей.

— Вы не можете достать мне хоть немного хлеба? — настойчиво допытывался Декуд. Девочка

не шелохнулась; из угла на него пристально смотрели ее большие темные глаза.

— Вы меня боитесь? — спросил он.

— Нет, — сказала Линда. — Мы вас не боимся. Вы пришли сюда с Джаном Батистой.

— Ты говоришь о Нострамо? — спросил Декуд.

— Его так называют англичане, да только это имя не годится ни человеку, ни животному, — сказала девочка, ласково поглаживая голову сестры.

— Но он ведь позволяет так называть себя, — возразил Декуд.

— Не в этом дело, — отрезала Линда.

— А!.. Ну ладно, тогда я буду называть его капатасом.

Разговор на этом прекратился, и Декуд снова начал строчить, а спустя немного времени повернулся к ним вторично.

— Когда он должен возвратиться? — спросил он.

— После того как Джан Батиста вас привез, он поехал в город за сеньором доктором для мамы. Он вернется скоро.

— Если только его не подстрелят где-нибудь по дороге, — довольно внятно проворчал себе под нос Декуд; тоненький голосок Линды прозвучал

очень решительно:

— Никто не посмеет стрелять в Джана Батисту.

— Ты думаешь? — сказал Декуд. — Ты уверена в этом?

— Я это знаю, — убежденно ответила девочка. — Здесь нет людей, таких храбрых, чтобы напасть на Джана Батисту.

— Особой храбрости не нужно, чтобы, сидя за кустом, спустить курок, — прошептал Декуд совсем тихо. — Ночь, к счастью, темная, иначе мало было бы шансов спасти серебро из знаменитых рудников.

Он опять склонился над блокнотом, просмотрел написанное и снова взялся за карандаш.

> «Таково было положение вчера, после того как „Минерва“ с беглецом-президентом отбыла из гавани, и бунтовщиков оттеснили на окраину. Я отправил каблограммы, в которых оповещал о наших успехах, вероятно, не столь уж озабоченное ими человечество, а затем сел рядом с Ностромо на ступеньках собора. Довольно странное явление: хотя контора телеграфной компании находится в одном здании с „Нашим будущим“, толпа,

которая выбросила из окна редакции все, что было напечатано, и расшвыряла по площади типографские литеры, ничего не тронула у наших соседей. Когда мы беседовали с Нострómo, Бернгардт, телеграфист, держа бумажную ленту, вышел из-под арки. Этот маленький человечек привязал себя к исполинской сабле и с головы до пят обвешался револьверами. Он смешон, но в то же время это самый храбрый из немцев, когда-либо отстукивавших телеграфным ключом знаки Морзе.

Он получил депешу из Каиты, которая сообщала, что пароходы с армией Барриоса только что прибыли в порт, и кончалась словами: „Войска полны энтузиазма“. Я подошел к фонтану, и какой-то спрятавшийся за деревом негодяй выстрелил в меня с Аламеды. Однако я пренебрег этим и продолжал пить: сейчас, когда Барриос высадился в Каите, а от победоносной армии Монтеро нас отделяют непроходимые хребты Кордильер, мне кажется, я крепко держу в руках свою новую республику, невзирая на господ Га-

мачо и Фуэнтеса. Я собирался лечь спать, но, когда дошел до Каса-Гулд, оказалось, что внутренний дворик полон раненых, лежащих прямо на соломе. Горели фонари, стояла душная ночь, и в замкнутом стенами дворе пахло хлороформом и кровью. В дальнем конце дворика рудничный доктор Монигэм перевязывал раненых; на противоположном, у подножья лестницы, отец Корбелан, стоя на коленях, исповедовал умирающего каргадора. Миссис Гулд ходила среди этих жертв побоища с бутылью в одной руке и большим комком ваты в другой. Она посмотрела на меня отсутствующим взглядом. Ее горничная шла за ней следом, тоже с бутылью, и тихо плакала.

Я стал носить из водоема воду для раненых. Потом отправился на верхний этаж и на лестнице встретил нескольких дам из самых знатных семейств, которые выглядели бледней, чем обычно, и несли, набросив их на плечи, бинты. Оказывается, далеко не все здешние дамы спаслись бегством на пароходах. Люди честные в этот страшный день нашли приют

в Каса-Гулд. На лестничной площадке девушка с распущенными волосами преклонила колени перед нишей, где стоит Мадонна в голубых одеждах с позолоченным нимбом вокруг головы. По-моему, это была старшая мисс Лопес; лица мне не удалось разглядеть, зато бросился в глаза высокий французский каблук ее маленькой туфельки. Она была безмолвна, не шевелилась и даже не плакала; в полной неподвижности застыла она так – черный силуэт на фоне белой стены, молчаливое воплощение страстного благочестия. Я уверен, она испугалась ничуть не больше, чем те бледнолицые дамы, которые с бинтами шли навстречу мне по лестнице. Одна из них села на верхние ступеньки и торопливо рвала на полосы кусок простыни – молодая супруга пожилого местного богача. Я ей поклонился, и она, оставив свое занятие, махнула мне рукой в ответ, словно ехала в карете по Аламеде. На женщин нашей родины нужно смотреть, когда в стране происходит восстание. Спадает слой румян и перламутровой пудры, и вместе с

ним они сбрасывают с себя безразличие к окружающему миру, которым с первых лет младенчества наделяют их воспитание, традиции, обычай. Мне вспомнилось твое лицо, отмеченное с детства печатью живого ума, и я подумал, как оно непохоже на лица этих женщин, выражающие безропотное смирение, когда недобрый ветер политических бурь сдувает с них косметику и заученную мину.

В большой гостиной наверху заседало нечто вроде совета старейшин, остатки канувшей в Лету Генеральной ассамблеи. У дона Хусте Лопеса обгорело полбороды, когда он наклонился к дулу, заряженному, как назло, самодельными пулями, и сейчас все с болью в сердце поглядывали на него. Когда дон Хусте поворачивал голову, казалось, что внутри его фрака помещаются два человека: один – импозантный с аристократическими бакенбардами, а второй – испуганный и неопрятный.

При моем появлении все закричали: „Декуд! Дон Мартин!“ Я спросил: „О чем вы совещаетесь здесь, господа?“ По-мое-

му, у них не было председателя, хотя дон Хосе Авельянос сидел во главе стола. Они ответили хором: „О том, как сохранить нашу жизнь и собственность“. „До прибытия новых должностных лиц“, – добавил дон Хусте, повернувшись в мою сторону импозантной стороной лица. Мне показалось, что струя холодной воды хлынула на разгоравшуюся во мне идею свободной республики. В ушах у меня зашумело, все расплылось перед глазами, будто комната внезапно наполнилась туманом.

Я неуверенно, как пьяный, подошел к столу. „Вы совещаетесь о том, как сдаться“, – сказал я. Все сидели неподвижно, уткнув носы в листки бумаги, лежавшие, бог знает зачем, перед каждым из них. И только дон Хосе закрыл лицо руками и тихо произнес: „Никогда! Никогда!“ Но чем дольше я смотрел на него, тем сильнее мне казалось, что стоит только дунуть, и он улетит, – таким хрупким, таким слабым, таким изнуренным он выглядел. Он не выживет, что бы ни произошло. Человек его возраста не может перенести такого крушения надежд; к тому же разве

он не видел, как страницы „Пятидесяти лет бесправия“ валялись на Пласе, плавали в сточных канавах, служили пыжами для петард, заряженных горстями типографских литер, носились по ветру, как их затаптывали в грязь? Я заметил даже, как некоторые страницы покачивались на волнах залива. Безрассудно ожидать, что он выживет. Безрассудно и даже жестоко.

– Да знаете ли вы, – крикнул я, – что вам принесет капитуляция? Что сделают с вашими женами, детьми, с вашим имуществом?

Так я ораторствовал целых пять минут, по-моему ни разу не переведя дыхания, твердил им о наших надеждах на успех и о жестокости Монтеро, которого изобразил страшным зверем, каким ему несомненно очень хотелось бы и в самом деле стать, если бы у него хватило ума установить во всей стране царство террора. А затем еще пять минут, если не больше, я превозносил их мужество и отвагу с красноречием, на которое вдохновила меня моя пылкая любовь к Антонии.

Ведь мы говорим хорошо только тогда, когда движимы личным чувством – к примеру, разоблачаем врага, защищаем свою жизнь или добиваемся того, что нам поистине дороже жизни. Мой голос гремел, дорогая сестренка. Он звучал так оглушительно, что, казалось, вот-вот рухнут стены зала, а когда я умолк, то увидел, что все смотрят на меня испуганно и недоверчиво. Вот и все, чего я достиг! Только поникшая голова дона Хосе опускалась все ниже и ниже. Я приблизил ухо к его морщинистым губам и услышал, как он прошептал что-то вроде: „Ну что ж, с Богом тогда, Мартин, сын мой!“ Он говорил невнятно. Я уверен лишь, что расслышал слово „Бог“. Мне показалось, что я уловил его последнее дыхание… дыхание покидающей его души.

Он, впрочем, еще жив. Я видел его после этого; но от него осталось только дряхлое, укутанное до подбородка тело, которое лежит на спине с открытыми глазами так неподвижно, что может показаться, что он уже не дышит. Возле кровати на коленях стояла Антония; тут я покинул

их, а сам отправился на итальянский постоялый двор, где вездесущая смерть тоже поджидает очередную жертву. Но я знаю: он уже умер там, в Каса-Гулд, когда шепотом одобрил мои намерения, без сомнения кощунственные для него, дипломата, вся душа которого скована почтением к священной сущности обязательств, договоров и торжественных заявлений. Я громко воскликнул в ответ: „Нет Бога в стране, где люди не желают даже пальцем шевельнуть в свою защиту“.

Тем временем дон Хусте начал весьма продуманную речь, впечатление от которой было подпорчено плачевным состоянием его бороды. Я не стал дожидаться конца и вышел. Кажется, он нас убеждал, что намерения Монтеро (которого он уважительно именовал „генералом“), возможно, вовсе не плохи, „хотя, – продолжал он, – этот незаурядный человек (всего неделю назад мы называли его скотиной), вероятно, ошибся в выборе средств“. Как ты догадываешься, я не выслушал всю речь полностью. Мне известны намерения генеральского брата,

Педрито, участника герильи[122], которого я разоблачил несколько лет назад в Париже, в посещаемом южноамериканскими студентами кафе, где он пытался выдать себя за секретаря посольства. Он приходил туда и разглагольствовал часами, теребя волосатыми ручищами фетровую шляпу, и воображал себя чуть ли не Наполеоном, по меньшей мере герцогом де Морни[123]. Уже в те времена о старшем брате он говорил только высоким стилем. Он мог почти не опасаться, что его выведут на чистую воду, так как студенты, юноши из обедневших дворянских семей, не были, как ты, конечно, понимаешь, завсегдатаями посольства. Только Декуд, человек без принципов и чувства чести, как все утверждали, порой забавы ради заглядывал туда, как мог бы, скажем, заходить взглянуть на дрессированных обезьян.

---

[122] Примечания: 122

Партизанская война *(исп.)*.

[123] Примечания: 123

Морни Шарль Огюст де (1811–1865) — герцог, французский реакционный политический деятель; один из организаторов бонапартистского государственного переворота 1851 г.

Намерения Педрито мне известны. Ведь я собственными глазами видел, как он собирает грязные тарелки со стола. Кое-кому, возможно, и позволят жить в вечном страхе, а мне предстоит умереть.

Нет, я не дослушал до конца, как дон Хусте Лопес самым серьезным образом пытается убедить себя в милосердии, справедливости, честности и бескорыстии братьев Монтеро. Я повернулся и ушел искать Антонию. Я нашел ее в галерее. Когда я открыл дверь, она протянула ко мне руки.

– Чем они там занимаются? – спросила она.

– Беседуют, – сказал я, глядя ей в глаза.

– Да, да, но…

– Пустые речи, – перебил я. – За безумными надеждами скрывают страх. Они тут все великие парламентарии… на английский, знаете ли, образец. – От ярости мне трудно было говорить. Антония безнадежно махнула рукой.

Из-за двери, которую я оставил приоткрытой, доносился голос дона Хусте; словно в приступе помешательства, он с

торжественной мрачностью, размеренно и монотонно, изрекал фразу за фразой:

– В конце концов, стремление к демократизации, по всей вероятности, закономерно. Пути прогресса непредсказуемы, и, если судьба нашей страны находится в руках Монтеро, нам надлежит…

Я с грохотом захлопнул дверь. Вполне достаточно… и даже слишком. Вероятно, никогда еще прекрасное лицо женщины не выражало столько ужаса и отчаяния, как лицо Антонии в этот миг. Я не выдержал и схватил ее за руки.

– Что они сделали с моим отцом? Они его убили? – спросила она.

Ее глаза сверкали гневом, но я как зачарованный продолжал смотреть на нее, и постепенно ее взгляд смягчился.

– Это капитуляция, – сказал я. Помню, я тряс ее руки. – Но не все здесь заняты пустой болтовней. Ваш отец во имя Господа просил меня продолжать начатое.

Что-то есть в Антонии, дорогая сестричка, отчего мне кажется, будто я способен на какой угодно подвиг. Стоит мне взглянуть в ее лицо, и я готов свернуть горы. А

между тем я люблю ее так же, как любят женщин все другие мужчины, – я слышу голос сердца, и больше ничего. Она для меня дороже, чем церковь для отца Корбелана (прошлой ночью настоятель нашего собора покинул город, возможно, намерен присоединиться к шайке Эрнандеса). Она мне дороже, чем для этого сентиментального англичанина его бесценные рудники. О его жене не стану говорить. Ей, возможно, было некогда знакомо чувство. Рудники Сан-Томе разделили этих двоих.

– Ваш отец, Антония, – повторял я, – ваш отец, вы слышите, просил меня продолжать.

Она отвернулась, и в ее голосе было столько страдания…

– Просил? – воскликнула она. – Тогда я боюсь, что он действительно не заговорит больше уж никогда.

Она высвободила руки, которые я все еще сжимал, достала носовой платок и расплакалась. Я не стал ее утешать: видеть ее несчастной было все же предпочтительнее, чем не видеть ее вообще,

чем никогда больше ее не увидеть; убегу я или умру, оставшись здесь, вместе нам не быть, у нас нет будущего. А при таком положении дел я не мог себе позволить сочувствовать ее преходящей печали. Не дав ей выплакаться, я отослал ее за доньей Эмилией и доном Карлосом. Без их сентиментов мой план обречен на гибель; удивительное явление сентиментальность этих людей, которые даже самое страстное свое желание исполнят лишь в том случае, если оно будет облечено в лучезарные ризы идеи.

Мы составили прошлой ночью совет четырех – обе женщины, дон Карлос и я, – заседавший в бело-синем будуаре миссис Гулд.

Король Сулако, несомненно, считает себя безупречно честным человеком. Таковым он и является, в чем может убедиться тот, кто сумеет пробиться сквозь броню его молчаливости. Возможно, он полагает, что именно неразговорчивость и делает его честность такой безупречной. Эти англичане живут иллюзиями, которые каким-то образом помогают им

достигать вполне практических успехов. Во время разговора он изредка бросает „да“ и „нет“, бесстрастные, как изречения оракула. Впрочем, меня не вводит в заблуждение его молчаливость. Я знаю, что его заботит: рудники; а жену его заботит только драгоценная особа ее мужа, который нерасторжимо связал себя с концессией Гулда и взвалил эту ношу на плечи маленькой хрупкой женщины. Меня это не смущало. Моей задачей было заставить его так преподнести все дело Холройду (стальному и серебряному королю), чтобы обеспечить его финансовую поддержку.

Вчера вечером, в это самое время, ровно двадцать четыре часа назад, мы полагали, что привезенное с рудников серебро лежит в хранилищах таможни и в полной безопасности дожидается, когда его увезет направляющийся на север пароход. И до тех пор, пока поток серебра будет не иссякая течь на север, сентиментальный Холройд не поборет в себе не только стремления насаждать на отсталых континентах Земли справедли-

вость, трудолюбие, мир, но и любезную его сердцу мечту научить нас истинному христианству. Позже на наш конклав был допущен самый важный из европейцев, живущих в Сулако, главный инженер железной дороги, который прискакал из гавани верхом. Тем временем совет старейшин в большой гостиной все еще размышлял; и лишь один из них выскочил в коридор и спросил слугу, нельзя ли принести чего-нибудь поесть. Когда главный инженер вошел в будуар, он осведомился, стоя на пороге:

– Что творится в вашем доме, дорогая миссис Гулд? Внизу госпиталь, а наверху открыли ресторан. Я видел, как в гостиную вносили подносы, уставленные разными аппетитными блюдами.

– А здесь, в будуаре, – заметил я, – перед вами тайный кабинет будущей Западной республики.

Он был так озабочен, что даже не улыбнулся, даже удивления не появилось на его лице.

Он сказал, что был на товарной станции и отдавал распоряжения по поводу

мер, необходимых для охраны собственности дороги, когда его позвали в их телеграфную контору. С ним хотел говорить инженер конечного пункта дороги, находящегося сейчас у подножья горы. В конторе были только главный инженер и телеграфист, читавший вслух сообщение прямо с телеграфной ленты, которая выползала из аппарата и кольцами укладывалась на полу. Суть сообщения, которое, волнуясь, отстукивал другой телеграфист в деревянной хижине в дебрях леса, заключалась в том, что за президентом Рибьерой послана погоня. Это оказалось полной неожиданностью для всех нас, живущих в Сулако.

Рибьера уступил настойчивым просьбам друзей и покинул штаб-квартиру своей разбитой армии, взяв в качестве проводника только погонщика мулов Бонифацио, выразившего готовность участвовать в этом рискованном предприятии. Он отбыл на рассвете на третий день после битвы. Остатки его войск улетучились за ночь.

Президент и Бонифацио сели на лоша-

дей и во весь опор помчались к Кордильерам; позже они пересели на мулов, вступили на горные тропы и едва успели пересечь Пустынное плоскогорье, как порывистый ледяной ветер пронесся по каменистому плато и до крыши засыпал снегом каменную хижину, в которой они ночевали. После этого злосчастный Рибьера перенес множество испытаний: ему пришлось остаться без проводника, он лишился мула, с превеликим трудом пешком спустился на Кампо, и, так как до Сулако оставался еще долгий путь, он наверняка погиб бы, если бы не попросил о помощи одного крестьянина. Этот человек, который, кстати, узнал его с первого взгляда, отдал ему своего мула, крепкое и сильное животное, которого дородный и неискусный в верховой езде беглец замучил до смерти. А за ним в самом деле гнался отряд, во главе которого стояла такая важная персона, как Педро Монтеро, брат генерала.

К счастью, холодные ветры плоскогорья задержали преследователей на вершине перевала. В отряде, не защи-

щенном от их пронизывающих порывов, погибли все животные и несколько человек. Отставшие погибли, но основная часть отряда выжила. Они нашли беднягу Бонифацио, который полумертвый лежал у подножья крутого склона, и добили его штыком, в точности следуя бесчеловечным обычаям междоусобной войны. Им удалось бы захватить и Рибьеру, если бы по какой-то неизвестной причине они не вздумали свернуть со старинной наезженной Королевской дороги, после чего они заблудились в лесах уже у подошвы гор. И тут они внезапно наткнулись на строительный лагерь железной дороги. Инженер конечного пункта по телеграфу сообщил начальнику, что Педро Монтеро сидит прямо тут, в конторе, и слушает, как щелкает аппарат. Педро намерен захватить Сулако во имя «демократии». Он держит себя очень властно. Его люди, – разумеется, без позволения, – прирезали нескольких принадлежащих компании коров и жарят мясо на тлеющих углях. Педро засыпал инженера множеством вопросов относительно серебряных

рудников и с большой дотошностью допытывается, что стало с продукцией, полученной за последние шесть месяцев. Он надменно приказал: „Спроси у своего начальника, вот по этому самому телеграфу, он должен все знать; скажи ему, дон Педро Монтеро, наместник Кампо и министр Центральной части страны в кабинете нового правительства, желает получить точные сведения“.

Его ноги были обмотаны окровавленными тряпками, у него худое, изможденное лицо, нечесаная борода и шевелюра, а вошел он, прихрамывая и опираясь на кривую ветку, заменявшую ему трость. Его сподвижники, вероятно, пребывали в еще более плачевном состоянии, но оружия, кажется, не побросали, во всяком случае сохранили часть боеприпасов. Их осунувшиеся физиономии заглядывали и в дверь, и в окна. Так как хижина, где стоял аппарат, одновременно служила спальней инженеру, Монтеро сразу плюхнулся на чистую постель, скорчился там, трясясь в приступе лихорадки, и диктовал приказы, которые надлежа-

ло передать по телеграфу в Сулако. Он требовал, чтобы ему прислали поезд, на который он погрузит всех своих людей.

– На это я ответил, – рассказывал нам главный инженер, – что не рискую отправлять вагоны во внутреннюю часть страны, поскольку там уже несколько раз были попытки устроить железнодорожную катастрофу. Я отказал им из-за вас, Гулд, – добавил главный инженер. – Ответ последовал такой, – я в точности цитирую моего подчиненного: „Грязная скотина, лежащая на моей кровати, спрашивает: «А если я тебя застрелю?»“ На что мой подчиненный, который, как я понимаю, сам выполнял обязанности телеграфиста, ответил, что поезд от этого не возникнет. Тогда Монтеро, зевая, сказал: „Наплевать, на Кампо лошадей хватает“. Потом перевернулся на бок и уснул в постели Гарриса.

Вот почему, дорогая сестрица, я сегодня превратился в беглеца. Последняя депеша с конечного пункта гласит, что Монтеро со своей бандой отбыл на рассвете, после того как они всю ночь угощались

жареной говядиной. Они забрали всех лошадей; обменяют их на свежих по дороге; не пройдет и тридцати часов, как они будут здесь, а потому Сулако неподходящее место ни для меня, ни для огромного груза серебра, принадлежащего концессии Гулда.

Впрочем, это еще не самое худшее. Гарнизон Эсмеральды перешел на сторону победившей клики. Об этом мы узнали от служащего городской телеграфной компании, явившегося ранним утром в Каса-Гулд, чтобы сообщить нам эти вести. Он пришел еще затемно. Его коллега из Эсмеральды известил его, что местный гарнизон, застрелив нескольких офицеров, захватил стоявший в гавани на якоре правительственный пароход. Для меня это тяжелейший удар. Я думал, что могу положиться на всех жителей этой провинции. Я ошибся. В Эсмеральде вспыхнул такой же бунт, какой пытались затеять в Сулако, с той разницей, что здесь у них ничего не вышло. Телеграфист из Эсмеральды все время переговаривался с Бернгардтом, и последние

переданные им слова были: „Они ломятся в дверь и ворвались в здание телеграфной станции. Вы отрезаны. Поддерживать связь больше не могу!“

Но ему удалось обмануть бдительность своих стражей, которые пытались помешать ему связаться с окружающим миром. Удалось, несмотря ни на что. Каким образом – не знаю, но несколько часов спустя он опять вызвал Сулако и передал следующее: „Мятежники захватили стоящий в заливе правительственный пароход и грузят на него войска, чтобы отправиться вдоль берега в Сулако. Берегитесь. Через несколько часов они будут готовы к отплытию и еще до рассвета могут оказаться у вас“.

Вот все, что он сумел нам сообщить. Его оттащили от телеграфного аппарата и, видимо, на сей раз навсегда, так как после этого Бернгардт неоднократно вызывал Эсмеральду, но ответа не получал».

Написав эти слова, Декуд поднял голову и прислушался. Было очень тихо, и в комнате, и во всем доме; только капала вода из фильтра в

огромный глиняный кувшин. За окнами тоже царила гробовая тишина. Декуд опять склонился над блокнотом.

«Ты понимаешь, что я не спасаюсь бегством, – писал он. – Я просто отбываю с драгоценным грузом, увезти который надо во что бы то ни стало. Педро Монтеро – по просторам Кампо, и мятежный гарнизон Эсмеральды – морем движутся к нему с двух сторон. Добыча, на которую они нацелились, оказалась для них доступной лишь благодаря случайности. Тебе не надо объяснять, что главный предмет их вожделений не последняя партия серебра, а сами рудники; если бы не Сан-Томе, о Западной провинции, конечно, никто не стал бы вспоминать еще несколько месяцев, а потом на досуге ее спокойно прибрали бы к рукам. Дону Карлосу Гулду предстоит много хлопот, чтобы спасти рудники, – всю сложную систему управления и людей, работающих там, – свою „Imperium in Imperio“, предприятие, дающее огромный доход, которое он со свойственной его натуре

сентиментальностью почему-то считает олицетворением справедливости. Он одержим этой идеей, как другие бывают одержимы любовью или жаждой мести. Если я правильно сужу об этом человеке, он не допустит в Сан-Томе мятежников, в крайнем случае уничтожит рудники. В размеренное и холодное существование идеалиста тайком проникла страсть. Страсть, постичь которую я могу только умом. Страсть, непохожая на чувства, знакомые нам, людям иной крови. Но его страсть не менее опасна, чем наша.

Жена Гулда тоже это понимает. Поэтому для меня она отличная союзница. Она готова поддержать любое мое предложение, так как чутье подсказывает ей, что в конце концов все они будут способствовать безопасности концессии Гулда. И он считается с ее мнением, потому что, вероятно, доверяет ей, но мне кажется, главная причина – в его желании загладить перед ней свою вину, которую он смутно ощущает: неверность сердца, побудившая его принести в жертву ради полюбившейся ему идеи жизнь и сча-

стье женщины. Она уже знает, что он посвятил себя не ей, а рудникам. Но бог с ними. Каждому своя судьба, начертанная сентиментальностью или страстью. Главное, что миссис Гулд поддержала мой совет увезти серебро из города, из страны, немедля, любой ценой, невзирая на все опасности. Цель дона Карлоса – сохранить незапятнанную репутацию своих рудников; цель миссис Гулд – оградить мужа от последствий его холодной всепоглощающей страсти, которая внушает ей больший ужас, чем внушило бы его увлечение другой женщиной. Цель Ностромо – спасти серебро.

Мы решили погрузить его на самый большой баркас, принадлежащий компании, и переправить через залив в маленький порт, расположенный на самом отдаленном краю полуострова Асуэра, за пределами Костагуаны, откуда его заберет первый же пароход, идущий на север. Во́ды здесь спокойные. Мы незаметно ускользнем в густую тьму залива, прежде чем появятся бунтовщики из Эсмеральды; а к рассвету будем уже

вне поля зрения, невидимы, спрятаны Асуэрой, которая и сама-то, если глядеть отсюда с берега, напоминает голубое облачко на горизонте.

Неподкупный капатас каргадоров выполнит эту задачу; я же, вдохновленный страстью, но не целью, буду сопровождать его, а затем вернусь… доигрывать свою роль в этом фарсе и, в случае удачи, получить награду, вручить которую мне может лишь Антония.

Я не увижу ее до отъезда. Я оставил ее, как уже говорил, у постели дона Хосе. На улице было темно, дома заперты, и я шел сквозь ночь к городским воротам. Вот уже двое суток в Сулако не зажигают фонарей, и тени под аркой ворот так черны и непроглядны, что показались мне строением, похожим на невысокую башню, из которой доносились тихие унылые жалобы, а в ответ что-то невнятно бормотал мужской голос.

Я уловил беспечные и небрежные интонации того самого генуэзского моряка, случайно, как и я, оказавшегося в Сулако и вовлеченного в водоворот событий, к

которым так же, как и я, он относится с хладнокровным презрением скептика. Единственное, к чему он, насколько я могу судить, стремится – это пользоваться доброй славой. Предмет желаний, достойный благородной души, но в то же время выгодный для очень умного негодяя. Да, да. Он сам мне сказал: „Хочу, чтобы обо мне хорошо говорили. Sí, señor“[124]. Говорят о нем хорошо или думают, ему, по-моему, безразлично. Интересно, что это: полнейшая наивность или практический расчет? Исключительные личности всегда меня интересовали, потому что очень точно выражают моральное состояние общества.

Я, не останавливаясь, прошел под аркой, и он догнал меня уже на дороге, ведущей в порт. У женщины, которая с ним говорила, случилась беда. Из щепетильности я его не расспрашивал. Он сам заговорил, немного погодя. Оказалось совсем не то, что я думал. Это была просто старая женщина, старуха-кружевница,

[124] Примечания: 124
Да, сеньор *(исп.)*.

которая разыскивала сына, метельщика улиц. Вчера на рассвете приятели сына подошли к дверям их лачуги и вызвали его. Он ушел вместе с ними, и с тех пор мать его не видела; она оставила на потухших углях еду, не достряпав ее до конца, и поплелась в порт, где, как ей сказали, в то утро, когда начался бунт, убили нескольких парней из города. Один из каргадоров, охранявших таможню, принес фонарь и подвел ее к лежавшим прямо на земле трупам. Ее сына среди них не оказалось, и сейчас она шла обратно. Она сильно устала и, охая, присела передохнуть на каменную скамью под аркой. Капатас расспросил старуху и, выслушав ее жалобный сбивчивый рассказ, посоветовал поискать сына среди раненых во внутреннем дворе Каса-Гулд. А еще он дал ей четверть доллара, – беспечно добавил он.

– Зачем вы это сделали? – спросил я. – Вы ее знаете?

– Нет, сеньор. По-моему, я ее никогда не видел. Да и не мудрено. Она, возможно, уже много лет не выходила на улицу. Это

ведь одна из тех местных старух, что сидят на корточках перед очагом где-нибудь за хижиной, а рядом лежит палка, но у них не хватает сил даже отогнать от своих кастрюль бродячую собаку. По голосу слышно, что смерть просто забыла о ней. Только старые ли, молодые, деньги они любят и будут хорошо говорить о человеке, от которого их получили. – Он коротко рассмеялся. – Ох, с какой жадностью схватила она монету. – Он помолчал. – Последнюю, между прочим, – добавил он.

На это я не сказал ничего. Он известен своей щедростью и невезением в „монте“, из-за чего до сих пор остался таким же нищим, каким был в день приезда сюда.

– Я полагаю, дон Мартин, – заговорил он задумчиво, что-то прикидывая в уме, – я полагаю, сеньор администрадор Сан-Томе наградит меня когда-нибудь за то, что я спас его серебро?

Я ответил, что иначе, разумеется, и быть не может. Он шел и бормотал себе под нос: „Да, да. Ну конечно, конечно, и вот заметьте, сеньор Мартин, как это важно, когда о тебе хорошо говорят! Никому бы и

в голову не пришло дать такое поручение другому человеку. Меня когда-нибудь за это щедро наградят. Только поскорее бы, – добавил он. – Время в этой стране летит так же быстро, как и повсюду“.

Таков, дорогая сестричка, мой спутник, с которым я пустился в великое бегство ради великого дела. Он скорей наивен, чем практичен, скорей искусен, чем ловок, щедрее растрачивает себя, чем тратят деньги люди, прибегающие к его услугам. Во всяком случае, он так думает о себе, и в его мыслях больше гордости, чем сентиментальности. Я рад, что подружился с ним. В роли сотоварища он гораздо более значителен, чем в те времена, когда являлся чем-то вроде гения невысокого ранга – оригинальный итальянец, моряк, которому позволялось в часы затишья заходить в редакцию „Нашего будущего“ и запросто болтать с издателем после того, как номер отправлен в набор. К тому же любопытно встретить человека, измеряющего ценность жизни личным престижем.

Сейчас я ожидаю его здесь. Когда мы

прибыли на постоялый двор Виолы, девочки сидели внизу, а старик-генуэзец при виде земляка закричал ему, чтобы тот немедленно отправлялся за доктором. Иначе мы уже двигались бы к пристани, где, вероятно, капитан Митчелл с помощью нескольких добровольцев из числа европейцев и немногих избранных каргадоров грузит баркас серебром, дабы оно не попало в лапы к Монтеро, а наоборот – было использовано ему на погибель.

Ностромо вскочил на лошадь и как бешеный помчался в город. Он что-то долго не возвращается. Эта отсрочка позволяет мне поговорить с тобой. К тому времени, когда этот блокнот попадет к тебе в руки, многое может случиться. Но мне выпала передышка сейчас, когда над нами уже витает смерть в этом безмолвном доме, затерявшемся в глухой ночи; наверху умирает женщина, и двое детей съежились в уголке и молчат, а сквозь стену слышно, как старик ходит вверх и вниз по лестнице и шуршит тихонько, будто мышь в норе. Я же, единственный посторонний в доме, не знаю толком, чис-

лить ли себя среди мертвых или живых. „Кто знает?“ – обычно отвечают здесь на любой вопрос. Но нет! Моя любовь к тебе, конечно, не мертва, да и всё вместе: этот дом, ночь, дети, молча сидящие в полутемной комнате, даже то, что я здесь нахожусь, – все это жизнь… Наверное, жизнь, хотя очень похоже на сон».

Дописав последнюю строку, Декуд внезапно забылся. Он качнулся над столом, словно в него попала пуля. Уже через мгновение он в замешательстве огляделся — ему почудилось, будто он слышит, как катится по полу его карандаш. Низкая дверь обеденного зала распахнулась, в нее падал ослепительный свет факела, выхватывающего из темноты голову коня. Лошадь мела хвостом по ноге всадника с длинной железной шпорой на голой пятке. Девочки исчезли, а посредине комнаты стоял Ностромо и поглядывал на Мартина из-под полей низко надвинутого на лоб сомбреро.

— Я привез в карете сеньоры Гулд этого английского доктора с уксусной физиономией, — сказал Ностромо. — Думаю, несмотря на всю свою мудрость, он не сможет на сей раз спасти хозяйку.

Они послали за детьми. Дурной знак.

Ностромо сел на край скамьи.

— Она, наверное, хочет благословить их на прощанье.

Постепенно приходя в себя, Декуд сказал, что он, кажется, крепко уснул, и Ностромо, слегка улыбаясь, подтвердил, что, заглянув в окно, видел, как он неподвижно привалился к столу и уткнулся лицом в руки. Английская сеньора тоже приехала в карете и сразу поднялась наверх вместе с врачом. Она его попросила не будить пока дона Мартина; но когда Ностромо послали за детьми, ему пришлось войти в обеденный зал.

Половина лошади и половина всадника за дверью внезапно дернулись; свет факела из пакли и смолы, засунутого в железную корзину, которая покачивалась на палке, прикрепленной к луке седла, на миг ворвался в комнату, куда торопливо вошла миссис Гулд, очень усталая и бледная. Капюшон темно-синего плаща упал ей на спину. Мужчины встали.

— Тереза хочет видеть вас, Ностромо, — сказала она.

Капатас не двинулся с места. Декуд, стоявший спиной к столу, принялся застегивать сюртук.

— Серебро, миссис Гулд, серебро, — тихо про-

изнес он по-английски. — Не забывайте, что гарнизон Эсмеральды захватил пароход. Они могут в любой момент появиться у входа в гавань.

— Доктор говорит, надежды нет, — быстро сказала миссис Гулд, тоже по-английски. — Я отвезу вас в своей карете в порт, потом вернусь сюда и заберу девочек. — Она повернулась к Ностромо и сразу же перешла на испанский. — Почему вы все еще здесь? Жена старого Джорджо хочет вас видеть.

— Я иду, сеньора, — отозвался капатас.

Появился доктор Монигэм; он привел назад детей. Миссис Гулд бросила на него вопросительный взгляд, но он лишь покачал головой и тут же вышел, сопровождаемый Ностромо.

Лошадь факельщика стояла, не двигаясь и опустив голову, а всадник отпустил поводья и закуривал сигарету. Отблески пламени метались по фасаду дома, на котором чернели крупные буквы названия гостиницы; впрочем, полностью освещено было только слово «ИТАЛИЯ». Один из бликов падал на карету миссис Гулд и дремлющего на козлах желтолицего осанистого Игнасио. Рядом с ним Басилио, костлявый и смуглый, обеими руками прямо перед собой держал винчестер и с ужасом таращился в темноту. Ностромо осто-

рожно прикоснулся к плечу доктора.

— Она и в самом деле умирает, сеньор доктор?

— Да, — ответил доктор, и его изувеченная шрамом щека как-то странно дернулась. — А вот почему ей хочется вас увидеть, ума не приложу.

— С ней ведь и раньше бывало такое, — проговорил Ностромо, не глядя ему в лицо.

— Знаете что, капатас, могу вас заверить, больше с ней такого уже не будет, — злобно огрызнулся доктор Монигэм. — Воля ваша — можете подняться к ней, а можете и не подниматься. Разговоры с умирающими — неприбыльное занятие. Но она в моем присутствии сказала донье Эмилии, что относилась к вам как мать с того дня, когда вы сошли на этот берег.

— Да! И никогда никому обо мне не сказала ни единого доброго слова. Больше было похоже на то, что она не может мне простить, как это я живу на белом свете да к тому же стал таким человеком, каким ей хотелось бы видеть своего умершего сына.

— Возможно! — прогремел возле них низкий скорбный голос. — У женщин есть разные способы себя мучить. — Это вышел из дому Джорджо Виола. Его тень была густой и черной, и факел освещал его лицо, крупную голову с пышными

седыми волосами. Он протянул руку и подтолкнул капатаса к дверям.

Доктор Монигэм, порывшись в деревянном полированном ящичке с лекарствами, который лежал на сиденье коляски, вынул флакончик со стеклянной пробкой и сунул его в большую дрожащую руку старика Джорджо.

— Время от времени давайте по столовой ложке, разбавив водой, — сказал он. — Ей будет полегче.

— А кроме этого, для нее уже ничего не осталось? — с болью в голосе спросил старик.

— Нет. Ничего, — не поворачиваясь, отозвался доктор и щелкнул замком.

Ностромо медленно прошел по большой кухне, ничем не освещенной, кроме углей, горевших в плите, на которой громко булькала вода, кипевшая в железном котле. По узкой лестнице, заключенной между двумя стенами, струился яркий свет из комнаты наверху; и лихой капатас каргадоров, бесшумно движущийся в мягких комнатных сандалиях, с пышными усами и в клетчатой рубашке с расстегнутым воротом, которая не закрывала мускулистую шею и бронзовую грудь, был точь-в-точь матрос со Средиземного моря, только что сошедший на берег

с какой-нибудь груженной вином или фруктами фелуки. Поднявшись наверх, он остановился, широкоплечий, узкобедрый, гибкий, и посмотрел на большую кровать, похожую на парадное ложе, застланную белоснежным бельем, а среди всего этого великолепия сидела Тереза, не опираясь на подушки и низко опустив красивое темнобровое лицо. Густые черные как смоль волосы, в которых виднелось лишь несколько белых нитей, покрывали ее плечи; одна волнистая прядь спустилась и прикрыла щеку. В этой позе она замерла неподвижно, однако все ее существо выражало беспокойство и тревогу, а глаза смотрели только на Ностромо.



Капатас носил красный шарф, много раз обвитый вокруг талии, и массивный серебряный перстень, блеснувший на указательном пальце руки, которую он поднял, чтобы подкрутить усы.

— Эти восстания, эти восстания, — задыхаясь, говорила сеньора Тереза. — Взгляни, Джан Батиста, они убили меня наконец!

Ностромо ничего не ответил, и женщина, глядя снизу вверх, настойчиво повторила:

— Взгляни, это последнее восстание меня убило, пока ты ездил куда-то сражаться за что-то, что тебя вовсе не касается, дурак.

— К чему так разговаривать? — пробурчал сквозь зубы капатас. — Вы, наверное, никогда не поверите, что у меня есть голова на плечах. Я должен быть всегда таким, каким меня все знают; это важно: что бы ни случилось — я такой же, как всегда.

— Ты и в самом деле не меняешься, — с горечью заметила она. — Только о себе и думаешь, а плату получаешь похвалами от людей, которым на тебя наплевать.

Враждебность связывала их так же тесно, как связывают взаимное согласие и приязнь. Ностромо не оправдал ожиданий Терезы. А ведь не кто иной, как она, уговорил его уйти с корабля

в надежде, что он станет другом и защитником ее дочерей. Жена старого Джорджо знала, что слаба здоровьем, и ее мучил страх: как в случае беды придется ее одинокому немолодому мужу и беззащитным детям. Ей захотелось принять в свою семью этого спокойного и уравновешенного на вид молодого человека, симпатичного и покладистого, да к тому же, как он ей рассказывал, оставшегося с младенческих лет сиротой и не имевшего в Италии родственников, кроме дяди, владельца и капитана фелуки, который так скверно обращался с племянником, что тот сбежал от него тринадцати лет.

Он показался ей отважным и трудолюбивым человеком, который непременно добьется в жизни своего. Он будет благодарен им и, конечно, привыкнет и станет для них с мужем как сын; и кто знает, когда вырастет Линда… десять лет разницы между мужем и женой не так уж много. Ее собственный супруг почти на двадцать лет ее старше. А кроме того, Джан Батиста привлекательный парень; он нравится и мужчинам, и женщинам, и детям, потому что от него всегда словно исходит тихий сумеречный свет, глубокое незыблемое спокойствие, которое придает еще больше обаяния его мужественной внешности,

твердости и решительности.

Старый Джорджо, не имевший представления о помыслах и надеждах жены, был очень расположен к своему молодому земляку. «Не положено мужчине быть тихоней», — повторял он ей не раз испанскую пословицу, вступаясь за бесшабашного капатаса. А Тереза ревновала его к успеху. Ей казалось, Ностромо ускользает от нее. Ее практическая натура возмущалась безалаберностью, с какой он расточал те самые свои способности, которые так высоко ценились. Слишком уж мало ему за них платили. А он не знает меры в своей щедрости — готов кому угодно услужить, — думала она. И денег не откладывает. Она ела его поедом за бедность, за подвиги, за приключения, за амурные дела, за известность; но в сердце своем ни разу от него не отступилась, словно он и вправду был ее сыном.

И сейчас, больная, такая больная, что уже чувствовала холодное, черное дыхание надвигающегося конца, она захотела его увидеть. Будто протянула онемевшую руку и ждала, чтобы та обрела былую цепкость. Но бедняга переоценила свои силы. Она не могла собраться с мыслями; в голове стоял туман и в глазах — туман. Слова не выговаривались, и только самая главная в

ее жизни забота, самое главное желание словно оставалось неподвластным смерти.

Капатас сказал:

— Я все это слышал уже много раз. Вы несправедливы, но меня это не задевает. Только сейчас, сдается мне, у вас не хватит сил говорить, а у меня недостанет времени слушать. Я занят, мне поручено очень важное дело.

С большим усилием она спросила его, правда ли, что у него нашлось время привезти ей врача. Ностромо кивнул.

Она обрадовалась; даже почувствовала себя лучше, узнав, что этот человек был так милостив и позаботился о тех, кто действительно нуждался в его помощи. Это доказывает его дружбу. Ее голос окреп.

— Священник нужен мне больше, чем доктор, — горячо заговорила Тереза. Головы она не подняла; только скосила глаза, чтобы видеть стоящего возле кровати Ностромо. — Ты съездишь за священником? Не торопись, подумай! Тебя просит умирающая!

Ностромо решительно покачал головой. Он не верил священникам, не верил в их причастность к промыслу божию. Врач может помочь делом, но священник как таковой просто ничто и ни добра,

ни зла сделать не может. Ностромо даже не разделял той неприязни, которую испытывал к ним старый Джорджо. Его больше всего поражала их полнейшая никчемность.

— Хозяйка, — сказал он, — вы уже и раньше так болели, а через несколько дней поправлялись. Мне нельзя больше задерживаться, у меня не осталось ни одной минутки. Попросите сеньору Гулд, пусть она пришлет вам священника.

Ему было неловко, он понимал, что отказывать в такой просьбе — кощунство. Тереза верит священникам, она исповедуется им. Но ведь все женщины исповедуются. Он не сделал ничего страшного. И все же у него на миг заныло сердце — он представил себе, как важна для нее последняя исповедь, если она верует хоть немного. Впрочем, хватит. У него и в самом деле не осталось ни одной минуты.

— Ты отказываешь мне? — изумилась она. — О… воистину, ты всегда останешься самим собой.

— Да поймите же, хозяйка, — твердил он. — Я должен спасти серебро, привезенное из Сан-Томе. Вы меня слышите? Это такая ценность, с какой не сравнятся сокровища, которые, как говорят, охраняют призраки и демоны на Асуэре. Истинная правда. Я решил: пусть это будет самый отчаян-

ный поступок за всю мою отчаянную жизнь.

Ее охватила бессильная ярость. Отказаться выполнить даже такую просьбу! Ностромо, глядевший сверху на ее опущенную голову, не видел ее лица, искаженного гневом и болью. Он только видел, как она дрожит. Ее опущенная голова вздрагивала. Широкие плечи тряслись.

— Ну что ж, Господь, надеюсь, смилуется надо мною. А ты уж постарайся, чтобы и на твою долю досталось что-нибудь, кроме укоров совести, которые когда-нибудь одолеют тебя.

Она тихонько засмеялась.

— Отхвати хоть раз в жизни изрядный куш, незаменимый Джан Батиста, общий любимец, для которого покой умирающей женщины значит меньше, чем похвалы людей, наделивших тебя дурацким прозвищем — и ничем больше — в обмен за твою душу и тело.

Ностромо шепотом выругался.

— Оставьте мою душу в покое, хозяйка, а о теле я позабочусь сам. Какой вред принесли вам люди, которые нуждаются во мне? Что вам все неймется, чем это я обездолил вас и вашу семью? Те самые люди, которыми вы меня все время попрекаете, столько сделали для старика Джорджо, сколько даже и не помышляли сделать для меня.

Он хлопнул себя ладонью в грудь; говорил он горячо, но не повышая голоса. Он подкрутил один ус, потом другой, и в его взгляде блеснуло беспокойство.

— Уж не я ли виноват, что никто, кроме меня, не может выполнить их поручений? Чепуху вы говорите, мать, да еще сердитесь… Зачем все это? Разве вам хотелось бы, чтобы я был глупенький и смирный и торговал арбузами на рынке или стал гребцом и катал в лодочке вдоль набережной пассажиров, как какой-нибудь подлипала-неаполитанец, у которого нет ни храбрости, ни доброго имени? Вам нравится, когда молодой человек живет как монах? Не верю. Вы ведь не хотите, чтобы ваша старшая дочь вышла замуж за монаха. Она пока еще ребенок. Чего вы боитесь? Сколько лет уже вы злитесь на меня за все, что я делаю; с тех самых пор, когда по секрету вы заговорили со мной насчет Линды и попросили ничего не рассказывать старому Джорджо. Муж для одной и брат для другой, так ведь вы сказали? Ну что ж, я не против. Мне нравятся ваши малышки, а мужчине рано или поздно надо жениться.

Но после этого, с кем бы вы ни говорили, вы всегда меня охаиваете. Почему? Вы, может быть, рассчитывали надеть на меня ошейник и по-

садить на цепь, как сторожевую собаку, каких держат на товарной станции? Посмотрите на меня, хозяйка, я тот же самый человек, который как-то вечером сошел на берег и сидел потом в крытой пальмовыми листьями хижине на окраине, где вы жили тогда, и все вам про себя рассказал. В те времена вы не были ко мне несправедливы. Что же случилось с тех пор? Кто я был? Никому не известный парень. А теперь? Доброе имя, говорит ваш Джорджо, — это сокровище, падрона.

— Они вскружили тебе голову своими похвалами, — задыхаясь проговорила женщина. — Расплачиваются с тобой словами. Твоя дурость доведет тебя до нищеты и до всяческих несчастий, и умрешь ты с голоду. Даже уличные воры будут смеяться над тобой, великий капатас.

Ностромо окаменел. Прошло несколько минут, а Тереза так и не взглянула в его сторону. Вызывающая хмурая улыбка исчезла с его лица, а затем он, не поворачиваясь, стал отступать к двери. Вот он уже скрылся за порогом, а она так и не посмотрела на него. Он и по лестнице спускался, пятясь, ошеломленный едкими речами этой женщины, так унизившей его доброе имя, которое он сам себе добыл и, конечно, хотел сохранить.

Внизу на кухне горела свеча, и на потолке и стенах этой просторной комнаты лежали густые тени, но красноватый отблеск пламени уже не освещал проем распахнутой, ведущей во двор двери. Карета, где сидели миссис Гулд и дон Мартин, двигалась к набережной, и верховой с факелом ехал впереди. Доктор Монигэм, оставшийся в гостинице, присел на угол деревянного стола, скособочив шею и скрестив на груди руки, морщинистый и бритый, брюзгливо скривив губы, равнодушно уставившись своими выпуклыми глазами в черный земляной пол. У плиты, на которой по-прежнему шумно кипела в котле вода, замер, будто пораженный внезапной мыслью, старик Джорджо, выставив вперед одну ногу и сжимая подбородок рукой.

— Adiós, viejo[125], — сказал Ностромо, ощупывая на поясе рукоятку револьвера и поправляя в ножнах кинжал. Он взял со стола синее пончо в красную полоску и надел через голову. — Adiós, приглядывай за вещами в моей спальне и, если от меня больше не будет вестей, отдай сундучок Паките. Там нет ничего ценного, только новое серапе, которое я привез из Мексики, да несколько

---

[125] Примечания: 125
Прощай, старик *(исп.).*

серебряных пуговиц с моей парадной куртки. Не беда! И пуговицы, и серапе должны приглянуться ее следующему любовнику, и он может не беспокоиться, что после смерти я застряну на земле, как те гринго, что бродят по Асуэре.

Доктор Монигэм саркастически улыбнулся. Лишь после того как старик Джорджо, еле заметно кивнув и не сказав ни единого слова, поднялся по узкой лестнице наверх, он обратился к Ностромо:

— В чем дело, капатас? Я думал, вы неспособны потерпеть неудачу.

Ностромо, высокомерно взглянув на врача, остановился на пороге, свертывая сигарету, затем чиркнул спичкой и, закурив, поднял ее над головой и держал так, пока пламя не добралось до пальцев.

— Нет ветра, — проворчал он. — Послушайте, сеньор, вы знаете, какое поручение мне дали?

Доктор угрюмо кивнул.

— Я сейчас как приговоренный к смерти, сеньор доктор. На этом побережье человек, который везет сокровища, на каждом шагу рискует напороться на нож. Понимаете вы это, сеньор доктор? Я, обреченный, буду плыть себе и плыть на баркасе, пока не встречу пароход, идущий на север,

и уж тогда по всей Америке заговорят о капатасе каргадоров из Сулако.

Доктор Монигэм хрипло рассмеялся. Ностромо, уже стоя на пороге, повернулся.

— Но если ваша милость сможет отыскать кого-нибудь другого, кто возьмется за это дело и сумеет его провернуть, я отступлюсь. Жизнь мне еще не совсем надоела, хотя я так беден, что могу увезти с собой все свое имущество, взвалив его на спину лошади.

— Вы слишком много играете в карты и не отказываете ни в чем смазливым девушкам, — с притворным простодушием заметил доктор Монигэм. — Так богатства не наживешь. Тем не менее никто из моих знакомых не считает вас бедняком. Я надеюсь, вы сорвете крупную ставку, если благополучно вывернетесь из этой авантюры.

— А какую ставку сорвала бы ваша милость? — спросил Ностромо и выпустил за порог дым от сигареты.

Доктор помолчал, прислушиваясь, не спускается ли кто по лестнице, и ответил со своим обычным отрывистым смешком:

— За то, что ходишь, будто бы приговоренный к смерти, как вы выразились, славный капатас,

единственной наградой могут послужить все эти сокровища, без изъятия.

Ностромо скрылся за порогом и что-то проворчал, рассерженный его язвительным ответом. Доктор Монигэм услышал торопливый стук копыт. Ностромо с бешеной скоростью ринулся в ночную тьму. Находившиеся возле пристани здания, принадлежащие компании ОПН, были освещены, но не успел он до них добраться, как ему встретилась коляска Гулдов. Впереди ехал всадник, и свет его факела освещал бегущих рысью белых мулов, дородного Игнасио на козлах, а рядом с ним Басилио с карабином в руках. Миссис Гулд крикнула ему: «Вас ожидают, капатас!» Она уже возвращалась, возбужденная и озябшая, сжимая в руке бумаги Декуда. Он вручил ей блокнот с просьбой переслать его сестре. «Возможно, это последние слова, которые я написал ей», — сказал он, пожимая миссис Гулд руку.

Капатас, не останавливаясь, промчался мимо. У въезда на пристань какие-то люди с винтовками метнулись ему наперерез и ухватились за стремя; остальные его окружили — это были каргадоры пароходной компании, которых капитал Митчелл поставил караульными. Услышав его голос, они подобострастно расступились. На дальнем

конце пирса, возле подъемного крана, где толпилась еще одна группа людей и вспыхивали в темноте сигары, с облегчением загомонили: «Нострómо! Нострómо!» Вокруг Чарлза Гулда сгрудилась бóльшая часть европейцев, живущих в Сулако, словно серебро было эмблемой их общего дела, символом могущества материальных интересов. Они собственноручно грузили его на баркас. Нострómо узнал высокую тонкую фигуру дона Карлоса Гулда, молчаливо стоявшего несколько в стороне, а рядом с ним другого, тоже высокого человека, — это был главный инженер, который сказал, обращаясь к Гулду: «Если уж суждено ему пропасть, то в миллион раз лучше, чтобы оно осталось на дне моря».

Мартин Декуд крикнул с баркаса: «До встречи, господа, когда мы снова обменяемся рукопожатиями и поздравим друг друга с созданием Западной республики». Лишь приглушенный ропот голосов отозвался на его громкий, звенящий выкрик; а затем ему показалось, будто пирс тихо уплывает в ночь; на самом деле это Нострómо отталкивал от берега баркас тяжелым и длинным веслом. Декуд стоял, не шевелясь; ему чудилось, будто они движутся куда-то ввысь. Раздался всплеск, потом еще, и ни звука больше, только глухой

стук подошв, когда Ностромо прыгнул на палубу. Он поднял парус; дыхание ветра обвевало щеки Декуда. Все исчезло в темноте, лишь светился фонарь, который капитан Митчелл подвесил к верхушке столба на конце пирса, чтобы Ностромо было легче выбраться из гавани.

В густой тьме, не видя друг друга, они молчали до тех пор, пока подталкиваемый порывами ветра баркас не скользнул в еще более глубокий мрак залива, благополучно миновав два почти неразличимых мыса, которые тянулись справа и слева от него. Ветер стих, затем снова подул, но так слабо, что баркас двигался бесшумно, будто плыл по воздуху.

— Ну вот мы и вышли в залив, — произнес спокойный голос Ностромо. Потом добавил: — Сеньор Митчелл опустил фонарь.

— Да, — сказал Декуд. — Теперь нас никто не разыщет.

Тьма, совсем уж непроглядная, окутала баркас со всех сторон. Вода в заливе была такой же черной, как тучи у них над головами. Ностромо раза два зажег спичку, чтобы взглянуть на компас, а после поворачивал штурвал, сообразуясь с дуновениями ветра, которые он чувствовал щекой.

Ни разу в жизни не испытывал Декуд ничего

подобного — таинственность бескрайних вод, еще недавно таких бурных и столь внезапно затихших, словно раздавленных тяжестью густого мрака. Гольфо-Пласидо уснул глубоким сном, укрывшись своим черным пончо.

Самым главным теперь было удалиться от берега и до рассвета добраться до середины залива. Где-то рядом находились Изабеллы. «Слева от вас, если вы будете смотреть вперед, сеньор», — внезапно сказал Ностромо. А когда умолк его голос, тишь неимоверная — ни огонька, ни звука — с такою мощью навалилась на Декуда, что заглушила все его чувства, будто очень сильный наркотик. По временам он даже не понимал, спит он или бодрствует. Как человек, охваченный сном, он ничего не видел, ничего не слышал. Даже когда он подносил к лицу руку, то не мог ее разглядеть, словно ее и не было. Этот внезапный переход от волнения, страстей, опасностей, от всего, что они видели и слышали на берегу, к безмолвию и тьме был настолько полным, что напоминал, пожалуй, смерть, однако мысли его были живы. В этом состоянии, похожем на вечный покой, они мелькали, отчетливые, легкие, словно те неземные светлые сны, что снятся нам, живущим на земле, и, возможно, тревожат души тех, кого

смерть уже освободила от мирских сожалений и надежд. Декуд встряхнулся и слегка поежился, хотя было тепло. У него возникло очень странное ощущение, будто душа его всего лишь миг назад вернулась в тело из глубочайшей тьмы, бесследно поглотившей землю, море, небо, горы и рифы.

Послышался голос Ностромо, хотя и он, стоящий у румпеля, тоже, казалось, растворился во тьме без следа.

— Вы не заснули там, дон Мартин? Если бы такое было возможно, я бы, пожалуй, подумал, что я тоже вздремнул. Удивительная вещь мне примерещилась: словно где-то рядом с нашим баркасом кто-то стонет, всхлипывает, охает; в общем, звук, похожий и на вздох, и на плач.

— Странно, — пробормотал Декуд, лежавший на прикрытых парусиной тюках с брусками серебра. — Как вы считаете, возможно, чтобы в заливе оказалось еще какое-нибудь судно? Мы ведь не способны его разглядеть.

Это было так нелепо, что Ностромо даже засмеялся. Совершенно абсурдная мысль. Вокруг царило столь полное глубокое безлюдье, что его можно было даже ощутить. А когда перестал дуть ветер, темнота навалилась на Декуда, как камень.

— Кошмарное ощущение, — пробормотал он. — Мы хоть немного продвигаемся, капатас?

— Не быстрее, чем запутавшаяся в траве букашка, — ответил Ностромо; казалось, его голос приглушала эта безжалостная тьма, окутавшая все вокруг теплой и плотной пеленою. Иногда он умолкал надолго, делался невидим и неслышим, словно каким-то волшебством на время уходил с баркаса.

После того как перестал дуть ветер, Ностромо управлял баркасом вслепую и даже отдаленно не представлял себе, куда же он движется в этом беспросветном мраке. Он все пытался разглядеть острова. Но их совсем не было видно, будто они опустились на дно. Наконец он улегся на тюки рядом с Декудом и прошептал ему на ухо, что если из-за безветрия рассвет застанет их вблизи от гавани, то они смогут на веслах пробраться за скалами к гористой части Большой Изабеллы и спрятать там баркас. Его встревоженность и мрачность удивили Декуда. Для него их поездка являлась чисто политической акцией. Просто по ряду причин необходимо, чтобы серебро не попало в руки к Монтеро, но его спутник воспринимал их предприятие совсем иначе.

Кабальеро, оставшиеся там, на берегу, кажется,

ни малейшего представления не имеют, какого рода поручение взвалили на него. Возможно, под воздействием окружавшей их унылой тьмы Ностромо нервничал и возмущался. Декуд был изумлен. Капатас, глубоко равнодушный к опасностям, представлявшимся его спутнику весьма реальными, в то же время позволял себе негодовать, что ему так бездумно поручили дело, связанное со смертельным риском. Это более опасно, заявил Ностромо, засмеявшись, затем выругавшись, чем послать кого-нибудь в глубокие ущелья Асуэры за сокровищами, которые, как говорят, охраняют демоны и привидения.

— Сеньор, — сказал он, — нам непременно нужно встретить этот пароход. Нам придется плавать по морю и ожидать его до тех пор, пока мы не съедим и не выпьем все, что имеется тут на борту. А если нам не повезет и мы его пропустим, нам нельзя возвращаться на берег, и мы останемся в открытом море, ослабеем, а может быть, сойдем с ума и умрем, и наши трупы будут здесь валяться, пока какой-нибудь из пароходов компании не наткнется на баркас с двумя мертвецами, которые ценою жизни спасли серебро. Это единственный способ спасти его, сеньор; потому что — неужели вы не понимаете? — высадиться на берег даже в

сотне миль отсюда, имея его при себе, — все равно что подставить голую грудь под кинжал. Это поручение свалилось на меня, будто смертельная болезнь. Узнает кто-нибудь о нем, и мне конец, и вам тоже, сеньор, ведь нас схватят вместе. Здесь достаточно серебра, чтобы обогатить целую провинцию, не говоря уже о побережье, где живут одни лишь воры и бродяги. Сеньор, они решат, что сами небеса послали им эти богатства прямо в руки, и не задумываясь перережут нам глотки. Я не рискнул бы довериться даже самой светлой личности, обитающей на этом диком побережье. Даже если мы по первому же требованию отдадим эти тюки, нас все равно могут убить. Вы это понимаете или объяснить подробней?

— Объяснять не нужно, — с несколько подчеркнутым равнодушием отозвался Декуд. — Я и сам отлично понимаю, что обладание этими сокровищами примерно то же, что смертельная болезнь для тех, кто оказался в нашем положении. Но ведь надо же было вывезти их из Сулако, а кому это поручить, как не вам?

— Конечно мне; да только я не верю, — сказал Ностромо, — что, если бы эти сокровища пропали, дон Карлос Гулд так уж обеднел бы. Их еще много там, внутри горы. В безветренные ночи,

когда я, бывало, закончив работу в порту, ездил к одной девушке в Ринкон, я слышал, как они катятся и летят по желобам. Вот уже много лет куски серебряной руды катятся по этим желобам с шумом, похожим на рокот грома, и шахтеры говорят, что в сердцевине горы их достаточно, чтобы грохотать еще долгие годы. Тем не менее позавчера мы сражались, спасая серебряный груз от толпы, а сегодня ночью меня вдруг отправляют в эту треклятую темень, из какой и выбраться-то невозможно, потому что нет ветра, словно это серебро последнее на свете, и на него надо купить хлеба для голодных. Ха-ха! Ничего, я увезу его даже без ветра, и это станет самым славным и самым отчаянным приключением из всех, которые случались в моей жизни. Обо мне будут рассказывать и тогда, когда нынешние дети сделаются взрослыми, а взрослые — стариками. Ну-ну! Мне сказали, это серебро не должно достаться монтеристам, что бы ни произошло с Нострómo, капатасом; и оно им не достанется, поверьте, поскольку ради безопасности его подвесили к шее Нострómo.

— Да, я понимаю, — буркнул Декуд. Он и в самом деле понимал, что у его спутника свой, совершенно особый взгляд на дело, которое им

поручили.

Нострómо перестал рассуждать о том, позволительно ли эксплуатировать способности человека, не выяснив как следует, что представляет собой этот человек, и предложил вставить длинные весла в уключины и подвести баркас поближе к Изабеллам. Ничего хорошего не получится, если солнце взойдет и осветит баркас с сокровищами в какой-то миле от входа в порт. Обычно чем гуще мрак, тем резче порывы ветра, которые, как он рассчитывал, помогут им продвинуться вперед; но этой ночью укрытый облачным пончо залив не дышал и напоминал скорее умершего, чем спящего.

Мягкие руки дона Мартина нестерпимо болели, когда он тянул к себе что было сил огромное весло, ухватившись за его толстую рукоятку. Стиснув зубы, он мужественно продолжал грести. Как и Нострómо, он попал во власть тревожного ощущения нереальности, и ему казалось, будто, орудуя сейчас тяжелым веслом, он совершает нечто необходимое для того, чтобы обрести новую реальность, а любовь к Антонии облагораживала это странное и непривычное занятие. Впрочем, как ни старались они оба, тяжело нагруженный баркас еле двигался. В промежутках между

ритмичными всплесками весел было слышно, как вполголоса ругается Ностромо. «Петли тут какие-то выписываем, — бормотал он. — Черт... островов совсем не видно».

Дон Мартин не умел грести и вскоре выбился из сил. Время от времени на него наваливалась ужасная слабость и охватывала его целиком — от кончиков натруженных ноющих пальцев до каждой клеточки тела, — а потом ему делалось жарко, и силы вновь возвращались к нему. Он сражался, разговаривал, страдал душевно и физически, не давая отдыха ни уму, ни телу сорок восемь часов подряд. Он ни разу не передохнул, почти не ел, его мысли и чувства находились в непрестанном напряжении. Даже любовь к Антонии — источник вдохновения и сил — обернулась нестерпимо трагичной гранью во время их недолгой встречи у постели дона Хосе. И вот внезапно все, все это кончилось, и он вышвырнут какой-то силой в черный залив, безмолвный, застывший, мрачный, и ему в этом унылом затишье еще трудней, еще мучительнее ворочать веслом. Он представил себе, как опускается на дно баркас, и неожиданно почувствовал: мысль о гибели ему приятна. «Сейчас я начну бредить», — подумал он. Лишь большим усилием воли он сумел

унять дрожь в руках и ногах, внутреннюю дрожь, порожденную непосильным нервным напряжением, и бешеное биение сердца в груди.

— Передохнем, капатас, — предложил он беспечно. — До рассвета еще много часов.

— Это верно. По-моему, нам осталось пройти милю или чуть больше. Если у вас устали руки, конечно, отдохнем. Другого отдыха я вам не могу обещать, раз уж вы обязались сохранить эти сокровища, хотя, если они не сохранятся, не обеднеет ни один бедняк. Нет, сеньор; не будет нам ни отдыха, ни покоя до тех пор, пока мы не разыщем идущий на север пароход или какое-нибудь судно не наткнется на баркас и не обнаружит наши трупы на тюках с серебром, принадлежащим этому англичанину. А еще лучше — не так. Por Dios![126] Прежде чем голод и жажда лишат меня сил, я возьму топор и обрублю планшир до ватерлинии. Клянусь всеми святыми и чертями, я скорее утоплю сокровища в море, чем отдам их в чужие руки. Раз уж наши кабальеро соизволили почтить меня таким милым поручением, пусть знают, что они не ошиблись во мне.

Декуд лежал на тюках и тяжело дышал. Все ощу-

---

[126] Примечания: 126
Клянусь Богом! *(исп.)*

щения, все чувства, побуждавшие его когда-либо к действию, представлялись ему сейчас кошмарным сном. Даже страстная любовь к Антонии, которая неумолимо им завладела и извлекла его из глубин всегда присущего ему скептицизма, сейчас утратила черты реальности. На миг его охватили полная апатия и равнодушие, не лишенные, впрочем, приятности.

— Я убежден, что никому их тех, кто дал нам это поручение, даже в голову не приходило толкать вас на такой отчаянный поступок.

— Тогда зачем они так сделали? Шутили? — злобно огрызнулся человек, обозначенный в платежной ведомости штатных сотрудников компании ОПН в Сулако как «десятник портовых грузчиков». — Получается, ради шутки меня разбудили, когда я отсыпался после двух суток уличных боев, и велели мне поставить жизнь на плохую карту? А ведь здесь все знают, что я невезучий игрок.

— Поскольку всем известно, капатас, как вам везет в любви, — усталым и протяжным голосом сказал Декуд, в надежде несколько смягчить разгневанного собеседника.

— Послушайте меня, сеньор, — не унимался Ностромо. — Я же сразу согласился, отказываться

не стал. Как только мне сказали, что я должен сделать, я сразу понял, какой это риск, и тотчас решил: согласен. Каждая минута была дорога. Сперва я ждал вас. Затем, когда мы прибыли в «Объединенную Италию», старик Джорджо послал меня за англичанином-врачом. А потом, как вам известно, меня пожелала видеть умирающая. Я не хотел к ней идти, сеньор. Я уже чувствовал: это проклятое серебро все сильнее давит мне на плечи, а бедняжка знала ведь, что умирает, и я подумал, не попросит ли она меня съездить за священником. Падре Корбелан, который никого не боится, приехал бы и слова не сказал; но падре Корбелан далеко, в шайке у Эрнандеса, где он в полной безопасности, а наши местные жители, которые с удовольствием разодрали бы его на части, не жалуют священников. Во всем городе не сыщется ни единого попа, который согласился бы сегодня ночью высунуть свою жирную физиономию из норы, чтобы спасти христианскую душу, разве только под моей защитой. Она все это понимала. Я притворился, будто не верю, что она умирает. Сеньор, я отказался привести священника к умирающей женщине…

В темноте послышалось, как Декуд зашевелился, меняя позу.

— Верно, верно, отказались, капатас! — воскликнул он уже не прежним тоном. — Ну что ж, знаете ли… это, в общем, хорошо.

— Вы неверующий, дон Мартин? Я тоже. Так стоило ли тратить время? Но она… она-то верует. Не дает мне эта мысль покоя, просто сердце надрывает. Она ведь, может, уже умерла, а мы болтаемся тут без толку, и ветра нет как нет. Будь они прокляты, все эти их суеверия. Умирала и небось думала, что я ее лишил царства небесного. Нет уж, это непременно будет самое отчаянное дело в моей жизни.

Декуд промолчал. Он глубоко задумался, пытаясь проанализировать, какие чувства пробудило в нем то, что он услышал сейчас от Ностромо. В темноте опять раздался голос капатаса:

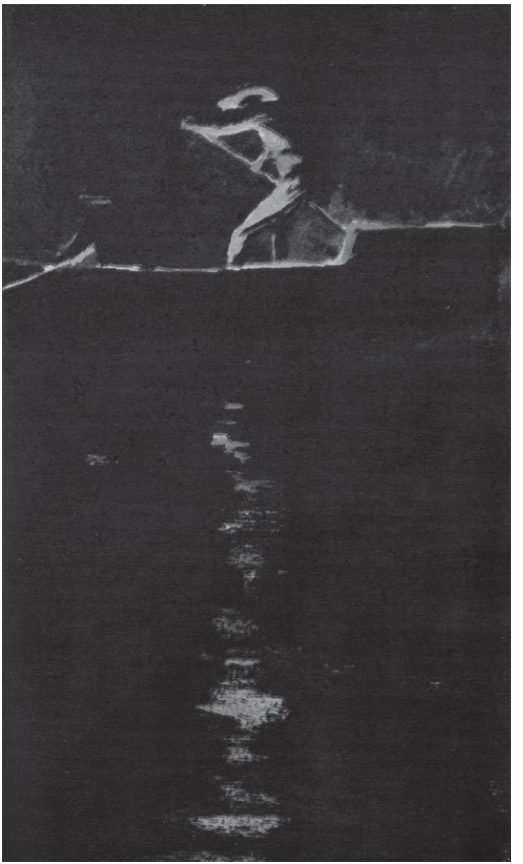
— Дон Мартин, пора браться за весла и искать Изабеллы. Если мы их не разыщем до начала дня, нам останется одно — пустить баркас ко дну. Не забывайте, сюда вскоре может прибыть пароход с солдатами из Эсмеральды. Сейчас поплывем прямо. Я нашел огарок свечи, и нам придется рискнуть и засветить огонек, чтобы сверяться с компасом. Ветра нет, свечу не задует… будь он проклят, этот черный залив!

Огонек свечи горел почти ровно. Он клочками

выхватывал из темноты обшивку и шпангоуты на пустой части баркаса. Ностромо греб стоя. Декуд видел только нижнюю половину его тела, обвязанный вокруг талии красный шарф, поблескивающую рукоятку заткнутого за пояс револьвера и деревянную ручку длинного кинжала на боку. Декуд собрался с силами и тоже принялся грести. Ветер был настолько слаб, что не мог задуть свечу, но пламя ее слегка покачивалось, поскольку баркас медленно продвигался вперед. Он был так велик, что при всем старании им не удавалось делать больше мили в час. Но и при этой скорости они успевали доплыть до Изабелл задолго до начала дня. У них оставалось еще добрых шесть часов в запасе, а расстояние от гавани до Большой Изабеллы не превышало двух миль. Декуд понял, что только нетерпение, снедавшее капатаса, побуждает его так спешить.

Время от времени они переставали грести и вслушивались, не приближается ли пароход из Эсмеральды. В такой тиши можно было издали услышать шум плывущего по морю парохода. Увидеть, разумеется, ничего было нельзя. Они не видели даже друг друга. Даже парус, до сих пор не снятый, невозможно было разглядеть. Отдыхали они очень редко.

— Caramba! — внезапно воскликнул Ностромо во время одного из перерывов, когда оба они перестали грести и стояли, опираясь на рукоятки весел. — Что случилось? Не расстраивайтесь, дон Мартин.



Декуд уверил его, что он нисколько не расстроен. Стоявший на корме Ностромо замер и прислушивался несколько минут, затем шепотом подозвал к себе Мартина.

Склонившись к самому уху Декуда и даже прикасаясь к нему слегка губами, он заявил, что, по его убеждению, на баркасе кто-то есть, кроме них. Он уже два раза слышал сдавленное рыдание.

— Сеньор, — прошептал он с изумлением и ужасом. — Я уверен, что тут кто-то плачет.

Декуд ничего этого не слышал и недоверчиво отнесся к сообщению Ностромо. Впрочем, выяснить, как обстоят дела, было нетрудно.

— Диво дивное, — пробормотал Ностромо. — Может, кто залез сюда и спрятался, когда баркас стоял у пристани?

— Вы говорите, похоже на плач? — спросил Декуд, тоже понизив голос. — Кем бы ни был этот человек, если он плачет, он не может быть очень опасным.

Они перелезли через сложенные посредине судна тюки с драгоценным металлом, стали шарить по палубе. И нащупали наконец ноги какого-то человека; он был тих и неподвижен, как мертвец. Молчали и они, порядком напугавшись; не произнеся ни слова, ухватили его за ворот и

под мышки и вытащили на корму обмякшее, безжизненное тело.

Огарок осветил круглую физиономию с крючковатым носом, черными усами и маленькими пейсами. Человек был на редкость грязен. Давно не бритые щеки поросли щетиной. Толстые губы слегка приоткрыты, но глаза зажмурены. С немалым изумлением Декуд узнал сеньора Гирша, торговца кожами из Эсмеральды. Узнал его и Ностромо. Озадаченно воззрились они друг на друга, обнаружив это простертое между ними тело, босые ступни которого приходились выше головы, тело человека, с нелепым упорством притворявшегося, будто он то ли спит, то ли потерял сознание, то ли умер.

Глава VIII

Столь необычная находка на мгновенье заглушила их собственные тревоги и чувства. Чувства же лежавшего на палубе сеньора Гирша заключались, вероятно, в том, что он испытывал смертельный ужас. Долгое время он не подавал признаков жизни, пока наконец уговоры и увещевания Декуда, а скорее того слова Ностромо, который раздраженно сказал, что человек этот,

наверное, умер, а значит, его надо выбросить за борт, не принудили сеньора Гирша открыть сперва один глаз, а затем — второй.

Оказалось, что ему не удалось найти надежных попутчиков и выехать из Сулако. Квартировал он у Ансани, владельца универсального магазина на Пласе. Но когда разразился мятеж, он, не дождавшись дня, выбежал из дому, причем так поспешно, что забыл надеть ботинки. Сломя голову выскочил он в одних носках и, держа в руке шляпу, бросился в сад при доме Ансани. Страх придал ему прыти, и он успешно перелез через несколько невысоких стен, а затем очутился в глухом переулке среди заросших зеленью развалин францисканского монастыря. Обезумев от отчаяния, он врезался в самую гущу колючих кустов, где основательно исцарапался и разодрал одежду в клочья. Он пролежал там, притаившись, весь день и от страха, а также от жары ему так сильно хотелось пить, что во рту все пересохло, и язык прилип к нёбу.

Три раза в монастырь врывалась буйная толпа, разыскивая с криками и бранью падре Корбелана; но когда наступил вечер, Гирш все еще лежал в кустах, уткнувшись лицом в землю, и тогда он подумал, что страшнее всего тишина,

что он умрет, не в силах ее вынести. Не очень ясно представляя себе, что побуждает его покинуть это убежище, он выбрался из кустарника и, никем не замеченный, выскользнул из города в безлюдные переулки окраин. Он бродил в темноте у железнодорожных путей, но в голове у него все смешалось от страха, и он даже не решился подойти к кострам, которые жгли пикеты рабочих-итальянцев, охранявших железнодорожную линию. Вероятно, у него возникла не вполне отчетливая мысль укрыться на товарной станции, но там на него с лаем бросились собаки; подняли крик караульные; кто-то выстрелил наугад в темноту. Он пустился наутек. По чистейшей случайности он побежал в сторону зданий компании ОПН. Дважды он спотыкался о трупы людей, убитых днем во время уличных боев. Впрочем, живых он боялся сильнее. Он крался, полз, то припадал к земле, то вдруг бросался бегом, руководимый каким-то животным инстинктом, прячась от света и голосов. Он хотел кинуться в ноги капитану Митчеллу и попросить убежища в одном из зданий компании.

Он уже приближался к ним ползком, как вдруг один из караульных громко крикнул: «Quién

vive?»[127] Неподалеку от него лежало несколько убитых, и он тотчас распластался на земле рядом с уже остывшим трупом. Кто-то громко сказал: «Там, наверное, ползает один из этих раненых мерзавцев. Прикончить его, что ли?» Другой голос ответил, что идти без фонаря рискованно: а вдруг это какой-либо мятежный «либерал» специально поджидает случая ткнуть ножом в живот честному человеку. Гирш не стал слушать дальше, а поспешно отполз к краю пристани и спрятался среди пустых бочек. Спустя немного времени мимо его убежища прошло несколько человек, которые разговаривали и курили. Ни на секунду не задумавшись, могут ли они нанести ему какой-нибудь вред, он опрометью бросился к дальнему концу пирса, увидел там стоявший на якоре баркас и прыгнул в него. Обуреваемый желанием укрыться как можно надежней, он пополз к самому носу, где и лежал, скорее мертвый, чем живой, мучаясь от голода и жажды, почти теряя сознание от ужаса, как вдруг услышал шаги и голоса рабочих-европейцев, сопровождающих вагонетку с серебром, которую толкала по рельсам артель каргадоров.

---

[127] Примечания: 127
«Эй, кто там?» *(исп.)*

Из реплик этих людей Гирш сразу же понял, что происходит, но ничем не выдал своего присутствия, опасаясь, как бы его не прогнали на берег. Им целиком завладело одно настойчивое, непреодолимое желание: во что бы то ни стало выбраться из этого ужасного Сулако. Сейчас он очень сожалел об этом. Он слышал, что Ностромо говорил Декуду, и предпочел бы снова оказаться на берегу. Он не испытывал никакого желания участвовать в отчаянном деле… да к тому же, находясь на судне, откуда даже некуда бежать. Страждущий дух его не вынес испытаний, Гирш зарыдал, и обладавший острым слухом капатас его немедля обнаружил.

Его усадили, прислонив к борту спиной, и он, всхлипывая, продолжал печальную повесть о своих приключениях, пока голос его не прервался, а голова не поникла на грудь. «Воды», — прошептал он с усилием. Декуд поднес к его губам бидон. Гирш пришел в себя необычайно быстро и сразу же вскочил. Ностромо грозно приказал ему идти вперед. Гирш был из тех людей, которых страх подхлестывает, как бич, и имел преувеличенное представление о жестокости капатаса. С редкостным проворством он скрылся в темноте в носовой части баркаса. Было слышно, как он лезет по бре-

зенту; потом грузно шмякнулся о палубу и охнул. А затем ни звука, словно, свалившись с тюков, он свернул себе шею. Ностромо угрожающе гаркнул в темноту:

— Лежать тихо! Не шевелиться. Даже если будешь громко дышать, подойду и всажу тебе в голову пулю.

Когда люди в опасности, одно лишь присутствие труса, как бы смирно он себя ни вел, делает положение еще более ненадежным. Возбуждение Ностромо улеглось, и на смену досаде пришла угрюмая задумчивость. Декуд негромко, будто рассуждая сам с собой, заметил, что в конце концов это фантастическое обстоятельство мало что меняет. Непонятно, какой вред может принести этот человек. Самое большее — будет путаться под ногами, как неодушевленный и бесполезный предмет — деревянный чурбан, к примеру.

— Я не стал бы без крайней нужды сбрасывать с палубы чурбан или бревно, — спокойно произнес Ностромо. — Случись какая-либо поломка, оно может пригодиться. Но в нашем положении такого человека, как он, следует выбросить за борт. Даже если бы он оказался храбрым, как лев, он нам не нужен. Мы ведь плывем на этом баркасе не для того, чтобы просто спастись. Когда смелый

человек, спасая свою жизнь, проявляет изобретательность и отвагу, в этом нет ничего дурного, сеньор; но вы же слышали, что он рассказывал, дон Мартин. Надо поистине быть незаурядным трусом, чтобы проделать все то, что привело его сюда… — Ностромо помолчал. — А трусу на этом баркасе не место, — добавил он сквозь зубы.

Декуду нечего было возразить. Они находились в таком положении, когда спорить и проявлять щепетильность нельзя. Потерявший голову от страха человек мог в любой момент и самым неожиданным образом оказаться опасным. Ведь очевидно, что с Гиршем нельзя поговорить, вразумить его и убедить вести себя разумно. Об этом вполне достоверно свидетельствовала вся история его бегства. Декуд от души пожалел, что он не умер тогда же от страха. Природа, создавшая его таким, с безжалостной точностью рассчитала ту дозу смертоносного ужаса, которую он в состоянии перенести и остаться в живых. Он, конечно, заслуживал сострадания. Декуд, одаренный достаточным воображением, чтобы посочувствовать ему, решил не вмешиваться и не препятствовать Ностромо действовать так, как он сочтет нужным. Но Ностромо не предпринял никаких шагов. И судьба сеньора Гирша повисла

на волоске в непроглядной тьме залива, будучи предана на волю обстоятельств, предугадать которые никто не мог.

Неожиданно Ностромо протянул руку и погасил свечу. У Декуда возникло такое чувство, будто его спутник одним движением разрушил мир торговых сделок, любви, революций, в котором до сих пор он с приятным сознанием своего превосходства смело анализировал связь причин и следствий, а также страсти, включая свою.

У него даже перехватило дух. Не так легко освоиться с новизной положения. Всегда уверенный в своем уме, он страдал сейчас, лишенный того единственного оружия, которым пользовался мастерски. Но разум не способен проникнуть сквозь тьму, окутывающую Тихий залив. Единственное, на что он мог положиться, — самонадеянное тщеславие его спутника. Откровенное, лишенное сложностей, наивное, действенное тщеславие. Декуд, который во всем сейчас от него зависел, пытался полностью его понять. Он заметил, что при всей многогранности этой столь разнообразно проявляющей себя натуры Ностромо всегда действует под влиянием одной-единственной побудительной причины. Вот почему, невзирая на непомерное тщеславие, этот человек так оше-

ломляюще прост. Но сейчас что-то осложнилось. Нострómо возмущен, что на него взвалили поручение, выполняя которое так легко потерпеть крах. «Любопытно, — подумал Декуд, — как бы он вел себя, если бы меня тут не было».

Нострómо снова принялся ворчать:

— Трусу на этом баркасе не место. Тут и храбрости-то недостаточно. У меня меткий глаз и твердая рука; никто не видел меня усталым или неуверенным; но, клянусь богом, дон Мартин, меня послали в эту черную тишь выполнять такое дело, при котором не помогут ни меткий глаз, ни твердая рука, ни смекалка… — Он шепотом выпалил замысловатую череду испанских и итальянских ругательств. — В таком деле лишь одним возьмешь — отчаянностью.

Странно контрастировали эти слова с царившим вокруг покоем, с бесстрастной недвижностью вод. Внезапно послышался рокот дождя; Декуд снял шляпу и, когда волосы его намокли, вздохнул свободно. Затем он почувствовал, как его щеки обдувает струйка воздуха. Баркас тронулся с места, но дождь сильно его обогнал. Теперь капли уже не падали им на головы и руки, их шепот замер далеко впереди. Нострómо удовлетворенно хмыкнул и взялся за штурвал,

что-то негромко приговаривая, — так делают иногда моряки, призывая ветер дуть посильнее. За последние три дня Декуд еще ни разу так отчетливо не чувствовал, что он в полной мере обладает достоинством, которое капатас именует отчаянностью.

— По-моему, снова начинается дождь, — сказал он лениво и спокойно. — Надеюсь, он пройдет стороной.

Ностромо тут же прекратил свою беседу с ветром.

— Вам кажется, снова дождь пошел? — спросил он с сомнением. Тьма уже не была такой густой. Декуд мог теперь разглядеть силуэт своего спутника и даже парус — он проступал в ночной темноте, словно огромная снежная глыба.

Звук, услышанный Декудом, резко разносился по воде. Ностромо узнал этот звук — смесь шороха и шипенья, — идущий во все стороны от парохода, который движется по гладкой поверхности моря в безветренную ночь. Это могло быть только судно, захваченное гарнизоном Эсмеральды. Пароход шел без огней. Шум паровой машины, с каждой минутой становившийся все громче, временами совсем умолкал, затем внезапно начинался снова, и при этом каждый раз гораздо

ближе, будто это судно, которого они не только не видели сами, но даже не могли догадаться, в какой же оно стороне, направлялось прямо к ним. А баркас тем временем медленно и бесшумно шел под парусом, и ветер дул так слабо, что, только перегнувшись через борт и опустив в воду руку, Декуд мог убедиться, что они все же не стоят на месте. Безразличие и сонливость покинули его. Он был рад, что баркас движется вперед. После всей этой тишины шум парохода казался непомерно, ошеломляюще громким. И особенно пугало, что они по-прежнему его не видят. Внезапно все утихло. Пароход остановился, но так близко, что, когда он выпустил пар, воздух задрожал у них прямо над головами.

— Стараются определить свое местоположение, — прошептал Декуд. Он снова перегнулся через борт и опустил руку в воду. — Совсем неплохо движемся, — сообщил он Нострому.

— Похоже, мы пройдем прямо у него перед носом, — озабоченно заметил капатас. — Это то же, что играть со смертью в жмурки. Лучше нам остановиться. Ни в коем случае нельзя, чтобы нас обнаружили.

От волнения его голос стал хриплым. Лицо по-прежнему скрывалось в темноте, только белки

блестели. Он крепко ухватил Декуда за плечо.

— Единственное, что мы можем сделать, чтобы этот пароход, который кишмя кишит солдатами, не захватил сокровища. Будь это другой пароход, он не стал бы выключать огни. А на этом, вы обратили внимание, даже искорка не блеснет, так что совсем нельзя понять, где он находится.

Декуд стоял как парализованный; только мысли с неистовой скоростью проносились в голове. За одну секунду он вспомнил безутешный взгляд Антонии, когда он уходил, а она осталась у постели отца в мрачном доме Авельяносов, где окна закрыты ставнями, зато распахнуты все двери, в доме, покинутом всеми слугами, кроме старого негра у ворот. Вспомнил, как в последний раз был в Каса-Гулд, какие доводы приводил, вспомнил даже интонации своего голоса, непоколебимость Чарлза и лицо его жены, такое бледное от усталости и тревоги, что глаза будто изменили цвет и стали черными.

В мозгу у него проносились целые фразы из воззвания, которое, как он решил, должен разослать Барриос из своей штаб-квартиры в Каите, как только прибудет туда; зародыш нового государства, воззвание сепаратистов, которое он, прежде чем уйти из дома Авельяносов, тороп-

ливо прочел лежащему в постели дону Хосе, все время чувствуя на себе пристальный взгляд его дочери. Богу ведомо, понял ли хоть что-нибудь старый дипломат; говорить он не мог, но Декуд видел, как поднялась над покрывалом его рука; она двигалась так, словно старик хотел его перекрестить, — жест благословения, согласия.

У Декуда и сейчас лежал в кармане черновик воззвания, написанный карандашом на нескольких листках бумаги, на каждом из которых жирным шрифтом было напечатано наверху: «УПРАВЛЕНИЕ РУДНИКОВ САН-ТОМЕ. СУЛАКО. РЕСПУБЛИКА КОСТАГУАНА». Он писал как бешеный за столом Чарлза Гулда, торопливо хватая листок за листком. Миссис Гулд несколько раз заглянула ему через плечо; но сеньор администрадор, стоявший в том же кабинете, широко расставив ноги, даже взглядом его не удостоил, когда он дописал до конца. Отмел самым решительным образом. Вероятно, движимый презрением, а не осторожностью: поскольку ни слова не сказал против того, что бланки «управления» используются для столь компрометирующего документа. И этим проявил пренебрежение — пренебрежение истинных англичан к заурядному благоразумию, как будто все, находящееся

за гранью их собственных мыслей и чувств, не заслуживает серьезного отношения. В течение нескольких секунд Декуд люто ненавидел Чарлза Гулда и даже ощутил неприязнь к миссис Гулд, чьим заботам — правда, без слов — вверил безопасность Антонии. Лучше тысячу раз погибнуть, чем быть обязанным таким людям, мысленно воскликнул он. Рука Ностромо, все еще сжимавшая его плечо и впивавшаяся в него все сильнее, наконец заставила его опомниться.

— Темнота — наш друг, — прошептал ему на ухо капатас. — Я хочу опустить парус, и пусть нас спасает этот черный залив. Если мы будем стоять тихо с голой мачтой, нас никто не разглядит. Так что нужно поспешить, покуда пароход не подошел ближе. Ведь будет скрипеть блок, — допустим, даже негромко — этого достаточно, чтобы сокровища Сан-Томе попали в руки тем бандитам. — Он двигался бесшумно, как кошка. Декуд не слышал ни звука, и лишь потому, что исчезло похожее на снежную глыбу квадратное пятно, он понял: рея опущена так осторожно, будто сделана из стекла. Уже через секунду он услыхал рядом с собой тихое дыхание Ностромо.

— Вы лучше совсем не двигайтесь с места, дон Мартин, — посоветовал капатас. — Вы можете

споткнуться или сдвинуть что-то, и будет шум. Тут валяются весла, багры. Если вам дорога жизнь, не шевелитесь. Por Dios, дон Мартин, — добавил он свистящим шепотом, но вполне дружелюбно, — я сейчас на все готов, и, если бы не знал вашу милость, как человека храброго, способного выстоять до конца, что бы ни случилось, я воткнул бы вам нож в сердце.

Вокруг царила мертвая тишина. Трудно было себе представить, что рядом стоит пароход, битком набитый людьми, и что с мостика этого парохода напряженно всматриваются в темноту множество глаз в надежде увидеть берег. Пар был полностью выпущен, и, вероятно, пароход остановился достаточно далеко от баркаса, чтобы те, кто на нем находились, могли что-либо услышать.

— Охотно верю, капатас, — еле слышно заговорил Декуд, — только в этом нет необходимости. Я не стану метаться по палубе по другим причинам, а не оттого, что испугался вашего ножа. Меня вы можете не опасаться. Но вы не забыли…

— Я разговаривал с вами открыто, как с человеком, таким же отчаянным, как я, — пояснил капатас. — Мы должны спасти наш груз от монтеристов. Я трижды говорил капитану Митчеллу,

что предпочел бы поехать один. И дону Карлосу Гулду то же самое говорил. Это было в Каса-Гулд. За мной послали. Там были дамы, и, когда я попробовал объяснить, почему мне не хочется брать вас с собой, они обе пообещали мне большое вознаграждение, если я вас спасу. Довольно странно разговаривать так с человеком, которого посылаешь почти на верную смерть. Эти господа, кажется, не в состоянии понять, какие они дают поручения. Я говорю им, что ничего не могу для вас сделать. Вы бы оказались в большей безопасности, если бы попали в шайку Эрнандеса. Вполне могли бы выехать из города верхом, и самое страшное, что грозило бы вашей жизни, — случайная пуля, пущенная вам вдогонку в темноте. Но они будто оглохли. Мне пришлось пообещать, что я буду ждать вас у ворот, ведущих в гавань. И я дождался вас. А сейчас, поскольку вы человек смелый, вы находитесь в такой же безопасности, как это серебро. Не в большей и не в меньшей.

В тот же миг, словно откликнувшись на его слова, невидимый в темноте пароход тронулся с места, правда, на малой скорости, что легко было определить по неторопливым ударам винта. Он продвинулся на порядочное расстояние, судя по

звуку, но к баркасу не подошел. Наоборот, даже немного от него удалился, а затем все стихло опять.

— Ищут Изабеллы, — прошептал Ностромо, — как только найдут, прямым курсом направятся к гавани, чтобы захватить таможню и серебро. Видели вы когда-нибудь Сотильо? Красивый малый, и голос такой бархатный. Когда я сюда приехал, я его часто встречал на проспекте, он беседовал с сеньоритами, сидевшими у окон, и все время показывал свои белые зубы. Но один из моих каргадоров, который раньше служил в солдатах, рассказал мне, что однажды этот Сотильо, когда его послали вербовать рекрутов в дальней части Кампо, велел забить одного человека до смерти. Ему, конечно, и в голову не пришло, что компания нашла человека, способного его переиграть.

Декуда беспокоило, что капатас все время что-то бубнит, — это непривычное многословие могло быть признаком слабости. А впрочем, человек, который много говорит, может оказаться ничуть не менее решительным, чем тот, кто угрюмо молчит.

— Пока что мы еще не переиграли Сотильо, — возразил он. — Вы не забыли об этом помешанном, которого отправили на носовую

часть баркаса?

Ностромо помнил о сеньоре Гирше. Он горько себя проклинал, что не осмотрел как следует судно, прежде чем отчалить от пристани. Он проклинал себя за то, что не заколол Гирша кинжалом и не выбросил его за борт, как только на него наткнулся и не успел еще взглянуть ему в лицо. Уж раз они взялись за столь отчаянное предприятие, значит так и надо было поступать. Но что бы там ни случилось в дальнейшем, они уже успели переиграть Сотильо. Даже если этот несчастный, который молчит сейчас, как мертвец, почему-либо зашумит и выдаст их присутствие, то Сотильо, — если именно Сотильо командует находящимися на пароходе солдатами, — все равно не сможет совершить задуманный им грабеж.

— У меня в руках топор, — послышался яростный шепот Ностромо. — Тремя ударами я могу прорубить борт до самой ватерлинии. Кроме того, на корме у каждого баркаса есть заглушка, и я точно знаю, где она. Вот здесь — прямо у меня под ногой.

Декуд слышал: в этих отрывистых фразах звучит решимость — знаменитый капатас кипит от гнева и будет беспощаден. Прежде чем на паро-

ходе услышат крик («Крикнет раз, ну, скажем, два, никак не больше», — скрипнув зубами, добавил Ностромо), а после этого разыщут в темноте баркас, вполне достанет времени, чтобы утопить это проклятое сокровище, которое навесили ему на шею.

Он буквально прошипел последние слова на ухо Декуду. Тот ничего не ответил. И так все ясно. Обычное спокойствие, присущее этому человеку, исчезло. Ностромо не считал, что ему следует сейчас быть спокойным. На поверхность вырвалось нечто глубоко запрятанное, о чем никто не подозревал. Декуд бесшумно снял пальто и разулся; он не придерживался мнения, что честь обязывает его утонуть вместе с серебром. Он направлялся к Барриосу, в Каиту, о чем отлично знал капатас; и, стремясь к этой цели, он тоже был намерен на свой лад действовать со всей решимостью, на какую способен. Ностромо буркнул:

— Верно, верно! Вы политик, сеньор. Разыщете Барриоса с солдатами и начнете новую революцию.

Тут он добавил, что при каждом грузовом баркасе есть лодка, в которой могут уместиться не менее двух человек. Их лодочка привязана к корме и идет на буксире, сзади.

Декуд не знал об этом. В такой темноте невозможно было ничего разглядеть, и, лишь когда Ностромо положил его руку на леер, он облегченно вздохнул. Не очень-то приятно себе представлять, как ты плывешь неведомо куда в кромешной тьме или, может быть, кружишься на месте и будешь так кружиться, пока силы не иссякнут, и ты утонешь. Тот, кому грозит такой ужасный, унизительно бесславный конец, теряет веру в себя, и ему трудно сохранить позу беспечного скептика. Поэтому узнать, что тебе предстоит долго плыть в лодке, испытать голод и жажду, возможно, оказаться в руках врага, который тебя арестует и казнит, после того как ты уже вообразил, как барахтаешься вплавь в темном заливе, настолько утешительно, что ради этого можно позволить себе утратить некоторую долю самоуважения. Ностромо предложил ему немедленно сесть в лодку, но он не согласился. «Опасность может ведь нагрянуть неожиданно, сеньор», — заметил капатас и тут же пообещал спустить лодку в тот же миг, как необходимость этого станет очевидной.

Но Декуд небрежно уверил его, что сядет в лодку лишь в последнюю секунду и, уж конечно, вместе с капатасом. Царившая в заливе темнота

не казалась ему теперь символом смерти. Наоборот, она внезапно сделалась живой, едва он узнал, что где-то рядом с ними в этом мраке таится опасность. В то же время темнота служила им защитой. Отрадно сознавать, как надежно тебя укрывает густая пелена мрака. «Как стена, как стена», — бормотал он.

Его смущала только мысль о сеньоре Гирше. То, что они не связали его и не сунули ему в рот затычку, представлялось сейчас Декуду пределом беспечности. Пока это злосчастное создание не лишено возможности поднять крик, им непрестанно угрожает опасность. Сейчас он онемел от страха, но кто может предугадать, когда безмолвие внезапно сменят пронзительные вопли.

Он обезумел, объятый ужасом, и это его и спасло — дикий взгляд, судорожно дергающиеся губы; взглянув в его лицо, Ностромо и Декуд не смогли сделать то, что диктовала им суровая необходимость. Момент, когда они могли заставить его замолчать навсегда, упущен. «Раньше это нужно было делать», — ответил Ностромо на запоздалые сетования Декуда. А теперь без шума не получится, тем более что они даже не могут в точности сказать, где он прячется. Какое бы место в носовой части баркаса он ни выбрал, чтобы

скорчиться там и трястись, искать его рискованно. Напугается и завопит во весь голос, взывая о пощаде. Лучше уж его не трогать, тем более что он ведет себя так смирно. Но Декуд чувствовал, как в нем растет тревожная боязнь, что Гирш вот-вот нарушит тишину.

— Жаль, капатас, что вы не воспользовались удобным моментом, — проворчал он.

— Убить его! Да что вы! Я сперва хотел послушать, как он здесь очутился. Очень уж странно все выходило. Ну можно ли представить себе такую цепь случайностей? А потом, сеньор, после того как вы дали ему воды, у меня рука не поднялась. Нет, нет, я ведь уже увидел, как вы подносите к его губам бидон, словно он вам брат родной. Сеньор, вонзить кинжал в человека можно только не думая. А между тем, если бы мы отняли у него его жалкую жизнь, в этом не было бы ничего жестокого. Его страх нам помешал, вот и все. Ваше сострадание спасло его, дон Мартин, а теперь уже поздно. Он непременно поднимет шум.

На пароходе была такая тишина, в такой глубокой неподвижности замерли море и ветер, что Декуду чудилось: любой, даже самый слабый звук может беспрепятственно и внятно разнестись по всему миру. Что, если Гирш кашлянет

или чихнет? Находиться в зависимости от таких идиотских случайностей невыносимо, и он не мог относиться к своему положению с иронией. Да и Ностромо все сильнее мучила тревога. «А вдруг там, на пароходе, — думал он, — решили, что не стоит плыть в таком мраке, и простоят, не двигаясь, до рассвета? Это серьезная опасность». И теперь он уже боялся, как бы служившая ему защитой темнота в конце концов не оказалась причиной его гибели.

Находившимся на пароходе отрядом солдат, как правильно предположил Ностромо, командовал Сотильо. Он понятия не имел о том, что случилось в городе за последние двое суток; не знал он также, что телеграфисту из Эсмеральды удалось предупредить своего коллегу в Сулако. Подобно большинству офицеров, служивших в гарнизонах провинции, Сотильо примкнул к рибьеристам главным образом потому, что считал, будто эту партию поддерживают несметные богатства концессии Гулда. Он нередко бывал в Каса-Гулд, где выдавал себя за убежденного бланкиста, и пылко ораторствовал о реформе перед доном Хосе Авельяносом, бросая полные искренности взоры в сторону миссис Гулд и Антонии.

Все знали, что он происходит из хорошей семьи, подвергнувшейся преследованиям и разоренной во время деспотии Гусмана Бенто. Его взгляды казались в высшей степени естественными и уместными для человека такого происхождения. Да он, собственно, и не лгал; с величайшей естественностью он демонстрировал возвышенные чувства, между тем как все его красноречие и энтузиазм воодушевлялись лишь одной, как ему тогда представлялось, очень весомой и практической идеей, а идея эта состояла в том, что муж Антонии Авельянос вне всякого сомнения станет своим человеком в концессии Гулда.

Он даже высказал эту точку зрения Ансани, когда просил у него то ли в шестой, то ли в седьмой раз небольшую сумму в долг в сыром и темном помещении с толстыми железными решетками на окнах, которое примыкало к самой главной лавке во всем ряду торговых заведений, расположенных под многочисленными арками его дома. Он намекнул владельцу магазина, что пребывает в наилучших отношениях с эмансипированной сеньоритой, а сеньорита так дружна с англичанкой, ну просто как сестра. Он слегка выставил вперед одну ногу и подбоченился, дабы Ансани мог по достоинству его оценить, а сам смотрел на

него пристально, высокомерно.

«Ну, гляди же, лавочник несчастный! Разве может женщина отвергнуть такого, как я, а тем более эмансипированная девица, о чьем вольном поведении сплетничает весь город?» — казалось, спрашивал он.

В Каса-Гулд он, разумеется, держал себя совсем иначе — ни малейших признаков развязности и даже некоторая торжественная мрачноватость. Как большинство его соотечественников, он был очень чувствителен к красивым фразам, особенно если сам же их произносил. У него не было никаких убеждений, не считая того, что он был убежден в неотразимости своих достоинств. Зато это убеждение было настолько непоколебимым, что даже появление в Сулако Декуда и его дружба с Гулдами и Авельяносами не обеспокоили его. Наоборот, он постарался сблизиться с приехавшим из Европы богатым костагуанцем в надежде брать у него время от времени крупные суммы в долг. Его единственным побуждением всегда являлось желание раздобыть как можно больше денег для удовлетворения дорого стоящих склонностей, которым он безудержно предавался. Он считал себя тонким знатоком по части амурных дел, но им руководил лишь примитивный ин-

стинкт животного. Случалось, без свидетелей он давал волю своей природной злобности: не находил он также нужным сдерживать себя, скажем, в присутствии Ансани, когда заходил к нему в контору в надежде одолжить денег.

Влекомый потоком собственного красноречия, он получил пост начальника гарнизона Эсмеральды. Этот небольшой порт имел немалое значение, поскольку там находился передаточный пункт подводного кабеля, соединявшего Западную провинцию с внешним миром, а также станция ведущей в Сулако железнодорожной ветки. Дон Хосе Авельянос предложил его кандидатуру, а Барриос с грубым хохотом сказал:

— Ну конечно, Сотильо туда и отправим. Самый подходящий человек, чтобы караулить кабель, и к тому же дамы и девицы Эсмеральды, вероятно, уже заждались, когда наступит их черед. — Барриос, несомненно отважный человек, был невысокого мнения о Сотильо.

Подводный кабель Эсмеральды служил единственным средством связи между рудниками Сан-Томе и великим финансистом, в чьей молчаливой поддержке черпало все свои силы рибьеристское движение. Противники этого движения имелись даже здесь. Сотильо безжалостно

с ними расправлялся до тех пор, пока известие о неблагоприятном повороте событий на арене военных действий не навело его на мысль, что, каким бы ни оказался исход, рудники в любом случае достанутся победителю. Впрочем, следовало соблюдать осторожность. Для начала он стал напускать на себя таинственность и мрачность каждый раз, когда у него возникали какие-нибудь дела с муниципалитетом Эсмеральды, состоявшим из лояльных рибьеристов. А немного позже эти господа, узнав, что начальник гарнизона собирает у себя по ночам офицеров, и смертельно перепуганные этими просочившимися неведомо откуда сведениями, полностью пренебрегли своими государственными обязанностями и попрятались по домам. Затем в один прекрасный день все письма, прибывшие из Сулако по суше, были изъяты из почтового отделения группой солдат и доставлены в комендатуру без малейших попыток как-либо скрыть это, замаскировать или принести извинения. Сотильо сообщили из Каиты, что Рибьера потерпел полный крах.



Таким образом он впервые заявил о перемене своих убеждений. Гонимые еще недавно демократы, пребывавшие в постоянном страхе, что их могут арестовать, заковать в кандалы и даже подвергнуть порке, сейчас преспокойно входили в широкие двери комендатуры и столь же спокойно выходили из этих дверей, рядом с которыми дремали, стоя под тяжелыми седлами, лошади вестовых, а сами вестовые в изодранных мундирах и соломенных шляпах с конусообразной тульей коротали время, развалившись на скамье в тени,

протянув вперед босые ноги и грея на солнце пятки; а часовой в красном бязевом мундире с дырявыми локтями красовался на крыльце комендатуры и весьма надменно взирал на простых смертных, которые все как один снимали шляпы, проходя мимо него.

В своих мечтах Сотильо не воспарял выше желания спасти собственную шкуру и заодно ограбить вверенный его попечениям город, однако опасался, что, так поздно примкнув к победителям, не дождется от них особой благодарности. Слишком уж долго он полагался на могущество рудников Сан-Томе. Похищенная с почты корреспонденция подтверждала полученные ранее сведения, что в таможне Сулако хранится великое множество серебряных слитков. Завладеть этим сокровищем — вот акция, достойная настоящего монтериста; такого рода услуга непременно будет вознаграждена. Имея на руках это богатство, он сможет договориться с победителем об условиях, выгодных для себя и своих солдат. Он ничего не знал о мятеже, не знал, что президент бежал в Сулако и что Монтеро-младший преследует его по пятам. Он считал, что на руках у него все козыри. Начал он с того, что захватил передаточный пункт подводного кабеля, а также правительствен-

ный пароход, который стоял на якоре в гавани Эсмеральды, представлявшей собой узенькую бухту. Пароходом без всяких трудов завладела рота солдат, быстро забравшихся туда по сходням, так как судно стояло у самой пристани; но лейтенант, которому было поручено арестовать телеграфиста, остановился по дороге возле единственного в Эсмеральде кафе, где угостил своих солдат бренди, а также подкрепился сам за счет владельца, известного рибьериста. Вся компания порядком напилась и отправилась дальше по улицам с громкими воплями и гиканьем, порой стреляя шутки ради в окна. Вышло так, что это небольшое развлечение, исход которого мог оказаться для телеграфиста роковым, дало ему возможность послать предупреждение в Сулако. Лейтенант, который с саблей наголо, пошатываясь, поднялся по лестнице, в скором времени уже лобызал телеграфиста в обе щеки, ибо настроение его внезапно и молниеносно изменилось, что нередко случается с пьяными. Он горячо обнимал телеграфиста за шею, уверял его, что всех офицеров местного гарнизона сделают полковниками, и слезы счастья струились по его осовелому лицу. Вследствие этого, когда немного позже в телеграфный пункт явился майор, он

обнаружил, что все войско спит на ступеньках лестницы и в коридорах, а телеграфист, решивший пренебречь этой внезапной возможностью спастись бегством, торопливо щелкает ключом передатчика. Майор велел немедля увести его без шляпы и со связанными на спине руками, но скрыл истину от Сотильо, который так и не узнал, что в Сулако послано предупреждение.

Полковник был не таков, чтобы, задумав внезапное нападение, отказаться от своих намерений из-за какой-то темноты. Он был твердо уверен в успехе; с необузданным ребяческим нетерпением дожидался он, когда же наконец наступит вожделенный час. После того как пароход обогнул Пунта-Мала и вошел в глубокую тьму залива, он уже не покидал мостик, а вокруг стояли офицеры, возбужденные не меньше его. Беднягакапитан, на которого Сотильо и его сподвижники попеременно воздействовали то угрозами, то уговорами, чем совершенно задурили ему голову, старался вести пароход со всей возможной осторожностью, которую они позволяли ему проявить. Некоторые из них, безусловно, были сильно пьяны; но надежда заграбастать этакую уйму серебра сделала их безрассудно храбрыми и в то же время на редкость нетерпеливыми. К

примеру, командир батальона, старый майор, человек глупый и подозрительный, впервые в жизни оказавшийся в море, внезапно погасил фонарь нактоуза, единственный на пароходе, который разрешалось зажигать, чтобы можно было пользоваться компасом. Майор не мог понять, каким образом этот фонарь помогает им искать дорогу. Когда капитан парохода возмутился и потребовал, чтобы фонарь зажгли опять, майор топнул ногой и похлопал по рукоятке своей сабли.

— А, вот как! Я разоблачил тебя, — вскричал он торжествующе. — Ты сейчас на себе волосы рвать готов, оттого что не сумел меня провести. Разве я малое дитя, чтобы поверить, будто фонарь, который горит в этом медном ящике, может как-то тебе указать, где находится порт. Я старый солдат. Я предателя за милю нюхом чую. Ты хотел этим лучом подать знак своему другу англичанину. Чтобы такая вот штуковина указывала путь! Чушь собачья! Que picardía![128] Все вы тут в Сулако подкуплены иностранцами. Я этой саблей тебя пополам разрублю.

Остальные офицеры столпились вокруг майора

---

[128] Примечания: 128
Жулье! *(исп.)*

и старались его успокоить, ласково ему втолковывая:

— Ну что вы, майор, что вы. Это такой морской прибор. Здесь нет никакого предательства.

Капитан тут же на мостике упал ничком и решительно отказывался подняться.

— Лучше уж прикончите меня сразу, — повторял он сдавленным голосом.

Пришлось вмешаться Сотильо.

Поднялся такой шум, что рулевой, напуганный суматохой, бросил штурвал и убежал. Он нашел приют в машинном отделении и посеял немалое беспокойство среди механиков, которые, невзирая на угрозы караульных солдат, остановили машину и решительно заявили, что пусть их лучше пристрелят на месте, но они не желают захлебнуться тут водой, когда судно пойдет ко дну.

Все это произошло, когда Декуд и Ностромо в первый раз услышали, как остановился пароход. После того как был вновь установлен порядок и загорелся фонарь нактоуза, пароход снова двинулся на поиски Изабелл и прошел довольно далеко от баркаса. Островов нигде не было видно, и, снизойдя к жалобным мольбам капитана, Сотильо позволил вторично остановить пароход и подождать, чтобы немного посветлело, что

случалось время от времени, когда в густой пелене облаков, постоянно перемещающихся над заливом, образовывался просвет.

Стоя на мостике, Сотильо то и дело яростно шипел на капитана. Тот умоляюще и раболепно заклинал его милость полковника принять во внимание, что в ночную пору дарованные человеку способности отчасти ограничивает темнота. Сотильо клокотал от нетерпения и гнева. Такой случай выпадает лишь раз в жизни.

— Если глаза твои не приносят пользы, я их выколю, — пообещал он.

На его слова капитан ничего не ответил, так как именно в это мгновенье кончился дождь и смутно замаячила Большая Изабелла, а затем исчезла, словно ее смыла волна непроницаемого мрака, прихлынувшая перед новым ливнем. Но ему и этого вполне хватило. Громким голосом человека, вновь вернувшегося к жизни, он известил Сотильо, что не далее чем через час они прибудут к пристани Сулако. Судно тотчас же двинулось полным ходом, а на палубе поднялась оживленная возня, ибо солдатам приказали готовиться к высадке.

Все это явственно слышали Декуд и Ностромо. Капатас понял, что случилось: на пароходе

наконец-то обнаружили Изабеллы и сейчас прямым курсом идут на Сулако. Он полагал, что судно пройдет очень близко; однако, понадеялся он, стоя неподвижно и к тому же с опущенным парусом, баркас, может быть, останется незамеченным. «Даже в том случае, если они заденут нас бортом», — прошептал он.

Вновь начался дождь; сперва слегка накрапывал, похожий на сырой туман, затем разошелся и хлынул бурно, отвесными стремительными струями; свистящий шорох и глухой ритмичный шум приближающегося парохода слышался совсем близко. Декуд, опустив голову, чтобы ливень не хлестал в глаза, едва успел подумать, скоро ли пароход поравняется с ними, как вдруг их судно накренилось. Через корму с шипением хлынула пена, раздался скрип шпангоутов, и баркас сильно тряхнуло. Казалось, чья-то гневная рука крепко вцепилась в него и повлекла куда-то, стремясь уничтожить. Конечно, он не удержался на ногах, его окатила волна, потащила куда-то. Все вокруг бурлило, бесновалось; безумный, странный крик разнесся в темноте. Это пронзительно завопил сеньор Гирш, призывая на помощь. Декуд крепко стиснул зубы. Столкнулись!

Пароход слегка задел бортом баркас, чуть не

утопил его, расшатал несколько шпангоутов и повернул при этом его корпус параллельно собственному курсу. А на борту парохода никто не ощутил удара от столкновения. Как всегда в таких случаях, всю силу толчка приняло на себя меньшее судно. Даже Ностромо решил, что их отчаянному предприятию пришел конец. Его отбросило от штурвала, когда палуба ушла у него из-под ног. Еще мгновенье, и пароход прошел бы мимо, отшвырнув с дороги баркас и не заметив даже, потонул он или нет, но, так как он был основательно нагружен и припасами и множеством находящихся на борту людей, его якорь опустился довольно низко и зацепился за одну из металлических вант на мачте баркаса. В течение двух или трех напряженных секунд пароход тянул к себе баркас.

Вот тогда-то Декуду и показалось, что кто-то крепко вцепился в их судно и тянет за собой, стремясь его уничтожить. Что произошло на самом деле, он, разумеется, не мог понять. Все это случилось так быстро, что он не успел о чем-либо подумать. Но ощущения его были предельно четки; он полностью владел собой; мало того, ему приятно было сознавать, как он спокоен в тот самый миг, когда его швырнуло головой

вперед на транец, и он, лежа плашмя, барахтался в воде. Он услышал крики и узнал голос сеньора Гирша, когда поднимался на ноги, по-прежнему охваченный странным ощущением, будто что-то стремительно несет его сквозь мрак. Он не вскрикнул, не произнес ни слова; не успел ничего разглядеть; и, вслушиваясь в отчаянные вопли о помощи, почувствовал, что внезапно его перестало тащить, а потому сильно качнуло вперед и он упал, раскинув руки, на груду тюков с серебром. Он инстинктивно ухватился за них, опасаясь нового толчка; и сразу же опять услышал пронзительные и отчаянные вопли, раздававшиеся теперь уже совсем не рядом, а почему-то далеко над морем в стороне, словно некий демон ночи дразнил затравленного и испуганного Гирша.

А затем стало тихо, так тихо, как бывает, когда проснешься в темной спальне у себя в постели после сумбурного, кошмарного сна. Баркас слегка покачивался; дождь еще не перестал. Две руки нащупали его сзади, обхватили за бока, так что заныли все полученные за последние минуты синяки, и голос капатаса прошептал ему на ухо:

— Ради бога, молчите! Молчите! Пароход остановился.

Декуд прислушался. Глубокое безмолвие. Он

заметил, что стоит по колено в воде.

— Мы тонем? — спросил он чуть слышно.

— Не знаю, — также шепотом ответил Ностромо. — Бога ради, ни звука, сеньор.

Гирш, когда Ностромо приказал ему перебраться в носовую часть баркаса, не вернулся в прежнее укрытие. Он упал около мачты и не поднялся — он обессилел; мало того, он не мог шевельнуться от страха. Так он и лежал все время, как мертвец, но это не было сознательной уловкой. Просто ему было мучительно страшно, и он оцепенел. Даже когда он всего лишь пытался себе представить, что его ожидает, его зубы выбивали бешеную дробь. Его настолько обуяла стихия страха, что он ничего не замечал.

И хотя он чуть не задохнулся под парусом, который Ностромо непреднамеренно опустил прямо на него, он не осмеливался даже высунуть наружу голову до того самого мгновения, когда на них налетел пароход. Вот тогда он как пришпоренный выскочил из-под паруса, поскольку новая опасность не только вселила в него способность двигаться, но и наделила поистине поразительной энергией. Когда баркас накренился и его окатило водой, к нему возвратился дар речи. Его крик «Спасите!» был первым предупреждением

для находившихся на пароходе людей, что они столкнулись с каким-то судном. В следующее мгновение ванта лопнула, и пароход понес якорь над полубаком баркаса. Он задел сеньора Гирша, и сеньор Гирш ухватился за него, не имея ни малейшего понятия, что это такое, но тем не менее с маниакальной безрассудной цепкостью обхватил его руками и ногами. Баркас дернулся и изменил положение, пароход же, удаляясь от него, уволок сеньора Гирша, который крепко держался за якорь и продолжал вопить: «Спасите!» Но обнаружили его, только когда пароход отплыл на некоторое расстояние и остановился. Вот тогда наконец услыхали его неумолчный пронзительный визг, напоминавший крики утопающего.

Двое солдат нащупали веревку якоря и подняли сеньора Гирша на борт. Затем его доставили к стоявшему на мостике Сотильо. Тот допросил его и окончательно утвердился в своем первоначальном впечатлении, что пароход случайно потопил какое-то судно, но разыскивать остатки кораблекрушения в такой темноте было бессмысленно. Сотильо не терпелось войти в гавань, и нетерпение его все росло; вообразить себе, что он сам уничтожил именно то, ради чего затеяна вся экспедиция, было непереносимо. Ему так сильно

не хотелось верить в историю, рассказанную Гиршем, что он счел ее совершенно неправдоподобной. Сеньора Гирша немного поколотили за то, что он лжет, и заперли в штурманской рубке. Впрочем, поколотили его не сильно. Его рассказ обескуражил офицеров, но они, толпясь вокруг своего командира, продолжали твердить: «Нет, это невозможно! Невозможно!», и исключением являлся лишь старик-майор, который торжествующе бубнил:

— А я вам что сказал? Что я вам говорил? Всякое предательство, интриги за милю нюхом чувствую.

Тем временем пароход продолжал плыть в Сулако, то единственное место, где можно было выяснить истинное положение дел. Громкие удары винта становились все слабее и замерли наконец вдали; тогда Ностромо и Декуд, не тратя лишних слов, направили баркас к Изабеллам. Когда прошел последний дождь, подул несильный, но устойчивый ветерок. Опасность еще не миновала, и у них не было времени на разговоры. Баркас протекал как сито. Они ходили по колено в воде. Капатас подвел Декуда к насосу, находившемуся в кормовой части, и Декуд немедленно, без слова, без вопроса, стал откачи-

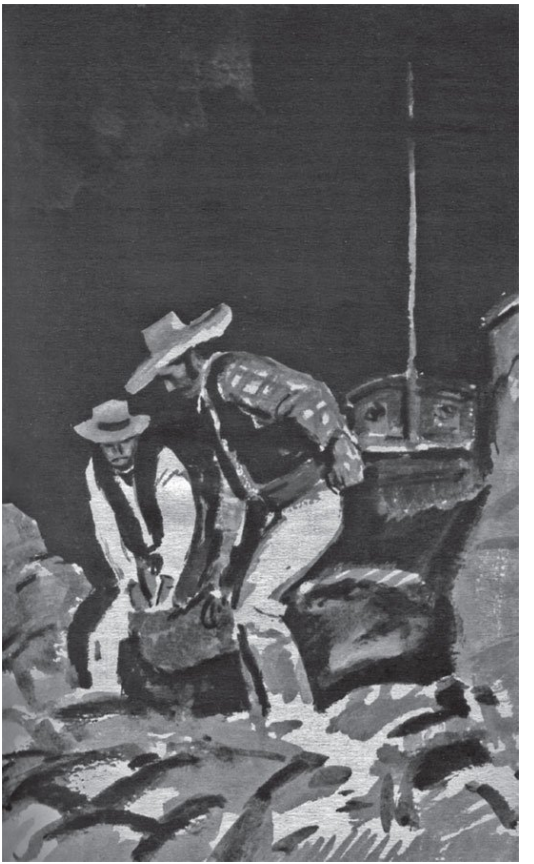
вать воду, не помышляя ни о чем, кроме одного — серебро не должно затонуть. Ностромо поднял парус и снова бросился к штурвалу. Он чиркнул спичкой, — спички находились в герметически закупоренной металлической коробочке и остались сухими, хотя сам Ностромо вымок с головы до ног, — и заметавшийся на ветру огонек осветил напряженное лицо капатаса, который, склонившись над компасом, внимательно вглядывался в него. Он понял, где они находятся, и надеялся только завести тонущий баркас в мелкую бухточку, там, где высокий скалистый берег Большой Изабеллы разделяется на две равные части заросшей густыми кустами лощиной.

Декуд работал без передышки. Ностромо поворачивал штурвал и все так же пристально, не мигая, всматривался в темноту. Каждый, выполняя свое дело, вел себя так, будто рядом никого нет. Им не приходило в голову разговаривать. Их связывало лишь сознание, что продырявленный баркас медленно, но непрестанно погружается все глубже в воду. И еще мысль: именно сейчас, когда решается, осуществятся ли их желания, они почувствовали, как они чужды друг другу; испуг, отчаяние, охватившие их при столкновении с пароходом, сделали ясным, как различны те по-

следствия, которые для каждого из них повлечет за собой гибель баркаса. Грозящая обоим опасность с удивительной отчетливостью показала и тому и другому, как несходны их цели, воззрения, характер и общественное положение. Их не связывали общие убеждения, идея; не идейными соратниками они были, а просто вовлеченными в одну и ту же авантюру людьми, которые, преследуя каждый собственную цель, совместно подвергаются смертельной опасности. Поэтому им и не о чем было говорить. Зато опасность, то единственное, что их накрепко связало, подхлестывала их умственные и физические усилия.

В самом деле, капатас нашел бухточку почти чудом, ибо ориентирами ему послужили лишь расплывчатый силуэт острова и смутно белевшая в темноте узкая полоска песчаного пляжа. Там, где скалистый берег рассекала лощина и мелкий, хилый ручеек, петляя среди кустарника, пробивал себе путь к морю, Ностромо подвел баркас к острову. И сразу же оба они с молчаливой, несокрушимой энергией стали переносить на берег драгоценный груз, вдвоем тащили каждый кожаный тюк сквозь кусты по руслу ручейка, затем, ступая уже посуху, укладывали его во впадинку, где под корнями огромного дерева немного осела

земля. Необъятный гладкий ствол, словно падающая колонна, нависал над тоненькой струйкой воды, которая, шурша камешками, стремилась к морю.



Года два назад Ностромо провел здесь целое воскресенье, исследуя в одиночку остров. Он рассказал об этом Декуду, когда они закончили свои труды и, усталые, ощущая ломоту во всем теле, уселись, прислонившись к дереву спиной и свесив над ручейком ноги, словно двое слепых, которые осознают присутствие друг друга и все, что их окружает, лишь благодаря неуловимому шестому чувству.

— Конечно, это здесь, — повторил Ностромо, — я не забываю мест, которые внимательно осмотрел хоть однажды.

Говорил он медленно, почти лениво, словно в распоряжении у него оставалась вся положенная ему долгая жизнь, а не два часа до рассвета. Что бы он теперь ни затеял, что ни задумал бы, как бы ни решил поступить, над ним всегда будет тяготеть эта тайна, мысль о сокровищах, которые он спрятал кое-как да к тому же еще в таком невероятном укрытии. Он понимал, что не вполне успешно справился с тем почти невыполнимым делом, которое поручили ему благодаря его блестящей репутации, стоившей таких усилий и трудов. В то же время он справился с ним достаточно успешно. Его тщеславие хоть отчасти было удовлетворено. Возбужденность, раздражение

пошли на убыль.

— Никогда не знаешь, что может пригодиться, — добавил он, спокойно и неторопливо, как всегда. — Я ухлопал тогда целое воскресенье, исследуя этот клочок земли.

— Занятие, достойное мизантропа, — не без яда проворчал Декуд. — Я подозреваю, капатас, у вас тогда не было денег, чтобы проиграть их в карты или потратить на девиц в тех местах, где вы бываете гораздо чаще.

— E véro![129] — отозвался капатас, настолько потрясенный проницательностью Декуда, что неожиданно для самого себя заговорил на родном языке. — Не было! Поэтому-то мне и не хотелось видеть этих попрошаек, привыкших заглядывать ко мне в кошелек. Все ждут щедрости от капатаса каргадоров, люди богаче меня ожидают ее, и не только простой люд, но, случается, и кабальеро. Я не азартный игрок, а за карты сажусь, просто чтобы чем-то заняться; что касается девиц, которые рассказывают с похвальбой, как открывают ночью на мой стук двери, я бы, наверное, не очень-то на них глядел, если бы мне не было любопытно узнать, о чем толкует народ. Забавные

---

[129] Примечания: 129
Верно! *(ит.)*

они людишки, мирные жители Сулако, и я получил немало ценных сведений, терпеливо слушая болтовню тех самых женщин, в которых, как все думали, я влюблен. Тереза этого не понимала, бедняжка. В то воскресенье, сеньор, она так разошлась, что я вышел из дома, поклявшись ни разу в жизни больше не переступать их порог, вернее, переступлю только один раз, когда приду забрать свой гамак и сундучок.

Вы не представляете себе, сеньор, какая разбирает злость, если женщина, которую ты уважаешь, начинает поносить твое доброе имя как раз в тот день, когда у тебя нет даже медной монетки в кармане. Я отвязал лодку и отплыл от причала, не взяв ничего, кроме трех сигар, которые мне помогли скоротать тот день на острове. Правда, вода в этом ручейке, что журчит у вас под ногами, сеньор, прохладная, приятная и вкусная, когда бы ты ни отведал ее — перед тем как закурить или после. — Он задумчиво помолчал, потом добавил: — За несколько дней до того воскресенья я сопровождал через горы от самого Парамо на вершине перевала Энтрада английского сеньора с седыми бакенбардами… да еще вез его в карете. До сих пор ни разу ни одна карета, сеньор, не поднималась и не спускалась в равнину по

этой дороге, так что я был первым — я привел на вершину перевала пятьдесят пеонов с веревками, кирками и шестами, и все они, выполняя мои приказания, работали как один человек. Это был тот самый англичанин, который, говорят, оплачивает строительство железной дороги. Он остался мной очень доволен. Но жалованье мне предстояло получить только в конце месяца.

Вдруг Ностромо спрыгнул вниз. Раздался громкий всплеск, а затем он прямо по воде зашагал к морю. Пока он шел по ручью, его закрывали кусты, потом Декуд увидел его под скалой на пляже. Хотя рассвет еще не наступил, посветлело сильно, что случается в Гольфо-Пласидо, когда всю первую половину ночи идут частые, бурные ливни.

Баркас, освобожденный от драгоценной ноши, слегка покачивался в бухточке, зарывшись носом в песок. Через белую полоску пляжа черной ниткой протянулась длинная веревка якоря, который Ностромо отнес на берег и зацепил за ствол большого, как дерево, куста у самого входа в лощину.

Декуд оставался на острове — другого выхода не было. Ностромо отдал ему всю еду, которой снабдил баркас предусмотрительный капитан

Митчелл, и Декуд сложил свои припасы в маленькую лодку, спрятанную в гуще кустарников, куда они отволокли ее вдвоем сразу же по прибытии на остров. Лодку Ностромо оставил ему. Остров должен был служить Декуду убежищем, а не тюрьмой: завидев проходящее мимо судно, он мог сесть в лодку и подплыть к нему. Почтовые пароходы с севера, направляющиеся в Сулако, проходили очень близко от островов. Но «Минерва», на борту которой отбыл экс-президент, увезла на север вести о мятеже. Вполне возможно, следующий пароход получит указания не заходить в порт, поскольку служащие на «Минерве» офицеры сообщат, что городом временно завладел всякий сброд. Значит, если надеяться лишь на почтовый пароход, Декуд в течение месяца не увидит ни одного судна; но ему волей-неволей приходилось здесь оставаться. Ибо спастись от угрожающей ему казни он мог только на острове. Капатас, конечно, возвращался. Разгруженный баркас протекал уже не так сильно, и он надеялся добраться на нем до пристани.

Он вручил Декуду, стоявшему рядом с баркасом по колено в воде, одну из двух лопат, которые составляют непременную часть оснастки каждого баркаса и употребляются, чтобы загрузить судно

балластом. Когда немного рассветет, Декуд раскопает нависающую над тайником глыбу таким образом, чтобы придать ему естественный вид. Он расковыряет землю и отшвырнет подальше камни, что скроет от посторонних глаз не только сам тайник, но и следы их работы: отпечатки подошв на земле, сдвинутые с места камни и даже сломанные кусты.

— Да и кому взбредет в голову искать здесь вас или эти сокровища? — не умолкал Ностромо, который, казалось, искал предлог подольше постоять у тайника. — Сюда, скорее всего, никто никогда не придет. Ну зачем кому-то забираться на этот богом забытый островок, если можно спокойно разгуливать по большой земле! В этой стране люди не любопытны. Даже рыбаки не станут докучать вашей милости. Да и рыбачат они все вон там, возле Сапиги. Сеньор, если внезапно вам придется преждевременно покинуть этот остров, не плывите в сторону Сапиги. Это пристанище воров и бандитов, там вам сразу перережут горло вот за эту золотую цепочку и часы. И вообще, сеньор, не спешите доверять кому-либо наш секрет; даже офицерам, которые служат на пароходах компании, если вас подберет пароход компании ОПН. Даже честный человек может

ненамеренно вас выдать. Вам надо специально подыскать кого-нибудь предусмотрительного и надежного. Главное же, помните, сеньор, что эти сокровища могут спокойно пролежать здесь столетия. Время — наш союзник, сеньор. А серебро не портится, это такой металл, о котором вы можете не тревожиться хоть до скончания веков... Не берет его порча, беспорочный металл, — проговорил он одобрительно, как видно, очень довольный, что нашел нужное слово.

— Так говорят и о некоторых людях, — с загадочным видом отозвался Декуд; капатас деревянным ведром вычерпывал из баркаса воду, мерно наклоняясь и выплескивая ее за борт. Декуд, неисправимый скептик, подумал без злорадства, но с некоторым удовлетворением, что этого человека сделало беспорочным его огромное тщеславие, утонченнейшая форма эгоизма, способная принять обличье любой добродетели.

Вдруг Ностромо, осененный неожиданной мыслью, перестал вычерпывать воду и с шумом уронил ведро.

— Вам не нужно что-нибудь передать? — спросил он, понизив голос. — Меня ведь будут расспрашивать.

— Когда окажетесь в городе, подыщите слова,

которые вселили бы в наших друзей надежду. Я полагаюсь на ваш ум и вашу опытность, капатас. Вы меня поняли?

— Sí, señor… В разговоре с дамами.

— Да, да, — торопливо ответил Декуд. — Ваша блистательная репутация придаст огромную весомость каждому вашему слову; поэтому особенно тщательно их подбирайте. Я надеюсь, — продолжал он, невольно ощущая некоторое презрение к себе, что было свойственно его сложной натуре, — я надеюсь успешно завершить свою славную миссию. Вы слышите, капатас? Непременно скажите: «успешно» и «славную», когда будете говорить с сеньоритой. Вашу собственную славную миссию вы выполнили успешно. Вы бесспорно спасли добытое в рудниках серебро. И не только это серебро, а, возможно, все серебро, которое когда-либо извлекут из недр рудников Сан-Томе.

Ностромо уловил в его тоне иронию.

— Позвольте мне заметить вам, сеньор дон Мартин, — проговорил он угрюмо. — Мало есть вещей, с которыми я не сумел бы справиться. Спросите об этом иностранных сеньоров. Я — человек из народа, человек, который не всегда способен понять, что вы имеете в виду. Но что

касается до этого добра, которое мне здесь приходится оставить, должен вам признаться, что я был бы гораздо спокойней, если бы отвез его сюда без вас.

Возглас возмущения невольно вырвался у Декуда.

— Прикажете возвратиться вместе с вами в Сулако? — запальчиво спросил он.

— Прикажете прикончить вас ножом на месте? — насмешливо парировал Ностромо. — Это ведь то же самое, что отвезти вас в порт. Не надо сердиться, сеньор. Вы связали свою репутацию с политикой, моя — зависит от участи этого серебра. Стоит ли удивляться, что я предпочитаю, чтобы никто, кроме меня, не знал, где оно спрятано? Мне не нужны были сопровождающие, сеньор.

— Этот баркас утонул бы, если бы я вам не помог. — Декуд почти кричал. — А вы отправились бы вместе с ним на дно.

— Да, — сквозь зубы процедил Ностромо. — Но без посторонних.

«Вот человек, — изумленно подумал Декуд, — который скорее согласится умереть, только бы никто не покусился на его возвышенный монументальный эгоизм. На такого можно по-

ложиться». Он молча помог капатасу поднять на борт якорь. Движением тяжелого весла Ностромо оттолкнул баркас от берега, и вот Декуд остался на берегу, в полном одиночестве, как бывает порою во сне. У него сжалось сердце от острого желания услышать еще раз человеческий голос. Баркас едва виднелся на черной воде.

— Как вы думаете, что случилось с Гиршем? — крикнул он.

— Свалился за борт и утонул, — зычно и уверенно прогремел голос Ностромо между черными безднами неба и моря. — Не отходите далеко от ущелья, сеньор. Я постараюсь пробраться к вам ночью в ближайшие двое суток.

Декуд услышал тихий свистящий шорох и догадался, что Ностромо поднимает парус. Ветер сразу надул его — раздался такой звук, будто кто-то громко ударил в барабан. Декуд возвратился в лощину. Стоящий у руля Ностромо, время от времени оглядываясь, видел, как исчезает, растворяясь в ночной тьме, силуэт Большой Изабеллы. Наконец, в очередной раз оглянувшись, он ничего не увидел, лишь сплошная тьма обступила его со всех сторон глухой стеной.

В этот миг и он испытал то же чувство одиночества, которое охватило Декуда, когда баркас

отчалил от острова. Но если оставшийся на берегу был растерян, подавлен и ему казалось нереальным все окружавшее его, даже песок, по которому он ступал, то капатасу каргадоров сразу же пришлось задуматься, что он будет делать дальше. Ностромо мог одновременно управлять баркасом, то и дело поглядывая в сторону Эрмосы, мимо которой ему предстояло пройти, и прикидывать в уме, что ждет его завтра в Сулако. Завтра, а верней сегодня, поскольку рассвет недалек, Сотильо выяснит, как исчезли сокровища. Он выяснит, что артель каргадоров вытащила из таможни тюки с серебром, погрузила их на вагонетку и, толкая ее вручную, подвезла к причалу. Он арестует кое-кого и, конечно, еще до полудня узнает, каким образом увезли серебро из Сулако и кто его увез.

Ностромо держал курс прямо в гавань; но едва возникла эта мысль, он резко повернул штурвал и поставил баркас против ветра, после чего он замедлил ход. Если он вернется в гавань на том же судне, на котором увез серебро, это вызовет подозрения, и Сотильо без труда догадается, как обстоят дела. Его тотчас арестуют; а когда поса-

дят в calabozo[130], чего только с ним не сделают, чтобы заставить говорить. Он был уверен в себе и все же задумался и огляделся. Невдалеке светлел плоский, как стол, песчаный берег Эрмосы, и море с шумом набегало на него. Баркас нужно немедленно потопить.

Поставленный таким образом, что ветер перестал надувать его парус, он мог лишь дрейфовать. Воды он набрал уже порядком. Ностромо отошел от штурвала и опустился на корточки. Когда он вытащит заглушку, вода быстро заполнит все судно, к тому же на каждом баркасе есть железный балласт, небольшой, но вполне достаточный для того, чтобы потопить судно, когда вода заполнит трюмы. Когда он снова встал, шуршание волн, набегавших на берег Эрмосы, раздавалось где-то далеко и было еле слышно; а впереди уже можно было различить очертания побережья у входа в гавань. Ну что ж, раз он ввязался в это отчаянное дело, благодаренье Господу, что он хороший пловец. Проплыть милю ему ничего не стоит, кроме того, ему известно местечко, где удобно выбраться на берег, прямо под укреплениями старого форта. И он с огромным удовольствием

---

[130] Примечания: 130
Тюрьма *(исп.).*

подумал, как отлично отоспится в заброшенном форте, где сможет наконец проспать спокойно хоть весь день после стольких бессонных ночей.

Одним ударом румпеля, который он отломал специально для этой цели, он вышиб заглушку, а парус опускать не стал. Тотчас же хлынула вода, ему залило ноги, и он поспешно вспрыгнул на гакаборт. Он постоял там некоторое время, выжидая, стройный, неподвижный, лишь в рубахе и штанах. Затем почувствовал: баркас пошел ко дну, сделал огромный прыжок и с громким всплеском погрузился в воду.

Вынырнув, он сразу же обернулся. Занималось хмурое облачное утро, и в неясном его свете Ностромо удалось разглядеть верхний угол паруса — темный промокший треугольник слабо трепыхался над гладкой поверхностью воды. Потом он увидел, как парус исчез, словно кто-то утащил его рывком под воду, и поплыл к берегу.

Часть третья
Маяк
Глава I

Как только баркас с серебром отчалил и скрылся в темноте, все европейцы города Сулако разбрелись каждый в свою сторону и порознь ожидали прихода монтеристского режима, который мог нагрянуть либо с моря, либо с гор.

Погрузка серебра была последним делом, которое они осуществили все вместе. Этим делом завершились полные опасности три дня, в продолжение которых все их усилия, согласно сообщениям европейских газет, были направлены на то, чтобы спасти город от пагубных последствий мятежа. Перед тем как уйти с мола, капитан Митчелл пожелал всем доброй ночи и повернулся к городу лицом. Сейчас главной его целью было покинуть деревянный настил пристани, прежде чем прибудет пароход из Эсмеральды.

Инженеры с железной дороги собрали своих рабочих, итальянцев и басков, и увели на товарную станцию, бросив на произвол судьбы таможню, которую так рьяно охраняли с первого дня мя-

тежа. Их люди отважно и беззаветно сражались в течение знаменитых «трех дней». Причиной этой храбрости явилось скорей стремление к самозащите, чем преданность материальным интересам, служению которым посвятил себя Чарлз Гулд. Среди криков, раздававшихся в толпе, «Смерть иностранцам!» был отнюдь не самым тихим. Городу Сулако, право, очень повезло, что между местным населением и рабочими, привезенными из Европы, чуть ли не с первого дня сложились стабильно скверные отношения.

Доктор Монигэм, стоя на пороге кухни старика-гарибальдийца, заметил эту процессию, знаменующую собой окончание вмешательства иноземцев во внутренние дела Костагуаны, отступление армии Материального Прогресса с арены костагуанских междоусобиц.

До него донесся запах факелов из рожкового дерева; их несли, освещая перед собой дорогу, люди из бросившего таможню отряда. В отблесках пламени, пробежавших по фасаду дома, резво запрыгали черные буквы, тянувшиеся вдоль всей стены: «ГОСТИНИЦА „ОБЪЕДИНЕННАЯ ИТАЛИЯ“». Свет факелов ослепил доктора, и он моргнул. Несколько молодых людей, сопровождавших толпу, в которой над темно-бронзовыми лицами

поблескивали дула винтовок, дружелюбно ему кивнули. Все знали доктора, и кое-кто из инженеров подумал с любопытством, почему он оказался здесь. Затем отряд рабочих и шагающие сбоку инженеры прошли мимо гостиницы и стали удаляться.

— Уводите из гавани своих людей? — спросил доктор у главного инженера дороги, который, провожая Чарлза Гулда, шел рядом с его лошадью пешком и таким образом добрался до гостиницы. Они остановились прямо напротив открытых дверей, пропустив вперед отряд рабочих.

— Да, и как можно быстрей. Мы не политическая фракция, — многозначительно произнес инженер. — И не намерены давать новому правительству повод для нападок на железную дорогу. Вы одобряете мою позицию, Гулд?

— Полностью. — Бесстрастный голос Чарлза раздался где-то за пределами светлого прямоугольника, который падал из раскрытой двери и освещал дорогу.

Сейчас, когда с одной стороны к городу приближался Сотильо, а с другой — Педро Монтеро, главный инженер стремился лишь избежать столкновения как с тем, так и с другим. Для него Сулако — станция, вокзал, мастерская, множество

складов. Железная дорога, несомненно, может защищать свое имущество от толпы мятежников, но в политическом отношении она нейтральна. Он был смелым человеком и, последовательно соблюдая нейтралитет, согласился обратиться с предложением о перемирии к самозваным главарям «народной партии», депутатам Фуэнтесу и Гамачо. В воздухе еще свистели пули, когда, выполняя эту миссию, он пересек Пласу, размахивая поднятой над головой белой салфеткой из запасов столового белья клуба «Амарилья».

Он гордился этим подвигом и, решив, что доктор, который весь день перевязывал раненых во внутреннем дворике Каса-Гулд, еще не знает об этом событии, вкратце пересказал ему, как обстояли дела. Прежде всего он сообщил обоим депутатам полученные от строителей дороги сведения относительно Педро Монтеро. Младший брат победоносного генерала, предупредил он их, в любое мгновение может появиться в Сулако. Эти новости (как он и полагал) сразу же после того, как сеньор Гамачо громко выкрикнул их из окна, побудили собравшуюся возле дома толпу устремиться в сторону Ринкона по дороге, пересекающей Кампо. Оба депутата горячо пожали ему руку, а затем вскочили на лошадей и понеслись

навстречу великому человеку.

— Я был не совсем точен, — признался главный инженер. — И слегка ввел их в заблуждение. Даже если Монтеро-младший будет мчаться во весь опор, он едва ли доберется сюда до рассвета. Но своей цели я достиг. Обеспечил несколько мирных часов для потерпевшей поражение партии. А вот насчет Сотильо я не рассказал — боялся, как бы им не взбрело в голову вновь захватить гавань, чтобы дать ему отпор или приветствовать его, — кто их знает, что они надумают. Серебро Гулда — последняя наша надежда. К тому же я не забывал, что нужно обеспечить отступление Декуду. По-моему, железная дорога довольно основательно помогла своим друзьям, не скомпрометировав себя безнадежно. Теперь враждующие партии будут предоставлены самим себе.

— Костагуана для костагуанцев, — сардонически заметил доктор. — Прекрасная страна, и здесь выращен прекрасный урожай — ненависти, мести, грабежа и убийств… выращен сыновьями этой страны.

— Что ж, я один из них, — раздался в ответ спокойный голос Чарлза, — и мне пора снимать свой урожай забот. Моя жена проехала без каких-либо задержек, доктор?

— Да, все было тихо. Миссис Гулд увезла обеих дочерей хозяина гостиницы.

Чарлз Гулд двинулся дальше, а главный инженер вслед за доктором зашел в кухню.

— Воплощенная невозмутимость этот человек, — произнес он уважительно, рухнул на скамью и чуть ли не до порога вытянул стройные ноги в спортивных гольфах. — Мне кажется, он в высшей степени уверен в себе.

— Если это все, в чем он уверен, можно смело сказать: он не уверен ни в чем, — ответил доктор. Он опять уселся на столе. Склонив голову, уткнулся в ладонь подбородком. — Плохо дело, если человек уверен только в себе.

Тусклая полусгоревшая свеча с длинным фитилем бросала свет снизу на его лицо, странное выражение которого — угрюмое и в то же время виноватое — казалось даже противоестественным, хотя отчасти его можно было приписать глубоким морщинам на щеках — следам зарубцевавшихся шрамов. У него был вид человека, погрузившегося в крайне невеселое раздумье. Главный инженер разглядывал его довольно долго, потом все-таки решился возразить:

— Не понимаю, почему вы так настроены. На кого же ему полагаться, как не на себя. Конеч-

но…

Он был неглупый человек, но ему не удалось полностью скрыть, что парадоксы такого рода вызывают его презрение; следует признаться, что европейцы города Сулако недолюбливали доктора Монигэма. Да и как его не осуждать, если на вид он настоящий бродяга и даже в гостях у миссис Гулд выглядит оборванцем. Он без сомнения умен; к тому же прожил более двадцати лет в этой стране, и окружающие невольно прислушиваются к его мрачным пророчествам. В то же время людям хотелось надеяться и не бездействовать, поэтому пессимистические речи доктора слушатели инстинктивно приписывали ущербности его натуры. Было известно, что много лет назад, когда доктор был совсем молод, Гусман Бенто поставил его во главе всей медицинской службы своей армии. Ни один из европейцев, служивших в ту пору в Костагуане, не пользовался такой любовью и доверием свирепого старика-диктатора.

Дальнейшая его история уже более туманна. Она затерялась среди многочисленных воспоминаний о заговорах против тирана, как в сухих и безводных землях теряется река и возникает снова — по другую сторону засушливого пояса — взбаламученной и обмелевшей. Доктор ни

от кого не скрывал, что долгие годы прожил в местности, отдаленной от побережья и больших городов, и бродил среди необозримых джунглей с какими-то безвестными индейскими племенами, кочевавшими в этих глухих краях, где находятся истоки самых больших рек. Но бродил он без всякой цели: ничего не записывал и не собирал ничего, — словом, не вынес ничего полезного для науки из чащи джунглей, которые, казалось, навсегда оставили свой сумрачный отпечаток на его потрепанной особе, ковыляющей по улицам Сулако, куда течение жизни ненароком занесло его и бросило на побережье, как обломок затонувшего судна.

Известно было также, что он жил в глубокой нищете, пока из Европы не прибыли Гулды. Дон Карлос и донья Эмилия принялись опекать сумасшедшего английского доктора, как только поняли, что при всей своей свирепой независимости он вполне способен стать ручным и добиться этого можно добротой. Впрочем, быть может, его приручил только голод. В далеком прошлом он, конечно, был знаком с отцом Чарлза; и сейчас, невзирая на темные пятна в прошлом, сделавшись официальным врачом рудников Сан-Томе, он завоевал определенное положение

в обществе.

Положение-то он завоевал, но признали доктора не все. Его вызывающая эксцентричность, нескрываемое презрение к человечеству, казалось, свидетельствовали о том, что он бросает вызов обществу, бравируя своей былой виной. Кроме того, как только он вновь занял это определенное положение, поползли темные слухи о том, что много лет назад, когда во времена так называемого Большого Заговора доктор Монигэм впал в немилость и по приказанию Гусмана Бенто был заключен в тюрьму, он выдал заговорщиков и среди них несколько своих близких друзей.

Слухам, собственно, никто не верил; вся история Большого Заговора была безнадежно темна и запутанна; жители Костагуаны вообще считают, что и заговора никакого не было, что он существовал лишь в воспаленном воображении тирана; а потому и выдавать было нечего и некого; тем не менее лучшие люди страны были брошены в тюрьму и казнены по обвинению в этом мифическом заговоре. Следствие тянулось много лет и как чума косило представителей высшего сословия. Смертью карались даже те, кто позволил себе выразить сожаление о казненном родственнике.

Из тех, кто знал во всех подробностях историю

этого страшного времени, пожалуй, остался в живых лишь один дон Хосе Авельянос. Он сам был жертвой немыслимых жестокостей, которые тогда творились, и стоило в его присутствии заговорить о них, как он тотчас пресекал разговор, иной раз пожав плечом, а иногда нервно махнув рукой, будто отгоняя от себя что-то. Но какова бы ни была причина, доктор Монигэм, официальный служащий концессии Гулда, благоговейно почитаемый шахтерами, обласканный миссис Гулд, охотно прощавшей ему всяческие причуды и странности, в каком-то смысле считался изгоем.

Вот и главный инженер дороги задержался в гостинице вовсе не потому, что испытывал симпатию к доктору. Старик Виола нравился ему гораздо больше. Он заглянул в «Объединенную Италию» потому, что здесь жили многие из его подчиненных. Покровительство миссис Гулд сослужило владельцу гостиницы добрую службу. К тому же главный инженер, руководивший целой армией рабочих, ценил влияние, которым старый гарибальдиец пользовался среди земляков. Республиканец старого закала, он являл пример человека чести, сурового воинского долга, если считать, что мир — это поле битвы, где сражаются

для того, чтобы защитить любовь и братство всех живущих на земле, а не для того, чтобы урвать себе побольше.

— Жаль старика! — заметил главный инженер, когда доктор рассказал ему о Терезе. — Он не сумеет справиться с делом без жены. Очень печально.

— Он совсем один там, наверху, — буркнул доктор и кивнул в сторону узкой лестницы, ведущей на второй этаж. — Все жильцы улетучились, а теперь миссис Гулд и девочек увезла. Им и в самом деле было опасно оставаться. Врачебной помощи я, конечно, оказать здесь уже не могу; но миссис Гулд попросила меня присмотреть за стариком, и поскольку у меня нет лошади и до рудников, где мне положено находиться, я все равно не доберусь, то я могу побыть и здесь, мне не трудно. Тем более что в городе обойдутся без меня.

— Ну а я останусь с вами, доктор, и посмотрю, как будут развиваться события в порту, — заявил главный инженер. — Ведь Сотильо может появиться в любую минуту, и, если солдаты станут досаждать старику, мне хотелось бы его защитить. Сотильо был всегда со мной очень любезен, у Гулдов и в клубе. Не могу себе представить, как он осмелится взглянуть в лицо своим здешним

друзьям.

— Для начала он, несомненно, некоторых из них расстреляет, чтобы избежать неловкости при первой встрече, — сказал доктор. — Приговорить без суда и следствия к смертной казни хотя бы нескольких человек — в этой стране излюбленное средство для военных деятелей, перебежавших на сторону врага. — Он говорил с угрюмой убежденностью, которую едва ли можно было бы поколебать. Главный инженер и не пытался. Он лишь удрученно кивнул головой и сказал:

— Я думаю, что к утру мы вам раздобудем лошадь, доктор. Мои пеоны тут поймали нескольких сбежавших с перепугу лошадей. Если ехать очень быстро, кружным путем — через Лос-Атос и дальше вдоль опушки леса, так чтобы Ринкон остался в стороне, — вы, пожалуй, доберетесь до моста Сан-Томе без препятствий. Рудники, по-моему, сейчас самое безопасное место для человека, который чем-нибудь скомпрометирован. Я могу лишь пожалеть, что с железной дорогой дело обстоит совсем не так благополучно.

— Стало быть, я скомпрометирован? — после короткой паузы осведомился доктор.

— Точно так же, как и вся концессия Гулда.

Окажись я на его месте, я тоже не смог бы не участвовать в политической жизни страны… если можно назвать жизнью эти конвульсии. Тут главное — удастся ли тебе обеспечить безопасность своего предприятия. Рано или поздно наступает момент, когда сохранить нейтралитет невозможно, и Чарлз Гулд это прекрасно понимает. Надеюсь, он готов к любому испытанию. Такой человек, как Гулд, не смог бы терпеть бесконечно разгул невежественной и наглой деспотии. Ведь его можно сравнить с пленником, который сидит в разбойничьем притоне и ежедневно платит деньги, чтобы приобрести право на жизнь, хотя в кармане у него находится вся сумма, необходимая для полного выкупа; и при этом платит лишь за то, чтобы его не убивали, а о свободе нет и речи. Да, да, именно так.

И вы напрасно пожимаете плечами, — приведенное мной сравнение абсолютно соответствует действительности, особенно если иметь в виду, что захваченный бандитами пленник, словно в сказке, обладает способностью все время добавлять к лежащим у него в кармане деньгам новые, которые не могут захватить бандиты. Вы это знаете не хуже меня, доктор. Он оказался в положении курицы, несущей золотые яйца. Я

обсуждаю с ним эту тему еще с тех пор, как здесь побывал сэр Джон.

Узник, находящийся в руках алчных и невежественных разбойников, постоянно должен ожидать, что любой мерзавец и дурак может раскроить ему череп, в приступе шального гнева или понадеявшись сразу отхватить крупный куш. Народная мудрость не зря породила грустную притчу о курице, которую зарезали, хотя она несла золотые яйца. Эта сказка никогда не устареет. Вот почему Чарлз Гулд, действуя, как всегда, обдуманно и немногословно, поддержал декрет рибьеристов, первый официальный акт, который гарантировал ему свободу не за выкуп. Рибьеризм потерпел крах… в этой стране все разумное обречено на гибель. Но Гулд не потерял головы и постарался сохранить полученное за полгода серебро.

План Декуда противопоставить мятежу новую революцию, возможно, имеет под собой какую-то основу, а возможно, и не имеет ее, может осуществиться, а может не осуществиться. Хотя я неплохо знаю этот бурлящий революциями континент, я не могу относиться к их деятельности серьезно. Декуд прочел нам свой проект воззвания и очень убедительно два часа подряд

рассказывал, что он намерен сделать. Он приводил доводы, которые могли бы показаться вполне основательными, если бы нас, представителей старинных и стабильных политических и национальных структур, не ужасала самая мысль о том, что новое государство может возникнуть таким вот образом — прямо из головы иронически настроенного молодого человека, который сразу после этого, торопливо сунув воззвание в карман, бежит, спасая свою жизнь, к грубому, глумливому рубаке-полукровке, из тех, которых в здешних краях почему-то именуют генералами. Все это похоже на забавную сказку и, пожалуй, может и в самом деле к чему-то привести, поскольку выдержано в истинном духе этой страны.

— Так, значит, серебро уже в пути? — хмуро спросил доктор.

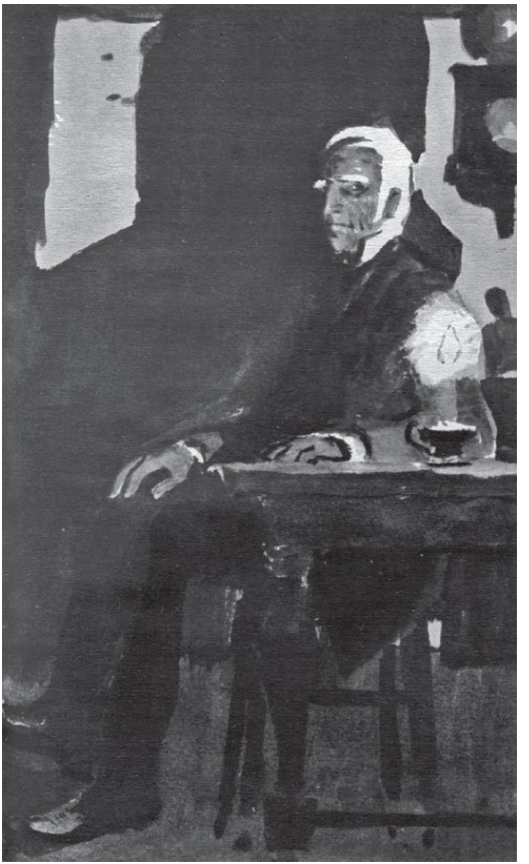
Инженер извлек из кармана часы.

— Судя по уверениям капитана Митчелла, — а уж он-то, конечно, все досконально знает, — серебро находится в пути уже так долго, что, вероятно, сейчас его отделяют от порта три или четыре мили; а Ностромо, как говорит Митчелл, отличный моряк и даром времени терять не станет.

Доктор хмыкнул так выразительно, что инже-

нер обеспокоенно спросил:

— Вы не одобряете этой затеи, доктор? Но почему? Чарлз Гулд понимает, что игру надо довести до конца, хотя он едва ли формулирует таким образом свою линию поведения даже мысленно, а тем более вслух. Условия этой игры ему, возможно, подсказал отчасти Холройд; но Гулд по натуре сам любитель таких игр, и потому, что правила ему по вкусу, он оказался столь счастливым игроком. В Санта-Марте его уже назвали королем Сулако. Такая кличка — верное свидетельство успеха. В этой шутке, на мой взгляд, есть большая доля правды. Уверяю вас, доктор, я был просто потрясен, когда, приехав в Санта-Марту, увидел, как все эти журналисты, «народные трибуны», члены конгресса, а также всяческие генералы и судьи пресмыкаются перед субъектом с сонными глазами, адвокатом без клиентов только потому, что он является полномочным послом концессии Гулда. И на сэра Джона, когда он сюда приезжал, это тоже произвело очень сильное впечатление.



— Так, так... новое государство и его первый президент — пухленький денди Декуд, — задумчиво произнес доктор Монигэм, который все так же сидел, подпирая рукой голову, и качал ногами.

— Бог ты мой, а почему бы нет? — с неожиданной серьезностью и доверительностью отозвался инженер. Казалось, даже он подвергся наконец воздействию невидимо витавших в воздухе Костагуаны миазмов, которые вселили в каждого из местных жителей незыблемую веру в pronunciamientos[131]. Внезапно он с апломбом опытного революционера принялся объяснять, что войска, которые стоят в Каите и еще не понесли урона, ибо не участвовали в боях, через несколько дней могут возвратиться в Сулако, вдохновленные воззванием Декуда, если только он сумеет добраться до них. Руководить военными действиями будет Барриос, который от Монтеро, конкурента и смертельного врага, может ждать лишь одного — расстрела. Таким образом, помощь Барриоса обеспечена. Что касается его армии, ей тоже нечего ожидать от новоявленного диктатора, даже жалованья за месяц. Ввиду

---

[131] Примечания: 131
Перевороты *(исп.)*.

всех этих обстоятельств сокровища Сан-Томе приобретают огромную важность. Как только армия Барриоса узнает, что серебро не досталось врагу, она тотчас с радостью примется защищать отделившееся от Костагуаны государство.

Доктор поднял голову и пристально взглянул на собеседника.

— Ого! Я вижу, этот Декуд сумеет убедить кого угодно, — проворчал он наконец. — Уж не он ли упросил Чарлза Гулда отправить такое множество серебряных слитков в открытое море, доверив их пресловутому Ностромо?

— Чарлз Гулд, — ответил главный инженер, — сказал о своих побуждениях не больше, нежели он говорит о них всегда. Вы ведь знаете, он неразговорчив. Но побуждения его известны всем, у него лишь одно побуждение — оградить от опасности рудники Сан-Томе и дать возможность концессии Гулда, как и прежде, функционировать в духе его соглашения с Холройдом. Холройд тоже необычный человек. Оба они мечтатели и потому так хорошо друг друга понимают, хотя одному тридцать, а другому под шестьдесят. Но быть миллионером, и к тому же миллионером такого типа, как Холройд, — это то же самое, что обрести вечную молодость. Юношеская отвага

уповает на то, что впереди несметные, бесчисленные годы; миллионер располагает несметным богатством… и это еще лучше. Человек не знает, сколько лет он проживет, а миллионы, несомненно, могут сделать многое.

Лишь восторженный юноша может мечтать внедрить на этом континенте светлые идеи христианства, и мне хочется понять, почему Холройд в пятьдесят восемь лет ведет себя словно неопытный юнец и даже еще романтичней. Он, конечно, не миссионер, но то, что происходит на Сан-Томе, ничем не отличается от деятельности миссионеров. Заверяю вас со всей серьезностью, что он не мог проникнуться таким энтузиазмом во время чисто делового совещания с сэром Джоном по поводу финансового положения Костагуаны. Совещание происходило года два назад, и сэр Джон в письме из Сан-Франциско, которое он написал мне, возвращаясь на родину, выражал недоумение по этому поводу. Невольно подумаешь, доктор, что поступки наши очень мало значат сами по себе. И право же, приходишь к выводу, что существенно только одно — духовное начало, которое побуждает нас к действию.

— Э, бросьте! — прервал его доктор, который выслушал рассуждения инженера, не меняя позы

и качая ногами. — Все это просто самолюбование. Пища для тщеславия, а тщеславие, как нам известно, правит миром. Лучше скажите, что может случиться с сокровищами, плывущими сейчас по воле волн и вверенными попечениям великого капатаса и великого политического деятеля Декуда?

— А почему это тревожит вас, доктор?

— Меня? Да на кой дьявол они мне нужны? Я-то не вкладываю духовного начала в свои желания, мнения и поступки. Они, увы, не грандиозны, и самолюбование в них не умещается. К примеру, я бы, конечно, хотел облегчить последние минуты жизни несчастной, умирающей там, наверху. Но не могу этого сделать. Невозможно. Вам когда-нибудь случалось сталкиваться с невозможным или у вас, Наполеона железных дорог, не существует в словаре такого слова?

— Ей придется очень сильно мучиться? — спросил инженер с состраданием.

Кто-то, медленно и тяжело ступая, прошел по половицам над массивными деревянными балками. Затем из узкого проема лестницы, прорубленной в стене с таким расчетом, чтобы там уместился только один человек, который мог бы преградить путь двадцати, послышалось два

голоса, один — прерывистый и слабый, другой — низкий, и в его ласковом рокоте потонули вопросы, заданные женским голосом.

Наши собеседники затихли на время, пока не смолкли голоса наверху, затем доктор передернул плечами и буркнул:

— Да, придется. Но если даже я и поднимусь к ней, то помочь ничем не смогу.

Наступило долгое молчание и внизу и наверху.

— Мне почему-то кажется, — негромко проговорил инженер, — что вы не доверяете капатасу капитана Митчелла.

— Не доверяю! — процедил сквозь зубы доктор. — Я полагаю, что он способен на все, включая преданность на грани безумия. Видите ли, я последний, с кем он разговаривал перед тем, как покинул пристань. Больная захотела с ним повидаться, и я его к ней проводил. С умирающими не полагается спорить. Бедная женщина безропотно ждала кончины и казалась вполне спокойной, но за какие-нибудь десять минут этот мерзавец сказал или сделал что-то такое, от чего она впала в отчаяние. Видите ли, — продолжал, слегка замявшись, доктор, — женщины всегда и в любой ситуации до такой степени непостижимы, что мне порой казалось, будто она… ну, словом, чуть

ли не влюблена в него… в капатаса.

Негодяй на свой особый лад обладает несомненным обаянием — чем иначе объяснить, что его боготворит весь город. Нет, я вовсе не сошел с ума. Я неудачно выразился, но я не знаю, как описать ее чувство к капатасу, беспричинную и сильную привязанность из тех, какие возникают иногда у женщины к мужчине и не заключают в себе ничего предосудительного. Она нередко при мне его бранила, что отнюдь не исключает справедливости моих догадок. Наоборот, мне кажется, она ругала его так часто потому, что постоянно думала о нем. В ее жизни он играл большую роль. Я ведь хорошо знаком со всем семейством. Каждый раз, когда я приезжал из Сан-Томе, миссис Гулд просила меня их проведать. Миссис Гулд любит итальянцев; кажется, она долго жила в Италии, а к старому гарибальдийцу питает особую слабость. Он и в самом деле необычный человек. Суровый мечтатель, до нынешнего дня витающий, как в облаках, в призрачном мире республиканских идей своей юности. Нелепый старикан, экзальтированный, необузданный, — он и капатаса заразил своей дурью.

— Это какой же дурью? — удивился инженер. — Капатас, по-моему, всегда ведет себя очень

разумно, он находчив, абсолютно бесстрашен, — одним словом, лучшего помощника и желать не приходится. Ему можно поручить все, что угодно. На сэра Джона во время путешествия из Санта-Марты через горы он произвел отличное впечатление, как очень толковый и распорядительный малый. А впоследствии, вы, вероятно, слыхали, он оказал нам большую услугу, сообщив начальнику полиции, что в Сулако приехали грабители-профессионалы и замышляют устроить железнодорожную катастрофу, чтобы захватить вагон, в котором находится месячное жалованье всех служащих дороги. Он превосходно организовал разгрузочные и погрузочные работы для компании ОПН в порту. Он умеет заставить себя слушаться, хотя он и иностранец. Каргадоры, правда, тоже нездешние — иммигранты, isleños[132].

— Престиж — главная его забота, — брюзгливо проворчал доктор.

— Он столько раз уже доказывал свою надежность, что проверять его нет никакой нужды, — не соглашался инженер. — Когда возник вопрос, кто повезет серебро, капитан Митчелл, разумеется,

---

[132] Примечания: 132
Островитяне *(исп.).*

стал горячо доказывать, что доверить это нельзя никому, кроме капатаса. Ну конечно, он моряк, и, я думаю, в этом вся причина. Но что касается его честности, признаюсь, и Гулд, и Декуд, да и я сам полагали, что такое поручение можно дать кому угодно. Капатаса смог бы заменить любой рыбак. Ну скажите, бога ради, что будет делать вор с таким множеством серебряных слитков? Если он присвоит их и убежит, то ведь рано или поздно ему придется где-нибудь высадиться со своим грузом, а каким образом он сумеет скрыть от местных жителей целую гору серебра? Тут и думать не о чем. К тому же вместе с капатасом отплыл Декуд. Мы, не задумываясь, доверялись капатасу даже в случаях гораздо более сложных.

— Он на это смотрит несколько иначе, — сказал доктор. — Как раз здесь, на кухне, он заявил при мне, что это самое отчаянное дело в его жизни. Он составил нечто вроде устного завещания, а душеприказчиком назначил старика Виолу; ей-богу, уверяю вас, никакого богатства он не наживает, оттого что так преданно служит всем вам — господам, распоряжающимся в порту, на рудниках и на железной дороге. Думаю, в обмен за свои труды он обретает некое — как вы его назвали? — духовное начало, а иначе на кой ему

дьявол проявлять преданность Гулду, Митчеллу, вам и всем прочим.

Он хорошо знает эту страну. Например, он знает, что Гамачо, депутат от Хавиры, был просто бродячим торговцем, который шатался со своим товаром по Кампо, потом набрал всякой всячины у Ансани в кредит, открыл где-то в глуши небольшую лавчонку, после чего добился, чтобы его выбрали в парламент пьяные конюхи и батраки, которые кочуют из усадьбы в усадьбу, и обнищавшие ранчеро, задолжавшие ему. А ведь этот Гамачо, который, возможно, завтра станет одним из высших должностных лиц в стране, тоже чужеземец — он островитянин. Он бы мог сейчас быть каргадором компании ОПН, но, на свое счастье, — хозяева наших придорожных гостиниц хоть сейчас готовы в этом присягнуть — однажды повстречал в лесу бродячего торговца, убил его и стащил узел с товаром, с чего и началась его карьера. А вы думаете, Гамачо в ту пору пользовался такой же любовью народа, как наш капатас? Конечно нет. Гамачо и в подметки ему не годится. Нет, я решительно считаю, что Ностромо дурак.

Желчные высказывания доктора были неприятны инженеру.

— На эту тему невозможно спорить, — заметил он философски. — У каждого свои таланты. Слышали бы вы, как ораторствовал Гамачо, обращаясь к своим друзьям, которые толпились под окном. Голос у него пронзительный, и он вопил как сумасшедший, потрясая кулаками над головой и рискуя вывалиться из окна на тротуар. Едва он делал паузу, чернь, сгрудившаяся внизу, принималась орать: «Долой олигархов! Viva la libertad!» Фуэнтес не подходил к окну; на него было жалко смотреть. Он ведь брат Хорхе Фуэнтеса, того самого, который несколько лет назад был в течение полугода министром внутренних дел. Совести у него, конечно, нет; но он из хорошей семьи, образован… одно время служил начальником таможни в Каите. Этот кретин Гамачо присосался к нему со своими приспешниками из числа гнуснейших подонков. Фуэнтес так боится этого головореза, что наблюдать за этой парой — истинное удовольствие.

Он встал, подошел к двери и, высунувшись, поглядел в сторону гавани.

— Все спокойно, — сказал он. — А может быть, Сотильо и не собирается сюда?

Глава II

Тот же вопрос задавал себе, расхаживая по набережной, капитан Митчелл. Разве не могло случиться так, что сообщение телеграфиста из Эсмеральды — отрывочное и бессвязное — было неправильно понято? Тем не менее добрейший капитан решил не ложиться до рассвета. Он вообразил себе, что оказал огромную услугу Чарлзу Гулду, и каждый раз при мысли о спасенном серебре торжествующе потирал руки. Простодушный капитан гордился своим участием в такой хитроумной затее. Ведь именно благодаря ему она стала осуществимой, ибо не кто иной, как он, высказал мысль, что баркас с серебром может встретиться в открытом море с направляющимся на север пароходом. Кроме того, это было в интересах компании, которая лишилась бы выгодного фрахта, если бы серебро осталось в порту и было конфисковано. Человек властный по складу характера, а также благодаря многолетней привычке командовать, капитан Митчелл не был демократом. Он зашел даже так далеко, что открыто выражал свое презрение к парламентаризму. «Его милость дон Винсенте, — повторял он

не раз, — которого я и мой подручный Нострómо имели честь и удовольствие, сэр, спасти от кровавой расправы, слишком уж считался со своим конгрессом. Это было ошибкой, сэр, несомненной ошибкой». Старый моряк наивно полагал, что за последние три дня израсходован весь запас бурных событий, которым располагала Костагуана. Впоследствии он признавался, что дальнейшее превзошло все, что он мог себе вообразить. Во-первых, город (поскольку солдаты Сотильо захватили телеграфный пункт и приостановили движение поездов) оказался словно в осаде и был на целых две недели отрезан от мира.

— Трудно поверить, сэр, однако все было именно так. На целых две недели, представьте себе, сэр.

Повествованию о невероятных происшествиях, случившихся за эти две недели и глубоко взволновавших его, придавала особую, комическую выразительность напыщенная манера рассказчика. Вначале он всегда доверительно сообщал, что «находился в самой гуще событий с первого до последнего дня». Затем описывал отплытие баркаса и свое, вполне естественное в тот миг, волнение по поводу того, как бы его подручный, которому было поручено увезти из порта серебро,

не совершил какой-либо ошибки. Ведь, кроме потери драгоценного металла, подвергалась также опасности жизнь сеньора Мартина Декуда, симпатичного, богатого и образованного молодого джентльмена, которому ни в коем случае нельзя было оказаться в руках у своих политических врагов. Капитан Митчелл не скрывал при этом, что во время своего ночного бдения на пристани он в какой-то степени тревожился и за будущность всей страны.

— Чувство, сэр, — восклицал он, — вполне естественное в человеке, благодарном за многочисленные проявления любезности со стороны лучших семейств Костагуаны — коммерсантов и других состоятельных людей, которые, едва лишь мы успели спасти их от ярости толпы, снова попали в опасное положение, ибо, насколько я могу судить, их имущество и жизнь вскоре должны были оказаться в распоряжении местной военщины, как известно, проявляющей прискорбную жестокость в пору междоусобных войн. Не забывайте также Гулдов, сэр, к которым, и к жене и к мужу в равной степени, я не мог не испытывать самой горячей признательности за их гостеприимство и доброту. Кроме того, меня тревожила судьба господ из клуба «Амарилья», сделавших

меня его почетным членом и неизменно обходившихся со мной учтиво и почтительно, в какой бы роли я ни выступал — представителя консульства либо управляющего пароходной компанией. Немало думал я, должен признаться, и об участи мисс Антонии Авельянос, прекраснейшей и достойнейшей из всех молодых леди, с которыми мне выпадало счастье говорить. К тому же я не мог не размышлять о том, как предстоящая смена правительственных чиновников отразится на интересах нашей компании.

Одним словом, сэр, как вы легко можете догадаться, меня смертельно встревожили и сильно утомили волнующие события, в которых и мне довелось сыграть свою скромную роль. Всего в пяти минутах ходьбы находилась контора нашей компании, где расположена и моя квартира, в которой меня ждали ужин и гамак (сообразуясь с особенностями местного климата, я всегда провожу ночь в гамаке); но почему-то, сэр, хотя я, несомненно, никому ничем не мог помочь, я был не в состоянии покинуть пристань и бродил по ней, с трудом передвигая ноги от усталости.

Ночь была непроглядно темной — я в жизни не видел таких ночей; и я уже начинал надеяться, что судно из Эсмеральды не сможет в таком

мраке пересечь залив и появится лишь при свете дня. Москиты кусались зверски. Нас осаждали здесь москиты до недавних пор, пока муниципалитет не предпринял решительные меры; а те, что обитали в гавани, сэр, отличались особой свирепостью. Они облаком роились вокруг моей головы, и, если бы не их укусы, я, наверное, уснул бы на ходу и упал. Я курил одну сигару за другой уже не потому, что мне хотелось курить, а главным образом из опасения быть съеденным заживо.

И вот, сэр, когда я, вероятно, в двадцатый раз приблизился к освещенному краю пирса, чтобы взглянуть на свои часы, и с удивлением обнаружил, что они показывают всего без десяти минут двенадцать, я услыхал шум пароходного винта — звук, который ухо моряка распознает в такую тихую ночь безошибочно. Он был очень слабым, поскольку судно приближалось осторожно и дьявольски медленно, во-первых, из-за темноты, во-вторых, из-за стремления не обнаружить раньше времени свое присутствие, предосторожность совершенно излишняя, поскольку, как я искренне убежден, на всем огромном протяжении пирса (а он занимает около четырехсот футов в длину) не было ни одной живой души, кроме меня. С

тех пор как начался мятеж, из порта испарились все служители, включая ночных сторожей. Я замер, только бросил сигару и погасил ее ногой, чем доставил, думаю, большое удовольствие москитам, если судить по состоянию моего лица на следующее утро. Однако это лишь пустячное неудобство по сравнению с теми зверствами, жертвой которых я стал, оказавшись в руках Сотильо. Нечто абсолютно невообразимое, сэр; поступки, подходящие скорей маньяку, нежели человеку, находящемуся в здравом уме, пусть даже полностью утратившему представление о благопристойности и чести. Но Сотильо пришел в ярость, когда сорвались его грабительские планы.

В этом капитан Митчелл был прав. Сотильо в самом деле разъярился. Капитан Митчелл, впрочем, был арестован не сразу; чувство живейшего любопытства побудило его остаться у причала, чтобы увидеть, а верней, услышать с самого начала до конца, как будет производиться высадка войск. Спрятавшись за вагонеткой, с которой перегрузили на баркас серебро, откатив ее затем к противоположному концу пирса, капитан Митчелл увидел, что сперва сошел на берег небольшой отряд и, разбившись на группы, стал

в разных направлениях растекаться по равнине. Тем временем с парохода высадились войска и построились в колонну, голова которой настолько приблизилась к укрытию капитана Митчелла, что всего в нескольких ярдах от себя он мог различить шеренги, почти полностью перегородившие пирс. Затем приглушенное шарканье, звяканье и голоса утихли, колонна в течение часа стояла неподвижно и безмолвно, дожидаясь возвращения разведчиков. На равнине царила глубокая тишина, только басовито лаяли собаки на товарной станции, а в ответ им пронзительно тявкали дворняжки с городских окраин. Резко очерченным пятном чернел во мгле стоявший перед колонной патруль.

Спустя некоторое время к набережной стали поодиночке подходить разведчики, и патрульные их окликали. Те бросали на ходу несколько слов в ответ и, торопливо миновав дозор, растворялись в густой и неподвижной человеческой массе, чтобы поскорее доложить командованию, что обнаружила их группа. Капитана Митчелла осенила мысль, что его позиция может оказаться крайне неприятной и даже опасной, как вдруг у пирса раздалась громкая команда, затрубил горн, и тотчас же колонна зашевелилась, послышалось

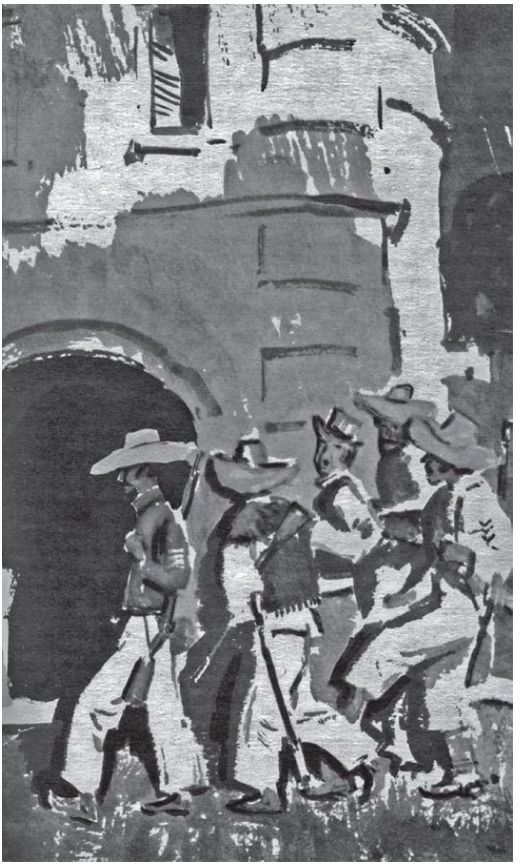
бряцание оружия, а по рядам пробежал ропот голосов. «Да уберите эту вагонетку!» — крикнул кто-то, и, как только прозвучал этот приказ, затопали босые ноги, и капитан Митчелл торопливо отступил шага на два; вагонетка, на которую нажало сразу множество рук, откатилась прочь по рельсам, и не успел он опомниться, как солдаты окружили его, крепко ухватив за шиворот и за руки.

— Здесь прячется какой-то человек, — крикнул один из солдат, — мы поймали его, лейтенант!

— Держите его и стойте на месте, пока с вами не поравняется арьергард, — раздался голос лейтенанта.

Вся колонна бегом промчалась мимо, и дробный топот ног по деревянному настилу затих на берегу. Митчелла держали крепко, игнорируя его заявление, что он британский подданный и требует, чтобы его немедленно отвели к командиру. Он покричал немного, затем с достоинством умолк. С глухим рокотом проехали две полевые пушки — их волокли вручную. Затем, когда мимо капитана Митчелла промаршировал небольшой эскорт, сопровождавший нескольких офицеров, пленника потащили за ними следом. Не исключено, что по пути от пирса к таможне

солдаты обращались с Митчеллом довольно непочтительно — иными словами, имели место и подзатыльники, и тычки, и чувствительные прикосновения приклада к пояснице. Их понятия о скорости не совпадали с представлениями капитана о соблюдении своего достоинства. Он растерялся, разволновался, побагровел. Ему казалось, что наступил конец света.



Солдаты окружили со всех сторон длинное здание таможни, грудами поротно складывали оружие и, готовясь к ночлегу, расстилали на земле свои пончо со скатками, положенными в изголовье. Помахивая фонарями, капралы расставляли вдоль стен часовых у каждой двери и у каждого окна. Сотильо собирался защищать таможню так, словно там и в самом деле хранились сокровища. Его желание моментально разбогатеть, совершив дерзкий и блистательный ход, заглушило голос рассудка. Он не верил, что может потерпеть поражение, — даже намек на такую возможность приводил его в ярость. Любое обстоятельство, свидетельствующее о том, что возможность эта все же существует, представлялось ему неправдоподобным. Утверждение Гирша, столь фатальное для его надежд, он отмел самым решительным образом. Тут, правда, следует признать, что Гирш говорил так бессвязно, в таком лихорадочном возбуждении, что рассказанная им история и в самом деле выглядела фантастично. Сам черт ногу сломит, как обычно говорят о повествованиях такого рода.

Как только беднягу выудили из воды, Сотильо и его офицеры, дрожа от нетерпения, допросили его прямо на мостике, не дав собраться даже с

теми скудными обрывками мыслей, какие ему удалось не растерять. Его следовало бы успокоить и ободрить, а на него набросились, напялили наручники, толкали, кричали. Он извивался, корчился, пытался стать на колени, затем начал отчаянно рваться, будто хотел прыгнуть за борт, и это поведение, а также вопли, перепуганный вид и обезумевшие от страха глаза поначалу вызвали удивление, а затем и недоверие — ведь люди часто подозревают в притворстве тех, кто охвачен очень сильным чувством. Кроме того, он так щедро пересыпал испанскую речь немецкими словами, что бóльшая часть его объяснений осталась непонятой. Он старался их умилостивить, именуя hochwohlgeborene Herren[133], и уже одно это сильно их насторожило.

Ему строго приказали перестать дурачиться, но он по-прежнему умолял о пощаде и уверял в своей лояльности и невиновности, упорно продолжая изъясняться по-немецки, ибо сам не понимал, на каком языке говорит.

В нем, конечно, сразу опознали жителя Эсмеральды, что отнюдь не прояснило дела. Поскольку он все время забывал фамилию Декуда и путал

---

[133] Примечания: 133
Высокородными господами *(нем.)*.

его еще с несколькими людьми, с которыми встречался в гостиной Гулдов, возникло впечатление, будто все они совместно отбыли на баркасе; на какое-то мгновение Сотильо решил, что утопил всех выдающихся рибьеристов Сулако. Но это было неправдоподобно и заставляло усомниться во всем остальном. Гирш сошел с ума или делает вид, что сошел, прикидывается, будто умирает от страха, специально чтобы сбить их с толку. Сотильо, ошалевший при мысли, будто огромное богатство плывет к нему прямо в руки, был не в состоянии поверить, что его надежды не осуществятся. Этот еврей, конечно, в самом деле страшно перепуган, но тем не менее он знает, где спрятано серебро, и со свойственной его соплеменникам хитростью сочинил свою басню, чтобы заморочить голову Сотильо и пустить его по ложному следу.

Сотильо занял огромное помещение на верхнем этаже таможни. Потолка там, правда, не было, поэтому, подняв взгляд, вы видели только толстые черные балки и густую мглу под сводом крыши. Тяжелые ставни были распахнуты. На длинном столе стояла большая чернильница, валялись выпачканные чернилами гусиные перья и красовалось два больших ящика с песком.

Пол был усыпан бланками из грубой серой бумаги. Комнату эту, вероятно, занимал кто-нибудь из таможенного начальства, так как во главе стола виднелось кожаное кресло, а рядом с ним несколько стульев с высокими спинками. К одной из балок был подвешен гамак — несомненно на предмет послеобеденной сиесты. Две-три свечи в высоких железных подсвечниках красноватым светом тускло освещали стол. Между подсвечниками лежали шляпа полковника, его сабля и револьвер, а на стульях, облокотившись о стол и уныло свесив головы, сидели два самых доверенных офицера господина полковника. Сам полковник развалился в кресле, и огромный негр с сержантскими нашивками на рваном рукаве, опустившись на колени, стаскивал с него сапоги. На серовато-бледном лице Сотильо резко выделялись черные усы. Запавшие глаза смотрели мрачно. Он был измучен тревогами прошедшей ночи, обескуражен разочарованием, постигшим его, но, когда стоявший возле входа часовой заглянул в комнату и доложил, что пленный прибыл, он сразу ожил.

— Ввести немедленно! — свирепо крикнул он.

Дверь распахнулась, и в комнату втолкнули капитана Митчелла, без шляпы, в распахнутом

жилете и галстуке, съехавшем на бок.

Сотильо узнал его сразу. Он и не мечтал о такой добыче; стоявший перед ним человек мог бы, если пожелал, рассказать все, что хотелось узнать Сотильо; и полковник сразу же прикинул, как заставить его говорить. Сотильо не боялся вызвать гнев какой-нибудь заокеанской державы, обидев ее подданного. Все армии Европы не смогли бы оградить капитана Митчелла от оскорблений и даже побоев, но спасла его внезапно мелькнувшая в голове Сотильо мысль, что Митчелл — англичанин, и потому, если он станет обращаться с ним дурно, тот заупрямится, и тогда от него уже не добиться толку. В связи с чем полковник тут же постарался придать своему лицу приязненное выражение.

— Боже мой! Достопочтенный сеньор Митчелл! — воскликнул он в притворном ужасе. — Сейчас же освободить кабальеро, — приказал он, и эти грозно произнесенные слова возымели на солдат такое действие, что они прямо-таки отпрыгнули от пленника. Капитан Митчелл, внезапно лишившись этой насильственной поддержки, покачнулся и чуть не упал. Сотильо дружески подхватил его под руку, усадил на стул и, властно махнув рукой, приказал: — Все вон!

Когда их оставили наедине, он постоял немного в нерешительности, глядя себе под ноги, и молча ждал, пока капитан Митчелл вновь обретет дар речи.

Вот он прямо у него в руках, человек, принимавший участие в перевозке серебра.

Сотильо, по природе своей малый вспыльчивый, испытывал острейшее желание его избить; уж таков был его нрав — в старые времена, когда ему случалось просить в долг денег у Ансани, у него тоже чесались руки от желания вцепиться в глотку слишком осмотрительному торгашу.

Что до капитана Митчелла, то от внезапности, неожиданности и полной непредсказуемости того, что с ним случилось, все мысли перемешались в его голове. К тому же он чувствовал себя совершенно разбитым.

— Пока меня вели сюда от гавани, меня три раза ударили так сильно, что я упал, — хрипло сказал он наконец. — Кое-кому придется за это ответить.

Он и в самом деле несколько раз падал, и солдаты волоком тащили его, пока он вновь не обретал способность твердо ступать по земле. Сейчас, когда он наконец отдышался, он был вне себя от гнева. Он вскочил, багровый, со взъерошенными

седыми волосами, и глаза его сверкнули мстительным огнем, когда он яростно потряс полой своей изорванной жилетки перед опешившим Сотильо.

— Вот, полюбуйтесь! Ваши ворюги в мундирах стащили у меня часы.

Старый моряк был страшен. Он оттолкнул Сотильо от стола, на котором лежали револьвер и сабля.

— Я требую, чтобы передо мной извинились и возместили убытки, — громовым голосом крикнул капитан вне себя от бешенства. — Я требую этого от вас! Да, от вас!

На мгновенье полковник окаменел; затем, когда капитан Митчелл резким движением потянулся к столу, словно собираясь схватить револьвер, Сотильо с испуганным криком бросился к порогу и выскочил, захлопнув за собою дверь. Это было так неожиданно, что капитан Митчелл вдруг почувствовал, как его гнев остыл. Сотильо вопил по ту сторону двери, и по деревянным ступеням лестницы слышался топот босых ног.

— Отобрать у него оружие! Связать его! — орал полковник.

Капитан Митчелл мельком бросил взгляд на окна, каждое из которых заграждали три толстых

вертикальных железных прута и которые находились футах в двадцати над землей, о чем он прекрасно знал; вслед за тем дверь распахнулась, и на него набросились солдаты.

В мгновенье ока его прикрутили ремнем к стулу с высокой спинкой, обвязав все тело так, что только голова была свободна. И лишь тогда рискнул войти Сотильо, до этого стоявший, прислонившись к косяку, и дрожавший так, что всякий мог это заметить. Солдаты подняли с пола винтовки, которые бросили, накинувшись на пленника, и вышли из комнаты один за другим. Офицеры остались, опираясь на сабли и встревоженно поглядывая на Митчелла.

— Часы! Часы! — яростно повторял полковник и, как тигр, метался по комнате. — Где часы этого человека?

И в самом деле, когда капитана Митчелла обыскали на первом этаже таможни, чтобы изъять у него оружие, прежде чем допустить к Сотильо, у него отобрали цепочку и часы; но после требования, высказанного полковником в такой решительной форме, конфискованное имущество довольно скоро нашлось — его принес капрал, бережно держа в сложенных ковшиком ладонях. Сотильо выхватил из его рук часы и

ткнул их прямо в лицо капитану Митчеллу, зажав цепочку в кулаке.

— Эй ты, надменный англичанин! Ты осмелился назвать ворюгами наших солдат! Вот они, твои часы!

Он потрясал кулаком, словно хотел ударить пленника в нос. Капитан Митчелл, беспомощный, как спеленатый младенец, встревоженно поглядывал на свой золотой хронометр, стоивший шестьдесят гиней и подаренный ему когда-то страховой компанией за спасение судна, которое чуть не погибло от пожара. Сотильо, в свою очередь, тоже уразумел, что перед ним необычайно дорогая вещь. Он вдруг умолк, шагнул к столу и стал внимательно рассматривать часы, поднеся их к свету. Таких красивых он никогда еще не видел. Офицеры встали у него за спиной и вытягивали шеи, чтобы получше разглядеть часы.

Часы настолько увлекли полковника, что он на время забыл о пленнике. Есть нечто детское в алчности темпераментных и простодушных южан, что делает их крайне непохожими на жителей северных стран, склонных к туманным идеалам и готовых под воздействием любого пустяка возмечтать не более не менее как о

покорении Вселенной. Сотильо нравились украшения, драгоценности, золотые побрякушки. Он обернулся к офицерам и властным мановением руки велел им отойти. Положил часы на стол, затем небрежно прикрыл их шляпой.

— Ах так! — заговорил он, подходя вплотную к стулу. — Ты позволил себе назвать ворюгами моих доблестных солдат, солдат из гарнизона Эсмеральды. Как ты осмелился! Какое бесстыдство! Это вы, чужеземцы, явились к нам, чтобы разграбить нашу страну. Вашей жадности нет пределов. Ваша наглость безгранична.

Он оглянулся на офицеров, те одобрительно загудели. Старик майор подтвердил:

— Sí, mi coronel…[134] Все они предатели.

— Я уж ничего не говорю… — продолжал Сотильо, устремив на неподвижного и беспомощного Митчелла гневный, но в то же время беспокойный взгляд. — Я ничего не говорю о том, что вы коварно пытались завладеть моим револьвером в то время, как я разговаривал с вами с предупредительностью, которой вы не заслужили. Вы должны были бы поплатиться за это жизнью. У вас одна надежда: я, может быть, вас пожалею.

---

[134] Примечания: 134
Да, полковник… *(исп.).*

Он посмотрел, какое впечатление произвели его слова, но не обнаружил признаков испуга на лице капитана Митчелла. Седые волосы капитана были в пыли, да и весь он перепачкался пылью. Он сидел с таким видом, словно ничего не слышал, только дернул бровью, чтобы отбросить соломинку, которая застряла у него в волосах и свисала на лоб.

Сотильо выставил вперед ногу и подбоченился.

— Это вы ворюга, Митчелл, — произнес он с пафосом, — вы, а не мои солдаты! — Его указательный палец с длинным, миндалевидным ногтем был направлен на арестованного. — Где серебро с рудников Сан-Томе? Я спрашиваю вас, Митчелл, где серебро, которое хранилось здесь, в этой таможне? Отвечайте! Вы украли его. Вы один из участников кражи. Оно похищено у нашего правительства. Ага… Вы, иностранцы, думаете, я еще ничего не знаю, но я проведал о ваших плутнях. Серебра-то больше нет! Разве не так? Вы увезли его на одной из ваших lanchas[135], несчастный! Как вы осмелились?

Вот теперь он произвел впечатление. «Каким

---

[135] Примечания: 135
Барка, катер *(исп.)*.

образом Сотильо мог узнать об этом?» — подумал Митчелл. Его голова, единственное, чем он мог шевельнуть, внезапно дернулась, выдавая его изумление.

— Ага-а! Трясешься! — выкрикнул Сотильо. — Это заговор. Государственное преступление. Да знаете ли вы, что, пока вы не выплатите долг государству, это серебро принадлежит республике? Так где же оно? Куда ты его упрятал, подлый ворюга?

Капитан Митчелл, услыхав этот вопрос, воспрянул духом. Хотя он и не мог постичь, каким образом Сотильо узнал о баркасе, стало ясно, что тот хотя бы не захватил его. В этом не было никаких сомнений. Сперва капитан Митчелл, оскорбленный столь унизительным обращением, хотел молчать во что бы то ни стало, но сейчас, когда мелькнула надежда спасти серебро, он решил переменить тактику. Он задумался. В Сотильо ощущалась неуверенность.

«Этот человек, — подумал Митчелл про себя, — несомненно колеблется». Капитан Митчелл, невзирая на напыщенность манер, при столкновениях с реальной жизнью обнаруживал решительность и твердость духа. Сейчас, оправившись от первого потрясения, он вновь в

какой-то мере обрел спокойствие и хладнокровие — глубочайшее презрение, которое он испытывал к Сотильо, немало тому способствовало, — и он с уверенностью произнес:

— Ну уж сейчас-то оно спрятано надежно.

К тому времени овладел собой и Сотильо.

— Muy bien[136], Митчелл, — проговорил он холодным и угрожающим тоном. — Но можете ли вы предъявить государству документ, удостоверяющий ваше право на разработку недр, а также разрешение таможни на вывоз серебра? Можете вы это сделать? Нет. Значит, вы вывезли серебро незаконно, и, если оно не будет доставлено сюда в течение пяти дней, виновные понесут наказание.

Он распорядился, чтобы пленника отвязали от стула и заперли в одной из расположенных внизу каморок. Затем принялся расхаживать по комнате, угрюмо и молчаливо, и заговорил лишь тогда, когда капитан Митчелл, которого держали за руки четверо солдат — по двое с каждой стороны, — вскочил и яростно топнул ногой.

— Вам нравится сидеть привязанным веревкой к стулу, Митчелл? — язвительно осведомился он.

---

[136] Примечания: 136
Очень хорошо *(исп.)*.

— Это неслыханное, возмутительное насилие! — громовым голосом воскликнул капитан. — И чего бы вы ни добивались, вы не получите ничего, это я вам обещаю!



Высокий полковник с мертвенно-бледным лицом и черными как смоль вьющимися волосами и усами пригнулся, чтобы заглянуть в глаза

низенькому коренастому арестанту с багровым лицом и взъерошенными волосами.

— Ну что ж, посмотрим. Когда я привяжу вас на целый день, да к тому же под палящим солнцем, вы еще лучше узнаете, что такое насилие. — Он с надменным видом выпрямился и жестом приказал увести капитана Митчелла.

— А когда мне возвратят часы? — крикнул Митчелл, упираясь и вырываясь из рук солдат.

Сотильо возмущенно посмотрел на офицеров.

— Нет, кабальеро, вы только послушайте этого pícaro[137], — презрительно воскликнул он, и офицеры тотчас же насмешливо захохотали. — Он требует свои часы! — И Сотильо порывисто подбежал к арестованному, сжигаемый желанием пустить в ход кулаки и избить англичанина как можно больней. — Часы! Вы пленный, захваченный в период военных действий, Митчелл! Военных действий! У вас нет никаких прав и нет имущества! Caramba! Вы весь полностью, до последнего вздоха принадлежите мне. Запомните это.

— Вздор! — отрезал капитан Митчелл, стараясь казаться спокойным.

---

[137] Примечания: 137
Жулик, мошенник *(исп.).*

Внизу, в большом зале на первом этаже, где пол был земляной, а в углу высился громадный муравейник, построенный белыми муравьями, солдаты сложили небольшой костер из обломков столов и стульев и разожгли его неподалеку от сводчатого входа, со стороны которого доносился приглушенный шум волн, набегавших на пристань. Когда капитан Митчелл спускался по лестнице, ему навстречу бегом промчался офицер, торопившийся сообщить Сотильо, что захвачено еще несколько пленных. Костер потрескивал, огромный темноватый зал мало-помалу наполнялся дымом, и, всматриваясь, как в туман, капитан Митчелл увидел над сомкнувшимися вокруг них плотным кольцом низкорослыми солдатами с блестящими штыками головы трех высоких пленных — доктора, главного инженера дороги и седую львиную гриву старого Виолы, который стоял, отворотясь от остальных, скрестив руки и склонив голову. Изумлению Митчелла не было пределов. Он вскрикнул; у доктора и инженера тоже вырвалось изумленное восклицание. Но конвоиры, пересекая зал, похожий на громадную пещеру, торопливо тащили его за собой. У бедняги Митчелла закружилась голова — такое обилие мыслей и предположений роилось в ней,

так мучительно он старался придумать, что им сказать, как предупредить.

— Он в самом деле вас арестовал? — выкрикнул инженер, и в отблеске костра, внезапно пробежавшем по его лицу, ослепительно сверкнул монокль.

Офицер, стоявший на площадке второго этажа, раздраженно и нетерпеливо распорядился:

— Ведите всех сюда… всех троих.

Сквозь гомон голосов и лязганье оружия невнятно прозвучал голос Митчелла:

— Бога ради! Этот субъект украл мои часы.

Инженеру, которого торопливо тащили к ступенькам, удалось на мгновенье замедлить шаг и спросить:

— Что? Что вы сказали?

— Мой хронометр! — яростно гаркнул Митчелл и в тот же миг сквозь низенькую дверцу стремительно влетел головою вперед в комнату, служившую камерой, где царила кромешная тьма и было так тесно, что он зацепился за стену. Дверь сразу же захлопнулась. Капитан Митчелл знал, что это за комната. Его поместили в кладовую для хранения ценностей, откуда всего несколько часов назад вынесли серебряные слитки. Комната была узкая, как коридор, и в конце

ее виднелась квадратная дверца, забранная толстой решеткой. Митчелл, спотыкаясь, прошел несколько шагов, затем сел прямо на земляной пол и прислонился спиной к стене. Даже слабый луч света не проникал в камеру и не препятствовал его размышлениям.

Он напряженно думал, стараясь сосредоточиться на главном. Мысли его не были мрачными. Старый моряк, при всех своих слабостях и причудах, был органически неспособен долго думать об опасности, угрожающей лично ему. Причиной тому была не столько душевная твердость, сколько недостаток воображения особого рода, присовокупляющий ко всем свойственным человеку восприятиям слепой страх перед физическими страданиями и смертью; это предвкушение телесных мук, которых люди иного склада не ожидают ежеминутно, не оставляет страдальца никогда — он постоянно пребывает в тревожном ожидании. Избыток воображения такого рода, разбушевавшись не в меру, как нам известно, причинил невыносимые страдания сеньору Гиршу. Капитану Митчеллу, однако, не было дано предугадывать события; он совершенно не умел, схватив на лету какой-нибудь оттенок слова, поступка, жеста, проникнуть мыслью в глубинную

суть явлений. В невинном упоении самим собой он не снисходил до того, чтобы замечать других.

Например, капитан Митчелл не мог поверить, что Сотильо его действительно боится — ему просто-напросто не приходило в голову, как это можно кого-то застрелить, разве только этот кто-то приставил бы ему нож к горлу. «Каждому ведь ясно, что я не убийца, — степенно рассуждал старый моряк. — Чем же тогда объяснить эти оскорбительные и нелепые обвинения?» — спрашивал он себя. Впрочем, больше всего его заботил один вопрос, на который он никак не мог найти ответа: каким образом этот фрукт узнал, что серебро отправлено на баркасе? Он захватил его? Нет, несомненно нет. Он не мог его захватить, это ясно! К этому выводу — ложному, как мы знаем, — капитан Митчелл пришел во время своего многочасового бдения на пристани. Наблюдая за бурным морем, он решил, что в эту ночь в заливе ветер дул сильнее, чем обычно; мы же знаем, что все было как раз наоборот.

— Как этот паршивец все узнал? — крикнул он, едва только дверь его камеры с оглушительным лязганьем и грохотом распахнулась (она сразу же захлопнулась вновь, едва он успел поднять голову), из чего Митчелл заключил, что у него

появился товарищ по несчастью. Доктор Монигэм, который сыпал вперемежку английскими и испанскими ругательствами, тут же умолк.

— Это вы, Митчелл? — спросил он брюзгливо. — Я ударился головой об эту распроклятую стену с такой силой, какой вполне хватило бы, чтобы свалить быка. Где вы?

Митчелл, который успел уже привыкнуть к темноте, видел, как доктор беспомощно протягивает руки.

— Тут я сижу, на полу. Не споткнитесь о мои ноги. — Голос капитана Митчелла прозвучал с огромным достоинством. Доктор послушался благого совета и не стал блуждать в темноте, а опустился рядом с капитаном на пол. Узники, почти соприкасаясь головами, принялись рассказывать друг другу о своих злоключениях.

— Да, именно так все и случилось, — приглушенным голосом говорил доктор сгоравшему от любопытства Митчеллу, — нас схватили в гостинице старого Виолы. По-моему, один из их пикетов, во главе которого стоял офицер, доехал до самых городских ворот. Им был дан приказ не входить в город, но брать и уводить с собой всех, кто встретится на равнине. Мы разговаривали, сидя в кухне, дверь была раскрыта, и солдаты

увидели свет. Наверное, они сперва подкрадывались к нам. Инженер улегся на скамье в нише у камина, а я поднялся наверх поглядеть в окно. Долго-долго ничего не было слышно. Старый Виола, как только увидел, что я поднимаюсь к нему, знаком велел мне молчать. Я тихонько вошел в комнату. Поразительно — жена его мирно спала. Уснула, невзирая на все, что творится. «Сеньор доктор, — шепотом сказал мне Виола, — мне кажется, ей стало полегче». — «Да, — с немалым удивлением ответил я, — ваша жена необыкновенная женщина, Джорджо».

И тут раздался выстрел, и мы оба вздрогнули и съежились, словно ударил гром. К этому времени патруль, очевидно, вплотную приблизился к дому, и один из солдат прокрался к самому порогу. Заглянул в дверь, увидел, что на кухне пусто, и вошел, держа в руках винтовку. Инженер потом мне сказал, что именно в это время он на мгновенье закрыл глаза. Когда он их открыл, он увидел, что посредине комнаты стоит человек и вглядывается в темные углы. От неожиданности инженер, не размышляя ни секунды, выскочил из ниши и очутился перед камином. Солдат, для которого это оказалось ничуть не меньшей неожиданностью, вскинул винтовку и выстре-

лил, но от волнения промазал и преуспел лишь в том, что оглушил нашего инженера и слегка его обжег. Но послушайте дальше! Едва раздался выстрел, больная проснулась и села на постели с громким криком: «Джан Батиста, дети! Спаси детей!» До сих пор я слышу этот страшный вопль. Он был полон глубочайшего отчаяния. Я окаменел, ошеломленный, но в это время муж Терезы кинулся к ее кровати, протягивая руки. И она схватила его за руки! Глаза ее сверкали безумным огнем; старик бережно уложил ее на подушки, затем в растерянности оглянулся на меня. Она была мертва! Все это совершилось быстрее, чем за пять минут, и я тут же стремглав бросился вниз узнать, что там случилось. Мы с инженером попробовали уговорить их офицера, но он был непреклонен; тогда я вызвался подняться с двумя солдатами наверх и привести старика Виолу. Он сидел в ногах кровати, смотрел на жену и, казалось, совсем не слышал, что я ему говорю; но когда я прикрыл лицо покойницы простыней, он встал, тихий, задумчивый, и спустился вместе с нами.

Солдаты повели нас по дороге — дверь так и осталась открытой, горела свеча. Инженер двинулся в путь, не сказав ни слова, я же раза два

оглянулся на мерцавший позади огонек. Мы прошли уже порядком, как вдруг старый гарибальдиец, который шел рядом со мной, сказал: «Немало народу я предал земле на полях битвы этого континента. Попы что-то толкуют о святой земле! Вздор! Всю нашу землю сотворил Господь, и вся она святая; но еще святее море, не ведающее ничего о королях, попах и тиранах. Доктор! Я бы ее в море схоронил. Там не будет никакого фиглярства — ни свечей, ни ладана, ни святой воды, и попы молитв не бормочут. Дух свободы витает над гладью морской…» Удивительный старик… И говорил он так негромко, словно размышляя про себя.

— Да, да, — нетерпеливо перебил капитан Митчелл. — Бедняга. Но скажите бога ради, каким образом подлец Сотильо узнал о серебре? Ведь не мог же он захватить кого-нибудь из наших каргадоров, которые везли вагонетку? Уму непостижимо! Все они надежные, проверенные люди, работают у нас несколько лет, а за погрузку серебра я им заплатил особо и посоветовал не менее суток не показываться никому на глаза. Я видел, как они вместе с итальянцами шли к товарной станции. Главный инженер сказал, что они могут оставаться там сколько угодно и их

будут кормить.

— Ну-с, — ответствовал на это доктор, — должен вам сообщить, что вы можете навсегда забыть о вашем лучшем баркасе, а заодно и о капатасе каргадоров.

Капитан Митчелл так разволновался, что вскочил. Но не успел он и слова вымолвить, как доктор изложил ему историю, рассказанную Гиршем.

Ужасная весть, словно гром небесный, ошеломила Митчелла. «Потонул, — шептал он в ужасе, — потонул!» Далее он слушал молча, а вернее, делал вид, что слушал, ибо новость так его потрясла, что он не мог как следует вникать в то, что рассказывал доктор.

Доктор же рассказывал, как на допросе делал вид, будто слыхом ни о чем не слыхивал, так что в конце концов Сотильо приказал ввести в комнату Гирша и велел ему повторить всю историю, чего добился лишь с большим трудом, ибо Гирш поминутно прерывал свое повествование душераздирающими ламентациями. Наконец Гирша, еле живого, увели и заперли на втором этаже, чтобы был все время под рукой. После этого доктор, продолжая изображать человека, никоим образом не посвященного в тайны рудни-

ков Сан-Томе, заявил, что история эта не кажется ему правдоподобной. Разумеется, он не может в точности знать, что предприняли живущие в Сулако европейцы, поскольку все его время было поглощено уходом за ранеными и к тому же он навещал дона Хосе Авельяноса. Доктору удалось так убедительно сыграть глубочайшее равнодушие, что Сотильо, казалось, полностью ему поверил. До определенного момента допрос шел в согласии с установленной формой: один из офицеров, сидя за столом, записывал вопросы и ответы, остальные расхаживали по комнате, слушали очень внимательно, дымили длинными сигарами и не спускали с доктора глаз. И вот тут-то Сотильо велел всем выйти.

Глава III

Едва они остались наедине, полковник сразу изменил свою строго официальную манеру. Он встал и приблизился к доктору. Глаза его сверкали алчностью и надеждой. Заговорил он вкрадчиво, доверительно:

— Серебро, наверное, и в самом деле погрузили на баркас, но в море его не отправили, я не могу в это поверить.

Доктор важно кивал головой, неторопливо, с удовольствием покуривал сигару, которую в знак дружеских чувств предложил ему Сотильо, время от времени осторожно вставлял тщательно продуманное слово. О европейской колонии в Сулако он говорил холодно и суховато, и поверивший ему Сотильо сперва только высказывал предположения, затем же прямо намекнул, что всю эту затею с отправкой серебра Чарлз Гулд изобрел лишь для отвода глаз, поскольку сам хочет завладеть всеми сокровищами. На это доктор даже бровью не повел и негромко заметил:

— На такую штуку он вполне способен.

— Вы сказали так о Чарлзе! — воскликнул Митчелл возмущенно, негодующе, не веря собственным ушам. Нечто похожее на брезгливость и даже подозрительность звучали в его голосе, ибо он, как и все европейцы в Сулако, считал, что доктор несколько сомнительная личность.

— Что вас побудило брякнуть подобную чушь этому охотнику за чужими часами? — спросил капитан сердито. — Чего ради вам вздумалось так беспардонно лгать? Этот чертов карманник вполне способен вам поверить.

Он сердито фыркнул. Доктор помолчал.

— Да, именно так я ему и сказал, — произнес

он тоном, не оставляющим сомнений в том, что пауза была сделана сознательно, а не невольно. Капитан подумал, что никогда еще не видел такой бесстыдной наглости.

— Ну и ну! — пробормотал он, но вслух ничего не прибавил. На смену негодованию пришло удивление, а следом — печаль. Все его надежды рухнули: серебро потеряно, погиб Ностромо, а это тяжкий удар, поскольку Митчелл был искренне привязан к своему капатасу, — мы легко привязываемся к тем, кто нам служит, ибо в чувстве этом смешиваются и симпатия, и полуосознанная благодарность. А при мысли, что утонул и Декуд, его сердце сжалось от боли. Бедная девушка, какое горе ее постигло!

Капитан Митчелл не принадлежал к брюзгливым старым холостякам, напротив, он с удовольствием смотрел, как молодые люди ухаживают за молодыми женщинами. Что же тут дурного, так и следует поступать. Именно так, а не иначе. Моряки другое дело; морякам, утверждал он, лучше не жениться, но из моральных побуждений, ибо, объяснял капитан Митчелл, женщины, даже самые замечательные из них, не способны жить на борту судна, а оставляя жену на берегу, вы, во-первых, поступаете несправедливо, а уж

огорчает ли ее отсутствие мужа или же, наоборот, совсем не огорчает, ни в том, ни в другом случае ничего хорошего нет.

Он и сам не мог бы сказать, что его больше всего удручило: громадный денежный ущерб, который потерпел Чарлз Гулд, смерть Ностромо — тяжелая потеря для самого капитана Митчелла или же мысль о безутешном горе, которое постигнет красивую и привлекательную девушку.

— Да, так-то вот, — заговорил после паузы доктор, — он в самом деле мне поверил. Чуть на шею не бросился. Sí, sí, все понятно, Гулд, мол, напишет в Сан-Франциско компаньону, богатому американо, что серебро потеряно. И превосходно. Колоссальное богатство, его можно разделить между многими.

— Да он форменный сумасшедший! — воскликнул Митчелл.

Доктор ответил, что Сотильо действительно не в своем уме и что безумие его неподдельно и потому его можно полностью сбить с толку. Сам он, доктор, лишь слегка его подтолкнул, направив на ложный путь.

— Я как бы невзначай, — рассказывал он дальше, — упомянул, что сокровища обычно зарывают в землю, а не отправляют в открытое

море. Тут мой Сотильо хлопнул себя по лбу. «Рог Dios, да, — говорит он, — наверняка они зарыли его где-нибудь здесь, в гавани, и отправили в море пустой баркас!»

— Силы небесные! — буркнул Митчелл. — Вот уж не думал, что можно быть таким ослом… — Он помолчал и с печалью добавил: — Впрочем, как это может помочь? Я назвал бы вашу выдумку удачной, если бы баркас сейчас спокойно плыл по заливу. Тогда этот идиот, поверив вашим басням, не стал бы посылать на его поиски свое судно. Я смертельно этого боялся.

Капитан Митчелл глубоко вздохнул.

— Я солгал ему с определенной целью, — сказал доктор.

— В самом деле? — отозвался Митчелл. — Что ж, я рад, ибо в противном случае я бы подумал, что вы его дурачили для развлечения. Впрочем, возможно, именно в этом и заключается ваша определенная цель. Должен сказать, что лично я не считаю возможным снисходить до шуточек такого рода. Мне они не по вкусу. О нет. Я не вижу ничего смешного в том, чтобы чернить репутацию своих друзей, даже если бы это помогло мне обмануть самого гнусного негодяя на свете.

Если бы капитан Митчелл не был так угнетен

печальной вестью, его отвращение к доктору приняло бы более откровенные формы; но сейчас ему и в самом деле было безразлично, что сказал и что сделал этот человек, к которому он никогда не ощущал симпатии.

— Интересно, — проворчал он, — почему они нас заперли вместе с вами и вообще, чего ради Сотильо вздумалось вас запирать, коль скоро вы с ним так подружились?

— И в самом деле, почему бы это? — мрачно сказал доктор.

У капитана Митчелла было так тяжко на душе, что он предпочел бы сейчас полное одиночество самому приятному собеседнику. В то же время любой собеседник был бы предпочтительнее для него, чем доктор, к которому он всегда относился с неодобрением, считая его чем-то вроде нищего или бродяги, который, будучи по своему общественному положению ниже порядочных людей, в силу этой особенности отличается от них тем, что осведомлен гораздо лучше. Поэтому он все же задал доктору вопрос:

— А что этот мерзавец сделал с двумя остальными?

— Главного инженера дороги он, конечно, отпустил, — сказал доктор. — С железнодорожной

компанией он ссориться не станет. Во всяком случае, сейчас. Я думаю, капитан Митчелл, вы не вполне отчетливо представляете себе положение Сотильо…

— Не вижу никакой необходимости ломать над этим голову, — огрызнулся Митчелл.

— Конечно, — согласился доктор, по-прежнему невозмутимо и угрюмо. — Необходимости в этом не вижу и я. Как бы старательно вы ни ломали голову, пользы никому не будет.

— Верно, — кратко и уныло подтвердил капитан Митчелл. — Какую уж там можно принести пользу, если тебя заперли в этой чертовой дыре?

— Что до старого Виолы, — продолжал доктор, будто не слыша произнесенных капитаном слов, — Сотильо освободил его по той же причине, по какой намерен вскорости освободить и вас.

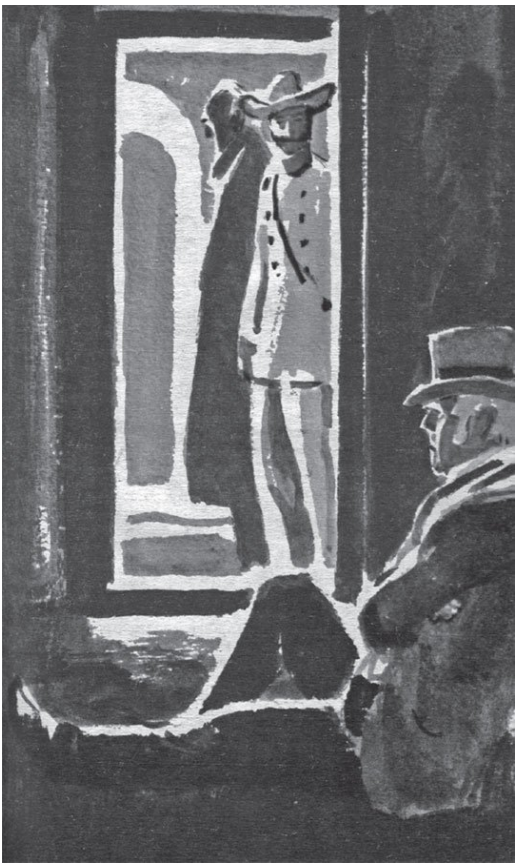
— А? Что? — воскликнул Митчелл, таращась, как сова, в темноте. — Что у меня общего со старым Виолой? Уж скорее он отпустил его на волю потому, что у старика нечего красть, — ни часов, ни цепочки. Но попомните мое слово, доктор Монигэм, — продолжал капитан с нарастающим гневом. — Этот вор еще узнает, что избавиться от меня гораздо трудней, чем он думает. Спуску ему я давать не намерен. Во-первых, я потребую

вернуть часы, ну а дальше… дальше будет видно. Для вас, я полагаю, ничего страшного нет в том, что вас заперли за решетку. Но Джо Митчелл — человек совсем другого рода, сэр. Я не из тех, кто безропотно терпит, когда их обижают и грабят. Я занимаю видное положение в обществе, сэр.

И тут капитан Митчелл заметил, что решетка на окне их камеры стала видимой — черные прутья на сероватом четырехугольнике. Почему-то начало нового дня заставило умолкнуть капитана Митчелла; кто знает, может быть, он вдруг подумал, что еще много дней придет, как пришел этот день, но никогда он больше не увидит своего капатаса и не воспользуется его бесценными услугами. Скрестив на груди руки, он прислонился к стене, а доктор, волоча увечную ногу, стал ковылять взад и вперед по длинной камере, словно подкрадывался к кому-то.

Когда он удалялся к противоположной от окна стене, он полностью скрывался в темноте, и оттуда слышалось лишь тихое шарканье. Погруженный в мрачное раздумье, доктор ходил и ходил без передышки. Когда дверь камеры внезапно распахнулась и громко выкрикнули его имя, он не удивился. Круто повернулся и вышел сразу, словно от его поспешности зависело нечто

важное, капитан же Митчелл прижался спиной к стене, не зная, идти ли ему вслед за доктором или остаться в знак протеста на месте. «Пусть меня вынесут отсюда на руках», — подумал он, но, когда офицер, стоявший у двери, несколько раз подряд окликнул его укоризненным и удивленным тоном, он неторопливо пошел к двери.



Сотильо вел себя сегодня совсем иначе. Он был учтив, но чувствовалось, что он не уверен, требуется ли сейчас учтивость. Он сидел в глубоком кресле за столом и сначала смерил капитана испытующим взглядом, затем небрежно произнес:

— Я пришел к решению не задерживать вас, сеньор Митчелл. Я человек отходчивый. Мне кажется, вас можно отпустить. Пусть, однако, этот случай послужит вам уроком.

Рассвет, народившийся где-то далеко за горами и заполнивший тихо и постепенно ущелья, прокрался в комнату, и красноватые огоньки свечей померкли. Капитан Митчелл с презрительным и безразличным видом обвел глазами комнату и остановил тяжелый, пристальный взгляд на докторе, который сидел на подоконнике, опустив голову с совершенно отрешенным видом, возможно, потому, что ему ни до чего не было дела, а может быть, и потому, что его мучили укоры совести.

Сотильо, утопавший в большом глубоком кресле, произнес:

— Я надеялся услышать от вас ответ, достойный истинного кабальеро.

Он подождал этого ответа, однако Митчелл безмолвствовал скорее оттого, что был не в силах

подавить свое негодование, нежели оттого, что намеренно хотел ему досадить, и Сотильо растерянно взглянул на доктора, а тот поднял глаза и кивнул, после чего полковник сказал, сделав над собою некоторое усилие:

— Вот ваши часы, сеньор Митчелл. Теперь вы видите, насколько несправедливы вы были, обвинив в бесчестном поступке моих славных солдат.

Откинувшись на спинку кресла, он простер над столом руку и подтолкнул к Митчеллу часы. Капитан, не церемонясь, быстро подошел к столу, взял часы, поднес их к уху и, успокоившись, положил в карман.

Было видно, что Сотильо с трудом сдерживает себя. Он еще раз покосился на доктора, который смотрел на него немигающим взором.

Но когда Митчелл повернул к дверям, не удостоив его ни кивком, ни взглядом, полковник поспешно сказал ему вслед:

— Ступайте вниз и ожидайте там сеньора доктора, которого я тоже собираюсь отпустить. Я полагаю, от вас, иностранцев, все равно нет никакого толку.

Он издал короткий принужденный смешок, и только тут капитан Митчелл впервые не без интереса взглянул на него.

— Правосудие потом займется вами, — быстро добавил Сотильо, — что касается меня, я позволяю вам жить свободно, на воле и как вам угодно. Вы меня слышите, сеньор Митчелл? Можете возвратиться к своим делам. Я выше того, чтобы уделять вам внимание. Меня интересуют дела более серьезные.

Капитану Митчеллу с большим трудом удалось заставить себя промолчать. Его так и подмывало поставить наглеца на место. Ему не нравилось, что его отпускают на свободу в такой оскорбительной форме; но бессонная ночь, тревоги, волнения, разочарование, постигшее его, когда он узнал, как трагично завершилась их попытка спасти серебро Сан-Томе, — все это давило, угнетало его. Одно лишь было в его силах — скрыть беспокойство — скорей по поводу всего происходящего, чем по поводу своей судьбы. Он вдруг отчетливо ощутил, что вокруг него разыгрывается какая-то неведомая ему игра. Выходя, он демонстративно не взглянул на доктора.

— Скотина! — произнес Сотильо, когда за Митчеллом захлопнулась дверь.

Доктор Монигэм соскользнул с подоконника и, сунув руки в карманы длинного серого плаща, сделал несколько шагов.

Сотильо тоже встал и, преградив ему дорогу, насмешливо и испытующе взглянул на него.

— Я вижу, ваши земляки не очень-то вам доверяют, сеньор доктор. Не любят они вас. Интересно почему?

Доктор поднял голову, посмотрел ему в лицо долгим, ничего не выражающим взглядом и сказал:

— Возможно, потому, что я слишком давно живу в Костагуане.

Под черными усами Сотильо сверкнули белые, как сахар, зубы.

— Так, так, так, но вы-то любите себя? — произнес он вкрадчиво.

— Оставьте их в покое, — ответил доктор, устремив все тот же невыразительный взгляд на смазливую физиономию Сотильо, — и они очень скоро себя выдадут. А я тем временем, возможно, смогу что-нибудь узнать у дона Карлоса.

— Ах, сеньор доктор, — качая головой, сказал Сотильо, — умный вы человек, все понимаете с первого слова. Мы просто созданы, чтобы помогать друг другу.

Он отвернулся. Он больше был не в силах выдержать этот неподвижный, безжизненный взгляд: его неизмеримая, непроницаемая пустота

напоминала бездонную пропасть.

Даже люди, совершенно лишенные морального чувства, столкнувшись с подлостью, способны о ней судить, правда, на свой особый лад, но вполне четко. Сотильо думал, что доктор, так сильно непохожий на других европейцев, готов продать всех своих земляков, в том числе и Чарлза Гулда, за соответствующую долю серебра. Он не презирал его за это. В вопросах морали полковник был совершенно невинен. Его моральная ущербность была так глубока, что превращалась в моральную тупость. То, что было выгодно ему, на его взгляд, никак не могло быть достойным порицания. Тем не менее он презирал доктора Монигэма. Он смотрел на него сверху вниз. Он презирал его всей душою потому, что не собирался вознаграждать его за предательство. Он презирал его не за то, что у него нет совести и чести, а за то, что он дурак. Доктору Монигэму, который видел Сотильо насквозь, удалось провести его полностью. Доктору именно того и нужно было, чтобы Сотильо считал его дураком.

После появления полковника в Сулако его планы претерпели некоторые изменения.

Он уже не стремился занять высокий пост в правительстве Монтеро. Ему и раньше приходи-

ло в голову, что это небезопасный путь. Узнав из разговора с главным инженером, что, возможно, уже днем ему предстоит встреча с Педро Монтеро, он ощутил, как его мрачные предчувствия еще усилились. Младший брат генерала Монтеро — Педрито, как его называл народ, — славился своей отчаянностью. С ним не так-то просто было иметь дело. Сотильо, дивясь собственной смелости, подумывал о том, чтобы захватить не только серебро, но и город, а затем вступить в переговоры. Но после того, что он узнал от главного инженера, который, не утаивая ничего, объяснил ему, как обстоят дела, смелость полковника — достоинство, не очень щедро отпущенное ему природой, — пошла на убыль и сменилась нерешительностью и желанием повременить.

— Так, значит, войско… войско под водительством Педрито уже пересекает горы, — повторял он, не в силах скрыть, в какой ужас привела его эта весть, — если бы я услышал это от кого-то другого, а не от такого уважаемого человека, как вы, я бы просто не поверил. Поразительно!

— Вооруженные силы, — учтиво поправил его инженер.

Цель была достигнута. Она заключалась в том, чтобы на несколько часов очистить Сулако и

дать возможность покинуть город людям, которых страх вынуждал бежать. Кое-кто надеялся добраться до Ринкона, благо дорога на Лос-Атос была свободна — вооруженная орда, возглавляемая сеньорами Фуэнтесом и Гамачо, двигалась навстречу Педро Монтеро, дабы восторженно приветствовать его. Это был многолюдный, полный опасностей исход, и блуждали слухи, что Эрнандес, обосновавшийся в лесах близ Лос-Атоса, дает приют беглецам. Главный инженер отлично знал, что примкнуть к беженцам готово множество его добрых знакомых.

Действия, предпринятые падре Корбеланом в защиту благочестивейшего из разбойников, не остались бесплодными. Политический лидер Сулако уступил в последний миг настойчивым мольбам священника, подписал приказ о присвоении Эрнандесу генеральского чина и официально призвал его навести в городе порядок. Дело в том, что глава Западной провинции, считая положение безвыходным, не задумываясь, подписывал все, что угодно. Приказ о назначении Эрнандеса был последним документом, который он подписал, прежде чем покинул ратушу и нашел приют в конторе компании ОПН. Но если бы он даже думал, что его поступок повлечет за собой

какие-либо последствия, он все равно уже не мог бы ничего изменить. Бунт, которого он ожидал и опасался, разразился менее чем через час после того, как падре Корбелан его покинул. И более того, сам падре, назначивший Ностромо встречу в полуразрушенном доминиканском монастыре, где он жил в одной из уцелевших келий, так туда и не попал. Прямо из ратуши он направился в дом Авельяносов, сообщить новость зятю, и, хотя пробыл у него никак не более получаса, уже не смог вернуться в свою убогую келью. Ностромо, с беспокойством прислушиваясь к возрастающему шуму на улицах, сперва безуспешно его ожидал, а затем пробрался в редакцию «Нашего будущего», где и просидел всю ночь, о чем мы знаем из письма Декуда к сестре. Таким образом, капатас, вместо того чтобы мчаться верхом с приказом о назначении Эрнандеса генералом, оставшись в городе, спас жизнь президента-диктатора, помог подавить бунт и, наконец, увез в открытое море серебро с рудников Сан-Томе.

Но до Эрнандеса добрался отец Корбелан, и в кармане у него лежал приказ о назначении разбойника генералом, — драгоценный для истории документ, — последнее изъявление воли рибьеристской партии, девизом которой были: мир,

честь, прогресс. Возможно, ни священник, ни разбойник не усматривали в этом иронии судьбы. Падре Корбелану, вероятно, удалось прислать в город своих людей, ибо рано утром на второй день восстания пронесся слух, что на дороге, ведущей в Лос-Атос, Эрнандес поджидает тех, кто ищет у него защиты. В городе появился странного вида всадник — малый, судя по всему, отчаянный, хотя и в преклонных годах, и неторопливо проехал по улицам, разглядывая дома, словно ни разу в жизни таких больших не видел. Перед собором он спешился и преклонил колена посредине Пласы, придерживая рукой повод, а шляпу положил перед собой прямо на мостовую, отвесил земной поклон, перекрестился, затем стал бить себя в грудь. После этого снова вскочил на коня, обвел бесстрашным, но дружелюбным взглядом нескольких зевак, собравшихся поглазеть на это публичное отправление ритуала, и спросил у них, где Каса-Авельянос. В ответ поднялось с десяток рук, и все указательные пальцы были направлены в сторону улицы Конституции.

Всадник сразу же двинулся туда, бросив беглый, не лишенный любопытства взгляд на окна верхнего этажа стоящего на углу клуба «Амарилья». На пустынной улице Конституции время от

времени раздавался его звучный голос: «Где тут Каса-Авельянос?» — покуда наконец не прозвучал испуганный ответ привратника, и всадник скрылся в воротах. Он привез письмо, которое падре Корбелан написал карандашом возле костра в стане Эрнандеса, адресуя его дону Хосе, о прискорбном состоянии здоровья которого священник еще не знал.

Письмо прочла Антония и, посоветовавшись с Чарлзом Гулдом, переслала его господам, которые вели стрельбу из клуба «Амарилья». Сама она решилась присоединиться к дядюшке; пусть защитником ее отца в его последние дни — а, возможно, даже часы — станет разбойник, восставший против тиранического самовластья всех партий без различия, против морального убожества и темноты их родины. Сумрак лесов Лос-Атоса предпочтительнее; полная лишений жизнь в разбойничьем стане гораздо менее унизительна. Дядюшка принял правильное решение — бороться следует упорно, до конца. Вера в любимого человека побуждала ее принять всем сердцем мужественное решение отца Корбелана.

В своем послании настоятель собора ручался головой за преданность Эрнандеса. Он указывал и на его могущество, ведь уже много лет вла-

сти ничего не могут с ним поделать. В письме впервые была упомянута гласно и приведена в качестве довода идея Декуда создать независимый Западный штат (как всем известно, ныне процветающий). На Эрнандеса, бывшего разбойника и последнего генерала, назначенного правительством Рибьеры, возлагалась задача удерживать в своих руках земли между лесами Лос-Атоса и побережьем до тех пор, пока дон Мартин Декуд, пламенный патриот и благородное сердце, не привезет генерала Барриоса, который вновь завоюет Сулако.

«Само небо этого желает. Провидение на нашей стороне», — писал отец Корбелан; и спор, который разгорелся в клубе «Амарилья» по прочтении этого письма, был очень жарким, но и скоротечным. Казалось, что все рухнуло, и вдруг блеснул луч надежды, и кое-кто с бездумным детским простодушием за нее уцепился. Других обрадовала возможность немедленно спасти жен и детей. В глазах большинства эта идея представилась последней соломинкой, за которую хватается утопающий. Один лишь падре Корбелан неожиданно предложил им путь к спасению от Педрито Монтеро и его головорезов, вступивших в сговор с сеньорами Фуэнтесом и Гамачо, возглавлявшими

толпу вооруженной черни.

Всю вторую половину дня в обширных комнатах клуба «Амарилья» бушевала оживленная дискуссия. Даже те члены клуба, что стояли возле окон, вооруженные винтовками и карабинами, и наблюдали, не появится ли вновь из-за угла толпа мятежников, по временам оборачивались на миг, чтобы выкрикнуть свое мнение или какой-нибудь довод. Когда наступили сумерки, дон Хусте Лопес, пригласив с собою тех кабальеро, которые склонялись к его мнению, удалился в коридор, где на маленьком столике при свете двух свечей принялся сочинять обращение, а вернее, торжественную декларацию, которую должна была вручить Педро Монтеро депутация членов Генеральной ассамблеи, из числа тех, кто останется в городе. Дон Хусте полагал, что, задобрив Педрито, он сумеет убедить его сохранить хотя бы букву парламентских установлений. Сидя перед чистым листом бумаги, держа в руке гусиное перо, со всех сторон окруженный толпой взволнованных советчиков, он поворачивался то вправо, то влево, настойчиво восклицая:

— Кабальеро, хоть миг тишины! Один лишь миг! Мы должны со всей возможной отчетливостью объяснить, что уступаем добровольно перед

лицом совершившихся фактов.

Казалось, он испытывает какое-то печальное удовлетворение, произнося эту фразу. Голоса, звучавшие вокруг него, делались все более взволнованными, хриплыми. Внезапно наступала пауза, и возбужденную мимику лиц сменяла неподвижность полного отчаяния.

А тем временем начинался великий исход. Пласу, покачиваясь, пересекали кареты, где сидели дамы, дети, а мужчины, не уместившись в экипаже, шагали рядом или ехали верхом; двигались группы всадников на лошадях и мулах; бедняки шли пешком, взрослые волокли узлы, несли детей, вели под руки стариков, тянули за собой ребятишек постарше. Когда Чарлз Гулд, попрощавшись в гостинице с доктором и инженером, входил в городские ворота, все те, кто надумал бежать, уже бежали, а остальные забаррикадировались в своих домах. Улица была темна, и только возле дома Авельяносов мелькали в свете фонарей какие-то люди; сеньор администрадор вгляделся и узнал коляску жены. Никем не замеченный, он подъехал ближе и молча наблюдал, как его слуги выносят из дверей дона Хосе, чье неподвижное лицо с закрытыми глазами напоминало лицо мертвеца. Миссис

Гулд и Антония шли по обе стороны импровизированных носилок, которые сразу втащили в карету. Женщины обнялись; посланец падре Корбелана со взъерошенной полуседой бородой и загорелым скуластым лицом, сидя, как влитой, в седле, смотрел на них неподвижным взором. Затем Антония, не проронившая ни слезинки, вошла в карету, села возле носилок, торопливо перекрестилась и опустила густую вуаль. Слуги и несколько соседей, пришедших помочь, отступили в сторону и обнажили головы. На козлах Игнасио, которому предстояло править лошадьми всю ночь (и, возможно, быть зарезанным до наступления рассвета), угрюмо обернулся и взглянул назад.

— Поезжайте осторожно, — дрожащим голосом напутствовала его миссис Гулд.

— Sí, осторожно, sí, niña, — буркнул он и пожевал губами, отчего затряслись его мясистые, коричневые, словно дубленые, щеки, карета медленно двинулась и исчезла в темноте.

— Я провожу их до реки, — сказал жене Чарлз Гулд.

Она кивнула, и он медленно поехал вслед за экипажем. В окнах клуба «Амарилья» свет уже не горел. Погасла последняя искорка сопротивле-

ния. На перекрестке Гулд оглянулся и увидел, что его жена, стоявшая в момент прощания на краю тротуара, повернулась и идет к дому. Один из их соседей, местный помещик и коммерсант, шел рядом с ней и что-то говорил, сильно жестикулируя. Миссис Гулд вошла в дом, и тут же фонари погасли, вся длинная пустая улица погрузилась в темноту.

И на огромной Пласе ни в одном окне не было света. Лишь высоко-высоко, как звезда, мерцал огонек в одной из башен собора; мерцала бледным светом и статуя всадника на фоне черных деревьев Аламеды, словно призрак монархии, явившийся на место мятежа. Изредка навстречу попадались бродяги и пропускали их, прижимаясь к стене. Но вот кончились последние дома окраин, экипаж бесшумно покатился по мягкой подстилке пыли, стало еще темней, и повеяло свежим запахом листвы окаймлявших проселочную дорогу деревьев. Посланец Эрнандеса подъехал к Чарлзу.

— Кабальеро, — с любопытством спросил он, — не вы ли тот самый, кого называют королем Сулако, хозяин рудников? Я не ошибся?

— Не ошиблись, — ответил Чарлз, — я хозяин рудников.

Гонец Эрнандеса заговорил не сразу.

— У меня есть брат, он служит у вас в Сан-Томе караульным. Он говорит, вы справедливый человек. Говорит, вы ни разу не допустили какой-либо несправедливости с людьми, которые работают у вас там, в горах. Брат говорит, что ни один правительственный чиновник, ни один притеснитель народа с Кампо не появился там у вас, по вашу сторону ручья. А ваши собственные служащие не обижают рабочих. Наверняка боятся, что вы их строго накажете. Вы справедливый человек и сильный, — сказал он напоследок.

Он говорил отрывисто и резко, без всякой лести, но было видно, что разговор этот он затеял неспроста. Он рассказал Чарлзу, что у него было ранчо в низине, далеко на юге, что он был когда-то соседом Эрнандеса и крестил его старшего сына; он был одним из тех, кто примкнул к Эрнандесу, когда тот оказал сопротивление во время рекрутского набора, с чего и начались их злоключения. Не кто иной, как он, когда его compadre[138] увели, похоронил его жену и ребятишек, расстрелянных солдатами.

— Sí, сеньор, — говорил он неторопливо и хрип-

---

[138] Примечания: 138
Кум *(исп.)*.

ло, — я и еще двое или трое, которым посчастливилось не попасть в руки солдат, похоронили их в общей могиле рядом с пепелищем, под деревом, тень от которого раньше падала на крышу сожженного ранчо.

И именно к нему пришел Эрнандес после того, как дезертировал три года спустя. Он так и явился тогда прямо в мундире, с сержантскими нашивками на рукаве; и на груди и на руках его была кровь полковника. С ним шли три солдата, из тех, что были посланы ловить ослушников, а сделались борцами за свободу. И он поведал Чарлзу Гулду, как он и несколько его друзей, лежа за грудой камней в засаде, увидели этих солдат и уже готовились спустить курки, когда вдруг он узнал своего compadre и выбежал из укрытия с радостным криком, ибо знал: Эрнандес к ним пришел не для того, чтобы кого-нибудь обидеть. Трое явившихся с Эрнандесом солдат вместе с теми, кто находился в засаде, образовали ядро знаменитой разбойничьей шайки, а он, рассказчик, долгие годы был правой рукой атамана. Он не без гордости упомянул, что и его голова была оценена; а все же в ней уже засеребрилась седина. И вот он наконец дождался часа, когда его compadre стал генералом.

— И сейчас мы уже не разбойники, а солдаты, — усмехнулся он. — Но, кабальеро, взгляните на этих людей, которые сделали нас солдатами, а его генералом! Да вы только взгляните на них!

Раздался крик Игнасио.

Свет фонарей их экипажа, пробегая по высоким кактусам, которые окаймляли с обеих сторон дорогу, врезавшуюся в мягкую землю Кампо так же глубоко, как английские проселки, внезапно выхватил из темноты испуганные лица стоявших на обочине людей. Те съежились; на мгновенье их глаза расширились и засверкали; потом лица исчезли, фонари осветили полуобнаженные корни огромного дерева, снова кактусы, еще несколько лиц, настороженно глядевших на карету. Три женщины — у одной из них ребенок на руках — и двое мужчин в штатском — один вооруженный саблей, другой — пистолетом — стояли, сгрудившись возле осла, на спине которого лежали два больших увязанных в одеяла узла. А немного погодя Игнасио снова крикнул, обгоняя допотопную карету, длинный деревянный ящик на двух высоких колесах, с распахнутой дверцей позади. Дамы, ехавшие в этой карете, вероятно, узнали белых мулов и громко закричали:

— Это вы, донья Эмилия?

У поворота дороги пылал огонь, окаймленный, словно рамкой, высокими деревьями, ветви которых переплелись между собою наверху. Здесь, возле дороги и брода через небольшой ручей, стояло убогое ранчо со сплетенными из камыша стенами и крышей из сухой травы; сейчас оно случайно загорелось; бушевавшее со свирепым ревом пламя освещало скопище лошадей, мулов и толпу растерянных людей, в которой раздавались испуганные крики. Когда Игнасио подъехал ближе, к карете бросились несколько дам и стали умолять Антонию взять их с собой. В ответ она лишь молча указала на отца.

— Здесь я должен вас покинуть, — объявил Чарлз Гулд, повысив голос, чтобы перекричать треск пламени и шум.

Языки огня вздымались до самого неба, и его палящий жар оттеснил толпу к самой карете миссис Гулд. Дама средних лет, одетая в черное шелковое платье, хотя голову ее покрывала мантилья из грубой ткани, а в руке она держала толстую ветку, опираясь на нее, как на трость, подошла к их экипажу, еле держась на ногах от усталости. Две юные девушки, перепуганные и безмолвные, держали ее под руки, робко прижимаясь к ней.

— Misericordia![139] Нам надавали тумаков в этой толпе! — У нее хватило мужества улыбнуться. — Мы идем из города пешком. Все наши слуги сбежали вчера к демократам. Мы хотим искать защиты у падре Корбелана, вашего дядюшки, Антония. Он святой. Он вдохнул небесный пламень в душу свирепого разбойника. Это чудо, истинное чудо!

Она кричала все громче, ее захватил поток людей, отхлынувших внезапно, так как в толпу чуть было не врезались какие-то повозки, мчавшиеся от ручья под свист кнута и крик кучеров. Над дорогой носились черные облака дыма, в которых сверкали мириады огненных искр; бамбуковые стены горели с треском, напоминающим ружейную пальбу. А потом внезапно яркая завеса пламени опала, и лишь красноватый отблеск мерцал над землей; в нем суетливо метались какие-то тени; и так же внезапно, как пламя, замер гомон голосов; возникали чьи-то головы, руки, брань, проклятия и уплывали в темноту.

— Я вас должен здесь покинуть, — повторил Чарлз Гулд, обращаясь к Антонии. Она повернула к нему голову и подняла вуаль. Гонец и compadre

---

[139] Примечания: 139
Помогите! *(исп.)*

Эрнандеса пришпорил лошадь и подъехал к ним вплотную.

— Не хочет ли хозяин рудников что-нибудь передать Эрнандесу, хозяину Кампо?

Чарлза передернуло — разбойник имел основания сравнивать его со своим атаманом. Он, Чарлз Гулд, хозяйничает на рудниках, Эрнандес хозяйничает на Кампо, и оба они полагают, что выполняют свою миссию, и оба рискуют головой. Они равны в этом бесправном государстве. В государстве, которое так густо оплела сеть преступлений и коррупции, что в нем невозможно делать что-то, не вступая в унизительные для честного человека контакты. Ему стало горько, тяжко, он не смог ответить сразу.

— Вы справедливый человек, — еще раз повторил гонец Эрнандеса. — Взгляните на этих людей, которые сделали моего compadre генералом, а нас — солдатами. Взгляните, как удирают, сломя голову, даже лишней рубахи с собой не прихватив, все эти наши олигархи. Есть одна вещь, мой compadre совсем о ней не думает, но думают другие, те, кто идет за нами, вот я и хочу с вами поговорить. Послушайте меня, сеньор. Вот уже много месяцев Кампо — наша. Нам не приходится никого и ни о чем просить; но солдатам нужно

платить жалованье, чтобы они могли жить честно, когда кончится война. Говорят, ваша душа так чиста, что одно ваше слово способно исцелять от болезней, словно молитва праведника. Так скажите же мне что-нибудь, чтобы развеять сомнения моих сотоварищей.

— Вы слышали, что он говорит? — по-английски спросил Гулд Антонию.

— Простите нас, мы так несчастны! — торопливо отозвалась она. — Это вы, ваша душа неоценимое сокровище, которое может всех нас спасти; не ваши деньги, а вы сами, Карлос. Умоляю вас, дайте слово этому человеку, что вы поддержите любое соглашение, которое мой дядя заключит с их атаманом. Одно лишь слово. Ему не нужно больше.

Пожарище представляло собой сейчас огромную груду пепла, над которой веял красноватый отблеск, и лицо Антонии, озаряемое им, казалось, пылало от возбуждения. После нескольких секунд раздумья Чарлз сказал, что согласен. Он был как человек, вступивший на узкую тропу над пропастью, когда один лишь путь возможен — вперед. Он ощутил это со всею полнотой сейчас, когда глядел на задыхающегося дона Хосе на носилках, побежденного после длившейся всю его жизнь

борьбы с темными силами, среди которых зрели неслыханные преступления и неслыханные иллюзии. Гонец Эрнандеса коротко заметил, что совершенно удовлетворен его ответом. Антония, прямая, стройная, сидела у носилок и опустила на лицо вуаль, героическим усилием воли подавив желание спросить об участи Декуда. И лишь один Игнасио хмуро на них покосился.

— Хорошенько поглядите напоследок на мулов, mi amo[140], — проворчал он. — Больше вы их никогда не увидите.

Глава IV

Чарлз возвращался в город. На посветлевшем небе чернели острыми зубцами вершины Сьерры. Потом копыта его лошади зацокали по мостовой, нет-нет да спугивая какого-нибудь бродягу, который торопливо шмыгал за угол. Лаяли собаки за оградами садов; и казалось, бледный свет раннего утра принес с собой прохладу горных снегов на искореженные мостовые и на дома с опущенными ставнями, со сломанными карнизами и осыпавшейся штукатуркой между

---

[140] Примечания: 140
Хозяин *(исп.).*

пилястров. Рассвет мало-помалу изгонял темноту из-под аркад Пласы, но что-то не было видно крестьян, раскладывающих на низких скамьях под необъятными тентами свои товары: груды фруктов, связки украшенных цветами овощей; не было этим утром веселой суеты, не толпились под сводами ранчеро с женами, детьми, ослами. На всей огромной площади стояли только в нескольких местах, сбившись кучками, поборники справедливости и все смотрели в одну сторону из-под нахлобученных на брови шляп: не будет ли каких вестей из Ринкона. Когда мимо проехал Чарлз, те, кто находился в самой многолюдной группе, повернулись все как один вслед ему и угрожающе закричали:

— Viva la libertad!

А Чарлз поехал дальше и свернул в арку своего дома. В посыпанном соломой внутреннем дворике фельдшер, уроженец этих мест и один из учеников доктора Монигэма, сидел на земле, прислонившись к фонтану спиной, не спеша перебирал струны гитары, а стоявшие перед ним две девушки из простонародья слегка притопывали ногами, помахивали руками и напевали мелодию популярного танца. В течение тех двух дней, что длился мятеж, друзья и родственники

увезли большинство раненых, но несколько человек еще полулежали на земле и в такт музыке покачивали забинтованными головами. Чарлз спешился. Из пекарни вышел заспанный работник и взял за повод коня; фельдшер попытался торопливо спрятать гитару; девицы не смутились и, улыбаясь, отошли к стене; а Чарлз, пересекая дворик, бросил взгляд в темный угол, где лежал смертельно раненный каргадор и рядом с ним стояла на коленях женщина; она торопливо шептала молитвы, пытаясь в то же время сунуть в рот умирающему дольку апельсина.

С какой жестокой очевидностью тщетность человеческих усилий обнаруживала себя в легкомыслии и страданиях этого неисправимого народа; с какой жестокой очевидностью обнаружила она себя, когда они пошли на смерть, стремясь добиться своего, и ничего не добились. Чарлз в отличие от Декуда был неспособен с легкостью исполнять роль в трагическом фарсе. Трагизм ситуации он ощущал, но ничего похожего на фарс не обнаруживал. Ему было не до смеха, он мучительно страдал, сознавая, что совершена непоправимая ошибка. Его воинствующий практицизм и воинствующий идеализм не позволяли ему видеть смешное в страшном, что мог себе

позволить Мартин Декуд, материалист и любитель пофантазировать.

Чарлзу, как и большинству людей, сделки с собственной совестью казались особенно неприглядными, если его вынуждали к ним, угрожая силой. Молчаливость служила ему защитой, — нельзя воздействовать на мнение человека, который ничего не говорит; но концессия Гулда исподволь подточила его идеалы. «И как я мог не понимать, — думал он, — что рибьеризм никогда ничего не добьется». Да, рудники подточили его идеализм, потому что он устал постоянно давать взятки и плести интриги только для того, чтобы ему позволили спокойно работать. А между тем ему не нравилось, когда его грабят, как это не нравилось в свое время его отцу. Его это очень сердило. Он убедил себя, что поддерживает планы дона Хосе не только из высоких соображений, но и потому, что это выгодно. И он ввязался в эту бессмысленную потасовку точно так же, как его несчастный дядюшка, чья шпага висела на стене его кабинета, вступил в борьбу, защищая элементарные права человека. Только оружием его было богатство, более действенное и хитроумное оружие, нежели честный стальной клинок с простой медной рукояткой.



Оружие гораздо более опасное не только для того, против кого оно направлено, но и для того, кто им владеет; оружие, отточенное алчностью и нищетой; оружие, вокруг которого, словно густые разветвления ядовитых корней, постоянно прорастают козни и мольбы корыстолюбцев; оружие, на котором само дело, защищаемое им, оставило густой налет ржавчины; оружие, которое постоянно норовит ударить мимо цели. А делать нечего — оно в его руках, и надо им сражаться. Но он дал себе слово, что это оружие скорее разобьют на мелкие кусочки, нежели вырвут у него.

Если на то пошло, он ощущал, несмотря на свое английское происхождение и воспитание, что он искатель приключений, авантюрист, потомок тех авантюристов, которых вербовали когда-то в иноземный легион, тех людей, что искали счастья в междоусобных войнах, тех, кто затевал здесь государственные перевороты, кто верил в перевороты. Прямой и честный по натуре, он все же что-то впитал в себя от гибкой морали авантюристов, которые, оценивая этическую сторону дела, всегда принимают в расчет и грозящий им риск. Он был готов, если понадобится, взорвать всю гору Сан-Томе и изъять ее тем самым из республики. В этой решимости выражалось его упорство, она являлась следствием того, что жена уже не оставалась больше единственной властительницей его дум, в этой решимости отразились и пылкое воображение, и слабость его отца; было также в ней и нечто от пирата, предпочитающего швырнуть горящую спичку в пороховой погреб, только бы не сдаться на милость победителя.

Внизу, во внутреннем дворе, раненый каргадор испустил последнее дыхание. Женщина вскрикнула, и все раненые, лежавшие на земле, разом приподнялись, так пронзителен и страшен был ее голос. Лениво встал и фельдшер с гитарой и

внимательно посмотрел на женщину. Обе девушки — они сидели теперь по обе стороны от раненого, своего родственника, поджав ноги и держа в зубах длинные сигары, — многозначительно переглянулись.

Чарлз посмотрел вниз и увидел, что во внутренний двор входят трое, в черных фраках, белых рубашках и цилиндрах. Один из них, намного выше ростом своих спутников, выступал удивительно важно и шел несколько впереди. Это дон Хусте Лопес в сопровождении двух своих друзей, членов Генеральной ассамблеи, явился в столь ранний час с визитом к управляющему рудниками Сан-Томе. Гости тоже увидели хозяина, оживленно замахали ему руками и принялись торжественно подниматься по лестнице.

Дон Хусте сбрил свою обгоревшую бороду, благодаря чему изменился до неузнаваемости и утратил девять десятых былой импозантности. Чарлз Гулд, погруженный в свои невеселые мысли, все же не мог не заметить, как подчеркнула эта перемена неосновательность натуры дона Хусте. У его друзей был измученный, усталый вид. Один поминутно облизывал пересохшие губы; глаза другого отрешенно блуждали по плиткам пола; а меж тем дон Хусте, выступив

слегка вперед, цветисто и напыщенно приветствовал сеньора администрадора рудников Сан-Томе. Он был твердо убежден, что форму непременно нужно соблюдать. Нового губернатора всегда посещают депутации от cabildo, то есть муниципального совета, от consulado, совета коммерсантов, посему надлежит, чтобы и Генеральная ассамблея прислала свою депутацию, хотя бы чтобы просто подтвердить нетленность парламентских институтов. Дон Хусте предлагал, чтобы дон Карлос Гулд, один из самых выдающихся граждан республики, тоже примкнул к депутации. Ведь у него такое положение — его имя знают в самых отдаленных уголках страны. Официальные церемонии не пустая формальность, если их соблюдают в такие времена, когда у каждого сердце обливается кровью. Поступая, как принято, мы, быть может, сумеем сохранить видимость парламентской системы, что сейчас чрезвычайно важно. Взгляд дона Хусте светился торжествующим огнем; дон Хусте верил в парламентские институты, и его проникнутый убежденностью голос растворялся в тишине огромного дома, словно басовитое жужжание надоедливого насекомого.

Чарлз, облокотившись на балюстраду, внима-

тельно его слушал. Он отрицательно покачал головой — молящий взгляд президента Генеральной ассамблеи его почти растрогал. Но в его намерения не входило, чтобы рудники Сан-Томе участвовали в соблюдении официальных церемоний.

— Мой вам совет, сеньоры, разойтись по домам и ожидать там решения своей участи. Нет никакой необходимости формально отдавать себя в руки Монтеро. Покориться неизбежности, говорит дон Хусте, ну что же, покориться, конечно, можно, но если эта неизбежность именуется Педрито Монтеро, есть ли смысл так уж настойчиво подчеркивать свою покорность? В политической жизни этой страны полностью отсутствует чувство меры, и в этом главная ее беда. Сперва неограниченно царит беззаконие и никто не ропщет, а затем вдруг наступает взрыв и льются реки крови. Нет, сеньоры, таким образом нельзя обеспечить стране долгого и устойчивого процветания.

Чарлз замолчал — к нему были обращены печальные, ошеломленные лица, пытливые, встревоженные взгляды. Жалость к этим людям, возлагавшим все надежды на слова, в то время как страна предана на поток и разорение, по-

будила и его к пустой болтовне (так он привык именовать пространные речи). Дон Хусте пробормотал:

— Вы покидаете нас, дон Карлос… И все же парламентские институты…

Он был так огорчен, что не смог договорить. На миг прикрыл рукой глаза. Чарлз, как огня боявшийся пустой болтовни, не произнес в ответ ни слова. Он лишь молча поклонился гостям. Молчаливость служила ему укрытием. Он отлично понимал, чем вызван визит: гости хотели заручиться поддержкой могущественной концессии Гулда. Они хотели заключить соглашение с победителем, осененные его крылышком. Другие общественные организации — cabildo, consulado — вскоре, вероятно, тоже попытаются обеспечить себе поддержку их концессии, единственной надежной, крупной силы, которая существовала в стране.

Появился доктор, как всегда шагая порывисто и неровно; ему сказали, что хозяин дома ушел в свой кабинет и не велел ни в коем случае его беспокоить. Но доктор Монигэм и не спешил немедленно с ним встретиться. Он начал с осмотра раненых. Потирая пальцами подбородок, внимательно оглядел одного за другим; они пыт-

ливо всматривались ему в глаза, но встречали неподвижный, ничего не выражавший взгляд. Все его пациенты шли на поправку; он задержался только у тела мертвого каргадора, причем смотрел не на того, кто уже перестал страдать, а на женщину, которая стояла на коленях, молча вглядываясь в застывшее лицо с заострившимся носом и полузакрытыми глазами. Женщина подняла голову и монотонным голосом произнесла:

— Совсем недавно он стал каргадором — всего несколько недель назад. Мы столько раз просили его милость капатаса, но он долго его не брал.

— Я не в ответе за поступки великого капатаса, — буркнул доктор и отошел.

Затем доктор поднялся на верхний этаж, но, подойдя к дверям кабинета и уже взявшись было за дверную ручку, вдруг заколебался; затем резко повернулся, пожав своими кривыми плечами, и торопливо двинулся по галерее, где и разыскал камеристку миссис Гулд.

Леонарда сообщила ему, что сеньора еще не вставала. Сеньора поручила ей позаботиться о девочках, которых она увезла от этого итальянского posadero[141]. Она, Леонарда, уложила их прямо

[141] Примечания: 141
Хозяин постоялого двора *(исп.).*

в своей комнате. Беленькая все плакала, потом уснула, а черненькая — та, что постарше, — до сих пор не сомкнула глаз. Сидит на кровати, до самого подбородка завернувшись в простыню, и таращится в одну точку, словно ведьмушка какая. Леонарде не нравилось, что детей взяли в дом. Свое неодобрение она выразила тем, что индифферентным тоном осведомилась, жива ли еще их мать. Что касается сеньоры, она, вероятно, спит. Леонарда не раз подходила к дверям ее комнаты после того, как они проводили донью Антонию и ее умирающего отца, — из комнаты сеньоры не слышно ни звука.

Доктор, погрузившийся в печальные раздумья, внезапно встрепенулся и велел ей немедленно вызвать хозяйку. Он сказал, что будет ждать ее в большой гостиной, и проковылял туда. От возбуждения он расхаживал взад и вперед, хотя ужасно устал. В этой пустой, просторной комнате, где его истомившаяся душа вновь обрела поддержку и радость, где с молчаливой признательностью изгнанника он ловил бросаемые украдкой в его сторону сочувственные взгляды, он бродил сейчас как неприкаянный среди стульев, столов, бродил без устали, а потом туда вошла наконец быстрыми шагами миссис Гулд, завернувшись

в пеньюар.

— Вы ведь знаете, я все время считал, что серебро не следует отправлять отсюда, — сразу начал доктор, после чего рассказал ей обо всем, что случилось минувшей ночью с ним, а также с капитаном Митчеллом, с главным инженером дороги и со старым Виолой в штаб-квартире Сотильо. В глазах доктора, который на свой особый лад воспринимал разразившийся в стране политический кризис, вся эта операция, затеянная для того, чтобы увезти из города серебро, представлялась безрассудной, зловещей. Все равно как если бы генерал накануне решающей битвы вдруг отправил бы бог весть куда самые отборные войска, сославшись на какую-либо маловразумительную причину. Сокровище можно было спрятать на берегу и воспользоваться им, если концессии Гулда будет грозить какая-нибудь опасность. Поступить так, как Чарлз, можно было лишь в том случае, если бы процветание и благоденствие рудников возникло на основе скрупулезно честных и целесообразных деяний. Но ведь ничего подобного не было. Та линия поведения, которой сеньор администрадор придерживался прежде, была единственно возможной.

Концессии Гулда все эти годы приходилось

платить взятки, в противном случае она перестала бы существовать. Гнусное и унизительное положение. Вполне понятно, что Чарлзу в конце концов все это так надоело, что он свернул с проторенной дорожки и стал поддерживать обреченные на провал усилия реформистов. Доктор не верил, что в Костагуане можно чего-то добиться реформой. А сейчас все вернулось на круги своя с той лишь разницей, что после попытки управляющего избавиться от опостылевшей ему зависимости рудники не только разжигают алчность власть имущих, но и возбуждают их негодование. Потерпевший неудачу будет наказан. А самое досадное, конечно, то, что Чарлз проявил, как считал доктор, слабость в самый решительный момент, когда единственной надеждой на спасение было вернуться к старым методам, не мудрствуя лукаво. Он увлекся безумной затеей Декуда и совершил роковую ошибку.

— Декуд! Декуд! — восклицал доктор, размахивая руками. Он ковылял по комнате и сердито фыркал.

Много лет тому назад обе лодыжки доктора Монигэма были весьма основательно изувечены в ходе расследования, проведенного в замке Санта-Марты комиссией, состоявшей из одних военных.

Гусман Бенто созвал их глубокой ночью, грозно нахмурившись, сверкая глазами, и приказал им голосом, дрожавшим от бешенства, немедля приступить к расследованию. Старый тиран, опаленный одним из присущих ему приступов подозрительности, то заклинал их хранить ему верность, то обрушивал на них проклятия и страшные угрозы. Все камеры и казематы замка были забиты арестантами. Комиссии было приказано раскрыть подлый заговор против Гражданина Спасителя Государства.

Тиран был страшен в гневе, и комиссия свирепствовала на допросах. Гражданин Спаситель Государства не любил долго ждать. Раскрыть заговор было необходимо. В замке не смолкал кандальный звон, щелканье бичей, крики и стоны истязуемых; комиссия, состоящая из офицеров высокого ранга, трудилась в поте лица своего неустанно, скрывая свой страх друг от друга, а главное, от секретаря комиссии, отца Берона, армейского капеллана, облеченного в эту пору большим доверием Гражданина Спасителя Государства.

Священник был высокий, с покатыми плечами, неопрятный на вид человек; его плоскую, давно не стриженную голову украшала заросшая тонзу-

ра; субъект с землистым оттенком лица, рыжий, жирный, в испещренном сальными пятнами лейтенантском мундире, с вышитым белыми нитками крестиком на левой стороне груди. У него был мясистый нос и отвисшая нижняя губа. Доктор Монигэм помнил его до сих пор. Он его помнил, невзирая на то, что всей душою силился его забыть. Гусман Бенто специально распорядился ввести в состав комиссии отца Берона, надеясь, что незаурядное рвение капеллана поможет членам комиссии в их трудах. Как ни тщился доктор Монигэм, ему до сих пор не удавалось забыть отца Берона, его лицо, его безжалостный монотонный голос, повторявший один и тот же вопрос: «Ну, призна́ешься ты наконец?»

Он не вздрагивал от этих воспоминаний, но они сделали его таким, каков он был в глазах всех респектабельных людей: человеком, не соблюдающим общепринятых приличий, то ли образованный бродяга, то ли опустившийся врач. Но ведь не каждый из респектабельных людей обладал достаточной душевной тонкостью, чтобы вообразить себе, с какой сердечной мукой и с какой отчетливостью помнил доктор Монигэм, врач рудников Сан-Томе, отца Берона, армейского капеллана, состоявшего когда-то секретарем

комиссии по расследованию заговора. Вот уж сколько лет прошло, а доктор Монигэм и сейчас в своей квартире при рудничной больнице в ущелье Сан-Томе все так же ясно помнил отца Берона.

Он вспоминал священника по ночам, видел иногда его во сне. В такие ночи доктор зажигал свечу и ждал рассвета, расхаживая по своим комнаткам, крепко обхватив себя руками и уставившись неподвижным взглядом на босые ноги. Ему мерещился отец Берон во главе длинного черного стола, а дальше головы, плечи, эполеты членов комиссии, они пощипывают перья и слушают, брезгливо и презрительно, заверения очередного узника, призывающего небеса в свидетели своей невиновности, пока наконец, выйдя из себя, капеллан не воскликнет: «Что толку слушать этот жалкий вздор! С вашего позволения я удалюсь с ним на время». И тогда двое солдат выводят арестованного из комнаты, а следом за ними идет отец Берон. Это случалось много раз, на протяжении многих дней, случалось со многими заключенными. По возвращении узник был готов чистосердечно во всем признаться, как сообщал отец Берон, и его взгляд при этом становился тупым и сытым, как у обжоры после

обильной трапезы.

Для удовлетворения инквизиторских наклонностей священника имелся достаточно полный ассортимент необходимых средств. На протяжении всей мировой истории человек неизменно был хорошо осведомлен о том, как причинить душевные и физические страдания себе подобным. Люди обучались этому по мере того, как их страсти делались все сложнее, а изобретательность все изощреннее. Впрочем, можно смело утверждать, что первобытный человек не ломал себе голову над изобретением пыток. Он был ленив и чист сердцем. Когда ему случалось раздробить соседу каменным топором череп, он делал это, не питая к нему зла, а просто потому, что это было ему нужно.

Но время шло, и оказалось, что даже очень глупый человек способен придумать нечто подлое и лживое и заклеймить клеветой невиновного. Бечевка и шомпол; несколько мушкетов и кусок ремня; и даже простой молоток из твердого дерева, если бить с размаху по пальцам и суставам, может явиться орудием самой изощренной пытки. Доктор был на редкость упрямым арестантом, и естественным последствием его «дурного нрава» (как выражался отец Берон) явилось то,

что для того, чтобы сделать его послушным, пришлось применить самые жестокие меры, и применить их все полностью. Отсюда хромота, кривые плечи и шрамы на щеках. Но зато и в своих винах, — когда он их наконец признал, — он признался полностью. Случалось, в бессонные ночи на рудниках Сан-Томе он вдруг переставал метаться по комнатам и останавливался, скрипнув зубами от гнева и стыда, потрясенный тем, как буйно разыгралось его воображение под воздействием физической боли, когда эта боль достигла такой силы, что самоуважение, истина, честь и даже жизнь потеряли всякое значение.

И он не мог забыть отца Берона и этот бесконечно повторявшийся вопрос: «Ну, признаешься ты наконец?» — смысл этих слов был так мучительно ясен, хотя разум его мутился от боли. Не мог забыть. Но страшнее было другое. Если бы доктор Монигэм даже сейчас случайно встретил бы на улице отца Берона, его объял бы в точности такой же ужас, как много лет тому назад. Эта опасность ему уже не угрожала. Отец Берон скончался; но доктор Монигэм ведь знал о себе это и никому не мог взглянуть в глаза.

Можно сказать, что доктор Монигэм попал в рабство к призраку. Разве мог он вернуться

в Европу, помня об отце Бероне? Делая признание комиссии, доктор Монигэм не помышлял избавиться таким образом от смерти. Он хотел умереть. Сидя в своей камере полураздетый на сырой земле, совершенно неподвижно, долгими часами, так, что пауки, его приятели, успевали оплести его всклокоченные волосы паутиной, он успокаивал свою изболевшуюся душу вполне, казалось бы, разумным доводом: ведь он сознался в таком множестве преступлений, что его должны приговорить к смертной казни… его мучители зашли так далеко, что не оставят его в живых.

Но удивительной оказалась жестокость судьбы — шел месяц за месяцем, а доктор Монигэм гнил заживо в своей темной, как могила, камере. Без сомнения, его тюремщики надеялись, что он умрет своею смертью и избавит их от необходимости его казнить; однако доктор Монигэм обладал железным здоровьем. Умер Гусман Бенто, и не от кинжала заговорщика, а от апоплексического удара, и доктора Монигэма поспешили освободить.

Оковы сбили при свете свечи, и у доктора, просидевшего много месяцев в глубокой темноте, так заболели глаза, что он прикрыл их руками. Ему помогли встать. Сердце бешено колотилось

в его груди — доктор боялся свободы. Он сделал несколько шагов, привыкшие к кандалам ноги двигались так легко, что у него закружилась голова, и он упал. Ему дали две палки и вывели из коридора. Стояли сумерки; в офицерских казармах близ замка уже зажигали свечи; но темнеющее вечернее небо показалось ему ослепительным. На худых, костлявых плечах доктора висело обтрепавшееся пончо; изодранные брюки прикрывали его ноги только до колен; грязные, спутанные седые космы, не стриженные полтора года, обрамляли исхудавшее, с острыми скулами лицо. Когда он выходил из замка, караульный, движимый каким-то безотчетным порывом, внезапно подскочил к нему со сдавленным смешком и нахлобучил ему на голову старую продавленную соломенную шляпу. Доктор Монигэм чуть не упал от неожиданности, затем продолжил свой путь. Он сперва выбрасывал вперед одну палку, затем подтягивал к ней искалеченную ногу, затем другую палку; вторую ногу он волок с еще большим трудом — казалось, она слишком тяжела, а между тем обе его ноги были на вид не толще, чем палки, которые он стискивал в руках. Его согбенное тело колотила не прекращающаяся ни на минуту дрожь, сотрясавшая тощие руки и

ноги, костлявую голову, рваное сомбреро, широкие поля которого лежали у доктора на плечах.

В таком виде и в таком одеянии доктор Монигэм обрел свободу. И это обстоятельство так прочно привязало его к Костагуане и способствовало, так сказать, его натурализации, как не смог бы способствовать ей никакой успех и никакие почести. Он перестал быть европейцем; доктор Монигэм сотворил себе из своего бесчестья кумира. Такой образ действий представлялся ему единственно возможным для джентльмена и офицера. До отъезда в Костагуану доктор Монигэм был хирургом в одном из пехотных полков Ее Величества.

Размышляя, как ему теперь жить, он не принимал в расчет смягчающих обстоятельств. Этот образ действий вовсе не был глуп; он был прост. Поведение человека, убежденного, что каждая его вина требует самого сурового искупления, всегда отличается простотой. Доктор Монигэм считал, что заслуживает суровой кары; считать иначе он не мог, — вполне естественное чувство вины, стократно усугубленное свойственными джентльмену и офицеру представлениями о чести, побуждало его думать и чувствовать именно так. Не говоря уже о том, что и благородная нату-

ра доктора требовала полного, всеобъемлющего и постоянного искупления.

Преданность и верность были среди главных ее черт. Всю свою преданность и верность доктор предоставил в распоряжение миссис Гулд. Он считал ее достойной их. В глубине души у него шевелилась тревожная неприязнь к рудникам Сан-Томе, поскольку с каждым днем они все больше нарушали душевное спокойствие миссис Гулд. Как мог Чарлз привезти ее сюда! Это преступление! Доктор наблюдал за ходом событий с угрюмой отчужденной сдержанностью, вполне естественной, — он полагал, — для человека, пережившего все, что он пережил. Преданность миссис Гулд, однако, влекла за собой заботы о безопасности ее мужа. Доктор не верил в Чарлза, вот почему он приложил все усилия, чтобы оказаться в городе в критический момент. Он считал, что управляющий рудниками неизлечимо заражен безумием костагуанских революций. И поэтому он с такой горечью и раздражением восклицал: «Декуд, Декуд!» — ковыляя по гостиной Каса-Гулд.

Миссис Гулд, стоя с разгоревшимися щеками и сверкающими глазами, глядела прямо перед собой, потрясенная внезапностью свалившегося

на них страшного несчастья. Она опиралась на низенький столик, и рука ее дрожала, вся, от кисти до плеча. Свет солнца, которое поздно заглядывает в Сулако, появляясь высоко в небе уже во всей полноте своей силы из-за сверкающей снежной вершины Игуэроты, развеял нежный, бархатистый, жемчужно-серый полумрак, окутывавший город в утренние часы, разбив его на густые черные тени и ослепительные яркие блики. Потоки солнечного света заливали гостиную, врываясь в нее сквозь три высоких окна; и по контрасту особенно темным казался дом Авельяносов, стоявший еще в тени.

— Что случилось с Декудом? — спросил с порога мужской голос.

Это был Чарлз. Они не слышали, как он вошел. Он бросил беглый взгляд на жену и в упор посмотрел на доктора.

— У вас какие-то новости, доктор?

Доктор торопливо выложил все, что знал. Потом замолк, и управляющий рудниками Сан-Томе долго глядел на него, не произнося ни слова. Миссис Гулд опустилась в низкое кресло и положила руки на колени. Все трое не шевелились, в комнате царила тишина. Затем Чарлз сказал:

— Вы, вероятно, хотите позавтракать, доктор.

Он отступил, пропуская жену. Она схватила его за руку, крепко ее пожала и поднесла платочек к глазам. Увидев мужа, она сразу вспомнила об Антонии и, думая о бедной девушке, не удержалась от слез. Наскоро умывшись, миссис Гулд вошла в столовую и услыхала, как муж, сидя за столом, говорит доктору:

— Нет, нет, мне кажется, сомнениям нет места.

Доктор не стал возражать:

— Да, говоря по чести, я не думаю, что бедняга Гирш мог солгать. Боюсь, все это истинная правда.

Она села во главе стола, растерянно посматривая то на доктора, то на мужа. Но и тот и другой избегали взгляда миссис Гулд и даже ни разу не повернули к ней головы. Доктор сделал вид, будто проголодался; схватив нож и вилку, принялся подкрепляться с преувеличенным аппетитом, словно плохой актер. Чарлз не стал притворяться: широко расставив локти, он крутил кончики огненно-рыжих усов, таких длинных, что его руки не прикасались к лицу.

— Да, я тоже так не думаю, — пробормотал он и обхватил рукою спинку стула. Лицо Чарлза было спокойно, но, судя по его выражению, в душе происходила острая борьба. Он понял: на-

ступил переломный момент и все его поступки, и совершенные сознательно, и продиктованные инстинктом, теперь не обойдутся без последствий.

Впредь он не сможет прибегать к таким средствам, как молчаливая непроницаемость и сдержанность, неоднократно помогавшие ему оберегать свое достоинство, — наименее унизительные из всех видов лицемерия, к которым вынуждала его эта пародия на гражданские институты, оскорблявшая его разум, прямодушие и чувство справедливости. Этим он был похож на отца. Он не умел искать спасения в иронии. Нелепости, которыми так изобилует наш мир, его не забавляли. Наоборот, уязвляли, ибо главной его чертой была серьезность. Но теперь, после трагической гибели Декуда, он уже не сможет сохранить неуязвимую позицию стороннего наблюдателя. Теперь ему придется действовать открыто, если только он не захочет выйти из игры, что невозможно. Служение материальным интересам принуждает его отказаться от этой позиции, и, может быть, даже с опасностью для жизни. К тому же он понимал, что идея Декуда отколоть от государства Западную провинцию не пошла ко дну вместе с серебряными слитками.

Единственное, что оставалось без перемен, — это его отношение к Холройду. Глава серебряного и стального треста принимал участие в костагуанском бизнесе с жаром и даже со страстью. Костагуана стала ему необходима. Разработка рудников Сан-Томе доставляла романтичной стороне его натуры удовлетворение, которое другие черпают в театре, живописи или скачках. Великий человек избрал для себя именно эту форму сумасбродства, оправданную высокими моральными соображениями, настолько высокими, что они льстили его тщеславию: даже его причуды служат прогрессу человечества.

Чарлз, разделявший эту страсть, был уверен, что компаньон всегда его понимает и ни за что не осудит. Он был уверен: ничто не вызовет испуга или удивления у этого незаурядного человека с возвышенной и романтичной душой. И Чарлз представлял себе, как пишет в Сан-Франциско: «…Люди, стоявшие во главе движения, погибли или вынуждены были бежать; законной власти в настоящее время в провинции не существует; партия „бланко“ в Сулако признала себя побежденной самым позорным образом, но совершенно в духе этой страны. Впрочем, по-прежнему остается возможность отозвать сюда Барриоса, армия

которого — свежие силы, еще не участвовавшие в боях, — находится в Каите. Я вынужден открыто присоединиться к идее отделения Западной провинции, поскольку это единственный способ обеспечить безопасность огромных материальных ценностей, от которых зависит процветание и мир в Сулако…» Именно так. Ему казалось, что слова эти огненными буквами начертаны на стене, на которой он остановил свой рассеянный взгляд.

Миссис Гулд с испугом смотрела на мужа. Его непривычная рассеянность холодной тенью покрыла дом, как набежавшая на солнце грозовая туча. Такой рассеянности, по наблюдениям миссис Гулд, ее муж бывал подвержен, когда все его душевные силы были напряжены до предела под воздействием какой-нибудь навязчивой идеи. Человек, преследуемый навязчивой идеей, безумен. Он опасен, даже если идея эта справедлива; ведь такой человек способен погубить без всякой жалости и тех, кого любит. Глаза Эмилии, с тревогой всматривающиеся в лицо мужа, наполнились слезами, и она опять представила себе всю бездну отчаяния бедной Антонии.

«Что стало бы со мной, если бы Чарли утонул, когда он был моим женихом?» — спросила она

себя, холодея. Ее сердце заледенело, а щеки пылали, словно опаленные пламенем погребального костра, пожиравшего все ее земные привязанности. Из глаз хлынули слезы.

— Антония убьет себя! — воскликнула она.

Этот внезапный крик, прозвучав в безмолвной комнате, остался почему-то почти не замечен. Лишь доктор, который, прижавшись щекою к плечу, крошил кусочек хлеба, поднял голову, и его лохматые брови слегка нахмурились. Доктор Монигэм совершенно искренне считал Декуда на редкость неподходящим объектом для любви какой бы то ни было женщины. Затем он снова опустил голову, скривил губы, и сердце его залила волна нежности и восхищения.

«Она тревожится об этой девушке, — подумал он, — она тревожится о детях Виолы; она тревожится обо мне; о раненых, о шахтерах; она всегда тревожится о тех, кто беден и сломлен горем! Но что с ней будет, если Чарлз погибнет в этой адской свалке, в которую его втянули треклятые Авельяносы? Ведь о ней, по-моему, не тревожится никто».

Чарлз продолжал смотреть на стену, обдумывая продолжение письма.

«Я напишу Холройду, что рудники достаточно

богаты, чтобы послужить экономической основой создания нового государства. Это будет ему лестно. Он пойдет на риск».

Но захочет ли помогать им Барриос? По всей вероятности, да. Однако с Барриосом невозможно связаться. Ведь отправить в Каиту судно теперь уже не удастся, так как Сотильо завладел гаванью; и к тому же в его распоряжении пароход.

А сейчас, когда во всей провинции подняли голову демократы и вся равнина Кампо охвачена мятежом, где ему разыскать человека, который сумел бы отвезти его послание в Каиту, ведь туда скакать верхом дней десять, не меньше; где найдет он человека, решительного и храброго, которого не смогут ни арестовать, ни убить, а если даже арестуют, он, как положено посланцу, самоотверженно съест письмо? Капатас каргадоров такой человек, но капатаса здешних каргадоров больше нет в живых.

И Чарлз, оторвав наконец взгляд от стены, негромко произнес:

— Поразительное создание этот Гирш! Уцепился за якорь и остался в живых. А я и не знал, что он до сих пор в Сулако. Я думал, он уехал в Эсмеральду через горы еще неделю тому назад. Он тут однажды приходил ко мне потолковать о

торговле кожами и кой о чем еще. Я ему твердо сказал, что помочь не сумею.

— Он побоялся двинуться в обратный путь, когда узнал, что в наших краях появился Эрнандес, — пояснил доктор.

— И это единственный человек, который мог бы нам рассказать, что случилось на баркасе, — с удивлением проговорил Чарлз.

Миссис Гулд взволнованно произнесла:

— Антония не должна знать об этом! Ничего не говорите ей. Скажем потом.

— Едва ли она сможет что-нибудь узнать, — заметил доктор. — Кто ей расскажет? Ведь наши горожане боятся Эрнандеса хуже черта. — Он взглянул на Чарлза. — Это, право же, очень некстати, потому что, если бы нам захотелось сообщить о чем-либо нашим изгнанникам, мы не найдем гонца. Еще в ту пору, когда Эрнандес рыскал со своей шайкой в нескольких сотнях миль от Сулако, местных жителей бросало в дрожь от одних лишь рассказов о том, как он живьем поджаривает пленных.

— М-да, — пробормотал Чарлз, — капатас нашего Митчелла был единственным человеком в городе, который беседовал с Эрнандесом наедине. Падре Корбелан послал его к разбойнику. С этого

все и началось. Как жаль, что он…

Гул большого колокола в храме заглушил его последние слова. Сперва грянули друг за другом три отдельных удара — каждый прогремел, как взрыв, и мелодичный, низкий звон долго замирал потом в тиши. А затем затрезвонили разом все городские колокола, в каждой церкви, монастыре, часовне, даже те, которые молчали уже много лет. Миссис Гулд побледнела — безудержно хлынувший на город неистовый хор металлических голосов как бы предрекал смертоносные битвы. Прислуживавший за столом Басилио обомлел от страха и прижался к буфету, выбивая зубами дрожь. В этом грохоте нельзя было услышать даже собственного голоса.

— Да закрой же окна наконец! — раздраженно крикнул Чарлз.

Остальные слуги, решив, что прозвучал сигнал, после которого в городе начнут резать всех поголовно, устремились на второй этаж, натыкаясь друг на друга на ступеньках, мужчины, женщины — неведомые никому и в обычные дни невидимые обитатели нижнего этажа Каса-Гулд. Женщины с громким воплем: «Misericordia!» — вбегали в столовую, падали на колени у стены и судорожно принимались креститься. В дверях

появились испуганные лица слуг — конюхи, садовники, всевозможные подручные, питавшиеся от щедрот этого хлебосольного дома, и взгляду Чарлза в полном составе предстала вся его челядь, вплоть до привратника, полупарализованного старика с падающими на плечи седыми кудрями.

Это наследие досталось Чарлзу, чтившему семейные традиции, как фамильная реликвия — старик еще помнил Генри Гулда, англичанина и костагуанца во втором поколении, который одно время был главой провинции Сулако; долгие годы состоял при нем лакеем и на войне, и в мирное время; ему позволили служить хозяину в тюрьме; он шел за взводом солдат в то роковое утро, когда его господина вели на расстрел; и, спрятавшись за кипарисом, потихоньку выглянул из-за ствола и увидел, как дон Энрико взмахнул руками и рухнул в пыль. Лохматая седая голова старика-привратника, маячившая в задних рядах челяди, упорно притягивала к себе взгляд Чарлза. Но еще с большим изумлением он заметил, что в толпе служанок приплелись две сморщенные старые карги, о существовании которых он не подозревал и вообще ни разу их не видел в стенах своего дома. Вероятно, это были

матери, может быть, даже бабки кого-то из слуг. Было также несколько детей, более или менее обнаженных, они плакали и цеплялись за ноги родителей. Сколько раз он проходил по внутреннему дворику и даже не догадывался, что в доме живет хоть один ребенок. Даже Леонарда, «камериста», пробилась сквозь толпу, ведя за руки девочек Виолы, и смазливое, капризное личико избалованной господами служанки искажал испуг. На столе и в буфете дребезжала посуда, и казалось, дом качается, подхваченный волной оглушительного колокольного звона.

Глава V

К утру все башни города заполнила толпа местных жителей, жаждавших приветствовать Педрито, который переночевал в Ринконе и подходил сейчас к городским воротам. Первой ворвалась толпа вооруженных людей всех оттенков кожи, видов, типов и степеней оборванности, именовавшая себя Национальной гвардией Сулако и возглавляемая сеньором Гамачо. На мостовую хлынула, словно вывалившись из мусорного ведра, окутанная тучей пыли и сопровождаемая яростным барабанным боем

мешанина соломенных шляп, пончо, ружей, посреди которой трепыхался необъятный желто-зеленый флаг. Зрители отпрянули к стенам домов с громкими воплями: «Viva!» Вслед за чернью показалась кавалерия, это была «армия» Педрито Монтеро. В сопровождении Гамачо и Фуэнтеса он продвигался во главе своих льянеро[142], каковые с беспримерным мужеством совершили великий подвиг — перевалили во время снежной бури через хребет Игуэроты.

Кавалеристы ехали по четыре в ряд на лошадях, конфискованных на Кампо, а одеты были в разномастное тряпье из придорожных лавок, которые они ограбили во время марша по северной части провинции, совершенного ими весьма торопливо, ибо Педро Монтеро спешил поскорее захватить Сулако. На голых шеях всадников были небрежно повязаны ослепительно-чистые носовые платки, а правый рукав у каждого отрезан выше локтя, чтобы удобнее было бросать лассо. Смуглые, худые юноши и изможденные старики ехали бок о бок, измученные тяготами походной жизни; вокруг тульи шляпы у каждого из них было уложено нарезанное длинными полоса-

---

[142] Примечания: 142
Жители равнины *(исп.).*

ми сырое мясо, к босым пяткам прикреплены огромные шпоры. Те, кто потеряли пики во время перехода через горы, заменили их стрекалами, какие употребляют пастухи на Кампо: тонкий ствол пальмы длиною футов десять с железным наконечником и множеством дребезжащих колец. Кроме того, всадники были вооружены ножами и револьверами.

Почерневшие от солнца лица солдат выражали дикарское бесстрашие; воспаленные глаза то окидывали высокомерным взглядом толпу, то обращались вверх и, нагло подмигивая, указывали на какую-нибудь женскую головку. Когда солдаты выехали на Пласу и их взорам предстала ослепительно-белая, освещенная ярким солнцем конная статуя короля, которая высилась над морем голов, огромная и неподвижная, приветственно простирая над толпою руку, изумленный ропот пробежал по их рядам. «Кто этот святой в большущей шляпе?» — спрашивали они друг друга.

Таковы были кавалеристы, во главе коих Педро Монтеро столь удачно споспешествовал победоносной карьере своего брата, генерала. Влияние, которое этот человек, сам выросший в портовых городах, так быстро приобрел среди обитателей

равнин, льянеро, мы можем приписать только тому, что он являлся истинным гением предательства — свойство, расцениваемое этими полудикарями как вершина добродетели и мудрости.

Из мифологии всех существующих и когда-либо существовавших народов явствует: двоедушие и коварство наряду с физической силой представляются людям, стоящим на низкой ступени развития, достоинствами более высокими, чем даже храбрость. Победа над соперником — для них великий подвиг. Храбрость — полагали наши предки — свойство, которым в той или иной степени наделены все. Но любое проявление интеллекта они воспринимали с почтительным благоговением. Военные хитрости, если они приносят успех, внушали им уважение; те, кто сумели перебить бездну народу, напав на неприятеля врасплох, не вызывали иных чувств, кроме восторга, уважения и восхищения. И возможно, дело не в том, что первобытные люди были более вероломны по натуре, чем их потомки, просто они прямее шли к цели и более прямодушно признавали успех единственным мерилом моральных ценностей.

С тех пор мы изменились. Проявления интел-

лекта теперь мало кого удивляют и вызывают гораздо меньше почтения. Но невежественные и дикие жители равнины, волею судеб приняв участие в гражданской войне, с большой охотой подчинялись вождю, которому столь неизменно удавалось одолеть неприятеля. Педро Монтеро был наделен талантом усыплять бдительность противника. И поскольку люди весьма медленно усваивают уроки жизни и всегда готовы поверить обещаниям, сулящим осуществление их тайных надежд, Педро Монтеро нередко добивался успеха.

Он был то ли лакеем, то ли мелким чиновником костагуанского посольства в Париже, когда, узнав, что его братец покинул пределы своей безвестной пограничной командасии[143], поспешил вернуться на родину. Воспользовавшись умением внушать доверие, он обвел вокруг пальца видных столичных рибьеристов, и раскусить его полностью не удалось даже такому проницательному человеку, как агент рудников Сан-Томе. Брат сразу оказался под его влиянием. Наружностью оба Монтеро были очень схожи: оба лысые, с порослью мелких кудряшек над ушами — сви-

[143] Примечания: 143
Сторожевой пост *(исп.).*

детельство наличия негритянской крови. Только Педро был помельче, чем его брат-генерал, да и вообще выглядел более утонченным, ибо мог, как шимпанзе, имитировать чисто внешние проявления светской обходительности и с легкостью попугая усваивал иностранные языки. Оба брата получили какие-то начатки образования благодаря щедротам знаменитого европейского путешественника, у которого их отец служил телохранителем, когда тот изучал и обследовал центральные районы страны.

Генералу Монтеро это помогло выбиться из нижних чинов. Педрито, младшенький, неисправимый лентяй и неряха, бесцельно кочевал из одного прибрежного порта в другой и в каждом наведывался в конторы по найму прислуги, а затем, поступив в услужение к приезжему иностранцу, зарабатывал себе на пропитание этим необременительным, но малопочтенным трудом. Из умения читать он не извлек ничего, кроме самых нелепых фантазий. Побуждения, которыми он руководствовался в своих поступках, всегда бывали настолько дики и абсурдны, что нормальные люди о них даже не догадывались.

Так агент концессии Гулда при первой же встрече с Педрито счел его человеком здраво-

мыслящим и надеялся при его помощи обуздать неуемное тщеславие генерала. И ему не пришло тогда в голову, что Педрито Монтеро, лакей или писец, квартирующий в мансардах различных парижских гостиниц, где размещало свой дипломатический корпус посольство Костагуаны, жадно поглощал легкие исторические романы, такие, например, как сочинения Эмбера де Сент-Амана о Второй империи. А между тем под воздействием этих романов в воображении Педрито сложился образ блистательного, пышного двора, при котором он, Педрито, подобно герцогу де Морни, будет предаваться всяческим наслаждениям и в то же время заправлять политикой, всеми мыслимыми способами осуществляя свою безграничную власть. Кто мог бы это предположить? И все же именно в этом таилась одна из многочисленных причин монтеристского мятежа. Возможно, это будет выглядеть менее фантастично, если по здравом размышлении прибавить, что главные его причины коренились в политической незрелости народа, в праздности высших классов и отсталости низших.

Возвышение старшего брата, полагал Педрито, и перед ним открывает путь к осуществлению самых необузданных его мечтаний. Именно это

обстоятельство и привело к тому, что правительство не сумело подавить путч монтеристов. Самого генерала, возможно, и удалось бы подкупить, задобрить милостями, удалить с какой-нибудь дипломатической миссией в Европу. Но Монтеро-старшего с первого до последнего дня подстрекал его брат. Педрито намеревался стать самым влиятельным государственным деятелем Южной Америки. Верховной власти он не жаждал. По правде говоря, он опасался связанных с ней трудов и риска. Педрито Монтеро прежде всего хотел обзавестись солидным состоянием.

Вдохновляемый этой мечтою, он уже в день победоносной битвы выудил у брата разрешение пересечь с войсками горы и овладеть Сулако. Перед Сулако открывалось большое будущее, процветание, промышленный прогресс; провинция Сулако, единственная во всей республике, привлекала к себе внимание европейского капитала. Педрито Монтеро, по примеру герцога де Морни, жаждал быть осыпанным плодами этого прогресса. А точнее говоря, уже сейчас, когда брат его сделался хозяином Костагуаны, он в качестве президента ли, диктатора, а может быть, и императора — в самом деле, почему бы ему не стать императором? — потребует своей

доли во всех предприятиях: железных дорогах, рудниках, сахарных плантациях, бумагопрядильнях, земельных компаниях, то есть буквально во всем, в виде награды за его бесценную помощь. Боязнь опоздать и послужила истинной причиной знаменитого похода через горы с двумя сотнями льянеро, и нетерпение помешало ему вначале увидеть ясно, сколько опасностей таит в себе эта затея.

Ему казалось, что после стольких побед любой Монтеро, стоит лишь ему появиться, становится хозяином положения. Эта иллюзия побудила его к торопливости, — как он начал понимать теперь — излишней. Еще во время похода он пожалел, что захватил с собой так мало льянеро. Жители Сулако встретили его с восторгом, и это успокоило его. Они кричали: «Viva Montero! Viva Pedrito!» Желая еще больше подогреть их энтузиазм, а также из врожденной склонности к лицедейству, он уронил на шею лошади поводья и жестом, полным нежного дружелюбия, подхватил под руки сеньоров Фуэнтеса и Гамачо. В этой позе он торжественно проехал через Пласу к дверям ратуши, а поводья нес, шествуя рядом с лошадью, какой-то местный оборванец. Приветственные клики были так громогласны, что заглушили

звон соборных колоколов, и казалось даже, что от них дрожат сумрачные стены ратуши.

Педро Монтеро, брат знаменитого генерала, спешился, окруженный со всех сторон восторженными, горластыми и потными ротозеями, которых свирепо отталкивали от него национальные гвардейцы в дырявых мундирах. Он поднялся на несколько ступенек, и его взору предстала глазеющая на него огромная толпа, а также испещренные пулями стены домов, расположенных по другую сторону Пласы. Сквозь легкую дымку пронизанного солнцем марева он разглядел громадные черные буквы, между которыми зияли выбитые стекла окон; «НАШЕ БУДУЩЕЕ» — было начертано на стене, и Педрито с наслаждением подумал, что близится час мести, ведь он не сомневался: теперь Декуд от него не уйдет. С левой стороны от него верзила Гамачо тщетно пытался обтереть потное волосатое лицо и улыбался глуповатой блаженной улыбкой, выставляя напоказ большие желтые клыки. Справа сухонький и невысокий сеньор Фуэнтес, поджав губы, глядел на толпу. Толпа же замерла, разинув рот, не в переносном, а в буквальном смысле слова, нетерпеливо ожидая, что великий партизан, прославленный Педрито, тут же станет осыпать

ее какими-нибудь осязаемыми благами. Он же начал произносить речь.

Он начал ее с того, что громко выкрикнул: «Граждане!» — и это слово услыхали даже люди, которые стояли в центре площади. Что касается продолжения этой речи, оно пленило слушателей не столько тем, что́ произносил оратор, сколько тем, что он делал — становился на цыпочки, сжимал кулаки и потрясал ими над головой, закатывал глаза, презрительно от кого-то отмахивался, указывал на кого-то пальцем, кого-то заключал в объятия; вот он дружески похлопал Гамачо по плечу, а далее последовал почтительный жест в сторону фигурки в черном сюртуке — сеньора Фуэнтеса, адвоката и политика, истинного друга народа. Стоящие рядом с оратором время от времени выкрикивали: «Viva!» — и эти крики, подхваченные передними рядами, пробегали по площади, словно пламя по сухой траве. А в промежутках над заполненной толпою Пласой нависала тяжелая тишина, и было видно только, как оратор открывает и захлопывает рот, а отдельные фразы: «Счастье народа», «Сыны родины», «Весь мир, el mundo entiero» — долетали даже до ступенек собора — звенящий, еле слышный шум, напоминающий писк москита.

Оратор принялся ударять себя в грудь и чуть ли не подпрыгивал на месте. Речь подходила к концу, и он вкладывал в нее еще больший пыл. Затем две невысокие фигурки скрылись, и на ступеньках ратуши остался только гигант Гамачо, который выступил вперед, снял шляпу и помахал ею над головой. После чего он горделивым жестом вновь нахлобучил шляпу и гаркнул: «Ciudadanos!»[144] Глухой рокот приветствий ответил сеньору Гамачо, экс-разносчику с Кампо, командующему Национальной гвардией.

А тем временем Педрито Монтеро на верхнем этаже ратуши торопливо обходил комнаты, находившиеся в самом плачевном состоянии, и выкрикивал:

— Все переломано! Какие идиоты!

Молчаливый сеньор Фуэнтес, который шел за ним следом, угрюмо проворчал:

— Это работа гвардейцев Гамачо, — и, склонив голову к левому плечу, сжал губы так плотно, что в уголках рта образовались впадинки. Он был назначен политическим лидером города, и ему не терпелось приступить к исполнению своих обязанностей.

---

[144] Примечания: 144
«Граждане!» *(исп.)*

Оба эти сеньора неожиданно оказались tête-à-tête в длинной темноватой приемной, где на стенах висели огромные разбитые зеркала, где драпировки были изодраны, а от занавеса над трибуной в дальнем конце комнаты остались лишь клочки; с площади сквозь запертые ставни доносился многоголосый рокот и вопли Гамачо.

— С-скотина! — процедил сквозь зубы его превосходительство дон Педро. — Надо как можно скорей отправить его отсюда вместе с гвардейцами на усмирение Эрнандеса.

Новоиспеченный «шеф político» лишь склонил голову набок и затянулся сигаретой, выражая таким образом согласие именно этим способом избавить город от Гамачо и его бандитов.

Педрито Монтеро с омерзением смотрел на пол, где не осталось ковров, на позолоченные рамы, из которых, как грязные тряпки, свисали изорванные и изрубленные саблями картины.

— Мы не варвары, — сказал он.

Вот что произнес его превосходительство, знаменитый Педрито, партизан, прославленный своим умением устраивать засады и по его собственной просьбе посланный старшим братом в Сулако для установления демократических принципов. Накануне вечером, беседуя со сво-

ими сподвижниками по партизанской войне, прибывшими встретить его в Ринконе, он открыл свои намерения сеньору Фуэнтесу:

— Мы устроим всенародное голосование по принципу «да» или «нет» и вверим судьбу нашей любимой родины моему брату, герою, непобедимому генералу. Плебисцит. Вам понятно?

Сеньор Фуэнтес втянул смуглые щеки, слегка склонил голову к левому плечу и выпустил из сжатых губ голубоватый дымок. Ему все было понятно.

Учиненный в ратуше разгром рассердил его превосходительство. В комнатах ничего не осталось — ни стола, ни стула, ни дивана, ни этажерки, ни даже консолей. Его превосходительство трясся от гнева, но вынужден был сдерживаться, поскольку его могущественный брат был сейчас весьма далеко. Но тем не менее как же ему отдохнуть? Он полагал, что его ожидает роскошь и комфорт после целого года бивачной жизни, закончившегося к тому же изнурительным и опасным походом на Сулако, столицу провинции, значительностью и богатством превосходящей все остальные провинции, взятые вместе. С Гамачо он еще успеет расквитаться.

Тем временем сеньор Гамачо продолжал

завывать, услаждая слух столпившихся на раскаленной площади бездельников, словно демон мелкого ранга, забравшийся в жаркую печь. Он поминутно вытирал рукой лицо: сюртук он давно сбросил, рукава рубахи закатал выше локтей, но оставил на голове большую треуголку с белым плюмажем. Простодушного Гамачо чрезвычайно радовал этот знак отличия, положенный ему как командующему Национальной гвардией. Одобрительный и грозный ропот заполнял каждую паузу его речи.



По его мнению, следовало немедленно объявить войну Франции, Англии, Германии и Соединенным Штатам, поскольку все они, имея целью ограбить местных бедняков, насаждают в их стране рудники, железные дороги, колонизацию, — удобный повод, чтобы впоследствии, при помощи этих вандалов и паралитиков — аристократов, превратить народ Костагуаны в обездоленных, замученных тяжким трудом рабов. Темные личности, шныряющие в толпе, завопили при этих словах во всю глотку. Генерал Монтеро, продолжал Гамачо, — единственный, кто способен выполнить задачу, которую поставила перед ними страна. Толпа согласилась и с этим.

Утренняя прохлада сменялась жарой; толпа начала рассыпаться, в ней образовались водовороты и течения. Часть слушателей потянулась в тень, которая падала от домов и могучих тополей Аламеды. Оставшиеся на площади сдвинули на лоб сомбреро, чтобы заслониться от палящего солнца; и вот тут-то появились всадники; с громкими криками они расчленили на части толпу и погнали в боковые улицы, где кабачки гостеприимно распахнули свои двери и манили истомившихся национальных гвардейцев прохладным полу-

мраком и нежным перезвоном гитар. Гвардия мечтала о сиесте, а красноречие ее вождя, Гамачо, иссякло. К концу дня, когда спала жара и национальные гвардейцы попытались вновь собраться для обсуждения государственных дел, кавалерийские отряды Монтеро, расположившиеся лагерем на Аламеде, без всякого предупреждения налетели на них с пиками наперевес и очистили площадь. Национальная гвардия Сулако была удивлена этой процедурой. Но не возмущена. У костагуанцев никогда не вызывают возражений причуды вооруженных сил. Их приемлют как должное. И на сей раз толпа пришла к выводу, что это несомненно какая-то административная мера. Но для чего эта мера применена, они не сумели разобрать без посторонней помощи, а их вождь и оратор, командующий гвардией Гамачо, был пьян и спал в лоне семьи. Его босые ступни торчали, как у трупа. Красноречивые уста разомкнулись — оратор почивал, разинув рот. Его младшая дочь одной рукой почесывала себе голову, а в другой держала зеленую ветку и обмахивала его облупившееся от солнца лицо.

Глава VI

Солнце клонилось к закату, и тени домов передвинулись с запада на восток. Тени сместились на всем протяжении Кампо, их отбрасывали белые стены гасиенд на зеленых холмах, и притулившиеся в ложбинках у ручьев крытые травою домишки ранчеро, и темные купы деревьев среди светлого моря травы, и отвесные скалы Кордильер, огромные и неподвижные, выступающие из лесистых предгорий как пустынный берег страны великанов. Освещенные лучами закатного солнца снега Игуэроты розовели нежным румянцем, а зубчатые вершины вдали оставались черными, как обгорелые головешки. Волнистую поросль лесов припорошила золотая пыль; а отделенный от города двумя зелеными отрогами каменистый провал Сан-Томе был окрашен в теплые желто-коричневые тона с ржавыми прожилками, кое-где среди камней пробилась зелень — в расщелинах курчавился кустарник, и гигантские папоротники окаймляли отвесный склон горы. Если смотреть с равнины, надшахтные постройки и хижины шахтеров казались темными и маленькими — словно птичьи гнезда теснились они на

уступах скалы. Гора напоминала крепость, где живут циклопы. По ее склону зигзагами сбегали будто нацарапанные на камне тропки. Двум часовым, что расхаживали с карабинами в руках в тени около мостика через ручей, дон Пепе, только что начавший спускаться с верхнего уступа, казался издали никак не больше крупного жука.

И в самом деле, это выглядело так, будто он снует, как жук, взад и вперед по склону, в действительности же дон Пепе упорно двигался вниз и наконец исчез за крышами толпившихся на дне ущелья складов, кузниц и мастерских. Часовые продолжали расхаживать перед мостиком, на котором терпеливо дожидался задержанный ими всадник с большим белым конвертом в руке. Затем на улице поселка появился решительными шагами направляющийся к ним дон Пепе, в темных широких штанах, заправленных в сапоги, в белой полотняной куртке, с револьвером у пояса и саблей на боку. В это смутное время сеньор гобернадор всегда был начеку — как говорит пословица: «разутым не застать».

Один из часовых слегка кивнул, а верховой — гонец из города — спешился и, держа лошадь в поводу, сошел с мостика.

Дон Пепе взял у него письмо и похлопал себя

по карманам, нащупывая очки. Обретя наконец этот оптический прибор в массивной серебряной оправе, он нацепил его на нос, тщательно заправил за уши дужки и вскрыл конверт, держа его на расстоянии примерно фута от глаз. На извлеченном из конверта листке было всего три строчки. Он долго их разглядывал. Усы его шевелились, морщинки в уголках глаз стали глубже. Потом с невозмутимым видом он кивнул: «Bueno!»[145] — и добавил: «Ответа не будет».

Затем спокойно и доброжелательно, как всегда, он заговорил с гонцом, который был весьма словоохотлив и полон радостного возбуждения. Он, оказывается, видел издали расположившуюся лагерем на берегу по обе стороны от таможни пехоту Сотильо. Солдаты не разрушили ни одного дома. Иностранцы с железной дороги не выходят из депо. Солдаты Сотильо не стреляют больше в бедняков. Он стал ругать иностранцев; потом рассказал о том, как вошел в город Монтеро и о чем нынче толкует народ. Все бедные теперь разбогатеют. И это очень хорошо. На этом сведения его иссякли, и, умильно улыбаясь, он намекнул, что голоден и хочет пить. Старик-майор отправил

---

[145] Примечания: 145
«Хорошо!» *(исп.)*

его к алькальду Первого поселка. Когда всадник двинулся туда, дон Пепе неторопливо зашагал к небольшой деревянной часовне и, приблизившись к дому священника, заглянул через живую изгородь в крошечный садик, где увидел падре Романа в белом гамаке, подвешенном между двумя апельсиновыми деревьями.

Сложенный из бревен домишко священника приютился в тени огромного развесистого тамаринда. Молоденькая индианка с длинными волосами, большими глазами и маленькими руками и ногами вынесла из дома деревянный стул, а с веранды за ней наблюдала тощая сердитая старуха.

Дон Пепе сел на стул и закурил сигару; священник же втянул из горсти огромную понюшку табаку. На его осунувшемся и усталом, кирпично смуглом лице, словно два черных бриллианта, поблескивали живые, добрые глаза.

Благодушно, даже посмеиваясь, дон Пепе сообщил отцу Роману, что Педрито Монтеро через посредство сеньора Фуэнтеса прислал ему запрос о том, на каких условиях согласен он передать рудники в ведение комиссии, которая создана на законном основании из патриотически мыслящих граждан и вскоре прибудет в сопровождении

вооруженного отряда. Священник возвел очи к небесам. «Впрочем, — продолжал дон Пепе, — парень, который привез письмо, говорит, что Гулд жив и его пока не трогают».



Священник выразил в нескольких кратких словах благодарность, услышав, что сеньор администрадор в безопасности.

Миновал час молитвы, о чем оповестил серебристый звон колоколов в часовне. Солнце близилось к горизонту, и на поселок наползала тень густого леса, который, словно ширма, отделял хижины шахтеров от расстилавшейся к западу от Сан-Томе равнины. А с восточной стороны ущелья между стенами базальта и гранита круто поднимался освещенный от подножья до вершины лесистый склон, полностью заслонявший от обитателей поселка скалистые горные цепи. В безбрежной синеве недвижно стояли три маленьких розовых облачка. Между двумя рядами плетеных мазанок кучками сбился народ. Перед хижиной алькальда десятники ночной смены, уже собравшие своих людей, на корточках кружком сидели на земле и, наклоняя головы в кожаных шапочках, блестя обнаженными, смуглыми, как бронза, спинами, передавали друг другу тыквенную бутылку мате[146].

Верховой из Сулако привязал лошадь к столбу у двери и рассказывал городские новости,

---

[146] Примечания: 146
Парагвайский чай *(исп.)*.

провожая взглядом закопченную черную бутыль, которая переходила из рук в руки. Сам суровый алькальд в белой набедренной повязке, распахнув на груди пестрое ситцевое одеяние с длинными рукавами, напоминающее купальный халат, и сдвинув на затылок кустарной выделки бобровую шапку, стоял тут же, сжимая в могучей руке палку с серебряным набалдашником. Эти знаки его достоинства были дарованы ему администрацией рудников Сан-Томе, олицетворяющих собою почет, преуспеяние, мир. Он был одним из первых переселенцев, явившихся в долину; его сыновья и зятья работали в шахте, и всем им казалось, что драгоценная руда, с грохотом катившаяся по желобам, послана свыше, дабы вознаградить их труд благоденствием, справедливостью и чувством надежности.

Алькальд слушал городские новости как нечто любопытное, но не имеющее к нему касательства. У него для этого были основания. За несколько лет в сознании этих запуганных полудиких индейцев возникло убеждение, что они находятся под покровительством могущественной корпорации. Они гордились рудниками и были привязаны к ним. Здесь зародилось в этих людях ощущение уверенности, и здесь оно окрепло.

Будучи невежественными и ничем существенно не отличаясь от остальной части человечества, как известно, склонной наделять сверхъестественной силой творения собственных рук, эти полудикари считали, что рудники Сан-Томе всемогущи и способны защитить их от любых напастей. Алькальду даже в голову не приходило, что рудники могут утратить свою силу. Пусть себе горожане и жители Кампо занимаются политикой. Желтое, круглое, с широкими ноздрями, невозмутимое лицо алькальда напоминало полную луну. Возбужденный рассказ горожанина не вызывал в нем ни удивления, ни опасений — не вызывал, пожалуй, вообще никаких чувств.

Отец Роман сидел и уныло покачивался в гамаке, держась за его края и слегка отталкиваясь от земли ногами. Такой же невежественный, как его прихожане, но не обладавший их непоколебимой уверенностью, он уже расспросил старика-майора, что, по его мнению, может произойти.

Дон Пепе, который восседал на стуле, прямой, как палка, степенно опираясь о рукоятку сабли, поставленной между колен, отвечал, что этого не знает. Рудники способны защищаться от любых военных сил, посланных, чтобы завладеть ими. Но, с другой стороны, надо помнить, что распо-

ложены они в безводной местности, и, если их отрежут от Кампо, откуда регулярно поступает продовольствие, население трех поселков начнет голодать и будет вынуждено покориться. Дон Пепе с безмятежным видом изложил все эти соображения отцу Роману, который, будучи старым воякой, мог оценить рассуждения военного человека.

Разговаривали они просто и прямо. Отца Романа печалило, что его паства рассеется по белу свету или окажется под пятой угнетателя. Он не питал по поводу их судьбы никаких иллюзий, и скептицизм его не являлся плодом раздумий, а был результатом многолетнего опыта, который говорил ему, что в жизни государства всегда властвует жестокая сила. Последствия деятельности любых общественных институтов отчетливо представлялись ему в виде череды всевозможных прискорбных событий, постигающих отдельную личность и рожденных ненавистью, мстительностью, невежеством и алчностью, словно само провидение обрекло на эти горести людей. Прозорливость отца Романа порождена была его природным умом; а душа его, сохранившая всю свою нежность среди грабежей, резни и насилия, содрогалась в ожидании грядущих

бедствий тем сильней, чем ближе были ему жертвы этих бедствий. Он относился к индейцам, живущим в рудничных поселках, как к малым детям. Он женил их, крестил, исповедовал, отпускал грехи, хоронил с душевной полнотою и достоинством уже более пяти лет: он верил в святость отправляемых им обрядов и чувствовал себя ответственным за этих людей.

Сердцу пастыря они были особенно дороги. А искренний интерес к их делам, проявляемый миссис Гулд, побуждал священника относиться к ним еще внимательнее. Он оживленно обсуждал с ней, чем помочь бесчисленным Мариям и Бригидам из трех поселков, и, заражаясь ее горячностью, ощущал, как возрастает и его человеколюбие. Отец Роман был настолько чужд фанатизма, что это могло даже показаться предосудительным. Английская сеньора несомненно еретичка; в то же время она чудесная и замечательная, просто ангел. Разгуливая с требником под мышкой в тени тамаринда и внезапно ощутив, что на него в очередной раз нахлынули эти противоречивые чувства, он обычно останавливался, шумно втягивал в себя огромную понюшку табаку и глубокомысленно покачивал головой. Мысль о том, что может вскоре приключиться с

этой достойнейшей сеньорой, его ужаснула. Он высказал свои опасения вслух, и тут даже дон Пепе на мгновение утратил безмятежность и взволнованно наклонился вперед:

— Вот что я скажу вам, падре. Уже хотя бы потому, что эти жулики из Сулако пытаются выяснить, за какую цену продается моя честь, можно заключить, что сеньор дон Карлос и все, кто живет в Каса-Гулд, живы и находятся в безопасности. За мою честь можно тоже не опасаться, о чем вам может сообщить любой, кого ни спросите, будь то мужчина, женщина или ребенок. Этого не знают только так называемые либералы, которые застали нас сейчас врасплох и захватили город. Bueno. Пусть их посидят и подождут. Пока ждут, хотя бы вреда не сделают.

К нему снова вернулось спокойствие. Оно вернулось к нему с легкостью, поскольку не подвергалась опасности его честь, честь старого офицера, сражавшегося под знаменами Паэса. Он обещал Чарлзу Гулду, что, если к Сан-Томе приблизятся войска, он будет оборонять ущелье до тех пор, пока не успеет основательно разрушить шахту, все помещения и мастерские, повсюду заложив огромные заряды динамита; засыплет обломками главную штольню, сломает

все мостки, приведет в негодность плотину, на которой установлен двигатель, — одним словом, разнесет вдребезги знаменитую концессию Гулда так, что весь мир ужаснется. Чарлз Гулд решился на этот отчаянный шаг потому, что рудники им завладели всецело, точно так же как когда-то его отцом. Впрочем, дону Пепе его решимость представлялась вполне естественной. И он серьезно принялся за дело. Все было подготовлено самым тщательным образом. А теперь дон Пепе мирно сложил руки на рукоятке сабли и кивал священнику головой. Взволнованный падре Роман горстями подносил к лицу табак; весь обсыпанный табачными крошками, он выпрыгнул из гамака и расхаживал взад и вперед, что-то приговаривая.

Дон Пепе поглаживал свои седые усы, заостренные кончики которых свисали много ниже подбородка, и рассуждал с достоинством человека, гордящегося своим добрым именем.

— Итак, падре, я не знаю, что случится. Но я знаю, что, пока я здесь, дон Карлос может вести переговоры с этой макакой Педрито, грозить ему разрушить шахту и твердо быть уверенным: к его угрозам отнесутся серьезно. Ведь меня все знают.

Он стал покусывать сигару — несколько нер-

возно — и продолжал:

— Но все это только разговоры… годные для políticos[147]. А я военный человек. Мало ли что может произойти. Зато я знаю, что нужно сделать: поднять все рудники и повести людей походом на город — с ружьями, с топорами, с ножами, привязанными к палкам… por Dios. Вот что нужно сделать. Но…

Его сложенные на рукоятке сабли руки дрогнули. Зажатая в зубах сигара задвигалась быстрей.

— Кто их поведет, если не я? К сожалению… да, к сожалению, заметьте, я дал дону Карлосу слово, что рудники ни в коем случае не попадут в руки к этому жулью. А на войне — и вам это известно, падре, — исход битвы никогда нельзя предугадать, и кого мне здесь вместо себя оставить на тот случай, если мы потерпим поражение? Я все подготовил, рудники можно взрывать. Но для этого понадобится человек благородный и честный, разумный, осмотрительный, мужественный — только такой сумеет довести все до конца. Человек, которому я смело мог бы доверять, как доверяю самому себе. Например, такой же, как и я, старый офицер, служивший у Паэса. Или…

---

[147] Примечания: 147

Здесь: болтун, говорун, любитель пооораторствовать *(исп.).*

м-м... ну, скажем, мог бы подойти капеллан, служивший у Паэса.

Он встал, высокий, сухощавый, с большими офицерскими усами на худом лице, и взгляд его запавших глаз, казалось, вонзался в священника, который замер с перевернутой пустой табакеркой в руке и в ответ лишь безмолвно взирал на дона Пепе.

Глава VII

Примерно в это время в ратуше Сулако Чарлз Гулд, которого вызвал Педрито Монтеро, уверял последнего, что ни в коем случае не передаст рудники правительству, поскольку оно в свое время отняло их у него посредством грабежа. Возродить заново концессию Гулда было практически невозможно. Отец его этого не хотел. А сын не собирается ее отдавать. Во всяком случае, живым он ее не отдаст. Если же он будет мертв, где та сила, которая способна оживить такое предприятие во всем могуществе, восстановить из пепла и руин? Такой силы в стране нет. И найдется ли у них искусный и умелый управитель и владелец капиталов за границей, который захотел бы вдохнуть жизнь в этот неблагодарный труд? Чарлз

Гулд говорил бесстрастным тоном, уже много лет помогавшим ему скрывать презрение и гнев. Он мучился. Он был сам себе отвратителен. Вести такие разговоры мог только романтический герой. Его суровый практицизм вступил в разлад с почти мистическим отношением к долгу.

Концессия Гулда — символ абстрактной справедливости. Но благодаря всемирной славе рудников его угроза приобрела весомость, вполне достаточную для того, чтобы ее смог оценить даже недоразвитый интеллект Педро Монтеро, взращенный главным образом на легковесных исторических анекдотах. Концессия Гулда играет серьезную роль в бюджете государства и, что еще важней, в личных бюджетах многих чиновников. Концессия Гулда традиционна. О ней все знают. О ней все говорят. Она надежна. Все министры внутренних дел получают жалованье из доходов рудников Сан-Томе. Это естественно. А Педрито собирался стать министром внутренних дел и президентом Государственного совета в правительстве своего брата. В эпоху Второй Французской империи дюк де Морни занимал эти высокие посты с немалой выгодой для себя.

Его превосходительству Педрито были доставлены стол, стул и деревянная кровать, и

он, немного отдохнув, — а это было абсолютно необходимо после торжественного прибытия в Сулако, отнявшего у него так много сил, — приступил к управлению провинцией, то есть начал распределять должности, отдавать приказы и подписывать воззвания. Оставшись с глазу на глаз с Чарлзом Гулдом в приемной, его превосходительство со свойственным ему искусством сумел скрыть свое раздражение и страх. Поначалу он высокомерно заговорил о конфискации, однако полное отсутствие ожидаемых эмоций на лице сеньора администрадора неблагоприятным образом сказалось на самообладании его превосходительства.

Чарлз только повторял: «Правительство, если ему угодно, разумеется, может добиться уничтожения рудников; однако без моей помощи ничего другого оно добиться не сможет». Заявление, способное внушить тревогу и уязвить в самое сердце политического деятеля, более всего мечтающего о трофеях. А кроме того, Чарлз сказал, что разрушение рудников Сан-Томе повлечет за собою гибель других предприятий, изъятие европейского капитала и, вероятно, прекращение выплат, получаемых страной по займу. Этот изверг — камень, а не человек! — сообщил все

эти новости (вполне доступные пониманию его превосходительства) так хладнокровно, что того бросило в дрожь.

Чтение великого множества исторических романов, пустых и легковесных, которые Педрито поглощал в мансардах парижских гостиниц, лежа на неприбранной кровати и в ущерб своим прямым обязанностям — лакейским либо каким-то еще, оставило свой след в его сознании. Если бы ратуша сохранила свое былое великолепие и на окнах и дверях висели бы роскошные портьеры, а вдоль стен стояла позолоченная мебель; если бы он сидел сейчас на возвышении, а его ноги попирали бы красный пушистый ковер, ощущение собственного величия и удачливости, возможно, сделало бы его опасным. Но в этом разграбленном здании, где посреди огромного зала стояло его убогое ложе, им овладело чувство неуверенности и неустойчивости, которое помешало разыграться его воображению. Это чувство, а также твердость Чарлза, который так ни разу и не произнес слова «превосходительство», унизили Педрито в собственных глазах. Он принял тон просвещенного светского человека и стал заклинать Чарлза ни в коем случае не беспокоиться. Ведь он беседует сейчас — напомнил ему

Педрито — с родным братом хозяина этой страны, человека, которому доверено ее преобразование. С братом хозяина этой страны — повторил он, — с его единомышленником. Монтеро-старший, великий герой, мудрый и любящий родину, не допускает даже мысли о каких-либо разрушениях.

— Я умоляю вас, дон Карлос, не поддаваться вашим антидемократическим предрассудкам, — восклицал он патетически.

Педро Монтеро с первого взгляда производил сильное впечатление огромным лбом, переходящим в лысину, окаймленную тусклыми угольно-черными кудряшками, изящными очертаниями рта и неожиданным для собеседника хорошо поставленным голосом. Но его глаза, очень блестящие и словно только что нарисованные по обе стороны крючковатого носа, были круглыми, как у птицы, и таращил их Педрито растерянно, тоже по-птичьи. Правда, сейчас он их сощурил, задрал квадратный подбородок кверху, а разговаривал сквозь сжатые зубы и немного в нос, точь-в-точь так, как, по его мнению, полагалось большому барину.

И вот тут-то он неожиданно заявил, что высшим проявлением демократии является автократия: государственная власть, основанная на прямом,

всенародном голосовании. Автократия консервативна. Она сильна. Она признает законные нужды демократии, требующей титулов, орденов и знаков отличия. Люди заслуженные будут щедро награждены. Автократия — это мир. Она прогрессивна. Она обеспечит благосостояние страны. Педрито Монтеро несло и несло. Вспомните, что сделала для Франции Вторая империя.

Люди такого склада, как дон Карлос, были осыпаны почестями при этом режиме. Вторая империя пала, но это случилось потому, что глава ее не обладал военными талантами, в отличие от генерала Монтеро, чей стратегический гений вознес его на вершину славы. Педрито вздернул руку вверх, показывая, где пребывают слава и вершина. «Мы будем разговаривать еще не раз. Мы с вами полностью поймем друг друга, дон Карлос!» Республиканцы сделали свое дело. Будущее за государственной демократией. Педрито многозначительно понизил голос. Человек, которого сограждане наделили почетным прозвищем «король Сулако», непременно будет в полной мере оценен государственной демократией как великий руководитель промышленности, как персона, к слову которой все прислушиваются, и кличку, данную народом, вскоре заменит более

солидный титул. «А, дон Карлос? Что вы скажете на это? Граф Сулако… э?.. или маркиз?»

Он замолчал. По Пласе, где уже веяло прохладой, разъезжал кавалерийский патруль, совершая круг за кругом и не отклоняясь в улицы, оглашаемые криками и звоном гитар, которые доносились из раскрытых дверей кабачков. Был отдан приказ не мешать народу развлекаться. Над крышами домов, над вертикальными линиями соборных башен белела снежная глава Игуэроты на темном фоне вечереющего неба. После паузы Педрито Монтеро сунул руку за борт пиджака и с достоинством склонил голову. Аудиенция окончилась.

Чарлз, выйдя из приемной, потирал ладонью лоб, словно стараясь разогнать остатки тяжелого сна, чудовищная нелепость которого гнетет сильней, чем ощущение физической опасности. По коридорам и лестницам старинного дворца слонялись солдаты Монтеро, смотрели нагло, курили и никому не уступали дороги; по всей ратуше разносился звон сабель и шпор. В главном коридоре в молчаливом ожидании стояли три группы одетых в строгие черные костюмы штатских, имеющих торжественный, беспомощный и немного растерянный вид, причем каждая

группа держалась в стороне от двух других, будто стремилась исполнить свой гражданский долг так, чтобы этого никто на свете не заметил. Это были депутации, дожидавшиеся аудиенции.

В толпе депутатов Генеральной ассамблеи, члены которой переговаривались между собой более возбужденно и беспокойно, чем прочие, приковывало к себе внимание лицо дона Хусте Лопеса, белое и мягкое, щекастое, с набрякшими веками и непроницаемо мрачное, как грозовая туча. Президент Генеральной ассамблеи, мужественно явившийся сюда спасать последние крохи парламентских институтов (на английский образец), отвел взгляд от управляющего рудниками Сан-Томе, таким образом с молчаливым достоинством выразив, что укоряет его за недостаток доверия к спасительному воздействию этих институтов.

Упрек не нарушил душевного спокойствия Чарлза; но ему было больно видеть, как остальные без всякого упрека устремили взгляды на его лицо, словно стремясь прочесть на нем свою судьбу. В свое время они разглагольствовали, кричали, произносили цветистые монологи в большой гостиной Каса-Гулд. Он ничем не выразил сочувствия этим людям, так низко павшим, так много суетившимся и таким беспомощным сейчас. Его мучило сознание, что и он творил зло вместе с ними. Он шел по площади, его никто не останавливал. Клуб «Амарилья» был полон развеселых оборванцев. Их нечесаные головы высовывались из каждого окна, а из комнат доносились пьяные выкрики, топот ног и пение струн. Внизу вся улица была усыпана разбитыми бутылками. Когда Чарлз добрался до дому, он обнаружил, что доктор еще не ушел.

Доктор Монигэм отошел от окна, откуда он смотрел на улицу сквозь щелку в шторах.

— А! Вернулись наконец, — сказал он с облегчением. — Я тут всячески убеждал миссис Гулд, что вы в полной безопасности, но отнюдь не был уверен, что этот малый выпустит вас.

— Я тоже, — признался Чарлз, кладя на стол шляпу.

— Вам пришлось бы тогда принять решительные меры.

Чарлз не стал возражать. Ему и в самом деле ничего другого не оставалось бы, и своим молчанием он это подтвердил. Он не привык высказывать свои намерения более открыто.

— Надеюсь, вы ничего не говорили Монтеро о том, что собираетесь делать? — тревожно спросил доктор.

— Я попытался растолковать ему, что существование рудников и моя личная безопасность тесно связаны между собой, — ответил Чарлз, не глядя на доктора, а устремив внимательный взгляд на висящую на стене акварель.

— Он вам поверил? — поинтересовался доктор.

— Бог его знает, — отозвался Чарлз. — Если бы не жена, я не сказал бы и этого. Он достаточно осведомлен. Он знает, что представляет собой дон Пепе. Фуэнтес не мог ему не рассказать. Они знают, что старый майор, не задумываясь, взорвет рудники без всяких сожалений и укоров совести. Если бы они этого не знали, меня не выпустили бы сейчас из ратуши. Дон Пепе вдребезги разнесет рудники, во-первых, потому, что он мне предан, а во-вторых, он их ненавидит… этих «либералов», как они себя называют. Либералы! В этой стране

самые обычные слова приобретают кошмарный смысл. Свобода, демократия, патриотизм, правительство… в каждом из них отзвук безумия и убийства. Верно, доктор?.. Никто, кроме меня, не сумеет удержать дона Пепе. Если они со мной… расправятся, его никто не остановит.

— Вероятно, они попытаются его обработать, — задумчиво предположил доктор.

— Весьма возможно. — Чарлз говорил очень тихо, словно рассуждая сам с собой, и по-прежнему рассматривал эскиз с изображением ущелья Сан-Томе. — Да, я думаю, попытаются. — Он наконец оторвал взгляд от картины и посмотрел на доктора. — Это даст мне лишнее время, — добавил он.

— Вот именно, — подхватил доктор Монигэм, стараясь подавить свое волнение. — В особенности если дон Пепе проявит дипломатичность. Скажем, подал бы им хотя бы некоторую надежду на успех. Что вы скажете? Иначе он не выиграет много времени. Нельзя ли, например, дать ему инструкции…

Чарлз, пристально глядя на доктора, покачал головой, но доктор даже с некоторой горячностью продолжал его убеждать:

— Да, да, хорошо бы ему приказать не отказываться наотрез, а вступить с ними в переговоры.

Недурная мысль. Вы тем временем как следует обдумаете свой план. Я, разумеется, не спрашиваю, в чем он заключается. Я не хочу этого знать. И не стану вас слушать, даже если бы вы вздумали рассказать мне о нем. Я не заслуживаю доверия.

— Какая чушь! — сердито буркнул Чарлз.

Повышенная чувствительность доктора к этому давно миновавшему эпизоду его жизни вызывала неодобрение Чарлза. Нельзя же помнить о нем столько лет. В этом есть что-то патологическое. Он опять покачал головой. Ему было бы неприятно давать такого рода поручения прямодушному дону Пепе. А кроме того, этого не позволяли обстоятельства. Инструкции надо через кого-то переслать. Либо в устном, либо в письменном виде. А их могут перехватить. Нет никакой уверенности, что посланный им человек доберется до рудников. Да и послать некого. У Чарлза чуть было не сорвалось с языка, что с некоторой надеждой на успех поручить это можно было только покойному капатасу каргадоров. С некоторой надеждой на успех и с некоторым доверием. Но он этого не сказал. Он сказал, что поступать так неблагоразумно. Если эти субъекты заподозрят, что дона Пепе можно подкупить, личная безопасность управляющего рудниками,

а также личная безопасность его друзей окажутся под угрозой. Монтеристам тогда незачем будет себя сдерживать. Неподкупность дона Пепе их сейчас обуздывает, что весьма существенно. Доктор уныло опустил голову и вынужден был согласиться, что его собеседник, в общем-то, прав.

Чарлз рассуждал логично, он не мог этого отрицать. Дон Пепе служит им защитой именно благодаря тому, что у него незапятнанная репутация. «А сам я, — с горечью подумал доктор, — могу им послужить защитой, используя *свою* репутацию». И он сказал Чарлзу, что знает, как помешать Сотильо соединиться с Монтеро, во всяком случае в ближайшее время.

— Если бы серебро было здесь, — сказал доктор, — или хотя бы просто стало известно, что оно находится на рудниках, вы могли бы подкупить Сотильо, и он тотчас позабыл бы свой недавно приобретенный монтеризм. Он уплыл бы тогда на своем пароходе или, может быть, даже присоединился к вам.

— Вот уж чего не нужно, — решительно отказался Чарлз. — Как прикажете поступать с этим фруктом в дальнейшем? Серебра здесь нет, и я этому рад. Оно могло бы оказаться очень сильным искушением. Эти разбойники пошли бы на

что угодно, если бы такое богатство маячило у них перед глазами, и кончилось бы все это прескверно. Мне ведь тоже пришлось бы его защищать. Я рад, что мы увезли серебро… даже если оно погибло. Иначе мы вступили бы в опасную игру.

— Он, возможно, прав, — говорил доктор миссис Гулд, которую часом позже встретил в галерее. — Дело сделано, а призрак сокровища вполне может сыграть такую же роль, как само серебро. Позвольте послужить вам в полной мере моей скверной репутацией. Я затею с Сотильо игру в предательство и отведу его от вас.

Она с горячностью протянула к нему руки.

— Доктор Монигэм, вы подвергаете себя страшной опасности, — прошептала она, глядя на него со слезами, потом быстро оглянулась на дверь, ведущую в комнату мужа. Она сжала обе его руки, и доктор словно к полу прирос — лишь смотрел на нее, судорожно пытаясь улыбнуться.

— О, я знаю, вы оградите от клеветы добрую память обо мне, — проговорил он наконец и, ковыляя, опрометью бросился вниз по ступенькам, через внутренний дворик и прочь из дома. Он и на улице, держа под мышкой чемоданчик с инструментами, продолжал шагать столь же

быстро. Все знали, что он loco[148]. Никто его не остановил. Он дошел до ворот, которые вели в сторону моря, увидел выжженную солнцем землю, чахлые кустики, пыль, сушь, а вдали — уродливую громаду таможни и еще два-три здания — так выглядел в те времена порт города Сулако. Где-то далеко вдали зеленели пальмовые рощи. Острые вершины Кордильер утратили свои отчетливые очертания и постепенно сливались с темнеющим небом. Доктор шел очень быстро. Внезапно на него упала густая тень. Солнце село. Снега Игуэроты еще мерцали некоторое время в темноте. Доктор стремительно шагал к таможне и был похож на прыгающую среди темных кустов высокую птицу со сломанным крылом.

В чистых водах гавани, как в зеркале, отражались золото и пурпур. Длинный клин Асуэры, отвесный, как стена, с поросшими травою руинами старого форта, скрывал от глаз остальную часть залива; но дальше, за пределами Гольфо-Пласидо краски заката были еще великолепнее, так, что дух захватывало. Над заливом уже скапливались облака, их пронизывали красные отблески, и изогнутые черные и серые складки

[148] Примечания: 148
Сумасшедший *(исп.).*

тумана были похожи на испачканный кровью, развевающийся плащ. На горизонте четко вырисовывались Изабеллы, словно три повисших в воздухе пурпурно-черных пятна. На берег набегали небольшие волны и, казалось, разбрасывали по песку красные искры. А там, где море сливалось с небом, высокие, большие волны сверкали, будто красное стекло, и чудилось: в огромной чаше океана вода перемешалась с огнем.

Но пламень, бушевавший в небе и на море, в конце концов погас. Исчезли и красные искры в воде, и кровавые пятна на черной мантии, окутавшей залив; внезапный порыв ветра прошелестел в кустах на обвалившихся земляных укреплениях форта и замер. Ностромо, проспавший прямо на земле четырнадцать часов подряд, пробудился, встал и выпрямился во весь рост. Он стоял по колено в высокой траве, которая волнами разбегалась во все стороны, и вид у него был такой, словно он только что родился на свет. Красивый, сильный, гибкий, он запрокинул голову, раскинул руки, неторопливо потянулся и зевнул, обнажив белоснежные зубы, в этот миг пробуждения так глубоко чуждый всякому притворству и злу, как дикий зверь, великолепный в своей естественности. Затем брови его нахмури-

лись, устремленный в пространство взгляд стал сосредоточен — в нем проглянул человек.

Глава VIII

Доплыв до берега, Ностромо взобрался на центральную площадку старого форта и там среди обломков стен и гнилых остатков изгородей и крыш лег в траву прямо в мокрой одежде и проспал весь день. Он мирно спал в своем укромном логове, буйно заросшем высокой травой, вклинившемся между овалом гавани и полукругом залива, спал, когда на него падала тень горного хребта, спал, когда его заливало ослепительным белым светом солнца. Лежал как мертвый. Гриф, казавшийся черной точкой в синеве, описывал круги с осторожностью, пугающей в такой огромной птице. Тень от его перламутрово-белого тела, светлых с черными концами крыльев пронеслась по траве так же бесшумно, как бесшумно он сел на кучку мусора в трех ярдах от человека, лежавшего неподвижно, как труп. Птица вытянула голую шею, повернула лысую голову, омерзительная в своем великолепном пестром наряде, и с жадным любопытством принялась смотреть на заманчиво неподвижное тело. Потом, упрятав

голову в мягкие перья, стала ждать. Первое, что, проснувшись, увидел Ностромо, была птица, терпеливо выжидавшая, когда на его коже появятся признаки разложения. Когда он поднялся, птица отпрыгнула вбок, потом еще, еще, косыми длинными скачками. Подождала, угрюмо, неохотно, пока он не встал, затем бесшумно поплыла по воздуху, зловеще свесив когтистые лапы.

Она давно уже исчезла, когда Ностромо, подняв вверх глаза, буркнул: «Я еще не умер».

Капатас судакских каргадоров жил, окруженный славой и известностью до тех пор, пока не принял на себя управление груженным серебряными слитками баркасом.

До отплытия из порта он оставался самим собой, и последний поступок, совершенный им в Сулако, находился в полном соответствии с тщеславием его натуры. Он отдал свой последний четвертак старухе, которую встретил под аркой городских ворот, где она причитала, утомленная бесплодными поисками сына. И хотя при этом никто не присутствовал, тем не менее поступок был совершенно в его духе — великолепный жест, рассчитанный на публику. Совсем иначе он чувствовал себя сейчас, проснувшись в одиночестве среди развалин форта и встретив на-

стороженный взгляд хищной птицы. Его первое ощущение было смутным, но он почувствовал именно это — все не так, как должно быть. Казалось, жизни наступил конец. И в то же время нужно было продолжать жить дальше, и, как он ни пытался отогнать от себя эту мысль, она начала его мучить, едва лишь он пришел в сознание: ему казалось, что все прошедшие годы прожиты глупо и бессмысленно и похожи на приятный сон, которому, как и положено, пришел конец.

Он взобрался на полуразрушенный крепостной вал и, раздвинув ветки кустов, стал разглядывать гавань. Он увидел водную гладь, окрашенную последним отблеском заката, два стоящих на якоре судна и пришвартовавшийся к причалу пароход, на котором приехал Сотильо. За длинным светлым зданием таможни тянулся город, он напоминал густой темный лесок среди равнины — ворота на опушке, окруженные деревьями башни, застекленные балконы, купола, и все это окутано тьмою, словно уже наступила ночь. И при мысли о том, что он больше не сможет верхом проехать по улицам этого города, где его будут узнавать и старый и малый, как он ездил, бывало, каждый вечер сыграть в монте в таверне мексиканца Доминго; что не сидеть ему больше

на почетном месте, слушая певцов и глядя на танцоров, город показался ему призрачным.

Долго-долго смотрел он туда, затем выпустил из рук ветки и, перейдя на другую сторону форта, окинул взглядом гладь залива. Красная ленточка заката становилась все у́же, на ней чернели Изабеллы, и капатас подумал о Декуде, который бродит сейчас в одиночестве по острову и охраняет серебро. «Он один-единственный тревожится о том, схватят ли меня монтеристы, — с горечью подумал капатас. — Да и он ведь вспоминает обо мне главным образом лишь оттого, что боится за себя. Остальные просто ничего не знают и ни о чем не беспокоятся. Верно говорил ему когда-то Джорджо Виола. Короли, министры, аристократы и вообще все богачи угнетают народ и держат его в бедности; держат, как собак: хотят, чтобы народ за них дрался и для них охотился».



Темная пелена ночи окутала горизонт, поглотила залив, островки и возлюбленного Антонии, оберегающего сокровище на Большой Изабелле. Капатас повернулся спиной к горизонту, и к Иза-

беллам, и ко всему остальному, существующему, но невидимому, и уткнулся лицом в кулаки. Впервые в жизни он почувствовал себя нищим. Проиграться в монте в пух и прах в низкой и прокуренной таверне Доминго, где по вечерам вели картежную игру, пели и плясали каргадоры; вывернуть на глазах у восхищенных зрителей карманы и в порыве блистательного великодушия отдать все до гроша первой встречной девице, до которой ему нет дела, — во всем этом не ощущалось унизительного привкуса подлинной нищеты. Он был славен, знаменит, а значит, и богат. И лишь сейчас, когда его уже не будут радостными криками приветствовать на улицах и курить ему в тавернах фимиам, этот матрос почувствовал, что он и в самом деле нищий.

У него пересохло во рту от тяжелого сна, тревожных мыслей. Еще ни разу в жизни у него не бывало так сухо во рту. Пожалуй, можно сказать, что Ностромо, так сильно жаждавший почестей и славы, с аппетитом вонзил зубы в вожделенный плод и ощутил вкус пепла и пыли. Не поднимая головы, он смачно сплюнул и выругался — такую злобу вызывало в нем бессердечие богачей.

И коль скоро он потерпел крах в Сулако (а он проснулся с ощущением, что дело обстоит именно

так), у него возникло желание навсегда покинуть эту страну. И словно новый сон начинал ему сниться: ласковое море, крутые берега, темные сосны на холмах, ярко-синее небо и белые домики у горизонта. Он видел набережные больших портов, фелуки, которые, раскинув, словно крылышки, треугольные паруса, бесшумно скользят к берегу между двух длинных молов, а те, словно руки, прижимают гавань и стоящие на якоре суда к пышному лону холма, где среди зелени белеют там и сям дворцы. Он вспоминал все это с нежностью, хотя в отрочестве именно на такой фелуке не раз бывал нещадно бит безбородым генуэзцем с короткой шеей, у которого всегда был настороженный и недоверчивый вид и который (как убежден был Ностромо) в свое время обокрал его, присвоив себе жалкое наследство сироты. Но милостями судьбы все дурное в нашем прошлом вспоминается нам туманно. И сейчас, когда он потерпел неудачу и сидел, одинокий, на берегу, ему казалось, что вернуться к прошлому не так уж страшно. Впрочем, что это он? Вернуться? С босыми ногами и непокрытой головой? Когда все его имущество состоит из клетчатой рубашки и пары бумажных брюк?

Знаменитый капатас, опершись о колени лок-

тями и уткнувшись подбородком в ладони, горько засмеялся и с омерзением сплюнул. Люди впечатлительные и одержимые всепоглощающей страстью, встретив непреодолимую преграду на своем пути, склонны предаваться отчаянию, и им кажется в таких случаях, что рухнул мир, что наступает смерть. Он был прост. Он, как дитя, мог оказаться во власти любой надежды, предрассудка, желания.

Хорошо зная Костагуану, он отлично понимал, в каком тяжелом положении оказался. Все было перед ним как на ладони. Он словно протрезвел после длительного опьянения. Он всегда был верным человеком, человеком чести и теперь должен из-за этого страдать. Это он уговорил каргадоров принять сторону «бланко»; он встречался с доном Хосе; при его помощи падре Корбелан вел переговоры с Эрнандесом; было известно, что дон Мартин Декуд часто болтает с ним по-приятельски в свободное от редакционных занятий время. Все это прежде ему льстило. А что он думал о политике? Да ничего. И кончилось все это — Ностромо здесь, Ностромо там… где Ностромо? Ностромо сумеет сделать и это, и то: весь день работать и весь день скакать — кончилось все тем, что он известен как рибьерист, и сейчас,

когда в городе хозяйничает партия Монтеро, тот же Гамачо может отомстить ему, как пожелает. Европейцы сдались, кабальеро сдались. Дон Мартин, правда, объяснял, что это только временно — он приведет к ним на помощь Барриоса. Где все это нынче, если дон Мартин (чья ироническая манера вести беседу всегда вызывала у капатаса смутное ощущение неловкости) прячется на Большой Изабелле? Все сдались. Даже дон Карлос. Чем иначе можно объяснить его приказ так поспешно увезти из порта серебро? У капатаса каргадоров, который все увидел теперь в новом свете, от ярости мутился разум, и весь мир представлялся ему лишенным мужества и чести. Его предали!

За спиной его лежало окутанное мглою море, безмолвное и неподвижное; впереди — острые пики Кордильер окружали смутно белевшую в темноте вершину Игуэроты… Ностромо снова рассмеялся, потом вскочил и замер. Нужно уходить. Но куда?

— Нет, все так и есть. Они и в самом деле держат нас на сворке и науськивают, будто мы собаки, чья обязанность охранять их и охотиться для них. Старик был прав, — сказал он с яростью и обидой. Он вспомнил, как старый Джорджо, вынув трубку

изо рта, произносил эти слова в своей харчевне, битком набитой паровозными машинистами и механиками из железнодорожных мастерских. Он вспомнил его отчетливо, и это помогло ему сосредоточиться. Он должен попытаться разыскать старика. Бог знает что могло с ним случиться! Он сделал несколько шагов, потом опять остановился и покачал головой. Слева и справа, впереди и сзади таинственно шуршали в темноте кусты.

— И Тереза была права, — добавил он вполголоса с внезапным ужасом.

«Что с ней — умерла она, обиженная и разгневанная, или еще жива», — подумал он со смешанным чувством раскаяния и надежды. И словно в ответ, перед лицом его с тихим шорохом пронеслась похожая на темный шар сова, чей жуткий крик: «Яа-акобо! Яа-акобо!.. всему конец, всему конец…» — по народному преданью, предвещает всяческие бедствия и смерть. И Ностромо, угнетенный, раздавленный тем, что в его мире все обрушилось, вздрогнул от испуга, вспомнив об этом зловещем поверье. Значит, Тереза в самом деле умерла. Только это и может означать крик совы. Да, все сходится, все верно, он и должен был сразу же по возвращении услышать этот крик. Он отказался привести священника к умирающей

и этим оскорбил какие-то невидимые силы, а сейчас он слышит голос этих сил. Тереза умерла. Удивительна способность человека связывать с собой все, что происходит в мире. Тереза была умная и здравомыслящая женщина. А несчастный старый Джорджо так растерян, так одинок и, вероятно, так нуждается сейчас в его совете. Он, наверное, на какое-то время даже разума лишился после смерти жены.

Что до капитана Митчелла, то Ностромо, как любой человек, облеченный доверием своего начальства, полагал, что образование, возможно, позволяет капитану подписывать в конторе бумаги и отдавать приказы, но пользы от него никакой, и вообще он, пожалуй, дурак. Он был вынужден чуть ли не ежедневно обводить вокруг пальца напыщенного и раздражительного старого моряка, и это сильно прискучило ему в последнее время. Поначалу это давало ему хотя бы внутреннее удовлетворение. Но необходимость постоянно преодолевать пустяковые, совсем ненужные препятствия утомительна для сильной личности, уверенной в себе. К кипучей деятельности патрона Ностромо относился с недоверием. Митчелл ровным счетом ничего не смыслит в делах. И едва ли, узнав, что случилось,

он сумеет сохранить это в тайне. Он скорей уж примется изобретать какие-нибудь фантастические планы. А Ностромо опасался взвалить на себя нелегкую заботу — постоянно обуздывать неразумного и суетливого старика. Он неосмотрителен. Он все разболтает, все выдаст, всех предаст. А сокровище необходимо оградить от предательства.

Предательство! Это слово застряло в его мозгу. Он с жадностью ухватился за столь простое и ясное объяснение тех ошеломляющих перемен, которые произошли в его судьбе, и поразительного легкомыслия людей, которые с такой бездумностью лишили его возможности жить, как прежде. Человек, которого предали, уничтожен. Синьора Тереза (да примет Господь ее душу!) была совершенно права. О нем никто не думал. Он уничтожен! Он вспомнил, как она, сгорбившись, сидела на постели, ее распущенные черные волосы, обращенное к нему страдальческое лицо; и произнесенные ею гневные слова обличения представлялись ему сейчас величественными, вдохновенными и осененными тенью приближающейся смерти. Ведь не зря же зловещая птица так жалобно крикнула, пролетая у него над головой. Она мертва… Прими, Господи, ее душу!

Настроенный вольнодумно и антиклерикально, как большинство его современников, он произносил эти благочестивые слова машинально, но с глубокой искренностью. Народ не склонен к скептицизму; эта черта простого человека — причина того, что народ так легко поддается уловкам мошенников либо делается жертвой беспощадного энтузиазма политических вождей, вдохновленных мечтами о своей великой миссии. Тереза умерла. Но согласится ли Бог принять ее душу? Она умерла без исповеди и отпущения грехов, потому что он не соизволил уделить ей лишнюю минуту. Он, как и прежде, презирал священников; но ведь нельзя же знать наверняка, правда ли то, что они утверждают. В таких понятиях, как «сила», «наказание», «прощение», нет фальши — они просты и внушают доверие. Могущественный капатас каргадоров, лишившись некоторых простых ценностей, немаловажных для него, — восхищения женщин, преклонения мужчин, восторженного ропота, сопровождавшего каждый его шаг и поступок, — с готовностью взвалил себе на плечи бремя раскаянья и вины.

Продрогший, в тонкой рубахе и штанах, он с удовольствием прошелся босиком по теплому

песку. Он направлялся к порту. Окаймлявшая эту безлюдную часть гавани светлая полоска пляжа огибала узкой, длинной дугой полуостров и залив. Ностромо словно призрак стремительно скользил между сумрачными пальмовыми рощами, которые темнели слева от него, и простиравшейся по правую сторону неподвижной, как смерть, полосою воды. В окружающем его безлюдии и тишине он шагал с упрямой решимостью, шагал все быстрей, казалось, позабыв о том, что ему может что-то угрожать. В действительности же он знал, что в этой части залива ему не грозит никакая опасность. Единственным обитателем здешних краев был одинокий апатичный индеец, временами приезжавший в город продать корзину кокосовых орехов, которые он подбирал под растущими на берегу пальмами. Жилищем ему служил убогий шалаш, где он жил один, без жены, а на берегу лежало перевернутое вверх дном каноэ, и рядом с ним денно и нощно дымился костер, в который он подбрасывал хворост. Его жилье нетрудно было обойти стороной.

Ностромо впервые замедлил шаги, услышав лай собак на «ранчо» этого индейца. О собаках он совсем забыл. Он резко свернул в сторону, вошел в пальмовую рощу, и ему показалось, будто он

попал в огромный зал, наполненный стоящими в беспорядке колоннами, густая листва которых таинственно шелестела у него над головой. Он пересек рощу, вошел в ущелье и взобрался на обрывистую кручу, где не росли ни деревья, ни кусты.

Отсюда он увидел всю равнину между городом и гаванью, озаренную неярким светом звезд. Где-то вверху, в горах, лесная птица издавала странный звук, похожий на барабанный бой. А внизу, на побережье, за кокосовыми пальмами продолжали лаять собаки. Он не мог понять, что их так встревожило, и, вглядевшись, с удивлением обнаружил какие-то непонятные передвижения — казалось, равнина распалась на огромные прямоугольники, и они перемещаются и шевелятся. Эти движущиеся прямоугольники то возникали, то исчезали, но двигались они все время в одном направлении — от гавани; и в том, как они двигались, были последовательность, цель и определенный порядок. Внезапно его осенило. Да это пехотные части совершают под покровом ночи переход к подножью гор. Однако он так мало знал, что даже, поняв это, не стал раздумывать и теряться в догадках.

А равнина снова стала неподвижной. Он

спустился с обрыва и оказался на пустынном побережье между городом и гаванью. В темноте казалось, что расстилавшаяся перед ним земля бесконечна, и от этого он еще острей ощутил свое одиночество. Он пошел медленнее. Его никто не ждет; никто о нем не думает; ни один человек не дожидается и не желает его прихода. «Предали! Предали!» — бормотал он про себя. Он никому не нужен. Даже если бы он утонул сегодня ночью, никто не огорчился бы… «Пожалуй, кроме детей», — подумал он. Но девочек взяла к себе английская синьора, и они тоже перестали о нем вспоминать.

И он подумал, что, может быть, ему не следует идти прямо в Каса-Виола. Что ему там делать? Что его ожидает? Все в его жизни рухнуло, все до конца. Он готов даже признать справедливость желчных попреков Терезы. Он провинился перед ней, ему ведь было просто лень сходить для нее за священником. Неужели эти горькие укоры совести — последнее проклятие умирающей?

Тем временем, повинуясь своего рода инстинкту, он свернул влево и приближался сейчас к пристани и к порту. Перед ним внезапно вырос фасад таможни, большой и длинный, напоминающий стену фабрики. Никто его не окликнул,

а подойдя поближе, он увидел два освещенных окна. Это было уже совсем неожиданно.

В огромном покинутом людьми доме светятся всего два окна, словно там бодрствует в одиночестве некий таинственный страж. Вокруг пустынно, и это безлюдье буквально давит на тебя. Запахло дымом, он поднял вверх глаза и различил на фоне звездного неба реденькую пелену дыма. Ностромо осторожно подходил к таможне, напряженно вслушиваясь в тишину, и его оглушил пронзительный треск цикад. Мало-помалу, шаг за шагом он оказался в здании, в большом и мрачном зале, полном едкого дыма.

От костра, который развели у лестницы, осталась только груда пепла. Сделанные из очень твердого дерева ступеньки не сгорели — тлело лишь несколько нижних. Пробиваясь сквозь завесу дыма, на лестничную площадку второго этажа падал свет из открытой двери. Это и была та комната, освещенные окна которой он заметил, подходя к таможне. Ностромо поднялся вверх по лестнице и вдруг остановился: на стене комнаты он увидел чью-то тень. Это была тень невидимого ему человека, который стоял, опустив голову и сгорбив плечи. Капатас, вспомнив, что он не вооружен, отступил в сторону и замер в темном

углу, не спуская глаз с двери.

Огромная, разрушенная, но недостроенная таможня (над ней уже возвели крышу, но еще не сделали потолка) была наполнена дымом, струившимся по всему зданию, клубившимся в многочисленных высоких комнатах и похожих на амбары коридорах. Ветер раскачивал ставни, и одна из них с резким стуком ударилась о стену, будто кто-то, рассердившись, толкнул ее. По площадке лестницы прошелестел залетевший откуда-то кусок бумаги. А загадочный обитатель комнаты так и не появился в дверном проеме. Капатас дважды выходил из своего угла и вытягивал шею в надежде увидеть, чем занят этот человек. Но каждый раз он видел только тень склоненной головы и широких плеч. Человек, по всей вероятности, ничего не делал и не двигался с места — возможно, раздумывал о чем-то, а может быть, читал. Из комнаты не доносилось ни звука.

Капатас снова спрятался в углу. Интересно, кто там — какой-нибудь монтерист? Но показаться страшно. Он может объявиться здесь, на берегу, лишь через много дней, в противном случае, считал он, сокровище окажется в опасности. Тайна принадлежит ему, и просто невозможно, чтобы еще кто-нибудь в Сулако ее разгадал. Вот пройдет

хотя бы две недели, тогда другое дело. Кто тогда сумеет доказать, что он не добрался на своем баркасе до какого-нибудь порта за пределами республики и не вернулся оттуда сухопутным путем? Тайна мучила его, ему казалось, что вся его жизнь теперь должна быть с нею связана. Он даже на мгновенье оробел, стоя перед этой загадочной дверью. Да пропади он пропадом, тот человек! На кой дьявол ему нужно с ним встречаться? Увидит ли он знакомое или незнакомое лицо, все равно ни малейшего проку. Так зачем же он стоит здесь, как дурак, и понапрасну тратит время?

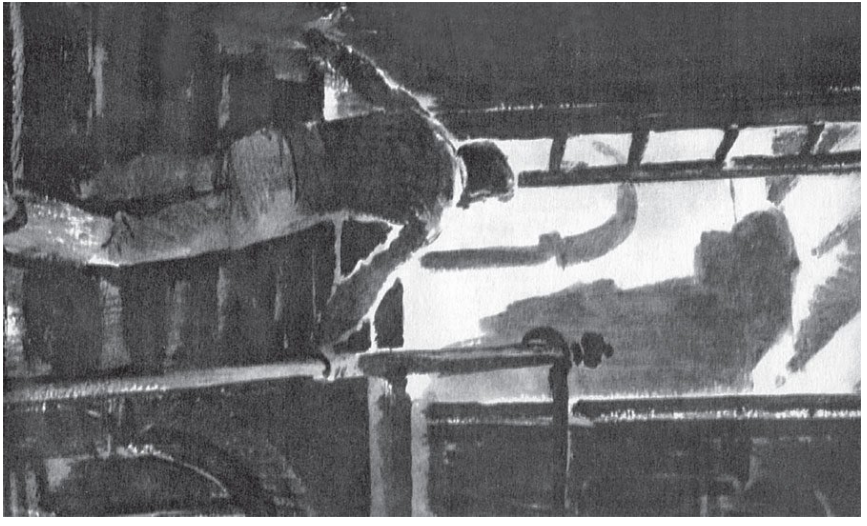
Через пять минут после того, как он вошел в таможню, Ностромо начал отступление. Он вполне успешно спустился на первый этаж, оглянулся на освещенную лестничную площадку и неслышно побежал к входным дверям. Но в тот миг, когда он до них добрался, думая только о том, чтобы его не заметил тот человек наверху, кто-то, чьих торопливых шагов он не услышал, вошел в таможню и носом к носу столкнулся с ним. Оба вскрикнули от неожиданности, оба шарахнулись прочь и остановились так, что не могли разглядеть друг друга. Ностромо молчал. Спросил тот, второй, испуганно и изумленно:

— Кто вы?

Нострómо еще раньше показалось, что он узнал доктора Монигэма. Теперь в этом не было никаких сомнений. Он на мгновение заколебался. Может быть, убежать, не говоря ни слова? Нет, бесполезно. Почему-то ему не хотелось называть имя, под которым он был всем известен, и он еще немного помолчал. Потом тихо ответил:

— Каргадор.

Нострómо подошел к доктору. Тот, потрясенный встречей, вскрикнул от неожиданности. Капатас сердито его предупредил, что шуметь не следует. Таможня, хоть и кажется заброшенной, все же не совсем пуста. Вон в той комнате наверху светятся два окна, там кто-то есть.



Из всех свойственных человеку эмоций мы легче всего избавляемся от изумления. Столько страхов, столько порывов порождает оно, что в естественном стремлении сохранить покой души мы невольно ограждаем себя от всего чудесного. Поэтому нет ничего противоестественного в том, что доктор самым обыденным тоном спросил этого человека, которого еще две минуты назад считал погибшим:

— Там кто-то есть? Вы его видели?

— Нет, не видел.

— Так почему же вы думаете, что там кто-то есть?

— Я убегал от его тени, когда мы с вами столкнулись.

— От его тени?

— Да. В освещенной комнате я увидел тень, — небрежно произнес Ностромо.

Он скрестил на груди руки, прислонился к стене, опустив голову, покусывая губы и не поднимая на доктора глаз. «Сейчас, — подумал он, — он примется расспрашивать меня о сокровище».

Однако мысли доктора были поглощены событием не столь чудесным, как появление Ностромо, но еще более непонятным. Почему Сотильо

удалился со всем своим войском так внезапно и так секретно? Что бы это могло значить? Все это в высшей степени загадочно и непонятно, и ясно лишь одно: доктора вдруг осенило, что человек на втором этаже — офицер, которого оставил Сотильо, чтобы связаться с ним.

— Я думаю, он ждет меня, — сказал доктор.

— Может быть.

— Пойду взгляну. Не уходите, капатас.

— Куда мне уходить? — пробормотал Ностромо.

Доктора уже не было. Ностромо стоял в той же позе и задумчиво смотрел на темную воду у пристани; оглушительно трещали цикады. Мысли беспорядочно роились в голове, он не знал, что делать, и не хотел об этом думать.

— Капатас, капатас, — громко окликнул его сверху доктор.

Он погиб… предательство… Хмурое безразличие сменилось острым чувством страха перед надвигающейся опасностью. Тем не менее капатас отошел от стены и, подняв голову, увидел доктора Монигэма, который выглядывал из освещенного окна.

— Поднимитесь-ка сюда и посмотрите, что натворил Сотильо. Можете не опасаться этого

человека наверху.

Ностромо желчно рассмеялся. Можете не опасаться! Когда и кого опасался капатас сулакских каргадоров? Он рассердился: как доктор мог подумать такое? Еще сильней его сердило, что он безоружен, что он прячется, что ему угрожает опасность, и все из-за треклятого сокровища, которое эти люди ему навязали и которое в общем-то не так уж им необходимо. Эта мысль не давала ему покоя. Доктор тоже из числа этих людей… О сокровище он, конечно, и не спросит. Он ввязался в такое отчаянное дело, а этот доктор даже одного вопроса не задаст.

С такими мыслями Ностромо снова прошел через зал, где дым уже порядком поредел, поднялся по лестнице, ступени которой уже не обжигали подошвы, и подошел все к той же загадочной двери. На пороге комнаты появился доктор и взволнованно воскликнул:

— Идите сюда!

Ностромо подошел к дверям и вздрогнул. За все это время человек не сдвинулся с места. Тень падала точно так же, как тогда, когда он в первый раз заглянул в эту комнату. Он собрался с духом и вошел, чувствуя, что тайна сейчас будет раскрыта.

Все оказалось очень просто. За ничтожную долю секунды при свете двух оплывших мерцающих свечей он разглядел сквозь едкий синий дым фигуру человека, чью искаженную и увеличенную тень он все время видел на стене. С быстротою молнии он уловил напряженность и противоестественность позы: выступающие вперед плечи, опущенная голова. Затем он увидел связанные руки. И в тот же миг заметил, что руки этого несчастного спутаны веревкой, перекинутой через балку на потолке, а конец ее прикреплен к вделанной в стену скобке. И не было уже необходимости всматриваться в одеревеневшие ноги с висящими над полом босыми ступнями, чтобы понять: его вздернули на дыбу, и он лишился чувств. «Перерезать веревку, немедленно перерезать веревку!» — молнией сверкнуло у него в голове. Он хотел выхватить нож. Ножа не оказалось… у него не было даже ножа! Он стоял потрясенный, а усевшийся на край стола доктор задумчиво созерцал представившуюся его глазам ужасную картину, после чего довольно хладнокровно произнес:

— Замучен пыткой и добит выстрелом в грудь… уже окоченел.

Это меняло дело — можно было не спешить.

Одна из свечей погасла.

— Кто это сделал? — спросил капатас.

— Сотильо, кто же еще? То, что он его пытал, — понятно. Но почему застрелил? — Доктор пристально взглянул на Ностромо, и тот пожал плечами. — И обратите внимание, его застрелили неожиданно, повинуясь внезапному импульсу. Это очевидно. Хотел бы я понять, что тут произошло.

Ностромо подошел к покойнику и вытянул шею, внимательно всматриваясь в его лицо.

— Мне кажется, я его уже где-то видел, — пробормотал он. — Кто это?

Доктор снова взглянул на Ностромо:

— Как знать, может быть, мне еще придется ему позавидовать. Вы так не думаете, капатас?

Но Ностромо его даже не слышал. Схватив единственную горящую свечу, он поднес ее к лицу убитого. Доктор вяло опустился на стул; он не глядел на капатаса. Потом тяжелый железный подсвечник стукнулся о половицу, словно кто-то внезапным ударом вышиб его из руки Ностромо.

Доктор поднял голову, изумленно вскрикнув. В наступившей темноте он уже не видел капатаса, а лишь слышал, что тот неверными шагами подошел к столу, дыша тяжело и прерывисто. Как

только в комнате погас свет, темные квадраты за оконными рамами ожили — в них засверкали звезды.

— Ну еще бы, еще бы, — пробормотал доктор. — Ясно, что это его огорошило.

Сердце бешено колотилось в груди Ностромо. Голова шла кругом. Гирш! Это был Гирш! Он ухватился за край стола.

— Но он ведь прятался на нашем баркасе, — чуть не закричал Ностромо. И упавшим голосом добавил: — Прятался на баркасе, а потом… потом…

— Потом Сотильо с ним расправился, — закончил доктор. — Теперь вы можете бояться его не больше, чем меня. Но хотелось бы мне знать, как он сумел добиться, чтобы какая-то добрая душа его пристрелила.

— Стало быть, Сотильо знает… — начал Ностромо уже более спокойным голосом.

— Он знает все! — отрезал доктор.

Капатас ударил кулаком по столу.

— Все? Что вы такое говорите? Все… Сотильо знает все? Нет, это невозможно! Знает все?

— Конечно. Почему это невозможно? Вчера ночью Гирша допрашивали при мне, в этой самой комнате. Он назвал вас, назвал Декуда и расска-

зал о серебре… Баркас разрезало на две части. Он умирал от страха перед Сотильо, но память у него не отшибло — разве мало он рассказал? Пожалуй, менее всего он знал о самом себе. Когда его нашли, он, как клещ, вцепился в якорь. Вероятно, ухватился за него в тот миг, когда баркас пошел ко дну.

— Пошел ко дну? — задумчиво переспросил Ностромо. — Сотильо думает так? Bueno.

Доктор не очень ясно представлял себе, как еще можно думать. Да, Сотильо думает, что баркас пошел ко дну, а капатас портовых каргадоров, и Мартин Декуд, и заодно с ними, возможно, еще один-два человека из политических иммигрантов — утонули.

— А я скажу вам, сеньор доктор, — перебил его Ностромо, — что Сотильо знает не все.

— О чем вы?

— Ну, к примеру, он не знает, что я остался жив.

— Этого не знали и мы.

— Но вас это нисколько не тревожило… ни одного из кабальеро, стоявших там, на пристани… Велели человеку, такому же, как вы, живому человеку провернуть очень миленькое дельце, которое не могло окончиться благополучно, и

сразу же перестали думать о нем.

— Вы, кажется, забыли, капатас, что меня не было на пристани. И это ваше дельце миленьким я не считал. Так что незачем говорить со мной столь саркастическим тоном. Вы поймите, друг мой, нам сейчас не до того, чтобы тревожиться о мертвых. Смерть подстерегает каждого из нас. Вы уехали, и делу конец.

— Вот именно конец! — воскликнул Ностромо. — А зачем мне это нужно, можете вы сказать?

— Ну, это уж никого, кроме вас, не касается, — грубовато ответил доктор. — Кто-кто, а я тут ни при чем.

Они умолкли; в темноте растаял шелест голосов. Оба сидели на краю стола, касаясь друг друга плечами и невольно устремляя взгляд вглубь комнаты, где чернели во мгле страшные контуры подвешенного на дыбе тела, — ссутулившиеся плечи, склоненная вперед голова, — и им казалось, будто покойник прислушивается к их разговору.

— Muy bien[149], — пробормотал в конце концов Ностромо. — Пусть будет так. Тереза в самом деле

---

[149] Примечания: 149
Очень хорошо *(исп.)*.

права. Все это никого, кроме меня, не касается.

— Тереза умерла, — рассеянно заметил доктор, погруженный в размышления о том, каким образом могло осуществиться неожиданное воскрешение Ностромо. — Умерла, бедняжка, умерла.

— Без исповеди? — тревожно спросил капатас.

— Странный вопрос! Конечно, без исповеди; кто бы ей привел вчера священника?

— Да примет Господь ее душу! — с угрюмой безнадежностью сказал Ностромо, и доктор Монигэм, удивленный мрачным пафосом этой фразы, не успел даже слова промолвить в ответ, как он добавил:

— Sí, сеньор доктор. Верно вы сказали, дело касается только меня. Кстати, отчаянное было дело.

— Тут на всем побережье не найдется ни одного человека, который смог бы, как вы, добраться вплавь до порта после гибели баркаса, — с восхищением проговорил доктор.

И снова наступила тишина. Оба думали, и мысли их текли по разным руслам, как различна была сущность и натура этих людей. Доктор, самоотверженно вступивший на опасный путь, куда его толкнула преданность Гулдам, был неска-

занно рад случайности, возвратившей в родные края этого человека, способного, как никто иной на свете, оградить от гибели рудники. Доктор всей душой был предан рудникам, принявшим в глазах этого одинокого пятидесятилетнего человека облик маленькой женщины в муслиновом платье с длинным треном, с очаровательной головкой, украшенной тяжелой волной густых светлых волос, женщины, чья душевная деликатность и прелесть, делающие ее похожей и на драгоценность, и на цветок, обнаруживали себя всегда, в любом поступке, движении, слове.

Когда над рудниками нависла опасность, иллюзия полностью завладела им. Доктор ощутил, что у него есть долг, святая обязанность! Не вдохновляемый, в отличие от большинства людей, надеждами и ожиданием наград, он посвятил этой обязанности все свои действия и мысли и стал опасным для себя и для других, ибо был готов на все, считая себя единственным оплотом, способным оградить эту женщину от нависшей над ней страшной угрозы.

Это сознание действовало на него, как дурман, — глубоко безразличный к судьбе Декуда, доктор мог со всей отчетливостью оценить, какие преимущества заключает в себе его идея

об отделении провинции от государства. Прекрасная идея, а Барриос — идеальное орудие, чтобы ее осуществить. Его душа, иссохшая от позора и бесчестья, стала безжалостной сейчас, когда ее напоила нежность. Возвращение Ностромо — перст судьбы. Он не думал о капатасе с сочувствием, как о своем ближнем, которому чудом удалось избавиться от смерти. Для него капатас был единственным подходящим гонцом в Каиту. Лучшего не сыскать! Мизантропическое недоверие к роду человеческому (усугубленное печальным опытом) не помогло ему стать выше свойственных обычным людям слабостей. Репутация Ностромо оказывала на доктора такое же гипнотическое воздействие, как на других.

Ностромо верный человек — это провозгласил капитан Митчелл, это повторяли все, это подтверждала молва, и доктор Монигэм в этом никогда не сомневался. Менее всего он был настроен усомниться в этом сейчас, когда он сам так остро нуждался в верности и преданности Ностромо. Доктору Монигэму были свойственны общечеловеческие заблуждения: он, как и все, считал Ностромо неподкупным просто потому, что это утверждение еще ни разу не было опровергнуто. Неподкупность — неотъемлемая принадлеж-

ность этого человека, точно так же как усы и белые зубы. Его невозможно представить себе иным. Самое главное — согласится ли он взять на себя такое опасное поручение. Доктор был достаточно наблюдателен и с первого же взгляда заметил, что Ностромо сильно раздосадован. Он, конечно, расстроен тем, что погибло серебро.

«Говорить с ним нужно с полной откровенностью», — подумал доктор, чутьем уловив главное свойство характера человека, которого ему предстояло убедить.

Что касается Ностромо, он молчал потому, что был полон нерешимости, недоверия и гнева. Тем не менее он заговорил первым.

— Доплыть до порта — пустяки, — сказал он. — Но то, что было раньше… и то, что случится потом…

Он не высказал свою мысль до конца — умолк, словно наткнулся на неодолимое препятствие. А доктор с коварством Макиавелли продолжал свое. Он сочувственно сказал:

— Мне очень жаль, капатас. Но ведь никому не придет в голову обвинять вас в неудаче. Очень жаль, очень досадно. Прежде всего: серебро не следовало увозить с рудников. Но это предложил Декуд, которому… впрочем, он мертв. О нем не

стоит говорить.

— Это так, — согласился Ностромо, — о мертвецах не стоит говорить. Но я-то еще жив.

— К счастью, живы и здоровы. Уцелеть в таких условиях мог лишь человек, обладающий вашим бесстрашием.

Доктор Монигэм не кривил душой. Он совершенно искренне восхищался храбростью этого человека, чья жизнь не представляла особой ценности в его глазах, поскольку доктор презирал все человечество после того сугубо частного случая, когда он сам не проявил должного мужества. Во время пребывания в камере доктор Монигэм так часто сталкивался в одиночку со всякого рода физическими опасностями, что на собственном опыте узнал, чего следует особенно бояться: давящего, парализующего ощущения своей слабости — именно оно и губит человека, встретившегося без свидетелей, наедине, с бездушной и безжалостной силой. С необычайной ясностью он представил себе, сколько мужества потребовалось капатасу, который, проведя много часов в тревоге, в адском напряжении, был внезапно низвергнут в темную бездну воды, где нет ни неба, ни земли, и, оказавшись в этом положении, не только не впал в отчаяние, но и сумел

спастись. Он, конечно, превосходный пловец, все это знают, но доктор полагал, что главную роль сыграла бестрепетная сила духа. Это радовало доктора — предвещало успех опасной миссии, которую он собирался возложить на капатаса, чудом вернувшегося из небытия и вновь готового к очередным услугам. Он благодушно произнес:

— Тьма, наверное, была ужасной.

— Одна из самых темных ночей в заливе, — коротко подтвердил капатас.

Его растрогало участие, которое ему послышалось в словах доктора, и он коротко, с деланой небрежностью рассказал о гибели баркаса. Ему хотелось, чтобы доктор что-нибудь узнал об этом. Он ждал, что тот будет расспрашивать его и дальше, и, промолчит ли он или ответит, но интерес, проявленный к нему, поможет ему снова обрести себя — то есть единственное, что он утратил после той страшной ночи. Но доктор, все внимание которого поглощали события другого рода, не стал его расспрашивать — в своей одержимости одной идеей он был бессердечен. У него вырвались ужасные слова:

— Как жаль, что вы не закричали.

Эта хладнокровно произнесенная фраза ошеломила капатаса своей жестокостью. С таким же

успехом доктор мог бы сказать: «Как жаль, что вы не оказались трупом. Как жаль, что вам не перерезали горло». Он не понимал, что доктор думает не о нем, а лишь о серебре, да и трудно было бы понять, о чем тот думает, по этой лаконичной фразе. От гнева и от изумления он потерял дар речи, кровь ударила ему в голову, в ушах стоял бешеный гул, и он, собственно, уже и не слышал, что говорит доктор, а тем временем тот продолжал:

— Я уверен, что Сотильо, захватив серебро, тотчас повернул бы назад, чтобы найти убежище в каком-нибудь тихом порту за границей. Это был бы ужасный ущерб, но для нашей экономики еще более убыточно, что серебро затонуло. Выгодней всего, конечно, было бы спрятать его в каком-нибудь безопасном месте, а часть сокровища употребить на то, чтобы подкупить Сотильо. Но я не уверен, что дон Карлос когда-нибудь решился бы на это. Он не приспособлен к костагуанским обычаям, капатас, и тут уже ничего не поделаешь.

Стоило доктору упомянуть дона Карлоса, и буря гнева снова поднялась в груди капатаса, но ему удалось овладеть собой. Он превратился как бы в другого человека — говорил задумчиво, негром-

ким ровным голосом:

— И что, дон Карлос был бы доволен, если бы я отдал Сотильо серебро?

— Полагаю, что не только он, — ответил доктор мрачно. — Со мной ведь никогда не советуются. Все это затеял Декуд. Думаю, сейчас у них глаза уже открылись. Что до меня, то, если бы какой-нибудь волшебник выбросил на берег это серебро, я бы тотчас отдал его Сотильо. И все одобрили бы мой поступок, насколько я могу судить.

— Волшебник выбросил на берег… — вполголоса повторил Ностромо, затем добавил громко: — Тут не то что волшебник, сеньор, тут и святой не поможет.

— Охотно верю, капатас, — сухо согласился доктор. — Сотильо, — продолжал доктор Монигэм, — еще не развернулся, он еще им себя покажет.

Ностромо слушал его как во сне и думал: от меня сейчас не больше толку, чем от этого трупа, который, смутно вырисовываясь во мгле, висит на балке и как будто тоже прислушивается — заброшенный, забытый, ужасный символ человека, не нужного никому.

— Взбрело им на ум, и, нисколько со мной не считаясь, отправили меня в море с этим сереб-

ром, — вдруг перебил он Монигэма. — Что же они мной совсем не дорожат, por Dios? Видно, им даже голову не хочется утруждать, вашим джентльменам, hombres finos, пока под рукой есть простой человек, всегда готовый рискнуть своей душой и телом? Или, может, у простых людей нет души, как у собаки?

— С вами ведь поехал Декуд, а все делалось по его плану, — напомнил доктор.

— Sí. И богач из Сан-Франциско — он ведь тоже как-то связан с серебром… Уж не знаю как. Нет, я не хочу ничего больше слышать! Похоже, богатым все разрешено.

— Я вас понимаю, капатас, — начал доктор.

— Капатас, что капатас? — Голос Ностромо звучал ровно, но в нем чувствовался гнев. — С капатасом покончили, угробили капатаса. Нет его больше. Поняли вы? Не видать вам больше капатаса.

— Ну, это уже ребячество, — с укором сказал доктор, и Ностромо внезапно утих.

— Я и в самом деле вел себя как ребенок, — пробормотал он.

Взгляд его снова наткнулся на темный силуэт мертвеца, застывший в жуткой неподвижности, словно он замер, прислушиваясь, и Ностромо

тихим голосом проговорил:

— Почему Сотильо вздернул этого несчастного на дыбу? Можете вы объяснить мне? Ведь беднягу хуже всякой пытки мучил страх. Почему его убили — это понятно. Он так корчился, что жутко было смотреть. Но пытали-то его зачем? Он ведь им все рассказал и добавить не мог ни слова.

— Верно; рассказал он все, что знал. Любой разумный человек не усомнился бы в этом. Но видите ли, в чем дело, капатас, Сотильо не поверил его словам. Вернее, поверил, но не всему.

— Чему же он мог не поверить? Я не понимаю.

— Зато я прекрасно понимаю — я за ним наблюдал. Он не верит, что сокровище погибло.

— Что? — встревоженно воскликнул капатас.

— Почему вы так испугались?

— Надо ли понять вас так, сеньор, — продолжал Ностромо, осторожно и тщательно подбирая слова, — что Сотильо считает, будто сокровище каким-то образом удалось спасти?

— Нет, конечно! Как это могло быть? — с горячностью воскликнул доктор. — (Ностромо усмехнулся в темноте.) — Спасти его не могли. Но Сотильо считает, что, когда баркас тонул, на нем не было серебра. Он убедил себя, что здесь устроили спектакль с целью обмануть Гамачо и

его национальных гвардейцев, Педрито, сеньора Фуэнтеса, нашего нового политического лидера, а также самого Сотильо. Только он, — сказал доктор, — не так глуп.

— Очень даже глуп. В этой мерзкой стране из всех полковников он самый тупоумный, — проворчал Ностромо.

— Он рассуждает ничуть не хуже, чем многие из здравомыслящих людей, — возразил доктор. — Он убедил себя, что сокровище не погибло, потому что страстно хочет им завладеть. Кроме того, он боится, что его офицеры взбунтуются и переметнутся к Педрито; в равной степени он опасается довериться Педрито и выступить против него. Вы поняли, капатас? Покуда у его офицеров есть надежда, что Сотильо каким-то образом сумеет заполучить это огромное богатство, они его не покинут. Я взял на себя труд поддерживать эту надежду.

— Поддерживать! — настороженно повторил капатас. — Это очень интересно. И долго вы собираетесь водить их за нос?

— Сколько смогу.

— Как вас понять?

— На этот вопрос я отвечу вам точно. До тех пор, пока я жив, — решительно произнес доктор.

Затем он вкратце описал историю своего ареста и обстоятельства, при которых был освобожден. — Я возвращался к этому тупице и мерзавцу, когда мы встретились, — закончил он.

Ностромо слушал его очень внимательно.

— Стало быть, вы выбрали быструю смерть, — процедил он сквозь зубы.

— Может быть, и так, великий капатас, — с раздражением ответил доктор. — Вы здесь не единственный, кто способен смотреть смерти прямо в глаза.

— Оно конечно, — проворчал Ностромо, несколько повысив голос. — Кто знает, может быть, здесь сейчас не двое дураков, а даже больше.

— Я ввязался в это дело, и я отвечаю за него, — холодно сказал доктор.

— Точно так же, как я ввязался в дурацкую историю с серебром, — огрызнулся Ностромо. — Все ясно. Bueno. У меня были свои причины, у вас — свои. Но вы были последним человеком, с которым я разговаривал перед отъездом, и мне показалось, что вы считаете меня дураком.

Насмешливое отношение доктора к блистательной славе Ностромо чрезвычайно раздражало моряка. В похвалах Декуда тоже звучала ирони-

ческая нотка, смущавшая его; но ему льстили приятельские отношения с таким человеком, как дон Мартин, а этот доктор Монигэм просто никто. Ностромо помнил его нищим отщепенцем, который, крадучись, бродил по улицам Сулако и не имел ни друзей, ни знакомых, пока дон Карлос Гулд не взял его к себе на рудники.

— Вы, конечно, очень умный, — задумчиво продолжал он, с тревожным чувством вглядываясь в темную мглу комнаты, где был замучен Гирш. — Но теперь и я поумнел. Одну вещь я усвоил твердо: вы — опасный человек.

Доктор Монигэм, опешив, лишь испуганно спросил:

— О чем это вы?

— Если бы он мог заговорить, он сказал бы, что я прав, — продолжал Ностромо, и тень его головы качнулась на звездном квадрате окна.

— Я вас не понимаю, — слабым голосом сказал доктор Монигэм.

— Не понимаете? Да ну? Если бы вы не подтвердили идиотские бредни Сотильо, ему незачем было бы так спешить вздергивать на дыбу этого беднягу Гирша.

Доктор вздрогнул. Но преданность, поглотившая его целиком, поглотила и все его чувства,

и его сердце стало словно камень и не знало ни укоров совести, ни жалости. Все же, чтобы окончательно успокоить себя, он счел нужным громко и презрительно отринуть это обвинение:

— Чушь! Не забывайте, я имел дело с Сотильо. О Гирше я и не подумал, признаюсь. Но если бы подумал, это не принесло бы ему пользы. Ведь ясно: он был обречен с того злосчастного момента, когда вцепился в этот якорь. Обречен, вы слышите меня! Да я и сам обречен... по всей вероятности.

Так ответил доктор на упрек Ностромо, достаточно веский для того, чтобы разбередить его совесть. Доктор не был бессердечен. Но миссия, которую он на себя взял, была так значительна, так важна, так серьезна, что затмевала все простые житейские соображения. Он стал фанатиком. Ему совсем не нравилось то, что он собирался сделать. Ему противно было обманывать, дурачить даже самых скверных людей. Все в нем возмущалось против этого — воспитание, традиции, инстинкт. Роль предателя, несовместимая с его натурой, была ему невыносима. И все-таки он согласился принести себя в жертву, пойти на это унижение.

С горечью он убеждал себя: «Кроме меня, для

этой грязной работы никто не годится». И верил этому. Он был прост. И в простоте своей не считал себя героем, отважно жертвующим жизнью; он знал одно: что подвергается большой опасности, и эта мысль поддерживала и утешала его. Все было жестоко в мире, в котором он существовал, и участь Гирша не являлась исключением. Он практически смотрел на этот эпизод. Что мог он значить? Не заподозрил ли чего-нибудь Сотильо? Доктор никак не мог понять, зачем понадобилось убивать беднягу Гирша?

— Так-то так. Но почему его все-таки застрелили? — пробормотал он.

Ностромо молчал.

Глава IX

Раздираемый сомнениями и надеждой, смертельно испуганный трезвоном колоколов в честь появления в городе Педрито Монтеро, Сотильо все утро боролся с тревожными мыслями: неравная борьба, ибо мысли его были хаотичны, что естественно для человека, находящегося во власти бурных страстей. Разочарование, алчность, гнев и страх бушевали в груди полковника с большей силой, чем трезвонили в городе колокола. Все его

планы рушились. Ему не достались ни Сулако, ни серебро. Ему не удалось блеснуть талантом полководца, занять город и закрепиться в нем; ему не удалось также, захватив громадную добычу, успешно скрыться в океанских просторах. Педрито Монтеро, и как недруг, и как друг, внушал ему глубокий ужас. Звон колоколов бесил его.

Вообразив себе, что на него немедленно нападут, он приказал своим войскам занять оборону на побережье. Сам он расхаживал по комнате и иногда останавливался, кусая кончики пальцев на правой руке и угрюмо глядя себе под ноги; потом мрачно оглядывал всех вокруг и снова начинал метаться. На столе лежали его шляпа, хлыст, револьвер и сабля. Его офицеры, сгрудившись у окна, из которого открывался вид на городские ворота, оживленно спорили из-за полевого бинокля, который год назад Сотильо приобрел в кредит у Ансани. Бинокль переходил из рук в руки, и того, кто временно им завладевал, остальные осыпали вопросами.

— Да не видно же, ничего не видно! — отвечал он раздраженно.

Из окна и в самом деле ничего не было видно. И когда возвратился патруль, посланный прочесать кустарник возле Каса-Виола, все замерло на поло-

се сухой земли между городом и портом. Немного позже из ворот выехал какой-то верховой и безбоязненно поскакал к таможне. То был посланец сеньора Фуэнтеса. Поскольку он прибыл один, его впустили. Он спешился возле главного входа, с веселой наглостью приветствовал стоявших там безмолвных зрителей и потребовал немедленно отвести его к muy valiente[150] полковнику.

Сеньор Фуэнтес, приступив к обязанностям политического лидера, решил во что бы то ни стало захватить рудники и порт. Для переговоров с Сотильо был избран некий нотариус, в начале мятежа томившийся в тюрьме, куда он был посажен за подделку документов. Освобожденный мятежниками вместе с другими «жертвами тирании бланко», он поспешил предложить свои услуги новому правительству.

Он был намерен, выполняя свою миссию, не щадить ни красноречия, ни пыла и попробовать уговорить Сотильо, чтобы тот оставил на месте войска, а сам поехал в город и начал переговоры с Педро Монтеро. Полковник ни о чем подобном не помышлял. Стоило ему подумать, что он может по доброй воле отдать себя в руки знаменитого

---

[150] Примечания: 150
Доблестному, отважному *(исп.).*

Педрито, и он сразу чувствовал себя больным. Ехать в город невозможно, это безумие. С другой стороны, такое же безумие — стать на путь открытой вражды. Ведь тогда он не сможет всерьез заняться розысками этого сокровища, этих залежей серебра, присутствие которых он чувствовал где-то неподалеку, запах которых ощущал.

Но где они? Где? Господи боже, где? Как он мог выпустить отсюда доктора? Какое-то наваждение нашло на него! Хотя нет, все правильно. Только так он и мог поступить, — размышлял он, как в бреду, а тем временем посланец Фуэнтеса вел приятную беседу с офицерами у главного входа в ожидании, когда его позовут. Мерзавец-доктор не может сбежать — в его интересах вернуться и принести достоверные сведения. Но если что-нибудь его задержит? Скажем, Педрито отдаст приказ, запрещающий кому бы то ни было покидать город. Доктор наверняка наткнется на патруль!

Полковник остановился и сжал ладонями виски, словно у него внезапно закружилась голова. Малодушие подсказало ему уловку, небезызвестную и европейским государственным мужам в тех случаях, когда они стремятся оттянуть неприятные для них переговоры. Прямо в сапогах со

шпорами он забрался в гамак с поспешностью, недостойной героя и полководца. Он сильно изменился за последние дни. Красивое лицо пожелтело от непосильных забот. Изящно очерченный нос с дерзко раздувающимися ноздрями заострился, и ноздри не только не раздувались теперь, а даже как-то съежились. Бархатные миндалевидные глаза, умевшие смотреть так томно и нежно, погасли и покраснели от бессонных ночей. Монотонным, страдальческим голосом он обратился к изумленному посланцу сеньора Фуэнтеса.

Трогателен и жалок был этот еле слышный голос, доносившийся из-под груды пончо, полностью скрывавших элегантную фигуру полковника, так что приезжий видел только помертвевшую физиономию и черные усы, незавитые и неподкрученные, уныло свисавшие вниз, — символ телесных недугов и душевного бессилия. Лихорадка, злая лихорадка свалила доблестного полководца. Болезнь казалась особенно натуральной из-за того, что глаза страдальца время от времени начинали сверкать мрачным блеском, причиной чего являлись легкие спазмы в желудке, а зубы от страха выбивали дробь. Больного бил озноб. Полковник объяснил, что он не в состоя-

нии ни думать, ни говорить, ни слушать. С таким видом, словно он совершает сверхчеловеческое усилие, полковник, задыхаясь, произнес, что сейчас он не в силах дать его превосходительству надлежащий ответ или выполнить какой-нибудь из его приказов. Зато завтра! Завтра! О, завтра! Пусть его превосходительство дон Педро не тревожится. Прибывший из Эсмеральды отважный полк удержит порт, удержит… тут под пытливым взглядом посланца болящий смежил веки и будто в полузабытьи откинул голову, так что собеседнику пришлось наклониться над гамаком, дабы расслышать его прерывистую речь.

А Сотильо тем временем выражал надежду, что его превосходительство, будучи человеком гуманным, позволит доктору, английскому доктору, выйти из города с саквояжиком, где лежат иноземные лекарства, предназначенные для полковника Сотильо. С горячностью просил он его милость кабальеро оказать ему любезность и, проезжая мимо Каса-Гулд, заглянуть туда и известить английского врача, который, может быть, окажется в доме, что его помощь немедленно требуется полковнику Сотильо, находящемуся в таможне и страдающему от приступа лихорадки. Немедленно. Самым настоятельным образом. Его

ждут с нетерпением. Тысяча благодарностей. Он устало закрыл глаза и уже больше их не открывал, лежа совершенно неподвижно, глухой, немой, бесчувственный, угнетенный, измученный, истощенный, раздавленный тяжким недугом.

Но как только посетитель затворил за собой дверь, полковник быстро выпрыгнул из гамака, волоча целый ворох пончо, которые зацепились за его шпоры и клубком обвили ноги, так что бедняга чуть не ударился головой об пол и обрел равновесие, лишь доскакав до середины комнаты. После этого, спрятавшись за полуоткрытыми жалюзи, он стал слушать, что происходит внизу.

Посланец Фуэнтеса уже сидел верхом и, повернувшись к мрачным офицерам, оберегавшим парадную дверь, торжественным жестом снял шляпу.

— Кабальеро, — произнес он очень громко, — да будет мне позволено рекомендовать вам окружить вашего полковника всяческой заботой. Для меня было огромной честью и огромным удовольствием познакомиться с вами, мужественными солдатами, с беспримерным терпением исполняющими свой воинский долг в этой пустынной местности, где так много солнца и соленой воды и совсем отсутствуют иные напитки, в то время

как город, изобилующий женским очарованием и вином, с радостью готов заключить вас в объятия. Кабальеро, имею честь вас приветствовать. В Сулако сегодня танцы, танцы до упаду. Всего хорошего.

Но ему тут же пришлось натянуть поводья и, прислушиваясь, наклонить голову набок, ибо вперед выступил старик-майор, очень высокий и тощий, в прямом и узком френче, доходящем ему до лодыжек, что придавало старому воину сходство со свернутым полковым знаменем, засунутым в футляр.

Умудренный житейским опытом, почтенный офицер начал с общего замечания о том, что «мир полон предателей», после чего рассыпался в неумеренных похвалах Сотильо. Он щедро приписал ему все достоинства, существующие в подлунном мире, и завершил их перечень абсурдной фразой, которой почему-то любят выражать свое одобрение жители Западной провинции, и в особенности Эсмеральды и ее окрестностей. «Главное же, — резко повысив голос, закончил он, — наш полковник — это человек, у которого зубов что у акулы… hombre de muchos dientes. Sí,

señor[151]. Что до нас, — добавил он напыщенно и важно, — ваша милость видит сейчас перед собой цвет офицерства республики, людей, непревзойденных умом и доблестью, у hombres de muchos dientes».

— Как? У каждого из этих офицеров? — с издевательской усмешечкой спросил непутевый посланец сеньора Фуэнтеса.

— Todos. Sí, señor[152], — серьезно и убежденно подтвердил майор. — Люди, у которых зубов что у акулы.

Тут посол Фуэнтеса дернул за уздечку и повернулся лицом к главному входу в таможню, мало чем отличающемуся от входа в самый обыкновенный амбар. Он поднялся на стременах и простер вперед руку. Это был веселый негодяй, испытывающий к жителям западного побережья презрение, вполне естественное в уроженце центральных провинций. Особенно его смешили олухи из Эсмеральды. Скроив торжественную мину, он произнес панегирик в честь Педро Монтеро. Сперва он плавно взмахнул рукой, словно представил его собравшимся возле таможни

---

[151] Примечания: 151
Человек, у которого множество зубов. Да, сеньор *(исп.).*

[152] Примечания: 152
У каждого. Именно так, сеньор *(исп.).*

офицерам. И когда на всех лицах появилось застывшее выражение и все уставились ему в рот, он принялся перечислять добродетели Монтеро: «Благороден, отважен, любезен, мудр, — и он восторженным жестом сорвал с себя шляпу, — государственный деятель, непобедимый предводитель партизан. — Тут он понизил голос и глухим рокочущим басом добавил: — И к тому же дантист».

С этими словами он их покинул; его твердая посадка, широко расставленные ноги с вывернутыми ступнями, прямая спина, лихо заломленное назад сомбреро, неподвижные крутые плечи — все внушало ужас, ибо воплощало собой безмерную, разнузданную наглость.

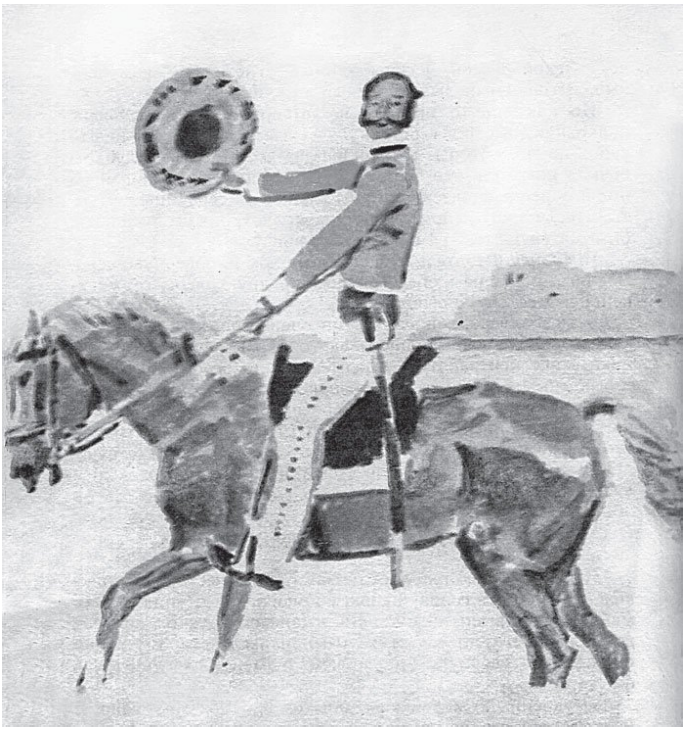
Сотильо, спрятавшийся наверху за жалюзи, долго не мог пошевелиться. Этот малый вел себя вызывающе. А чем ему ответили офицеры? Ничем, абсолютно ничем. Сотильо вздрогнул. Нет, не этого он ожидал после того, как высадится на побережье. Он видел себя победителем, которому курится фимиам, идолом солдат, властелином, чьи права не вызывают сомнений. Он представлял себе, как не спеша решает, что же предпочесть: богатство или власть. И ничего похожего! Увы! Растерянный, встревоженный,

повергнутый в прах, он то закипает яростью, то леденеет от ужаса и так испуган, так беспомощен, словно его со всех сторон обступило бездонное море. Этот мошенник доктор давно уж должен прийти и сообщить, что он узнал о серебре. Давным-давно, конечно. Ведь самому ему эти сведения не нужны. Бесполезны. Будь он проклят! Как сквозь землю провалился. Может быть, его уже арестовали и заперли в одну камеру с доном Карлосом. Он расхохотался как безумный. Ха-ха-ха! Сведения получит Педрито Монтеро. Ха-ха-ха!.. а заодно и серебро. Ха-ха!

Он вдруг перестал смеяться и замер. Кстати, ведь и у него есть пленник. Пленник, который знает всю правду, не может ее не знать. Нужно только заставить его говорить. И Сотильо, который все это время помнил о Гирше, а вернее, не совсем о нем забыл, не без удивления почувствовал, что ему будет неприятно прибегать к решительным мерам.

Неприятно и страшно… все тот же зыбкий страх, из-за которого ему казалось, что его со всех сторон обступило море. Неприятно было вспоминать выпученные глаза торговца кожами, дергающееся лицо, громкий плач и крики. Это было не сострадание и даже не чувствительность

нервной натуры. Неприятно ему стало потому, что, хотя он нисколько не верил истории Гирша — ей нельзя было поверить, кто поверил бы такой ерунде? — он тем не менее с тоскливым чувством вспоминал, что в бессвязном рассказе несчастного звучала надрывная искренность. И когда он вспоминал это, ему становилось не по себе. Он заподозрил, что Гирш сошел с ума от страха. А иметь дело с безумцем безнадежно. Э, притворство это все. Обычное притворство. Ничего, он заставит его говорить.



Упорно и старательно он разжигал в себе жестокость. Его красивые глаза сузились и начали слегка косить; он хлопнул в ладоши; бесшумно появился босоногий денщик — капрал с палкой в руке и штыком у пояса.

Полковник отдал приказание, и тотчас несколько солдат втолкнули в комнату беднягу Гирша. Несчастный поднял взгляд и увидал перед собой Сотильо. Темнее тучи сидел он в кресле, расставив ноги, уперев руки в бока, нахлобучив на голову шляпу, властный, важный, неумолимый, надменный, величественный, страшный.

После высадки на берег Гиршу связали за спиной руки и втолкнули в тесную каморку. Потом о нем, вероятно, забыли, и он много часов неподвижно лежал на полу, холодея от отчаяния и ужаса. А затем его бесцеремонно вытащили вон и поволокли по коридору, подгоняя пинками и ударами кулака. Он потерял способность действовать и рассуждать. Покорно выслушал он угрозы и предостережения Сотильо, потом ответил на его вопросы то, что отвечал уже не раз, уткнувшись подбородком в грудь, слегка покачиваясь, опуская взгляд. Когда капрал заставил его поднять голову, кольнув штыком в подбородок, Сотильо увидел его глаза — взгляд был

бессмысленным, как у человека, находящегося в трансе, а по грязному белокожему лицу, покрытому синяками и ссадинами, текли крупные, как горошины, капли пота.

Сотильо молча глядел на него.

— Перестанешь ты когда-нибудь упрямиться, мошенник? — проговорил он.

Тем временем веревку, одним концом которой были обвязаны запястья Гирша, перебросили через потолочную балку, и трое солдат стояли в ожидании, держа другой конец. Гирш ничего не отвечал. Толстая нижняя губа отвисла, как у слабоумного. Сотильо махнул рукой. Солдаты дернули веревку, ноги Гирша оторвались от пола, и отчаянный, безумный вопль заполнил собой все — и комнату, и длинный коридор, и всю таможню, выплеснулся за ее пределы, так что каждый находившийся на берегу солдат испуганно покосился на окна; что до офицеров в большом зале — некоторые из них начали переговариваться нарочито громко и оживленно; другие, стиснув зубы, хмуро уставились в пол.

Сотильо вышел в сопровождении солдат. При его появлении часовой на лестничной площадке взял на караул. А в комнате, пустой и полутемной, где высоко на стене легкой рябью колыхался

свет солнца, отраженный водной гладью залива и проникший сквозь щель в жалюзи, визжал Гирш, пронзительно и надсадно. Глаза его были выпучены, брови удивленно подняты, рот разинут — полная зубов черная пасть, неправдоподобно большая… смешная.

Крик волнами растекался по раскаленному воздуху — до вечера было еще далеко — и достигал даже конторы ОПН. Капитан Митчелл, временами выходивший на балкон выяснить, что, собственно говоря, происходит, тоже услышал голос Гирша, доносившийся слабо, но четко, и этот жуткий, приглушенный расстоянием звук долго звенел в его ушах уже после того, как побледневший капитан скрылся за дверью. В течение дня капитан Митчелл несколько раз выходил на балкон и каждый раз поспешно удалялся.

Сотильо, хмурый, раздраженный, быстрыми шагами расхаживал по коридору, советовался с офицерами, отдавал противоречащие один другому приказы, а пронзительные вопли Гирша не смолкая неслись и проникали в каждый уголок огромной пустынной таможни. Временами наступала тишина, и тогда делалось особенно страшно. Несколько раз он входил в комнату пыток, где на столе лежали его сабля,

хлыст, револьвер и бинокль, и с притворным спокойствием спрашивал: «Скажешь ты наконец правду? Нет? Ну что ж, я могу подождать». Но он лгал, он не мог ждать слишком долго. В этом и была беда. Каждый раз, когда он входил в пыточную или, хлопнув дверью, выходил оттуда, часовой брал на караул, преданно глядя в лицо полковника, и каждый раз встречал в ответ растерянный взгляд, полный черной злобы и не выражавший ровно ничего, а бывший просто отражением души… души, в которой гнездились неуверенность, ярость и злобная алчность.

Солнце уже село, когда он зашел туда в последний раз. Солдат внес две зажженные свечи, поставил их на стол и выскользнул, бесшумно затворив за собой дверь.

— Да говори же наконец, жидовское отродье! Где серебро? Где серебро, ты скажешь или нет? Куда вы его спрятали, чертовы иностранцы? Воры, жулики! Сознайся, не то…

Туго натянутая веревка слегка дрогнула, но тело сеньора Гирша, предприимчивого торговца из Эсмеральды, свисало с балки неподвижно, как гиря, а его ужасное лицо безмолвно маячило перед лицом полковника. Ночной воздух, охлажденный снегами Сьерры, мало-помалу проникал в

душную комнату, внося с собою восхитительную свежесть.

— Говори, мерзавец… вор… pícaro… не то…

Сотильо схватил хлыст и поднял руку. Одного лишь слова, одного-единственного слова было бы достаточно, чтобы он стал раболепно ползать по полу на коленях, ловя сонный, неподвижный взгляд и всматриваясь в грязное лицо с плотно сжатым искривленным ртом, обрамленное всклокоченными волосами. Полковник скрипнул зубами и стегнул несчастного хлыстом. Веревка чуть заметно качнулась, как цепь остановившегося маятника, который кто-то подтолкнул рукой. Но колебательное движение сообщилось лишь веревке. Тело же сеньора Гирша, известного на побережье торговца кожами, не качнулось, а судорожно дернулось вверх, словно рыба на крючке у рыболова. Голова сеньора Гирша запрокинулась назад, подбородок задрожал. С минуту в притихшей полутемной комнате, освещенной только пламенем двух свечей, было отчетливо слышно, как выбивают дробь его зубы. Сотильо ждал ответа, не опуская руки, и тут внезапно на лице сеньора Гирша мелькнула усмешка, вывернутые плечи с натугой подались вперед, и он плюнул в лицо Сотильо.

Хлыст выпал из руки, полковник, вскрикнув, отскочил, словно на него плеснули ядом. Он схватил револьвер и дважды выстрелил. Гнев тотчас же погас, его сменило полное оцепенение. Полковник был похож на слабоумного — он стоял с отвисшей челюстью, тупым и неподвижным взглядом. Боже милостивый, что он натворил? Как мог он это сделать? Подлый страх прокрался в его душу: он выстрелил, не думая, и навсегда замкнул уста, из которых многое желал исторгнуть. Что ему говорить теперь? Чем объяснить свой поступок? Бежать, без оглядки бежать куда-нибудь, куда угодно; он так перетрусил, что в голове его даже мелькнула нелепая паническая мысль — спрятаться под стол. Но было уже поздно; в комнату, бряцая шпорами, вбежали офицеры, громко и взволнованно переговариваясь. Впрочем, поскольку они не убили его сразу же, наглец обрел уверенность и успокоился. Он вытер рукавом лицо. Потом медленно обвел собравшихся свирепым взглядом, и все замолкли, встречая этот хмурый и недобрый взгляд; а недвижное тело усопшего сеньора Гирша, коммерсанта, покачалось чуть заметно, повернулось лицом к стене и замерло. Среди офицеров прошел испуганный ропот. Чей-то голос громко произнес:

— Вот человек, который уже никогда не заговорит.

Еще кто-то, из задних рядов, где толпились самые робкие, выкрикнул:

— Почему вы его убили, mi coronel?

— Потому что он во всем признался, — с наглостью отчаяния ответил Сотильо. Он понимал: он загнан в угол. Но не смутился, и ему помогло свойственное ему наглое бесстыдство… и репутация — ведь офицеры знали своего полковника. Никто из них не сомневался, что он способен совершить такой поступок. Им хотелось верить, что Сотильо в самом деле выведал у Гирша, где спрятано серебро. Ничто не делает человека таким легковерным, как алчность, ничто не заставляет его терять разум в такой степени и падать столь низко. Ах вот как, он во всем признался, этот чертов еврей, этот плут. Прекрасно! И теперь он больше никому не нужен. Капитан, мужчина с крупной головой, маленькими глазками и неподвижными мясистыми щеками, вдруг расхохотался гулким басом. Старик-майор, долговязый и оборванный, как пугало, описал круг и оглядел со всех сторон тело сеньора Гирша, безмятежно бормоча себе под нос, что теперь-то наконец уж можно успокоиться — этот негодяй не будет больше их

дурачить. Остальные таращились на покойника, переминаясь с ноги на ногу и перешептываясь.

Сотильо пристегнул к поясу саблю и резким властным тоном приказал незамедлительно начинать отступление. Устрашающий и зловещий в своем надвинутом на лоб сомбреро, он первым вышел из дверей и, пребывая в полнейшем смятении чувств, забыл дать распоряжения на случай, если доктор Монигэм возвратится в таможню. Офицеры, сгрудившись толпой, вышли следом, человека два из них украдкой оглянулись на усопшего сеньора Гирша, коммерсанта из Эсмеральды, который так и остался на дыбе, освещенный двумя свечами. Громадная тень, которую его голова и плечи отбрасывали на стену опустевшей комнаты, казалось, шевелилась как живая.

На берегу солдаты в полной тишине строились и отбывали поротно без барабанов и горнов. Старое пугало майор командовал арьергардом; но солдаты, которым он велел остаться, сжечь таможню «и заодно спалить распроклятого предателя еврея», слишком торопились и не сумели развести такой огонь, чтобы загорелись ступени.

И сеньор Гирш остался пока единственным хозяином недостроенного угрюмого и пустынно-

го здания таможни, где гулко хлопали двери и щелкали замки, где с таинственным шорохом носились по полу клочки изорванной бумаги и при каждом порыве ветра, пробегавшего под высокой крышей, слышался трепетный вздох. Пламя двух свечей, озарявших бездыханное тело, бросало мерцающий отсвет, видный издали на берегу и на воде, словно кто-то посылал сигналы сквозь ночную тьму. Покойник дождался Ностромо и напугал его, дождался Монигэма и его озадачил.

— Почему же его застрелили? — повторил доктор уже громче. Ностромо желчно рассмеялся.

— Застрелили, и делу конец. Обычная вещь, сеньор доктор. И что вы так волнуетесь, понять не могу. Я думаю, скоро нас всех тут перестреляют, не Сотильо, так Педрито, или Фуэнтес, или Гамачо. И на дыбу могут вздернуть, а может, и похуже того… quién sabe? Вы ведь сами вбили в голову Сотильо, что где-то запрятано серебро.

— Там нечего было вбивать, — возразил доктор, — я только…

— Верно сказано. Вы только гвоздиком приколотили, так что теперь даже сам дьявол…

— Я сделал именно то, что собирался, — перебил его доктор.

— Именно то, что собирались. Bueno. А я что

говорю? Вы человек опасный.

Они переговаривались вполголоса, но разговор перешел в ссору и внезапно оборвался. Усопший сеньор Гирш — вертикальная тень на фоне звездного окна, — казалось, внимательно прислушивался к их словам, бесстрастно храня молчание.

Впрочем, доктор Монигэм не собирался ссориться с Ностромо. Сейчас, когда решалась судьба Сулако и его обитателей, он наконец-то понял, что человек этот воистину незаменим, что даже восторженный капитан Митчелл, гордый своей находкой, не представляет себе, насколько он незаменим; и что как бы ни изощрялся Декуд по поводу «своего прославленного друга, неподражаемого капатаса каргадоров», истинное положение дел превосходит самый бурный взлет его иронической фантазии. Он и в самом деле неподражаем. Не один на тысячу. Единственный. Было что-то в этом генуэзском моряке, что делало его вершителем многих судеб, и исход многих великих начинаний зависел от него, и капиталы Чарлза Гулда, и участь обворожительной женщины. Эта последняя мысль так подействовала на доктора, что ему пришлось откашляться прежде, чем он смог заговорить.

И уже совершенно другим тоном он заметил капатасу, что, собственно говоря, ему ведь ничего не грозит. Все считают его погибшим. Это большое преимущество. Нужно только скрыться в Каса-Виола, где старик-гарибальдиец, как известно, сейчас совсем один… не считая его умершей жены. Все слуги разбежались. Никому и в голову не придет искать его там, да и вообще искать его нигде не будут.

— Именно так бы все и вышло, — холодно сказал Ностромо, — если бы я не встретился с вами.

Доктор ответил не сразу.

— Вы хотите сказать, что, по вашему мнению, я могу вас выдать? — спросил он, запинаясь. — Но зачем? Зачем мне это делать?

— Почем я знаю? Мало ли зачем? Допустим, для того, чтобы выгадать день. Сотильо будет целый день держать меня на дыбе, а может быть, придумает что-нибудь еще, прежде чем всадить мне пулю в сердце, как тому бедняге наверху. Вполне достаточная причина.

Доктор судорожно глотнул. У него пересохло в горле. Не потому, что он был возмущен. Доктор с трогательной наивностью верил, что он утратил право возмущаться кем-нибудь… или чем-нибудь. Он просто испугался. Неужели этот малый

случайно узнал его историю? Если так, все его планы рушатся. Незаменимый человек не станет ему подчиняться, и причина этого — несмываемое пятно, из-за которого считается, что доктор создан для грязной работы. Ему стало так скверно, будто он заболел. Он бы отдал что угодно, чтобы проверить правильность своей догадки, но благоразумней было молчать. Постоянное сознание своей униженности довело его преданность до фанатизма, ожесточило его душу и наполнило ее горечью и печалью.

— И в самом деле достаточная причина, — язвительно откликнулся он. — В таком случае, чтобы спастись, вы должны убить меня прямо на месте. Я буду защищаться. Но вам, конечно, известно, что оружия с собой я не ношу.

— Черт бы вас побрал! — вспылил капатас. — Все вы, важные да образованные, одним миром мазаны. Всех вас надо бояться. Вы предаете бедняков, которые вам служат, как собаки.

— Но ведь вы не знаете… — осторожно начал доктор.

— Знаю я вас всех! — крикнул Ностромо и сделал угрожающий жест, в глазах доктора не более опасный и не более реальный, чем неподвижность сеньора Гирша. — Вам нет дела до простого

человека. Те, кто служит вам, для вас не люди. Да взгляните вы хоть на меня! Сто лет вы меня знаете, и вдруг — я оказываюсь под забором, как бездомный пес, и даже косточки мне никто не кинет. — Тут он почувствовал, что слишком разгорячился, и понизил голос. — Конечно, — иронически добавил он, — я не думаю, к примеру, что вы побежите доносить на меня Сотильо. Не в том дело. Дело в том, что я никто! Вот так вдруг... — Он с горечью махнул рукой. — Никто для каждого из вас, — повторил он.

Доктор с облегчением вздохнул.

— Послушайте, капатас, — сказал он, почти с нежностью протягивая к его плечу руку. — Я хочу вам объяснить одну простую вещь. Вы нужны, и поэтому в безопасности. Никакая сила в мире не может принудить меня вас выдать, потому что вы мне нужны.

Ностромо прикусил губу. Уж этих-то речей он слышал предостаточно. И прекрасно понимает их смысл. Будет с него! Однако теперь ему следует вести себя осмотрительно. Кроме того, подумал он, ссориться с доктором опасно. Доктор, хоть и признан был искуснейшим целителем, считался в народе дурным человеком. Это мнение возникло и утвердилось из-за странной наружности

доктора, насмешливой и грубой манеры говорить — доказательств видимых, ощутимых и неопровержимых. А Ностромо был человек из народа. Он сдержался и лишь недоверчиво хмыкнул.

— Говоря начистоту, — продолжал доктор, — вы единственная наша надежда. В вашей власти спасти город и… всех, кто там живет, от гибельной алчности этих людей…

— Нет, сеньор, — угрюмо сказал Ностромо. — Не в моей это власти — вернуть вам сокровище, чтобы вы могли отдать его Сотильо или Педрито, или Гамачо. Я и сам не знаю, где оно.

— Невозможного никто не ожидает, — последовал ответ.

— Никто… вы сами это сказали: никто, — угрожающе пробормотал Ностромо.

Но доктор Монигэм, загоревшись надеждой, не обратил внимания на загадочность слов и угрожающую интонацию. Усопший сеньор Гирш, которого они, привыкнув к темноте, теперь более отчетливо видели, казалось, придвинулся к ним. Доктор понизил голос, словно опасаясь, как бы покойник не подслушал их.

Посвящая Ностромо в свой план, он почтил «незаменимого человека» полным доверием. Поручение было весьма опасным и поэтому,

конечно, лестным, к чему Ностромо давно уж привык. Капатас был раздосадован, растерян, и просьба доктора лишь подлила масла в огонь. Ну как же не понять, что доктор стремится спасти рудники Сан-Томе. Ведь он без них ничто. Он для себя старается. Точно так же как старались для себя, переманивая на свою сторону каргадоров, сеньор Декуд, все бланко, европейцы. Декуд… Что с ним сталось, хотел бы он знать…

Долгое молчание Ностромо встревожило доктора. Он разволновался и без всякой нужды напомнил капатасу, что хотя сейчас тот в безопасности, но невозможно же скрываться вечно. Капатасу предстояло сделать выбор: либо, преодолевая все преграды и опасности, отправиться гонцом к Барриосу, либо покинуть Сулако тайком, бесславно и без денег.

— Ни один из ваших друзей сейчас не в состоянии вознаградить вас или защитить. Даже сам дон Карлос.

— Мне не нужно ни вашей защиты, ни ваших наград. Мне бы одного только хотелось: чтобы я мог положиться на ваше мужество и здравый смысл. Ведь когда я с триумфом, как вы говорите, вернусь сюда вместе с Барриосом, мы можем вас не застать. У каждого, у всех приставлен к

горлу нож.

Тут надолго замолк доктор, с ужасом представляя себе всевозможные опасности, поджидающие тех, кто остается в городе.

— Ну что ж, мы полагаемся на ваше мужество и ваш здравый смысл. Кстати, нож приставлен и к вашему горлу.

— Верно! А кого мне за это благодарить? Что мне ваша политика и ваши рудники, ваше серебро и ваши конституции, ваш дон Карлос такой-то и дон Хосе такой-то…

— Я не знаю, — с яростью ответил доктор. — И не спрашивайте меня. Опасность грозит невинным людям, один мизинец которых стоит больше, чем мы с вами и все рибьеристы вместе. Понятия не имею, кого вам благодарить. Вам бы спросить себя об этом до того, как вы позволили Декуду втянуть вас в эту историю. Вы мужчина, вам полагается думать. Но коль скоро вы не соизволили подумать, постарайтесь действовать сейчас, как полагается мужчине. Неужели вы воображаете, будто Декуда очень беспокоило, что может с вами случиться?

— Не больше, чем вас, — буркнул Ностромо.

— Неправда. То, что с вами может случиться, тревожит меня так же мало, как то, что может

случиться со мной.

— Потому что вы такой преданный рибьерист? — недоверчиво спросил Ностромо.

— Да, потому что я преданный рибьерист, — хмуро подтвердил доктор.

И снова Ностромо, уставившись на труп сеньора Гирша, надолго замолк, размышляя, что доктор Монигэм не только человек опасный, но к тому же очень непростой. Довериться такому человеку невозможно.

— Вы говорите от имени дона Карлоса? — спросил он наконец.

— Да, — ответил доктор громко и без колебаний. — Теперь он должен согласиться. Должен, — добавил он так тихо, что Ностромо его не расслышал.

— Что вы сказали, сеньор?

Доктор вздрогнул.

— Я сказал, что вы должны быть верным себе, капатас. Потерпеть сейчас поражение непростительно и глупо.

— Верным себе, — повторил Ностромо. — А может быть, я окажусь верным себе, если пошлю вас с вашими предложениями к черту?

— Очень возможно. Как угодно, — неприязненно ответил доктор, напускной грубостью стараясь

скрыть, что у него упало сердце и дрогнул голос. — Я знаю только одно: вам нужно убираться отсюда, да поживее. В любой момент Сотильо может кого-нибудь прислать за мной.

Он слез со стола и прислушался. Ностромо тоже встал.

— Ну, положим, я поеду в Каиту; что тем временем будете делать вы?

— Пойду к Сотильо, как только вы отправитесь отсюда… тем способом, который я предложил.

— Отличный способ… если только согласится этот ваш главный инженер. Напомните ему, сеньор, что это я приглядывал за старым англичанином, которому принадлежит железная дорога, что именно я спас от смерти его служащих, когда сюда нагрянули бандиты с юга и чуть было не сбросили с путей какой-то поезд. Рискуя жизнью, я проник в их планы — притворился, будто собираюсь им помочь, в точности как вы сейчас с Сотильо.

— Да, конечно. Впрочем, я могу ему привести и более веские аргументы, — поспешно сказал доктор. — Предоставьте это мне.

— Конечно вам! Еще бы! Ведь я — ничто.

— Да будет вам! Вы — всё, и превосходно это знаете.

Они направились к дверям. Сеньор Гирш не шевельнулся, — так всегда ведет себя человек, на которого не обращают внимания.

— Об этом не тревожьтесь. Я знаю, что надо сказать инженеру, — негромко продолжал доктор. — С Сотильо будет потрудней.

И доктор Монигэм внезапно остановился, словно испугавшись этих трудностей. Он решился пожертвовать жизнью. Считал цель достойной этой жертвы. Но у него не было стремления расстаться с жизнью как можно скорей. Взяв на себя роль предателя, он рано или поздно должен будет указать место, где спрятано сокровище. Тогда игре придет конец, и конец придет ему самому, ибо, обманувшись в своих надеждах, полковник непременно с ним расправится. Вполне естественно, что доктору хотелось оттянуть этот момент; а для этого надо назвать такое место, где вполне могло быть спрятано сокровище, но где его трудно будет найти.

Он поделился своими заботами с Ностромо и напоследок добавил:

— Знаете что, капатас? Я думаю, когда наступит время и мне уже нельзя будет молчать, я назову Большую Изабеллу. Ничего лучшего я не мог придумать. Что с вами?

Нострómо тихо вскрикнул. Доктор удивленно помолчал, потом услышал хриплый запинающийся голос: «Какая глупость!» — и удивленно посмотрел на моряка.

— Глупость? Почему?

— Ох! Да неужели вы не понимаете, — метнув на доктора уничтожающий взгляд, сказал Нострómо и высокомерно начал объяснять: — Три человека за полчаса выяснят, что на острове никто ничего не закапывал. Вы что же думаете, сеньор доктор, что такой огромный клад можно зарыть, не оставив следов? Выиграете вы полдня, никак не больше, а потом Сотильо перережет вам горло. Изабеллы! Это же надо придумать! Никакой изобретательности! А!.. все вы на одну колодку, умные и образованные. Единственное, на что вы годитесь, втравить простого человека в такие дела, какие грозят ему смертью, а зачем втравить — вы иногда сами не знаете. Получится — вся выгода вам. Не получится — плевать. Что такое простой человек — собака. О, Madre de Dios![153] Да я… — и Нострómо потряс кулаком.

Он шипел, он клокотал от ярости, и изумленный доктор поначалу просто онемел.

---

[153] Примечания: 153
Матерь Божия *(исп.)*.

— Сдается мне, — угрюмо произнес он наконец, — что простые люди тоже не такие уж дураки. И коль скоро вы умны, то посоветуйте. Какое место мне назвать?

Ностромо успокоился так же быстро, как вспыхнул.

— Да, для этого у меня хватит ума, — ответил он негромко, чуть ли не равнодушно. — Вам надо назвать укрытие достаточно большое, чтобы они рылись там несколько дней… да к тому же такое, где можно спрятать эти слитки и не оставить на поверхности следов.

— И расположенное неподалеку, — добавил доктор.

— Именно так, сеньор. Скажите ему, что серебро затонуло.

— У вашей выдумки большое преимущество — она состоит в том, чтобы сказать Сотильо правду, — презрительно заметил доктор. — Он не поверит ей.

— А вы скажите ему, что оно затонуло там, где есть надежда выудить его, тогда он вам охотно поверит. Скажите, что серебро нарочно потопили так, чтобы когда-нибудь его смогли поднять со дна водолазы. Скажите ему, что вы узнали, будто дон Карлос приказал мне осторожно опу-

стить тюки со слитками в воду, поставив баркас где-то на линии, соединяющей конец пирса со входом в гавань. Там не очень глубоко. Водолазов у Сотильо нет, зато есть пароход, шлюпки, цепи, канаты, матросы… какие-никакие, а есть. Пусть он пошарит там, поищет серебро. Пусть его олухи почистят драгой дно вдоль и поперек, взад и вперед, а он пусть пялится на них, пока глаза не лопнут.

— И в самом деле восхитительная идея, — одобрил доктор.

— Sí. Скажите ему так и можете не сомневаться: он вам поверит. Он будет мучиться, беситься, и все же он поверит вам. У него мысли будут заняты лишь этим. Он не отступится до тех пор, пока его не выгонят из города… он даже, может быть, забудет вас убить. Он ни есть, ни спать не будет. Он…

— Превосходно! Превосходно! — повторял возбужденным шепотом доктор. — Капатас, я начинаю верить, что вы гений в своем роде.

Ностромо умолк; потом опять заговорил, но уже не возбужденно и не убеждая доктора, а угрюмо рассуждая с собой и как будто позабыв о собеседнике.

— Сокровище — это что-то такое, о чем, как ни стараешься, нельзя забыть. Ты и молиться

будешь, и богохульствовать, да все равно не выбросишь этой мысли из головы, ты проклянешь тот день, когда о нем услышал, и не заметишь, как придет твой смертный час, но так и будешь верить до конца, что еще чуть-чуть, и сокровище достанется тебе. Глаза закроешь, а оно перед тобой. Ты до самой смерти о нем не забудешь и даже после… Доктор, слышали вы о несчастных этих гринго с Асуэры, которые никак не могут умереть? Ха-ха! Такие же, как я, матросы. От сокровища нет спасенья, если ты хотя бы раз о нем подумал.

— Вы настоящий дьявол, капатас. Все это очень убедительно.

Ностромо сжал ему плечо.

— Это измучает его сильнее, чем жажда на море или голод в городе, полном людей. Знаете, что его ждет? Муки, более страшные, чем те, которым он подверг этого лишенного изобретательности беднягу. Вот уж у кого ее не было! Никакой! Ну совершенно никакой! Другое дело я! Без всяких пыток я бы им такую историю рассказал!

С ужасным хохотом он обернулся и с порога взглянул на труп сеньора Гирша — темное продолговатое пятно в полупрозрачной мгле между двумя колоннами высоких окон, полных звезд.

— Эй ты, невольник страха! — крикнул он. — За тебя отомщу я, Ностромо. Прочь с дороги, доктор! Отойдите… не то, клянусь страдающей душою женщины, что умерла без исповеди, я вас задушу вот этими руками.

Он устремился вниз по лестнице в полный дыма черный зал. Доктор Монигэм удивленно крякнул и ринулся за ним следом. Добежав до обгорелых нижних ступенек, он споткнулся и ударился головою о пол с такой силой, что из него дух бы вышибло, если бы этот дух был менее стоек и не закален служением великим идеалам любви и преданности. В одно мгновение доктор вскочил, хотя его так тряхнуло, что у него возникло странное чувство, будто кто-то в темноте запустил ему в голову земным шаром. Впрочем, этого было недостаточно, чтобы остановить доктора Монигэма, объятого экстазом самопожертвования, рациональной экзальтацией, направленной на то, чтобы не упускать даже случайных преимуществ. Он бежал сломя голову, он ковылял с невероятной скоростью и, стараясь сохранить равновесие, размахивал руками, словно мельница крыльями. Он потерял шляпу, полы расстегнутого пиджака трепыхались сзади. Он ни в коем случае не должен упустить самой судьбою

посланного ему незаменимого человека. Но он бежал еще долго и был далеко от таможни, когда смог наконец, запыхавшись, протянуть руку и схватить Ностромо за плечо.

— Остановитесь! Вы с ума сошли?

Ностромо к тому времени уже шел медленно, понурив голову: усталость разом навалилась на него и сломила его, изнурила.

— А вам-то что? Ах, я забыл, я вам зачем-то нужен. Как всегда. Siempre Nostromo![154]

— С чего это вам вздумалось грозить, что вы меня задушите?

— С чего вздумалось? Да потому, что царь всех дьяволов выудил вас из этого города болтунов и трусов именно этой ночью и подсунул мне.

Под звездным небом на темном просторе равнины возникло черное, приземистое здание гостиницы «Объединенная Италия». Ностромо остановился.

— Священники называют его искусителем, так ведь? — спросил он сквозь стиснутые зубы.

— Вы, любезнейший, порете чушь. Дьявол никакого отношения к этому не имеет. Равно как и город, который вы можете называть как вам вздy-

---

[154] Примечания: 154
Всегда Ностромо! *(исп.)*

мается. Но дон Карлос Гулд не болтун и не трус. Вы признаете это? — Он подождал ответа. — А?

— Могу я повидать дона Карлоса?

— Силы небесные! Конечно нет! Зачем? Для чего? — взволнованно воскликнул доктор. — Говорю вам, вы сошли с ума. Я ни в коем случае вам не позволю войти в город.

— Но мне нужно.

— Нет! — яростно отрезал доктор, чуть не обезумев от страха при мысли, что этот человек из-за какой-то дурацкой причуды может лишить их той пользы, которую он способен принести. — Говорю же, вам нельзя туда ходить. Я бы скорей…

Он замолчал, не зная, что еще сказать, обессиленный, измученный после долгого бега, и уцепился за рукав Ностромо, просто чтобы удержаться на ногах.



— Везде предательство! — пробормотал Ностромо; и доктор, который услыхал его слова, хотя и не понял их смысла, принялся его убеждать.

— Именно это с вами и случится. Кто-нибудь непременно вас предаст.

Внезапно он, похолодев от ужаса, подумал, что Ностромо знаком абсолютно всем, и нет такого человека, который не узнал бы его при встрече. Дом сеньора администрадора, конечно, осажден шпионами. Даже слугам нельзя доверять.

— Поразмыслите над этим, капатас, — произнес он внушительно. — Чему вы смеетесь?

— Я смеюсь потому, что подумал: вот, к примеру, пусть даже кому-нибудь не понравится, что я явился в город — вы меня поняли, сеньор доктор? — и этот человек выдаст меня Педрито, я ведь и с ним сумею подружиться. Истинная правда. Вы согласны со мной?

— Ваши возможности безграничны, капатас, — уныло согласился доктор. — Признаю. Но в городе только и говорят что о вас, а несколько каргадоров, которые не успели спрятаться на товарной станции вместе со служащими железной дороги, сегодня весь день кричали «Viva Montero!» на Пласе.

— Бедные мои каргадоры, — тихо пробормотал

Нострómо. — Их предали. Всех предали!

— Полагаю, в свое время на пристани вы довольно щедро угощали палкой ваших бедных каргадоров, — сухо сказал доктор — он уже успел прийти в себя. — Вы слишком самонадеянны. Педрито в бешенстве оттого, что вы спасли жизнь сеньора Рибьеры и лишили его удовольствия расстрелять Декуда. По городу уже ходят слухи, что сокровище похищено. Это тоже мало радует Педрито; и хочу добавить: если бы серебро находилось у вас в руках и вы предложили бы его как выкуп, это все равно бы вас не спасло.

Нострómо резко повернулся к доктору, схватил его за плечи и рывком притянул к себе.

— Maladetta![155] Вы следите за каждым моим словом. Вы поклялись меня погубить. Вы были последним, кто посмотрел на меня, перед тем как я отправился в море. А Сидони, машинист, говорит, что у вас дурной глаз.

— Кому же знать, как не ему. В прошлом году он сломал ногу, а я его вылечил, — ответил доктор, но спокойствие давалось ему нелегко. Очень уж крепко давили ему на плечи эти руки, умевшие, как утверждала молва, гнуть подковы и рвать

---

[155] Примечания: 155
Проклятье! *(ит.)*

канаты. — Что до вас, я предлагаю вам самый надежный способ спасти вашу жизнь — да отпустите же! — и в полном блеске восстановить свою славу. Вы похваляетесь, что из-за этого пресловутого серебра капатас сулакских каргадоров прогремит на всю Америку. Я предоставлю вам более блестящую возможность… уберите руки, hombre![156]

Ностромо неожиданно отдернул руки, и доктор испугался, как бы незаменимый человек опять не убежал. Но тот шел медленно. Доктор терпеливо ковылял с ним рядом до тех пор, пока уже у самой Каса-Виола моряк не остановился.

Притихшая, негостеприимно темная, Каса-Виола была неузнаваема; Ностромо почудилось, будто дом, который он привык считать родным, стал таинственно враждебным и безжалостно его от себя отторгает.

— Здесь вы будете в безопасности, — сказал доктор. — Входите, капатас.

— Как я могу сюда войти? — тихо проговорил Ностромо, казалось, обращаясь к самому себе. — Того, что сказала она, не изменишь, и того, что сделал я, уже не повернешь вспять.

---

[156] Примечания: 156
Здесь: уберите руки, любезный! *(исп.)*

— Право же, вы можете быть спокойны. Виола там совершенно один. Я заглядывал сюда по пути из города. Пока вы в этом доме, вам ничто не грозит, а потом вы его покинете и совершите подвиг, после которого о вас заговорит все побережье. Я сейчас условлюсь с главным инженером дороги, как вас переправить, и еще до утра принесу вам ответ.

И доктор, игнорируя молчание Ностромо, а возможно, опасаясь вникать в его смысл, похлопал его по плечу и направился в сторону железной дороги, бодро прихрамывая, даже подскакивая слегка на ходу, и вскоре растворился в темноте. Остановившись между двумя столбами, к которым постояльцы привязывали лошадей, Ностромо замер в неподвижности, будто и его, как столб, врыли в землю. Через полчаса он поднял голову, услышав лай собак на товарной станции, лай внезапный, возбужденный, и в то же время этот шум раздавался так приглушенно, словно шел из-под земли. Хромой доктор с дурным глазом быстро туда добрался.

Ностромо шаг за шагом начал приближаться к гостинице «Объединенная Италия», такой безлюдной, такой темной, какой он не видел ее никогда. В стене, белевшей среди мглы, зиял

черный проем двери — дверь была распахнута, как и сутки назад, когда он выходил отсюда, еще не думая, что ему надо что-то прятать и скрывать. В нерешительности остановился он перед порогом… Кем он стал теперь? Жертва предательства, беглец. Горе, нищета, голодная смерть! Где он слышал эти слова? Умирающая в гневе предрекла ему эту судьбу. Быстро же сбылось ее пророчество! Даже уличные воришки будут смеяться над ним, сказала она. Ну еще бы им не смеяться, если они узнают, что знаменитым капатасом теперь помыкает сумасшедший доктор, еще несколько лет назад покупавший вместе с ними на Пласе миску похлебки на медные деньги.

Тут он подумал: не надо ли разыскать капитана Митчелла. Он бросил взгляд в сторону пристани и увидел, что в конторе ОПН мерцает свет. Но сейчас его пугали светящиеся окна. Два светящихся окна заманили его в пустую таможню, где в него вцепился этот доктор. Нет уж! К освещенным окнам он этой ночью больше не подойдет. Капитан Митчелл там. Что ему можно рассказать? Доктор выудит у него все, как у малого ребенка.

Он ступил на порог и негромко окликнул: «Джорджо!» Никто не отозвался. Он вошел в дом. «Эй, старик! Ты тут?» Со всех сторон его окутала

непроницаемая тьма, и ему почудилось на миг, будто кухня так же огромна, как Гольфо-Пласидо, а пол уходит из-под ног, словно палуба тонущего баркаса. «Эй, старик!» — повторил он с запинкой, слегка покачиваясь. Он вытянул руку, чтобы сохранить равновесие, и коснулся стола. Он сделал шаг к столу, пошарил там и нащупал коробок спичек. Ему показалось, что он услышал тихий вздох. Сначала он прислушался, затаив дыхание; потом дрожащими руками чиркнул спичкой.

Спичка вспыхнула и ярко запылала, а он поднял ее вверх и, прищурившись, вгляделся в темноту. Огонек осветил львиную седую гриву Джорджо, который сидел, наклонившись вперед, скрестив ноги, опираясь щекой на руку, зажав в зубах пустую трубку и неподвижно глядя перед собой; а вокруг все темно — черный камин за спиной, густые тени, нависшие над головою старика, обступившие его со всех сторон. Он долго не шевелился, потом поднял голову, и в то же мгновение спичка догорела, и тени его поглотили — казалось, крыша и стены опустевшего дома беззвучно опустились на седую голову старика.

Он пошевелился в темноте и невозмутимо произнес:

— Наверное, почудилось.

— Нет, — сказал Ностромо тихо. — Не почудилось, старик.

Низкий грудной голос Виолы гулко прозвучал в пустой комнате:

— Это ты говоришь со мной, Джан Батиста?

— Я, старик. Потише. Не так громко.

Джорджо Виолу после того, как его отпустил Сотильо, проводил почти до самых дверей гостиницы главный инженер, и старик снова оказался в доме, из которого его увели чуть ли не в тот самый миг, когда скончалась его жена. Все было тихо. Под потолком горела лампа. Забывшись, он едва не окликнул жену, но тут же вспомнил, что теперь она никогда уже не отзовется, и грудь его пронзила острая боль, он громко застонал и рухнул в кресло.

Так он молча просидел всю ночь. За окном начало сереть, потом проглянул тусклый бесцветный рассвет и проступила зубчатая стена Сьерры — плоская, как будто вырезанная из бумаги.

Восторженная и суровая душа Джорджо Виолы, моряка, защитника угнетенных, недруга королей и, милостями миссис Гулд, хозяина местной портовой гостиницы, блуждала в пустыне отчаяния среди обломков навек утраченного прошлого. Недолгим было его ухаживание: всего одна короткая

неделя во время сбора оливок в промежутке между двумя походами. Мрачная глубокая страсть владела им в эти дни, с ней могло сравниться лишь объявшее его сейчас жгучее чувство утраты. Лишь теперь он понял, как необходимо ему было слышать этот навеки умолкнувший голос.

О ее голосе он тосковал больше всего. Поглощенный то делами, то раздумьем, он редко в последние годы смотрел на жену. Он вспомнил о дочерях, но эта мысль принесла не утешение, а тревогу. Он тосковал о голосе жены. Потом он вспомнил старшего ребенка, сына, который умер совсем маленьким на корабле… Да… будь в семье мужчина, он нашел бы в нем опору. А тут, о горе! Даже Джана Батисты, которого Тереза с таким жаром прочила Линде в женихи перед тем, как погрузилась в свой последний сон, Джана Батисты, которого она перед смертью заклинала быть защитником ее детей… даже его нет в живых!

И старик, нагнувшись, опираясь головою на ладонь, неподвижно просидел весь день в глубоком одиночестве. Он не слышал отчаянного трезвона колоколов. Колокола умолкли, наступила тишина, только капли из глиняного фильтра в углу кухни звонко падали в большой кувшин.

Незадолго до захода солнца он встал и начал

медленно подниматься по узкой лестнице, ведущей вверх. Его широкие плечи, прикасаясь к стенам, издавали тихий шорох, словно мышь скреблась в норе. Он долго сидел наверху; дом был нем, как могила. Затем с таким же еле слышным шорохом спустился вниз. В кухне ему пришлось хвататься за столы и стулья, прежде чем он добрался до места. Он взял трубку с высокой каминной доски, но табак искать не стал, просто сунул в рот пустую трубку и, сдвинув ее в угол рта, сидел все так же неподвижно, глядя в одну точку. Солнце, осветившее вступление Педрито в город, последние часы сеньора Гирша, первую одинокую вахту Декуда на Большой Изабелле, проследовало над гостиницей «Объединенная Италия», двигаясь на запад. Умолкли капли, звонко падавшие из фильтра, погасла лампа под потолком, на Джорджо Виолу и его мертвую жену спустилась ночь, безмолвная и темная, и, казалось, безмолвию и темноте не будет конца, пока воскресший из мертвых капатас не обратил их в бегство, чиркнув спичкой.

— Sí, viejo[157]. Это я. Погоди.

Заперев дверь на засов и тщательно затворив

---

[157] Примечания: 157
Да, старик *(исп.).*

ставни, Ностромо разыскал на полу свечку.

Старик тем временем встал и, прислушиваясь в темноте к звукам, следил взглядом за Ностромо. Засветив огонь, Ностромо увидел, что старый Виола крепко стоит на ногах, словно одно лишь присутствие человека, верного, храброго, неподкупного, в точности такого же, каким мог бы стать его сын, влило в него новые силы.

Джорджо вытянул руку, сжимая вересковую трубку, чашечка которой слегка обгорела по краям, и зажмурился от света, насупив кустистые брови.

— Ты вернулся, — проговорил он, стараясь держаться с достоинством. — Что ж, прекрасно! Я…

Его голос дрогнул, и он замолчал. Ностромо кивнул; он стоял, прислонившись к столу и скрестив на груди руки.

— А ты думал, я утонул? Нет! Самая выносливая из собак, которые служат этим аристократам, этим богачам, этим благородным господам, не способным ни на что, кроме предательства и болтовни, еще не сдохла.

Старый гарибальдиец стоял не шевелясь и словно впитывал в себя звук знакомого голоса. Он слегка кивнул, как будто выражая одобрение; но Ностромо ясно видел, что старик ни слова не

понял. Никто его не поймет; никому нельзя чистосердечно рассказать о судьбе Декуда, о своем спасении, о сокровище. Этот доктор враг простых людей… искуситель…

Старик вздрогнул — он старался подавить волнение, охватившее его при виде этого человека, который был в его доме своим, который заменил ему сына.

— Она верила, что ты вернешься, — произнес он торжественно.

Ностромо поднял голову.

— Она была умная женщина. Разве я мог не вернуться… — И мысленно закончил: «…если она мне предрекла горе, нищету и голодную смерть?»

Произнесенное в гневе предсказание Терезы, оскорбленный крик души, которой отказали в надежде обрести покой на небесах, заронило в душу Ностромо суеверные страхи, от которых часто не свободны даже самые отважные и удачливые из людей. Он ощущал себя во власти могущественных и недобрых сил. Какое страшное проклятие! И произнесла его она, единственная женщина, которую он звал матерью, — ведь он так рано осиротел, что родной своей матери не помнит. Слова, сказанные ею, обрекают на провал любое

его начинание. И обстоятельства подтверждают это. Сама смерть избегает его теперь… Он с досадой сказал:

— Пойдем, старик! Дашь мне чего-нибудь поесть. Я голоден. Sangre de Dios![158] Так голоден, что просто кружится голова.

Уткнувшись подбородком в открытую грудь, скрестив руки, босой, нахмуренный, он смотрел, как старый Виола ищет для него еду, и был впрямь похож на человека, на которого пало проклятие, — сломленный, угрюмый, бессильный.

[158] Примечания: 158
Клянусь Господом! *(исп.)*



Старый Виола, не говоря ни слова, высыпал на стол сухие хлебные корки и половину луковицы.

Ностромо с жадностью принялся поглощать это нищенское угощение, а старый гарибальдиец отошел в угол и, присев там на корточки, налил в глиняную кружку красного вина из оплетенного прутьями большого кувшина. Привычным жестом, словно прислуживая посетителям, он сунул трубку в зубы, чтобы высвободить руки.

Ностромо залпом выпил вино. Загорелые щеки его слегка раскраснелись. Виола остановился перед ним и, кивнув большой седой головой в сторону лестницы, вынул изо рта пустую трубку и печально произнес:

— После того как здесь внизу раздался выстрел и убил ее… да, да, убил, так, словно кто-то целился в нее, и пуля попала ей в сердце, она позвала тебя и попросила, чтобы ты спас наших детей. Тебя позвала, Джан Батиста.

Ностромо поднял голову:

— В самом деле? Спасти детей? Их увезла английская сеньора, ваша благодетельница. Да, да! Твоя благодетельница, старик, представитель простого народа…

— Я стар, — тихо ответил Джорджо Виола. — Когда-то одной англичанке разрешили принести

постель для раненого Гарибальди, лежащего в темнице. Для величайшего из людей. Он был тоже представителем народа — простой матрос. Отчего бы не позволить другой англичанке дать мне приют и кров над головой? Я стар. Я могу позволить ей это. Жизнь тянется слишком уж долго.

— Она сама может вскоре лишиться крова над головой, если я… Так что ты говоришь? Я должен ей помочь. Я должен не жалеть усилий и спасти всех «бланко» с нею заодно?

— Ты должен так сделать, — твердо сказал старик. — Ты должен сделать то, что сделал бы мой сын…

— Твой сын!.. Прекрасный, старина, у тебя сын. Значит, должен… А вдруг это просто ловушка… я ведь проклят, она прокляла меня, старик… Позвала, говоришь, и просила спасти? А потом?

— Больше она не сказала ни слова. — Героический соратник Гарибальди, представив себе мертвенный покой и тишину, царящие там, наверху, где на кровати лежит окутанное саваном тело, нахмурился, отвернулся и прижал ко лбу руки. — Она умерла; я не успел даже к ней подойти, — жалобно сказал он.

А капатас глядел в темный дверной проем, ведущий из кухни на лестницу, и перед его гла-

зами проплывала Большая Изабелла, похожая на корабль, терпящий бедствие и груженный несметным богатством и безысходным одиночеством невольного отшельника. Он ничего не в силах сделать. Единственное, что он может, — это держать язык за зубами, поскольку никому нельзя доверять. И сокровище будет потеряно, если только Декуду… Течение его мыслей внезапно пресеклось: он ни малейшего понятия не имеет, что может сделать Декуд.

Старик Виола стоял не шевелясь. Капатас, сидевший также неподвижно, опустил длинные ресницы, благодаря которым в верхней части его свирепого, усатого лица светилось что-то нежное, девически наивное. Они долго молчали.

— Да успокоит Господь ее душу, — мрачно проговорил капатас.

Глава X

Утро наступившего дня было тихим, и лишь с севера, со стороны Лос-Атоса, доносился слабый отзвук перестрелки. Капитан Митчелл, стоя на своем балконе, прислушивался к нему с тревогой. Фраза — «В моем щекотливом положении, сэр, единственного представителя консульства,

я имел все основания тревожиться по любому поводу, буквально по любому» — неизменно фигурировала в принявшем стереотипные формы повествовании об «исторических событиях», которым он впоследствии в течение нескольких лет потчевал всех знатных иностранцев, посещавших Сулако. Далее упоминалась необходимость соблюдать достоинство и в то же время нейтралитет, что было крайне трудно в его положении, «когда находишься в самой гуще событий, когда бушуют политические страсти, и, с одной стороны, бесчинствует этот пират Сотильо, а с другой — несколько более упорядоченная на вид, но по существу ничуть не менее жестокая и даже зверская тирания его превосходительства дона Педро Монтеро». Капитан Митчелл вовсе не любил преувеличивать опасность. Тем не менее он уверял, что это был знаменательный день. В тот день, незадолго до вечера, он встретил «этого беднягу, моего подручного — Ностромо. Простой матрос, которого я открыл и, смею сказать, самолично создал, сэр. Вы ведь слышали, как он ездил в Каиту. Историческое событие, сэр!».

Капитану Митчеллу, которого компания признавала одним из самых своих старинных и преданных слуг, было позволено завершить

эту службу, занимая почетный и необременительный пост главы огромного, непомерно разросшегося учреждения. Учреждение все разрасталось, оно включало в себя толпы клерков, городскую контору и старую контору в гавани, оно подразделялось на отделы: пассажирский, перевозочный, грузовой и так далее, и именно это давало капитану Митчеллу возможность в полном безделье провести остаток своих дней в столице Западной республики, возрожденном Сулако.

Любимый горожанами за добродушие и церемонность манер, помпезный и наивный, он и сам ощущал себя человеком, далеко не лишенным значения в городе. Он вставал рано, чтобы побывать на рынке, пока гигантская тень Игуэроты еще не покинула радующие глаз экзотическими красками прилавки с цветами и фруктами; с умеренным любопытством следил за городскими сплетнями; раскланивался с дамами на Аламеде; был членом всех клубов и постоянным гостем Каса-Гулд, — одним словом, вел приятный образ жизни светского человека, всеми уважаемого старого холостяка. Но в дни прибытия почтовых пароходов он приезжал в контору порта в ранний час, а у пристани его ждала личная гичка с

одетыми в бело-синюю форму лихими гребцами, готовыми отчалить в тот же миг, когда между волнами покажется нос парохода.

Знатных иностранцев, которых капитан Митчелл встречал, он вел затем в контору и просил там посидеть минуту-две, пока он подпишет бумаги. Потом и сам усаживался за свой стол и продолжал тоном гостеприимного хозяина:

— Времени не так уж много, если вам угодно все увидеть в один день. Мы поедем прямо к ленчу в клубе «Амарилья» — правда, я принадлежу еще и к «Англо-американскому клубу» — горные инженеры и бизнесмены, знаете ли, — а также к клубу «Мирлифлорес» — это новый клуб: английский, французский, итальянский — словом, всякий, — состоит он главным образом из очень милых молодых людей, которые рады хоть чем-нибудь выразить свое почтение к старейшему представителю компании, сэр. Но мы позавтракаем в «Амарилье». Мне кажется, вам будет интересно. Вы ощутите подлинный дух этой страны. Сливки общества, самые знатные семьи, сэр. Президент Западной республики тоже член этого клуба. Во внутреннем дворике симпатичный старый епископ с отбитым носом. Выдающееся произведение скульптуры, на мой взгляд, сэр. Кавальере

Паррочетти — вы ведь знаете, Паррочетти знаменитый итальянский скульптор, он работал здесь в течение двух лет, — был самого высокого мнения о нашем старом епископе. Ну вот! Теперь я к вашим услугам, сэр.

Гордый своей осведомленностью, проникнутый сознанием исторической важности людей, событий, зданий, он осыпал своего слушателя напыщенными отрывистыми фразами, время от времени подчеркивая их смысл легким мановением короткой и толстой руки, дабы ничто не ускользнуло от внимания его знатного пленника.

— Как вы заметили, повсюду строятся дома. Перед тем как совершилось Отделение, здесь была просто выжженная солнцем трава, густо осыпанная пылью, а к пристани вела проселочная дорога. Сейчас все переменилось. Вот ворота, ведущие в гавань. Живописно, не так ли? Раньше город кончался здесь. Вот мы въезжаем на улицу Конституции. Обратите внимание на старинные испанские особняки. Сколько достоинства! М-м? Я думаю, они в точности так же выглядели во времена вице-королей, только мостовая была другой. Сейчас брусчатка. Здесь расположен Сулакский национальный банк, справа и слева от

ворот — караульные будки. По ту сторону — Каса-Авельянос, все без исключения окна нижнего этажа закрыты шторами. Там живет поразительная женщина — мисс Авельянос, прекрасная Антония. Какая личность, сэр! Историческая личность!

Напротив — Каса-Гулд. Как благородно выглядит парадная дверь. Да, да, те самые Гулды, основатели общества, первоначально известного как концессия Гулда, о котором знает теперь весь мир. Я держатель семнадцати тысячедолларовых акций «Рудников Сан-Томе, консолидейтид». Скромные сбережения, сделанные в течение всей жизни, сэр, и их вполне достаточно, чтобы я смог прожить в довольстве остаток своих дней, когда уйду в отставку и вернусь на родину. Надежное помещение капитала, как вы можете судить. Дон Карлос — мой близкий друг. Семнадцать акций, кроме всего прочего, неплохое наследство. У меня есть племянница — замужем за священником, — весьма достойный человек — небольшой приход в Суссексе — бесчисленное множество детей.

Сам я не был женат. Самоотречение — печальный удел моряка. Стоя с несколькими молодыми инженерами здесь, под аркой этого парадного подъезда, и готовясь защищать дом, где все мы

нашли так много гостеприимства и доброты, я видел первую и последнюю атаку кавалеристов Педрито на армию Барриоса, только что захватившую ворота, ведущие в порт. Исход сражения был предрешен новыми винтовками, привезенными беднягой Декудом. Смертоносный огонь. В одно мгновенье улицу загромоздили трупы людей и лошадей. Второй атаки не было.

И таким образом капитан Митчелл целый день потчевал рассказами свою жертву:

— Пласа. По-моему, она великолепна. В два раза больше Трафальгарской площади.

Заняв позицию в самом центре Пласы, залитой солнечным светом, он указывал на отдельные здания:

— Ратуша, ныне дворец президента, кабильдо, где заседает нижняя палата. Заметили вы новые дома на той стороне площади? Компания «Ансани», большой универсальный магазин, наподобие этих кооперативных коммерческих предприятий у нас в Англии. Старик Ансани был убит национальными гвардейцами, когда защищал свой сейф. Именно за это преступление по приговору возглавляемого генералом Барриосом военно-полевого суда был повешен депутат Гамачо, кровожадный, злобный зверь. Племянники

старика превратили «Торговлю Ансани» в фирму, созданную на кооперативных началах.

Вся эта сторона площади сгорела дотла; раньше здесь была аркада. Убийственный огонь — при свете выстрелов я видел конец битвы, видел, как бегут льянеро, как бросают оружие национальные гвардейцы, а шахтеры рудников Сан-Томе — все поголовно индейцы из горных районов — пронеслись потоком под звуки цимбал и труб, с развевающимися зелеными флагами, толпа разъяренных, обезумевших людей в белых пончо и зеленых шляпах — пешком, на мулах, на ослах. Такое зрелище можно увидеть только раз в жизни, сэр. Шахтеры, сэр, промчались через город, их вел дон Пепе верхом на вороном коне, а замыкали шествие их жены, они ехали на burros[159], и при этом били в бубны, сэр, и подбадривали мужей громкими воплями. Помню, у одной из этих женщин на плече сидел зеленый попугай, неподвижный, словно каменная статуэтка. Они только что перед этим спасли своего сеньора администрадора: дело в том, что Барриос, хотя и отдал приказ немедленно начинать наступление, не смог бы успеть вовремя. Педрито Монтеро уже

[159] Примечания: 159
Ослах *(исп.).*

вывел дона Карлоса на расстрел — как много лет тому назад вывели его дядюшку, — и, если бы он был убит, как сказал впоследствии Барриос, «за Сулако не стоило бы сражаться». Сулако без концессии Гулда — ничто, а в горах были заложены тонны динамита, установлены детонаторы, и старый священник отец Роман был готов взорвать рудники при первом же известии о победе Монтеро. Дон Карлос принял решение не оставлять их врагам, и его волю исполняли надежные люди.

Так говорил капитан Митчелл, стоя посреди площади и держа над головой белый зонтик на зеленой подкладке; но, войдя в прохладный сумрачный собор, где пахло ладаном и в полутьме виднелись коленопреклоненные фигуры женщин, одетых в черное или в белое, с лицами, прикрытыми вуалью, он начинал говорить тихо, и голос его звучал торжественно и внушительно.

— Здесь, — говорил он, указывая на нишу в стене, — установлен бюст дона Хосе Авельяноса. «Патриот и государственный деятель, — гласит надпись, — посол в Англии, Испании и так далее, и так далее, скончался на заре Новой Эры в лесах Лос-Атоса, измученный длившейся всю его жизнь борьбой за Справедливость и Права Человека». Вполне похож, сходство передано неплохо.

Работа Паррочетти по старым фотографиям и карандашному наброску, сделанному миссис Гулд. Я был хорошо знаком с этим выдающимся испаноамериканцем старой школы, истинным идальго, любимым всеми, кто его знал.

Мраморный медальон на стене, изображающий женщину, которая сидит, закрыв лицо вуалью и уронив руки на колени, — напоминание о несчастном молодом джентльмене, отправившемся в море вместе с Ностромо в ту роковую ночь. «Памяти Мартина Декуда, его невеста Антония Авельянос». Просто, благородно, открыто. В этом она вся. Необыкновенная женщина. Те, кто полагал, что она безудержно предастся отчаянию, ошиблись, сэр. Многие осуждали ее за то, что она не постриглась в монахини. Этого ожидали. Однако такие, как донья Антония, в монастырь не идут. Она живет в доме своего дядюшки, епископа Корбелана, в их городском особняке. Падре Корбелан — человек неистовый и неустрашимый, он постоянно воюет с правительством по поводу принадлежащих старой церкви земель и монастырей. Уверен, что о нем наслышаны в Ватикане. Теперь войдем в клуб «Амарилья», он прямо против нас, и там позавтракаем.

Едва выйдя из собора и едва ступив на самую

верхнюю из ведущих в него ступеней, капитан Митчелл снова обретал помпезность, голос звучал громко и торжественно, рука совершала все те же кругообразные движения.

— «НАШЕ БУДУЩЕЕ» — вон напротив, на втором этаже, над витринами зеркального стекла; самая большая в городе ежедневная газета. Консервативного или, вернее, я бы сказал, парламентского направления. У нас тут есть парламентская партия, лидер ее — фактический глава государства, дон Хусте Лопес, в высшей степени, я полагаю, прозорливый человек. Могучий интеллект. Демократическая партия опирается главным образом, как ни печально мне это признать, на этих итальянских социалистов, сэр, с их тайными обществами, camorras[160] и тому подобное. Итальянцев тут множество, они осели на землях, принадлежащих железнодорожной компании, — бывшие моряки, механики и так далее: поселения тянутся вдоль всей магистральной линии. На Кампо есть целые итальянские деревни. И туземцев они втягивают в свои дела… Американский бар? Имеется. А вон там еще один. В том первом собираются южане, а этот больше

[160] Примечания: 160

Тайная бандитская организация на юге Италии; существовала до начала XX в.

посещают янки… Вот мы и в клубе «Амарилья». Когда будем подниматься на второй этаж, обратите внимание на епископа справа от лестницы.

Ленч начинался и неторопливо подходил к концу, маленький столик в открытой галерее ломился от яств, капитан Митчелл кивал, кланялся, поднимался, чтобы минуту-другую потолковать с чиновниками в черном, коммерсантами в сюртуках, офицерами в мундирах, пожилыми кабальеро с Кампо — сухощавыми, нервными, с землистым цветом лица или дородными, безмятежными, смуглыми, а также с высокопоставленными европейцами и американцами из Соединенных Штатов, чьи лица казались особенно белыми среди превалирующих здесь темных физиономий и блестящих черных глаз.

Откинувшись на спинку стула, Митчелл оглядывал довольным взглядом все вокруг и ставил на столик коробку толстых сигар.

— С кофе приятно выкурить сигару, сэр. Местный табак. Черный кофе, который подают в «Амарилье», изумителен, такого нигде в мире нет. Зерна нам присылает владелец знаменитой кофейной плантации в предгорьях, ежегодно дарит три мешка товарищам по оружию в память о сражении с национальными гвардейцами

Гамачо, которое происходило прямо тут, под окнами, и в котором кофейный плантатор участвовал вместе с нашими кабальеро. Он был в это время в Сулако и отстреливался до конца, сэр, до печального конца. Дар доставляют на трех мулах — не по железной дороге, как обычный, заурядный товар, — прямо в patio, груз сопровождают верховые пеоны во главе с управляющим, он поднимается сюда в сапогах со шпорами и торжественно вручает его комитету клуба со словами: «В память павших третьего мая». Мы так и называем его: кофе «Tres de Mayo». Отведайте его.

И капитан Митчелл, лицо которого принимало в точности такое выражение, будто он готовится прослушать церковную проповедь, подносил чашечку к губам.

— Взгляните на этого человека в черном, он только что вошел, — произносил он, торопливо пригнувшись к собеседнику. — Знаменитый Эрнандес, военный министр. Специальный корреспондент «Таймс», написавший эту потрясающую серию писем, где он называет Западную республику сокровищницей мира, посвятил целую статью Эрнандесу и созданной им группе боевых отрядов — «Карабинеры Кампо».

Гость, с любопытством устремив взгляд в ту

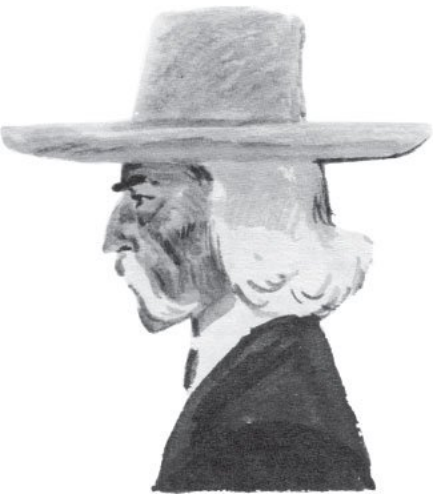
сторону, куда указывал капитан Митчелл, видел степенно шагающего по галерее мужчину в длинном черном фраке; с опущенными ресницами; продолговатым, невозмутимым лицом; лбом, прочерченным продольной морщинкой; седыми волосами, редкими на макушке, тщательно расчесанными и подвитыми на концах, закрывающими шею и падающими на плечи. Так вот как он выглядит, знаменитый разбойник, о котором не без интереса узнала Европа. На нем сомбреро с высокой тульей и плоскими широкими полями; на правом запястье деревянные четки. Капитан Митчелл тем временем продолжал:

— Этот человек спас наших беженцев от гнева Педрито. Как кавалерийский генерал, он отличился во время штурма Тоноро, где он действовал совместно с Барриосом и где погибли сеньор Фуэнтес и остатки монтеристов. Он друг и смиренный слуга епископа Корбелана. Ежедневно слушает три мессы. Могу поклясться, что каждый раз, когда он направляется к себе домой, он по дороге непременно заходит в собор помолиться.

С ожесточенным выражением лица капитан делал несколько затяжек, затем велеречиво продолжал:

— Испанская нация, сэр, изобилует яркими

личностями, причем в разных сословиях... Я предлагаю вам пройти в биллиардную, — там сейчас прохладно и мы сможем поболтать без помех. До пяти в биллиардной всегда малолюдно. Я расскажу вам совершенно поразительные эпизоды времен последней революции и Отделения Западной республики. А когда спадет жара, мы прогуляемся по Аламеде.



Программа выполнялась неуклонно, как закон природы: прогулка по Аламеде, неспешная по-

ступь, полная достоинства речь.

— Весь большой свет Сулако присутствует здесь. — Капитан Митчелл церемонно раскланивался направо и налево; потом внезапно с оживлением: — Донья Эмилия, карета миссис Гулд! Взгляните. Непременно белые мулы. Самая добрая, самая милая из женщин. Высокое положение в обществе, сэр. Очень высокое. Первая леди Сулако — жене президента далеко до нее. И вполне достойна этого. — Он снял шляпу, потом с подчеркнутой небрежностью добавил, что мужчина в черном, который сидит с ней рядом, — белый крахмальный воротничок, сердитое лицо, испещренное шрамами, — доктор Монигэм, инспектор государственных больниц, главный врач «Рудников Сан-Томе, консолидейтид». Друг дома. Днюет и ночует там. Да и не удивительно. Его создали Гулды. Чрезвычайно умный человек и так далее, но я лично его не люблю. Его никто не любит. Помню, как он ковылял по улицам в клетчатой рубашке и в сандалиях, какие носят туземцы, а под мышкой нес арбуз — все свое дневное пропитание. Сейчас важная персона, сэр, и такой же противный, как прежде. Впрочем… Несомненно в свое время он недурно сыграл свою роль. Спас всех нас от гнусного вампира Сотильо,

и полагаю, более щепетильный человек, конечно, бы не смог…

Он взмахнул рукой.

— Статую всадника на пьедестале, стоявшую тут прежде, удалили. Это был анахронизм, — не совсем вразумительно пояснил капитан Митчелл. — Поговаривают, на ее месте надо бы водрузить мраморную четырехугольную колонну в честь Отделения Республики, с ангелами мира по углам и с бронзовой статуей Правосудия, наверху сплошь позолоченной, с весами в руках. Кавальере Паррочетти попросили сделать проект, вы можете его увидеть в рамочке и под стеклом в муниципальном Зале. Вдоль цоколя со всех сторон должны быть выгравированы имена. И тут я вот что вам скажу! Начинать надо с Ностромо. Он сделал для Отделения Республики больше всех, а получил, — добавил Митчелл, — гораздо меньше многих… когда настала пора получать. — Он тяжело опустился на каменную скамью, стоящую под деревом, и похлопал рукой по сиденью, приглашая собеседника последовать его примеру. — Он отвез генералу Барриосу письма из Сулако, в которых его призывали немедля покинуть Каиту и вернуться сюда морем, чтобы нас спасти. К счастью, суда еще стояли в гавани.

Я даже не догадывался, сэр, что мой капатас не погиб. Понятия об этом не имел. Доктор Монигэм наткнулся на него в таможне, откуда всего за час или два до того отбыл мерзавец Сотильо. Мне ничего не рассказали; не намекнули ни единым словом, будто я недостоин доверия. Монигэм все устроил сам. Пошел на товарную станцию, добился, чтобы его принял главный инженер, и тот ради Гулдов и всего остального разрешил доставить Ностромо на паровозе до конечного пункта железной дороги — к тому времени проложили уже сто восемьдесят миль. Иначе прорваться он не мог. На конечной станции ему дали лошадь, оружие, кое-какую одежду, и он пустился уже в одиночку в свой знаменитый рейд — четыреста миль за шесть дней по объятой мятежом стране, и последний подвиг наконец — прорыв через линию обороны монтеристов на подступах к Каите. Если этот рейд описать, сэр, получился бы увлекательнейший роман. Он вез в своем кармане жизнь каждого из нас. Верность, преданность, мужество, ум — этих достоинств было недостаточно. Разумеется, он был неподкупен и бесстрашен. Но к тому же требовался человек, который умеет добиться успеха. А Ностромо был именно таким, сэр.

Пятого мая, практически находясь в плену в портовой конторе моей компании, я неожиданно услышал свисток паровоза на станции, то есть примерно в четверти мили от здания конторы, сэр. Я не поверил собственным ушам. Одним прыжком я оказался на балконе и увидел, как из ворот товарной станции со страшным воем вылетел окутанный белым облаком пара локомотив и внезапно остановился перед самой гостиницей Виолы. Я заметил, сэр, как из гостиницы «Объединенная Италия» выскочил человек — я не смог его разглядеть, — вскарабкался в паровозную будку, после чего локомотив буквально отпрыгнул от гостиницы и исчез в мгновение ока. Словно свечу задули, сэр!

Первоклассный машинист стоял там на площадке, смею вас заверить, сэр. В Ринконе их немилосердно обстреляли национальные гвардейцы, потом еще в одном селении. Колея, по счастью, осталась цела. За четыре часа они достигли конечного пункта дороги. Нострамо отправился в путь… Все остальное известно. Вам стоит только поглядеть вокруг.

Здесь, на Аламеде, есть люди, которые ездят в каретах и даже просто живы лишь благодаря тому, что много лет назад я нанял в грузчики

матроса-итальянца, сбежавшего со своего корабля, и поставил его старшим, потому что мне понравилось его лицо. Это факт. А с фактом не поспоришь, сэр. Семнадцатого мая, ровно через двенадцать дней после того, как я с недоумением увидел человека, выбежавшего из гостиницы и взобравшегося на паровоз, в гавань вошли транспортные суда с солдатами Барриоса, и Сокровищница Мира, как называет Сулако в своей книге этот человек из «Таймс», была спасена для цивилизации… для большого будущего, сэр. На западе Педрито теребил Эрнандес, к городу подступали шахтеры Сан-Томе, а тут еще десант! Он не мог устоять. Без конца слал Сотильо депеши, где просил хоть на неделю присоединиться к нему. Если бы Сотильо исполнил его просьбу, последовала бы такая страшная резня, что в живых не осталось бы ни одного человека. Но вот тут-то на сцену вступил доктор Монигэм. Ослепленный одной идеей, Сотильо с утра до вечера торчал на палубе, наблюдая за работой водолазов, искавших серебро, которое, как он был уверен, утопили неподалеку от пристани. Рассказывают, что последние три дня, взбешенный неуспехом, он метался по палубе как безумный, осыпал проклятиями подплывавшие к пароходу лодки,

приказывал им продолжать поиски, потом внезапно начинал топать ногами и орал: «А все же оно там! Я его вижу! Я его чувствую!»

Он как раз собирался повесить доктора Монигэма (которого держал при себе до окончания поисковых работ), когда первое из транспортных судов Барриоса — кстати, пароход нашей компании — на всех парах вошло в порт и, приблизившись, открыло ружейный огонь без малейших предупреждений, даже без оклика. Этот неожиданный маневр совершенно ошеломил приспешников Сотильо. Они настолько растерялись, что не догадались даже спуститься в трюм. Солдаты падали, как кегли.

Каким-то чудом в Монигэма, который стоял на палубе с накинутой на шею веревкой, не попала ни одна пуля, хотя они могли изрешетить его, как сито. Он потом рассказывал мне, что уже считал себя погибшим и кричал во все горло: «Выкиньте белый флаг! Да выкиньте же белый флаг!» Внезапно стоявший рядом старик-майор из гарнизона Эсмеральды выхватил из ножен саблю и с криком: «Умри, вероломный злодей!» — пронзил Сотильо и тут же сам упал, сраженный пулей.

Капитан Митчелл сделал паузу.

— Подобных эпизодов так много, сэр, что я

могу рассказывать о них часами. Но нам пора отправляться в Ринкон. Просто невозможно побывать в Сулако и не увидеть огней Сан-Томе — вся гора сверкает, как залитый светом дворец, воздвигнутый на темной равнине. Волшебное зрелище… Но позвольте рассказать вам небольшой анекдот, сэр; просто для наглядности, своего рода иллюстрация. Спустя две недели, а может быть, три, когда Барриос, получивший звание генералиссимуса, преследовал Педрито, бежавшего на юг, когда Временная Хунта, возглавляемая доном Хусте Лопесом, провозгласила новую конституцию, а дон Карлос Гулд паковал чемоданы, собираясь в Сан-Франциско и Вашингтон (Соединенные Штаты, сэр, были первой из великих держав, признавших Западную республику), — спустя две недели, говорю я, когда мы уже начали чувствовать, что наши головы, если можно так выразиться, несколько укрепились на плечах, один известный человек, крупный судовладелец, зашел ко мне по делу и сразу же сказал:

— А что, капитан Митчелл, этот малый, — (он имел в виду Ностромо), — все еще капатас ваших каргадоров или уже нет?

— А в чем дело? — спрашиваю я.

— Да в том, что если он у вас все еще служит, то

это одно дело; я отправляю и получаю множество грузов, и возят их ваши суда; только вот в чем беда: я на днях заметил, что он слоняется без всякого дела по пристани, а сегодня он вдруг останавливает меня и как ни в чем не бывало просит сигару. А я, как вы знаете, курю сигары довольно высокого сорта, и купить их не так-то легко.

— Мне кажется, все это пустяки, и не следует придавать им значения, — говорю я очень мягко.

— Да, конечно. Но мне это чертовски надоело. Этот малый вечно попрошайничает.

Сэр, я отвел в сторону глаза, потом спросил:

— Не были ли вы одним из узников, заключенных в cabildo?

— Вы прекрасно знаете, что был, и меня даже держали в наручниках, — отвечает он.

— И наложили штраф в пятнадцать тысяч долларов?

Он покраснел, сэр, — я ведь намекал на то, что, когда пришли его арестовать, он потерял сознание от страха, а потом так пресмыкался перед Фуэнтесом, что даже policiacos[161], которые приволокли его туда за волосы, не могли сдержать улыбки.

---

[161] Примечания: 161
Полицейские *(исп.).*

— Да, — ответил он, несколько присмирев, — а что?

— О, ровным счетом ничего, — говорю я. — Вы могли тогда немного обеднеть, даже если бы остались в живых… Так чем могу помочь?

Он сделал вид, будто не понял, почему я об этом вспомнил. Вот так-то, сэр.

Тут капитан Митчелл не без некоторого усилия поднимался со скамьи, и во время поездки в Ринкон гостю приходилось выслушать лишь одно-единственное замечание из уст своего неумолимого чичероне, который, устремив пристальный взгляд на огни Сан-Томе, казалось, повисшие в вечерней тьме между землей и небом, изрекал:

— Великая это сила, сэр. Она может быть и доброй, и недоброй. Великая сила.

Далее следовал превосходный обед в «Мирлифлорес», после которого у путешественника создавалось впечатление, что в Сулако много симпатичных и способных молодых людей, получающих слишком большое жалованье и потому утративших благоразумие, и среди них — несколько человек, главным образом англосаксов, понаторевших в искусстве изводить так любезно принимавшего его старика.

С шумом и звоном промчавшись в двуколке, влекомой тощим, быстроногим мулом, которого без устали нахлестывал возница, — несомненный уроженец Неаполя, — они вновь оказывались на пристани, и круг почти завершался в тот миг, когда экипаж (капитан Митчелл именовал его кабриолетом) подкатывал к дверям конторы ОПН, еще открытой в этот поздний час из-за прибывшего в порт парохода. Почти… но не совсем.

— Десять часов. Ваше судно будет готово к отплытию в половине двенадцатого, а может быть, и немного поздней. Зайдемте выкурим еще по сигаре и выпьем бренди с содовой.

И в личном кабинете управляющего именитый пассажир «Цереры», «Юноны» или «Паллады», оглушенный неожиданно обрушившимся на него потоком зрелищ, звуков, фактов, имен, сложно переплетенных между собой событий, кротко слушал, как усталое дитя слушает на ночь волшебную сказку; странный голос, напыщенный и почему-то знакомый, как будто доносился из другого мира и рассказывал, как «в этой самой гавани» происходила международная морская демонстрация, положившая конец костагуано-сулакской войне. Как крейсер североамериканских штатов «Поухаттан» первым приветствовал

флаг новой республики — лавровый венок на белом фоне, а в центре венка — желтая лилия. Слушал о том, как генерал Монтеро объявил себя императором Костагуаны и как примерно через месяц его застрелил (во время торжественной церемонии вручения орденов и крестов) молодой артиллерийский офицер, брат его любовницы.

— Низкий негодяй Педрито, сэр, бежал, — говорил голос. И продолжал: — Капитан одного из наших пароходов рассказывал мне впоследствии, что в одном из южных портов опознал его: Педрито носит теперь мягкие красные домашние туфли, бархатную феску с золоченой кисточкой и содержит публичный дом.

«Негодяй Педрито! Кто это, черт побери, такой?» — недоумевал высокий гость, пребывая в странном состоянии то ли бодрствования, то ли сна, сидя со старательно выпученными глазами и любезной улыбочкой, блуждающей на губах, из которых торчала восемнадцатая, а может быть, и двадцатая сигара, выкуренная за этот памятный день.

— Он возник передо мной, словно призрак, в этой самой комнате, сэр. — Капитан Митчелл рассказывал о Ностромо с неподдельной теплотой и гордостью, в которой сквозила печаль. — Можете

себе представить, сэр, как я был поражен. Он вернулся морем; конечно, вместе с Барриосом. И знаете, что он мне рассказал прежде всего, как только я был в состоянии его выслушать, — шлюпка с того баркаса все еще плавает в заливе, и он видел ее! Его совершенно потрясла эта находка. И в самом деле поразительно, если вспомнить, что прошло семнадцать дней с тех пор, как он потопил серебро. Мне сразу бросилось в глаза, что он очень переменился. Все время пристально смотрел на стену, сэр, будто там бегает паук или еще какое насекомое. Так на него повлияла эта злосчастная история с серебром. Первое, о чем он меня спросил, — знает ли донья Антония о смерти Декуда. Его голос дрожал. Я ответил ему, что ведь донья Антония еще не возвратилась в город. Бедная девушка! И едва я приготовился засыпать его градом вопросов, как внезапно: «Простите, сеньор», — и он тотчас испарился. Я три дня его не видел. Я был, знаете ли, ужасно занят. Кажется, он то появлялся в городе, то исчезал и две ночи ночевал в бараках для железнодорожных рабочих. Он казался совершенно безразличным ко всему. Я встретил его на пристани и спросил:

— Когда возьмешься снова за дела, Ностромо? У каргадоров скоро будет работы невпроворот.

— Сеньор, — проговорил он нерешительно, пытливо глядя на меня, — вы очень удивитесь, если я вам скажу, что сильно устал и не смогу пока работать? Да и как мне сейчас браться за работу? Разве я могу смотреть в глаза моим кар-гадорам после того, как потопил баркас?

Я стал просить его не думать больше о баркасе, и он улыбнулся. От его улыбки у меня сердце заболело, сэр.

— Ты же не виноват, — сказал я ему. — Это несчастный случай. Судьба, а не ошибка.

— Sí, sí… — сказал он, отворачиваясь.

Я счел за благо больше не настаивать и дать ему время оправиться. Прошли годы, сэр, прежде чем он оправился. Я присутствовал при его встрече с доном Карлосом. Гулд, должен вам сказать, невозмутимый человек. Он привык держать в узде свои чувства за те долгие годы, когда ему приходилось иметь дело с разными мошенниками и негодяями, и над ним и его женой постоянно висела опасность разорения. Это сделалось его второй натурой, сэр. Долго глядели они друг на друга. Своим обычным сдержанным спокойным тоном Дон Карлос спросил, что может сделать для него.

— Мое имя знает весь Сулако, от одной окраины

до другой, — так же спокойно ответил Ностромо. — Что еще вы можете для меня сделать?

Вот и весь разговор. Впрочем, некоторое время спустя здесь продавалась отличная шхуна, и мы вдвоем с миссис Гулд решили купить ее и подарить Ностромо. Мы так и сделали, но он выплатил всю ее стоимость в течение трех лет. На побережье, как грибы, росли всевозможные предприятия, сэр, бурный расцвет промышленности и торговли. А этот человек всегда добивался успеха, если не считать истории с серебром. Донья Антония, только что вернувшаяся из лесов Лос-Атоса, еще не пришедшая в себя после всех выпавших на ее долю испытаний, тоже встретилась с ним. Она его попросила рассказать ей о Декуде: о чем они говорили, что делали, о чем думали до последнего мгновенья в ту роковую ночь. Миссис Гулд говорит, что он вел себя с большим тактом, был почтителен, сдержан и полон сочувствия. Мисс Авельянос разрыдалась, лишь когда он рассказал ей, что Декуд как-то сказал ему: «мой план непременно увенчается грандиозным успехом…» Именно это и случилось, сэр. Его план увенчался успехом.

Круг наконец-то подходил к концу. Именитому пассажиру, замирающему от наслаждения при

мысли, что он вот-вот опять окажется в своей каюте, даже не приходило в голову задать себе вопрос: что это за штука «план Декуда»? Капитан Митчелл тем временем говорил:

— Очень жаль, что мы уже должны расстаться. Я провел в вашем обществе приятный день — вы слушали с таким живым интересом. Сейчас я провожу вас на пароход. Итак, вы увидели Сокровищницу Мира. Превосходное название.

Тут раздавался голос рулевого, оповещавшего, что гичка ждет, и круг на этом завершался.

Ностромо и в самом деле обнаружил в заливе шлюпку, оставленную им на острове, где он высадил Декуда: волны отнесли ее очень далеко от Большой Изабеллы. Он стоял на мостике флагманского корабля Барриоса, и до Сулако оставался еще час ходу. Барриос, высоко ценивший смелость и как никто способный ее оценить, всей душой полюбил капатаса. Во время перехода из Каиты генерал держал Ностромо при себе и то и дело к нему обращался, что служило признаком его расположения.

Ностромо первым увидел шлюпку — крохотное, еле различимое пятно, — только она и силуэты трех островов темнели на мерцающей поверхности моря. Бывают времена, когда существенна

любая мелочь и отмахиваться ни от чего нельзя: очень возможно, что эту лодку совсем неспроста занесло так далеко от берега. Это нужно выяснить. Барриос кивнул, флагманский корабль резко изменил курс и подошел к лодке так близко, что все увидели: в скорлупке этой нет людей. Просто маленькая шлюпка, отнесенная от берега течением; внутри лежат весла. Но Ностромо, чьи мысли все эти дни постоянно возвращались к Декуду, давно уже с волнением узнал шлюпку с того баркаса.

Нечего было и думать о том, чтобы остановиться и поднять шлюпку на борт. Время дорого, от каждой секунды зависит жизнь и будущее всего города. Флагман вернулся на свой прежний курс. Вслед за флагманом, растянувшись неровной линией примерно на милю, словно завершая какие-то океанские гонки, в ту же сторону двинулись и другие суда — все черные, с вздымающимися над ними дымами.

— Генерал. — Голос Ностромо прозвучал неожиданно громко, но спокойно. — Мне бы хотелось спасти эту лодочку. Клянусь богом, она мне знакома. Она принадлежит моей компании.

— А ты, клянусь богом, — с зычным хохотом благодушно отозвался Барриос, — принадлежишь

мне. Я хочу сделать тебя капитаном кавалерии, как только мне попадется на глаза хоть одна лошадь.

— Генерал, я плаваю гораздо лучше, чем езжу верхом, — ответил Ностромо, проталкиваясь к поручням и не спуская взгляда с лодки. — Позвольте мне… Пустите меня…

— Пустить тебя? До чего же он, однако, самонадеян, этот малый, — добродушно подшучивал генерал, даже не глядя на Ностромо. — Отпустить его! Ха-ха! Он добивается от меня признания, что без него я не сумею взять Сулако. Ха-ха-ха! Ты хочешь добраться до нее вплавь, сынок?

Все, кто стоял на палубе, внезапно вскрикнули, и этот крик заглушил громкий бас генерала. Ностромо прыгнул за борт; его черная голова показалась из воды далеко от парохода. Барриос в ужасе пробормотал: «Cielo![162] Да простит Бог мои прегрешения!» Он встревоженно посмотрел вслед Ностромо и увидел, что тот плывет с поразительной легкостью; только после этого он загремел:

— Ну нет! Мы не будем останавливаться и выуживать из воды этого нахала. Пусть его тонет,

---

[162] Примечания: 162
О небо! *(исп.)*

этот сумасшедший капатас.

Когда Ностромо решил прыгнуть в море, его уже не могли удержать никакие уговоры. Пустая шлюпка, так таинственно выплывшая ему навстречу, словно в ней сидел на веслах невидимый призрак, околдовала его — она возникла, как некий знак, предупреждение, как ответ, ужасный, непонятный ему ответ на его раздумья о взаимной связи человеческой судьбы и сокровища. Он бы прыгнул в воду, даже если бы знал, что его там ожидает смерть. Вода была гладкая, как в пруду, и по какой-то непонятной причине в Гольфо-Пласидо не водились акулы, хотя по другую сторону от Пунта-Мала все море возле берега кишело ими.

Капатас обеими руками ухватился за корму. Пока он плыл, его сковало какое-то странное ощущение слабости. Сапоги и куртку он сбросил еще в воде. Он держался за корму, пока не отдышался. Транспортные суда, сейчас сгрудившиеся теснее, плыли курсом прямо на Сулако, и выглядело это так, будто происходят дружеские соревнования, своего рода регата; дым пароходных труб, сливаясь, создавал тонкую зеленовато-желтую пелену тумана, которая повисла у него над головой. Его отвага, его мужество, его подвиг явились причи-

ной, из-за которой отправились в море эти суда, чтобы спасти жизни и имущество «бланко» — работодателей народа; спасти рудники Сан-Томе; спасти детей.

Он перелез через корму. Да, это та самая лодка! Сомнений нет; сомнений никаких. Малая шлюпка при грузовой барже номер три, шлюпка, которую он оставил Мартину Декуду, чтобы дать ему возможность что-нибудь предпринять, если с берега никто не явится к нему на выручку. И вот она неожиданно попадается ему на глаза, загадочная и пустая. Что с Декудом? Капатас осмотрел шлюпку. Он пытался найти какую-нибудь царапину, какую-нибудь отметину, какой-нибудь знак. Все, что он обнаружил, — это коричневое пятно на борту рядом с сиденьем. Стараясь его разглядеть, он пригнулся пониже и поскреб пятно ногтем. Затем он сел на корме и просидел так очень долго.

Промокший с головы до пят, с мокрыми, обвисшими волосами и усами, с потухшим взглядом, устремленным на дно шлюпки, капатас каргадоров напоминал утопленника, который выплыл из морских глубин, чтобы полюбоваться, сидя в лодке, закатом. Его терзало беспокойство — и во время поездки, полной опасности и приклю-

чений, и во время возвращения: а успеют ли они? — волнение человека, преодолевшего все преграды, человека, который добился успеха; и все эти тревоги были постоянно сосредоточены на мысли об оставленном на острове сокровище и о единственном человеке, знавшем о его существовании. Сейчас волнение покинуло его. До последнего мгновения он ломал голову над тем, как устроить, чтобы поскорее побывать на Большой Изабелле и чтобы никто его при этом не заметил. Он был твердо убежден, что все, связанное с сокровищем, нужно хранить в глубокой тайне, и поэтому не сказал даже Барриосу, что оставил на острове Декуда и весь груз серебра.

Впрочем, в письмах, доставленных им генералу, где рассказывалось о положении в городе, говорилось вскользь, что баркас утонул. Ввиду этого обстоятельства одноглазый охотник на тигров, издали учуявший запах битвы, не стал тратить время, расспрашивая гонца. Мало того, Барриос из бесед с Ностромо вынес впечатление, что и дон Мартин Декуд, и серебряные слитки с рудников Сан-Томе погибли одновременно; а Ностромо, коль скоро ему не приходилось отвечать на прямо поставленные вопросы, отмолчался под влиянием какого-то смутного чувства, в котором

смешались досада и недоверие. Пусть дон Мартин все расскажет сам, думал он при этом.

И сейчас, когда перед ним открылась возможность добраться до Большой Изабеллы так скоро, как он даже не смел мечтать, его волнение улетучилось, словно душа покинула бездыханное тело на чуждой ей теперь земле. Ностромо равнодушно смотрел на залив. Взгляд его стал пустым и тусклым, веки не шевелились. Затем медленно, не двинув ни рукой, ни ногой, не шелохнувшись, не взмахнув даже ресницами, он вновь обрел одушевленность — застывшие черты приобрели живое выражение, стал осмысленным холодный неподвижный взгляд, и в нем засветилась глубокая задумчивость, словно какая-то одинокая печальная душа встретила на своем пути это покинутое своей душою тело и украдкой забралась в него.

Капатас нахмурился; а вокруг — на море, на островах, на побережье, в облаках на небе и в бликах света на воде — царила такая глубокая тишь, что даже это легкое движение бровей показалось мощным, решительным жестом. Так прошло много времени; капатас сидел не шевелясь. Потом он тряхнул головой и опять застыл, как все вокруг застыло. Внезапно он взялся за

весла и резко повернул шлюпку носом к Большой Изабелле. Но прежде чем начать грести, он снова нагнулся над коричневым пятном на борту.

— Знаю я, что это такое, — сказал он, многозначительно кивнув головой. — Это кровь.

Он греб длинными, сильными, ровными взмахами весел. Время от времени оборачивался через плечо на Большую Изабеллу, но его встревоженный взгляд упирался в невысокие рифы острова, не встречая ответа, так, будто перед ним было чье-то непроницаемое лицо. Наконец нос лодки уткнулся в мель. Он рывком втащил ее на берег. И сразу же, повернувшись к закатному небу спиной, торопливо направился вглубь ложбины, поднимая каждым шагом фонтанчик воды в ручейке, ступая так стремительно и резко, что, казалось, он пинает этот неглубокий, чистый, нежно шелестящий ручеек. Он хотел засветло добраться до места, и каждая секунда была дорога.

Комья земли, трава, изломанные кусты прикрывали, нависая сверху, вход в укрытие под согнутым деревом и выглядели очень натурально. Декуд следовал указаниям Ностромо и обнаружил, действуя лопатой, некоторую сметку. Ностромо одобрительно усмехнулся, однако тут же с презрением скривил губы: неподалеку валя-

лась и сама лопата — Декуд отбросил ее, окончив работу, то ли по беспечности, то ли внезапно испугавшись, и все его старания пошли насмарку. Э… все они хороши, эти hombres finos, изобретающие скуки ради новые законы и правительства и невыполнимые задачи для простых людей.

Капатас поднял лопату, и, едва его ладонь коснулась рукоятки, он ощутил внезапное желание взглянуть на кожаные тюки с серебряными слитками. Он копнул несколько раз, и показались края и углы двух-трех тюков, сделанных из дубленой кожи; счистив с них лопатой землю, он обнаружил, что один разрезан ножом.

Он тихо вскрикнул и быстро опустился на колени, зачем-то оглянувшись по сторонам. Он не сразу решился сунуть руку в прорез и ощупать находящиеся в тюке слитки. Ну, вот они. Раз, два, три… Так и есть, четырех не хватает. Кто-то унес. Унес четыре слитка. Но кто? Декуд? Больше некому. И почему? С какой целью? Что за блажь на него напала? Интересно. Отнес в лодку четыре слитка и… кровавое пятно на борту.

Капатас медленно встал.

— Может быть, он просто порезал руку, — пробормотал он. — Но тогда…

Он опустился на рыхлую землю и, обхватив

руками колени, сидел с покорным и безнадежным видом, как раб, которого посадили на цепь и велели сторожить сокровище. Лишь один раз он вскинул голову: до него донесся треск ружейного огня, словно кто-то просыпал на барабан сухие горошины. Он немного послушал, потом сказал вслух:

— Он теперь уже никогда не вернется и ничего не объяснит.

И опять опустил голову.

— Нет, это невозможно! — произнес он в отчаянии.

Звук перестрелки замер. Красные отблески пылавшего в городе пожара пробегали по берегу, плясали в облаках, зловещим багрянцем окрасили все три Изабеллы. Ностромо поднял голову, но ничего не увидел.

— Но ведь тогда все остается неизвестным, — отчетливо проговорил он и умолк надолго — несколько часов он просидел, глядя прямо перед собой и не говоря ни слова.

Все осталось неизвестным. Не только для него, но и для остальных. И как легко можно догадаться, едва ли кто-нибудь, кроме Ностромо, очень уж раздумывал над тем, как кончил свою жизнь дон Мартин Декуд. Если бы каким-то образом стало

известно, как было дело, непременно возник бы вопрос: почему? Но люди просто считали, что Декуд утонул, когда пошел ко дну баркас, и все им представлялось ясным и понятным: молодой поборник Отделения Республики погиб, сражаясь за свою идею и став жертвой несчастной случайности. А в действительности он погиб от одиночества — противника, с которым сталкиваются лишь немногие на нашей земле и противостоять которому способны лишь самые примитивные из нас. Блистательный бульвардье костагуанского происхождения умер от одиночества и недостатка веры в себя и в других.

По какой-то основательной причине, недоступной человеческому пониманию, обитающие в заливе морские птицы держатся в стороне от Изабеллы. Почему-то их гораздо больше влечет к себе скалистая Асуэра, где каменные склоны и ущелья так и звенят от гомона птиц, и кажется, будто они не могут поделить между собой легендарный клад и вечно ссорятся.

К концу первого дня на Большой Изабелле Декуд, ворочаясь в неком подобии шалаша, которое он соорудил себе из жесткой травы в тени дерева, сказал:

— За весь сегодняшний день я не видел ни

одной птицы.

Он и звука ни одного не услышал за день, не считая этой фразы, которую сам же пробормотал. День полного безмолвия — первый в его жизни. И при этом он ни секунды не спал. Невзирая на бессонные ночи, на дни, прошедшие в боях, горячих обсуждениях, разговорах; невзирая на все ужасы последней ночи — полное опасностей и тяжелого труда путешествие на баркасе, — он ни на мгновение не смежил век. И тем не менее он весь день, от рассвета до заката, не зная сна, пролежал на земле, то на спине, то вниз лицом.

Он потянулся и медленными шагами спустился в лощину — ночь он собирался провести рядом с серебром. Если Нострамо вернется — что может случиться в любую минуту, — он прежде всего заглянет сюда; а наведаться на остров, конечно, всего удобней ночью. С глубоким безразличием он вспомнил, что ничего не ел с тех пор, как остался тут один.

Он всю ночь не смыкал глаз, а когда рассвело, что-то съел с таким же безразличием. Блестящий Декуд-сын, любимец семьи, возлюбленный Антонии и первое перо Сулако, не смог справиться сам с собой один на один. Одиночество из чисто внешнего обстоятельства очень быстро превращается

в состояние души, при котором ни ирония, ни скептицизм невозможны. Оно сковывает разум и загоняет мысли в тупик глубокого неверия. После того как он провел три дня, страстно желая увидеть человеческое лицо, Декуд поймал себя на том, что сомневается, действительно ли сохранилась его собственная личность. Ее поглотил мир облаков и воды, сил природы и форм природы. Только активная деятельность поддерживает в нас благотворную иллюзию независимости от системы мироздания, в которой наша роль, увы, невелика. Декуд потерял веру в реальность всех своих прошедших и будущих действий. На пятый день его охватила глубочайшая меланхолия, он погрузился в нее, как в океан. Он решил отторгнуть от себя людишек из Сулако, нереальных и ужасных, осаждавших его, как суетливые, мерзкие призраки. Он видел, как, теряя силы, он барахтается среди них, а Антония, огромная и прекрасная, как статуя богини, высокомерно смотрит на него, презирая за слабость.

Ни одного живого существа, даже парус не мелькнет вдали, куда ни поглядишь, все пусто, пусто; и, спасая себя от одиночества, он еще глубже погрузился в меланхолию. Смутное ощущение, что жить надо было иначе, не повинуясь

порывам, от которых остался привкус горечи во рту, явилось первым нравственным чувством, посетившим его с тех пор, как он стал взрослым. И в то же время он не испытывал раскаяния. О чем он должен сожалеть?

Он считал достоинством только разум, возвел страсти в статус долга. С какой легкостью поглотило и его разум, и его страсть это незыблемое одиночество, ожидание без веры. Бессонница лишила его воли — он не проспал и семи часов за семь дней. Его печаль была печалью скептика. Вселенная представлялась ему бесконечным рядом невразумительных образов. Нострómо мертв. Все его начинания потерпели позорный провал. Об Антонии он не осмеливался думать. Ее, конечно, нет в живых. Но если даже она жива, как он посмотрит ей в лицо? Нет, теперь никакие старания не помогут, остается только сложить руки.

На десятый день, после того как он в течение всей ночи даже не задремал ни разу (ему внезапно пришло в голову, что Антония никогда не могла любить такое неосязаемое существо, как он), одиночество представилось ему в виде огромной, необъятной пустоты, а безмолвие — в виде тонкой и крепкой веревки, на которой он висел, связанный по рукам, без удивления, без страха,

без каких бы то ни было эмоций. Только к вечеру, когда прохлада принесла ему некоторое облегчение, он стал желать, чтобы веревка лопнула. Он уже слышал, как она лопается с громким треском, похожим на выстрел, — резкий, отчетливый щелчок. И тогда ему придет конец. Он представлял себе это с удовольствием — он страшился бессонных ночей, когда молчание, принявшее облик веревки, к которой он подвешен за руки, никак не могло лопнуть и трепетало, колеблемое бессмысленными фразами (всегда одними и теми же, но совершенно непонятными — об Антонии, Ностромо, Барриосе) и воззваниями, сливавшимися в иронический бессмысленный гул. Днем безмолвие выглядело неподвижной очень туго натянутой веревкой, и его напрасно прожитая жизнь висела на ней, словно гиря.

— Интересно, услышу я, как она лопается, прежде чем упаду, — сказал он.

Прошло два часа с тех пор, как солнце поднялось над горизонтом, когда он встал наконец, изможденный, грязный, с бледным лицом и покрасневшими веками. Ноги и руки двигались медленно, словно налитые свинцом, но все же не дрожали; от этого каждый его жест выглядел решительным, спокойным, полным достоин-

ства. Казалось, он совершает некий обряд. Он спустился в лощину — спрятанное в укрытии серебро, великая сила, когда-нибудь способная прорваться, по-прежнему влекла его к себе; все чары развеялись, но эти остались. Он поднял пояс с револьвером, валявшийся там, и пристегнул его. Здесь, на острове, веревка, тугая, тонкая веревка, на которой он висит, никогда не лопнет. Она лопнет над морем; тогда он сможет упасть туда и утонуть, подумал он. Утонуть! Он смотрел на рыхлую землю, под которой лежало сокровище. Он похож был на сомнамбулу. Медленно опустился на колени и терпеливо, долго, прямо руками копался в земле, пока не добрался до одного из тюков. Тогда он не задумываясь, будто выполнял привычную давно знакомую работу, полоснул по верхней части тюка ножом, вытащил четыре слитка и рассовал их по карманам. Потом снова забросал тюк землей и медленными шагами стал удаляться. Ветки кустарника со свистом смыкались у него за спиной.

Уже на третий день своего одиночества он подтащил к воде шлюпку, так как у него возникла мысль уплыть куда-нибудь от острова, но позже он отказался от этой идеи, отчасти потому, что все еще надеялся на возвращение Ностромо, а от-

части потому, что считал ее безнадежной. Лодка стояла у самой воды, и ее надо было лишь слегка подтолкнуть. Каждый день он ел понемногу, и силы еще не оставили его. Он лениво взялся за весла, и лодка стала удаляться прочь от утесов Большой Изабеллы — согретая солнцем, она казалась живой и купалась в теплых струях света, сверкая радостью и надеждой. Он плыл прямо к заходящему солнцу. Когда наступила темнота, он перестал грести и бросил весла в лодку. Они стукнулись о днище, и этот звук показался ему оглушительно громким. Это было приятно, как будто кто-то позвал его издалека. Он испытал такое облегчение, что подумал даже: «Может быть, мне удастся сегодня поспать». Но он не верил, что ему это удастся. Он ничему больше не верил и продолжал сидеть, не закрывая глаз.

И вот свет солнца, спрятанного горной грядой, забрезжил перед его немигающими глазами. Становилось все светлей, и наконец солнце выплыло во всем своем великолепии над высокими вершинами гор. Море заискрилось и засверкало вокруг лодки, и в этом царстве одиночества, прекрасном и безжалостном, опять возникла тишина, похожая на туго натянутую, тонкую темную веревку.

Глядя на нее, он неторопливо поднялся с

сиденья и пересел на борт. Глаза все так же пристально смотрели на веревку, а тем временем рука нащупала на поясе кобуру, расстегнула, вытащила револьвер, направила прямо в грудь дуло, взвела курок, спустила его и судорожным движением отбросила прочь. Взгляд продолжал следить за револьвером, а сам Декуд упал ничком, коснувшись грудью борта, и пальцы судорожно вцепились в сиденье.

— Все кончено, — проговорил он, запинаясь, и кровь хлынула горлом.

Его последней мыслью было: «Хотелось бы мне знать, как умер этот капатас».

Цеплявшиеся за сиденье пальцы ослабели, разжались, и возлюбленный Антонии Авельянос упал за борт, так и не услышав, как лопнула веревка безмолвия в пустынном Гольфо-Пласидо, сверкающую гладь которого не взволновало падение тела.

Жертва душевной опустошенности и усталости, которые так часто служат карой для смелого и дерзкого ума, чьи планы потерпели крах, блестящий дон Мартин Декуд, отягощенный четырьмя серебряными слитками, исчез бесследно, поглощенный беспредельным равнодушием мира. Бессонный страж, понуро, неподвижно сидевший

днем и ночью на земле, перестал охранять серебро Сан-Томе; и духи добра и зла, витающие возле каждого клада, на некоторое время, вероятно, решили, что этот клад забыт людьми. Но прошло несколько дней, и с той стороны, где спускалось к горизонту солнце, показался человек; он шел быстрыми шагами, а потом всю ночь просидел в узкой черной ложбине, не двигаясь и не смыкая глаз, почти в той же позе и на том же месте, на котором сидел первый, не знавший сна человек, так тихо отбывший однажды навсегда на маленькой шлюпке во время заката. И духи добра и зла, витавшие подле спрятанных сокровищ, сразу поняли, что у серебра Сан-Томе появился преданный вечный раб.

Блистательный капатас каргадоров, жертва пустого и холодного тщеславия, достающегося людям в награду за мужественные поступки, просидел всю ночь уныло и угрюмо, как презираемый всеми изгой, и эта ночь, проведенная без сна, была так же мучительна, как бессонные ночи Декуда, его сотоварища по самому отчаянному делу за всю его отчаянную жизнь. Он все думал, как умер Декуд. И знал, что он причастен к его смерти. Сперва женщина, потом мужчина — из-за этого проклятого сокровища он бросил

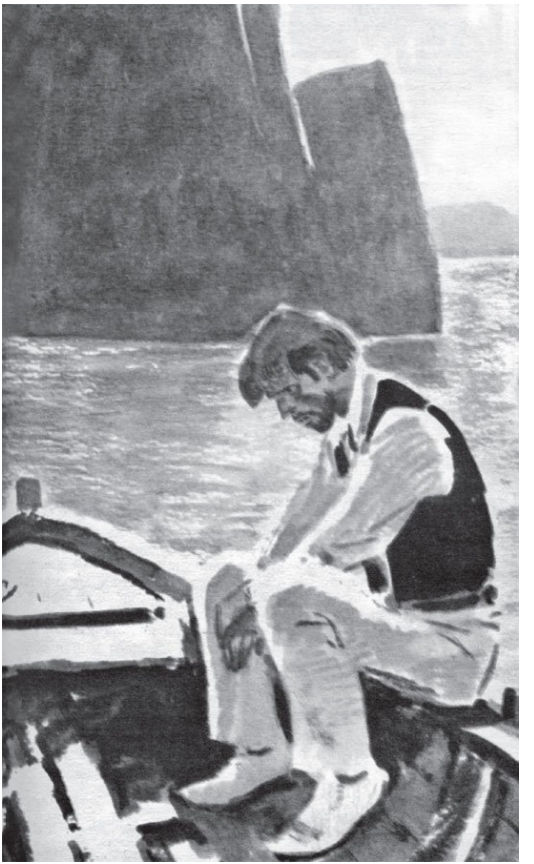
их, а его помощь была так нужна. Погибшая душа и отнятая жизнь — вот плата за серебро Сан-Томе. Он окаменел от ужаса, потом его объяла сатанинская гордость. Во всем мире он один, Джан Батиста Фиданца, капатас сулакских каргадоров, неподкупный и верный Ностромо, способен заплатить такую цену.

Сделка совершилась, и он решил, что ничто теперь не сможет ее расторгнуть. Ничто. Декуд умер. Но как? В том, что он мертв, нет ни тени сомнения. Но зачем он взял четыре слитка?.. Для чего? Собирался ли он прийти сюда еще раз… когда-нибудь позже?

Сокровище сохранило свою невидимую власть. Оно тревожило человека, заплатившего за него полную цену. Он ведь знал, что Декуд умер. Весь остров об этом шептал. Умер? Погиб! Ностромо поймал себя на том, что прислушивается к свисту раздвигаемых на ходу веток и к плеску воды под ногами бредущего по ручью человека. Умер! Этот краснобай, жених доньи Антонии.

— Э! — проговорил он, уткнувшись лбом в колени, когда бледно-сизый рассвет просочился сквозь толщу облаков на освобожденный Сулако и серый, как пепел, залив. — Это к ней он полетит. К кому же, как не к ней!

Но четыре слитка… Зачем он их взял — из желания отомстить, навести на него порчу, как эта женщина, которая в гневе предрекла ему муки раскаяния и крах всех надежд и в то же время поручила спасти ее детей? Ну что ж, он спас детей. Он отогнал от них призрак нищеты и голодной смерти. Он сделал это в одиночку… или, может быть, ему помогал сам дьявол. Не все ли равно? Его предали, но он все это сделал, а заодно спас рудники Сан-Томе, злобного исполина, чье несметное богатство сумело покорить себе мужество, труд, верность бедняков, войну и мир, город и море и Кампо.



Солнце осветило небо за вершинами Кордильер. Капатас смотрел на рыхлую землю, камни, изломанные ветки кустов, прикрывавшие тайник.

— Я должен богатеть очень медленно, — проговорил он вслух.

Глава XI

Благоразумие Ностромо оказалось излишним, ибо Сулако богател с невероятной быстротой благодаря сокровищам, скрытым в земле, оберегаемым духами добра и зла и исторгаемым из недр земных мускулистыми руками шахтеров. Город словно переживал свою вторую молодость, начинал новую жизнь, полную надежд, тревог, труда, щедро расточал на все четыре стороны скороспелое богатство. Материальные интересы повлекли за собой перемены, и перемены эти были также материального свойства. Происходили и другие перемены, менее заметные, они оставляли след в умах и в сердцах рабочих. Капитан Митчелл уехал на родину — благодаря рудникам он стал обеспеченным человеком; и доктор Монигэм постарел еще больше, седые волосы его отливали сталью, лицо всегда и везде сохраняло

одно и то же выражение; неиссякаемые сокровища преданности и любви таились в недрах его сердца, он ими жил, он черпал их украдкой словно неправедно нажитое богатство.

Генеральный инспектор государственных больниц (надзор над которыми вверен концессии Гулда), муниципальный советник санитарной службы города, главный врач «Рудников Сан-Томе, консолидейтид» (территория этого концерна, на которой добывается золото, серебро, медь, кобальт, свинец, простирается на целые мили в подножьях Кордильер) чувствовал себя нищим, умирающим от голода, несчастным во время длительного путешествия Гулдов в Европу и Североамериканские Соединенные Штаты. Близкий, задушевный друг семьи, холостяк, не связанный никакими узами и обязанностями (за исключением служебных), он поселился, по приглашению Гулдов, в их доме и жил там, как родной. Он с большим трудом перенес их продолжавшееся почти год отсутствие, нескончаемые одиннадцать месяцев, в течение которых он, входя в любую комнату и бросив беглый взгляд на стены, потолок или мебель, тотчас вспоминал женщину, которой отдал без остатка всю свою верность. По мере того как приближался день

прибытия почтового парохода «Гермес», доктор ковылял по комнате все более оживленно и все язвительнее обрушивался на слуг, что объяснялось не злобой, а просто нервозностью.

С молниеносной быстротой, с восторгом, с яростью он собрал свой скромный саквояж и в упоении проводил его взглядом, когда слуга выносил его из парадных дверей Каса-Гулд; а затем, когда приблизился назначенный час, в большой коляске, запряженной белыми мулами, где он сидел один (слегка бочком), держа в левой руке пару новых перчаток и стараясь выглядеть невозмутимым, отчего его худое лицо стало злым, он подъехал к пристани.

Когда он увидел Гулдов на палубе «Гермеса», его сердце бешено заколотилось, и ему удалось лишь небрежно пробормотать две-три приветственные фразы. В город они ехали в коляске, и все трое молчали. И, уже войдя во внутренний двор, доктор более естественным тоном сказал:

— Не стану вам мешать. Можно мне прийти завтра?

— Приходите к ленчу, доктор Монигэм, и как можно раньше, — попросила миссис Гулд. В дорожном платье, в шляпке с вуалью, она остановилась у подножья лестницы, а с верхней

площадки Мадонна в голубом одеянии с младенцем на руках, казалось, приветствовала ее сочувственным, ласковым взглядом.

— Не надейтесь застать меня дома, — предупредил доктора Чарлз. — Я уеду на рудники рано утром.

После ленча донья Эмилия и сеньор доктор медленно прошли через внутренний двор и оказались в саду. Сад был большой, с тенистыми деревьями и залитыми солнцем лужайками. Его кольцом окружал тройной ряд апельсиновых деревьев, а за ними вздымались высокие стены и краснели черепичные крыши соседних домов. Там и сям работали босые темнокожие садовники в белоснежных рубахах и широких штанах, они ухаживали за цветами, наклонившись над клумбами, мелькали между деревьями, тащили по дорожкам тонкие резиновые шланги, из которых внезапно вырывались изогнутые струйки воды — они переплетались между собой, образуя сверкающий на солнце узор, словно дождь шуршал, падая на листья, бриллиантовыми росинками осыпая траву.

Донья Эмилия, придерживая трен светлого платья, шла рядом с доктором, на котором был длинный черный сюртук и безупречно белая

манишка со строгим черным галстуком. Подле купы деревьев, в сплошной тени от их ветвей стояли маленькие столики и плетеные кресла; миссис Гулд села на одно из них.

— Не уходите, — сказала она доктору, который и без того как в землю врос. Упрятав подбородок в высокий воротник, он исподлобья пожирал ее глазами, к счастью, совершенно неспособными выразить обуревавшие его чувства, ибо более всего они напоминали шарики из мрамора с прожилками. Он с волнением и жалостью смотрел на лицо этой женщины, замечал тени прожитых лет под глазами и на висках «не ведающей усталости сеньоры» (как назвал ее когда-то дон Пепе) и чуть не плакал от умиления.

— Побудьте здесь еще. Сегодняшний день — мой, — упрашивала его миссис Гулд. — Официально мы еще не возвратились. К нам никто не придет. Лишь завтра вечером в Каса-Гулд откроются парадные двери и загорятся все окна.

Доктор опустился на стул.

— Тертулья?[163] — спросил он с рассеянным видом.

— Просто встретимся со всеми добрыми друзья-

---

[163] Примечания: 163
Вечеринка *(исп.)*; здесь: бал, большой прием.

ми, которые захотят к нам прийти.

— Только завтра?

— Да. Чарлз утомился сегодня после целого дня на рудниках, поэтому я… нам лучше провести вдвоем первый вечер после возвращения в дом, который я так люблю. Ведь здесь прошла вся моя жизнь.

— О да! — внезапно рассердился доктор. — Женщины исчисляют время со дня свадьбы. Мне кажется, вы немного прожили и до нее?

— Да, конечно; но о чем там вспоминать? Не было ведь никаких забот.

Миссис Гулд вздохнула. И поскольку двое друзей, встретившись после долгой разлуки, всегда вспоминают самый тревожный период их жизни, они стали говорить о революции и последовавшем отделении Сулако. Миссис Гулд представлялось странным, что те, кто участвовал в революции, не сохранили о ней памяти и не извлекли уроков.

— И все-таки, — возразил ей доктор, — мы, сыгравшие в революции свою роль, получили каждый свою награду. Дон Пепе, невзирая на преклонный возраст, все еще ездит верхом. Барриос напивается до смерти в развеселой компании в своем поместье за Больсон-де-Тоноро. А героиче-

ский отец Роман — воображаю, как наш старенький падре принялся бы методически взрывать рудники, произнося при каждом взрыве благочестивые изречения и в промежутках втягивая в себя целые горсти нюхательного табака, — наш героический падре Роман говорит: пока он жив, можно не опасаться, что миссионеры Холройда причинят его пастве какой-нибудь вред.

Миссис Гулд слегка вздрогнула при мысли, что совсем немного, и рудники Сан-Томе были бы уничтожены.

— Ну а вы, мой милый друг?

— Я исполнил ту работу, для которой оказался пригоден.

— Вам угрожали самые страшные опасности. Страшней, чем смерть.

— Нет, миссис Гулд! Только смерть… через повешенье. А награжден я сверх всяких заслуг.

Миссис Гулд внимательно на него посмотрела, и доктор опустил глаза.

— Я сделал карьеру, как видите, — сказал генеральный инспектор государственных больниц и слегка приподнял лацканы отлично сшитого черного сюртука. Чувство собственного достоинства, вновь обретенное доктором и сказавшееся внутренне в том, что отец Берон почти полно-

стью исчез из его сновидений, внешне было отмечено тем, что на смену былой небрежности явилось чрезмерное внимание к своей внешности, перешедшее в некий культ. Цвет, фасон одежды, ее ослепительная чистота — все соблюдалось с редкой строгостью и пунктуальностью и придавало доктору торжественный и в то же время праздничный вид; а ковыляющая походка и брюзгливо злобное выражение лица остались неизменными и в сочетании с опрятностью и щегольством производили странное и устрашающее впечатление.

— Да, — продолжал доктор, — каждый из нас награжден… главный инженер дороги, капитан Митчелл…

— Мы с ним виделись, — своим чарующим голосом прервала его миссис Гулд. — Наш милейший капитан специально приехал из своего загородного дома в Лондон, чтобы повидаться с нами. Он держался с большим достоинством, но мне кажется, он с сожалением вспоминает Сулако. Все время плел нечто невнятное об «исторических событиях», и наконец я чуть не разрыдалась.

— Гм, — промычал доктор. — Стареет, я полагаю. Даже Ностромо стареет. Хотя… он не изменился. Кстати, о Ностромо я хотел вам кое-

что рассказать…

В доме началось волнение, оттуда доносился возбужденный гул голосов. Внезапно двое садовников, подстригавших розовый куст у калитки, упали на колени и склонили головы — мимо них прошла Антония Авельянос, а рядом шагал ее дядюшка.

Пожалованный кардинальской шапкой после непродолжительного визита в Рим, приглашенный туда коллегией миссионеров, проповедник, обративший в истинную веру целые племена диких индейцев, участник заговора, друг и покровитель разбойника Эрнандеса, вошел большими медленными шагами, накренившись вперед и сцепив за спиной свои сильные руки. Изможденный, с сумрачным лицом фанатика, первый кардинал-архиепископ города Сулако сохранил свой прежний вид — он был похож на капеллана разбойничьей шайки. Полагали, кардинальский пурпур достался ему не случайно — Рим встревожило вторжение в Сулако протестантов, организованное миссионерским фондом Холройда. Антония, чья красота немного поблекла, а фигура несколько расплылась, вошла легкой походкой, безмятежная, как и прежде, издали улыбаясь миссис Гулд. Вместе с дядюшкой

она заглянула повидать свою милую Эмилию, без церемоний, всего на несколько минут перед сиестой.

Когда все сели, доктор Монигэм, питавший острую неприязнь к любому человеку, связанному каким-то образом с миссис Гулд, устроился в стороне, делая вид, что погружен в глубокое раздумье. Он поднял голову, когда Антония заговорила громче:

— Как можем мы не протянуть руку помощи тем, кто стонет под игом угнетения, кто еще несколько лет назад назывались нашими согражданами и должны так называться и сейчас? — говорила мисс Авельянос. — Как мы можем оставаться слепыми, глухими, безжалостными к тяжким мукам наших братьев? Мы обязаны найти какой-то выход.

— Присоединить оставшуюся часть Костагуаны к Сулако, — раздраженно огрызнулся доктор. — Тогда и у них будет благосостояние и порядок. Вот единственный выход.

— Я уверена, сеньор доктор, — сказала Антония с той спокойной серьезностью, которую дает только твердая убежденность, — что наш бедный Мартин всегда желал именно этого.

— Да, но кто позволит вам подвергать опасности

развитие материальных интересов ради таких пустяков, как сострадание и справедливость, — брюзгливо буркнул доктор. — И пожалуй, это можно понять.

Кардинал-архиепископ выпрямил свой костлявый стан.

— Мы работали на них; мы создали для иностранцев эти самые материальные интересы, — пророкотал последний из Корбеланов.

— Но вы ничто без них, — выкрикнул доктор. — Они не позволят вам действовать.

— Тогда пусть поостерегутся, ибо народ восстанет и потребует своей доли богатства и власти, — веско и с угрозой произнес любимый прихожанами кардинал-архиепископ.

Наступила пауза, в течение которой его преосвященство, нахмурившись, разглядывал траву, а Антония сидела в кресле, стройная и изящная, безмятежная и убежденная в своей правоте. Затем политику оставили в покое и заговорили о поездке Гулдов в Европу. Кардинал-архиепископ во время пребывания в Риме страдал от невралгических болей в голове. Плохой климат, плохой воздух.

Когда дядя и племянница собрались уходить и слуги снова пали на колени, а старик-приврат-

ник, дряхлый и полуслепой, служивший еще при Генри Гулде, склонился, чтобы поцеловать руку его преосвященства, доктор Монигэм взглянул им вслед и произнес одно лишь слово:

— Неисправимые!

Миссис Гулд подняла к небу глаза и устало уронила руки на колени, сверкнув золотом и драгоценными камнями.

— Новый заговор. Еще бы! — сказал доктор. — Последний из Авельяносов и последний из Корбеланов только и делают, что вступают в сговор с беглецами из Санта-Марты после каждой революции. Кафе Ламброзо в переулке возле Пласы кишмя кишит этими эмигрантами. Они трещат, как попугаи, их слышно через улицу. Совещаются по поводу вторжения в Костагуану. А знаете, где они черпают силы, где собираются набрать необходимое для нашествия войско? В тайных обществах, состоящих из эмигрантов и местных жителей, где Ностромо — мне следовало сказать, капитан Фиданца — большой человек. Как он достиг такого положения? Что помогло ему? Особый дар. Да, у него особый дар. Его любят и почитают в народе сейчас еще больше, чем прежде. Он обладает как бы некой тайной силой; нечто мистическое помогает ему пользоваться

таким огромным влиянием. С ним совещается архиепископ… точно так же, как в памятные нам обоим старые времена. От Барриоса уже не будет толку. Но военачальник у них есть — святоша Эрнандес. И они могут поднять всю страну, выдвинув новый девиз: благосостояние народу!

— Неужели никогда не наступит мир? Неужели никогда мы не дождемся отдыха? — прошептала миссис Гулд. — Я думала, что мы…

— Нет! — перебил ее доктор. — Развитие материальных интересов не допускает ни мира, ни отдыха. У них свои законы, своя справедливость; но основаны эти законы на принципе практической целесообразности, и потому бесчеловечны; в них нет той целостности, той незыблемости, той нравственной высоты, которые основываются только на принципах морали. Миссис Гулд, приближается время, когда все то, что отстаивает концессия Гулда, так же безжалостно навалится на плечи народа, как невежество, жестокость и бесправие, царившие здесь несколько лет назад.

— Как вы можете так говорить, доктор Монигэм? — воскликнула она; его слова невыносимой болью отозвались в ее сердце.

— Отчего ж мне не говорить, если это правда? — возразил он упрямо. — Навалится и вызовет в

ответ возмущение, кровопролитие, месть, ибо люди стали другими. Вы полагаете, и сейчас шахтеры со всех рудников явятся в город спасать своего управляющего? Вы действительно так думаете?

Миссис Гулд прижала к щекам руки и с тоской прошептала:

— Так неужели же мы ради этого трудились?

Доктор понурил голову. Ему был ясен тайный ход ее мыслей. Неужели ради этого прошла вся ее жизнь, лишенная сердечной теплоты и милых повседневных радостей, необходимых ей как воздух? И доктор, возмущенный слепотою Чарлза, поспешил переменить разговор.

— Да, я хотел вам рассказать о Ностромо. В нем-то как раз есть и незыблемость, и целостность. Ничто не может его сломить. Впрочем, я не о том. С ним творится что-то необъяснимое… или же наоборот, все очень просто объяснить. Вы сами знаете: смотрителем маяка на Большой Изабелле практически является Линда. Гарибальдиец слишком стар. Он чистит лампы, стряпает, но взбираться по лестнице уже не может. За маяком всю ночь смотрит черноглазая Линда, а после спит весь день. Впрочем, нет, не весь. К пяти вечера она уже на ногах — в это время галантный

Нострамо, где бы ни стояла его шхуна, садится в лодку и гребет к маяку.

— А они не поженились? — спросила миссис Гулд. — Мне кажется, ее мать желала этого, еще когда Линда была ребенком. А во время войны за Отделение девочки жили у меня примерно год, и эта Линда — необыкновенное создание — так прямо и говорила всем, что собирается стать женой Джана Батисты.

— Нет, не поженились, — сухо ответил доктор. — Я иногда заглядываю к ним.

— Спасибо, милый доктор Монигэм, — сказала миссис Гулд, и ее мелкие ровные зубы блеснули в улыбке, по-молодому нежной и озорной. — Люди не знают, как вы добры. Вы от них это скрываете: наверное, специально назло мне, вот уже много лет назад поверившей в ваше доброе сердце.

Доктор оскалился, как будто собираясь кого-то укусить, и, повернувшись в кресле, угловато поклонился. Любовь пришла к нему поздно, не озарила его жизнь иллюзией, а вспыхнула, как молния, стала великим счастьем и великой бедой, и теперь, глядя на эту женщину, общества которой он был лишен почти целый год, он испытывал священный трепет преклонения, и ему хотелось поцеловать край ее платья. Избыток

нежности, естественно, выразился в том, что он заговорил еще более мрачно и брюзгливо.

— Очень уж много благодарности, боюсь, я рухну под ее наплывом и рассыплюсь на обломки. Впрочем, эти люди меня интересуют. Я побывал несколько раз на Большой Изабелле у старого Джорджо.

Он не стал говорить миссис Гулд, что ездил на остров отдохнуть душой среди людей, которые ее тоже любили, — ему приятны были безыскусственное преклонение Джорджо перед «английской синьорой, столь милостивой к нам»; многословная горячая нежность черноглазой Линды к «этому ангелу, нашей донье Эмилии», умиленно поднятые вверх глаза белокурой Гизеллы, вслед за тем бросавшие на него украдкой простодушно-лукавый быстрый взгляд, заставлявший доктора мысленно воскликнуть: «Не будь я таким старым и уродливым, я бы подумал, что негодница строит мне глазки. А может быть, и в самом деле строит. Эта девчонка строит глазки всем». Доктор не стал говорить об этом миссис Гулд, благодетельнице семьи Виола, а вернулся к «нашему великому Ностромо».

— Вот что я хотел вам рассказать: наш великий Ностромо в течение нескольких лет не уделял

внимания ни старику, ни детям. Он, правда, почти круглый год бывал в отлучке, плавал на своей шхуне вдоль побережья. Сколачивал состояние, так он однажды сказал капитану Митчеллу. И по-моему, чрезвычайно преуспел в этом. Чего и следовало ожидать. Человек он изобретательный, сметливый, уверенный в себе, удобного случая не упустит и охотно идет на риск.

Помню, как однажды я сидел у Митчелла в конторе, а он вошел туда, невозмутимый, как всегда. У него были какие-то торговые дела в Калифорнийском заливе, сказал он, глядя мимо нас на стену, — он всегда так глядит, — а возвратившись, рад был обнаружить, что на утесе Большой Изабеллы построен маяк. Очень, очень рад, — повторил он. Митчелл пояснил, что маяк построила компания ОПН, ради удобства почтовой службы и по его совету. Капитан Фиданца был так добр, что признал совет великолепным. Помню, как он подкрутил усы, обвел взглядом все карнизы в комнате и только после этого предложил сделать смотрителем маяка старого Джорджо.

— Я об этом знаю. У меня тогда спрашивали, как поступить, — сказала миссис Гулд. — Я сомневалась, хорошо ли увозить двух молодых девушек на уединенный остров, где они будут жить как

в тюрьме.

— Старику-гарибальдийцу уединения-то и хотелось. Что до Линды, ей любое место показалось бы восхитительным, коль скоро его предложил Ностромо. Для удовольствия своего Джана Батисты она готова сидеть на каменистом острове и вообще где угодно. Мне кажется, она всю жизнь была влюблена в этого безупречного капатаса. Кроме того, отец и старшая сестра стремились увезти Гизеллу подальше от порта, где ей оказывал чрезмерное внимание некий Рамирес.

— Вот как! — с оживлением произнесла миссис Гулд. — А кто он?

— Простой парень из Сулако. Его отец был каргадором. Сперва болтался тут на пристани тощий оборванный мальчишка, потом Ностромо взял его под свою опеку и вывел в люди. Когда парень подрос, Ностромо сделал его каргадором на грузовом баркасе, а вскоре вслед за тем назначил старшим на баркасе номер три — том самом, миссис Гулд, на котором увезли серебро. Ностромо выбрал этот баркас потому, что он лучше других слушается руля. Рамирес был одним из пяти каргадоров, которым поручили в ту памятную ночь переправить тюки с серебром из таможни. Так как баркас, на котором он работал,

утонул, Ностромо, перестав служить компании, порекомендовал капитану Митчеллу Рамиреса в качестве своего преемника. Он подготовил его по всем правилам, и таким образом мистер Рамирес из голодного мальчишки-сопляка превратился в уважаемого человека и стал капатасом наших каргадоров.

— Благодаря Ностромо, — сказала миссис Гулд с чувством.

— Благодаря Ностромо, — повторил доктор Монигэм. — Клянусь честью, меня просто пугает могущество этого человека. То, что милейший старикан Митчелл согласился взять на службу хорошо обученного человека и избавить себя от хлопот, не удивительно. Но поразительно, что каргадоры нашего порта согласились подчиняться Рамиресу лишь потому, что так захотел Ностромо. Конечно, из Рамиреса не вышло второго Ностромо, как он мечтал, но положение у него весьма недурное. Он до того осмелел, что вздумал ухаживать за Гизеллой Виолой, а она — первая красавица в городе. Но тут ему не повезло: старик-гарибальдиец ужасно его невзлюбил. Право, не знаю почему. Может быть, все дело в том, что Рамирес не является образцом совершенства, как его обожаемый Джан Батиста, воплотивший в

себе храбрость, преданность и честь «простого народа». Синьор Виола не очень-то высокого мнения о коренных жителях Сулако. Старый спартанец и белолицая Линда с черными, как уголь, глазами и алыми губами устроили за белокурой красоткой самую настоящую слежку. Рамиресу строго-настрого запрещено к ней приближаться. Папаша Виола, как мне говорили, однажды грозился его застрелить.

— Ну а сама Гизелла? — спросила миссис Гулд.

— Насколько я могу судить, она большая кокетка, — ответил доктор. — Едва ли она так уж оскорбилась. Внимание мужчин ей приятно. Рамирес не единственный ее поклонник, — да будет мне позволено вам это сообщить. Всех не знаю, но слышал, что был инженер с железной дороги, которого тоже сулили пристрелить. Честь для старого Виолы нешуточное дело. После смерти жены он стал вспыльчив и подозрителен. Так что старик был просто рад увезти младшую дочь из города. Но послушайте, что происходит дальше, миссис Гулд. Рамирес, честный, уязвленный безнадежной страстью пастушок, не смеет появляться на острове. Прекрасно. Он подчиняется запрету, но, разумеется, его взгляд частенько обращается в сторону Большой Изабеллы. Кажется,

у него вошло в привычку до поздней ночи сидеть на берегу и глядеть на маяк. И вот во время этих сентиментальных бдений он обнаружил, что Ностромо, то есть капитан Фиданца, чрезвычайно поздно возвращается домой после визитов, которые он наносил семейству Виола. Иногда в полночь.

Доктор сделал паузу и значительно взглянул на миссис Гулд.

— Да… но я не понимаю… — озадаченно произнесла она.

— И вот тут-то и начинаются странности, — продолжал доктор Монигэм. — Виола — король на своем острове, и одно из его правил — не позволять посторонним оставаться там до темноты. Даже капитану Фиданце приходится удаляться после захода солнца, когда Линда отправляется наверх смотреть за маяком. И Ностромо повинуется.

Но что же дальше? Что он делает в заливе от половины шестого до полуночи? Его видели в это время и не раз — он плыл к гавани, неслышно опуская в воду весла. Рамиреса снедает ревность. К старому Виоле он не осмеливается подойти; но, собравшись с духом, он высказал свои обиды Линде, когда воскресным утром она приехала

на материк послушать мессу и посетить могилу матери. Произошло это на пристани, где между ними разгорелась ужасная ссора, свидетелем которой мне довелось стать. Было раннее утро. Думаю, он специально ее поджидал. Я оказался там по чистой случайности — врач с немецкой канонерки, стоявшей в порту, вызвал меня для срочной консультации. Линда с неслыханной горячностью обрушила на Рамиреса презрение, ярость и гнев, да и он был вне себя. Удивительное это было зрелище, миссис Гулд: длинный пирс и на дальнем его конце подпоясанный красным шарфом беснующийся каргадор и девушка, вся в черном; тихое воскресное утро, солнце еще не показалось из-за гор, их тень падает на воду; нигде ни души, лишь скользят кое-где лодки между стоящими на якоре пароходами, и гичка с немецкой канонерки приближается к берегу, чтобы забрать меня. Линда прошла мимо меня на расстоянии шага. Я обратил внимание на ее безумный взгляд. Я ее окликнул. Она меня не слышала. И не видела. Зато я рассмотрел ее. Ужасное лицо, полное гнева и горя.

Миссис Гулд резко выпрямилась, широко раскрыв глаза.

— Что все это значит, доктор Монигэм? Неуже-

ли вы подозреваете младшую сестру?

— Quién sabe! Кто это может сказать? — ответил доктор и пожал плечами, как прирожденный костагуанец. — Рамирес подошел ко мне. Он шатался… он был похож на сумасшедшего. Он обхватил руками голову. Ему нужно было с кем-нибудь поговорить, он не мог молчать. Разумеется, невзирая на свое невменяемое состояние, он узнал меня. Меня тут знают хорошо. Я так давно живу среди них, что каждый знает доктора, который может вылечить от любой болезни и приносит несчастье, ибо у него дурной глаз. Итак, он подошел ко мне. Он старался говорить спокойно. Объяснить мне, что просто-напросто хочет меня предостеречь против Ностромо. Насколько я смог понять, капитан Фиданца на каком-то тайном сборище сказал, что я ненавижу всех бедняков, весь народ. Весьма возможно. Он почтил меня неувядаемой неприязнью. А одного-единственного слова, произнесенного великим Фиданцей, вполне достаточно, чтобы какой-нибудь дурак всадил мне в спину нож. Комиссия по санитарным делам, которой я руковожу, не пользуется симпатиями местных жителей.

«Берегитесь его, сеньор доктор. Сделайте так, чтобы он умер, сеньор доктор», — прошипел

Рамирес прямо мне в лицо. А потом его словно прорвало. «Этот человек, — захлебываясь, лепетал он, — приворожил обеих девушек. Я и так уже лишнего наговорил, — добавил Рамирес. — Теперь нужно бежать, бежать и где-то спрятаться». Он с тоской и нежностью произнес имя Гизеллы и осыпал ее полными злобы словами, которые я не рискую повторить. «Если он вздумает во что бы то ни стало добиться ее любви, есть одно лишь средство: ее нужно увезти с Большой Изабеллы. Увезти ее в лес. Но и это бесполезно...» И он быстро зашагал прочь, размахивая над головой кулаками. Тут я заметил старого негра, который сидел за грудой ящиков и удил рыбу. Он тотчас смотал удочки и испарился. Но наверное, он кое-что услышал и пересказал, я думаю, другим, поскольку некоторые из приятелей старого гарибальдийца, служащие на железной дороге, по-моему, предупредили его, чтобы он остерегался Рамиреса. Во всяком случае, кто-то предупредил. Но Рамирес исчез из города.

— Бедные девушки... это нельзя так оставить, — с беспокойством произнесла миссис Гулд. — Ностромо в городе?

— Да, он вернулся в воскресенье.

— С ним нужно поговорить... немедленно.

— Кто осмелится с ним говорить? Даже обезумевший от любви Рамирес бросается наутек от одной лишь тени капитана Фиданцы.

— Я поговорю с ним, — заявила миссис Гулд. — Такой человек, как Ностромо, поймет все с первого слова.

Доктор кисло улыбнулся.

— Нужно покончить с этим положением, которое… нет, я не верю, что это дитя…

— Он очень привлекателен, — угрюмо буркнул доктор.

— Я не сомневаюсь, что он положит этому конец. Он должен жениться на Линде и тотчас же все прекратить, — самым решительным тоном произнесла первая леди Сулако.

В сад вошел Басилио, откормленный и разжиревший, с безволосым лицом, на котором уже появились возле глаз морщинки, с напомаженными и прилизанными черными как смоль жесткими волосами. Остановившись за купой цветущих кустов, он осторожно поставил на землю маленького мальчика, сидевшего у него на плече, — последнее дитя, родившееся у них с Леонардой. Манерная, кокетливая «камериста» и дворецкий Каса-Гулд поженились несколько лет назад.

Сидя на корточках, Басилио с нежностью взирал на своего отпрыска, а тот невозмутимо и серьезно пялил глазенки на отца; затем, с достоинством, не торопясь, дворецкий направился к ним по тропинке.

— Что случилось, Басилио? — спросила миссис Гулд.

— Звонили по телефону из конторы Сан-Томе. Хозяин ночует сегодня в горах.

Доктор встал и отвернулся. В тени раскидистых деревьев, самых больших в прелестном саду Каса-Гулд, на время воцарилась глубокая тишина.

— Очень хорошо, Басилио, — сказала миссис Гулд. Она молча смотрела, как дворецкий прошел по дорожке, скрылся за цветущими кустами и появился опять с сидящим на плече ребенком. Неспешным шагом он вышел из калитки, осторожно придерживая свою ношу.

Доктор, стоя спиной к миссис Гулд, внимательно рассматривал освещенную солнцем клумбу. Люди считали его озлобленным и высокомерным. Но истинная сущность его заключалась в том, что это был человек, способный испытывать сильные чувства и в то же время ранимый. Он не обладал вежливым безразличием светского человека, тем безразличием, которое так легко

порождает терпимость к себе и к другим; тем безразличием, которое ничего общего не имеет с подлинным состраданием и сочувствием. Этим отсутствием безразличия объяснялись саркастический склад его ума и язвительность речи.

В глубокой тишине, свирепо глядя на залитую солнцем роскошную клумбу, доктор мысленно призывал тысячи проклятий на голову Чарлза. А изящная фигурка миссис Гулд застыла в кресле так неподвижно, что казалась произведением искусства — поза схвачена и запечатлена навсегда. Внезапно доктор повернулся и откланялся.

Миссис Гулд откинулась на спинку кресла в сплошной тени окружавших ее кольцом деревьев. Откинулась на спинку кресла, закрыла глаза и положила на подлокотники руки. Свет солнца с трудом пробивался сквозь многослойную массу листвы, и в полутьме ее красивое лицо казалось нежным, юным, как у молоденькой девушки; блестели светлая ткань платья и кружево отделки. И сама она как будто тоже излучала свет и была похожа, маленькая, грациозная, светящаяся, на добрую фею, которая устала наконец выполнять свои служебные обязанности и уже не может с прежней радостью творить добрые дела, поскольку заподозрила, что труды ее бесполезны,

а волшебство бессильно.



Если бы кто-нибудь спросил ее, о чем она думает, сидя одна в саду пустого дома — муж на рудниках, парадная дверь заперта и гости не придут, — кривить душой она не стала бы и просто не ответила бы на вопрос. А думала она, что жить значительной и полной жизнью можно лишь тогда, когда ты ни на миг не забываешь ни о прошлом, ни о будущем. Свою повседневную работу мы должны выполнять во славу мертвых и для счастья тех, кто придет вслед за нами. Она подумала так и вздохнула, не двигаясь, не открывая глаз. На мгновенье лицо ее сделалось напряженным — одиночество внезапно стало нестерпимым, как мигрень, и она поборола в себе это чувство; так преодолевают, не поморщившись, физическую боль. А еще ей пришло в голову, что ведь никто на свете не спросит ее заботливо, о чем она задумалась. Никто; возможно, за исключением человека, который только что ушел. Ее не спросит тот, кому она могла бы ответить, не смущаясь своей искренности, спокойно и доверчиво, не спросит тот, кто должен спросить.

Слово «неисправимый», недавно произнесенное доктором, вторглось в печальную тишину ее мыслей. Воистину неисправим в своей преданности рудникам сеньор администрадор!

Неисправим в своем упорном и тяжком служении материальным интересам, единственному залогу, как он убежден, торжества справедливости и порядка. Бедняга! Она представила себе очень ясно его седеющие виски. Он безупречен, безупречен. О чем еще могла она мечтать? Успех, огромный и стабильный; а любовь — лишь краткий миг упоения, прелестный миг, о котором вспоминают почему-то с грустью, будто не радость это была, а печаль. Какая грустная закономерность: успех повлек за собой моральное вырождение первоначальной идеи.

Ей представилось, как гора Сан-Томе нависла над Кампо, над всей страной, несметно богатая, внушающая страх и ненависть; бездушная, каким не был ни один тиран; жестокая и деспотичная, каким не было ни одно самое скверное правительство; она все разрастается и в своем стремлении расти готова множество людей принести в жертву.

Чарлз не видит этого. Не может увидеть. Это не его вина. Он безупречен, безупречен; но ей он не принадлежит и никогда не будет, никогда. Даже на короткий час не будет он принадлежать лишь ей одной в этом старинном испанском доме, который она так любит! Неисправимыми на-

звал сегодня доктор последнюю из Авельяносов, последнего из Корбеланов; но она ясно видела: рудники Сан-Томе захватывают, поглощают, сжигают жизнь последнего из костагуанских Гулдов; покоряют себе силу сына, как покорили в свое время слабость отца.

Какой страшный успех выпал на долю последнего Гулда. Последнего! Она долго надеялась, что, может быть… Но нет. Надежды больше нет. И безмерная тоска одиночества, страха, что одиночество останется, а ей нужно будет продолжать жить, охватили первую леди Сулако. С прозорливостью пророчицы представила она себе, как разлагаются и гибнут идеалы ее юности, идеалы жизни, любви, труда… они гибнут, а она все еще существует в одиночестве, одна в Сокровищнице Мира, совсем одна. Ее лицо с закрытыми глазами было, как у человека, видящего страшный сон — встревоженным, слепым, страдальческим. Невнятным голосом человека, увидевшего такой сон и не имеющего сил освободиться от кошмара, она произнесла:

— Материальные интересы.

Глава XII

Ностромо богател очень медленно. Он был благоразумен. Даже утратив душевное равновесие, он мог управлять собой. А стать рабом богатства и прекрасно это сознавать — состояние, мало кому знакомое и никак не способствующее покою души. Но была еще одна причина, кроме редкостного самообладания Ностромо: он не мог воспользоваться своим богатством в том виде, в каком оно ему досталось. Даже увезти сокровище с острова по частям было бы трудно — его могли застигнуть и тотчас же разоблачить. Поэтому приходилось тайком наведываться на Большую Изабеллу, вернувшись из очередного плавания, которые служили ему ширмой, помогавшей скрыть истинный источник его доходов.

Он боялся собственных матросов, словно все они были шпионы, приставленные к своему капитану. Возвращаясь в Сулако, боялся надолго оставаться в порту. Разгрузив шхуну, он сразу же отправлялся в новое плавание, опасаясь, что даже однодневная отсрочка может вызвать подозрения. Случалось, что за время пребывания в порту — то есть неделю и даже больше — ему

удавалось лишь один раз побывать на острове. Всего один. Не более двух слитков. Он страдал от своих страхов и от своего благоразумия. Унизительно делать что-то тайком. Он ни на миг не забывал о сокровище, и, пожалуй, это было мучительней всего.

Грех, преступление, совершенное человеком, разъедает его жизнь, как злокачественная опухоль, сжигает ее, как лихорадка. Ностромо утратил душевный покой: от присущих ему прежде свойств осталась одна видимость. Он сам чувствовал это и нередко проклинал серебро Сан-Томе. Его храбрость, его великолепие, его досуг, его работа остались прежними, но все это было только видимостью. А сокровище было подлинным и держало его мертвой хваткой. Но ему было противно прикасаться к серебру. Иногда, тайком пробравшись ночью на Большую Изабеллу и спрятав у себя в каюте пару слитков, — больше он никогда не привозил, — Ностромо долго и пристально разглядывал свои руки, будто удивляясь, что на коже не осталось пятен от серебра.

Слитки он продавал в отдаленных портах, где нашел надежных покупателей. Из-за того что ему приходилось так далеко заплывать, его поездки бывали длительными, и он редко навещал

семейство Виола. Он знал, что должен жениться на дочери Джорджо. Однажды сам сказал об этом старику. Но гарибальдиец прервал разговор величественным движением руки, в которой держал дымящуюся прокопченную вересковую трубку. Спешить некуда; он не из тех, кто старается поскорее сбыть с рук дочку.

А время шло, и Ностромо стал замечать, что ему больше нравится младшая. Они с ней были схожи в чем-то очень важном, без чего никогда не бывает взаимного доверия и понимания, и чисто внешнее различие характеров в таких случаях уже не служит помехой, а наоборот, только делает каждого из двоих еще более притягательным в глазах другого. Ему нужна жена, которой он сможет открыть свою тайну, иначе его жизнь станет невыносимой. В Гизелле ему нравилось все — простодушный взгляд, нежная, белая шея, молчаливость, уступчивый нрав, и ленивая повадка, и скрытая оживленность; в то время как Линда — бледное, напряженное, страстное лицо, кипучая энергия, многословие и пылкость, мрачность и высокомерие — одним словом, истинная дочь своих родителей, копия сурового республиканца с голосом Терезы — внушала ему тайное недоверие. Мало того, бедной

девушке не удалось скрыть, что она любит Джана Батисту. Он догадывался, что ее любовь будет неистовой, требовательной, подозрительной, бескомпромиссной — такой же, как ее душа. Гизелла, женственная, мягкая, загадочно прелестная, скрывающая за внешней безмятежностью пылкую нежность души, влекла его к себе и не внушала тревоги о будущем.

Он отсутствовал подолгу. Вернувшись после одной из самых длительных своих поездок, он увидел баркасы, груженные каменными блоками, которые строители закладывали под утес Большой Изабеллы; подъемные краны и леса; копошащиеся вокруг фигурки рабочих и небольшой маяк, уже возвышающийся над фундаментом на краю утеса.

Это нежданное, негаданное, ужасное зрелище смертельно его напугало. Он погиб; что теперь может его спасти? Ничто! Нострамо похолодел, потрясенный капризом фортуны, вздумавшей направить свет маяка на единственное темное пятно в его жизни; той жизни, ценность, истинность, действительность которой была лишь отражением восхищенно следивших за ним глаз. Все в его жизни было достойно восхищения, кроме этого позора, объяснить который невозможно

и из-за которого он стал жертвой силы, способной услышать проклятия и осуществить их. Темное, позорное пятно. Немного найдется людей с таким пятном на совести. И вскоре на него будет направлен свет. Свет! Он видел залитые ярким светом унижение, позор, нищету. Уж кто-нибудь наверняка… Возможно, кто-нибудь уже сейчас…

Капатас каргадоров, несравненный Ностромо, вселявший в сердца людей почтение и страх капитан Фиданца, руководитель тайных обществ, республиканец, как и старый Джорджо, и, как и он, революционер в душе (но на другой лад), был готов прыгнуть за борт своей шхуны. Он почти обезумел, и самоубийство представлялось ему вполне возможным выходом из положения. Но он никогда не терял головы. И его остановила мысль, что, покончив с собой, он не спасется от позора. Он представил себе, что он мертв, а позор, бесчестье все растут. Или, точнее говоря, он не мог себе представить, что он мертв. Он с такой силой ощущал свое существование, непрерывность своего бытия, что для него было совершенно непостижимым такое понятие, как конец. Земля существует вечно.

Он был смелым человеком. Правда, его смелость не всегда отличалась благородством, но

сейчас это было не важно. Он подвел шхуну к берегу и, стоя на палубе, внимательно оглядел лощину и заросли кустарника, прикрывавшие вход в тайник. Шхуна стояла так близко от острова, что он мог перекликаться с рабочими, которые стояли на краю отвесного утеса под стрелой мощного подъемного крана. Ознакомившись с обстановкой, он понял, что никому из них незачем даже близко подходить к лощине, где спрятано сокровище; тем более в нее спускаться. В гавани ему сказали, что на острове никто не ночует. Баркасы каждый вечер переправлялись на буксире в порт, и рабочие возвращались домой, хором распевая песни. Иными словами, сейчас ему нечего было бояться.

«Ну а потом?» — спросил он себя. Потом, когда на острове станет жить смотритель в домике, который уже строят для него за утесом, в полутора сотнях ярдов от маяка и ярдах в четырехстах от тенистой, темной, заросшей кустами лощины, где хранится тайна его безопасности, его влияния, его великолепия, его власти над будущим, тайна, благодаря которой он не страшится злой судьбы, предательства богатых и предательства бедных. Что будет тогда?

Никогда ему не избавиться от проклятого

сокровища. Его отвага, превосходящая отвагу других людей, сослужила ему недобрую службу: сплела его судьбу с этой серебряной жилой. И это страшное, мучительное ощущение, что он раб, было таким безысходным, что он нередко сравнивал себя с гринго, о которых рассказывала легенда, не мертвыми и не живыми, навечно связанными со своим незаконно приобретенным богатством. Ощущение это тяжким ярмом давило на своевольного капитана Фиданцу, шкипера и владельца шхуны, чья бравая внешность и баснословный успех в делах были известны всему западному побережью континента.

Неулыбчивый, усатый, отчасти утративший былую упругость походки и стройность благодаря усилиям евреев-портных, изготовлявших в лондонских трущобах вульгарного покроя твидовые костюмы, впоследствии приобретаемые отделом готового платья компании «Ансани», он и на этот раз, вернувшись в Сулако, много ходил по делам, и его видели, как всегда, на улицах. И как всегда, он не препятствовал слухам, что сбыл груз с огромной прибылью. Приближался пост, и такой товар, как соленая рыба, раскупали охотно. Его видели в трамваях, курсирующих между городом и портом; раза два он разговаривал с кем-то

в кафе, как обычно, ровным, сдержанным тоном. Капитана Фиданцу видели. Поколение, которое ничего не будет знать о легендарной поездке в Каиту, еще не родилось.

Капатас портовых каргадоров, получивший кличку Ностромо от не знавших итальянский язык англичан, теперь уже под настоящим своим именем снова выступил на общественной сцене в роли несколько иной — менее колоритной и более сложной для исполнителя, ибо публика (население Сулако, передовой столицы Западной республики) тоже стала иной: разношерстной и многолюдной.

Капитана Фиданцу, не колоритного, но всегда немного загадочного, увидели и сразу же узнали под высокой крышей из железа и стекла на вокзале железнодорожной станции. Он взял билет на пригородный поезд и отправился в Ринкон, где навестил вдову каргадора, который умер от ран во внутреннем дворе Каса-Гулд (на заре Новой Эры так же, как дон Хосе Авельянос). В хижине он изъявил согласие поесть и выпить стакан холодного лимонада, вдова же, стоя, произнесла пылкую и многословную тираду, которую он не слушал. Он дал ей денег. Сироты, уже подросшие и получившие приличное для деревенских жителей

образование, называли его дядей и попросили их благословить. Он выполнил и эту просьбу; уходя, задержался на миг на пороге, взглянул на плоский лик горы Сан-Томе и нахмурился.

Точно так же он насупил свой бронзовый лоб, что придало оттенок суровости его обычно непроницаемому лицу, на заседании масонской ложи, которую он посещал… впрочем, перед банкетом его чело разгладилось. И точно так же он нахмурился на митинге, где несколько славных товарищей, итальянцев и уроженцев Западной республики, собрались в его честь под председательством нищего, болезненного, горбатенького, малорослого фотографа, чья возвышенная душа побагровела от кровожадной ненависти ко всем капиталистам, угнетателям обоих полушарий. Джорджо Виола, старый революционер, ничего не понял бы из вступительной речи фотографа; а капитан Фиданца, щедрый, как всегда, к неимущим товарищам, не стал произносить речей. Он слушал сумрачно, думал о чем-то своем, а потом ушел, недоступный, молчаливый, каким и должен быть человек, у которого много забот.

Он нахмурился еще сильней, когда на следующее утро увидел вольных каменщиков, плывущих к Большой Изабелле на баркасах, гру-

женных прямоугольными каменными блоками. Камней было достаточно, чтобы добавить к маяку еще один ряд кладки. Такова была установленная норма: один ряд кладки в день.

Капитан Фиданца думал, напряженно думал. Когда на острове появятся чужие люди, ему к сокровищу уже не подойти. Ему и до сих пор было и трудно, и опасно пробираться к тайнику. Он был напуган и в то же время разгневан. Он размышлял, как поступить, с твердой решимостью хозяина и с лукавством раба. Затем отправился в порт.

Находчивости и изобретательности ему было не занимать; поэтому, как всегда, попав в критическое положение, он нашел средство изменить ситуацию в корне. Он умел, оказавшись в опасности, повернуть дело так, чтобы то, что ему угрожает, его защитило; уж такой был у него талант, у несравненного Ностромо, «малого, какие попадаются один на тысячу». Если смотрителем назначат Джорджо, ему не нужно будет скрываться. Он сможет приезжать открыто, при свете дня, повидаться с его дочерьми — с одной из дочерей, — а потом долго беседовать со стариком-гарибальдийцем. Ну а уж ночью… каждую ночь… Теперь он может позволить себе богатеть

быстрее. Как страстно ему хотелось загребать, хватать, поглощать, покорять себе это сокровище, деспотически завладевшее его мыслями, поступками, даже сном.

Он отправился в гости к своему другу капитану Митчеллу и провернул дело именно так, как доктор Монигэм рассказал миссис Гулд. Когда старому гарибальдийцу сообщили, какая ему предлагается должность, раздумье легкой тенью пробежало по его лицу, и призрак прежней, давнишней улыбки мелькнул под белыми огромными усищами врага министров и королей. Джорджо очень тревожили дочери. В особенности младшая. Линда, получив в наследство материнский голос, унаследовала заодно и ее положение в доме. Ее звучное «Ну, падре?»[164] казалось отражением кипуче-укоризненного «Ну, Джорджо?», так часто произносимого бедной синьорой Терезой. Старик был твердо убежден, что город — неподобающее место для его дочерей. Ослепленный страстью, но бесхитростный Рамирес был предметом его глубочайшей неприязни, ибо воплощал в себе пороки этой страны, населенной слепыми и низкими esclavos.

---

[164] Примечания: 164
Отец *(ит.).*

По возвращении из следующего плавания капитан Фиданца обнаружил, что семейство Виола поселилось в домике, выстроенном для смотрителя маяка. Он хорошо знал характер старого Джорджо и не ошибся в расчетах. Гарибальдиец решительно отвергал самую мысль о том, что на острове может поселиться кто-нибудь, кроме его дочерей. И капитан Митчелл, которому очень хотелось чем-нибудь порадовать своего бедного Ностромо, нашел выход из положения с той проницательностью, которую дарует людям только искренняя любовь; с соблюдением всех необходимых формальностей назначил Линду Виолу младшим смотрителем маяка.

— Этот маяк — частная собственность, — объяснял он всем, — и принадлежит он моей компании. Мое право выбирать кого мне угодно на должность, и я выбрал старого Виолу. Это единственное, о чем Ностромо — а он бесценный человек, чистое золото! — когда-либо меня просил.

Поставив шхуну на якорь против здания таможни, — плоская крыша, колоннада, ложногреческий стиль, — капитан Фиданца сел в лодку и направился в сторону Большой Изабеллы, открыто, при свете угасающего дня, на глазах

у всех и с приятным сознанием, что он вышел победителем из единоборства с судьбой. Он будет часто ездить на остров и узаконит это положение. Сейчас он попросит у старого Джорджо руку его дочери. Он греб и думал о Гизелле. Линда, может быть, любит его, но старик не станет возражать, он будет рад, если с ним останется старшая, голос у которой точь-в-точь как у его покойной жены.

Он плыл не к узкой полоске песка, где когда-то высадился вдвоем с Декудом и еще раз, позже, когда приехал на остров один. Он подплыл к острову с другой стороны и стал подниматься по ровному, пологому склону. Джорджо Виола, которого он увидел издали на скамейке возле двери, чуть приподнял руку, отвечая на громкое приветствие гостя. Ностромо подошел. Девушек не было видно.

— Здесь хорошо, — сказал старик, как всегда рассеянно, немного отчужденно.

Ностромо кивнул; потом спросил, немного помолчав:

— Видел ты, как проходила моя шхуна часа два назад? Знаешь ли ты, почему я пришел сюда прежде, чем бросить якорь в пределах, так сказать, владений порта Сулако?

— Мы всегда тебе рады как сыну, — ответил

старик, продолжая смотреть на море.

— А… твой сын. Все понятно. Я для тебя то же, чем мог бы стать твой сын. Это прекрасно, viejo. Радостно услышать по приезде такие слова. Послушай, я приехал просить у тебя…

Внезапный ужас охватил бесстрашного и неподкупного Ностромо. Он не посмел произнести имя Гизеллы. Небольшая пауза придала особую весомость и торжественность его словам.

— …руку твоей дочери. — Его сердце бешено заколотилось. — Сейчас уже пора…

Джорджо прервал его скупым жестом.

— Тут никто, кроме тебя, ничего не мог решать.

Он медленно встал. Борода, ни разу не стриженная после смерти Терезы, густая, белоснежная, закрывала его могучую грудь.

Он повернул голову к двери и громко позвал:

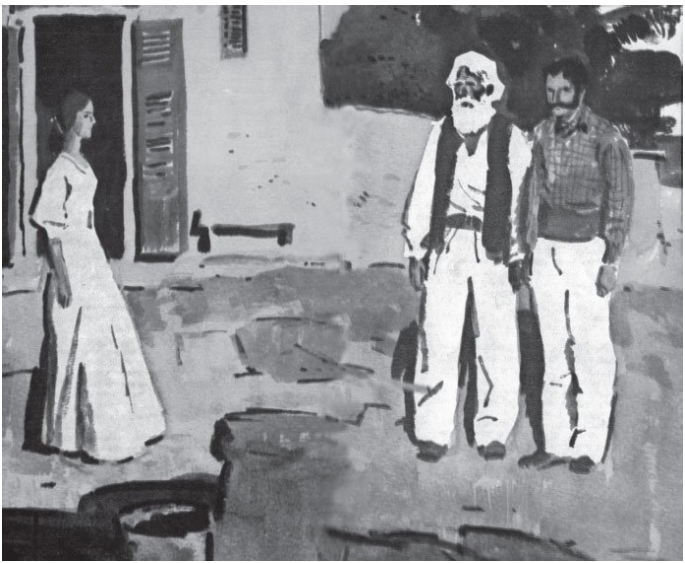
— Линда.

Ее пронзительный голосок ответил им откуда-то из глубины дома; похолодев от ужаса, Ностромо тоже встал, но молчал, как немой, не спуская с двери взгляда. Он испугался. Испугался не того, что любимая ему откажет, — разве могла ему отказать женщина, которую он пожелал? — нет, сверкающий призрак сокровища внезапно

вырос у него перед глазами и безмолвно потребовал повиновения, и он не смел противоречить этому безмолвию. Он испугался потому, что не живой и не мертвый, как те гринго с Асуэры, он принадлежал душой и телом тому бесчестью, на которое его обрекла его бесчестная отвага. Он боялся, что ему запретят ездить на остров. Боялся и потому ничего не сказал.

Линда увидела отца и Ностромо, которые ожидали ее, стоя бок о бок, и замерла на пороге. Ее взволнованное лицо по-прежнему оставалось мертвенно-бледным; но черные глаза как бы вобрали в себя весь свет заходящего солнца, и оно ослепительно сверкнуло где-то в самой глубине этих двух черных омутов, на которые тотчас же медленно опустились тяжелые веки.

— Вот твой муж, твой господин и благодетель. — Голос старого Виолы прозвучал с такой силой, что, казалось, его слышит весь залив.



Она шагнула к ним с почти закрытыми глазами, как лунатик, которому снится прекрасный сон.

Ностромо сделал над собой неимоверное усилие.

— Пришла пора нам обручиться, Линда, —

сказал он твердым голосом, спокойно и равнодушно.

Холодными пальцами она коснулась его пылающей ладони и опустила голову, черноволосую, с бронзовыми бликами, к которой на миг притронулась рука отца.

— Ну вот, душа умершей успокоилась.

Это сказал Джорджо Виола, после чего еще что-то говорил о покойной жене; а обрученные сидели рядом, но так и не подняли глаз друг на друга. Потом старик умолк; тогда заговорила Линда:

— С тех пор как я почувствовала, что живу, я жила лишь для тебя одного, Джан Батиста. И ты знал это! Ты это знал… Батистино.

Она произнесла его имя, в точности повторив материнскую интонацию. Мрачным холодом могилы пахнуло на Ностромо.

— Да. Знал, — ответил он.

Старый Джорджо сидел с ними рядом, на той же скамье, опустив убеленную сединой голову, и душа его блуждала среди воспоминаний, нежных и яростных, страшных и унылых… и он был одинок… на земле, где так много людей.

А Линда, любимая его дочь, говорила:

— С тех пор как я себя помню, я принадлежала

тебе. Стоило мне только подумать о тебе, и земля вокруг меня пустела. Когда ты был рядом, я никого больше не видела. Ничего не изменилось. Я всегда была твоей. Мир принадлежит тебе, и ты позволил мне жить в нем…

Ее дрожащий голос стал глуше, и слова, которые она произносила, были мучительны для человека, сидящего рядом с ней. Она шептала горячо, торопливо. Она не заметила, как из дома вышла младшая сестра, держа в руках напрестольную пелену, которую она вышивала, как прошла мимо с улыбкой на губах, бросив быстрый взгляд в их сторону, прошла и села на скамью, слегка поодаль, по другую руку от Ностромо.

Вечер был тих. Солнце опускалось в воду где-то на самом краю багрового океана; и на белом маяке — он казался синеватым на фоне сгрудившихся над заливом облаков — светился красный глазок лампы, искорка, зажженная пылающим в небе огнем. Гизелла, тихая, торжественная, время от времени приподнимала вышиванье, чтобы скрыть, как она судорожно втягивает в себя воздух, словно взволнованная молодая пантера.

Внезапно Линда бросилась к сестре, притянула к себе ее голову и покрыла лицо поцелуями. У Ностромо застучала кровь в висках. Когда Линда

наконец отпустила Гизеллу, и та сидела, неподвижная, ошеломленная этим бурным взрывом чувств, Ностромо с болью ощутил, что он теперь навеки раб, и ему захотелось убить Линду. Джорджо поднял седовласую голову.

— Куда ты, Линда?

— Зажечь лампу, padre mio.

— А… да, да… идешь выполнять свой долг.

Он тоже встал и посмотрел вслед старшей дочке; потом с веселым оживлением сказал, и в этом непривычном для него оживлении послышалось эхо давно забытых дней:

— Схожу-ка я что-нибудь приготовлю. Хе-хе, такие вот дела у нас! Сын! У старика для такого случая найдется и бутылка вина.

Он повернулся к Гизелле и сказал мягко, со сдержанной нежностью в голосе:

— А ты, маленькая моя, помолись, только не богу рабов и священников, а богу сирот и угнетенных, богу бедняков и малых детей, чтобы он и тебе послал в мужья такого же человека.

Ностромо на мгновение почувствовал, как на плечо ему легла тяжелая рука, затем старик вошел в дом. Раб серебра Сан-Томе, не смеющий помышлять о воле, ощутил, как при этих словах ядовитое жало ревности вонзилось в его сердце.

Этого чувства он никогда еще не знал, и Ностромо ужаснула его сила, его боль, его щемящая горечь. Муж! У нее будет муж! А между тем это вполне естественно, что у Гизеллы рано или поздно появится муж. Как он раньше этого не понимал? Сейчас, поняв, что ее прелесть и краса могут достаться другому, он подумал, что смог бы убить и вторую дочь старого Джорджо. Он проворчал сквозь зубы:

— Говорят, ты любишь Рамиреса.

Она покачала головой, не глядя на него. В золоте ее волос скользили медно-красные отблески. Гладкий лоб светился нежной жемчужной белизной в этом роскошном буйстве закатных красок, где слились багрянец моря, алый огонь небес и над горной грядой мрак темного неба с проступающими уже звездами.

— Нет, — ответила она задумчиво. — Я не люблю его. По-моему, я никогда… Он меня, может быть, любит.

Ее милый, неторопливо льющийся голос растаял в воздухе, глаза смотрели в пустоту, и взгляд казался равнодушным и бездумным.

— Рамирес говорил тебе, что любит тебя? — спросил Ностромо, сдерживая гнев.

— Да… один раз. Как-то вечером…

— Несчастный! Да я…

Он вскочил, словно его ужалил овод, и, немой от ярости, стоял перед ней.

— Боже милостивый! И ты тоже, Джан Батиста! Бедная я, бедная! — запричитала она, глядя жалобно и простодушно. — Я рассказала Линде, и она теперь все бранится, бранится. Как ты, говорит, такая, на свете живешь, ничего, мол, ты не видишь, не понимаешь, не слышишь. А потом все рассказала отцу, а он сразу же начал чистить ружье. Бедный Рамирес! Ты приехал — она тут же и тебе рассказала.

Он смотрел на нее. Пристально смотрел на ямку на белой шее, думая при этом, что и вся она так же трепетна, нежна, прелестна, так же дышит молодостью и теплом. Неужели это та девочка, что выросла у него на глазах? Может ли это быть? Ему вдруг пришло в голову, что в последние годы он почти не видел… он совсем не видел ее. Да, совсем. Она явилась в мир никем не знаемая. Нежданной вошла в его жизнь. В ней таится опасность. Страшная опасность. Отчаянная решимость, прилив которой он всегда ощущал, если жизни его что-нибудь грозило, усилила бушевавшую в нем страсть. А она продолжала свое голосом, похожим на пение ручья, звон серебря-

ного колокольчика:

— И вот вы втроем сговорились и увезли меня сюда, в эту неволю, где ничего нет, кроме неба и воды. Ничего. Только вода и небо. О, Santissima Madre![165] Я поседею здесь, на этом острове. Какая тоска! Я готова возненавидеть тебя, Джан Батиста!

Он засмеялся. Как приятно слышать ее голос, он словно ласковые руки прикасается к нему. Она сетовала на судьбу, не сознавая своего очарования, как не сознает своей прелести благоуханный цветок. Разве виновата она в том, что никто и никогда не восхищался Линдой? Она помнит, что еще в детстве, когда они обе ходили с матерью к мессе, прохожие не замечали Линду, а обращали внимание на нее, и Линда, пользуясь этим, пугала робкую младшую сестру — ведь сама-то она ничего не боялась. Она говорила, что прохожие глядят на ее золотые волосы.

— Твои волосы как золото, — сказал Ностромо, — а глаза как фиалки, а губы как розы; руки у тебя точеные, а шея белая…

Гизелла покраснела до корней волос. Она не была тщеславной. Не больше, чем цветок, ду-

---

[165] Примечания: 165
Пресвятая Богородица! *(ит.)*

мала она о своей прелести. Но его слова были ей приятны. Кто знает, возможно, цветку тоже нравится, когда его хвалят. Он опустил глаза и пылко сказал:

— У тебя такие маленькие ножки!

Прислонившись спиной к шершавой каменной стене, она блаженно замерла, розовая от смущения. Но быстрый взгляд украдкой скользнул вниз — действительно ли у нее такие маленькие ножки?

— Ну вот, ты наконец решил жениться на нашей Линде. О, как она меня замучила. Теперь, наверное, станет добрей; ведь ты сказал ей, что любишь ее. Я думаю, она поутихнет.

— Нет, малышка, — ответил Нострómо, — ничего подобного я ей не говорил.

— Так не откладывай. Приезжай завтра. Приезжай, скажи ей, что любишь ее, и тогда она, может быть, будет хоть немного меньше браниться, и мне, может быть… кто знает, может быть, мне…

— Позволят слушать, что говорит твой Рамирес? Этого тебе хочется? Ты…

— Боже милосердный! Какой же ты безжалостный, Джованни! — воскликнула она. — Кто такой Рамирес?.. Рамирес… кто он такой? — повторяла она, как во сне. Облака клубились над сумрач-

ным, темным заливом, а красная полоска света на западе была похожа на раскаленный железный прут, положенный у входа в мир, зловещий, как пещера, в которую отважный капатас запрятал все свои земные богатства и радости.

— Послушай, Гизелла, — сказал он девушке решительно и твердо. — Я не стану говорить твоей сестре о любви. Хочешь узнать почему?

— Ах, наверное, я не смогу понять тебя, Джованни. Отец говорит, что ты не похож на других; что тебя по-настоящему никто не понимает; что ты еще удивишь богачей… Силы небесные! Как я устала!

Она снова приподняла вышиванье, чтобы прикрыть нижнюю часть лица, а потом уронила его на колени. Лампа маяка со стороны земли была затенена, но они видели, как из темной башни косо падает луч света, зажженного Линдой, и, устремляясь к горизонту, затмевает догорающие там пурпурные и алые блики.

Гизелла Виола, прислонившись затылком к стене, полузакрыв глаза и скрестив маленькие ножки в белых чулках и черных туфельках, сидела тихо, с безмятежной покорностью вверяя себя надвигающимся на нее сумеркам. Прелесть ее тела, загадочная неторопливость движений

насыщали окружающую их ночную тьму, словно пьянящий и свежий аромат цветка. И Ностромо, безупречный капатас Ностромо жадно втягивал в себя воздух, вдыхая ее очарование.

Перед тем как сесть на весла, он оставил на шхуне костюм, купленный в магазине и приличествующий капитану Фиданце. Он стоял перед Гизеллой в клетчатой рубахе, подпоясанной красным шарфом, — в такой одежде он появлялся на пристани, когда работал на Компанию, — итальянский матрос, высадившийся на берег попытать счастья в Костагуане. Темно-красные сумерки окутывали и его, они надвигались неслышно, настойчиво, властно; точно так же они сгущались каждый вечер всего в пятидесяти ярдах от этого дома над головою Мартина Декуда, чей пагубный скептицизм не выдержал испытания одиночеством.

— Нет, послушай, — начал он наконец, овладев собой и обращаясь к ней спокойно, — я не стану говорить о любви твоей сестре, с которой только что обручился, потому что я люблю не ее, а тебя. Тебя!..

Ее нежно улыбающиеся губы, созданные для любви и поцелуев, исказил смертельный испуг. Он видел ее в сумерках; он не мог больше владеть

собой. Она отпрянула от него и в тот же самый миг протянула к нему руки жестом поистине царственным в своей бездумной покорности. Он прижал к себе ее головку и осыпал дождем поцелуев белеющее в сумерках запрокинутое лицо. Он обнял ее, нежно и властно. Внезапно он увидел, что Гизелла плачет. И тогда блистательный, беспечный в любви капатас стал ласковым и бережным, словно женщина, успокаивающая ребенка. Он что-то ей нашептывал. Он сел с ней рядом и положил ее белокурую головку себе на грудь. Он называл ее: звездочка моя, мой цветочек.

Спустилась ночь. Из комнаты, где старый Джорджо, один из Тысячи Бессмертных, стоял у очага, склонив над огнем косматую голову, неслось шипение и аромат отлично приготовленного жаркого.

Все смешалось, все рушилось — это свалилось на них с внезапностью и неотвратимостью катастрофы, и он не думал ни о чем, забывшись в сладкой тишине ее объятий. Но в белокурой девичьей головке мелькнул проблеск благоразумия, и она прошептала:

— Милостивый боже! Что теперь со мною станет — здесь, между этим небом и этой во-

дой, которую я ненавижу? Линда, Линда… вот она! — она попыталась вырваться из его объятий, которые внезапно ослабели, когда он услышал это имя. Но никто не приближался к двум черным теням на белой стене. — Линда! Бедная Линда! Я вся дрожу! Я умру от страха перед Линдой, моей бедной сестрой, обрученной сегодня с Джованни, моим любимым! Джованни, ты, наверное, сошел с ума! Я не могу тебя понять! Ну кто еще мог натворить такое? Я никому тебя не выдам… никогда!.. только самому Господу Богу! Но почему ты это сделал, это ведь ужасно… слепой, жестокий, сумасшедший человек!

Она высвободилась из его объятий и сидела, опустив голову, уронив безвольно руки. На темной земле белела напрестольная пелена, она лежала далеко от них, словно отброшенная сильным порывом ветра.

— Я боялся потерять тебя, — сказал Ностромо.

— Но ты ведь знал, что мое сердце принадлежит тебе! Ты все знал! Я создана для тебя! Что может нас с тобой разделить? Что? Отвечай мне! — твердила она без гнева и волнения, со спокойной, гордой уверенностью.

— Твоя покойная мать, — ответил он очень тихо.

— О!.. Бедная мама! Да, она всегда… но сейчас она святая, она далеко от нас, на небе, и я тебя ей не отдам. Нет, Джованни. Только одному Господу Богу. На тебя нашло затмение… но дело сделано. Ах, что ты натворил? Джованни, мой любимый, жизнь моя, мой властелин, не оставляй меня в этой могиле, среди этих темных облаков. Ты теперь уже не можешь меня здесь оставить. Увези меня немедленно, сейчас же в своей лодочке. Джованни, милый, увези меня сегодня же — мне ведь страшно показаться Линде на глаза. Увези меня, пока мы с ней не встретились.

Она прильнула к нему. Раб серебра Сан-Томе почувствовал, что его руки и ноги опутали тяжелые цепи, а к губам прижалась холодная рука. Он не сразу справился с наваждением.

— Не могу, — сказал он. — Есть одна преграда, она отделяет нас с тобой от свободы всего мира.

Она прижалась к нему крепче с обворожительным простодушным кокетством.

— Ты вздор какой-то говоришь, Джованни, любовь моя! — шептала она нежно. — Ну какая еще может быть преграда? Унеси меня отсюда… прямо на руках… отнеси меня к донье Эмилии. Знаешь, я не очень тяжелая.

Она смотрела на него, будто ждала, что он

тотчас же ее поднимет. Для нее не было невозможного. В эту чудесную ночь могло случиться все, что угодно. Но он по-прежнему не двигался, и она сказала громче, почти крикнула:

— Да говорю тебе, я боюсь Линды! — Он не шелохнулся. Тогда она заговорила ласково и вкрадчиво: — Так какая же у нас с тобой преграда? — спросила она и прильнула к нему.

Вот он снова прижимает ее к себе, он чувствует ее живое тепло, ее трепет, ее дыхание. Он ощутил себя могучим и сильным, он ощутил, что настала пора вырваться из рабства на свободу.

— Сокровище, — сказал он. Тишина. Она не поняла его. — Сокровище. Целая груда серебра, за которую можно купить золотую корону и украсить твою головку.

— Сокровище? — повторила она еле слышно, как во сне. — О чем ты говоришь?

Она мягко отстранилась. Он встал, продолжая глядеть на нее, и видел в непроглядной ночной темноте так же ясно, как в солнечный полдень, ее лицо, ее волосы, губы, ямочки на щеках, он видел, как она обворожительна. Ее беспечный, пленительный голосок замирал от волнения, восторга и непреодолимого любопытства.

— Сокровище! Целая груда серебра! — прого-

ворила она, запинаясь. Потом стала допытываться: — Что это? Где? Как ты раздобыл его, Джованни?

Пленник тайны, он не смел ее открыть. И, рывком освобождаясь от заклятия, он выкрикнул, словно нанося удар:

— Как вор!

Густая чернота Гольфо-Пласидо обрушилась ему на голову. Сейчас он не видел Гизеллу. Ее скрыла долгая, непроницаемая, бездонная тишина, из которой спустя некоторое время к нему проник ее голос и что-то слабо замерцало — это светилось ее лицо:

— Я люблю тебя! Я люблю тебя!

Эти слова принесли непривычное чувство свободы; в них были чары более могущественные, чем чары серебра; благодаря этим словам он сбросил с себя гнет рабской покорности и снова ощутил чудесную пьянящую уверенность в своих силах. Он сделает так, сказал он, что она будет жить в таком же великолепии, как донья Эмилия. Имущество богатых украдено у народа, а он не взял у богачей ничего… ничего, кроме того, чего они сами себя лишили из-за собственного безрассудства и предательства. Да, они предали его — говорил он, — они обманули, они иску-

шали его.

Она верила каждому его слову… Он забрал себе сокровище, чтобы отомстить; но он уже не хочет мстить. Сейчас он думает только о ней. Она будет жить во дворце, построенном на холме в оливковой роще, в белом дворце над синим морем. Он будет хранить ее там, как бриллиант в шкатулке. Он купит для нее землю, у нее будет своя земля, плодородная земля, поля и виноградники, и ее маленькие ножки будут ступать по ней. Он целовал их… Он уже расплатился за все душою женщины и жизнью мужчины. Хмель собственного великодушия ударил ему в голову. Широким жестом он швырнул сокровище к ее ногам в непроницаемой тьме залива, в той тьме, которая — как говорят — бросает вызов всеведению Бога и хитроумию дьявола. Но он предупредил ее: сперва она должна ему позволить стать богатым.

Она слушала как завороженная. Ее пальцы ласкали его волосы. Он встал с колен, шатаясь, ослабевший, опустошенный, будто бы он душу свою метнул к ее ногам.

— Так поторопись же, — сказала она. — Поторопись, Джованни, мой любимый, мой властелин, ведь я не выдам тебя никому, кроме Бога. И потом… я боюсь Линду.

Он видел: она вся трепещет, и поклялся ей, что для нее он горы свернет. Он верил мужеству ее любви. Она будет храброй, чтобы он любил ее всегда… там, далеко, в белом дворце над синим морем. Потом робко, но замирая от любопытства, она прошептала:

— А где оно? Где? Скажи мне, Джованни.

Он хотел было ответить, но ничего не сказал — он молчал как громом пораженный.

— Нет! Нет! — пробормотал он наконец. Тайна, храня которую он был немым со многими людьми, и сейчас сковала его уста. Даже ей. Даже ей он не может этого сказать. Это опасно. — Я запрещаю тебе спрашивать! — крикнул он, стараясь скрыть охватившую его ярость.

Нет, он не вернул себе свободу. Призрак беззаконно нажитого богатства, не знающий жалости серебряный идол, стоял рядом с Гизеллой и призывал его молчать, прижимая к бледным губам палец. И сердце сжалось у него в груди, едва лишь он себе представил, как будет красться ползком по лощине, вдыхая запах земли и палой листвы, как, замирая, он с решимостью отчаяния вползет в пещеру, как выберется оттуда, нагруженный серебром, прислушиваясь к каждому звуку. Он должен сегодня же там побывать, трусливый,

малодушный раб!

Он наклонился, прижал к губам край ее юбки и шепнул:

— Скажешь отцу, что я ушел, — после чего исчез внезапно и бесшумно, даже звук его шагов не был слышен в ночи.

Она сидела, устало прислонившись головой к стене, скрестив маленькие ножки в белых чулках и черных туфельках. Из дома вышел старый Джорджо и, узнав, что Ностромо ушел, не удивился, чего она смутно боялась. А Гизелла теперь многого боялась, она боялась всего и всех, за исключением своего Джованни и его сокровища. Все это было так невероятно.

К внезапному исчезновению Ностромо гарибальдиец отнесся с мудрой снисходительностью. Он помнил, что он чувствовал в подобных обстоятельствах, и не обиделся на будущего зятя, проявив мужскую солидарность и терпимость.

— Va bene[166]. Ушел так ушел. Ха-ха! Как бы красива ни была женщина, все равно на сердце кошки скребут! Свобода, свобода! Мы во многом хотим быть свободны. Сегодня важный день для Джана Батисты, а он свободный парень, не руч-

---

[166] Примечания: 166
Ладно *(ит.).*

ной, — назидательно объяснял он неподвижно сидевшей Гизелле. — Да мужчина и не должен быть ручным, — добавил он сурово. Молчание и неподвижность дочери ему не нравились. — Не позволяй себе завидовать сестре, — сказал он с укоризной.

Спустя немного времени он снова подошел к дверям позвать в дом Гизеллу. Она обернулась, лишь когда он окликнул ее в третий раз. Бедняжка была так потрясена, что сидела на скамейке не в силах шевельнуться. Она переступила порог спальни, которую делила с Линдой, с видом человека, погруженного в глубокий сон. Она выглядела так странно, что даже старый Джорджо, который, оседлав очками нос, читал Библию, удивленно поднял на нее глаза и покачал головой.

Ни на что не глядя, она прошла через комнату и села у открытого окна. Линда, которую переполняла бьющая через край радость, спустилась на минутку с маяка и обнаружила, что младшая сестра сидит спиной к свече и смотрит в темноту, где то и дело вздыхает ветер, шелестят далекие дожди, — смотрит в черную ночь, какие часто бывают в заливе, смотрит во мрак, непроницаемый для взора Господа Бога и хитроумия дьявола.

Услышав, что отворяется дверь, она не повернула головы.

Даже Линда, пребывающая наверху блаженства, не смогла не заметить странной неподвижности сестры. Она сердито нахмурилась: наверняка малышка думает о негодяе Рамиресе. А Линде так хотелось поговорить. Властным голосом произнесла она: «Гизелла!» — но та даже не повернула головы.

Девушка, которой предстояло жить в собственном дворце и ходить по собственной земле, умирала от страха. Ни за что на свете не согласилась бы она взглянуть в глаза сестре. Ее сердечко отчаянно колотилось. Она ответила, стараясь, чтобы голос ее звучал неторопливо и ровно:

— Не разговаривай со мной. Я молюсь.

Разочарованной Линде пришлось удалиться; а Гизелла продолжала смотреть в окно, потрясенная, растерянная, терпеливая, словно ожидая, что перед ней сейчас возникнет нечто подтверждающее невероятные события этого вечера. Нависшая над заливом безнадежная, черная тьма, вероятно, тоже ей снится. Она ждала.

Ждала не напрасно. Человек с омертвевшей душой выполз из лощины, нагруженный серебром, увидел свет, мерцающий в окошке, не удержался

и направился к дому.

И вот из непроницаемой темноты, поглотившей даже горные вершины, перед взглядом Гизеллы, будто по мановению волшебного жезла, возник раб серебра Сан-Томе. Это внезапное явление ее ничуть не удивило — все теперь было возможным, все могло произойти.

Она встала, покорно, неловко, и заговорила еще задолго до того, как свет упал на лицо приближавшегося к окну человека.

— Ты пришел забрать меня с собой. Хорошо! Открой же мне свои объятия, Джованни, мой любимый. Я иду к тебе.

Его осторожные шаги затихли, и, встревоженно сверкнув глазами, он хрипло произнес:

— Еще не время. Я должен богатеть медленно. — Угрожающая нотка появилась в его тоне. — Не забывай, что твой любимый — вор.

— Я помню! Помню! — прошептала она торопливо. — Подойди сюда! Послушай! Не покидай меня, Джованни! Никогда, никогда!.. Я буду долго, долго ждать.

Раб незаконно нажитого сокровища увидел, как она высунулась из окна и наклоняется к нему. Свет в ее комнате погас, и в наступившей темноте Ностромо, великолепный капатас, нагруженный

краденым серебром, обхватил ее обеими руками за шею, как утопающий хватается за соломинку.

Глава XIII

В тот день, когда миссис Гулд собиралась, по выражению доктора Монигэма, «устроить тертулью», капитан Фиданца сошел с борта своей шхуны, спокойный и невозмутимый, как всегда, и, усевшись в шлюпке, обстоятельно и не спеша, взялся за весла. Он отправился на остров позже, чем обычно. Только в середине дня подплыл он к берегу Большой Изабеллы и, оставив лодку на песке, уверенными шагами стал взбираться на пригорок.

Еще издали он заметил Гизеллу, сидевшую на стуле рядом с домом, прямо под окном той комнаты, где они жили с Линдой. Она держала в руках вышиванье, подняв его поближе к глазам. Грациозная фигурка девушки казалась воплощением покоя, и этот ее безмятежный вид еще сильнее разбередил рану в его душе, измученной постоянной внутренней борьбой. Он рассердился. Она должна была — ему казалось — еще издали услышать, как звенят его кандалы… серебряные кандалы. К тому же, будучи в начале дня в порту,

он встретил доктора, о котором все говорили, что у него дурной глаз, и доктор посмотрел на него пристально.

Гизелла подняла на него взгляд, и его гнев сейчас же улетучился. Ее глаза, похожие на два цветка, с улыбкою смотрели ему в душу. Потом она нахмурилась. Он понял: она его предупреждает, что надо быть осторожней. Он отошел чуть в сторону и громким, безразличным голосом сказал:

— Добрый день, Гизелла. Линда уже встала?

— Да. Они с отцом сейчас в большой комнате.

Тогда он подошел и, заглянув в окно, чтобы убедиться, не вернулась ли туда за чем-нибудь Линда, одними губами спросил:

— Ты любишь меня?

— Больше жизни. — Под его пристальным взглядом она склонилась над вышиваньем и продолжала: — А иначе я не смогла бы жить. Нет, не смогла бы, Джованни. Ведь эта жизнь — все равно что смерть. Ах, Джованни, я погибну, если ты не заберешь меня отсюда.

Он улыбнулся.

— Когда стемнеет, — сказал он, — я подойду сюда к окну.

— Ой нет, нет, ни в коем случае, Джованни.

Только не сегодня. Линда с отцом о чем-то долго говорили нынче утром.

— О чем же?

— По-моему, я слышала, как они называли Рамиреса. Я ничего не знаю. Я боюсь. Все время боюсь. Мне кажется, я умираю по тысяче раз на день. Твоя любовь для меня — то же самое, что для тебя твое сокровище. Она у меня есть, но мне всегда ее не хватает.

Он глядел на нее: все в нем замерло. Она была прекрасна. Желание зрело в нем. У него сейчас два властителя. Но Гизелла неспособна непрерывно помнить о любви. Слова ее искренни, но по ночам она спокойно спит. Когда она его видит, она воспламеняется. В остальное время она такая же, как всегда, только стала молчаливее. Она боится себя выдать. Она боится боли, резких слов, она боится вызвать гнев и видеть насилие. Ибо душа ее легка и нежна, и во всех ее порывах языческая искренность. Она прошептала:

— Не нужен нам этот дворец, Джованни, и виноградник на холме, если из-за них гибнет наша любовь.

Она замолчала, увидев Линду, которая незаметно вышла из-за угла и остановилась у стены.

Ностромо повернулся, чтобы поздороваться с

невестой, и был потрясен, увидев ее запавшие глаза и осунувшееся лицо, за одну ночь ставшее больным и измученным.

— Ты захворала? — спросил он, стараясь, чтобы его вопрос прозвучал сочувственно.

Ее черные глаза сверкнули.

— Разве я похудела? — спросила она.

— Да… вроде бы… немного.

— И постарела?

— Каждый прожитый день старит… любого из нас.

— Боюсь, я поседею, прежде чем у меня на пальце окажется кольцо, — медленно произнесла она, не спуская с него пристального взгляда.

Она ждала ответа, подворачивая выше свои закатанные рукава.

— Этого нечего бояться, — рассеянно ответил он.

Линда отошла от него с обреченным видом и принялась хлопотать по хозяйству, а Ностромо вступил в беседу с ее отцом. Разговаривать со стариком-гарибальдийцем было не так-то просто. Дело в том, что его умственные способности не пострадали от возраста, но как бы ушли куда-то вглубь. На любой вопрос он ответствовал медленно, с величественной серьезностью. Правда,

на этот раз в нем было больше воодушевления и быстроты; старый лев ожил. Он тревожился за свою честь. Он поверил предупреждению машиниста Сидони о том, что Рамирес покушается на его младшую дочь. Он и ей не доверял. Легкомысленная, ветреная девчонка. Из наивной старческой гордости он не стал делиться этими заботами с «сыном своим, Джаном Батистой». Ему хотелось доказать, что он и один еще может отстоять честь дома.

Ностромо пробыл у них недолго. Едва он исчез за полого спускающимся к морю пригорком, Линда вошла в дом и с вымученной улыбкой села рядом с отцом.

После памятного воскресенья, когда обезумевший от страсти Рамирес подстерег ее на пристани, у нее не оставалось никаких сомнений. Несвязные речи ревнивца не содержали в себе ничего, что оказалось бы для нее неожиданным. Они лишь укрепили, словно в сердце ей вогнали гвоздь, и без того не покидавшее ее чувство, что в ее отношениях с женихом нет ни счастья, ни надежности, а все зыбко и фальшиво. Она прошла мимо Рамиреса, облив его потоком презрительных и негодующих слов; но в тот же день она едва не умерла от горя и стыда, лежа на

могиле Терезы, на каменной плите, покрытой надписями и резьбой, которую воздвигли по подписке паровозные машинисты и механики из ремонтных мастерских в знак уважения к героическому борцу за объединение Италии. Старику Виоле не удалось осуществить свое желание и похоронить жену в море; и Линда рыдала сейчас на могильной плите.

Ее ужасала бессмысленная жестокость Ностромо. Если он хотел разбить ей сердце вдребезги — отлично. Все дозволено Джану Батисте. Но зачем же он топчет ногами осколки; зачем стремится унизить ее? Ах вот в чем дело! Сердце разбито, но дух не сломлен. Она вытерла слезы. А Гизелла! Гизелла! Эта малышка, которая с тех пор, как научилась ступать ножками, всегда цеплялась за ее юбку. Какое двоедушие! Впрочем, не надо ее винить. Если в дело замешан мужчина, бедная вертушка ничего не может с собой поделать.

Линда унаследовала от Джорджо Виолы его стоицизм. Она решила никому не говорить ни слова. Но ее стоицизм был стоицизмом женщины, она вложила в него всю бушевавшую в ней страсть. Лаконичные ответы Гизеллы, боявшейся выдать себя лишним словом, приводили ее в

бешенство — ей казалось, что неразговорчивость сестры продиктована презрением. Однажды, когда Гизелла, полулежа в кресле, разговаривала с ней, Линда бросилась к младшей сестре и оставила след своих зубов на белейшей в Сулако шейке, Гизелла вскрикнула. Но и ей не был чужд стоицизм, присущий семье Виола. Чуть не теряя сознание от страха, она небрежно произнесла: «Madre de Dios! Уж не хочешь ли ты, Линда, съесть меня живьем?» Взрыв миновал без последствий. «Она ничего не знает. Да и не может знать», — размышляла Гизелла. «Это, наверное, неправда. Да и не может быть правдой», — успокаивала себя Линда.

Но когда она впервые увидела капитана Фиданцу после встречи с обезумевшим Рамиресом, к ней вернулась уверенность, что ее беда не вымысел и не фантазия. Стоя на пороге, она смотрела ему вслед и спрашивала себя: «Встретятся они сегодня ночью?» Она решила не спускаться с башни ни на миг. После того как Ностромо скрылся из виду, она вышла из дому и села рядом с отцом.

Почтенный гарибальдиец чувствовал себя, выражаясь его собственными словами, еще совсем молодым. За последнее время слухи по поводу Рамиреса из различных источников доходили

до него не раз; и его презрение и неприязнь к человеку, который, несомненно, не был таким, каким должен был стать его сын, возбуждали в нем тревогу. Он очень мало спал сейчас, но уже несколько ночей, вместо того чтобы читать… или сидеть перед раскрытой Библией, укрепив на носу серебряные очки, подаренные ему миссис Гулд, он рыскал по всему острову, вооружившись старым ружьем, горя желанием защитить свою честь.

Линда старалась успокоить отца, положив ему на колено свою тонкую загорелую руку. Рамиреса ведь нет в Сулако. Никто не знает, где он. Он исчез. Не стоит придавать значения его похвальбе.

— Это верно, — перебил старик. — Но сын мой Джан Батиста говорил мне, — сам, я ни о чем его не спрашивал, — что трусливый esclavo пьет и играет в кости со всякой швалью из Сапиги… там, по ту сторону залива. Он, может быть, собрал самых гнусных негодяев в этом негодяйском городишке, чтобы они помогли ему похитить нашу маленькую… Но я пока еще не совсем одряхлел. Нет!

Она с горячностью стала его убеждать, что похищение невозможно; и старик послушался, умолк, покусывая белый ус. С женщинами бывает, что они что-то забьют себе в голову, в таких

случаях надо им потакать, — его покойная жена была такой, бедняжка, а Линда вылитая мать. Мужчине не годится ввязываться в споры. «Может быть, может быть», — бормотал он.

А у Линды было тяжело на душе. Она любила Ностромо. Она взглянула на сидевшую в сторонке Гизеллу, и в ее взгляде смешались материнская нежность и муки ревности, страдание побежденной соперницы. Она встала и подошла к сестре.

— Послушай, ты, — сказала она грубо.

Взгляд синих глаз, — омытые росой фиалки, — обезоруживающе открытый, бесхитростный взгляд усилил гнев и восхищение Линды. Прелестные у нее глаза, у этой маленькой мерзавки, такой беленькой, с черной, лживой душой. Линда сама не понимала, чего ей хочется — то ли со злобным воплем выцарапать их, то ли осыпать их поцелуями… таинственные и бесстыдные, наивные глаза. Внезапно они сделались пустыми и без всякого выражения смотрели на нее, только страх из них проглядывал, — не удалось Гизелле скрыть его в сердце так же глубоко, как она скрыла там другие чувства.

Линда сказала:

— Рамирес ходит по городу и похваляется, что увезет тебя.

— Какая глупость! — отозвалась Гизелла и неожиданно добавила — задорно, трепеща от собственной отваги: — Уж он-то тут ни при чем.

Неосторожная фраза, но девушка устала постоянно сдерживать себя.

— Ни при чем? — сквозь зубы переспросила Линда. — В самом деле ни при чем? Должна тебя предупредить: отец бродит по ночам по острову с заряженным ружьем.

— Он напрасно это делает. Скажи ему, Линда. Меня он не послушает.

— Я ни слова не скажу… никогда… никому, — гневно выкрикнула Линда.

Так нельзя больше, подумала Гизелла. Пусть Джованни поскорее ее заберет — в следующий же раз, как только он приедет. Пусть там у него хоть горы серебра, она не хочет больше так мучиться. После разговора с Линдой она чувствует себя больной. Намерения отца ее не испугали. Ведь она попросила Нострómо нынче ночью не приходить под окно. И он ей это обещал. Гизелла не знала и не могла ни догадаться, ни вообразить себе, что у него могла быть и другая причина приплыть на остров.

Не заходя домой, Линда направилась к маяку. Настало время зажигать лампу. Она отперла

низкую дверцу и тяжелыми шагами начала подниматься по винтовой лестнице башни, влача свою любовь к блистательному капатасу каргадоров, — позорные, замучившие ее кандалы. Но она их не сбросит. О нет! Пусть расправятся с изменниками небесные силы. Медленно двигаясь по верхней части башни, где мгла мешалась с лунным светом, Линда осторожно зажигала лампу. Затем она бессильно уронила руки.

— И наша мама смотрит на все это, — пробормотала она. — Моя родная сестра… эта малышка!

Весь осветительный аппарат — медная арматура, ступенчатые призмы — блестел и сверкал, как куполообразный бриллиантовый ковчег, источником света в котором служила не лампа, а некий священный огонь, владычествующий над морем. И Линда, смотрительница маяка, вся в черном, бледная, опустилась на стул, наедине со своей ревностью, вознесшись над земными страстями и земным стыдом. Приступ странной головной боли, будто кто-то вцепился в ее черные с бронзовыми бликами волосы и дергал изо всех сил, заставил ее поднести руки к вискам. Они встретятся сегодня. Они встретятся. Ей даже известно где. У окна. Боль нестерпимая… По лицу девушки катился пот, взгляд устремился туда, где

лунный свет от берега до берега преградил огромным серебряным прутом вход в Гольфо-Пласидо — угрюмую безмолвную пещеру, в которой пенятся буруны и клубятся облака.

Внезапно Линда встала, приложив палец к губам. Он ни ее не любит, ни сестру. Все это внезапно представилось ей таким бессмысленным, бесцельным, что она испугалась, и одновременно в ее сознании забрезжила надежда. Почему он не увез отсюда Гизеллу? Что ему мешает? Непостижимый человек. Чего они ждут? Что заставляет их обоих лгать и притворяться? Она не знает что, но только не любовь. Надежда вновь вернуть его заставила ее нарушить данную самой себе клятву не покидать этой ночью маяк. Нужно немедленно поговорить с отцом, ведь он очень умен, он поймет, в чем дело. Линда стремительно сбежала по винтовой лестнице вниз. В тот миг, когда она открыла входную дверь, до ее слуха донесся выстрел, первый выстрел на Большой Изабелле.

Она пошатнулась, словно пуля попала ей в грудь. Потом бросилась бежать и не останавливалась до самого дома. В окнах было темно. У дверей она закричала: «Гизелла! Гизелла!» — затем метнулась за угол к открытому окну их спальни, продолжая высоким, пронзительным голосом

звать сестру; ответа не было, но, когда она в полной растерянности снова кинулась к дверям, из дома выскочила Гизелла и пронеслась мимо нее, молча, с распущенными волосами, устремив вперед неподвижный взгляд. Она, словно на цыпочках, промчалась по траве и скрылась.

Линда брела медленно, вытянув руки вперед. На острове царила тишина, и трудно было догадаться, куда идти. Дерево, под которым провел свои последние дни Мартин Декуд, представляя себе жизнь в виде вереницы бессмысленных образов, бросало на траву большое черное пятно тени. Неожиданно она увидела отца; опираясь на ружье, он стоял безмолвно, тихо, с головы до ног облитый лунным светом.

Гарибальдиец, высокий, прямой, с белоснежной бородой и волосами, был похож на статую и неподвижностью своей, и величавым спокойствием позы. Она тронула его за плечо. Джорджо не шелохнулся.

— Что ты сделал? — спросила она самым обычным, будничным тоном.

— Я застрелил Рамиреса… infame![167] — ответил он, глядя в ту сторону, где тень была чернее

---

[167] Примечания: 167
Мерзавца! *(ит.)*

всего. — Как вор, явился он, и, как вор, погиб. Дитя нельзя было оставить без защиты.

Он не двинулся вперед ни на шаг, ни на дюйм. Стоял с ружьем в руке, нахмуренный, невозмутимый, старый человек, пришедший, чтобы оградить честь своего дома. Линда убрала дрожащую руку с его твердого и неподвижного, как камень, плеча и, не говоря ни слова, вошла в черную тень. Увидев, что на земле что-то шевелится, она остановилась. До ее слуха донесся лихорадочный шепот и плач, и, постояв немного, она стала различать слова.

— Ведь я просила, я умоляла тебя: не приходи сегодня, мой Джованни! И ты мне обещал. О боже! Так зачем же ты… зачем же ты пришел, Джованни?

Линда узнала голос сестры. Потом послышались рыдания. И находчивый капатас каргадоров, владелец и раб сокровища Сан-Томе, застигнутый врасплох старым Джорджо, когда он крался к лощине за серебром, ответил ей спокойно и беспечно, только голос его был как-то странно слаб:

— На то похоже, что я не мог дождаться утра, не повидав тебя еще разок, моя звездочка, мой цветочек.



Блестящая тертулья только что подошла к концу, только что отбыли последние гости, и сеньор администрадор удалился в свой кабинет, когда доктор Монигэм, которого этим вечером тоже ожидали, но не удостоились лицезреть, подъехал по торцовой мостовой безлюдной, освещенной электрическими фонарями улице Конституции к еще не запертым парадным дверям.

Он, хромая, поднялся наверх и обнаружил в большой гостиной вылощенного жирного Басилио, собиравшегося гасить огни. Столь позднее вторжение изумило почтенного мажордома, и он уставился на гостя разинув рот.

— Не тушите свет, — распорядился доктор. — Мне нужно видеть сеньору.

— Но сеньора сейчас в канцелярии сеньора администрадора, — елейным голосом ответствовал Басилио. — Сеньор администрадор через час отправляется в горы. Есть опасение, что среди рабочих вот-вот могут начаться беспорядки. Совсем бессовестный народ, ни стыда, ни разума. И бездельники, сеньор. Бездельники.

— Сами вы бессовестный лентяй и болван к тому же, — сказал доктор, чья раздражительность столь успешно помогла ему снискать всеобщую любовь. — Сказано вам, не тушите свет.

Басилио с достоинством удалился. Доктор Монигэм, дожидавшийся в залитой светом гостиной, вскоре услышал, как в дальнем конце дома затворилась дверь. Прозвенели шпоры. Сеньор администрадор отбыл на рудники.

Шурша длинным треном, сверкая драгоценностями, блестя шелком вечернего платья, склонив изящную головку под тяжестью белокурых волос, в которых затерялись редкие серебряные нити, первая леди Сулако, как всегда именовал ее капитан Митчелл, прошла по коридору, баснословно богатая, уважаемая, любимая, почитаемая и такая одинокая, что, пожалуй, более одинокой женщины еще не было на земле.

Когда доктор произнес: «Миссис Гулд! Одну минуту!» — она вздрогнула и остановилась у дверей ярко освещенной гостиной. Вид доктора, стоящего посредине пустой комнаты, воскресил в ее памяти ту давнишнюю, неожиданную встречу с Мартином Декудом; все повторилось — и ее душевное состояние, и окружающая их обстановка; ей показалось, что она снова слышит голос этого давно умершего человека: «Антония забыла здесь свой веер». Но это был голос доктора, правда, слегка измененный волнением. Она заметила, что у него блестят глаза.

— Миссис Гулд, я приехал за вами. Знаете, что произошло? Вы помните, как раз вчера мы говорили с вами о Ностромо. Так вот, случилось так, что «ланча», шлюпка с палубой, плывущая из Сапиги с четырьмя неграми на борту, проходила вблизи от Большой Изабеллы, как вдруг с берега раздался женский голос — это кричала Линда, — который велел им подойти к острову (ночь была лунная), взять раненого и отвезти его в город. Хозяин лодки — это он мне все и рассказал — немедленно повиновался. Лодка подошла с той стороны, где берег ниже; их уже дожидалась Линда. Она повела их к дереву, стоящему неподалеку от домика смотрителя. Там они увидели Ностромо, который лежал на земле, рядом с ним сидела младшая дочь смотрителя, а папаша Виола стоял поодаль, опираясь на ружье. Линда попросила их вынести из дома стол, у стола отломили ножки, после чего его можно было использовать как носилки. Они сейчас здесь, в городе, миссис Гулд. Я говорю о Ностромо и… Гизелле. Негры доставили его в больницу возле порта. Он попросил сиделку, чтобы послали за мной. Но не я ему был нужен — он хотел видеть вас, миссис Гулд! Вас!

— Меня? — прошептала она, слегка вздрогнув.

— Да, да, вас! Он попросил меня — своего врага,

как он считает, — немедленно привести к нему вас. Судя по всему, он хочет сообщить вам что-то с глазу на глаз.

— Как странно! — пробормотала она.

— Он мне сказал: «Напомните ей, что я кое-что сделал для того, чтобы не обрушился кров над ее головой». Миссис Гулд, — в страшном волнении продолжал доктор. — Помните то серебро? Серебро, увезенное на баркасе… который потом утонул?

Она помнила. Но она не сказала, что ей невыносима даже мысль об этом серебре. Воплощенная искренность, она с ужасом вспоминала, что в первый и в последний раз за всю жизнь утаила истину от мужа именно из-за этого серебра. Страх повелевал ею тогда, и она никогда не простит себе этого. Мало того, это серебро, которое никто не стал бы увозить из Костагуаны, если бы ее мужу стали известны сообщенные Декудом новости, чуть не послужило косвенной причиной смерти доктора Монигэма. Ни о том, ни о другом она не могла думать без содрогания.

— Вы уверены, что оно погибло! — воскликнул доктор. — После того как его увезли, у меня все время было ощущение, будто Ностромо окружен какой-то тайной. Мне кажется, он хочет сейчас,

на пороге смерти…

— На пороге смерти, — повторила миссис Гулд.

— Да, да… Он, возможно, хочет рассказать вам что-то об этом серебре, которое…

— О, нет, нет, — испуганно сказала миссис Гулд. — Разве оно не погибло, разве мы еще не покончили с ним? Разве в нашем мире еще недостаточно сокровищ, чтобы сделать каждого несчастным?

Доктор был разочарован, но не осмелился возразить. Наконец он все же решился и спросил очень тихо:

— А как быть с дочкой Виолы, с этой Гизеллой? Что нам делать? Мне кажется, отец и старшая сестра решили…

Миссис Гулд признала, что считает своим долгом сделать все, что в ее силах, для обеих девушек.

— Внизу дожидается шарабан, — сказал доктор, — если вы согласны воспользоваться таким экипажем…

Полный нетерпения, он ждал; затем в гостиной снова появилась миссис Гулд, закутанная в серый плащ с капюшоном.

В этом монашеском одеянии, накинутом поверх вечернего платья, эта женщина — само

терпение и сострадание — стояла у кровати, на которой недвижно лежал блистательный капатас каргадоров. Белизна простыней и подушек особенно оттеняла сумрачное и решительное загорелое лицо, темные крепкие руки, так хорошо умевшие управляться со штурвалом, поводьями и курком, а сейчас в бездействии лежащие на белой простыне.

— Она невиновна, — говорил капатас негромким ровным голосом, будто опасаясь, что скажи он хоть слово громче, и порвутся непрочные узы, благодаря которым еще держится в его теле душа. — Она невиновна. Виноват я один. Но и это не важно. За все эти дела я ни перед кем отвечать не должен.

Он умолк. Затененное капюшоном и поэтому кажущееся очень бледным лицо миссис Гулд выражало глубокую, беспредельную печаль. Тихий плач Гизеллы Виолы, которая стояла на коленях у кровати, покрыв своими рассыпавшимися золотыми волосами ноги капатаса, не нарушал царившую в палате тишину.

— Ха… старый Джорджо — защитник твоей чести. Ловко меня выследил старик, какая легкая поступь, какая меткая рука. Даже я не справился бы с делом лучше. Но он мог не тратиться на

порох. Честь и так была в безопасности. Сеньора, эта девушка пошла бы на край света за Ностромо, вором… Ну, наконец-то слово произнесено! Я снял заклятие!

Тут он услышал то ли стон, то ли вздох и взглянул на девушку, сидящую у его ног.

— Я не вижу ее… а, ладно, — сказал он, и в его голосе был отзвук лихой беспечности старых времен. — Достаточно и одного поцелуя, если на остальные не хватило времени. У нее легкая душа, сеньора! Светлая и теплая, как солнечный луч — вот он спрятался за облака, вот опять играет. Они погасят ее, наползут с двух сторон, как две тучи. Сеньора, обратите на нее ваш взгляд, одарите ее сочувствием, которое славится в этой стране от края и до края, как славится отвага человека, разговаривающего с вами сейчас. Она со временем утешится. Да и Рамирес не так плох. Я не сержусь. Нет, нет! Ведь это не Рамирес одолел меня. — Он замолчал, потом с усилием и уже громче произнес: — Я умираю, потому что меня предали, а предали меня…

Но он так и не сказал, кто его предал.

— Вот она бы не стала меня выдавать, — снова заговорил он, широко раскрыв блестящие от возбуждения глаза. — Она была мне предана. Мы

собирались вскоре уехать… очень далеко. Ради нее я расстался бы с этим проклятым сокровищем. Ради этого ребенка я бросил бы множество тюков, набитых серебром. А Декуд унес четыре штуки. Четыре слитка. Зачем? Проклятие! Чтобы меня погубить? Разве мог я возвратить сокровище, если недостает четырех слитков? Все бы стали говорить, что я их украл. Доктор первый сказал бы это. Горе мне, и сейчас оно держит меня!

Миссис Гулд наклонилась над ним совсем низко, холодея от страха.

— Что случилось с доном Мартином в ту ночь?

— Кто знает! В ту ночь я думал лишь о том, что случится со мной. Теперь-то мне известно. Меня ждала нечаянная смерть. А он исчез! Он меня предал. И теперь вы думаете, будто я его убил. Все вы одинаковы, благородные господа. Меня убило серебро. Оно держало меня мертвой хваткой. Держит и сейчас. Никто не знает, где оно. Но вы — жена дона Карлоса, который отдал мне его из рук в руки и сказал: «Умри, но сбереги его». А когда я вернулся и все вы думали, что оно пропало, что я услыхал? Оказывается, оно никому не нужно. Затонуло, и бог с ним. А ты, верный Ностромо, садись на коня, скачи во весь опор и хоть умри, но спаси нас.

— Нострómо, — прошептала миссис Гулд, склоняясь к самому его лицу. — Мне тоже была ненавистна даже мысль об этом серебре.

— Чудеса! Значит, и среди вас нашелся кто-то, ненавидящий то самое богатство, которое вы так ловко умеете выуживать из рук бедняков. Мир зиждется на бедняках, говорит старый Джорджо. Вы всегда были добры к бедным людям. Но богатство неразлучно с проклятием. Сеньора, сказать вам, где спрятано сокровище? Одной лишь вам… Сверкающие груды серебра!

В его голосе невольно прозвучала боль, и ей, так щедро наделенной даром сопереживания, стало ясно: он не хочет открыть свой секрет, он совершает над собой насилие. И она в испуге отвела от него взгляд, не в силах больше говорить об этом с умирающим.

— Нет, капатас, — ответила она. — О нем теперь уже никто не вспоминает. Пусть оно исчезнет навсегда.

Услыхав это, Нострómо закрыл глаза и не произнес больше ни слова, не сделал ни единого движения. Доктор Монигэм, который стоял в коридоре за дверью, возбужденный до предела, с горящими от нетерпения глазами, вошел в палату и приблизился к ним.

— Ну, миссис Гулд, — сказал он ей чуть ли не грубо, не в силах подавить терзавшее его любопытство, — ну, скажите мне теперь, я был прав? Тут в самом деле какая-то тайна. Он вам открыл ее, не так ли? Он вам сказал…

— Он не сказал мне ничего, — твердым голосом ответила она.

Огонек враждебности, которую всегда в нем вызывал Ностромо, погас в глазах доктора, и он покорно отступил. Он не поверил миссис Гулд. Но ее слово было законом. Он безропотно принял ее отказ — очередное подтверждение того, что ему не по силам тягаться с Ностромо. Даже эта женщина, которую он всей душой любил, отдала победу капатасу каргадоров, человеку, всеми признанному (не чета ему!) воплощением мужества, верности и чести.

— Пожалуйста, немедленно пошлите за моей каретой, — сказала миссис Гулд; и затем, повернувшись к Гизелле Виоле: — Подойди ко мне, дитя мое; подойди поближе. Мы подождем здесь.

Гизелла робко к ней приблизилась; масса светлых растрепавшихся волос, как вуаль, прикрывала ее детское личико. Миссис Гулд взяла под руку убитую горем недостойную дочь старого Виолы, безупречного республиканца, героя, чье

доброе имя никогда не замарало ни единое пятно. Тихо, медленно, как клонится увядший цветок, опустила свою голову эта девушка, которая была готова последовать на край света за вором, на плечо доньи Эмилии, первой леди Сулако, жены сеньора администрадора рудников Сан-Томе. И миссис Гулд, ощутив, как она вздрагивает от рыданий, единственный раз в жизни позволила себе излить ту горечь, что годами копилась в ее сердце. Слова, которые она произнесла, были достойны самого доктора Монигэма:

— Не надо так убиваться, дитя. Он бы все равно вскоре забыл тебя… тебя вытеснило бы сокровище.

— Сеньора, он меня любил. Он любил меня, — в отчаянии шептала Гизелла. — Он любил меня так, как никто никого не любил.

— Меня тоже когда-то любили, — жестко сказала миссис Гулд.

Гизелла судорожно к ней прижалась.

— О сеньора, вас ведь будут обожать до конца ваших дней, — проговорила она, всхлипывая.

Миссис Гулд не произнесла больше ни слова до прибытия кареты. Она направилась к ней, поддерживая девушку, едва стоявшую на ногах. Когда доктор захлопнул дверцу, она высунула

из окошка голову и, нагнувшись к нему, прошептала:

— Вы ничем не можете помочь?

— Нет, миссис Гулд. Да он и не позволит до себя дотронуться. Впрочем, не важно. Я взглянул на рану. Сделать ничего нельзя.

Доктор обещал этим же вечером повидать старика Виолу и его старшую дочь. Он увезет его с острова на полицейском катере. Стоя на тротуаре, он смотрел вслед экипажу, медленно катившемуся по мостовой за степенно шагающими белыми мулами.

Слух о том, что случилось несчастье, и о том, что случилось оно с капитаном Фиданцей, разнесся по порту, порядком разросшемуся за последние годы. Несколько бездомных бродяг — беднейшие из бедных — топтались на пустынной улице у дверей больницы и перешептывались при свете луны.



С раненым остался лишь фотограф, кровожадный враг капиталистов; маленький, сухонький, с бледным лицом, он сидел у изголовья кровати, взгромоздившись на высокий табурет, поджав колени и упираясь подбородком в ладони. Его привел задержавшийся допоздна в порту рабочий, которому негр с большой шлюпки, приплывшей из Сапиги, рассказал, что капитан Фиданца смертельно ранен и доставлен на их «ланче» с острова на берег.

— Будут ли какие-нибудь распоряжения, товарищ? — встревоженно спросил фотограф. — Не забудьте: нам нужны деньги для работы. С богачами нужно воевать их же оружием.

Ностромо промолчал. Тот не стал настаивать и сидел, нахохлившись, на табурете, взъерошенный, немыслимо лохматый, как горбатая обезьяна. После долгой паузы он наконец нарушил тишину.

— Товарищ Фиданца, — сказал он торжественно, — вы наотрез отказались принять какую-либо помощь от этого врача. Он действительно опасный враг народа?

Ностромо медленно повернул голову, не отрывая ее от подушки, и устремил пытливый, непроницаемый взгляд на маячившую у его кро-

вати нелепую фигуру. Затем он снова запрокинул голову, закрыл глаза и умер без единого слова и стона, целый час промучившись от боли, о чем свидетельствовала только дрожь, время от времени пробегавшая по его неподвижному телу.

Доктор Монигэм, отплывший в сторону островов на полицейском катере, смотрел, как мерцает на воде лунный свет, как постепенно выступает из темноты черная громада Большой Изабеллы, как из-под покрова облаков падает луч света с маяка.

— Не спешите, — сказал он гребцам. Что-то он застанет там, на острове? Он попробовал представить себе Линду и ее отца и с удивлением заметил, что ему не хочется их видеть. — Не спешите, — повторил он.

С того момента, как он выстрелил в вора, покушавшегося на его семейную честь, Джорджо Виола не двигался с места. Он стоял, опираясь на старенькое ружье, крепко сжимая рукою ствол. После того как «ланча» увезла Ностромо, Линда вернулась к старику и встала перед ним. Он, казалось бы, не замечал ее присутствия, но когда уже не в силах сохранять с большим трудом дававшееся ей спокойствие она крикнула: «Да ты знаешь ли, кого убил?», он ответил: «Бродягу Рамиреса».

Линда, бледная, с безумным взглядом, расхохоталась ему в лицо. Немного погодя он начал вторить ей негромким, басовитым смехом. Потом раскаты ее хохота утихли, а старик вздрогнул и сказал:

— Он закричал голосом сына моего, Джана Батисты.

Он разжал ладонь, ружье упало, но он по-прежнему держал руку так, будто все еще опирался на ствол. Линда грубо схватила его за плечо.

— Ты слишком стар, ничего не поймешь. Пошли домой.

Он позволил себя увести. Споткнулся о порог так сильно, что чуть не упал вместе с дочкой. Все оживление последних дней было подобно вспышке угасающей лампы. Он успел ухватиться за спинку кресла.

— Голосом сына моего, Джана Батисты, — повторил он сурово. — Я слышал, как он вскрикнул… Рамирес… подлец.

Линда помогла ему сесть в кресло и, наклонившись к уху, прошипела:

— Ты убил Джана Батисту.

Старик улыбнулся в густые усы. Странные фантазии бывают иногда у женщин.

— Где малышка? — спросил он, удивленный

тем, что в комнате стоит пронзительный холод и непривычно тускло горит лампа, при свете которой он привык просиживать полночи перед раскрытой Библией.

Линда с минуту поколебалась, затем опустила глаза.

— Она спит, — ответила она. — Мы поговорим о ней завтра.

Она не могла заставить себя взглянуть на отца. Ее охватывал ужас и вместе с ним острая, почти невыносимая жалость. Она заметила перемену, которая произошла с отцом. Бесполезно объяснять ему, что он сделал, — он не поймет, да и сама она никак не может осознать случившегося. Он сказал, с трудом произнося слова:

— Дай мне книгу.

Линда положила перед ним на стол закрытую книгу в протертом кожаном переплете, Библию, подаренную ему много лет назад неким англичанином в Палермо.

— Малышку нужно было защитить, — сказал он странным, скорбным голосом.

Линда стояла у него за спиной, ломая руки и беззвучно плача. Вдруг она направилась к дверям. Он услыхал ее шаги.

— Куда ты? — спросил он.

— На маяк, — ответила она и, обернувшись, злобно на него посмотрела.

— На маяк. Да, да… выполнять свой долг.

Очень прямой, седовласый, величавый, отрешенно спокойный, он достал из кармана рубахи очки, подаренные ему доньей Эмилией. Надел их. Долго сидел неподвижно, потом раскрыл книгу и, все так же выпрямившись, высоко держа голову, стал смотреть сквозь стекла очков на набранные мелким шрифтом строчки в двух колонках. Его слегка нахмуренное лицо было суровым и непреклонным, словно отражало мрачные мысли или тягостные чувства. Но он так и не отвел от книги глаз, наклоняясь тихо, постепенно, пока не уткнулся снежно-белой головой в ее раскрытые страницы. Ритмично тикали деревянные часы на выбеленной стене, и, холодея мало-помалу, гарибальдиец еще долго лежал так, одинокий, кряжистый, нетленный, будто с корнем вырванный предательским порывом ветра старый дуб.

А огонь маяка на Большой Изабелле все горел и горел над погибшим сокровищем рудников Сан-Томе. Пробиваясь сквозь синеватую, беззвездную ночную мглу, желтый луч фонаря достигал горизонта. Словно черное пятно на блестящем стекле, Линда, стоя на наружной галерее, сгорбившись,

прижалась к перилам лбом. Ее ярко освещал свет луны.

Внизу, у подножья утесов, послышался мерный плеск весел и умолк, после чего из лодки возникла фигура доктора Монигэма.

— Линда! — крикнул он, запрокинув голову. — Линда!

Линда выпрямилась. Она узнала его голос.

— Он умер? — крикнула она, перегнувшись через перила.

— Умер, бедная моя девочка. Мы сейчас подойдем, — отозвался доктор. — Держите к берегу, — приказал он гребцам.

Черная фигурка Линды с поднятыми вверх руками отделилась от сверкающего фонаря, будто девушка хотела броситься вниз с маяка.

— Ведь это я тебя любила, — шептала она, и ее лицо в лунном свете казалось белым и застывшим, как мрамор. — Я! Только я! Она тебя забудет, тебя, убитого из-за ее хорошенького личика. Я не могу понять. Я не могу понять. Но я тебя никогда не забуду. Никогда.

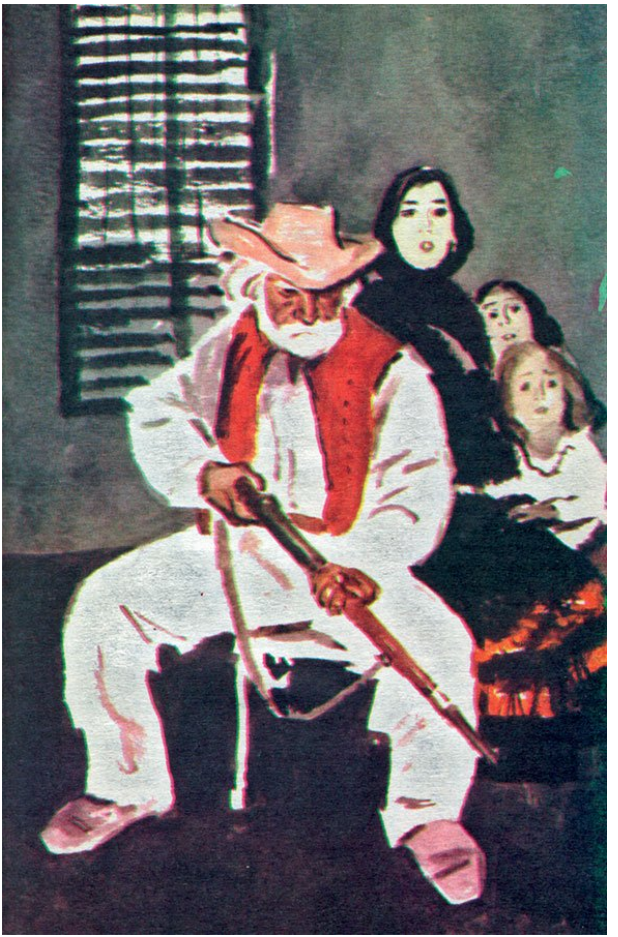
Она стояла неподвижно, сосредоточившись на том, чтобы всю свою преданность, всю свою боль, свою растерянность, свое отчаяние вылить в одном-единственном, раздирающем душу крике.

— Никогда! Никогда, Джан Батиста!

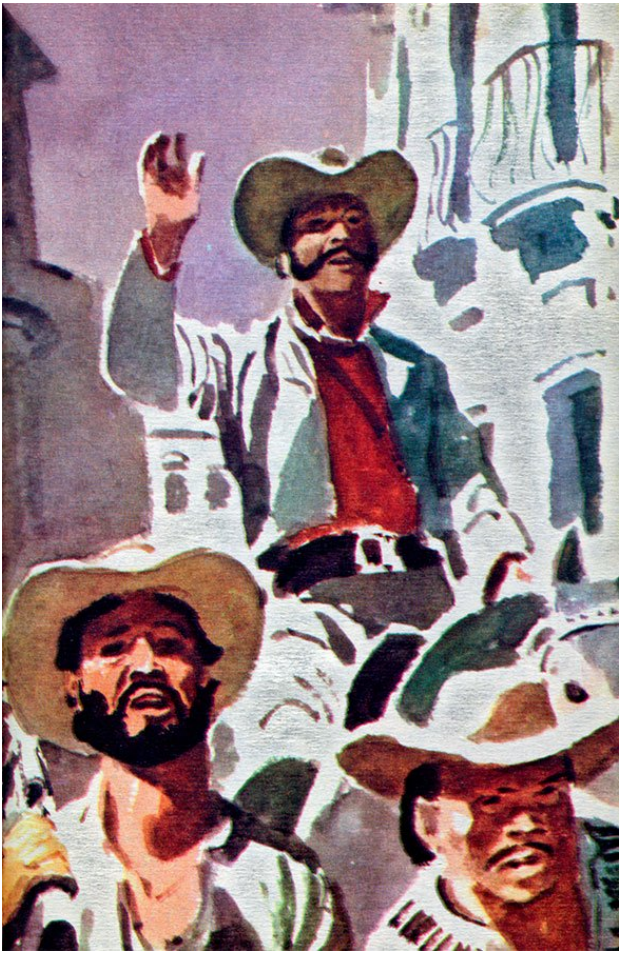
Доктор Монигэм, плывущий к берегу на полицейской шлюпке, услыхал, как это имя прозвенело у него над головой. Еще один из триумфов Ностромо, самый великий, самый зловещий, более всех достойный зависти. Этот крик неумирающей любви, прокатившийся, казалось, от Пунта-Мала до Асуэры и дальше, до светящейся линии горизонта, над которой нависло огромное белое облако, сверкающее, словно груда серебра, возвестил: дух блистательного капатаса каргадоров ныне властвует над этим темным заливом, где хранятся завоеванные им сокровища недр земных и бесценные сокровища любви.

Иллюстрации Петра Пинкисевича к роману «Ностромо»

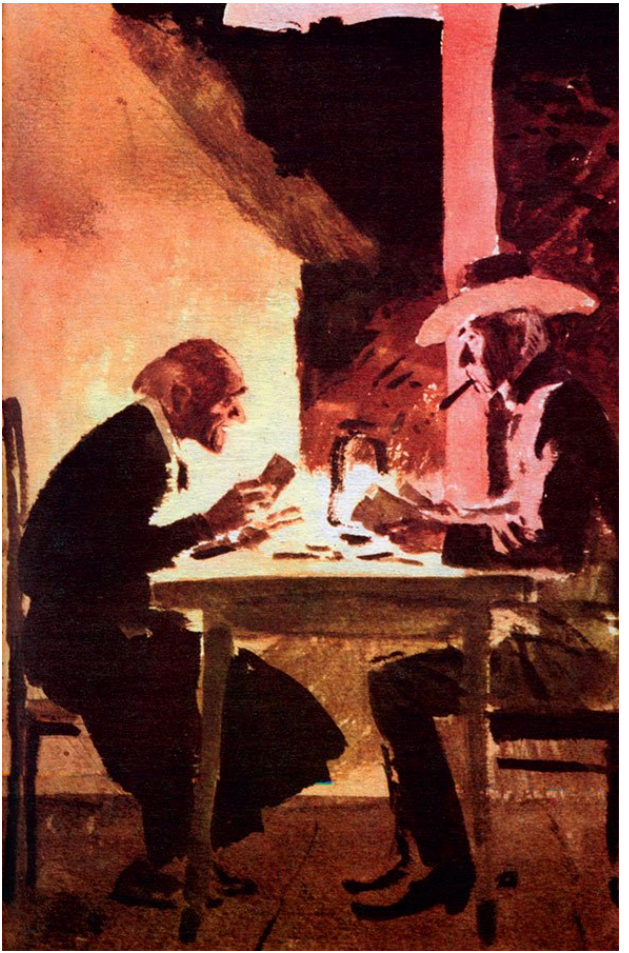




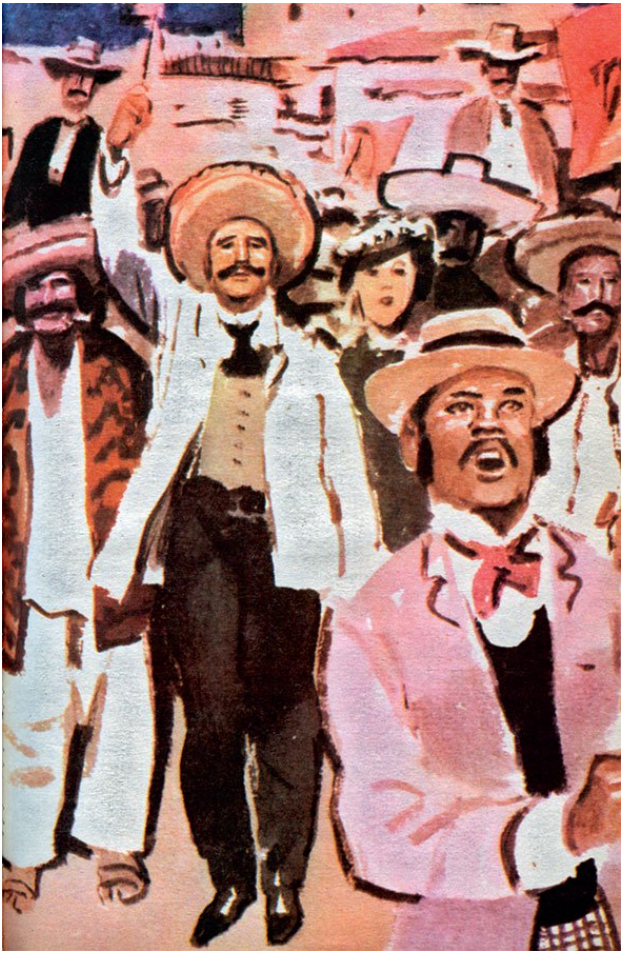
...Забаррикадировав окна и двери, старик с угрюмым, непреклонным видом сел посредине полутемной столовой, держа в руках ружье.



Он выехал вперед с криком: «Avanti!»



Духовный и светский наставники рудничной паствы были добрыми друзьями.



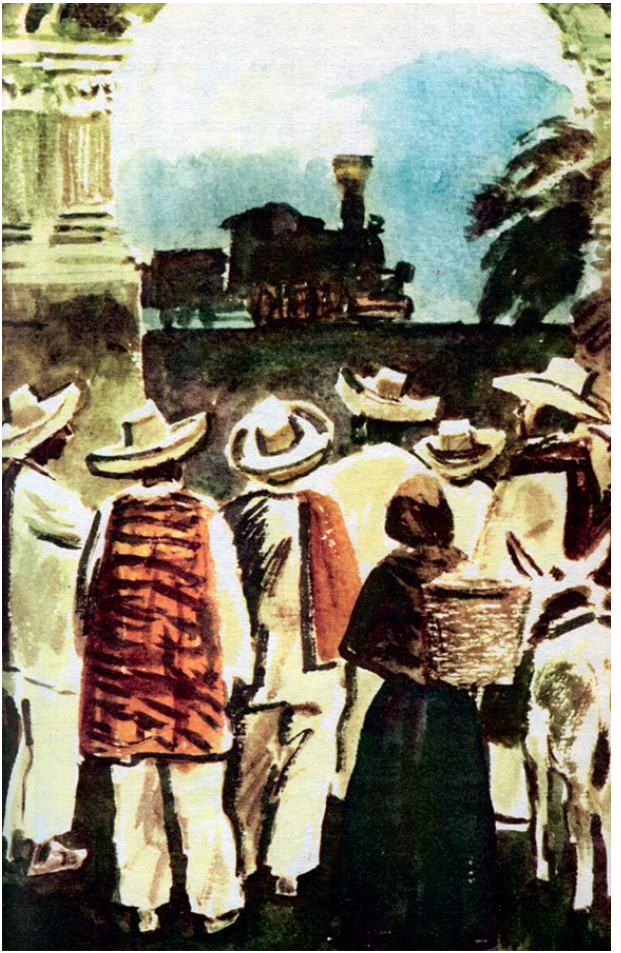
Между гаванью и городскими воротами стояли толпы людей и размахивали пестрыми флажками на длинных палках.



...А в конце этой грохочущей и пыльной вереницы можно было еле-еле разглядеть дона Пепе, который с непроницаемым лицом, не меняя позы, словно врос в седло...



Слышался нестройный залп... над зелеными кустами поднималось и уплывало вдаль голубоватое облачко дыма...



И казалось, все это лишь померещилось им: призрак паровоза, мелькнувший в арке ворот, и всколыхнувшаяся толпа зрителей…



Со стороны гавани ехал всадник, его лошадь шла неторопливо, и подле каждого фонарного столба мерцала серебристо-серым сиянием ее шкура, а над светлым корпусом животного маячил темный силуэт всадника.

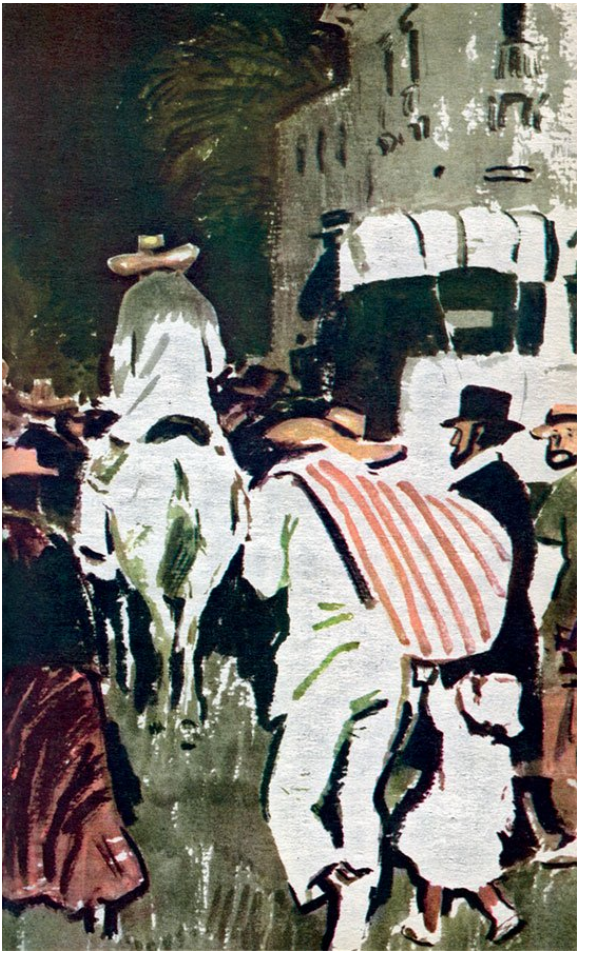


...Резкие очертания костлявого лица, белая отметина шрама на выбритой до синевы щеке (память, оставленная упорствующими в языческих заблуждениях индейцами, на которых

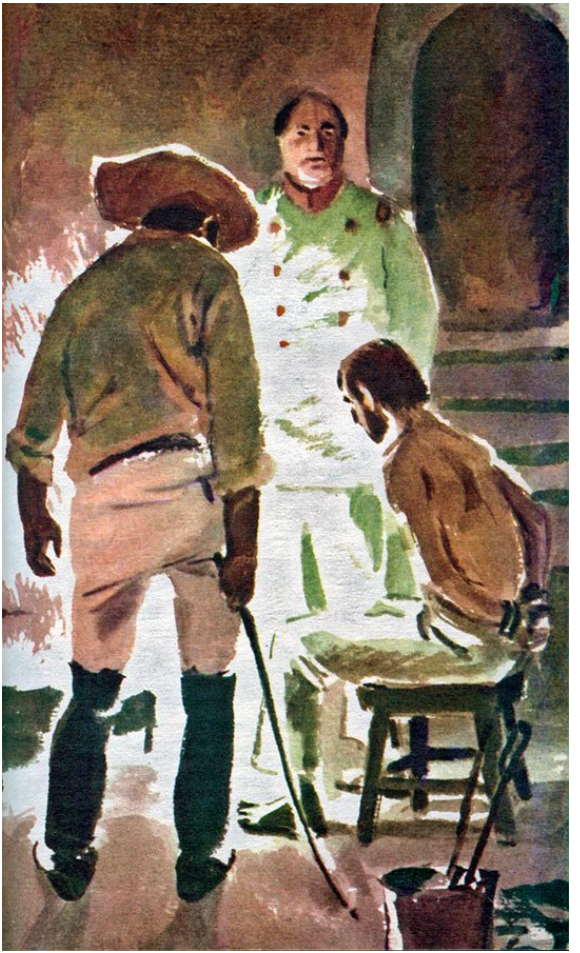
его преподобие обрушил свой проповеднический пыл) придавали облику служителя божьего нереспектабельный вид — он смахивал на капеллана разбойничьей шайки.



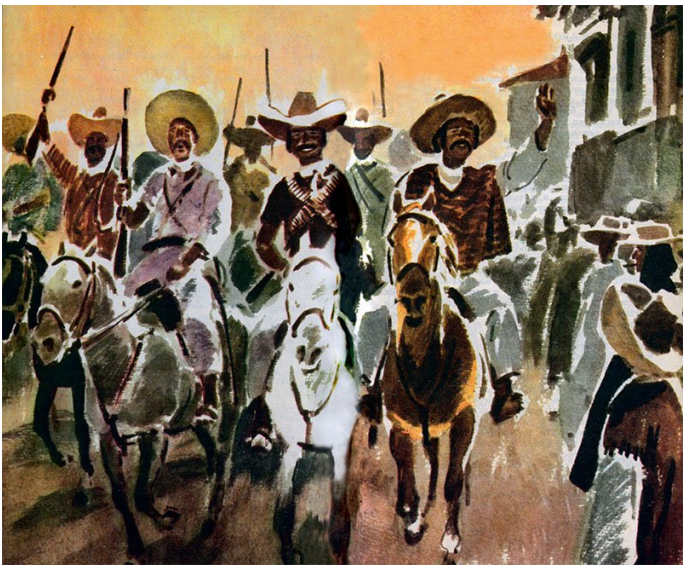
Педро намерен захватить Сулако во имя «демократии».



А тем временем начинался великий исход.



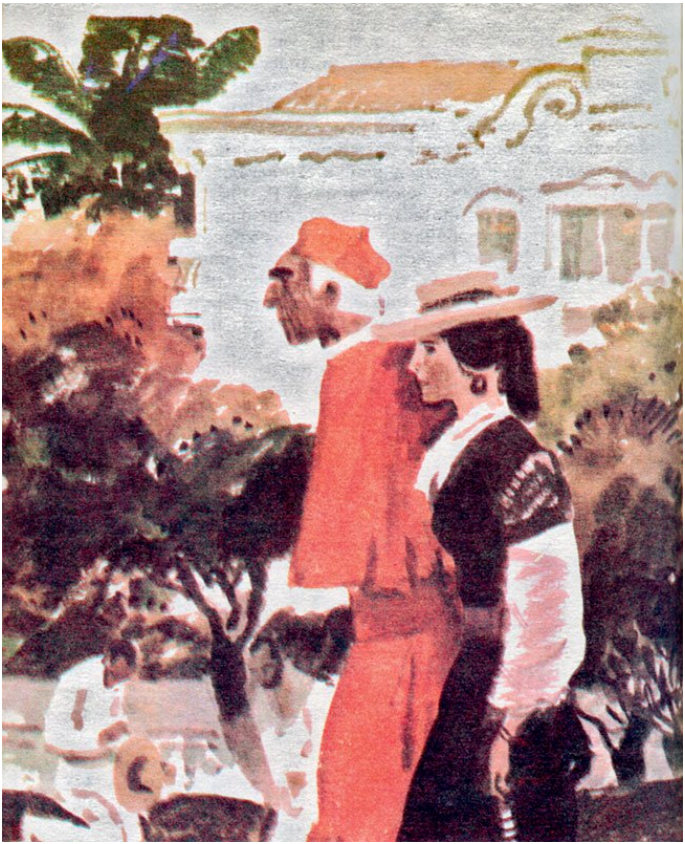
На протяжении всей мировой истории человек неизменно был хорошо осведомлен о том, как причинить душевные и физические страдания себе подобным.



Вслед за чернью показалась кавалерия, это была «армия» Педрито Монтеро.



…Офицеры, сгрудившись у окна, из которого открывался вид на городские ворота, оживленно спорили из-за полевого бинокля, который год назад Сотильо приобрел в кредит у Ансани.



Внезапно двое садовников, подстригавших розовый куст у калитки, упали на колени и склонили

головы — мимо них прошла Антония Авельянос, а рядом шагал ее дядюшка.



А огонь маяка на Большой Изабелле все горел и горел над погибшим сокровищем рудников Сан-Томе.